



И. А. ГОНЧАРОВ



1



И. Гончаров



И. А. Гончаров.

**Портрет работы И. Н. Крамского. 1874 г.
Третьяковская галерея.**

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



И. А. ГОНЧАРОВ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ
В ДВАДЦАТИ ТОМАХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»
1997

И. А. ГОНЧАРОВ



ТОМ ПЕРВЫЙ

ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ
СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОВЕСТИ И ОЧЕРКИ
ПУБЛИЦИСТИКА

1832—1848

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»
1997

УДК 8(47)82

ББК 84(0)5

Г 65

Редакционная коллегия

В. А. КОТЕЛЬНИКОВ, Е. А. КРАСНОЩЕКОВА,
Т. И. ОРНАТСКАЯ (зам. главного редактора), М. В. ОТРАДИН,
К. САВАДА, Н. Н. СКАТОВ, П. ТИРГЕН,
В. А. ТУНИМАНОВ (главный редактор)

Текст подготовили и примечания составили

А. Ю. БАЛАКИН, Э. Г. ГАЙНЦЕВА, А. Г. ГРОДЕЦКАЯ,
С. Н. ГУСЬКОВ, Н. В. КАЛИНИНА, Т. И. ОРНАТСКАЯ,
В. О. ПАНТИН, А. В. РОМАНОВА, В. А. ТУНИМАНОВ

Редакторы тома

Т. И. ОРНАТСКАЯ, В. А. ТУНИМАНОВ

Подписное

ISBN 5-02-028258-8 (Т. 1)

ISBN 5-02-028257-X

© А. Ю. Балакин, Э. Г. Гайнцева,
А. Г. Гродецкая, С. Н. Гуськов,
Н. В. Калинина, Т. И. Орнатская,
В. О. Пантин, А. В. Романова,
В. А. Туниманов, составление,
статьи, комментарии, 1997
© Российская академия наук, 1997
© Л. А. Яценко, оформление, 1997

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящее собрание сочинений и писем И. А. Гончарова, выпускаемое Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, является первым полным академическим изданием, включающим все известные к настоящему времени его тексты, как законченные, так и незавершенные. В издание вошло художественное, публицистическое, эпистолярное наследие Гончарова; в него включены также его деловые бумаги. Тексты впервые подготовлены на основе тщательного изучения всех существующих источников публикуемого текста — печатных и рукописных — и также впервые печатаются в сопровождении подготовительных материалов, ранних редакций и вариантов, причем первоначальные редакции, коренным образом отличающиеся от окончательного текста, воспроизводятся полностью.

Каждый текст писателя — от романа до небольшой газетной статьи, незавершенного замысла или чернового наброска — сопровождается текстологическим, историко-литературным и реальным комментарием, учитывающим результаты работы предшествующих исследователей — отечественных и зарубежных.

Издание осуществляется главным образом коллективом сотрудников Института русской литературы при участии исследователей С.-Петербурга, Москвы, Ульяновска, а также славистов Германии, США, Франции, Японии.

Еще в недавнее время Гончаров, как известно, считался принадлежащим к разряду старомодных реалистов, чье творчество представляет лишь исторический интерес. Эту репутацию упрочила многолетняя школьная практика, когда «Обломова», например, изучали преимущественно в свете положений знаменитой статьи Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» и прямолинейных высказываний В. И. Ленина «по поводу обломовщины», не желая замечать художественного богатства, полнокровия романа и сводя его содержание к нескольким разоблачительным тезисам. Утверждалось, что антикрепостни-

ческие мотивы — главное в этом произведении. В «Обыкновенной истории» учили ценить борьбу с романтизмом и идеализмом; во «Фрегате „Паллада”» — разоблачение буржуазной морали и колонизаторской политики. Последний роман писателя «Обрыв» по вполне понятным причинам был в тени: консерватизм Гончарова и антинигилистическая направленность произведения порицались, хотя и не столь резко и безоговорочно, как «Бесы» Ф. М. Достоевского или «Некуда» и «На ножах» Н. С. Лескова. Но в Марке Волохове, разумеется, видели карикатуру на прогрессивную русскую молодежь. Это и внедрялось в сознание многих поколений читателей.¹

И вообще все то в творчестве Гончарова, что не соответствовало «прогрессивно-реалистическим» критериям, замалчивалось или глухо, между прочим упоминалось как отступление от правильной линии вплоть до конца 1960-х—начала 1970-х гг., когда стали переиздаваться статьи о Гончарове А. А. Григорьева, А. В. Дружинина, И. Ф. Анненского, а позднее и Д. С. Мережковского.

Естественной реакцией на тенденциозно подаваемую картину творчества Гончарова явилось некоторое охлаждение читающей публики к произведениям писателя. Тенденциозность освещения художественных достоинств произведений Гончарова мало способствовала и улучшению качества издания его сочинений. Тем не менее на необходимость издания свода научно выверенных текстов Гончарова обращалось внимание в научной периодике.²

Положение начало меняться к лучшему, когда в авторитетной серии «Литературные памятники» вышли два гончаровских

¹ О других точках зрения старались не вспоминать, как например об острых, хотя и не во всем бесспорных, суждениях И. А. Бунина в «Окаянных днях»: «Перечитываю „Обрыв”. Длинно, но как умно, крепко. Все-таки делаю усилия, чтобы читать, — так противны теперь эти Марки Волоховы. Сколько хамов пошло от этого Марка! „Что же это вы залезли в чужой сад и едите чужие яблоки?” — „А что это значит: чужой, чужие? И почему мне не есть, если хочется?” Марк истинно гениальное создание, и вот оно, изумительное дело художников: так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое, рассеянное в воздухе, что во сто крат усиливает его существование и влияние — часто совершенно наперекор своей задаче. Хотел высмеять пережиток рыцарства — и сделал Дон Кихота, и уже не от жизни, а от этого несуществующего Дон Кихота начинают рождаться сотни живых Дон Кихотов. Хотел казнить марковщину — и наплодил тысячи Марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги» (Бунин И. Окаянные дни; Воспоминания; Статьи. М., 1990. С. 120).

² См., например: Гейро Л. С. О проблемах научного издания Гончарова // Рус. лит. 1982. № 3. С. 133.

тома — «Фрегат „Паллада”» и «Обломов».¹ Естественно, что в юбилейные годы — в 1991 (сто лет со дня смерти) и в 1992 (180 лет со дня рождения) — особенно возрос интерес к творчеству писателя, обогатившего и историю европейского романа. В последнее десятилетие новые переводы и инсценировки произведений Гончарова появились в Германии, Франции, Италии, США, Японии, Китае; значительно увеличилось количество исследований в России и за рубежом, посвященных творчеству и биографии писателя.² Это книги, статьи, публикации, выступления на представительных конференциях П. Е. Бухаркина, Л. С. Гейро, О. А. Демиховской, В. А. Котельникова, Ю. М. Лошица, Ю. В. Манна, В. И. Мельника, В. А. Недзвецкого, Т. И. Орнатской, О. Н. Осмоловского, М. В. Отрадина, З. Т. Прокопенко, Н. Д. Старосельской, В. И. Тихомирова, В. А. Туниманова, П. Тиргена (Германия) и Х. Роте (Германия), Р. Нойхойзера (Австрия), А. Бурмейстера (Франция), В. Сечкарева (США), Е. Краснощековой (США), Э. Хайера (Канада), В. Сватоня (Чехия), М. Бабовича и Н. Милошевича (Югославия), К. Савада и О. Икуо (Япония), Ван Лицзю и Дяо Шаохуа (Китай). В сущности состоялось открытие самобытного, оказавшегося очень современным писателя. На Международной юбилейной конференции 1991 г., проводившейся в старинном немецком городе Бамберге, прозвучали слова о необходимости создания международного общества «гончароведов», о назревшей потребности в регулярных встречах-симпозиумах и о том, что давно пора подготовить научно-критическое издание полного собрания сочинений Гончарова с подробными комментариями и выпускать специальные бюллетени и сборники, посвященные его творчеству. В предисловии к сборнику докладов, прочитанных на Бамбергской конференции, проф. П. Тирген выразил надежду, что настоящее

¹ *Гончаров И. А. Фрегат «Паллада»: Очерки путешествия: В 2 т. / Изд. подгот. Т. И. Орнатская. Л., 1986; Гончаров И. А. Обломов: Роман: В 4 ч. / Изд. подгот. Л. С. Гейро. Л., 1987.* К названным книгам можно прибавить и скромный «гончаровский» раздел в т. 87 «Литературного наследства» (Из истории русской литературы и общественной мысли 1860—1890-х годов. М., 1977. С. 9—35). К сожалению, задуманный еще в конце 1930-х гг. особый «гончаровский» том этой серии не вышел из-за начавшейся войны; вновь подготовленный и отредактированный покойным С. А. Макашиным (при участии Т. Г. Динесман) этот том до сих пор ждет своей публикации.

² См., например: И. А. Гончаров: Материалы юбилейной Гончаровской конференции 1987 года. Ульяновск, 1992; И. А. Гончаров: Материалы Международной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1994.

издание, запланированное, судя по проекту, «в качестве критически пересмотренного полного собрания сочинений и редакционных вариантов, предложит исследователям творчества Гончарова новые исходные позиции, тем более что сюда должны войти многочисленные не публиковавшиеся до сих пор материалы», и затем подчеркнул, что «значимость этого издания будет не в последнюю очередь зависеть от научного комментария».¹

* * *

Первое предложение об издании своего собрания сочинений Гончаров получил в 1874 г. от неизвестного нам издателя,² а затем в 1878 г. от И. И. Глазунова и после некоторых размышлений и колебаний³ отказался от этих предложений. Лишь в начале ноября 1882 г. он подписал контракт, по которому «уступал» Глазунову свои авторские права.

В предшествующее же десятилетие (со времени выхода в свет отдельного издания романа «Обрыв» — 1870 г.) им были напечатаны «критический этюд» «Мильон терзаний» (1872), очерки «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» (1874; в последующих изданиях книги «Фрегат „Паллада“» они печатались в качестве заключительной главы под названием «Через двадцать лет»), «критические заметки» «Лучше поздно, чем никогда» (1879) и очерк «Литературный вечер» (1880). В 1881 г. эти произведения (кроме очерка «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании») вышли в свет отдельной

¹ Ivan A. Gončarov: Leben, Werk und Wirkung / Beiträge der I Internationalen Gončarov-Konferenz. Bamberg, 8.—10. Oktober 1991 / Herausgegeben von Peter Thiergen. Köln; Weimar; Wien, 1994. S. XVI—XVII.

² См. об этом в его письме М. М. Стасюлевичу от 4 февраля 1874 г.

³ 7 июня 1878 г. Гончаров, сообщая об этом переводчику П. Г. Ганзену, писал: «В настоящую минуту ко мне обратился один очень солидный и состоятельный книгопродавец, надежный человек и глава старинной и почтенной фирмы, с предложением приобрести право на издание. Может быть, я и решусь на это, хотя это сопряжено с нравственною, большою для меня пыткой, — между прочим, потому, что (...) нелегко отживающему старику являться в молодое общество и напоминать о себе, когда он уже пережил самого себя и несколько поколений, у которых новые вопросы, новые интересы, взгляды, нравы и т. д.». Колебания Гончарова отразились не только в словах «Может быть, я и решусь на это...», но и в строках авторского предисловия к Собранию сочинений 1884 г. Говоря здесь о своей статье «Лучше поздно, чем никогда», Гончаров пишет, что она «тогда», «вслед за появлением в печати романа „Обрыв“» (в «Вестнике Европы» в 1869 г.), предназначалась «для помещения, в виде предисловия, к полному собранию (...) романов, если б таковое состоялось...».

книгой, озаглавленной «Четыре очерка» («четвертым» были впервые опубликованные «Заметки о личности Белинского»); в эти же годы появился ряд журнальных и газетных корреспонденций, некрологов и писем-обращений.¹ Кроме того, в 1879 г. вышло третье, капитально переработанное издание книги «Фрегат „Паллада“», а в 1883 г. — пятое, вновь исправленное издание «Обыкновенной истории».

После заключения контракта с И. И. Глазуновым — представителем «старейшего в России книгопродавческого дома»,² в 1884 г. первое полное собрание сочинений вышло в свет; в 1886 г. появилось второе издание.³

В т. I обоих изданий вошел роман «Обыкновенная история», в т. II—III — «Обломов», в т. IV—V — «Обрыв», т. VI и VII заняли «очерки путешествия» «Фрегат „Паллада“», т. VIII заключал в себе названную выше книгу «Четыре очерка». Состав собрания сочинений устанавливался самим Гончаровым; тексты большинства произведений были им пересмотрены заново. В 1889 г. вышел т. IX (дополнительный),⁴ в который были включены «Воспоминания: I. В университете; II. На родине» и цикл «Слуги старого века».

В этом же 1889 г. Гончаров поместил в № 3 «Вестника Европы» статью «Нарушение воли», в которой протестовал против поспешной публикации писем недавно умерших (или даже живых) известных лиц и, в частности, просил «не печатать ничего», что он сам «не напечатал или на что не передал права издания (...) при жизни (...) конечно, между

¹ Некролог «Н. А. Майков» (1873); некролог «Е. Е. Барышов» (1881); «Письмо к редактору газеты „Голос“» (1883), «Письмо к бывшим студентам Московского университета» (1883), «Письмо к русским женщинам по случаю юбилейного приветствия» (1883), «Письмо к распорядителю вечера памяти И. С. Тургенева» (1883) и др. (ряд материалов опубликован без подписи Гончарова, под псевдонимными литерами).

² См. предисловие Гончарова к 3-му изданию «Фрегата „Паллада“» (1879).

³ *Гончаров И. А.* Полн. собр. соч. / С портретом автора, гравированным акад. И. П. Пожалостинным, и факсимиле. СПб.: И. И. Глазунов, 1884. Т. I—VIII; *Гончаров И. А.* Полн. собр. соч. 2-е изд. / С портретом автора, гравированным акад. И. П. Пожалостинным, и факсимиле. СПб.: И. И. Глазунов, 1886. Т. I—VIII.

⁴ *Гончаров И. А.* Полн. собр. соч. СПб.: И. И. Глазунов, 1889. Т. IX. Тому Гончаров предпослал следующее предисловие: «По желанию издателя моих сочинений, И. И. Глазунова, я предоставил ему помещенные в последние два года, 1887—1888, в журналах „Вестник Европы“ и „Нива“ мои литературные очерки, под заглавием „Университетские воспоминания“, „На родине“ и „Слуги“, издать в отдельном IX томе в дополнение к „Полному собранию“ моих сочинений в VIII томах».

прочим, и писем». Волеизъявлению писателя последовал Глазунов, издавший первое посмертное собрание сочинений Гончарова,¹ которое повторило состав двух прежних изданий с присовокуплением дополнительного т. IX. В этот последний том Глазунов решил включить «очерки» «Иван Савич Поджабрин» (1842), опубликованные самим Гончаровым в 1848 г. Вышедший же в год смерти Гончарова (1891) очерк «По Восточной Сибири. В Якутске и в Иркутске»,² а также опубликованный посмертно (завещанный одной из воспитанниц) очерк «Май месяц в Петербурге»,³ появившееся позднее сочинение «Превратность судьбы»⁴ и критический очерк «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“»⁵ в это издание не вошли.

Первый том посмертного издания открывался биографией писателя, написанной А. Филоновым.

В 1899 г. вышло новое собрание сочинений Гончарова,⁶ издатель которого счел возможным отступить от порядка расположения произведений, принятого во всех предыдущих собраниях. Т. I открывался статьей С. А. Венгерова «И. А. Гончаров. Биографический очерк», за которой следовали «критические заметки» «Лучше поздно, чем никогда», и лишь потом шла первая часть «Обыкновенной истории». В т. II печаталась вторая часть романа и статья «Нарушение воли». В т. III—IV помещался роман «Обломов». Далее (т. V—VII), нарушая традиционное расположение подряд всех романов, печаталась книга «Фрегат „Паллада“» и лишь вслед за ней (т. VIII—X) роман «Обрыв». В т. XI вошли очерк «Литературный вечер», «очерки» «Иван Савич Поджабрин», «критический этюд» «Мильон терзаний» и «Заметки о личности Белинского». В т. XII помимо традиционно печатаемых «Воспоминаний» и «Слуг старого века» впервые вошли такие произведения, как «Май месяц в Петербурге» и «Превратность судьбы».

До выхода в свет очередного собрания сочинений продолжались публикации из рукописного наследия писателя: в

¹ *Гончаров И. А.* Полн. собр. соч. / С портретом автора, гравированным акад. И. П. Пожалостинным, и факсимиле. 3-е изд. СПб.: И. И. Глазунов, 1896. Т. I—IX.

² Рус. обозр. 1891. № 1. С. 5—29.

³ Сборник «Нивы». СПб., 1892. № 2. С. 259—276.

⁴ Там же. 1893. № 1. С. 4—17.

⁵ Рус. обозр. 1895. № 1. С. 7—18.

⁶ *Гончаров И. А.* Полн. собр. соч. / С портретом автора, гравированным акад. И. П. Пожалостинным, и факсимиле. СПб.: А. Ф. Маркс, 1899. Т. I—XII (Прил. к журн. «Нива» на 1899 г.).

основном это были письма к разным лицам;¹ печатались и выборочные цензорские отзывы. Первые 19 таких отзывов были опубликованы в журнале «Русский вестник» (1906. № 10) с предисловием К. А. Военского, еще 4 были напечатаны в «Русской старине» (1911. № 3) и прокомментированы французским филологом-славистом А. Мазоном, преподававшим в 1905—1908 гг. в Харькове французский язык. Он же в 1911—1912 гг. публиковал письма писателя,² а в 1914 г. выпустил в Париже обширное исследование «Un maître du roman russe Ivan Gontcharov», в котором впервые появились рукописные варианты романа «Обломов» и еще 11 цензорских отзывов.

Вышедшее в юбилейном 1912 г. «Полное собрание сочинений» в 9-ти томах представляло собою 4-е «глазуновское» издание и повторяло состав 3-го издания (в 1916 г. Глазунов выпустил 5-е издание).

1912 г. был отмечен обширной публикацией писем Гончарова в различных периодических изданиях (т. IV пятитомного собрания «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», вышедшего под ред. М. К. Лемке, — 196 писем к М. М. и Л. И. Стасюлевичам; журнал «Современник» (№ 6. С. 173—175) — 7 писем к Н. А. Некрасову в публикации Е. Ляцкого; «Новое время, иллюстр. приложение» (№ 12943. 24 марта. С. 17—18) — письмо к кн. Д. Н. Цертелеву). Еще 32 письма к разным лицам, в том числе 29 писем к Е. В. Толстой, были опубликованы в 1913 г. П. Н. Сакулиным в журнале «Голос минувшего» (№ 11. С. 215—235; № 12. С. 230—251). В 1914 г. в № 2 (с. 403—437), № 3 (с. 538—551), № 4 (с. 48—59) «Русской старины» появилось 45 писем к А. В. Никитенко (публ. и коммент. В. Яковлева), а в 1915 г. Б. Л. Модзалевский опубликовал 25 писем к разным лицам во «Временнике Пушкинского Дома» на 1914 год (с. 94—130); в 1917 г. он же поместил 34 письма к Ю. Д. Ефремовой в вып. 2 «Невского альманаха» (с. 8—43); в 1916 г. М. Ф. Суперанский опубликовал одну из автобиографий Гончарова (конец 1873—1874 г.) и 14 писем к разным лицам.³ В 1916 г. появился еще ряд

¹ 13 писем к П. И. и Е. Е. Капнистам появились в журнале «Ежемесячные сочинения» (1903. № 1. С. 10—14); письма к П. А. Валуеву опубликовал К. А. Военский (в кн.: И. А. Гончаров в неизданных письмах к П. А. Валуеву. СПб., 1906. С. 10—64); отрывки из 7 писем к разным лицам — М. Ф. Суперанский (Вестн. Европы. 1907. № 2. С. 585—590).

² В 1911 г. в № 10 (с. 45—62) и № 12 (с. 491—499), а в 1912 г. в № 3 (с. 549—568) и № 6 (с. 492—527) «Русской старины» Мазон напечатал 47 писем Гончарова к разным лицам.

³ Огни. Пг., 1916. Кн. 1. С. 165—168, 188—229.

цензорских отзывов — 8 из них были опубликованы В. Е. Евгеньевым-Максимовым в № 9 «Северных записок» (с. 131—151) и 21 — им же в № 11 (с. 137—156) и № 12 (с. 141—174) журнала «Голос минувшего». В 1926 г. ученый напечатал еще 6 отзывов (Звезда. № 5. С. 190—192, 197—199).

В 1918 г. Литературно-издательский отдел Комиссариата народного просвещения предпринял переиздание двенадцатитомного «венгеровского» издания 1899 г., но оно прервалось на «Обломове» (т. III—IV).¹ Подобная же судьба ожидала и начатое в 1931 г. Б. В. Томашевским и К. И. Халабаевым собрание сочинений Гончарова. Вышли только т. I, III и IV — с «Обыкновенной историей» и «Обрывом».² Между тем публикация материалов из литературного, критико-публицистического и эпистолярного наследия Гончарова не прерывалась; росло и число исследователей творчества писателя. Среди них были такие ученые, как М. Ф. Суперанский, Б. М. Энгельгардт, Е. А. Ляцкий, В. Е. Евгеньев-Максимов, А. Г. Цейтлин, Б. В. Томашевский, Р. В. Иванов-Разумник. В 1920 г. Е. А. Ляцкий печатает повесть «Счастливая ошибка»,³ в 1921 г. Д. И. Абрамович — этюд «Христос в пустыне...»⁴ и в 1922 г. — письма к Е. П. Майковой.⁵ В 1923 г. появились «Материалы, заготавливаемые для критической статьи об Островском»,⁶ и в том же году Б. М. Энгельгардт ввел в научный обиход очерк «Уха»,⁷ а в 1924 г. Д. И. Абрамович опубликовал «Необыкновенную историю (Истинные события)».⁸ Продолжа-

¹ «Книжный голод, — сообщалось в предисловии к т. I, — вынуждает К(омиссариат) н(ародного) пр(освещения), не прерывая начатую подготовку новых изданий, перепечатывать классиков в спешном порядке по старым матрицам, мирясь с теми недочетами, которые трудно было исправить по техническим условиям» (*Гончаров И. А.* Полн. собр. соч. Пг., 1918. Т. I. С. 2).

² *Гончаров И. А.* Соч. / Ред. Б. Томашевского и К. Халабаева; Коммент. Р. Иванова-Разумника. М.; Л., 1931. Т. I, III, IV.

³ В кн.: *Ляцкий Е. А.* Гончаров: Жизнь, личность, творчество / Критико-биограф. очерки. 3-е изд. Стокгольм, 1920. С. 323—355.

⁴ Начала. 1921. № 1. С. 191—203.

⁵ Там же. 1922. № 2. С. 231—238.

⁶ Памяти А. Н. Островского: Сборник статей об Островском и неизданные труды его / Под ред. Е. П. Карпова, Д. К. Петрова, М. Д. Беляева, А. С. Полякова. Пг., 1923. С. 10—22.

⁷ И. А. Гончаров и И. С. Тургенев: По неизданным материалам Пушкинского Дома / С предисл. и примеч. Б. М. Энгельгардта. Пб., 1923. С. 67—74.

⁸ Сборник Российской Публичной библиотеки: Материалы и исслед. Пг., 1924. Т. II, вып. 1. С. 7—189.

лась и публикация черновых вариантов романов «Обрыв»¹ и «Обломов».² Ю. Г. Оксман включил в редактируемый им сборник «Фельетоны сороковых годов» (М.; Л., 1930) фельетон Гончарова «Письма столичного друга к провинциальному жениху», напечатанный в «Современнике» в 1848 г. В 1935 г. Б. М. Энгельгардт опубликовал 29 писем Гончарова из плавания,³ а в 1936 г. его раннюю повесть «Лихая болезнь»⁴ и 43 письма к разным лицам.⁵

В 1938 г. увидел свет составленный и прокомментированный А. П. Рыбасовым сборник «И. А. Гончаров. Литературно-критические статьи и письма», в который кроме ранее опубликованных статей вошло «Предисловие к роману „Обрыв“», а в разделе «Письма» появилось 9 писем к К. Р. (вел. кн. Константину Константиновичу) и др.; в том же году Рыбасов опубликовал стихотворения Гончарова.⁶ Затем наступил период многочисленных переизданий романов и книги очерков «Фрегат „Паллада“»; лишь время от времени появлялись отдельные публикации неизданных текстов: в 1940 г. В. Н. Злобин опубликовал «Поездку по Волге»,⁷ а в 1950 г. А. Г. Цейтлин ввел в научный обиход ряд рукописных текстов — «Упрек. Объяснение. Прощание» и «Хорошо или дурно жить на свете?»;⁸ появились и новые публикации писем Гончарова.⁹

Наиболее полное собрание сочинений Гончарова вышло в 1952 г.¹⁰ В т. VII этого издания были включены кроме

¹ Неизвестные главы «Обрыва» / Предисл. В. Ф. Переверзева; Вступ. статья А. Г. Цейтлина. М., 1926; набросок неосуществленного продолжения романа «Обрыв» / Подгот. текста Л. М. Добровольского // Лит. арх. Л., 1951. Т. 3. С. 85—90.

² Обломов: Роман / С прил. статьи Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» и неизданных вариантов «Обломова» с коммент. А. Г. Цейтлина. Харьков, 1927.

³ Лит. наследство. М., 1935. Т. 22—24. С. 344—427.

⁴ Звезда. 1936. № 1. С. 202—234.

⁵ И. А. Гончаров и И. С. Тургенев: По неизданным материалам Пушкинского Дома. С. 29—63, 78—106.

⁶ Звезда. 1938. № 5. С. 243—245.

⁷ Там же. 1940. № 2. С. 115—129.

⁸ Цейтлин А. Г. И. А. Гончаров. М., 1950. С. 444—449. Последний текст был впервые напечатанная Е. А. Ляцким в его книге «Роман и жизнь» (Прага, 1925).

⁹ Это 11 писем к И. И. Льховскому, подготовленных А. И. Груздевым (Лит. арх. Т. 3. С. 91—165), 14 писем к С. А. и Е. А. Никитенко, тоже подготовленных Груздевым (Там же. Л., 1953. Т. 4. С. 107—162), переписка с П. Г. Ганzenом, напечатанная М. П. Ганzen-Кожевниковой (Там же. Л., 1961. Т. 6. С. 37—105); 5 писем к Л. Н. Толстому, опубликованных Е. С. Серебровской (Л. Н. Толстой: Сборник статей и материалов. М., 1951. С. 696—708).

¹⁰ Гончаров И. А. Собр. соч. М., 1952. Т. I—VIII. (Б-ка журн. «Огонек»). Инициатива издания принадлежала А. Г. Цейтлину.

традиционно печатавшихся в посмертных собраниях сочинений произведений еще и фельетон «Письма столичного друга к провинциальному жениху», повести «Лихая болеть» и «Счастливая ошибка», незаконченный этюд «Поездка по Волге», очерки «Рождественская елка»¹ и «Уха». В т. VIII, составленный из статей, заметок, рецензий и автобиографий, а также отрывков из «Необыкновенной истории», вошли 196 писем к 65 адресатам, по большей части ранее не публиковавшихся.²

В том же 1952 г. в Гослитиздате начало выходить новое собрание сочинений Гончарова.³ В т. VIII этого издания вошли все прежде печатавшиеся критико-публицистические произведения Гончарова (кроме некролога «В. Н. Майков»). Эпистолярный, составивший вторую половину тома, был представлен здесь в меньшем по сравнению с предыдущим изданием объеме — 98 писем к тем же лицам, и содержал только 6 новых писем (к неустановленному лицу от 11 ноября 1861 г. и 5 писем к Е. А. и С. А. Никитенко), но зато письма были напечатаны полностью. В течение долгого периода, вплоть до конца 1970-х гг., именно этим изданием в основном пользовались и читатели, и исследователи (в определенной мере «рабочим» было также издание, вышедшее в том же издательстве в 1959—1960 гг.⁴ в серии «Библиотека классиков русской литературы» без статей (кроме статьи «Милльон терзаний») и писем).

Заметным событием в науке о Гончарове стал выход пяти книг справочного характера. Первая из них — описание рукописей писателя из Российской Национальной библиотеки,⁵ вторая — очередной выпуск «Описания рукописей и изобразительных материалов Пушкинского Дома», посвященный И. А. Гончарову и Ф. М. Достоевскому,⁶ исправляющий и дополняющий описание, которое ранее было составлено

¹ Очерк был напечатан А. Г. Цейтлиным со значительными искажениями текста и в 1953 г. был вновь опубликован Л. М. Добровольским в «Литературном архиве» (Т. 4. С. 99—106).

² Большая часть писем напечатана здесь в отрывках и со значительными погрешностями.

³ *Гончаров И. А.* Собр. соч. / Вступ. статья С. М. Петрова. М., 1952—1955. Т. I—VIII.

⁴ *Гончаров И. А.* Собр. соч. М., 1959—1960. Т. I—VI.

⁵ *Рукописи И. А. Гончарова: Каталог / С прил. неопубликованной статьи; Сост. и коммент. Б. И. Равкиной; Ред. С. Д. Балухатый. Л., 1940. Вып. 1.* В сборнике была впервые опубликована статья «Опять „Гамлет“ на русской сцене».

⁶ *Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского Дома: И. А. Гончаров; Ф. М. Достоевский. М.; Л., 1959. Вып. 5. С. 7—25.*

Л. М. Добровольским,¹ третья — «Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова»,² четвертая — библиография Гончарова³ и, наконец, пятая — описание библиотеки писателя.⁴

Последнее собрание сочинений И. А. Гончарова вышло в 1977—1980 гг.⁵ Из художественных произведений, включавшихся в собрание сочинений 1952 г., в него не вошли «Превратность судьбы» и «Рождественская елка», а также фельетон «Письма столичного друга к провинциальному жениху». Что же касается критико-публицистических статей Гончарова, то они в этом издании представлены наиболее полно, включая и некролог «В. Н. Майков». Раздел «Письма» в последнем томе этого издания был дан на основе эпистолярия т. VIII издания 1952—1955 гг. с небольшими дополнениями (письмо к П. А. Валуеву от 6 июня 1877 г. и 6 писем к П. Г. Ганзену, впервые опубликованных в т. 6 «Литературного архива»).

* * *

Настоящее собрание сочинений состоит из 20 томов (сплошной нумерации).

Расположение материалов по томам (и внутри томов) в основном хронологическое (по времени написания, если оно известно, или по времени первой публикации), благодаря чему читатель получает наиболее полное представление о становлении Гончарова — художника, публициста, критика. Так, в т. I входят произведения, предшествовавшие роману «Обыкновенная история», который по традиции открывал все предыдущие издания. Отступления от хронологического принципа допущены лишь в отдельных случаях (например, в т. III наряду с заключительной главой («Через двадцать лет»; первоначальное название — «Из воспоминаний и рассказов о морском плаваньи»; 1874) книги-путешествия «Фрегат „Паллада”» и очерком

¹ Добровольский Л. М. Рукописи и переписка И. А. Гончарова в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР: (Краткое описание) // Бюллетени Рукописного отдела Пушкинского Дома. Л., 1952. Т. III. С. 55—67.

² Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова / Подгот. А. Д. Алексеев; Под ред. Н. К. Пиксанова. М.; Л., 1960.

³ Алексеев А. Д. Библиография И. А. Гончарова: Гончаров в печати; Печать о Гончарове (1832—1964). Л., 1968.

⁴ Описание библиотеки Ивана Александровича Гончарова: Каталог / Сост. Н. И. Никитина, В. А. Сукайло, А. И. Кукуева; Отв. ред. И. Э. Барановская. Ульяновск, 1987 (Ульяновская обл. науч. б-ка).

⁵ Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. / Под общ. ред. С. И. Машинского, В. А. Недзвецкого, К. И. Тюнькина. М., 1977—1980.

«Два случая из морской жизни» (1858) помещен очерк «По Восточной Сибири. В Якутске и в Иркутске» (1891), непосредственно примыкающий к «Фрегату „Паллада“»).

Одна из главных задач данного издания — публикация всех известных текстов Гончарова, как печатавшихся при его жизни, так и обнаруженных в периодических изданиях после его смерти и появившихся, как правило, без подписи Гончарова, а также материалов, связанных с цензурской деятельностью писателя.¹ В собрание сочинений входят также материалы, относящиеся к редакторской службе Гончарова,² его участию в делах Литературного фонда,³ Уваровского фонда Академии наук⁴ и Общества русских драматических писателей (в составе жюри по присуждению ежегодной премии за лучшее драматическое произведение).⁵

В последнем томе сочинений будут помещены автобиографии, записи в альбомы, сведения о несохранившихся или неразысканных произведениях Гончарова и раздел «Dubia». Здесь же будут перечислены тексты, приписывавшиеся Гончарову без достаточных оснований и включавшиеся (в библиографиях и справочных трудах) в число его трудов.

В томах эпистолярия печатаются все известные личные письма Гончарова и в особом разделе — письма официальные. Письма к писателю в предельно полном объеме приводятся в комментариях к соответствующим письмам Гончарова, а в отдельных случаях печатаются полностью в разделе «Приложения». Каждый том эпистолярия включает сведения о несохранившихся и найденных письмах Гончарова соответствующего периода.

В предпоследнем томе издания будут сосредоточены разного рода биографические материалы — в том числе дарственные надписи на книгах и фотографиях, формулярные списки, различные послужные документы, распоряжения, завещания и т. п. В этом же томе будут впервые напечатаны материалы, по

¹ С марта 1856 г. по 1 февраля 1860 г. Гончаров служил цензором Петербургского цензурного комитета, а 21 июня 1863 г. стал членом Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания (с 1865 г. — Совет Главного управления по делам печати). Уволен согласно прошению по причине расстроенного здоровья 27 декабря 1867 г.

² 29 сентября 1862 г. Гончаров поступил на службу в Министерство внутренних дел на должность главного редактора газеты «Северная почта», которую исполнял до июля 1863 г.

³ С 17 декабря 1859 г.

⁴ 24 ноября 1860 г. Гончаров был избран членом-корреспондентом Российской академии наук по Отделению языка и словесности.

⁵ Гончаров был избран в состав жюри 13 марта 1876 г.

своему характеру относящиеся к разделу, который можно условно назвать «Рукою Гончарова».¹

Сочинения, опубликованные самим Гончаровым несколько раз, даются по последнему авторизованному изданию; опубликованные при жизни один раз — по первопечатному тексту, не публиковавшиеся при жизни — по рукописям, а в случае их отсутствия — по наиболее авторитетным источникам.

Тексты настоящего издания критически проверены по всем сохранившимся источникам (печатным и рукописным) и печатаются с устранением явных описок, типографских опечаток и других очевидных отступлений от авторского текста. При этом максимально сохраняются современные Гончарову орфографические и пунктуационные нормы, отразившиеся в обоих прижизненных собраниях его сочинений,² и, разумеется, лично Гончарову присущие языковые особенности.

В авторских планах, конспектах и других подготовительных материалах, а также в первоначальных и других редакциях и вариантах рукописей и прижизненных изданий индивидуальные особенности орфографии и пунктуации Гончарова сохраняются в большей степени.

Переводы отдельных иноязычных слов и фраз даются в подстрочных примечаниях без указания, что перевод принадлежит редакции. Все остальные подстрочные примечания, принадлежащие автору, сопровождаются пометой: «(примечание Гончарова)».

Справочный аппарат каждого тома содержит текстологические и историко-литературные комментарии. В текстологической части даются сведения обо всех рукописных и печатных источниках основного текста; в необходимых случаях здесь же содержится обоснование выбора источника этого текста. Это относится к двум романам: «Обыкновенная история» и «Обломов». Оба они до выхода в свет в двух авторизованных собраниях сочинений Гончарова 1884 и 1887 гг. печатались неоднократно: первый — 6 раз, второй — 3 раза. И оба от издания к изданию автором правилось. Но в одном из этих изданий правка носила настолько капитальный характер, что

¹ Ср., например: Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты / Подгот. к печ. и коммент. М. А. Цявловского, Л. Б. Модзалевского, Т. Г. Зенгер. М.; Л., 1935.

² При отсутствии большей части беловых и наборных рукописей судить об индивидуальных особенностях Гончарова в этой области чрезвычайно затруднительно. Подробно об этой проблеме см. в статье Л. С. Гейро «История создания и публикации романа „Обломов“» в названном выше (см.: наст. том. С. 7) издании (с. 636—646).

естественно вставал вопрос о наличии *другой редакции* каждого из названных романов. Такова была правка, предпринятая Гончаровым для издания романа «Обломов» в 1862 г., и, как выяснилось при подготовке настоящего тома, правка текста «Обыкновенной истории» для издания 1868 г. Капитальной переработке подвергся в 1879 г. и текст книги «Фрегат „Паллада“». ¹ Но если последний и лег в основу текста «Фрегата „Паллада“» в обоих прижизненных собраниях сочинений, то «Обыкновенная история» готовилась автором по тексту издания 1862 г., ² а «Обломов» — по тексту издания 1859 г. И главное, оба романа — первый в большей степени, второй в меньшей — еще раз правились автором для обоих собраний сочинений, что значительно усложняет вопрос об источнике основного текста, выдвигая на первое место проблему последней творческой воли автора.

В текстологической же части комментария приводится список исправлений, внесенных в основной текст по рукописям и авторизованным печатным изданиям. Историко-литературная часть комментария состоит из вводной статьи или заметки (в зависимости от объема и характера произведения), в которой содержатся сведения об истории создания и печатания произведения, о его литературных и жизненных источниках, благодаря чему оно вводится в контекст биографии Гончарова, перечисляются важнейшие интерпретации (как правило, прижизненные), а также основные отзывы современников и критики (не только прижизненной), даются сведения о переводах произведения на иностранные языки, об основных драматических переработках, театральных постановках и важнейших экранизациях.

Следующий далее постраничный реальный комментарий призван помочь современному читателю понять устаревшие слова и вышедшие из употребления термины и понятия, узнать источник и автора явной или скрытой цитаты, получить сведения об именах и событиях, вскользь упоминаемых в произведении.

Начиная с т. IX каждый том издания, включающий разнохарактерный материал — публицистический, критический, редакторский, цензорский и эпистолярный, содержит аннотированный указатель имен, упоминаемых в основном тексте

¹ См. об этом в статье Т. И. Орнатской «История создания „Фрегата „Паллада“» в названном выше (см.: наст. том. С. 7) издании (с. 779—781).

² Этот текст послужил основой для издания 1883 г., по которому, в свою очередь, набирался том собрания сочинений (1884 и 1887).

произведений. В последнем томе издания даются сводные указатели ко всем томам.

Редакция Академического полного собрания сочинений и писем Гончарова благодарит всех откликнувшихся на ее просьбу предоставить информацию о переводах произведений Гончарова на иностранные языки: г-на М. Нойберта (Библиотека Конгресса США), г-жу К. Найман (Финская Национальная библиотека), г-жу Л. Кардиа (Национальная библиотека Португалии), г-на Р. Д. Секеля (Французская Национальная библиотека), г-на Л. Г. Гутьереса (Национальная библиотека Испании), г-жу Э. Бартечко (Польская Национальная библиотека), г-жу Хоракову (Чешская Национальная библиотека), г-на Д. Хеллума (Датская Национальная библиотека), г-на Ф. ван Вийнсберга (Королевская библиотека Альберта I в Бельгии), г-на Ченг Женья (Китайская Национальная библиотека), г-жу Е. Янакиеву и г-жу И. Копринову (Болгарская Национальная библиотека) и, кроме того, сотрудников Британской, Швейцарской национальных и Шведской государственной библиотек.

Редакция также просит всех лиц в России и за ее пределами, располагающих автографами писателя (или сведениями о местонахождении таких автографов), а также другими материалами, связанными с творчеством и биографией Гончарова, оказать ей возможное содействие в работе присылкой копий с этих автографов и материалов или сообщением сведений о них по адресу: 199164, Санкт-Петербург. Набережная Макарова, д. 4. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук. Редакция заранее благодарит всех, кто отзовется на ее просьбу, и пользуется случаем, чтобы выразить глубокую признательность семье Резвцовых за любезно предоставленную Пушкинскому Дому возможность опубликовать (к сожалению, выборочно) прежде не печатавшиеся тексты записных книжек Гончарова 1887—1891 гг.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ОТРЫВОК

из письма к другу

Не утешай меня, мой друг!
Не унимай моей печали!
Ты сам изведал свой недуг
В тот час, когда ее венчали.
Ты знаешь, горько и смешно
Тогда бывает утешенье,
Когда сердечное волненье
Спокоит время лишь одно.
И так, порою если встретишь
Страдальца с пасмурным челом,
Молчи, мой друг: ты не излечишь
Той грусти тяжкий перелом.
Молчи, молчи! Ни взор участья,
Ни гармонический твой стих
Не истребят в несчастном их,
Следов душевного ненастья.
Попробуй в страшный бури час
Борьбу стихий унять словами
И заглушить громовый глас
Своими робкими устами;
Скажи волнам недвижно лечь,
Когда их буйный ветер роет;
Когда пучина дико воет,
Вели водам смиренно течь.
Безумно будет то веленье!
Так и душевного волненья
Не укротишь порывов вдруг!
Нет, ты не прав, мой милый друг,
Сказав, души в изнеможенье,

Что всё на свете суета!
Есть чувств возвышенных чета:
Они бессмертья нам порукой,
И жизнь без них была бы мукой,
И ты бы сам был демон злой,
Когда бы в их союз не верил,
Когда бы дружбе лицемерил,
Считал любовь за сон пустой;
Когда б лишь с чувственным желаньем
Взирал на юных дев красы
И друга, в скорбные часы,
Лобзал Иудиным лобзаньем!

ТОСКА И РАДОСТЬ

Отколь порой тоска и горе
Внезапной тучей налетят
И — сердце с жизнью поссоря,
В нем рой желаний умертвят?
Зачем вдруг сумрачным ненастьем
Падет на душу тяжкий сон?
Каким неведомым несчастьем
Ее смутит внезапно он?

.....
Кто отгадает, отчего
Проступит хладными слезами
Вдруг побледневшее чело?
И что тогда творится с нами!
Природы спящей тишина
В тот миг нам кажется страшна;
Глядим на небо — там луна
Безмолвно плавает, сияя,
И мнится — в ней погребена
От века тайна роковая;
В эфире звезды, притаясь,
Дрожат в изменчивом сиянье
И — будто дружно согласясь,
Хранят коварное молчанье.

.....
Сама земля, ее движенье
Наводят грустное сомненье,
Куда, зачем с толпой миров

Она так пристально несется,
И много ли еще веков
С ее громадой обернется?
И где пути ее конец,
И как свершит свое течение,
И нас, людей, там ждет венец
Блаженной доли иль мученье?
Зато случается порой
Иной в нас демон поселится:
То радость пламенной струей
Без зова в душу протеснится;
И затрепещет сладко грудь.
Помянем легкими мечтами
Прошедшего забытый путь;
Вдали ж, пред светлыми очами,
Мелькнет надежд блестящий рой.
И очарует нас собой
Ряд чудных, сладостных видений;
А в настоящем окружит
Толпа веселых сновидений;
И как всё ярко заблестит!
И как тогда весь мир прекрасен,
Как жизни путь и тих, и ясен!

.....

РОМАНС

Весны пора прекрасная минула,
Исчез навек волшебный миг любви:
Она в груди могильным сном уснула
И пламенем не пробежит в крови.
На алтаре ее осиротелом
Давно другой кумир воздвигнул я.
Молюсь ему — но, с сердцем охладелым,
Не скрасит он путь грустный бытия.
Тщеславия бездушными мечтами
Не заменить мне радости былой!
Так осень пожелтевшими листьями
Не заменит цветов весны златой.
Как с юных уст улыбка вдруг спорхнула
И заклеил их смерти страшный след,
Так и пора прекрасная минула,
Так и возврата ей, увы! уж нет.

УТРАЧЕННЫЙ ПОКОЙ

Я в мир вошел и оглянулся —
Роскошно всё цвело кругом;
Я горделиво улыбнулся;
Я в мире лучшим был звеном;
Мне дан был ум, благая воля,
Душа могучая дана,
И вся завиднейшая доля
Из наслаждений соткана.
Мне всё: и небо голубое,
И звезд прекрасных светлый рой,
На небе солнце золотое
С его подругою — луной!
Мне всё: и светлых вод равнины,
И яркой зелени леса,
Земли роскошные долины,
И гор угрюмая краса!
Мне всё, что дышит здесь со мною,
Что здесь со мной сотворено,
И всей Природе суждено
Мне быть послушною рабою.

.....

И дар еще мне дан заветный;
Тот дар мне рай напоминал,
Как им, счастливец, я играл,
Когда в Природе безответной
Душе созвучья не слышал.
Так! Я весь в чувствах утопал;
Так! Их гармония живая
Дарила мне златые сны.
Я, ими сладко засыпая,
Так прѣспал дни моей весны.
Те сны мне больше не приснятся;
Теперь мне ими не заснуть;
Те чувства вновь не возвратятся;
Мне в неге их не потонуть.

Но кто ж рукою дерзновенной
Кумир блаженства сокрушил?
Кто пламень чувства задушил
В груди, к прекрасному рожденной?

.....

Ужели время прочитало
Неотразимый приговор?
Ужель смерть дни пересчитала?
Ужель померкнет ясный взор?
Но ты, в поре надежд и силы,
Ты можешь горе позабыть,
И много, много до могилы
Прекрасных опытов прожить,
Объятая снова отворятся,
И снова в них падут друзья,
Мечты сильнее разгорятся,
Живее вспыхнет жизнь твоя;
Опять, быть может, образ милой
И прелесть брачного венца
Пробудят огонь в душе остылой,
Отгонят думы от лица.
К чему же грусть? к чему стенанья?
Беги печали и тоски.
Ужель до гробовой доски
Твои товарищи — страданья?

Так! Я страданьям обречен;
Я в бездну муки погружен.
Злодея казнь не так страшна,
Темницы тьма не так душна,
Как то, что грозною судьбой
Дано изведать мне собой!

ЛИХАЯ БОЛЕСТЬ

В декабре 1830 года, когда холера находилась еще в Москве, но уже значительно уменьшилась, из двухсот пятидесяти кур пятьдесят в самом непродолжительном времени лишились жизни.

Ученая брошюра о действиях холеры в Москве, доктора Христиана Лодера; Москва; страница 81.

Читали ли вы, милостивые государи, или по крайней мере слышали ли о странной болезни, которою некогда были одержимы дети в Германии и Франции и которой нет названия и другого примера в летописях медицины; именно: в них поселялось какое-то непостижимое стремление идти на гору св. Михаила (кажется, в Нормандии).

Тщетно отчаянные родители старались удержать их: малейшее сопротивление их болезненным желанием влекло за собою печальные следствия — жизнь детей медленно угасала. Удивительно? не правда ли? — Не будучи знаком с литературою медицины, не следуя за ее открытиями и успехами, я не могу сказать вам, объяснен ли этот факт или по крайней мере подтверждено ли его вероятие; но зато с своей стороны сообщу свету о подобной же не менее странной и непостижимой эпидемической болезни, губительных действий которой я был очевидным свидетелем и чуть не жертвою. Предлагая наблюдения мои со всевозможною подробностью, я осмеливаюсь предупредить читателя, что они не подвержены никакому сомнению, хотя, к сожалению, не запечатлены верною взгляда и ученым изложением, свойственным медику.

Прежде нежели опишу этот недуг со всеми его признаками, долгом поставяю уведомить читателя о тех особах, которые имели несчастье испытать его.

Несколько лет назад я познакомился с добрым, милым, образованным семейством Зуровых и проводил у них почти все зимние вечера. Время неприметно текло среди их самих, среди круга их знакомых, наконец, среди тех удовольствий, которые они избрали и допустили в своем доме. Там, правда, не было карт, и напрасно праздный старик или избалованный бездействием, мучимый головою и душевною пустотою юноша стали бы искать денег и развлечения в этом занятии: надежды их никогда не сошлись бы с благородным образом мыслей Зуровых и их гостей; но зато танцы, музыка, а чаще всего чтение, разговоры о литературе и искусствах поглощали зимние вечера.

С каким удовольствием вспоминаю я эту густую толпу друзей, осаждавшую большой круглый стол, перед которым на турецком диване сживала Мария Александровна, добрая хозяйка, и разливала чай, а сам Алексей Петрович ходил обыкновенно с сигарою и чашкою холодного чая вдоль по комнате, по временам останавливался, вмешивался в разговор и опять ходил. Помню и восьмидесятилетнюю бабушку, разбитую параличом, которая, сидя поодаль в укромном уголке на вольтеровских креслах, с любовью обращала тусклый взор на свое потомство, и соленая слеза мирного счастья мутила глаза ее, и без того расположенные к слепоте. Помню, как она поминутно подзывала младшего внука Володю и гладила его по голове, что не всегда нравилось резвому мальчику, и он часто притворялся, будто не слышит ее призыва. Сверх всего этого, бабушка была презамечательная особа во многих отношениях; а потому да позволено будет мне сказать еще несколько слов о ней: она сидела, как было упомянуто выше, постоянно на одном месте и владела только левою рукою: подивитесь же деятельности! умела употребить и единственную свою длань с пользою для общества; следовательно, несмотря на угасшие силы и едва таившуюся искру в ветхом сосуде жизни, занимала почетное звено в цепи существ. Когда утром внуки и внучки, подняв ее с постели, усаживали в кресла, тут она поднимала левою рукою с материнскою заботливостью стору у окна, и Боже сохрани, если б кто другой предупредил ее! Но только ли еще? Ужели умолчу о главной ее способности, которая дорого покупается бедным человечеством, — увечьем на службе или параличом; бабушка купила последним. Дело в том, что она

во всякое время предсказывала погоду и служила как бы домашним живым барометром. Так, ежели Марье Александровне, Алексею Петровичу или кому-нибудь из старших внуков нужно было идти со двора, то предварительно спрашивали ее: «Матушка (или бабушка), какова-то погода будет?» — и она, пощупав который-нибудь из онемевших членов, как вдохновенная сивилла, отрывисто отвечала: «Снежно — ясно — оттепель — великий мороз», — смотря по обстоятельствам, и никогда не обманывалась. Не полезно ли иметь такое сокровище в семействе? Помню и старого заслуженного профессора, который, оставив кафедру политической экономии, с большим успехом занимался еще исследованием разных сортов нюхального табаку и влияния его на богатство народов. Помню, наконец, свое место подле племянницы Зуровых, чувствительной, задумчивой Феклы, с которой я любил беседовать тишком о разных предметах, например о том, долго ли могут проноситься чулки после штопанья или сколько бы аршин холста потребовалось мне на рубашки и проч., на что она всегда давала ясные и удовлетворительные ответы. Помню, как острые, но не язвительные шутки сыпались со всех сторон и возбуждали дружный хохот; помню... Но простите, милостивые государи и государыни, что не могу привести в ясность и разместить в приличном порядке всех воспоминаний: они смешанной толпой теснятся в мою голову и выжимают оттуда слезы, которые струятся по щекам и потом орошают сию писчую бумагу. Позвольте обтереть их: иначе не дождетесь моего рассказа...

Ну вот теперь я покойнее и могу снова заняться своим предметом, от которого отворотили меня умиление и сострадание. «Сострадание? — спросите вы, — как? почему? какое?» Да, сострадание, милостивые государи и государыни, глубокое сострадание. Я был привязан к моим знакомым не только душевными, но и сердечными узами, которые хотел укрепить законным образом. Вспомните мой давешний намек на разговор с Феклой: это недаром; гм! понимаете? Как же не плакать, как не терзаться, когда подумаю, что всё семейство, начиная с бабушки и до шалуна Володи, погибло, погибло невозвратно жертвою страшной эпидемии, которая, к счастью, удовольствовалась этим, хотя и распространилась было и между знакомыми их, но те впоследствии избегли ее. Вот, извольте видеть, как это происходило.

Я вначале упомянул, что проводил у Зуровых зимние вечера, а об летних не сказал ни слова потому, что я летом не жил в Петербурге, а уезжал, по приглашению дяди-старика, к нему в деревню пить с ним, по его настоятельным просьбам, домашние наливки, из которых рябиновка, приготовленная по особенному рецепту, могла, как утверждал он, восстановить порядок в моей нервной системе, а простокваша и варенцы, любимый его полдник, — предохранить от желудочных болей, которым я был тогда подвержен. Как на минеральные воды, целые три лета сряду ездил я в деревню лечиться и взял три таких курса; но на четвертое небесам угодно было послать два страшные бедствия на ту губернию, где жил дядя: первое — неурожай на ягоды, вследствие чего наливочные бутылки остались пусты и праздно; и второе — скотский падеж, столь сильный, что число трехсот пятидесяти голов скота сократилось в три, варенцы и простокваша оскудели; дядя мой, видя, что белый свет мало-помалу теряет свою заманчивость и что любимые его занятия исчезают, с горя также пал вместе с последней любимой коровою и оставил меня наследником имения. — Остаток лета я употребил на приведение в порядок дел, а к началу зимы возвратился в Петербург. Первый мой визит был, разумеется, к Зуровым. Мне обрадовались. Я нашел всё по-прежнему, и зима опять застала те же лица в теплой зале Зуровых, за тем же чайным столом, — меня опять подле Феклы, Алексея Петровича с сигарою, Марью Александровну, с прежнею любезностью и умом, за нескончаемою от века работою, вышиванием ковра по канве, начатого ею еще до замужства. В детях только произошли некоторые перемены: старший сын возмужал, вступил в университет и начал прислушиваться к шороху женского платья, а младший перестал прятать у своего учителя-немца платок с табакеркой и сажать бабушку мимо кресел, да еще бабушка сама усугубила деятельность и в забывчивости опускала стору середь дня или, отходя ко сну, поднимала ее. Впрочем, всё остальное было по-прежнему.

Быстро проходила зима; вечера стали короче; бабушка перестала предсказывать о великом морозе; на языке у ней чаще вертелось слово «оттепель». Настал апрель; солнце пламенным лучом проводило последний зимний день, который, уходя, сделал такую плачевную гримасу, что Нева от смеху треснула и полилась через край, а

суровая земля улыбнулась сквозь снег. Ветреная щебетунья ласточка и верхолет жаворонок уже донесли о наступлении весны. В природе поднялся обычный шум; те, которые умирали или спали, воскресли и проснулись; всё засуеилось, запело, запрыгало, заворчалось, заквакало — на небеси горé, и на земли низу, и в водах, и под землю. Вот и петербургские жители заметили весну.

В первый теплый день я весело пустился из дому прямо к Зуровым поздравить их с праздником природы и провести у них целый день.

— Здравствуйте, Алексей Петрович! — сказал я. — Честь имею кланяться, Марья Александровна! поздравляю вас с весной. Нынче очень тепло.

Едва я выговорил эти слова, как — и теперь весь дрожу! — вдруг в целом семействе произошло необыкновенное движение: Алексей Петрович зевнул и значительно взглянул на жену; та отвечала ему болезненной улыбкой; двое младших детей судорожно запрыгали, а старшие захлопали в ладоши; глаза самой бабушки оживились каким-то неестественным блеском, и во всем этом проглядывала дикая радость. Я остановился и посмотрел на них в недоумении.

— Что с вами? — спросил я наконец с робостью, — здоровы ли вы?

— Слава Богу, — отвечал Алексей Петрович, сильно зевая.

— Но с вами творится что-то чудное. Не огорчены ли вы чем?

— О нет! напротив, мы радуемся наступлению весны: приходит время начать наши загородные прогулки. Мы любим пользоваться воздухом и большую часть лета проводим за городом.

— Прекрасно! — сказал я, — надеюсь, что вы и мне позволите разделять с вами это удовольствие.

Опять то же движение.

— С радостью, — отвечал Алексей Петрович и бросил на меня дикий взгляд. Я испугался не на шутку и не знал, что делать и как объяснить себе эту сцену. Я стоял в нерешимости; но чрез минуту всё приняло обыкновенный вид, и приветливость хозяйки вывела меня из затруднительного положения.

— Вы, надеюсь, с нами обедаете сегодня? — спросила она.

— С удовольствием, — отвечал я, — но как теперь еще рано, то позвольте мне сделать визит в один дом.

— Ступайте! — кричал мне вслед Алексей Петрович, — только непременно приходите, и как вы обещали ездить с нами за город, — тут опять он начал зевать, — то мы условимся, когда и как устроить первую поездку.

«Да еще теперь далеко до загородных прогулок», — подумал я, но сказать этого не решился, видя, как они горячо принимают к сердцу предстоящее удовольствие.

Вышед от них, я стал доискиваться причины этой непостижимой выходки целого семейства.

«Уж не питают ли они против меня какого-нибудь неудовольствия?» — подумал я; но приглашение к обеду и дружеские проводы не соответствовали странной встрече. Что бы это значило? Размышляя таким образом, я наконец вздумал пойти узнать всё от их старого знакомого... Да! я забыл сказать, что в числе посетителей дома Зуровых были двое, которых надобно познакомить с читателем покороче, потому что в этом деле они играют важную роль.

Один — Иван Степанович Вереницын, статский советник не у дел, искренний друг Зуровых с самого детства. Он был обыкновенно задумчив и угрюм, редко принимал участие в общем разговоре, сидел всегда поодаль от прочих или молча ходил взад и вперед по комнате. Многие сердились за его нелюдимость, холодное обращение, а потому и пропустили неблагоприятные слухи на его счет: одни говорили, что он страдает отвращением к жизни и раз чуть было не утопился, но мужики вытащили его из воды, за что и награждены медалями для ношения на анненской ленте; какая-то старушка уверяла, что он знается с демоном, и вообще все называли его гордецом и бранили за презрение к миру, а иные даже под великим секретом разглашали, — есть же такие злые языки! — что он влюблен в женщину сомнительного поведения; одним словом, если поверить всему, что об нем говорили, то надобно было возненавидеть его; если же не верить, то возненавидеть других за черную клевету. Я не сделал ни того ни другого и после увидел, что поведение его есть следствие особенного взгляда на мир и тех наблюдений, которые... если бы он захотел, публиковал бы сам, а нам в чужое дело вмешиваться не следует: нам довольно знать, что он всякий день бывал у Зуровых и пользовался их особенною привязанностью.

Другое лицо — мой товарищ по ученью, Никон Устинович Тяжеленко, малороссийский помещик, тоже старый знакомый Зуровых, чрез которого и я познакомился с ними. Этот славился с юных лет беспримерною методическою ленью и геройским равнодушием к суете мирской. Он проводил большую часть жизни лежа на постели; если же присаживался иногда, то только к обеденному столу; для завтрака и ужина, по его мнению, этого делать не стоило. Он, как я сказал, редко выходил из дому и лежачею жизнью приобрел все атрибуты ленивца: у него величественно холмилось и процветало нарочито большое брюхо; вообще всё тело падало складками, как у носорога, и образовывало род какой-то натуральной одежды. Он жил у Таврического сада, а пойти туда прогуляться было для него подвигом. Напрасно врачи предсказывали ему неизбежную борьбу с целым легионом болезней и разных сортов смертей: он опровергал возражения самыми простыми и ясными доводами; например, если упрекали его, что он мало ходит и может подвергнуться апоплексическому удару, он отвечал, что у него из передней в спальню ведет темный коридор, по которому он пройдет по крайней мере раз пять в день, чего, по его мнению, очень, очень достаточно, чтобы предохранить от удара. К этому, в виде заключения, он прибавлял следующее рассуждение, что ежели, дескать, и постигнет его, Тяжеленку, удар, то этот случай даст ему повод и законную причину сидеть безвыходно дома и послужит красноречивою защитою от всяческих нападений, и что тогда уже ему нечего будет опасаться насчет своего здоровья. Что же касается до воздуха, которым ему советовали пользоваться, то он утверждал, что, просыпаясь утром, он прикладывает лицо к отворенной форточке и насасывался воздуху на целый день. Врачи и друзья пожимали плечами и оставляли его в покое. Таков мой приятель Никон Устинович. Он любил Зуровых и бывал у них раз в месяц, но как это казалось ему выше сил, то он нарочно познакомил меня с ними.

— Ходи к ним почаще, братец, — сказал он мне, — они прекрасные люди, я их страх как люблю; да требуют, чтобы я раз в неделю бывал у них — эка шутка! Так, пожалуйста, ходи ты за меня и сообщай новости им обо мне, а мне об них.

К нему-то я отправился после странности, замеченной мною у Зуровых, в надежде, что он, как старый знакомый

зная всё касающееся до них, объяснит и мне. В ту минуту, когда я зашел к нему, он замышлял о перевороте на левый бок.

— Здравствуй, Никон Устиныч, — сказал я. Он, лежа, кивнул головой. — Здоров ли? — Он опять кивнул, в знак подтверждения: Никон Устинович даром не любил терять слов. — Зуровы тебе кланяются и пеняют, что ты совсем разлюбил их. — Он потряс головой в знак отрицания. — Да промолви же хоть словечко, мой милый!

— Вот... погоди... дай расходиться, — наконец медленно произнес он. — Сейчас подадут мой завтрак, так я, пожалуй, и привстану.

Через пять минут человек с трудом дотащил к столу то, что Никон Устинович скромно называл «мой завтрак» и что четверо смело могли бы назвать своим. Часть ростбифа едва умещалась на тарелке; края подноса были унижены яйцами; далее чашка или, по-моему, чаша шоколада дымилась, как пароход; наконец, бутылка портеру, подобно башне, господствовала над прочим.

— Ну вот теперь я... — начал был Тяжеленко говорить и вместе привставать, но ни то ни другое не удалось ему, и он опять упал на подушку.

— Неужели ты один съедаешь столько?

— Нет, и собаке даю, — отвечал он, указывая на крошечную болонку, которая, вероятно в угождение своему господину, лежала, как и он, постоянно на одном месте.

— Ну, Бог тебя суди! Однако, не шутя, — продолжал я, — не пойдешь ли ты со мной обедать к Зуровым?

— И! что ты! в уме ли? — сказал он и махнул рукой. — Лучше останься со мною: у меня будет славный окорок, осетрина, сибирские пельмени, сосиски, пудинг, индейка и чудесная дробина. Сам, братец, командовал, как приготовить ее.

— Нет, спасибо; я дал слово; к тому же у нас нынче за столом будет интересный разговор о приготовлениях к загородным прогулкам.

Вдруг лицо Тяжеленки оживилось; он сделал над собой страшное усилие и — привстал.

— И ты! — И ты! — вскрикнули мы оба в одно время.

— Что значит твое восклицание? — спросил я.

— А твое?

— Мое, — отвечал я, — вырвалось от удивления, что давеча с Зуровыми сделались конвульсии, а теперь ты

чуть не встал на ноги оттого только, что я заговорил о весне и загородных прогулках. Теперь ты видишь, что я воскликнул не без причины. Ну а ты отчего?

— Моя причина важнее, — отвечал он и поместил в рот кусок ростбифа. — Я думал, что ты болен.

— Болен? Спасибо за участие, но с чего ты взял это?

— Я думал, что... ты заразился.

— Час от часу не легче! От кого? чем?

— От кого! от Зуровых.

— Что за дичь! Объяснись, пожалуйста.

— погоди, дай... поесть. — И он тихо, медленно, как корова, жевал мясо. Наконец исчез последний кусочек; всё было съедено и выпито, и человек, принесший завтрак обеими руками, вынес остатки двумя пальцами. Я подвинулся ближе, и Тяжеленко начал:

— Заметил ли ты в эти три года твоего знакомства с Зуровыми что-нибудь особенное в них?

— До сих пор ничего.

— А поедешь ли летом в деревню?

— Нет, останусь здесь.

— В таком случае, начиная с нынешнего утра, ты будешь каждый день замечать диковинные штуки.

— Да что же это значит? скоро ли я добьюсь от тебя? и если в них скрывалось что-нибудь особенное, отчего ты не сказал мне об этом прежде?

— Значит это то, — продолжал Тяжеленко с расстановкою, — что у Зуровых недуг.

— Что ты говоришь? Какой недуг? — вскричал я с ужасом.

— Станный, братец, очень странный и заразительный. Сядь, слушай и не торопи меня... Я предвижу, что мне нынче и без того придется до смерти устать. Шутка ли, сколько рассказывать! Да нечего делать: надо спасти тебя. Не говорил я тебе до сих пор об этом потому, что не было никакой надобности: ты жил в Петербурге только зиму, а в это время в них заметить ничего нельзя; ума у них пропасть, время неприметно летит в их беседе; а вот летом, так чудо! они на себя не похожи; совсем другие люди; не едят, не пьют: только одно на уме... Жалость! жалость! а помочь нечем!

— По крайней мере скажи мне название и свойство болезни, — спросил я.

— Названия ей нет, потому что это, вероятно, первый случай; а свойство сейчас объясню. Как бы, с чего

начать?.. Вот, видишь ты... Да это премудренная вещь, когда не знаешь имени... Ну, хоть пускай, назову пока «лихой болезнью», а там как медики дознаются, то окрестят по-своему. Дело в том, что Зуровым летом дома не сидится: вот какой страшный, убийственный недуг.

И Тяжеленко одним вздохом выпустил с полфунта воздуха, сделав прекисную гримасу, как будто у него из зубов вытаскивали лакомый кусок. Я захохотал.

— Помилуй, Никон Устиныч! да это — недуг только в твоих глазах. Ты сам одержим гораздо опаснейшею болезнью: целый век лежишь на одном месте. Эта крайность скорее доведет до гибели. Или ты, может быть, шутишь?

— Какие шутки! болезнь, братец, страшная болезнь! Наконец скажу яснее: их губит неодолимая страсть к загородным прогулкам.

— Да это приятнейшая страсть! Я сам дал слово участвовать в поездках.

— Ты дал слово? — воскликнул он. — О несчастный Филипп Климыч! что ты сделал! Ты пропал! — Он чуть не заплакал. — Ты уж и с Вереницыным говорил об этом?

— Нет еще.

— Ну, слава Богу! есть время всё исправить: только слушайся меня. — Я в недоумении смотрел на него, а он продолжал: — Я сам, бывало, помнишь ли, в старые годы, когда имел глупость большую часть дня и даже ночи проводить на ногах: то-то молодость! — не прочь пойти в лес с маленьким запасом, например... этак... с жареной индейкой под мышкой и с бутылкой малаги в кармане; сяду под дерево в теплый день, поем и лягу на травку; ну — а потом и домой. А эти люди убивают себя прогулками. Вообрази, до чего дошли! если летом в который день остаются дома, то, по собственному их признанию, которое я подслушал в один из припадков, их что-то давит, гнетет, не дает им покою; какая-то неодолимая сила влечет за город, какой-то злой дух вселяется в них, и вот они... — Тут Тяжеленко начал говорить с жаром: — Вот они плывут, скачут, бегут и, приплывши, прискакавши, прибежавши туда, ходят чуть не до смерти — как не падут на месте! то взбираются на крутизны, то лазят по оврагам. — Здесь каждое из этих понятий он сопровождал живописным жестом. — Пускаются вброд по ручьям, вязнут в болотах, продираются между колючими кустарниками, карабкаются на высочайшие деревья; сколько раз

тонули, свергались в пропасти, вязли в тине, коченели от холода и даже — ужас! — терпели голод и жажду!

Всё это красноречие выходило из Тяжеленки вместе с потом. О, как он был прекрасен в эту минуту! благородное негодование изображалось на обширном челе его, крупные капли пота омывали лоб и щеки, а вдохновенное выражение лица позволяло принять их за слезы. Предо мной воскресли златые, классические времена древности; я искал ему приличного сравнения между знаменитыми мужами и отыскивал сходство в особе римского императора Вителлия.

— Bravo! брависсимо! хорошо! — кричал я, а он продолжал:

— Да, Филипп Климыч! бедствие, сущее бедствие постигло их! Ходить целый день! Хорошо, что они еще потеют: это спасает их; но скоро и эта благодатная роса иссякнет от изнурения, и тогда — что с ними станется? А зараза глубоко пустила корни; она медленно течет по жилам их и пожирает жизненную эссенцию. Этот добрый Алексей Петрович! эта любезная Марья Александровна! почтенная бабушка! дети — бедные молодые люди! Юность, цветущее здоровье, блестящие надежды — всё истает, исчезнет в изнурении, в тяжких, добровольных трудах! — Он закрыл лицо руками, а я захохотал. — И ты можешь смеяться, жестокосердый человек?

— Да как же, братец, не смеяться, когда ты, равнодушнейший человек, беспечный до того, что если бы мир обрушился над твоею головою, ты бы не раскрыл рта спросить, что за шум, — ты целый час убиваешься и потеешь, а если б мог, и заплакал бы оттого только, что другие предаются ненавистнейшему для тебя удовольствию — прогулке!

— Ты всё еще не постигаешь, что я не шучу. Разве ты не видал зловещих признаков? — сказал он с досадой.

— Не знаю... мне показалось... Однако, какие же это признаки? — спросил я.

— А беспрестанная зевота, задумчивость, тоска, отсутствие сна и аппетита, бледность и в то же время какие-то чудные пятна по всему лицу, а в глазах что-то дикое, странное.

— Вот об этом-то я и пришел спросить тебя.

— Ну так пойми же и знай, что лишь только они вспомнят о лесах, полях, болотах, уединенных местах, то

все эти признаки обнаруживаются и ими овладеет тоска и дрожь до тех пор, пока они не удовлетворят бедственному желанию: тогда они торопливо несутся вон, не оглядываясь, едва захватив с собой необходимое, как будто подстрекаемые, гонимые всеми демонами ада.

— Да куда ж они ездят?

— Всюду: на тридцать верст от Петербурга нет ни одного куста, которого бы они не обшарили. Не говорю об известных местах — Петергофе, Парголове, которые всеми посещаются: они теперь ищут мало посещаемых захолустьев, для того чтоб, слышь, беседовать с природой, дышать свежим воздухом, бежать от пыли, и... кто их знает еще от чего! Послушай Марью Александровну, она тебе понаскажет: тут, дескать, от одних рынков да рестораций задохнешься! Гм! какая несправедливость! какая черная неблагодарность! от рынков и рестораций, этих приютов здоровья, мирного счастья! бежать средоточия произведений двух богатейших царств природы — животного и растительного; задыхаться воздухом тех мест, где сладчайшей потребности, еде, созидают чертоги, сооружают алтари! Скажи-ка мне, какая площадь величественнее Сенной и чем уступает выставка естественных произведений, которая бывает на ней, выставке художественных? Наконец, бежать наслаждения, которое только одно не убегает нас и — вечно юное, всегда свежее, ежедневно осыпает новыми, неувядаемыми цветами! Всё остальное есть призрак; всё непрочно, непостоянно; прочие радости ускользают от нас в ту минуту, когда их достигаешь, тогда как тут, если бы что-нибудь и вздумало ускользнуть, то меткая пуля летит вперед, по гласу прихотливого желания, и покоряет дерзкое существо. Зачем же эти удобства и обширные средства, как не для того, чтоб с признательностью наслаждаться и...

Видя, что Тяжеленко ударился в тонкости гастрономии, науки, которую он обрабатывал с успехом как теоретически, так и практически, в чем и дал мне два образца в одно утро, я остановил его.

— Ты забыл о Зуровых, — сказал я.

— Что тебе еще говорить об них? Погибшая семья! Вообрази, — продолжал он, — что обыкновенная прогулка Алексея Петровича составляет такой круг, который едва ли не превосходит сумму прогулок всей моей жизни. Он, например, отправляется из Гороховой в Невский монастырь, оттуда на Каменный остров, там гуляет, гуляет,

переходит на Крестовский, с Крестовского через Колтовскую на Петровский, с Петровского на Васильевский, и назад в Гороховую, каково? и всё это пешком, и всё бегом — не ужас ли? То ли еще! Иногда в глубокую ночь, когда всё лежит, и богатый, и бедный, и звери, и... птицы...

— Кажется, птицы не лежат, — заметил я.

— Да... ну всё равно. А жаль их! Зачем бы природе лишать их этого невинного наслаждения! На чем, бишь, я остановился?

— Птицы, сказал ты.

— Да ведь ты говоришь, что птицы не лежат? Постой же; кто еще лежит?..

— Да нельзя ли, любезный Тяжеленко, попростее, так, знаешь, поближе к предмету? А то ведь устанешь.

— Правда, правда. Спасибо, что напомнил. Позволь же, я лучше прилягу: мне тогда будет ловчее. — Он прилег на подушки и продолжал: — Итак, иногда ночью вдруг Алексей Петрович вскочит с постели, выйдет на балкон и потом будит свою супругу: «Какая славная ночь, Марья Александровна! что если бы поехать!» И вдруг — куда девается сон! весь дом вскакивает, наскоро одеваются и бегут вон в сопровождении двух вернейших слуг — уввы! также зачумленных. Или в другой раз, чему я сам бывал свидетелем, в середине обеда, в самый отрадный момент нашего бытия, между соусом и жарким, когда первые порывы голода миновались, но приемлемость к дальнейшим наслаждениям еще не притупилась, вдруг Алексей Петрович восклицает: «Что если бы мы доели это пирожное и жаркое за городом!» За мыслью мгновенно следует исполнение, — и жаркое с пирожным улетают в поле, а я, один, со слезами на глазах, возвращаюсь домой. Короче, никогда ни один поклонник женолюбивого пророка не стремился с такою жадностью в Мекку, ни одна московская или костромская старуха не жаждала так сильно подышать святостью киевских пещер.

— При таком влечении к природе, им бы жить на даче или в деревне, — сказал я.

— Они и жили прежде, но дети выросли; заботы об их воспитании и другие важные обстоятельства удерживают их в городе. Пускай бы уж они одни несли бремя «лихой болести», а то вот беда: при их достоинствах, многие ищут знакомства с ними, и те, которые живут лето здесь, — погибают. Старый профессор начинает

тосковать, теряет аппетит и сон; у племянницы его Зинаиды ubyло несколько поклонников, которым не понравился новый талант ее — зевота; и прелестной супруге дипломата несдобровать бы, если бы она не уезжала каждый год летом на воды.

— Мне кажется, так недуг-то у тебя, — сказал я, — вот уж мне от твоих пустяков спать хочется.

— В этом я тебе никогда не помешаю, — отвечал Тяжеленко с неудовольствием, — равно как и в том, хочешь ты верить или нет.

— Ну, не сердись, мой милый! а лучше скажи, как же хотел спасти меня и где корень зла?

— Как! разве я тебе по сию пору не сказал еще? Вереницын, братец: вот кто всему причиной! он и Зуровых заразил!

— Возможно ли! кажется, человек такой к ним приверженный...

— Да, да, — прервал Никон Устинович, — славный человек, и поесть любит, и всё; да что ж делать! Лет восемь назад он отправился путешествовать по России, был и в Крыму, и в Сибири, и на Кавказе, — охота же людям шататься по свету! точно как нечего глотать здесь! — наконец уединился в Оренбургском крае и жил всё там, а года четыре назад возвратился сюда с переменю в характере и «лихой болезнью». Он по-прежнему посещал Зуровых каждый день и каждый день вливал понемногу отравы в их мозг — и отравил; и все те, которые ближе, искреннее с ним, скорее, легче и более заражаются.

— Что же, — спросил я, — осведомлялся ли ты о причине этой странности?

— Как же! у него самого, да он всегда глухо отвечает, с неудовольствием отворотится и проворчит сквозь зубы: «Так, болезнь!» Впрочем, экономка Зуровых, Анна Петровна, моя добрая приятельница, сказывала мне под секретом, что будто он, живучи в Оренбургском краю, частенько ездил в степи и влюбился там в какую-то калмычку или татарку, кто его знает! Видишь, он какой! от него слова путного не добьешься; попробуй-ка спросить его когда-нибудь: «Что вы, Иван Степаныч, обедали сегодня? какие кушанья?» — ни за что не скажет: пренеткровенный! Итак, Анна Петровна утверждает, что он даже жил в улусах кочующих племен и прижил там двоих детей, которых девал неизвестно куда. Ну, что мудреного,

если он среди степей приобрел это расположение к полям? а что оно приманчиво, так это не чудо: азиатские колдуньи всегда были мудренее европейских. Читал ли ты, что пишут про арабских волхвов? чудеса! Может быть, калмычка из ревности заворожила его. Зайди-ка к нему вечером когда-нибудь: проклятые-то так и смотрят ему в глаза!

— Кто проклятые?

— А котята-то! двое всегда за пазухой, двое на столе, да двое на постели; а днем всё пропадают. Что ни говори, а тут не просто!

— И тебе не стыдно верить таким пустякам?

— Я не верю, а только пересказываю предположения Анны Петровны.

— До сих пор, однако же, не успел сказать мне, почему ты не заразился сам и есть ли какое средство к спасению?

— Постоянного нет; всякий должен сам придумать. Меня предостерег покойный полковник Трухин, который также не был подвержен «лихой болести». Он был малый не промах, и как скоро Вереницын стал его заговаривать, тот, чувствуя в себе что-то необыкновенное, употребил все силы, чтобы исторгнуться из беды. К счастью, он вспомнил какое-то стихотворение, которое нагоняло всегда тоску на Вереницына. Полковник и давай декламировать: тот упал в обморок, а он спасся. С тех пор Вереницын больше не покушался погубить его, хотя он вообще усердно хлопочет об этом и, как демон-искуситель, вкрадывается в душу, усыпляет, доводит до бесчувственности, а там уж и паразит своею чарою, — не знаю, съест ли, выпить ли что даст... Ну вот когда он расположился опутать меня адовыми сетями, я стал придумывать, как бы сразить его чем-нибудь необыкновенным, что особенно предписывал мне Трухин. Я думал, думал, думал и наконец — угадай, чем поразил?

— Не знаю, — отвечал я.

— Ты помнишь мой голос?

— Твой голос? что, бишь, это такое?..

— Ну, неужели не помнишь? Вот, постой, я спою.

Он вытянул губы, надул щеки и хотел уж огласить храмину нечестивыми звуками, но мне вдруг припомнилось этот скрип немазанных колес: у меня от воспоминания затрещало в ушах, я замахал руками и благим матом закричал:

— Помню, помню! Сделай милость, не начинай! Чудовищный голос!

— Ну, то-то же, — сказал он. — Хотя моя родина славится мелодическими голосами, да в семье не без урода! Так когда только лишь он начал заговаривать меня, я вдруг запел во всё горло: он зажал уши и скрылся. Ты тоже изобрази что-нибудь, только помни, что надобно ошеломить его с первого раза, а иначе прощай! погибнешь. После Зуровы сами затеяли было втянуть меня и уговорили пойти прогуляться в Летний сад, вероятно, с намерением увлечь оттуда за город. Дорого стоило им исторгнуть мое согласие; наконец, мы пошли. Я, заметив их враждебный умысел, стал оглядываться, куда бы скрыться, — и что же? колбасная лавка в двух шагах! Думать нечего: они заговорились, а (я) и нырнул в нее. Они никак не догадались, куда я скрылся: осматривались, осматривались, а я поглядываю из окна да помираю со смеху! Вот всё, что могу сообщить тебе о «лихой болести», — больше не спрашивай. Посмотри мне в лицо: видишь, как в нем нарушено спокойствие горестными воспоминаниями и продолжительным рассказом? Постигни же и почти великость жертвы, принесенной дружбе; не тревожь моего покоя и — удались.— Эй, Волобоенко! — закричал он своему человеку, — воды! окати мне голову, опусти сторы и не беспокой меня ничем до самого обеда.

Напрасно я пытался сделать ему еще несколько вопросов: он остался непреклонен и свято хранил упорное молчание.

— Прощай, Никон Устиныч! — Он молча кивнул головой, и мы расстались.

«Кто ж из них болен? — думал я по выходе от него, — верно, Тяжеленко. Что за вздор молол он мне об этих милых, добрых Зуровых? Как я посмеюсь с ними над ленью моего приятеля!»

Погуляв еще немного, я возвратился к Зуровым, и хотя час обеда приближался, но ни слуги, ни господы не думали об том. Алексей Петрович занимался с старшими детьми приведением в порядок рыболовного снаряда; Марья Александровна что-то писала. Я заглянул в бумагу и прочитал сверху надпись крупными словами: «Реестр серебру, столовому белью и посуде, назначенным на сие лето для загородных прогулок».

«Ого! — подумал я, — да приготовления-то идут не на шутку!»

А еще подальше Феклуша штопала серые чулки под цвет пыли, тоже для прогулок. Марья Александровна приветствовала меня зевотою.

— Иван Степаныч вас ждет в бильярдной, — сказала она. — Теперь еще рано: он просит сыграть с ним партию.

Вереницын встретил меня с тем видом, с каким встречает вас купец в лавке, портной в своей мастерской, то есть с надеждой на добычу. Мы вооружились киями и стали играть. Вдруг во время игры случилось мне взглянуть на него попристальнее: он зевал и с тоскливой миной посматривал на меня.

— Что вы? что вы? — вскричал я, подбежав к нему.

— Ничего, продолжайте играть, — сказал он басом, — сорок семь и тридцать четыре.

— Нет, — отвечал я, — мы доиграем после, а теперь позвольте отдохнуть: я много ходил.

— И прекрасно! сядемте же на диван.

Мы сели. Я положил голову на подушку. Он, приклонясь к моему уху, начал что-то нашептывать так тихо, что я не мог расслышать ни слова. Мне стало скучно: я задремал.

— Вы спите? — спросил он торопливо.

— Поч...ти... — пробормотал я сквозь сон.

— Ах, не спите, пожалуйста! мне надо поговорить с вами о многом, а я только начинаю.

— Из... ви... ните... не... могу...

Далее не помню, что было: я заснул; только впросонках слышал, как он, уходя, проворчал со вздохом: «Опять неудача! этот заснул, не слушав. Видно, придется не распространять моего недуга далее, а влачить его целый век одному и ограничиться единственными спутниками, Зуровыми».

Не знаю, долго ли я спал; человек разбудил меня, когда уже все сели за стол.

«Опять неудача, сказал он, — думал я. — Неужели рассказ Тяжеленки справедлив? Бедные Зуровы. А я, стало быть, избавился от дьявольского прельщения благодатным сном!»

За обедом кроме Зуровых была еще Зинаида с дядею. Сначала разнообразный разговор весело перебежал между собеседниками; но к концу обеда вдруг Алексей Петрович начал неистово зевать, и зевота сообщилась всем, кроме меня.

— А когда за город? — спросил Алексей Петрович, обращаясь к Вереницыну.

— Послезавтра, — отвечал тот.

— Бабушка! — закричал Володя, — какова погода будет послезавтра?

— Облачно, — отвечала старуха.

— Что за беда, что облачно! — сказала Марья Александровна, — хоть бы и дождик, мы всё можем ехать.

— Помилуйте! — воскликнул я, — дождитесь по крайней мере мая: теперь холодно, в поле даже нет травы. Как можно за город в апреле месяце, и с вашим здоровьем!..

— А что ж, разве мое здоровье худо? — прервала она меня. — Я довольно часто бываю здорова: помните, в свои именины, на третий день Рождества, Великим постом три раза чувствовала себя хорошо, — чего еще хотеть?

— А вы поедете? — спросил у меня Алексей Петрович, — вы дали слово.

— Я готов разделять с вами это удовольствие, — отвечал я, — только не прежде июня месяца, а не беспрестанно и во всякое время, как вы собираетесь. Я не понимаю, как не наскучит быть слишком часто за городом: что там делать?

— Возможно ли! — закричали все хором, — что делать за городом! — И начали: — Сидеть без шапки на жару и удить рыбу, — вопил неистово Алексей Петрович.

Фекла: — Есть масло, сливки, собирать ягоды и грибы.

Зинаида: — Взирать на лазурь неба, дышать ароматами цветов, глядеться в водный ток, блуждать по злаку полей.

Вереницын: — Ходить с трубкою даже до усталости, смотреть на всё задумчиво и заглядывать в каждый овраг.

Бабушка: — Сидеть на траве и жевать изюм.

Старший сын, студент: — Есть черствый хлеб, запивать водой и читать *Виргилия* и *Феокрита*.

Володя: — Лазить по деревьям, доставать гнезда и вырезывать из сучьев дудки.

Марья Александровна: — Короче, наслаждаться природою в полном смысле этого слова. За городом воздух чище, цветы ароматней; там грудь колеблется каким-то неведомым восторгом; там небесный свод не отуманен пылью, восходящею тучами от душных городских стен и смрадных улиц; там кровообращение правильнее, мысль свободнее, душа светлее, сердце чище; там человек беседует с природой в ее храме, среди полей, познает всё величие...

И пошла! и пошла! О Господи! больнехонько! Вижу, вижу, прав Никон Устиныч — погибшая семья! Я поник головой на грудь и молчал, да и к чему бы послужили противоречия? можно ли бороться одному с толпою?

С того времени я стал грустным наблюдателем хода «лихой болести». Иногда мне приходило на мысль попробовать избавить их, хотя на время, силою от дьявольского обаяния, заперев двери в минуту отъезда, или броситься к знаменитейшим врачам и, возбудив сначала любопытство, а потом участие, умолять о помощи несчастным страдальцам; но это значило бы поссориться с ними навек, потому что они не теряли рассудка, и когда не было в помине прогулок, то это были те же «зимние Зуровы», то есть те же любезные и добрые, как и зимой.

Не стану утомлять читателя изображением всех разнообразных оттенков и отдельных случаев «лихой болести»: в рассказе моего приятеля Тяжеленки, который я передал почти без перемены, заключается общее понятие об этой болезни, а мне остается только прибавить, для большей ясности и достоверности, описание одной или двух поездок, наиболее обличающих болезненное состояние духа моих знакомых.

Каждая из них непременно отличалась каким-нибудь особенным приключением: то ломалась ось, коляска опрокидывалась набок, и оттуда, как из рога изобилия, сыпались разные предметы в чудеснейшем беспорядке — кастрюльки, яйца, жаркое, мужчины, самовар, чашки, трости, галоши, дамы, крендели, зонтики, ножи, ложки; то многодневный дождь и усталость заставляли искать убежища в хижине, которая тоже превращалась в любопытную сцену по своему разнообразию, — теляты, ребятишки, голые лавки, черные стены, русские и чухонские мужчины, тараканы, сковороды, тарелки, русские и чухонские дамы, салопы, плащи, армяки, дамские шляпки и лапти без приготовления разыгрывали разнохарактерный дивертисмент. Кроме общего, большого случая происходили частные и мелкие: то кто-нибудь из детей падал в воду, то Зинаида Михайловна ошибкою обмакивала стройную ножку в тинистую канаву... Но можно ли пересказать всё, что случалось во время этих набегов на поля и леса; да и могло ли быть иначе, когда несчастные сами стремились навстречу всем неудобствам? Так, помню я, однажды утром, когда погода была еще изрядная,

мы согласились в тот же день после обеда ехать в Стрельну, осмотреть тамошний дворец и сад. Во время обеда свинцовая туча покрыла небо, вдали перекатылся гром; наконец ближе, ближе, и полился страшный дождь. Я было обрадовался, думая, что без всякого сомнения прогулка будет отложена, тем более что крупный дождь превратился в мелкий и продолжительный; но напрасно я радовался: часов в пять подъехало ко крыльцу несколько наемных экипажей.

— Что это значит?

— Как что? а в Стрельну? — воскликнули все.

— Да неужели кто-нибудь осмелится ехать в такую погоду?

— А чем погода дурна? только дождь.

— Этого вам мало! Но ведь мы можем иззябнуть, простудиться, умереть.

— Так что же? зато погуляем! С нами пять зонтиков, семь непроницаемых плащей, двенадцать галош и...

— И удочки! — прибавил Алексей Петрович.

Делать нечего; я дал слово и поехал. Дождь ливня лил до другого утра, а потому мы, приехав в Стрельну, должны были, не осматривая дворца, ехать прямо в трактир, где имели наслаждение выпить чаю сомнительного качества, цвета и вкуса да пожевать сухого бифстека.

С той поры я стал реже ходить к Зуровым, потому что по милости прогулок был три раза болен, да и самих их часто не заставал дома, а если и заставал, то всегда среди приготовлений к прогулкам или в отдохновении от них, — чаще они бывали больны. Однако я всё еще не отчаивался в их выздоровлении и думал, что советы друзей, помощь врачей и, наконец, утекающее здоровье истребят корень несчастной монomanии. Увы! как я жестоко ошибался! следующие три припадка, или — по их названию — три прогулки, достаточно покажут, до какой степени «болезнь» овладела несчастными.

Однажды я пришел к ним вечером и удивился тишине, которая господствовала в доме, где веселые восклицания, смех, звуки фортепьяно обыкновенно сменялись одни другими. Я спросил человека о причине непостижимого молчания.

— Несчастье, сударь, случилось, — отвечал он шепотом.

— Какое? — спросил я в испуге.

— Старая барыня изволила ослепнуть.

— Возможно ли! О Боже! бедная бабушка! Отчего?

— Вчера за городом очень долго изволили сидеть на жару и пристально смотреть на солнце, а когда приехали домой, так уж ничего не изволили видеть.

В гостиной встретил меня Алексей Петрович и подтвердил сказанное, прибавив, что он сожалеет о бабушке, тем более что это обстоятельство остановило на время поездки. Я пять раз покачал головой, из которых одним старался выразить сожаление о бабушке, а четыремя — негодование на слова Алексея Петровича. «Ну, — думал я, — по крайней мере дня четыре посидят дома; я очень рад; авось понемногу отстанут». С этими утешительными мыслями я ушел домой и лег спать.

На другой день утром, часу в шестом, смешанные голоса и шум многих шагов на тротуаре разбудили меня и заставили встать с постели. Полагая, что поблизости случился пожар, я выглянул из форточки на улицу, и что же представилось моим взорам! Алексей Петрович без шапки, с развевающимися волосами, с дикою радостью в глазах, пожирал скачками пространство; плащ на нем раздувался от ветру, как парус; в руках были две удочки со всем прибором; а за ним дети, мал мала меньше, неслись с воплями, прискакивая, отставая, забегая вперед. Я остолбенел; еще ни разу «болесть» не обнаруживалась в такой сильной степени. Смотрю — вся ватага остановилась и начала зевать перед моими окошками.

— Куда стремите ваш бег, несчастные, и почто возмущаете покой ближнего? — возопил я вдохновенным голосом. Так как они показались мне в эту минуту особенными существами, на которых лежит печать проклятия, то я и почел за нужное употребить, как водится в подобных случаях, особенный язык в разговоре с ними.

— Пешком в Парголово! — закричали они хором.

— Ужели? А бабушка?

— Пускай ее! мы не вытерпели; при ней осталась жена. Пойдемте с нами.

— В уме ли вы? Ведь до Парголова двенадцать верст!

— Так не идете?

— Ни за что!

— У! у! у! — завывли они и понеслись далее.

Я долго смотрел им вслед, и две крупные слезы скатились с ресниц моих. «За что тяготеет над ними кара небесная? — подумал я. — Господи! неисповедимы судьбы Твои».

Часа через три после того сильный туман, который еще с полночи разостлался над городом, превратился в частый дождь и с севера поднялся холодный ветер. Я вспомнил о несчастных, и сожаление не позволило мне оставаться хладнокровным к их гибели. Я поспешно оделся, взял с собою цирюльника, за неимением знакомого лекаря, и на дрожках отправился в погоню, чтоб подать помощь, которая, как я полагал, будет им необходима, — и не ошибся.

В самом Парголове я их не нашел, а от мужиков узнал, что они ушли еще верст за семь, на какое-то озеро, удить рыбу и избрали для того болотистую дорогу, а по проезжей не пошли. Нечего делать, надо было ехать по их следам. Вскоре эти следы открылись: то были растерянные фуражки и перчатки, как такие вещи, которые, по мнению Алексея Петровича, только мешали в прогулках. Наконец нашел: Алексей Петрович сидел на берегу с мутными глазами, свесив ноги в воду по самые колена и держал в руках удочку. Он дремал и бредил, потому что вся кровь бросилась от ног в голову. Подле него, с разинутым ртом, лежал окунь, а далее местами, точно в таком же положении, валялись дети, окоченевшие от холода. Сапоги у них до половины были наполнены водою, а платье промочено дождем. Цирюльник, похлопотав с полчаса, успел привести их в чувство, а я между тем сбегал в ближайшую деревню и нанял три чухонские тележки, в которые уложив Алексея Петровича с детьми и накрыв рогожами, повез в город в отчаянном положении.

После этого приключения я не заглядывал к ним целые две недели. Наконец в воскресенье, утром, вхожу в переднюю. Там оба зачумленные лакея, со всеми зловещими признаками, спорили, как лучше ездить за город и наслаждаться воздухом — стоя на запятках или сидя с кучером на козлах. «Эге! да здесь опять нездорово! — подумал я, — видно, наши едут». Из залы послышался голос Алексея Петровича: он приказал подавать экипажи. Я опрометью бросился вон, с намерением возвратиться вечером, проведать, не случилось ли с ними чего, то есть не убится ли кто-нибудь, не простудился ли, не утонул ли, не ослеп ли и проч. Часу в десятом я пришел и — охнул от удивления: они не походили на самих себя. Бледные, тощие лица, растрепанные волосы, запекшиеся уста и мутные взоры — вот что поразило меня в них.

Иной, не зная причины, подумал бы, что они претерпели страшную пытку, и действительно, они могли бы, не нарушив приличия, проплясать танец мертвых в «Роберте». Марья Александровна лежала на постели и едва дышала; на столике подле нее стояло множество баночек и пузырьков со спиртами и разными крепительными и успокоивающими медикаментами. В столовой оба недужные человека, также бледные и изнуренные, накрывали на стол.

— Откуда? что с вами? — были мои первые вопросы.

— Славно погуляли, — отвечал Зуров, едва переводя дыхание. — Вот мы вам расскажем.

— Погодите, успокойтесь прежде: вы сейчас умрете.

— Эй! давайте скорее кушать! Смерть, есть хочется.

— Да разве вы ужинать хотите?

— Нет, обедать.

— Как обедать! неужели по сю пору не обедали?

— Нет еще. Сначала некогда было: всё ходили, и даже немножко устали, а потом, как захотелось есть, мужики ничего не дали, кроме молока, а мы взяли с собой только соленых булок в надежде, что к обеду воротимся, так и не ели. Да в еде ли дело! Зато как славно погуляли!

— Где же вы были? — спросил я.

— За Средней Рогаткой, пять верст в сторону от большой дороги, есть славное место!

— Ах, что за место! — сказала едва внятным голосом Марья Александровна и приняла несколько капель, — какие виды! Жаль очень, что вы с нами не поехали. Как иногда бывает игрива и вместе великолепна природа! Расскажи, Зинаида, — я не могу.

— Представьте себе, — начала Зинаида, — преживописный песчаный косогор над канавой; на косогоре три сосны да береза — точь-в-точь над могилой Наполеона, как справедливо заметил Иван Степаныч; далее видно озеро, которое то трепещет от ветра, как кисейное покрывало, то замирает и лежит неподвижно, гладкое и блестящее как зеркало; по берегам его со всех сторон теснятся маленькие хижинки, как будто желают спрыгнуть в воду, — всё приюты незатейливого счастья, труда, довольства, любви и семейных добродетелей! Через озеро, с одного крутого берега на другой, с удивительным искусством и смелостью, которые сделали бы честь лучшему инженеру, переброшен мост из легких жердей,

усланный... чем, бишь, mon oncle?¹ вы давеча сказали, да я забыла.

— Навозом, моя милая, — отвечал профессор, — вещь самая простая.

— Да, может быть; только это придает пейзажу особенный, чрезвычайно живописный вид и напоминает Швейцарию и Китай. К сожалению, природа и там, вдали от толпы, не свободна от нечистого прикосновения людей! Представьте: в этом милом озере, на которое, кажется, самый ветерок едва может дышать, солдаты моют белье, и мыльная пена растекается по всей поверхности!

— Стало быть, ваше озеро не больше этой комнаты, — заметил я, — когда мыло покрывает всю поверхность.

— Нет, побольше, — нерешительно отвечал Зуров.

— Погода нынче прекрасная, — продолжала Зинаида Михайловна, — а там она вдвое хороша: зной необыкновенный...

— Да, славно жарило! — примолвил Алексей Петрович, — у меня даже во рту пересохло. Чудо! прелесть! люблю жары! Я дорогой потерял шапку и удил всё с открытой головой.

— Вероятно, из почтения к рыбам, — сказал я.

— Нет, рыбы не было: всё лягушки попадались. Да что до этого за дело! Понимаете ли вы одно бескорыстное наслаждение сидеть и ждать, когда зашевелится поплавок? Вы — профан! никогда не поймете этого божественного ощущения. Для этого надобно иметь не такую черствую душу, как ваша, и чувство понежнее.

Я просил Зинаиду Михайловну продолжать, и она опять начала:

— Итак, зной необыкновенный, как под тропиками; место открытое, тени нет, спрятаться некуда, — настоящая Аравия! А что за воздух! как в Южной Италии! отовсюду веет ароматом, но опять люди нарушают гармонию: там, где царствует сладостный запах, где под каждой травкой наслаждается жизнью насекомое, где ветерок ласкает каждый цветочек, где пернатые поют согласным хором хвалебный гимн Творцу, — и там, как черви, копышатся люди, и туда принесли свои мелочные заботы: рабы презренных нужд и расчета, они унизили рабством природу. Вообразите, что на этом клочке земного рая

¹ дядюшка (фр.)

они завели... какой, бишь, завод, топ онсе? я опять забыла.

— Салотопенный, — отвечал старик. — Ты забываешь самые обыкновенные вещи.

— Вот это в самом деле неудобно! — простонала бабушка, — я чуть не задохлась от дыму, а вонь какая — упаси Создатель!

— Зачем вы старушку-то берете? — сказал я вполголоса. — Она только что оправилась от недавней болезни, да, кроме того, ей бы и не по летам разъезжать.

Старуха услышала.

— Что ты это, батюшка, отговариваешь их брать меня? — сердито проворчала она, — ведь я живой человек; что мне дома-то делать?

— Ну а вы, дети, как себя чувствуете после прогулки?

— У меня голова от жару трещит, а то весело было.

— И мне бы славно, да целый день всё что-то тошнило.

— У меня так лицо перетрескалось — нельзя дотронуться.

— А у меня целый день в животе ворчит, не знаю отчего, — проговорили они один за другим.

— А Вереницин был с вами?

— Как же! он и поездку-то затеял.

— Где же он?

— Его отнесли домой.

— Как отнесли?

— Он очень много ходил; у него ноги отнялись.

— Вот тебе раз! Славно же вы гуляете. Теперь видите ли, — начал я проповедовать, — понимаете ли, до чего доводит вас гибельная страсть? Ведь это болезнь, неужели вы не замечаете? Смотрите: Марья Александровна едва дышит; Зинаида Михайловна теряет прелестный цвет лица и худеет ко вреду своего здоровья и красоты; дети почти при смерти; вы сами, Алексей Петрович, укоротили свой век по крайней мере на десять лет. Отстаньте! ну, право, ей-Богу, отстаньте!

Он задумчиво смотрел на меня и, казалось мне, раскаивался. Я обрадовался. «Вот действует! — думал я, — каково! с пяти слов!»

— Пойдите, — вдруг вскричал он, — слушайте, что я скажу: как скоро жена и дети выздоровеют от этой прогулки, мы учреждаем пикник и едем в Токсово!

— Bravo! bravissimo! — грянули все.

Я махнул рукой, вздохнул и располагался выйти, бросив слезный взгляд на Феклу Алексеевну.

— Вы с нами едете, непременно едете! — сказал мне Алексей Петрович, — иначе поссоримся.

— Поезжайте, — примолвила Зинаида Михайловна, — а то вы, как ваш приятель Тяжеленко, от лени растолстеете и будете похожи на кубарь.

— Что ж за беда! тогда мне не нужно будет ходить, а только перекатываться с места на место, что, кажется, легче.

На другой и следующие дни утром я получал по три записки, которыми напоминали мне о пикнике. Зачумленные лакеи попеременно ходили ко мне, и между ними и моими людьми завелись даже подозрительные связи, что не на шутку встревожило меня, и потому, для потушения зла в начале, я отправился сам к Зуровым для переговоров, как и когда ехать. Назначили через неделю и на мой вопрос, что привезти, отвечали: «Что хотите».

Тут мне опять пришло в голову попытаться спасти их. Место отдаленное: легко может случиться несчастье, а здоровый только один я: кто станет отвечать? Но как предупредить опасность? Броситься к обер-полицеймейстеру, рассказать ему откровенно всё и просить команды, которую скрыть в засаде, для наблюдения, а потом, в случае беды, вызвать сигналом. Но ввериться обер-полицеймейстеру — значит обнаружить зло перед всеми, а этого бы мне не хотелось. Пойду, посоветуюсь с Тяжеленкою.

— Да какого же несчастья ты опасешься? — спросил он.

— Например, пожара в деревне, от неосторожности. Ты знаешь, что в поле они сами не свои: поставят самовар, закурят сигарку и потом бросят. Боюсь, чтоб кто-нибудь из них не утонул, не убили. Да мало ли что может случиться?

— И! не тревожься, этого не будет. Ведь они помнят себя. Ты только наблюдай, чтобы они не ходили чересчур, не простудились, а главное — не оставались бы долго без пищи: вот что важно!

— Где ж мне одному усмотреть за всеми! Знаешь ли что, любезный Никон Устиныч: ты никогда не был прочь от доброго дела; покинь на один день леность и поедем со мной.

Он сурово взглянул на меня и не сказал ни слова. Это, однако же, не смутило меня: я еще раз покусился уговорить и — вообразите! — к вечеру успел исторгнуть

из него согласие, обещав обеспечить его со стороны продовольствия и экипажа.

В назначенный день, в семь часов утра, мы с ним догнали за заставой шарабан, в котором кроме самих Зуровых помещался старый профессор с Зинаидой Михайловной, а сзади в коляске ехали дети. Тяжеленко взял любимого своего лакомства — ветчины, а я конфет и малаги.

По дороге мы останавливались по крайней мере раз восемь: то Марье Александровне желалось понюхать цветочек, растущий на завалине; то Алексею Петровичу казалось, что в большой луже, образовавшейся от дождей, должна водиться рыба, и он закидывал удочку; между тем дети во время этих остановок беспрестанно что-то ели. Но как всему на свете есть конец, то и мы наконец добрались до какого-то села, где оставили экипажи и при них человека, а другого взяли с собой. Алексей Петрович тотчас куда-то скрылся с двумя старшими детьми; бабушку, по причине слепоты, посадили на траву недалеко от села, где остановились; а Тяжеленко, едва сделал шагов двести, как упал в изнеможении подле бабушки. Мы, оставя их там, сами пошли и, как говорится в сказках, шли, шли, шли, — и не было конца нашей ходьбе; скажу только, что мы спускались в пять долин, обогнули семь озер, взбирались на три хребта, посидели под семьдесят одним деревом пространныго и дремучего леса и при всех замечательных местах останавливались.

— Какая мрачная бездна! — сказала Марья Александровна, заглянув в один овраг.

— Ах! — с глубоким вздохом прибавила Зинаида Михайловна, — верно, она не одно живое существо погребла в себе. Посмотрите: там, во мгле, белеются кости!

И точно, на дне валялись остовы разных благородных животных — кошек, собак, между которыми бродил Вереницын, страстный охотник заглядывать во все овраги, как сказано было выше. В другом месте моя незабвенная Феклуша нашла оказию плениться природою.

— Взойдемте на этот величественный холм, — сказала она, указывая на вал вышиною аршина в полтора, — оттуда должен быть прелестный вид.

Вскарабкались — и нашим взорам представился забор, служивший оградою кирпичному заводу.

— Везде, везде люди! — с досадой сказала Зинаида Михайловна.

Но тут суждено было случиться маленькому несчастью: Володя сделал прыжок и очутился во рву; Марья Александровна в испуге нагнулась и подверглась той же участи; Зинаида, со страху и в предупреждение беды, обмакнула ножку в канаву по самое колено, что с нею случилось почти в каждой прогулке. Я, Вереницын и племянник Зуровых поспешили на помощь и вытащили их в прежалком положении: у Володи текла из носу кровь, Марья Александровна перепачкалась в грязи, Зинаида Михайловна должна была сесть на берегу ручья и переменить чулки, которые каким-то чудом очутились в запасе. То-то предусмотрительность! ну приходило ли вам, господа, в голову запастись когда-нибудь в подобном случае лишними... Да что и говорить! женское дело!

Ходьба утомила нас до крайности; я помышлял об отдохновении и пище.

— Пора бы обедать, — сказал я, — три часа.

— Нет, мы прежде напьемся чаю, — отвечала Зурова, — а обедать пойдем назад.

У меня зачесался лоб и затылок, когда я вспомнил, что мы отошли от села верст восемь. Человек нес маленький самовар, чай и сахар. Я обрадовался и этому. Теперь надо было подумать, куда приютиться, и вдруг — о счастье! — в полуверсте от нас, на маленькой речке, виднелась мельница. Нечего и думать: туда!

— Нам сама судьба благоприятствует! — сказала Марья Александровна. — С каким наслаждением я буду пить чай, прислушиваясь к шуму воды! Воображение перенесет меня к водопаду Рейна, на берега尼亚гры; ах! если бы побывать там, подышать тамошним воздухом!

— Со временем, — сказал тихонько Вереницын.

Я с удивлением посмотрел на него, но он замолчал и быстро отвернулся в сторону. Убитые усталостью, мы наконец доползли до мельницы. Чухонец, весь в муке, живая вывеска своего художества, встретил нас у дверей с колпаком в руке.

— Пусти, пожалуйста, отдохнуть и напиться чаю: мы тебе заплатим.

— А хорошо, — сказал он лениво.

Мы вошли и разместились по лавкам, на которых была в изобилии посеяна мука. Напрасно старались мы завести разговор: усталость, а пуще шум мельничных колес налагали досадное молчание на наши уста.

Человек принес самовар, а мы спросили у чухонца чашек. Он пошел и через минуту воротился с огромной деревянной чашей. Мы старались объяснить ему, что нам нужно, и догадливый финн ударил себя по лбу и принес несколько узеньких, продолговатых стаканчиков, какими наши мужички пьют заздравные тосты. Всё это начинало смешить меня, а прочих сердить. Дамы боялись дотронуться руками до этих фиалов зеленоватого стекла, но делать нечего: чашек не взяли, и необходимость, то есть нестерпимая жажда, принуждала касаться не только руками, даже... и вспомнить-то нехорошо! — губками. Подумаешь, до каких странностей принуждает иногда касаться необходимость! Но тут судьба, кажется, сжалилась и не решилась оскорбить нежные дамские уста противузаконным прикосновением: Марья Александровна спросила чай; Андрей подал китайский ларчик; открыли и — ахнули от изумления, ужаса и досады! вообразите: на самом чаю лежала вверх дном открытая жестяная табакерка; несчастный Андрей ошибкою положил ее туда и смешал чай с табаком! — Секунду длилось молчание; потом вдруг Марья Александровна и Зинаида Михайловна, которым очень хотелось чаю, зарыдали; Феклуша попыталась было отделить нечистое зелье, но мелкий зеленчак проник до глубины ларчика и вместе наших сердец. Только одного Андрея не сразила собственная его неловкость; когда мы напали на него с упреками, он с большим неудовольствием проговорил:

— Что мудреного! велика важность — ваш чай! Я сам в убытке — весь табак потратил. Со мной и не то бывало: один раз, дорогой с генералом, я ошибкою положил сальную свечу в карман парадного мундира; она в тепле растаяла и расплылась по всему мундиру. То важнее, да и тогда мне горя мало!

— Нет ли у тебя, по крайней мере, чего-нибудь поесть? — спросил Вереницын у чухонца. И простодушный сын природы принес пучок луку, в знакомой чаше квасу и с поклоном поставил на стол. Дамы отскочили прочь.

— Больше ничего нет?

— Мука есть, — сказал он торжественно.

С невыразимой усталостью во всем теле пустились мы в обратный путь; в горле и груди жгло будто огнем; сверх всего этого, должно было попеременно вести дам. Сколько бы упреков имел я право высказать тогда! Но

великодушие не было мне чуждо, и я затаил желчь на дне души.

Едва ли крестоносцы с большим восторгом завидели святой град, как мы свое пристанище; но радость наша нарушилась особенным приключением: приближаясь к селу, мы услышали крик знакомых голосов: «Помогите! помогите!» Ускоряем шаги и видим, что бабушка и Тяжеленко, сидя на траве, с отчаянием отмахиваются от трех охотничьих собак, которые, прыгая и играя, успели уже стащить со старухи головной убор, а с Тяжеленки картуз и продолжали с визгом бегать и резвиться около них. В одно время с нами из перелеска показались охотники и отогнали собак.

Когда восстановился порядок, Никон Устинович бросил на меня взор немого упрека; на лице его боролись два чувства: праведного негодования и раздраженного аппетита.

— В пять часов обедать! — воскликнул он, — слыханное ли дело!

— Как мы славно погуляли, *monsieur Tiagelenko!* — сказала Зинаида Михайловна, — как жаль, что вас не было!

— Вам, конечно, тошно видеть меня на свете, — отвечал он с горькою улыбкою, — вы хотели бы, чтобы я от ходьбы пал на месте бездыханен; мало того, что я не ел до сих пор!

— Прямой кубарь! — прошептала насмешница.

Профессор торопил идти в село. Наконец, со всеми признаками страшной усталости, мы достигли привала.

— Кушать, кушать поскорее! — раздавалось со всех сторон. Все зараженные устремились было обедать на луг, но Тяжеленко загородил им дорогу.

— Вы пойдете на луг не иначе как по моему телу! — сказал он, что было физически трудно, а потому накрыли на стол в избе. Марья Александровна велела поставить горчицу, уксус и другие приправы.

— Кто, господа, запасся холодным? — спросила она, — велите подавать. — Молчание. — Отчего же никто не говорит?

— Да, вероятно, оттого, что ни у кого нет, — сказал я.

— Ну так начнем пастетом. Андрей, подай!

— Да пастета нет, сударыня: дети дорогой весь изволили скушать.

Я не спускал глаз с Тяжеленки: лицо его покрылось гробовою бледностью; он бросил на меня яростный взор.

— У вас, Никон Устиныч, кажется, была ветчина? чего же лучше? — сказал Вереницын. — Велите подать.

— Ее собаки съели, которых вы отогнали от нас, — проговорил с замешательством Тяжеленко.

— Как, батюшка! — проворчала старуха, — мне еще задолго до собак слышалось, что ты как будто всё жевал что-то.

— Нет... это так... ваш изюм ел.

— Ну, нечего толковать много. Подавайте бульон!

— Бульону не брали, сударыня.

— Стало быть, нам приходится обедать à la fourchette,¹ — сказал профессор, — горькая доля, господа! Перейдемте к жаркому. У кого есть жаркое и какое?

— У меня никакого. — И у меня. — И у меня, — проговорили один за другим девять голосов, принадлежавшие девяти членам пикника. Остальных трех лиц, то есть Алексея Петровича с детьми, в наличности не оказалось: никто не знал, куда они скрылись, и я уже помышлял об обязанности, которую наложил на себя касательно безопасности больных; но беспокойное, острое, пронзительное ощущение голода заглушило всякое другое постороннее чувство; особенно филантропические помышления. Как скоро узидели, что жаркое на перекличку не являлось, все поникли головами на груди, а Никон Устинович с глухим стоном заключил свой живот в объятия, как иногда два друга, пораженные одним и тем же бедствием, находят в горячих объятиях взаимное утешение, — и живот его, как будто по сочувствию, отозвался жалобным ворчанием.

— Что же у кого есть? говорите, господа! — провозгласила дрожащим голосом Марья Александровна. — Начните, профессор.

— У меня венский пирог и малага, — отвечал он.

Второй голос: — У меня конфекты и малага.

Третий: — У меня две дыни, два десятка персиков и — малага.

Четвертый: — У меня crême au chocolat² и — малага.

Пятый: — У меня сироп к чаю, миндальное и — малага.

¹ холодными блюдами (фр.)

² шоколадный крем (фр.)

Бабушка: — У меня изюм.

И подобного рода яства, каждое в сопровождении малаги, шли до восьми голосов.

— Вот тебе раз! — сказал печально профессор, — ни бутылочки сотерну, ни капельки мадеры! Да разве был уговор всем привезти малаги?

— Нет, это простой случай.

— Как простой! самый необыкновенный и досадный!

Наконец девятый голос робко произнес:

— У меня пармезан и лафит.

Все взоры быстро обратились в ту сторону, откуда происходил голос: то был мелодический, небесный голос моей милой, несравненной Феклуши. О! как она величаво прелестна казалась в эту минуту! Я торжествовал, видя, как жадная, нелицемерно жадная толпа готова была вознести на пьедестал богиню моей души и преклонить пред нею колена. Кровь забушевала во мне, как морская волна, воздымаемая ветром до небес; сердце застучало, как проворный маятник; я гордо окинул взорами общество и забыл на пять минут о голоде, что при тогдашних обстоятельствах было весьма важно. Как ни говорите, а минута торжества любимого предмета есть божественная минута! Профессор с чувством поцеловал ей руку; Марья Александровна обняла торжествующую племянницу три раза с непритворною нежностью; все прочие, облизываясь, осыпали ее самыми лестными комплиментами; а Тяжеленко патетически изрек следующие достопамятные слова:

— В первый раз постигаю достоинство женщины и вижу, до чего она может возвыситься!

Но скоро радость превратилась чуть не в плач и рыдание: сыру было только два с половиною фунта, и девять жадно отверзшихся ртов печально сомкнулись, а в некоторых из них послышался скрежет зубов. Никон Устинович с презрением оттолкнул предложенный ему ломоть и впал в летаргическую бесчувственность. В самом деле, каково потерять надежду, которую почти держали в зубах! Все хранили грустное молчание и угрюмо поедали сласти, запивая малагою. К концу этого необыкновенного обеда подоспел измученный Алексей Петрович, без шапки и без перчаток, как у него всегда водилось, с двумя детьми и тремя ершами.

— Есть! есть! ради Христа и всех святых, есть! — Но ему оставалась одна малага — приторная насмешка случая

над обманутым аппетитом, доведенным до крайних пределов, за которыми начинаются муки исполинской казни — голода.

Обед заключился крынкой молока. Однако малага произвела обычное действие: все развеселились, а Зинаида Михайловна пришла в необыкновенный восторг; она, встав из-за стола, начала пощелкивать нежными пальчиками, притопывать ножкою и весело напевать вариации на тему: «А я, молодешенька, во пиру была».

— Помилуй! ты на ногах не стоишь, моя милая! — сказал ей дядя.

— Да и не вижу в том большой надобности! — отвечала она так мило, с такой очаровательной улыбкой, с таким упоением в глазах, с каким бы я тогда готов был... поцеловать у ней ручку, да не посмел!

Зуровы предложили было после обеда прогулку; но я, полагая, что пришла минута действовать, приступил с усиленным красноречием к святому делу.

— Ни с места! — сказал я, — выслушайте меня! — Тут я, не хвастаясь скажу, искусно развернул перед ними картину бедственной страсти со всеми ее ужасными последствиями. Они внимательно слушали и по временам переглядывались. Я с жаром продолжал убеждать их силою слова, как некогда Петр Пустынный, только с тою разницею, что тот уговаривал, а я отговаривал; наконец, довел до катастрофы.

— Вы одержимы ужасным, доселе неслыханным недугом, которому нет примера, нет названия ни в веках минувших, ни в настоящее время, ни в странах отдаленных, ни пред очами нашими. — Тут в речи у меня прекрасно были помещены противное, свидетельства и примеры. — Вы погублены, ослеплены, увлечены в пропасть, и виновник вашей гибели еще здесь, еще жив, еще разделяет вашу трапезу!! Вот он! — сказал я, указывая на Вереницына.

Каков оборот, почтенные читатели! Припомните одно подобное место в которой-то речи Цицерона против Катилины.

— Вот он! — повторил я с большею силою. Гляжу, и... что же? все спят мертвым сном. Я чуть не лишился чувств. — В город! — воскликнул я громовым голосом, так что все вскочили в одно время.

— За город! — завопил спросонья Алексей Петрович.

Я повелительным жестом привел всех в движение. Кучера в минуту запрягли экипажи.

— Как же мы славно погуляли! — сказали оба вдруг, Зуров и Вереницын, влезая в шарабан.

— Какие места! — прибавили Марья Александровна и Зинаида Михайловна, — и как мы здесь повеселились! Когда-нибудь в другой раз приедем.

В десять часов мы поехали из селения, а к трем только что добрались до Петербурга. На этот раз все попытки Зуровых останавливаться на дороге, «походить по ночной росе», как просились Марья Александровна и Зинаида Михайловна, были безуспешны: мы с Тяжеленкой решительно воспротивились и действовали сообразно принятому намерению.

Подъехав к Воскресенскому мосту, передовой экипаж остановился. Я, вообразив, что причиною остановки было какое-нибудь загородное желание Зуровых, хотел уже напомнить им, что мы в городе, как вдруг увидел или, точнее, не увидел моста.

— Где же он? — спросил я у будочника.

— Разве не видите, барин, что развели! — отвечал он.

— А когда наведут?

— Часов в шесть.

— Поздравляю вас, mesdames: нам нельзя попасть домой: мост разведен!

Вдруг все мои больные встрепенулись.

— Так можно ехать опять за город! — закричали они. — Что теперь дома делать! Эй, Парамон! ворочай назад!

К счастью, зараза не приставала к кучеру, между тем как голод и сон давно одолевали его. Он с жалостной миной взглянул на меня.

— Стой на одном месте! — сказал я. — Он обрадовался и проворно соскочил с козел. Вдруг стал накрапывать дождь; надо было искать приюта. У Марьи Александровны от холода показались слезы; Зинаида Михайловна и милая Фекла едва переводили дыхание и жалостно просили есть и пить, а есть и пить было нечего. Профессор и Алексей Петрович, сидя в шарабане, дремали, беспрестанно кланяясь друг другу в пояс; а из Тяжеленки исходили по временам глухие стоны. Между тем Марья Александровна, разглядывая от скуки окружавшие нас дома, вдруг остановила лорнет на одной вывеске, и радость заблестала в ее глазах.

— Ах, какая приятная нечаянность! — сказала она, — здесь есть кондитерская! Посмотрите! мы можем там подкрепить себя пищею и отдохнуть.

— Да, тут пирожного и малаги вдоволь, — отвечал я, взглянув на вывеску, которой обрадовалась Зурова, и прочел: — «Здесь приготавливают кушанье и чай».

— Это не кондитерская, — с радостным трепетом произнесла Зинаида Михайловна, — тут есть кушанье и чай.

— А может быть, и шоколад! — примолвила Марья Александровна.

— Прекрасно! — воскликнули все. Мужчины обрадовались потому, что надеялись найти закусить, а дамы не знали, что заведение под этой заманчивой вывеской была харчевня, об которой они не имели никакого понятия. — Дождь принялся изливаться обильными струями, и мы поспешили под благодетельный кров. Было еще очень рано; в харчевне все спали, а потому нам стоило большого труда разбудить хозяев. Наконец дородный плешивый мужичок в красной рубашке отпер двери и остановился от изумления, встретив посетителей необыкновенного калибра. Он долго был в нерешимости, пускать ли, но узнав от нас причину неожиданного посещения, с шумом и низкими поклонами растворил обе половинки.

Не берусь описывать внутренность подобного заведения, потому что для этого недостаточна одного беглого взгляда, а до тех (пор) я никогда не проникал туда, хотя, с того времени как дамы (и какие дамы: Марья Александровна, Зинаида Михайловна!) стали посещать подобные заведения, мне и подавно не стыдно бы было признаться в этом. Но, к сожалению, я не лгу. Впрочем, всякий, кто любит бродить по петербургским улицам, более или менее имеет понятие о харчевнях, потому что они располагаются большею частью в нижних этажах, даже подвалах, и не представляют никакой преграды любопытному взору. Кому мимоходом не бросались в глаза занавески на окошках из розового или голубого коленкора? Если вы взглядывали с улицы прямо в дверь, то верно видели в глубине комнаты огромный стол, уставленный штофиками, карафинчиками, тарелками с разной закуской, и за этим столом бородатого Ганимеда; если в воскресный день смотрели в окно, то верно замечали пирующих друзей, лица которых пылали, как освещенные переносным газом; а хохот, песни и орган уведомляли вас, что вы недалеко от храма утех. «Кто же обычные посетители?» — спросите вы. Недогадливый читатель! неужели не случилось вам, по выходе из театра

или из того места, где вы оставляли сердце до следующего вечера, неужели — говорю — не случилось подходить к бирже и заставить только одних лошадей с пустыми санями? И когда вы вскрикивали: «Извозчик!» — то, помните ли, вдруг трое или четверо выскочат неведомо откуда. Итак, если случилось, что они выскакивали перед вами, то это из харчевни. Или — отчего хозяин мелочной лавочки, против которой вы живете, часто отлучается, оставляя торговлю в руках мальчика? Оттого что по соседству есть харчевня. А отставной офицер с просительным письмом, которого никогда никто не читает, получив от вас пособие, куда идет? Туда же. По недостатку наблюдений и опытности в этом случае, я не мог собрать довольно фактов и изложить их обстоятельнее; впрочем, не должно отчаиваться: слухи носят, что два плодовитые писателя, один московский, а другой санктпетербургский, О-в и Б-н, обладающие всеми нужными сведениями по этому предмету, который они исследовали практически, давно готовят большое сочинение.

К сожалению, в ранний час, в который мы попали в харчевню, не было публики, а потому мы и не могли ознакомиться ни с обычаями этого заведения, ни с образом мыслей и склонностями посетителей. Особенно я сокрушаюсь за дам: горизонт их наблюдений и без того так тесен; а они тут лишились, может быть, единственным случаем заpastись надолго свежими и разнообразными впечатлениями.

— Пожалуйте-с! пожалуйста-с! сюда, в гостиную! — говорил хозяин, вводя нас в грязную низенькую комнату, увешанную портретами, которые имели странное достоинство — представлять одно и то же лицо под видом разных особ.

— Боже мой! куда мы попали? — воскликнули дамы и попятились назад, но назади замыкала выход фаланга голодных мужчин под предводительством Тяжеленки, а потому, волею или неволею, дамы вошли.

— Чего прикажете-с? Что угодно-с? — продолжал услужливый мужичок. — У нас всё есть. Не извольте думать об нашем заведении, что оно, примерно молвить, какое-нибудь мужицкое. Извозчиков вовсе мало; гости все хорошие; вот, примерно, бывает камердинер из генеральского дома, такой степенный кавалер, с часами! а теперь и вас Бог принес. Милости просим вперед! Мы таким гостям ради-с.

Алексей Петрович прервал его:

— Нам есть и пить хочется.

— Всё можно-с.

— Нельзя ли сварить шоколаду? — спросила Марья Александровна.

— Нет-с; шикаладу не держим.

— Ну, кофе?

— Кофий отличнейший; только сливочек негде взять: раненько изволили пожаловать; с Охты молочница не бывала.

— Что же есть?

— Водка чудеснейшая, всех сортов. Пирожок можно испечь, наивкуснейший, с подливочкой аль с вареньицем. Печенка свежая, студень, баранина — всё есть-с!

Как он ни хвастался обилием, но никто из нас не решился дотронуться до предлагаемого: только Тяжеленко обласкал окорок черствой ветчины, а прочие напились чаю.

Пробыв часа полтора, мы наконец вырвались из области неудобств, беспокойств и подобных приключений, переехав благополучно мост, который между тем навели. Я вздохнул свободнее. «Теперь не скоро поедут опять, — думал я, — эта поездка и моя речь, вероятно, сильно подействовали на них». В том месте, где нам с Тяжеленкой следовало отстать от Зуровых и ехать домой, Алексей Петрович велел кучеру остановиться и вылез из шарабана.

— Я и жена имеем до вас покорнейшую просьбу, — сказал он.

— К вашим услугам. Что прикажете?

— Вот извольте видеть: хотя мы и славно погуляли, и весело было, и прекрасное место, но чтоб сколько-нибудь дать вам понятие о том, что значит настоящая загородная прогулка, мы с женой убедительно просим вас поехать с нами в пятницу в Ропшу — единственное место! а в субботу, воскресенье и понедельник — в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт. Всё это придумали мы для того, чтобы как можно более придать разнообразия прогулкам. До сих пор вы путешествовали с нами по суше: надо познакомиться и с морем.

— Боже мой! они неизлечимы! — горестно воскликнул я. — Извините, Алексей Петрович, мне нельзя исполнить вашего желания: в среду я еду в деревню, а завтра приеду с вами проститься.

— Возможно ли! какое горе! — воскликнула Марья Александровна. — А знаете ли что: не провести ли нам завтра, последний день, вместе за городом?

Я бросился в коляску и поскакал домой не оглядываясь.

Я не лгал: обстоятельства принудили меня надолго оставить Петербург, и потому я действительно распрощался с Зуровыми на другой день. Но мысль, что они останутся без призрения и погибнут, заставила меня прибегнуть к решительной мере: за несколько часов перед отъездом я открыл всё одному умному, опытному и сострадательному врачу, просил его познакомиться с ними, и ежели найдет средство, то уничтожить или по крайней мере притупить силу «лихой болести», а между тем время от времени уведомлять меня об успехах. Предоставив таким образом больных его попечениям, я веселее выехал из города и благополучно прибыл в деревню.

Прошло два года, и я еще не получил ни одной строки от доктора. Но к концу этого срока, однажды вечером, мне принесли вместе с кучею газет и журналов и письмо за черной печатью. Я поспешно вскрыл и... Здесь опять глаза мои наполняются слезами, а голова, несмотря на все мои старания держать ее прямо, валится на сторону. Не берусь описывать, что случилось, потому что не соберу мыслей, не найду слов; а лучше выпишу из рокового письма целиком те строки, в которых заключается горестная весть как о Зуровых, так и о Тяжеленке: с последним доктор был большой приятель. Сначала о Тяжеленке...

«Это случилось с ним, — пишет доктор, — с пятнадцатого на шестнадцатое марта, ночью. Волобоенко в страхе прибежал ко мне с известием, что его барину „пришло дурно“; глаза подкатились под лоб, а сам весь посинел. Я бросился к нему и действительно нашел Никона Устиновича в отчаянном положении; он не мог произнести ни слова, а только глухо стонал; после четырех кровопусканий я успел привести его в чувства, но...» Несколько пониже: «Другой апоплексический удар, последовавший вскоре за первым, лишил его жизни». На другой странице о Зуровых: «Полагая, что письмо их ко мне была одна шутка, я, после двухнедельной отлучки за

город, отправился к ним, но, к величайшему изумлению, нашел все двери в доме на замке. На дворе встретился мне старый слуга, Андрей, и на вопрос, где господа, отвечал, что уехали в „Чухонию“, чем подтвердилось то, что они сами писали ко мне. Желая подробнее узнать об этом, я отправился к их родственнику, известному вам господину Мебонелдринову. Он повторил то же самое и прибавил, что намерение их побывать в Финляндии и потом ехать в Швейцарию было обдумано давно, но они искусно умели скрыть его от всех, даже от меня, и что целью их было пробраться в Америку, где, по словам их, природа занимательнее, в воздухе гораздо больше запаха, горы выше, пыли меньше и пр.».

Вскоре я сам отправился в Петербург и от того же родственника узнал, что они точно уехали в Америку, со всем движимым имуществом, и там поселились. Долгое время спустя я случайно свел знакомство с одним английским путешественником, который жил в Америке. Он уведомил меня, что знал это семейство, а также и страсть их к прогулкам, которая напоследок кончилась самым печальным образом. «Однажды, — так заключил англичанин рассказ свой, — они, с большим запасом платья, белья и съестных припасов, пустились в горы и оттуда более не возвращались».

СЧАСТЛИВАЯ ОШИБКА

Господи Боже Ты мой! и так много
всякой дряни на свете, а Ты еще жинок
наплодил!

Гоголь

Шел в комнату — попал в другую.

Грибоедов

Однажды зимой в сумерки... Да! позвольте прежде спросить, любите ли вы сумерки? Я «слышу молчание», а молчание есть знак согласия: стало быть, любите. Да и как не любить сумерек? кто их не любит? Разве только заблудившийся путник с ужасом замечает наступление их; расчетливый купец, неудачно или удачно торговавший целый день, с ворчаньем запирает лавку; еще — живописец, не успевший передать полотну заветную мечту, с досадой бросает кисть, да поэт, житель чердака, грозит в сумерки проклятиями Аполлона лавочнику, который не отпускает в долг свечей. Все прочие любят это время; не говорю уже о простом народе, мастеровых, рабочих, которые, снедая в поте лица хлеб свой, покладывают руки от тяжкого труда, наконец, магазинщицах, которые, зевая за иглой при Божьем свете, с детской радостью надевают шляпки и спешат предаться увеселениям. Но то существенная, прозаическая радость, а в сумерках таятся высшие, поэтические наслаждения.

Благословен и тьмы приход! —

сказал Пушкин. Не есть ли это время нежной, мечтательной грусти, — не той грубой, неприятной грусти, которая изливается днем, при всех, горячими слезами, причины которой так тривиальны — крайняя бедность,

потеря родственников и проч.; грусти, например, от невнимания любимой особы, от невозможности быть там, где она, от препятствий видиться с нею, от ревности? Не есть ли это, краснея скажу, время сладостного шепота, робкого признания, пожимания рук и... мало ли еще чего? А сколько радостных надежд и трепетных ожиданий таится под покровом сумерек! сколько приготовлений совершается к наступающему вечеру! О, как я люблю сумерки, особенно когда переносюсь мысленно в прошедшее! Где ты, золотое время? воротишься ли опять? скоро ли?...

Посмотрите зимой в сумерки на улицу: свет борется со тьмою; иногда крупный снег вступает в посредничество, угождая свету своею белизною и увеличивая мрак своим облаком. Но человек остается праздным свидетелем этой борьбы: он приумолкает, приостанавливается; нет движения; улица пуста; дома, как великаны, притаились во тьме; нигде ни огонька; все предметы смешались в каком-то неопределенном цвете; ничто не нарушает безмолвия, ни одна карета не простучит по мостовой: только сани, как будто украдкою, продолжают сновать вечную основу по Невскому проспекту. Одним словом, кажется, настала минута осторожности... а в самом деле эта минута есть, может быть, самая неосторожная в целом дне: зимой в сумерки совершается важный, а для некоторых наиважнейший, процесс нашей жизни — обед; у первых он состоит в наполнении, у вторых в переполнении желудков и нагревании черепов искусственными парами, — сообразите следствия от этих двух последних обстоятельств.

Теперь войдемте в любой дом. Вот общество, собравшееся в гостиной: всё тихо, безмолвно; никто не шевелится; разговор медленно вяжется слово за слово, минутно перерываясь и не останавливаясь на одном предмете. Вглядитесь в физиономии: это самая лучшая, самая удобная минута для изучения настоящего характера и образа мыслей людей. Посмотрите, как в сумерки свободно глаза высказывают то, что задумала голова, как непринужденно гуляют взоры: они то зажигаются страстью, то замирают презрением, то оживляются насмешкой. Тут подчиненный смело меряет глазами начальника с ног до головы; влюбленный смело пожирает взорами красоту возлюбленной и дерзает на признание; взяточник, хотя шепотом, однако без ужимок объявляет, какую благодар-

ность и в каком количестве чаял бы он получить за дельце, — сколько доверенностей рождается в потемках! сколько неосторожных слов излетает!... Но вот несут свечи: вдруг всё оживилось; мужчины выпрямились, дамы оправились; разговор, медленно катившийся до тех пор, как ручеек по камешкам, завязывается снова, вступает, подобно могучей реке, в берега, делается шумнее, громче. А какая перемена в людях! подчиненный уж смотрится в лакированные сапоги начальника, влюбленный стоит почтительно за стулом возлюбленной, взяточник кланяется и приговаривает: «Что вы! что вы! какая благодарность! это мой долг!» — неосторожные раскаиваются в своей доверенности, и взоры перестают страстно глядеть; место презрения заступает сухое почтение или страх. О! будьте только сумеречным наблюдателем... «Но наблюдать, — скажут мне, — в сумерки неудобно, темно». — «Ах, в самом деле! ваша правда». — «Да как же вы упустили это из виду? забыли?» — «Нет-с, не догадался».

Однажды зимой, в сумерки, сопровождаемые всеми вышеизложенными обстоятельствами, то есть падением снега и безмолвием на улицах, — не то из Садовой, не то из Караванной выскочил на Невский проспект, как будто сорвавшись с цепи, лихой серый рысак, запряженный в маленькие санки, в которых сидел молодой человек. Далеко вперед закидывало стройные ноги благородное животное, гордо крутило шею, быстро несло по улице; но седок всё был недоволен. «Пошел!» — кричал он кучеру. Напрасно *сей* вытягивал руки во всю длину, ослаблял вожжи и привставал с места, понукая рысака. «Пошел!» — кричал седок. Но ехать скорее было невозможно: и так пешеходы, которые пускались, как вброд, поперек улицы, при грозном оклике кучера, вздрагивая, пятились назад, а по миновании опасности, плюнув, с досадой приговаривали: «Вот сумасшедший-то! эка сорвиголова! провал бы тебя взял! напугал до смерти!»

С Невского кучер поворотил в Морскую и после минутной езды остановился у двухэтажного дома аристократической наружности, с балконом и большим подъездом. Молодой человек вошел в сени. Нигде в доме не было еще огня: сумерки царствовали начиная с сеней. Там швейцар, сидя перед огромной печью, по временам помешивал кочергой жар и напевал вполголоса унылую

песенку. В стороне тянулась лестница с позлащенными перилами.

— Дома господа? — спросил молодой человек.

— Должно быть, что дома-с, — отвечал швейцар. — Вот я позвоню.

— Не нужно! — сказал тот и опрометью, как на приступ, бросился на лестницу.

В передней сумерки были еще ощутительнее: из углов, где царствовала настоящая, прямая темнота, несло хrapенье; лакеи спали, вознаграждая себя вперед за предстоящие труды и вечернюю суматоху. Молодой человек остановился перед тремя дверьми в нерешимости, в которую идти. «Отдамся на волю сердца: оно не обманет и поведет прямо к ней», — подумал он и отворил среднюю дверь. Прошедши залу и диванную, он пропал в коридоре, из которого лесенка в четыре ступеньки вела вверх.

С трепетом в сердце, на цыпочках, подкрался он к библиотеке, и вдруг этот теплый, сердечный трепет превратился в холодный, лихорадочный озноб, когда он вошел в комнату. Там на мраморном столике чуть теплилась лампа и освещала лица двух стариков, которые, сидя в вольтеровских креслах друг против друга, сначала, вероятно, беседовали и потом утопили свою беседу в сладкой дремоте.

Не только молодого человека, который ожидал встречи пламенных черных глаз, но всякого охватил бы озноб при взгляде на одного из спавших стариков. Вообразите огромную лысину, которая по бокам была вооружена двумя хохолками редких седых, стоячих волос, очень похожими на обгоревший кустарник; вскоре после лысины следовал нос: то был конус значительной величины, в который упиралась верхняя губа, помещенная у самого его основания, а нижняя, не находя преграды, уходила далеко вперед, оставляя рот отворенным настежь; по бокам носа и рта бежали две глубокие морщины и терялись в бесчисленных складках под глазами. Сверх того, всё лицо было испещрено самыми затейливыми арабесками. Таков был действительный тайный советник барон Карл Осипович Нейлейн, владетель этого дома. Другого старика не знаю; вероятно, приятель барона; физиономия его была, однако ж, гораздо благопристойнее. Оба они покоились сном праведника, хотя лицо первого пристало бы самому отчаянному грешнику.

«Вот поди, вверяйся сердцу, куда оно заведет!» — с досадой сказал молодой человек и, повернув назад, вошел в маленькую диванную. Там, свесив одну ногу, а другую поджав под себя, сидела на богатом оттомане и также дремала, запрокинув голову, супруга барона. Подле нее лежала моська, которая, при появлении молодого человека, заворчала. Он, чтоб не возбудить тревоги, поспешно отправился назад.

«Что за встречи! Где же Елена? — подумал он и остановился в нерешимости куда идти. — Здесь все сидят попарно. Поспешу сыскать ее для симметрии: нас будет также пара». — В эту самую минуту в соседней комнате раздался звучный аккорд на фортепиано, и молодой человек бросился как будто на призыв.

Пора, однако, сказать, кто таков был он, зачем пожаловал в такую пору в чужой дом, почему так своевольно расхаживает и чего отыскивает. Звали его Егор Петрович; он происходил из знаменитого рода Адуевых и был отдаленнейший родственник барона Нейлейн; приехал в дом к нему по двум причинам — одной обыкновенной, другой необыкновенной: первая — родство, как выше сказано, а вторая — любовь к прелестной восемнадцатилетней дочери барона Елене, милой, стройной, пламенной брюнетке, которую он и отыскивал в потемках.

Он уже намекал ее родителям о своем намерении жениться на ней, а они намекнули ему, что они рады такому союзу, потому что Адуев — разумеется, они этого не сказали ему — имел три тысячи душ и другие весьма удовлетворительные качества жениха и мужа и вдобавок привлекательную наружность — обстоятельство, заметим мимоходом, весьма важное для Елены. Из этих обоюдных намеков возникло дело довольно ясное, приведенное в большую ясность молодыми людьми.

При всем том Егор Петрович иногда жаловался, что он совсем не так счастлив в любви, как бы ему того хотелось. Сам он любил пламенно, со всею силою мечтательного сердца; даже думал, что любовь его к Елене есть окончательный расчет его с молодостью, что сердце, истомленное мелочными связями без любви, ожесточенное изменами, собрало наконец, после неудачных поисков предмета по себе, последние силы, сосредоточило всю энергию и ринулось на отчаянную борьбу, из которой, как казалось ему, оно выйдет после неудачи

разбитое, уничтоженное и неспособное более к электрическому трепету сладостного чувства. Что же бы оставалось ему в жизни после этой невозвратимой утраты? Любя Елену и будучи любим ею, он смотрел, при этих условиях, на жизнь как на цветущий сад, на любовь к Елене как на последнюю купу роскошных деревьев и гряду блестящих цветов, растущих у самой ограды: без этого жизнь представлялась ему пустым, необработанным полем, без зелени, без цветов...

Адуев жаловался не напрасно: на любовь его Елена отвечала едва приметным вниманием, мучила своенравием и капризами, которые не испортили бы характера какого-нибудь азиатского деспота; сверх того... но об этом будет говорено ниже, особо. Впрочем, она позволила себе такие поступки тогда, когда уже измерила степень, до которой достигла любовь Адуева к ней, когда уверилась, что обратный путь был для него невозможен и что он находится между двумя крайностями — страданием и блаженством. Не злодеяние ли это? на вас пошлюсь, mesdames.

После всего этого чего бы, кажется, искать ему? Зачем унижать себя страстью, которой не поймут и не разделят? Зачем! какие вы смешные! Спросите у влюбленных. Слепление: вот всё, что можно сказать в оправдание им! Одни только они могут утешаться там, где при другом расположении духа следовало бы прийти в отчаяние; зато бывает и наоборот. Егору Петровичу, например, иногда казалось, — а может быть, и в самом деле так было, — что когда взор Елены покоился на нем, то сверкал искрой чудного пламени, потом подергивался нежною томностию, а щеки разгорались румянцем; или порой, склонив прелестную головку к плечу, она с меланхолическою улыбкою внимала бурным излияниям кипучей страсти, выражавшейся языком, который сначала своею дикостию и необузданностию не согласовался с ее хотя прихотливым, избалованным, однако все-таки чистым, скромным, девическим характером. Впоследствии же, когда она разгадала степень его привязанности, то увидела, что и этим восторженным языком он не в состоянии передать и половины того чувства, которое бушевало в нем. Егор Петрович утешался, видя это, но, к несчастью, он видел и то, что она так же прилежно внимала таинственному шепоту камер-юнкера князя Каратыжкина, так же неподвижно останавливала взор на пестром мундире ротмистра

Збруева: разница была только та, что они не давали ей задуматься ни на минуту, а иногда все три голоса их сливались в дружный хохот. Он не мог выносить этого адского трио и бежал прочь, с горечью в душе.

Всё это доводило иногда Адуева до раздражительности. «Зачем она так нежно смотрит на меня? — думал он, — зачем, ну зачем ей так смотреть?» — а потом мысленно сам же отвечал: «Зачем! смешной вопрос! затем, что любит; ну да, конечно любит! Она сама говорила это». Вслед за этим ему слышались другие вопросы: «А зачем она пристально посматривает на князя Каратыжкина и Збруева? зачем всё им улыбается и никогда на них не сердится, как, например, на него? и что она шепчет им?» На последние вопросы Егор Петрович не находил ответа и сердился.

В самом деле, каким именем назвать это поведение Елены? Адуев, в припадке бешенства, называл — заметьте, пожалуйста, *mesdames*, Адуев, а не я — называл... позвольте, как бишь?... Эх, девичья память! из ума вон... Такое мудреное, нерусское слово... ко... ко... так и вертится на языке... да, да! — кокетством! кокетством! Насилу вспомнил. Кажется, так, *mesdames*, эта добродетель вашего милого пола — окружать себя толпою праздных молодых людей и — из жалости к их бездействию — задавать им различные занятия. Это, как называл их опять тот же Адуев (он иногда страдал желчью), род подписчиков на внимание избранной женщины: подписавшиеся платят трудом, беготней, суматохой и получают взамен робкие, чувствительные, пламенные, страстные взоры, хотя, конечно, искусственные, но несколько не уступающие своею добротою природным. Иным достаются даже милые щелчки по носу веером, позволение поцеловать ручку, танцевать два раза в вечер, приехать не в приемный час; но чтобы заслужить это, надобно особенное усердие и постоянство.

Бежать от Елены, скрыться от своей любви, заплатить за охлаждение презрением — Егор Петрович был, как сказано выше, не в состоянии. Сверх того, в нем еще тлелась искра надежды на счастье: он изучал ее характер в ожидании, что наконец ей надоест суетность, наскучат со временем бесплодные торжества самолюбия; что чувство истинной любви возьмет верх и по-прежнему, а может быть и сильнее, заговорит в его пользу; оттого единственно он и откладывал требование ее руки.

Со страхом испытать какой-нибудь новый каприз и с надеждою застать Елену одну — вступил он в комнату, где раздались звуки фортепиано; но, увы! и там была пара. Подле Елены сидела рыжая англичанка и вязала шарф двумя костяными спицами непомерной длины. Вскоре, однако ж, дуэнью вызвали по хозяйству, и она более не возвращалась. Какое счастье! Он наедине с нею.

Елена Карловна была мила и любезна, Егор Петрович любезен и мил: мудрено ли, что судьба свела их в маленькой зале? кому же после того и сходитьсь, как не им? ужели старому барону с женою?.. фи! как это можно! они сами чувствовали всё неприличие, всю гнусность такого поведения и оставались каждый на своей половине, а если сходились, то только за обедом, да при гостях, и то в приличном друг от друга расстоянии, как следует благоразумным и степенным супругам.

Елена мельком взглянула на Адуева, едва отвечала на грациозный поклон и начала сильнее и чаще прежнего брать аккорды, показывая вид, что вполне предалась музыке. Он молча, с восторгом, смотрел на нее.

— Отчего вы не пошли к папеньке, а прямо явились ко мне? — спросила она сухо.

— *Hélène!* — отвечал Егор Петрович голосом, в котором выражался нежный упрек.

— *Mademoiselle Hélène* или Елена Карловна, если вам угодно! Вы становитесь слишком фамильярны: скоро станете звать меня Аленушкой.

— *Hé...lè...ne!* — с трепетом в сердце и голосе проговорил молодой человек.

— Егор Петрович, — спокойно отвечала она, смягченная избытком нежности, невольно изменявшей голосу и взорам Адуева.

— Итак? — тоскливо произнес он после долгого молчания.

— Итак! — насмешливо повторила она, живо перебирая клавиши.

— Вы шутите, Елена Карловна.

— Совсем нет! Я стараюсь подделаться под расположение вашего духа и под ваш тон, чтоб угодить вам. Кажется, нельзя требовать большего внимания.

— Если б я не был уверен, что это шутка, то...

— То?..

— Удалился бы давно.

— Ах, это новое! — с колкостью заметила Елена, — я еще не испытала. Чем же, однако, вы недовольны? Я всегда рада свиданию с вами: вы, я думаю, по моим глазам видите это. К вам я внимательнее, нежели к другим; с другими я стараюсь, для приличия, быть только любезной.

— Только из приличия!.. Стараться быть любезной — нельзя, баронесса: это дар неприобретаемый. Кто любезен, — тот — поверьте! — не старается; притом же есть границы истинной любезности, а ваше обращение с князем Каратыжкиным и Збруевым...

— А!.. вот что! так вам не нравится мое обращение с ними? да отчего же? Напротив, вы, кажется, должны радоваться их вниманию ко мне: это живой аттестат моим достоинствам, справедливая дань, как говорят они...

— Слушайте их!

— Что ж? разве не правда? Вы, я думаю, одного мнения с ними: по крайней мере любовь ваша доказывает это.

Адуев закусил губу.

— Но ваша холодность, странное обращение со мной — становятся несносны! — сказал он.

— Не снесите.

— Скажите мне с прежнею искренностью, которой я не вижу в вас более, — любите ли вы меня?

— Как это скучно! одно и то же! Ответ вы давно знаете.

— Но с тех пор многое могло перемениться, и переменялось! — Он вздохнул.

И она вздохнула.

— Баронесса, меня никто, никогда не считал ни глупцом, ни ребенком. Ваша насмешка — первая в моей жизни. Еще пять минут подобного разговора — и я...

— И вы?

— Оставлю вас сию минуту и навсегда!

— Как грозно!

Адуев не мог сносить долее насмешливого тона Елены: он вспыхнул.

— Да! удалюсь, постараюсь забыть эту суетную женщину, пред которой я так долго бесплодно пресмыкался! — с гневом и скороговоркою начал говорить Егор Петрович. — Боже! та ли это, пред которой я благоговел, в чистоту чувств которой так слепо веровал, не считал себя достойным счастья обладать ею?.. И вот она! едва

успела сказать «люблю» в первый раз в жизни и уже забывает святость своих обещаний, данное обязательство, собирает дань лести ничтожных волокит!..

— Каких обязательств? разве я ваша невеста?

— Но могу ли требовать вашей руки при этом обращении со мною и с другими, не будучи уверен в вашем чувстве? А своенравие, а капризы — какую будущность готовит мне это?.. Вы молчите?

Елена сложила руки вместе, потупила глаза и склонила голову вперед.

— Я ожидаю ваших приказаний, — сказала она.

— А! вы решились оскорблять меня! Прощайте, баронесса. — Он взял шляпу.

— Куда ж вы? Разве не хотите пить с нами чай? — насмешливо сказала она. — Маменька и папенька будут рады видеть вас.

Адуев молчал несколько минут.

— Благодарю вас, — сказал он наконец, — вы открыли мне глаза. Я приехал с тем, чтоб объяснитьсь решительно, выведать от вашего сердца, которое давно уже сделалось тайною и загадкою для меня, по-прежнему ли оно принадлежит мне; потребовать отчета в вашем обращении со мной, и если оно происходит от легкомыслия, то хотел просить вашей руки, в надежде, что со временем строгие обязанности супруги изменят ветреный характер... Но теперь, после этого разговора, мне не нужно никаких объяснений; более надеяться мне нечего; вы меня не любите!

— Вы находите, а?

— Смейтесь!.. Но вы увидите, что я не ребенок! Я готовился посвятить вам жизнь, быть вашим мужем, когда видел, что мог составить ваше и свое счастье, когда знал, что взаимность скрепит наш союз; но вести вас к алтарю без любви, холодно, как жертву приличий, по принятому обычаю, — я не могу и увольняю вас от данного слова!

— Как это сильно сказано!

Адуев не обратил внимания на ее слова и продолжал:

— Признаюсь, до сих пор я существовал только любовью к вам и любимую мою мечтою была — ваша любовь. Не думайте, однако ж, чтобы я так же легко вверился опытной женщине: нет! ваша молодость, чувство, которое вы обнаруживали вначале, — всё ручалось мне за чистоту и искренность вашего сердца; кто бы мог подозревать тогда?..

— Что подозревать?

— Столько лукавства, притворства, кокетства...

— Вы забываетесь, monsieur Адуев! — сказала она гордо и с гневом.

— Таковы ли вы были прежде? И теперь, в ту минуту, когда воспоминания о прежнем столбятся в голове моей, — в глазах еще родится слеза умиления. Несмотря на явную холодность, на оскорбления, я бы всё простил вам, в память прошедшего, если б заметил хоть тень того чувства. Но — повторяю — я не ребенок и знаю, что надежды на счастье нет: оно прошло, как всё проходит своим чередом!..

Адуев задумался. Елена поглядела на часы.

— А помните ли, — начал он опять, — кто породил во мне эту страсть, кто раздул пламя пожара? Как в вас достало столько хитрости? Так молоды, а коварство уже успело закраситься в сердце, которое, казалось, дышало одной искренностью, простосердечием! Когда я воротился из чужих краев, усталый, недовольный ничем, когда утомленная душа моя искала одиночества, — кто приветно улыбнулся мне и озарил будущность блестящими и — как я вижу теперь — несбыточными мечтами? Вы, Елена! вы очаровательною улыбкою вызвали меня на сцену света, на участие в этом вихре жизни, в котором кружились сами. Я кинулся вслед за вами...

Елена зевнула.

— Помните ли, как, просиживая со мною по целым часам вот здесь, на этом самом месте, или на даче в саду, вы забывали свет, не хотели никого видеть, кроме меня? Когда я, томимый нравственным недугом, медленно угасал, не вы ли, как ангел-утешитель, сказали мне: «Живи для любви»?

— Кажется, я не говорила этого.

— Тогда вы — как будто разрешили за меня задачу счастья. Я жадно вслушивался в утешительные слова, впивался взорами в ваши глаза, и в них сиял теплый луч не одного сострадания, а взаимности, нежного участия; вы, кажется, говорили ими: «Люби меня, и тебе откроется целый мир блаженства; я создам тебе счастье и разделю его с тобою». Помните ли вы?

— Ну можно ли помнить такой вздор? Это так давно было! Неужели вы всё еще помните?

— Я закрыл глаза. «Вот где счастье!» — подумал я, бросился за призраком и — очутился в бездне. А как я

любил вас!.. как любил!.. Теперь стыжусь признаться в этом самому себе. Это последняя дань сердца, последний отголосок чувства, которое вы уничтожаете так безжалостно!

Елена небрежно играла локоном и, по-видимому, рассматривала висевшую на стене картину; но если бы кто вникнул в выражение, которое то появлялось, то исчезало в глазах ее, тот — о! тот погрозил бы ей лукаво пальцем и назвал притворщицей.

— Какая непостижимая перемена! — начал опять Адуев. — Холодность, насмешки, капризы... не этим ли вы хотите заставить меня полюбить жизнь? это ли награда за преданность? А внимательность, даже нежность, вы расточаете Бог знает кому! и для чего? Чтоб об вас говорили невыгодно в толпе негодяев!.. чтоб ваше драгоценное, святое для меня имя произносилось хором повес!.. чтобы поступкам вашим давали двусмысленный толк!.. Может быть, со временем вы вспомните обо мне и так же вздохнете, но только не притворно, не иронически, а прямо из души — даже когда будете замужем. Прощайте, Елена Карловна! я всё сказал.

— Всё?.. Ну, слава Богу! Я думаю, вы устали?

— Унижаться долее не стану. Благодарю судьбу, что остановился вовремя.

Он слегка поклонился ей; она встала и сделала ему грациозный и церемонный кникс.

— О! как свет испортил ваше сердце, до какой степени заглушил всё доброе! Теперь, в эту горькую для меня минуту, вместо того чтоб подать в утешение руку, кинуть взор хотя простого, дружеского участия взамен блаженства, которое так легкомысленно обещали и которого дать не можете, — вы обнаруживаете такое язвительное пренебрежение! Вы не понимаете, какие глубокие раны наносите и без того растерзанному сердцу. В последний раз я в вашем доме!

— Зачем же вы хотите лишить нас вашего приятного общества? Мы принимаем по вторникам и пятницам. Надеюсь, что вы не откажетесь быть в числе наших гостей и...

Адуев не дослушал и, с отчаянием в душе, скорыми шагами вышел из комнаты.

А она? Она еще продолжала перебирать клавиши, прислушиваясь к шуму шагов его, и когда они потерялись в отдалении, она облокотилась на флигель, закрыла

обеими руками лицо и зарыдала... Как! эта гордая Елена, эта аристократка, девица-деспот — зарыдала? возможно ли? да не она ли сама, за минуту пред тем, так холодно и равнодушно, даже с насмешкой, отказалась от человека, любившего ее пламенно, преданного ей глубоко? Прошу, после этого, разгадать сердце! Что же говорило в Елене тогда и что заговорило после? Какой демон отвечал за нее сарказмами на объяснение Адуева? какой ангел заставил ее теперь плакать? Зачем, гордая красавица, не заплакала ты минутою прежде? Знаешь ли, неопытное дитя, что одна твоя слеза прожгла бы насквозь сердце юноши; что он, виновник ее, пал бы, как преступник, к твоим ногам? Одна слеза была бы лучшим проводником чувства, красноречивым оправданием чистоты сердца!.. Но гордость сгубила тебя. Теперь уже поздно: он не видит слез твоих. По его сердцу вместо благоговейного трепета любви к тебе пробежал холод; в душу залегло горе, в голове кипит замысл бежать далеко, скрыть обманутое чувство, истребить его новыми впечатлениями... И подумай! одна бы слеза могла удвоить его привязанность, сделать совершенным рабом... Ну что бы тебе хоть притвориться!.. Но теперь уже поздно.

Впрочем, выключая гордости, которая помешала Елене поступить прямо, чистосердечно, исключая капризов, происходивших от властолюбия, свойственного хорошенькой девушке, — виновата ли Елена?

Она девушка с душой, образованным умом; сердце ее чисто и благородно; поведение же, вооружавшее против нее Егора Петровича, происходило от особого рода жизни. На ней лежал отпечаток той школы, в которой она довершила светское воспитание, того круга, в котором жила с малолетства. Будучи еще ребенком, она замечала, что — например — ее маменька глядела на своего возлюбленного супруга так, просто, как глядят все люди друг на друга, а на молодых людей как-то иначе, как не всегда глядят: вот уж у ней родилось понятие о взглядах двух родов; видала также, что княгиня Z* говорила с полковником A* при всех и о погоде, и о театре, и даже о маневрах вслух, а когда они сидели поодаль от других, то разговор как-то переменялся, делался живее, лица обоих одушевлялись, голоса, с приближением посторонних, понижались: из этого она заключила, что и разговоры бывают двойкие. Когда же она выросла, то стала внимательнее, хотя всё еще глядела

просто и говорила одно и то же всем вообще и каждому порознь. Она видела, например, что у графини Р* ложа всегда битком набита молодыми людьми, а при разъезде те же самые молодые люди чуть не дерутся за то, чтоб вырвать салон у человека и подать ей; а на бале — на бале и доступу к ней нет! Что бы всё это значило? Долго красавица думала над задачей; наконец одна же из этих графинь, которым она удивлялась, разрешила. «Ты очень мила, — сказала ей однажды блистательная дама, — но не умеешь нравиться. Ты так неприступна! от тебя так и веет холодом! один взгляд твой разгонит толпу самых любезных молодых людей. Посмотри, как интересно глядит на тебя Ладов, как приветливо встречает Сурков; всюду за тобой — суетятся, толпятся около тебя; а ты краснеешь, как институтка, и кланяешься, как попадья».

«Попадья!..» Ужас!.. Елена ахнула. «О! постой же, графиня! у тебя в ложе будет просторнее!» Не знаю, что дальше говорила ей графиня: только на другой день после урока подле Елены всё вертелся двоюродный ее брат, юнкер какого-то гвардейского полка, а на первом бале после разговора она до крайности утомилась: от кавалеров не было отбою... Так и пошло. Одним словом, девушка узнала свои силы, узнала, какими магическими средствами обладает она, и, очертив около себя волшебный круг, начала действовать теми чарами, которыми наделили ее природа и воспитание. Этот волшебный круг был — девическая непорочность, чистота нравственности; а волшебство было для нее не более как только забавою, весьма употребительною в свете. Она не совсем подражала графиням.

Ну а сердце?

Оно долго оставалось холодно и спокойно и забилося только с появлением Адуева, — забилося для него, сильно и часто. Елена охотно уступила действию прекрасного, нового для нее чувства; она месяца на полтора перестала быть светской блистательной девушкой, стала прежнею очаровательною Еленою, явилась со всею простотою неподдельной прелести, погрузилась на время в самое себя, открыла в душе сокровища, которыми была наделена, и, отличив Адуева от толпы поклонников, оценив его ум, благородство души, силу характера и воли, а главное, предузнав по какому-то женскому инстинкту, какого рода чувство и в какой степени способен он питать, угадав в нем человека, который один только мог

сделать ее счастливою, что одного его могла она любить так, как любила, потому что он ближе всех подходил к ее идеалу, олицетворения которого напрасно искала она между светскими любезниками, — угадав и рассчитав всё это, — заметьте: девушки не только рассчитывают, но и обсчитывают, — итак, рассчитав всё это и полюбив его как нельзя больше, она стала действовать на него уже не теми чарами, какими действовала на прочих, но обнаружила сокровища ума, сердца, души, и покорила. Он вверился пленительной надежде на счастье, увлекся прекрасной идеей будущности и предался совершенно очаровательнице. Уверясь в его чувстве, освятив его взаимностию, а главное, свыкнувшись с мыслию о своем счастье, Елена не сочла грехом обратиться к прежним привычкам, которые у нее нисколько не мешали любви и от которых ей бы и трудно было отстать, потому что тогда от нее отстали бы все светские мотыльки, а это повредило бы, в глазах света, репутации ее любезности и, может быть, — таков человек! — породило бы предубеждение насчет ее красоты, уронило бы в глазах соперниц, вырвало бы пальму первенства в свете, и... мало ли что еще могло бы случиться! Посмотрите, и так сколько зол, сколько горьких следствий произвело бы это: как же можно быть ей прекрасною в глазах только одного человека? Никак нельзя! Она права: ссылаюсь на суд моих читательниц.

Стало быть, виноват Егор Петрович? Нет, и его винить нельзя. Он родился под другой звездой, которая рано оторвала его от света и указала путь в другую область, хотя он и принадлежал по рождению к тому же кругу. Добрые и умные родители, заботясь одинаково как о существенных, так и о нравственных его пользах, дали ему отличное воспитание и, по окончании им университетского курса, отправили в чужие края, а сами умерли. Молодой человек, путешествуя с пользой для ума и сердца, нагляделся на людей, посмотрел на жизнь во всем ее просторе, со всех сторон, видел свет в широкой рамке Европы, испытал много; но опыт принес ему горькие плоды — недоверчивость к людям и иронический взгляд на жизнь. Он перестал надеяться на счастье, не ожидал ни одной радости и равнодушно переходил поле, отмежеванное ему судьбою. У него было нечто вроде «горя от ума». Другой, на его месте и с его средствами, блаженствовал бы — жил бы спокойно, сладко ел, много

спал, гулял бы по Невскому проспекту и читал «Библиотеку для чтения»; но его — его тяготило мертвое спокойствие, без тревог и бурь, потрясающих душу. Такое состояние он называл сном, прозябанием, а не жизнью. Эдакой чудак!

Когда предстала ему Елена, он, в свою очередь, также оценил ее и понял, сколько счастья заключалось в обладании ею, — счастья, которого, может быть, достало бы ему на всю жизнь. Он вышел из усыпления, вызвал жизнь из глубины души, облекся в свои достоинства и пошел на бой с сердцем девушки. Оно уступило; он достиг цели, наслаждался, гордился, не заметив господствующей слабости, потому что Елена, как мы видели выше, на время покинула ее.

Составив себе строгую идею о ней, с трепетом любви преклоняясь пред ее достоинствами, он пророчил себе чистое блаженство в будущем, радовался, что есть чувство в груди его, которое может помирить его с жизнью, что есть посредница между им и светом, что есть состояние, которое он может назвать счастьем. «Вот и я начинаю жить!» — думал он, и вдруг... А он воображал ее так чистою, чуждою суетности; возвышаясь понятиями и благородством души над толпою молодых людей, он сам никогда не расточал лести перед женщинами, не ловил их минутной внимательности, был слишком опытен, чтобы поддаться обману, и не льстился теми наградами, за которыми жадно гонялись прочие.

Бегая от... язык не поворачивается выговорить!.. от кокеток, — надобно же наконец назвать их своим именем, — он составил себе строгое понятие о той женщине, которую готовился назвать своею, — понятие, может быть, несколько устарелое, романическое, отзывающееся варварством. Любя сильно, страстно, он думал, что женщина должна совершенно посвятить себя одному ему, так, как он посвящал себя ей; не расточать знаков внимательности и нежности другим, а приносить их, как драгоценные дары, в сокровищницу любви; не знать удовольствия, которое не относилось бы к нему, считать его горе своим и проч. Виноват ли он, что, при этих понятиях, ему не нравилось поведение Елены? «Суший варвар!» — скажут читательницы. Но я ссылаюсь на суд читателей.

Кто же виноват? По-моему, никто. Если б судьба их зависела от меня, я бы разлучил их навсегда и

здесь кончил бы свой рассказ. Но посмотрим, что будет далее.

Они расстались, — может быть, и в самом деле навсегда. Гордость не позволила Елене обнаружить настоящего чувства. Теперь она проливает слезы и, вероятно, решила бы на жертвование в пользу любви, лишь бы возвратился он, который был целью ее жизни, ее счастьем. Она тогда только узнала всю цену ему и то, как она его любит; но он не воротится: в нем также проснулось ужасное чувство, убивающее любовь, — гордость, спесь мужчины, долго томившегося страстью и отвергнутого. Он сбросил цепи бесполезного рабства, гордо поднял голову и запел песнь свободы... Бедная Елена! Но полно, так ли? А вот увидим.

Сумерки уже кончились. Все комнаты освещены; люди засуетились; в кабинете барона послышался говор; старики потребовали зельцерской воды и возобновили беседу, прерванную сном; в комнате супруги барона раздался звон колокольчика; всё пришло в движение — настал вечер, а Елена всё еще неподвижно сидела на том же месте, повесив голову. Хотя она не плакала более, но место слез заступила бледность, в глазах изображалось чуть-чуть не отчаяние. То не была уже светская, гордая девушка, царица зал, повелительница толпы поклонников, всегда спокойная, всегда величаявая, с надменностью во взоре, с улыбкою торжества. Нет! с нее спала мишура; горе сравняло ее со всеми, и никто, увидев ее в этом положении, не сказал бы, что это блистательная девушка высшего круга: всякий сказал бы, что это просто несчастная девушка.

Мне скажут, что ее горе есть горе мечтательное, не заслуживающее сострадания; что причина так ничтожна... По-моему, какая бы ни была причина горя, но если человек страдает, то он и несчастлив. От расстройства ли нерв страдает он, от воображения ли или от какой-нибудь существенной потери — всё равно. Для измерения несчастья нет общего масштаба: о злополучии должно судить в отношении к тому человеку, над которым оно совершилось, а не в отношении ко всем вообще; должно поставить себя в круг его обстоятельств, вникнуть в его характер и отношения.

Да! Елена была несчастлива, и к тому же горе ее не есть мечтательное горе. Любовь Елены к Адуеву не была просто вспышка: она также любила его глубоко, от всей

души, в первый и — может быть — в последний раз. Умом и душою она была выше своей настоящей сферы. Отпраздновав днем на празднике суеты, удовлетворив самолюбию и собрав обильную дань поклонения своей красоте и любезности, — о чем мечтала она вечером, оставаясь одна? Всё о счастье быть любимой, о будущей своей жизни, которую расположилась провести с Адуевым. Свет не наполнял пустоты ее сердца; суетность ошибкой втеснилась в душу; она сама нетерпеливо ждала, когда кончится период девичества и настанет эпоха супружества, эпоха, с которой она будет принадлежать одному человеку. И вдруг все надежды исчезли! он не любит ее более, потерял уважение к ней... Какое мучение! Будущее, с удалением молодого человека, закрылось бесцветной пеленой; она осталась одна навсегда. Лишась предмета, избранного сердцем, она должна отдать теперь часть свою в распоряжение случая. Бог знает, кто будет ее мужем; может быть, она сделается жертвою дипломатических расчетов своего отца... О! как в эту минуту опротивел ей свет с своими любезниками!

...Да, она истинно несчастлива! — Она не слыхала, как отворилась дверь, как вошла рыжая англичанка, и тогда только узнала об ее присутствии, когда та пролаяла по-своему, что парикмахер ждет ее в уборной и что маменька приказала напомнить о бале.

— Бал!... Боже, этого только не доставало! Я не поеду на бал, — сказала она также по-английски, — слышите ли? скажите маменьке, парикмахеру, скажите целому свету! я не хочу, не могу. — Елена говорила это с выражением совершенного отчаяния, и если бы была мужчиною, то непременно прибавила бы: «God dam!»¹

Однако не ехать на бал нельзя; или ей надобно притвориться больной недели на две, а то — что скажет свет? И она, как жертва, со вздохом повлеклась с своей компаньонкой в уборную.

Чудо-уборная! Какая роскошь! сколько вкуса! Я видал все эти вещи и прежде в магазинах Гамбса, Юнкера, Плинке; но там они не производили на меня такого впечатления, как здесь. Отчего же это? Оттого, что здесь каждая из них гармонически отвечает целому, что здесь они в храме богини; на них лежит печать ее присутствия; они как будто живут своею особенною жизнью. Ну что,

¹ «Черт возьми!» (англ., искаж.; правильно: «God damn!»)

например, занимательного в этом бронзовом подсвечнике с транспарантом, если посмотришь на него в магазине? но когда увидишь в нем остаток свечи, подле развернутую книгу и оставленный платок с шифром красавицы; если вообразишь, как она сидит за этой книгою и читает, — то какую магическую прелесть получит и подсвечник, и платок, и даже самая книга, — будь она хоть «Сочинения» Фиглярина! (которых, впрочем, Елена никогда не читала: Боже ее сохрани!). Ну что особенного в этом туалете? Стол с зеркалом — больше ничего! Но вот на нем лежит ее перчатка, вывороченная наизнанку, — крошечная и пахнет амброй. Воображение никак не хочет приписать этого запаха французским духам, а непременно ручке, которая носит ее. Диван — прекрасная мебель, и всё тут! Но красавица переменяла на нем башмаки, и один миниатюрный башмачок забыт горничною. Как небрежно свесились ленточки! — так и тянет к нему! Оглядываешься, нет ли кого — особенно Адуева; хватаешь сокровище и целуешь: нельзя утерпеть!

Теперь Елена сидит в креслах перед трюмо и едва понимает, что происходит около нее; а около нее хлопочут парикмахер и три горничные. Как хороша Елена теперь! Она так гораздо лучше, нежели на каком-нибудь рауте. Там она вооружается особыми приемами, особыми взглядами, особою речью; а теперь горе убрало ее по-своему, но как хорошо! Зачем она не понимает, что она гораздо лучше, когда ею управляет какое-нибудь сильное непритворное чувство? Она небрежно сидит и даже, против обыкновения, не смотрит в зеркало; черные, всегда живые, блестящие, молниеносные глаза подернулись туманом грустной задумчивости; в них дрожит слеза; на щеках румянец спорит с бледностью, то выступая, то пропадая опять; уста полуоткрыты; голова склонилась к левому плечу. Она не почувствовала, как куафер отнял с одной стороны шпильки и как волосы роскошных кудрей прянули на щеку и, играя, вдруг рассыпались кругом по плечу; не заметила, как горничные, примеривая бальную обувь, сняли башмачок с ножки, подложили под нее бархатную подушку, на которой так резко оттенялась эта чудная, восхитительная ножка.

Я постигаю теперь, отчего между парикмахерами нет ни одного угрюмого, задумчивого человека, отчего они веселы и болтливы: иначе и быть не может. Каким бы холодным ни создала природа куафера, но одно уже

прикосновение к голове красавицы должно действовать на него магнетически. Изящное действует на самые грубые души, особенно же, я думаю, изящное в виде Елениной головы. Как он деспотически распоряжается прекрасною головкою Елены! то наклоняет, то поднимает ее, поворачивает то в одну, то в другую сторону, как будто рассматривает с видом знатока. Как свободно святотатственные взоры гуляют от маковки к затылку и обратно! Он то нагнется к ней, будто подышать ее атмосферю, то откинется назад, будто полюбоваться издали, как художник любит свое произведение; вот, вот захватил одною рукою целую прядь волос, а другою... Сколько прелестей открывается с каждым движением! Нет, терпенья недостает! Напрасно глядишь на распятие из слоновой кости, стоящее на столике; напрасно силишься благочестивыми размышлениями заглушить волнение: не помогает! В голове жар, в глазах мутно; кровь то прильет, то отхлынет от сердца... Отвращаешь взоры — и видишь... новое искушение! на диване раскинулось в пленительном беспорядке роскошное газовое платье, готовое заключить красавицу, обнять, стиснуть ее стройный стан, пышные формы... платье до того легкое, воздушное, эфирное, что если бы мы с вами, почтеннейший читатель, вдвоем дунули на него, то оно перелетело бы на другое место.

Нет! больше никогда не пойду в такие места. Лучше посмотреть, что делает Егор Петрович.

Он уж не так бойко спустился с лестницы, как взошел на нее; останавливался на каждой ступеньке, как будто о чем-то размышляя; ноги его подкашивались, точно как, по выражению Гюго, на каждой ноге у него было по две коленки.

Покидая порог дома, в котором он был так жестоко оскорблен и в который не имел намерения возвращаться, ему бы следовало отрясти прах от ног своих; но он, вероятно, забыл сделать это и тихо побрел по тротуару, а кучеру велел ехать вслед за собой. Какая разница между приездом и отъездом! За час он летел еще с надеждой обладать Еленой, с правом на ее сердце и руку; теперь она не существовала для него более. Он шел тихо, как ходят все несчастные, склонив голову на грудь, потупив взоры в землю; не слышал и не чувствовал ничего. Так он добрел домой. Если бы слуга не догадался снять с него почти насильно шинели, то он в ней вошел бы в

залу; но он вошел только в шляпе, сел на такое место, на которое никогда не садился прежде, и тихо, про себя, начал говорить следующее: «Вот жизнь! За час, я еще назывался счастливым, а теперь!.. Глупец! ребенок! к чему послужила мне опытность? положился на счастье!.. Что пользы, что я узнал жизнь вдоль и поперек, что испытал сам и видел, как другие спотыкаются на каждом шагу и все-таки делаются жертвой нового обмана? Знал и — попался!.. Стыд!.. Но кто ж бы устоял против обольщения? Жизнь моя и так не красна; и так я долго крепился: а ведь я человек!.. Как больно обмануться в последней надежде! как грустно отказаться от лучшей мечты!..»

Он погрузился в задумчивость; потом встал и скорыми шагами начал ходить по комнате.

«Что начать?.. Куда я денусь с своей тоской?..» — Он задумался. Наконец вдруг глаза его приняли совершенно другое выражение: они заблестали гневом; губы судорожно сжались. «Нет! — воскликнул он, — я не поддамся горю, не стану томиться под бременем тоски! нет! клянусь честью, нет! У меня достанет твердости отказаться от несбыточной мечты, забыть ее... Я найду чем рассеяться. Чтение, множество покинутых занятий; не поможет — пушусь странствовать по свету: опять в Германию, на жатву новых знаний, под благословенное небо Италии, Греции. Говорят, путешествие всего спасительнее для сумасшедших этого рода. Да мало ли занятий! Вот, например, я целый месяц не видал в глаза своего управителя и не знаю, что делается в моих деревнях; а от меня зависит судьба трех тысяч человек, от них мое благосостояние. Нечего медлить! сейчас же и займусь. О! я возвращу утраченное спокойствие; недаром я мужчина!»

— Эй! — закричал он. Явился человек. — Позвать управителя ко мне в кабинет!

Через пять минут в кабинет вошел, с кипой бумаг, управляющий Егора Петровича, низенький старик, чрезвычайно плешивый, в гороховом сюртуке. Он низко поклонился и стал у порога.

— Давно мы не видались с тобой, Яков! Что ты нынче не ходишь ко мне с делами?

— Я хожу, батюшка Егор Петрович, каждый день, как и прежде, да мне всё говорят, что вы изволите уезжать к барону Карлу Осиповичу.

— Сегодня это в последний раз сказали тебе. Начиная с нынешнего дня, докладывай мне обо всем, показывай каждую бумагу. Я сам хочу всё видеть и знать.

— Слушаю-с, — сказал старик и низко поклонился.

— Что же у тебя есть?

— Да вот, сударь, архитектор из воронежской вотчины пишет, чтобы изволили назначить срок, когда дом в Ельцах должен поспеть: еще осталось довольно работы, а весна близко. Да садовник просит выписать семян для цветника, что вы приказали разбить; реестр прислал, да не по-нашему писано.

— Врут они оба! — с сердцем прервал Адуев, — ничего не нужно. Оставить стройку и отпустить архитектора; в саду тоже никаких затей не нужно. Я не поеду туда.

— Слушаю-с, — и старик низко поклонился.

Недаром рассердился Адуев: все частные планы, о перedelке деревенского дома и о переменах в саду, входили в один общий план его женитьбы. Он уже мысленно нарек Елену своею и, составив теорию будущего счастья, начал практически приводить ее в исполнение. Воронежскую свою деревню, имевшую прекрасное местоположение, назначил он будущим жилищем и тамошний старый, мрачный, некрасивый дедовский дом задумал преобразить в светлый храм любви, там он предположил свой Эльдorado. Он изучил вкус Елены до мельчайших подробностей, искусно выведал будущие ее желания и, соединив их с своими, начал делать, сообразно этому, перемены в деревенском доме и саду: пригласил архитектора и выслал из Петербурга планы для перedelки дома, садовнику тоже надавал множество приказаний. Он уже помышлял о покупке мебели и разных вещей для украшения дома, уже мысленно распределил занятия в деревне, расположил свой будущий семейный быт, заботился о дополнении библиотеки любимыми авторами Елены; часто задумывался о том, как введет милую хозяйку в дедовский приют и начнет новую эпоху жизни. Хозяин, благодетель своих подданных, муж, обладатель прелестной женщины, и потом — вероятно, отец... какая будущность! И вдруг — кто бы мог подумать?.. Демон бешенства овладел им, когда управитель напомнил ему о планах, которые превратились теперь в воздушные замки и никуда не годились.

Он начал опять ходить по комнате.

— Что у тебя еще есть? — сердито спросил он.

— Староста ярославской вотчины пишет, — с трепетом начал Яков, — не будет ли вашей милости помочь как-нибудь двум парням; им пришел черед в рекрутчину; у одного-то осенью отец ногу порубил, сидит на печи поклавши руки, а он с сыном только и работали на всю семью; остались бабы да малолетки — хоть по миру идти; другой сосватал было невесту, сироту, — девка работающая, клад для семьи. Такие горемыки, пишет староста, что сердце ноет, глядя на них.

Адуев нахмурился.

— Что?.. невесту?.. Я ему дам невесту! Сумасшедший, вздумал жениться! Вздор! обоих в солдаты, а девку на фабрику; если староста еще будет писать, так и его туда же! Я не люблю шутить! слышишь, ты?

— Слышу, батюшка Егор Петрович; завтра приготовлю ответ.

— Дальше!

— Из курской деревни мужички челобитье прислали, крепко жалуются на неурожай, просят, не отсрочите ли недоимки еще на годок: больно худо пришло.

— Вздор! чтобы нынешний же год всё до копейки было взыскано, а не то... понимаешь?

— Ваша барская воля, сударь. Завтра напишу, — отвечал старик и низко поклонился

— Всё ли?

— Всё, сударь.

— Ну ступай же; да смотри, докладывай мне обо всем самому.

Управитель вышел из кабинета в переднюю, где ожидал его другой старик, Елисей, дядька и камердинер Адуева.

— Что, батюшка Яков Тихоныч, подеялось с Егором Петровичем? Поведай. Ума не приложу: никогда я не видывал его таким.

Яков махнул рукой и рассказал, что произошло между ними — как барин принял чело(битную) мужиков, как отвечал на просьбу рекрут. «Видно, в покойника барина пошел! — так заключил Яков свой рассказ, — человек, подумай!»

— Что ты говоришь, Яков Тихоныч!

— Ей-Богу, право.

Старики попотчевали друг друга табаком и разошлись. Между тем Адуев ходил в сильном волнении по комнате.

— Ну вот, я теперь и спокоен! — говорил он, судорожно отрывая одной рукой пуговицу у сюртука, а другой царапая чуть не до крови ухо, — совершенно спокоен! Одно дело кончил; теперь займусь другим... О! я забуду ее!..

В это самое время лукавый напомнил ему про доклад управителя о перестройке деревенского дома; воображение начало развивать картину утраченного блаженства; он представил себе поэтический приют — дом, чудо удобства, вкуса и роскоши, прелестный сад, где искусство спорило с природой; о том, как бы они вдвоем с Еленой заперлись там от глупых соседей, от целого мира; там он с волшебным зеркалом лежал бы у ног своей Армиды.

...И всё погибло! Великолепное здание мечтаний рушилось! — Он совсем оторвал пуговицу и до крови расцарапал ухо.

— Нет! это низость, малодушие! — вскричал он, — прочь, лукавые мысли! прочь, обольстительные мечты! полно вам тешить меня! я вытесню вас из памяти, запишу под знамена какого-нибудь развратного корифея буйных шалунов, пристану к их хору и среди оргий истреблю память о ней, буйным криком перекричу голос сердца... Завтра же начну новую жизнь!

Он схватил перо, лист бумаги и начал писать. Через пять минут он кликнул Елисея.

— Завтра у меня будут обедать эти двадцать человек, которые здесь записаны. Разошли к ним людей с приглашениями, а на тебя возлагаю заботы о столе. Смотри же! роскошный обед, шампанского вдоволь, да были бы карты!..

— Помилуйте, сударь, ведь уж ночь: когда успеешь?

— Успей когда хочешь! — закричал Егор Петрович, — я ничего знать не хочу! чтоб было! Старый черт, умничать стал — вон!

Старик сначала с удивлением, потом с грустью посмотрел на Адуева.

«Старый черт! — шептал он, покачивая головой, — какво махнул? отродясь не слыхивал себе такого счастья! Чего я дождался от вас, Егор Петрович, дожив до седых волос! Вынянчил вас, тридцать лет служил вашему батюшке, под туретчину с ним ходил, а и от него не слыхивал такого нехорошего слова».

Адуев молча показал ему рукою на дверь. Старик отер ладонью слезу, поднял с пола реестр, написанный

Адуевым, и тихо, печально, с поникшей головой побрел вон.

«Боже! — воскликнул Адуев с тоской, — куда завлекла меня страсть? что я делаю? — я потерял рассудок...» — Он закрыл лицо платком и зарыдал глухо, без слез. Его страшно было слушать: он был жалок и ужасен. Ему стало душно, жарко, несносно; он с трудом переводил дыхание; признаки душевной бури и физического недуга уже легли на лицо, которое, еще за два часа пред тем свежее, прекрасное и цветущее, теперь совсем изменилось: глаза потеряли блеск, будто после продолжительной болезни, щеки опустились, все черты были искажены, волосы в беспорядке. Наконец мало-помалу бешеная тоска впала в тихую грусть; он наружно стал спокойнее. Одной рукой облокотясь на стол, другой он машинально вертел лежавший на столе какой-то билет; наконец, бросив на него случайно взгляд, он прочел: «Билет для входа на бал в Коммерческом клубе».

— Откуда взялся этот билет? — спросил он, кликнув слугу.

— Какой-то барин завез и приказал сказать, что надеется вас непременно видеть на бале.

«А! Сама судьба посылает мне средства к развлечению! Пойду, куда она влечет меня; может быть, неожиданно буду счастлив».

— Давай же одеваться! — сказал он слуге, — и вели закладывать карету.

— Знаешь ли, где Коммерческий клуб? — спросил он кучера.

— Никак нет-с.

— Где-то на Английской набережной; надо спросить.

— А! знаю-с!

— Ну так пошел туда!

Все бытописатели, когда приходилось писать о бале, не забывали никогда упоминать о самом ничтожном и само собою разумеющемся обстоятельстве, что подъезд и окна бывают ярко освещены, а улица перед домом заперта экипажами. Да разве может обойтись без того один съезд порядочных людей? Конечно, описать эти мелочи, как описал Пушкин в «Онегине», другое дело! Туда мы и отсылаем любопытных по этой части и упоминать более об этом не станем, потому что не намерены изображать картины бала, который нам нужен только для одного обстоятельства, имевшего большое влияние на судьбу Егора Петровича.

Адуев вошел в сени, сунул билет свой в руки богато одетого швейцара и с удивлением стал подниматься на лестницу, которую облепил дорогой ковер, сделавший бы честь не одному кабинету; по бокам тянулся ряд померанцевых и лимонных деревьев; она упиралась в двери с золотой резьбой, с хрустальными стеклами. В передней толпились официанты, одетые в бархат, облитые золотом. Одним словом, всё было так, как бы пристало какому-нибудь аристократическому балу.

«На публичном бале — и такая роскошь! — подумал Адуев, — странно!»

Двери отворились, и ему представилась анфилада ярко освещенных комнат. Остановившись на минуту в дверях залы, он через лорнет впери́л взоры в толпу и с удивлением увидел, что тут собралась вся петербургская аристократия, «сливки общества». Перед глазами у него беспрестанно мелькали звезды, ленты, все существующие на свете мундиры, потому что тут находились представители всех держав. Тут были и те молодые люди, которые наружными качествами отличились бы всюду, даже на Страшном суде, когда вся толпа человечества предстанет вместе. Тон, приемы, костюм, доведенные до высшей степени изящности и совершенства, простоты и естественности, под которые нельзя подделаться, обличали в них первоклассных денди, людей, на которых воспитание чуть ли не сама природа набрасывает особый оттенок.

«Эти как попали сюда? — подумал Адуев, — я никогда не слыхивал от них ни слова о Коммерческом клубе». — И отошедши к зеркалу, он бросил испытующий взор на свой костюм, потом вошел в залу.

Недалеко от дверей стоял старик почтенной наружности в иностранном мундире. Он раскланялся с Адуевым и сказал ему какое-то приветствие.

«Здесь собрано всё, чтоб сделать этот бал непохожим на публичный, — подумал Егор Петрович, — какой-то старик встречает меня, как будто хозяин! Верно, бывает у барона и видал меня».

Он вежливо отвечал на поклон и отправился далее.

Наконец, добравшись до того места, где совершалась первая часть бала — танцы, он остановился. Там собрались блистательные дамы, от которых Адуев по возможности бегал, которые зимой, по вечерам, живую гирляндой обвивают бельэтаж Михайловского театра, а по утрам Невский проспект, которые летом украшают балконы

каменноостровских дач. Они, как звезды первой величины петербургского общества, разливали вокруг себя радужный свет. Какая утонченная изысканность! сколько изящества и вкуса в нарядах! На Адуева так и повеяло холодом приличий, так и обдало той атмосферой, в которой бывает тесно, несвободно дышать мыслящему человеку. Он внутренне проклял Бронского, который привез ему билет. «Повеса! — ворчал он, — и не предупредил меня! Верно, хотел сделать сюрприз. Признаюсь, ему удалось как нельзя лучше. Да где же он сам! отчего по сю пору не едет?»

В это время одно из блистательнейших светил, протекая мимо его, остановилось.

— И вы здесь, *monsieur* Адуев? — сказала оно, — редкое явление — вы такой нелюдим! Через кого вы здесь?

— Через Бронского, княгиня.

— А я думала, через барона, — сказала она и потекла далее, влача за собой маленькую, коротенькую княжну, как корабль влачит лодочку.

«Да, как не так! — подумал Егор Петрович, пробираясь далее, — поедет барон в Коммерческий клуб, несмотря даже, что и ваше сиятельство здесь! Впрочем, все его товарищи по службе и по висту приехали же сюда; стало быть, и он мог бы приехать».

— Ah! *bonjour, cher George!*¹ — вскричал молоденький гвардейский офицер, схватив его за руку, — как ты попал? Ну, очень рад, что ты одумался и наконец разрешил показаться в свет. А ведь прежде ты терпеть не мог. Не правда ли, что здесь очень мило? *magnifique, n'est ce pas?*² Пойдем, я познакомлю тебя с Раутовым, Световым, Баловым. Премилые ребята! они заочно любят тебя и бранят давно, что ты прячешься от людей. С твоими достоинствами, надо идти вперед. Пойдем!.. Да! кстати! будешь ли в пятницу у австрийского посла?

— У австрийского посла! В уме ли ты? Будто это одно и то же!

— Да, почти, *mon cher*,³ все те же лица будут там; разве императорская фамилия...

¹ А! здравствуй, дорогой Жорж! (фр.)

² превосходно, не правда ли? (фр.)

³ мой милый (фр.)

— Полно вздор говорить! Лучше скажи, будешь ли завтра у меня обедать? Я послал к тебе приглашение.

— Что у тебя? сюрприз готовишь? уж не наследство ли получил? Да стой! ты что-то бледен, расстроен... Ну так и есть! бьюсь об заклад, что наследство; ты из приличия делаешь кислую мину... В таком случае не следовало бы приезжать; а то — что скажут в свете? — серьезно шепнул он ему на ухо и бросился навстречу входящей даме с девицей; а Адуев пошел далее, беспрестанно сталкиваясь по пути с знакомыми и с неизбежными вопросами: «Ах, и ты здесь? — Каким образом вы попали сюда? — Ба! вот сюрприз! браво! — И вы в свете?»

Наконец это надоело ему, и он вышел из залы в следующие комнаты, частью пустые, частью наполненные играющими в карты. «Всё это слишком богато для публичного бала, — думал он, — куда ни обернешься, везде мрамор, бронза. Какая мебель! точно как будто еще вчера здесь жил какой-нибудь вельможа: расположение и уборка комнат ясно показывают это. Вот и картинная галерея!» — И направляя лорнет на картины, он ахнул: тут были произведения итальянской кисти всех школ, почти всех знаменитых художников, в оригиналах. «Что это значит?» — воскликнул он. Между прочим, тут были портреты государя и государыни, превосходной работы, и подле них портрет какого-то генерала в иностранном мундире. Он искал взорами знакомых, чтобы спросить, чей он; но знакомых тут не случилось, и он стал рассматривать группы изваяний. Опытный взор его тотчас увидел превосходный резец. Тут также были бюсты государя императора и государыни императрицы, поставленные на возвышении; а с противоположной стороны, на таком же возвышении, стоял бюст того же генерала.

— Чей это бюст? — спросил он мимо проходившего знакомого англичанина.

— Неаполитанского короля, — отвечал тот и исчез в толпе.

«Что за влечение Коммерческого клуба к неаполитанскому королю? уж скорей бы к английскому: по крайней мере, торговая нация. Странно!» — А! — воскликнул он почти вслух, — понимаю! верно, клуб нанимает дом, и хозяин оставил всё в своем виде... Ну, теперь понимаю!

Между тем отдаленные звуки музыки, доносившиеся из залы, привлекали, а толпа, суетившаяся около него, увлекала его туда. В дверях ему попался тот же старик

и опять обратился к нему с учтивым вопросом, отчего он не танцует.

— Покорно благодарю; я никогда не танцую, — отвечал он сухо.

«Что он пристаёт ко мне? — бормотал Егор Петрович, отходя прочь, — верно, я понравился ему. Да нет, вон он и за другими ухаживает. Так... добрый человек. Ведь есть этакие старики, что ко всякому лезут. Чудак должен быть; уж не помешанный ли? в публичных местах иногда являются такие. Надо спросить, кто это такой».

Но тут опять не было знакомых, а между тем кончился контрданс, и Адуев, прислонясь спиной к мраморной колонне, случайно переносил задумчивые взоры на все предметы, без выражения, без смысла. Тоска глубже впиалась в его сердце, червь отчаяния сильнее шевелился в груди среди чада великолепного бала; молодой человек сильнее чувствовал свое одиночество, потому что душа его была слишком чужда беспечного ликования, бессмысленной радости без всякой цели; обаяние бала поглотило всех: только его не коснулось очарование; он был похож на зрителя, который постигает фокусы шарлатана и не разделяет удивления с толпою. «Бал! бал! — думал Адуев, — и это может занимать людей целую неделю! Если б их ожидало что-нибудь новое, невиданное, неслыханное, тогда ждать бала — было бы только любопытство, свойственное человеку. Но за неделю взвесить сумму наслаждений, рассчитать каждое мгновение этого события, тысячу раз повторенного и столько же раз имеющего повториться, и все-таки ждать — это просто ничтожество!» Адуев не понимал радости, суеты молодых людей и был прав, так точно как они не поняли бы его тоски, если б знали о ней, захохотали бы над его горем и тоже были бы правы.

Но посмотрите, что с ним сделалось! Взоры его, блуждая до сих пор рассеянно, вдруг сделались неподвижны, — с жадностью, с изумлением устремились на один предмет. Он остолбенел, дыхание у него замерло... Какой же предмет, кажется, мог бы увлечь всё его внимание, взволновать? и где же? на бале! Одна только Елена действовала на него таким образом. А разве я говорю, что и теперь не она подействовала на него? Именно она, бледная, печальная, сидела подле этрусской вазы, едва отвечая на любезности трех денди.

«Елена!.. Что это значит? в Коммерческом клубе? зачем? И так грустна... Боже, она несчастлива!» Вот

вопросы, молнией мелькнувшие в голове Егора Петровича, а в сердце раздался вопль проснувшейся страсти, голос участия заговорил сильнее, нежели прежде, потому что он не видал ее несчастною.

Он видит, что три любезника отпорхнули от нее, не узнав в ней обыкновенной Елены, всегда приветливой, всегда любезной, и повлеклись за графинею Z*, как хвост за кометой. Она одна; глаза ее не горят по-прежнему торжеством победы и самоуверенности; из них готова капнуть слеза; она с отвращением смотрит на толпу; ей досадно, противна суетность; не то ей нужно теперь: ей нужны объятия и утешительные слова дружбы, горячее сердце матери, которому бы она поверила тоску. Но где мать? Она сидит среди блистательных старух и так же занята балом, так же не понимает ее горя, как другие, а подруги носятся в бальном чаду, от которого очнутся, может быть, только на третий день после бала.

Где же взор участия? Одно только и было существо, которое понимало ее, которого сердце билось для нее одной — и какое сердце! Теперь оно, это единственное сердце, оскорблено ею же. О, как несносно!.. Она машинально обратила глаза на толпу, задумчиво глядела на всё окружающее; наконец смотр толпе кончен; она подняла взоры вверх, как будто считая колонны; вот дошла до последней: больше не на что смотреть... Ба! что это такое? С нею то же сделалось, что прежде с Егором Петровичем. Отчего эти грустные, задумчивые взоры вдруг сверкнули опять молнией? отчего слезы внезапно выкатились и стали, как два алмаза, на ресницах? Она чуть не вскрикнула; приличие едва заглушило радостный вопль. Что это значит?.. А это значит то, что она увидела Адуева.

Мысль, что он не разлюбил ее, что, забыв принятые им правила, победив отвращение к шумным сборищам света, к этим шабашам, приехал сюда видеть ее, искать примирения, с надеждой возвратить утраченное, — мысль эта вдруг облила лицо ее светом радости, какой она никогда не чувствовала, торжествуя свои победы. Вот отчего показались слезы; вот отчего она забыла и свет, и толпу, и приличия и устремила страстный, умоляющий взор на молодого человека.

Он видел и понял всё. Нужно ли ему еще доказательств, что он любим? Бледность, печаль, отважный, по его мнению, поступок — приезд в клуб — говорили

слишком красноречиво, а взор довершил только победу, победу самую блистательную, не над сахарным сердцем паркетного мотылька, но над сердцем, оскорбленным ею. Торжествуй, красавица!

«Нарочно для меня приехала сюда! — в восторге думал также Егор Петрович. — И как она узнала? Вероятно, посылала осведомиться у людей. Так печальна!... О! она любит меня; нет сомнения!» Он подошел к ней с выражением полного счастья на лице.

— Я виновата, George! — сказала она тихо, — кругом виновата! Простите меня; забудьте, что я говорила и делала; не верьте словам моим: они были внушены досадой и оскорбленным самолюбием. Я люблю вас, как никого не любила до сих пор, но сама не знала о том. Я еще никогда не лишалась любимого предмета, не испытала разлуки. Простите меня! Мучительно оскорбить человека и вдобавок человека, которого любишь, и страдать без прощения, ежеминутно сознавая вину... О! если вы простите меня, как я буду уметь любить вас, беречь свое счастье, которое разрушила по легкомыслию! Вы дали мне урок, научили уважать себя...

Елена отвернулась в сторону, чтобы скрыть слезы, которые появились во множестве и готовы были брызнуть без церемонии, как у всякой женщины в подобном случае. Она говорила скоро, прерывистым голосом. Не понимая ни своего, ни чужого сердца, она то боялась, то надеялась и не смела угадать ответ. Она была просто женщина, но женщина-ребенок: настоящая женщина поступила бы иначе на ее месте, хотя следствия были бы одни и те же. На всё надобно сноровку, Елена Карловна. Вы еще молоды, сударыня! спросили бы опять у графини: та бы научила вас.

Адуев побледнел: он едва перенес горе; но неожиданный переход, оглушающий удар счастья был не по силам ему.

— Ни слова более!.. Пощадите меня, Елена! я не перенесу, мне дурно... силы покидают меня!

И, сказав это, он тихо опустился подле нее на стул. Елена теперь только угадала ответ и (хотела бросить взор на небо, но он встретил потолок, расписанный альфреско, — небо для бала очень хорошее, особенно для тех, которые там были: они бы не желали и сами лучшего — с целым миром мифологических богов. Между ними Амур, казалось, улыбнулся ей и будто хотел

опустить из рук миртовый венок на ее голову в знак торжества своего могущества.

Счастливец Адуев! В каком упоительном состоянии он теперь! чувство восторга втеснилось в грудь его и мешает ему говорить, думать, даже дышать. Он сидит неподвижен, бледен, еще не может мысленно измерить своего блаженства... мысли цепенеют в голове и сливаются в одну необъятную отрадную идею: «Она любит!» Язык его онемел. Опять досадный, помешанный старик подошел с вопросом, не дурно ли ему, не нужно ли ему воздуха, fleurs d'orange, des sels...¹

— Нет-с, мне теперь ничего не нужно! — сказал он, собравшись с силами. — Елена, — шепнул он ей, — этой минутой вы выкупили бы кровную обиду. Я, я один виноват во всем; я опытнее вас, должен бы был поступить иначе, а не горячиться, как семнадцатилетний мальчик. Теперь обращайтесь со мной вдвое холоднее, будьте вдесятеро капризней, причудливей: я всё снесу! — Он встал.

— Куда вы?

— К барону, просить вашей руки.

— Теперь?... Возможно ли! на нас и так обратили внимание.

— Уговорите, по крайней мере, вашу маменьку ехать поскорее домой.

Барона насилу оттащили от виста, а баронессу от старух. Адуев посадил их в карету и у их крыльца высадил опять и вошел к ним.

— Отдайте мне Елену, барон; только вашего согласия недостает для моего счастья.

— Ба! что это тебе вздумалось теперь? чего ты смотрел прежде? Отложи хоть до утра. И так ты нашу игру расстроил. А какой вистик! Я был в выигрыше. Представь: у меня был туз, король сам-третьей, у адмирала...

— Не откладывайте моего счастья ни на минуту! Я хочу уехать с мыслию, что Елена моя.

— Пожалуй! я люблю тебя как сына и давно готов, жена тоже; да что скажет Елена?

— Ра-ра! — сказала она умоляющим голосом, — faites ce qu'il vous demande: je le veux bien!²

— Вон она что говорит! как это ты угадал ее мысли? Ну — быть так!

¹ эссенции апельсиновых цветов, нюхательной соли (фр.)

² сделайте то, о чем он просит вас: я этого очень хочу (фр.)

Отец и мать благословили дочь. Молодые люди очутились вдвоем в той же комнате, у того же флигеля, где несколько часов Адуев претерпел поражение; но кто старое помянет, тому глаз вон! Однако Егор Петрович помянул.

— Я так много страдал, — сказал он, взяв ее за руку, — вы так долго мучили меня, что... на этом месте, где легкомысленно оскорбили меня... О! вам так легко загладить оскорбление!

Он подвинулся ближе; она взглянула на него и, улыбаясь, в смущении опустила тотчас взоры в землю; краска разлилась по лицу. У обоих сердца бились сильно, оба едва переводили дыхание. Наконец он наклонил несколько голову, хотел коснуться устами пылавшей щеки ее, но она отвернулась, и роскошные, благоуханные кудри осенили лицо молодого человека... обернулась опять, как будто играя; уста его еще на том же месте, еще жаждут награды; она уже не отворачивалась, а глядела на него в какой-то нерешимости, в недоумении, с улыбкою. У обоих из глаз выглядывало счастье; недолго оставались они в бездействии: невидимая электрическая нить, проведенная от взоров ко взорам, укорачивалась... они зажмурились, а уста сошлись... Он обомлел и, замирая, с трепетом, преклонил колена и осыпал пламенными поцелуями руки ее.

— Ну, на первый раз довольно! — сказал барон, стоявший в дверях. — Теперь пойдемте ужинать.

Молодые люди отскочили друг от друга, как два голубя, испуганные выстрелом.

— Нет... мы... так-с, барон!.. — пролепетал Адуев и стоял, как школьник, почесывая голову, а Елена начала рыться в нотах.

— Ужинать! — плаксиво сказал он, — да неужели вам хочется ужинать?

— А как же нет? И тебе советую. Ты расстроил уж вистик, когда у адмирала... о! я этого никогда не забуду!.. Да еще без ужина хочешь оставить? Слуга покорный!

Прочитав еще раз ярко написанное выражение счастья в глазах Елены, осыпав еще раз поцелуями руки ее, Адуев помчался домой — не берусь описывать, в каком положении: женихом не был, но должно полагать, что ему было приятно.

Он опять вошел в шляпе прямо в кабинет, где застал своего камердинера Елисея. Старик был всё еще не в

духе от «нехорошего слова», сказанного барином. Егор Петрович заметил это.

— Елисей, — сказал он, — я тебя обидел сегодня. Виноват! не сердись на меня. Даю тебе честное слово, что вперед этого не будет.

Елисей сначала выпучил глаза на барина, потом вдруг повалился ему в ноги и поцеловал руку.

— Батюшка Егор Петрович! — начал он, — ведь я холоп ваш; тридцать лет служил вашему батюшке, под туретчину ходил с ним, много господ видал на своем веку, а этакой диковинки не слыхивал, чтобы барин у холопа прощенья просил!

— Да разве стыдно сознаться в своей вине и стараться загладить ее? И притом ты больше не холоп: я отпускаю тебя на волю и даю пенсию.

— На волю!.. За что, сударь, прогневались на меня? на что мне, безродному, воля? куда на старости преклоню дряхлую голову? Век жил в вашем доме; в нем хотел бы и умереть, если не откажете в куске хлеба старику. За милость благодарен; только Бог с ней!.. Я вынянчил вас, тридцать лет служил покойному барину, под туретчину...

— Живи и делай что хочешь. Только не пора ли тебе отдохнуть от трудов? Служба твоя кончена. На вот, возьми хоть это.

Он подал ему бумажник с деньгами. Елисей посмотрел на него с одной стороны, обернул на другую, покачал головой и положил на стол.

— И, батюшка Егор Петрович! да на что мне? Нужды мы, по Божией да вашей милости, не видим: сыты, одеты, обуты; а сколько бедных без куска хлеба! Лучше пожалуйте им. От себя не отсылайте. Пока силы есть, пока ноги таскают, не перестану служить вам. Ну где молодому парню за порядком смотреть! да угодить вам! Я вынянчил вас, тридцать лет служил батюшке, под туретчину с ним ходил...

— Ты честный человек, Елисей! Бог наградит тебя. Ну, теперь послушай: я тебе новость скажу, старый...

— Что, сударь, старый? — спросил он торопливо.

— Старый мой пестун!..

— Ух! отошло от сердца! А уж я думал опять, прости Господи, старый черт скажете.

— Добрая весть! Порадуйся: я женюсь на Елене Карловне.

— Ах ты, Господи! воистину радость сказали. Привел Бог дожить до такого счастья!

Старик перекрестился со слезами на глазах, потом опять поклонился в ноги Адуеву и поцеловал его руку.

— Поздравляю, батюшка! Кабы покойный барин, батюшка ваш, да покойница барыня, матушка ваша, были живы, царство им небесное! — Старик опять набожно перекрестился и взглянул на образ. — То-то бы радости-то было! то-то бы благодарили Бога за милость! Да не привел Господь их дожить до такого счастья, а меня, грешного, удостоил. Поздравляю, батюшка! Побегу рассказать дворне! — Старик обтер ладонью слезу и, спотыкаясь, побежал из комнаты.

Адуев почти не спал ночь, а поутру, раньше обыкновенного, начал одеваться, чтоб лететь туда, куда влекло его сердце, где его ждало другое. Кончив свой туалет, он взял шляпу и вышел в переднюю. Перед крыльцом серый рысак едва стоит на месте, храпит и роет копытом снег, как будто предчувствуя нетерпение своего господина. Человек набросил на Егора Петровича шубу и отворил уже дверь, но вдруг, как гриб вырос из земли, явился плешивый управитель с пребольшой кипой бумаг. Он низко поклонился и стал у порога.

— Что ты, Яков?

— Да к вам-с, с делами.

— С какими делами?

— Вы вчера наказывали ходить всякий раз к вам с докладом.

— Я наказывал?.. Что-то, брат, не помню. — Он подвинулся к дверям.

— Как же, сударь! вы изволили сказать: «Показывай мне каждую бумагу: я хочу сам всё видеть и знать».

— Будто так и сказал?.. Да нельзя ли отложить?

— Никак нельзя-с. Вот я приготовил ответ на челобитье мужичков, что недоимки-де сроку не терпят, — и тем, что черед в рекруты пришел...

— А, помню, помню! — сказал Егор Петрович. — Эти ответы не годятся. Напиши, что недоимки я прощаю совсем...

— Что вы, сударь! да ведь там восемнадцать тысяч! — с испугом вскричал управитель.

— Нужды нет, — спокойно отвечал Егор Петрович. Елисей с Яковым покачали головами. — Сверх того, из своих отпускаю десять тысяч на помощь самым бедным; а за рекрут деньги внести: одному дать тысячу рублей на свадьбу и на разживу, а другому столько же на поддержку

семьи. Садовнику я сам куплю семян, а архитектору написать, чтобы дом совсем отделать к июню месяцу; я мебель и всё пришлю.

Проговорив это, Адуев пошел проворно к дверям.

— Вот-с... вот-с, позвольте, сударь! Еще из орловской вотчины пишут, что хлеб весь расхватили: требование большое. Не прикажете ли почать запасный? Староста пишет... Да вот я прочту, что он пишет...

Яков вздел на нос медные очки и стал рыться в бумагах, наконец достал замасленное письмо и, откашлянувшись, начал: «Желаю здравствовать многие лета милостивому нашему батюшке Егору Петровичу, а и уведомляю, что Фомка да Гараська Лапчуки, да Горшенков Фадей, да Мишка Трофимов с отцом, с Трофимом Евдокимовым, на десяти подводах...»

— Полно тебе, Яков Тихоныч, людей-то смешить! — сказал Елисей, — посмотри-ко, где Егор-то Петрович! — Он показал ему в окно на улицу, вдоль которой мчался Адуев.

Егор Петрович, видя приготовления Якова к чтению письма, каковая операция угрожала продолжиться с добрые полчаса, ускользнул в двери и — был таков! Серый рысак по-вчерашнему выбивался из сил и летел как стрела по Невскому проспекту. «Пошел!» — кричал опять поминутно Адуев. — «Эка сорвиголова! провал бы тебя взял!» — опять ворчали прохожие, глядя ему вслед.

— Ну, что скажешь, Елисей Петрович? Шутка! восемнадцать тысяч недоимки простил да десять от себя впридачу дал — выходит двадцать восемь! На выкуп парней из рекрутчины что пойдет! Две тысячи им отпустить велел так, ни за что ни про что! Двадцать тысяч с лишком, подумай сам, в минуту махнул — что табаку понюхал!

— Не в покойника, нечего сказать!

— Человек, подумаешь!

— Что ты говоришь, Яков Тихоныч?

— Ей-Богу, право.

Старики попотчевали друг друга табаком и разошлись.

Адуев явился к себе домой после всех гостей, названных накануне. Между ними был и Бронский, доставивший билет в Коммерческий клуб.

— Хорош! — сказал ему Адуев, — а обещал быть в клубе! Где протаскался, повеса? говори! и зачем не

предупредил меня об этом бале? Я, признаюсь, такой роскоши не ожидал.

— Помилуй! — отвечал тот, — не я ли целый вечер прождал тебя у дверей залы? Отчего ты не изволил явиться? Как бы, кажется, не свидеться там? Я бы уж не прозевал. Да что тебе там особенно роскошно показалось? В твоей передней, право, не хуже.

— Помилуй! прислуга в бархате, в золоте! всё блестит, везде мрамор, бронза! какое освещение! какая мебель! целая картинная галерея! А общество! а тон! а приличие, вкус в нарядах! Меня всё с толку сбило. Хоть бы у посланника, так...

— Прислуга в бархате?.. мрамор... бронза... тон... приличие... общество? — с изумлением, протяжно повторял Бронский. — Помилуй! в уме ли ты? И что там за общество? придворных, что ли, ты там видел? или дипломатический корпус?

— Весь, братец! А графиня Z* ? а P* ? а все денди?.. Да вот спроси у Дружевского. И он был там. Не правда ли, Дружевский, что вчера на бале были все посланники и вся петербургская знать?

— Да, все были.

— Да на каком бале? позвольте спросить? — сказал Бронский.

— На том, где мы были вчера с Адуевым; у неаполитанского посланника.

— Поздравляем! — закричали все с хохотом, — ты из одной крайности перешел в другую: бывало, никто не дозвется тебя, а тут без зову пожаловал!

И молодые люди пустились хохотать и острить. — Адуев призвал кучера и спросил, куда он вчера возил его.

— Да куда вы приказывали: на бал, на Английскую набережную. У того дома всегда видимо-невидимо карет стоит, а в окошках огни горят, когда ни проедешь. Я и смекнул, что, должно быть, там.

Адуев расхохотался вместе с прочими при этом наивном объяснении, особенно когда узнал, что «помешанный» старик, пристававший к нему, был сам хозяин, неаполитанский посланник.

Поднимая первый стакан шампанского... Заметьте: я сказал, не бокал; это бы был анахронизм; в обществе молодых и холостых людей шампанское из бокалов не

пьют...¹ Поднимая первый стакан шампанского, Егор Петрович предложил тост за здоровье баронессы Елены Карловны Нейлейн, своей невесты. Молодежь встрепенулась, шумно вскочила на стулья и хором поздравила счастливицу. Дурачеств было наделано немало в тот день.

К посланнику Егор Петрович отправился с извинением, и как тот знал барона, то охотно познакомился и с ним и обещал, в благодарность за приезд его на бал, быть у него на свадьбе, на которую я приглашаю моих читательниц и читателей.

¹ Примечание для читательниц (*примечание Гончарова*).

ИВАН САВИЧ ПОДЖАБРИН

Очерки

Иван Савич сидел после обеда в вольтеровских креслах и курил сигару. Ему, по-видимому, было очень скучно. Он не знал, что делать. Для препровождения времени он то подождет ноги под себя, то вытянет их во всю длину по ковру, то зевнет, то потянется, или стряхнет в чашку кофе пепел с сигары и слушает, как он зашипит; словом, он не знал, что делать со скуки. Ехать в театр еще рано, в гостях он быть не любил. В передней храпел слуга, у ног спала собака. Всё сердило Ивана Савича, и эта досада простиралась и на лакея и на собаку. Иван Савич уже попотчевал двумя пинками Диану, которая сунулась было лизать ему руку. Она, свернувшись, легла на ковер и чуть-чуть дрожала, только по временам открывала один глаз и искоса поглядывала на своего господина.

— Авдей! — закричал он.

— Че-о изволит... — вприсонках пробормотал тот.

— Не храпи! Эх ты храпишь: за две комнаты слышно.

Храпенье прекратилось; место его заступила продолжительная, энергическая зевота с прибавочными звуками: ge! ge! ge!

— Не зевай или зевай как следует, про себя! — закричал Иван Савич.

Воцарилось молчание, но ненадолго. Поднялся сухой, продолжительный кашель. Приятель мой пожал плечами.

— Вот, кашлять стал! Не можешь посидеть смирно? А отчего кашель? оттого, что всё по сеням да по двору таскаешься в одном жилете. Говорил тебе: нет, не слушаешься. Ну смотри у меня и спи на дворе, а здесь я кашлять тебе не позволю.

После этого увещания оба замолчали, и Иван Савич опять принялся за свои занятия: за вытягивание и поджимание ног, за стряхивание пепла и проч.

Вдруг в зале послышались шаги Авдея. Он явился в кабинет и стал у дверей. То был низенький, плешивый, пожилой человек. Волосы у него на затылке были с проседью.

— Что тебе надо? — спросил Иван Савич.

— Я забыл вам сказать: дворник давеча говорил, что на вас хотят жаловаться...

— Кто? кому? — с испугом спросил Иван Савич.

— Хозяину жильцы.

— Жильцы? хозяину?

10 — Да-с: слышь, женскому полу проходу не даем...

— Цс! что ты, дурак, орешь!

— Да-с. Вон этот чиновник, что против нас живет, — продолжал Авдей, — очень недоволен. Дворник говорит: как, говорит, твой барин со двора, так и жена этого чиновника на рынок-с с девкой идет. На что это, говорит, похоже? Муж-то, говорит, раз и пошел следом за вами и видел, говорит, как вы, вишь, вышли из переулка да с ней рядом и пошли, и был, говорит, очень, очень недоволен: ворчал целый день и только к вечеру угомонился, и то оттого, что выпил.

20 — Гм! какой варвар! — сказал Иван Савич, покачав головой, — ну?

— Еще, слышь, булочник жаловался...

— А этот на что?

— Всё, вишь, дочь его мимо наших окошек шмыгает да в кухню к нам часто заглядывает.

— В самом деле? На кого ж булочник жаловался: на меня или на дочь?

— Не могу знать.

30 — Так знаешь что? — сказал Иван Савич.

— Не могу знать.

— Ищи поскорей другую квартиру.

— Опять! — горестно сказал Авдей, — давно ли переменили.

— Давно ли! что ж делать: ты сам видишь, что нам житья здесь нет: притесняют. Долго ли до беды? Ищи!

— Этакую квартиру менять! — сказал Авдей, — и сарай, и ледничек особый...

40 — Вот еще! зачем нам ледничек! Мы дома не стряпаем, впрок ничего не запасаем.

— Как зачем-с? неровно пригодится. Вот раз дыню на лед клали... Мало ли зачем?

— Нет, ищи! Да мне эта квартира и надоела. Я уж всех здесь знаю; все наскучили. Не с кем пожуировать жизнью.

— А Марья Михайловна?..

— Ну уж дрянь-то! Ищи!

— Побойтесь Бога, Иван Савич, — сказал Авдей, — грешно, право, грешно.

— Полно! — с досадой возразил Иван Савич. — По-твоему, не пожуируй! Сиди вот этак с тобой да с Дианкой дома: не с кем слова сказать. Да еще пожалуются — беда выйдет, пристанут! Ищи. Да смотри, чтоб окна выходили на улицу и на двор. А если где заметишь в доме... понимаешь?.. того... так хоть на улицу и не будет окошек, 10
нужды нет.

Ежедневный образ жизни Ивана Савича, как нынешние драмы, разделялся на три картины. Утро в должности. Это он называл *серьезными занятиями*, хотя иногда сидел там, ничего не делая. Обед в трактире, часто с приятелями. Тогда обедали шумно и напивались обыкновенно пьяны. Это называлось *кутить* и считалось делом большой важности. Вечер или в театре, или в обществе какой-нибудь соседки. Последнее значило у Ивана Савича и подобных ему *жуировать* жизнью. Выше и лучше 20
этого он ничего не знал. Родители оставили ему небольшое состояние и познакомили его с порядочными людьми. Но он нашел, что знакомство с ними — *сухая материя*, и мало-помалу оставил их. Книг он не читал, хотя учился в каком-то учебном заведении. Но дух науки пронесся над его головой, не осенив ее крылом своим и не пробудив в нем любознательности. Каким он вступил в учебное заведение, таким и вышел, хотя, по заведенному в этом заведении похвальному обычаю, получил при выходе похвальный лист за *прилежание, успехи и благо-* 30
нравное поведение.

На другой день Авдей доложил Ивану Савичу, что на трех воротах видел объявления и осмотрел две квартиры: обе казались хороши. Иван Савич оделся и отправился вместе с ним. Они пришли к большому четырехэтажному дому. У ворот сидел мужик в тулупе.

— Не дворник ли ты? — спросил его Иван Савич ласково.

Мужик зевнул и молча стал смотреть в другую сторону.

— Где здесь дворник? — спросил Авдей. 40

Мужик молчал.

— Дома дворник? — спросил опять Иван Савич.

Мужик посмотрел на них обоих и молчал.

— Да что ж ты, глух, что ли? говори!

— Я не здешний! — лениво отвечал мужик, запахивая тулуп.

— Так бы и говорил, чухна проклятая, — сказал Авдей, — а то молчит!

Они вошли на двор. Им навстречу попался еще мужик.

— Дворник? — спросил Иван Савич.

— Никак нет-с, — проворно отвечал мужик, приподняв шляпу, — вон где дворник живет. Извольте позвонить; кажись, дома.

10 — Позвони, Авдей!

Авдей позвонил. В дворнической никто не пошевелился. Иван Савич позвонил сам сильнее: нет ответа. Авдей спустился со ступенек к засаленной двери и постучал кулаком. Молчание. И Иван Савич постучал посильнее. То же.

— А вы бы покрепче! — сказал тот же мужик, который, указав им конуру дворника, всё вертелся поодаль от них у ворот.

Иван Савич постучал очень крепко.

20 — А вы изо всей мочи! — сказал мужик.

— У меня уж нет больше мочи. Поди-ка ты, Авдей! Всё безуспешно.

— Пожалуйте-ка, я, — сказал мужик и застучал так, что стекла задребезжали.

Никто не откликнулся.

— Ну, видно, дома нет, — говорил мужик. — Я думал, не заснул ли он. Лют спать-то: нескоро добудисься. Нет ли разве на другом дворе?

Барин и слуга отправились на другой двор; за ними 30 в качестве наблюдателя поплелся и мужик. Там бродили два гуся да пяток кур. В одном углу баба мыла кадку, в другом кучер рубил дрова.

— Не знаешь ли, тетка, — спросил Авдей, — где дворник? Нет ли его здесь?

— Нет, батюшка, не видать. Он должен быть на том дворе.

Они пошли опять на первый двор и прошли было уж ворота.

— Кого вам, господа, — закричал кучер, — дворника, 40 что ли, надо?

И с этими словами вонзил топор в бревно, обернул его, поднял над головой и хлопнул оземь. Бревно разлетелось надвое; одна половинка ударила по коленке Авдея.

— Вишь тебя, леший... — сказал Авдей, прыгнув.

Кучер опустил топор к полу.

— Да, да, любезный, дворника. Где он? — спросил Иван Савич.

— Да, где он? — примолвил, почесывая коленку, Авдей.

Кучер поглядел на них, потом поплевал на ладони, взял топор и опять занес его над головой.

— Не знаю, не видал! — отвечал он, тряхнув головой, и вонзил топор в другое бревно. 10

— Зачем же ты ворочаешь по-пустому? — сказал Авдей. — Этакой народец!

И пошли прочь. Они уже решились идти на другую квартиру. Между тем Иван Савич глазел на окна всех этажей, и вдруг глаза его заблистали: в окне третьего этажа мелькнуло белое платье, потом показалось и тотчас спряталось кругленькое женское личико, осененное длинными черными локонами. Из-за него выглянуло другое, старое и некрасивое, женское лицо.

— Ну вот: тебя очень нужно! — проворчал Иван 20 Савич, относя это ко второму явлению.

Когда они проходили мимо дворнической, из глубины ее, как из могилы, выдвинулась сонная фигура самого дворника, в рубашке, с самоваром в руках.

— Ты дворник? — спросил Авдей.

— Я-с. Что вашей милости угодно?

— Что! где ты прячешься! барин спрашивает тебя.

— Какой барин? — говорил дворник, поглядывая с любопытством на Ивана Савича.

— Мы тебя целый час ищем, — сказал Иван Савич. 30

— А вы бы позвонили.

— Мы даже трезвонили; руки отколотили, стуча в дверь.

— Не слышал. Признаться, соснул маненько, — сказал дворник.

— Так не мы тебя разбудили? — спросил Иван Савич.

— Нет-с, я сам проснулся: диво, как я не слышал. Мне только чуть дотронься до скобки, я и услышу.

— В третьем этаже здесь отдаются три комнаты и кухня? — спросил Иван Савич. — Покажи-ка нам. 40

— Сейчас-с. Вот ключи только возьму. Пожалуйте-с.

Он поставил самовар на землю и повел было их на лестницу, но вдруг заметил того мужика, который

помогал Ивану Савичу и Авдею стучать в дверь, и воротился. И они воротились.

— А! ты здесь! — начал он кричать. — Зачем пожаловал? Послушай! толком тебе говорю: убирайся и не показывайся сюда, а не то, брат, худо будет. Хозяин велел тебя взащей вытолкать. Слыхал ты это?

Мужик спрятался за ворота.

— То-то же; будешь у меня прятаться, — примолвил дворник. — Пожалуйте-с!

10 Они пошли на лестницу. Дошедши до первого этажа, дворник бросился к окну в сенях посмотреть, ушел ли мужик. Но он оказался опять на дворе.

— Аль тебе мало слов? — кричал дворник, грозя из окна ключами, — ну так я кликну городского: он с тобой разделается; уходи, говорят, уходи, покуда цел. Пожалуйте-с.

И Иван Савич с Авдеем смотрели в окно и видели, как мужик опять спрятался. Пошли выше.

— А ведь, чай, не ушел, проклятый, — сказал дворник, всходя на площадку второго этажа. — Хоть побиться!

Наконец пришли в третий этаж к дверям. Дворник прежде всего подошел к окну.

— Не видать! — говорил он сам с собой. — Поди, чай, врет: не ушел! Этакая должность проклятая! Усмотри за ними! Пожалуйте-с.

Он стал отпирать двери. В это самое время из дверей противоположной квартиры выглянула та же самая хорошенькая головка, что смотрела из окна, и тотчас спряталась.

30 — Я думаю, я найму эту квартиру, — сказал Иван Савич и толкнул локтем Авдея.

Авдей отворотился.

— А? как ты думаешь, Авдей?

— Что вы, сударь, торопитесь, — отвечал он. — Может, еще не хороша.

— Как понравится, — примолвил дворник.

— Прехорошенькая, — заметил Иван Савич.

— Да ведь вы еще не видали ее; а может быть, она и холодна, — сказал Авдей.

40 — Холодна! как можно, холодна! — ворчал Иван Савич.

— Будьте покойны, — говорил дворник, махнув ключом и тряхнув головой, — такая жара, словно в печке: одни жильцы даже съехали оттого, что больно тепло.

— Как так?

— Четыре печки, сами посудите. В кухне русская, да и солнышко греет прямо в окошки. Жили иностранцы какие-то, и не понравилось; а нам, русским, пар костей не ломит. Довольны будете.

— Видишь, Авдей, кроме передней какая у тебя еще славная комната! — сказал Иван Савич.

— Что мне видеть-то! — проворчал Авдей, взяв картуз из одной руки в другую.

— Экой дурак! а ты отвечай по-человечески! — сердито заметил Иван Савич.

— Я и то по-человечески говорю; вестимо, человек: по-барски не умею, — сострил Авдей.

Квартира оказалась годною. Зала окнами выходила в переулок, а кабинет и спальня на двор. Всё, как хотелось Ивану Савичу.

— А что это за пятно на потолке, как будто мокрое? — спросил Авдей.

— Да, в самом деле, что это за пятно, и еще в спальне? — спросил и Иван Савич. — Кажется, течет 20
сверху?

— Точно так-с, — отвечал дворник, наклонив немного голову в знак согласия, — протекает маленько. Ино бывает наверху ушат с водой прольют, оно и каплет в щель.

Иван Савич покачал головой.

— Не извольте сумлеваться, — поспешил примолвить дворник, — будете довольны. А это пятно — так ничего! не глядите на него — оно дрянь!

— Вижу, что дрянь. Но ведь этак, любезный, пожалуй, 30
штукатурка отвалится да на нос упадет.

— И, нет-с, щекатурка крепка, не отмокнет: другой год каплет. Вы только, как станет капать, ведро извольте подставить.

— А как не доглядишь, — сказал он, — да вода-то твоя на мебель или на платье потечет?

— Нет-с, услышите: ведь оно закаплет, словно дождь пойдет: так и забарабанит.

«Дождь в комнате! — думал Иван Савич, — лишнее, совершенно лишнее!» 40

— Зачем же не замажут? — спросил он.

— Все тоже спрашивают, — отвечал дворник, — я сказывал хозяину, да он говорит, что уж он замазывал в ту пору еще, когда вот эти жильцы нанимали, что

съехали. «Неужто, — говорит, — для каждого жильца стану замазывать!» — да еще ругнул меня.

Иван Савич задумался было, но вспомнил о соседке и махнул рукой.

— Что ж! ванны не нужно, — прибавил он, обращаясь к Авдею. — Стал под это пятно да попросил там вверху пролить ушат с водой, вот тебе и душ.

Он дал задаток.

— Позвольте, сударь, позвольте! — сказал торопливо
10 Авдей и вырвал у дворника ассигнацию, — надо всё с толком делать: а есть ли сарай для дров?

— Есть: сажен на пять.

— Ну а ледничек особый?

— Ледника нет. Да на что вам ледник? У вас ведь нет хозяйства; али барин женат?

— Нет, мы холостые. Да как не нужно ледника? Случится поставить что...

— Да что вам ставить?

— Как что? дыню иной раз...

20 — Ты всё вздор говоришь, Авдей; отдай задаток! — сказал Иван Савич.

— Вздор! — повторил тихонько Авдей. — Сам вздор делает: дрова, вишь, у него вздор и ледник вздор, а глазеть куда не надо — не вздор!

— Можно на хозяйский ледник поставить, коли что понадобится, — сказал дворник.

Авдей отдал задаток назад.

Пока слуга торговался, Иван Савич отворил ногой дверь из передней в сени и поглядывал в лорнет в
30 полуотворенную дверь противоположной квартиры. Оттуда изредка выглядывали попеременно то молодое, то старое женское лицо.

— Ах, как мила! — бормотал Иван Савич, отворяя побольше дверь. — Черные глазки, свеженькая: можно пожуировать. Экое чучело! — говорил он потом, вдруг захлопывая дверь. — Какая беленькая шейка! О, да она много обещает! Никогда не видывал гаже хари! Что это она так часто выглядывает?

Вдруг в голове у него мелькнуло сомнение насчет
40 соседки, и он тоже схватил ассигнацию из шапки дворника. Дворник потянулся было проворно прикрыть ее рукой, но не застал уж ее в шляпе и прикрыл пустое место. Он, разиня рот, смотрел, куда спрячет Иван Савич деньги. Но тот держал их в руке. Они вышли в сени.

— Кто тут живет напротив? — спросил Иван Савич.

— Тут-с... мужние жены, — отвечал дворник.

У Ивана Савича отлегло от сердца.

— Ну вот, слава Богу, что порядочное соседство: честные женщины, а то ведь иногда... попадешь так, что и жить нельзя!

И он бросил ассигнацию опять в шапку. Дворник сжал ее в кулак с ключом, а шапку надел.

— А тут кто?

— Тут-с барышня, дочь умершего чиновника.

— Слышишь, Авдей, барышня.

— Что мне слышать-то! — сказал Авдей.

— А вон там повыше кто? — спросил Иван Савич.

— Это-то?

— Да.

— Женатый чиновник.

— А внизу?

— Чиновник вдовец.

Иван Савич стал морщиться.

— А с другой стороны? — спросил он.

— Чиновник-с.

— Что за черт! А там? — говорил Иван Савич, указывая на самый верх, и, не дожидаясь ответа, сам кивнул головой, как будто догадываясь кто. И дворник кивнул.

— Тоже?

— Тоже.

— Хм! — с досадой сделал Иван Савич. — Женатый?

— Никак нет-с... у него эконожка, Фекла Ондревна, всем распоряжается. Хорошая женщина, такая набожная: ни обедни, ни заутрени не пропустит. А про вашу милость, коли спросит хозяин, как прикажете доложить? Кто вы?

— Кто я? — с важностью произнес Иван Савич, подступая к дворнику.

Дворник попятился и снял шапку.

— Кто я? — повторил Иван Савич. — Я холостой... чиновник!

Дворник надел шапку, тряхнул головой и только что не сказал:

«Что за чудо! напугал понапрасну. Нам они не в диковинку».

Он запер дверь и тотчас посмотрел в окно из сеней.

— Нет, нету! — сказал он сам себе, — уж не пробрался ли на другой двор? чего доброго от такого анафем-

ского мужика ждать: он, пожалуй, и на другой двор пойдет, да даром: пусть пойдет, Фомка-то без сапог сидит.

Иван Савич с Авдеем стали сходить с лестницы. Им встретилась баба с корытом. Они слышали, как она остановилась с дворником.

— Здравствуйте, Савелий Микитич! — сказала она.

— Наше вам, Степанида Игнатьевна!

— Что это, никак вам Бог жильцов дает?

10 — Да, наняли.

— Кто такие?

— Вестимо, кто: чиновники. Я рад-радехонек. Теперь по этой черной лестнице у нас всё чиновники живут. А то уж как я боялся, чтоб не нанял какой мастеровой.

Дня через два на новую квартиру явился Авдей... За ним въехали на двор три воза с мебелью и другими домашними принадлежностями. Получше мебель и разные мелкие вещи несли солдаты на руках. Сам Авдей
20 нагружен был мелочами, как верблюд. Одной рукой он обнял стенные часы; гири болтались и били его по животу. Между пальцами торчал маятник. В другой руке была лампа. Сзади из карманов сюртука выглядывали два бронзовые подсвечника. В зубах он держал кисет с табаком.

— Постой, постой! эк ты ломишь! — кричал он направо и налево. — Не ставь зеркала на грязь-то. погоди носить: надо посмотреть, пройдет ли. Где дворник? да что ж он не отпирает? Господи воля Твоя! это сушая
30 каторга. Нет, чтоб самому хоть немножко присмотреть.

— Да где барин-то твой? — спросил подошедший в это время дворник.

— Где! черт его знает, прости Господи, где! Любит на готовое приехать. Переезжай, говорит, Авдей, а я уже к вечеру буду, да и был таков. Вот ты тут и переезжай как хочешь. Того и гляди, всё мое доброе растащат; а у меня одного платья рублей на семьдесят будет.

Долго еще раздавалась по двору команда Авдея. Он, как гончая собака, раз сто взбежал и сбежал по лестнице.
40 Там поддержит уголок дивана или шкапа, там даст полезный совет, как обернуть мебель, верхом или низом.

— Вот так, вот так, — слышалось беспрестанно, — нет, нет, повыше, повыше, еще, пониже, пониже: так, так; ну, слава Богу, прошло!

Из окон глядели любопытные. Иные не отходили от окна во всё время перевозки: часа этак четыре. Всё по разным причинам. Один любит знать, какая у кого мебель, кто на чем спит, ест, — словом, любит соваться в чужие дела. Другому, видно, наскучили свои — и он зевает по целым часам на чужое добро. Третий любит замечать какие-нибудь особенности и судить о них по человеку. Четвертый — смотреть на разные мелкие вещицы.

— Вот шкаф несут, — говорил один соседу.

— Теперь, чай, возьмут комод, — отвечал тот. 10

— Эх, картину-то как он взял, дурачина: того и гляди, заденет за перила! — и тут же не вытерпит и закричит из окна: — Смотри, картину-то, картину попортишь!

Экономка чиновника, Фекла Андревна, набожная женщина, оставалась у окна до тех пор, пока Авдей внес последнюю утварь — кадочку с песком, корзинку с пустыми бутылками, две сапожные щетки и кирпич. Она пересказала всё своему чиновнику.

— Новый жилец переехал, Семен Семеныч, — сказала она. 20

Семен Семеныч понюхал табаку, поправил крест в петлице и молчал.

— Богатый должен быть, — начала она опять, — нанял ту квартиру, что на нашу и на парадную лестницу выходит. Зало-то окнами на улицу: восемьдесят рублей в месяц ходит.

Тот всё молчит.

— Шандалы, я думаю, одни рублей сто заплачены; а столы, стулья какие! диваны красные и зеленые, да прямижки: я на один присела, пока он стоял в коридоре, так и ушла вот до этих пор, инда испужалась. 30

— До каких пор? — спросил Семен Семеныч флегматически.

— Вот до сих, — она показала рукой.

— А где он служит?

— Не успела спросить у человека: вот ужо разве.

— Добро, давайте-ка обедать, — сказал Семен Семеныч, — нечего растабарывать.

И хорошенькая соседка вертелась всё на пороге. Она прыгала и резвилась, как котенок, даже поговорила с 40 Авдеем.

— А кто твой барин? — спросила она.

— Он-с, барин, сударыня.

— Знаю, да кто?

— Не могу знать, майор ли, советник ли какой: должен быть полковник.

— Где ж он?

— Кушать где-нибудь изволит.

— А разве он не дома кушает? А богат он?

И засыпала вопросами.

— Пусти меня заглянуть к вам, пока нет барина.

— Извольте, сударыня, да ведь у нас еще не убрато.

Она вбежала, всё пересмотрела, посидела на всех
10 диванах, креслах и выпорхнула как птичка.

— Вот погоди ты, егоза! — ворчал Авдей, разбираясь на новой квартире, — уж он тебе всё сам расскажет, усадит тебя, уймешься, перестанешь прыгать-то!

Хлопоты Авдея заключились тем, что он побранился с верхней бабой, Степанидой Игнатьевной, знакомой дворника.

— Что ты, тетка, оставила ушат на дороге? убери! — сказал он.

— Ну, погоди, уберу.

20 — Чего годить! Вот барин приедет уж, даст тебе.

— Боюсь я твоего барина! что он мне даст? Эка невидаль! мы сами чиновники.

— Убери, говорят тебе, старая ведьма!

— Еще ругается! как я скажу своему хозяину, так он тебе скорее даст. Будешь помнить, как ругаться, окаянный, каторжник, чтоб тебе ни дна ни крышишки...

Она еще звонко кричала, но Авдей захлопнул дверь.

— Ух! — сказал он, отирая пот с лица, — умаялся! С утра маковой росинки во рту не было. Хоть бы закусить
30 чего-нибудь. Боюсь в лавочку сходить: неравно приедет. Да, чай, уж и заперто — поздно. Нешто выпить?

Он отворил маленький шкаф, достал узенькую четырехугольную бутылку светло-зеленого стекла в плетенке, потом запер на крюк дверь, налил рюмку — и поставил ее на стол. Он оглядывал ее со всех сторон.

— Какая бутылка! — рассуждал он, смеючись, — словно наша косушка, а ликёра прозывается! Три целковых за этакую бутылочку — а? Ну, стоит ли? Вот деньги-то сорят! Как у них горло не прожжет? — ворчал
40 он — и отхлебнул.

— Какая мерзость! — говорил он с гримасой, — а поди ж ты!

И выпил всю рюмку.

— Право, мерзость!

Между тем Иван Савич возвращался в это время домой. Пошел дождь, один из тех петербургских дождей, которым нельзя предвидеть конца.

Иван Савич позвонил у ворот — никто не показывался. Он другой раз — тоже никого. Наконец после третьего звонка послышались шаги дворника.

— Господи Боже мой! — ворчал он, идучи к воротам. — Что это такое? совсем покою нет: только заснул маленько, а тут черт какой-то и звонит... Кто тут?

— Я.

10

— Да кто ты?

— Новый жилец.

— Какой жилец?

— Что сегодня переехал.

— Что те надо?

— Как что: пусти поскорее, ты видишь, я под дождем.

— Ну вот погоди: я за ключом схожу.

Дворник ушел и пропал, а дождь лил как из ведра.

Иван Савич принялся опять звонить что есть мочи. После третьего звонка послышались шаги дворника и 20 ворчанье.

— Что это такое, Господи, покою совсем нет. Должность проклятая... не дадут заснуть! Кто тут?

— Да я же, тебе говорят!

— Да кто ты?

— Новый жилец.

— Ты еще всё тут? не ушел? что те надо?

— Как что? ах ты разбойник! пустишь ли ты меня? я до костей промок.

— Ну вот погоди: ключ возьму.

30

Он пошел и, к удовольствию Ивана Савича, возвратился тотчас и начал вкладывать ключ в замок.

— Ну, скорее же! — сказал Иван Савич.

— Вот постой, что-то ключ не входит. Что это, Господи, за должность за проклятая, совсем покою нет! так и есть... не тот ключ взял: это от сарая.

— Отпирай же! — кричал Иван Савич, — не то...

— Да ты бы где-нибудь заснул: вишь ты, ключа-то долго теперь искать.

— Куда я пойду? Пусти сейчас.

40

— Ну вот погоди, принесу ключ.

Наконец через добрых полчаса Иван Савич попал к себе, а Авдей только что было собрался пить третью рюмку, как вдруг сильно застучали в дверь. Авдей

проворно спрятал бутылку с рюмкой в шкаф, обтер наскоро губы и отпер.

Вошел Иван Савич.

— Что, Авдей, совсем убрался? э! да ты еще ничего не расставил.

— Я один, — отвечал Авдей, — у меня две руки-то.

— Оттого-то и надо было убрать, что две. Вот ежели б одна была — другое дело.

Авдей, не ожидавший этой реплики, поглядел ему
10 вслед и покачал головой.

— Ведь скажет, словно... э! ну вас совсем! — бормотал он, — отойди от зла и сотвори благо!

— А что соседка? — спросил Иван Савич.

— Не могу знать, — отвечал Авдей.

— Разве ты не видал ее, не говорил с ней?

— Нет-с. Что мне с ней говорить?

— Ну как что... А чей это платок?

Авдей молчал.

— Чей платок? — повторил Иван Савич.

20 — Не могу знать.

— Как не могу знать? Здесь был кто-нибудь?

— Нет, это, верно, как диван стоял в сенях, так кто-нибудь положил. Пожалуйте, я завтра спрошу.

— Вот славный случай: ты завтра спроси у соседки, не ее ли, и между тем порадей в мою пользу.

— Как-с порадей?

— Скажи, что я и добрый, и... ну будто тебе в первый раз.

— А зачем это, сударь?

30 — Как зачем... познакомимся, а там... пожуируем.

— Да неужели вы и здесь станете разводить такую же материю? экой стыд! там только что ушли от беды, теперь опять захотели нажать другую! уж попадетесь, Иван Савич, ей-богу, попадетесь.

— Э! — сказал Иван Савич, — еще скоро ли попадусь, а между тем мы с тобой пожуируем.

— Нет уж, журируйте одни... да и вам нехорошо: бросьте, сударь!

— А! а! а! — начал зевать Иван Савич, — покойной
40 ночи, Авдей, завтра разбуди в девять часов.

Утром, когда Авдей стал подавать чай, первый вопрос Ивана Савича был:

— Ну что соседка?

Авдей молчал.

— А?

— Ничего, отдал платок.

— Так он ее был? ну а порадел ли ты мне?

— Говорил.

— Что ж она?

— Говорит, рада доброму соседу. Коли, говорит, случится надобность в чем, так не откажите, и мы вам тоже постараемся, чем можем. Не понадобится ли, говорит, барину когда пирожок испечь: я, мол, мастерица.

Иван Савич вытаращил глаза.

— Как пирожок?

— Пирожок-с, с рыбой или с говядиной... с чем, говорит, угодно. Еще говорит, не нужно ли вам рубашек шить?.. я, говорит, могу...

Иван Савич вскочил с постели.

— Как рубашек?

— Еще... — начал Авдей.

— Стой! ни слова больше! ищи сейчас квартиру... Куда я попал? вон, вон отсюда!

— Что вы, опомнитесь, сударь: что вам за дело? Нам же лучше.

— Такая хорошенькая — и печет пироги! — говорил сам с собой Иван Савич, — ужас! ну, с чем это...

— С рыбой и с говядиной, — подхватил Авдей.

— Э! молчи, дуралей! тебя не спрашивают.

— Ведь она не больно хороша, — заметил Авдей, — глаза-то словно плоски, да и зубы не все.

— Да, ты много смыслишь! — отвечал Иван Савич, стараясь попасть ногой в туфлю, — такая молоденькая — и шьет рубашки! а?

— Что за молоденькая, сударь: уж ей за пятьдесят, — сказал Авдей.

— Как за пятьдесят! да ты с которой говорил?

— Ну, с той, что квартиру нанимает, — с самой хозяйкой.

— Со старухой? что ж ты мне не скажешь давно? Кто просил тебя радеть мне у этой старой ведьмы?

— Ведь вы сами вчера приказывали.

— Я сам приказывал! — передразнил его Иван Савич. — Я толком тебе говорил — *жуировать*: можно ли с таким страшилищем жуировать? разве тебе самому охота? вечно только подгадишь мне! Впрочем... нет... ничего, больше доверенности! пусть пироги печет. Я ей, пожалуй, и рубашки закажу. Ну а молодая кто?

— Жилища у ней, — нанимает две комнаты.

Иван Савич не ходил в тот день на службу, под предлогом переезда на новую квартиру. Авдей возился, уставляя, а он надел красивый шлафрок, отворил вполвину дверь и глядел к соседкам: это он называл *жуировать*.

— Разве не пойдете в должность? — спросил Авдей. — Пора бы одеваться — одиннадцатый час...

— Нет, не пойду, что должность?.. сухая материя! надо ¹⁰ жуировать жизнь. Жизнь коротка, сказал не помню какой-то философ.

Там, в комнатах, видел он, то мелькнет что-то легкое, воздушное, белое, кисейное, то проташится неуклюжее, полосатое. Иногда в узком промежутке неплотно затворенной двери светился хорошенький черный глаз с длинными ресницами, потом хлопал глаз без бровей, как будто филин. Вскоре послышались звуки фортепиано. Играли из «Роберта».

«Кто же это играет? — думал Иван Савич. — Уж ²⁰ конечно она, молоденькая. Где той... месить пироги и играть на фортепиано?»

Он взял скрипку и тоже заиграл. Там перестали играть.

«Вот и видно, что она женщина строгой нравственности! — подумал Иван Савич. — Иная бы пуще заиграла». — Он посмотрелся в зеркало и причесал бакенбарды.

Вскоре дверь там отворилась побольше и наконец почти совсем.

— У нас труба дымит, — сказала старуха Авдею. — Летом всё отворяем дверь. Вот другой год твердим ³⁰ хозяину, чтобы переделал... нет! их дело только деньги брать.

Прошло дня два. Иногда соседка не очень быстро мелькала сквозь двери. Она приостанавливалась и как будто улыбалась, потом вдруг пряталась. На третий день дворник принес паспорт из части.

— Что это, любезный, — спросил Иван Савич, — у соседок-то не видать мужей: где ж они?

— В командировке-с, где-то далече.

— А! — сказал Иван Савич, — тем лучше. А кто еще ⁴⁰ в доме у вас живет? там, по парадной лестнице, в больших квартирах?

Дворник назвал несколько известных фамилий.

— А вон там, во втором этаже, где еще такие славные занавесы в окнах?

— Там-с одна знатная барыня, иностранка Цейх.

— Знатная! — говорил Иван Савич Авдей, — что это у него значит?.. Она может быть знатная потому, что в самом деле знатная, и потому, что, может быть, дает ему знатно на водку, или знатная собой?..

— Не могу знать, — отвечал Авдей.

— Посмотрим, посмотрим: может быть, и ее увидим, — примолвил Иван Савич и погладил бакенбарды.

Он продолжал переглядываться с соседкой. Однажды 10 у ней на пороге появилась девочка лет шести.

— Уж не дочь ли это ее, Авдей?

— Не могу знать, — отвечал Авдей.

— Ты никогда ничего не знаешь: что ни спросишь о деле. За что ты хлеб ешь?.. Да нет, быть не может: это не дочь ее. Она слишком молода: верно, старуха испекла этот пирог. Но та кажется уж слишком стара для этого.

Он узнал, что девочка — племянница соседки, зазвал малютку к себе, дал ей конфект и таким образом завязал 20 сношения. Они взаимно присылали друг другу поклоны. Однажды малютка принесла розан.

— Хотите, я вам подарю? — сказала она.

— Подари. А кто тебе дал?

— Хорошая тетенька.

— Что она сказала тебе?

— Она сказала, поди подари цветок вон тому дяденьке. Скажи, что ты даришь от себя, да смотри не говори, что я велела, а то в угол поставлю.

— Вот тебе, душенька, конфект, а эту пряжечку 30 отнеси к тетеньке и подари ей да скажи, что я подарил тебе, а ты даришь ей; слышишь?

— Слышу.

— Ну, как ты скажешь?

— Скажу: дяденька подарил тебе и велел сказать, чтоб ты подарила мне.

Вдруг в комнату вбежал какой-то юноша.

— Здравствуй, Ваня, — сказал он, — насилу сыскал тебя. Ба! что это значит, Ваня? — вдруг спросил он, поглядывая на розу, на девочку и на брошку. 40

— Ничего, Вася, так... — хвастливо, с улыбкой говорил Иван Савич, — поди, душенька, домой.

Девочка побежала и отворила дверь. В это время мелькнула головка соседки.

— Э! э! приятель! так-то ты скрываешься! — заговорил Вася, — хорошо же! давно ли? да какая хорошенькая! ах ты, злодей! ах, варвар! ну-ка, ну-ка, покажи!

Он пошел к дверям.

— Нет, mon cher¹, постой! нехорошо! не гляди! — говорил Иван Савич, загораживая дорогу. — Ну что она подумает? это совсем не из таких... После я всё расскажу.

— Нет, нет, пусти... не верю!

10 — Нет, братец, нельзя! пожалуйста, не ходи.

— Ну, познакомь меня. Вот тебе честное слово, не стану отбивать. То-то ты у меня! а я за тобой.

— Что такое?

— Мы впятером обедаем на Васильевском острове, в новой гостинице: говорят, телячьи ножки готовят божественно! проздравим! проздравим! а оттуда на Крестовский... покутим.

— Мне нельзя вечером.

— Отчего?

20 — Так! — значительно, с улыбкой сказал Иван Савич.

— А! понимаю! счастливец! Ну, завтра мы в театре? Асенкова в трех пьесах играет. Смотри, mon cher, нельзя не быть: что скажут наши? манкировать не должно, а то подумают, что ты хочешь отшатнуться. И то три офицера да вон тот статский, знаешь, что еще полы сюртука всё сзади расходятся, собрали, говорят, партию перехлопать нас, говорят, и в раек людей своих посадят; да где им! слушать любо, как наш угол захлопает: я однажды из коридора послушал — чудо! сначала мелкой дробью — па-па-па, —
30 точно ружейный огонь, а там и пошло, и пошло, так по коридорам гул и ходит... Даже капельдинер плюнул и отошел от дверей, а я не вытерпел да и сам давай — браво, браво, наши! Квартальный сердито поглядывал на меня... да пусть!.. Так едем? потом поужинаем, кутнем, а?

— Не знаю, mon cher!

— Чего не знаешь! на первых порах в полночь тебя не примут. Решено: завтра с нами. Ты не знаешь, ведь Шушин награду получил — полугодовой оклад; он обещал полдюжины, да ты на радостях столько же — вот и
40 будет с нас! Смотри же, ждем.

И ушел. А Иван Савич уселся с книгой в руках на маленьком диванчике, как раз против дверей соседки, в

¹ мой дорогой (фр.)

живописном положении. Но если бы кто заглянул в книгу, то увидел бы, что он держал ее вверх ногами. Прошло недели три. Они уже кланялись друг другу и даже, стоя каждый в своих дверях, разговаривали. Когда в это время кто-нибудь шел, сверху или снизу, они поспешно прятались. Вдруг соседки не стало видно, и даже дверь была затворена. Иван Савич встревожился.

— Авдей! отчего у соседки затворена дверь?

— Не могу знать.

— Не уехала ли она куда-нибудь?

— Не могу знать.

— Никогда ничего не знает! Я не Суворов, а досадно!

Так поди узнай: спроси, здоровы ли? что, мол, вас давно не видать?

Авдей принес ответ, что Анна Павловна нездоровы и приказали просить к себе: «Коли-де вам не скучно будет посидеть с больной».

— К себе! — воскликнул Иван Савич, вздрогнув от восторга, — ужели? а! наконец! Авдей! скорей бриться, одеваться!

Он второпях обрезал в двух местах бороду и щеку и залепил царапины английским пластырем, полагая, что так он интереснее, нежели с царапинами или даже нежели просто без царапин: это очень обыкновенно, она уж его так видала. Он не пожалел на голову пятирублевой помады. Бакенбарды смочил квасом и минут на пять крепко перевязал платком, чтоб придать им лоск и заставить лежать смирно. В носовой платок налил лучших духов. На шею небрежно повязал голубую косынку и выпустил воротнички рубашки. К довершению всего, надел лакированные сапоги и, таким образом, блестя, лоснясь и благоухая, предстал пред соседкой. Она сидела на софе, поджав ноги, окутанная в большую шаль, с подвязанным горлом.

Квартира Анны Павловны была убрана, как убирают почти все квартиры о двух комнатах, с передней и кухней. Диван красного дерева, обитый полинялой шерстяной материей с пятнами, другой клеенчатый диван, полдюжины стульев под красное дерево, старый комод, а на нем туалет, который, в случае нужды, легко можно переносить с места на место. На окнах несколько горшков гераниума и две клетки с канарейками.

У Ивана Савича на подобные визиты давно обдуман был и поклон, и приветствие, и даже мина.

Вошедши, он остановился в некотором расстоянии, наклонил немного голову и слегка улыбнулся.

— Наконец я у вас! — сказал он, оглядываясь кругом. — Ужели это правда? не во сне ли я?

— Может быть, этот сон не нравится вам? Бывают сны скучные и тяжелые, — отвечала она с томной улыбкой, — проснитесь... это легко!

— Боже меня сохрани! Пусть этот сон будет непробудным!

10 Она опять улыбнулась.

— Садитесь, — сказала она, — благодарю вас за участие; как это вы вспомнили, и еще через два дня?

— Я не вспомнил: вспоминают о том, что было забыто; я вас не забывал. Но что с вами?

Она поглядела на него довольно нежно и потупила глаза.

— Немного простудилась, — отвечала она, — я думаю... оттого... что бываю иногда... у дверей. Люди обречены на страдание.

Она вздохнула.

20 Тут Иван Савич посмотрел на нее нежно, а она покраснела. Они молчали несколько времени.

— Вы редко бываете дома? — потом спросила она.

— Нет-с... да-с... смотря по...

— У вас часто бывают гости?

— Да-с... бывают иногда, — отвечал он.

— Кто это... рыжий молодой человек? такой противный: всякий раз заглядывает в дверь.

— Это... «постой-ка, я тону задам!» — подумал он, — это граф Коркин, славный молодой человек, первый жуир

30 в Петербурге.

— А другой, в очках?

— Барон Кизель. Отлично играет на бильярде.

— Как они у вас шумят! что вы делаете?

«Расскажу ей, как мы кутим... Это нравится женщинам», — подумал Иван Савич.

— Кутим-с. Вот иногда они соберутся ко мне, и пойдет вавилонское столпотворение, особенно когда бывает князь Дудкин: карты, шампанское, устрицы, пари... знаете, как бывает между молодыми людьми хорошего

40 тону.

— И вам не жаль тратить денег на шампанское?

— Что жалеть денег? деньги ничтожный, презренный металл. Жизнь коротка, сказал один философ: надо жуировать ею.

— О, да вот вы какие!

— Да-с! — сказал он и вытащил из кармана платок. Запах распространился по всей комнате, так что даже из-за дверей выглянула старуха.

— Где вы покупаете духи? Какие славные! — сказала Анна Павловна, вдыхая носом запах. — Это блаженство — утопаешь в неге!

— В английском магазине.

— А что стоят?

— Десять рублей, то есть три целковых по-нынешнему. 10

— Стало быть, десять с полтиной? — примолвила она, — как дороги здесь в мире все удовольствия!

— Зато прекрепкие: вымоют платок, всё еще пахнет. Позвольте прислать на пробу скляночку?

— Помилуйте... я так спросила... из любопытства... не подумайте...

— Ничего-с! я вам завтра пришлю. Вы меня обидите, если откажетесь принять такую безделицу.

— Ах да! — сказала она, — вы подарили моей племяннице брошку; я ношу ее, видите? 20

— Очень приятно, — только мне совестно: это слишком недостойно украшать такую грудь... Если б я знал...

— Чем же вы еще занимаетесь?

— Бываю в театре.

— В театре? Ах, счастливые! что может быть отраднее театра? блаженство! в театре забываешь всякое горе.

Читаете, конечно?

— Да-с, да... разумеется.

— Что же, Пушкина? Ах, Пушкин! «Братья разбойники»! «Кавказский пленник»! бедная Зарема, как она страдала! а Гирей — какой изверг! 30

— Нет-с, я читаю больше философические книги.

— А! какие же? одолжите мне: я никогда не видала философических книг.

— Сочинения Гомера, Ломоносова, «Энциклопедический лексикон»... — сказал он, — вы не станете читать... вам покажется скучно...

— Это, верно, кто-нибудь из них сказал, что *жизнь коротка?*

— Да-с.

— Прекрасно сказано!

От этого ученого разговора они перешли к предметам более нежным: заговорили о дружбе, о любви.

— Что может быть утешительнее дружбы! — сказала она, подняв глаза кверху.

— Что может быть сладостнее любви? — примолвил Иван Савич, взглянув на нее нежно. — Это, так сказать, жизненный бальзам!

— Что любовь! — заметила она, — это пагубное чувство; мужчины все такие обманщики...

Она вздохнула, а он сел рядом с ней.

— Что вы? — спросила она.

10 — Ничего-с. Я так счастлив, что сижу подле вас, дышу с вами одним воздухом... Поверьте, что я совсем не похож на других мужчин... о, вы меня не знаете! женщина для меня — это священное создание... я ничего не пожалею...

— В самом деле? — задумчиво спросила она.

— Ей-богу.

Они долго говорили, наконец стали шептать. От нее разливалась такая жаркая атмосфера, около него такая благоуханная. Они должны были непременно слиться и слились. Она уронила платок; Иван Савич бросился
20 поднять, и она тоже; лица их сошлись, — раздался поцелуй.

— Ах! — тихо вскрикнула она.

— О! — произнес он восторженно, — какая минута!

— Давно ли, — говорила она, закрыв лицо руками, — мы знакомы... и уж...

— Разве нужно для этого время? — начал торжественно Иван Савич, — довольно одной искры, чтобы прожечь сердце, одной минуты, чтоб напечатлеть милый образ здесь навсегда.

30 Еще поцелуй, еще и еще.

— Вот что значит жуировать жизнь, клянусь Богом! — сказал серьезно Иван Савич. — Всё прочее там, чины, слава...

Вдруг кто-то чихнул в соседней комнате.

— Кто тут? — спросил, побледнев, Иван Савич.

— Это моя хозяйка, ничего: она мне предана.

— Ах! да... — сказал вдруг он, — дворник мне говорил, что у вас есть муж... в командировке?

Анна Павловна встрепенулась и покраснела как маков
40 цвет.

— Да... — бормотала она, — его послали... ничего... он долго не будет.

И замяла разговор.

— Как же вы живете одни, без покровителя, без...

Анна Павловна еще больше покраснела.

— У меня есть дядя, он и опекун...

— Он бывает у вас?

— Да, раз в неделю.

— Ну, если он меня увидит здесь?

— Нехорошо, — сказала она, встревожась, — очень нехорошо, остерегайтесь, не показывайтесь при нем. Мы будем с вами читать, заниматься музыкой, гулять вместе. Да, не правда ли? — говорила она.

— О, конечно!

— Вы повезете меня в театр, да?

— Непременно.

— Ах, какое блаженство!

Иван Савич воротился домой вне себя от радости.

— Как я счастлив, Авдей! — твердил он, — а! вот что значит жуировать! Это не то, что Амалия Николавна или Александра Максимовна: те перед нею — просто стыд сказать. К этой так нельзя приступить. Завтра к Васе — и вспрыски! нечего делать. Ну уж стоило же мне хлопот: не всякому бы удалось! а? как ты думаешь?

— Не могу знать! — отвечал Авдей.

С тех пор Иван Савич только и делал, что жуировал. То он у нее, то она у него. В должности он бывал реже. Его видали под руку с дамой прогуливающимся в отдаленных улицах. В театре он прятался в ложе третьего яруса за какими-то двумя женщинами, из которых одна была похожа на ворону в павлиньих перьях. Это была хозяйка и дуэнья Анны Павловны. Дома они были неразлучны. Она чаще бывала у него: обедала, завтракала — словом, как говорят, жив-
мя жила.

— У тебя такие мягкие диваны, — говорила она вскоре после знакомства, — так славно сидеть, нежиться. Я лучше люблю быть здесь. Ах! какая прелесть! жизнь так хороша! это блаженство!

— Знаешь что, мой ангел: возьми пока к себе один диван, вот этот, зеленый, — отвечал Иван Савич. — У меня их два да еще кушетка.

— Зачем... — нерешительно говорила Анна Павловна. — К такому дивану нужен и ковер, а у меня нет...
не всем рок судил счастье...

— Возьми один ковер: у меня два.

— Ну уж если ты так добр, так дай на подержание и зеркало, чтобы хоть на время забыть удары судьбы.

— Изволь, изволь, мой ангел! Ах ты, моя кошечка, птичка, цветочек... не правда ли, Авдей, цветочек?

— Не могу знать, — отвечал Авдей, проходя через комнату.

— Да, цветочек! — начала она полугневно, — я так люблю цветы... а ты мне всё еще не собрался купить...

— Завтра же, завтра, дружок, усыплю путь твоей жизни цветами.

— И хорошеньких горшечков от Поскочина, — сказала она, взяв его руками за обе щеки. — Это чистейшее наслаждение: оно не влечет за собой ни раскаяния, ни слез, ни вздохов...

— Непременно, только не растрепли бакенбард: мне в департамент идти; надо же когда-нибудь сходить. Как жаль, что тебя, Анета, нельзя брать туда: я бы каждый день ходил. Ты бы подшивала бумаги в дела, я бы писал... чудо!.. А то начальник отделения, столоначальник... да всё чиновничьи лица... фи!.. Если и придет иногда просительница, так такая... уф!.. К нам всё мешанки да солдатки ходят... ни одной нет порядочной: рожа на роже! пожуировать не думай. Ох, служба, служба, — прибавил он, натягивая вицмундир, — губи свою молодость в мертвых занятиях!

— Долго ты там пробудешь, mon ami?¹

— Часов до четырех, я думаю... Если можно будет надуть начальника отделения, так удеру около трех.

— Ах, Боже мой! У меня нет часов: я не буду знать, когда ты придешь. Часы мне покажутся веками, а в жизни и так немного радости.

— И, мой друг, — сказал Иван Савич, — помни, что жизнь коротка, по словам философа, и не грусти, а жуируй. Да возьми-ка мои часы столовые: они верны, — сказал Иван Савич.

— Да! а на что я их поставлю? У меня нет такого столика. Не всякому дано...

— Ты и со столиком возьми. Авдей! отнеси!

Прошло месяца два — Иван Савич всё жуировал, Анна Павловна всё вздыхала да распоряжалась свободно им и его добром. Как же иначе? И он распоряжался ею и ее добром: играл локонами, как будто своими, целовал глазки, носик и проч. Наконец продолжительные свидания начали утомлять их: то он, то она зевнет; иногда

¹ мой друг (фр.)

просидят с час, не говоря ни слова. Иван Савич стал зевать по окнам других квартир.

— Авдей! чей это такой славный экипаж? — спросил он однажды, глядя из своего окна на двор.

— Не могу знать.

— Узнай.

Авдей доложил через пять минут, что экипаж принадлежал знатной барыне, что во втором этаже живет.

— Какие славные лошади, как хорошо одеты люди! Она должна быть богата, Авдей?

10

— Не могу знать.

В другой раз он увидел, что на дворе выбивают пыль из роскошных ковров, и на вопрос, чьи они, получил в ответ от Авдея сначала — не могу знать, потом, что и ковры принадлежали знатной барыне.

— А вон эта собака? — спросил Иван Савич.

— Ее же. Чуть было давеча за ногу не укусила, проклятая!

— Вот бы туда-то попасть! — сказал Иван Савич.

Иван Савич и Анна Павловна всё дружно жили между собой и видались почти так же часто. Только изредка, как сказано, зевали, иногда даже дремали. Дремала и любовь. Горе, когда она дремлет! От дремоты недалеко до вечного сна, если не пронесется, как игривый ветерок, ревность, подозрение, препятствие и не освежит чувства, покоящегося на взаимной доверенности и безмятежном согласии любящейся четы. Впрочем, кажется, ни Иван Савич, ни Анна Павловна не заботились о том. Они смело дремали, сидя на разных концах дивана, иногда переглядывались, перекидывались словом, менялись поцелуем — и вновь молчали. Она задумывалась или работала, он дремал. Однажды дремота его превратилась в настоящий, основательный сон: голова опрокинулась почти совсем на задок дивана. Он даже открыл немного рот, разумеется неумышленно, поднял кверху нос, в руке крепко держал один угол подушки и спал. Вдруг ему послышалось восклицание «ах!», потом сильный говор подле него. Он не обратил на это внимания, но говор всё продолжался. Через минуту он открыл глаза. Что же? Перед ним стоит низенький, чрезвычайно толстый пожилой человек, с усами, в венгерке, и грозно вращает глазами, устремив их прямо на него. Иван Савич тотчас опять закрыл глаза.

— Какой скверный сон! — сказал он, — приснится же этакая гадость!

И плюнул прямо на призрак.

— Иван Савич! что вы, что вы! — перебила его испуганным голосом Анна Павловна.

— Ничего, мой ангел! Не мешай мне спать. Если б ты видела, какой уродище сейчас приснился мне: наяву такого быть не может.

Анна Павловна упала в обморок и склонила бледную
10 голову на подушку.

— Милостивый государь! — вдруг загремел кто-то басом над самым ухом Ивана Савича.

Он вскочил как бешеный — и что же? Урод, которого он принял за создание воображения, стоит перед ним, сложив руки крестом, как Наполеон.

— Что-с... я-с... извините... я думал... что вы — сон, — бормотал, трясясь от страха, Иван Савич.

— Кто вы? зачем вы здесь? а? по какому случаю? — говорил толстяк, подступая к Ивану Савичу.

20 — Я-с? я... помилуйте, — говорил тот, пятясь к дверям, — я чиновник, служу в министерстве... Что вы?

— Я с вами разделаюсь, — говорил толстяк, — разделаюсь непременно, — погодите!

Иван Савич ушел в переднюю, оттуда в сени, всё задом. В сенях он остановился и поглядел в дверь. К нему выбежала Анна Павловна, бледная и расстроенная.

— Это мой опекун... и... и... и... дядя! — сказала она.

— Опекун! — говорил Иван Савич, заглядывая в дверь
30 на толстяка, — у вас *огромная опека*, Анна Павловна!

— И вы можете шутить? Подите к себе и не приходите, пока не позову... О, Боже мой! Чем это кончится? Вот какая туча разразилась над нами: заря нашего блаженства затмилась. Я не ждала его так рано из командировки.

— Так у вас и дядя был в командировке? Я не знал.

— Прощайте, прощайте, — сказала она, — может быть, навсегда.

— И пора, — бормотал Иван Савич, — надоела мне:
40 всё хнычет, а ест, ест так, что Боже упаси!

Иван Савич пришел домой и растянулся в спальне на кушетке досыпать прерванный сон. Через час он услышал над собой опять: «Милостивый государь!», открыл глаза — и тот же толстяк стоит над ним.

— Опять тот же гадкий сон! — сказал он и вскочил с кушетки. — А, это вы! — примолвил он. — Позвольте узнать, с кем я имею честь...

— Я отставной майор Стрекоза, — сказал толстяк, — к вашим услугам.

И сел без церемонии на кресла против кушетки.

«Стрекоза! — думал Иван Савич, — хороша стрекоза! кажется, вовсе не *попрыгунья*. Мог бы из Крылова же басен заимствовать себе название попримичнее».

— Давно ли вы знакомы с Анной Павловной? — 10 грозно спросил майор.

— Да месяца три будет, а что-с?

— Не вам следует спрашивать, а мне: вы извольте отвечать.

Иван Савич хотел было сказать ему что-то колкое, да с языка не сошло.

— Каким образом вы познакомились?

— Через двери, господин... госпожа... господин Стрекоза.

— Знаю, что не чрез окно, но как? 20

— Да так-с: по соседству. Я ей скажу: «Здравствуйте, Анна Павловна, здоровы ли вы?» Она отвечает: «Здравствуйте, Иван Савич, покорно вас благодарю»... Так и познакомились.

— Но этим, кажется, ваши сношения не ограничились?.. а?..

— Помилуйте, господин Стрекоза, — начал вкрадчиво Иван Савич. — Неужели вы можете думать, чтобы я, чтобы она, чтобы мы... что-нибудь такое... Да я так скромн, так невинен... могу даже сказать, что ненависть 30 моя к женщинам известна здесь всем в городе... я *мизантроп*! право-с! Граф Коркин, барон Кизель могут подтвердить, и притом Анна Павловна так любит своего мужа...

— Мужа? — спросил майор.

— Да-с, что в командировке. Только о нем и говорит; скоро ли, говорит, он приедет. Мне, говорит, так скучно без него... я не живу. Помилуйте, господин Стрекоза, вы нас обижаете...

Майор задумался и, по-видимому, смягчился. 40

— Но что значит сцена, которую я застал? — сказал он, — вы спали, называли ее «мой ангел»! Как могли вы дойти до такой степени короткости? а? Я с вами, милостивый государь, разделаюсь!

— И, господин майор! если б вы знали, как я прост душой, вы бы ничего не заключили дурного из этого. В один день я сойду с человеком — и как будто двадцать лет жил вместе. Ты да ты. За что вы нападаете понапрасну на мою простоту и добродетель? обижаете и свою племянницу... ведь вы дяденька ей?

— Да, я опекун ее и... дядя.

— Как лестно носить титул этот при такой прекрасной особе, и кому же вверить это сокровище...
10 как не...

— Я не комплименты пришел сюда слушать, — грубо перервал майор, — а разделаться! Я вам дам! Как вы, милостивый государь, смели, — спрашиваю я вас?

«Медведь! — подумал Иван Савич. — Никакой образованности, никакого тону!»

— Послушайте, милостивый государь, — сказал майор, — вы должны мне дать удовлетворение, или...

— Как удовлетворение? какое?

— Разумеется, как благородный человек.

20 Майор указал на pistols, висевшие на стене.

— Вон у вас, я вижу, есть и средства к тому, — прибавил он.

— Э! нет-с. Это подарил мне один знакомый, ни он, ни я не знаем для чего: черт знает, зачем они тут висят. Это дурак Авдей развесил.

Он снял их и проворно спрятал под кровать.

— Вот теперь, может быть, узнаете, — сказал майор с выразительным жестом.

Иван Савич покачал головой.

30 — Ни за что-с! — сказал он решительно. — У меня правило — не стреляться, особенно за женщин. Этак мне пришлось бы убить человек пятьдесят или давно самому быть убитым... так, за недоразумения, вот как теперь. Притом же я и не умею...

— В таком случае вы должны отказаться от знакомства с Анной Павловной... я как опекун... и... и... и дядя ее... требую этого.

— Отказаться! Как же жить в соседстве и не быть знакомым? придется встретиться как-нибудь, согласитесь
40 сами...

— Ни-ни-ни! не придется, если не будете стараться: я ее увезу на другую квартиру...

— Давно бы вы сказали! — воскликнул Иван Савич. — Ух! гора с плеч долой! Знайте, господин Стрекоза, что у

меня правило — не переносить знакомства на другую квартиру.

— Э! — сказал, улыбнувшись, майор, — да у вас славные правила! Ну так и дело с концом: мир. Нечего об этом и говорить.

— Не прикажете ли чаю?

— Очень хорошо. Нет ли с ромцом?

— Есть коньяк.

— Ну всё равно.

— Не угодно ли сигары?

— Пожалуйте.

И они стали друзьями.

— Какая у вас славная квартира! — сказал майор, оглядываясь кругом, — со всеми удобствами... Что это, мне как будто вдруг что-то на нос капнуло?..

— Ах-с! это вон оттуда, — сказал Иван Савич, указывая вверх. — Это ничего, так, дрянь, пройдет.

Майор поднял голову и посмотрел на пятно.

Вдруг оттуда полился проливной дождь прямо ему в лицо.

— Милостивый государь! — закричал он, вскочив с места, — что это значит? Я с вами разделаюсь...

— Я не виноват-с: право! Это иногда течет: видно, сверху пролили ушат с водой... Эй, Авдей! Авдей! подставь скорей ведерко...

— Прощайте, — сказал майор, — у вас небезопасно; пойду укрыться... к племяннице от дождя. Странные у вас правила, право, странные: не стреляетесь, не переносите знакомства на другую квартиру, дождь терпите в комнатах... гм!

Он ушел. На другой день, рано утром, от Анны Павловны, от майора и от старухи не осталось никаких следов. В доме и духу их не стало.

Авдей торжественно вышел на середину комнаты.

— Как же, батюшка Иван Савич, — сказал он, — они увезли у нас диван, стол, часы, зеркало, ковер, две вазы, ведро совсем новешенькое да молоток. Не прикажете ли сходить за ними?

— И, нет, не надо! Еще, пожалуй, привяжется Стрекоза: по какому, дескать, поводу эти вещи были там? ну их совсем. Избавились от беды: это главное.

— Ведь говорил я вам, нехорошо будет: шутка ли, чего стало!

— Зато пожуировали! — сказал Иван Савич.

В тот же день Иван Савич кутил с друзьями. Он рассказал им свое приключение.

— За здоровье сироты! — провозгласили друзья.

— Да, друзья мой, лишился, потерял ее! если б вы знали, как она любила меня! Подумайте, всем мне жертвовала: спокойствием, сердцем. Она была... как бы это выразить?... милым видением, так сказать, мечтой... раз-нообразила этак тоску мертвой жизни...

— Да, братец, жаль, — сказал, вздохнув и покрутив
10 усы, офицер, — как это ты выпустил из рук такую птичку?.. Ты бы проведаль!

— Нельзя, mon cher: честное слово дал! Дядя, опекун: подумай, вышла бы история... повредила бы мне по службе.

— Ты бы мне сказал, — продолжал офицер, — я бы разделался с ним. Я бы показал, что значит обидеть моего приятеля! А ты! вот что значит не военный человек!

— Я, mon cher, и сам намекал ему на пистолеты, даже снял со стены и показал... да он искусно замял речь.

20 — Подлец! трус! — примолвил офицер, притопывая то той, то другой ногой...

— Какие всё ему достаются: барыни, да еще замуж-ние! — заметил другой.

— И не показал, не познакомил, злодей! — сказал Вася. — Нет, я так в горничных счастлив. Какая у меня теперь... а!!

И он рассказал им какая.

— Славно мы живем! — примолвил один из молодых людей, — право, славно: кутим, жуируем! вот жизнь так
30 жизнь! завтра, послезавтра, всякий день. Вон Губкин: ну что его за жизнь! Утро в департаменте мечется как угорелый, да еще после обеда пишет, книги сочиняет; просто смерть!.. чудак!

Иван Савич опять не знал, куда девать свое время, опять зевал, потягивался, бил собаку, бранил Авдея. Однажды он пришел в комнату Авдея и посмотрел в окно. Вдруг лицо его оживилось.

— Голубчик Авдей! — сказал он, — посмотри-ка, какая хорошенькая девушка там, в окне, и как близко: можно
40 разговаривать!

— Не о чем разговаривать-то, — сказал Авдей.

— Какие глазки! — продолжал Иван Савич, — ротик! только нос нехорош. А беленькая, свеженькая — прелесть! Ты ничего мне и не скажешь! Узнай, чья она.

Авдей доложил, что она служит у знатной барыни.

— И девушка-то знатная! — сказал Иван Савич, — право! а?

— Не могу знать! — отвечал Авдей, — известно: девчонка!

— Послушай, порадей-ка мне у ней: поди скажи, что я и добрый, и...

— Полно вам, батюшка Иван Савич, Бога вы не боитесь... — заговорил он с убедительным жестом, — и я-то с вами сколько греха на душу взял.

— Ну! — сказал Иван Савич, — по-твоему, не пожуируй! Поди, поди, говорят тебе.

— Воля ваша, Иван Савич, гневайтесь не гневайтесь, а я больше не намерен.

— Что ж ты пыль не обтираешь нигде, дурак этакой! — сердито закричал Иван Савич, — это что? это что? а? У меня там везде паутина! Давеча гаук на нос сел! Ничего не делаешь! А еще метелку купил! К сапожнику опять забыл сходить? Да ты мне изволь новые чашки на свои деньги купить: я тебе дам бить посуду! Что это за скверный народ такой, ленивый... никуда не годится!

Дня через два Ивану Савичу принесли новое платье. Он примерил и велел спрятать. Вдруг Авдей вышел на середину.

— А что, батюшка Иван Савич, — сказал он, — не будет ли вашей барской милости... то есть теперь у вас три сюртука... один-то уж старенький... Не пожалуете ли мне?

Он низко поклонился.

— Не намерен, — сказал Иван Савич сухо.

Авдей крикнул и пошел в переднюю...

На другой день он надел на себя серебряные часы, повесил бисерный снурок по всей груди и животу, взял в руки картуз с кисточкой и отправился радеть своему барину.

— Говорил, — сказал он через полчаса, вышедши на середину.

— Что ж ты говорил? — спросил Иван Савич.

— Что, мол, барин у меня и добрый, и хорошенький такой...

— Вот, хорошенький! Зачем же ты врешь?

— Что за вру! вы ведь хорошенькие!..

Оба молчали. Иван Савич гладил бакенбарды.

— Что ж ты не в моем сюртуке ходил к ней? оно бы лучше! — сказал Иван Савич.

— Да как я смею барский сюртук надеть?

— Ты возьми его себе совсем, тот, что просил у меня.

Авдей подбежал, согнувшись, и поцеловал у барина ручку.

— Что ж ты ей еще сказал?

— Что барин мой, мол, молодец: где ни завидит женщину, — тотчас влюбится! У него, мол, немало их было...

— Да кто ж тебя просил об этом говорить? Ну пойдет ли она теперь? Есть ли у тебя рассудок? а? Вечно, вечно подгадишь мне! Что ж она сказала?

— Что мне, говорит, до твоего барина за дело? Он, говорит, мне не ровня: что мне с ним знакомиться? Поди, говорит, отваливай.

— Вот еще! — ворчал Иван Савич, — не ровня. Как же бы это устроить? Ах, славно! выдумал! Часто ли она бывает тут у окна?

— Да целое утро всякий день вертится.

— Там она теперь?

20 — Там-с.

— Дай-ка мне свой серый сюртук.

— На что это вам?

— Дай, дай, я знаю на что. Ну что, впору ли? — спросил Иван Савич, надев сюртук.

— Коротенек. Да что вы хотите делать?

— А вот что: ты скажи ей, что у нас два человека. Ведь она меня не видала?

— Нет-с.

— Ну, я утром буду приходить на полчаса к тебе в 30 комнату, будто убирать что-нибудь. Вот и теперь пойду. Дай мне сапог и щетку.

Иван Савич поместился у самого окна и стал чистить сапог. Авдей спрятался в простенок и прикрыл рот рукой, чтоб не засмеяться вслух, и качал головой.

— Вишь ведь лукавый догадал — чего не выдумает! — бормотал он. — Не так, не так, Иван Савич, на что подошву-то намазали ваксой? И сапога-то не умеет вычистить, а еще барин!

— Здравствуйте! — сказал Иван Савич девушке в 40 окно.

— Здравствуйте! — сказала она и продолжала гладить, не поднимая глаз.

— Какие вы хорошенькие!

— Да не про вас!

— Как не про меня-с? Будто мы уж никуда не годимся? — сказал он. — Чем я хуже моего барина? Он такой худой!

— Всё ж он барин, какой бы ни был! да мне и до него дела нет, — отвечала она и посмотрела на него.

Он послал ей поцелуй. Она улыбнулась и показала ему утюг.

— Как же! не хотите ли вот этого? — сказала она, — как раз обожгу.

— Да вы уж и так обожгли меня глазками.

10

— Этак она догадается, — шептал Авдей, увлекшийся неволью на этот раз интересами своего барина, которым в другое время противился, — вы больно мудроно говорите-то.

— Можно мне к вам в гости прийти? — спросил Иван Савич.

— Зачем? У нас есть свои.

— Да есть ли такие, как я?

Иван Савич указал на бакенбарды.

— Может, и получше есть.

— Ну, вы пожалуйста ко мне.

20

— Вот еще! С чего вы это взяли? — сказала обиженным тоном девушка. — Прощайте: некогда мне с вами из пустого в порожнее переливать. Барыня ждет: она у меня там без юбки сидит!

— А кто ваша барыня?

— Известно, баронесса.

Она схватила юбку и понесла было.

— Да постойте же! куда вы? — сказал Иван Савич.

— Нечего стоять; и вы-то чистите не чистите сапог.

Смотрите, выйдет барин: он вас за ушко да на солнышко. Так-то!

30

— Вы будете завтра тут? — спросил Иван Савич.

— А вам что за дело?

— Так; я бы покуражился с вами.

— Буду так буду, не буду так не буду: сами увидите! — сказала она скороговоркой и, как мышонок, побежала по лестнице, почти не дотрогиваясь до ступеней.

— Милашка! у! — нежно крикнул ей вслед Иван Савич. — Авдей! а?

— Не могу знать!

40

Авдей тряхнул головой.

— Пожалуйста-ка, добро, сапоги-то, — сказал он, — вишь, всю подошву вымазали, да и окно-то у меня перепачкали. Ну вас тут совсем!

В следующие дни, в условленный час, оба бывали на своих местах. Иван Савич всё мазал подошву сапога, к великому соблазну Авдея, который нарочно для этого давал ему постоянно один старый и худой сапог. Маша тоже гладила долго одну и ту же юбку. Так продолжалось с неделю. Однажды вечером, когда баронесса уехала в театр, а, по словам Ивана Савича, *барина его* не было дома, Маша тронулась его нежностями и как тень, в платочке à la Fanchon, мелькнула по двору и явилась в
10 комнате Авдея.

— Наконец ты у меня в гостях! — начал Иван Савич свою обычную фразу, с некоторыми вариантами, — ужели это правда? не во сне ли я вижу?

Она с трудом согласилась пойти в другие комнаты и при малейшем шуме трепетала как лист, опасаясь приезда *барина*.

— Как я счастлива! как я счастлива! — твердила Маша, — вы такие... такие... вы сами словно как барин! Какой у вас славный жилет! уж не барский ли?

20 — Да, барин подарил. Авдей! — закричал он, забывшись, — подай чаю!..

— Что вы это? как вы на него кричите! — сказала Маша.

— Авдей Михайлыч, — сказал Иван Савич, спохватившись, — уважь нас: чайку поскорее. Ведь я барский камердинер, — примолвил он, обращаясь к Маше, — ну так Авдей и угождает мне. В другой раз замолвлю за него доброе словцо.

— А! вы камердинер! — значительно сказала Маша, —
30 вот как!

Уже прошло недели три, как Маша частенько прокрадывалась к своему возлюбленному. Иван Савич лежал обыкновенно на *барской* кушетке, как он говорил Маше, а она сидела подле него в креслах и болтала без умолку или жевала что-нибудь. Горничные вечно что-нибудь жуют или грызут. В карманах их передника всегда найдете орехи, изюм, или половинку сухаря, оставшегося от барынина завтрака, или бисквиту, вафлю, залог нежности какого-нибудь повара. Иван Савич не находил более предмета для
40 разговора с ней. Он уж пересказал ей все анекдоты, которые рассказываются только мужчинами друг другу за бутылкой вина или горничным, и говорить больше было нечего.

— Ну скажи что-нибудь еще, — говорила однажды Маша. — Ты так смешно рассказываешь.

Иван Савич зевнул.

— И нынче конфекты да сливы: я лучше люблю яблоки, — продолжала Маша болтать, доедая сливу. — А это ведь, чай, дорого: неужели тебе барин столько денег дает? Это съешь, словно как ничего — и не попахнет, а после яблоков долго помнишь, что ела. Я могу целый десяток яблоков съесть, право!

Иван Савич всё молчал.

— Вчера мы с Настасьей, с нянькой от верхних жильцов, два десятка съели, инда насилу опомнились, даже тошно сделалось: *ейный* сын принес ей целый узел яблоков, пряников, орехов, да не одних простых, а разных. Он в мелочной лавке приказчиком. Ты вот мне никогда орехов не купишь.

Иван Савич закурил сигару.

— Что ты заплатил за сигарки? — спросила Маша.

— Это барские, — сказал Иван Савич.

— Ну как он узнает?

— Нет, у него много.

— И то сказать, правда: что жалеть господского? Я вот, как живу на свете, не знаю, что такое покупать помаду, духи, булавки, мыло: всё у барыни беру. Раз она и узнала по запаху: «Ты, говорит, никак моей помадой изволишь мазаться?» Вот я ей говорю... так и говорю, право, я ведь ей не уступлю... она слово, а я два... «кроме вашей помады нешто и на свете нет!» — «А где ж ты взяла?» — говорит она. — «Где? подарили», — а сама прячусь, чтоб она не разнюхала. «А кто, говорит, подарил?» — «А вам, мол, зачем?» — «Дружок, верно!» — говорит. Что ж! ведь я соврала — сказала: дружок. А какой к черту дружок! У меня после Алексея Захарыча до тебя никого и не было. Она и пошла допытываться кто, да тут приехали гости, я и ушла.

Оба замолчали.

— Ах, Иван! — начала опять Маша, — какое платье купила себе Лизавета, наша бывшая девушка, — *креп-наше*, чудо! Когда я соберусь сделать себе этакое?

Она вздохнула.

— А тебе хочется? — спросил Иван Савич.

— Еще бы не хотелось! уж я давно думала, да куда! оно двадцать восемь рублей стоит.

Иван Савич вынул из бумажника пятидесятирублевую ассигнацию и дал ей.

— Ах! неужели? — сказала она с радостным изумлением. — Это мне? Сколько же у тебя денег-то? ведь у меня сдачи нет.

— Ты всё себе возьми.

— Как всё?

Она повертывала в руках ассигнацию и смотрела то на нее, то на Ивана Савича и почти одурела совсем.

— Послушай, где ты берешь деньги? — спросила она вдруг боязливо.

10 — В барском бумажнике.

— Нет, неправда! ты бы так не говорил, — сказала она, бережно завязывая деньги в узелок, — как же я за это крепко поцелую тебя... у!.. в знак памяти сошью тебе манишку.

От радости она сделалась еще болтливей.

— Что, бишь, я хотела сказать такое? а?

— Не знаю, — сказал Иван Савич.

— Эх, досадно; что-то хотела сказать тебе... ах да! как давеча графский кучер бил какого-то мужика: тот в гости
20 к нему пришел, а он и давай его бить; инда страсть, так прибил, что тот даже не знает, что и сказать ему. Да что ж ты всё молчишь? — сказала она после множества вопросов, на которые не получила ответа.

— Уж всё переговорили, — отвечал Иван Савич.

— Всё? как не всё! Нет, уж нынче ты не такой. Бывало, всё говоришь, что любишь меня, да спрашиваешь, люблю ли я тебя, а нынче вот пятый день не спрашиваешь: видно, уж не любишь. А я тебя всё так же люблю, еще больше, ей-богу! вот побожиться не
30 грех! — примолвила она простодушно.

Опять молчание.

— Сколько у вас книг-то! всё толстые: чай, во всю жизнь не прочитаешь? — сказала она опять, — какие это книжки, Иван?

— Философические! — сказал Иван Савич.

— Какие же это? смешные или страшные? почитай мне когда-нибудь в книжку: я люблю смешные книжки. И у вас хорошо, — продолжала Маша, оглядываясь кругом, — а у нас еще лучше. Какие занавесы, какие ковры!
40 решетки с плющами; какие корзинки для цветов! даже уму непостижимо. Вчера принесли маленький диванчик в спальню: какая материя! так глаза и разбегаются: четыреста рублей стоит. Как подумаешь, сколько эти господа денег сорят, так страшно станет. Хоть бы

половину мне дали того, что иной раз в неделю истратят, так мне было бы на всю жизнь.

— Так очень хороша твоя барыня? — спросил Иван Савич.

— Ах! прехорошенькая! особенно утром, как с постели встает.

— Как же бы с ней познакомиться?

— Кому?

— Разумеется, моему барину. Уж он говорил: похлопочи-ка, говорит, Иван!

10

— Нет ли у него приятеля, знакомого с нашей барыней? — сказала Маша, — пусть тот и приведет его; а не то пусть он выдумает, будто нужно спросить что-нибудь, да и придет: может, и познакомится. Славно бы! тогда бы я чаще к тебе бегала, будто к барину от барыни или попросить чего-нибудь. Уж когда господа знакомы, так и люди знакомы. Это так водится. Что бы выдумать? а! да вот что: барыня продает одну лошадь: не надо ли вам? пусть бы барин и пришел, будто поторговаться.

— И прекрасно, — сказал Иван Савич, вскочив с 20 кушетки, — я и пойду.

— Ты? — спросила Маша.

— И познакомлюсь, — продолжал Иван Савич, не замечая ошибки.

— Что ты, что ты! опомнись, мой батюшка, заврался!

— Ах да! что я вру: барин, барин.

— То-то же.

— Ну, ты теперь поди домой, — сказал Иван Савич.

— Вот уж и гонишь, экой какой! ну, прощай. Спасибо за подареньице, — сказала Маша, неохотно вставая с 30 кресел.

На другой день Иван Савич, идучи в должность, встретил на лестнице знатную барыню и остановился, пораженный ее красотой. Она приветливо взглянула на него, как будто в благодарность за это удивление. После того он старался ежедневно сойтись с ней на лестнице. Это было легко, потому что из его окон видно было, как ей подавали карету. Наконец он осмелился сделать ей робкий и почтительный поклон. Ему ласково кивнули головой, и Иван Савич был вне себя от радости.

40

— Авдей! — сказал он, — знаешь что? знатная барыня поклонилась мне сегодня; она всякий раз ласково смотрит на меня; значит, я ей нравлюсь. Как ты думаешь? а?

— Не могу знать.

И Маша подтвердила ему, что у ее барыни только и разговора, что об его барине.

— Всё меня расспрашивает о нем, — сказала она, — богат ли он, есть ли у него экипаж, сколько людей? а я почему знаю... знаю, мол, только, что у него двое людей — Авдей да Иван — вот и всё. Какая, право, чудная! я ведь по парадной лестнице не хожу: где ж мне его видеть? Да что ж, в самом деле, твой барин нейдет покупать лошадь? коли хочет, вот бы и познакомился.

10 Иван Савич, пока Маша говорила это, гладил бакенбарды.

Утром он посмотрел лошадь. Она была стара и разбита ногами. Он поторговался с кучером, но не согласился в цене и вечером послал Авдея просить у знатной барыни позволения видаться с ней, в твердом намерении не покупать лошади, а только завязать знакомство.

Сильно билось его сердце, когда он подошел к ее двери. «Страшно как-то с знатными! — думал он, осматриваясь и поправляясь, — что-нибудь не так сделаешь, беда, засмеют!..» Он позвонил чуть-чуть слышно. Человек доложил и потом, откинув занавес у дверей, впустил его в залу. Зала была обита белыми обоями с светло-дикими арабесками. Ничего лишнего. По стенам дюжины две легких, грациозной формы стульев белого дерева. Два огромных зеркала, у окон — те прекрасные корзины на тумбах, о которых говорила Маша, да великолепные драпри, которые он сам видел с улицы. В гостиной было всё богаче, роскошнее. Темная резная мебель. На столе бронза, часы на мраморном пьедестале, несколько картин, два или три бюста, вазы.

30 Иван Савич прошел гостиную и остановился в нерешимости, идти или нет далее. Всё было тихо. В следующей комнате чуть-чуть виден был свет от лампы.

«Как я войду? — думал он, — ну, как она там... того... что-нибудь такое... почивает?»

Вдруг послышался шорох, будто шелкового платья. Кто-то пошевелился, и опять всё замолкло. Иван Савич сделал два раза «хм! хм!» и кашлянул. Вдруг там позвонили... Он обрадовался и вошел. Долго он искал глазами обительницы этого будуара и не находил, пока наконец явившийся по звонку человек не навел его на путь.

— Не надо. Поди! — послышалось из-за зелени. Человек ушел.

Иван Савич прошел до камина и там, на полукруглом диване, обставленном трельяжем, отыскал невидимку. Она была, по-видимому, лет двадцати. Густые, темно-каштановые волосы спускались по вискам до половины щеки и прикрывали уши. Голубые глаза, маленький нос и еще меньше рот, свежесть лица — всё это ослепило Ивана Савича. Он уж не мог разобрать, в чем она была и как она сидела, — ничего.

Он почтительно поклонился.

— Наконец я у вас... — начал он робко, — неужели это правда? я как будто во сне.

Ему молча показали другой конец дивана.

«Вот как обрезала! — подумал Иван Савич, — ни слова! не то что Анна Павловна: та сейчас стала кокетничать и заговорила. А эта:.. о, да тут надо осторожно».

Она продолжала молчать. Иван Савич должен был опять заговорить. Он потерялся.

— Я насчет лошадки... — начал он чуть слышно, — пришел справиться... извините, что я... беспокою...

Больше у него не шло с языка, как он ни старался, точно как будто ему зашили рот.

— Да, мне человек сказывал, — отвечала она небрежно, — что вы хотите купить лошадь. Она не подходит под масть прочим моим лошадям, оттого я и велела ее продать.

— Кучер ваш говорит, что вы просите семьсот рублей... это очень...

— Дешево, хотите вы сказать? — перебила она еще небрежнее, — что ж делать! лошадь не стоит больше. Может быть, вам надо дороже и лучше... вы не церемоньтесь. Мне стоит сказать одно слово своим знакомым: графу Петушевскому, князю Поскокину, они бы сейчас избавили меня от этой лошади, лишь бы сделать мне удовольствие.

Иван Савич струсил.

— Точно-с, — начал он, — вы изволите правду говорить... Я не имею чести быть вашим знакомым; но, чтоб сделать вам удовольствие...

У него занялся дух; он на минуту остановился собраться с силами. Она выразительно посмотрела на него.

— Но, чтоб сделать вам удовольствие, — повторил он, — я... я... готов...

Она кивнула слегка головой и улыбнулась.

— Вы очень любезны! — сказала она.

Иван Савич ободрился. «Каково же, — подумал он, — ай да Ванчик! ловко, брат! Что скажет Вася? как же ей деньги отдать? ведь, чай, самой нехорошо. О! выдумал, выдумал еще ловчее!»

— Кому прикажете деньги отдать? — спросил он уже довольно твердым голосом.

— Если они с вами, то потрудитесь бросить их вон в ту рабочую корзинку; а если нет, то пришлите.

10 Иван Савич положил деньги в корзинку и стал раскланиваться.

— Куда же вы? — спросила она, — вы были так любезны. Я еще не успела поблагодарить вас; останьтесь пить чай со мной. Я вас не пущу.

Она взяла у него шляпу из рук и поставила с другой стороны подле себя. Она сделалась разговорчива и оставила небрежный тон.

— Садитесь поближе. Расскажите мне, давно ли вы здесь живете, чем вы занимаетесь?

20 — Я живу здесь четыре месяца, бываю в театре-с, читаю-с.

— Что вы читаете?

— Всё философические книги.

— А!

«Говорить ли ей, что мы кутим? — подумал Иван Савич, — нет! что я! Боже сохрани! ведь это не Анна Павловна».

— Вы изволите тоже читать книги? — спросил он, глядя на этажерку, уставленную книгами.

30 — Да, как же.

— Какие-с, позвольте спросить?

— Больше французские: теперь читаю «La duchesse de Châteaugoux».¹ Вчера мне подарили прекрасный кипсек. Достаньте вон ту книгу.

Он проворно вскочил, взял книгу и подал ей. Она подвинулась к столику и открыла книгу.

— Посмотрите, какие гравюры. Да сядьте со мной рядом, поближе... еще...

Иван Савич сел, как она желала, — и смутился.

40 «Вот как вольно знатные обходятся, — думал он, — как принято у них; а мы чинимся между собой. Прямые мещане! Завтра за обедом расскажу нашим. Что скажет

¹ «Герцогиня Шатору» (фр.)

Вася? Чай, удивится, не поверит! „Эк куда, скажет, залез!”
Надо осмотреть хорошенько, как убрано, чтобы пересказать нашим».

— Где же еще другая книга? — сказала знатная дама и позвонила.

— Вели Маше, — сказала она вошедшему лакею, — принести из спальни книгу: она там на столике лежит.

При слове «Маша» у Ивана Савича забилося сердце. Вскоре послышались ее шаги. Она вошла, взглянула — и побледнела. Книга выпала у ней из рук.

— Что ты валяешь книгу? — сказала барыня. — Испортишь переплет. Да что ж ты стала? Подойди сюда! разве ты не видала у меня людей?

Маша тихо подошла и, склонив голову, еще тише пошла назад.

А Иван Савич забыл и Анну Павловну, и Машу, и всех на свете. Знатная дама с минуты на минуту делалась всё любезнее и любезнее. Время незаметно прошло до одиннадцати часов. Он стал прощаться.

— Приходите ко мне, как только будет у вас свободное время, — сказала она, — я всегда дома. Когда мы покороче познакомимся, то придумаем, как проводить вечера.

Тут человек пришел с докладом, что граф Лужин приехал.

— Проси. Прощайте, до свидания, — сказала она с дружеской улыбкой, подавая Ивану Савичу руку.

В зале он столкнулся с адъютантом, который опрометью вбежал в будуар. Иван Савич услышал звонкий поцелуй.

«Вот как знатные целуются! — сказал он сам себе. — А как поздно у них приезжают гости: у нас так спать ложатся. Мещане!»

У своих дверей Иван Савич услышал, что кто-то будто плачет. Он посмотрел — и что же? в темном углу, опершись на перила, горько рыдала Маша.

— Что ты? что с тобой? — спросил он.

— Что с тобой!.. — всхлипывая, говорила она, — еще спрашиваете: что с тобой? Не грех ли вам так обижать бедную девушку?

— Как обижать?

— Обманывать! Сказали, что вы камердинер, что любите меня, а сами барин!

— Так что же?

— Как что! Сами к барыне пришли. Известно, барин не станет любить простую девушку...

— Ведь это не мешает тебе бывать у меня.

— Не мешает! Рассказывайте! Я видела, как вы близко с ней рядом сидели да шептались...

Она зарыдала. Иван Савич махнул рукой и пошел прочь.

— Постойте, — сказала она, — возьмите ваши деньги: я от барина не хочу! Вот сорок пять рублей: пять рублей я истратила.

Она вынула из кармана ассигнации, бросила их на
10 лестницу и исчезла.

Иван Савич так был поглощен впечатлением от свидания с знатною барыней, что тотчас же забыл о Маше. Он машинально поднял ассигнации и пошел.

— Ну, брат, Авдей, вот прелесть, вот дама, так могу сказать!

— Неужли-то, сударь, у вас и с ней уж дошло до чего-нибудь эдакого?

— Тс! тише, тише! — с испугом сказал Иван Савич. — Ты с ума сошел! ведь это не Анна Павловна. Ты эдаких
20 и не видывал. Ах, если бы... да нет!

— Что ж лошадь-то, сударь?

— Купил!

— Неужли? — сказал Авдей, — такого одра! Да что вам в нем? Вот деньги-то сорите! А что дали?

— Семьсот рублей.

— Господи, воля Твоя: да за нее двести рублей нельзя дать; а за семьсот рублей вы бы пару знатных лошадей купили.

— Зато не познакомился бы с знатной барыней! —
30 сказал Иван Савич. — Звала к себе как можно чаще.

— Экая лихая болесь, прости Господи, знатная барыня! Знатно же она вас поддела! Семьсот рублей: шутка!

— Оно обошлось дешевле, — сказал Иван Савич, — вот Маша отдала назад сорок пять рублей — стало быть, в шестьсот пятьдесят пять рублей. Ну, не хочет так как хочет!

Иван Савич явился в собрание своих друзей с торжественным лицом. Его походка, все движения были величавы. Он тихо вошел, молча отвечал на их привет-
40 ствия и молча сел за свой прибор, ожидая вопросов.

— Что это у тебя такая физиономия сегодня? — спросил офицер.

— Да, в самом деле: ты как будто награду получил, — заметил чиновник. — И в белых перчатках!

— Нет, так, ничего! — небрежно отвечал Иван Савич. — Сейчас был с визитом.

— У кого это, позволь спросить?

— Помните, я вам говорил, — начал Иван Савич, сморщив лоб, — о той знатной даме... что живет у нас во втором этаже?..

— Неужли у нее? — спросил Вася.

Иван Савич молча кивнул головой.

— Каков! а! Ах, черт его возьми! и туда забрался! тьфу!

Он плюнул.

— В самом деле, ты не врешь? — спросил офицер.

— Послушай! — сказал Вася, подсев к нему, — уж если ты меня тут не познакомишь, мы, брат, после этого больше не друзья!

— Нельзя ли местечка через нее выхлопотать? Вот бы вспрыски-то были!

— Ах ты, жуир, — начал другой, — а! мало тебе! Ты и знати спуску не даешь: баронесса! каково!

— Поздравим, поздравим! — закричал офицер. — Чего спросить, креман или клико? Надо, братец, вспрыснуть, 20
воля твоя: баронесса!

— Тс! господа, господа! — заговорил серьезно, с испугом Иван Савич, — если вы станете кричать, я сейчас уйду. Ведь это не какая-нибудь Анна Павловна. Кругом нас множество народу, а вы кричите. Может быть, тут кто-нибудь из знатных есть; а у ней что ни вечер, то князь, то граф! услышат — и мне и вам достанется! Я вам по-дружески сказал, а вы и пошли... Надо, господа, знать тон, приличия, как с кем обращаться!

Все струсил и начали говорить шепотом.

— Ну а Маша что? Изменил, злодей! — сказал Вася.

— Фи! Неужли ты думаешь, что я к Маше питал что-нибудь такое?.. Да и что вы рано принялись поздравлять: ничего нет, а может быть, и не будет. Мне и подумать-то страшно об этом. Это так, лестное знакомство: я там, может быть, сойду с хорошими людьми: выиграю по службе, а не то чтобы... А вы уж сейчас и на-поди!..

— Да, да, толкуй! знаем мы тебя! — сказал офицер. — Нет уж, брат, если ты куда забрался, так будет твое. 40
Ловок, злодей: да как это ты?..

— Как же... ловок... — говорил Иван Савич с улыбкой. — Куда мне!.. Эй! человек! четыре бутылки клико сюда!

Иван Савич продолжал являться к баронессе церемонно, во фраке, отодвигался почтительно, когда она слишком близко садилась или подходила к нему, вскакивал с места, когда она вставала, и едва осмеливался дотронуться до ее руки, когда она ему ее подавала.

Он кое-как успокоил и Машу, сказав ей, что она в этом знакомстве не должна опасаться ничего, что он ходит к баронессе затем, чтоб только посидеть, поговорить, провести вечер. Маша покачала головой и не сказала ни слова, только вздохнула. Он отдал ей назад ¹⁰ пятьдесят рублей и прибавил еще столько же.

— Вот лошадь-то опять обошлась не в семьсот, а в восемьсот рублей! — заметил Авдей.

Лошадь кое-как сбыли за двести рублей извозчику.

Уж с месяц посещал Иван Савич баронессу, но не позволял себе ни малейшего намека на любовь, или, как он говорил, на *что-нибудь такое*. А между тем она ему очень нравилась. Он у ней иногда сиживал по целому дню, обедал, даже ужинал. Сервировали прекрасно, стол ²⁰ был отличный, вино чудесное. Иногда там бывала сестра баронессы, такая же хорошенькая, как она сама, и две-три приятельницы, еще лучше ее... По вечерам бывали мужчины, принадлежащие к порядочному кругу. Приезжали они очень поздно, сидели долго. Иван Савич редко видел их, потому что он в это время уходил, когда они являлись.

Однажды он сидел у баронессы один.

— Послушайте, — сказала она тем же небрежным тоном, каким говорила в первом свидании, — дайте мне ³⁰ две тысячи рублей, я вам возвращу дня через три.

Иван Савич смутился. Ему совестно было признаться, что у него нет дома такой суммы.

— Я получу пять тысяч не прежде, как недели через три, — сказал он, — а теперь... у меня... нет... дома.

— Верно, вы можете у кого-нибудь занять... — продолжала баронесса, — мне надо завтра утром эту сумму. Если б можно было ждать до вечера, я взяла бы у графа Судкова. Но, зная вашу любезность, я обращаюсь к вам.

— Конечно-с, — сказал Иван Савич, — я постараюсь ⁴⁰ завтра утром... даже теперь... но оставить вас...

— Подите... подите... я вас не держу. Если достанете сегодня, будем вместе ужинать.

Иван Савич занял у приятеля на честное слово и привез. Его поблагодарили продолжительным нежным

пожатием руки и влажным взглядом... Между тем срок платежа пришел и прошел, но денег не отдавали. Иван Савич стал беспокоиться, но напомнить не смел. Ему прислали деньги от родных, и он заплатил долг.

Один раз он хотел было напомнить, и, только заикнулся, ему зажали рот хорошенькой ручкой. Он нежно поцеловал ее и затрепетал от радости.

Раз вечером он был в театре. По возвращении домой Авдей сказал ему, что Маша два раза приходила с запиской от баронессы. Явилась сама Маша. Она подала маленькую записочку и стала у дверей. Баронесса звала его ужинать, говоря, что у нее собрались граф Лужин, князь Поскокин, еще секретарь иностранного посольства, ее сестра и две приятельницы.

— Авдей! бриться! мыться! одеваться! скорей приготовь фрак да синий бархатный жилет с золотыми узорами! — закричал Иван Савич.

— Вы пойдете? — робко спросила Маша.

— Разумеется, а что?

— Не ходите, — сказала она печально.

— Это что за новости? Отчего так?

— Мне что-то сердце недоброе вещает. Вы там что-нибудь... вы оставите меня.

— Какие пустяки! Авдей, одеваться!

— Я без вас жить не могу... — сказала встревоженная Маша, взяв его за руку, — не ходите!

— А я без тебя могу! — сердито закричал Иван Савич, отдернув свою руку. — Вот еще!

— Я вас так люблю... — сказала она робко, почти шепотом.

— Это очень глупо — любить! — говорил Иван Савич, намазывая голову помадой.

— Что ж мне делать, я не виновата!

— И я не виноват, что не люблю тебя.

— Что вы обижаете девчонку-то? — сказал Авдей, — ведь и она человек: любит тоже.

— Любит! — сказал еще сердитее Иван Савич, завязывая платком бакенбарды. — Всякая тварь туда же лезет любить! Как она смеет любить? Вот я барыне скажу. Зачем она любит?

— Не могу знать! — отвечал Авдей.

Иван Савич оделся и ушел. Маша села на кресла и долго смотрела кругом, потом горько заплакала.

Авдей вынул зелененькую четырехугольную бутылочку в плетенке, подошел к свечке, налил рюмку и поглядел на свет.

— Эти господа думают, что у них у одних только есть сердце, — сказал он, отпивая из рюмки, — по той причине, что они пьют ликёру! А что в ней? дрянь, ей-богу, дрянь! и горько и сладко; тем только и хорошо, что скоро разбирает! Не хочешь ли маленько испить? авось пройдет!

Маша потрясла головой.

10 — Напрасно! — сказал Авдей, выпив всю рюмку и подошедши к ней. — Полно тебе, глупенькая: есть о чем плакать! разве не видишь, какой он пустоголовый? Вишь ведь как разбросал всё тут! Плюнула бы на него, право! Эй! перестань, говорю.

Он жесткой рукой отер ей слезы и погладил по голове.

— Ну Бог с ним! — сказала уныло Маша и задумчиво побрела домой.

Маленькая столовая баронессы была ярко освещена огромным канделябром. Там был буфет красного дерева, горка с фарфором и хрусталем, раздвижной стол и больше 20 ничего. Когда Иван Савич подходил к дверям, из столовой слышались пение, крик, смех; говорило несколько голосов. Вдруг человек поспешно пронес мимо его бутылки. «Эге! да здесь никак кутят! — подумал Иван Савич, — а говорят, знатные не кутят!» Он отворил двери и остановился. За столом, прямо против дверей, сидела сама баронесса. Она была удивительно хороша. Глаза блистали огнем, какого он не замечал прежде, румянец пылал ярче, на губах блуждала улыбка и, казалось, 30 обещала долго блуждать. Шея и плечи были обнажены, грудь сильно поднималась и опускалась. Лицо, костюм, движения, громкий, одушевленный разговор — всё показывало, что она была достойною председательницею пира. Подле баронессы был пустой стул. Далее сидела ее сестра. Подле нее, облокотясь рукой на спинку ее стула, почти лежал граф Лужин с бокалом в руке. Он ей говорил что-то тихонько. Она хохотала... Напротив их, отворотясь к столу боком, сидел князь Поскокин, высокий мужчина с черными бакенбардами. По левую ее сторону секретарь 40 посольства что-то живо бормотал другой приятельнице баронессы, интересно бледной и задумчивой женщине.

— А! — сказала баронесса, увидев Ивана Савича. — Где вы пропадаете? мы не хотели садиться без вас за стол; да вот князь уверил, что вы уж не будете...

— Виноват! — примолвил князь. — Я знал, что мы просидим долго и что вы во всяком случае подоспеете.

— Помилуйте, ваше сиятельство, ничего! — отвечал Иван Савич, раскланиваясь почтительно на все стороны.

— Садитесь скорее, полноте раскланиваться! — нетерпеливо закричала баронесса. — Я вам берегла место подле себя. Целуйте же ручку! да будьте живее. Ах, Боже мой! вы ни на что не похожи. Будьте как дома, без церемонии.

— Я и так... — сказал Иван Савич и, не кончив фразы, сел на стул.

— Messieurs, — сказала баронесса гостям, — рекомендую вам monsieur Поджабрина, отличного молодого человека.

— Очень рад! — сказал князь, не поворачивая головы.

Граф молча кивнул ему и шепнул что-то на ухо своей соседке. Та захохотала, а Иван Савич покраснел. Дипломат, открыв немного рот, смотрел с любопытством, как Иван Савич кланялся, говорил и как сел.

— Где же ваше вино? Monsieur... monsieur... — сказал граф.

— Меня зовут Иван Савич. Про какое вино, ваше сиятельство, изволите спрашивать?

— Нет, не нужно! — перебила баронесса. — Эти господа, — сказала она Ивану Савичу, — сделали мне своим посещением приятный сюрприз, и всякий привез свое вино. Они думали, что и вы знаете...

— Позвольте-с... я сейчас... — сказал Иван Савич и с салфеткой побежал в переднюю, чтобы послать за вином.

— Ваше здоровье, милая Амалия! — закричал через стол князь и выпил бокал.

— Merci, — отвечала соседка графа. — И я пью ваше.

И выпила свой бокал одним духом.

— Ради Бога, не пейте за мое: я и так не знаю, что со своим здоровьем делать! — сказал князь. — Ничто не помогает убавить этой массы. — Он указал на свое тучное тело. — Да, я предвижу, — продолжал князь, — что мое здоровье убьет меня.

— Побольше вот этих подвигов, — сказал граф, указывая на бутылку, — и ты убьешь его.

— Le comte vient de dire quelque chose de drôle? n'est-ce pas?¹ — сказал дипломат своей соседке.

¹ — Граф сказал сейчас что-то смешное? не правда ли? (*фр.*)

— И! для меня это ни больше ни меньше как гимнастическое упражнение, как моцион, — отвечал князь, — я знаю, что нынешний вечер прибавит мне два года жизни.

— Счастливец! а я как выпью лишний бокал, на другой день голова трещит, — заметил граф, — никак не могу пить.

И выпил. И все выпили.

— Еще вина! — сказал князь человеку, отдавая бутылку.

10 — А вы что ж не пьете? *monsieur... monsieur...* — говорил князь, обращаясь к Ивану Савичу.

— *Monsieur* Поджабрин, — подсказала баронесса.

— Как? — спросил князь.

— Поджабрин.

Князь взглянул на графа, тот в ответ чуть-чуть пожал плечами.

— Меня зовут Иван Савич! — отвечал Поджабрин.

— Да! Иван Савич, в самом деле, что ж вы не пьете? у вас всё тот же бокал! — заметил резко граф, — если
20 это так продолжится, вы — *mille pardons!* — будете здесь лишний.

Иван Савич смутился, не успел проглотить куска дичи, залпом выпил бокал и закашлялся.

— Я, ваше сиятельство, не прочь! — сказал он, — я буду пить-с, я тоже люблю жуировать. Жизнь коротка, сказал один философ.

— *Qu'est-ce qu'il dit?*² — спросил дипломат у соседки.

— Стыдитесь, *monsieur... monsieur...* — начал князь.

— Иван Савич, — подсказал Поджабрин.

30 — Стыдитесь, Иван Савич! дамы выпили по пяти бокалов, а вы еще один.

— Он догонит! — закричала баронесса. — Извольте, милый сосед, пить сряду пять бокалов. Я буду вашей Гебой.

Она схватила бутылку и стала лить...

— *Monsieur* Шене! — сказала баронесса через минуту, — вы обещали нам спеть куплеты Беранже. Прошу не забывать.

40 — *Mais il n'y a pas de piano ici,*³ — отвечал дипломат.

¹ тысячу извинений (*фр.*)

² — Что он говорит? (*фр.*)

³ — Но здесь нет фортепьяно (*фр.*)

— Оно в соседней комнате: мы велим отворить двери и придвинуть его поближе сюда.

Отворили двери и придвинули фортепиано. Француз запел...

Князь повторил refrain.¹

— Bravo, bravo, Шене! — закричал он. — Что за дьявол этот Беранже! пожил и других учит жить: да чего больше? пить, любить, обманывать друг друга: тут вся история и философия рода человеческого.

— Как ты глуп сегодня, князь, со своим Беранже, — заметил адъютант. — Посмотри, соседка твоя дремлет...

— Если она заснет, — заметил граф, — ты, князь, отвечаешь за нее: откуда хочешь возьми женщину, а то кадриль не полна — хоть сам надевай юбку.

— C'est joli,² — сказал дипломат, — ah! se comte!³

— Славная идея! нарядить князя дамой! — решила баронесса.

— Право, так! — закричал граф.

— Весело! ей-богу, весело! — громко сказал опьяневший Иван Савич. — Вот кутят так кутят!

— Que veut dire⁴ кутят? — спросил дипломат.

— Что? — спросил граф.

Иван Савич струсил.

— Весело, ваше сиятельство, говорю я, — отвечал он.

— Его бы тоже не мешало нарядить дамой, — сказал князь, указывая на пустой стул, но желая указать на Ивана Савича. — Он будет похож на твою тетушку, граф, на Настасью Федоровну. Согласны, monsieur... monsieur... monsieur...

— Иван Савич! — подсказал он. — Очень хорошо, ваше сиятельство, почему не согласиться. Кутить так кутить!

Принесли ночные чепцы, кофты, скинули фраки, жилеты и нарядились.

— Bravo, bravo! — кричали все, хлопая в ладоши.

— Если бы бакенбарды долой, — сказал граф, — ты, князь, был бы совершенной женщиной, только не княгиней, а пуассардкой. А вы, Иван... Иван...

— Иван Савич, — договорил Поджабрин.

¹ припев (фр.)

² — Это мило (фр.)

³ ah! этот граф! (фр.)

⁴ — Что значит (фр.)

— Иван Савич, вы... ах, знаешь, князь, он точно очень похож на мою тетушку! ха! ха! ха! право, она!

И оба с князем, указывая на Ивана Савича, хохотали и кричали: она! она!

— Да, в самом деле! — сказал князь, — ну, ты, граф, не будешь теперь так повесничать перед ее подобием.

— Жизнь коротка! надо жуировать! — неистово закричал Иван Савич в кофте и в юбке.

Никто ничего не понимал, и постороннему нельзя бы
10 было разобрать ничего. Все хохотали, глядя друг на друга.

.....

На другой день было прекрасное осеннее утро. Иван Савич проснулся, хотел открыть глаза и не мог. Голова была налита как будто свинцом. Наконец мало-помалу он поднял веки... Пробыло двенадцать часов. Иван Савич тихонько встал, подошел к зеркалу — и отскочил: на нем кофта, ночной чепец...

20 — Ого! как кутнули! — сказал он. — С нашими так никогда не удавалось; этакой рожи у меня еще не бывало!!

Он покачал головой.

— Что скажут наши? Лучше не говорить им...

Он провел рукой по волосам, надел свой фрак и пошел...

Идучи по лестнице, он встретил какую-то женщину под вуалью. Она с девкой шла вверх. Девка сказала барыне какое-то замечание на его счет...

— Кто это? — спросила барыня.

30 — А жилец, что под нами живет, — отвечала девка. — На них и праздника нет. У баронессы, слышь, целую ночь такой пир был...

— Под праздник-то!

В это время дверь захлопнулась.

— Авдей! — сказал Иван Савич, — дай мне рюмку ликеру да разбуди меня к обеду.

— Ликёры нет, вся вышла! — отвечал Авдей.

— Как вышел! еще третьего дня там оставалось.

— Вы выкушали последнюю рюмку.

40 — Когда?

— В последний раз.

— Смотри: уж не ты ли, друг?

— Стану я этакую дрянь пить! — сказал Авдей и плюнул. — Я еще отроду никакого вина не пивал.

— Кто это над нами живет? — спросил Иван Савич.

— Не могу знать!

— Узнай!

Иван Савич долго не являлся к баронессе. Наконец через неделю он отправился к ней. Там он застал ее сестру и Жозефину.

— А! сосед! — сказала баронесса, — что это вас так давно не видать? Я хотела посылать за вами...

— Я, баронесса, теперь в нужде, — перебил ее Иван Савич, — и пришел просить вас: не возвратите ли вы мне 10 мои деньги?..

— Деньги?..

Она с изумлением посмотрела на него.

— Да, две тысячи рублей, что вы у меня заняли.

— Я заняла! Опомнитесь! неужели вы еще не протрезвились? Напротив, я хотела спросить вас, скоро ли вы мне отдадите семьсот рублей за лошадь?

Иван Савич остолбенел.

— За лошадь? — повторил он.

— Да, за лошадь.

— Я не шучу, баронесса! — сказал он.

— И я нет, — отвечала она.

Он посмотрел на нее серьезно, она на него тоже. Он пошел вон. Сзади его раздался дружный предательский хохот трех красавиц.

— Неблагодарный! каков! — слышалось вслед за тем.

Иван Савич хлопнул дверью и пошел к себе.

— Не поискать ли нам другой квартиры, Авдей? — спросил он.

Авдей перепугался.

— Помилуйте, сударь! — воскликнул он, — еще полугода нет, как здесь живем. Где сыщешь такую квартиру? Удобство всякое: и сарай особый, и ледничек от хозяина дают, и соседи хорошие, а уж соседки — и говорить нечего...

— Да... нечего и говорить!.. — повторил, пожимаясь, Иван Савич.

Через несколько дней он опять на лестнице встретил ту же женщину под вуалью.

— Кто это там вверху живет? узнал ли ты? — спросил он Авдея.

— Барышня живет какая-то. Такая смиренная, словно никого нет: ни стукнет, ни брякнет.

— Так она барышня? Узнай хорошенько, кто она.

Авдей узнал и сказал, что барышня живет с девушкой и с кухаркой, тихо, скромно, что ее не слышать, что в гостях у ней бывают все женщины и т. п.

— Как бы побывать у нее?

— Не могу знать.

— Не могу знать! Это немудрено. А ты моги... Послушай-ка! не пахнет ли здесь как будто дымом?

— Нет-с! — сказал Авдей, поворачивая нос во все
10 стороны, — не пахнет.

— Ну как не пахнет? слышишь?

— Нет-с, не слышу — не пахнет.

— Наладил одно: не пахнет! Если я говорю пахнет, так, стало быть, пахнет.

— Не пахнет... — сказал Авдей, нюхнув еще.

— Да именно пахнет: это, должно быть, сверху прошло! Узнай-ка поди. Долго ли до пожара? Да нет, стой! я сам узнаю.

Он отправился вверх.

20 — Ну, пошел! — ворчал Авдей, — уродится же этакой!..

И махнул рукой.

Иван Савич вошел в переднюю верхней жилицы. Там никого не было. Налево был маленький коридор, который вел, по-видимому, в кухню. Иван Савич остановился. Оттуда раздавался довольно приятный голосок.

— Не надо мне петуха! — говорил голосок. — Зачем ты петуха купила? Я тебе велела курицу купить; а это, видишь, петух! всё по-своему делаешь!

— Да мужик-то знакомый, матушка, — отвечал другой
30 голос, — наш ярославский. Пристал: купи да купи; петушок, говорит, славный.

— Не хочу я петуха: петухи жестки!

— И нет, матушка, этот еще молоденький, словно цыпленочек.

Иван Савич решил проникнуть дальше. Появление его произвело значительный эффект.

— Ах! — закричала барышня, закутываясь одной рукой в большой желтый платок, а другой держа петуха. — Что вам угодно? кто вы таковы?

40 — Я-с... мое почтение... я живу здесь под вами...

— Что ж вы, милостивый государь, ходите по чужим квартирам? — начала она, пряча под платок руку с петухом. — Вы думаете, что я беззащитная девушка, без покровителя, что меня можно всякому обидеть? Извини-

те, вы ошибаетесь! Позвольте вам сказать: у меня есть кому вступиться, и я не позволю... За кого вы меня принимаете? с какими намерениями?

Иван Савич перепугался. Он забыл, зачем пришел.

— Извините-с... — начал он, — я... только пришел спросить... вот извольте видеть... мне... того-с...

— Что того-с? На, Устинья, курицу... Что ж ты не возьмешь?

— Ведь это петушок-с? — робко спросил Иван Савич.

— А вам что за дело? вы почему знаете?

— Я слышал от человека, что ваша кухарка ошибкой купила петушка... не угодно ли поменяться на курочку?

— Какая дерзость! — воскликнула барышня, пожимая плечами, — Боже мой! до чего я дожила за мои грехи! За что Ты меня так караешь? Как вы осмеливаетесь говорить мне такие речи? Вы пришли обижать меня? Что ж это такое...

Она начала плакать.

— Позвольте, сударыня, — сказала кухарка, — они за делом пришли: может, у них в самом деле куплена курица, — вот бы и поменялись! А почем изволили платить?

— Нет-с... позвольте... я объясню вам настоящую причину, — сказал Иван Савич. — Я пришел спросить... У меня, извольте видеть, вдруг запахло дымом... Так столбом и ходит по комнатам. Я думал, не от вас ли...

Барышня и кухарка подняли носы кверху и стали нюхать во все стороны. С ними для компании нюхал и Иван Савич.

— В самом деле пахнет! — сказала встревоженная барышня, — уж не пожар ли? поди-ка сбегай к верхним жильцам.

— Ах, мои матушки! так глаза и ест! Чего доброго: долго ли до греха? — сказала Устинья и побежала.

— Постой, постой! Что ж ты нас оставляешь одних? — закричала барышня в испуге. — Что скажут? Ах, Боже мой! Уйдите!..

— И, матушка! ничего! барин хороший, — сказала Устинья и ушла.

— Помилуйте... — начал Иван Савич.

Он не знал, что сказать, и стал застегивать сюртук; а она перебирала бахрому своего платка.

— Давно здесь изволите жить? — спросил он потом.

— Давно. Я еще с покойным папенькой жила здесь. Слава Богу! про нас никто не может недоброго слова сказать. Вот сегодня в первый раз незнакомый мужчина пришел без позволения...

— Если б я знал, каким образом достигнуть этого драгоценного позволения, — начал Иван Савич, смиренно опустив глаза в землю, — я бы ничего не пощадил...

— Я никого почти у себя не принимаю, — сухо сказала она, — кроме сестры с мужем, крестного и его племян-
10 ников...

— О, я уверен!.. Я пришел единственно насчет дыму... Но, признаюсь, поговоривши с вами несколько минут... невольно хочешь видеть вас чаще...

— У вас и без меня есть знакомство... я видела однажды, как вы вышли от баронессы, — сказала она колко и с достоинством.

— Баронесса! О! — с жаром начал Иван Савич, — я давно с ней не знаком. Если б вы знали, как я был обманут наружным блеском...

20 Он стал ей рассказывать, что с ним случилось. Она презрительно качала головой. Когда он хотел описывать пир, она замахала рукой.

— Ради Бога, перестаньте! перестаньте! — закричала она, обидевшись, — что вы? Помните, с кем говорите! За кого вы меня принимаете? Я вас не понимаю...

Иван Савич замолчал.

— Так две тысячи рублей и пропали? — спросила она потом с любопытством.

— Пропали-с.

30 — И еще семьсот рублей?

— Да-с... нет-с, пятьсот рублей только: ведь я лошадь продал за двести рублей.

— Какая жалость! Какая мерзавка! — сказала она, — как терпят таких тварей? И вот необходимость принуждает и честную девушку жить под одной кровлей с такой бесстыдницей!

Она концом платка отерла глаза.

— Так вы больше с ней не знакомы?

— Нет-с. Да если б и был еще знаком, то довольно
40 услышать от вас одно слово, чтоб прекратить...

— Благодарю вас за комплименты, — перебила барышня сухо, — только я их никогда не слушаю. Стало быть, у вас большое жалованье, — спросила она, помолчав, — что вы можете по две тысячи рублей бросать?

- Жалованье? У меня нет жалованья-с.
- Как нет?
- Так-с. Мне не дают.
- Не дают! Как же смеют не давать?
- Так-с. Я не получаю.
- Стало быть, сами не хотите?
- Нет-с, я бы, пожалуй... да не положено...
- Для чего же вы служите?
- Из чести-с.
- Чем же вы живете?
- Своим доходом, — сказал он.
- А! у вас есть свои доходы! — примолвила она. —

10

Как это приятно!

Тут Устинья пришла сверху и сказала, что дыму нигде не оказалось.

Иван Савич стал раскланиваться.

— Извините, что потревожил вас... — сказал он. — Если б я имел надежду на позволение видеть иногда вас... я бы почел себя счастливым...

— Это позволение зависит от моего крестного папеньки, — сказала она, — если им угодно будет позволить 20 принимать вас по четвергам, когда у меня собираются родные, тогда они дадут вам знать; а без того я не могу... И притом вы должны обещать, что никогда, ни словом, ни нескромным взглядом, не нарушите приличий... Обо мне, слава Богу, никто не может дурного слова сказать...

— О, клянусь! — сказал Иван Савич и ушел.

— Авдей! ведь верхняя-то жилица недурна, — сказал он, воротясь к себе, — только немного толстовата или не то что толстовата, а у ней, должно быть, кость широка! 30 Не первой молодости. Как ты думаешь?

— Не могу знать!

— А какая неприступная! просто медведь.

Прошла неделя. От крестного папеньки не приходило никакого известия. Ивана Савича так и подмывало увидеться с жилицей. Но как?

— Как бы это сделать, Авдей? — спросил он.

— Не могу знать... Да позвольте, сударь, — сказал он, желая угодить барину, — никак дымом пахнет... — И 40 нюхнул.

— Э! стара штука! ты выдумай что-нибудь поновее. А! я выдумал. Постой-ка, я пойду, — сказал Иван Савич и отправился вверх.

Он тихонько отворил дверь.

— Кто там? — слышалось из комнаты.

Он молчал.

— Кто там? — раздалось громче.

— Это я-с, — сказал он тихо.

— Да кто я-с? разносчик, что ли? Ах! не нищий ли уж?

В зале слышалось движение, и барышня выбежала в переднюю.

— Ах, это опять вы? — сказала она.

10 — Я самый-с.

Она была уже не в утреннем капоте и не в папильотках, как в первый раз, а в черном шелковом платье, со взбитыми локонами. В одной руке держала не петуха, а маленькую собачку, в другой — книжку. Собачонка так и заливалась-лаяла на Ивана Савича.

— Что вам угодно? — сказала она. — Помилуйте! Молчи, Жужу! Как вы со мной поступаете? За кого вы принимаете меня? Молчи же: ты выговорить слова не дашь! Этого еще не бывало, чтобы чужой мужчина осмелился... в другой раз... а? На что это похоже? С этой собачонкой из терпенья выйдешь. Средства нет никакого!

Она пустила ее в комнату.

— Я только пришел спросить... — начал Иван Савич.

— Что спросить? Помилуйте! со мной никто так не поступал...

— Я только хотел узнать, не колете ли вы здесь дрова...

— Я колю дрова! а! какво это? Вы хотите обижать меня, бедную девушку: думаете, что меня некому защитить. Я крестному папеньке скажу. Он коллежский советник: он защитит меня! Я колю дрова!..

— То есть не колют ли у вас? — перебил Иван Савич, — у меня раздается так, что стены трясутся; того и гляди, штукатурка отвалится... задавит...

— Мне дрова рубит дворник в сарае, — отвечала она. — Я плачу ему два рубля в месяц — вот что. А это, верно, у соседей...

— Ах, так виноват! — сказал Иван Савич, раскланиваясь, и остановился. — Позвольте спросить, что это за книжечка? — спросил он нежно.

— Это «Поучительные размышления»... Мне папенька крестный на прошлой неделе в именины подарил.

— А какой святой праздновали на прошедшей неделе, позвольте спросить?

— Прасковьи, двадцать восьмого октября. Меня ведь зовут Прасковьей Михайловной.

— Вот вы нравоучительные книги изволите читать, Прасковья Михайловна, а я так всё философические...

— Уж хороши эти философические книги! я знаю! Мне крестный сказывал, что философы в Бога не веруют. Вот пусти вас к себе: вон вы что читаете!

И она отступила.

Иван Савич сделал шаг вперед. Она отступила еще. Он за нею — и очутился в комнате.

10

— Наконец я у вас... — сказал он торжественно, — ужели это правда?.. я как будто во сне...

— Ах! — сказала она, — вы уж и вошли! Каковы мужчины! Вы, вероятно, думаете, что я рада, что хотела этого? Не воображайте!

— Помилуйте... осмелюсь ли я? Я только умоляю: не лишите меня счастья...

— Как это можно! Ах, Господи! — начала она, садясь на диван. — Что скажут? про меня никто никогда не слыхал дурного слова, а тут этакой срам: чужой мужчина в другой раз...

20

— Скажут-с... что я приходил узнать насчет дров: ведь всякий дорожит своим спокойствием... согласитесь сами, Прасковья Михайловна... — убедительно прибавил Иван Савич и сел.

— Оно, конечно... — начала она, — позвольте узнать, как вас по имени и отчеству? Ах! да уж вы и сели?

— Меня зовут Иван Савич, — сказал он.

— Оно, конечно... Иван Савич. Но посудите сами: ведь я девушка, мне двадцать второй год, я дочь честных родителей, живу одна, и обо мне никто дурного слова не слыхал. Что могут подумать?..

30

— Так-с, так-с! Боже меня сохрани спорить... но я человек смиренный, живу тоже один... Почему ж мне, как соседу, не позволить иногда прийти время разделить. Особенно же теперь наступает зима... вечера длинные...

— Неужели вы думаете, — сказала она, — что я позволю вам сидеть у себя по вечерам одним? Вы ошибаетесь!.. За кого вы меня принимаете? Другое дело по четвергам, если крестный позволит.

40

— Что же вам по вечерам делать одним? Всё читать да читать — надоест. Разве вы бываете в театре?

— Очень редко: на масленице крестный берет ложу, если пьеса, знаете, такая, где нет ничего... Ведь нынче

женщине и в театр, не *знавши*, нельзя пойти... Бог знает что представляют...

— Да-с, — перебил Иван Савич, — это правда: вот я был в тот вечер, как мы кутили у баронессы...

— Ах! вы мне опять про этот гадкий вечер, опять про баронессу: я и знать и слышать не хочу... увольте...

— Виноват-с: я хотел сказать, какую ужасную пьесу давали: поверите ли? я едва высидел.

— Вы не высидели! — сказала Прасковья Михайлов-
10 на, — можно вам поверить!

— Уверяю вас! Вы не знаете меня. Я краснею от всякого нескромного слова... Так в этой пьесе, говорю, один объясняется в любви...

— Ах, Боже мой! — закричала Прасковья Михайловна, вскочив с дивана, — что вы, что вы? Опомнитесь! кому вы говорите?.. Что это за ужась такая! Вот пусти вас... все мужчины одинаковы. Вы думаете, что я живу одна, так меня можно обижать?..

«У! какая добродетель! — подумал Иван Савич, — вот
20 бы счастье понравиться этакой!..»

— Помилуйте! — сказал он, — я? обижать? О, вы меня не знаете: обидеть женщину не только делом, даже нескромным словом так низко, так гнусно... что я слова не найду: вот мои правила! Поверьте, мне всегда возмущает душу, когда я слышу, что какой-нибудь развратный человек...

— Ах, Боже мой, что вы? опять! — закричала Прасковья Михайловна, зажимая уши, так, однако, что оставила маленькую лазейку.

30 — Я хочу сказать, — торопливо прибавил Иван Савич, — когда развратный человек воспользуется слабостью неопытной девушки! Вот мои правила!

— Замолчите! замолчите! о чем вы мне говорите? я и слышать не хочу о ваших правилах. Вспомните, что я девушка: я не должна понимать и не понимаю ваших слов.

— Но согласитесь, Прасковья Михайловна, — начал Иван Савич тоном убеждения, — что если девушка не хочет слышать, какого рода опасность угрожает ее добродетели, то ведь она легко может...
40

— Ах, какой ужас вы говорите! Девушка не может подвергнуться опасности, когда не хочет даже слышать о ней... а не то чтобы...

— Что-с: не то чтобы?..

— Ну, то есть... ах, да вот и крестный! Здравствуйте, крестный!

В комнату вошел дородный человек лет пятидесяти, седой, с анненским крестом на шее.

— А, да у тебя гости? — сказал он и боком поклонился Ивану Савичу, поглядывая на него исподлобья.

— Это сосед, что подо мной живет, — отвечала Прасковья Михайловна.

— Ась?

— Сосед, Иван Савич, пришел узнать, не колют ли ¹⁰ здесь дрова: он желает познакомиться со мной. Я без вас не смела, крестный. Кажется, хороший человек! — шепнула она.

— Где изволите служить? — спросил крестный.

Иван Савич сначала замялся, наконец пробормотал название своего департамента.

— А! — сказал чиновник, — у вас начальник отличный человек! умная голова! и барин, настоящий барин! Вот бы послужить при этаким! Да позвольте-ка: никак вчера... нет, третьего дня... или вчера?.. что это я забыл! ²⁰ Да, точно вчера: от вас получено к нам отношение. Кто это писал его у вас? Ну, пройдоха, нечего сказать: этаким крючок загнул! Вот, изволите видеть: по нашему ведомству один чиновник попал под суд. Он прежде служил у вас и там был под следствием. В аттестате-то глухо насчет этого сказано. Вот мы и обратились к вам с просьбою о доставлении ближайших сведений по сему делу. Ну и получили же от вас бумагу! Ах ты, Господи! есть же ведь люди — как пишут! Написан лист кругом, а точнейших сведений нет никаких. Я нарочно списал себе эту бумагу... ³⁰ фу-ты, как славно написана! Дай-ка, Параша, водочки. Не прикажете ли?

— Нет-с, покорно благодарю.

— Ась?

— Покорно благодарю. Я не пью, — сказал Иван Савич.

— А кто у вас начальник отделения? — спросил чиновник.

— Стуколкин, — отвечал Иван Савич.

— Матвей Лукич! — с удивлением подхватил крестный, — ба-ба-ба! Да неужели уж он начальник отделения? ⁴⁰ Давно ли? Скажите, ради Бога! как судьба-то иной раз... Ну что это такое! Вообрази, Параша: Матвей Лукич, два года тому назад, был у нас столоначальником, и еще не

из самых бойких, а так себе! а теперь, а? Да, душенька, я забыл сказать... Петр Прокофьевич звал нас с тобой завтра на вечеринку. Там потанцуют; а у нас добрый вистик составлен: три начальника отделений, только я один чиновник особых поручений попался! А в четверг они у нас.

— Ах, крестный, как это весело, как весело! — заговорила, припрыгивая, с детскою радостью Прасковья Михайловна, что было ей немного не под лета. Но ей хотелось пококетничать перед Иваном Савичем.

10 — Вот и вы, милостивый государь, пожаловали бы к нам в четверг, — сказал он, обращаясь к Ивану Савичу, — если вам не скучно будет.

— Помилуйте! скучно! можно ли?.. за счастье почту...

— Ась?

— Непременно, мол, воспользуюсь... — сказал Иван Савич, раскланиваясь и уходя.

— Авдей! кажется, я пожуюрю... — говорил он, возвратясь домой.

— Не могу знать! — отвечал Авдей.

20 — Только это, брат, совсем не то... тут будет что-то чистое, возвышенное, так сказать, любовь *лаконическая*...

— Э! ну вас тут, раздуло бы горой... — ворчал про себя Авдей.

— Как же ты с знатной барыней кончил? — спросил Вася, когда Иван Савич рассказал ему о новой соседке.

— Что, братец, знатные барыни! Это утомило меня. Вечно приличия, этикет, знаешь, всегда навтыжку... Графы да князья... большой свет... не хочу! Бог с ними! я люблю свободу... так и отстал.

30 — Напрасно! — сказал Вася, — ты бы мог познакомиться меня; там бы ты много выиграл... Эх, не умел: как же и выходят в люди?.. Э-э!

— Конечно! — сказал Иван Савич, — оно бы можно было: у ней иногда бывают из дипломатического корпуса. Вот в последний раз я ужинал вместе с секретарем посольства... что за здоровяк такой! вот жуир-то! звал в Париж.

В четверг, в восемь часов вечера, Иван Савич явился к соседке. Там всё имело вид торжественного собрания. 40 Стеариновые свечи, не зажигаемые по другим дням и скромно стоящие на столике у зеркала, разливали яркий свет по комнате. Чехлы с дивана и четырех кресел были сняты. В гостиной, на столике, горела крашенная жестяная лампа и стояли две тарелки с вареньем. Там был диван,

обитый зеленым полумериносом, и двое таких же кресел. Наружный вид их манил к спокойствию и неге. Казалось, как опустишься, так утонешь там и не встанешь. Кто быстро опускался на диван с этою мыслию, тот вскакивал еще быстрее, думая, что он сел на камень: так хорошо сделаны были пружины, которые торговцы Апраксина двора величают *аглицкими*. В гостиной могло поместиться счетом пять человек, ни больше ни меньше. Далее была еще комната... Потом ширмы, а из-за них выглядывал уголок белой как снег подушки: то было девственное 10 ложе Прасковьи Михайловны. Она смело могла бы надписать девизом:

К моей постели одинокой
Не крался в темноте ночной...

В зале крестный папенька Прасковьи Михайловны играл в одном углу в вист с мужем сестры хозяйки и еще двумя чиновниками, которые были с ним очень почтительны. В другом углу девушка разливала чай. Дамское общество было в гостиной. На диване сидела старшая сестра Прасковьи Михайловны, женщина высокого роста, прямая, как вежа, 20 потом хозяйка и еще две какие-то девицы. Около них любезничали два племянника крестного папеньки — один студент, другой юнкер. Дамы сидели, мужчины стояли, потому что негде было сесть. Играли в фанты.

— Вы, конечно, с нами останетесь, с молодыми людьми? — сказала Прасковья Михайловна Ивану Савичу с детскою резвостию, — что вам там делать со стариками? Не прикажете ли варенья? Молчи, Жужу! ах, скверная собачонка! Вы погладьте ее только один раз, а там уж она привыкнет к вам. Вот так. 30

— Ах! да она кусается! — сказал Иван Савич, отдернув руку.

— Нет-с, никогда.

— Помилуйте! вот, посмотрите, до крови.

— Ах ты дрянь! вот я тебе ужо розгу дам! — сказала Прасковья Михайловна. — Не угодно ли с нами в фанты? Вы будете, хоть... что бы? мы играем в *туалет* — все вещи разобраны... ну, будьте гребень.

— Да это я взяла! — пропищала одна маленькая девочка.

— Ты, та *chère*,¹ гребеночка, а они будут частый 40 гребень. Так вы частый гребень.

¹ моя дорогая (*фр.*)

— Очень хорошо-с, — сказал Иван Савич.

Принесли еще два стула, поставили у дверей и стали играть. При словах: *барыня спрашивает весь туалет*, все бросились менять места. Ивану Савичу не раз доставалось бросаться со всего размаху на диван с камнем внутри. Он быстро вскакивал, а другой или другая, зная хорошо это седалище, проворно, но осторожно садились на его место, а он оставался.

Иван Савич познакомился со всеми. Чиновникам он 10 рассказал про свой образ жизни, и те немало завидовали ему.

— Утром я встаю в десятом часу, — говорил он хвастливо, — иногда хожу в должность, иногда нет, как случится... потом-с часа в три иду гулять на Невский проспект. Там, знаете, весь beau monde¹ гуляет тогда, встречаешь множество знакомых, с тем слово, с другим два. Зайдешь к Беранже иностранные газеты прочитать: об испанских делах, о французском министерстве... Так время неприметно и пройдет до обеда.

20 — А позвольте спросить, кто теперь министром у французов? — спросил крестный.

«Министром? А черт его знает!» — подумал Иван Савич. — Теперь-с... — начал он и остановился.

— Ась? — спросил крестный.

— Теперь... министерство распушено, — вдруг сказал Иван Савич, как будто по вдохновению, — никого нет.

— Стало быть, товарищи управляют, — примолвил тот.

— Там ведь одно министерство, — сказал Иван Савич.

30 — Как, неужели? И один министр?

— Нет-с, много.

— Много! какая диковинка...

И пошли толки о том, как это должно быть неудобно.

— Потом, — продолжал Иван Савич, — иду обедать к Ляграну или к Дюме. Тут соберутся приятели, покутим, вечер в театре: так и жуируем жизнь...

— Вот живут-то! э! — сказал с завистью один чиновник, — пожил бы так! а то в восемь часов иди в должность да и корпи до пяти! Заживо умрешь.

40 — Что должность: сухая материя! — примолвил Иван Савич. — Жизнь коротка, сказал один философ: надо жуировать ею.

¹ высший свет (фр.)

Иван Савич признан был всем обществом за любезного, фешенебельного и вообще достойного молодого человека. Крестный особенно был ласков с ним.

Иван Савич благодарил его за дозволение бывать у его крестницы по четвергам.

— Сам я не надеялся получить это позволение, — начал Иван Савич, — Прасковья Михайловна так боязливы...

— Ась?

— Прасковья Михайловна так боязливы...

— Оно не то что боязлива, извольте видеть... — 10
отвечал крестный, — а того... получила от отца фундаментальное воспитание. Мать была, правда, баловница, — не тем будь помянута, — да умерла рано; а покойный-то отец, мой сослуживец, уж коллежский советник, — вот он был строг, не любил баловать. Он ее и приучил к аккуратности и воздержанию. Не будь его, смоталась бы, чисто смоталась бы девка. Да он, — царство ему небесное, — был с правилами человек и ей внушил. А то она...

— Что такое? — спросил Иван Савич.

..... 20
.....

После этого вечера Иван Савич решился прийти и не в четверг. Его встретили градом упреков и в то же время сняли со стула шаль и ридикюль, чтобы очистить ему место. Он повторял эти визиты в неделю раз, потом чаще и чаще. Прием всегда был одинаковый. Наконец однажды он решился приступить к объяснению. Был зимний вечер. Всё было тихо кругом. Кухарка спала у себя в кухне. Горничная ушла к соседям в гости. Сама Прасковья Михайловна сидела на диване и шила в пальцах. Иван 30
Савич сначала сидел напротив ее, потом у него в голове мелькнули какие-то соображения, и он сел рядом с ней на диване, так что ему был виден затылок и вся спина соседки. Он открыл, что косыночка не доходила вплоть до платья и часть плеча оставалась обнаженной. Он уж был откровенен с Прасковьей Михайловной, говорил ей о дружбе, о любви, — не к ней, а вообще. Она сначала зажимала уши, кричала, потом не зажимала ушей и не кричала, но зато ничего не отвечала, так что Ивана Савича брало зло. Он решился заговорить о любви к ней. 40
Для этого-то он и пересел рядом, чтобы, в случае неблагоприятного приема своих объяснений, избежать грозных взоров оскорбленной добродетели.

— Прасковья Михайловна! — сказал он.

— Чего изволите?

— Вы... бывали влюблены?

— Что вы это? опомнитесь: ведь я девушка.

— Так что же? разве девушки не влюбляются?

— Не должны! — сказала она строго, — пока ни за кого не помолвлены.

А сама так и сновала иглой, то вверх, то вниз.

— Да ведь любовь иногда не ждет помолвки.

10 — Об этом и думать не должно! — сказала она.

— Ну да неужели вам никто не нравился?

Молчание.

— Прасковья Михайловна!

— Чего изволите?

— Неужели вы не любили никогда?

Молчание.

«Экая дубина! — подумал Иван Савич, — хоть бы что-нибудь... хотя бы плюнула. Брякнуть ей о писаре разве? да нет, подожду, еще что будет».

20 — А я думал... — начал он, — я надеялся, что, может быть... я удостоюсь... что постоянная моя внимательность будет награждена...

— Что это сегодня как будто на вас нашло? — сказала она. — Бог знает что вы говорите! Не пора ли вам домой? десятый час.

— Зачем мне домой! что я там стану делать?

— Заниматься науками.

— Нет-с, я не уйду, пока не выскажу... всего... я... вы... мы... знаете, Прасковья Михайловна, любовь двух
30 душ есть такая симпатия... это, так сказать, жизненный бальзам. Почему бы? скажите, — о, скажите хоть одно слово!

Она молчала.

«Ну видано ли этакое дерево?» — думал он. — Вы камень, вы лед... почему бы вам не разделить с человеком счастья? почему не пожуировать? Жизнь коротка, сказал один философ...

— Ах, что вы? — вскричала она, закрыв лицо руками. — Боже мой! если б увидели...

40 — О, разделите это чувство, несравненная Прасковья Михайловна! — кричал Иван Савич, — которое бушует в моей груди... вы не знаете, как я страдаю... одна мысль быть подле вас, жить вечно с вами приводит меня... О! вы не понимаете...

— Не говорите, не говорите! — кричала она, зажимая уши. — Боже мой! что вы, что вы? Вечером, я одна... Что подумают?

— Но скажите одно слово, одно, дайте ответ! — говорил Иван Савич, — и я готов ждать хоть до утра...

— Я! ответ! чтоб я теперь дала ответ! Вы не шадите моей скромности! Боже мой! Теперь, вечером, с такими объяснениями... Ответ!.. Нет, нет, лучше подождите хоть до завтра. Или нет, в среду утром, в двенадцать часов, вы получите ответ...

10

Иван Савич пришел в восторг.

— Несравненная Прасковья Михайловна! — сказал он, — как благодарить вас?.. о! счастье! Вот что значит жуировать жизнь! Это истинное, высокое, так сказать, сладостное...

Он не вытерпел и поцеловал ее руку.

— Ах! — воскликнула Прасковья Михайловна, и иголка выпала из ее рук. — Что вы сделали? Вы, вы опозорили меня... Как! так рано, прежде моего ответа! Это ужасно! Приходите в среду, я вас жду, а теперь уйдите, уйдите!

20

Она убежала в спальню и заперлась.

«В среду так в среду, — подумал Иван Савич. — Да что ж она испугалась так? не всё ли равно, что сегодня, что через три дня...»

На третий день после того Авдей доложил Ивану Савичу, когда этот воротился из должности, что дворник зачем-то пришел.

— Что ты, любезный? — спросил Иван Савич, вышедши в переднюю.

Дворник глупо улыбался, кланялся, держа обеими 30 руками шапку, но ничего не говорил.

— Что тебе надо?

— Поздравить вашу милость пришел.

— С чем? — спросил с удивлением Иван Савич.

Дворник опять начал кланяться, улыбаться.

— Авдей! с чем это он меня поздравляет?

— Не могу знать! — отвечал Авдей.

— С добрым делом: с скорым вступлением в законный брак, батюшка!

— Что-о?

40

— В законный брак...

— Как? с кем? что ты? с ума, что ли, сошел?

— Никак нет, батюшка. Слышь, с верхней нашей жиличкой, Прасковьей Михайловной...

— Как!

Иван Савич остолбенел.

— Кто ж тебе сказывал? — спросил он.

— Соседка Прасковьи Михайловны давеча встретила меня. «Что, говорит, у вас скоро свадьба?» — да и рассказала... слышь, завтра помолвка будет... Еще приказчик от меховщика, что напротив нас, сказывал: вишь, сегодня сама Прасковья Михайловна была там. Они давно торговали у них мех, да всё не решались, а тут, слышь, сама сказала, что не завтра, так послезавтра возьмет: к свадьбе, говорит, надо, чтоб поспело; мясоеду немного остается. А давеча и сама кухарка говорила, что к завтраму кулебяку пекут: слышь, утром помолвка... Да что греха таить! приходил какой-то барин с крестом, спрашивал: и как вы живете и всё этакое...

Дворник поклонился и опять стал улыбаться.

— Чай, квартиру-то другую возьмете? — примолвил он. — У нас скоро очистится вон там; выгоняем жильца: в срок не платит; славно бы...

20 — Стой! стой! — закричал Иван Савич и, взяв дворника за плечи, оборотил спиной и вытолкнул вон.

Потом обратился к Авдею:

— А! что ты скажешь, Авдей?

— Не могу знать!

— Только и слышишь от тебя: не могу знать! Сделай милость, моги хоть раз: ну?

— Не могу... — начал Авдей.

Иван Савич и его, точно так же как дворника, вытолкнул вон. Он долго ходил по комнатам взад и вперед 30 и по временам к чему-то прислушивался.

— Да, да, точно, — ворчал он, — наверху скребут пол, чистят — так! дворник не соврал! Да и вон кухарка пронесла огромную чашку муки, множество яиц: кулебяка будет! Вон и сама Прасковья Михайловна; о коварная змея! с девкой идет. Девка несет кулек: оттуда торчит телячья нога, зелень. Сама несет узел с чем-то... провизии множество... Кому это всё съесть? Ясно, что пир будет. А! так вот она что затевает! Она ошиблась... она думала, что я сделал ей предложение... жениться! То-то она и отложила до послезавтра. Какова! о 40 змея, змея! на-ка поди, что выдумала!

Иван Савич терялся в этих мыслях и час от часу всё более тревожился.

— Что делать? как быть? как же объяснить ей? Ох, неловко: Господи, помоги!

Он бил себя кулаком по лбу, метался во все углы, как бы отворотить бурю. Он уже принял два содовых порошка — не помогло! выпил две рюмки мараскину — легче стало. Выпил еще рюмку — и вдруг лицо его прояснело.

— Авдей! Авдей! — закричал он, — поди, поди сюда... Знаешь что?

— Не могу знать!

— Фу-ты, Боже мой! да как ты не догадался, что надо делать? неужели не догадываешься?

— Не могу... — начал Авдей.

10

Иван Савич махнул рукой.

— Слушай! — сказал он. — Так отказаться неловко. Понимаешь? Пойти да объясниться, что я, дескать, не о женитьбе говорил, а так только... не годится. Спросят, что же я предлагал? как я скажу? Выйдет история... И тут она захныкала, что я опозорил ее: поцеловал руку. Великая важность! Так мы, знаешь что? неужели не догадался?

— Не могу знать!

— Мы съедем на другую квартиру.

20

Авдей встрепенулся.

— Помилуйте, — начал он, — Господи, Создатель! такую квартиру оставлять! удобство всякое: и сарай особый, и ледничек от хозяина дают. Воля ваша: пожалуйста мне расчет...

— А! тебе хочется, чтоб я в историю попал! лень постараться вывести из беды!

— Помилуйте...

— Нет тебе денег, пока не отыщешь квартиры.

— Да где ее найдешь?

30

— Где хочешь. Видишь, житья нет: притесняют. Ищи! завтра же утром чтоб нас не было здесь. И подальше, в другой конец, в Коломну.

— Да хоть денька три подождите.

— Денька три! чтоб нас насильно женили! Слышишь, мех покупают, кулебяку пекут, долбня ты этакая! Съедем, пока не куплен мех, а купят, тогда не отвяжемся... Да постой: мне Бурмин говорил, что у них в доме есть квартира; сходи сейчас же, и, если не занята, завтра же утром и переезжать.

40

— Знаю, сударь, я эту квартиру: ледника-то нет...

Иван Савич махнул рукой и пошел прочь.

Утром Авдей доложил, что та квартира не занята. Иван Савич опять велел ему переезжать, а сам уехал, сказавши,

что он будет к вечеру прямо на новую квартиру. На крыльце он столкнулся с крестным папенькой. Крестный был в белом галстуке, в белом жилете... Он остановил Ивана Савича.

— Крестница сообщила мне радостное известие о вашем предложении и просила моего посредства, — сказал он. — Сегодня она повестила родных: вас ожидают. Священник благословит. Я искренно рад: по собрании ближайших сведений о вас, они оказываются удовлетворительными, и я, не находя никакого с своей стороны препятствия, честь имею... поздравить... а она... будет послушной женой. Отец ей не оставил богатства, но дал, что называется, фундаментальное воспитание и внушил правила...

— Извините... — сказал Иван Савич.

— Ась?

— Извините... я спешу...

— Известное дело: случай такой. Много хлопот... Мое почтение.

20 Иван Савич бежал без оглядки.

Опять Авдей нагрузил три воза и нагрузился сам вещами своего барина и побрел с лестницы. Вверху думали, что Иван Савич затевает перемену мебели в своей квартире, по случаю предстоящей свадьбы, и были покойны. Но когда Авдей понес с лестницы часы, подсвечники и прочее, там стали подозревать что-то недоброе.

Крестный папенька Прасковьи Михайловны, сестра ее и все остальные гурьбой вышли на лестницу и окружили Авдея.

30 — Где же барин? — спрашивали они.

— Не могу знать! — отвечал Авдей.

— Скоро ли он воротится?

— Не могу знать!

— Будет ли к нам?

— Не могу знать!

— Будет ли на помолвку?

— Не могу знать!

— Женится ли он? слышно ли? говорил ли кому-нибудь?

40 — Не могу знать!

— Не для свадьбы ли он нанял новую квартиру?

— Не могу знать! не могу знать! не могу знать! — закричал Авдей, вырвался из круга вопрошателей и опрометью бросился со двора, отдав дворнику ключ.

Все остались на лестнице с разинутыми ртами, глядя ему вслед.

— Что же это такое? — сказала Прасковья Михайловна.

Когда дворник рассказал, как Иван Савич принял его поздравление, Прасковья Михайловна упала в обморок.

— Что теперь скажут про меня? — промолвила она, очнувшись. — Крестный, заступитесь за меня: я умру.

— А вот мы отношением обратимся к его начальству, — сказал негодующий крестный. — Да нет, — прибавил он потом горестно, — вывернутся, ей-богу, вывернутся: опять такую же бумагу напишут с крючком. Есть же там этакой! Он докажет про Ивана Савича, что такого лица и на свете нет. Это ему плевое дело. Ах, как пишет! Что же, батюшка! милости просим: не пропадать же кулебяке!

И они сели за стол.

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Роман в двух частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Однажды летом в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялись с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса.

Только единственный сын Анны Павловны, Александр Федорыч, спал, как следует спать двадцатилетнему юноше, богатырским сном; а в доме все суетились и хлопотали. Люди ходили, однако ж, на цыпочках и говорили шепотом, чтоб не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнет, громко заговорит, сейчас, как раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожного строгим выговором, обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком.

На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятых, хотя всё господское семейство только и состояло, что из Анны Павловны да Александра Федорыча. В сарае вытирали и подмазывали повозку. Все были заняты и работали до поту лица. Барбос только ничего не делал, но и тот по-своему принимал участие в общем движении. Когда мимо его проходил лакей, кучер или шмыгала девка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего, а сам глазами, кажется, спрашивал: «Скажут ли мне наконец, что у нас сегодня за суматоха?»

А суматоха была оттого, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. Убийственный для нее день! От этого она такая грустная и расстроенная. Часто, в хлопотах, она откроет рот, чтоб приказать что-нибудь,

и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит, она отвернется в сторону и оботрет, если успеет, слезу, а не успеет, так уронит ее в чемодан, в который сама укладывала Сашенькино белье. Слезы давно кипят у ней в сердце; они подступили к горлу, давят грудь и готовы брызнуть в три ручья; но она как будто берегла их на прощанье и изредка тратила по капельке.

Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевал тоже камердинер Сашеньки, Евсей. Он отправлялся с барином в Петербург, покидал самый теплый угол в доме, за лежанкой, в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве Анны Павловны и — что всего важнее для Евсея — первой ее ключницы. 10

За лежанкой только и было места, чтоб поставить два стула и стол, на котором готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занимал место и за печкой, и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама.

История об Аграфене и Евсее была уж старая история в доме. О ней, как обо всем на свете, поговорили, позлословили их обоих, а потом, так же как и обо всем, замолчали. Сама барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целые десять лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начтут десять счастливых? Зато вот настал и миг утраты! Прощай теплый угол, прощай Аграфена Ивановна, прощай игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка — всё прощай! 20

Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена, на-супясь, суежилась по хозяйству. У ней горе выражалось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай и, вместо того чтоб первую чашку крепкого чая подать, по обыкновению, барыне, выплеснула его вон: никому, дескать, не доставайся, и твердо перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валились из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет; не otvorит шкапа и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на всё и на всех. Впрочем, это вообще было главною чертою в ее характере. Она никогда не была довольна; всё не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую для нее минуту характер ее обнаружился во всем своем пафосе. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея. 30 40

— Аграфена Ивановна!.. — сказал он жалобно и нежно, что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре.

— Ну что ты, разиня, тут расселся? — отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. — Пусти прочь: надо полотенце достать.

— Эх, Аграфена Ивановна!.. — повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчас опять опускаясь, когда она взяла полотенце.

— Только хнычет! Вот пострел навязался! Что это за наказание, Господи! и не отвяжется!

И она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку.

— Аграфена! — раздалось вдруг из другой комнаты, — ты никак с ума сошла! разве не знаешь, что Сашенька почивает? Подралась, что ли, с своим возлюбленным на прощанье?

— Не пошевелись для тебя, сиди как мертвая! — прошипела по-змеиному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать ее в куски.

— Прощайте, прощайте! — с громаднейшим вздохом сказал Евсей, — последний денек, Аграфена Ивановна!

— И слава Богу! пусть унесут вас черти отсюда: просторнее будет. Да пусти прочь, негде ступить: протянул ноги-то!

Он тронул было ее за плечо — как она ему ответила! Он опять вздохнул, но с места не двигался; да напрасно и двинулся бы: Аграфене этого не хотелось. Евсей знал это и не смущался.

— Кто-то сядет на мое место? — промолвил он, всё со вздохом.

— Леший! — отрывисто отвечала она.

— Дай-то Бог! лишь бы не Прошка. А кто-то в дураки с вами станет играть?

— Ну хоть бы и Прошка, так что ж за беда? — со злостью заметила она.

Евсей встал.

— Вы не играйте с Прошкой, ей-богу, не играйте! — сказал он с беспокойством и почти с угрозой.

— А кто мне запретит? ты, что ли, образина этакая?

— Матушка Аграфена Ивановна! — начал он умоляющим голосом, обняв ее — за талию, сказал бы я, если б у ней был хоть малейший намек на талию.

Она отвечала на объятие локтем в грудь.

— Матушка Аграфена Ивановна! — повторил он, — будет ли Прошка любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник: ни одной женщине проходу не даст. А я-то!

э-эх! Вы у меня, что синь-порох в глазу! Если б не барская воля, так... эх!..

Он при этом крякнул и махнул рукой. Аграфена не выдержала: и у ней наконец горе обнаружилось в слезах.

— Да отстанешь ли ты от меня, окаянный? — говорила она плача, — что мелешь, дуралей! Свяжусь я с Прошкой! разве не видишь сам, что от него путного слова не добьешься? только и знает, что лезет с ручищами...

— И к вам лез? Ах, мерзавец! А вы небось не скажете! Я бы его...

10

— Полезь-ка, так узнает! Разве нет в дворне женского пола, кроме меня? С Прошкой свяжусь! вишь, что выдумал! Подле него и сидеть-то тошно — свинья свиньей. Он, того и гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под рук — и не увидишь.

— Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придет — лукавый ведь силен, — так лучше Гришку посадите тут: по крайности малый смирный, работающий, не зубоскал...

— Вот еще выдумал! — накинулась на него Аграфена, — что ты меня всякому навязываешь, разве я какая-нибудь... Пошел вон отсюда! Много вашего брата, всякому стану вешаться на шею: не таковская! С тобой только, этаким лешим, попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь... а то выдумал!

— Бог вас награди за вашу добродетель! как камень с плеч! — воскликнул Евсей.

— Обрадовался! — зверски закричала она опять, — есть чему радоваться — радуйся!

И губы у ней побелели от злости. Оба замолчали.

30

— Аграфена Ивановна! — робко сказал Евсей немного погодя.

— Ну, что еще?

— Я ведь и забыл: у меня нынче с утра во рту маковой росинки не было.

— Только и дела!

— С горя, матушка.

Она достала с нижней полки шкапа, из-за головы сахара, стакан водки и два огромных ломтя хлеба с ветчиной. Всё это давно было приготовлено для него ее заботливой рукой. Она сунула ему их, как не суют и собакам. Один ломоть упал на пол.

— На вот, подавись! О, чтоб тебя... да тише, не чавкай на весь дом.

Она отвернулась от него с выражением будто ненависти, а он медленно начал есть, глядя исподлобья на Аграфену и прикрывая одною рукою рот.

Между тем в воротах показался ямщик с тройкой лошадей. Через шею коренной переброшена была дуга. Колокольчик, привязанный к седелке, глухо и несвободно ворочал языком, как пьяный, связанный и брошенный в караульню. Ямщик привязал лошадей под навесом сарая, снял шапку, достал оттуда грязное полотенце и отер ¹⁰ пот с лица. Анна Павловна, увидев его из окна, побледнела. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену.

— Поди-ка на цыпочках, тихохонько, посмотри, спит ли Сашенька? — сказала она. — Он, мой голубчик, проспит, пожалуй, и последний денек: так и не нагляжусь на него. Да нет, куда тебе! ты, того гляди, влезешь как корова! я лучше сама...

И пошла.

²⁰ — Поди-ка ты, не корова! — ворчала Аграфена, воротясь к себе. — Вишь, корову нашла! много ли у тебя таких коров-то?

Навстречу Анне Павловне шел и сам Александр Федорыч, белокурый молодой человек в цвете лет, здоровья и сил. Он весело поздоровался с матерью, но, увидев вдруг чемодан и узлы, смутился, молча отошел к окну и стал чертить пальцем по стеклу. Через минуту он уже опять говорил с матерью и беспечно, даже с радостью смотрел на дорожные сборы.

³⁰ — Что это ты, мой дружок, как заспался, — сказала Анна Павловна, — даже личико отекло? Дай-ка вытру тебе глаза и щеки розовой водой.

— Нет, маменька, не надо.

— Чего ты хочешь позавтракать: чайку прежде или кофейку? Я велела сделать и битое мясо со сметаной на сковороде — чего хочешь?

— Всё равно, маменька.

Анна Павловна продолжала укладывать белье, потом остановилась и посмотрела на сына с тоской.

⁴⁰ — Саша!.. — сказала она через несколько времени.

— Чего изволите, маменька?

Она медлила говорить, как будто чего-то боялась.

— Куда ты едешь, мой друг, зачем? — спросила она наконец тихим голосом.

— Как куда, маменька? в Петербург, затем... затем...
чтоб...

— Послушай, Саша, — сказала она в волнении, положив ему руку на плечо, по-видимому с намерением сделать последнюю попытку, — еще время не ушло: подумай, останься!

— Останься! как можно! да ведь и... белье уложено, — сказал он, не зная, что выдумать.

— Уложено белье! да вот... вот... вот... гляди — и не уложено.

10

Она в три приема вынула всё из чемодана.

— Как же это так, маменька? собрался — и вдруг опять! Что скажут...

Он опечалился.

— Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачем ты едешь? Искать счастья? Да разве тебе здесь нехорошо? разве мать день-деньской не думает о том, как бы угодить всем твоим прихотям? Конечно, ты в таких летах, что одни материнские угождения не составляют счастья; да я и не требую этого. Ну, погляди
20
вокруг себя: все смотрят тебе в глаза. А дочка Марьи Карповны, Сонюшка? Что... покраснел? Как она, моя голубушка, — дай Бог ей здоровья — любит тебя: слышь, третью ночь не спит!

— Вот, маменька, что вы! она так...

— Да, да, будто я не вижу... Ах! чтоб не забыть: она взяла обрубить твои платки — «я, говорит, сама, сама, никому не дам, и метку сделаю», видишь, чего же еще тебе? Останься!

Он слушал молча, поникнув головой, и играл кистью
30
своего шлафрока.

— Что ты найдешь в Петербурге? — продолжала она. — Ты думаешь, там тебе такое же житье будет, как здесь? Э, мой друг! Бог знает, чего насмотришься и натерпишься: и холод, и голод, и нужду — всё перенесешь. Злых людей везде много, а добрых нескоро найдешь. А почет — что в деревне, что в столице — всё тот же почет. Как не увидишь петербургского житья, так и покажется тебе, живучи здесь, что ты первый в мире; и во всем так, мой милый! Ты же воспитан, и ловок, и
40
хорош. Мне бы, старухе, только оставалось радоваться, глядя на тебя. Женился бы, послал бы Бог тебе деточек, а я бы нянчила их — и жил бы без горя, без забот, и прожил бы век свой мирно, тихо, никому бы не

позавидовал; а там, может, и не будет хорошо, может, и помянешь слова мои... Останься, Сашенька, — а?

Он кашлянул и вздохнул, но не сказал ни слова.

— А посмотри-ка сюда, — продолжала она, отворяя дверь на балкон, — и тебе не жаль покинуть такой уголок?

С балкона в комнату пахнуло свежестью. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между ¹⁰ деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое как зеркало; с другой — темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу.

Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет.

— Погляди-ка, — говорила она, — какой красотой ²⁰ Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей сберем; а вон и пшеничка есть, и гречиха; только гречиха нынче не то, что прошлый год: кажется, плоха будет. А лес-то, лес-то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость Божия! Дровец с своего участка мало-мало на тысячу продадим. А дичи, дичи что! и ведь всё это твое, милый сынок: я только твоя приказчица. Погляди-ка, озеро: что за великолепии! истинно небесное! рыба так и ходит; одну осетрину ³⁰ покупаем, а то ерши, окуни, караси кишмя кишат: и на себя и на людей идет. Вон твои коровки и лошадки пасутся. Здесь ты один всему господин, а там, может быть, всякий станет помыкать тобой. И ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда, в омут, может быть, прости Господи... Останься!

Он молчал.

— Да ты не слушаешь, — сказала она. — Куда это ты так пристально загляделся?

Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между ⁴⁰ полей, змеей вилась дорога и убегала за лес, дорога в обетованную землю, в Петербург. Анна Павловна молчала несколько минут, чтоб собраться с силами.

— Так вот что! — проговорила она наконец уныло. — Ну, мой друг, Бог с тобой! поезжай, уж если тебя так

тянет отсюда: я не удерживаю! По крайней мере не скажешь, что мать заедает твою молодость и жизнь.

Бедная мать! вот тебе и награда за твою любовь! Того ли ожидала ты? В том-то и дело, что матери не ожидают наград. Мать любит без толку и без разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, переходит имя ваше из уст в уста, гремят ваши дела по свету — голова старушки трясется от радости, она плачет, смеется и молится долго и жарко. А сынок большею частью и не думает поделиться 10
славой с родительницею. Нищи ли вы духом и умом, отметила ли вас природа клеймом безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце или тело, наконец, отталкивают вас от себя люди и нет вам места между ними — тем более места в сердце матери. Она сильнее прижимает к груди уродливое, неудавшееся чадо и молится еще долее и жарче.

Как назвать Александра бесчувственным за то, что он решился на разлуку? Ему было двадцать лет. Жизнь от пелен ему улыбалась; мать лелеяла и баловала его, как балуют единственное чадо; нянька всё пела ему над 20
колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя; профессеры твердили, что он пойдет далеко, а по возвращении его домой ему улыбнулась дочь соседки. И старый кот Васька был к нему, кажется, ласковее, нежели к кому-нибудь в доме.

О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху, как знают о какой-нибудь заразе, которая не обнаружилась, но глухо где-то таится в народе. От этого будущее представлялось ему в радужном свете. Его что-то манило 30
вдаль, но что именно — он не знал. Там мелькали обольстительные призраки, но он не мог разглядеть их; слышались смешанные звуки — то голос славы, то любви: всё это приводило его в сладкий трепет.

Ему скоро тесен стал домашний мир. Природу, ласки матери, благоговение няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусные яства и мурлыканье Васьки — все эти блага, которые так дорого ценятся на склоне жизни, он весело менял на неизвестное, полное увлекательной и таинственной прелести. Даже любовь Софьи, первая, нежная и розовая любовь, не удерживала его. Что ему 40
эта любовь? Он мечтал о колоссальной страсти, которая не знает никаких преград и свершает громкие подвиги. Он любил Софью пока маленькой любовью, в ожидании большой. Мечтал он и о пользе, которую принесет

отечеству. Он прилежно и многому учился. В аттестате его сказано было, что он знает с дюжину наук да с полдюжины древних и новых языков. Всего же более он мечтал о славе писателя. Стихи его удивляли товарищей. Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только прямой путь; заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы.

10 Как же ему было остаться? Мать желала — это опять другое и очень естественное дело. В сердце ее отжили все чувства, кроме одного — любви к сыну, и оно жарко ухватилось за этот последний предмет. Не будь его, что же ей делать? Хоть умирать. Уж давно доказано, что женское сердце не живет без любви.

Александр был избалован, но не испорчен домашнею жизнью. Природа так хорошо создала его, что любовь матери и поклонение окружающих подействовали только на добрые его стороны, развили, например, в нем
20 преждевременно сердечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. Это же самое, может быть, расшевелило в нем и самолюбие; но ведь самолюбие само по себе только форма; всё будет зависеть от материала, который вольешь в нее.

Гораздо более беды для него было в том, что мать его, при всей своей нежности, не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу с тем, что ожидало его и ожидает всякого
30 впереди. Но для этого нужно было искусную руку, тонкий ум и запас большой опытности, не ограниченной тесным деревенским горизонтом. Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить от него каждую заботу и неприятность, не плакать и не страдать вместо его и в детстве, чтоб дать ему самому почувствовать приближение грозы, справиться с своими силами и подумать о своей судьбе — словом, узнать, что он мужчина. Где же было Анне Павловне понять всё это и особенно выполнить?
40 Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть еще?

Она уже забыла сыновний эгоизм. Александр Федорыч застал ее за вторичным укладываньем белья и платья. В хлопотах и дорожных сборах она как будто совсем не помнила горя.

— Вот, Сашенька, заметь хорошенько, куда я что кладу, — говорила она. — В самый низ, на дно чемодана, простыни: дюжина. Посмотри-ка, так ли записано?

— Так, маменька.

— Все с твоими метками, видишь — «А. А.». А всё голубушка Сонюшка! Без нее наши дурищи нескоро бы поворотились. Теперь что? да, наволочки. Раз, две, три, четыре — так, вся дюжина тут. Вот рубашки — три дюжины. Что за полотно — загляденье! это голландское; сама ездила на фабрику к Василью Васильичу; он выбрал что ни есть наилучшие три куска. Поверяй же, милый, по реестру всякий раз, как будешь принимать от прачки; все новешенькие. Там немного таких рубашек увидишь; пожалуй, и подменят; есть ведь этикие мерзавки, что Бога не боятся. Носков двадцать две пары... Знаешь, что я придумала? положить в один носок твой бумажник с деньгами. Их тебе до Петербурга не понадобится, так, сохрани Боже! случай какой, чтоб и рыли, да не нашли. И письма к дяде туда же положу: то-то, чай, обрадуется! ведь семнадцать лет и словом не перекинулись, шутка ли! Вот косыночки, вот платки; еще полдюжины у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платков: славный полубатист! У Михеева брала по два с четвертью. Ну, белье всё. Теперь платье... Да где Евсей? что он не смотрит? Евсей!

Евсей лениво вошел в комнату.

— Чего изволите? — спросил он еще ленивее.

— Чего изволите? — заговорила Адуева гневно. — Что не смотришь, как я укладываю? А там, как надо что достать в дороге, и пойдешь всё перерывать вверх дном! Не может отвязаться от своей возлюбленной — экое сокровище! День-то велик: успеешь! Ты этак там и за барином станешь ходить? Смотри у меня! Вот гляди: это хороший фрак — видишь, куда кладу? А ты, Сашенька, береги его, не всякий день таскай; сукно-то по шестнадцать рублей брали. Куда в хорошие люди пойдешь, и надень, да не садись зря, как ни попало, вон как твоя тетка, словно нарочно, не сядет на пустой стул или диван, а так и норовит плюхнуть туда, где стоит шляпа или что-нибудь такое; наемни на тарелку с вареньем села — такого сраму наделала! Куда попроще з люди, вот этот фрак масака надевай. Теперь жилеты — раз, два, три, четыре. Двое брюк. Э! да платья-то года на три станет. Ух! устала! шутка ли: целое утро возилась! Псди, Евсей.

Поговорим, Сашенька, о чем-нибудь другом. Ужо гости приедут, не до того будет.

Она села на диван и посадила его подле себя.

— Ну, Саша, — сказала она, помолчав немного, — ты теперь едешь на чужую сторону...

— Какая «чужая» сторона, Петербург: что вы, маменька!

— Погоди, погоди — выслушай, что я хочу сказать! Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты наглядись, и хорошего, и худого. Надеюсь, Он, Отец мой небесный, подкрепит тебя; а ты, мой друг, пуше всего не забывай Его, помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чем. Достигнешь там больших чинов, в знать войдешь — ведь мы не хуже других: отец был дворянин, майор, — все-таки смирайся перед Господом Богом: молись и в счастья и в несчастья, а не по пословице: гром не грянет, мужик не перекрестится. Иной, пока везет ему, и в церковь не заглянет, а как придет невмочь — и пойдет рублевые свечи ставить да нищих оделять: это большой грех. К слову пришлось о нищих. Не трать на них денег по-пустому, помногу не давай. На что баловать? их не удивишь. Они пропьют да над тобой же насмеются. У тебя, я знаю, мягкая душа: ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нет, это не нужно; Бог подаст! Будешь ли ты посещать храм Божий? будешь ли ходить по воскресеньям к обедне?

Она вздохнула.

Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь; а в деревне, только из угождения матери, сопровождал ее к обедне. Ему совестно было солгать. Он молчал. Мать поняла его молчание и опять вздохнула.

— Ну, я тебя не неволю, — продолжала она, — ты человек молодой: где тебе быть так усердно к церкви Божией, как нам, старикам? Еще, пожалуй, служба помешает или засидишься поздно в хороших людях и проспичь. Бог пожалеет твоей молодости. Не тужи: у тебя есть мать. Она не проспит. Пока во мне останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы в глазах и Бог терпит грехам моим, я ползком доташусь, если не хватит сил дойти, до церковного порога; последний вздох отдам, последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебе и здоровья, и чинов, и крестов, и небесных

и земных благ. Неужели-то Он, милосердый Отец, презрит молитвой бедной старухи? Мне самой ничего не надо. Отними Он у меня всё: здоровье, жизнь, пошли слепоту — тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро...

Она не договорила, слезы закапали у ней из глаз.

Александр вскочил с места.

— Маменька... — сказал он.

— Ну сядь, сядь! — отвечала она, наскоро утирая слезы, — мне еще много осталось поговорить... Что, бишь, я хотела сказать? из ума вон... Вишь, нынче какая память у меня... да! блюда посты, мой друг: это великое дело! В среду и пятницу — Бог простит; а в Великий пост — Боже оборони! Вот Михайло Михайлыч и умным человеком считается, а что в нем? Что мясоед, что Страстная неделя — всё одно жрет. Даже волос дыбом становится! Он вон и бедным помогает, да будто его милостыня принята Господом? Слышь, подал раз старику красненькую, тот взял ее, а сам отвернулся да плюнул. Все кланяются ему и в глаза-то бог знает что наговорят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого.

Александр слушал с некоторым нетерпением и взглядывал по временам в окно, на дальнюю дорогу.

Она замолчала на минуту.

— Береги пуше всего здоровье, — продолжала она. — Как заболеешь — чего Боже оборони! — опасно, напиши... я соберу все силы и приеду. Кому там ходить за тобой? Норовят еще обобрать больного. Не ходи ночью по улицам; от людей зверского вида удаляйся. Береги деньги... ох, береги на черный день! Трать с толком. От них, проклятых, всякое добро и всякое зло. Не мотай, не заводи лишних прихотей. Ты будешь аккуратно получать от меня две тысячи пятьсот рублей в год. Две тысячи пятьсот рублей не шутка! Не заводи роскоши никакой, ничего такого, но и не отказывай себе в чем можно; захочется полакомиться — не скупись. Не предавайся вину — ох, оно первый враг человека! Да еще (тут она понизила голос) берегись женщин! Знаю я их! Есть такие бесстыдницы, что сами на шею будут вешаться, как увидят этакое-то...

Она с любовью посмотрела на сына.

— Довольно, маменька; я бы позавтракал? — сказал он почти с досадой.

— Сейчас, сейчас... еще одно слово...

— На мужних жен не зарься, — спешила она досказать, — это великий грех! «Не пожелай жены ближнего твоего», — сказано в Писании. Если же там какая-нибудь станет до свадьбы добираться — Боже сохрани! не моги и подумать! Они готовы подцепить, как увидят, что с денежками да хорошенький. Разве что у начальника твоего или у какого-нибудь знатного да богатого вельможи разгорятся на тебя зубы и он захочет выдать за тебя дочь — ну, тогда можно, только отпиши: я кое-как дотащусь, посмотрю, чтоб не подсунили так какую-нибудь, лишь бы с рук сбить: старую девку или дрянь. Этакого женишка всякому лестно залучить. Ну а коли ты сам полюбишь да выдастся хорошая девушка — так того... — тут она еще тише заговорила... — Сонюшку-то можно и в сторону. (Старушка, из любви к сыну, готова была покривить душой.) Что в самом деле Марья Карповна замечтала! ты дочке ее не пара. Деревенская девушка! на тебя и не такие польстятся.

20 — Софью! нет, маменька, я ее никогда не забуду! — сказал Александр.

— Ну, ну, друг мой, успокойся! ведь я так только. Послужи, воротись сюда, и тогда что Бог даст; невесты не уйдут! Коли не забудешь, так и того... Ну а...

Она что-то хотела сказать, но не решалась, потом наклонилась к уху его и тихо спросила:

— А будешь ли помнить... мать?

— Вот до чего договорились, — перервал он, — велите скорей подавать что там у вас есть: яичница, что ли? 30 Забыть вас! Как могли вы подумать? Бог накажет меня...

— Перестань, перестань, Саша, — заговорила она торопливо, — что ты это накликаешь на свою голову! Нет, нет! что бы ни было, если случится этакой грех, пусть я одна страдаю. Ты молод, только что начинаешь жить, будут у тебя и друзья, женишься — молодая жена заменит тебе и мать, и всё... Нет! Пусть благословит тебя Бог, как я тебя благословляю.

Она поцеловала его в лоб и тем заключила свои наставления.

40 — Да что это не едет никто? — сказала она, — ни Марья Карповна, ни Антон Иваныч, ни священник нейдет? уж, чай, обедня кончилась! Ах, вон кто-то и едет! кажется, Антон Иваныч... так и есть: легок на помине.

Кто не знает Антона Иваныча? Это Вечный жид. Он существовал всегда и всюду, с самых древнейших времен, и не переводился никогда. Он присутствовал и на греческих и на римских пирах, ел, конечно, и упитанного тельца, закланного счастливым отцом по случаю возвращения блудного сына.

У нас, на Руси, он бывает разнообразен. Тот, про которого говорится, был таков: у него душ двадцать заложенных и перезаложенных; живет он почти в избе или в каком-то странном здании, похожем с виду на амбар, — ход где-то сзади, через бревна, подле самого плетня; но он лет двадцать постоянно твердит, что с будущей весной приступит к стройке нового дома. Хозяйства он дома не держит. Нет человека из его знакомых, который бы у него отобедал, отужинал или выпил чашку чаю, но нет также человека, у которого бы он сам не делал этого по пятидесяти раз в год. Прежде Антон Иваныч ходил в широких шароварах и казакине, теперь ходит в будни в сюртуке и в панталонах, в праздники во фраке бог знает какого покроя. С виду он полный, потому что у него нет ни горя, ни забот, ни волнений, хотя он прикидывается, что весь век живет чужими горестями и заботами; но ведь известно, что чужие горести и заботы не сушат нас: это так заведено у людей.

В сущности Антона Иваныча никому не нужно, но без него не совершается ни один обряд: ни свадьба, ни похороны. Он на всех званых обедах и вечерах, на всех домашних советах; без него никто ни шагу. Подумают, может быть, что он очень полезен, что там исполнит какое-нибудь важное поручение, тут даст хороший совет, обработает дельце, — вовсе нет! Ему никто ничего подобного не поручает; он ничего не умеет, ничего не знает: ни в судах хлопотать, ни быть посредником, ни примирителем — ровно ничего.

Но зато ему поручают, например, завезти мимоездом поклон от такой-то к такому-то, и он непременно завезет и тут же кстати позавтракает, — уведомить такого-то, что известная-де бумага получена, а какая именно, этого ему не говорят, — передать туда-то кадочку с медом или горсточку семян, с наказом не разлить и не рассыпать, — напомнить, когда кто именинник. Еще Антона Иваныча употребляют в таких делах, которые считают неудобным поручить человеку. «Нельзя Петрушку послать, — гово-

рят, — того и гляди, переверт. Нет, уж пусть лучше Антон Иваныч съездит!» Или: «Неловко послать человека: такой-то или такая-то обидится, а вот лучше Антона Иваныча отправить».

Как бы удивило всех, если б его вдруг не было где-нибудь на обеде или вечере!

— А где же Антон Иваныч? — спросил бы всякий непременно с изумлением. — Что с ним? да почему его нет?

10 И обед не в обед. Тогда уж к нему даже кого-нибудь и отправят депутатом проведать, что с ним, не заболел ли, не уехал ли? И если он болен, то и родного не порадуют таким участием.

Антон Иваныч подошел к руке Анны Павловны.

— Здравствуйте, матушка Анна Павловна! с обновкой честь имею вас поздравить.

— С какой это, Антон Иваныч? — спросила Анна Павловна, осматривая себя с ног до головы.

— А мостик-то у ворот! видно, только что сколотили?
20 что, слышу, не пляшут доски под колесами? смотрю, ан новый!

Он, при встречах с знакомыми, всегда обыкновенно поздравляет их с чем-нибудь: или с постом, или с весной, или с осенью; если после оттепели мороз наступит, так с морозом, наступит после морозу оттепель — с оттепелью.

На этот раз ничего подобного не было, но он что-нибудь да выдумает.

— Вам кланяются Александра Васильевна, Матрена
30 Михайловна, Петр Сергеич, — сказал он.

— Покорно благодарю, Антон Иваныч! Детки здоровы ли у них?

— Слава Богу. Я к вам веду благословение Божие: за мной следом идет батюшка. А слышали ли, сударыня: наш-то Семен Архипыч?..

— Что такое? — с испугом спросила Анна Павловна.

— Ведь приказал долго жить!

— Что вы! когда?

— Вчера утром. Мне к вечеру же дали знать: приска-
40 кал парнишко; я и отправился, да всю ночь не спал. Все в слезах: и утешать-то надо, и распорядиться; там у всех руки опустились: слезы да слезы, — я один.

— Господи, Господи Боже мой! — говорила Анна Павловна, качая головой, — жизнь-то наша! Да как же

это могло случиться? он еще на той неделе с вами же поклон прислал!

— Да, матушка! ну да он давненько прихварывал, старик старый: диво, как до сих пор еще не свалился!

— Что за старый! он годом только постарше моего покойника. Ну, царство ему небесное! — сказала, крестясь, Анна Павловна. — Жаль бедной Федосьи Петровны: осталась с деточками на руках. Шутка ли: пятеро, и всё почти девочки! А когда похороны?

— Завтра.

10

— Видно, у всякого свое горе, Антон Иваныч; вот я так сына провожаю.

— Что делать, Анна Павловна, все мы человеки! «терпи», — сказано в Священном Писании.

— Уж не погневайтесь, что потревожила вас — вместе размыкать горе; вы нас так любите, как родной.

— Эх, матушка Анна Павловна! да кого же мне и любить-то, как не вас? Много ли у нас таких, как вы? Вы цены себе не знаете. Хлопот полон рот: тут и своя стройка вертится на уме. Вчера еще бился целое 20 утро с подрядчиком, да всё как-то не сходимся... а как, думаю, не поехать?.. что она там, думаю, одна-то, без меня станет делать? человек не молодой: чай, голову растеряет.

— Дай Бог вам здоровья, Антон Иваныч, что не забываете нас! И подлинно сама не своя: такая пустота в голове, ничего не вижу! в горле совсем от слез перегорело. Прошу закусить: вы и устали, и, чай, проголодались.

— Покорно благодарю-с. Признаться, мимоездом про- 30 пустил маленькую у Петра Сергеича да перехватил кусочек. Ну да это не помешает. Батюшка подойдет, пусть благословит! Да вот он и на крыльце!

Пришел священник. Приехала и Марья Карповна с дочерью, полной и румяной девушкой с улыбкой и заплаканными глазами. Глаза и всё выражение лица Софьи явно говорили: «Я буду любить просто, без затей, буду ходить за мужем, как нянька, слушаться его во всем и никогда не казаться умнее его; да и как можно быть умнее мужа? это грех! Стану прилежно заниматься 40 хозяйством, шить; рожу ему полдюжины детей, буду их сама кормить, нянчить, одевать и обшивать». Полнота и свежесть щек ее и пышность груди подтверждали обещание насчет детей. Но слезы на глазах и грустная улыбка

придавали ей в эту минуту не такой прозаический интерес.

Прежде всего отслужили молебен, причем Антон Иваныч созвал дворню, зажег свечу и принял от священника книгу, когда тот перестал читать, и передал ее дьячку, и потом отлил в скляночку святой воды, спрятал в карман и сказал: «Это Агафье Никитишне». Сели за стол. Кроме Антона Иваныча и священника, никто, по обыкновению, не дотронулся ни до чего, но зато Антон Иваныч сделал полную честь этому гомерическому завтраку. Анна Павловна всё плакала и украдкой утирала слезы.

— Полно вам, матушка Анна Павловна, слезы-то тратить! — сказал Антон Иваныч с притворной досадой, наполнив рюмку наливкой. — Что вы его, на убой, что ли, отправляете? — Потом, выпив до половины рюмку, почавкал губами.

— Что за наливка! каксй аромат пошел! Этакой, матушка, у нас и по губернии-то не найдешь! — сказал он с выражением большого удовольствия.

— Это тре... те... годнич... ная! — проговорила, всхлипывая, Анна Павловна, — нынче для вас... только... откупорила.

— Эх, Анна Павловна, и смотреть-то на вас тошно, — начал опять Антон Иваныч, — вот некому бить-то вас; бил бы да бил!

— Сами посудите, Антон Иваныч, один сын, и тот с глаз долой: умру — некому и похоронить.

— А мы-то на что? что я вам, чужой, что ли? Да куда еще торопитесь умирать? того гляди, замуж бы не вышли! вот бы поплясал на свадьбе! Да полноте плакать-то!

— Не могу, Антон Иваныч, право, не могу; не знаю сама, откуда слезы берутся.

— Этакого молодца взаперти держать! Дайте-ка ему волю, он расправит крылышки да вот каких чудес наделает: нахватает там чинов!

— Вашими бы устами да мед пить! Да что вы мало взяли пирожка? возьмите еще!

— Возьму-с: вот только этот кусок съем. За ваше здоровье, Александр Федорыч! счастливого пути! да возвращайтесь скорее; да женитесь-ка! Что вы, Софья Васильевна, вспыхнули?

— Я ничего... я так...

— Ох, молодежь, молодежь! хе-хе-хе!

— С вами горя не чувствуешь, Антон Иваныч, — сказала Анна Павловна, — так умеете утешить; дай Бог вам здоровья! Да выкушайте еще наливочки.

— Выпью, матушка, выпью, как не выпить на прощанье!

Кончился завтрак. Ямшик уже давно заложил повозку. Ее подвезли к крыльцу. Люди выбегали один за другим. Тот нес чемодан, другой — узел, третий — мешок и опять уходил за чем-нибудь. Как мухи сладкую каплю, люди облепили повозку, и всякий совался туда с руками.

— Вот так лучше положить чемодан, — говорил один, — а тут бы коробок с провизией.

— А куда же они ноги денут? — отвечал другой, — лучше чемодан вдоль, а коробок можно сбоку поставить.

— Так тогда перина будет скатываться, коли чемодан вдоль: лучше поперек. Что еще? уклали ли сапоги-то?

— Я не знаю. Кто укладывал?

— Я не укладывал. Поди-ка погляди — нет ли там наверху?

— Да поди ты.

— А ты что? мне, видишь, некогда!

— Вот еще, вот это не забудьте! — кричала девка, просовывая мимо голов руку с узелком.

— Давай сюда!

— Суньте и это как-нибудь в чемодан; давеча забыли, — говорила другая, привставая на подножку и подавая щеточку и гребенку.

— Куда теперь совать? — сердито закричал на нее дородный лакей, — пошла ты прочь! видишь, чемодан под самым низом!

— Барыня велела; мне что за дело, хоть брось! вишь, черти какие!

— Ну давай, что ли, сюда скорее; это можно вот тут сбоку в карман положить.

Коренная беспрестанно поднимала и трясла голову. Колокольчик издавал всякий раз при этом резкий звук, напоминавший о разлуке, а пристяжные стояли задумчиво, опустив головы, как будто понимая всю прелесть предстоящего им путешествия, и изредка обмахивались хвостами или протягивали нижнюю губу к коренной лошади. Наконец настала роковая минута. Помолились еще.

— Сядьте, сядьте все! — повелевал Антон Иваныч, — извольте сесть, Александр Федорыч! и ты, Евсей, сядь.

Сядь же, сядь! — И сам боком, на секунду, едва присел на стул. — Ну, теперь с Богом!

Вот тут-то Анна Павловна заревела и повисла на шею Александру.

— Прощай, прощай, мой друг! — слышалось среди рыданий, — увижу ли я тебя?..

Дальше ничего нельзя было разобрать. В эту минуту послышался звук другого колокольчика: на двор влетела телега, запряженная тройкой. С телеги соскочил, весь в 10 пыли, какой-то молодой человек, вбежал в комнату и бросился на шею Александру.

— Пospelов!.. — Адуев!.. — воскликнули они враз, тиская друг друга в объятиях.

— Откуда ты, как?

— Из дому, нарочно скакал целые сутки, чтоб проститься с тобой.

— Друг! друг! истинный друг! — говорил Адуев со слезами на глазах. — За сто шестьдесят верст прискакать, чтоб сказать прости! О, есть дружба в мире! Навек, не 20 правда ли? — говорил пылко Александр, стискивая руку друга и насакивая на него.

— До гробовой доски! — отвечал тот, тиская руку еще сильнее и насакивая на Александра.

— Пиши ко мне! — Да, да, и ты пиши!

Анна Павловна не знала, как и обласкать Пospelова. Отъезд замедлился на полчаса. Наконец собрались.

Все пошли до роши пешком. Софья и Александр в то время, когда переходили темные сени, бросились друг к другу.

30 — Саша! Милый Саша!.. — Соничка!.. — шептали они, и слова замерли в поцелуе.

— Вы забудете меня там? — сказала она слезливо.

— О, как вы меня мало знаете! я ворочусь, поверьте, и никогда другая...

— Вот возьмите скорей: это мои волосы и колечко.

Он проворно спрятал и то и другое в карман.

Впереди пошли Анна Павловна с сыном и с Пospelовым, потом Марья Карповна с дочерью, наконец, священник с Антоном Иванычем. В некотором отдалении 40 ехала повозка. Ямщик едва сдерживал лошадей. Дворня окружила в воротах Евсея.

— Прощай, Евсей Иваныч, прощай, голубчик, не забывай нас! — слышалось со всех сторон.

— Прощайте, братцы, прощайте, не поминайте лихом!

— Прощай, Евсеюшка, прощай, мой ненаглядный! — говорила мать, обнимая его, — вот тебе образок; это мое благословение. Помни веру, Евсей, не уйди там у меня в бусурманы! а не то проклянута! Не пьянствуй, не воруй; служи барину верой и правдой. Прощай, прощай!..

Она закрыла лицо фартуком и отошла.

— Прощай, матушка! — лениво проворчал Евсей.

К нему бросилась девчонка лет двенадцати.

— Простись с сестренкой-то! — сказала одна баба.

— И ты туда же! — говорил Евсей, целуя ее, — ну, 10
прощай, прощай! пошла теперь, босоногая, в избу!

Отдельно от всех, последняя стояла Аграфена. Лицо у нее позеленело.

— Прощайте, Аграфена Ивановна! — сказал протяжно, возвысив голос, Евсей и протянул к ней руки.

Она дала себя обнять, но не отвечала на объятие; только лицо ее искривилось.

— На вот тебе! — сказала она, вынув из-под передника и сунув ему мешок с чем-то. — То-то, чай, там с петербургскими-то загуляешь! — прибавила она, поглядев 20
на него искоса. И в этом взгляде выразилась вся тоска ее и вся ревность.

— Я загуляю, я? — начал Евсей. — Да разрази меня на этом месте Господь, лопни мои глаза! чтоб мне сквозь землю провалиться, коли я там что-нибудь этакое...

— Ладно! ладно! — недоверчиво бормотала Аграфена, — а сам-то — у!

— Ах, чуть не забыл! — сказал Евсей и достал из кармана засаленную колоду карт. — Нат, Аграфена Ивановна, вам на память; ведь вам здесь негде взять. 30

Она протянула руку.

— Подари мне, Евсей Иваныч! — закричал из толпы Прошка.

— Тебе! да лучше сожгу, чем тебе подарю! — и он спрятал карты в карман.

— Да мне-то отдай, дурачина! — сказала Аграфена.

— Нет, Аграфена Ивановна, что хотите делайте, а не отдам: вы с ним станете играть. Прощайте!

Он, не оглянувшись, махнул рукой и лениво пошел вслед за повозкой, которую бы, кажется, вместе с 40
Александром, ямщиком и лошадьми мог унести на своих плечах.

— Проклятый! — говорила Аграфена, глядя ему вслед и утирая концом платка капавшие слезы.

У роши остановились. Пока Анна Павловна рыдала и прощалась с сыном, Антон Иваныч потрепал одну лошадь по шее, потом взял ее за ноздри и потряс в обе стороны, чем та, казалось, вовсе была недовольна, потому что оскалила зубы и тотчас же фыркнула.

— Подтяни подпругу у коренной-то, — сказал он ямщику, — вишь, седелка-то на боку!

Ямщик посмотрел на седелку и, увидев, что она на своем месте, не тронулся с козел, а только кнутом ¹⁰ поправил немного шлею.

— Ну, пора, Бог с вами! — говорил Антон Иваныч, — полно, Анна Павловна, вам мучить-то себя! А вы садитесь, Александр Федорыч; вам надо засветло добратся до Шишкова. Прощайте, прощайте, дай Бог вам счастья, чинов, крестов, всего доброго и хорошего, всякого добра и имущества!!! Ну, с Богом, трогай лошадей, да смотри там косогором-то легче поезжай! — прибавил он, обращаясь к ямщику.

Александр сел, весь расплаканный, в повозку, а Евсей ²⁰ подошел к барыне, поклонился ей в ноги и поцеловал у ней руку. Она дала ему пятирублевую ассигнацию.

— Смотри же, Евсей, помни: будешь хорошо служить, женю на Аграфене, а не то...

Она не могла говорить дальше. Евсей взобрался на козлы. Ямщик, наскучивший долгим ожиданием, как будто ожил; он прижал шапку, поправился на месте и поднял вожжи; лошади тронулись сначала легкой рысью. Он хлестнул пристяжных разом одну за другой, они скакнули, вытянулись, и тройка ринулась по дороге в лес. Толпа ³⁰ провожавших осталась в облаке пыли безмолвна и неподвижна, пока повозка не скрылась совсем из глаз. Антон Иваныч опомнился первый.

— Ну, теперь по домам! — сказал он.

Александр смотрел, пока можно было, из повозки назад, потом упал на подушки лицом вниз.

— Не оставьте вы меня, горемычную, Антон Иваныч! — сказала Анна Павловна, — отобедайте здесь!

— Хорошо, матушка, я готов: пожалуй, и отужинаю.

— Да вы бы уж и ночевали.

⁴⁰ — Как же: завтра похороны!

— Ах да! Ну, я вас не неволю. Кланяйтесь Федосье Петровне от меня, скажите, что я душевно огорчена ее печалью и сама бы навестила, да вот Бог, дескать, и мне послал горе — сына проводила.

— Скажу-с, скажу, не забуду.

— Голубчик ты мой, Сашенька! — шептала она, оглядываясь, — и нет уж его, скрылся из глаз!

Адуева просидела целый день молча, не обедала и не ужинала. Зато говорил, обедал и ужинал Антон Иванович.

— Где-то он теперь, мой голубчик? — скажет только она иногда.

— Уж теперь должен быть в Неплюеве. Нет, что я вру? еще не в Неплюеве, а подъезжает; там чай будет пить, — отвечает Антон Иванович.

10

— Нет, он в это время никогда не пьет.

И так Анна Павловна мысленно ехала с ним. Потом, когда он, по расчетам ее, должен был уже приехать в Петербург, она то молилась, то гадала в карты, то разговаривала о нем с Марьей Карповной.

А он?

С ним мы встретимся в Петербурге.

II

Петр Иванович Адуев, дядя нашего героя, так же как и этот, двадцати лет был отправлен в Петербург старшим своим братом, отцом Александра, и жил там безвыездно семнадцать лет. Он не переписывался с родными после смерти брата, и Анна Павловна ничего не знала о нем с тех пор, как он продал свое небольшое имение, бывшее недалеко от ее деревни.

20

В Петербурге он слыл за человека с деньгами, и, может быть, не без причины; служил при каком-то важном лице чиновником особых поручений и носил несколько ленточек в петлице фрака; жил на большой улице, занимал хорошую квартиру, держал троих людей и столько же лошадей. Он был не стар, а что называется «мужчина в самой поре» — между тридцатью пятью и сорока годами. Впрочем, он не любил распространяться о своих летах, не по мелкому самолюбию, а вследствие какого-то обдуманного расчета, как будто он намеревался застраховать свою жизнь подороже. По крайней мере в его манере скрывать настоящие лета не видно было суетной претензии нравиться прекрасному полу.

30

Он был высокий, пропорционально сложенный мужчина с крупными, правильными чертами смугло-матового лица, с ровной, красивой походкой, с сдержанными, но

40

приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют *bel homme*.¹

В лице замечалась — также сдержанность, то есть умение владеть собою, не давать лицу быть зеркалом души. Он был того мнения, что это неудобно — и для себя и для других. Таков он был в свете. Нельзя, однако ж, было назвать лица его деревянным: нет, оно было только покойно. Иногда лишь видны были на нем следы усталости, — должно быть, от усиленных занятий. Он слыл за деятельного и делового человека. Одевался он всегда тщательно, даже щеголевато, но не чересчур, а только со вкусом; белье носил отличное; руки у него были полны и белы, ногти длинные и прозрачные.

Однажды утром, когда он проснулся и позвонил, человек вместе с чаем принес ему три письма и доложил, что приходил какой-то молодой барин, который называл себя Александром Федорычем Адуевым, а его — Петра Иваныча — дядей и обещался зайти часу в двенадцатом.

Петр Иваныч, по обыкновению, выслушал это известие покойно, только немного наострил уши и поднял брови.

— Хорошо, поди, — сказал он слуге.

Потом взял одно письмо, хотел распечатать, но остановился и задумался.

— Племянник из провинции — вот сюрприз! — ворчал он, — а я надеялся, что меня забыли в том краю! Впрочем, что с ними церемониться! отделаюсь...

Он опять позвонил.

— Скажи этому господину, как придет, что я, вставши, тотчас уехал на завод и ворочусь через три месяца.

— Слушаю-с, — отвечал слуга, — а с гостинцами что прикажете делать?

— С какими гостинцами?

— Привез их человек: барыня, говорит, деревенских гостинцев прислала.

— Гостинцев?

— Да-с: кадочка меду, мешок сушеной малины...

Петр Иваныч пожал плечами.

— Еще два куска полотна да варенье...

— Воображаю, хорошо должно быть полотно...

— Полотно хорошее и варенье сахарное.

— Ну поди, я посмотрю сейчас.

¹ представительный человек (*фр.*)

Он взял одно письмо, распечатал и окинул взглядом страницу. Точно крупная славянская грамота: букву *в* заменяли две перечеркнутые сверху и снизу палочки, а букву *к* просто две палочки; писано без знаков препинания.

Адуев стал читать вполголоса:

«Милостивый государь Петр Иванович!

Будучи с покойным вашим родителем коротко знакомы и приятели, да и вас самих в детстве тешил немало и в доме вашем частенько хлеба и соли отведывал, потому и питаю уверительную надежду на ваше усердие и благорасположение, что не забыли старика, Василья Тихоныча, а мы вас здесь и родителей ваших всячески добром поминаем и Бога молим...»

— Что за дичь? От кого это? — сказал Петр Иванович, поглядев на подпись. — Василий Заезжалов! Заезжалов — хоть убей — не помню. Чего он хочет от меня?

И стал читать дальше.

«А моя покорнейшая просьба и докука к вам — не откажите, батюшка... вам в Петербурге не то, что нам, здешним, чай, всё известно и всё свое да родное. Навязалось на меня проклятое тяжёбное дело, да вот седьмой год и с шеи не могу спихнуть: изволите помнить лешишко, что в двух верстах от моей деревушки? Палата сделала ошибку в купчей, а противник мой, Медведев, и уперся на нее: пункт, говорит, фальшивый, да и только. Медведев тот самый, что в ваших дачах всё без спросу рыбу ловил; покойник батюшка ваш гонял его и срамил, хотел на своеволие и губернатору жаловаться, да по доброте, дай Бог ему царствие небесное, спускал, а не надо бы шадить этакого злодея. Помогите, батюшка, Петр Иванович; дело теперь в Правительствующем сенате; не знаю там, в каком департаменте и у кого, да вам, чай, сейчас покажут. Съездите к секретарям и сенаторам, склоните их в мою пользу, скажите, что от ошибки, истинно от ошибки в купчей страдаю: для вас всё сделают. Там же уж кстати выхлопочите мне патенты на три чина да пришлите ко мне. Еще, батюшка, Петр Иванович, есть дельце до вас крайней потребности: взойдите в сердечное участие к безвинно-угнетенному страдальцу и помогите советом и делом. Есть у нас в Губернском правлении советник Дрожжов, золото, а не

человек; умрет, а своего не выдаст; в городе другой квартиры не знаю, как у него, — как приеду, прямо к нему, живу по неделям — и Боже сохрани и подумать у другого остановиться, закормит, запоит; а бостончик от обеда до глубокой ночи. И этакого-то человека обнесли и ныне нудят подать просьбу об отставке. Побывайте, отец родной, у всех вельмож там, внушите им, какой человек Афанасий Иванович: дело ли делать — так и кипит в руках; скажите, что донос, дескать, на него сделан
10 фальшиво, по проискам губернаторского секретаря, — вас послушают, и отпишете с первой почтой ко мне. Да повидайтесь со старинным моим сослуживцем, Костяковым. Я слышал от одного приезжего, Студеницына, вашего же петербургского — чай, извольте знать, — что он живет на Песках; там ребятишки укажут дом; отпишете с той же почтой, не поленитесь, жив ли он, здоров ли, что делает, помнит ли меня? Познакомьтесь и подружитесь с ним: прекрасный человек — душа нараспашку, и балагур такой. Кончаю письмецо еще просьбицей...»
20

Адуев перестал читать, медленно разорвал письмо на четыре части и бросил под стол в корзинку, потом потянулся и зевнул.

Он взял другое письмо и начал читать также вполголоса.

«Любезный братец, милостивый государь Петр Иванович!»

— Это что за сестрица! — сказал Адуев, глядя на подпись, — Марья Горбатова... — Он обратил лицо к
30 потолку, припоминая что-то...

— Что, бишь, это такое? что-то знакомое... ба, вот прекрасно — ведь брат женат был на Горбатовой; это ее сестра, это та... а! помню...

Он нахмурился и стал читать.

«Хотя рок разлучил нас, может быть, навеки и бездна лежит между нами; прошли года...»

Он пропустил несколько строчек и читал далее:

«По гроб жизни буду помнить, как мы вместе, гуляючи около нашего озера, вы, с опасностию жизни и здоровья,
40 влезли по колено в воду и достали для меня в тростнике большой желтый цветок, как из стебелька оногo тек

какой-то сок и перемарал нам руки, а вы почерпнули картузом воды, дабы мы могли их вымыть; мы очень много тогда этому смеялись. Как я была тогда счастлива! Сей цветок и ныне хранится в книжке...»

Адуев остановился. Видно было, что это обстоятельство ему очень не нравилось; он даже недоверчиво покачал головой.

«А цела ли у вас та ленточка (продолжал он читать), что вы вытащили из моего комода, несмотря на все мои крики и моления...»

— Я вытащил ленточку! — сказал он вслух, сильно нахмурившись. Помолчав, пропустил еще несколько строк и читал:

«А я обрекла себя на незамужнюю жизнь и чувствую себя весьма счастливою; никто не запретит вспоминать сии блаженные времена...»

— А, старая девка! — подумал Петр Иваныч. — Немудрено, что у ней еще желтые цветы на уме! Что там еще?

«Женаты ли вы, любезнейший братец, и на ком? Кто та милая подруга, украсившая собой путь вашего бытия, назовите мне ее; я буду ее любить, как родную сестру, и в мечтах соединять образ ее с вашим, буду молиться. А если не женаты, то по какой причине — напишите откровенно: ваших тайн никто у меня не прочтет, я буду хранить их на своей груди, их вырвут у меня вместе с сердцем. Не медлите; стораю нетерпением читать ваши неизъяснимые строки...»

— Нет, вот твои так неизъяснимые строки! — подумал Петр Иваныч.

«Я не знала (читал он), что милый наш Сашенька вдруг вздумает посетить великолепную столицу, — счастливеец! увидит прекрасные дома и магазины, будет наслаждаться роскошью и прижмет к своей груди обожаемого дядю, — а я, я в то время буду лить слезы, вспоминая счастливое время. Если бы я знала о его отъезде, дни и ночи сидела бы и вышила бы для вас подушку: арап с двумя собаками; вы не поверите, как я много раз плакала, глядя на сей узор: что может быть

святое дружбы и верности?.. Теперь меня занимает сия одна мысль; ей посвящу дни свои, но не имею здесь хорошей шерсти и потому покорнейше прошу, любезнейший братец, выслать вот по этим образчикам, что я тут вложила, что ни есть наилучшей английской шерсти, в самом скором времени, из первого магазина. Но что я говорю? какая ужасная мысль останавливает перо мое! может быть, уже вы забыли нас, и где вам помнить бедную страдальицу, которая удалилась от света и льет слезы? Но нет! я не могу подумать, чтоб вы могли быть извергом, как все мужчины: нет! мне сердце говорит, что вы сохранили к нам ко всем прежние чувствования среди роскоши и удовольствий великолепной столицы. Сия мысль служит бальзамом для моего страждущего сердца. Простите, не могу более продолжать, рука моя дрожит...

Остаюсь по гроб ваша

Марья Горбатова.

Р. С. Нет ли, братец, у вас хорошеньких книжек? пришлите, если вам не нужно: я бы на каждой странице вспоминала вас, плакала бы, или возьмите в лавке новых, коли недорого. Говорят, очень хороши сочинения господина Загоскина и господина Марлинского, — хоть их; а то я еще видела в газетах заглавие — «О предрассудках», соч(инение) господина Пузины — пришлите, — я терпеть не могу предрассудков».

Прочитав, Адуев хотел отправить туда же и это письмо, но остановился.

— Нет, — подумал он, — сберегу: есть охотники до таких писем; иные собирают целые коллекции, — может быть, случится одолжить кого-нибудь.

Он бросил письмо в бисерную корзинку, висевшую на стене, потом взял третье письмо и начал читать:

«Любезнейший мой деверек Петр Иваныч!

Помните ли, как семнадцать годков тому назад мы справляли ваш отъезд? Вот привел Бог благословить на дальний путь и собственное чадо. Полюбуйтесь, батюшка, на него да вспомните покойника, нашего голубчика Федора Иваныча: ведь Сашенька весь в него. Бог один знает, что вытерпело мое материнское сердце, отпускаяючи его на чужую сторону. Отправляю его, моего друга, прямо к вам: не велела нигде приставать, кроме вас...»

Адуев опять покачал головой.

— Глупая старуха! — проворчал он и читал:

«Он, пожалуй, по неопытности, остановился бы на постоялом дворе, но я знаю, как это может огорчить родного дядю, и внушила взъехать прямо к вам. То-то будет у вас радости при свидании! Не оставьте его, любезный деверек, вашими советами и возьмите на свое попечение; передаю его вам с рук на руки».

Петр Иваныч опять остановился.

«Ведь вы там один у него (читал он потом). Присмотрите за ним, не балуйте уж слишком-то, да и не ¹⁰ взыскивайте очень строго: взыскать-то будет кому, взыщут и чужие, а приласкать некому, кроме своего; он же сам такой ласковый: вы только увидите его, так и не отойдете. И начальнику-то, у которого он будет служить, скажите, чтоб берег моего Сашеньку и обращался бы с ним понежнее пуще всего: он у меня был нежненький. Остерегайте его от вина и от карт. Ночью, — ведь вы, я чай, в одной комнате будете спать, — Сашенька привык лежать на спине: от этого, сердечный, больно стонет и мечется; вы тихонько разбудите его да перекрестите: ²⁰ сейчас и пройдет, а летом покрывайте ему рот платочком: он его разевает во сне, а проклятые мухи так туда и лезут под утро. Не оставьте его также в случае нужды и деньгами...»

Адуев нахмурился, но вскоре лицо его опять прояснилось, когда он прочел далее:

«А я вышлю, что понадобится, да и ему в руки дала теперь тысячу рублей, только чтоб он не тратил их на пустяки да чтоб у него подлипалы не выманили, ведь там у вас, в столице, слышь, много мошенников и всяких ³⁰ бессовестных людей. А затем простите, дорогой деверь, — совсем отвыкла писать. Остаюсь

душевно почитающая вас невестка

А. Адуева.

Р. S. Посылаю при этом наших деревенских гостинцев — малинки из своего сада, белого медку — чистый, как слеза, — полотно голландского на две дюжины рубашек да домашнего вареньица. Кушайте и носите на здоровье, а выйдут — еще пришлю. Присмотрите и за Евсеем: он смирный и непьющий, да, пожалуй, там, в ⁴⁰ столице, избалуется, — тогда можно и посечь».

Петр Иванович медленно положил письмо на стол, еще медленнее достал сигару и, покатав ее в руках, начал курить. Долго обдумывал он эту штуку, как он называл ее мысленно, которую сыграла с ним его невестка. Он строго разобрал в уме и то, что сделали с ним, и то, что надо было делать ему самому.

Вот на какие посылки разложил он весь этот случай. Племянника своего он не знает, следовательно и не любит, а поэтому сердце его не возлагает на него никаких обязанностей: надо решать дело по законам рассудка и справедливости. Брат его женился, наслаждался супружеской жизнью, — за что же он, Петр Иванович, обременит себя заботливостью о братнем сыне, он, не наслаждавшийся выгодами супружества? Конечно, не за что.

Но, с другой стороны, представлялось вот что: мать отправила сына прямо к нему, на его руки, не зная, захочет ли он взять на себя эту обузу, даже не зная, жив ли он и в состоянии ли сделать что-нибудь для племянника. Конечно, это глупо; но если дело уже сделано и племянник в Петербурге, без помощи, без знакомых, даже без рекомендательных писем, молодой, без всякой опытности... вправе ли он оставить его на произвол судьбы, бросить в толпе, без наставлений, без совета, и если с ним случится что-нибудь недоброе — не будет ли он отвечать перед совестью?..

Тут кстати Адуев вспомнил, как, семнадцать лет назад, покойный брат и та же Анна Павловна отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сделать для него в Петербурге, он сам нашел себе дорогу... но он вспомнил ее слезы при прощанье, ее благословения, как матери, ее ласки, ее пироги и, наконец, ее последние слова: «Вот когда вырастет Сашенька — тогда еще трехлетний ребенок, — может быть, и вы, братец, приласкаете его...» Тут Петр Иванович встал и скорыми шагами пошел в переднюю...

— Василий! — сказал он, — когда придет мой племянник, то не отказывай. Да поди узнай, занята ли здесь вверху комната, что отдавалась недавно, и если не занята, то скажи, что я оставляю ее за собой. А! это гостинцы! Ну что мы станем с ними делать?

— Давеча наш лавочник видел, как несли их вверх; он спрашивал, не уступим ли ему мед: «Я, говорит, хорошую цену дам», и малину берет...

— Прекрасно! отдай ему. Ну а полотно куда девать? разве не годится ли на чехлы?.. Так спрячь полотно и варенье спрячь — его можно есть: кажется, порядочное.

Только что Петр Иванович расположился бриться, как явился Александр Федорыч. Он было бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную, юношескую руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы наглядеться на него, а более, кажется, затем, чтобы остановить этот порыв и ограничиться пожатием.

10

— Мать твоя правду пишет, — сказал он, — ты живой портрет покойного брата: я бы узнал тебя на улице. Но ты лучше его. Ну, я без церемонии буду продолжать бриться, а ты садись вот сюда — напротив, чтобы я мог видеть тебя, и давай беседовать.

За этим Петр Иванович начал делать свое дело, как будто тут никого не было, и намывливал щеки, натягивая языком то ту, то другую. Александр был сконфужен этим приемом и не знал, как начать разговор. Он приписал холодность дяди тому, что не остановился прямо у него.

20

— Ну что твоя матушка? здорова ли? Я думаю, постарела? — спросил дядя, делая разные гримасы перед зеркалом.

— Маменька, слава Богу, здорова, кланяется вам, и тетушка Марья Павловна тоже, — сказал робко Александр Федорыч. — Тетушка поручила мне обнять вас... — Он встал и подошел к дяде, чтоб поцеловать его в щеку, или в голову, или в плечо, или, наконец, во что удастся.

— Тетушке твоей пора бы с годами быть умнее, а она, я вижу, всё такая же дура, как была двадцать лет тому назад...

30

Озадаченный Александр задом воротился на свое место.

— Вы получили, дядюшка, письмо?.. — сказал он.

— Да, получил.

— Василий Тихоныч Заезжалов, — начал Александр Федорыч, — убедительно просит вас справиться и похлопотать о его деле...

— Да, он пишет ко мне... У вас еще не перевелись такие ослы?

40

Александр не знал, что и подумать — так его сразили эти отзывы.

— Извините, дядюшка... — начал он почти с трепетом.

— Что?

— Извините, что я не приехал прямо к вам, а остановился в конторе дилижансов... Я не знал вашей квартиры...

— В чем тут извиняться? Ты очень хорошо сделал. Матушка твоя бог знает что выдумала. Как бы ты ко мне приехал, не зная, можно ли у меня остановиться или нет? Квартира у меня, как видишь, холостая, для одного: зала, гостиная, столовая, кабинет, еще рабочий кабинет, гардеробная да туалетная — лишней комнаты нет. Я бы стеснил тебя, а ты меня... А я нашел для тебя здесь же в доме квартиру...

— Ах, дядюшка! — сказал Александр, — как мне благодарить вас за эту заботливость?

И он опять вскочил с места, с намерением словом и делом доказать свою признательность.

— Тише, тише, не трогай! — заговорил дядя, — бритвы преострые, того и гляди обрежешься сам и меня обрежешь.

Александр увидел, что ему, несмотря на все усилия, не удастся в тот день ни разу обнять и прижать к груди обожаемого дядю, и отложил это намерение до другого раза.

— Комната превеселенькая, — начал Петр Иванович, — окнами немного в стену приходится, да ведь ты не станешь всё у окна сидеть; если дома, так займешься чем-нибудь, а в окна зевать некогда. И недорого — сорок рублей в месяц. Для человека есть передняя. Надо привыкаться тебе с самого начала жить одному, без няньки; завести свое маленькое хозяйство, то есть иметь дома свой стол, чай, словом, свой угол — *un chez soi*,¹ как говорят французы. Там ты можешь свободно принимать кого хочешь... Впрочем, когда я дома обедаю, то милости прошу и тебя, а в другие дни — здесь молодые люди обыкновенно обедают в трактире, но я советую тебе посылать за своим обедом: дома и покойнее и не рискуешь столкнуться бог знает с кем. Так ли?

— Я, дядюшка, очень благодарен...

— Что за благодарность? ведь ты мне родня? я исполняю свой долг. Ну, я теперь оденусь и поеду; у меня и служба и завод...

— Я не знал, дядюшка, что у вас есть завод.

¹ у себя (фр.)

— Стекланный и фарфоровый; впрочем, я не один: нас трое компаньонов.

— Хорошо идет?

— Да, порядочно; сбываем больше во внутренние губернии на ярмарки. Последние два года — хоть куда! Если б еще этак лет пять, так и того... Один компаньон, правда, не очень надежен — всё мотает, да я умею держать его в руках. Ну, до свидания. Ты теперь посмотри город, пофлянируй, пообедай где-нибудь, а вечером приходи ко мне пить чай, я дома буду, — тогда поговорим. Эй, Василий! ты покажешь им комнату и поможешь там устроиться.

«Так вот как здесь, в Петербурге... — думал Александр, сидя в новом своем жилище, — если родной дядя так, что ж прочие?..»

Молодой Адуев ходил взад и вперед по комнате в сильной задумчивости, а Евсей говорил сам с собою, убирая комнату:

«Что это за житье здесь, — ворчал он, — у Петра Иваныча кухня-то, слышь, раз в месяц топится, люди-то у чужих обедают... Эко, Господи! ну народец! нечего сказать, а еще петербургские называются! У нас и собака каждая из своей плошки лакает».

Александр, кажется, разделял мнение Евсея, хотя и молчал. Он подошел к окну и увидел одни трубы, да крыши, да черные, грязные кирпичные бока домов... и сравнил с тем, что видел, назад тому две недели, из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно.

Он вышел на улицу — суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтоб не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча, с кем бы то ни было, почему-нибудь интересна. То вот Иван Иваныч идет к Петру Петровичу — и все в городе знают зачем. То Марья Мартыновна едет от вечерни, то Афанасий Савич на рыбную ловлю. Там проскакал сломя голову жандарм от губернатора к доктору, и всякий знает, что ее превосходительство изволит родить, хотя, по мнению разных кумушек и бабушек, об этом заранее знать не следовало бы. Все спрашивают что: дочку или сына? Барыни готовят парадные чепцы. Вон Матвей Матвеевич вышел из дому, с толстой палкой, в шестом часу вечера, и всякому известно, что он идет делать вечерний моцион, что у

него без того желудок не варит и что он остановится непременно у окна старого советника, который, также известно, пьет в это время чай. С кем ни встретишься — поклон да пару слов, а с кем и не кланяешься, так знаешь, кто он, куда и зачем идет, и у того в глазах написано: и я знаю, кто вы, куда и зачем идете. Если, наконец, встретятся незнакомые, еще не видавшие друг друга, то вдруг лица обоих превращаются в знаки вопроса; они остановятся и оборотятся назад раза два, а пришедши
10 домой, опишут и костюм и походку нового лица, и пойдут толки и догадки, и кто, и откуда, и зачем. А здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собою.

Александр сначала с провинциальным любопытством вглядывался в каждого встречного и каждого порядочно одетого человека, принимая их то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя: «Не он ли? — думал он, — не этот ли?» Но вскоре это надоело ему — министры, писатели, посланники встречались на каждом
20 шагу.

Он посмотрел на дома — и ему стало еще скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошной массой тянутся одна за другою. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам, — думал он, — или горка, или зелень, или развалившийся забор», — нет, опять начинается та же каменная ограда одинаких домов с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, ее преграждает опять то же, а там новый порядок таких же
30 домов. Заглянешь направо, налево — всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, всё одно да одно... нет простора и выхода взгляду: заперты со всех сторон, — кажется, и мысли и чувства людские также заперты.

Тяжелы первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему дико, грустно; его никто не замечает; он потерялся здесь; ни новости, ни разнообразие, ни толпа не развлекают его. Провинциальный эгоизм его объявляет войну всему, что он видит здесь и чего не видел у себя.
40 Он задумывается и мысленно переносится в свой город. Какой отрадный вид! Один дом с остроконечной крышей и с палисадничком из акаций. На крыше надстройка, приют голубей, — купец Изюмин охотник гонять их: для этого он взял да и выстроил голубятню на крыше и по

утрам и по вечерам, в колпаке, в халате, с палкой, к концу которой привязана тряпица, стоит на крыше и посвистывает, размахивая палкой. Другой дом — точно фонарь: со всех четырех сторон весь в окнах и с плоской крышей, дом давней постройки; кажется, того и гляди, развалится или сгорит от самовозгорания; тес принял какой-то светло-серый цвет. Страшно жить в таком доме, но там живут. Хозяин иногда, правда, посмотрит на скосившийся потолок и покачает головой, примолвив: «Простоит ли до весны? Авось!» — скажет потом и 10
продолжает жить, опасаясь не за себя, а за карман. Подле него кокетливо красуется диконький дом лекаря, раскинувшийся полукружием, с двумя похожими на будки флигелями, а этот весь спрятался в зелени, тот обернулся на улицу задом, а тут на две версты тянется забор, из-за которого выглядывают с деревьев румяные яблоки, искушение мальчишек. От церкви дома отступили на почтительное расстояние. Кругом их растет густая трава, лежат надгробные плиты. Присутственные места — так и видно, что присутственные места: близко без надобности 20
никто не подходит. А тут, в столице, их и не отличишь от простых домов, да еще, срам сказать, и лавочка тут же в доме. А пройдешь там, в городе, две-три улицы, уж и чуешь вольный воздух, начинаются плетни, за ними огороды, а там и чистое поле с яровым. А тишина, а неподвижность, а скука — и на улице и в людях тот же благодатный застой! И все живут вольно, нараспашку, никому не тесно; даже куры и петухи свободно расхаживают по улицам, козы и коровы шишлют траву, ребятишки пускают змей. 30

А здесь... какая тоска! И провинциал вздыхает, и по заборе, который напротив его окон, и по пыльной и грязной улице, и по тряскому мосту, и по вывеске на питейной конторе. Ему противно сознаться, что Исаакиевский собор лучше и выше собора в его городе, что зала Дворянского собрания больше залы тамошней. Он сердито молчит при подобных сравнениях, а иногда рискнет сказать, что такую-то материю или такое-то вино можно у них достать и лучше и дешевле, а что на заморские редкости, этих больших раков и раковин да красных 40
рыбок, там и смотреть не станут и что вольно, дескать, вам покупать у иностранцев разные материи да безделушки; они обдирают вас, а вы и рады быть олухами! Зато как он вдруг обрадуется, как посравнит да увидит,

что у него в городе лучше икра, груши или калачи. «Так это-то называется груша у вас? — скажет он, — да у нас это и *люди* не станут есть!..»

Еще более взгрустнется провинциалу, как он войдет в один из этих домов с письмом издалека. Он думает, вот отворятся ему широкие объятия, не будут знать, как принять его, где посадить, как угостить; станут искусно выведывать, какое его любимое блюдо, как ему станет совестно от этих ласк, как он под конец
10 бросит все церемонии, расцелует хозяина и хозяйку, станет говорить им *ты*, как будто двадцать лет знакомы; все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню...

Куда! на него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями; если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают, а адмиральского часу вовсе не знают — ни водки, ни закуски. Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно. В соседней комнате звенят ложками, стаканами: тут-то бы и пригласить, а его искусными намеками стараются выпроводить...
20 Всё назаперти, везде колокольчики: не мизерно ли это? да какие-то холодные, нелюдимые лица. А там, у нас, входи смело; если отобедали, так опять для гостя станут обедать; самовар утром и вечером не сходит со стола, а колокольчиков и в магазинах нет. Обнимаются, целуются все, и встречный и поперечный. Сосед там — так настоящий сосед, живут рука в руку, душа в душу; родственник — так родственник: умрет за своего... эх, грустно!

30 Александр добрался до Адмиралтейской площади и остолбенел. Он с час простоял перед *Медным всадником*, но не с горьким упреком в душе, как бедный *Евгений*, а с восторженной думой. Взглянул на Неву, окружающие ее здания — и глаза его засверкали. Он вдруг застыдился своего пристрастия к тряским мостам, палисадникам, разрушенным заборам. Ему стало весело и легко. И суматоха, и толпа — всё в глазах его получило другое значение. Замелькали опять надежды, подавленные на время грустным впечатлением; новая жизнь отверзала ему
40 объятия и манила к чему-то неизвестному. Сердце его сильно билось. Он мечтал о благородном труде, о высоких стремлениях и преважно выступал по Невскому проспекту, считая себя гражданином нового мира... В этих мечтах воротился он домой.

Вечером, в 11 часов, дядя прислал звать его пить чай.

— Я только что из театра, — сказал дядя, лежа на диване.

— Как жаль, что вы не сказали мне давеча, дядюшка: я бы пошел вместе с вами.

— Я был в креслах, куда ж ты, на колени бы ко мне сел? — сказал Петр Иванович, — вот завтра поди себе один.

— Одному грустно в толпе, дядюшка; не с кем поделиться впечатлением...

10

— И незачем! надо уметь и чувствовать и думать, словом, жить одному; со временем понадобится. Да еще тебе до театра надо одеться прилично.

Александр посмотрел на свое платье и удивился словам дяди. «Чем же я неприлично одет? — думал он, — синий сюртук, синие панталоны...»

— У меня, дядюшка, много платья, — сказал он, — шил Кенигштейн; он у нас на губернатора работает.

— Нужды нет, все-таки оно не годится, на днях я завезу тебя к своему портному; но это пустяки. Есть о чем важнее поговорить. Скажи-ка, зачем ты сюда приехал?

20

— Я приехал... жить.

— Жить? то есть если ты разумеешь под этим есть, пить и спать, так не стоило труда ездить так далеко: тебе так не удастся ни поесть, ни поспать здесь, как там, у себя; а если ты думал что-нибудь другое, так объяснись...

— Пользоваться жизнью, хотел я сказать, — прибавил Александр, весь покраснев, — мне в деревне надоело — всё одно и то же...

30

— А! вот что! Что ж, ты наймешь бельэтаж на Невском проспекте, заведешь карету, составишь большой круг знакомства, откроешь у себя дни?

— Ведь это очень дорого, — заметил наивно Александр.

— Мать пишет, что она дала тебе тысячу рублей: этого мало, — сказал Петр Иванович. — Вот один мой знакомый недавно приехал сюда, ему тоже надоело в деревне; он хочет пользоваться жизнью, так тот привез пятьдесят тысяч и ежегодно будет получать по стольку же. Он точно будет пользоваться жизнью в Петербурге, а ты — нет! ты не за тем приехал.

40

— По словам вашим, дядюшка, выходит, что я как будто сам не знаю, зачем я приехал.

— Почти так; это лучше сказано: тут есть правда; только всё еще нехорошо. Неужели ты, как собрался сюда, не задал себе этого вопроса: зачем я еду? Это было бы не лишнее.

— Прежде, нежели я задал себе этот вопрос, у меня уже был готов ответ! — с гордостью отвечал Александр.

— Так что же ты не говоришь? ну, зачем?

— Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности; во мне кипело желание
10 уяснить и осуществить...

Петр Иванович приподнялся немного с дивана, вынул из рта сигару и наострил уши.

— Осуществить те надежды, которые толпились...

— Не пишешь ли ты стихов? — вдруг спросил Петр Иванович.

— И прозой, дядюшка; прикажете принести?

— Нет, нет!.. после когда-нибудь; я так только спросил.

— А что?

20 — Да ты так говоришь...

— Разве нехорошо?

— Нет, — может быть, очень хорошо, да дико.

— У нас профессор эстетики так говорил и считался самым красноречивым профессором, — сказал смутившийся Александр.

— О чем же он так говорил?

— О своем предмете.

— А!

— Как же, дядюшка, мне говорить?

30 — Попроще, как все, а не как профессор эстетики.

Впрочем, этого вдруг растолковать нельзя; ты после сам увидишь. Ты, кажется, хочешь сказать, сколько я могу припомнить университетские лекции и перевести твои слова, что ты приехал сюда делать карьеру и фортуны, — так ли?

— Да, дядюшка, карьеру...

— И фортуны, — прибавил Петр Иванович, — что за карьера без фортуны? Мысль хороша — только... напрасно ты приезжал.

40 — Отчего же? Надеюсь, вы не по собственному опыту говорите это? — сказал Александр, глядя вокруг себя.

— Дельно замечено. Точно, я хорошо обставлен и дела мои недурны. Но, сколько я посмотрю, ты и я — большая разница.

— Я никак не смею сравнивать себя с вами...

— Не в том дело; ты, может быть, вдесятеро умнее и лучше меня... да у тебя, кажется, натура не такая, чтоб поддалась новому порядку; а тамошний порядок — ой-ой! Ты вон изнежен и избалован матерью; где тебе выдержать всё, что я выдержал? Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать здесь некогда; подобные нам ездят сюда дело делать.

— Может быть, я в состоянии что-нибудь сделать, если вы не оставите меня вашими советами и опытностью... 10

— Советовать — боюсь. Я не ручаюсь за твою деревенскую натуру: выйдет вздор — станешь пенять на меня; а мнение свое сказать, изволь — не отказываюсь, ты слушай или не слушай, как хочешь. Да нет! я не надеюсь на удачу. У вас там свой взгляд на жизнь: как переработаете его? Вы помешались на любви, на дружбе да на прелестях жизни, на счастье; думают, что жизнь только в этом и состоит: ах да ох! Плачут, хнычут да любезничают, а дела не делают... как я отучу тебя от всего этого? — мудрено! 20

— Я постараюсь, дядюшка, приноровиться к современным понятиям. Уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на корабли, принесшие нам дары дальних стран, я подумал об успехах современного человечества, я понял волнение этой разумно-деятельной толпы, готов слиться с нею...

Петр Иванович при этом монологе значительно поднял брови и пристально посмотрел на племянника. Тот остановился. 30

— Дело, кажется, простое, — сказал дядя, — а они бог знает что заберут в голову... «разумно-деятельная толпа»!! Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век свой славно: был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и красноречивым человеком, верил бы в вечную и неизменную дружбу и любовь, в родство, счастье, женился бы и незаметно дожил бы до старости и в самом деле был бы по-своему счастлив; а по-здешнему ты счастлив не будешь: здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном. 40

— Как, дядюшка, разве дружба и любовь — эти священные и высокие чувства, упавшие как будто ненарочно с неба в земную грязь...

— Что?

Александр замолчал.

— «Любовь и дружба в грязь упали!» Ну, как ты этак здесь брякнешь?

— Разве они не те же и здесь, как там? — хочу я сказать.

— Есть и здесь любовь и дружба, — где нет этого добра? только не такая, как там, у вас; со временем увидишь сам... Ты прежде всего забудь эти *священные* да *небесные* чувства, а приглядывайся к делу так, ¹⁰ проще, как оно есть, право лучше, будешь и говорить проще. Впрочем, это не мое дело. Ты приехал сюда, не ворочаться же назад: если не найдешь, чего искал, пеняй на себя. Я предупрежу тебя, что хорошо, по моему мнению, что дурно, а там как хочешь... Попробуем, может быть, удастся что-нибудь из тебя сделать. Да! матушка просила снабжать тебя деньгами... Знаешь, что я тебе скажу: не проси у меня их: это всегда нарушает доброе согласие между порядочными людьми. Впрочем, не думай, чтоб я тебе отказывал: нет, если ²⁰ придется так, что другого средства не будет, так ты, нечего делать, обратись ко мне... Всё у дяди лучше взять, чем у чужого, по крайней мере без процентов. Да чтоб не прибегать к этой крайности, я тебе поскорей найду место, чтоб ты мог доставать деньги. Ну, до свиданья. Заходи поутру, мы переговорим, что и как начать.

Александр Федорыч пошел домой.

— Послушай, не хочешь ли ты поужинать? — сказал Петр Иваныч ему вслед.

³⁰ — Да, дядюшка... я бы, пожалуй...

— У меня ничего нет.

Александр молчал. «Зачем же это обязательное предложение?» — думал он.

— Стола я дома не держу, а трактиры теперь заперты, — продолжал дядя. — Вот тебе и урок на первый случай — привыкай. У вас встают и ложатся по солнцу, едят, пьют, когда велит природа; холодно, так наденут себе шапку с наушниками, да и знать ничего не хотят; светло — так день, темно — так ночь. У тебя вон ⁴⁰ слипаются глаза, а я еще за работу сяду: к концу месяца надо счета свести. Дышите вы там круглый год свежим воздухом, а здесь и это удовольствие стоит денег — и всё так! совершенные антиподы! Здесь вот и не ужинают, особенно на свой счет, и на мой тоже. Это

тебе даже полезно: не станешь стонать и метаться по ночам, а крестить мне тебя некогда.

— К этому, дядюшка, легко привыкнуть...

— Хорошо, если так. А у вас всё еще по-старому: можно прийти в гости ночью и сейчас ужин состряпают?

— Что ж, дядюшка, надеюсь, этой черты порицать нельзя. Добродетель русских...

— Полно! какая тут добродетель. От скуки там всякому мерзавцу рады: «Милости просим, кушай, сколько хочешь, только займи как-нибудь нашу праздность, 10 помоги убить время да дай взглянуть на тебя: все-таки что-нибудь новое; а кушанья не пожалеем: это нам здесь ровно ничего не стоит...» Препротивная добродетель!

Так Александр лег спать и старался разгадать, что за человек его дядя. Он припомнил весь разговор; многого не понял, другому не совсем верил.

«Нехорошо говорю! — думал он, — любовь и дружба не вечны? — не смеется ли надо мною дядюшка? Неужели здесь такой порядок? Что же Софье и нравилось во мне особенно, как не дар слова? А любовь ее неужели 20 не вечна?.. И неужели здесь в самом деле не ужинают?»

Он еще долго ворочался в постели: голова, полная тревожных мыслей, и пустой желудок не давали ему спать.

Прошло недели две.

Петр Иваныч день ото дня становился довольнее своим племянником.

— У него есть такт, — говорил он одному своему компаньону по заводу, — чего бы я никак не ожидал от деревенского мальчика. Он не навязывается, не ходит ко мне без зову; и когда заметит, что он лишний, тотчас 30 уйдет; и денег не просит: он малый покойный. Есть странности... лезет целоваться, говорит, как семинарист... ну да от этого отвыкнет; и то хорошо, что он не сел мне на шею.

— Есть состояние? — спросил тот.

— Нет; каких-нибудь сто душонок.

— Что ж! если есть способности, так он пойдет здесь... ведь и вы не с большего начали, а вот, слава Богу...

— Нет! куда! ничего не сделает. Эта глупая восторженность никуда не годится, ах да ох! не привыкнет он 40 к здешнему порядку; где ему сделать карьеру! напрасно приезжал... ну, это уж его дело.

Александр долгом считал любить дядю, но никак не мог привыкнуть к его характеру и образу мыслей.

«Дядюшка у меня, кажется, добрый человек, — писал он в одно утро к Пospelову, — очень умен, только человек весьма прозаический, вечно в делах, в расчетах... Дух его будто прикован к земле и никогда не возносится до чистого, изолированного от земных дрызгов созерцания явлений духовной природы человека. Небо у него неразрывно связано с землей, и мы с ним, кажется, никогда совершенно не сольемся душами. Едучи сюда, я думал, что он, как дядя, даст мне место в сердце, согреет меня

10 в здешней холодной толпе горячими объятьями дружбы; а дружба, ты знаешь, *второе Провиденье!* Но и он есть не что иное, как выражение этой толпы. Я думал делить с ним вместе время, не расставаться ни на минуту, но что встретил? — холодные советы, которые он называет дельными; но пусть они лучше будут недельны, но полны теплого, сердечного участия. Он горд не горд, но враг всяких искренних излияний; мы не обедаем, не ужинаем вместе, никуда не ездим. Приехав, он никогда не расскажет, где был, что делал, и никогда также не

20 говорит, куда едет и зачем, кто у него знакомые, нравится ему что, нет ли, как он проводит время. Никогда не сердит особенно, ни ласков, ни печален, ни весел. Сердцу его чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному. Часто говоришь, и говоришь как вдохновенный пророк, почти как наш великий, незабвенный Иван Семеныч, когда он, помнишь, гремел с кафедры, а мы трепетали в восторге от его огненного взора и слова; а дядюшка? слушает, подняв брови, и смотрит престранно или засмеется как-то по-своему, таким смехом, который

30 леденит у меня кровь, — и прощай вдохновение! Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона... Не верит он *любви* и проч., говорит, что счастья нет, что его никто и не обещал, а что есть просто жизнь, разделяющаяся поровну на добро и зло, на удовольствие, удачу, здоровье, покой, потом на неудовольствие, неудачу, беспокойство, болезни и проч., что на всё на это надо смотреть просто, не забирать себе в голову бесполезных — каково? бесполезных! — вопросов о том, зачем мы созданы да к чему стремимся, что это не наша забота и что от этого мы не

40 видим, что у нас под носом, и не делаем своего дела... только и слышишь о деле! В нем не отличишь, находится ли он под влиянием какого-нибудь наслаждения или прозаического дела: и за счетами, и в театре, всё одинаков; сильных впечатлений не знает и, кажется, не

любит изящного: оно чуждо душе его; я думаю, он не читал даже Пушкина...»

Петр Иванович неожиданно явился в комнату племянника и застал его за письмом.

— Я пришел посмотреть, как ты тут устроился, — сказал дядя, — и поговорить о деле.

Александр вскочил и проворно что-то прикрыл рукой.

— Спрячь, спрячь своей секрет, — сказал Петр Иванович, — я отвернусь. Ну, спрятал? А это что выпало? что это такое?

10

— Это, дядюшка, ничего... — начал было Александр, но смешался и замолчал.

— Кажется, волосы! Подлинно ничего! уж я видел одно, так покажи и то, что спрятал в руке.

Александр, точно уличенный школьник, невольно разжал руку и показал кольцо.

— Что это? откуда? — спросил Петр Иванович.

— Это, дядюшка, вещественные знаки... невещественных отношений...

— Что? что? дай-ка сюда эти знаки.

20

— Это залогов...

— Верно, из деревни привез?

— От Софьи, дядюшка, на память... при прощанье...

— Так и есть. И это ты вез за тысячу пятьсот верст? Дядя покачал головой.

— Лучше бы ты привез еще мешок сушеной малины: ту по крайней мере в лавочку сбыли, а эти залогов...

Он рассматривал то волосы, то колечко; волосы понюхал, а колечко взвесил на руке. Потом взял бумажку со стола, завернул в нее оба знака, сжал всё это в компактный комок и — бац в окно.

30

— Дядюшка! — неистово закричал Александр, схватив его за руку, но поздно: комок перелетел через угол соседней крыши, упал в канал, на край барки с кирпичами, отскочил и прыгнул в воду.

Александр молча, с выражением горького упрека, смотрел на дядю.

— Дядюшка! — повторил он.

— Что?

— Как назвать ваш поступок?

40

— Бросанием из окна в канал невещественных знаков и всякой дряни и пустяков, чего не нужно держать в комнате...

— Пустяков, это пустяки!

— А ты думал что? — половина твоего сердца... Я пришел к нему за делом, а он вон чем занимается — сидит да думает над дрянью!

— Разве это мешает делу, дядюшка?

— Очень. Время проходит, а ты до сих пор мне еще и не помянул о своих намерениях: хочешь ли ты служить, избрал ли другое занятие — ни слова! а всё оттого, что у тебя Софья да знаки на уме. Вон ты, кажется, к ней
10 письмо пишешь? Так?

— Да... я начал было...

— А к матери писал?

— Нет еще, я хотел завтра.

— Отчего же завтра? К матери завтра, а к Софье, которую через месяц надо забыть, сегодня...

— Софью? можно ли ее забыть?

— Должно. Не брось я твоих залогов, так, пожалуй, чего доброго, ты помнил бы ее лишний месяц. Я оказал тебе вдвойне услугу. Через несколько лет эти знаки
20 напомнили бы тебе глупость, от которой бы ты краснел.

— Краснеть от такого чистого, святого воспоминания? это значит не признавать поэзии...

— Какая поэзия в том, что глупо? поэзия, например, в письме твоей тетки! желтый цветок, озеро, какая-то тайна... как я стал читать — мне так стало нехорошо, что и сказать нельзя! чуть не покраснел, а уж я ли не отвык краснеть!

— Это ужасно, ужасно, дядюшка! стало быть, вы никогда не любили?

30 — Знаков терпеть не мог.

— Это какая-то деревянная жизнь! — сказал в сильном волнении Александр, — прозябание, а не жизнь! прозябать *без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви...*

— И без волос! — прибавил дядя.

— Как вы, дядюшка, можете так холодно издеваться над тем, что есть лучшего на земле? ведь это преступление... Любовь... святые волнения!

— Знаю я эту святую любовь: в твои лета только увидят локон, башмак, подвязку, дотронутся до руки —
40 так по всему телу и побежит святая, возвышенная любовь, а дай-ка волю, так и того... Твоя любовь, к сожалению, впереди; от этого никак не уйдешь, а дело уйдет от тебя, если не станешь им заниматься.

— Да разве любовь не дело?

— Нет: приятное развлечение, только не нужно слишком предаваться ему, а то выйдет вздор. От этого я и боюсь за тебя.

Дядя покачал головой.

— Я почти нашел тебе место; ты ведь хочешь служить? — сказал он.

— Ах, дядюшка, как я рад!

Александр бросился и поцеловал дядю в щеку.

— Нашел-таки случай! — сказал дядя, вытирая щеку, — как это я не остерегся! Ну так слушай же. Скажи, что ты знаешь, к чему чувствуешь себя способным? 10

— Я знаю богословие, гражданское, уголовное, естественное и народное права, дипломатию, политическую экономию, философию, эстетику, археологию...

— Постой, постой! а умеешь ли ты порядочно писать по-русски? Теперь пока это нужнее всего.

— Какой вопрос, дядюшка: умею ли писать по-русски! — сказал Александр и побежал к комоду, из которого начал вынимать разные бумаги, а дядя между тем взял со стола какое-то письмо и стал читать. 20

Александр подошел с бумагами к столу и увидел, что дядя читает письмо. Бумаги у него выпали из рук.

— Что это вы читаете, дядюшка? — сказал он в испуге.

— А вот тут лежало письмо, к другу должно быть. Извини, мне хотелось взглянуть, как ты пишешь.

— И вы прочитали его?

— Да, почти — вот только две строки осталось, — сейчас дочитаю; а что? ведь тут секретов нет, иначе бы оно не валялось так... 30

— Что же вы теперь думаете обо мне?...

— Думаю, что ты порядочно пишешь, правильно, гладко...

— Стало быть, вы не прочли, что тут написано? — с живостью спросил Александр.

— Нет, кажется, всё, — сказал Петр Иванович, поглядев на обе страницы, — сначала описываешь Петербург, свои впечатления, а потом меня.

— Боже мой! — воскликнул Александр и закрыл руками лицо. 40

— Да что ты? что с тобой?

— И вы говорите это покойно? вы не сердитесь, не ненавидите меня?

- Нет! из чего мне бесноваться?
- Повторите, успокойте меня.
- Нет, нет, нет.
- Мне всё не верится; докажите, дядюшка...
- Чем прикажешь?
- Обнимите меня.
- Извини, не могу.
- Почему же?

— Потому что в этом поступке разума, то есть смысла,
10 нет, или, говоря словами твоего профессора, сознание не побуждает меня к этому; вот если б ты был женщина — так другое дело: там это делается без смысла, по другому побуждению.

— Чувство, дядюшка, просится наружу, требует порыва, излияния...

— У меня не просится и не требует, да если б и просилось, так я бы воздержался — и тебе тоже советую.

— Зачем же?

— А затем, чтоб после, когда рассмотришь поближе
20 человека, которого обнял, не краснеть за свои объятия.

— Разве не случается, дядюшка, что оттолкнешь человека и после раскаешься?

— Случается; оттого я никогда никого и не отталкиваю.

— Вы и меня не оттолкнете за мой поступок, не назовете чудовищем?

— У тебя кто напишет вздор, тот и чудовище. Этак бы их развелось несметное множество.

— Но читать про себя такие горькие истины — и от
30 кого же? от родного племянника!

— Ты воображаешь, что написал истину?..

— О дядюшка!.. конечно, я ошибся... я переправлю... простите...

— Хочешь, я тебе продиктую истину?..

— Сделайте милость.

— Садись и пиши.

Александр вынул лист бумаги и взял перо, а Петр
Иваныч, глядя на прочтенное им письмо, диктовал:

«Любезный друг».

40 — Написал?

— Написал.

«Петербурга и впечатлений своих описывать тебе не стану».

— «Не стану», — сказал Александр, написав.

«Петербург уже давно описан, а что не описано, то надо видеть самому; впечатления мои тебе ни на что не годятся. Нечего по-пустому тратить время и бумагу. Лучше опишу моего дядю, потому что это относится лично до меня».

— «Дядю», — сказал Александр.

— Ну вот ты пишешь, что я очень добр и умен, — может быть, это и правда, может быть, и нет; возьмем лучше середину, пиши:

«Дядя мой не глуп и не зол, мне желает добра...» 10

— Дядюшка! я умею ценить и чувствовать... — сказал Александр и потянулся поцеловать его.

«Хотя и не вешается мне на шею», — продолжал диктовать Петр Иванович. Александр, не дотянувшись до него, поскорей сел на свое место.

«А желает добра потому, что не имеет причины и побуждения желать зла, и потому, что его просила обо мне моя матушка, которая делала некогда для него добро. Он говорит, что меня не любит, — и весьма основательно: в две недели нельзя полюбить, и я еще не люблю его, 20 хотя и уверяю в противном».

— Как это можно? — сказал Александр.

— Пиши, пиши:

«Но мы начинаем привыкать друг к другу. Он даже говорит, что можно и совсем обойтись без любви. Он не сидит со мной, обнявшись, с утра до вечера, потому что это вовсе не нужно, да ему и некогда».

— «Враг искренних излияний», — это можно оставить: это хорошо. — Написал?

— Написал.

30

— Ну, что у тебя тут еще? «Прозаический дух, демон...» Пиши.

Пока Александр писал, Петр Иванович взял со стола какую-то бумагу, свернул ее, достал огня и закурил сигару, а бумагу бросил и затоптал.

«Дядя мой ни демон, ни ангел, а такой же человек, как и все, — диктовал он, — только не совсем похож на нас с тобой. Он думает и чувствует по-земному, полагает, что если мы живем на земле, так и не надо улетать с нее на небо, где нас теперь пока не спрашивают, а 40 заниматься человеческими делами, к которым мы призваны. Оттого он вникает во все земные дела и, между прочим, в жизнь как она есть, а не как бы нам ее хотелось. Верит в добро и вместе в зло, в прекрасное и

прескверное. Любви и дружбе тоже верит, только не думает, что они упали с неба в грязь, а полагает, что они созданы вместе с людьми и для людей, что их так и надобно понимать и вообще рассматривать вещи пристально, с их настоящей стороны, а не заноситься бог знает куда. Между честными людьми он допускает возможность приязни, которая, от частых сношений и привычки, обращается в дружбу. Но он полагает также, что в разлуке привычка теряет силу и люди забывают друг друга и что это вовсе не преступление. Поэтому он уверяет, что я тебя забуду, а ты меня. Это мне, да и тебе, вероятно, кажется дико, но он советует привыкнуть к этой мысли, отчего мы оба не будем в дураках. О любви он того же мнения, с небольшими оттенками: не верит в неизменную и вечную любовь, как не верит в домовых, — и нам не советует верить. Впрочем, об этом он советует мне думать как можно меньше, а я тебе советую. Это, говорит он, придет само собою — без зову; говорит, что жизнь не в одном только этом состоит, что для этого, как для всего прочего, бывает свое время, а целый век мечтать об одной любви — глупо. Те, которые ищут ее и не могут ни минуты обойтись без нее, — живут сердцем, и еще чем-то хуже, на счет головы. Дядя любит заниматься делом, что советует и мне, а я тебе: мы принадлежим к обществу, говорит он, которое нуждается в нас; занимаясь, он не забывает и себя: дело доставляет деньги, а деньги — комфорт, который он очень любит. Притом у него, может быть, есть намерения, вследствие которых, вероятно, не я буду его наследником. Дядя не всегда думает о службе да о заводе, он знает наизусть не одного Пушкина...»

— Вы, дядюшка? — сказал изумленный Александр.

— Да, когда-нибудь увидишь. Пиши:

«Он читает на двух языках всё, что выходит замечательного по всем отраслям человеческих знаний, любит искусства, имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы — это его вкус, — часто бывает в театре, но не суетится, не мечется, не ахает, не охает, думая, что это ребячество, что надо воздерживать себя, не навязывать никому своих впечатлений, потому что до них никому нет надобности. Он также не говорит диким языком, что советует и мне, а я тебе. Прощай, пиши ко мне пореже и не теряй по-пустому времени. Друг твой такой-то. Ну, месяц и число».

— Как можно послать такое письмо? — сказал Александр, — «пиши пореже» — написать это человеку, который нарочно за сто шестьдесят верст приехал, чтобы сказать последнее прости! «Советую то, другое, третье...» — он не глупее меня: он вышел вторым кандидатом.

— Нужды нет, ты все-таки пошли: может быть, он поумнее станет; это наведет его на разные новые мысли; хоть вы кончили курс, а школа ваша только что начинается.

10

— Я не могу решиться, дядюшка...

— Я никогда не вмешиваюсь в чужие дела, но ты сам просил что-нибудь для тебя сделать; я стараюсь навести тебя на настоящую дорогу и облегчить первый шаг, а ты упрямишься; ну, как хочешь; я говорю только свое мнение, а принуждать не стану; я тебе не нянька.

— Извините, дядюшка: я готов повиноваться, — сказал Александр и тотчас запечатал письмо.

Запечатав одно, он стал искать другое, к Софье. Он поглядел на стол — нет, под столом — тоже нет, в ящике — не бывало.

— Ты чего-то ищешь? — сказал дядя.

— Я ишу другого письма... к Софье.

И дядя стал искать.

— Где же оно? — говорил Петр Иванович, — я, право, не бросал его за окно...

— Дядюшка! что вы наделали? ведь вы им закурили сигару! — горестно сказал Александр и поднял обгорелые остатки письма.

30

— Не-уже-ли? — воскликнул дядя, — да как это я? и не заметил; смотри, пожалуй, сжег такую драгоценность... А впрочем, знаешь что? оно даже, с одной стороны, хорошо...

— Ах, дядюшка, ей-богу, ни с какой стороны не хорошо... — заметил Александр в отчаянии.

— Право, хорошо: с нынешней почтой ты не успеешь написать к ней, а к будущей, уж верно, одумаешься, займешься службой: тебе будет не до того, и, таким образом, сделаешь одной глупостью меньше.

40

— Что ж она подумает обо мне?

— А что хочет. Да я думаю, это полезно и ей. Ведь ты не женишься на ней? Она подумает, что ты ее забыл, забудет тебя сама и меньше будет краснеть перед будущим

своим женихом, когда станет уверять его, что никого, кроме его, не любила.

— Вы, дядюшка, удивительный человек! для вас не существует постоянства, нет святости обещаний... Жизнь так хороша, так полна прелести, неги: она как гладкое, прекрасное озеро...

— На котором растут желтые цветы, что ли? — перебил дядя.

— Как озеро, — продолжал Александр, — она полна ¹⁰ чего-то таинственного, заманчивого, скрывающего в себе так много...

— Тины, любезный.

— Зачем же вы, дядюшка, черпаете тину, зачем так разрушаете и уничтожаете все радости, надежды, блага... смóтрите с черной стороны?

— Я смотрю с настоящей — и тебе тоже советую: в дураках не будешь. С твоими понятиями жизнь хороша там, в провинции, где ее не ведают, — там и не люди живут, а ангелы: вот Заезжалов — святой человек, тетушка ²⁰ твоя — возвышенная, чувствительная душа, Софья, я думаю, такая же дура, как и тетушка, да еще...

— Оканчивайте, дядюшка! — сказал взбешенный Александр.

— Да еще такие мечтатели, как ты: водят носом по ветру, не пахнет ли откуда-нибудь неизменной дружбой да любовью... В сотый раз скажу: напрасно приезжал!

— Станет она уверять жениха, что никого не любила! — говорил почти сам с собою Александр.

— А ты всё свое!

³⁰ — Нет, я уверен, что она прямо, с благородной откровенностью отдаст ему мои письма и...

— И знаки, — сказал Петр Иваныч.

— Да, и залого наших отношений... и скажет: «Вот, вот кто первый пробудил струны моего сердца; вот при ³⁵ чем имени заиграли они впервые...»

У дяди начали подниматься брови и расширяться глаза. Александр замолчал.

— Что ж ты перестал играть на своих струнах? Ну, милый, и подлинно глупа твоя Софья, если сделает такую ⁴⁰ штуку; надеюсь, у нее есть мать или кто-нибудь, кто бы мог остановить ее?

— Вы, дядюшка, решаетесь назвать глупостью этот святейший порыв души, это благородное излияние сердца; как прикажете думать о вас?

— Как тебе заблагорассудится. Жениха своего она заставит подозревать бог знает что; пожалуй, еще и свадьба разойдется, а отчего? оттого, что вы там рвали вместе желтые цветы... Нет, так дела не делаются. Ну так ты по-русски писать можешь, — завтра поедем в департамент: я уж говорил о тебе прежнему своему сослуживцу, начальнику отделения; он сказал, что есть вакансия; терять времени нечего... Это что за кипу ты вытащил?

— А это мои университетские записки. Вот, позвольте прочесть несколько страниц из лекций Ивана Семеныча об искусстве в Греции... 10

Он уж начал было проворно переворачивать страницы.

— Ох, сделай милость, уволь! — сказал, сморщившись, Петр Иванович. — А это что?

— А это мои диссертации. Я желал бы показать их своему начальнику; особенно тут есть один проект, который я обработал...

— А! один из тех проектов, которые тысячу лет уж как исполнены или которых нельзя и не нужно исполнять. 20

— Что вы, дядюшка! да этот проект был представлен одному значительному лицу, любителю просвещения; за это однажды он пригласил меня с ректором обедать. Вот начало другого проекта.

— Отобедай у меня дважды, да только не дописывай другого проекта.

— Почему же?

— Да так, ты теперь хорошего ничего не напишешь, а время уйдет.

— Как! слушавши лекции?.. 30

— Они пригодятся тебе со временем, а теперь смотри, читай, учись да делай, что заставят.

— Как же узнает начальник о моих способностях?

— Мигом узнает: он мастер узнавать. Да ты какое же место хотел бы занять?

— Я не знаю, дядюшка, какое бы...

— Есть места министров, — говорил Петр Иванович, — товарищей их, директоров, вице-директоров, начальников отделений, столоначальников, их помощников, чиновников особых поручений, мало ли? 40

Александр задумался. Он растерялся и не знал, какое выбрать.

— Вот бы на первый раз место столоначальника хорошо, — сказал он.

— Да, хорошо! — повторил Петр Иванович.

— Я бы присмотрелся к делу, дядюшка, а там месяца через два можно бы и в начальники отделения...

Дядя наострил уши.

— Конечно, конечно! — сказал он, — потом через три месяца в директоры, ну а там через год и в министры: так, что ли?

Александр покраснел и молчал.

— Начальник отделения, вероятно, сказал вам, какая
10 есть вакансия? — спросил он потом.

— Нет, — отвечал дядя, — он не говорил, да мы лучше положимся на него; сами-то, видишь, затрудняемся в выборе, а он уж знает, куда определить. Ты ему не говори о своем затруднении насчет выбора, да и о проектах тоже ни слова: пожалуй, еще обидится, что не доверяем ему, да пугнет порядком; он крутенок. Я бы тебе не советовал говорить и о *вещественных знаках* здешним красавицам: они не поймут этого, где им понять! это для них слишком высоко: и я насилу вникнул, а они
20 будут гримасничать.

Пока дядя говорил, Александр ворочал в руке какой-то сверток.

— Что это еще у тебя?

Александр с нетерпением ждал этого вопроса.

— Это... я давно хотел вам показать... стихи: вы однажды интересовались...

— Что-то не помню; кажется, я не интересовался...

— Вот видите, дядюшка, я думаю, что служба —
30 занятие сухое, в котором не участвует душа, а душа жаждет выразиться, поделиться с ближними избытком чувств и мыслей, переполняющих ее...

— Ну так что же? — с нетерпением спросил дядя.

— Я чувствую призвание к творчеству...

— То есть ты хочешь заняться, кроме службы, еще чем-нибудь — так, что ли, в переводе? Что ж, очень похвально: чем же? литературой?

— Да, дядюшка, я хотел просить вас, нет ли у вас случая поместить кое-что...

40 — Уверен ли ты, что у тебя есть талант? без этого ведь ты будешь чернорабочий в искусстве — что ж хорошего? Талант — другое дело: можно работать; много хорошего сделаешь, и притом это капитал — стоит твоих ста душ.

— Вы и это измеряете деньгами?

— А чем же прикажешь? чем больше тебя читают, тем больше платят денег.

— А слава, слава? вот истинная награда певца...

— Она устала нянчиться с певцами: слишком много претендентов. Это прежде, бывало, слава, как женщина, ухаживала за всяким, а теперь, замечаешь ли? ее как будто нет совсем, или она спряталась — да! Есть известность, а славы что-то не слышать, или она придумала другой способ проявляться: кто лучше пишет, тому больше денег, кто хуже — не прогневайся. Зато нынче порядочный писатель и живет порядочно, не мерзнет и не умирает с голода на чердаке, хоть за ним и не бегают по улицам и не указывают на него пальцами, как на шута; поняли, что поэт не небожитель, а человек: так же глядит, ходит, думает и делает глупости, как другие: чего ж тут смотреть?..

— Как другие — что вы, дядюшка! как это можно говорить! Поэт заклеямен особенно печатью: в нем таится присутствие высшей силы...

— Как иногда в других — и в математике, и в часовщике, и в нашем брате, заводчике. Ньютон, Гутенберг, Ватт так же были одарены высшей силой, как и Шекспир, Дант и прочие. Доведи-ка я каким-нибудь процессом нашу парголовскую глину до того, чтобы из нее выходил фарфор лучше саксонского или северского, так ты думаешь, что тут не было бы присутствия высшей силы?

— Вы смешиваете искусство с ремеслом, дядюшка.

— Боже сохрани! Искусство само по себе, ремесло само по себе, а творчество может быть и в том и в другом, так же точно, как и не быть. Если нет его, так ремесленник так и называется ремесленник, а не творец, и поэт без творчества уж не поэт, а сочинитель... Да разве вам об этом не читали в университете? Чему же вы там учились?..

Дяде уж самому стало досадно, что он пустился в такие объяснения о том, что считал общеизвестной истиной.

«Это похоже на искренние излияния», — подумал он. — Покажи-ка, что там у тебя? — спросил он, — стихотворения!

Дядя взял сверток и начал читать первую страницу.

Отколь порой тоска и горе
Внезапной тучей налетят
И, сердце с жизнью поссоря...

— Дай-ка, Александр, огня.
Он закурил сигару и продолжал:

10 В нем рой желаний заменят?
Зачем вдруг сумрачным ненастьем
Падет на душу тяжкий сон,
Каким неведомым несчастьем
Ее смутит внезапно он...

— Одно и то же в первых четырех стихах сказано, и вышла вода, — заметил Петр Иваныч и читал:

Кто отгадает, отчего
Проступит хладными слезами
Вдруг побледневшее чело...

— Как же это так? Чело потом проступает, а слезами — не видывал.

20 И что тогда творится с нами?
Небес далеких тишина
В тот миг ужасна и страшна...

— Ужасна и страшна — одно и то же.
Гляжу на небо: там луна...

— Луна непременно: без нее никак нельзя! Если у тебя тут есть *мечта* и *дева* — ты погиб: я отступаюсь от тебя.

Гляжу на небо: там луна
Безмолвно плавает, сияя,
И мнится, в ней погребена
От века тайна роковая.

30 — Недурно! Дай-ка еще огня... сигара погасла. Где, бишь, — да!

В эфире звезды, притаясь,
Дрожат в изменчивом сиянье
И, будто дружно согласясь,

Хранят коварное молчанье.
Так в мире всё грозит бедой,
Всё зло нам дико предвещает,
Беспечно будто бы качает
Нас в нем обманчивый покой;
И грусти той назва...нья нет...

Дядя сильно зевнул и продолжал:

Она пройдет, умчит и след,
Как перелетный ветр степей
С песков сдувает след зверей.

10

— Ну уж зверей-то тут куда нехорошо! Зачем же тут черта? А! это было о грусти, а теперь о радости...

И он начал скороговоркой читать, почти про себя:

Зато случается порой
Иной в нас демон поселится,
Тогда восторг живой струей
Насильно в душу протеснится...
И затрепещет сладко грудь... и т. д.

— Ни худо, ни хорошо! — сказал он, окончив. — Впрочем, другие начинали и хуже; попробуй, пиши, занимайся, если есть охота; может быть, и обнаружится талант; тогда другое дело.

Александр опечалился. Он ожидал совсем не такого отзыва. Его немного утешало то, что он считал дядю человеком холодным, почти без души.

— Вот перевод из Шиллера, — сказал он

— Довольно; я вижу; а ты знаешь и языки?

— Я знаю по-французски, по-немецки и немного по-английски.

— Поздравляю тебя, давно бы ты сказал; из тебя можно многое сделать. Давеча наскзал мне про политическую экономию, философию, археологию, бог знает про что еще, а о главном ни слова — скромность некстати. Я тебе тотчас найду и литературное занятие.

— Неужели, дядюшка? вот обяжете! — позвольте вас обнять.

— погоди, вот как найду.

— Не покажете ли вы чего-нибудь из моих сочинений будущему моему начальнику, чтоб дать понятие?

40

— Нет, не нужно; если понадобится, ты и сам покажешь, а может быть, и не понадобится. Подари-ка ты мне свои проекты и сочинения?..

— Подарить? — извольте, дядюшка, — сказал Александр, которому польстило это требование дяди. — Не угодно ли, я вам сделаю оглавление всех статей в хронологическом порядке?

— Нет, не нужно... Спасибо за подарок. Евсей! Отнеси эти бумаги к Василью.

10 — Зачем же к Василью? в ваш кабинет.

— Он просил у меня бумаги обклеить что-то...

— Как, дядюшка?.. — в ужасе спросил Александр и схватил кипу назад.

— Ведь ты подарил, а тебе что за дело, какое употребление я сделаю из твоего подарка?..

— Вы не шадите ничего... ничего!.. — с отчаянием стонал он, прижимая бумаги обеими руками к груди.

— Александр, послушайся меня, — сказал дядя, вырывая у него бумаги, — не будешь краснеть после и скажешь мне спасибо.

Александр выпустил бумаги из рук.

— На, отнеси, Евсей, — сказал Петр Иванович. — Ну вот теперь у тебя в комнате чисто и хорошо: пустяков нет; от тебя будет зависеть наполнить ее сором или чем-нибудь дельным. Поедем на завод прогуляться, рассеяться, подышать свежим воздухом и посмотреть, как работают.

Утром Петр Иванович привез племянника в департамент, и пока сам он говорил с своим приятелем — начальником отделения, Александрзнакомился с этим новым для него миром. Он еще мечтал всё о проектах и ломал себе голову над тем, какой государственный вопрос предложат ему решить, между тем всё стоял и смотрел.

«Точно завод моего дяди! — решил он наконец. — Как там один мастер возьмет кусок массы, бросит ее в машину, повернет раз, два, три, — смотришь, выйдет конус, овал или полукруг; потом передает другому, тот сушит на огне, третий золотит, четвертый расписывает, и выйдет чашка, или ваза, или блюдечко. И тут: придет
40 посторонний проситель, подаст, полусогнувшись, с жалкой улыбкой, бумагу — мастер возьмет, едва дотронется до нее пером и передаст другому, тот бросит ее в массу тысячи других бумаг, — но она не затеряется: заклеянная номером и числом, она пройдет невредимо чрез

двадцать рук, плодясь и производя себе подобных. Третий возьмет ее и полезет зачем-то в шкаф, заглянет или в книгу, или в другую бумагу, скажет несколько магических слов четвертому — и тот пошел скрипеть пером. По-скрыпев, передает родительницу с новым чадом пятому — тот скрипит в свою очередь пером, и рождается еще плод, пятый охорашивает его и сдает дальше, и так бумага идет, идет — никогда не пропадает: умрут ее производители, а она всё существует целые веки. Когда, наконец, ее покроет вековая пыль, и тогда еще тревожат ее и 10 советуются с нею. И каждый день, каждый час, и сегодня и завтра, и целый век, бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, без отдыха, как будто нет людей, — одни колеса да пружины...

«Где же разум, оживляющий и двигающий эту фабрику бумаг? — думал Александр, — в книгах ли, в самых ли бумагах или в головах этих людей?»

И какие лица увидел он тут! На улице как будто этикие и не встречаются и не выходят на Божий свет: тут, кажется, они родились, выросли, срослись с своими 20 местами, тут и умрут. Поглядел Адуев пристально на начальника отделения: точно Юпитер-громовержец; откроет рот — и бежит Меркурий с медной бляхой на груди; протянет руку с бумагой — и десять рук тянутся принять ее.

— Иван Иваныч! — сказал он.

Иван Иваныч выскочил из-за стола, подбежал к Юпитеру и стал перед ним как лист перед травой. И Александр оробел, сам не зная отчего.

— Дайте табачку! 30

Тот с подобострастием поднес обеими руками открытую табакерку.

— Да испытайте вот их! — сказал начальник, указывая на Адуева.

«Так вот кто будет меня испытывать! — думал Адуев, глядя на желтую фигуру Ивана Иваныча с обтертыми локтями. — Неужели и этот человек решает государственные вопросы!»

— Хороша ли у вас рука? — спросил Иван Иваныч.

— Рука? 40

— Да-с; почерк. Вот потрудитесь переписать эту бумажку.

Александр удивился этому требованию, но исполнил его. Иван Иваныч сморщился, поглядев на его труд.

— Плохо пишут-с, — сказал он начальнику отделения. Тот поглядел.

— Да, нехорошо: набело не может писать. Ну, пусть пока переписывает отпуска, а там, как привыкнет немного, займите его исполнением бумаг; может быть, он годится: он учился в университете.

Вскоре и Адуев стал одною из пружин машины. Он писал, писал, писал без конца и удивлялся уже, что по утрам можно делать что-нибудь другое; а когда вспоминал
10 о своих проектах, краска бросалась ему в лицо.

«Дядюшка! — думал он, — в одном уж ты прав, немилосердно прав; неужели и во всем так? ужели я ошибался и в заветных, вдохновенных думах, и в теплых верованиях в любовь, в дружбу... и в людей... и в самого себя?.. Что же жизнь?»

Он наклонялся над бумагой и сильнее скрипел пером, а у самого под ресницами сверкали слезы.

— Тебе решительно улыбается фортуна, — говорил Петр Иванович племяннику. — Я сначала целый год без жалованья служил, а ты вдруг поступил на старший оклад;
20 ведь это семьсот пятьдесят рублей, а с наградой тысяча будет. Прекрасно на первый случай! Начальник отделения хвалит тебя; только говорит, что ты рассеян: то запятых не поставишь, то забудешь написать содержание бумаги. Пожалуйста, отвыкни; главное дело — обращай внимание на то, что у тебя перед глазами, а не заносись вон куда!

Дядя указал рукой кверху. С тех пор он сделался еще ласковее к племяннику.

— Какой прекрасный человек мой столоначальник,
30 дядюшка! — сказал однажды Александр.

— А ты почему знаешь?

— Мы сблизились с ним. Такая возвышенная душа, такое честное, благородное направление мыслей! и с помощником также: это, кажется, человек с твердой волей, с железным характером...

— Уж ты успел сблизиться с ними?

— Да, как же!..

— Не звал ли тебя столоначальник к себе по четвергам?

40 — Ах, очень: каждый четверг. Он, кажется, чувствует ко мне особенное влечение...

— А помощник просил денег взаймы?

— Да, дядюшка, безделицу... я ему дал двадцать пять рублей, что со мной было; он просил еще пятьдесят.

— Уж дал! А! — сказал с досадой дядя, — тут отчасти я виноват, что не предупредил тебя; да я думал, что ты не до такой степени прост, чтоб через две недели знакомства давать деньги займы. Нечего делать, грех пополам, двенадцать с полтиной считай за мной.

— Как, дядюшка, ведь он отдаст?

— Держи карман! Я его знаю: за ним пропадает моих сто рублей с тех пор, как я там служил. Он у всех берет. Теперь, если попросит, ты скажи ему, что я прошу его вспомнить мой должок — отстанет! а к столоначальнику не ходи. 10

— Отчего же, дядюшка?

— Он картежник. Посадит тебя с двумя такими же молодцами, как сам, а те стакнутся и оставят тебя без гроша.

— Картежник! — говорил в изумлении Александр, — возможно ли? Кажется, так склонен к искренним излияниям...

— А ты скажи ему, так, между прочим, в разговоре, что я у тебя взял все деньги на сохранение, так и увидишь, склонен ли он к искренним излияниям и позвевт ли когда-нибудь к себе в четвери. 20

Александр задумался. Дядя покачал головой.

— А ты думал, что там около тебя ангелы сидят! *Искренние излияния, особенное влечение!* Как, кажется, не подумать о том прежде: не мерзавцы ли какие-нибудь около? Напрасно ты приезжал! — сказал он, — право, напрасно!

Однажды Александр только что проснулся, Евсей подал ему большой пакет с запиской от дяди. 30

«Наконец вот тебе и литературное занятие, — написано было в записке, — я вчера виделся с знакомым мне журналистом; он прислал тебе для опыта работу».

От радости у Александра дрожали руки, когда он распечатывал пакет. Там была немецкая рукопись.

«Что это — проза? — сказал он, — о чем же?»

И прочитал написанное наверху карандашом:

«*О наземе*, статья для отдела о сельском хозяйстве. Просят перевести поскорее».

Долго, задумчивый, сидел он над статьей, потом медленно, со вздохом, принялся за перо и начал переводить. Через два дня статья была готова и отослана. 40

— Прекрасно, прекрасно! — сказал ему через несколько дней Петр Иванович. — Редактор предоволен, только

находит, что стиль не довольно строг; ну да с первого раза нельзя же всего требовать. Он хочет познакомиться с тобой. Ступай к нему завтра, часов в семь вечера: там он уж приготовил еще статью.

— Опять о том же, дядюшка?

— Нет, о чем-то другом; он мне сказывал, да я забыл... ах да: *о картофельной патоке*. Ты, Александр, должно быть, в сорочке родился. Я, наконец, начинаю надеяться, что из тебя что-нибудь и выйдет: скоро, может ¹⁰ быть, не стану говорить тебе: зачем ты приезжал. Не прошло месяца, а уж со всех сторон так на тебя и льется. Там тысяча рублей, да редактор обещал сто рублей в месяц за четыре печатных листа: это ведь две тысячи двести рублей! Нет! я не так начал! — сказал он, сдвинув немного брови. — Напиши же к матери, что ты пристроен и каким образом. Я тоже стану отвечать ей, напишу, что я, за ее добро ко мне, сделал для тебя всё, что мог.

— Маменька будет вам... очень благодарна, дядюшка, ²⁰ и я также... — сказал Александр со вздохом, но уж не бросился обнимать дядю.

III

Прошло более двух лет. Кто бы узнал нашего провинциала в том молодом человеке с изящными манерами, в щегольском костюме? Он очень изменился, возмужал. Мягкость линий юношеского лица, прозрачность и нежность кожи, пушок на подбородке — всё исчезло. Не стало и робкой застенчивости и грациозной неловкости движений. Черты лица созрели и образовали физиономию, а физиономия обозначила характер. Лилии и розы ³⁰ исчезли, как будто под легким загаром. Пушок заменился небольшими бакенбардами. Легкая и шаткая поступь стала ровною и твердою походкою. В голосе прибавилось несколько басовых нот. Из подмалеванной картины вышел оконченный портрет. Юноша превратился в мужчину. В глазах блистали самоуверенность и отвага — не та отвага, что слышно за версту, что глядит на всё нагло и ухватками и взглядами говорит встречному и поперечному: «Смотри берегись, не задень, не наступи на ногу, ⁴⁰ а не то — понимаешь? с нами расправа коротка!» Нет, выражение той отваги, о которой говорю, не отталкивает, а влечет к себе. Она узнается по стремлению к добру, к

успеху, по желанию уничтожить заграждающие их препятствия... Прежняя восторженность на лице Александра умерялась легким оттенком задумчивости, первым признаком закравшейся в душу недоверчивости и, может быть, единственным следствием уроков дяди и беспощадного анализа, которому тот подвергал всё, что проносилось в глазах и в сердце Александра. Александр усвоил, наконец, и такт, то есть умение обращаться с людьми. Он не бросался всем на шею, особенно с тех пор, как человек, склонный к *искренним излияниям*, несмотря на 10 предостережение дяди, обыграл его два раза, а человек с твердым характером и железной волей перебрал у него немало денег взаймы. И другие люди и случаи много помогли этому. В одном месте он замечал, как исподтишка смеялись над его юношескою восторженностью и прозвали романтиком. В другом — едва обращали на него внимание, потому что от него никому не было *ni chaud, ni froid*.¹ Он не давал обедов, не держал экипажа, не играл в большую игру. Прежде у Александра болело и ныло сердце от этих стычек розовых его мечтаний с 20 действительностью. Ему не приходило в голову спросить себя: да что же я сделал отличного, чем отличился от толпы? Где мои заслуги и за что должны замечать меня? А между тем самолюбие его страдало.

Потом он стал понемногу допускать мысль, что в жизни, видно, не всё одни розы, а есть и шипы, которые иногда покалывают, но слегка только, а не так, как рассказывает дядюшка. И вот он начал учиться владеть собою, не так часто обнаруживал порывы и волнения и реже говорил диким языком, по крайней мере при 30 посторонних.

Но всё еще, к немалому горю Петра Иваныча, он далек был от холодного разложения на простые начала всего, что волнует и потрясает душу человека. О приведении же в ясность всех тайн и загадок сердца он не хотел и слушать.

Петр Иваныч даст ему утром порядочный урок. Александр выслушает, смутится или глубоко задумается, а там поедет куда-нибудь на вечер и воротится сам не свой; дня три ходит как шальной — и дядина теория 40 пойдет вся к черту. Обаяние и чад бальной сферы, гром музыки, обнаженные плечи, огонь взоров, улыбка розо-

¹ ни тепло, ни холодно (*фр.*)

вых уст не дадут ему уснуть целую ночь. Ему мерещится то талия, которой он касался руками, то томный, продолжительный взор, который бросили ему, уезжая, то горячее дыхание, от которого он таял в вальсе, или разговор вполголоса у окна под рев мазурки, когда взоры так искрились, язык говорил бог знает что. И сердце его билось; он с судорожным трепетом обнимал подушку и долго ворочался с боку на бок.

«Где же любовь? О, любви, любви жажду! — говорил он, — и скоро ли придет она? когда настанут эти дивные минуты, эти сладостные страдания, трепет блаженства, слезы...» и проч.

На другой день он являлся к дяде.

— Какой, дядюшка, вчера был вечер у Зарайских! — говорил он, погружаясь в воспоминания о бале.

— Хорош?

— О, дивный!

— Порядочный ужин был?

— Я не ужинал.

20 — Как так? В твои лета не ужинать, когда можно! Да ты, я вижу, не шутя привыкаешь к здешнему порядку, даже уж слишком. Что ж, там всё прилично было? туалеты, освещение...

— Да-с.

— И народ порядочный?

— О да! очень порядочный. Какие глаза, плечи!

— Плечи? у кого?

— Ведь вы про них спрашиваете?

— Про кого?

30 — Да про девиц.

— Нет, я не спрашивал про них; но всё равно — много было хорошеньких?

— О, очень... но жаль, что все они очень однообразны.

Что одна скажет и сделает в таком-то случае, смотришь — то же повторит и другая, как будто затверженный урок.

Была одна... не совсем похожа на других... а то не видно ни самостоятельности, ни характера. И движения, и взгляды — всё одинаково: не услышишь самородной мысли, ни проблеска чувства... всё покрыл и закрасил

40 одинакий лоск. Ничто, кажется, не вызовет их наружу. И неужели это век будет заперто и не обнаружится ни перед кем? Ужели корсет вечно будет подавлять и вздох любви и вопль растерзанного сердца? неужели не даст простора чувству?..

— Перед мужем всё обнаружится, а то, если рассуждать по-твоему, вслух, так, пожалуй, многие и век в девках просидят. Есть дуры, что прежде времени обнаруживают то, что следовало бы прятать да подавлять, ну, зато после слезы да слезы: не расчет!

— И тут расчет, дядюшка?..

— Как и везде, мой милый; а кто не рассчитывает, того называют по-русски безрасчетным дураком. Коротко и ясно.

— Удерживать в груди своей благородный порыв 10
чувства!..

— О, я знаю, ты не станешь удерживать; ты готов на улице, в театре броситься на шею приятелю и зарыдать.

— Так что же, дядюшка? Сказали бы только, что это человек с сильными чувствами, что кто чувствует так, тот способен ко всему прекрасному и благородному и неспособен...

— Неспособен рассчитывать, то есть размышлять. Велика фигура — человек с сильными чувствами, с огромными страстями! Мало ли какие есть темпераменты? 20
Восторги, экзальтация: тут человек всего менее похож на человека и хвастаться нечем. Надо спросить, умеет ли он управлять чувствами; если умеет, то и человек...

— По-вашему, и чувством надо управлять, как паром, — заметил Александр, — то выпустить немного, то вдруг остановить, открыть клапан или закрыть...

— Да, этот клапан недаром природа дала человеку — это рассудок, а ты вот не всегда им пользуешься — жаль! а малый порядочный!

— Нет, дядюшка, грустно слушать вас! лучше позна- 30
комьте меня с этой приезжей барыней...

— С которой? с Любецкой? Она была вчера?

— Была, долго говорила со мной о вас, спрашивала о своем деле.

— Ах да! кстати...

Дядя вынул из ящика бумагу.

— Отвези ей эту бумагу, скажи, что вчера только, и то насилу, выдали из палаты; объясни ей хорошенько дело: ведь ты слышал, как мы с чиновником говорили?

-- Да, знаю, знаю; уж я объясню. 40

Александр обеими руками схватил бумагу и спрятал в карман. Петр Иваныч посмотрел на него.

— Да что ж тебе вздумалось познакомиться с нею? Она, кажется, неинтересна: с бородавкой у носа.

— С бородавкой? Не помню. Как это вы заметили, дядюшка?

— У носа да не заметить! Что ж тебе хочется к ней?

— Она такая добрая и почтенная...

— Как же это ты бородавки у носа не заметил, а уж узнал, что она добрая и почтенная? это странно. Да позволь... у ней ведь есть дочь — эта маленькая брюнетка. А! теперь не удивляюсь. Так вот отчего ты не заметил бородавки на носу!

10 Оба засмеялись.

— А я так удивляюсь, дядюшка, — сказал Александр, — что вы прежде заметили бородавку на носу, чем дочь.

— Подай-ка назад бумагу. Ты там, пожалуй, выпустишь всё чувство и совсем забудешь закрыть клапан, наделаешь вздору и черт знает что объяснишь...

— Нет, дядюшка, не наделаю. И бумаги, как хотите, не подам, я сейчас же...

И он скрылся из комнаты.

20 А дело до сих пор шло да шло своим чередом. В службе заметили способности Александра и дали ему порядочное место. Иван Иваныч и ему с почтением начал подносить свою табакерку, предчувствуя, что он, подобно множеству других, послужив, как он говаривал, без году неделю, обгонит его, сядет ему на шею и махнет в начальники отделения, а там, чего доброго, и в вице-директоры, как вон тот, или в директоры, как этот, а начинали свою служебную школу и тот и этот под его руководством. «А я работай за них!» — прибавлял он. В 30 редакции журнала Александр тоже сделался важным лицом. Он занимался и выбором, и переводом, и поправкою чужих статей, писал и сам разные теоретические взгляды о сельском хозяйстве. Денег у него, по его мнению, было больше, нежели сколько нужно, а по мнению дяди, еще недовольно. Но не всегда он работал для денег. Он не отказывался от отрадной мысли о другом, высшем призвании. Юношеских его сил ставало на всё. Он крал время у сна, у службы и писал и стихи, и повести, и исторические очерки, и биографии. Дядя 40 уж не обклеивал перегородок его сочинениями, а читал их молча, потом посвистывал или говорил: «Да! это лучше прежнего». Несколько статей явилось под чужим именем. Александр с радостным трепетом прислушивался к одобрителюному суду друзей, которых у него было множество

и на службе, и по кондитерским, и в частных домах. Исполнялась его лучшая, после любви, мечта. Будущность обещала ему много блеску, торжества; его, казалось, ожидал не совсем обыкновенный жребий, как вдруг...

Мелькнуло несколько месяцев. Александра стало почти нигде не видно, как будто он пропал. Дядю он посещал реже. Тот приписывал это его занятиям и не мешал ему. Но редактор журнала однажды, при встрече с Петром Ивановичем, жаловался, что Александр задерживает статьи. Дядя обещал, при первом случае, объясниться с племянником. Случай представился дня через три. Александр 10
вбежал утром к дяде как сумасшедший. В его походке и движениях видна была радостная суетливость.

— Здравствуйте, дядюшка; ах, как я рад, что вас вижу! — сказал он и хотел обнять его, но тот успел уйти за стол.

— Здравствуй, Александр! Что это тебя давно не видно?

— Я... занят был, дядюшка: делал извлечения из немецких экономистов... 20

— А! что ж редактор лжет? Он третьего дня сказал мне, что ты ничего не делаешь, — прямой журналист! Я ж его, при встрече, отделаю...

— Нет, вы ему ничего не говорите, — перебил Александр, — я ему еще не посылал своей работы, оттого он так и сказал...

— Да что с тобой? у тебя такое праздничное лицо! Ассессора, что ли, тебе дали или крест?

Александр мотал головой.

— Ну, деньги? 30

— Нет.

— Так что ж ты таким полководцем смотришь? Если нет, так не мешай мне, а вот лучше сядь да напиши в Москву, к купцу Дубасову, о скорейшей высылке остальных денег за посуду. Прочти его письмо: где оно? вот.

Оба замолчали и начали писать.

— Кончил! — сказал Александр через несколько минут.

— Проворно: молодец! Покажи-ка. Что это? Ты ко мне пишешь. «Милостивый государь Петр Иванович!» Его зовут Тимофей Никонич. Как пятьсот двадцать рублей! 40
пять тысяч двести! Что с тобой, Александр?

Петр Иванович положил перо и поглядел на племянника. Тот покраснел.

— Вы ничего не замечаете в моем лице? — спросил он.

— Что-то глуповато... Пстой-ка... Ты влюблен? — сказал Петр Иванович.

Александр молчал.

— Так, что ли? угадал?

Александр, с торжественной улыбкой, с сияющим взором, кивнул утвердительно головой.

— Так и есть! Как это я сразу не догадался? Так вот отчего ты стал лениться, от этого и не видать тебя нигде. А Зарайские и Скачины пристают ко мне: где да где Александр Федорыч? а он вон где — на седьмом небе!

Петр Иванович стал опять писать.

— В Надиньку Любецкую! — сказал Александр.

— Я не спрашивал, — отвечал дядя, — в кого бы ни было — всё одна дурь. В какую Любецкую? это что с бородавкой?

— Э! дядюшка! — с досадой перебил Александр, — какая бородавка?

— У самого носа. Ты всё еще не разглядел?

— Вы всё смешиваете. Это, кажется, у матери есть бородавка около носа.

— Ну всё равно.

— Всё равно! Надинька! этот ангел! неужели вы не заметили ее? Видеть однажды — и не заметить!

— Да что ж в ней особенного? Чего ж тут замечать? ведь бородавки, ты говоришь, у ней нет?..

— Далась вам эта бородавка! Не грешите, дядюшка: можно ли сказать, что она похожа на этих светских, чопорных марионеток? Вы рассмотрите ее лицо: какая тихая, глубокая дума покоится на нем! Это — не только чувствующая, это мыслящая девушка... глубокая натура...

Дядя принялся скрипеть пером по бумаге, а Александр продолжал:

— В разговоре у ней вы не услышите пошлых, общих мест. Каким светлым умом блещут ее суждения! что за огонь в чувствах! как глубоко понимает она жизнь! Вы своим взглядом отравляете ее, а Надинька мирит меня с нею.

Александр замолчал на минуту и погрузился совсем в мечту о Надиньке. Потом начал опять.

— А когда она поднимет глаза, вы сейчас увидите, какому пылкому и нежному сердцу служат они проводником! а голос, голос! что за мелодия, что за нега в нем!

Но когда этот голос прозвучит признанием... нет выше блаженства на земле! Дядюшка! как прекрасна жизнь! как я счастлив!

У него выступили слезы; он бросился и с размаху обнял дядю.

— Александр! — вскричал, вскочив с места, Петр Иваныч, — закрой скорей свой клапан — весь пар выпустил! Ты сумасшедший! смотри, что ты наделал! в одну секунду ровно две глупости: перемял прическу и закапал письмо. Я думал, ты совсем отстал от своих привычек. Давно ты не был таким. Посмотри, посмотри, ради Бога, на себя в зеркало: ну может ли быть глупее физиономия? а неглуп!

— Ха-ха-ха! я счастлив, дядюшка!

— Это заметно!

— Не правда ли? в моем взоре, я знаю, блещет гордость. Я гляжу на толпу, как могут глядеть только герой, поэт и влюбленный, счастливый взаимною любовью...

— И как сумасшедшие смотрят или еще хуже... Ну что я теперь стану делать с письмом?

— Позвольте, я соскоблю — и незаметно будет, — сказал Александр. Он бросился к столу с тем же судорожным трепетом, начал скоблить, чистить, тереть и протер на письме скважину. Стол от трения зашатался и толкнул этажерку. На этажерке стоял бюстик, из итальянского алебастра, Софокла или Эсхила. Почтенный трагик от сотрясения сначала раза три качнулся на зыбком пьедестале взад и вперед, потом свергнулся с этажерки и разбился вдребезги.

— Третья глупость, Александр! — сказал Петр Иваныч, поднимая черепки, — а это пятьдесят рублей стоит.

— Я заплачу, дядюшка, о! я заплачу, но не проклинайте моего порыва: он чист и благороден: я счастлив, счастлив! Боже! как хороша жизнь!

Дядя сморщился и покачал головой.

— Когда ты умнее будешь, Александр? Бог знает что говорит!

Он между тем с сокрушением смотрел на разбитый бюст.

— «Заплачу! — сказал он, — заплачу». Это будет четвертая глупость. Тебе, я вижу, хочется рассказать о своем счастье. Ну, нечего делать. Если уж дяди обречены принимать участие во всяком вздоре своих племянников,

так и быть, я даю тебе четверть часа: сиди смиренно, не сделай какой-нибудь пятой глупости и рассказывай, а потом, после этой новой глупости, уходи: мне некогда. Ну... ты счастлив... так что же? рассказывай же поскорее.

— Если и так, дядюшка, то эти вещи не рассказываются, — с скромной улыбкой заметил Александр.

— Я было приготовил тебя, а ты, я вижу, все-таки хочешь начать с обыкновенных прелюдий. Это значит, ¹⁰ что рассказ продолжится целый час; мне некогда: почта не будет ждать. Постой, уж я лучше сам расскажу.

— Вы? вот забавно!

— Ну слушай же, очень забавно! Ты вчера виделся с своей красавицей наедине...

— А вы почему знаете? — с жаром начал Александр, — вы подсылаете смотреть за мной?

— Как же, я содержу для тебя шпионов на жалованье. С чего ты взял, что я так забочусь о тебе? мне что за ²⁰ дело?

Эти слова сопровождались ледяным взглядом.

— Так почему же вы знаете? — спросил Александр, подходя к дяде.

— Сиди, сиди, ради Бога, и не подходи к столу, что-нибудь разобьешь. У тебя на лице всё написано, я отсюда буду читать. Ну, у вас было объяснение, — сказал он.

Александр покраснел и молчал. Видно, что дядя опять попал.

— Вы оба, как водится, были очень глупы, — говорил ³⁰ Петр Иваныч.

Племянник сделал нетерпеливое движение.

— Дело началось с пустяков, когда вы остались одни, с какого-нибудь узора, — продолжал дядя, — ты спросил, кому она вышивает? она отвечала «маменьке или тетеньке» или что-нибудь подобное, а сами вы дрожали как в лихорадке...

— А вот нет, дядюшка, не угадали: не с узора; мы были в саду... — проговорился Александр и замолчал.

— Ну с цветка, что ли, — сказал Петр Иваныч, — ⁴⁰ может быть, еще с желтого, всё равно; тут что попадетя в глаза, лишь бы начать разговор; так-то слова с языка нейдут. Ты спросил, нравится ли ей цветок; она отвечала да — почему, дескать? «Так», — сказала она, и замолчали оба, потому что хотели сказать совсем другое и разговор

не вязался. Потом взглянули друг на друга, улыбнулись и покраснели.

— Ах, дядюшка, дядюшка, что вы!.. — говорил Александр в сильном смущении.

— Потом, — продолжал неумолимый дядя, — ты начал стороной говорить о том, что вот-де перед тобой открылся новый мир. Она вдруг взглянула на тебя, как будто слушает неожиданную новость; ты, я думаю, стал в тупик, растерялся, потом опять чуть внятно сказал, что только теперь ты узнал цену жизни, что и прежде ты 10 видал ее... как ее? Марья, что ли?

— Надинька.

— Но видал как будто во сне, предчувствовал встречу с ней, что вас свела симпатия и что, дескать, теперь ты посвятишь ей одной все стихи и прозу... А руками-то, я думаю, как работал! верно, опрокинул или разбил что-нибудь.

— Дядюшка! вы подслушали нас! — вскричал вне себя Александр.

— Да, я там за кустом сидел. Мне ведь только и дела, 20 что бегать за тобой да подслушивать всякий вздор.

— Почему же вы всё это знаете? — спросил с недоумением Александр.

— Мудрено! с Адама и Евы одна и та же история у всех, с маленькими вариантами. Узнай характер действующих лиц, узнаешь и варианты. Это удивляет тебя, а еще писатель! Вот теперь и будешь прыгать и скакать дня три как помешанный, вешаться всем на шею — только, ради Бога, не мне. Я тебе советовал бы запереться на это время в своей комнате, выпустить там весь этот 30 пар и проделать все проделки с Евсеем, чтобы никто не видал. Потом немного одумаешься, будешь добиваться уж другого, поцелуя например...

— Поцелуй Надиньки! о, какая высокая, небесная награда! — почти заревел Александр.

— Небесная!

— Что же — материальная, земная, по-вашему?

— Без сомнения, действие электричества; влюбленные — всё равно что две лейденские банки: оба сильно заряжены; поцелуями электричество разрешается, и когда 40 разрешится совсем — прости любовь, следует охлаждение...

— Дядюшка...

— Да! а ты думал как?

— Какой взгляд! какие понятия!

— Да, я забыл: у тебя еще будут фигурировать «вещественные знаки». Опять нанесешь всякой дряни и будешь задумываться да разглядывать, а дело в сторону.

Александр вдруг схватился за карман.

— Что, уж есть? будешь делать всё то же, что люди делают с сотворения мира.

— Стало быть, то же, что и вы делали, дядюшка?

— Да, только поглупее.

10 — Поглупее! Не называете ли вы глупостью то, что я буду любить глубже, сильнее вас, не издеваться над чувством, не шутить и не играть им холодно, как вы... и не сдергивать покрывала с священных тайн...

— Ты будешь любить, как и другие, ни глубже, ни сильнее; будешь также сдергивать и покрывало с тайн... но только ты будешь верить в вечность и неизменность любви да об одном этом и думать, а вот это-то и глупо: сам себе готовишь горя более, нежели сколько бы его должно быть.

20 — О, это ужасно, ужасно, что вы говорите, дядюшка! Сколько раз я давал себе слово таить перед вами то, что происходит в сердце.

— Зачем же не сдержал? Вот пришел — помешал мне...

— Но ведь вы одни у меня, дядюшка, близкие: с кем же мне разделить этот избыток чувств? а вы без милосердия вонзаете свой анатомический нож в самые тайные изгибы моего сердца.

30 — Я это не для своего удовольствия делаю: ты сам просил моих советов. От скольких глупостей я остерег тебя!..

— Нет, дядюшка, пусть же я буду вечно глуп в ваших глазах, но я не могу существовать с такими понятиями о жизни, о людях. Это больно, грустно! тогда мне не надо жизни, я не хочу ее при таких условиях — слышите ли? я не хочу.

— Слышу; да что ж мне делать? ведь не могу же я тебя лишить ее.

40 — Да! — говорил Александр, — вопреки вашим предсказаниям я буду счастлив, буду любить вечно и однажды.

— Ох нет! Я предчувствую, что ты еще много кое-чего перебеешь у меня. Но это бы всё ничего: любовь любовью; никто не мешает тебе; не нами заведено заниматься особенно прилежно любовью в твои лета, но,

однако ж, не до такой степени, чтобы бросать дело; любовь любовью, а дело делом...

— Да я делаю извлечения из немецких...

— Полно, никаких ты извлечений не делаешь, предаешься только *сладостной неге*, а редактор откажет тебе...

— Пусть его! я не нуждаюсь. Могу ли я думать теперь о презренной пользе, когда...

— *О презренной пользе!* презренная! Ты уж лучше построй в горах хижину, ешь хлеб с водой и пей:

Мне хижина убога
С тобою будет рай... —

10

но только как не станет у тебя «презренного металла», у меня не проси — не дам...

— Я, кажется, не часто беспокоил вас.

— До сих пор, слава Богу, нет, а может случиться, если бросишь дело; любовь тоже требует денег: тут и лишнее щегольство, и разные другие траты... Ох эта мне любовь в двадцать лет! вот уж презренная так презренная, никуда не годится!

— Какая же, дядюшка, годится? в сорок?

20

— Я не знаю, какова любовь в сорок лет, а в тридцать девять...

— Как ваша?

— Пожалуй, как моя.

— То есть никакая.

— Ты почему знаешь?

— Будто вы можете любить?

— Почему же нет? разве я не человек, или разве мне восемьдесят лет? Только если я люблю, то люблю разумно, помню себя, не бью и не опрокидываю ничего.

30

— Разумная любовь! хороша любовь, которая помнит себя! — насмешливо заметил Александр, — которая ни на минуту не забудется...

— Дикая, животная, — перебил Петр Иваныч, — не помнит, а разумная должна помнить; в противном случае это не любовь...

— А что же?..

— Так, гнусность, как ты говоришь.

— Вы... любите! — говорил Александр, глядя недоверчиво на дядю, — ха-ха-ха!

40

Петр Иваныч молча писал.

— Кого же, дядюшка? — спросил Александр.

— Тебе хочется знать?

— Хотелось бы.

— Свою невесту.

— Не... невесту! — едва выговорил Александр, вскочив с места и подходя к дяде.

— Не близко, не близко, Александр, закрой клапан! — заговорил Петр Иванович, увидя, какие большие глаза сделал племянник, и проворно придвинул к себе разные мелкие вещицы, бюстики, фигурки, часы и чер-

10 нилицу.

— Стало быть, вы женитесь? — спросил Александр с тем же изумлением.

— Стало быть.

— И вы так покойны! пишете в Москву письма, разговариваете о посторонних предметах, ездите на завод и еще так адски холодно рассуждаете о любви!

— Адски холодно — это ново! в аду, говорят, жарко. Да что ты на меня смотришь так дико?

— Вы — женитесь!

20 — Что ж тут удивительного? — спросил Петр Иванович, положив перо.

— Как что? женитесь — и ни слова мне!

— Извини, я забыл попросить у тебя позволения.

— Не просить позволения, дядюшка, а надо же мне знать. Родной дядя женится, а я ничего не знаю, мне и не сказали!..

— Вот ведь сказал.

— Сказали, потому что кстати пришлось.

— Я стараюсь, по возможности, всё делать кстати.

30 — Нет, чтоб первому мне сообщить вашу радость: вы знаете, как я люблю вас и как разделяю...

— Я вообще избегаю дележа, а в женитьбе и подавно.

— Знаете что, дядюшка? — сказал Александр с живостью, — может быть... нет, не могу таиться перед вами... Я не таков, всё выскажу...

— Ох, Александр, некогда мне; если новая история, так нельзя ли завтра?

— Я хочу только сказать, что, может быть... и я близок к тому же счастью...

40 — Что, — спросил Петр Иванович, слегка наострив уши, — это что-то любопытно...

— А! любопытно? так и я помучаю вас: не скажу.

Петр Иванович равнодушно взял пакет, вложил туда письмо и начал запечатывать.

— И я, может быть, женюсь! — сказал Александр на ухо дяде.

Петр Иванович не допечатал письма и поглядел на него очень серьезно.

— Закрой клапан, Александр! — сказал он.

— Шутите, шутите, дядюшка, а я говорю не шутя. Попрошу у маменьки позволения.

— Тебе жениться!

— А что же?

— В твои лета!

— Мне двадцать три года.

— Пора! В эти лета женятся только мужики, когда им нужна работница в доме.

— Но если я влюблен в девушку и есть возможность жениться, так, по-вашему, не нужно...

— Я тебе никак не советую жениться на женщине, в которую ты влюблен.

— Как, дядюшка? это новое; я никогда не слыхал.

— Мало ли ты чего не слыхал!

— Я думал всё, что супружества без любви не должно 20 быть.

— Супружество супружеством, а любовь любовью, — сказал Петр Иванович.

— Как же жениться... по расчету?

— С расчетом, а не по расчету. Только расчет этот должен состоять не в одних деньгах. Мужчина так создан, чтоб жить в обществе женщины; ты и станешь рассчитывать, как бы жениться, станешь искать, выбирать между женщинами...

— Искать, выбирать! — с изумлением сказал Алек- 30 сандр.

— Да, выбирать. Поэтому-то и не советую торопиться жениться, когда влюбишься. Ведь любовь пройдет — это уж пошлая истина.

— Это самая грубая ложь и клевета.

— Ну, теперь тебя не убедишь; увидишь сам со временем, а теперь запомни мои слова только: любовь пройдет, повторяю я, и тогда женщина, которая казалась тебе идеалом совершенства, может быть, покажется очень несовершенною, а делать будет нечего. Любовь заслонит 40 от тебя недостаток качеств, нужных для жены. Тогда как выбирая, ты хладнокровно рассудишь, имеет ли такая-то или такая женщина качества, какие хочешь видеть в жене: вот в чем главный расчет. И если отыщешь такую

женщину, она непременно должна нравиться тебе постоянно, потому что отвечает твоим желаниям. Из этого возникнут между ею и тобою близкие отношения, которые потом образуют...

— Любовь? — спросил Александр.

— Да... привычку.

— Жениться без увлечения, без поэзии любви, без страсти, рассуждать, как и зачем!!

10 — А ты ведь женился бы, не рассуждая и не спрашивая себя: зачем? так точно, как, поехавши сюда, тоже не спросил себя: зачем?

— Так вы женитесь по расчету? — спросил Александр.

— С расчетом, — заметил Петр Иванович.

— Это всё равно.

— Нет, по расчету значит жениться для денег — это низко; но жениться без расчета — это глупо!.. а тебе теперь вовсе не следует жениться.

— Когда же жениться? Когда состареюсь? Зачем я буду следовать нелепым примерам.

20 — В том числе и моему? спасибо!

— Я не про вас говорю, дядюшка, а про всех вообще. Услышишь о свадьбе, пойдешь посмотреть — и что же? видишь прекрасное, нежное существо, почти ребенка, которое ожидало только волшебного прикосновения любви, чтобы развернуться в пышный цветок, и вдруг ее отрывают от кукол, от няни, от детских игр, от танцев, и слава Богу, если только от этого; а часто не заглянут в ее сердце, которое, может быть, не принадлежит уже ей. Ее одевают в газ, в блонды, убирают цветами и, 30 несмотря на слезы, на бледность, влекут, как жертву, и ставят — подле кого же? подле пожилого человека, по большей части некрасивого, который уж утратил блеск молодости. Он или бросает на нее взоры оскорбительных желаний, или холодно осматривает ее с головы до ног, а сам думает, кажется: «Хороша ты, да, чай, с блажью в голове: любовь да розы, — я уйму эту дурь, это — глупости! у меня полно вздыхать да мечтать, а веди себя пристойно» — или еще хуже — мечтает об ее имени. Самому молодому мало-мало тридцать лет. Он часто с 40 лысиною, правда с крестом или иногда со звездой. И говорят ей: «Вот кому обречены все сокровища твоей юности, ему и первое биение сердца, и признание, и взгляды, и речи, и девственные ласки, и вся жизнь». А кругом толпой теснятся те, кто по молодости и красоте

под пару ей и кому бы надо было стать рядом с невестой. Они пожирают взглядами бедную жертву и как будто говорят: «Вот когда мы истощим свежесть, здоровье, оплешивеем, и мы женимся, и нам достанется такой же пышный цветок...» Ужасно!..

— Дико, нехорошо, Александр! пишешь ты уж два года, — сказал Петр Иванович, — и о наземе, и о картофеле, и о других серьезных предметах, где стиль строгий, сжатый, а всё еще дико говоришь. Ради Бога, не предавайся экстазу, или по крайней мере как эта дурь найдется на тебя, так уж молчи, дай ей пройти, путного ничего не скажешь и не сделаешь: выйдет непременно нелепость. 10

— Как, дядюшка, а разве не в экстазе родится мысль поэта?

— Я не знаю, как она родится, а знаю, что выходит совсем готовая из головы, то есть когда обрабатывается размышлением: тогда только она и хороша. Ну а по-твоему, — начал, помолчав, Петр Иванович, — за кого же бы выдавать эти прекрасные существа? 20

— За тех, кого они любят, кто еще не утратил блеска юношеской красоты, в ком и в голове и в сердце — всюду заметно присутствие жизни, в глазах не угас еще блеск, на щеках не остыл румянец, не пропала свежесть — признаки здоровья; кто бы не истощенной рукой повел по пути жизни прекрасную подругу, а принес бы ей в дар сердце, полное любви к ней, способное понять и разделить ее чувства, когда права природы...

— Довольно! то есть за таких молодцов, как ты. Если б мы жили *среди полей и лесов дремучих* — так, а то жени вот такого молодца, как ты, — много будет проку! в первый год с ума сойдет, а там и пойдет заглядывать за кулисы или даст в соперницы жене ее же горничную, потому что права-то природы, о которых ты толкуешь, требуют перемены, новостей — славный порядок! а там и жена, заметив мужнины проказы, полюбит вдруг каски, наряды да маскарады и сделает тебе того... а без состояния так еще хуже! есть, говорит, нечего! 30

Петр Иванович сделал кислую мину. 40

— «Я, говорит, женат, — продолжал он, — у меня, говорит, уж трое детей, помогите, не могу прокормиться, я беден...» — беден! какая мерзость! нет, я надеюсь, что ты не попадешь ни в ту, ни в другую категорию.

— Я попаду в категорию счастливых мужей, дядюшка, а Надинька — счастливых жен. Не хочу жениться, как женится ббольшая часть: наладили одну песню: «Молодость прошла, одиночество наскучило, так надо жениться!» Я не таков!

— Бредишь, милый.

— Да почему вы знаете?

— Потому что ты такой же человек, как другие, а других я давно знаю. Ну скажи-ка ты, зачем женишься?

10 — Как зачем! Надинька — жена моя! — воскликнул Александр, закрыв лицо руками.

— Ну что? видишь — и сам не знаешь.

— У! дух замирает от одной мысли. Вы не знаете, как я люблю ее, дядюшка! я люблю, как никогда никто не любил: всеми силами души — ей всё...

— Лучше бы ты, Александр, выбранил или, уж так и быть, обнял меня, чем повторять эту глупейшую фразу! Как это у тебя язык поворотился? «как никогда никто не любил!»

20 Петр Иваныч пожал плечами.

— Что ж, разве это не может быть?

— Впрочем, точно, глядя на твою любовь, я думаю, что это даже возможно: глупее любить нельзя!

— Но она говорит, что надо ждать целый год, что мы молоды, должны испытать себя... целый год... и тогда...

— Год! а! давно бы ты сказал! — перебил Петр Иваныч, — это она предложила? Какая же она умница! Сколько ей лет?

— Восемнадцать.

30 — А тебе — двадцать три: ну, брат, она в двадцать три раза умнее тебя. Она, как я вижу, понимает дело: с тобою она пошалит, покочетничает, время проведет весело, а там... есть между этими девчонками преумные! Ну так ты не женишься. Я думал, ты хочешь это как-нибудь поскорее повернуть, да тайком. В твои лета эти глупости так проворно делаются, что не успеешь и помешать; а то через год! до тех пор она еще надует тебя...

— Она — надует, кокетничает! девчонка! она, Надинька! фи, дядюшка! С кем вы жили всю жизнь, с кем имели

40 дела, кого любили, если у вас такие черные подозрения?..

— Жил с людьми, любил женщину.

— Она обманет! Этот ангел, эта олицетворенная искренность, женщина, какую, кажется, Бог впервые создал во всей чистоте и блеске...

— А все-таки женщина, и, вероятно, обманет.

— Вы после этого скажете, что и я надую?

— Со временем — да, и ты.

— Я! про тех, кого вы не знаете, вы можете заключать что угодно; но меня — не грех ли вам подозревать в такой гнусности? Кто же я в ваших глазах?

— Человек.

— Не все одинаковы. Знайте же, что я, не шутя, искренно дал ей обещание любить всю жизнь; я готов подтвердить это клятвой...

10

— Знаю, знаю! Порядочный человек не сомневается в искренности клятвы, когда дает ее женщине, а потом изменит или охладет, и сам не знает как. Это делается не с намерением, и тут никакой гнусности нет, некого винить: природа вечно любить не позволила. И верующие в вечную и неизменную любовь делают то же самое, что и неверующие, только не замечают или не хотят сознаться; мы, дескать, выше этого, не люди, а ангелы — глупость!

— Как же есть любовники, супруги, которые вечно 20 любят друг друга и всю жизнь живут?..

— Вечно! кто две недели любит, того называют втреником, а два-три года — так уж и вечно! Разбери-ка, как любовь создана, и сам увидишь, что она не вечна! Живость, пылкость и лихорадочность этого чувства не дают ему быть продолжительным. Любовники, супруги живут всю жизнь вместе — правда! да разве любят всю жизнь друг друга? будто их всегда связывает первоначальная любовь? будто они ежеминутно ищут друг друга, глядят и не наглядятся? Куда под конец денутся мелочные 30 угождения, беспрестанная внимательность, жажда быть вместе, слезы, восторги — все эти вздоры? Холодность и неповоротливость мужей вошли в пословицу. «Их любовь обращается в дружбу!» — говорят все важно: так вот уж и не любовь! Дружба! А что это за дружба? Мужа с женой связывают общие интересы, обстоятельства, одна судьба, — вот и живут вместе; а нет этого, так и расходятся, любят других, — иной прежде, другой после: это называется изменой!.. А живучи вместе, живут потом привычкой, которая, скажу тебе на ухо, сильнее всякой любви: 40 недаром называют ее второй натурой; иначе бы люди не перестали терзаться всю жизнь в разлуке или по смерти любимого предмета, а ведь утешаются. А то наладили: вечно, вечно!.. не разберут да и кричат.

— Как же вы, дядюшка, не опасаетесь за себя? Стало быть, и ваша невеста... извините... надует вас?..

— Не думаю.

— Какое самолюбие!

— Это не самолюбие, а расчет.

— Опять расчет!

— Ну, размышление, если хочешь.

— А если она влюбится в кого-нибудь?

10 — До этого не надо допускать; а если б и случился такой грех, так можно поискуснее расхолодить.

— Будто это можно? разве в вашей власти...

— Весьма.

— Этак бы делали все обманутые мужья, — сказал Александр, — если б был способ...

— Не все мужья одинаковы, мой милый: одни очень равнодушны к своим женам, не обращают внимания на то, что делается вокруг них, и не хотят заметить; другие из самолюбия и хотели бы, да плохи: не умеют взяться за дело.

20 — Как же вы сделаете?

— Это мой секрет; тебе не втолкуешь: ты в горячке.

— Я счастлив теперь и благодарю Бога; а о том, что будет впереди, и знать не хочу.

— Первая половина твоей фразы так умна, что хоть бы не влюбленному ее сказать: она показывает умение пользоваться настоящим; а вторая, извини, никуда не годится. «Не хочу знать, что будет впереди», то есть не хочу думать о том, что было вчера и что есть сегодня; не стану ни соображать, ни размышлять, не приготовлюсь 30 к тому, не остерегусь этого, так, куда ветер подует! Помилуй, на что это похоже?

— А по-вашему, как же, дялюшка? Настанет миг блаженства, надо взять увеличительное стекло да и рассматривать...

— Нет, уменьшительное, чтоб с радости не одуреть вдруг, не вешаться всем на шею.

— Или придет минута грусти, — продолжал Александр, — так ее рассматривать в ваше уменьшительное стекло?

40 — Нет, грусть в увеличительное: легче перенести, когда вообразишь неприятность вдвое больше, нежели она есть.

— Зачем же, — продолжал Александр с досадой, — я буду убивать вначале всякую радость холодным размыш-

лением, не упившись ею, думать: вот она изменит, пройдет? зачем буду терзаться заранее горем, когда оно не настало?

— А зато когда настанет, — перебил дядя, — так подумаешь — и горе пройдет, как проходило тогда-то и тогда-то, и со мной, и с тем, и с другим. Надеюсь, это не дурно и стоит обратить на это внимание; тогда и терзаться не станешь, когда разглядишь переменчивость всех шансов в жизни; будешь хладнокровен и покоен, сколько может быть покоен человек.

10

— Так вот где тайна вашего спокойствия! — задумчиво сказал Александр.

Петр Иваныч молчал и писал.

— Но что ж за жизнь! — начал Александр, — не забьтсья, а всё думать, думать... нет, я чувствую, что это не так! Я хочу жить без вашего холодного анализа, не думая о том, ожидает ли меня впереди беда, опасность или нет — всё равно!.. Зачем я буду думать заранее и отравлять...

— Ведь я говорю зачем, а он всё свое! Не заставь 20
меня сделать на твой счет какого-нибудь обидного сравнения. Затем, что когда предвидишь опасность, препятствие, беду, так легче бороться с ней или перенести ее: ни с ума не сойдешь, ни умрешь; а когда придет радость, так не будешь скакать и опрокидывать бюстов — ясно ли? Ему говорят: вот начало, смотри же, соображай по этому конец, а он закрывает глаза, мотает головой, как при виде пугала какого-нибудь, и живет по-детски. По-твоему, живи день за днем, как живется, сиди у порога своей хижины, измеряй жизнь обедами, танцами, 30
любовью да неизменной дружбой. Всё хотят золотого века! Уж я сказал тебе, что с твоими идеями хорошо сидеть в деревне, с бабой да полдюжиной ребят, а здесь надо дело делать; для этого беспрестанно надо думать и помнить, что делал вчера, что делаешь сегодня, чтобы знать, что нужно делать завтра, то есть жить с непрерывной поверкой себя и своих занятий. С этим дойдем до чего-нибудь дельного; а так... Да что с тобою толковать: ты теперь в бреде. Ай! скоро час. Ни слова больше, Александр; уходи... и слушать не стану; завтра обедай у 40
меня, кое-кто будет.

— Не друзья ли ваши?

— Да... Конев, Смирнов, Федоров, — ты их знаешь, и еще кое-кто...

— Конев, Смирнов, Федоров! да это те самые люди, с которыми вы имеете дела.

— Ну да; всё нужные люди.

— Так это у вас друзья? В самом деле не видывал, чтоб вы кого-нибудь принимали с особенною горячностью.

— Я уж тебе сказывал, что друзьями я называю тех, с кем чаще вижусь, которые доставляют мне или пользу, или удовольствие. Помилуй! что ж даром-то кормить?

10 — А я думал, вы прощаетесь перед свадьбой с истинными друзьями, которых душевно любите, с которыми за чашей помянете в последний раз веселую юность и, может быть, при разлуке крепко прижмете их к сердцу.

— Ну, в твоих пяти словах всё есть, чего в жизни не бывает или не должно быть. С каким восторгом твоя тетка бросилась бы тебе на шею! В самом деле, тут и *истинные друзья*, тогда как есть просто друзья, и *чаша*, тогда как пьют из бокалов или стаканов, и объятия *при разлуке*, когда нет разлуки. Ох, Александр!

20 — И вам не жаль расставаться или по крайней мере реже видеться с этими друзьями? — сказал Александр.

— Нет! я никогда не сближался ни с кем до такой степени, чтоб жалеть, и тебе то же советую.

— Но, может быть, они не таковы: им, может быть, жаль потерять в вас доброго товарища, собеседника?

— Это уж не мое, а их дело. Я тоже не раз терял таких товарищей, да вот не умер от того. Так ты будешь завтра?

— Завтра, дядюшка, я...

30 — Что?

— Отозван на дачу.

— Верно, к Любецким?

— Да.

— Так! Ну как хочешь. Помни о деле, Александр: я скажу редактору, чем ты занимаешься...

— Ах, дядюшка, как можно! Я непременно dokonчу извлечения из немецких экономистов...

— Да ты прежде начни их. Смотри же, помни, *презренного металла* не проси, как скоро совсем предашься
40 *сладостной неге*.

IV

Жизнь Александра разделялась на две половины. Утро поглощала служба. Он рылся в запыленных делах, соображал вовсе не касавшиеся до него обстоятельства, считал на бумаге миллионами не принадлежавшие ему деньги. Но порой голова отказывалась думать за других, перо выпадало из рук, и им овладевала та *сладостная нега*, на которую сердился Петр Иванович.

Тогда Александр опрокидывался на спинку стула и уносился мысленно в место злочно, в место покойно, где нет ни бумаг, ни чернил, ни странных лиц, ни вицмундиров, где царствуют спокойствие, нега и прохлада, где в изящно убранной зале благоухают цветы, раздаются звуки фортепиано, в клетке прыгает попугай, а в саду качают ветвями березы и кусты сирени. И царицей всего этого — она...

Александр утром, сидя в департаменте, невидимо присутствовал на одном из островов, на даче Любецких, а вечером присутствовал там видимо, всей своей особой. Бросим нескромный взгляд на его блаженство.

Был жаркий день, один из редких дней в Петербурге: солнце животворило поля, но морило петербургские улицы, накаливая лучами гранит, а лучи, отскакивая от камней, пропекали людей. Люди ходили медленно, повесив головы, собаки — высунув языки. Город походил на один из тех сказочных городов, где всё, по мановению волшебника, вдруг окаменело. Экипажи не гремели по камням; маркизы, как опущенные веки у глаз, прикрывали окна; торцовая мостовая лоснилась, как паркет; по тротуарам горячо было ступать. Везде было скучно, сонно.

Пешеход, отирая пот с лица, искал тени. Ямская карета, с шестью пассажирами, медленно тащилась за город, едва подымая пыль за собою. В четыре часа чиновники вышли из должности и тихо побрели по домам.

Александр выбежал, как будто в доме обрушился потолок, посмотрел на часы — поздно: к обеду не успеет. Он бросился к ресторатору.

— Что у вас есть? скорей!

— Суп *julienne* и *à la reine*; соус *à la provençale*, *à la maître d'hôtel*; жаркое индейка, дичь, пирожное суфле.

— Ну, суп *à la provençale*, соус *julienne* и жаркое суфле, только поскорее!

Слуга посмотрел на него.

— Ну, что же? — сказал Александр с нетерпением.

Тот бросился вон и подал, что ему вздумалось. Адуев остался очень доволен. Он не дожидаясь четвертого блюда и побежал на набережную Невы. Там ожидала его лодка и два гребца.

Через час завидел он обетованный уголок, встал в лодке и устремил взоры вдаль. Сначала глаза его отуманились страхом и беспокойством, которое перешло в сомнение. Потом вдруг лицо озарилось светом радости, как солнечным блеском. Он отличил у решетки сада знакомое платье; вот там его узнали, махнули платком. Его ждут, может быть давно. У него подошвы как будто загорелись от нетерпения.

«Ах! если б можно было ходить пешком по воде! — думал Александр, — изобретают всякий вздор, а вот этого не изобретут!»

Гребцы машут веслами медленно, мерно, как машина. Пот градом льет по загорелым лицам; им и нужды нет, что у Александра сердце заметалось в груди, что, не спуская глаз с одной точки, он уже два раза, в забытьи, заносил через край лодки то одну, то другую ногу, а они ничего: гребут себе с тою же флегмой да по временам отирают рукавом лицо.

— Живее! — сказал он, — полтинник на водку.

Как они принялись работать, как стали привскакивать на своих местах! куда девалась усталость? откуда взялась сила? Весла так и затрепетали по воде. Лодка — что скользнет, то саженой трех как не бывало. Махнули раз десяток — и корма уже описала дугу, лодка грациозно подъехала и наклонилась у самого берега. Александр и Надинька издали улыбались и не сводили друг с друга глаз. Адуев ступил одной ногой в воду вместо берега, Надинька засмеялась.

— Полегче, барин, погодите-ка, вот я руку подам, — промолвил один гребец, когда Александр был уже на берегу.

— Ждите меня здесь, — сказал им Адуев и побежал к Надиньке.

Она нежно улыбалась издали Александру. С каждым движением лодки к берегу грудь ее поднималась и опускалась всё сильнее.

— Надежда Александровна!.. — сказал Адуев, едва переводя дух от радости.

— Александр Федорыч! — отвечала она.

Они бросились невольно друг к другу, но остановились и глядели друг на друга с улыбкой, влажными глазами и не могли ничего сказать. Так прошло несколько минут.

Нельзя винить Петра Иваныча, что он не заметил Надиньки с первого раза. Она была не красавица и не приковывала к себе мгновенно внимания.

Но если кто пристально вглядывался в ее черты, тот долго не сводил с нее глаз. Ее физиономия редко оставалась две минуты покойною. Мысли и разнородные 10
ощущения до крайности впечатлительной и раздражительной души ее беспрестанно сменялись одни другими, и оттенки этих ощущений сливались в удивительной игре, придавая лицу ее ежеминутно новое и неожиданное выражение. Глаза, например, вдруг бросят будто молнию, обожгут и мгновенно спрячутся под длинными ресницами; лицо делается безжизненно и неподвижно — и перед вами точно мраморная статуя. Ожидаешь вслед за тем опять такого же пронзительного луча — отнюдь нет! веки подымутся тихо, медленно — вас озарит кроткое сияние 20
взоров как будто медленно выплывшей из-за облаков луны. Сердце непременно отзовется легким биением на такой взгляд. В движениях то же самое. В них много было грации, но это не грация Сильфиды. В этой грации много было дикого, порывистого, что дает природа всем, но что потом искусство отнимает до последнего следа, вместо того чтоб только смягчить. Эти-то следы часто проявлялись в движениях Надиньки. Она иногда сидит в живописной позе, но вдруг, Бог знает вследствие какого 30
внутреннего движения, эта картинная поза нарушится
вовсе неожиданным и опять обворожительным жестом. В разговорах те же неожиданные обороты: то верное суждение, то мечтательность, резкий приговор, потом ребяческая выходка или тонкое притворство. Всё показывало в ней ум пылкий, сердце своенравное и непостоянное. И не Александр сошел бы с ума от нее; один только Петр Иваныч уцелеет: да много ли таких?

— Вы меня ждали! Боже мой, как я счастлив! — сказал Александр.

— Я ждала? и не думала! — отвечала Надинька, качая 40
головой, — вы знаете, я всегда в саду.

— Вы сердитесь? — робко спросил он.

— За что? вот идея!

— Ну, дайте ручку.

Она подала ему руку, но только он коснулся до нее, она сейчас же вырвала — и вдруг изменилась. Улыбка исчезла, на лице обнаружилось что-то похожее на досаду.

— Что это, вы молоко кушаете? — спросил он.

У Надиньки была чашка в руках и сухарь.

— Я обедаю, — отвечала она.

— Обедаете, в шесть часов, и молоком!

— Вам, конечно, странно смотреть на молоко после
10 роскошного обеда у дядюшки? а мы здесь в деревне:
живем скромно.

Она передними зубами отломил несколько крошек сухаря и запила молоком, сделав губами премиленькую гримасу.

— Я не обедал у дядюшки, я еще вчера отказался, — отвечал Адуев.

— Какие вы бессовестные! Можно ли так лгать? Где ж вы были до сих пор?

— Сегодня на службе до четырех часов просидел...

20 — А теперь шесть. Не лгите, признайтесь уж, соблазнились обедом, приятным обществом? там вам очень, очень весело было.

— Честное слово, я и не заходил к дядюшке... — начал с жаром оправдываться Александр. — Разве я тогда мог бы поспеть к вам об эту пору?

— А! вам это рано кажется? вы бы еще часа через два приехали! — сказала Надинька и быстрым пируэтом вдруг отвернулась от него и пошла по дорожке к дому. Александр за нею.

30 — Не подходите, не подходите ко мне, — заговорила она, махая рукой, — я вас видеть не могу.

— Полноте шалить, Надежда Александровна!

— Я совсем не шалю. Скажите, где ж вы до сих пор были?

— В четыре часа вышел из департамента, — начал Адуев, — час ехал сюда...

— Так тогда было бы пять, а теперь шесть. Где ж вы провели еще час? видите, ведь как лжете!

— Отобедал у ресторатора на скорую руку...

40 — На скорую руку! один только час! — сказала она, — бедненькие! вы должны быть голодны. Не хотите ли молока?

— О, дайте, дайте мне эту чашку... — заговорил Александр и протянул руку.

Но она вдруг остановилась, опрокинула чашку вверх дном и, не обращая внимания на Александра, с любопытством смотрела, как последние капли сбегали с чашки на песок.

— Вы безжалостны! — сказал он, — можно ли так мучить меня?

— Посмотрите, посмотрите, Александр Федорыч, — вдруг перебила Надинька, погруженная в свое занятие, — попаду ли я каплей на букашку, вот что ползет по дорожке?.. Ах, попала! бедненькая! она умрет! — сказала она; потом заботливо подняла букашку, положила себе на ладонь и начала дышать на нее.

— Как вас занимает букашка! — сказал он с досадой.

— Бедненькая! посмотрите: она умрет, — говорила Надинька с грустью, — что я сделала?

Она несла несколько времени букашку на ладони, и когда та зашевелилась и начала ползать назад и вперед по руке, Надинька вздрогнула, быстро сбросила ее на землю и раздавила ногой, промолвив: «Мерзкая букашка!»

— Где же вы были? — спросила она потом.

— Ведь я сказал...

— Ах да! у дядюшки. Много было гостей? Пили шампанское? Я даже отсюда слышу, как пахнет шампанским.

— Да нет, не у дядюшки! — в отчаянии перебил Александр. — Кто вам сказал?

— Вы же сказали.

— Да у него, я думаю, теперь за стол садятся. Вы не знаете этих обедов: разве такой обед кончается в один час?

— Вы обедали два — пятый и шестой.

— А когда же я ехал сюда?

Она ничего не отвечала, прыгнула и достала ветку акации, потом побежала по дорожке.

Адуев за ней.

— Куда же вы? — спросил он.

— Куда? как куда? вот прекрасно! к маменьке.

— Зачем? Может быть, мы ее обеспокоим.

— Нет, ничего.

Марья Михайловна, маменька Надежды Александровны, была одна из тех добрых и нехитрых матерей, которые находят прекрасным всё, что ни делают детки. Марья Михайловна велит, например, заложить коляску.

— Куда это, маменька? — спросит Надинька.

— Поедем прогуляться: погода такая славная, — говорит мать.

— Как можно: Александр Федорыч хотел быть.

И коляска откладывалась.

В другой раз Марья Михайловна усядется за свой нескончаемый шарф и начнет вздыхать, нюхать табак и перебирать костяными спицами или углубится в чтение французского романа.

— Мaman, что ж вы не одеваетесь? — спросит На-
10 динька строго.

— А куда?

— Да ведь мы пойдем гулять.

— Гулять?

— Да. Александр Федорыч придет за нами. Уж вы и забыли!

— Да я и не знала.

— Как этого не знать! — скажет Надинька с неудовольствием.

Мать покидала и шарф, и книгу и шла одеваться. Так
20 Надинька пользовалась полною свободою, распоряжалась и собою, и маменькою, и своим временем, и занятиями, как хотела. Впрочем, она была добрая и нежная дочь, нельзя сказать — послушная, потому только, что не она, а мать слушалась ее; зато можно сказать, что она имела послушную мать.

— Подите к маменьке, — сказала Надинька, когда они подошли к дверям залы.

— А вы?

— Я после приду.

30 — Ну так и я после.

— Нет, идите вперед.

Александр вошел и тотчас же, на цыпочках, воротился назад.

— Она дремлет в креслах, — сказал он шепотом.

— Ничего, пойдемте! Мaman, а maman!

— А!

— Александр Федорыч пришел.

— А!

— Monsieur Адуев хочет вас видеть.

40 — А!

— Видите, как крепко уснула. Не будите ее! — удерживал Александр.

— Нет, разбужу. Мaman!

— А!

— Да проснитесь; Александр Федорыч здесь.

— Где Александр Федорыч? — говорила Марья Михайловна, глядя прямо на него и поправляя сдвинувшийся на сторону чепец. — Ах! это вы, Александр Федорыч? Милости просим! А я вот села тут да и вздремнула, сама не знаю отчего, видно к погоде. У меня что-то и мозоль начинает побаливать — быть дождю. Дремлю да и вижу во сне, что будто Игнатий докладывает о гостях, только не поняла, о ком. Слышу, говорит, приехали, а кто — не пойму. Тут Надинька кличет, я сейчас же и проснулась. ¹⁰ У меня легкий сон: чуть кто скрипнет, я уж и смотрю. Садитесь-ка, Александр Федорыч, здоровы ли вы?

— Покорно благодарю.

— Петр Иванович здоров ли?

— Слава Богу, покорно благодарю.

— Что он не навестит нас никогда? Я вот еще вчера думала: хоть бы, думаю, раз заехал когда-нибудь, а то нет — видно, занят?

— Очень занят, — сказал Александр.

— И вас другой день не видать! — продолжала Марья ²⁰ Михайловна. — Давеча проснулась, спрашиваю, что Надинька? Спит еще, говорят. Ну пускай ее спит, говорю, целый день на воздухе — в саду, погода стоит хорошая, устанет. В ее лета спится крепко, не то что в мои: такая бессонница бывает, поверите ли? даже тоска делается; от нерв, что ли, — не знаю. Вот подают мне кофе: я ведь всегда в постеле его пью — пью да думаю: «Что это значит, Александра Федорыча не видать? уж здоров ли?» Потом встала, смотрю, одиннадцатый час — прошу покорнейше! людишки и не скажут! Прихожу к Надиньке — ³⁰ она еще и не просыпалась. Я разбудила ее. «Пора, мол, мать моя: скоро двенадцать часов, что это с тобой?» Я ведь целый день за ней, как нянька. Я и гувернантку отпустила нарочно, чтоб не было чужих. Вверх, пожалуй, чужим, так бог знает что сделают. Нет! я сама занималась ее воспитанием, строго смотрю, от себя ни на шаг, и могу сказать, что Надинька чувствует это: от меня тайком и мысли никакой не допустит. Я ее как будто насквозь вижу... Тут повар пришел: с ним с час толковала; там почитала «Mémoires du diable»...¹ ах, какой приятный ⁴⁰ автор Сулье! как мило описывает! Там соседка Марья Ивановна зашла с мужем: так я и не видала, как прошло

¹ «Мемуары дьявола» (фр.)

утро, гляжу, уж и четвертый час и обедать пора!.. Ах да: что ж вы к обеду не пришли? мы вас ждали до пяти часов.

— До пяти часов? — сказал Александр, — я никак не мог, Марья Михайловна: служба задержала. Я вас прошу никогда не ждать меня долее четырех часов.

— И я то же говорила, да вот Надинька: «Подождем да подождем».

— Я! ах, ах, татап, что вы! Не я ли говорю: «Пора, татап, обедать», а вы сказали: «Нет, надо подождать; Александр Федорыч давно не был: верно, придет к обеду».

— Смотрите, смотрите! — заговорила Марья Михайловна, качая головой, — ах, какая бессовестная! свои слова да на меня же!

Надинька отвернулась, ушла в цветы и начала дразнить попугая.

— Я говорю: «Ну где теперь Александру Федорычу быть? — продолжала Марья Михайловна, — уж половина пятого». — «Нет, говорит, татап, надо подождать, — он будет». Смотрю, три четверти: «Воля твоя, говорю я, Надинька: Александр Федорыч, верно, в гостях, не будет; я проголодалась». — «Нет, говорит, еще подождать надо, до пяти часов». Так и проморила меня. Что, неправда, сударыня?

«Попка, попка! — слышалось из-за цветов, — где ты обедал сегодня, у дядюшки?»

— Что? спряталась! — промолвила мать, — видно, совестно на свет Божий смотреть!

— Вовсе нет, — отвечала Надинька, выходя из боскета, и села у окна.

— И таки не села за стол! — говорила Марья Михайловна, — спросила чашку молока и пошла в сад; так и не обедала. Что? посмотри-ка мне прямо в глаза, сударыня.

Александр обомлел при этом рассказе. Он взглянул на Надиньку, но она обернулась к нему спиной и шипала листок плюща.

— Надежда Александровна! — сказал он, — ужели я так счастлив, что вы думали обо мне?

— Не подходите ко мне! — закричала она с досады, что ее плутни открылись. — Маменька шутит, а вы готовы верить!

— А где ж ягоды, что ты приготовила для Александра Федорыча? — спросила мать.

— Ягоды?

— Да, ягоды.

— Ведь вы их скушали за обедом... — отвечала Надинька.

— Я! опомнись, мать моя: ты спрятала и мне не дала. «Вот, говорит, Александр Федорыч придет, тогда и вам дам». Какова?

Александр нежно и лукаво взглянул на Надиньку. Она покраснела.

— Сама чистила, Александр Федорыч, — прибавила 10 мать.

— Что это вы всё сочиняете, мама? Я очистила две или три ягодки и те сама съела, а то Василиса...

— Не верьте, не верьте, Александр Федорыч: Василиса с утра в город послана. Зачем же скрывать? Александр Федорычу, верно, приятнее, что ты чистила, а не Василиса.

Надинька улыбнулась, потом скрылась опять в цветы и явилась с полной тарелкой ягод. Она протянула Адуеву руку с тарелкой. Он поцеловал руку и принял ягоды как 20 маршальский жезл.

— Не стóите вы! заставить так долго ждать себя! — говорила Надинька, — я два часа у решетки стояла: вообразите! едет кто-то: я думала — вы, и махнула платком, вдруг незнакомые, какой-то военный. И он махнул, такой дерзкий!..

Вечером приходили и уходили гости. Начало смеркаться. Любецкие и Адуев остались опять втроем. Мало-помалу расстроилось и это трио. Надинька ушла в сад. Составился нескладный дуэт у Марьи Михайловны с 30 Адуевым: долго пела она ему о том, что делала вчера, сегодня, что будет делать завтра. Им овладела томительная скука и беспокойство. Вечер наступает быстро, а он еще не успел ни слова сказать Надиньке наедине. Выручил повар: благодетель пришел спросить, что готовить к ужину, а у Адуева занимался дух от нетерпения, сильнее еще, чем давеча в лодке. Едва заговорили о котлетах, о простокваше, Александр начал искусно ретироваться. Сколько маневров употребил он, чтоб только отойти от кресел Марьи Михайловны! Подошел сначала 40 к окну и взглянул на двор, а ноги так и тянули его в открытую дверь. Потом медленными шагами, едва удерживаясь, чтоб не ринуться опроретью вон, он перешел к фортепиано, постучал в разных местах по клавишам,

взял с лихорадочным трепетом ноты с пюпитра, взглянул в них и положил назад; имел даже твердость понюхать два цветка и разбудить попугая. Тут он достиг высшей степени нетерпения; двери были подле, но уйти как-то всё неловко — надо было простоять минуты две и выйти как будто нечаянно. А повар уж сделал два шага назад, еще слово — и он уйдет, тогда Любецкая непременно обратится опять к нему. Александр не вытерпел и, как змей, выскользнул в двери и, соскочив с крыльца, не считая ступеней, в несколько шагов очутился в конце аллеи — на берегу, подле Надиньки.

— Насилу вспомнили обо мне! — сказала она на этот раз с кротким упреком.

— Ах, что за муку я вытерпел, — отвечал Александр, — а вы не помогли!

Надинька показала ему книгу.

— Вот чем бы я вызвала вас, если б вы не пришли еще минуту, — сказала она. — Садитесь, теперь тамап уж не придет: она боится сырости. Мне так много, так много надо сказать вам... ах!

— И мне тоже... ах!

И ничего не сказали или почти ничего, так кое-что, о чем уж говорили десять раз прежде. Обыкновенно что: мечта, небо, звезды, симпатия, счастье. Разговор больше происходил на языке взглядов, улыбок и междометий. Книга валялась на траве.

Наступала ночь... нет, какая ночь! разве летом в Петербурге бывают ночи? это не ночь, а... тут надо бы выдумать другое название — так, полусвет... Всё тихо кругом. Нева точно спала; изредка, будто впросонках, она плеснет легонько волной в берег и замолчит. А там откуда ни возьмется поздний ветерок, пронесется над сонными водами, но не сможет разбудить их, а только зарядит поверхность и повеет прохладой на Надиньку и Александра или принесет им звук дальней песни — и снова всё смолкнет, и опять Нева неподвижна, как спящий человек, который при легком шуме откроет на минуту глаза и тотчас снова закроет; и сон пуше сомкнет его отяжелевшие веки. Потом со стороны моста слышится как будто отдаленный гром, а вслед за тем лай сторожевой собаки с ближайшей тони, и опять всё тихо. Деревья образовали темный свод и чуть-чуть, без шума, качали ветвями. На дачах по берегам мелькали огоньки.

Что особенного тогда носится в этом теплом воздухе? Какая тайна пробегает по цветам, деревьям, по траве и веет неизъяснимой негой на душу? зачем в ней тогда рождаются иные мысли, иные чувства, нежели в шуме, среди людей? А какая обстановка для любви в этом сне природы, в этом сумраке, в безмолвных деревьях, благоухающих цветах и уединении! Как могущественно всё настроивало ум к мечтам, сердце к тем редким ощущениям, которые во всегдашней, правильной и строгой жизни кажутся такими бесполезными, неуместными и смешными отступлениями... да! бесполезными, а между тем в те минуты душа только и постигает смутно возможность счастья, которого так усердно ищут в другое время и не находят.

Александр и Надинька подошли к реке и оперлись на решетку. Надинька долго, в раздумье, смотрела на Неву, на даль, Александр на Надиньку. Души их были переполнены счастьем, сердца сладко и вместе как-то болезненно ныли, но язык безмолвствовал.

Вот Александр тихо коснулся ее талии. Она тихо отвела локтем его руку. Он дотронулся опять, она отвела слабее, не спуская глаз с Невы. В третий раз не отвела.

Он взял ее за руку — она не отняла и руки; он пожал руку: рука отвечала на пожатие. Так стояли они молча, а что чувствовали!

— Надинька! — сказал он тихо.

Она молчала.

Александр с замирающим сердцем наклонился к ней. Она почувствовала горячее дыхание на щеке, вздрогнула, обернулась и — не отступила в благородном негодовании, не вскрикнула! — она не в силах была притвориться и отступить: обаяние любви заставило молчать рассудок, и когда Александр прильнул губами к ее губам, она отвечала на поцелуй, хотя слабо, чуть внятно.

«Неприлично! — скажут строгие маменьки, — одна в саду, без матери, целуется с молодым человеком!» Что делать! неприлично, но она отвечала на поцелуй.

«О, как человек может быть счастлив!» — сказал про себя Александр и опять наклонился к ее губам и пробыл так несколько секунд.

Она стояла бледная, неподвижная, на ресницах блистали слезы, грудь дышала сильно и прерывисто.

— Как сон! — шептал Александр.

Вдруг Надинька встрепенулась, минута забвения прошла.

— Что это такое? вы забылись! — вдруг сказала она и бросилась от него на несколько шагов. — Я маменьке скажу!

Александр упал с облаков.

— Надежда Александровна! не разрушайте моего блаженства упреком, — начал он, — не будьте похожи на...

Она посмотрела на него и вдруг громко, весело засмеялась, опять подошла к нему, опять стала у решетки и доверчиво оперлась рукой и головой ему на плечо.

— Так вы меня очень любите? — спросила она, отирая слезу, выкатившуюся на щеку.

Александр сделал невыразимое движение плечами. На лице его было «преглупое выражение», сказал бы Петр Иваныч, что, может быть, и правда, но зато сколько счастья в этом глупом выражении!

Они по-прежнему молча смотрели и на воду, и на небо, и на даль, будто между ними ничего не было. Только боялись взглянуть друг на друга; наконец взглянули, улыбнулись и тотчас отвернулись опять.

— Ужели есть горе на свете? — сказала Надинька, помолчав.

— Говорят, есть... — задумчиво отвечал Адуев, — да я не верю...

— Какое же горе может быть?

— Дядюшка говорит — бедность.

— Бедность! да разве бедные не чувствуют того же, что мы теперь? вот уж они и не бедны.

— Дядюшка говорит, что им не до того — что надо есть, пить...

— Фи! есть! Дядюшка ваш неправду говорит: можно и без этого быть счастливыми: я не обедала сегодня, а как я счастлива!

Он засмеялся.

— Да, за эту минуту я отдала бы бедным всё, всё! — продолжала Надинька, — пусть придут бедные. Ах! зачем я не могу утешить и обрадовать всех какой-нибудь радостью?

— Ангел! ангел! — восторженно произнес Александр, сжав ее руку.

— Ох, как вы больно жмете! — вдруг перебила Надинька, сморщив брови и отняв руку.

Но он схватил руку опять и начал целовать с жаром.

— Как я буду молиться, — продолжала она, — сегодня, завтра, всегда за этот вечер! как я счастлива! А вы?

Вдруг она задумалась; в глазах мелькнула тревога.

— Знаете ли, — сказала она, — говорят, будто что было однажды, то уж никогда больше не повторится! Стало быть, и эта минута не повторится?

— О нет! — отвечал Александр, — это неправда: повторится! будут лучшие минуты; да, я чувствую!..

Она недоверчиво покачала головой. И ему пришли в 10 голову уроки дяди, и он вдруг остановился.

«Нет, — говорил он сам с собой, — нет, этого быть не может! дядя не знал такого счастья, оттого он так строг и недоверчив к людям. Бедный! мне жаль его холодного, черствого сердца: оно не знало упоения любви, вот отчего это желчное гонение на жизнь. Бог его простит! Если б он видел мое блаженство, и он не наложил бы на него руки, не оскорбил бы нечистым сомнением. Мне жаль его...»

— Нет, Надинька, нет, мы будем счастливы! — про- 20 должал он вслух. — Посмотрите вокруг: не радуется ли всё здесь, глядя на нашу любовь? Сам Бог благословит ее. Как весело пройдем мы жизнь рука об руку! как будем горды, велики взаимной любовью!

— Ах, перестаньте, перестаньте загадывать! — перебила она, — не пророчьте: мне что-то страшно делается, когда вы говорите так. Мне и теперь грустно...

— Чего же бояться? Неужели нельзя верить самим себе?

— Нельзя, нельзя! — говорила она, качая головой. Он 30 посмотрел на нее и задумался.

— Отчего? Что же, — начал он потом, — может разрушить этот мир нашего счастья? кому нужна до нас? Мы всегда будем одни, станем удаляться от других; что нам до них за дело? и что за дело им до нас? нас не вспомнят, забудут, и тогда нас не потревожат и слухи о горе и бедах, точно так, как и теперь, здесь, в саду, никакой звук не тревожит этой торжественной тишины...

— Надинька! Александр Федорыч! — раздалось вдруг 40 с крыльца, — где вы?

— Слышите! — сказала Надинька пророческим тоном, — вот намек судьбы: эта минута не повторится больше — я чувствую...

Она схватила его за руку, сжала ее, поглядела на него как-то странно, печально и вдруг бросилась в темную аллею.

Он остался один в раздумье.

— Александр Федорыч! — раздалось опять с крыльца, — простокваша давно на столе.

Он пожал плечами и пошел в комнату.

— За мигом невыразимого блаженства — вдруг простокваша!! — сказал он Надиньке. — Ужели всё так в
10 жизни?

— Лишь бы не было хуже, — весело отвечала она, — а простокваша очень хороша, особенно для того, кто не обедал.

Счастье одушевило ее. Щеки ее пылали, глаза горели необыкновенным блеском. Как заботливо хозяйничала она, как весело болтала! не было и тени мелькнувшей мгновенно печали: радость поглотила ее.

Заря охватила уже полнеба, когда Адуев сел в лодку. Гребцы в ожидании обещанной награды, поплевавши на
20 руки и начали было по-давнишнему привскакивать на местах, изо всей мочи работая веслами.

— Тише ехать! — сказал Александр, — еще полтинник на водку!

Они поглядели на него, потом друг на друга. Один почесал грудь, другой спину, и стали чуть шевелить веслами, едва дотрогиваясь до воды. Лодка поплыла, как лебедь.

«И дядюшка хочет уверить меня, что счастье — химера, что нельзя безусловно верить ничему, что жизнь...
30 бессовестный! зачем он хотел так жестоко обмануть меня? Нет, вот жизнь! так я воображал ее себе, такова она должна быть, такова есть и такова будет! Иначе нет жизни!»

Свежий, утренний ветерок чуть-чуть подул с севера. Александр слегка вздрогнул, и от ветерка и от воспоминания, потом зевнул и, закутавшись в плащ, погрузился в мечты.

V

Адуев достиг апогея своего счастья. Ему нечего было
40 более желать. Служба, журнальные труды — всё забыто, заброшено. Его уж обошли местом: он едва приметил это, и то потому, что напомнил дядя. Петр Иванович

советовал бросить пустяки, но Александр, при слове «пустяки», пожимал плечами, с сожалением улыбался и молчал. Дядя, увидя бесполезность своих представлений, тоже пожал плечами, улыбнулся с сожалением и замолчал, промолвив только: «Как хочешь, это твое дело, только, смотри, презренного металла не проси».

— Не бойтесь, дядюшка, — говорил на это Александр, — худо, когда мало денег, много мне не нужно, а довольно — у меня есть.

— Ну и поздравляю тебя, — прибавил Петр Иванович. 10

Александр видимо избегал его. Он потерял всякую доверенность к его печальным предсказаниям и боялся холодного взгляда на любовь вообще и оскорбительных намеков на отношения его к Надиньке в особенности.

Ему противно было слушать, как дядя, разбирая любовь его, просто, по общим и одинаким будто бы для всех законам, профанировал это высокое, святое, по его мнению, дело. Он таил свои радости, всю эту перспективу розового счастья, предчувствуя, что чуть коснется его анализ дяди, то, того и гляди, розы рассыплются в прах или превратятся в назем. А дядя сначала избегал его оттого, что вот, думал, малый заленится, замотается, придет к нему за деньгами, сядет на шею. 20

В походке, взгляде, во всем обращении Александра было что-то торжественное, таинственное. Он вел себя с другими, как богатый капиталист на бирже с мелкими купцами, скромно и с достоинством, думая про себя: «Жалкие! кто из вас обладает таким сокровищем, как я? кто так умеет чувствовать? чья могучая душа...» и проч. 20

Он был уверен, что он один на свете так любит и любим. 30

Впрочем, он избегал не только дяди, но и толпы, как он говорил. Он или поклонялся своему божеству, или сидел дома, в кабинете, один, упиваясь блаженством, анализируя, разлагая его на бесконечно малые атомы. Он называл это *творить особый мир* и, сидя в своем уединении, точно сотворил себе из ничего какой-то мир и обретался больше в нем, а на службу ходил редко и неохотно, называя ее *горькою необходимостью, необходимым злом* или *печальной прозой*. Вообще у него много было вариантов на этот предмет. К редактору и к знакомым 40
вовсе не ходил.

Беседовать с своим я было для него высшею отрадою. «Наедине с собою только, — писал он в какой-то пове-

сти, — человек видит себя как в зеркале; тогда только научается он верить в человеческое величие и достоинство. Как прекрасен он в этой беседе с своими душевными силами! как вождь, он делает им строгий обзор, строит их по мудро обдуманному плану и стремится во главе их, и действует и зиждет! Как жалок, напротив, кто не умеет и боится быть с собою, кто бежит от самого себя и всюду ищет общества, чуждого ума и духа...»
10 Подумаешь, мыслитель какой-нибудь открывает новые законы строения мира или бытия человеческого, а то просто влюбленный!

Вот он сидит в вольтеровских креслах. Перед ним лист бумаги, на котором набросано несколько стихов. Он то наклонится над листом и сделает какую-нибудь поправку или прибавит два-три стиха, то опрокинется на спинку кресел и задумается. На губах блуждает улыбка; видно, что он только лишь отвел их от полной чаши счастья. Глаза у него закроются томно, как у дремлющего кота, или вдруг сверкнут огнем внутреннего волнения.

20 Кругом тихо. Только издали, с большой улицы, слышится гул от экипажей, да по временам Евсей, устав чистить сапог, заговорит вслух: «Как бы не забыть: давеча в лавочке на грош уксусу взял да на гривну капусты, завтра надо отдать, а то лавочник, пожалуй, в другой раз и не поверит — такая собака! Фунтами хлеб вешают, словно в голодный год, — срам! Ух, Господи, умаялся. Вот только дочисти этот сапог — и спать. В Грачах, чай, давно спят: не по-здешнему! Когда-то Господь Бог приведет увидеть...»

30 Тут он громко вздохнул, подышал на сапог и опять начал шмыгать щеткой. Он считал это занятие главной и чуть ли не единственной своею обязанностью и вообще способностью чистить сапоги измерял достоинство слуги и даже человека; сам он чистил с какою-то страстью.

— Перестань, Евсей! ты мне мешаешь дело делать своими пустяками! — кричал Адуев.

— Пустяки, — ворчал про себя Евсей, — как не пустяки: у тебя так вот пустяки, а я дело делаю. Вишь ведь,
40 как загрязнил сапоги, насилу отчистишь. — Он поставил сапог на стол и гляделся с любовью в зеркальный лоск кожи.

— Поди-ка, вычисти кто этак, — примолвил он, — пустяки!

Александр всё глубже и глубже погружался в свои мечты о Надиньке, потом в творческие мечты.

На столе было пусто. Всё, что напоминало о прежних его занятиях, о службе, о журнальной работе, лежало под столом, или на шкапе, или под кроватью. «Один вид *этой грязи*, — говорил он, — пугает творческую думу, и она улетает, как соловей из роши, при внезапном скрипе намазанных колес, раздавшемся с дороги».

Часто заря заставляла его над какой-нибудь элегией. Все часы, проводимые не у Любецких, посвящались 10 творчеству. Он напишет стихотворение и прочтет его Надиньке; та перепишет на хорошенькой бумажке и выучит, и он «познал *высшее блаженство поэта — слышать свое произведение из милых уст*».

«Ты моя муза, — говорил он ей, — будь Вестою этого священного огня, который горит в моей груди; ты оставишь его — и он заглохнет навсегда».

Потом он посылал стихи под чужим именем в журнал. Их печатали, потому что они были недурны, местами не без энергии и все проникнуты пылким чувством; напи- 20 саны гладко.

Надинька гордилась его любовью и звала его «мой поэт».

«Да, твой, вечно твой», — прибавлял он. Впереди улыбалась слава, и венки, думал он, сплетет ему Надинька и перевьет лавр миртами, а там... «Жизнь, жизнь, как ты прекрасна! — восклицал он. — А дядя? Зачем смущает он мир души моей? Не демон ли это, посланный мне судьбою? Зачем отравляет он желчью всё мое благо? не из зависти ли, что сердце его чуждо этим чистым 30 радостям, или, может быть, из мрачного желания вредить... о, дальше, дальше от него!.. Он убьет, заразит свою ненавистью мою любящую душу, развратит ее...»

И он бежал от дяди, не видался с ним по целым неделям, по месяцам. А если, при встрече, разговор заходил о чувстве, он насмешливо молчал или слушал, как человек, которого убеждения нельзя поколебать никакими доводами. Он свои суждения считал непогрешительными, мнения и чувства непреложными и решил 40 вперед руководствоваться только ими, говоря, что он уже не мальчик и что *зачем же мнения чужие только святы?* и проч.

А дядя был всё тот же: он ни о чем не расспрашивал племянника, не замечал или не хотел заметить его

проделок. Видя, что положение Александра не изменится, что он ведет прежний образ жизни, не просит у него денег, он стал с ним ласков по-прежнему и слегка упрекал, что редко бывает у него.

— Жена сердится на тебя, — говорил он, — она привыкла считать тебя родным; мы обедаем каждый день дома; заходи.

И только. Но Александр редко заходил, да и некогда было: утро на службе, после обеда до ночи у Любецких; оставалась ночь, а ночью он уходил в свой особенный, сотворенный им *мир* и продолжал творить. Да притом не мешает же ведь и соснуть немножко.

В изящной прозе он был менее счастлив. Он написал комедию, две повести, какой-то очерк и путешествие куда-то. Деятельность его была изумительна, бумага так и горела под пером. Комедию и одну повесть сначала показал дяде и просил сказать, годится ли? Дядя прочитал на выдержку несколько страниц и отослал назад, написав сверху: «Годится для... перегородки!»

Александр взбесился и отослал в журнал, но ему возвратили и то и другое. В двух местах на полях комедии отмечено было карандашом: «недурно» — и только. В повести часто встречались следующие отметки: «слабо, неверно, незрело, вяло, не развито» и проч., а в конце сказано было: «Вообще заметно незнание сердца, излишняя пылкость, неестественность, всё на ходулях, нигде не видно человека... герой уродлив... таких людей не бывает... к напечатанию неудобно! Впрочем, автор, кажется, не без дарования, надо трудиться!..»

«Таких людей не бывает! — подумал огорченный и изумленный Александр, — как не бывает? да ведь герой-то я сам. Неужели мне изображать этих пошлых героев, которые встречаются на каждом шагу, мыслят и чувствуют, как толпа, делают, что все делают, — эти жалкие лица вседневных мелких трагедий и комедий, не отмеченные особой печатью... унизится ли искусство до того?..»

Он, в подтверждение чистоты исповедуемого им учения об изящном, призывал тень Байрона, ссылаясь на Гете и на Шиллера. Героем, возможным в драме или в повести, он воображал не иначе как какого-нибудь корсара или великого поэта, артиста, и заставлял их действовать и чувствовать по-своему.

В одной повести местом действия избрал он Америку; обстановка была роскошная; американская природа,

горы, и среди всего этого изгнанник, похитивший свою возлюбленную. Целый мир забыл их; они любовались собой да природой, и когда пришла весть о прощении и возможность возвратиться на родину, они отказались. Потом, лет через двадцать, какой-то европеец приехал туда, пошел в сопровождении индейцев на охоту и нашел на одной горе хижину и в ней скелет. — Европеец был соперник героя. Как казалась ему хороша эта повесть! с каким восторгом читал он ее в зимние вечера Надиньке! как жадно она внимала ему! — и не принять этой повести! 10

Об этой неудаче он ни полслова Надиньке; проглотил обиду молча — и концы в воду. «Что же повесть, — спрашивала она, — напечатали?» — «Нет! — говорил он, — нельзя; там много такого, что у нас покажется дико и странно...»

Если б он знал, какую правду сказал он, думая сказать ее совсем в другом смысле!

Трудиться казалось ему тоже странным. «Зачем же талант? — говорил он. — Трудится бездарный труженик; талант творит легко и свободно...» Но, вспомнив, что статьи его о сельском хозяйстве, да и стихи тоже, были сначала так, ни то ни се, а потом постепенно совершенствовались и обратили на себя особенное внимание публики, он задумался, понял нелепость своего заключения и со вздохом отложил изящную прозу до другого времени: когда сердце будет биться ровнее, мысли придут в порядок, тогда он дал себе слово заняться как следует. 20

Дни шли за днями, дни непрерывных наслаждений для Александра. Он счастлив был, когда поцелует кончик пальца Надиньки, просидит против нее в картинной позе часа два, не спуская с нее глаз, млея и вздыхая или декламируя приличные случаю стихи. 30

Справедливость требует сказать, что она иногда на вздохи и стихи отвечала зевотой. И немудрено: сердце ее было занято, но ум оставался празден. Александр не позаботился дать ему пищи. Год, назначенный Надинькою для испытания, проходил. Она жила с матерью опять на той же даче. Александр заговаривал о ее обещании, просил позволения поговорить с матерью. Надинька отложила было до переезда в город, но Александр настаивал. 40

Наконец однажды вечером, при прощанье, она позволила Александру переговорить на другой день с матерью.

Александр не уснул целую ночь, не ходил в должность. В голове у него вертелся завтрашний день; он всё придумывал, как говорить с Марьей Михайловной, сочинил было речь, приготовился, но едва вспомнил, что дело идет о Надинькиной руке, растерялся в мечтах и опять всё забыл. Так он приехал вечером на дачу, не приготовившись ни в чем; да и не нужно было: Надинька встретила его, по обыкновению, в саду, но с оттенком легкой задумчивости в глазах и без улыбки, а как-то рас-
10 сеянно.

— Нынче нельзя говорить с маменькой, — сказала она, — у нас этот гадкий граф сидит!

— Граф! какой граф?

— Вот не знаете, какой граф! граф Новинский, известно, наш сосед; вот его дача; сколько раз сами хвалили сад!

— Граф Новинский! у вас! — сказал изумленный Александр, — по какому случаю?

— Я еще и сама не знаю хорошенько, — отвечала
20 Надинька, — я сидела здесь и читала вашу книжку, а маменьки дома не было; она пошла к Марье Ивановне. Только стал накрапывать дождь, я иду в комнату, вдруг к крыльцу подъезжает коляска, голубая с белой обивкой, та самая, что всё мимо нас ездил, — еще вы хвалили. Смотрю, выходит маменька с каким-то мужчиной. Вошли; маменька и говорит: «Вот, граф, это моя дочь; прошу любить да жаловать». Он поклонился, и я тоже. Мне стыдно стало, я покраснела и убежала в свою комнату. А маменька — такая несносная — слышу, гово-
30 рит: «Извините, граф, она у меня такая дикарка...» Тут я и догадалась, что это должен быть наш сосед, граф Новинский. Верно, он завез маменьку в экипаже от Марьи Ивановны, от дождя.

— Он... старик? — спросил Александр.

— Какой старик, фи! что вы: молодой, хорошенький!..

— Уж вы успели рассмотреть, что хорошенький! — с досадой сказал Александр.

— Вот прекрасно! долго ли рассмотреть? Я с ним уж говорила. Ах! он прелюбезный: расспрашивал, что я де-
40 лаю; о музыке говорил; просил спеть что-нибудь, да я не стала, я почти не умею. Нынешней зимой непременно попрошу папан взять мне хорошего учителя пения. Граф говорит, что это нынче очень в моде — петь.

Всё это было сказано с необыкновенною живостью.

— Я думал, Надежда Александровна, — заметил Адуев, — что нынешней зимой у вас, кроме пения, будет занятие...

— Какое же?

— Какое! — с упреком сказал Александр.

— Ах! да... что, вы на лодке сюда приехали?

Он молча смотрел на нее. Она повернулась и пошла к дому.

Адуев не совсем покойно вошел в залу. Что за граф? Как с ним вести себя? каков он в обращении? горд? небрежен? Вошел. Граф первый встал и вежливо поклонился. Александр отвечал принужденным и неловким поклоном. Хозяйка представила их друг другу. Граф почему-то не нравился ему; а он был прекрасный мужчина: высокий, стройный блондин, с большими выразительными глазами, с приятной улыбкой. В манерах простота, изящество, какая-то мягкость. Он, кажется, расположил бы к себе всякого, но Адуева не расположил.

Александр, несмотря на приглашение Марьи Михайловны — сесты поближе, сел в угол и стал смотреть в книгу, что было очень не светски, неловко, неуместно. Надинька стала за креслом матери, с любопытством смотрела на графа и слушала, что и как он говорит: он был для нее новостью.

Адуев не умел скрыть, что граф не нравился ему. Граф, казалось, не замечал его грубости: он был внимателен и обращался к Адуеву, стараясь сделать разговор общим. Всё напрасно: тот молчал или отвечал: да и нет.

Когда Любецкая случайно повторила его фамилию, граф спросил, не родня ли ему Петр Иваныч.

— Дядя! — отвечал отрывисто Александр.

— Я с ним часто встречаюсь в свете, — сказал граф.

— Может быть. Что ж тут мудреного? — отвечал Адуев и пожал плечами.

Граф скрыл улыбку, закусив немного нижнюю губу. Надинька переглянулась с матерью, покраснела и потупила глаза.

— Ваш дядюшка умный и приятный человек! — заметил граф тоном легкой иронии.

Адуев молчал.

Надинька не вытерпела, подошла к Александру и, пока граф говорил с ее матерью, шепнула ему: «Как вам не стыдно! граф так ласков с вами, а вы?..»

— Ласков! — с досадой, почти вслух отвечал Александр, — я не нуждаюсь в его ласках, не повторяйте этого слова...

Надинька отскочила от него прочь и издали долго глядела на него неподвижно, сделав большие глаза, потом стала опять за стулом матери и не обращала уже внимания на Александра.

А Адуев всё ждал, вот граф уйдет, и он наконец успеет переговорить с матерью. Но пробило десять, одиннадцать
10 часов, граф не уходит и всё говорит.

Все предметы, около которых обыкновенно вертится разговор в начале знакомства, истошились. Граф начал шутить. Он шутил умно: в его шутках — ни малейшей принужденности, ни претензии на остроумие, а так, что-то занимательное, какая-то особенная способность забавно рассказать даже не анекдот, а просто новость, случай или одним неожиданным словом серьезную вещь превратить в смешную.

И мать и дочь совершенно поддались влиянию его
20 шуток, и сам Александр не раз прикрывал книгой невольную улыбку. Но он бесился в душе.

Граф говорил обо всем одинаково хорошо, с тактом, и о музыке, и о людях, и о чужих краях. Зашел разговор о мужчинах, о женщинах: он побранил мужчин, в том числе и себя, ловко похвалил женщин вообще и сделал несколько комплиментов хозяйкам в особенности.

Адуев подумал о своих литературных занятиях, о стихах. «Вот тут бы я его срезал», — подумал он. Заговорили и о литературе; мать и дочь рекомендовали
30 Александра как писателя.

«Вот сконфузится-то!» — подумал Адуев.

Вовсе нет. Граф говорил о литературе, как будто никогда ничем другим не занимался; сделал несколько беглых и верных замечаний о современных русских и французских знаменитостях. Вдобавок ко всему оказалось, что он находился в дружеских сношениях с первоклассными русскими литераторами, а в Париже познакомился с некоторыми и из французских. О немногих отозвался он с уважением, других слегка очертил в
40 карикатуре.

О стихах Александра он сказал, что не знает их и не слышал...

Надинька как-то странно посмотрела на Адуева, как будто спрашивая: «Что ж, брат, ты? недалеко уехал...»

Александр оробел. Дерзкая и грубая мина уступила место унынию. Он походил на петуха с мокрым хвостом, прячущегося от непогоды под навес.

Вот в буфете зазвенели стаканами, ложками, накрывают стол, а граф не уходит. Исчезла всякая надежда. Он даже согласился на приглашение Любецкой остаться и поужинать простокваши.

«Граф, а ест простоквашу!» — шептал Адуев, с ненавистью глядя на графа.

Граф ужинал с аппетитом, продолжая шутить, как 10 будто он был у себя.

— В первый раз в доме, бессовестный, а ест за троих! — шепнул Александр Надиньке.

— Что ж! он *кушать* хочет! — отвечала она просто-душно.

Граф наконец ушел, но говорить о деле было поздно. Адуев взял шляпу и побежал вон. Надинька нагнала его и успела успокоить.

— Так завтра? — спросил Александр.

— Завтра нас дома не будет.

— Ну послезавтра.

Они расстались.

Послезавтра Александр приехал пораньше. Еще в саду до него из комнаты доносились незнакомые звуки... виолончель не виолончель... Он ближе... поет мужской голос, и какой голос! звучный, свежий, который так, кажется, и просится в сердце женщины. Он дошел до сердца и Адуева, но иначе: оно замерло, заныло от тоски, зависти, ненависти, от неясного и тяжелого предчувствия. Александр вошел в переднюю со двора.

— Кто у вас? — спросил он у человека.

— Граф Новинский.

— Давно?

— С шести часов.

— Скажи тихонько барышне, что я был и зайду опять.

— Слушаю-с.

Александр вышел вон и пошел бродить по дачам, едва замечая, куда идет. Часа через два он воротился.

— Что, всё еще у вас? — спросил он.

— У нас; да кажется, кушать останутся. Барыня 40 приказала жарить рябчиков к ужину.

— А ты говорил барышне обо мне?

— Говорил-с.

— Ну, что ж она?

— Ничего не изволила приказывать.

Александр уехал домой и не являлся два дня. Бог знает, что он передумал и перечувствовал; наконец поехал.

Вот он завидел дачу, встал в лодке и, прикрыв глаза рукой от солнца, смотрел вперед. Вон между деревьями мелькает синее платье, которое так ловко сидит на Надиньке; синий цвет так к лицу ей. Она всегда надевала это платье, когда хотела особенно нравиться Александру.

¹⁰ У него отлегло от сердца.

«А! она хочет вознаградить меня за временную, невольную небрежность, — думал он, — не она, а я виноват: как можно было так непростительно вести себя? этим только вооружишь против себя; чужой человек, новое знакомство... очень натурально, что она, как хозяйка... А! вон выходит из-за куста с узенькой тропинки, идет к решетке, тут остановится и будет ждать...»

Она точно вышла на большую аллею... но кто ж еще с ней поворачивает с дорожки?..

²⁰ — Граф! — горестно, вслух воскликнул Александр и не верил своим глазам.

— Ась? — откликнулся один гребец.

— Одна с ним в саду... — шепнул Александр, — как со мной...

Граф с Надинькой подошли к решетке и, не взглянув на реку, повернулись и медленно пошли по аллее назад. Он наклонился к ней и говорил что-то тихо. Она шла потупя голову.

³⁰ Адуев всё стоял в лодке, с раскрытым ртом, не шевелясь, протянув руки к берегу, потом опустил их и сел. Гребцы продолжали грести.

— Куда вы? — бешено закричал на них Александр, опомнившись. — Назад!

— Назад ехать? — повторил один, глядя на него, разинув рот.

— Назад! глух, что ли, ты?

— А туда не понадобится?

⁴⁰ Другой гребец молча, проворно стал забирать веслом слева, потом ударили в два весла, и лодка быстро помчалась обратно. Александр нахлобучил шляпу чуть не до плеч и погрузился в мучительную думу.

После того он не ездил к Любецким две недели.

Две недели: какой срок для влюбленного! Но он всё ждал: вот пришлют человека узнать, что с ним? не болен

ли? как это всегда делалось, когда он захворает или так, закапризничает. Надинька сначала, бывало, от имени матери сделает вопрос по форме, а потом чего не напишет от себя? Какие милые упреки, какое нежное беспокойство! что за нетерпение!

«Нет, теперь я не сдамся скоро, — думал Александр, — я ее помучаю. Я научу ее, как должно обходиться с посторонним мужчиной; примирение будет нелегко!»

И он задумал жестокий план мщения, мечтал о 10
раскаянии, о том, как он великодушно простит и даст наставление. Но к нему не шлют человека и не несут повинной; он как будто не существовал для них.

Он похудел, сделался бледен. Ревность мучительнее всякой болезни, особенно ревность по подозрениям, без доказательств. Когда является доказательство, тогда конец и ревности, большею частью и самой любви, тогда знают по крайней мере, что делать, а до тех пор — мука! и Александр испытывал ее вполне.

Наконец он решился поехать утром, думая застать 20
Надиньку одну и объясниться с ней.

Приехал. В саду никого не было, в зале и гостиной тоже. Он вышел в переднюю, отворил дверь на двор...

Какая сцена представилась ему! Два жокея, в графской ливрее, держали верховых лошадей. На одну из них граф и человек сажали Надиньку; другая приготовлена была для самого графа. На крыльце стояла Марья Михайловна. Она, наморщившись, с беспокойством смотрела на эту сцену.

— Крепче сиди, Надинька, — говорила она. — По- 30
смотрите, граф, за ней, ради Христа! Ах! я боюсь, ей-богу, боюсь. Придерживайся за ухо лошади, Надинька: видишь, она точно бес — так и юлит.

— Ничего, татап, — весело сказала Надинька, — я ведь уж умею ездить: посмотрите.

Она хлестнула лошадь, та бросилась вперед и начала прыгать и рваться на месте.

— Ах, ах! держите! — закричала Марья Михайловна, махая рукой, — перестань, убьет!

Но Надинька потянула поводья, и лошадь стала. 40

— Видите, как она меня слушается! — сказала Надинька и погладила лошадь по шее.

Адуева никто и не заметил. Он, бледный, молча смотрел на Надиньку, а она, как на смех, никогда не

казалась так хороша, как теперь. Как шла к ней амазонка и эта шляпка с зеленой вуалью! как обрисовывалась ее талия! Лицо одушевлено было стыдливою гордостью и роскошью нового ощущения. Румянец то пропадал, то выступал, от удовольствия, на щеках. Лошадь слегка прыгала и заставляла стройную наездницу грациозно наклоняться и откидываться назад. Стан ее покачивался на седле, как стебель цветка, колеблемый ветерком. Потом жокей подвел лошадь графу.

10 — Граф! мы опять через рощу поедем? — спросила Надинька.

«Опять!» — подумал Адуев.

— Очень хорошо, — отвечал граф.

Лошади тронулись с места.

— Надежда Александровна! — вдруг закричал Адуев каким-то диким голосом.

Все остановились как вкопанные, как будто окаменели, и смотрели в недоумении на Александра. Это продолжалось с минуту.

20 — Ах, это Александр Федорыч! — первая сказала мать, опомнившись. Граф приветливо поклонился. Надинька проворно откинула вуаль от лица, обернулась и посмотрела на него с испугом, открыв немного ротик, потом быстро отвернулась, стегнула лошадь, та рванулась вперед и в два прыжка исчезла за воротами; за нею пустился граф.

— Тише, тише, ради Бога, тише! — кричала мать вслед, — за ухо держи. А! Господи Боже мой, того и гляди упадет: что это за страсти такие!

30 И всё пропало; слышен был только лошадиный топот, да пыль облаком поднялась с дороги. Александр остался с Любецкой. Он молча смотрел на нее, как будто спрашивал глазами: «Что это значит?» Та не заставила долго ждать ответа.

— Уехали, — сказала она, — и след простыл! Ну пусть молодежь порезвится, а мы с вами побеседуем, Александр Федорыч. Да что это две недели о вас ни слуху ни духу: разлюбили, что ли, нас?

40 — Я был болен, Марья Михайловна, — угрюмо отвечал он.

— Да, это видно: вы похудели и бледные такие! Сядьте-ка поскорей, отдохните; да не хотите ли, я прикажу сварить яичек всмятку? до обеда еще долго.

— Благодарю вас; я не хочу.

— Отчего? ведь сейчас будут готовы; а яйца славные: чухонец только сегодня принес.

— Нет-с, нет.

— Что ж это с вами? А я всё жду да жду, думаю: что ж это значит, и сам не едет и книжек французских не везет? Помните, вы обещали что-то: «Reau de chagrin»,¹ что ли? Жду, жду — нет! разлюбил, думаю, Александр Федорыч нас, право, разлюбил.

— Я боюсь, Марья Михайловна, не разлюбили ли вы меня?

10

— Грех вам бояться этого, Александр Федорыч! Я люблю вас как родного; вот не знаю, как Надинька; да она еще ребенок: что смыслит? где ей ценить людей! Я каждый день твержу ей: что это, мол, Александра Федорыча не видать, что не едет? и всё поджидаю. Поверите ли, каждый день до пяти часов обедать не садилась, всё думала: вот подъедет. Уж и Надинька говорит иногда: «Что это, татап, кого вы ждете? мне кушать хочется, и графу, я думаю, тоже...»

— А граф... часто бывает?.. — спросил Александр.

20

— Да почти каждый день, а иногда по два раза в один день; такой добрый, так полюбил нас... Ну вот, говорит Надинька: «Есть хочу, да и только! пора за стол». — «А как Александр Федорыч, говорю я, будет?..» — «Не будет, говорит она, хотите пари, что не будет? нечего ждать...» — Любецкая резала Александра этими словами, как ножом.

— Она... так и говорила? — спросил он, стараясь улыбнуться.

— Да, так-таки и говорит и торопит. Я ведь строга, даром что смотрю такой доброй. Я уж бранила ее: «То ждешь, мол, его до пяти часов, не обедаешь, то вовсе не хочешь подождать — бестолковая! нехорошо! Александр Федорыч старый наш знакомый, любит нас, и дяденька его Петр Иваныч много нам расположения своего показал... нехорошо так небрежничать! он, пожалуй, рассердится да не станет ходить...»

30

— Что ж она? — спросил Александр.

— А ничего. Ведь вы знаете, она у меня такая живая — вскочит, запоет да побежит или скажет: «Приедет, если захочет!» — такая резвушка! я и думаю — придет. Смотришь, еще день пройдет — нет! Я опять: «Что это, Надинька, здоров ли Александр Федорыч!» —

40

¹ «Шагреновая кожа» (фр.)

«Не знаю, говорит, татап, мне почему знать?» — «Пошлем-ка узнать, что с ним?» Пошлем да пошлем, да так вот и послали: я-то забыла, понадеялась на нее, а она у меня ветер. Вот теперь далась ей эта езда! увидела раз графа верхом из окна и пристала ко мне: «хочу ездить», да и только! Я туда-сюда, нет — «хочу!» Сумасшедшая! Нет, в мое время какая верховая езда! нас совсем не так воспитывали. А нынче, ужас сказать, дамы стали уж покуривать: вон напротив нас молодая вдова живет: сидит
10 на балконе да соломинку целый день и курит; мимо ходят, ездят — ей и нужды нет! Бывало, у нас, если и от мужчины в гостиной пахнет табаком...

— Давно это началось? — спросил Александр.

— Да не знаю, говорят, лет с пять в моду вошло: ведь всё от французов...

— Нет-с, я спрашиваю: давно ли Надежда Александровна ездит верхом?

— Недели с полторы. Граф такой добрый, такой обходительный: чего-чего не делает для нас; как ее балует!
20 Смотрите, сколько цветов! всё из его сада. Иной раз совестно станет. «Что это, говорю, граф, вы ее балуете? она совсем ни на что не похожа будет!..» — и ее побраню. Мы с Марьей Ивановной да с Надинькой были у него в манеже: я ведь, вы знаете, сама за ней наблюдаю: уж кто лучше матери усмотрит за дочь? я сама занималась воспитанием и не хвастаясь скажу: дай Бог всякому такую дочь! Там при нас Надинька и училась. Потом завтракали у него в саду, да вот теперь каждый день и ездят. Что это, какой богатый у него дом! мы смотрели: всё так со
30 вкусом, роскошно!

— Каждый день! — сказал Александр почти про себя.

— Да что ж не потешить! сама тоже молода была... бывало...

— И долго они ездят?

— Часа по три. Ну а вы чем это заболели?

— Я не знаю... у меня что-то грудь болит... — сказал он, прижав руку к сердцу.

— Вы ничего не принимаете?

— Нет.

40 — Вот то-то молодые люди! всё ничего, всё до поры до времени, а там и спохватятся, как время уйдет! Что ж вам, ломит, что ли, ноет или режет?

— И ломит, и ноет, и режет! — рассеянно сказал Александр.

— Это простуда; сохрани Боже! не надо запускать, вы так ухаживайте себя... может воспаление сделаться; и никаких лекарств! Знаете что? возьмите-ка оподельдоку да и трите на ночь грудь крепче, втирайте докрасна, а вместо чаю пейте траву, я вам рецепт дам.

Надинька воротилась бледная от усталости. Она бросилась на диван, едва переводя дух.

— Смотри-ка! — говорила, приложив ей руку к голове, Марья Михайловна, — как уходилась, насилу дышишь. Выпей воды да поди переоденься, распусти шну- 10
ровку. Уж не доведет тебя эта езда до добра!

Александр и граф пробыли целый день. Граф был неизменно вежлив и внимателен к Александру, звал его к себе взглянуть на сад, приглашал разделить прогулку верхом, предлагал ему лошадь.

— Я не умею ездить, — холодно сказал Адуев.

— Вы не умеете? — спросила Надинька, — а как это весело! Мы опять завтра поедем, граф?

Граф поклонился.

— Полно тебе, Надинька, — заметила мать, — ты бес- 20
покоишь графа.

Ничто, однако ж, не показывало, чтобы между графом и Надинькою существовали особенные отношения. Он был одинаково любезен и с матерью, и с дочерью, не искал случая говорить с одной Надинькой, не бежал за нею в сад, глядел на нее точно так же, как и на мать. Ее свободное обращение с ним и прогулки верхом объяснялись, с ее стороны, дикостью и неровностью характера, наивностью, может быть, еще недостатком воспитания, незнанием условий света; со стороны мате- 30
ри — слабостью и недалечностью. Внимательность и услужливость графа и его ежедневные посещения можно было приписать соседству дач и радушному приему, который он всегда находил у Любецких.

Дело, кажется, естественное, если глядеть на него простым глазом; но Александр смотрел в увеличительное стекло и видел многое... многое... чего простым глазом не усмотришь.

«Отчего, — спрашивал он себя, — переменялась к нему Надинька?» Она уж не ждет его в саду, встречает не 40
с улыбкой, а с испугом, одевается с некоторых пор гораздо тщательнее. Нет небрежности в обращении. Она осмотрительнее в поступках, как будто стала рассудительнее. Иногда у ней кроется в глазах и в словах что-то

такое, что похоже на секрет... Где милые капризы, дикость, шалости, резвость? Всё пропало. Она стала серьезна, задумчива, молчалива. Ее как будто что-то мучит. Она теперь похожа на всех девиц: такая же притворщица, так же лжет, так заботливо расспрашивает о здоровье... так постоянно внимательна, любезна по форме... к нему... к Александру! с кем... о Боже! И сердце его замирало.

«Это недаром, недаром, — твердил он сам с собою, — тут что-то кроется! Но я узнаю, во что бы то ни стало, и тогда горе...

Не попушу, чтоб развратитель
Огнем и вздохов и похвал
Младое сердце искушал...
Чтоб червь презренный, ядовитый
Точил лилеи стебелек,
Чтобы двухутренний цветок
Увял, едва полураскрытый...»

И в этот день, когда граф уже ушел, Александр старался улучшить минуту, чтобы поговорить с Надинькой наедине. Чего он не делал? Взял книгу, которою она, бывало, вызывала его в сад от матери, показал ей и пошел к берегу, думая, вот сейчас прибежит. Ждал, ждал — нейдет. Он воротился в комнату. Она сама читала книгу и не взглянула на него. Он сел подле нее. Она не поднимала глаз, потом спросила бегло, мимоходом, занимается ли он литературой, не вышло ли чего-нибудь нового? О прошлом ни слова.

Он заговорил с матерью. Надинька ушла в сад. 30 Мать вышла из комнаты, и Адуев бросился также в сад. Надинька, завидев его, встала со скамьи и пошла не навстречу ему, а по круговой аллее, тихонько к дому, как будто от него. Он ускорил шаги, и она тоже.

— Надежда Александровна! — закричал он издали, — мне хотелось бы сказать вам два слова.

— Пойдемте в комнату: здесь сыро, — отвечала она.

Воротясь, она опять села подле матери. Александру чуть не сделалось дурно.

40 — И вы нынче боитесь сырости? — сказал он с колкостью.

— Да, теперь такие темные вечера, и холодные, — отвечала она, зевая.

— Скоро и переедем, — заметила мать. — Потрудитесь, Александр Федорыч, зайти на квартиру и напомнить хозяину, чтоб он переделал два замка у дверей да ставню в Надинькиной спальне. Он обещал — забудет, того гляди. Они все таковы: им лишь бы денежки взять.

Адуев стал прощаться.

— Смотрите же, не надолго! — сказала Марья Михайловна.

Надинька молчала.

Он уж подошел к дверям и обернулся к ней. Она 10
сделала три шага к нему. Сердце у него встрепенулось.

«Наконец!» — подумал он.

— Вы будете к нам завтра? — спросила она холодно, но глаза ее устремились на него с жадным любопытством.

— Не знаю; а что?

— Так, спрашиваю; будете ли?

— А вам бы хотелось?

— Будете вы завтра к нам? — повторила она тем же холодным тоном, но с большим нетерпением.

— Нет! — отвечал он с досадой. 20

— А послезавтра?

— Нет; я не буду целую неделю, может быть, две... долго!.. — И он устремил на нее испытующий взгляд, стараясь прочесть в ее глазах, какое впечатление произведет этот ответ.

Она молчала, но глаза ее в одно мгновение с его ответом опустились вниз, и что было в них? отуманила ли их грусть, или блеснула в них молния радости — ничего нельзя было прочесть на этом мраморном, прекрасном лице. 30

Александр стиснул шляпу в руке и пошел вон.

— Не забудьте потереть грудь оподельдоком! — кричала вслед Марья Михайловна. И вот Александру опять задача — разбирать, к чему был сделан Надинькою вопрос? что в нем заключалось: желание или боязнь видеть его?

— О, какая мука! какая мука! — говорил он в отчаянии.

Не выдержал бедный Александр: приехал на третий день. Надинька была у решетки сада, когда он подъезжал. 40
Он уж было обрадовался, но только что он стал приближаться к берегу, она, как будто не видя его, повернулась и, сделав несколько косвенных шагов по дорожке, точно гуляет без цели, пошла домой.

Он застал ее с матерью. Там было человека два из города, соседка Марья Ивановна и неизбежный граф. Мучения Александра были невыносимы. Опять прошел целый день в пустых, ничтожных разговорах. Как надоели ему гости! Они говорили покойно о всяком вздоре, рассуждали, шутили, смеялись.

«Смеются! — говорил Александр, — они могут смеяться, когда... Надинька... переменялась ко мне! Им это ничего! Жалкие, пустые люди: всему радуются!»

10 Надинька ушла в сад; граф не пошел с ней. С некоторого времени и он, и Надинька как будто избегали друг друга при Александре. Он иногда застанет их в саду или в комнате одних, но потом они разойдутся и при нем уже не сходятся более. Новое, страшное открытие для Александра: знак, что они в заговоре.

Гости разошлись. Ушел и граф. Надинька этого не знала и не спешила домой. Адуев без церемонии ушел от Марьи Михайловны в сад. Надинька стояла спиной к Александру, держась рукой за решетку и опершись головой на руку, как в тот незабвенный вечер... Она не видала и не слыхала его прихода.

Как билось у него сердце, когда он крался к ней на цыпочках. Дыхание у него замерло.

— Надежда Александровна! — едва слышно проговорил он в волнении.

Она вздрогнула, как будто подле нее выстрелили, обернулась и отступила от него на шаг.

— Скажите, пожалуйста, что это там за дым? — заговорила она в смущении, с живостью указывая на 20 противоположную сторону реки, — пожар, что ли, или печка такая... на заводе?..

Он молча глядел на нее.

— Право, я думала — пожар... Что вы так смотрите на меня, не верите?

Она замолчала.

— И вы, — начал он, качая головой, — и вы как другие, как все!.. Кто бы ожидал этого... месяца два назад?..

— Что вы? я вас не понимаю, — сказала она и хотела идти.

40 — Пойдите, Надежда Александровна, я не в силах долее сносить этой пытки.

— Какой пытки? я, право, не знаю...

— Не притворяйтесь, скажите, вы ли это? те же ли вы, какие были?

— Я всё та же! — сказала она решительно.
— Как! вы не переменились ко мне!
— Нет: я, кажется, так же ласкова с вами, так же весело встречаю вас...
— Так же весело! а зачем бежите от решетки?..
— Я бегу? смотрите, что выдумали: я стою у решетки, а вы говорите — бегу.
Она принужденно засмеялась.
— Надежда Александровна, оставьте лукавство! — продолжал Адуев. 10
— Какое лукавство? что вы пристали ко мне?
— Вы ли это? Боже мой! полтора месяца тому назад, еще здесь...
— Что это за дым такой на той стороне, хотела бы я знать?..
— Ужасно! Ужасно! — говорил Александр.
— Да что я вам сделала? Вы перестали к нам ездить — как хотите... удерживать против воли... — начала Надинька.
— Притворяетесь! будто вы не знаете, зачем я перестал 20 ездить?
Она, глядя в сторону, покачала головой.
— А граф? — сказал он почти грозно.
— Какой граф?
Она сделала мину, как будто в первый раз слышит о графе.
— Какой! скажите еще, — говорил он, глядя ей прямо в глаза, — что вы равнодушны к нему?
— Вы с ума сошли! — отвечала она, отступая от него.
— Да, вы не ошиблись! — продолжал он, — рассудок 30 мой угасает с каждым днем... Можно ли так коварно, неблагодарно поступить с человеком, который любил вас больше всего на свете, который всё забыл для вас, всё... думал скоро быть счастливым навсегда, а вы...
— Что я? — говорила она, отступив еще.
— Что вы? — отвечал он, взбешенный этим хладнокровием. — Вы забыли! я напомню вам, что здесь, на этом самом месте, вы сто раз клялись принадлежать мне: «Эти клятвы слышит Бог!» — говорили вы. Да, Он слышал их! вы должны краснеть и перед небом, и перед этими 40 деревьями, перед каждой травкой... всё свидетель нашего счастья: каждая песчинка говорит здесь о нашей любви: смотрите, оглянитесь около себя!.. вы клятвопреступница!!!

Она с ужасом смотрела на него. Глаза его сверкали, губы побелели.

— У! какие злые! — сказала она робко, — за что вы сердитесь? я вам не отказывала, вы еще не говорили с татап... почему же вы знаете...

— Говорить после этих поступков?..

— Каких поступков? я не знаю...

— Каких? сейчас скажу: что значат эти свидания с графом, эти прогулки верхом?

10 — Не бежать же мне от него, когда татап выйдет из комнаты! а езда верхом значит... что я люблю ездить... так приятно: скачешь... ах, какая миленькая эта лошадка Люси! вы видели?.. она уж знает меня...

— А перемена в обращении со мной?.. — продолжал он, — зачем граф у вас каждый день, с утра до вечера?

— Ах, Боже мой! я почему знаю! какие вы смешные! татап так хочет.

— Неправда! татап хочет то, что вы хотите. Кому эти все подарки, ноты, альбомы, цветы? всё татап?

20 — Да, татап очень любит цветы. Вчера еще она купила у садовника!..

— А о чем вы с ним говорите вполголоса? — продолжал Александр, не обращая внимания на ее слова, — посмотрите, вы бледнеете, вы сами чувствуете свою вину. Разрушить счастье человека, забыть, уничтожить всё так скоро, легко: лицемерие, неблагодарность, ложь, измена!.. да, измена!.. как могли вы допустить себя до этого? Богатый граф, лев, удостоил кинуть на вас благосклонный взгляд — и вы растаяли, пали ниц перед этим мишурным
30 солнцем; где стыд!!! Чтоб графа не было здесь! — говорил он задыхающимся голосом, — слышите ли? оставьте, прекратите с ним все сношения, чтоб он забыл дорогу в ваш дом!.. я не хочу...

Он с бешенством схватил ее за руку.

— Матап, татап! сюда! — пронзительным голосом закричала Надинька, вырываясь от Александра, и, вырвавшись, опрометью бросилась бежать домой.

Он сел на скамью и схватился руками за голову.

Она прибежала в комнату бледная, испуганная и упала
40 на стул.

— Что ты? что с тобой? что ты кричишь? — спросила встревоженная мать, идя ей навстречу.

— Александр Федорыч... нездоров! — едва могла проговорить она.

— Так что ж так пугаться?

— Он такой страшный... тамап, не пускайте его, ради Бога, ко мне.

— Как ты меня перепугала, сумасшедшая! Ну что ж, что нездоров? я знаю, у него грудь болит. Что тут страшного? не чахотка! потрет оподельдоком — всё пройдет: видно, не послушался, не потер.

Александр опомнился. Горячка прошла, но мука его удвоилась. Сомнений он не прояснил, а перепугал Надиньку и теперь, конечно, не добьется от нее ответа: не так взялся за дело. Ему, как всякому влюбленному, вдруг пришло в голову и то: «Ну, если она не виновата? может быть, в самом деле она равнодушна к графу. Бестолковая мать приглашает его каждый день: что же ей делать? Он, как светский человек, любезен; Надинька — хорошенькая девушка: может быть, он и хочет нравиться ей, да ведь это еще не значит, что уж и понравился. Ей, может быть, нравятся цветы, верховая езда, невинные развлечения, а не сам граф? Да положим даже, что тут есть немного и кокетства: разве это не простительно? другие и старше, да бог знает что делают».

Он отдохнул, луч радости блеснул в душе. Влюбленные все таковы: то очень слепы, то слишком прозорливы. Притом же так приятно оправдать любимый предмет!

«А отчего же перемена в обращении со мной? — вдруг спрашивал он себя и снова бледнел. — Зачем она убегает меня, молчит, будто стыдится? зачем вчера, в простой день, оделась так нарядно? гостей, кроме его, не было. Зачем спросила, скоро ли начнутся балеты?» Вопрос простой; но он вспомнил, что граф вскользь обещал доставать всегда ложу, несмотря ни на какие трудности: следовательно, он будет с ними. «Зачем вчера ушла из саду? зачем не пришла в сад? зачем спрашивала то, зачем не спрашивала...»

И снова впал он в тяжкие сомнения, и снова жестоко мучился, и дошел до заключения, что Надинька даже никогда его и не любила.

«Боже, Боже! — говорил он в отчаянье, — как тяжело, как горько жить! Дай мне это мертвое спокойствие, этот сон души...»

Через четверть часа он пришел в комнату унылый, боязливый.

— Прощайте, Надежда Александровна, — сказал он робко.

— Прощайте, — отвечала она отрывисто, не поднимая глаз.

— Когда позволите мне прийти?

— Когда вам угодно. Впрочем... мы на той неделе переезжаем в город: мы вам дадим знать тогда...

Он уехал. Прошло более двух недель. Все уже переехали с дач. Аристократические салоны засияли снова. И чиновник засветил две стенные лампы в гостиной, купил полпуда стеариновых свеч, расставил два карточных стола, в ожидании Степана Ивановича и Ивана Степановича, и объявил жене, что у них будут вторники.

А Адуев всё не получал от Любецких приглашения. Он встретил и повара их, и горничную. Горничная, завидя его, бросилась бежать прочь: видно было, что она действовала в духе барышни. Повар остановился.

— Что это вы, сударь, забыли нас? — сказал он, — а мы уж недели полторы как переехали.

— Да, может быть, вы... не разобрались, не принимаете?

— Какое, сударь, не принимаем: уж все перебивали, только вас нет; барыня не надивится. Вот его сиятельство так каждый день изволит жаловать... такой добрый барин. Я наемни ходил к нему с какой-то тетрадкой от барышни — красенькую пожаловал.

— Какой же ты дурак! — сказал Адуев и бросился бежать от болтуна. Он прошел вечером мимо квартиры Любецких. Светло. У подъезда карета.

— Чья карета? — спросил он.

— Графа Новинского.

На другой, на третий день то же. Наконец однажды он вошел. Мать приняла его радушно, с упреками за отсутствие, побранила, что не трет грудь оподельдоком; Надинька — покойно, граф — вежливо. Разговор не вязался.

Так был он раза два. Напрасно он выразительно глядел на Надиньку; она как будто не замечала его взглядов, а прежде как замечала! бывало, он говорит с матерью, а она станет напротив него, сзади Марьи Михайловны, делает ему гримасы, шалит и смешит его.

Им овладела невыносимая тоска. Он думал о том только, как бы свергнуть с себя этот добровольно взятый крест. Ему хотелось добиться объяснения. «Какой бы ни был ответ, — думал он, — всё равно, лишь бы превратить сомнение в известность».

Долго обдумывал он, как приняться за дело, наконец выдумал что-то и пошел к Любецким.

Всё благоприятствовало ему. Кареты у подъезда не было. Тихо прошел он залу и на минуту остановился перед дверями гостиной, чтобы перевести дух. Там Надинька играла на фортепиано. Дальше через комнату сама Любецкая сидела на диване и вязала шарф. Надинька, услышавши шаги в зале, продолжала играть тише и вытянула головку вперед. Она с улыбкой ожидала появления гостя. Гость появился, и улыбка мгновенно исчезла; место ее заменил испуг. Она немного изменилась в лице и встала со стула. Не этого гостя ожидала она.

Александр молча поклонился и, как тень, прошел дальше, к матери. Он шел тихо, без прежней уверенности, с поникшей головой. Надинька села и продолжала играть, озираясь по временам беспокойно назад.

Через полчаса мать зачем-то вызвали из комнаты. Александр пришел к Надиньке. Она встала и хотела идти.

— Надежда Александровна! — сказал он уныло, — подождите, уделите мне пять минут, не более.

— Я не могу слушать вас! — сказала она и пошла было прочь, — в последний раз вы были...

— Я был виноват тогда. Теперь буду говорить иначе, даю вам слово: вы не услышите ни одного упрека. Не отказывайте мне, может быть, в последний раз. Объяснение необходимо: ведь вы мне позволили просить у маменьки вашей руки. После того случилось много такого... что... словом — мне надо повторить вопрос. Сядьте и продолжайте играть: маменька лучше не услышит; ведь это не в первый раз...

Она машинально повиновалась: слегка краснея, начала брать аккорды и в тревожном ожидании устремила на него взгляд.

— Куда же вы ушли, Александр Федорыч? — спросила мать, воротясь на свое место.

— Я хотел поговорить с Надеждой Александровной о... литературе, — отвечал он.

— Ну поговорите, поговорите: в самом деле, давно вы не говорили.

— Отвечайте мне коротко и искренно на один только вопрос, — начал он вполголоса, — и наше объяснение сейчас кончится... Вы меня не любите более?

— Quelle idée!¹ — отвечала она, смутившись, — вы знаете, как татап и я ценили всегда вашу дружбу... как были всегда рады вам...

Адуев посмотрел на нее и подумал: «Ты ли это, капризное, но искреннее дитя? эта шалунья, резвушка? Как скоро выучилась она притворяться! как быстро развились в ней женские инстинкты! Ужели милые капризы были зародышами лицемерия, хитрости?.. вот и без дядиной методы, а как проворно эта девушка образовалась в женщину! и всё в школе графа, и в какие-нибудь два-три месяца! О дядя, дядя! и в этом ты беспощадно прав!»

— Послушайте, — сказал он таким голосом, что маска вдруг слетела с притворщицы, — оставим маменьку в стороне: сделайте на минуту прежней Надинькой, когда вы немножко любили меня... и отвечайте прямо: мне это нужно знать, ей-богу, нужно.

Она молчала, только переменяла ноты и стала пристально рассматривать и разыгрывать какой-то трудный пассаж.

— Ну хорошо, я изменю вопрос, — продолжал Адуев, — скажите, не заменил ли — не назову даже кто — просто не заменил ли кто-нибудь меня в вашем сердце?..

Она сняла со свечки и долго поправляла светильню, но молчала.

— Отвечайте же, Надежда Александровна: одно слово избавит меня от муки, вас — от неприятного объяснения.

— Ах! Боже мой, перестаньте! что я вам скажу? мне нечего сказать! — отвечала она, отворачиваясь от него.

Другой удовольствовался бы таким ответом и увидел бы, что ему не о чем больше хлопотать. Он понял бы всё из этой безмолвной, мучительной тоски, написанной и на лице ее, проглядывавшей и в движениях. Но Адуеву было не довольно. Он, как палач, пытал свою жертву и сам был одушевлен каким-то диким, отчаянным желанием выпить чашу разом и до конца.

— Нет! — говорил он, — кончите эту пытку сегодня; сомнения, одно другого чернее, волнуют мой ум, рвут на части сердце. Я измучился; я думаю, у меня лопнет грудь от напряжения... мне нечем увериться в своих подозрениях; вы должны решить всё сами; иначе я никогда не успокоюсь.

¹ Что за мысль! (фр.)

Он смотрел на нее и ждал ответа. Она молчала.

— Сжальтесь надо мной! — начал он опять, — посмотрите на меня: похож ли я на себя? все пугаются меня, не узнают... все жалеют, вы одни только...

Точно: глаза его горели диким блеском. Он был худ, бледен, на лбу выступил крупный пот.

Она украдкой бросила на него взгляд, и во взгляде мелькнуло что-то похожее на сожаление. Она взяла его даже за руку, но тотчас же оставила ее со вздохом и всё молчала.

— Что же? — спросил он.

10

— Ах, оставьте меня в покое! — сказала она с тоской, — вы мучите меня вопросами...

— Умоляю вас, ради Бога! — говорил он, — кончите всё одним словом... К чему послужит вам скрытность? У меня останется глупая надежда, я не отстану, я буду ежедневно являться к вам бледный, расстроенный... Я наведу на вас тоску. Откажете от дому, — стану бродить под окнами, встречаться с вами в театре, на улице, всюду, как привидение, как *memento mori*.¹ Всё это глупо, может быть, смешно, кому до смеху, — но мне больно! Вы не знаете, что такое страсть, до чего она доводит! дай Бог вам и не узнать никогда!.. Что ж пользы? не лучше ли сказать вдруг?

20

— Да о чем вы меня спрашиваете? — сказала Надинька, откинувшись на спинку кресла. — Я совсем растерялась... у меня голова точно в тумане...

Она судорожно прижала руку ко лбу и тотчас же отняла.

— Я спрашиваю: заменил ли меня кто-нибудь в вашем сердце? Одно слово — *да* или *нет* — решит всё; долго ли сказать!

30

Она хотела что-то сказать, но не могла и, потупив глаза, начала ударять пальцем по одному клавишу. Видно было, что она сильно боролась сама с собой. «Ах!» — произнесла она наконец с тоской. Адуев отер платком лоб.

— Да или нет? — повторил он, притаив дыхание.

Прошло несколько секунд.

— Да или нет!

— Да! — прошептала Надинька чуть слышно, потом совсем наклонилась к фортепиано и, как будто в забытьи, начала брать сильные аккорды.

40

¹ напоминание о смерти (*лат.*)

Это *да* раздалось едва внятно, как вздох, но оно оглушило Адуева; сердце у него будто оторвалось, ноги подкосились под ним. Он опустил на стул подле фортепиано и молчал.

Надинька боязливо взглянула на него. Он смотрел на нее бессмысленно.

— Александр Федорыч! — закричала вдруг мать из своей комнаты, — в котором ухе звенит?

Он молчал.

10 — Матап вас спрашивает, — сказала Надинька.

— А?

— В котором ухе звенит? — кричала мать, — да поскорее!

— В обоих! — мрачно произнес Адуев.

— Экие какие, в левом! А я загадала, будет ли граф сегодня.

— Граф! — произнес Адуев.

— Простите меня! — сказала Надинька умоляющим голосом, бросившись к нему, — я сама себя не понимаю...
20 Это всё сделалось нечаянно, против моей воли... не знаю как... я не могла вас обманывать...

— Я сдержу свое слово, Надежда Александровна, — отвечал он, — не сделаю вам ни одного упрека. Благодарю вас за искренность... вы много, много сделали... сегодня... мне трудно было слышать это *да*... но вам еще труднее было сказать его... Прощайте; вы более не увидите меня: одна награда за вашу искренность... но граф, граф!

Он стиснул зубы и пошел к дверям.

— Да, — сказал он, воротясь, — к чему это вас пове-
30 дет? Граф на вас не женится: какие у него намерения?..

— Не знаю! — отвечала Надинька, печально качая головой.

— Боже! как вы ослеплены! — с ужасом воскликнул Александр.

— У него не может быть дурных намерений... — отвечала она слабым голосом.

— Берегитесь, Надежда Александровна!

Он взял ее руку, поцеловал ее и неровными шагами вышел из комнаты. На него страшно было смотреть.
40 Надинька осталась неподвижна на своем месте.

— Что ж ты не играешь, Надинька? — спросила мать через несколько минут.

Надинька очнулась как будто от тяжелого сна и вздохнула.

— Сейчас, татан! — отвечала она и, задумчиво склонив голову немного на сторону, робко начала перебирать клавиши. Пальцы у ней дрожали. Она видимо страдала от угрызений совести и от сомнения, брошенного в нее словом «Берегитесь!» Когда приехал граф, она была молчалива, скучна; в манерах ее было что-то принужденное. Она, под предлогом головной боли, рано ушла в свою комнату. И ей в этот вечер казалось горько жить на свете.

Адуев только что спустился с лестницы, как силы ¹⁰ изменили ему, он сел на последней ступени, закрыл глаза платком и вдруг начал рыдать громко, но без слез. В это время мимо сеней проходил дворник. Он остановился и послушал.

— Марфа, а Марфа! — закричал он, подошедши к своей засаленной двери, — подь-ка сюда, послушай, как тут кто-то ревет, словно зверь. Я думал, не Арапка ли наша сорвалась с цепи, да нет, это не Арапка.

— Нет, это не Арапка! — повторила, вслушиваясь, Марфа. — Что за диковина? ²⁰

— Поди-ка принеси фонарик: там, за печкой, висит. Марфа принесла фонарик.

— Всё ревет? — спросила она.

— Ревет! Уж не мошенник ли какой забрался?

— Кто тут? — спросил дворник.

Нет ответа.

— Кто тут? — повторила Марфа.

Всё тот же рев. Они вошли оба вдруг. Адуев бросился вон.

— Ах, да это барин какой-то, — сказала Марфа, глядя ³⁰ ему вслед, — а ты выдумал: мошенник! Вишь, ведь хватило ума сказать! Станет мошенник реветь в чужих сенях!

— Ну так, видно, хмелен!

— Еще лучше! — отвечала Марфа, — ты думаешь, все в тебя? не все же пьяные ревут, как ты.

— Так что ж он, с голоду, что ли? — с досадой заметил дворник.

— Что! — говорила Марфа, глядя на него и не зная, что сказать, — почем знать, может, обронил что-нибудь — деньги... ⁴⁰

Они оба вдруг присели и начали с фонариком шарить по полу во всех углах.

— Обронил! — ворчал дворник, освещая пол, — где тут обронить? лестница чистая, каменная, тут и иголку

увидишь... обронил! Оно бы слышно было, кабы обронил: звякнет об камень; чай, поднял бы! где тут обронить? негде! обронил! как не обронил: таковский, чтоб обронил! того и гляди — обронит! нет: этакой небось сам норовит как бы в карман положить! а то обронит! знаем мы их, мазуриков! вот и обронил! где он обронил?

И долго еще ползали они по полу, ища потерянных денег.

— Нет, нету! — сказал наконец дворник со вздохом, потом задул свечку и, сжав двумя пальцами светильню, отер их о тулуп.

VI

В этот же вечер, часов в двенадцать, когда Петр Иваныч, со свечой и книгой в одной руке, а другой придерживая полу халата, шел из кабинета в спальню ложиться спать, камердинер доложил ему, что Александр Федорыч желает с ним видеться.

Петр Иваныч сдвинул брови, подумал немного, потом покойно сказал:

20 — Прости в кабинет, я сейчас приду.

— Здравствуй, Александр, — приветствовал он, воротясь туда, племянника, — давно мы с тобой не видались. То днем тебя не дождешься, а тут вдруг — бац ночью! Что так поздно? Да что с тобой? на тебе лица нет.

Александр, не отвечая ни слова, сел в кресла в крайнем изнеможении. Петр Иваныч смотрел на него с любопытством.

Александр вздохнул.

— Здоров ли ты? — спросил Петр Иваныч заботливо.

30 — Да, — отвечал Александр слабым голосом, — двигаюсь, ем, пью, следовательно, здоров.

— Ты не шути, однако: посоветуйся с доктором.

— Мне уж советовали и другие, но никакие доктора и оподельдоки не помогут: мой недуг не физический...

— Что же с тобой? Не проигрался ли ты или не потерял ли деньги? — с живостью спросил Петр Иваныч.

— Вы никак не можете представить себе безденежного горя! — отвечал Александр, стараясь улыбнуться.

— Что ж за горе, если оно медного гроша не стоит, как иногда твое?..

40 — Да, вот как, например, теперь. Вы знаете ли мое настоящее горе?

— Какое горе? Дома у тебя всё обстоит благополучно: это я знаю из писем, которыми матушка твоя угощает меня ежемесячно; на службе уж ничего не может быть хуже того, что было; подчиненного на шею посадили: это последнее дело. Ты говоришь, что ты здоров, денег не потерял, не проиграл... вот что важно, а с прочим со всем легко справиться; там следует вздор, любовь, я думаю...

— Да, любовь; но знаете ли, что случилось? когда узнаете, так, может быть, перестанете так легко рассуждать, а ужаснетесь...

10

— Расскажи-ка; давно я не ужасался, — сказал дядя, садясь, — а впрочем, немудрено и угадать: вероятно, надули...

Александр вскочил, хотел что-то сказать, но ничего не сказал и сел на свое место.

— Что, правда? Видишь: ведь я говорил, а ты: «Нет, как можно!»

— Можно ли было предчувствовать?.. — сказал Александр, — после всего...

— Надо было не предчувствовать, а предвидеть, то 20 есть знать — это вернее — да и действовать так.

— Вы так покойно можете рассуждать, дядюшка, когда я... — сказал Александр.

— Да мне-то что?

— Я и забыл: вам хоть весь город сгори или провались — всё равно!

— Слуга покорный! а завод?

— Вы шутите, а я страдаю не шутя; мне тяжело, я точно болен.

— Да неужели ты от любви так похудел? Какой срам! 30 Нет: ты был болен, а теперь начинаешь выздоравливать, да и пора! шутка ли, года полтора тянется глупость. Еще немного, так, пожалуй, и я бы поверил неизменной и вечной любви.

— Дядюшка! — сказал Александр, — пощадите меня: теперь ад в моей душе...

— Да! так что же?

Александр подвинул свои кресла к столу, а дядя начал отодвигать от племянника чернильницу, *presse-papiers* и проч.

40

«Пришел ночью, — подумал он, — в душе ад... непременно опять разобьет что-нибудь».

— Утешения я у вас не найду, да и не требую, — начал Александр, — я прошу вашей помощи как у

дяди, как у родственника... Я кажусь вам глуп — не правда ли?

— Да, если б ты не был жалок.

— Так вам жаль меня?

— Очень. Разве я дерево? Малый добрый, умный, порядочно воспитанный, а пропадает ни за копейку — и отчего? от пустяков!

— Докажите же, что вам жаль меня.

— Чем же? Денег, ты говоришь, не нужно...

10 — Денег, денег! о, если б мое несчастье было только в безденежье, я бы благословил свою судьбу!

— Не говори этого, — серьезно заметил Петр Иванович, — ты молод — проклянешь, а не благословишь судьбу! Я, бывало, не раз проклинал — я!

— Выслушайте же меня терпеливо...

— Ты долго пробудешь, Александр? — спросил дядя.

— Да, мне нужно всё ваше внимание; а что?

— Так вот, видишь ли: мне хочется поужинать. Я было собрался спать без ужина, а теперь, если просидим долго, так поужинаем да выпьем бутылку вина, а между тем ты мне всё расскажешь.

— Вы можете ужинать? — спросил Александр с удивлением.

— Да, и очень могу; а ты разве не станешь?

— Я — ужинать! да и вы не проглотите куска, когда узнаете, что дело идет о жизни и смерти.

— О жизни и смерти?.. — повторил дядя, — да, это, конечно, очень важно, а впрочем — попробуем, авось проглотим.

30 Он позвонил.

— Спроси, — сказал он вошедшему камердинеру, — что там есть поужинать, да вели достать бутылку лафиту за зеленой печатью.

Камердинер ушел.

— Дядюшка! вы не в таком расположении духа, чтоб слушать печальную повесть моего горя, — сказал Александр, взявши шляпу, — я лучше приду завтра...

— Нет, нет, ничего, — живо заговорил Петр Иванович, удерживая племянника за руку, — я всегда в одном расположении духа. Завтра, того и гляди, тоже застанешь за завтраком или еще хуже — за делом. Лучше уж кончим разом. Ужин не портит дела. Я еще лучше выслушаю и пойму. На голодный желудок, знаешь, оно неловко...

Принесли ужин.

— Что же, Александр, давай... — сказал Петр Иванович.

— Да я не хочу, дядюшка, есть! — сказал с нетерпением Александр и пожал плечами, глядя, как дядя хлопотал над ужином.

— По крайней мере хоть выпей рюмку вина: вино недурно!

Александр потряс отрицательно головой.

— Ну так возьми сигару да рассказывай, а я буду слушать обоими ушами, — сказал Петр Иванович и живо принялся есть.

— Вы знаете графа Новинского? — спросил Александр, помолчав.

— Графа Платона?

— Да.

— Приятели; а что?

— Поздравляю вас с таким приятелем — подлец!

Петр Иванович вдруг перестал жевать и с удивлением посмотрел на племянника.

— Вот тебе на! — сказал он, — а ты разве знаешь его?

— Очень хорошо.

— Давно ли?

— Месяца три.

— Как же так? Я лет пять его знаю и всё считал порядочным человеком, да и от кого ни услышишь — все хвалят, а ты вдруг так уничтожил его.

— Давно ли вы стали защищать людей, дядюшка? а прежде, бывало...

— Я и прежде защищал порядочных людей. А ты давно ли стал бранить их, перестал называть ангелами?

— Пока не знал, а теперь... о люди, люди! *жалкий род, достойный слез и смеха!* Сознаюсь, кругом виноват, что не слушал вас, когда вы советовали остерегаться всякого...

— И теперь посоветую; остерегаться не мешает: если окажется негодяй — не обманешься, а порядочный человек — приятно ошибешься.

— Укажите, где порядочные люди? — говорил Александр с презрением.

— Вот хоть мы с тобой — чем не порядочные? Граф, если уж о нем зашла речь, тоже порядочный человек; да мало ли? У всех есть что-нибудь дурное... а не всё дурно и не все дурны.

— Все, все! — решительно сказал Александр.

— А ты?

— Я? я по крайней мере унесу из толпы разбитое, но чистое от низости сердце, душу растерзанную, но без упрека во лжи, в притворстве, в измене, не заражусь...

— Ну хорошо, посмотрим. Что же сделал тебе граф?

— Что сделал? Похитил всё у меня.

— Говори определительнее. Под словом *всё* можно разуместь бог знает что, пожалуй, деньги: он этого не сделает...

— То, что для меня дороже всех сокровищ в мире, — сказал Александр.

10 — Что ж бы это такое было?

— Всё — счастье, жизнь.

— Ведь ты жив!

— К сожалению — да! Но эта жизнь хуже ста смертей.

— Скажи же прямо, что случилось?

— Ужасно! — воскликнул Александр. — Боже! Боже!

— Э! да не отбил ли он у тебя твою красавицу, эту... как ее? да! он мастер на это: тебе трудно тягаться с ним. Повеса! повеса! — сказал Петр Иванович, положив в рот кусок индейки.

20 — Он дорого заплатит за свое мастерство! — сказал Александр, вспыхнув, — я не уступлю без спора... Смерть решит, кому из нас владеть Надинькой. Я истреблю этого пошлого волокиту! не жить ему, не наслаждаться похищенным сокровищем... Я сотру его с лица земли!..

Петр Иванович засмеялся.

— Провинция! — сказал он, — à propos¹ о графе, Александр, — он не говорил, привезли ли ему из-за границы фарфор? Он весной выписывал партию: хотелось бы взглянуть...

30 — Не о фарфоре речь, дядюшка; вы слышали, что я сказал? — грозно перебил Александр.

— Мм-м! — промычал утвердительно дядя, обгладывая косточку.

— Что же вы скажете?

— Да ничего. Я слушаю, что ты говоришь.

— Выслушайте хоть раз в жизни внимательно: я пришел за делом, я хочу успокоиться, разрешить миллион мучительных вопросов, которые волнуют меня... я растерялся... не помню сам себя, помогите мне...

40 — Изволь, я к твоим услугам; скажи только, что нужно... я даже готов деньгами... если только не на пустяки...

¹ кстати (фр.)

— Пустяки! нет, не пустяки, когда, может быть, через несколько часов меня не станет на свете, или я сделаюсь убийцей... а вы смеетесь, хладнокровно ужинаете.

— Прошу покорно! сам, я думаю, наужинался, а другой не ужинай!

— Я двое суток не знаю, что такое есть.

— О, это в самом деле что-нибудь важное?

— Скажите одно слово: окажете ли вы мне величайшую услугу?

— Какую?

10

— Согласитесь ли вы быть моим свидетелем?

— Котлеты совсем холодные! — заметил Петр Иваныч с неудовольствием, отодвигая от себя блюдо.

— Вы смеетесь, дядюшка?

— Сам посуды, как слушать серьезно такой вздор: зовет в секунданты!

— Что же вы?

— Разумеется что: не пойду.

— Хорошо; найдется другой, посторонний, кто примет участие в моей горькой обиде. Вы только возьмите на 20 себя труд поговорить с графом, узнать условия...

— Не могу: у меня язык не повернется предложить ему такую глупость.

— Так прощайте! — сказал Александр, взяв шляпу.

— Что! уж ты идешь? вина не хочешь выпить?..

Александр пошел было к дверям, но у дверей сел на стул в величайшем унынии.

— К кому пойти, в ком искать участия?.. — сказал он тихо.

— Послушай, Александр! — начал Петр Иваныч, отирая 30 салфеткой рот и подвигая к племяннику кресло, — я вижу, что с тобой точно надо поговорить не шутя. Поговорим же. Ты пришел ко мне за помощью: я помогу тебе, только иначе, нежели как ты думаешь, и с уговором — слушаться. Не зови никого в свидетели: проку не будет. Из пустяков сделаешь историю, она разнесется везде, тебя осмеют или, еще хуже, сделают неприятность. Никто не пойдет, а если наконец найдется какой-нибудь сумасшедший, так всё напрасно: граф не станет драться; я его знаю.

40

— Не станет! так в нем нет ни капли благородства! — с злостью заметил Александр, — я не полагал, чтоб он был низок до такой степени!

— Он не низок, а только умен.

— Так, по вашему мнению, я глуп?

— Н... нет, влюблен, — сказал Петр Иванович с расстановкой.

— Если вы, дядюшка, намерены объяснять мне бессмысленность дуэли как предрассудка, то я предупреждаю вас — это напрасный труд: я останусь тверд.

— Нет: это уж давно доказано, что драться — глупость вообще; да все дерутся; мало ли ослов? их не вразумишь. Я хочу только доказать, что тебе именно драться не

10 следует.

— Любопытно, как вы убедите меня.

— Вот послушай. Скажи-ка, ты на кого особенно сердит: на графа или на нее... как ее... Анята, что ли?

— Я его ненавижу, ее презираю, — сказал Александр.

— Начнем с графа: положим, он примет твой вызов, положим даже, что ты найдешь дурака свидетеля — что ж из этого? Граф убьет тебя как муху, а после над тобой же все будут смеяться; хорошо мщение! А ты ведь не этого хочешь: тебе бы вон хотелось истребить графа.

20 — Неизвестно, кто кого убьет, — сказал Александр.

— Наверное он тебя. Ты ведь, кажется, вовсе стрелять не умеешь, а по правилам первый выстрел — его.

— Тут решит Божий суд.

— Ну так воля твоя, — он решит в его пользу. Граф, говорят, в пятнадцати шагах пулю в пулю так и сажает, а для тебя, как нарочно, и промахнется! Положим даже, что суд Божий и попустил бы такую неловкость и несправедливость: ты бы как-нибудь ненарочно и убил его — что ж толку? разве ты этим воротил бы любовь

30 красавицы? Нет, она бы тебя возненавидела, да притом тебя бы отдали в солдаты... А главное, ты бы на другой же день стал рвать на себе волосы с отчаяния и тотчас охладел бы к своей возлюбленной...

Александр презрительно пожал плечами.

— Вы так ловко рассуждаете об этом, дядюшка, — сказал он, — рассудите же, что мне делать в моем положении?

— Ничего! оставить дело так: оно уж испорчено.

— Оставить счастье в его руках, оставить его гордым обладателем... о! может ли остановить меня какая-нибудь угроза? Вы не знаете моих мучений! вы не любили никогда, если думали помешать мне этой холодной моралью... в ваших жилах течет молоко, а не кровь...

— Полно дичь пороть, Александр! мало ли на свете таких, как твоя — Марья или Софья, что ли, как ее?

— Ее зовут Надеждой.

— Надежда? а какая же Софья?

— Софья... это в деревне, — сказал Александр нехотя.

— Видишь ли? — продолжал дядя, — там Софья, тут Надежда, в другом месте Марья. Сердце — преглубокий колодезь: долго не дощупаешься дна. Оно любит до старости...

— Нет, сердце любит однажды...

10

— И ты повторяешь слышанное от других! Сердце любит до тех пор, пока не истратит своих сил. Оно живет своею жизнью и, так же как и всё в человеке, имеет свою молодость и старость. Не удалась одна любовь, оно только замирает, молчит до другой; в другой помешали, разлучили — способность любить опять останется неупотребленной до третьего, до четвертого раза, до тех пор, пока наконец сердце не положит всех сил своих в одной какой-нибудь счастливой встрече, где ничто не мешает, а потом медленно и постепенно охладает. Иным лю- 20
бовь удалась с первого раза, вот они и кричат, что можно любить только однажды. Пока человек не стар, здо-
ров...

— Вы всё, дядюшка, говорите о молодости, следовательно, о материальной любви...

— О молодости говорю, потому что старческая любовь есть ошибка, уродливость. И что за материальная любовь? Такой любви нет, или это не любовь, так точно, как нет одной идеальной. В любви равно участвуют и душа и тело; в противном случае любовь неполна: мы не духи и 30
не звери. Сам же говоришь: «Течет в жилах молоко, а не кровь». Ну так вот, видишь ли: с одной стороны, возьми кровь в жилах — это материальное, с другой — самолюбие, привычку — это духовное; вот тебе и любовь! На чем я остановился... да! в солдаты: положим, что в солдаты и не отдадут, да ведь после этой истории красавица тебя на глаза к себе не пустит. Ты по-пустому повредил бы и ей, и себе, — видишь ли? Надеюсь, этот вопрос мы с одной стороны обработали окончательно. 40
Теперь...

Петр Иваныч налил себе вина и выпил.

— Экой болван! — сказал он, — подал холодный ла-
фит.

Александр смолчал, поникнув головой.

— Теперь скажи, — продолжал дядя, грея стакан с вином в обеих руках, — за что ты хотел стереть графа с лица земли?

— Я уж сказал вам за что! не он ли уничтожил мое блаженство? Он, как дикий зверь, ворвался...

— В овчарню! — перебил дядя.

— Похитил всё, — продолжал Александр.

— Он не похитил, а пришел да и взял. Разве он обязан был справляться, занята ли твоя красавица или нет? Я
10 не понимаю этой глупости, которую, правду сказать, большая часть любовников делают от сотворения мира до наших времен: сердиться на соперника! может ли быть что-нибудь бессмысленней — *стереть его с лица земли!* за что? за то, что он понравился! как будто он виноват и как будто от этого дела пойдут лучше, если мы его накажем! А твоя... как ее? Катинька, что ли, разве противилась ему? сделала какое-нибудь усилие, чтоб избежать опасности? Она сама отдалась, перестала любить тебя, нечего и спорить — не воротишь! А настаивать — это
20 эгоизм! Требовать верности от жены — тут есть еще смысл: там заключено обязательство; от этого зависит часто существенное благосостояние семейства; да и то нельзя требовать, чтоб она никого не любила... а можно только требовать, чтоб она... того... Да и ты сам не отдал ли ее графу обеими руками? оспаривал ли ты ее?

— Вот я и хочу оспаривать, — сказал Александр, вскочив с места, — а вы останавливаете мой благородный порыв...

— Оспаривать с дубиной в руках! — перебил дядя, —
30 мы не в киргизской степи. В образованном мире есть другое орудие. За это надо было взяться вовремя и иначе, вести с графом дуэль другого рода, в глазах твоей красавицы.

Александр смотрел в недоумении на дядю.

— Какую же дуэль? — спросил он.

— А вот сейчас скажу. Ты как действовал до сих пор?

Александр, со множеством околичностей, смягчений, изворотов, кое-как, с ужимками, рассказал весь ход дела.

— Видишь ли? сам во всем кругом виноват, — при-
40 молвил Петр Иваныч, выслушав и сморщившись, — сколько глупостей наделано! Эх, Александр, принесла тебя сюда нелегкая! стоило за этим ездить! Ты бы мог всё это проделать там, у себя, на озере, с теткой. Ну как можно так ребячиться, делать сцены... беситься? фи! Кто

нынче это делает? Что, если твоя... как ее? Юлия... расскажет всё графу? Да нет, этого опасаться нечего, слава Богу! Она, верно, так умна, что на вопрос его о ваших отношениях сказала...

— Что сказала? — поспешно спросил Александр.

— Что дурачила тебя, что ты был влюблен, что ты противный, надоел ей... как это они всегда делают...

— Вы думаете, что она... так и... сказала? — спросил Александр, бледнея.

— Без всякого сомнения. Неужели ты воображаешь, ¹⁰ что она расскажет, как вы там в саду собирали желтые цветы? Какая простота!

— Какая же дуэль с графом? — с нетерпением спросил Александр.

— А вот какая: не надо было грубиянить, избегать его и делать ему гримасы, а напротив, отвечать на его любезности вдвое, втрое, вдесятеро, а... эту, как ее? Надиньку? кажется попал? не раздражать упреками, снисходить к ее капризам, показывать вид, что не замечаешь ничего, что даже у тебя и предположения об измене нет, ²⁰ как о деле невозможном. Не надо было допускать их сблизаться до короткости, а расстроивать искусно, как будто ненарочно, их свидания с глазу на глаз, быть всюду вместе, ездить с ними даже верхом, и между тем тихомолком вызывать, в глазах ее, соперника на бой, и тут-то снарядить и двинуть вперед все силы своего ума, устроить главную батарею из остроумия, хитрости да и того... открывать и поражать слабые стороны соперника так, как будто нечаянно, без умысла, с добродушием, даже нехотя, с сожалением, и мало-помалу снять с него ³⁰ эту драпировку, в которой молодой человек рисуется перед красавицей. Надо было заметить, что ее поражает и ослепляет более всего в нем, и тогда искусно нападать на эти стороны, объяснять их просто, представлять в обыкновенном виде, показать, что новый герой... так себе... и только для нее надел праздничный наряд... Но всё это делать с хладнокровием, с терпением, с умением — вот настоящая дуэль в нашем веке! Да где тебе!

Петр Иваныч выпил при этом стакан и тотчас опять ⁴⁰ налил вина.

— Презренные хитрости! прибегать к лукавству, чтоб овладеть сердцем женщины!.. — с негодованием заметил Александр.

— А к дубине прибегаешь: разве это лучше? Хитростью можно удержать за собой чью-нибудь привязанность, а силой — не думаю. Желание удалить соперника мне понятно: тут хлопчешь из того, чтоб сберечь себе любимую женщину, предупреждаешь или отклоняешь опасность — очень натурально! но бить его за то, что он внушил любовь к себе, — это всё равно что ушибиться и потом ударить то место, о которое ушибся, как делают дети. Воля твоя, а граф не виноват! Ты, как я вижу, ¹⁰ ничего не смыслишь в сердечных тайнах, оттого твои любовные дела и повести так плохи.

— Любовные дела! — сказал Александр, качая с презрением головой, — но разве лестна и прочна любовь, внушенная хитростью?

— Не знаю, лестна ли, это как кто хочет, по мне всё равно: я вообще о любви невысокого мнения — ты это знаешь; мне хоть ее и не будь совсем... но что прочнее — так это правда. С сердцем напрямик действовать нельзя. Это мудреный инструмент: не знай, которую пружину ²⁰ тронуть, так он заиграет бог знает что. Внуши чем хочешь любовь, а поддерживай умом. Хитрость — это одна сторона ума; презренного тут ничего нет. Не нужно унижать соперника и прибегать к клевете: этим вооружишь красавицу против себя... надо только стряхнуть с него те блестящие, которыми он ослепляет глаза твоей возлюбленной, сделать его перед ней простым, обыкновенным человеком, а не героем... Я думаю, простительно защищать свое добро благородной хитростью; ею и в военном деле не пренебрегают. Вот ты жениться хотел: хорош был ³⁰ бы муж, если б стал делать сцены жене, а соперникам показывать дубину — и был бы того...

Петр Иваныч показал рукою на лоб.

— Твоя Варинька была на двадцать процентов умнее тебя, когда предложила подождать год.

— Да мог ли бы я хитрить, если б и умел? Для этого надо не так любить, как я. Иные притворяются подчас холодными, не являются по расчету несколько дней — и это действует... А я! притворяться, рассчитывать! когда, при взгляде на нее, у меня занимался дух и колени ⁴⁰ дрожали и гнулись подо мной, когда я готов был на все муки, лишь бы видеть ее... Нет! что ни говорите, а для меня больше упоения — любить всеми силами души, хоть и страдать, нежели быть любимым, не любя или любя как-то вполнину, для забавы, по отвратительной системе,

и играть с женщиной, как с комнатной собачонкой, а потом оттолкнуть...

Петр Иваныч пожал плечами.

— Ну так вот и страдай, если тебе сладко, — сказал он. — О провинция! о Азия! На Востоке бы тебе жить: там еще приказывают женщинам, кого любить; а не слушают, так их топят. Нет, здесь, — продолжал он, как будто сам с собой, — чтоб быть счастливым с женщиной, то есть не по-твоему, как сумасшедшие, а разумно, — надо много условий... надо уметь образовать из девушки 10 женщину по обдуманному плану, по методу, если хочешь, чтоб она поняла и исполнила свое назначение. Надо очертить ее магическим кругом, не очень тесно, чтоб она не заметила границ и не переступила их, хитро овладеть не только ее сердцем — это что! это скользкое и непрочное обладание, а умом, волей, подчинить ее вкус и нрав своему, чтоб она смотрела на вещи через тебя, думала твоим умом...

— То есть сделать ее куклой или безмолвной рабой мужа! — перебил Александр.

— Зачем? Устрой так, чтоб она не изменила ни в чем женского характера и достоинства. Предоставь ей свободу действий в ее сфере, но пусть за каждым ее движением, вздохом, поступком наблюдает твой пронизательный ум, чтоб каждое мгновенное волнение, вспышка, зародыш чувства всегда и всюду встречали снаружи равнодушный, но не дремлющий глаз мужа. Учреди постоянный контроль без всякой тирании... да искусно, незаметно от нее и веди ее желаемым путем... О, нужна мудреная и тяжелая школа, и эта школа — умный и опытный мужчина — вот 30 в чем штука!

Он значительно кашлянул и залпом выпил стакан.

— Тогда, — продолжал он, — муж может спать покойно, когда жена и не подле него, или сидеть беззаботно в кабинете, когда она спит...

— А! вот он, знаменитый секрет супружеского счастья! — заметил Александр, — обманом приковать к себе ум, сердце, волю женщины — и утешаться, гордиться этим... это счастье! А как она заметит?

— Зачем гордиться? — примолвил дядя, — это не 40 нужно!

— Смотря по тому, дядюшка, — продолжал Александр, — как вы беззаботно сидите в кабинете, когда тетюшка почивает, я догадываюсь, что этот мужчина...

— Тс! тс!.. молчи, — заговорил дядя, махая рукой, — хорошо, что жена спит, а то... того...

В это время дверь в кабинет начала потихоньку отворяться, но никто не показывался.

— А жена должна, — заговорил женский голос из коридора, — не показывать вида, что понимает великую школу мужа, и завести маленькую свою, но не болтать о ней за бутылкой вина...

Оба Адуевы бросились к дверям, но в коридоре раз-
10 дались быстрые шаги, шорох платья — и всё утихло.

Дядя и племянник посмотрели друг на друга.

— Что, дядюшка? — спросил племянник, помолчав.

— Что! ничего! — сказал Петр Иванович, нахмутив брови, — некстати похвастался. Учись, Александр, а лучше не женись или возьми дуру: тебе не сладить с умной женщиной: мудрена школа!

Он задумался, потом ударил себя по лбу рукой.

— Как не сообразить, что она знала о твоём позднем приходе? — сказал он с досадой, — что женщина не уснет,
20 когда через комнату есть секрет между двумя мужчинами, что она непременно или горничную подошлет, или сама... и не предвидеть! глупо! а всё ты да вот этот проклятый стакан лафиту! разболтался! Такой урок от двадцатилетней женщины...

— Вы боитесь, дядюшка!

— Чего бояться? нисколько! сделал ошибку — не надо терять хладнокровия, надо уметь выпутаться.

Он опять задумался.

— Она похвасталась, — начал он потом, — какая у ней
30 школа! у ней школы быть не могло: молода! это она так только... от досады! но теперь она заметила этот магический круг, станет тоже хитрить... о, я знаю женскую натуру! Но посмотрим...

Он гордо и весело улыбнулся: морщины разгладились на лбу.

— Только надо иначе повести дело, — прибавил он, — прежняя метода ни к черту не годится. Теперь надо...

Он вдруг спохватился и замолчал, боязливо поглядывая на дверь.

40 — Но это всё впереди, — продолжал он, — теперь займемся твоим делом, Александр. О чем мы говорили? да! ты, кажется, хотел убить, что ли, свою, эту... как ее?

— Я ее слишком глубоко презираю, — сказал Александр, тяжело вздохнув.

— Вот видишь ли? ты уж вполовину и вылечен. Только правда ли это? ты, кажется, еще сердисься. Впрочем, презирай, презирай: это самое лучшее в твоём положении. Я хотел было сказать кое-что... да нет...

— Ах, говорите, ради Бога, говорите! — сказал Александр, — у меня нет теперь ни искры рассудка. Я страдаю, гибну... дайте мне своего холодного разума. Скажите всё, что может облегчить и успокоить больное сердце...

— Да, скажи тебе — ты, пожалуй, и опять воротись туда... 10

— Какая мысль! после того...

— Ворочаются после и не этого! честное слово — не пойдешь?

— Клятву, если угодно.

— Нет, честное слово: это вернее.

— Честное слово.

— Ну вот, видишь ли: мы решили, что граф не виноват...

— Положим, так; что же?

— Ну а чем виновата твоя эта... как ее? 20

— Чем виновата Надинька! — с изумлением возразил Александр, — она не виновата!

— Нет! ну чем, скажи? ее не за что презирать.

— Не за что! нет, дядюшка, это уж из рук вон! Положим, граф... еще так... он не знал... да и то нет! а она? кто же после этого виноват? я?

— Да почти так, а в самом-то деле никто. Скажи, за что ты ее презираешь?

— За низкий поступок.

— В чем же он состоит? 30

— Заплатить неблагодарностью за высокую, безграничную страсть...

— За что тут благодарить? разве ты для нее, из угождения к ней любил? хотел услужить ей, что ли? так для этого ты бы лучше мать полюбил, с бородавкой-то: та надежнее.

Александр глядел на него и не знал, что сказать.

— Ты бы не должен был обнаруживать пред ней чувства во всей силе: женщина охлаждается, когда мужчина выскажется весь... Ты бы должен был узнать ее характер да и действовать сообразно этому, а не лежать как собачонка у ног. Как это не узнать компаньона, с которым имеешь какое бы то ни было дело? Ты бы разглядел тогда, что от нее больше и ожидать нельзя. 40

Она разыграла свой роман с тобой до конца, точно так же разыграет его и с графом и, может быть, еще с кем-нибудь... больше от нее требовать нельзя: выше и дальше ей нейти! это не такая натура; а ты вообразил себе бог знает что...

— Но зачем же она полюбила другого? — с горестью перебил Александр.

— Вот вина-то где: умный вопрос! Ах ты, дикарь! А зачем ты ее полюбил? Ну, разлюби поскорее!

10 — Разве это от меня зависит?

— А разве от нее зависело полюбить графа? Сам же твердил, что не надо стеснять порывов чувства, а как дело дошло до самого, так зачем полюбила! Зачем такой-то умер, такая-то с ума сошла? — как отвечать на такие вопросы? Любовь должна же кончиться когда-нибудь: она не может продолжаться век.

— Нет, может. Я чувствую в себе эту силу сердца: я бы любил вечною любовью...

— Да! а полюби тебя покрепче, так и того... на
20 попятный двор! все так, знаю я!

— Пусть бы кончилась ее любовь, — сказал Александр, — но зачем она кончилась так?..

— Не всё ли равно? ведь тебя любили, ты наслаждался — и довольно!

— Отдалась другому! — говорил Александр, бледнея.

— А ты бы хотел, чтоб она любила тихонько другого, а тебя продолжала уверять в любви? Ну ты сам реши, что ей делать, виновата ли она?

— О, я отмщу ей! — сказал Александр.

30 — Ты неблагодарен, — продолжал Петр Иваныч, — это дурно! Что бы женщина ни сделала с тобой, изменила, охладела, поступила, как говорят в стихах, *коварно*, — вини природу, предавайся, пожалуй, по этому случаю философским размышлениям, брани мир, жизнь, что хочешь, но никогда не посягай на личность женщины ни словом, ни делом. Оружие против женщины — снисхождение, наконец, самое жестокое — забвение! только это и позволяется порядочному человеку. Вспомни, что полтора года ты вешался всем на шею от
40 радости, не знал, куда деваться от счастья! полтора года непрерывных удовольствий! воля твоя — ты неблагодарен!

— Ах, дядюшка, для меня не было ничего на земле святее любви: без нее жизнь не жизнь...

— А! — с досадой перебил Петр Иваныч, — тошно слушать такой вздор!

— Я боготворил бы Надиньку, — продолжал Александр, — и не позавидовал бы никакому счастью в мире; с Надинькой мечтал я провести всю жизнь — и что же? где эта благородная, колоссальная страсть, о которой я мечтал? она разыгралась в какую-то глупую, пигмеевскую комедию вздохов, сцен, ревности, лжи, притворства, — Боже! Боже!

— Зачем же ты воображал, чего не бывает? Не я ли ¹⁰ твердил тебе, что ты до сих пор хотел жить такую жизнь, какой нет? У человека, по-твоему, только и дела, чтоб быть любовником, мужем, отцом... а о другом ни о чем и знать не хочешь. Человек, сверх того, еще и гражданин, имеет какое-нибудь звание, занятие — писатель, что ли, помещик, солдат, чиновник, заводчик... А у тебя всё это заслоняет любовь да дружба... что за Аркадия! Начитался романов, наслушался своей тетушки там, в глуши, и приехал с этими понятиями сюда. Выдумал еще — *благородную страсть*.

20

— Да, благородную!

— Полно, пожалуйста! разве есть благородные страсти!

— Как?

— Да так. Ведь страсть значит, когда чувство, влечение, привязанность или что-нибудь такое — достигло до той степени, где уж перестает действовать рассудок? Ну что ж тут благородного? я не понимаю; одно сумасшествие — это не по-человечески. Да и зачем ты берешь одну только сторону медали? я говорю про любовь — ты возьми и другую и увидишь, что любовь не дурная вещь. ³⁰ Вспомни-ка счастливые минуты: ты мне уши прожужжал...

— О, не напоминайте, не напоминайте! — говорил Александр, махая рукой, — вам хорошо так рассуждать, потому что вы уверены в любимой вами женщине; я бы желал посмотреть, что бы вы сделали на моем месте?..

— Что бы сделал?.. поехал бы рассеяться... на завод. Не хочешь ли завтра?

— Нет, мы с вами никогда не сойдемся, — печально произнес Александр, — ваш взгляд на жизнь не успокоивает, а отталкивает меня от нее. Мне грустно, на душу ⁴⁰ веет холод. До сих пор любовь спасала меня от этого холода; ее нет — и в сердце теперь тоска; мне страшно, скучно...

— Займись делом.

— Всё это правда, дядюшка: вы и подобные вам могут рассуждать так. Вы от природы человек холодный... с душой, неспособной к волнениям...

— А ты воображаешь, что ты с могучей душой? Вчера от радости был на седьмом небе, а чуть немного того... так и не умеешь перенести горя.

— Пар, пар! — слабо, едва защищаясь, говорил Александр, — вы мыслите, чувствуете и говорите точно как паровоз катится по рельсам: ровно, гладко, покойно.

— Надеюсь, это не дурно: лучше, чем выскочить из колеи, бухнуть в ров, как ты теперь, и не уметь встать на ноги. Пар! пар! да пар-то, вот видишь, делает человеку честь. В этой выдумке присутствует начало, которое нас с тобой делает людьми, а умереть с горя может и животное. Были примеры, что собаки умирали на могиле господ своих или задыхались от радости после долгой разлуки. Что ж это за заслуга? А ты думал, ты особое существо, высшего разряда, необыкновенный человек...

Петр Иваныч взглянул на племянника и вдруг остановился.

— Что это? ты никак плачешь? — спросил он, и лицо его потемнело, то есть он покраснел.

Александр молчал. Последние доказательства совсем сбили его с ног. Возражать было нечего, но он находился под влиянием господствовавшего в нем чувства. Он вспомнил об утраченном счастье, о том, что теперь другой... И слезы градом потекли по щекам его.

— Ай-ай-ай! стыдись! — сказал Петр Иваныч, — и ты мужчина! плачь, ради Бога, не при мне!

— Дядюшка! вспомните о годах вашей молодости, — всхлипывая, говорил Александр, — ужели вы покойно и равнодушно могли бы перенести самое горькое оскорбление, какое только судьба посылает человеку? Жить полтора года такую полную жизнью и вдруг — нет ничего! пустота... После этой искренности хитрость, скрытность, холодность — ко мне! Боже! есть ли еще мука сильнее? Легко сказать про другого «изменили», а испытать?.. Как она переменялась! как стала наряжаться для графа!

Бывало, приеду, она бледнеет, едва может говорить... лжет... о нет...

Тут слезы хлынули сильнее.

— Если б мне осталось утешение, — продолжал он, — что я потерял ее по обстоятельствам, если б неволя

принудила ее... пусть бы даже умерла — и тогда легче было бы перенести... а то нет, нет... другой! это ужасно, невыносимо! И нет средств вырвать ее у похитителя: вы обезоружили меня... что мне делать? научите же! Мне душно, больно... тоска, мука! я умру... застрелюсь...

Он облокотился на стол, закрыл голову руками и громко зарыдал...

Петр Иванович растерялся. Он прошелся раза два по комнате, потом остановился против Александра и почесал 10 голову, не зная, что начать.

— Выпей вина, Александр, — сказал Петр Иванович, сколько мог понежнее, — может быть — того...

Александр — ничего, только плечи и голова его судорожно подергивались; он всё рыдал. Петр Иванович нахмурился, махнул рукой и вышел из комнаты.

— Что мне делать с Александром? — сказал он жене. — Он там у меня разревелся и меня выгнал; я совсем измучился с ним.

— А ты так его и оставил? — спросила она, — бедный! 20 Пусти меня, я пойду к нему.

— Да ничего не сделаешь: это уж такая натура. Весь в тетку: та такая же плакса. Я уж немало убеждал его.

— Только убеждал?

— И убедил: он согласился со мной.

— О, я не сомневаюсь: ты очень умен и... хитер! — прибавила она.

— Слава Богу, если так: тут, кажется, всё, что нужно.

— Кажется, всё, а он плачет.

— Я не виноват, я сделал всё, чтоб утешить его.

— Что ж ты сделал?

— Мало ли? И говорил битый час... даже в горле пересохло... всю теорию любви точно на ладони так и выложил, и денег предлагал... и ужином — и вином старался...

— А он всё плачет?

— Так и ревет! под конец еще пуше.

— Удивительно! Пусти меня: я попробую, а ты пока обдумай свою новую методику... 40

— Что, что?

Но она, как тень, скользнула из комнаты.

Александр всё сидел, опершись головой на руки. Кто-то дотронулся до его плеча. Он поднял голову: перед

ним молодая, прекрасная женщина, в пеньюаре, в чепчике à la Finnoise.¹

— Ma tante!² — сказал он.

Она села подле него, поглядела на него пристально, как только умеют глядеть иногда женщины, потом тихо отерла ему платком глаза и поцеловала в лоб, а он прильнул губами к ее руке. Долго говорили они.

Через час он вышел задумчив, но с улыбкой, и уснул в первый раз покойно после многих бессонных ночей.

¹⁰ Она воротилась в спальню с заплаканными глазами. Петр Иваныч давным-давно храпел.

¹ в финском стиле (фр.)

² — Тетушка! (фр.)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Прошло с год после описанных в последней главе первой части сцен и происшествий.

Александр мало-помалу перешел от мрачного отчаянья к холодному унынию. Он уж не гремел проклятиями, с присовокуплением скрежета зубов, против графа и Надиньки, а клеймил их глубоким презрением.

Лизавета Александровна утешала его со всею нежностью друга и сестры. Он поддавался охотно этой милой 10 опеке. Все такие натуры, какова была его, любят отдавать свою волю в распоряжение другого. Для них нянька — необходимость.

Наконец страсть выдохлась в нем, истинная печаль прошла, но ему жаль было расстаться с нею; он насильственно продолжил ее, или, лучше сказать, создал себе искусственную грусть, играл, красовался ею и утопал в ней.

Ему как-то нравилось играть роль страдальца. Он был тих, важен, туманен, как человек, выдержавший, по его 20 словам, *удар судьбы*, — говорил о высоких страданиях, о святых, возвышенных чувствах, смятых и втопанных в грязь, — «и кем? — прибавлял он, — девчонкой, кокеткой и презренным развратником, мишурным львом. Неужели судьба послала меня в мир для того, чтоб всё, что было во мне высокого, принести в жертву ничтожеству?»

Ни мужчина мужчине, ни женщина женщине не простили бы этого притворства и сейчас свели бы друг друга с ходулей. Но чего не прощают молодые люди разных 30 полов друг другу?

Лизавета Александровна слушала снисходительно его иеремиады и утешала как могла. Ей это было вовсе не противно, может быть и потому, что в племяннике она все-таки находила сочувствие собственному сердцу, слышала, в его жалобах на любовь, голос не чуждых и ей 40 страданий.

Она жадно прислушивалась к стонам его сердца и отвечала на них неприметными вздохами и никем не видимыми слезами. Она, даже и на притворные и приторные излияния тоски племянника, находила утешительные слова в таком же тоне и духе; но Александр и 40 слушать не хотел.

— О, не говорите мне, ma tante, — возражал он, — я не хочу позорить святого имени любви, называя так наши отношения с этой...

Тут он делал презрительную гримасу и готов был, как Петр Иванович, спросить: как ее?

— Впрочем, — прибавлял он еще с бóльшим презрением, — ей простительно: я слишком был выше и ее, и графа, и всей этой жалкой и мелкой сферы; немудрено, что я остался неразгаданным и непонятым ей.

10 И после этих слов он еще долго сохранял презрительную мину.

— Дядюшка твердит, что я должен быть благодарен Надиньке, — продолжал он, — за что? чем ознаменована эта любовь? всё пошлости, всё общие места. Было ли какое-нибудь явление, которое бы выходило из обыкновенного круга ежедневных дразгов? Видно ли было в этой любви сколько-нибудь героизма и самоотвержения? Нет, она всё почти делала с ведома матери! отступила ли для меня хоть раз от условий света, от долга? — никогда! И
20 это любовь!!! Девушка — и не умела влить поэзии в это чувство!

— Какой же любви потребовали бы вы от женщины? — спросила Лизавета Александровна.

— Какой? — отвечал Александр, — я бы потребовал от нее первенства в ее сердце. Любимая женщина не должна замечать, видеть других мужчин, кроме меня; все они должны казаться ей невыносимы. Я один выше, прекраснее, — тут он выпрямился, — лучше, благороднее всех. Каждый миг, прожитый не со мной, для нее
30 потерянный миг. В моих глазах, в моих разговорах должна она почерпать блаженство и не знать другого...

Лизавета Александровна старалась скрыть улыбку. Александр не замечал.

— Для меня, — продолжал он с блистающими глазами, — она должна жертвовать всем: презренными выгодами, расчетами, свергнуть с себя деспотическое иго матери, мужа, бежать, если нужно, на край света, сносить энергически все лишения, наконец, презреть самую смерть — вот любовь! а эта...

40 — А вы чем бы вознаградили за эту любовь? — спросила тетка.

— Я? О! — начал Александр, возводя взоры к небу, — я бы посвятил всю жизнь ей, я бы лежал у ног ее. Смотреть ей в глаза было бы высшим счастьем. Каждое

слово ее было бы мне законом. Я бы пел ее красоту, нашу любовь, природу:

С ней обрели б уста мои
Язык Петрарки и любви...

Но разве я не доказал Надиньке, как я могу любить?

— Так вы совсем не верите в чувство, когда оно не выказывается так, как вы хотите? Сильное чувство прячется...

— Не хотите ли вы уверить меня, ma tante, что такое чувство, как дядюшкино например, прячется? 10

Лизавета Александровна вдруг покраснела. Она не могла внутренне не согласиться с племянником, что чувство без всякого проявления как-то подозрительно, что, может быть, его и нет, что если б было, оно бы прорвалось наружу, что, кроме самой любви, обстановка ее включает в себе неизъяснимую прелесть.

Тут она мысленно пробежала весь период своей замужней жизни и глубоко задумалась. Нескромный намек племянника пошевелил в ее сердце тайну, которую она прятала так глубоко, и навел ее на вопрос: счастлива ли она? 20

Жаловаться она не имела права: все наружные условия счастья, за которым гоняется толпа, исполнялись над нею, как по заданной программе. Довольство, даже роскошь, в настоящем, обеспеченность в будущем — всё избавляло ее от мелких, горьких забот, которые сосут сердце и сушат грудь множества бедняков.

Муж ее неутомимо трудился и всё еще трудится. Но что было главною целью его трудов? Трудился ли он для общей человеческой цели, исполняя заданный ему судьбою урок, или только для мелочных причин, чтобы 30 приобрести между людьми чиновное и денежное значение, для того ли, наконец, чтобы его не гнули в дугу нужда, обстоятельства? Бог его знает. О высоких целях он разговаривать не любил, называя это бредом, а говорил сухо и просто, что надо *дело делать*.

Лизавета Александровна вынесла только то грустное заключение, что не она и не любовь к ней были единственною целью его рвения и усилий. Он трудился и до женитьбы, еще не зная своей жены. О любви он ей никогда не говорил и у ней не спрашивал; на ее вопросы 40 об этом отделялся шуткой, остротой или дремотой. Вскоре после знакомства с ней он заговорил о свадьбе,

как будто давая знать, что любовь тут сама собою разумеется и что о ней толковать много нечего...

Он был враг всяких эффектов — это бы хорошо; но он не любил и искренних проявлений сердца, не верил этой потребности и в других. Между тем он одним взглядом, одним словом мог бы создать в ней глубокую страсть к себе; но он молчит, он не хочет. Это даже не льстит его самолюбию.

10 Она пробовала возбудить в нем ревность, думая, что тогда любовь непременно выскажется... Ничего не бывало. Чуть он заметит, что она отличает в обществе какого-нибудь молодого человека, он спешит пригласить его к себе, обласкает, сам не нахвалится его достоинствами и не боится оставлять его наедине с женой.

Лизавета Александровна иногда обманывала себя, мечтая, что, может быть, Петр Иваныч действует стратегически; что не в том ли состоит его таинственная метода, чтоб, поддерживая в ней всегда сомнение, тем поддерживать и самую любовь. Но при первом отзыве мужа о любви она тотчас же разочаровывалась.

Если б он еще был груб, неотесан, бездушен, тяжелоумен, один из тех мужей, которым имя легион, которых так безгрешно, так нужно, так отрадно обманывать, для их и своего счастья, которые, кажется, для того и созданы, чтоб женщина искала вокруг себя и любила диаметрально противоположное им, — тогда другое дело: она, может быть, поступила бы, как поступает большая часть жен в таком случае. Но Петр Иваныч был человек с умом и тактом, не часто встречающимися. Он был тонок, 30 проницателен, ловок. Он понимал все тревоги сердца, все душевные бури, но понимал — и только. Весь кодекс сердечных дел был у него в голове, но не в сердце. В его суждениях об этом видно было, что он говорит как бы слышанное и затверженное, но отнюдь не прочувствованное. Он рассуждал о страстях верно, но не признавал над собой их власти, даже смеялся над ними, считая их ошибками, уродливыми отступлениями от действительности, чем-то вроде болезней, для которых со временем явится своя медицина.

40 Лизавета Александровна чувствовала его умственное превосходство над всем окружающим и терзалась этим. «Если б он не был так умен, — думала она, — я была бы спасена...» Он поклоняется положительным целям — это ясно, и требует, чтоб и жена жила не мечтательною жизнью.

«Но, Боже мой! — думала Лизавета Александровна, — ужели он женился только для того, чтоб иметь хозяйку, чтоб придать своей холостой квартире полноту и достоинство семейного дома, чтоб иметь больше веса в обществе? Хозяйка, жена — в самом прозаическом смысле этих слов! Да разве он не постигает, со всем своим умом, что и в положительных целях женщины присутствует непременно любовь?.. Семейные обязанности — вот ее заботы: но разве можно исполнять их без любви? Няньки, кормилицы и те творят себе кумира из ребенка, за которым ходят; а жена, а мать! О, пусть я купила бы себе чувство муками, пусть бы перенесла все страдания, какие неразлучны с страстью, но лишь бы жить полную жизнь, лишь бы чувствовать свое существование, а не прозябать!..»

Она взглянула на роскошную мебель и на все игрушки и дорогие безделки своего будуара — и весь этот комфорт, которым у других заботливая рука любящего человека окружает любимую женщину, показался ей холодной насмешкой над истинным счастьем. Она была свидетельницей двух страшных крайностей — в племяннике и муже. Один восторжен до сумасбродства, другой — ледян до ожесточения.

«Как мало понимают оба они, да и ббольшая часть мужчин, истинное чувство! и как я понимаю его! — думала она, — а что пользы? зачем? О, если б...»

Она закрыла глаза и пробыла так несколько минут, потом открыла их, оглянулась вокруг, тяжело вздохнула и тотчас приняла обыкновенный, покойный вид. Бедняжка! Никто не знал об этом, никто не видел этого. Ей бы вменили в преступление эти невидимые, неосязаемые, безыменные страдания, без ран, без крови, прикрытые не лохмотьями, а бархатом. Но она с героическим самоотвержением таила свою грусть, да еще находила довольно сил, чтоб утешать других.

Скоро Александр перестал говорить и о высоких страданиях, и о непонятой и неоцененной любви. Он перешел к более общей теме. Он жаловался на скуку жизни, пустоту души, на томительную тоску.

Я пережил свои страданья,
Я разлюбил свои мечты... —

твердил он беспрестанно.

— И теперь меня преследует черный демон. Он, та tante, всюду со мной: и ночью, и за дружеской беседой, за чашей пиршества, и в минуту глубокой думы!

Так прошло несколько недель. Кажется, вот еще бы недели две, так чудак и успокоился бы совсем и, может быть, сделался бы совсем порядочным, то есть простым и обыкновенным человеком, как все. Так нет! Особенности его странной природы находила везде случай проявиться.

10 Однажды он пришел к тетке в припадке какого-то злобного расположения духа на весь род людской. Что слово, то колкость, что суждение, то эпиграмма, направленная и на тех, кого бы нужно уважать. Пощады не было никому. Досталось и ей, и Петру Иванычу. Лизавета Александровна стала допытываться причины.

— Вы хотите знать, — начал он тихо, торжественно, — что меня теперь *волнует, бесит?* Слушайте же: вы знаете, я имел друга, которого не видал несколько лет, но для которого у меня всегда оставался уголок в сердце.
20 Дядюшка, в начале моего приезда сюда, принудил меня написать к нему странное письмо, в котором заключались его любимые правила и образ мыслей; но я то изорвал и послал другое, стало быть, меняться моему приятелю было не от чего. После этого письма наша переписка прекратилась, и я потерял своего приятеля из виду. Что же случилось? Дня три назад иду по Невскому проспекту и вдруг вижу его. Я остолбенел, по мне побежали искры, в глазах явились слезы. Я протянул ему руки и не мог от радости сказать ни слова: дух захватило. Он взял одну
30 руку и пожал. «Здравствуй, Адуев! — сказал он таким голосом, как будто мы вчера только с ним расстались. — Давно ли ты здесь?» Удивился, что мы до сих пор не встретились, слегка спросил, что я делаю, где служу, долгом счел уведомить, что он имеет прекрасное место, доволен и службой, и начальниками, и товарищами, и... всеми людьми, и своей судьбой... потом сказал, что ему некогда, что он торопится на званый обед, — слышите, та tante? при свидании, после долгой разлуки, с другом, он не мог отложить обеда...

40 — Но, может быть, его стали бы ждать, — заметила тетка, — приличия не позволили...

— Приличия и дружба? и вы, та tante! да это еще что: я вам скажу лучше. Он сунул мне в руку адрес, сказал, что вечером на другой день ожидает меня к себе, —

и исчез. Долго я смотрел ему вслед и всё не мог прийти в себя. Это товарищ детства, это друг юности! хорош! Но потом подумал, что, может быть, он всё отложил до вечера и тогда посвятит время искренней, задушевной беседе. «Так и быть, думаю, пойду». Являюсь. У него было человек десять приятелей. Он протянул мне руку ласковее, нежели накануне, — это правда, но зато, не говоря ни слова, тотчас же предложил сесть за карты. Я сказал, что не играю, и уселся один на диване, полагая, что он бросит карты и придет ко мне. «Не играешь?» — 10
сказал он с удивлением, — что же ты делаешь?» Хорош вопрос! Вот я жду час, два, он не подходит ко мне; я выхожу из терпения. Он предлагал мне то сигару, то трубку, жалел, что я не играю, что мне скучно, старался занять меня — чем, как вы думаете? — беспрестанно обращался ко мне и рассказывал всякий свой удачный и неудачный выход. Я наконец не вытерпел, подошел к нему и спросил, намерен ли он уделить мне сколько-нибудь времени в этот вечер? А сердце у меня так и кипело, голос дрожал. Это его, кажется, удивило. Он посмотрел 20
на меня странно. «Хорошо, говорит, вот дай докончить пульку». Как только он сказал мне это, я схватил шляпу и хотел уйти, но он заметил и остановил меня. «Пулька кончается, — сказал он, — сейчас будем ужинать». Наконец кончили. Он сел подле меня и зевнул: тем и началась наша дружеская беседа. «Ты мне что-то хотел сказать?» — спросил он. Это было сказано таким монотонным и бесчувственным голосом, что я, ничего не говоря, только посмотрел на него с грустной улыбкой. Тут он вдруг 30
будто ожил и засыпал меня вопросами: «Что с тобой? да не нуждаешься ли в чем? да не могу ли я быть тебе полезным по службе?...» и т. п. Я покачал головой и сказал ему, что я хотел говорить с ним не о службе, не о материальных выгодах, а о том, что ближе к сердцу: о золотых днях детства, об играх, о проказах... Он, представьте! даже не дал мне договорить. «Ты еще всё, говорит, такой же мечтатель!» — потом вдруг переменял разговор, как будто считая его пустяками, и начал серьезно расспрашивать меня о моих делах, о надеждах на будущее, о карьере, как дядюшка. Я удивился, не 40
верил, чтоб в человеке могло до такой степени огрубеть сердце. Я хотел испытать в последний раз, привязался к вопросу его о моих делах и начал рассказывать о том, как поступили со мной. «Ты выслушай, что сделали со

мною *люди...*» — начал было я. «А что? — вдруг перебил он с испугом, — верно, обокрали?» Он думал, что я говорю про лакеев; другого горя он не знает, как дядюшка: до чего может окаменеть человек! «Да, — сказал я, — люди обокрали мою душу...» Тут я заговорил о моей любви, о мучениях, о душевной пустоте... я начал было увлекаться и думал, что повесть моих страданий растопит ледяную кору, что еще в глазах его не высохли слезы... Как вдруг он — разразился хохотом!
10 смотрю, в руках у него платок: он во время моего рассказа всё крепился, наконец не выдержал... Я в ужасе остановился.

— Полно, полно, — сказал он, — лучше выпей-ка водки да станем ужинать. Человек! водки. Пойдем, пойдем, ха-ха-ха!.. есть славный... рост... ха-ха-ха!.. ростбиф...

— Он взял было меня под руку, но я вырвался и бежал от этого чудовища... Вот каковы люди, *ma tante!* — заключил Александр, потом махнул рукой и ушел.

Лизавете Александровне стало жаль Александра; жаль
20 его пылкого, но ложно направленного сердца. Она увидела, что при другом воспитании и правильном взгляде на жизнь он был бы счастлив сам и мог бы осчастливить кого-нибудь еще; а теперь он жертва собственной слепоты и самых мучительных заблуждений сердца. Он сам делает из жизни пытку. Как указать настоящий путь его сердцу? Где этот спасительный компас? Она чувствовала, что только нежная, дружеская рука могла ухаживать за этим цветком.

Ей удалось уже раз укротить беспокойные порывы в
30 сердце племянника, но то было в деле любви. Там она знала, как обойтись с оскорбленным сердцем. Она, как искусная дипломатка, первая осыпала укоризнами Надиньку, выставила ее поступок в самом черном виде, опошшила ее в глазах Александра и успела доказать ему, что она недостойна его любви. Этим она вырвала из сердца Александра мучительную боль, заменив ее покойным, хотя не совсем справедливым чувством — презрением. Петр Иванович, напротив, старался оправдать Надиньку и этим не только не успокоил, но еще растравил
40 его муку, заставил думать, что ему предпочтен достойнейший.

Но в дружбе другое дело. Лизавета Александровна видела, что друг Александра был виноват в его глазах и прав в глазах толпы. Прошу растолковать это Александру!

Она не решилась на этот подвиг сама и прибегла к мужу, полагая, не без основания, что у него за доводами против дружбы дело не станет.

— Петр Иванович! — сказала она однажды ему ласково, — я к тебе с просьбой.

— Что такое?

— Угадай.

— Говори: ты знаешь, на твои просьбы отказа нет. Верно, о петергофской даче: ведь теперь еще рано..

— Нет! — сказала Лизавета Александровна. 10

— Что же? ты говорила, что боишься наших лошадей: хотела посмирнее...

— Нет!

— Ну о новой мебели?..

Она покачала головой.

— Воля твоя, не знаю, — сказал Петр Иванович, — вот возьми лучше ломбардный билет и распорядись, как тебе нужно; это вчерашний выигрыш...

Он достал было бумажник.

— Нет, не беспокойся, спрячь деньги назад, — сказала Лизавета Александровна, — это дело не будет стоить тебе ни копейки. 20

— Не брать денег, когда дают! — сказал Петр Иванович, пряча бумажник, — это непостижимо! Что же нужно?

— Нужно только немного доброй воли...

— Сколько хочешь.

— Вот видишь: третьего дня был у меня Александр...

— Ох, чувствую недоброе! — перебил Петр Иванович, — ну?

— Он такой мрачный, — продолжала Лизавета Александровна, — я боюсь, чтоб всё это не довело его до чего-нибудь... 30

— Да что с ним еще? Опять изменили в любви, что ли?

— Нет, в дружбе.

— В дружбе! час от часу не легче! Как же в дружбе? это любопытно: расскажи, пожалуйста.

— А вот как.

Тут Лизавета Александровна рассказала ему всё, что слышала от племянника. Петр Иванович сильно пожал 40 плечами.

— Что ж ты хочешь, чтоб я тут сделал? видишь, какой он!

— А ты обнаружь ему участие, спроси, в каком положении его сердце...

— Нет, это уж ты спроси.

— Поговори с ним... как это?... понежнее, а не так, как ты всегда говоришь... не смейся над чувством...

— Не прикажешь ли заплакать?

— Не мешало бы.

— А что пользы ему от этого?

— Много... и не одному ему... — заметила вполголоса Лизавета Александровна.

— Что? — спросил Петр Иванович.

10 Она молчала.

— Ох уж мне этот Александр: он у меня вот где сидит! — сказал Петр Иванович, показывая на шею.

— Чем это он так обременил тебя?

— Как чем? Шесть лет вожусь с ним: то он рас-
плачется — надо утешать, то поди переписывайся с ма-
терью.

— В самом деле, бедный! Как это достает тебя? Какой
страшный труд: получить раз в месяц письмо от старушки
и, не читая, бросить под стол или поговорить с племян-
20 ником! Как же, ведь это отвлекает от виста! Мужчины,
мужчины! Если есть хороший обед, лафит за золотой
печатью да карты — и всё тут; ни до кого и дела нет! А
если к этому еще случай поважничать и поумничать —
так и счастливы.

— Как для вас пококетничать, — заметил Петр Ива-
ныч. — Всякому свое, моя милая! Чего же еще?

— Чего! а сердце! об этом никогда и речи нет.

— Вот еще!

— Мы очень умны: как нам заниматься такими
30 мелочами? Мы ворочаем судьбами людей. Смотрят, что
у человека в кармане да в петлице фрака, а до остального
и дела нет. Хотят, чтоб и все были такие! Нашелся между
ними один чувствительный, способный любить и заста-
вить любить себя...

— Славно он заставил любить себя эту... как ее?
Верочку, что ли? — заметил Петр Иванович.

— Нашел кого поставить с ним наравне! это насмеш-
ка судьбы. Она всегда, будто нарочно, сведет нежного,
чувствительного человека с холодным созданием! Бед-
40 ный Александр! У него ум нейдет наравне с сердцем,
вот он и виноват в глазах тех, у кого ум забежал
слишком вперед, кто хочет взять везде только рассу-
дом...

— Согласись, однако, что это главное; иначе...

— Не соглашусь, ни за что не соглашусь: это главное там на заводе, может быть, а вы забываете, что у человека есть еще чувство...

— Пять! — сказал Адуев, — я еще это в азбуке затвердил.

— И досадно и грустно! — прошептала Лизавета Александровна.

— Ну, ну, не сердись: я сделаю всё, что прикажешь, только научи — как! — сказал Петр Иванович.

— А ты дай ему легкий урок...

10

— Нагоняй? изволь, это мое дело.

— Вот уж и нагоняй! Ты объясни ему поласковее, чего можно требовать и ожидать от нынешних друзей; скажи, что друг не так виноват, как он думает... Да мне ли учить тебя? ты такой умный... так хорошо хитришь... — прибавила Лизавета Александровна.

Петр Иванович при последнем слове немного нахмурился.

— Мало ли там у вас было искренних излияний? — сказал он сердито, — шептались, шептались и всё еще не перешептали всего о дружбе да о любви; теперь меня путают...

— Зато это в последний раз, — сказала Лизавета Александровна, — я надеюсь, что после этого он утешится.

Петр Иванович недоверчиво покачал головой.

— Есть ли у него деньги? — спросил он, — может быть, нет, так он и того...

— Только деньги на уме! Он готов был бы отдать все деньги за одно приветливое слово друга.

30

— Чего доброго: от него станется! Раз он и так дал там, у себя в департаменте, чиновнику денег за искренние излияния... Вот кто-то позвонил: не он ли? Что надо сделать? повтори: дать ему нагоняй... еще что? денег?

— Какой нагоняй! ты, пожалуй, хуже наделаешь. О дружбе я просила тебя поговорить, о сердце, да поласковее, повнимательнее...

Александр молча поклонился, молча и много ел за обедом, а в антрактах катал шарики из хлеба и смотрел на бутылки и графины исподлобья. После обеда он взялся было за шляпу.

— Куда же ты? — спросил Петр Иванович, — посиди с нами.

Александр молча повиновался. Петр Иванович думал, как бы приступить к делу понежнее и половчее, и вдруг спросил скороговоркою:

— Я слышал, Александр, что друг твой поступил с тобой как-то коварно?

При этих неожиданных словах Александр встряхнул головой, как будто его ранили, и устремил полный упрека взгляд на тетку. Она тоже не ожидала такого крутого приступа к делу и сначала опустила голову на работу, ¹⁰ потом также с упреком поглядела на мужа; но он был под двойной эгидою пищеварения и дремоты и оттого не почувствовал рикошета этих взглядов.

Александр отвечал на его вопрос чуть слышным вздохом.

— В самом деле, — продолжал Петр Иванович, — какое коварство! что за друг! не видался лет пять и охладел до того, что при встрече не задушил друга в объятиях, а позвал его к себе вечером, хотел усадить за карты... и накормить... А потом — коварный человек! — заметил на ²⁰ лице друга кислую мину и давай расспрашивать о его делах, об обстоятельствах, о нуждах — какое гнусное любопытство! да еще — о верх коварства! — осмелился предлагать свои услуги... помощь... может быть, деньги! и никаких искренних излияний! ужасно, ужасно! Покажи, пожалуйста, мне это чудовище, приведи в пятницу обедать!.. А почему он играет?

— Не знаю, — сказал Александр сердито. — Смейтесь, дядюшка: вы правы; я виноват один. Поверить людям, искать симпатии — в ком? рассыпать бисер — перед ³⁰ кем! Кругом низость, слабодушие, мелочность, а я еще сохранил юношескую веру в добро, в доблесть, в постоянство...

Петр Иванович начал что-то часто и мерно кивать головой.

— Петр Иванович! — сказала Лизавета Александровна шепотом, дернув его за рукав, — ты спишь?

— Вот сплю! — сказал, проснувшись, Петр Иванович, — я всё слышу: «доблесть, постоянство», где же сплю?

⁴⁰ — Не мешайте дядюшке, ma tante! — заметил Александр, — он не уснет, у него расстроится пищеварение, и Бог знает, что из этого будет. Человек, конечно, властелин земли, но он также и раб своего желудка.

При этом он хотел, кажется, горько улыбнуться, но улыбнулся как-то кисло.

— Скажи же мне, чего ты хотел от своего друга? жертвы, что ли, какой-нибудь: чтоб он на стену полез или кинулся из окошка? Как ты понимаешь дружбу, что она такое? — спросил Петр Иванович.

— Теперь уж жертвы не потребую — не беспокойтесь. Я благодаря людям низшел до жалкого понятия и о дружбе, как о любви... Вот я всегда носил с собой эти строки, которые казались мне вернейшим определением 10 этих двух чувств, как я их понимал и как они должны быть, а теперь вижу, что это ложь, клевета на людей или жалкое незнание их сердца... Люди не способны к таким чувствам. Прочь — это коварные слова!..

Он достал из кармана бумажник, а из бумажника две осьмушки исписанной бумаги.

— Что это такое? — спросил дядя, — покажи.

— Не стоит! — сказал Александр и хотел рвать бумаги.

— Прочтите, прочтите! — стала просить Лизавета Александровна. 20

— Вот как два новейших французских романиста определяют истинную дружбу и любовь, и я согласился с ними, думал, что встречу в жизни такие существа и найду в них... да что! — Он презрительно махнул рукой и начал читать: «Любить не тою фальшивою, робкою дружбою, которая живет в наших раззолоченных палатах, которая не устоит перед горстью золота, которая боится двусмысленного слова, но тою могучею дружбою, которая отдает кровь за кровь, которая докажет себя в битве и кровопролитии, при громе пушек, под ревом бурь, когда 30 друзья лобзаются прокопченными порохом устами, обнимаются окровавленными объятиями... И если Пилад ранен насмерть, Орест, энергически прощаясь с ним, верным ударом кинжала прекращает его мучения, страшно клянется отмстить и сдерживает клятву, потом отирает слезу и успокоивается...»

Петр Иванович засмеялся своим мерным, тихим смехом.

— Над кем вы, дядюшка, смеетесь? — спросил Александр.

— Над автором, если он говорит это не шутя и от 40 себя, а потом над тобой, если ты действительно так понимал дружбу.

— Ужели это только смешно? — спросила Лизавета Александровна.

— Только. Виноват: смешно и жалко. Впрочем, и Александр согласен с этим и позволил смеяться. Он сам сейчас сознался, что такая дружба — ложь и клевета на людей. Это уж важный шаг вперед.

— Ложь потому, что люди не способны возвышаться до того понятия о дружбе, какая должна быть...

— Если люди не способны, так и не должна быть... — сказал Петр Иванович.

— Но бывали же примеры...

10 — Это исключения, а исключения почти всегда нехороши. «Окровавленные объятия, страшная клятва, удар кинжала!..»

И он опять засмеялся.

— Ну-ка, прочти о любви, — продолжал он, — у меня и сон прошел.

— Если это может доставить вам случай посмеяться еще — извольте! — сказал Александр и начал читать следующее:

20 «Любить — значит не принадлежать себе, перестать жить для себя, перейти в существование другого, сосредоточить на одном предмете все человеческие чувства — надежду, страх, горечь, наслаждение; любить — значит жить в бесконечном...»

— Черт знает, что такое! — перебил Петр Иванович, — какой набор слов!

— Нет, это очень хорошо! мне нравится, — заметила Лизавета Александровна. — Продолжайте, Александр.

30 «Не знать предела чувству, посвятить себя одному существу, — продолжал Александр читать, — и жить, мыслить только для его счастья, находить величие в унижении, наслаждение в грусти и грусть в наслаждении, предаваться всевозможным противоположностям, кроме любви и ненависти. Любить — значит жить в идеальном мире...»

Петр Иванович покачал при этом головой.

40 «В идеальном мире (продолжал Александр), превосходящем блеском и великолепием всякий блеск и великолепие. В этом мире небо кажется чище, природа роскошнее; разделять жизнь и время на два деления — присутствие и отсутствие, на два времени года — весну и зиму; первому соответствует весна, второму — зима, потому что, как бы ни были прекрасны цветы и чиста лазурь неба, но в отсутствии вся прелесть того и другого помрачается; в целом мире видеть только одно существо

и в этом существе заключать вселенную... Наконец, любить — значит подстергать каждый взгляд любимого существа, как бедуин подстергает каждую каплю росы для освежения запекшихся от зноя уст; волноваться в отсутствии его роем мыслей, а при нем не уметь высказать ни одной, стараться превзойти друг друга в жертвованиях...»

— Довольно, ради Бога, довольно! — перебил Петр Иваныч, — терпенья нет! ты рвать хотел: рви же, рви скорей! вот так!

Петр Иваныч даже встал с кресел и начал ходить взад и вперед по комнате. 10

— Неужели был век, когда не шутя думали так и проделывали всё это? — сказал он. — Неужели всё, что пишут о рыцарях и пастушках, не обидная выдумка на них? И как достает охоты расшевеливать и анализировать так подробно эти жалкие струны души человеческой... любовь! придавать всему этому такое значение...

Он пожал плечами.

— Зачем, дядюшка, уноситься так далеко? — сказал Александр, — я сам чувствую в себе эту силу любви и горжусь ею. Мое несчастье состоит в том только, что я не встретил существа, достойного этой любви и одаренного такою же силой... 20

— Сила любви! — повторил Петр Иваныч, — всё равно, если бы ты сказал — сила слабости.

— Это не по тебе, Петр Иваныч, — заметила Лизавета Александровна, — ты не хочешь верить существованию такой любви и в других...

— А ты? неужели ты веришь? — спросил Петр Иваныч, подходя к ней, — да нет, ты шутишь! Он еще ребенок и не знает ни себя, ни других, а тебе было бы стыдно! Неужели ты могла бы уважать мужчину, если б он полюбил так?... Так ли любят?.. 30

Лизавета Александровна оставила свою работу.

— Как же? — спросила она тихо, взяв его за руки и притягивая к себе.

Петр Иваныч тихо высвободил свои руки из ее рук и украдкой показал на Александра, который стоял у окна, спиной к ним, и опять начал совершать свое хождение по комнате. 40

— Как! — говорил он, — будто ты не слыхала, как любят!..

— Любят! — повторила она задумчиво и медленно принялась опять за работу.

С четверть часа длилось молчание. Петр Иванович первый прервал его.

— Что ты теперь делаешь? — спросил он племянника.

— Да... ничего.

— Мало. Ну читаешь по крайней мере?

— Да...

— Что же?

— Басни Крылова.

— Хорошая книга; да не одну же ее?

10 — Теперь одну. Боже мой! какие портреты людей, какая верность!

— Ты что-то сердит на людей. Ужели любовь к этой... как ее? сделала тебя таким?..

— О! я и забыл об этой глупости. Недавно я проехал по тем местам, где был так счастлив и так страдал, думал, что воспоминаниями разорву сердце на части.

— Что же, разорвал?

— Видел и дачу, и сад, и решетку, а сердце и не стукнуло.

20 — Ну вот: я ведь говорил. Чем же тебе так противны люди?

— Чем! своею низостью, мелкостью души... Боже мой! когда подумаешь, сколько подлостей вращается там, где природа бросила такие чудные семена...

— Да тебе что за дело? Исправить, что ли, хочешь людей?

— Что за дело? Разве до меня не долетают брызги этой грязи, в которой купаются люди? Вы знаете, что случилось со мною, — и после всего этого не ненавидеть, 30 не презирать людей!

— Что же случилось с тобой?

— Измена в любви, какое-то грубое, холодное забвение в дружбе... Да и вообще противно, гадко смотреть на людей, жить с ними! Все их мысли, слова, дела — всё зиждется на песке. Сегодня бегут к одной цели, спешат, сбивают друг друга с ног, делают подлости, льстят, унижаются, строят козни, а завтра — и забыли о вчерашнем и бегут за другим. Сегодня восхищаются одним, завтра ругают; сегодня горячи, нежны, завтра холодны... 40 нет! как посмотришь — страшна, противна жизнь! А люди!..

Петр Иванович, сидя в креслах, задремал было опять.

— Петр Иванович! — сказала Лизавета Александровна, толкнув его тихонько.

— Хандришь, хандришь! Надо делом заниматься, — сказал Петр Иванович, протирая глаза, — тогда и людей бранить не станешь, не за что. Чем не хороши твои знакомые? всё люди порядочные.

— Да! за кого нихватишься, так какой-нибудь зверь из басен Крылова и есть, — сказал Александр.

— Хозаровы, например?

— Целая семья животных! — перебил Александр. — Один расточает вам в глаза лесть, ласкает вас, а за глаза... я слышал, что он говорит обо мне. Другой сегодня с 10
вами рыдает о вашей обиде, а завтра зарыдает с вашим обидчиком; сегодня смеется с вами над другим, а завтра с другим над вами... гадко!

— Ну, Лунины?

— Хороши и эти. Сам он точно тот осел, от которого соловей улетел за тридевять земель. А она такой доброй лисицей смотрит...

— Что скажешь о Сониных?

— Да хорошего ничего не скажешь. Сонин всегда даст хороший совет, когда пройдет беда, а попробуйте обра- 20
титься в нужде... так он и отпустит без ужина домой, как лисица волка. Помните, как он юлил перед вами, когда искал места чрез ваше посредство? А теперь послушайте, что говорит про вас...

— И Волочков не нравится тебе?

— Ничтожное и еще вдобавок злое животное...

Александр даже плюнул.

— Ну, отделал же! — промолвил Петр Иванович.

— Чего же мне ждать от людей? — продолжал Алек- 30
сандр.

— Всего: и дружбы, и любви, и штаб-офицерского чина, и денег... Ну, теперь заключи эту галерею портретов нашими: скажи, какие мы с женой звери?

Александр ничего не отвечал, но на лице у него мелькнуло выражение тонкой, едва заметной иронии. Он улыбнулся. Ни это выражение, ни улыбка не ускользнули от Петра Ивановича. Он переглянулся с женой, та потупила глаза.

— Ну а ты сам что за зверь? — спросил Петр Иванович.

— Я не сделал людям зла! — с достоинством произнес Александр, — я исполнил в отношении к ним всё... У 40
меня сердце любящее; я распахнул широкие объятия для людей, а они что сделали?

— Что это, как он смешно говорит! — заметил Петр Иванович, обратясь к жене.

— Тебе всё смешно! — отвечала она.

— И сам я от людей не требовал, — продолжал Александр, — ни подвигов добра, ни великодушия, ни самоотвержения... требовал только должного, следующего мне по всем правам...

— Так ты прав? Вышел совсем сух из воды. Постой же, я выведу тебя на свежую воду...

Лизавета Александровна заметила, что супруг ее заговорил строгим тоном, и встревожилась.

10 — Петр Иваныч! — шептала она, — перестань...

— Нет, пусть выслушает правду. Я мигом кончу. Скажи, пожалуйста, Александр, когда ты клеймил сейчас своих знакомых то негодьями, то дураками, у тебя в сердце не зашевелилось что-нибудь похожее на угрызение совести?

— Отчего же, дядюшка?

— А оттого, что у этих зверей ты несколько лет сряду находил всегда радушный прием: положим, перед теми, от кого эти люди добивались чего-нибудь, они хитрили, строили им козни, как ты говоришь; а в тебе им нечего было искать: что же заставило их зазывать тебя к себе, ласкать?.. Нехорошо, Александр!.. — прибавил серьезно Петр Иваныч. — Другой за одно это, если б и знал за ними какие-нибудь грешки, так промолчал бы.

Александр весь вспыхнул.

— Я приписывал их внимательность к себе вашей рекомендации, — отвечал он, но уже без достоинства, а довольно смиренно. — Притом это светские отношения...

— Ну хорошо; возьмем несветские. Я уж доказывал тебе, не знаю только, доказал ли, что к своей этой... как ее? Сашиньке, что ли? ты был несправедлив. Ты полтора года был у них в доме как свой: жил там с утра до вечера да еще был любим этой *презренной девчонкой*, как ты ее называешь. Кажется, это не презрения заслуживает...

— А зачем она изменила?

— То есть полюбила другого? И это мы решили удовлетворительно. Да неужели ты думаешь, что если б она продолжала любить тебя, ты бы не разлюбил ее?

— Я? никогда.

40 — Ну так ты ничего не смыслишь. Пойдем дальше. Ты говоришь, что у тебя нет друзей, а я всё думал, что у тебя их трое.

— Трое? — воскликнул Александр, — был когда-то один, да и тот...

— Трое, — настойчиво повторил Петр Иванович. — Первый, начнем по старшинству, этот *один*. Не выдавшись несколько лет, другой бы при встрече отвернулся от тебя, а он пригласил тебя к себе, и когда ты пришел с кислой миной, он с участием расспрашивал, не нужно ли тебе чего, стал предлагать тебе услуги, помощь, и я уверен, что дал бы и денег, — да! а в наш век об этот пробный камень споткнется не одно чувство... нет, ты познакомь меня с ним: он, я вижу, человек порядочный... а по-тво-
ему, коварный.

10

Александр стоял, потупя голову.

— Ну как ты думаешь, кто твой второй друг? — спросил Петр Иванович.

— Кто? — сказал с недоумением Александр, — да никто...

— Бессовестный! — перебил Петр Иванович, — а? Лиза! и не краснеет! а я как довожусь тебе, позволь спросить?

— Вы... родственник.

— Важный титул! Нет, я думал — больше. Нехорошо, Александр: это такая черта, которая даже на школьных прописях названа *гнуною* и которой, кажется, у Крылова нет.

— Но вы всегда отталкивали меня... — робко говорил Александр, не поднимая глаз.

— Да, когда ты хотел обниматься.

— Вы смеялись надо мной, над чувством...

— А для чего, а зачем? — спросил Петр Иванович.

— Вы следили за мной шаг за шагом...

— А! договорился! следил! Найми-ка себе такого гувернера! Из чего я хлопотал? Я мог бы еще прибавить кое-что, но это походило бы на пошлый упрек...

— Дядюшка!.. — сказал Александр, подходя к нему и протягивая обе руки.

— На свое место: я еще не кончил! — холодно сказал Петр Иванович. — Третьего и лучшего друга, надеюсь, назовешь сам...

Александр опять смотрел на него и, кажется, спрашивал: «Да где же он?» Петр Иванович указал на жену.

— Вот она.

— Петр Иванович, — перебила Лизавета Александровна, — не умничай, ради Бога, оставь...

— Нет, не мешай.

— Я умею ценить дружбу тетушки... — бормотал Александр невнятно.

— Нет, не умеешь: если б умел, ты бы не искал глазами друга на потолке, а указал бы на нее. Если б чувствовал ее дружбу, ты, из уважения к ее достоинствам, не презирал бы людей. Она одна выкупила бы в глазах твоих недостатки других. Кто осушал твои слезы да хныкал с тобой вместе? Кто во всяком твоём вздоре принимал участие, и какое участие! Разве только мать могла бы так горячо принимать к сердцу всё, что до тебя касается, и та не сумела бы. Если б ты чувствовал это, ты не улыбку бы давеча иронически, ты бы видел, что тут нет ни лисы, ни волка, а есть женщина, которая любит тебя, как родная сестра...

— Ах! ma tante! — сказал Александр, растерянный и совсем уничтоженный этим упреком, — неужели вы думаете, что я не ценю этого и не считаю вас блистательным исключением из толпы? Боже, Боже! клянусь...

— Верю, верю, Александр! — отвечала она, — вы не слушайте Петра Иваныча: он из мухи делает слона: рад случаю поумничать. Перестань, ради Бога, Петр Иваныч.

— Сейчас, сейчас, кончу — *еще одно, последнее сказанье!* Ты сказал, что исполняешь всё, чего требуют от тебя твои обязанности к другим?

Александр уже ни слова не отвечал и не поднимал глаз.

— Ну скажи, любишь ли ты свою мать?

Александр вдруг ожил.

— Какой вопрос? — сказал он, — кого после этого любить мне? Я ее обожаю, я отдал бы за нее жизнь...

— Хорошо. Стало быть, тебе известно, что она живет, дышит только тобою, что всякая твоя радость и горе — радость и горе для нее. Она теперь время считает не месяцами, не неделями, а вестями о тебе и от тебя... Скажи-ка, давно ли ты писал к ней?

Александр встрепенулся.

— Недели... три, — пробормотал он.

— Нет: четыре месяца! Как прикажешь назвать такой поступок? Ну-ка, какой ты зверь? Может быть, оттого и не называешь, что у Крылова такого нет.

— А что? — вдруг с испугом спросил Александр.

— А то, что старуха больна с горя.

— Ужели? Боже! Боже!

— Неправда! неправда! — сказала Лизавета Александровна и тотчас же побежала к бюро и достала оттуда

письмо, которое подала Александру. — Она не больна, но очень тоскует.

— Ты балуешь его, Лиза, — сказал Петр Иванович.

— А ты уж не в меру строг. У Александра были такие обстоятельства, которые отвлекали его на время...

— Для девчонки забыть мать — славные обстоятельства!

— Да полно, ради Бога! — сказала она убедительно и указала на племянника.

Александр, прочитав письмо матери, закрыл им себе 10
лицо.

— Не мешайте дядюшке, ma tante: пусть он гремит упреками; я заслужил хуже: я чудовище! — говорил он, делая отчаянные гримасы.

— Ну успокойся, Александр! — сказал Петр Иванович, — таких чудовищ много. Увлекся глупостью и на время забыл о матери — это естественно; любовь к матери — чувство покойное. У ней на свете одно — ты: оттого ей естественно огорчаться. Казнить тебя тут еще не за что; скажу только словами любимого твоего 20
автора:

Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться? —

и быть снисходительным к слабостям других. Это такое правило, без которого ни себе, ни другим житья не будет. Вот и всё. Ну, я пойду уснуть.

— Дядюшка! вы сердитесь? — сказал Александр голосом глубокого раскаяния.

— С чего ты это взял? Из чего я стану себе портить кровь? и не думал сердиться. Я только хотел разыграть 30
роль медведя в басне «Мартышка и зеркало». Что, ведь искусно разыграл? Лиза, а?

Он мимоходом хотел ее поцеловать, но она увернулась.

— Кажется, я в точности исполнил твои приказания, — прибавил Петр Иванович, — что же ты?.. да: забыл одно... в каком положении твое сердце, Александр? — спросил он.

Александр молчал.

— А денег не нужно? — спросил опять Петр Иванович.

— Нет, дядюшка...

— Никогда не попросит! — сказал Петр Иванович, за- 40
творяя за собою дверь.

— Что будет думать обо мне дядюшка? — спросил Александр, помолчав.

— То же, что и прежде, — отвечала Лизавета Александровна. — Вы думаете, что он говорил вам всё это с сердцем, от души?

— А как же?

— И! нет. Поверьте, что он поважничать хотел. Видите, как он всё это методически сделал? расположил доказательства против вас по порядку: прежде слабые, а потом посильнее; сначала выведаль причину ваших дурных отзывов о людях... а потом уж... везде метода! Теперь и забыл, я думаю.

— Сколько ума! какое знание жизни, людей, умение владеть собой!

— Да, много ума и слишком много умения владеть собой, — задумчиво говорила Лизавета Александровна, — но...

— А вы, ma tante, вы перестанете уважать меня? Но поверьте, только такие потрясения, какие были со мной, могли отвлечь меня... Боже! бедная маменька!

Лизавета Александровна подала ему руку.

— Я, Александр, не перестану уважать в вас сердце, — сказала она. — Чувство вовлекает вас и в ошибки, оттого я всегда извиню их.

— Ах, ma tante! вы идеал женщины!

— Просто женщина.

На Александра довольно сильно подействовал нагоняй дяди. Он тут же, сидя с теткой, погрузился в мучительные думы. Казалось, спокойствие, которое она с таким трудом, так искусно водворила в его сердце, вдруг оставило его. Напрасно ждала она какой-нибудь злой выходки, сама называлась на колкость и преусердно подводила под эпиграмму Петра Иваныча: Александр был глух и нем. На него как будто вылили ушат холодной воды.

— Что с вами? отчего вы такие? — спрашивала тетка.

— Да так, ma tante: что-то невесело на сердце. Дядюшка дал мне понять меня самого: славно растолковал!

— Вы не слушайте его: он иногда и неправду говорит.

— Нет, не утешайте меня. Я теперь гадок самому себе. Презирал, ненавидел людей, а теперь и себя. От людей можно скрыться, а от себя куда уйдешь? Так всё

ничтожно: все эти блага, вся пустошь жизни, и люди, и сам...

— Ах этот Петр Иваныч! — промолвила с глубоким вздохом Лизавета Александровна, — он хоть на кого нагонит тоску!

— Одно только отрицательное утешение и осталось мне, что я не обманул никого, не изменил ни в любви, ни в дружбе...

— Вас не умели ценить, — промолвила тетка, — но поверьте, найдется сердце, которое вас оценит; я вам 10 порука в том. Вы еще так молоды, забудьте это всё, займитесь: у вас есть талант: пишите... Пишете ли вы что-нибудь теперь?

— Нет.

— Напишите.

— Боюсь, ma tante...

— Не слушайте Петра Иваныча: рассуждайте с ним о политике, об агрономии, о чем хотите, только не о поэзии. Он вам никогда об этом правды не скажет. Вас оценит публика — вы увидите... Так будете писать? 20

— Хорошо.

— Скоро начнете?

— Как только могу. Теперь на одно это и осталась надежда...

Петр Иваныч, выпавшись, пришел к ним, одетый совсем и со шляпой в руках. Он тоже посоретовал Александру заняться делом по службе и по отделу сельского хозяйства для журнала.

— Постараюсь, дядюшка, — отвечал Александр, — но вот я обещал тетушке... 30

Лизавета Александровна сделала ему знак, чтоб он молчал, но Петр Иваныч заметил.

— Что, что обещал? — спросил он.

— Привезти новые ноты, — отвечала она.

— Нет, неправда; что такое, Александр?

— Написать повесть или что-нибудь...

— Ты еще не отказался от изящной литературы? — говорил Петр Иваныч, обирая пылинки с платья. — А ты, Лиза, сбиваешь его с толку — напрасно!

— Я не вправе отказаться от этого, — заметил Алек- 40 сандр.

— Кто ж тебя неволит?

— Зачем я самовольно и неблагодарно отвергну почетное назначение, к которому призван? Одна светлая

надежда в жизни и осталась, а я уничтожу и ее? Если я погублю, что свыше вложено в меня, то погублю и себя...

— Да что вложено в тебя такое, растолкуй мне, пожалуйста?

— Этого я, дядюшка, не могу растолковать вам. Надо понимать самому. Воздымались ли у вас на голове волосы от чего-нибудь, кроме гребенки?

— Нет! — сказал Петр Иванович.

— Ну вот видите. Бушевали ли в вас страсти, кипело
10 ли воображение и создавало ли вам изящные призраки, которые просились воплотиться? билось ли сердце особенным биением?

— Дико, дико! Ну так что ж? — спросил Петр Иванович.

— А то, с кем этого не бывало, так тому и растолковать нельзя, почему хочется писать, когда какой-то беспокойный дух твердит и днем и ночью, и во сне и наяву: пиши, пиши...

— Да ведь ты не умеешь писать?

— Полно, Петр Иванович: сам не умеешь, так зачем же
20 мешать другим? — сказала Лизавета Александровна.

— Извините, дядюшка, если замечу, что вы не судья в этом деле.

— Кто ж судья? она?

Петр Иванович указал на жену.

— Она — нарочно, а ты веришь, — прибавил он.

— Да и сами вы в начале моего приезда сюда советовали писать, испытывать себя...

— Ну так что ж? попробовал — не выходит ничего: и бросить бы.

30 — Неужели вы никогда не нашли у меня ни дельной мысли, ни удачного стиха?

— Как не найти! есть. Ты не глуп: как же у неглупого человека в нескольких пудах сочинений не найти удачной мысли? Так ведь это не талант, а ум.

— Ах! — сказала Лизавета Александровна, с досадой повернувшись на стуле.

— А биение сердца, трепет, сладостная нега и прочее такое — с кем не бывает?

— Да с тобой, я думаю, первым! — заметила жена.

40 — Ну вот! А помнишь, я, бывало, восхищался...

— Чем это? не помню.

— Все испытывают эти вещи, — продолжал Петр Иванович, обращаясь к племяннику, — кого не трогают тишина или там темнота ночи, что ли, шум дубравы, сад,

пруды, море? Если б это чувствовали одни художники, так некому было бы понимать их. А отражать все эти ощущения в своих произведениях — это другое дело: для этого нужен талант, а его у тебя, кажется, нет. Его не скроешь: он блестит в каждой строке, в каждом ударе кисти...

— Петр Иванович! тебе пора ехать, — сказала Лизавета Александровна.

— Сейчас.

— Отличиться хочется? — продолжал он, — тебе есть ¹⁰ чем отличиться. Редактор хвалит тебя, говорит, что статьи твои о сельском хозяйстве обработаны прекрасно, в них есть мысль — всё показывает, говорит, ученого производителя, а не ремесленника. Я порадовался: «Ба! думаю, Адуевы все не без головы!» — видишь: и у меня есть самолюбие! Ты можешь отличиться и в службе и приобрести известность писателя...

— Хороша известность: писатель о наземе.

— Всякому свое: одному суждено витать в небесных пространствах, а другому рыться в наземе и оттуда ²⁰ добывать сокровища. Я не понимаю, отчего пренебрегать скромным назначением? и оно имеет свою поэзию. Вот ты бы выслужился, нажил бы трудами денег, выгодно женился бы, как ббольшая часть... Не понимаю, чего еще? Долг исполнен, жизнь пройдена с честью, трудолюбиво — вот в чем счастье! по-моему, так. Вот я статский советник по чину, заводчик по ремеслу; а предложи-ка мне взамен звание первого поэта, ей-богу, не возьму!

— Послушай, Петр Иванович: ты, право, опоздаешь! — перебила Лизавета Александровна, — скоро десять часов. ³⁰

— В самом деле, пора. Ну, до свидания. А то вообразят себя, бог знает с чего, необыкновенными людьми, — ворчал Петр Иванович, уходя вон, — да и того...

II

Александр, возвратясь домой от дяди, сел в кресло и задумался. Он припомнил весь разговор с дядей и теткой и потребовал строгого отчета от самого себя.

Как, в свои лета, позволив себе ненавидеть и презирать людей, рассмотрев и обсудив их ничтожность, мелочность, слабости, перебрав всех и каждого из своих ⁴⁰ знакомых, он забыл разобрать себя! Какая слепота! И дядя дал ему урок, как школьнику, разобрал его по

ниточке, да еще при женщине; что бы ему самому оглянуться на себя! Как дядя должен выиграть в этот вечер в глазах жены! Это бы, пожалуй, ничего, оно так и должно быть; но ведь он выиграл на его счет. Дядя имеет над ним неоспоримый верх, всюду и во всем.

«Где же, — думал он, — после этого преимущество молодости, свежести, пылкости ума и чувств, когда человек, с некоторою только опытностью, но с черствым сердцем, без энергии, уничтожает его на каждом шагу, так, мимоходом, небрежно? Когда же спор будет равен и когда наконец перевес будет на его стороне? А на его стороне, кажется, и талант, и избыток душевных сил... а дядя является исполином в сравнении с ним. С какую уверенность он спорит, как легко устраняет всякое противоречие и достигает цели шутя, с зевотой, насмехаясь над чувством, над сердечными излияниями дружбы и любви — словом, над всем, в чем пожилые люди привыкли завидовать молодым».

Перебирая всё это в уме, Александр покраснел от стыда. Он дал себе слово строго смотреть за собой и при первом случае уничтожить дядю: доказать ему, что никакая опытность не заменит того, что *вложено свыше*; что как он, Петр Иванович, там себе ни проповедуй, а с этой минуты не сбудется ни одно из его холодных, методических предсказаний. Александр сам найдет свой путь и пойдет по нем не робкими, а твердыми и ровными шагами. Он теперь не то, что был три года назад. Он проник взглядом в тайники сердца, рассмотрел игру страстей, добыл себе тайну жизни, конечно не без мучений, но зато закалил себя против них навсегда. Будущее ему ясно, он восстал, окрылился, — он не ребенок, а муж, — смело вперед! Дядя увидит и в свою очередь разыграет впоследствии перед ним, опытным мастером, роль жалкого ученика; он узнает, к удивлению своему, что есть иная жизнь, иные отличия, иное счастье, кроме жалкой карьеры, которую он себе избрал и которую навязывает и ему, может быть, из зависти. Еще, еще одно благородное усилие — и борьба кончена!

Александр ожил. Он опять стал творить особый мир, несколько помудрее первого. Тетка поддерживала в нем это расположение, но тайком, когда Петр Иванович спал или уезжал на завод и в Английский клуб.

Она расспрашивала Александра о занятиях. А уж как это нравилось ему! Он рассказывал ей план своих сочинений и иногда, в виде совета, требовал одобрения.

Она часто спорила с ним, но еще чаще соглашалась.

Александр привязался к труду, как привязываются к последней надежде. «За этим, — говорил он тетке, — ведь уж нет ничего: там голая степь, без воды, без зелени, мрак, пустыня; что тогда будет жизнь? хоть в гроб ложись!» И он работал неумоимо.

Иногда угасшая любовь придет на память, он взволнуется — и за перо: и напишет трогательную элегию. В другой раз желчь хлынет к сердцу и поднимет со дна недавно бушевавшую там ненависть и презрение к людям — смотришь — и родится несколько энергических стихов. В то же время он обдумывал и писал повесть. Он потратил на нее много размышления, чувства, материального труда и около полугода времени. Вот наконец повесть готова, пересмотрена и переписана набело. Тетка была в восхищении.

В этой повести действие происходило уже не в Америке, а где-то в тамбовской деревне. Действующие лица были обыкновенные люди: клеветники, лжецы и всякого рода изверги — во фраках, изменницы в корсетах и в шляпках. Всё было прилично, на своих местах.

— Я думаю, та tante, это можно показать дядюшке?

— Да, да, конечно, — отвечала она, — а впрочем... не лучше ли отдать напечатать так, без него? Он всегда против этого: скажет что-нибудь... Вы знаете, это кажется ему ребячеством.

— Нет, лучше показать! — отвечал Александр. — Я после вашего суда и собственного сознания не боюсь никого, а между тем пусть он увидит...

Показали. Петр Иваныч, увидя тетрадь, немного нахмурился и покачал головой.

— Что это, вы вдвоем сочинили? — спросил он, — что-то много. Да как мелко писано: охота же писать!

— Ты погоди качать головой, — отвечала жена, — а прежде выслушай. — Прочтите нам, Александр. Только ты выслушай внимательно, не дремли и скажи потом свой приговор. Недостатки везде можно найти, если захочешь искать их. А ты будь снисходителен.

— Нет, зачем? будьте только справедливы, — прибавил Александр.

— Нечего делать; я выслушаю, — сказал Петр Иванович со вздохом, — только с условием, во-первых, не после обеда вскоре читать, а то я за себя не ручаюсь, что не засну. Этого, Александр, на свой счет не принимай: что бы ни читали после обеда, а меня всегда клонит сон; а во-вторых, если это что-нибудь дельное, то я скажу свое мнение, а нет — я буду только молчать, а вы там как себе хотите.

10 Стали читать. Петр Иванович ни разу не вздремнул, слушал, не сводя глаз с Александра, даже редко мигал, а два раза так одобрительно кивнул головой.

— Видишь! — сказала жена вполголоса. — Я тебе говорила.

Он и ей кивнул.

Читали два вечера сряду. В первый вечер, после чтения, Петр Иванович рассказал, к удивлению жены, всё, что будет дальше.

— Ты почему знаешь? — спросила она.

20 — Мудрено! Идея уж не новая, — тысячу раз писали об этом. Дальше и читать бы не нужно, да посмотрим, как она развилась у него.

Когда, на другой вечер, Александр дочитывал последнюю страницу, Петр Иванович позвонил. Вошел человек.

— Приготовь одеться, — сказал он. — Извини, Александр, что перервал: тороплюсь, — опоздаю в клуб к висту.

Александр кончил. Петр Иванович проворно пошел вон.

— Ну, до свиданья! — сказал он жене и Александру. — Я уж не заеду сюда.

30 — Постой! постой! — закричала жена, — что ж ты ничего не скажешь о повести?

— По уговору не следует! — отвечал он и хотел идти.

— Это упрямство! — сказала она. — О, он упрям — я его знаю! Вы не смотрите на это, Александр.

«Это недоброжелательство! — подумал Александр. — Он меня хочет втоптать в грязь, стащить в свою сферу. Все-таки он умный чиновник, заводчик — и больше ничего, а я поэт...»

40 — Это из рук вон, Петр Иванович! — начала жена чуть не со слезами. — Ты хоть что-нибудь скажи. Я видела, что ты в знак одобрения качал головой, стало быть, тебе понравилось. Только по упрямству не хочешь сознаться. Как сознаться, что нам нравится повесть! Мы слишком умны для этого. Признайся, что хорошо.

— Я качал головой потому, что и из этой повести видно, что Александр умен, но он неумно сделал, что написал ее.

— Однако ж, дядюшка, суд такого рода...

— Послушай: ведь ты мне не веришь, нечего и спорить; выберем лучше посредника. Я даже вот что сделаю, чтоб кончить это между нами однажды навсегда: я назовусь автором этой повести и отошлю ее к моему приятелю, сотруднику журнала: посмотрим, что он скажет. Ты его знаешь и, вероятно, положишься на его суд. Он человек опытный.

— Хорошо, посмотрим.

Петр Иванович сел к столу и наскоро написал несколько строк, потом передал письмо Александру.

«Я, на старости лет, пустился в авторство, — писал он, — что делать: хочется прославиться, взять и тут, — с ума сошел! Вот я и произвел прилагаемую при сем повесть. Просмотрите ее, и если годится, то напечатайте в вашем журнале, разумеется, за деньги: вы знаете, я даром работать не люблю. Вы удивитесь и не поверите, но я позволяю вам даже подписать мою фамилию, стало быть, не лгу».

Уверенный в благоприятном отзыве о повести, Александр покойно ожидал ответа. Он даже радовался, что дядя упомянул в записке о деньгах.

«Очень, очень умно, — думал он. — Маменька жалуется, что хлеб дешев: пожалуй, не скоро придет денег; а тут оно и кстати получить тысячи полторы».

Прошло, однако же, недели три, ответа всё не было. Вот наконец однажды утром к Петру Ивановичу принесли большой пакет и письмо.

— А! назад прислали! — сказал он, лукаво взглянув на жену.

Он не распечатал записки и не показал жене, как она ни просила. В тот же день вечером, перед тем как ехать в клуб, он сам отправился к племяннику.

Дверь была не заперта. Он вошел. Евсей храпел, растянувшись в передней диагонально на полу. Светильня страшно нагорела и свесилась с подсвечника. Он заглянул в другую комнату: темно.

«О провинция!» — проворчал Петр Иванович.

Он растолкал Евсея, показал ему на дверь, на свечку и погрозил тростью. В третьей комнате за столом сидел Александр, положив руки на стол, а на руки голову, и

тоже спал. Перед ним лежала бумага. Петр Иванович взглянул — стихи.

Он взял бумагу и прочитал следующее:

Весны пора прекрасная минула,
Исчез навек волшебный миг любви,
Она в груди могильным сном уснула
И пламенем не пробежит в крови!
На алтаре ее осиротелом
Давно другой кумир воздвигнул я,
Молюсь ему... но...

10

— И сам уснул! Молись, милый, не ленись! — сказал вслух Петр Иванович. — Свои же стихи, да как уходили тебя! Зачем другого приговора? сам изрек себе.

— А! — сказал Александр, потягиваясь, — вы всё еще против моих сочинений! Скажите, дядюшка, откровенно, что заставляет вас так настойчиво преследовать талант, когда нельзя не признать...

— Да зависть, Александр. Посуди сам: ты приобретешь славу, почет, может быть, еще бессмертие, а я останусь темным человеком и принужден буду довольствоваться названием полезного труженика. А ведь я тоже Адуев! воля твоя, обидно! Что я такое? прожил век свой тихо, неизвестно, исполнил только свое дело и был еще горд и счастлив этим. Не жалкий ли удел? Когда умру, то есть ничего не буду чувствовать и знать, *струны вещице баянов* не станут говорить обо мне, *отдаленные века, потомство, мир* не наполнятся моим именем, не узнают, что жил на свете статский советник Петр Иванович Адуев, и я не буду утешаться этим в гробе, если я и гроб уцелеем как-нибудь до потомства. Какая разница ты: когда, *расширяя шумящими крылами*, будешь летать *под облаками*, мне придется утешаться только тем, что в массе человеческих трудов есть *капля и моего меда*, как говорит твой любимый автор.

30

— Оставьте его, ради Бога, в стороне; что он за любимый автор! Издевается только над ближним.

— А! издевается! Не с тех ли пор ты разлюбил Крылова, как увидел у него свой портрет! А propos!¹ знаешь ли, что твоя будущая слава, твое бессмертие у меня в кармане? но я желал бы лучше, чтоб там были твои деньги: это вернее.

40

— Какая слава?

¹ Кстати! (фр.)

- А ответ на мою записку.
- Ах! дайте, ради Бога, скорее. Что он пишет?
- Я не читал; прочитай сам, да вслух.
- И вы могли утерпеть?
- Да мне-то что?

— Как что! Ведь я ваш родной племянник: как не полюбопытствовать? Какая холодность! это эгоизм, дя-дюшка!

— Может быть: я не запираюсь. Впрочем, я знаю, что тут написано. На, читай!

Александр начал читать громко, а Петр Иваныч постукивал палкой по сапогам. В записке было вот что:

«Что это за мистификация, мой любезнейший Петр Иваныч? Вы пишете повести! Да кто ж вам поверит? И вы думали обморочить меня, старого воробья! А если б, чего Боже сохрани, это была правда, если б вы оторвали на время ваше перо от дорогих, в буквальном смысле, строк, из которых каждая, конечно, не один червонец стоит, и, перестав выводить почтенные итоги, произвели бы лежащую передо мною повесть, то я и тогда сказал бы вам, что хрупкие произведения вашего завода гораздо прочнее этого творения...»

У Александра голос вдруг упал.

«Но я отвергаю такое обидное подозрение на ваш счет», — продолжал он читать робко и тихо.

— Не слышу, Александр, погромче! — сказал Петр Иваныч.

Александр продолжал тихим голосом:

«Принимая участие в авторе повести, вы, вероятно, хотите знать мое мнение. Вот оно. Автор должен быть молодой человек. Он не глуп, но что-то не путем сердит на весь мир. В каком озлобленном, ожесточенном духе пишет он! Верно, разочарованный. О Боже! когда переведется этот народ? Как жаль, что от фальшивого взгляда на жизнь гибнет у нас много дарований в пустых, бесплодных мечтах, в напрасных стремлениях к тому, к чему они не призваны».

Александр остановился и перевел дух. Петр Иваныч закурил сигару и пустил кольцо дыму. Лицо его, по обыкновению, выражало совершенное спокойствие. Алек-

сандр продолжал читать глухим, едва слышным голосом:

«Самолюбие, мечтательность, преждевременное развитие сердечных склонностей и неподвижность ума, с неизбежным последствием — ленью, — вот причины этого зла. Наука, труд, практическое дело — вот что может отрезвить нашу праздную и больную молодежь».

— Всё дело можно бы в трех строках объяснить, — сказал Петр Иванович, поглядев на часы, — а он в ¹⁰ приятельском письме написал целую диссертацию! ну не педант ли? Читать ли дальше, Александр? брось: скучно. Мне бы надо тебе кое-что сказать...

— Нет, дядюшка, позвольте, уж я выпью чашу до дна: дочитаю.

— Ну читай на здоровье.

«Это печальное направление душевных способностей, — читал Александр, — обнаруживается в каждой строке присланной вами повести. Скажите же вашему protégé, что писатель тогда только, во-первых, напишет ²⁰ дельно, когда не будет находиться под влиянием личного увлечения и пристрастия. Он должен обозревать покойным и светлым взглядом жизнь и людей вообще, — иначе выразит только свое я, до которого никому нет дела. Этот недостаток сильно преобладает в повести. Второе и главное условие — этого, пожалуй, автору не говорите из сожаления к молодости и авторскому самолюбию, самому беспокойному из всех самолюбий, — нужен талант, а его тут и следа нет. Язык, впрочем, везде правилен и чист; автор даже обладает слогом...» — насилу дочитал Александр.

³⁰ — Вот давно бы так! — сказал Петр Иванович, — а то бог знает что наговорил! О прочем мы с тобой и без него рассудим.

У Александра опустились руки. Он молча, как человек, оглушенный неожиданным ударом, глядел мутными глазами прямо в стену. Петр Иванович взял у него письмо и прочитал в P. S. следующее:

«Если вам непременно хочется поместить эту повесть в наш журнал — пожалуй, для вас, в летние месяцы, когда мало читают, я помещу, но о вознаграждении и ⁴⁰ думать нельзя».

— Ну что, Александр, как ты себя чувствуешь? — спросил Петр Иванович.

— Покойнее, нежели можно ожидать, — отвечал с усилием Александр. — Чувствую, как человек, обманутый во всем.

— Нет, как человек, который обманывал сам себя да хотел обмануть и других...

Александр не слышал этого возражения.

— Ужели и это мечта?.. и это изменило?.. — шептал он. — Горькая утрата! Что ж, не привыкать-стать обманываться! Но зачем же, я не понимаю, вложены были в меня все эти неодолимые побуждения к творчеству?.. 10

— Вот то-то! в тебя вложили побуждения, а самое творчество, видно, и забыли вложить, — сказал Петр Иваныч, — я говорил!

Александр отвечал вздохом и задумался. Потом вдруг с живостью бросился отворять все ящики, достал несколько тетрадей, листков, клочков и начал с ожесточением бросать в камин.

— Вот это не забудь! — сказал Петр Иваныч, подвигая к нему листок с начатыми стихами, лежавший на столе.

— И это туда же! — говорил Александр с отчаянием, 20 бросая стихи в камин.

— Нет ли еще чего? Поищи-ка хорошенько, — спросил Петр Иваныч, осматриваясь кругом, — уж за один бы раз сделать умное дело. Вон что там это на шкапе за связка?

— Туда же! — говорил Александр, доставая ее, — это статьи о сельском хозяйстве.

— Не жги, не жги этого! Отдай мне! — сказал Петр Иваныч, протягивая руку, — это не пустяки.

Но Александр не слушал. 30

— Нет! — сказал он со злостью, — если погибло для меня благородное творчество в сфере изящного, так я не хочу и труженичества: в этом судьба меня не переломит!

И связка полетела в камин.

— Напрасно! — заметил Петр Иваныч и между тем сам палкой шарил в корзине под столом, нет ли еще чего-нибудь бросить в огонь.

— А что же мы с повестью сделаем, Александр? Она у меня. 40

— Не нужно ли вам оклеить перегородки?

— Нет, теперь нет. Не послать ли за ней? Евсей! Опять заснул: смотри, там мою шинель у тебя под носом украдут! Сходи скорее ко мне, спроси там у Василья

толстую тетрадь, что лежит в кабинете на бюро, и принеси сюда.

Александр сидел, опершись на руку, и смотрел в камин. Принесли тетрадь. Александр поглядел на плод полугодовых трудов и задумался. Петр Иванович заметил это.

— Ну кончай, Александр, — сказал он, — да поговорим о другом.

— И это туда же! — крикнул Александр, швырнув
10 тетрадь в печь.

Оба стали смотреть, как она загорится, Петр Иванович, по-видимому, с удовольствием, Александр с грустью, почти со слезами. Вот верхний лист зашевелился и поднялся, как будто невидимая рука перевертывала его; края его загнулись, он почернел, потом скоробился и вдруг вспыхнул; за ним быстро вспыхнул другой, третий, а там вдруг несколько поднялись и загорелись кучей, но следующая под ними страница еще белелась и через две секунды тоже начала чернеть по краям.

20 Александр, однако ж, успел прочесть на ней: глава III-я. Он вспомнил, что было в этой главе, и ему стало жаль ее. Он встал с кресел и схватил щипцы, чтобы спасти остатки своего творения. «Может быть, еще...» — шептала ему надежда.

— Постой, вот я лучше тростью, — сказал Петр Иванович, — а то обожжешься щипцами.

Он подвинул тетрадь в глубину камина, прямо на уголья. Александр остановился в нерешимости. Тетрадь была толста и не вдруг поддалась действию огня. Из-под
30 нее сначала повалил густой дым; пламя изредка вырвется снизу, лизнет ее по боку, оставит черное пятно и опять спрячется. Еще можно было спасти. Александр уж протянул руку, но в ту же секунду пламя озарило и кресла, и лицо Петра Ивановича, и стол; вся тетрадь вспыхнула и через минуту потухла, оставив по себе кучу черного пепла, по которому местами пробегали огненные змейки. Александр бросил щипцы.

— Всё кончено! — сказал он.

— Кончено! — повторил Петр Иванович.

40 — Ух! — промолвил Александр, — я свободен!

— Уж это в другой раз я помогаю тебе очищать квартиру, — сказал Петр Иванович, — надеюсь, что на этот раз...

— Невозвратно, дядюшка.

— Аминь! — примолвил дядя, положив ему руки на плеча. — Ну, Александр, советую тебе не медлить: сейчас же напиши к Ивану Иванычу, чтобы прислал тебе работу в отделении сельского хозяйства. Ты по горячим следам, после всех глупостей, теперь напишешь преумную вещь. А он всё заговаривает: «Что ж, говорит, ваш племянник...»

Александр с грустью покачал головой.

— Не могу, — сказал он, — нет, не могу: всё кончено.

— Что ж ты станешь теперь делать?

— Что? — спросил он и задумался, — теперь пока 10
ничего.

— Это только в провинции как-то умеют ничего не делать; а здесь... Зачем же ты приезжал сюда? Это непонятно!.. Ну, пока довольно об этом. У меня до тебя есть просьба.

Александр медленно приподнял голову и взглянул на дядю вопросительно.

— Ведь ты знаешь, — начал Петр Иваныч, подвигая к Александру свои кресла, — моего компаньона Суркова?

Александр кивнул головой.

— Да, ты иногда обедал у меня с ним, только успел ли ты разглядеть хорошенько, что это за птица? Он добрый малый, но препустой. Господствующая его слабость — женщины. Он же, к несчастью, как ты видишь, недурен собой, то есть румян, гладок, высок, ну, всегда завит, раздушен, одет по картинке: вот и воображает, что все женщины от него без ума — так, фат! Да черт с ним совсем, я бы не заметил этого; но вот беда: чуть заведется страстишка, он и пошел мотать. Тут у него пойдут и сюрпризы, и подарки, и угождения; сам пустится в 30
шегольство, начнет менять экипажи, лошадей... просто разоренье! И за моей женой волочился. Бывало, уж я и не забочусь посылать человека за билетом в театр: Сурков непременно привезет. Лошадей ли надо променять, достать ли что-нибудь редкое, толпу ли растолкать, съездить ли осмотреть дачу, куда ни пошлешь — золото! Уж как был полезен: этакого за деньги не наймешь. Жаль! Я нарочно не мешал ему, да жене очень надоел: я и прогнал. Вот когда он этак пустится мотать, ему уж недостает процентов, он начинает просить денег у меня — отка- 40
жешь, заговаривает о капитале. «Что, говорит, мне ваш завод? никогда нет свободных денег в руках!» Добро бы взял какую-нибудь... так нет: всё ищет связей в свете: «Мне, говорит, надобно *благородную интригу*: я без любви

жить не могу!» — не осел ли? Малому чуть не сорок лет, и не может жить без любви!

Александр вспомнил о себе и печально улыбнулся.

— Он всё врет, — продолжал Петр Иваныч. — Я после рассмотрел, о чем он хлопочет. Ему только бы похвастаться, — чтоб о нем говорили, что он в связи с такой-то, что его видят в ложе у такой-то или что он на даче сидел вдвоем на балконе поздно вечером, катался, что ли, там с ней где-нибудь в уединенном месте, в
10 коляске или верхом. А между тем выходит, что эти так называемые *благородные интриги* — чтоб черт их взял! — гораздо дороже обходятся, чем неблагородные. Вот из чего бьется, дурачина!

— К чему же это всё ведет, дядюшка? — спросил Александр, — я не вижу, что я могу тут сделать.

— А вот увидишь. Недавно воротилась сюда из-за границы молодая вдова, Юлия Павловна Тафаева. Она очень недурна собой. С мужем я и Сурков были приятели. Тафаев умер в чужих краях. Ну, догадываешься?

20 — Догадываюсь: Сурков влюбился во вдову.

— Так: совсем одурел! а еще?

— Еще... не знаю...

— Экой какой! Ну, слушай: Сурков мне раза два проговорился, что ему скоро понадобятся деньги. Я сейчас догадался, что это значит, только с какой стороны ветер дует — не мог угадать. Я допытываться, зачем деньги? Он мялся, мялся, наконец сказал, что хочет отделать себе квартиру на Литейной. Я припоминать, что бы такое было на Литейной, — и вспомнил, что Тафаева
30 живет там же и прямехонько против того места, которое он выбрал. Уж и задаток дал. Беда грозит неминуемая, если... не поможешь ты. Теперь догадался?

Александр поднял нос немного кверху, провел взглядом по стене, по потолку, потом мигнул раза два и стал глядеть на дядю, но молчал.

Петр Иваныч смотрел на него с улыбкой. Он страх любил заметить в ком-нибудь промах со стороны ума, догадливости и дать почувствовать это.

— Что это, Александр, с тобой? А еще повести
40 пишешь! — сказал он.

— Ах, догадался, дядюшка!

— Ну, слава Богу!

— Сурков просит денег; у вас их нет, вы хотите, чтоб я... — И не договорил.

Петр Иванович засмеялся. Александр не кончил фразы и смотрел на дядю в недоумении.

— Нет, не то! — сказал Петр Иванович. — Разве у меня когда-нибудь не бывает денег? Попробуй обратиться, когда хочешь, увидишь! А вот что: Тафаева через него напомнила мне о знакомстве с ее мужем. Я заехал. Она просила посещать ее; я обещал и сказал, что привезу тебя: ну, теперь, надеюсь, понял?

— Меня? — повторил Александр, глядя во все глаза на дядю. — Да, конечно... теперь понял... — торопливо 10 прибавил он, но на последнем слове запнулся.

— А что ты понял? — спросил Петр Иванович.

— Хоть убейте, ничего, дядюшка, не понимаю! Позвольте... может быть, у ней приятный дом... вы хотите, чтоб я рассеялся... так как мне скучно...

— Вот прекрасно! стану я возить тебя для этого по домам! После этого недостает только, чтоб я тебе закрывал на ночь рот платком от мух! Нет, всё не то. А вот в чем дело: влюби-ка в себя Тафаеву.

Александр вдруг поднял брови и посмотрел на дядю. 20

— Вы шутите, дядюшка? это нелепо! — сказал он.

— Там, где точно есть нелепости, ты их делаешь очень важно, а где дело просто и естественно — это у тебя нелепости. Что ж тут нелепого? Разбери, как нелепа сама любовь: игра крови, самолюбие... Да что толковать с тобой: ведь ты всё еще веришь в неизбежное назначение кого любить, в симпатию душ!

— Извините: теперь ни во что не верю. Но разве можно влюбить и влюбиться по произволу?

— Можно, но не для тебя. Не бойся: я такого 30 мудреного поручения тебе не дам. Ты вот только что сделай. Ухаживай за Тафаевой, будь внимателен, не давай Суркову оставаться с ней наедине... ну просто взбеси его. Мешай ему: он слово, ты два, он мнение, ты опровержение. Сбивай его беспрестанно с толку, уничтожай на каждом шагу...

— Зачем?

— Всё еще не понимаешь! А затем, мой милый, что он сначала будет с ума сходить от ревности и досады, потом охладет. Это у него скоро следует одно за другим. 40 Он самолюбив до глупости. Квартира тогда не понадобится, капитал останется цел, заводские дела пойдут своим чередом... ну, понимаешь? Уж это в пятый раз я с ним играю шутку: прежде, бывало, когда был холостой

и помоложе, сам, а не то кого-нибудь из приятелей подошло.

— Но я с нею незнаком, — сказал Александр.

— А для этого-то я и повезу тебя к ней в среду. По средам у ней собираются кое-кто из старых знакомых.

— А если она отвечает любви Суркова, тогда, согласитесь, что мои угождения и внимательность взбесят не одного его.

— Э, полно! Порядочная женщина, разглядев дурака, перестанет им заниматься, особенно при свидетелях: самолюбие не позволит. Тут же около будет другой, поумнее и покрасивее: она посовестится, скорей бросит. Вот для этого я и выбрал тебя.

Александр поклонился.

— Сурков не опасен, — продолжал дядя, — но Тафеева принимает очень немногих, так что он может, пожалуй, в ее маленьком кругу прослыть и львом и умником. На женщин много действует внешность. Он же мастер угодить, ну, его и терпят. Она, может быть, кокетничает с ним, а он и того... И умные женщины любят, когда для них делают глупости, особенно дорогие. Только они любят большею частью при этом не того, кто их делает, а другого... Многие этого не хотят понять, в том числе и Сурков, — вот ты и вразуми его.

— Но Сурков, вероятно, там и не по средам бывает: в среду я ему помешаю, а в другие дни как?

— Всё учи тебя! Ты польсти ей, прикинься немножко влюбленным — со второго раза она пригласит тебя уж не в среду, а в четверг или в пятницу; ты удвой внимательность, а я потом немножко ее настрою, намекну, будто ты и в самом деле — того... Она, кажется... сколько я мог заметить... такая чувствительная... должно быть, слабонервная... она, я думаю, тоже не прочь от симпатии... от излиятий...

— Как это можно? — говорил в раздумье Александр. — Если б я мог еще влюбиться — так? а то не могу... и успеха не будет.

— Напротив, тут-то и будет. Если б ты влюбился, ты не мог бы притворяться, она сейчас бы заметила и пошла бы играть с вами с обоими в дураки. А теперь... да ты мне взбеси только Суркова: уж я знаю его, как свои пять пальцев. Он, как увидит, что ему не везет, не станет тратить деньги даром, а мне это только и нужно... Слушай, Александр, это очень важно для меня: если ты

это сделаешь — помнишь две вазы, что понравились тебе на заводе? они — твои: только пьедестал ты сам купи.

— Помилуйте, дядюшка, неужели вы думаете, что я...

— Да за что ж ты станешь даром хлопотать, терять время? Вот прекрасно! Ничего! вазы очень красивы. В наш век без ничего ничего и не сделают. Когда я что-нибудь для тебя сделаю, предложи мне подарок: я возьму.

— Странное поручение! — сказал Александр нерешительно. 10

— Надеюсь, ты не откажешься исполнить его для меня. Я для тебя тоже готов сделать, что могу: когда понадобятся деньги — обратись... Так в среду! Эта история продолжится месяц, много два. Я тебе сам скажу, как не нужно будет, тогда и брось.

— Извольте, дядюшка, я готов; только странно... За успех не ручаюсь... если б я мог еще сам влюбиться, тогда... а то нет...

— И очень хорошо, что не можешь, а то бы всё дело 20 испортил. Я сам ручаюсь за успех. Прощай!

Он ушел, а Александр долго еще сидел у камина над милым пеплом.

Когда Петр Иванович воротился домой, жена спросила: что Александр, что его повесть, будет ли он писать?

— Нет, я его вылечил навсегда.

Адуев рассказал ей содержание письма, полученного им с повестью, и о том, как они сожгли всё.

— Ты без жалости, Петр Иванович! — сказала Лизавета Александровна, — или не умеешь ничего порядочного 30 сделать, за что ни примешься.

— Ты хорошо делала, что принуждала его бумагу марать! разве у него есть талант?

— Нет.

Петр Иванович посмотрел на нее с удивлением.

— Так зачем же ты?...

— А ты всё еще не понял, не догадался?

Он молчал и невольно вспомнил сцену свою с Александром.

— Чего ж тут не понять? это очень ясно! — говорил 40 он, глядя на нее во все глаза.

— А что, скажи?

— Что... что... ты хотела дать ему урок... только иначе, мягче, по-своему...

— Не понимает, а еще умный человек! Отчего он был всё это время весел, здоров, почти счастлив? Оттого, что надеялся. Вот я и поддерживала эту надежду: ну, теперь ясно?

— Так это ты всё хитрила с ним?

— Я думаю, это позволительно. А ты что наделал? Тебе его вовсе не жаль: отнял последнюю надежду.

— Полно! какую последнюю надежду: еще много глупостей впереди.

10 — Что он теперь будет делать? Опять станет ходить повеся нос?

— Нет! не станет: не до того будет: я задал ему работу.

— Что? опять перевод какой-нибудь о картофеле? Разве это может занять молодого человека, и особенно пылкого и восторженного? У тебя бы только была занята голова.

— Нет, моя милая, не о картофеле, а по заводу кое-что.

III

20 Настала и среда. В гостиной Юлии Павловны собралось человек двенадцать или пятнадцать гостей. Четыре молодые дамы, два иностранца с бородами, заграничные знакомые хозяйки да офицер составляли один кружок.

Отдельно от них, на бержерке, сидел старик, по-видимому отставной военный, с двумя клочками седых волос под носом и со множеством ленточек в петлице. Он толковал с каким-то пожилым человеком о предстоявших откупках.

В другой комнате старушка и двое мужчин играли в 30 карты. За фортепиано сидела очень молоденькая девица, другая тут же разговаривала со студентом.

Явились Адуевы. Редко кто умел войти с такой непринужденностью и достоинством в гостиную, как Петр Иваныч. За ним с какой-то нерешимостью следовал Александр.

Какая разница между ними: один целой головой выше, стройный, полный, человек крепкой и здоровой натуры, с самоуверенностью в глазах и в манерах. Но ни в одном 40 взгляде, ни в движении, ни в слове нельзя было угадать мысли или характера Петра Иваныча — так всё прикрыто было в нем светскостью и искусством владеть собой. Кажется, у него рассчитаны были и жесты и взгляды.

Бледное, бесстрастное лицо показывало, что в этом человеке немного разгула страстям под деспотическим правлением ума, что сердце у него бьется или не бьется по приговору головы.

В Александре, напротив, всё показывало слабое и нежное сложение: и изменчивое выражение лица, и какая-то лень или медленность и неровность движений, и матовый взгляд, который сейчас высказывал, какое ощущение тревожило сердце его или какая мысль шевелилась в голове. Он был среднего роста, но худ и бледен, — бледен не от природы, как Петр Иванович, а от непрерывных душевных волнений; волосы не росли, как у того, густым лесом по голове и по щекам, но спускались по вискам и по затылку длинными, слабыми, но чрезвычай- 10
но мягкими, шелковистыми прядями светлого цвета с прекрасным отливом.

Дядя представил племянника.

— А моего приятеля Суркова нет? — спросил Петр Иванович, оглядываясь с удивлением. — Он забыл вас.

— О нет! я очень благодарна ему, — отвечала хозяйка. — Он посещает меня. Вы знаете, я, кроме знакомых моего покойного мужа, почти никого не принимаю. 20

— Да где же он?

— Он сейчас будет. Вообразите, он дал слово мне и кухне достать непременно ложу на завтрашний спектакль, когда, говорят, нет никакой возможности... и теперь поехал.

— И достанет; я ручаюсь за него: он гений на это. Он всегда достает мне, когда ни знакомство, ни протекция не помогают. Где он берет и за какие деньги — это его тайна. 30

Приехал и Сурков. Туалет его был свеж, но в каждой складке платья, в каждой безделице резко проглядывала претензия быть львом, превзойти всех модников и самую моду. Если, например, мода требовала распашных фраков, так его фрак распахивался до того, что походил на распростертые птичьи крылья; если носили откидные воротники, так он заказывал себе такой воротник, что в своем фраке он похож был на пойманного сзади мошенника, который рвется вон из рук. Он сам давал наставления своему портному, как шить. Когда он явился к Тафаевой, шарф его на этот раз был приколот к рубашке булавкой такой неумеренной величины, что она походила на дубинку. 40

— Ну что, достали? — раздалось со всех сторон.

Сурков только что хотел отвечать, но, увидев Адуева с племянником, вдруг остановился и поглядел на них с удивлением.

— Предчувствует! — сказал Петр Иванович тихо племяннику. — Ба! да он с тростью: что это значит?

— Это что? — спросил он Суркова, показывая на трость.

— Давеча выходил из коляски... оступился и немного хромаю, — отвечал тот, покашливая.

— Вздор! — шепнул Петр Иванович Александру. — Заметь набалдашник: видишь золотую львиную голову? Третьего дня он хвастался мне, что заплатил за нее Барбье шестьсот рублей, и теперь показывает; вот тебе образчик средств, какими он действует. Сражайся и сбей его вон с этой позиции.

Петр Иванович указал в окно на дом, бывший напротив.

— Помни, что вазы твои, и одушевься, — прибавил он.

— На завтрашний спектакль имеете билет? — спросил Сурков Тафаеву, подходя к ней торжественно.

— Нет.

— *Позвольте вам вручить!* — продолжал он и досказал весь ответ Загорецкого из «Горе от ума».

Усы офицера слегка зашевелились от улыбки. Петр Иванович искоса поглядел на племянника, а Юлия Павловна покраснела. Она стала приглашать Петра Ивановича в ложу.

— Очень вам благодарен, — отвечал он, — но я завтра дежурный в театре при жене; а вот позвольте представить вам взамен молодого человека...

Он показал на Александра.

— Я хотела просить и его; нас только трое: я с кузиной да...

— Он вам заменит и меня, — сказал Петр Иванович, — а в случае нужды и этого повесу.

Он указал на Суркова и начал что-то тихо говорить ей. Она при этом два раза украдкой взглянула на Александра и улыбнулась.

— Благодарю, — отвечал Сурков, — только не худо было бы предложить этот замен пораньше, когда не было билета, я бы посмотрел тогда, как бы заменили меня.

— Ах! я вам очень благодарна за вашу любезность, — с живостью сказала хозяйка Суркову, — но не пригласила

вас в ложу потому, что у вас есть кресло. Вы, верно, предпочтете быть прямо против сцены... особенно в балете...

— Нет, нет, лукавите, вы не думаете этого: променять место подле вас — ни за что!

— Но оно уж обещано...

— Как? Кому?

— Monsieur Рене.

Она показала на одного из бородатых иностранцев.

— Oui, madame m'a fait cet honneur...¹ — живо забор- 10
мотал тот.

Сурков, разиня рот, поглядел на него, потом на Тафаеву.

— Я переменюсь с ним: я предложу ему кресло, — сказал он.

— Попробуйте.

Бородач и руками и ногами.

— Покорно вас благодарю! — сказал Сурков Петру Иванычу, косясь на Александра, — этим я вам обязан.

— Не стоит благодарности. Да не хочешь ли в мою 20
ложу? нас только двое с женой: ты же давно с ней не видался: поволочился бы.

Сурков с досадой отвернулся от него. Петр Иваныч тихонько уехал. Юлия посадила Александра подле себя и говорила с ним целый час. Сурков вмешивался несколько раз в разговор, но как-то некстати. Заговорил что-то о балете и получил в ответ *да*, когда надо было сказать *нет*, и наоборот: ясно, что его не слушали. Потом вдруг перескочил к устрицам, уверяя, что он съел их утром сто восемьдесят штук, — и не получил даже 30
взгляда. Он сказал еще несколько общих мест и, не видя никакого толку, схватил шляпу и вертелся около Юлии, давая ей заметить, что он недоволен и собирается уехать. Но она не заметила.

— Я уезжаю! — сказал он наконец выразительно. — Прощайте!

В этих словах слышалась худо скрытая досада.

— Уже! — отвечала она покойно. — Завтра дадите взглянуть на себя в ложе хоть на одну минуту?

— Какое коварство! Одну минуту, когда знаете, что 40
за место подле вас я не взял бы места в раю.

— Если в театральном, верю!

¹ — Да, сударыня оказала мне эту честь (*фр.*)

Ему уж не хотелось уезжать. Досада его прошла от брошенного Юлией ласкового слова на прощанье. Но все видели, что он раскланивался: надо было поневоле уходить, и он ушел, оглядываясь как собачонка, которая пошла было вслед за своим господином, но которую гонят назад.

Юлии Павловне было двадцать три-двадцать четыре года. Петр Иванович угадал: она в самом деле была слабонервна, но это не мешало ей быть вместе очень хорошенькой, умной и грациозной женщиной. Только она была робка, мечтательна, чувствительна, как большая часть нервных женщин. Черты лица нежные, тонкие, взгляд кроткий и всегда задумчивый, частью грустный — без причины или, если хотите, по причине нерв.

На мир и жизнь она глядела не совсем благосклонно, задумывалась над вопросом о своем существовании и находила, что она лишняя здесь. Но, Боже сохрани, если кто, даже случайно, проговаривался при ней о могиле, о смерти — она бледнела. От ее взгляда ускользала светлая сторона жизни. В саду, в роще она выбирала для прогулки темную, густую аллею и равнодушно глядела на смеющийся пейзаж. В театре смотрела всегда драму, комедию редко, водевиль никогда; зажимала уши от доходивших до нее случайно звуков веселой песни, никогда не улыбалась шутке.

В другое время черты ее лица выражали томление, но не страдальческое, не болезненное, а томление будто неги. Видно было, что она внутренне боролась с какою-нибудь обольстительною мечтою — и изнемогала. После такой борьбы долго она была молчалива, грустна, потом вдруг впадала в безотчетно веселое расположение духа, не изменяя, однако же, своему характеру: что веселило ее — не развеселило бы другого. Всё нервы! А послушать этих дам, так чего они не скажут! слова: *судьба, симпатия, безотчетное влечение, неведомая грусть, смутные желания* — так и толкают одно другое, а кончится все-таки вздохом, словом «нервы» и флакончиком со спиртом.

— Как вы угадали меня! — сказала Тафаева Александру при прощанье. — Из мужчин никто, даже муж, не могли понять хорошенько моего характера.

А дело в том, что чуть ли Александр и сам не был таков. То-то было раздолье ему!

— До свидания.

Она подала ему руку.

— Надеюсь, что теперь вы без дядюшки найдете ко мне дорогу? — прибавила она.

Настала зима. Александр обыкновенно обедал по пятницам у дяди. Но вот уже прошло четыре пятницы, он не являлся, не заходил и в другие дни. Лизавета Александровна сердилась; Петр Иванович ворчал, что он заставлял понапрасну ждать себя лишние полчаса.

А между тем Александр был не без дела; он исполнял поручение дяди. Сурков уж давно перестал ездить к Тафаевой и везде объявил, что у них «всё кончено», что он *разорвал с ней связь*. Однажды вечером — это было в четверг — Александр, воротясь домой, нашел у себя на столе две вазы и записку от дяди. Петр Иванович благодарил его за дружеское усердие и звал на другой день, по обыкновению, обедать. Александр задумался, как будто это приглашение расстроивало его планы. На другой день, однако же, он пошел к Петру Ивановичу за час до обеда.

— Что с тобой? совсем тебя не видать? забыл нас? — закидали его вопросами и дядя и тетка.

— Ну! удружил, — продолжал Петр Иванович, — сверх ожидания! а скромничал: «Не могу, говорит, не умею!» — не умеет! Я хотел давно повидаться с тобой, да тебя нельзя поймать. Ну, очень благодарен! Получил вазы в целости?

— Получил. Но я их назад пришлю.

— Зачем? ни-ни: они по всем правам твои.

— Нет! — сказал Александр решительно, — я не возьму этого подарка.

— Ну как хочешь! они нравятся жене: она возьмет.

— Я не знала, Александр, — сказала Лизавета Александровна с лукавою улыбкой, — что вы так искусны на эти дела... мне ни слова...

— Это дядюшка придумал, — отвечал сконфуженный Александр, — я тут ровно ничего, он и меня научил...

— Да, да, слушай его: он сам не умеет. А так обработал дельце... Очень, очень благодарен! А дуралей-то мой, Сурков, чуть с ума не сошел. Насмешил меня. Недели две назад тому вбегает ко мне сам не свой; я сейчас понял зачем, только не показываю виду, пишу, будто ничего не знаю. «А! это ты, говорю: что скажешь хорошего?» Он улыбнулся, хотел притвориться покойным... а у самого чуть не слезы на глазах. «Ничего,

говорит, хорошего: я приехал к вам с дурными вестями». Я поглядел на него будто с удивлением. «Что такое?» — спрашиваю. «Да о вашем, говорит, племяннике!» — «А что? ты пугаешь меня, скажи скорей!» — спрашиваю я. Тут спокойствие его лопнуло: он начал кричать, беситься. Я откатился от него с креслами — нельзя говорить: так и брызжет. «Сами, говорит, жаловались, что он мало делом занимается, а вы же его и приучаете к безделью». — «Я?» — «Да, вы: кто его познакомил с Julie?»

10 Надо тебе сказать, что он со второго дня знакомства с женщиной уж начинает звать ее полуименем. «Что ж за беда?» — говорю я. «А та беда, говорит, что он у ней теперь с утра до вечера сидит...»

Александр вдруг покраснел.

— Видишь ведь, как лжет от злости, думал я, — продолжал Петр Иваныч, поглядывая на племянника, — станет Александр сидеть там с утра до вечера! об этом я его не просил; так ли?

Петр Иваныч остановил на племяннике свой холодный
20 и покойный взор, который показался Александру просто огненным.

— Да... я иногда... захожу... — бормотал Александр.

— Иногда — это разница, — продолжал дядя, — я так и просил; не каждый же день. Я знал, что он лжет. Что там делать каждый день? соскучишься!

— Нет! она очень умная женщина... прекрасно воспитана... любит музыку... — говорил Александр невнятно, с расстановкою, и почесал глаз, хотя он не чесался, погладил левый висок, потом достал платок и отер губы.

30 Лизавета Александровна пристально, украдкой, взглянула на него, отвернулась к окну и улыбнулась.

— А! ну тем лучше, — сказал Петр Иваныч, — если тебе не было скучно; а я всё боялся, не наделал ли я тебе неприятных хлопот. Вот я говорю Суркову: «Спасибо, милый, что ты принимаешь участие в моем племяннике; очень, очень благодарен тебе... только не преувеличиваешь ли ты дела? Беда не так еще велика...» — «Как не беда! — закричал он, — он, говорит, делом не занимается; молодой человек должен трудиться...» — «И это
40 не беда, говорю я, тебе что за нужда?» — «Как, говорит, что за нужда: он вздумал действовать против меня хитростями...» — «А, вот где беда!» — стал я дразнить. «Внушает, говорит, Юлии черт знает что про меня... Она совсем теперь переменилась ко мне. Я проучу его,

молокососа, — извини, повторяю его слова, — где, говорит, ему со мной бороться? он только клеветой взял; надеюсь, что вы вразумите его...» — «Пожурю, говорю я, непременно пожурю; только, полно, правда ли это? чем он тебе надосадил?» Ты ей там цветы, что ли, дарил?.. — Петр Иваныч опять остановился, как будто ожидая ответа. Александр молчал. Петр Иваныч продолжал: — «Как, говорит, неправда? зачем он ей каждый день букет цветов носит? теперь, говорит, зима... чего это стоит?.. я знаю, говорит, что значат эти букеты». Вот что, подумал я сам про себя, свой-то человек: нет, я вижу, родство не пустая вещь: стал ли бы ты так хлопотать для другого? «Только точно ли каждый день? — говорю я. — Постой, я спрошу его, ты, пожалуй, солжешь». И верно, соврал! да? не может быть, чтоб ты...

Александрю хоть сквозь землю провалиться. А Петр Иваныч беспощадно смотрел прямо ему в глаза и ждал ответа.

— Иногда... я точно... носил... — сказал Александр, потупив глаза.

— Ну опять-таки — иногда. Не каждый день: это в самом деле убыточно. Ты, впрочем, скажи мне, что всё это стоит тебе: я не хочу, чтоб ты тратился для меня: довольно и того, что ты хлопочешь. Ты дай мне счет. Ну и долго тут Сурков порол горячку. «Они всегда, говорит, прогуливаются вдвоем пешком или в экипаже там, где меньше народу».

Александра при этих словах немного покоробило: он вытянул ноги из-под стула и вдруг опять поджал их.

— Я покачал сомнительно головой, — продолжал дядя. — «Станет он гулять каждый день!» — говорю. «Спросите, говорит, у людей...» — «Я лучше у самого спрошу», — сказал я... Ведь неправда?

— Я несколько раз... точно... гулял с ней...

— Так не каждый же день; об этом я не просил; я знал, что он врет. «Ну что ж, я говорю ему, за важность? Она вдова, близких мужчин нет у ней; Александр скромн — не то что ты, повеса. Вот она и берет его: нельзя же ей одной». Он и слушать ничего не хочет. «Нет, говорит, меня не проведете! я знаю, что это значит. Всегда с ней в театре; я же, говорит, и ложу достану, иногда бог знает с какими хлопотами, а он в ней и заседает». Я уж тут не выдержал и расхохотался. «Так тебе и надо, думаю, болван!» Ай да Александр! вот

племянник! Только совестно мне, что ты так хлопчешь для меня.

Александр был как в пытке. Со лба капали крупные капли пота. Он едва слышал, что говорил дядя, и не смел взглянуть ни на него, ни на тетку.

Лизавета Александровна сжалилась над ним. Она покачала мужу головой, упрекая, что он мучит племянника. Но Петр Иванович не унялся.

— Сурков, от ревности, вздумал уверять меня, — продолжал он, — что ты уж будто и влюблен по уши в Тафаеву. «Нет, уж извини, говорю я ему, вот это неправда: после всего, что с ним случилось, он не влюбится. Он слишком хорошо знает женщин и презирает их...» Не правда ли?

Александр, не поднимая глаз, кивнул головой.

Лизавета Александровна страдала за него.

— Петр Иванович! — сказала она, чтоб как-нибудь замять речь.

— А? что?

20 — Давеча приходил человек от Лукьяновых с письмом.

— Знаю; хорошо. На чем я остановился?

— Опять, Петр Иванович, ты стал сбрасывать пепел в мои цветы. Смотри, что это такое?

— Ничего, милая: говорят, пепел способствует растительности... Так я хотел сказать...

— Да не пора ли, Петр Иванович, обедать?

— Хорошо, вели давать! Вот ты кстати напомнила об обеде. Сурков говорит, что ты, Александр, там почти каждый день обедаешь, что, говорит, оттого нынче у вас и по пятницам не бывает, что будто вы целые дни вдвоем проводите... черт знает что врал тут, надоел; наконец я его выгнал. Так и вышло, что соврал. Нынче пятница, а вот ты налицо!

Александр переложил одну ногу на другую и склонил голову к левому плечу.

— Я весьма, весьма благодарен тебе. Это — и дружеская и родственная услуга! — заключил Петр Иванович. — Сурков убедился, что ему нечего взять, и ретировался: «Она, говорит, воображает, что я стану вздыхать по ней, — ошибается! А я еще хотел, говорит, отделать этаж из окон в окна и бог знает какие намерения имел: она, говорит, может быть, и не мечтала о таком счастье, какое ей готовилось. Я бы, говорит, не прочь жениться, если б она умела привязать меня к себе. Теперь всё кончено.

Вы правду, говорит, советовали, Петр Иванович. Я сохраню и деньги и время!» И теперь малый байронствует, ходит такой угрюмый и денег не просит. И я с ним скажу: всё кончено! Твое дело сделано, Александр, и мастерски! я теперь покоен надолго. Больше не хлопочи. Можешь к ней теперь и не заглядывать: я воображаю, какая там скука!.. извини меня, пожалуйста... я заслужу это как-нибудь. Когда понадобятся деньги, обратись. Лиза! вели нам подать хорошего вина к обеду: мы выпьем за успех дела.

Петр Иванович вышел из комнаты. Лизавета Александровна посмотрела украдкой раза два на Александра и, видя, что он не говорит ни слова, тоже вышла что-то приказать людям.

Александр сидел как будто в забытии и всё смотрел себе на колени. Наконец поднял голову, осмотрелся — никого нет. Он перевел дух, посмотрел на часы — четыре. Он поспешно взял шляпу, махнул рукой в ту сторону, куда ушел дядя, и тихонько, на цыпочках, оглядываясь во все стороны, добрался до передней, там взял шинель в руки, опрометью бросился бежать с лестницы и уехал к Тафаевой.

Сурков не солгал: Александр любил Юлию. Он почти с ужасом почувствовал первые припадки этой любви, как будто какой-нибудь заразы. Его мучили и страх и стыд: страх — подвергнуться опять всем прихотям и своего и чужого сердца, стыд — перед другими, более всего перед дядей. Дорого он дал бы, чтоб скрыть от него. Давно ли, три месяца назад тому, он так гордо, решительно отрекся от любви, написал даже эпитафию в стихах этому беспокойному чувству, читанную дядей, наконец, явно презирал женщин — и вдруг опять у ног женщины! Опять доказательство ребяческой опрометчивости. Боже! когда же он освободится от несокрушимого влияния дяди? Неужели жизнь его никогда не примет особенного, неожиданного оборота, а будет вечно идти по предсказаниям Петра Ивановича?

Эта мысль приводила его в отчаяние. Он рад бы бежать от новой любви. Но как бежать? Какая разница между любовью к Надиньке и любовью к Юлии! Первая любовь — не что иное, как несчастная ошибка сердца, которое требовало пищи, а сердце в те лета так неразборчиво: принимает первое, что попадается. А Юлия! это уже не капризная девочка, не понимающая ни его, ни самой себя, ни любви. Это — женщина в полном разви-

тии, слабая телом, но с энергией духа — для любви: она — вся любовь! Других условий для счастья и жизни она не признает. Любить — будто безделица? это также дар; а Юлия — гений в этом. Вот о какой любви мечтал он: о сознательной, разумной, но вместе сильной, не знающей ничего вне своей сферы.

«Я не задыхаюсь от радости, как животное, — говорил он сам себе, — дух не замирает, но во мне совершается процесс важнее, выше: я сознаю свое счастье, размышляю о нем, и оно полнее, хотя, может быть, тише... Как благородно, непритворно, совсем без жеманства отдалась Юлия своему чувству! Она как будто ждала человека, понимающего глубоко любовь, — и человек явился. Он, как законный властелин, вступил гордо во владение наследственным богатством и признан с покорностью. Какая отрада, какое блаженство, — думал Александр, едучи к ней от дяди, — знать, что есть в мире существо, которое, где бы ни было, что бы ни делало, помнит о нас, сближает все мысли, занятия, поступки — всё к одной точке и одному понятию — о любимом существе! Это как будто наш двойник. Что он ни слышит, что ни видит, мимо чего ни пройдет или что ни пройдет мимо него, всё поверяется впечатлением другого, своего двойника; это впечатление известно обоим, оба изучили друг друга — и потом поверенное таким образом впечатление принимается и утверждается в душе неизгладимыми чертами. Двойник отказывается от собственных ощущений, если они не могут быть разделены или приняты другим. Он любит то, что любит другой, и ненавидит, что тот ненавидит. Они живут нераздельно в одной мысли, в одном чувстве: у них одно духовное око, один слух, один ум, одна душа...»

— Барин! кое место на Литейной? — спросил извозчик.

Юлия любила Александра еще сильнее, нежели он ее. Она даже не сознавала всей силы своей любви и не размышляла о ней. Она любила в первый раз — это бы еще ничего — нельзя же полюбить прямо во второй раз; но беда в том, что воображение, а за ним и сердце у ней были развиты донельзя, вскормлены романами и приготовлены ни для первой, ни для второй и третьей, а для такой любви, которая существует в романах, а не в природе и которая оттого всегда и бывает несчастлива, что невозможна на деле. Между тем ум Юлии не находил

в чтении одних романов здоровой пищи и отставал от сердца. Она не могла никак представить себе тихой, простой любви без бурных проявлений, без неумеренной нежности. Она бы тотчас разлюбила человека, если б он *не пал к ее ногам* при удобном случае, если б не клялся ей *всеми силами души*, если б осмелился *не сжечь и испепелить ее в своих объятиях* или дерзнул бы, кроме любви, заняться другим делом, а не пил бы только *чашу жизни* по капле в ее слезах и поцелуях.

Отсюда родилась мечтательность, которая создала ей 10 особый мир. Чуть что-нибудь в простом мире совершалось не по законам особого, сердце ее возмущалось, она страдала. Слабый и без того организм женщины подвергался потрясению, иногда весьма сильному. Частые волнения раздражали нервы и наконец довели их до совершенного расстройства. Вот отчего эта задумчивость и грусть без причины, этот сумрачный взгляд на жизнь у многих женщин; вот отчего стройный, мудро созданный и совершающийся по непреложным законам порядок людского существования кажется им тяжкою цепью; вот, 20 одним словом, отчего пугает их действительность, заставляя строить мир, подобный миру фатаморганы.

Кто же постарался обработать преждевременно и так неправильно сердце Юлии и оставить в покое ум?.. Кто? А тот классический триумвират педагогов, которые, по призыву родителей, являются воспринять на свое попечение юный ум, открыть ему *всех вещей действия и причины*, расторгнуть завесу прошедшего и показать, что под нами, над нами, что в самих нас — трудная обязанность! Зато и призваны были три нации на этот важный подвиг. 30 Родители сами отступились от воспитания, полагая, что все их заботы кончаются тем, чтоб, положась на рекомендацию добрых приятелей, нанять француза Пуле для обучения французской литературе и другим наукам; далее немца Шмита, потому что это принято учиться, но отнюдь не выучиваться по-немецки; наконец, русского учителя Ивана Иваныча.

— Да они все такие нечесаные, — говорит мать, — одеты так всегда дурно, хуже лакея на вид; иногда еще от них вином пахнет...

— Как же без русского учителя? нельзя! — решил отец, — не беспокойся: я сам выберу почище.

Вот француз принялся за дело. Около него ухаживали и отец и мать. Его приглашали в дом как гостя,

обходились с ним очень почтительно: это был дорогой француз.

Ему было легко учить Юлию: она благодаря гувернантке болтала по-французски, читала и писала почти без ошибок. М-г Пуле оставалось только занять ее сочинениями. Он задавал ей разные темы: то описать восходящее солнце, то определить любовь и дружбу, то написать поздравительное письмо родителям или излить грусть при разлуке с подругой.

10 А Юлии из своего окна видно было только, как солнце заходит за дом купца Гирина; с подругами она никогда не разлучалась, а дружба и любовь... но тут впервые мелькнула у ней идея об этих чувствах. Надо же когда-нибудь узнать о них.

Истожив весь запас этих тем, Пуле решился наконец приступить к той заветной тоненькой тетрадке, на заглавном листе которой крупными буквами написано: «Cours de littérature française».¹ Кто из нас не помнит этой тетради? Через два месяца Юлия знала наизусть французскую литературу, то есть тоненькую тетрадку, а через
20 три забыла ее; но гибельные следы остались. Она знала, что был Вольтер, и иногда навязывала ему «Мучеников», а Шатобриану приписывала «Dictionnaire philosophique».² Монтаня называла М-г de Montaigne и упоминала о нем иногда рядом с Гюго. Про Мольера говорила, что он *пишет* для театра; из Расина выучила знаменитую тираду «A peine nous sortions des portes de Trezènes».³

В мифологии ей очень понравилась комедия, разыгранная между Вулканом, Марсом и Венерой. Она было
30 заступилась за Вулкана, но, узнав, что он был хромым и неуклюжий, и притом кузнец, сейчас перешла на сторону Марса. Она полюбила и басню о Семеле и Юпитере, и об изгнании Аполлона и его проказах на земле, принимая всё это так, как оно написано, и не подозревая никакого другого значения в этих сказках. Подозревал ли сам француз — Бог знает! На вопросы ее об этой религии древних он, наморщив лоб, с важностью отвечал ей: «Des bêtises! Mais cette bête de Vulcain devait avoir une drôle de mine... écoutez, — прибавил он потом, прищулив немного
40 глаза и потрепав ее по руке, — que feriez-vous à la place

¹ «Курс французской литературы» (фр.)

² «Философский словарь» (фр.)

³ «Едва мы вышли из ворот Трезена» (фр.)

de Venus?»¹ Она ничего не отвечала, но в первый раз в жизни покраснела по неизвестной ей причине.

Француз усовершенствовал наконец воспитание Юлии тем, что познакомил ее уже не теоретически, а практически с новой школой французской литературы. Он давал ей наделавшие в свое время большого шума «Le manuscrit vert», «Les sept péchés capitaux», «L'âne mort»² — и целую фалангу книг, наводнявших тогда Францию и Европу.

Бедная девушка с жадностью бросилась в этот безбрежный океан. Какими героями казались ей герои Жана-10 нена, Бальзака, Друино: что перед их дивными изображениями жалкая сказка о Вулкане? И сама Венера перед новыми героинями — просто жалкая невинность! И она жадно читала новую школу, вероятно, читает и теперь.

Между тем как француз зашел так далеко, солидный немец не успел пройти и грамматики: он очень важно составлял таблички склонений, спряжений, придумывал разные затейливые способы, как запомнить окончания падежей; толковал, что иногда частица *zu* ставится на 20 концу и т. п.

А когда от него потребовали литературы, бедняк перепугался. Ему показали тетрадь француза, он покачал головой и сказал, что по-немецки этому нельзя учить, а что есть хрестоматия Аллера, в которой все писатели с своими сочинениями состоят налицо. Но он этим не отделался: к нему пристали, чтоб он познакомил Юлию, как m-g Пуле, с разными сочинителями.

Немец наконец обещал и пришел домой в сильном раздумье. Он отворил, или, правильнее, вскрыл, шкаф, 30 вынул одну дверцу совсем и приставил ее к стенке, потому что шкаф с давних пор не имел ни петель, ни замка, — достал оттуда старые сапоги, полголовы сахару, бутылку с нюхательным табаком, графин с водкой и корку черного хлеба, потом изломанную кофейную мельницу, далее бритвенницу с куском мыла и с щеточкой в помадной банке, старые подтяжки, оселок для перочинного ножа и еще несколько подобной дряни. Наконец за этим показалась книга, другая, третья, четвертая —

¹ «Глупости! Но у этого дурака Вулкана, должно быть, было глупое 40 выражение лица... послушайте... что сделали бы вы на месте Венеры?» (фр.)

² «Зеленая рукопись», «Семь смертных грехов», «Мертвый осел» (фр.)

так, пять счетов — все тут. Он похлопал их одну об другую: пыль поднялась облаком, как дым, и торжественно осенила голову педагога.

Первая книга была: «Идиллии» Геснера, — «Gut!»¹ — сказал немец и с наслаждением прочел идиллию о разбитом кувшине. Развернул вторую книгу — «Готский календарь 1804 года». Он перелистовал ее: там династии европейских государей, картинки разных замков, водопадов, — «Sehr gut!»² — сказал немец. Третья — Библия: он отложил ее в сторону, пробормотав набожно: «Nein!»³ Четвертая — «Юнговы ночи»: он покачал головой и пробормотал: «Nein!» Последняя — Вейссе! — и немец торжественно улыбнулся: «Da habe ich's»,⁴ — сказал он. Когда ему сказали, что есть еще Шиллер, Гете и другие, он покачал головой и упрямо затвердил: «Nein!»

Юлия зевнула, только что немец перевел ей первую страницу из Вейссе, и потом вовсе не слушала. Так от немца у ней в памяти и осталось только, что частица *zu* ставится иногда на конце.

А русский? этот еще добросовестнее немца делал свое дело. Он почти со слезами уверял Юлию, что *существительное имя* или *глагол* есть такая часть речи, а *предлог* вот такая-то, и наконец достиг, что она поверила ему и выучила наизусть определения всех частей речи. Она могла даже разом исчислить все предлоги, союзы, наречия, и когда учитель важно вопрошал: «А какие суть междометия страха или удивления», она вдруг, не переводя духу, проговаривала: «ах, ох, эх, увы, о, а, ну, эге!» И наставник был в восторге.

Она узнала несколько истин и из синтаксиса, но не могла никогда приложить их к делу и осталась при грамматических ошибках на всю жизнь.

Из истории она узнала, что был Александр Македонский, что он много воевал, был прехрабрый... и, конечно, прехорошенький... а что еще он значил и что значил его век, об этом ни ей, ни учителю и в голову не приходило, да и Кайданов не распространяется очень об этом.

Когда от учителя потребовали литературы, он притащил кучу старых, подержанных книг. Тут были и

40 1 «Хорошо!» (нем.)

2 «Очень хорошо!» (нем.)

3 «Нет!» (нем.)

4 «Вот, нашел» (нем.)

Кантемир, и Сумароков, потом Ломоносов, Державин, Озеров. Все удивились; осторожно развернули одну книгу, понюхали, потом бросили и потребовали чего-нибудь поновее. Учитель принес Карамзина. Но после новой французской школы читать Карамзина! Юлия прочла «Бедную Лизу», несколько страниц из «Путешествий» и отдала назад.

Антрактов у бедной ученицы между этими занятиями оставалось пропасть, и никакой благородной, здоровой 10
пищи для мысли! Ум начинал засыпать, а сердце бить тревогу. Вот тут-то подвернулся услужливый кузен и кстати привез ей несколько глав «Онегина», «Кавказского пленника» и проч. И дева познала сладость русского стиха. «Онегин» был выучен наизусть и не покидал изголовья Юлии. И кузен, как прочие наставники, не умел растолковать ей значения и достоинства этого произведения. Она взяла себе за образец Татьяну и мысленно повторяла своему идеалу пламенные строки Татьянина письма к Онегину, и сердце ее ныло, билось. Воображение искало то Онегина, то какого-нибудь героя 20
мастеров новой школы — бледного, грустного, разочарованного...

Итальянец и другой француз довершили ее воспитание, дав ее голосу и движениям стройные размеры, то есть выучили танцевать, петь, играть, или, лучше, поиграть, до замужества на фортепиано, но музыке не выучили. И вот она осьмнадцати лет, но уже с постоянно задумчивым взором, с интересной бледностью, с воздушной талией, с маленькой ножкой, явилась в салонах 30
напоказ свету.

Ее заметил Тафаев, человек со всеми атрибутами жениха, то есть с почтенным чином, с хорошим состоянием, с крестом на шее, словом, с карьерой и фортуной. Нельзя сказать про него, чтоб он был только простой и добрый человек. О нет! он в обиду себя не давал и судил весьма здраво о нынешнем состоянии России, о том, чего ей недостает в хозяйственном и промышленном состоянии, и в своей сфере считался деловым человеком.

Бледная, задумчивая девушка, по какому-то странному противоречию с его плотной натурой, сделала на него 40
сильное впечатление. Он на вечерах уходил из-за карт и погружался в непривычную думу, глядя на этот полувоздушный призрак, летавший перед ним. Когда на него падал ее томный взор, разумеется случайно, он, бойкий

гладиатор в салонных разговорах, смущался перед робкой девочкой, хотел ей иногда сказать что-нибудь, но не мог. Это надоело ему, и он решился действовать положительнее, чрез разных теток.

Справки о приданом оказались удовлетворительны. «Что же: нас пара! — рассуждал он сам с собой. — Мне только сорок пять лет, ей осьмнадцать: с нашим состоянием и не двое прожили бы хорошо. Наружность? она еще зауряд-хорошенькая, а я, что называется, мужчина...
10 видный. Образованна она, говорят: что же? И я когда-то учился, помню, учили и по-латыни и римскую историю. Еще и теперь помню: там консул этот — как его... ну, черт с ним! Помню, и о реформации читали... и эти стихи: «*Beatus ille*»... как дальше? «*puer, pueri, puero*»...¹ нет, не то, черт знает — всё перезабыл. Да ведь, ей-богу, затем и учат, чтобы забыть. Ну вот хоть зарежь меня, а я говорю, что вон и этот, и тот, все эти чиновные и умные люди, ни один не скажет, какой это консул там... или в котором году были олимпийские игры, стало быть,
20 учат так... потому что порядок такой! чтоб по глазам только было видно, что учился. Да и как не забыть: ведь в свете об этом уж потом ничего никогда не говорят, а заговори-ка кто, так, я думаю, просто выведут! Нет, нас пара».

И вот, когда Юлия вышла из детства, ее на первом шагу встретила самая печальная действительность — обыкновенный муж. Как он далек был от тех героев, которых создало ей воображение и поэты!

Пять лет провела она в этом скучном сне, как она
30 называла замужество без любви, и вдруг явились свобода и любовь. Она улыбнулась, простерла к ним горячие объятия и предалась своей страсти, как человек предается быстрому бегу на коне. Он несется с могучим животным, забывая пространство. Дух замирает, предметы бегут назад; в лицо веет свежесть; грудь едва выносит ощущение неги... или как человек, предающийся беспечно в челноке течению волн: солнце греет его, зеленые берега мелькают в глазах, игривая волна ласкает корму и так сладко шепчет, забегает вперед и манит всё дальше,
40 дальше, показывая путь бесконечной струей... И он влечется. Некогда смотреть и думать тогда, чем кончится путь: мчит ли конь в пропасть, влечет ли волна на скалу?..

¹ «Блажен тот... отрок, отрока, отроку» (лат.)

Мысли уносит ветер, глаза закрываются, обаяние непреодолимо... так и она не преодолевала его, а всё влеклась, влеклась... Для нее наконец настали поэтические мгновения жизни: она полюбила эту то сладостную, то мучительную тревожность души, искала сама волнений, выдумывала себе и муку и счастье. Она пристрастилась к своей любви, как пристращаются к опиуму, и жадно пила сердечную отраву.

Юлия была уж взволнована ожиданием. Она стояла у окна, и нетерпение ее возрастало с каждой минутой. Она ощипывала китайскую розу и с досадой бросала листья на пол, а сердце так и замирало: это был момент муки. Она мысленно играла в вопрос и ответ: придет или не придет? вся сила ее соображения была устремлена на то, чтоб решить эту мудреную задачу. Если соображения говорили утвердительно, она улыбалась, если нет — бледнела.

Когда Александр подъехал, она, бледная, опустилась в кресла от изнеможения — так сильно работали в ней нервы. Когда он вошел... невозможно описать этого взгляда, которым она встретила его, этой радости, которая мгновенно разлилась по всем ее чертам, как будто они год не видались, а они виделись накануне. Она молча указала на стенные часы; но едва он заикнулся, чтоб оправдаться, она, не выслушав, поверила, простила, забыла всю боль нетерпения, подала ему руку, и оба сели на диван и долго говорили, долго молчали, долго смотрели друг на друга. Не напусти человек, они непременно забыли бы обедать.

Сколько наслаждений! Никогда Александру и не мечталось о такой полноте *искренних, сердечных излияний*. Летом прогулки вдвоем за городом: если толпу привлекали куда-нибудь музыка, фейерверк, вдали между деревьями мелькали они, гуляя под руку. Зимой Александр приезжал к обеду, и после они сидели рядом у камина до ночи. Иногда велели закладывать санки и, промчавшись по темным улицам, спешили продолжать нескончаемую беседу за самоваром. Каждое явление кругом, каждое мимолетное движение мысли и чувства — всё замечалось и делилось вдвоем.

Александр боялся встречи с дядей как огня. Он иногда приходил к Лизавете Александровне, но она никогда не успевала расшевелить в нем откровенности. Он всегда был в беспокойстве, чтоб не застал дядя и не разыграл

с ним опять какой-нибудь сцены, и оттого всегда сокращал свои визиты.

Был ли он счастлив? Про других можно сказать в таком случае и *да* и *нет*, а про него *нет*; у него любовь начиналась страданием. Минутами, когда он успевал забыть прошлое, он верил в возможность счастья, в Юлию и в ее любовь. В другое время он вдруг смушался в пылу самых *искренних излияний*, с боязнию слушал ее страстный, восторженный бред. Ему казалось, что вот, того и гляди, она изменит или какой-нибудь другой неожиданной *удар судьбы* мигом разрушит великолепный мир блаженства. Вкушая минуту радости, он знал, что ее надо выкупить страданием, и хандра опять находила на него.

Однако ж прошла зима, настало лето, а любовь не кончалась. Юлия привязывалась к нему всё сильнее. Ни измены, ни *удара судьбы* не было: случилось совсем другое. Взор его просветлел. Он свыкся с мыслию о возможности постоянной привязанности. «Только эта любовь уж не так пылка... — думал он однажды, глядя на Юлию, — но зато прочна, может быть, вечна! Да, нет сомнения. А! наконец я понимаю тебя, судьба! Ты хочешь вознаградить меня за прошлые мучения и ввести, после долгого странствования, в мирную пристань. Так вот где приют счастья... Юлия!» — воскликнул он вслух.

Она вздрогнула.

— Что вы? — спросила она.

— Нет! так...

30 — Нет! скажите: у вас была какая-то мысль?

Александр упрявился. Она настаивала.

— Я думал, что для полноты нашего счастья не достает...

— Чего? — с беспокойством спросила она.

— Так, ничего! мне пришла странная идея.

Юлия смутилась.

— Ах! не мучьте меня, говорите скорей! — сказала она.

Александр задумался и говорил вполголоса, как будто с собой.

40 — Приобрести право не покидать ее ни на минуту, не уходить домой... быть всюду и всегда с ней. Быть в глазах света законным ее обладателем... Она назовет меня громко, не краснея и не бледнея, своим... и так всю жизнь! и гордиться этим вечно...

Говоря этим высоким слогом, слово за слово, он добрался наконец до слова «супружество». Юлия вздрогнула, потом заплакала. Она подала ему руку с чувством невыразимой нежности и признательности, и они оба оживились, оба вдруг заговорили. Положено было Александру поговорить с теткой и просить ее содействия в этом мудреном деле.

В радости они не знали, что делать. Вечер был прекрасный. Они отправились куда-то за город, в глушь, и, нарочно отыскав с большим трудом где-то холм, просидели целый вечер на нем, смотрели на заходящее солнце, мечтали о будущем образе жизни, предполагали ограничиться тесным кругом знакомых, не принимать и не делать пустых визитов.

Потом воротились домой и начали толковать о будущем порядке в доме, о распределении комнат и проч. Пришли к тому, как убрать комнаты. Александр предложил обратить ее уборную в свой кабинет, так, чтоб это было подле спальни.

— Какую же мебель хотите вы в кабинет? — спросила она.

— Я бы желал орехового дерева с синей бархатной покрывкой.

— Это очень мило и немарко: для мужского кабинета надобно выбирать непременно темные цвета: светлые скоро портятся от дыму. А вот здесь, в маленьком пассаже, который ведет из будущего вашего кабинета в спальню, я устрою боскет — не правда ли, это будет прекрасно? Там поставлю одно кресло, так, чтобы я могла, сидя на нем, читать или работать и видеть вас в кабинете.

— Недолго мне так прощаться с вами, — говорил, прощаясь, Александр.

Она зажала ему рот рукой.

На другой день Александр отправился к Лизавете Александровне открывать то, что ей давно было известно, и требовать ее совета и помощи. Петра Иваныча не было дома.

— Что ж, хорошо! — сказала она, выслушав его исповедь, — вы теперь не мальчик: можете судить о своих чувствах и располагать собой. Только не торопитесь: узнайте ее хорошенько.

— Ах, ma tante, если бы вы ее знали! Сколько достоинств!

— Например?

— Она так любит меня...

— Это, конечно, важное достоинство, да не одно это нужно в супружестве.

Тут она сказала несколько общих истин насчет супружеского состояния, о том, какова должна быть жена, каков муж.

— Только погодите. Теперь осень наступает, — прибавила она, — съедутся все в город. Тогда я сделаю визит 10 вашей невесте; мы познакомимся, и я примусь за дело горячо. Вы не оставляйте ее: я уверена, что вы будете счастливейший муж.

Она обрадовалась.

Женщины страх как любят женить мужчин; иногда они и видят, что брак как-то не клеится и не должен бы клеиться, но всячески помогают делу. Им лишь бы устроить свадьбу, а там новобрачные как себе хотят. Бог знает, из чего они хлопочут.

Александр просил тетку, до окончания дела, ничего 20 не говорить Петру Иванычу.

Промелькнуло лето, проташилась и скучная осень. Наступила другая зима. Свидания Адуева с Юлией были так же часты.

У ней как будто сделан был строгий расчет дням, часам и минутам, которые можно было провести вместе. Она выискивала все случаи к тому.

— Рано ли вы завтра отправитесь на службу? — спрашивала она иногда.

— Часов в одиннадцать.

30 — А в десять приезжайте ко мне, будем завтракать вместе. Да нельзя ли не ходить совсем? будто уж там без вас...

— Как же? отечество... долг... — говорил Александр.

— Вот прекрасно! А вы скажите, что любите и любимы. Неужели начальник ваш никогда не любил? Если у него есть сердце, он поймет. Или принесите сюда свою работу: кто вам мешает заниматься здесь?

В другой раз не пускала его в театр, а к знакомым решительно почти никогда. Когда Лизавета Александровна 40 приехала к ней с визитом, Юлия долго не могла прийти в себя, увидев, как молода и хороша тетка Александра. Она воображала ее так себе теткой: пожилой, нехорошей, как бóльшая часть теток, а тут, прошу покорнейше, женщина лет двадцати шести, семи, и

красавица! Она сделала Александру сцену и стала реже пускать его к дяде.

Но что значили ее ревность и деспотизм в сравнении с деспотизмом Александра? Он уж убедился в ее привязанности, видел, что измена и охлаждение не в ее натуре, и — ревновал: но как ревновал! Это не была ревность от избытка любви: плачущая, стонущая, вопиющая от мучительной боли в сердце, трепещущая от страха потерять счастье, — но равнодушная, холодная, злая. Он тиранил бедную женщину из любви, как другие не тиранят из 10 ненависти. Ему покажется, например, что вечером, при гостях, она не довольно долго и нежно или часто глядит на него, и он осматривается, как зверь, кругом, — и горе, если в это время около Юлии есть молодой человек, и даже не молодой, а просто человек, часто женщина, иногда — вещь. Оскорбления, колкости, черные подозрения и упреки сыпались градом. Она тут же должна была оправдываться и откупаться разными пожертвованиями, безусловно покорностью: не говорить с тем, не сидеть там, не подходить туда, переносить лукавые улыбки и шепот хитрых наблю- 20 дателей, краснеть, бледнеть, компрометировать себя.

Если она получала приглашение куда-нибудь, она, не отвечая, прежде всего обращала на него вопросительный взгляд, — и чуть он наморщит брови, она, бледная и трепещущая, в ту же минуту отказывалась. Иногда он даст позволение — она соберется, оденется, готовится сесть в карету, — как вдруг он, по минутному капризу, произносит грозное *veto!*¹ — и она раздевалась, карета откладывалась. После он, пожалуй, начнет просить прощенья, предлагает ехать, но когда же опять делать туалет, закладывать карету? 30 Так и остается. Он ревновал не к красавцам, не к достоинству ума или таланта, а даже к уродам, наконец, к тем, чья физиономия просто не нравилась ему.

Однажды приехал какой-то гость из ее стороны, где жили ее родные. Гость был пожилой, некрасивый человек, говорил всё об урожае да о своем сенатском деле, так что Александр, соскучившись слушать его, ушел в соседнюю комнату. Ревновать было не к чему. Наконец гость стал прощаться.

— Я слышал, — сказал он, — что вы по средам дома; 40 не позволите ли мне присоединиться к обществу ваших знакомых?

¹ запрещаю! (лат.)

Юлия улыбнулась и готовилась сказать: «Прошу!» — как вдруг из другой комнаты раздался шепот громче всякого крика: «Не хочу!»

— Не хочу! — торопливо, вслух повторила Юлия гостю, вздрогнув.

Но Юлия сносила всё. Она запиралась от гостей, никуда не выезжала и сидела с глазу на глаз с Александром.

Они продолжали систематически упиваться блаженством. Истратив весь запас известных и готовых наслаждений, она начала придумывать новые, разнообразить этот, и без того богатый удовольствиями, мир. Какой дар изобретательности обнаружила Юлия! Но и этот дар истощился. Начались повторения. Желать и испытывать было нечего.

Не было ни одного загородного места, которого бы они не посетили, ни одной пьесы, которой бы они не видали вместе, ни одной книги, которую бы не прочитали и не обсудили. Они изучили чувства, образ мыслей, достоинства и недостатки друг друга, и ничто уже не мешало им привести в исполнение задуманный план.

Искренние излияния стали редки. Они иногда по целым часам сидели, не говоря ни слова. Но Юлия была счастлива и молча.

Она изредка перекинется с Александром вопросом и получит: «да» или «нет» — и довольна; а не получит этого, так посмотрит на него пристально; он улыбнется ей, и она опять счастлива. Не улыбнись он и не ответь ничего, она начнет стеречь каждое движение, каждый взгляд и толковать по-своему, и тогда не оберешься упреков.

О будущем они перестали говорить, потому что Александр при этом чувствовал какое-то смущение, неловкость, которой не мог объяснить себе, и старался замять разговор. Он стал размышлять, задумываться. Магический круг, в который заключена была его жизнь любовью, местами разорвался, и ему вдали показались то лица приятелей и ряд разгульных удовольствий, то блистательные балы с толпой красавиц, то вечно занятой и деловой дядя, то покинутые занятия...

В таком расположении духа сидел он однажды вечером у Юлии. На дворе была метель. Снег бил в окна и ключьями прилипал к стеклам. В комнате слышалось однообразное качанье маятника столовых часов да изредка вздохи Юлии.

Александр окинул взглядом, от нечего делать, комнату, потом посмотрел на часы — десять, а надо просидеть еще часа два: он зевнул. Взгляд его остановился на Юлии.

Она, прислонясь спиной к камину, стояла, склонив бледное лицо к плечу, и следила глазами за Александром, но не с выражением недоверчивости и допроса, а неги, любви и счастья. Она, по-видимому, боролась с тайным ощущением, с сладкой мечтой и казалась утомленной.

Нервы так сильно действовали, что и самый трепет неги повергал ее в болезненное томление: мука и бла- 10
женство были у ней неразлучны.

Александр отвечал ей сухим, беспокойным взором. Он подошел к окну и начал слегка барабанить пальцами по стеклу, глядя на улицу.

С улицы доносился до них смешанный шум голосов, езды экипажей. В окнах везде светились огни, мелькали тени. Ему казалось, что там, где больше освещено, собралась веселая толпа; там, может быть, происходил живой размен мыслей, огненных, летучих ощущений: там живут шумно и радостно. А вон в том слабо освещенном 20
окне, вероятно, сидит над дельным трудом благородный труженик. И Александр подумал, что почти два года уже он влачит праздную, глупую жизнь, — и вот два года вон из итога годов жизни, — а всё любовь! Тут он напал на любовь.

«И что это за любовь! — думал он, — какая-то сонная, без энергии. Эта женщина поддалась чувству без борьбы, без усилий, без препятствий, как жертва: слабая, бесхарактерная женщина! ошастливила своей любовью первого, кто попался; не будь меня, она полюбила бы точно 30
так же Суркова, и уже начала любить: да! как она ни защищайся — я видел! приди кто-нибудь побойчее и поискуснее меня, она отдалась бы тому... это просто безнравственно! Это ли любовь! где же тут симпатия душ, о которой проповедуют чувствительные души? А уж тут ли не тянуло душ друг к другу: казалось, слиться бы им навек, а вот поди ж ты! Черт знает, что это такое, не разберешь!» — шепнул он с досадой.

— Что вы там делаете? О чем думаете? — спросила 40
Юлия.

— Так... — сказал он, зевая, и сел на диван подальше от нее, обхватив одной рукой угол шитой подушки.

— Сядьте здесь, поближе.

Он не сел и ничего не отвечал.

— Что с вами? — продолжала она, подходя к нему, — вы несносны сегодня.

— Я не знаю... — сказал он вяло, — мне что-то... как будто я...

Он не знал, что отвечать ей и самому себе. Он еще всё хорошенько не объяснил себе, что с ним делается.

Она села подле него, начала говорить о будущем и мало-помалу оживилась. Она представляла счастливую картину семейной жизни, порой шутила и заключила

10 очень нежно:

— Вы — мой муж! смотрите, — сказала она, показывая вокруг, — скоро всё это будет ваше. Вы здесь будете владычествовать в доме, как у меня в сердце. Я теперь независима, могу делать, что хочу, поехать куда глаза глядят, а тогда ничто здесь не тронется с места без вашего приказания; я сама буду связана вашей волей; но какая прекрасная цепь! Заковывайте же поскорей; когда же?..
Всю жизнь мечтала я о таком человеке, о такой любви... и вот мечта исполняется... и счастье близко... я едва
20 верю... Знаете ли: это мне кажется сном. Не награда ли это за все мои прошедшие страдания?

Александр мучительно было слышать эти слова.

— А если б я вас разлюбил? — вдруг спросил он, стараясь придать голосу шутливый тон.

— Я бы вам уши выдрала! — отвечала она, взяв его за ухо, потом вздохнула и задумалась от одного шутливого намека. Он молчал.

— Да что с вами? — вдруг спросила она с живостью, — вы молчите, едва слушаете меня, смотрите в
30 сторону...

Тут она подвинулась к нему и, положив ему на плечо руку, стала говорить тихо, почти шепотом, на ту же тему, но не так положительно. Она напомнила начало их сближения, начало любви, первые ее признаки и первые радости. Она почти задыхалась от неги ощущений; на бледных ее щеках зарделись два розовых пятнышка. Они постепенно разгорались, глаза блистали, потом сделались томны и полузакрылись; грудь дышала сильно. Она говорила едва внятно и одной рукой играла мягкими
40 волосами Александра, потом заглянула ему в глаза. Он тихо освободил голову от ее руки, вынул из кармана гребенку и тщательно причесал приведенные ею в беспорядок волосы. Она встала и посмотрела на него пристально.

— Что с вами, Александр? — спросила она с беспокойством.

«Вот пристала! почему я знаю?» — думал он, но молчал.

— Вам скучно? — вдруг сказала она, и в голосе ее слышались и вопрос и сомнение.

«Скучно! — подумал он, — слово найдено! Да! это мучительная, убийственная скука! вот уж с месяц этот червь вполз ко мне в сердце и точит его... О, Боже мой, что мне делать? а она толкует о любви, о супружестве. Как ее образумить?»

10

Она села за фортепиано и сыграла несколько любимых его пьес. Он не слушал и всё думал свою думу.

У Юлии опустились руки. Она вздохнула, завернулась в шаль и бросилась в другой угол дивана, откуда с тоской наблюдала за Александром.

Он взял шляпу.

— Куда вы? — спросила она с удивлением.

— Домой.

— Еще нет одиннадцати часов.

— Мне надо писать к маменьке: я давно не писал к ней.

— Как давно: вы третьего дня писали.

Он молчал: сказать было нечего. Он точно писал и как-то вскользь сказал ей тогда об этом, но забыл; а любовь не забывает ни одной мелочи. В глазах ее всё, что ни касается до любимого предмета, всё важный факт. В уме любящего человека плетется многосложная ткань из наблюдений, тонких соображений, воспоминаний, догадок обо всем, что окружает любимого человека, что творится в его сфере, что имеет на него влияние. В любви довольно одного слова, намека... чего намека! взгляда, едва приметного движения губ, чтобы составить догадку, потом перейти от нее к соображению, от соображения к решительному заключению и потом мучиться или блаженствовать от собственной мысли. Логика влюбленных, иногда фальшивая, иногда изумительно верная, быстро возводит здание догадок, подозрений, но сила любви еще быстрее разрушает его до основания: часто довольно для этого одной улыбки, слезы, много-много двух-трех слов — и прощай подозрения. Этого рода контроля ни усыпить, ни обмануть невозможно ничем. Влюбленный то вдруг заберет в голову то, чего другому бы и во сне не приснилось, то не видит того, что делается у него под носом, то проницателен до ясновидения, то недалновиден до слепоты.

30

40

Юлия вскочила с дивана как кошка и схватила его за руку.

— Что это значит? куда вы? — спросила она.

— Да ничего, право, ничего; ну мне просто спать хочется: я нынче мало спал — вот и всё.

— Мало спали! как же сами сказали давеча утром, что спали девять часов и что у вас даже оттого голова заболела?..

Опять нехорошо.

10 — Ну голова болит... — сказал он, смутившись немного, — оттого и еду.

— А после обеда сказали, что голова прошла.

— Боже мой, какая у вас память! Это несносно! Ну мне просто хочется домой.

— Разве вам здесь нехорошо? Что у вас там, дома?

Она, глядя ему в глаза, недоверчиво покачала головой. Он кое-как успокоил ее и уехал.

«Что, ежели я не поеду сегодня к Юлии?» — задал себе вопрос Александр, проснувшись на другой день 20 поутру.

Он прошелся раза три по комнате. «Право, не поеду!» — прибавил он решительно.

— Евсей! одеваться. — И пошел бродить по городу.

«Как весело, как приятно гулять одному! — думал он, — пойти — куда хочется, остановиться, прочитать вывеску, заглянуть в окно магазина, зайти туда, сюда... очень, очень хорошо! Свобода — великое благо! Да! именно: свобода в обширном, высоком смысле значит — гулять одному!»

30 Он постукивал тростью по тротуару, весело кланялся с знакомыми. Проходя по Морской, он увидел в окне одного дома знакомое лицо. Знакомый приглашал его рукой войти. Он поглядел. Ба! да это Дюме! И вошел, отобедал, просидел до вечера, вечером отправился в театр, из театра ужинать. О доме он старался не вспоминать: он знал, что там ждет его.

В самом деле, по возвращении он нашел до полдюжины записок на столе и сонного лакея в передней. Слуге не велено было уходить, не дождавшись его. В записках — 40 упреки, допросы и следы слез. На другой день надо было оправдываться. Он отговорился делом по службе. Кое-как помирились.

Дня через три, и с той и с другой стороны, повторилось то же самое. Потом опять и опять. Юлия

похудела, никуда не выезжала и никого не принимала, но молчала, потому что Александр сердился за упреки.

Недели через две после того Александр условился с приятелями выбрать день и повеселиться напропалую; но в то же утро он получил записку от Юлии с просьбой пробыть с ней целый день и приехать пораньше. Она писала, что она больна, грустна, что нервы ее страдают и т. п. Он рассердился, однако ж поехал предупредить ее, что он не может остаться с ней, что у него много дела.

10

— Да, конечно: обед у Дюме, театр, катанье на горах — очень важные дела... — сказала она томно.

— Это что значит? — спросил он с досадой, — вы, кажется, присматриваете за мной? я этого не потерплю.

Он встал и хотел идти.

— Пойдите, послушайте! — сказала она, — поговоримте.

— Мне некогда.

— Одну минуту: сядьте.

Он сел нехотя на край стула.

20

Она, сложив руки, беспокойно вглядывалась в него, как будто старалась прочесть на лице его заранее ответ на то, что ей хотелось сказать.

Он от нетерпения вертелся на месте.

— Поскорей! мне некогда! — сказал он сухо.

Она вздохнула.

— Вы меня уж не любите? — спросила она, слегка качая головой.

— Старая песня! — сказал он, поглаживая шляпу рукавом.

30

— Как она вам надоела! — отвечала она.

Он встал и начал скорыми шагами ходить по комнате. Через минуту послышалось всхлипыванье.

— Этого только недоставало! — сказал он почти с яростью, остановясь перед ней, — мало вы мучили меня!

— Я мучила! — воскликнула она и зарыдала сильнее.

— Это нестерпимо! — сказал Александр, готовясь уйти.

— Ну не стану, не стану! — торопливо заговорила она, отирая слезы, — видите, я не плачу, только не уходите, сядьте.

40

Она старалась улыбнуться, а слезы так и капали на щеки. Александр почувствовал жалость. Он сел и начал качать ногой. Он стал задавать себе мысленно вопрос за

вопросом и дошел до заключения, что он охладел, не любит Юлию. А за что? Бог знает! Она любит его с каждым днем сильнее и сильнее; не оттого ли? Боже мой! какое противоречие! Все условия счастья тут. Ничто не препятствует им, даже и другое чувство не отвлекает, а он охладел! О жизнь! Но как успокоить Юлию? Пожертвовать собой? Влечить с нею скучные, долгие дни; притворяться — он не умеет, а не притворяться — значит видеть ежеминутно слезы, слышать упреки, мучить ее и себя... Заговорить ей вдруг о дядиной
10 теории измен и охлаждений — прошу покорнейше: она, ничего не видя, плачет, а тогда! Что делать?

Юлия, видя, что он молчит, взяла его за руку и поглядела ему в глаза. Он медленно отвернулся и тихо высвободил свою руку. Он не только не чувствовал влечения к ней, но от прикосновения ее по телу его пробежала холодная и неприятная дрожь. Она удвоила ласки. Он не отвечал на них и сделался еще холоднее, угрюмее. Она вдруг оторвала от него свою руку и вспыхнула. В ней проснулись женская гордость, оскорбленное
20 самолюбие, стыд. Она выпрямила голову, стан, покраснела от досады.

— Оставьте меня! — сказала она отрывисто.

Он проворно пошел вон, без всякого возражения. Но когда шум шагов его стал затихать, она бросилась вслед за ним!

— Александр Федорыч! Александр Федорыч! — закричала она.

Он воротился.

— Куда же вы?

30 — Да ведь вы велели уйти.

— А вы и рады бежать. Оставайтесь!

— Мне некогда!

Она взяла его за руку и — опять полилась нежная, пламенная речь, мольбы, слезы. Он ни взглядом, ни словом, ни движением не обнаружил сочувствия, — стоял точно деревянный, переминаясь с ноги на ногу. Его хладнокровие вывело ее из себя. Посыпались угрозы и упреки. Кто бы узнал в ней кроткую, слабонервную
40 женщину? Локоны у ней распустились, глаза горели лихорадочным блеском, щеки пылали, черты лица странно разложились. «Как она нехороша!» — думал Александр, глядя на нее с гримасой.

— Я отмщу вам, — говорила она, — вы думаете, что так легко можно шутить судьбой женщины? Вкрались в

сердце лестью, притворством, овладели мной совершенно, а потом кинули, когда я уж не в силах выбросить вас из памяти... нет! я вас не оставляю: я буду вас всюду преследовать. Вы никуда не уйдете от меня: поедете в деревню — и я за вами, за границу — и я туда же, всегда и везде. Я не легко расстанусь с своим счастьем. Мне всё равно: какова ни будет жизнь моя... мне больше нечего терять; но я отравлю и вашу: я отмщу, отмщу; у меня должна быть соперница! Не может быть, чтоб вы так оставили меня... я найду ее — и посмотрите, что я 10 сделаю: вы не будете рады и жизни! С каким бы наслаждением я услышала теперь о вашей гибели... я бы сама убила вас! — крикнула она дико, бешено.

«Как это глупо! нелепо!» — думал Александр, пожимая плечами.

Видя, что Александр равнодушен и к угрозам, она вдруг перешла в тихий, грустный тон, потом молча глядела на него.

— Сжальтесь надо мной! — заговорила она, — не покидайте меня; что я теперь без вас буду делать? я не 20 вынесу разлуки. Я умру! Подумайте: женщины любят иначе, нежели мужчины: нежнее, сильнее. Для них любовь — всё, особенно для меня: другие кокетничают, любят свет, шум, суету; я не привыкла к этому, у меня другой характер. Я люблю тишину, уединение, книги, музыку, но вас более всего на свете...

Александр обнаружил нетерпение.

— Ну хорошо! не любите меня, — с живостью продолжала она, — но исполните ваше обещание: женитесь на мне, будьте только со мной... вы будете свободны: 30 делайте что хотите, даже любите кого хотите, лишь бы я иногда, изредка видела вас... О, ради Бога, сжальтесь, сжальтесь!..

Она заплакала и не могла продолжать. Волнение истощило ее, она упала на диван, закрыла глаза, зубы ее стиснулись, рот судорожно искривился. С ней сделался истерический припадок. Через час она опомнилась, пришла в себя. Около нее суетилась горничная. Она огляделась кругом. «А где же?...» — спросила она.

— Они уехали!

— Уехал! — уныло повторила она и долго сидела молча и неподвижно.

На другой день записка за запиской к Александру. Он не являлся и не давал ответа. На третий, на четвертый

день то же. Юлия написала к Петру Иванычу, приглашая его к себе по важному делу. Жену его она не любила, потому что она была молода, хороша и приходилась Александру теткой.

Петр Иваныч застал ее не шутя больной, чуть не умирающей. Он пробыл у ней часа два, потом отправился к Александру.

— Каков притворщик, а! — сказал он.

— Что такое? — спросил Александр.

10 — Смотрите, как будто не его дело! Не умеет влюбить в себя женщину, а сам с ума сводит.

— Я не понимаю, дядюшка...

— Чего тут не понимать? понимаешь! Я был у Тафаевой: она мне всё сказала.

— Как! — пробормотал Александр в сильном смущении. — Всё сказала!

— Всё. Как она любит тебя! Счастливец! Ну вот ты всё плакал, что не находишь страсти: вот тебе и страсть: утешься! Она с ума сходит, ревнует, плачет, бесится... Только зачем вы меня путаете в свои дела? Вот ты женщин стал навязывать мне на руки. Этого только недоставало: потерял целое утро с ней. Я думал, за каким там делом: не имение ли хочет заложить в Опекунский совет... она как-то говорила... а вот за каким: ну дело!

— Зачем же вы у ней были?

— Она звала, жаловалась на тебя. В самом деле, как тебе не стыдно так negliжировать? Четыре дня глаз не казал — шутка ли? Она, бедная, умирает! Ступай, поезжай
30 скорее...

— Что ж вы ей сказали?

— Обыкновенно что: что ты также ее любишь без ума; что ты давно искал нежного сердца; что тебе страх как нравятся *искренние излияния* и без любви ты тоже не можешь жить; сказал, что напрасно она беспокоится: ты воротишься; советовал не очень стеснять тебя, позволить иногда и пошалить... а то, говорю, вы наскучите друг другу... ну, обыкновенно, что говорится в таких случаях. Она стала такая веселая, проговорилась, что у вас по-
40 ложено быть свадьбе, что и жена моя тут вмешалась. А мне ни слова — каковы! Ну что ж: дай Бог! У этой хоть что-нибудь есть; проживете вдвоем. Я сказал ей, что ты непременно исполнишь свое обещание... Я уж нынче постарался для тебя, Александр, в благодарность за

услугу, которую ты мне оказал... уверил ее, что ты любишь так пламенно, так нежно...

— Что вы наделали, дядюшка! — заговорил Александр, меняясь в лице, — я... я не люблю ее больше!.. я не хочу жениться!.. Я холоден к ней как лед!.. скорей в воду... чем...

— Ба-ба-ба! — сказал Петр Иванович с притворным изумлением, — тебя ли я слышу? Да не ты ли говорил — помнишь? — что презираешь человеческую натуру и особенно женскую; что нет сердца в мире, достойного тебя?.. 10
Что еще ты говорил?.. дай Бог память...

— Ради Бога, ни слова, дядюшка: довольно и этого урока; зачем еще нравоучение? Вы думаете, что я так не понимаю... О люди! люди!

Он вдруг начал хохотать, а с ним и дядя.

— Вот так-то лучше! — сказал Петр Иванович, — я говорил, что ты сам будешь смеяться над собою — вот оно...

И опять оба захохотали.

— Ну-ка, скажи, — продолжал Петр Иванович, — како- 20
го ты мнения теперь об этой... как ее?.. Пашинька, что ли, с бородавкой-то?

— Дядюшка, это невеликодушно!

— Нет, я только говорю, чтоб узнать, всё ли ты еще презираешь ее?

— Оставьте это, ради Бога, а лучше помогите мне теперь выйти из ужасного положения. Вы так умны, так рассудительны...

— А! теперь комплименты, лесть! Нет, ты женись-ка 30
поди.

— Ни за что, дядюшка! Умоляю, помогите!..

— То-то и есть, Александр: хорошо, что я давно догадался о твоих проделках...

— Как давно?

— Да так: я знаю о твоей связи с самого начала.

— Вам, верно, сказала та tante.

— Как не так! я ей сказал. Что тут мудреного? у тебя всё на лице было написано. Ну не тужи: я уж помог тебе.

— Как? когда? 40

— Сегодня же утром. Не беспокойся: Тафаева больше не станет тревожить тебя...

— Как же вы сделали? Что вы ей сказали?

— Долго повторять, Александр! скучно.

— Но, может быть, вы бог знает что наговорили ей. Она ненавидит, презирает меня...

— Не всё ли равно? я успокоил ее — этого и довольно; сказал, что ты любить не можешь, что не стоит о тебе и хлопотать...

— Что ж она?

— Она теперь даже рада, что ты оставил ее.

— Как рада? — сказал Александр задумчиво.

— Так, рада.

10 — Вы не заметили в ней ни сожаления, ни тоски? Ей всё равно? Это ни на что не похоже!

Он начал в беспокойстве ходить по комнате.

— Рада, покойна! — твердил он, — прошу покорнейше! сейчас же еду к ней.

— Вот люди! — заметил Петр Иванович, — вот сердце: живи им — хорошо будет! Да не ты ли боялся, чтоб она не прислала за тобой? не ты ли просил помочь? а теперь встревожился, что она, расставаясь с тобой, не умирает с тоски.

20 — Рада, довольна! — говорил, ходя взад и вперед, Александр, и не слушая дяди. — А! так она не любила меня! ни тоски, ни слез. Нет, я увижу ее.

Петр Иванович пожал плечами.

— Воля ваша: я не могу оставить так, дядюшка! — прибавил Александр, хватаясь за шляпу.

— Ну так поди к ней опять: тогда и не отвяжешься, а уж ко мне потом не приставай: я не стану вмешиваться; и теперь вмешался только потому, что сам же ввел тебя в это положение. Ну, полно, что еще повесил нос?

30 — Стыдно жить на свете!.. — сказал со вздохом Александр.

— И не заниматься делом, — примолвил дядя. — Полно! приходи сегодня к нам: за обедом посмеемся над твоей историей, а потом прокатаемся на завод.

— Как я мелок, ничтожен! — говорил в раздумье Александр, — нет у меня сердца! я жалок, ниш духом!

— А всё от любви! — прервал Петр Иванович. — Какое глупое занятие: предоставь его какому-нибудь Суркову.
40 А ты дельный малый: можешь заняться чем-нибудь поважнее. Полно тебе гоняться за женщинами.

— Но ведь вы любите же вашу жену?..

— Да, конечно. Я очень к ней привык, но это не мешает мне делать свое дело. Ну, прощай же, приходи.

Александр сидел смущенный, угрюмый. К нему подкрался Евсей с сапогом, в который опустил руку.

— Извольте-ка посмотреть, сударь, — сказал он умильно, — какая вакса-то: вычистишь, словно зеркало, а всего четвертак стоит.

Александр очнулся, посмотрел машинально на сапог, потом на Евсея.

— Пошел вон! — сказал он, — ты дурак!

— В деревню бы послать... — начал опять Евсей.

— Пошел, говорю тебе, пошел! — закричал Александр, почти плача, — ты измучил меня, ты своими сапогами сведешь меня в могилу... ты... варвар!

Евсей проворно убрался в переднюю.

IV

— Отчего это Александр не ходит к нам? Я его месяца три не видал, — спросил однажды Петр Иваныч у жены, воротясь откуда-то домой.

— Я уж потеряла надежду когда-нибудь увидеться с ним, — отвечала она.

— Да что с ним. Опять влюблен, что ли? 20

— Не знаю.

— Он здоров?

— Здоров.

— Напиши, пожалуйста, к нему, мне нужно поговорить с ним. У них опять перемены в службе, а он, я думаю, и не знает. Не понимаю, что за беспечность.

— Я уж десять раз писала, звала. Он говорит, что некогда, а сам играет с какими-то чудаками в шашки или удит рыбу. Поди ты лучше сам: ты бы узнал, что с ним.

— Нет, не хочется. Послать человека. 30

— Александр не пойдет.

— Попробуем.

Послали. Человек вскоре воротился.

— Ну что, он дома? — спросил Петр Иваныч.

— Дома-с. Кланяться приказали.

— Что он делает?

— Лежат на диване.

— Как, об эту пору?

— Они, слышь, всегда лежат.

— Да что ж он, спит? 40

— Никак нет-с. Я сам сначала думал, что почивают, да глазки-то у них открыты: на потолок изволят смотреть.

Петр Иваныч пожал плечами.

— Он придет сюда? — спросил он.

— Никак нет-с. «Кланяйся, говорит, доложи дяденьке, чтоб извинили: не так, дескать, здоров»; и вам, сударыня, кланяться приказали.

— Что еще там с ним? Это удивительно, право! Ведь уродится же этакой! Не вели откладывать кареты. Нечего делать, съезжу. Но уж, право, в последний раз.

И Петр Иваныч застал Александра на диване. Он, при
10 входе дяди, привстал и сел.

— Ты нездоров? — спросил Петр Иваныч.

— Так... — отвечал Александр, зевая.

— Что же ты делаешь?

— Ничего.

— И ты можешь пробыть без дела?

— Могу.

— Я слышал, Александр, сегодня, что будто у вас
Иванов выходит.

— Да, выходит.

20 — Кто ж на его место?

— Говорят, Иченко.

— А ты что?

— Я? ничего.

— Как ничего? Отчего же не ты?

— Не удостоивают. Что ж делать: верно, не гожусь.

— Помилуй, Александр, надо хлопотать. Ты бы съез-
дил к директору.

— Нет, — сказал Александр, трясая головой.

— Тебе, по-видимому, всё равно?

30 — Всё равно.

— Да ведь уж тебя в третий раз обходят.

— Всё равно: пусть!

— Вот посмотрим, что-то скажешь, когда твой быв-
ший подчиненный станет приказывать тебе или когда
войдет, а тебе надо встать и поклониться.

— Что ж: встану и поклонюсь.

— А самолюбие?

— У меня его нет.

— Однако ж у тебя есть же какие-нибудь интересы в
40 жизни?

— Никаких. Были да прошли.

— Не может быть: одни интересы сменяются другими.
Отчего ж у тебя прошли, а у других не проходят? Рано
бы, кажется: тебе еще и тридцати лет нет...

Александр пожал плечами.

Петру Иванычу уж и не хотелось продолжать этого разговора. Он называл всё это капризами; но он знал, что по возвращении домой ему не избежать вопросов жены, и оттого нехотя продолжал:

— Ты бы развлекся чем-нибудь, посещал бы общество, — сказал он, — читал бы.

— Не хочется, дядюшка.

— Про тебя уж начинают поговаривать, что ты того... этак... тронулся от любви, делаешь бог знает что, водишься с какими-то чудаками... Я бы для одного этого пошел.

— Пусть их говорят что хотят.

— Послушай, Александр, шутки в сторону. Это всё мелочи; можешь кланяться или не кланяться, посещать общество или нет — дело не в том. Но вспомни, что тебе, как и всякому, надо сделать какую-нибудь карьеру. Думаешь ли ты иногда об этом?

— Как же не думаю: я уж сделал.

— Как так?

— Я очертил себе круг действия и не хочу выходить из этой черты. Тут я хозяин: вот моя карьера.

— Это лень.

— Может быть.

— Ты не вправе лежать на боку, когда можешь делать что-нибудь, пока есть силы. Сделано ли твое дело?

— Я делаю дело. Никто не упрекнет меня в праздности. Утро я занят в службе, а трудиться сверх того — это роскошь, произвольная обязанность. Зачем я буду хлопотать?

— Все хлопочут из чего-нибудь: иной потому, что считает своим долгом делать сколько есть сил, другой из денег, третий из почета... Ты что за исключение?

— Почет, деньги! особенно деньги! Зачем они? Ведь я сыт, одет: на это станет.

— И одет-то теперь плохо, — заметил дядя. — Да будто тебе только и надобно?

— Только.

— А роскошь умственных и душевных наслаждений, а искусство... — начал Петр Иваныч, поддельваясь под тон Александра. — Ты можешь идти вперед: твое назначение выше; долг твой призывает тебя к благородному труду... А стремления к высокому — забыл?

— Бог с ними! Бог с ними! — сказал с беспокойством Александр. — И вы, дядюшка, начали дико говорить!

Этого прежде не водилось за вами. Не для меня ли? Напрасный труд! Я стремился выше — вы помните? Что ж вышло?

— Помню, как ты вдруг сразу в министры захотел, а потом в писатели. А как увидел, что к высокому званию ведет длинная и трудная дорога, а для писателя нужен талант, так и назад. Много вашей братии приезжает сюда с высшими взглядами, а дела своего под носом не видит. Как понадобится бумагу написать — смотришь, и того...

10 Я не про тебя говорю: ты доказал, что можешь заниматься, а со временем и быть чем-нибудь. Да скучно, долго ждать. Мы вдруг хотим; не удалось — и нос повесили.

— Да я стремиться выше не хочу. Я хочу так остаться, как есть: разве я не вправе избрать себе занятие, ниже ли оно моих способностей или нет — что нужды? Если я делаю дело добросовестно — я исполняю свой долг. Пусть упрекают меня в неспособности к высшему: меня несколько не огорчило бы, если б это была и правда. Сами же вы говорили, что есть поэзия в скромном уделе, а теперь упрекаете, что я избрал скромнейший. Кто мне 20 запретит сойти несколькими ступенями ниже и стать на той, которая мне нравится? Я не хочу высшего назначения — слышите ли, не хочу!..

— Слышу! Я не глух, только всё это жалкие софизмы.

— Нужды нет. Вот я нашел себе место и буду сидеть на нем век. Нашел простых, незатейливых людей, нужды нет, что ограниченных умом, играю с ними в шашки и ужу рыбу — и прекрасно! Пусть я, по-вашему, буду наказан за это, пусть лишусь наград, денег, почета, значе- 30 ния — всего, что так льстит вам. Я навсегда отказываюсь...

— Ты, Александр, хочешь притвориться покойным и равнодушным ко всему, а в твоих словах так и кипит досада: ты и говоришь как будто не словами, а слезами. Много желчи в тебе: ты не знаешь, на кого излить ее, потому что виноват только сам.

— Пусть! — сказал Александр.

— Что ж ты хочешь? Человек должен же хотеть чего-нибудь?

40 — Хочу, чтоб мне не мешали быть в моей темной сфере, не хлопотать ни о чем и быть покойным.

— Да разве это жизнь?

— А по-моему, та жизнь, которую вы живете, не жизнь: стало быть, и я прав.

— Тебе бы хотелось переделать жизнь по-своему: я воображаю, хороша была бы. У тебя, я думаю, среди розовых кустов гуляли бы всё попарно любовники да друзья...

Александр ничего не сказал.

Петр Иванович молча глядел на него. Он опять похудел. Глаза впали. На щеках и на лбу появились преждевременные складки.

Дядя испугался. Душевным страданиям он мало верил, но боялся, не кроется ли под этим унынием начало 10
какого-нибудь физического недуга. «Пожалуй, — думал он, — малый рехнется, а там поди разделявайся с матерью: то-то заведется переписка! Того гляди, еще прикатит сюда».

— Да ты, Александр, разочарованный, я вижу, — сказал он.

«Как бы, — думал он, — повернуть его назад, к его любимым идеям. Постой-ка, я прикинусь...»

— Послушай, Александр, — сказал он, — ты очень опустился. Стряхни с себя эту апатию. Нехорошо! И 20
отчего? Ты, может быть, принял слишком горячо к сердцу, что я иногда небрежно отзывался о любви, о дружбе. Ведь это я делал шутя, больше для того, чтоб умерить в тебе восторженность, которая в наш положительный век как-то неуместна, особенно здесь, в Петербурге, где всё уравнено, как моды, так и страсти, и дела, и удовольствия, всё взвешено, узнано, оценено... всему назначены границы. Зачем одному отступать наружно от этого общего порядка? Неужели же ты в самом деле думаешь, что я бесчувственный, что я не 30
признаю любви? Любовь — чувство прекрасное: нет ничего святее союза двух сердец, или дружба, например... Я внутренне убежден, что чувство должно быть постоянно, вечно.

Александр засмеялся.

— Что ты? — спросил Петр Иванович.

— Дико, дико говорите, дядюшка. Не прикажете ли сигару? закурим: вы будете продолжать говорить, а я послушаю.

— Да что с тобой? 40

— Так, ничего. Вздумали поддеть меня! А называли когда-то неглупым человеком! Хотите играть мной, как мячиком, — это обидно! Не век же быть юношей. К чему-нибудь да пригодилась школа, которую я прошел.

Как вы пустились ораторствовать! будто у меня нет глаз? Вы только устроили фокус, а я смотрел.

«Не за свое дело взялся, — подумал Петр Иваныч. — К жене послать».

— Приходи к нам, — сказал он, — жена очень хочет видеть тебя.

— Не могу, дядюшка.

— Хорошо ли ты делаешь, что забываешь ее?

— Может быть, очень дурно, но, ради Бога, извините
10 меня и теперь не ждите. Погодите еще несколько времени, приду.

— Ну как хочешь, — сказал Петр Иваныч. Он махнул рукой и поехал домой.

Он сказал жене, что отступается от Александра, что как он хочет, так пусть и делает, а он, Петр Иваныч, сделал всё, что мог, и теперь умывает руки.

Александр, бежав Юлии, бросился в вихрь шумных радостей. Он твердил стихи известного нашего поэта:

20 Пойдем туда, где дышит радость,
Где шумный вихрь забав шумит,
Где не живут, но тратят жизнь и младость!
Среди веселых игр за радостным столом,
На час упившись счастьем ложным,
Я приучусь к мечтам ничтожным,
С судьбою примирюсь вином.
Я сердца усмирю заботы,
Я думам не велю летать;
Небес на тихое сиянье
Я не велю глазам своим взирать
30 и проч.

Явилась семья друзей, и с ними неизбежная чаша. Друзья созерцали лики свои в пенистой влаге, потом в лакированных сапогах. «Прочь горе, — восклицали они, ликуя, — прочь заботы! Истратим, уничтожим, испепелим, выпьем жизнь и молодость! Ура!» Стаканы и бутылки с треском летели на пол.

На некоторое время свобода, шумные сборища, беспечная жизнь заставили его забыть Юлию и тоску. Но всё одно да одно, обеды у рестораторов, те же лица с
40 мутными глазами; ежедневно всё тот же глупый и пьяный бред собеседников и, вдобавок к этому, еще постоянно расстроенный желудок: нет, это не по нем. Слабый организм тела и душа Александра, настроенная на грустный, элегический тон, не вынесли этих забав.

Он бежал *веселых игр за радостным столом* и очутился один в своей комнате, наедине с собой, с забытыми книгами. Но книга вываливалась из рук, перо не слушалось вдохновения. Шиллер, Гете, Байрон являли ему мрачную сторону человечества — светлой он не замечал: ему было не до нее.

А как счастлив бывал он в этой комнате некогда! Он был не один: около него присутствовал тогда прекрасный призрак и осеял его днем за заботливым трудом, ночью бодрствовал над его изголовьем. Там жили с ним тогда 10 мечты, будущее было одето туманом, но не тяжелым, предвещающим ненастье, а утренним, скрывающим светлую зарю. За тем туманом таилось что-то, вероятно — счастье... А теперь? Не только его комната, для него опустел целый мир, и в нем самом холод, тоска...

Вглядываясь в жизнь, вопрошая сердце, голову, он с ужасом видел, что ни там, ни сям не осталось ни одной мечты, ни одной розовой надежды: всё уже было назади; туман рассеялся; перед ним разостлалась, как степь, голая действительность. Боже! Какое необозримое простран- 20 ство! Какой скучный, безотрадный вид! Прошлое погибло, будущее уничтожено, счастья нет: всё химера — а живи!

Чего он хотел, и сам не знал; а как многого не хотел! Голова его была как будто в тумане. Он не спал, но был, казалось, в забытии. Тяжелые мысли бесконечной вереницей тянулись в голове. Он думал:

«Что могло увлечь его? Пленительных надежд, беспечности — нет! он знал всё, что впереди. Почет, стремление по пути честей? Да что ему в них? Стоит ли, для каких-нибудь двадцати-тридцати лет, биться как рыба об 30 лед? И греет ли это сердце? Отраднo ли душе, когда тебе несколько человек поклонятся низко, а сами подумают, может быть: «Черт бы тебя взял!»

Любовь? Да, вот еще! Он знает ее наизусть, да и потерял уже способность любить. А услужливая память, как на смех, напоминала ему Надиньку, но не невинную, простодушную Надиньку — этого она никогда не напоминала — а непременно Надиньку-изменницу, со всею обстановкой, с деревьями, с дорожкой, с цветами, и среди всего этот змеенок, с знакомой ему улыбкой, с краской 40 неги и стыда... и всё для другого, не для него!.. Он со стоном хватался за сердце.

«Дружба, — подумал он, — другая глупость! Всё извещено, нового ничего нет, старое не повторится, а живи!»

Он никому и ничему не верил, не забывался в наслаждении; вкушал его, как человек без аппетита вкушает лакомое блюдо, холодно, зная, что за этим наступит скука, что наполнить душевной пустоты ничем нельзя. Ввериться чувству — оно обманет и только взволнует душу и прибавит еще несколько ран к прежним. Глядя на людей, связанных любовью, не помнящих себя от восторга, он улыбался иронически и думал: «Погодите, опомнитесь; после первых радостей начнется ревность, сцены примирения, слезы. Живучи вместе, надоедите друг другу смертельно, а расстанетесь — вдвое заплачете. Сойдетесь опять — еще хуже. Сумасшедшие! непрерывно ссорятся, дуются друг на друга, ревнуют, потом мирятся на минуту, чтоб сильнее поссориться: это у них любовь, преданность! а всё вместе, с пеной на устах, иногда со слезами отчаяния на глазах, упрямо называют *счастьем!* А дружба ваша... *брось-ка кость, так что твои собаки!*»

Желать он боялся, зная, что часто, в момент достижения желаемого, судьба вырвет из рук счастье и предложит совсем другое, чего вовсе не хочешь, — так, дрянь какую-нибудь; а если наконец и даст желаемое, то прежде измучит, истомит, унизит в собственных глазах и потом бросит, как бросают подачку собаке, заставивши ее прежде проползти до лакомого куска, смотреть на него, держать на носу, завалить в пыли, стоять на задних лапах, и тогда — пиль!

Его пугал и периодический прилив счастья и несчастья в жизни. Радостей он не предвидел, а горе всё непременно впереди, его не избежишь: все подвержены общему закону; всем, как казалось ему, отпущена ровная доля и счастья и несчастья. Счастье для него кончилось, и какое счастье? фантазмагория, обман. Только горе реально, а оно впереди. Там и болезни, и старость, и разные утраты, может быть, еще нужда... Все эти *удары рока*, как говорит деревенская тетушка, стерегут его; а отрады какие? Высокое поэтическое назначение изменило; на него наваливают тяжкую ношу и называют это долгом! Остаются жалкие блага — деньги, комфорт, чины... Бог с ними! О, как грустно разделять жизнь, понять, какова она, и не понять, зачем она!

Так хандрил он и не видел исхода из омута этих сомнений. Опыты только понапрасну измяли его, а здоровья не подбавили в жизнь, не очистили воздуха в ней и не дали света. Он не знал, что делать: ворочался

с боку на бок на диване, стал перебирать в уме знакомых — и пуще затосковал. Один служит отлично, пользуется почетом, известностью как хороший администратор; другой обзавелся семьей и предпочитает тихую жизнь всем суетным благам мира, никому не завидуя, ничего не желая; третий... да что? все, все как-то пристроились, основались и идут по своему ясному и угаданному пути. «Один я только... да что же я такое?»

Тут он стал допытываться у самого себя: мог ли бы он быть администратором, каким-нибудь командиром эскадрона? мог ли бы довольствоваться семейною жизнью? и увидел, что ни то, ни другое, ни третье не удовлетворило бы его. Какой-то бесенок всё шевелился в нем, всё шептал ему, что это мелко для него, что ему бы летать выше... а где и как — он не мог решить. В авторстве он ошибся. «Что же делать, что начать?» — спрашивал он себя и не знал, что отвечать. А досада так и грызла его: ну хоть, пожалуй, администратором или эскадронным командиром... да нет: время ушло, надо начинать с азбуки.

Отчаяние выдавило у него слезы из глаз, — слезы досады, зависти, недоброжелательства ко всем, самые мучительные слезы. Он горько каялся, что не послушал матери и бежал из глуши.

«Маменька сердцем чуяла отдаленное горе, — думал он, — там эти беспокойные порывы спали бы непробудным сном; там не было бы бурного брожения этой сложной жизни. Между тем и там посетили бы меня все человеческие чувства и страсти: и самолюбие, и гордость, и честолюбие — всё, в малом размере, коснулось бы сердца в тесных границах нашего уезда — и всё бы удовлетворилось. Первый в уезде! да! всё условно. Божественная искра небесного огня, который более или менее горит во всех нас, сверкнула бы там незаметно во мне и скоро потухла бы в праздной жизни или зажглась бы в привязанности к жене и детям. Существование не было бы отравлено. Я прошел бы гордо свое назначение: путь жизни был бы тих, казался бы и прост и понятен мне, жизнь была бы по силам, я бы вынес борьбу с ней... А любовь? Она цвела бы пышным цветом и наполнила бы всю жизнь мою. Софья пролюбила бы меня в тишине. Я не терял бы веры ни во что, рвал бы одни розы, не зная шипов, не испытывая даже ревности, за недостатком — соперничества! Зачем же так сильно и слепо

влекло меня вдаль, в туман, на неровную и неизвестную борьбу с судьбой? А как прекрасно понимал я тогда и жизнь и людей! так понимал бы их еще и теперь, ничего не понимая. Я ждал тогда от жизни так много и, не рассмотрев ее пристально, ждал бы там от нее чего-нибудь еще и до сих пор. Сколько сокровищ открыл я в душе своей: куда они делись? Я пустил их в размен по свету, я отдал искренность сердца, первую заветную страсть — и что получил? горькое разочарование, узнал, что всё
10 обман, всё непрочно, что нельзя надеяться ни на себя, ни на других, — и стал бояться и других и себя... Я не мог, среди этого анализа, признать мелочей жизни и быть ими доволен, как дядюшка и многие другие... И вот теперь!..»

Теперь он желал только одного: забвения прошедшего, спокойствия, сна души. Он охлаждался более и более к жизни, на всё смотрел сонными глазами. В толпе людской, в шуме собраний он находил скуку, бежал от них, а скука за ним.

20 Он удивлялся, как могут люди веселиться, беспрестанно заниматься чем-нибудь, увлекаться каждый день новыми интересами. Ему странно казалось, как это все не ходят сонные, как он, не плачут и, вместо того чтоб болтать о погоде, не говорят о тоске и взаимных страданиях, а если и говорят, так о тоске в ногах или в другом месте, о ревматизме или геморрое. Одно тело наводит на них заботу, а души и в помине нет! «Пустые, ничтожные люди, животные!» — думал он. А иногда-таки
30 впадал в глубокое раздумье. «Их так много, этих ничтожных людей, — говорил он себе с некоторым беспокойством, — а я один: неужели... все они... пусты... неправы... а я?..»

Тут ему казалось, что чуть ли не он один виноват, и он делался от этого еще несчастнее.

Со старыми знакомыми он перестал видаться; приближение нового лица обдавало его холодом. После разговора с дядей он еще глубже утонул в апатическом сне: душа его погрузилась в совершенную дремоту. Он предался какому-то истуканному равнодушию, жил праз-
40 дно, упрямо удалялся от всего, что только напоминало образованный мир.

«Как бы ни прожить, лишь бы прожить! — говорил он, — всякий волен понимать жизнь, как хочет; а там, как умрешь...»

Он искал беседы людей с желчным, озлобленным умом, с ожесточенным сердцем и отводил душу, слушая злые насмешки над судьбой; или проводил время с людьми, не равными ему ни по уму, ни по воспитанию, всего чаще со стариком Костяковым, с которым Заезжалов хотел познакомить Петра Иваныча.

Костяков жил на Песках и ходил по своей улице в лакированном картузе, в халате, подпоясавшись носовым платком. У него жила кухарка, с которой он играл по вечерам в свои козыри. Если случался пожар, он являлся 10 первый и уходил последний. Проходя мимо церкви, в которой отпевали покойника, он продирался сквозь толпу взглянуть мертвому в лицо и потом шел провожать его на кладбище. Вообще он был страстный любитель всяких церемоний, и веселых, и печальных; любил также присутствовать при разных экстраординарных происшествиях, как-то: драках, несчастных смертных случаях, провалах потолков и т. п., и читал с особенным наслаждением исчисление подобных случаев в газетах. Читал он, кроме этого, еще медицинские книги, «для того, говорил он, 20 чтоб знать, что в человеке есть». Зимой Александр играл с ним в шашки, а летом за городом удил рыбу. Старик разговаривал о том, о сем. Когда шли к полю, он говорил о хлебе, о посеве; по берегу — о рыбе, о судоходстве; по улице — делал замечания о домах, о постройке, о материалах и доходах... отвлеченностей никаких. На жизнь смотрел как на хорошую вещь, когда есть деньги, и наоборот. Такой человек был не опасен Александру и душевных волнений пробудить не мог.

Александр так же усердно старался умертвить в себе 30 духовное начало, как отшельники стараются об умерщвлении плоти. На службе он был молчалив, при встрече с знакомыми отделивался двумя-тремя словами и, отговариваясь недосугом, бежал прочь. Зато с своим приятелем Костяковым он виделся каждый день. То старик сидит у него целый день, то зазовет к себе Адуева на щи. Уж он выучил Александра делать настойку, варить селянку и рубцы. Потом они отправляются вместе куда-нибудь в окрестную деревню — в поле. У Костякова 40 везде было много знакомых. С мужиками он рассуждал о их житье-бытье, с бабами шутил — и точно был балагур, как рекомендовал его Заезжалов. Александр предоставлял ему полную волю говорить, а сам большею частью молчал.

Он уже чувствовал, что идеи покинутого мира посещали его реже, вращаясь в голове медленнее, и, не находя в окружающем ни отражения, ни сопротивления, не сходили на язык и умирали не плодясь. В душе было дико и пусто, как в заглохшем саду. Ему оставалось уж немного до состояния совершенной одеревенелости. Еще несколько месяцев — и прощай! Но вот что случилось.

Однажды Александр с Костяковым удили рыбу. Костяков, в архалуке, в кожаной фуражке, водрузив на берегу
10 несколько удочек разной величины, и донных, и с поплавками, с бубенчиками и колокольчиками, курил из коротенькой трубки, а сам наблюдал, не смея мигнуть, за всей этой батареей удочек, в том числе и за удочкой Адуева, потому что Александр стоял, прислонясь к дереву, и смотрел в другую сторону. Долго так стояли они молча.

— У вас клюет, смотрите, Александр Федорыч! — вдруг шепотом сказал Костяков.

Адуев посмотрел на воду и опять отвернулся.

— Нет, это так показалось вам от зыби, — сказал он.

20 — Смотрите, смотрите! — закричал Костяков, — клюет, ей-богу, клюет! ай-ай! тащите, тащите! держите!

В самом деле, поплавок нырнул в воду, леса проворно побежала за ним же, за лесой поползла и палка с куста. Александр ухватился за палку, потом за лесу.

— Тише, полегоньку, не так... что вы это? — кричал Костяков, проворно перехватывая лесу. — Батюшки! тяжесть какая! не дергайте; водите, водите, а то оборвет. Вот так, направо, налево, сюда, к берегу! Отходите! дальше; теперь тащите, тащите, только не вдруг; вот так,
30 вот так...

На поверхности воды показалась огромная щука. Она быстро свилась кольцом, сверкнув серебристой чешуей, хлестнула хвостом направо, налево и обдала их обоих брызгами. Костяков побледнел.

— Какая щука-то! — закричал он почти с испугом и распростерся над водой, падал, спотыкался о свои удочки и ловил обеими руками вертевшуюся над водой щуку. — Ну, на берег, на берег, туда, дальше! там уж наша будет, как ни вертись. Вишь как скользит: словно бес! Ах, какая!

40 «Ах!» — кто-то повторил сзади.

Александр обернулся. В двух шагах от них стоял старик, под руку с ним хорошенькая девушка, высокого роста, с открытой головой и с зонтиком в руках. Брови у ней слегка нахмурились. Она немного нагнулась вперед

и с сильным участием следила глазами за каждым движением Костякова. Она даже не заметила Александра.

Адуева смутило это неожиданное явление. Он выпустил из рук палку, щука бухнулась в воду, грациозно вильнула хвостом и умчалась в глубь, увлекая за собой лесу. Всё это сделалось в одно мгновение.

— Александр Федорыч! что вы это? — как бешеный закричал Костяков и начал хватать лесу. Он дернул ее и вытащил только конец, но без крючка и без щуки.

Он, весь бледный, оборотился к Александру, показывая ему конец лесы, и с яростью посмотрел на него с минуту молча, потом плюнул.

— Никогда не пойду с вами рыбу ловить, будь я анафема! — промолвил он и отошел к своим удочкам.

В это время девушка заметила, что Александр смотрит на нее, покраснела и отступила назад. Старик, по-видимому ее отец, поклонился Адуеву. Адуев угрюмо отвечал на поклон, бросил удочку и сел шагах в десяти оттуда на скамью под деревом.

«И тут покоя нет! — думал он. — Вот какой-то Эдип с Антигоной. Опять женщина! Никуда не уйдешь. Боже мой! какая их пропасть везде!»

— Эх вы, рыболовы! — говорил между тем Костяков, поправляя свои удочки и поглядывая по временам злобно на Александра, — куда вам рыбу ловить! ловили бы вы мышей, сидя там у себя, на диване; а то рыбу ловить! Где уж ловить, коли из рук ушла? чуть во рту не была, только что не жареная! Диво еще, как у вас с тарелки не уходит!

— А есть клёв? — спросил старик.

— Да, вот видите, — отвечал Костяков, — вон у меня на шести удочках хоть бы поганый ершишка на смех клюнул; а там об эту пору, — диви бы на донную, а то с поплавком, — вот что привалило: щука фунтов в десять, да и тут прозевали. Вот, говорят, на ловца зверь бежит! Как не так: сорвись-ка у меня, так я бы ее в воде достал; а тут щука сама в зубы лезет, а мы спим... а еще рыболовы называются! Какие это рыболовы! этакие ли рыболовы бывают? Нет, настоящий-то рыболов, хоть из пушки рядом пали, не смигнет. А то это рыболовы! Куда вам рыбу ловить!

Девушка между тем успела разглядеть, что Александр был совсем другого рода человек, нежели Костяков. И костюм Александра был не такой, как Костякова, и талия,

и лета, и манеры, да и всё. Она быстро заметила в нем признаки воспитания, на лице прочла мысль; от нее не ускользнул даже и оттенок грусти.

«Но что ж он убежал! — подумала она. — Странно, кажется, я не такая, чтоб бегать от меня...»

Она гордо выпрямилась, опустила ресницы, потом подняла их и неблагоприятно взглянула на Александра.

Ей уж было досадно. Она увлекла отца и величаво прошла мимо Адуева. Старик опять раскланялся с Александром; но дочь не удостоила его даже взгляда.

«Пусть узнает он, что им вовсе не занимаются!» — думала она, поглядывая украдкой, смотрит ли Адуев.

Александр, хотя и не взглянул на нее, однако невольно принял позу поживописнее.

«Каково! он и не смотрит! — думала девушка. — Какая дерзость!»

Костяков на другой же день повлек Александра опять на рыбную ловлю и таким образом, по собственному закланию, стал анафемой.

20 Два дня ничто не нарушало их уединения. Александр сначала оглядывался, будто с боязнью; но, не видя никого, успокоился опять. Во второй день он вытащил огромного окуня. Костяков вполтину помирился с ним.

— Но всё это не щука! — говорил он со вздохом, — было счастье в руках, да не умели пользоваться; дважды этого не случится. А у меня опять ничего! на шесть удочек — ничего.

— А вы позвоните в колокольчики-то! — сказал какой-то крестьянин, остановившийся мимоходом посмотреть на успех ловли, — может, рыба на благовест-то и того... пойдет.

Костяков злобно посмотрел на него.

— Молчи ты, необразованный человек! — сказал он, — мужик!

Мужик пошел прочь.

— Дубина! — кричал вслед ему Костяков, — скот, так скот и есть. Шутил бы с своим братом, анафема этакая! скот, говорю тебе, мужик!

Боже сохрани раздражить охотника в минуту неудачи!

40 На третий день, когда они молча удили, устремив неподвижный взор на воду, сзади послышался шорох. Александр обернулся и вздрогнул, как будто его укусил комар, ни более ни менее. Старик и девушка были тут.

Адуев, косясь на них, едва отвечал на поклон старика, но, кажется, он ожидал этого посещения. Обыкновенно он ходил на рыбную ловлю очень небрежно одетый; а тут надел новое пальто и кокетливо повязал на шею голубую косыночку, волосы расправил, даже, кажется, немного позавил, и стал походить на идиллического рыбака. Выждав столько времени, сколько требовало приличие, он ушел и сел под дерево!

«Cela passe toute permission!»¹ — подумала Антигона, вспыхнув от гнева.

10

— Извините! — сказал Эдип Адуеву, — мы, может быть, помешали вам?..

— Нет! — отвечал Адуев. — Я устал.

— Есть ли клёв? — спросил старик Костякова.

— Какой клёв, когда под руку говорят, — отвечал тот сердито. — Вот тут прошел какой-то леший, болтнул под руку — и хоть бы клюнуло с тех пор. А вы, видно, близко в этих местах изволите жить? — спросил он у Эдипа.

— Вон наша дача, с балконом, — отвечал тот.

— Дорого изволите платить?

20

— Пятьсот рублей за лето.

— Дача, кажется, хорошая, хозяйственная, и на дворе строения много. Тысяч тридцать, чай, стала хозяину.

— Да, около того.

— Так-с.

— А это дочка ваша?

— Дочь.

— Так-с. Славная барышня! Гулять изволите?

— Да, гуляем. На даче жить, надо гулять.

— Точно, точно, как не гулять: время стоит хорошее; ³⁰ не то что на той неделе: какая была погода, ай-ай-ай! не приведи Бог! Чай, озими досталось.

— Бог даст, поправится.

— Дай Бог!

— Так у вас нынче не ловится!

— У меня ничего, а у них так вот, извольте посмотреть.

Он показал окуня.

— Доложу вам, — продолжал он, — это редкость, как они счастливы! Жаль, что думают не об этом, а то бы с ⁴⁰ их счастьем мы никогда с пустыми руками не уходили. Упустить такую щуку!

¹ «Это переходит всякие границы!» (фр.)

Он вздохнул.

Антигона начала живее вслушиваться, но Костяков замолчал.

Появление старика с дочерью стало повторяться чаще и чаще. И Адуев удостоил их внимания. Он иногда тоже перемолвит слова два со стариком, а с дочерью всё ничего. Ей сначала было досадно, потом обидно, наконец, стало грустно. А поговори с ней Адуев или даже обрати на нее обыкновенное внимание — она бы забыла о нем; ¹⁰ а теперь совсем другое. Сердце людское только, кажется, и живет противоречиями: не будь их, и его как будто нет в груди.

Антигона обдумала было какой-то ужасный план мщения, но потом мало-помалу оставила его.

Однажды, когда старик с дочерью подошли к нашим приятелям, Александр, погода немного, положил удочку на куст, а сам, по обыкновению, сел на свое место и машинально смотрел то на отца, то на дочь.

Они стояли к нему боком. В отце он не открыл ничего ²⁰ особенного. Белая блуза, нанковые панталоны и низенькая шляпа с большими полями, подбитыми зеленым плюшем. Но зато дочь! как грациозно опиралась она на руку старика! Ветер по временам отвеивал то локон от ее лица, как будто нарочно, чтобы показать Александру прекрасный профиль и белую шею, то приподнимал шелковую мантилью и выказывал стройную талию, то заигрывал с платьем и открывал маленькую ножку. Она задумчиво смотрела на воду.

Александр долго не мог отвести глаз от нее и ³⁰ почувствовал, что по телу его пробежала лихорадочная дрожь. Он отвернулся от соблазна и стал прутьем срывать головки с цветов.

«А! знаю я, что это такое! — думал он, — дай волю, оно бы и пошло! Вот и любовь готова: глупо! Дядюшка прав. Но одно животное чувство меня не увлечет, — нет, я до этого не унижусь».

— Можно мне поудить? — робко спросила девушка у Костякова.

— Можно, сударыня, отчего не можно? — отвечал тот, ⁴⁰ подавая ей удочку Адуева.

— Ну вот вам и товарищ! — сказал отец Костякову и, оставя дочь, пошел бродить вдоль берега.

— Смотри же, Лиза, налови рыбы к ужину, — прибавил он.

Несколько минут длилось молчание.

— Отчего это ваш товарищ такой угрюмый? — спросила Лиза тихо у Костякова.

— Третий раз местом обошли, сударыня.

— Что? — спросила она, сдвинув слегка брови.

— В третий раз, мол, места не дают.

Она покачала головой.

«Нет: не может быть! — подумала она, — не то!»

— Вы мне не верите, сударыня? будь я анафема! И шуку-то, помните, упустил — всё от этого.

10

«Не то, не то, — подумала она уже с уверенностью, — я знаю, отчего он упустил шуку».

— Ах, ах, — закричала она вдруг, — посмотрите, шевелится, шевелится.

Она дернула и ничего не поймала.

— Сорвалась! — сказал Костяков, глядя на удочку, — вишь, как червяка-то схватила: большой окунь должен быть. А вы не умеете, сударыня: не дали ему клонуть хорошенько.

— Да разве и тут надо уметь?

20

— Как и во всем, — сказал Александр машинально.

Она вспыхнула и с живостью обернулась, уронив в свою очередь удочку в воду. Но Александр смотрел уже в другую сторону.

— Как же достичь этого, чтобы уметь? — сказала она с легким трепетом в голосе.

— Чаще упражняться, — отвечал Александр.

«А, вот что! — думала она, замирая от удовольствия, — то есть чаще приходиться сюда, — понимаю! Хорошо, я буду приходиться, но я помучаю вас, господин дикарь, за все ваши дерзости...»

30

Так кокетство перевело ей ответ Александра, а он в тот день больше ничего и не сказал.

«Она подумает, пожалуй, бог знает что! — говорил он сам себе, — станет жеманиться, кокетничать... это глупо!»

С того дня посещения старика и девушки повторялись ежедневно. Иногда Лиза приходила без старика, с нянькой. Она приносила с собою работу, книги и садилась под дерево, показывая вид совершенного равнодушия к присутствию Александра.

40

Она думала тем затронуть его самолюбие и, как она говорила, помучить. Она вслух разговаривала с нянькой о доме, о хозяйстве, чтобы показать, что она даже и не

видит Адуева. А он иногда и точно не видал ее, увидев же, сухо кланялся — и ни слова.

Видя, что этот обыкновенный маневр ей не удался, она переменяла план атаки и раза два заговаривала с ним сама; иногда брала у него удочку. Александр мало-помалу стал с ней разговорчивее, но был очень осторожен и не допускал никакой искренности. Расчет ли то был с его стороны, или еще *прежних ран*, что ли, *ничто не излечило*, как он говорил, только он был довольно
10 холоден с ней и в разговоре.

Однажды старик велел принести на берег самовар. Лиза разливала чай. Александр упрямо отказался от чаю, сказав, что он не пьет его по вечерам.

«Все эти чаи ведут за собой сближение... знакомства... не хочу!» — подумал он.

— Что вы? да вчера четыре стакана выпили! — сказал Костяков.

— Я на воздухе не пью, — поспешно прибавил Александр.

20 — Напрасно! — сказал Костяков, — чай славнейший, цветочный, поди, рублей пятнадцать. Пожалуйте-ка еще, сударыня, да хорошо бы ромку!

Принесли и ром.

Старик зазывал Александра к себе, но он отказался наотрез. Лиза, услышав отказ, надула губки. Она стала добиваться от него причины нелюдимости. Как ни хитро наводила она разговор на этот предмет, Александр еще хитрее отделялся.

Эта таинственность только раздражала любопытство,
30 а может быть, и другое чувство Лизы. На лице ее, до тех пор ясном, как летнее небо, появилось облачко беспокойства, задумчивости. Она часто устремляла на Александра грустный взгляд, со вздохом отводила глаза и потупляла в землю, а сама, кажется, думала: «Вы несчастливы! может быть, обмануты... О, как бы я умела сделать вас счастливым! как бы берегла вас, как бы любила... я бы защитила вас от самой судьбы, я бы...» и проч.

Так думает большая часть женщин, и большая часть
40 обманывает тех, кто верит этому пению сирен. Александр будто ничего не замечает. Он говорит с ней, как бы говорил с приятелем, с дядей: никакого оттенка той нежности, которая невольно вкрадывается в дружбу мужчины и женщины и делает эти отношения не

похожими на дружбу. Оттого и говорят, что между мужчиной и женщиной нет и не может быть дружбы, что называемое дружбой между ними есть не что иное, как или начало, или остатки любви, или, наконец, самая любовь. Но, глядя на обращение Адуева с Лизой, можно было поверить, что такая дружба существует.

Однажды только он отчасти открыл или хотел открыть ей образ своих мыслей. Он взял со скамьи принесенную ею книгу и развернул. То был «Чайльд-Гарольд» во французском переводе. Александр покачал головой, вздохнул и молча положил книгу на место. 10

— Вам не нравится Байрон? Вы против Байрона? — сказала она. — Байрон такой великий поэт — и не нравится вам!

— Я ничего не говорю, а вы уж напали на меня, — отвечал он.

— Отчего же вы покачали головой?

— Так; мне жаль, что эта книга попалась вам в руки.

— Кого же жаль: книги или меня?

Александр молчал. 20

— Отчего же мне не читать Байрона? — спросила она.

— По двум причинам, — сказал Александр, помолчав. Он положил свою руку на ее руку, для большего ли убеждения, или потому, что у ней была беленькая и мягкая ручка, — и начал говорить тихо, мерно, поводя глазами то по локонам Лизы, то по шее, то по талии. По мере этих переходов возвышался постепенно и голос его.

— Во-первых, потому, — говорил он, — что вы читаете Байрона по-французски и, следовательно, для вас 30 потеряны красота и могущество языка поэта. Посмотрите, какой здесь бледный, бесцветный, жалкий язык! Это прах великого поэта: идеи его как будто расплылись в воде. Во-вторых, потому бы я не советовал вам читать Байрона, что... он, может быть, пробудит в душе вашей такие струны, которые бы век молчали без того...

Тут он крепко и выразительно сжал ее руку, как будто хотел придать тем вес своим словам.

— Зачем вам читать Байрона? — продолжал он, — может быть, жизнь ваша протечет тихо, как этот ручей: 40 видите, как он мал, мелок; он не отразит ни целого неба в себе, ни туч; на берегах его нет ни скал, ни пропастей; он бежит игриво; чуть-чуть лишь легкая зыбь рябит его поверхность; отражает он только зелень берегов, клочок

неба да маленькие облака... так, вероятно, протекла бы и жизнь ваша, а вы напрашиваетесь на напрасные волнения, на бури; хотите взглянуть на жизнь и людей сквозь мрачное стекло... Оставьте, не читайте! глядите на всё с улыбкой, не смотрите вдаль, живите день за днем, не разбирайте темных сторон в жизни и людях, а то...

— А то что?

— Ничего! — сказал Александр, будто опомнившись.

— Нет, скажите мне: вы, верно, испытали что-нибудь?

— Где моя удочка? Позвольте, мне пора.

Он казался встревоженным, что высказался так неосторожно.

— Нет, еще слово, — заговорила Лиза, — ведь поэт должен пробуждать сочувствие к себе. Байрон — великий поэт, отчего же вы не хотите, чтобы я сочувствовала ему? разве я так глупа, ничтожна, что не пойму?..

Она обиделась.

— Не то совсем: сочувствуйте тому, что свойственно вашему женскому сердцу; ищите того, что под лад ему, иначе может случиться страшный разлад... и в голове, и в сердце. — Тут он покачал головой, намекая на то, что он сам — жертва этого разлада.

— Один покажет вам, — говорил он, — цветок и заставит наслаждаться его запахом и красотой, а другой укажет только ядовитый сок в его чашечке... тогда для вас пропадут и красота, и благоухание. Он заставит вас сожалеть о том, зачем там этот сок, и вы забудете, что есть и благоухание... Есть разница между этими обоими людьми и между сочувствием к ним. Не ищите же яду, не добирайтесь до начала всего, что делается с нами и около нас; не ищите ненужной опытности: не она ведет к счастью.

Он замолчал. Она доверчиво и задумчиво слушала его.

— Говорите, говорите... — сказала она с детской покорностью, — я готова слушать вас целые дни, повиноваться вам во всем...

— Мне? — сказал Александр холодно, — помилуйте! какое я имею право располагать вашей волей?.. Извините, что я позволил себе сделать замечание. Читайте что угодно... «Чайльд-Гарольд» — очень хорошая книга, Байрон — великий поэт!

— Нет, не притворяйтесь! не говорите так. Скажите, что мне читать?

Он с педантической важностью предложил было ей несколько исторических книг, путешествий, но она сказала, что это ей и в пансионе надоело. Тогда он указал ей Вальтер-Скотта, Купера, несколько французских и английских писателей и писательниц, из русских двух или трех авторов, стараясь при этом, будто нечаянно, обнаружить свой литературный вкус и такт. Потом между ними уже не было подобного разговора.

Александр всё хотел бежать прочь. «Что мне женщины! — говорил он, — любить я не могу: я отжил для 10 них...»

«Ладно, ладно! — возражал на это Костяков, — вот женитесь, так увидите. Я сам, бывало, только бы играть с молодыми девками да бабами, а как пришла пора к венцу, словно кол в голову вбили: так кто-то и пихал жениться!»

И Александр не бежал. В нем зашевелились все прежние мечты. Сердце стало биться усиленным тактом. В глазах его мерещились то талия, то ножка, то локон Лизы, и жизнь опять немного просветлела. Дня три уж не Костяков 20 звал его, а он сам тащил Костякова на рыбную ловлю. «Опять! опять прежнее! — говорил Александр, — но я тверд!» — и между тем торопливо шел на речку.

Лиза всякий раз с нетерпением поджидала прихода приятелей. Костякову каждый вечер готовилась чашка душистого чаю с ромом — и, может быть, Лиза отчасти обязана была этой хитрости тем, что они не пропускали ни одного вечера. Если они опаздывали, Лиза с отцом шла им навстречу. Когда ненастная погода удерживала приятелей дома, на другой день упрекам, и им, и погоде, 30 не было конца.

Александр думал, думал и решился на время прекратить свои прогулки, бог знает с какой целью, он и сам не знал этого, и не ходил ловить рыбу целую неделю. И Костяков не ходил. Наконец пошли.

Еще за версту до того места, где они ловили, встретили они Лизу с нянькой. Она вскрикнула, завидя их, потом вдруг смешалась, покраснела. Адуев холодно поклонился, Костяков пустился болтать.

— Вот и мы, — сказал он, — вы не ждали? хе-хе-хе! 40 вижу, что не ждали: и самовара нет! Давненько, сударыня, давненько не видались! Есть ли клёв? Я всё порывался, да вот Александра Федорыча не мог уговорить: сидит дома... или нет, бишь, всё лежит.

Она с упреком взглянула на Адуева.

— Что это значит? — спросила она.

— Что?

— Вы не были целую неделю?

— Да, кажется, с неделю не был.

— Отчего же?

— Так, не хотелось...

— Не хотелось! — сказала она с изумлением.

— Да; а что?

10 Она молчала, но, кажется, думала: «Да разве вам может не хотеться идти сюда?»

— Я хотела послать папеньку в город к вам, — сказала она, — да не знала, где вы живете.

— В город, ко мне? зачем?

— Прекрасный вопрос! — сказала она обиженным тоном, — зачем? Проведать, не случилось ли с вами чего-нибудь, здоровы ли вы?..

— Да что же вам?..

— Что мне? Боже!

20 — Что Боже?

— Как что!.. да ведь... у меня ваши книги есть... — Она смешалась. — Неделю не быть! — прибавила она.

— Разве я непременно должен бывать здесь каждый день?

— Непременно!

— Зачем?

— Зачем, зачем! — Она печально глядела на него и твердила: — зачем, зачем!

Он взглянул на нее. Что это? слезы, смятение, и радость, и упреки? Она бледна, немного похудела, глаза покраснели.

«Так вот что! уже! — подумал Александр, — я не ожидал так скоро!» Потом он громко засмеялся.

— Зачем? говорите вы. Послушайте... — продолжала она. У ней в глазах блеснула какая-то решимость. Она, по-видимому, готовилась сказать что-то важное, но в ту минуту подходил к ним ее отец.

— До завтра, — сказала она, — завтра мне надо с вами поговорить; сегодня я не могу: сердце мое слишком
40 полно... Завтра вы придете? да, слышите? вы не забудете нас? не покинете?..

И побежала, не дождавшись ответа.

Отец поглядел пристально на нее, потом на Адуева и покачал головой. Александр молча смотрел ей вслед. Он

будто и жалел и досадовал на себя, что незаметно довел ее до этого положения; кровь бросилась ему не к сердцу, а в голову.

«Она любит меня, — думал Александр, едуци домой. — Боже мой, какая скука! как это нелепо: теперь нельзя и приехать сюда, а в этом месте рыба славно клюет... досадно!»

А между тем внутренне он, кажется, почему-то был не недоволен этим, стал весел и болтал поминутно с Костяковым.

Услужливое воображение, как нарочно, рисовало ему портрет Лизы во весь рост, с роскошными плечами, с стройной талией, не забыло и ножку. В нем зашевелилось странное ощущение, опять по телу пробежала дрожь, но не добралась до души — и замерла. Он разобрал это ощущение от источника до самого конца.

«Животное! — бормотал он про себя, — так вот какая мысль бродит у тебя в уме... а! обнаженные плечи, бюст, ножка... воспользоваться доверчивостью, неопытностью... обмануть... ну хорошо, обмануть, а там что? Та же скука, да еще может быть, угрызение совести, а из чего? Нет! нет! не допущу себя, не доведу и ее... О, я тверд! чувствую в себе довольно чистоты души, благородства сердца... Я не паду во прах — и не увлеку ее».

Лиза ждала его целый день с трепетом удовольствия, а потом сердце у ней сжалось; она оробела, сама не зная отчего, стала грустна и почти не желала прихода Александра. Когда же урочный час настал, а Александра не было, нетерпение ее превратилось в томительную тоску. С последним лучом солнца исчезла надежда; она заплакала.

На другой день опять ожила, опять с утра была весела, а к вечеру сердце стало пуще ныть и замирать и страхом, и надеждой. Опять не пришли.

На третий, на четвертый день то же. А надежда всё влекла ее на берег: чуть вдали покажется лодка или мелькнут по берегу две человеческие тени, она затрепещет и изнеможет под бременем радостного ожидания. Но когда увидит, что в лодке не они, что тени не их, она опустит уныло голову на грудь, отчаяние сильнее ляжет на душу... Через минуту опять коварная надежда шепчет ей утешительный предлог промедления — и сердце опять забьется ожиданием. А Александр медлил, как будто нарочно.

Наконец, когда она, полубольная, с безнадежностью в душе, сидела однажды на своем месте под деревом, вдруг послышался ей шорох; она обернулась и задрожала от радостного испуга: перед ней, сложа руки крестом, стоял Александр.

Она с радостными слезами протянула ему руки и долго не могла прийти в себя. Он взял ее за руку и жадно, также с волнением, вглядывался ей в лицо.

— Вы похудели! — сказал он тихо, — вы страдаете?

10 Она вздохнула.

— Как вы долго не были! — промолвила она.

— А вы ждали меня?

— Я? — с живостью отвечала она. — О, если б вы знали!.. — Она докончила ответ крепким пожатием его руки.

— А я пришел проститься с вами! — сказал он и остановился, наблюдая, что будет с ней.

Она с испугом и недоверчивостью взглянула на него.

— Неправда, — сказала она.

— Правда! — отвечал он.

20 — Послушайте! — вдруг заговорила она, робко оглядываясь во все стороны, — не уезжайте, ради Бога, не уезжайте! я вам скажу тайну... Здесь нас увидит папенька из окошек: пойдете к нам в сад, в беседку... она выходит в поле, я вас проведу.

Они пошли. Александр не сводил глаз с ее плеч, стройной талии и чувствовал лихорадочную дрожь.

«Что ж за важность, — думал он, идучи за ней, — что я пойду? ведь я так только... взгляну, как у них там, в беседке... отец звал же меня; ведь я мог бы идти прямо
30 и открыто... но я далек от соблазна, ей-богу, далек, и докажу это: вот нарочно пришел сказать, что еду... хотя и не еду никуда! Нет, демон! меня не соблазнишь». Но тут, кажется, как будто Крылова бесенок, явившийся из-за печки затворнику, шепнул и ему: «А зачем ты пришел сказать это? в этом не было надобности; ты бы не явился, и недели через две был бы забыт...»

Но Александру казалось, что он поступает благородно, являясь на подвиг самоотвержения, бороться с соблазном лицом к лицу. Первым трофеем его победы над собой
40 был поцелуй, похищенный им у Лизы, потом он обнял ее за талию, сказал, что никуда не едет, что выдумал это, чтоб испытать ее, узнать, есть ли в ней чувство к нему. Наконец, к довершению победы, он обещал на другой день явиться в этот же час в беседку. Идучи домой, он

рассуждал о своем поступке, и его обдавало то холодом, то жаром. Он замирал от ужаса и не верил самому себе; наконец решился не быть завтра — и явился ранее назначенного часа.

Это было в августе месяце. Уж смеркалось. Александр обещал быть в девять часов, а пришел в восемь, один, без удочки. Он, как вор, пробирался к беседке, то боязливо оглядываясь, то бежал опростею. Но кто-то опередил его. Тот тоже торопливо, запыхавшись, вбежал в беседку и сел на диван в темном углу.

10

Александра как будто стерегли. Он тихо отворил дверь, в сильном волнении, на цыпочках, подошел к дивану и тихо взял за руку — отца Лизы. Александр вздрогнул, отскочил, хотел бежать, но старик поймал его за фалду и посадил насильно подле себя на диван.

— Как это вы, батюшка, зашли сюда? — спросил он.

— Я... за рыбой... — бормотал Александр, едва шевеля губами. Зубы у него стучали один о другой. Старик был вовсе не страшен, но Александр, как и всякий вор, пойманный на деле, дрожал, как в лихорадке.

20

— За рыбой! — повторил старик насмешливо. — Знаете ли, что это значит ловить рыбу в мутной воде? Давно я замечаю за вами и вот узнал вас наконец; а Лизу свою знаю с пелен: она добра и доверчива, а вы, вы опасный плут...

Александр хотел встать, но старик удержал его за руку.

— Да, батюшка, не прогневайтесь. Вы прикинулись несчастным, притворно избегали Лизы, завлекли ее, уверились да и хотели воспользоваться... Хорошее ли это дело? Как вас назвать?

30

— Клянусь честью, я не предвидел последствий... — сказал Александр голосом глубокого убеждения, — я не хотел...

Старик молчал несколько минут.

— А может быть, и то! — сказал он, — может быть, вы не по любви, а так, от праздности, сбивали с толку бедную девочку, не зная сами, что из этого будет?.. удастся — хорошо, не удастся — нужды нет! В Петербурге много таких молодцов... Знаете, как поступают с такими франтами?..

40

Александр сидел, потупя взоры. У него недоставало духу оправдываться.

— А сначала я думал лучше об вас, да ошибся, крепко ошибся! Видишь, ведь каким тихоньким прикинулся!

слава Богу, что спохватился вовремя... Слушайте: терять времени некогда; глупая девчонка, того и гляди, явится на свидание. Я вчера подкараулил вас. Не нужно, чтоб она видела нас вместе: вы уйдете и, разумеется, не воротитесь никогда; она подумает, что вы обманули ее, и это послужит ей уроком. Только смотрите, чтоб вас здесь никогда не было; найдите другое место для рыбной ловли, а не то... я провожу вас неласково... Счастье ваше, что Лиза еще может прямо глядеть мне в глаза; я целый день наблюдал за нею... иначе вы не этой дорогой вышли бы отсюда... Прощайте!

Александр что-то хотел сказать, но старик отворил дверь и почти вытолкнул его.

Александр вышел, в каком положении — пусть судит читатель, если только ему не совестно будет на минуту поставить себя на его место. У моего героя брызнули даже слезы из глаз, слезы стыда, бешенства на самого себя, отчаяния...

«Зачем я живу? — громко сказал он, — отвратительная, убийственная жизнь! А я, я... нет! если у меня недостало твердости устоять против обольщения... то достанет духу прекратить это бесполезное, позорное существование...»

Он скорыми шагами подошел к речке. Она была черна. По волнам перебежали какие-то длинные, фантастические, уродливые тени. Берег, где стоял Александр, был мелок.

— Тут и умереть нельзя! — сказал он презрительно и пошел на мост, бывший оттуда во ста шагах. Александр облокотился на перила посередине моста и стал вглядываться в воду. Он мысленно простился с жизнью, посылал вздохи к матери, благословлял тетку, даже простил Надиньку. Слезы умиления текли у него по щекам... Он закрыл лицо руками... Неизвестно, что бы он сделал, как вдруг мост заколебался у него под ногами; он оглянулся: Боже мой! он на краю пропасти: перед ним зияет могила: половина моста отделилась и отплывает прочь... проходят барки; еще минута — и прощай! Он собрал все силы и сделал отчаянный прыжок... на ту сторону. Там он остановился, перевел дух и схватился за сердце.

— Что, барин, испужался? — спросил его сторож.

— Чего, братец, чуть было в середину не попал, — отвечал дрожащим голосом Александр.

— Боже храни! долго ль до греха? — промолвил сторож, зевая, — в запрошлом лете один барочник и так упал.

Александр пошел домой, придерживаясь рукой за сердце. Он по временам оглядывался на реку, на разведенный мост и, вздрагивая, тотчас же отворачивался и ускорял шаги.

Между тем Лиза кокетливо одевалась, не брала с собой ни отца, ни няньки и каждый вечер просиживала до поздней ночи под деревом.

Настали темные вечера: она всё ждала; но о приятелях ни слуху ни духу.

Пришла осень. Желтые листья падали с деревьев и усеяли берега; зелень полиняла; река приняла свинцовый цвет; небо было постоянно серо; дул холодный ветер с мелким дождем. Берега и река опустели: не слышно было ни веселых песен, ни смеху, ни звонких голосов по берегам; лодки и барки перестали сновать взад и вперед. Ни одно насекомое не прожужжит в траве, ни одна птичка не защечечет на дереве; только галки и вороны криком наводили уныние на душу; и рыба перестала клевать.

А Лиза всё ждала: ей непременно нужно было поговорить с Александром: открыть ему тайну. Она всё сидела на скамье, под деревом, в кацавейке. Она похудела; глаза у ней немного впали; щеки были подвязаны платком. Так застал ее однажды отец.

— Пойдем, полно тут сидеть, — сказал он, морщась и дрожа от холода, — посмотри, у тебя руки посинели; ты озябла. Лиза! слышишь ли? пойдем.

— Куда?

— Домой: мы сегодня переезжаем в город.

— Зачем? — спросила она с удивлением.

— Как зачем? осень на дворе; мы одни только остались на даче.

— Ах, Боже мой! — сказала она, — здесь и зимой будет хорошо: останемся.

— Вот что еще вздумала! Полно, полно, пойдем!

— Погодите! — сказала она умоляющим голосом, — еще воротятся красные дни.

— Послушай! — отвечал отец, трепля ее по щеке и указывая на то место, где удили приятели, — они не воротятся...

— Не... воротятся! — повторила она вопросительно-печальным голосом, потом подала отцу руку и тихо, склонив голову, пошла домой, оглядываясь по временам назад.

А Адуев с Костяковым давно уже удили где-то в противоположной стороне от этого места.

V

Мало-помалу Александр успел забыть и Лизу, и неприятную сцену с ее отцом. Он опять стал покоен, даже весел, часто хохотал плоским шуткам Костякова. Его смешил взгляд этого человека на жизнь. Они строили даже планы уехать куда-нибудь подальше, выстроить на берегу реки, где много рыбы, хижину и прожить там остаток дней. Душа Александра опять стала утопать в тине скудных понятий и материального быта. Но судьба не дремала, и ему не удавалось утонуть совсем в этой тине.

Осенью он получил от тетки записку с убедительнейшей просьбою проводить ее в концерт, потому что дядя был не совсем здоров. Приехал какой-то артист, европейская знаменитость.

— Как, в концерт! — говорил Александр в сильной тревоге, — в концерт, опять в эту толпу, в самый блеск мишуры, лжи, притворства... нет, не поеду.

— Поди, чай, еще пять рублей стоит, — заметил бывший тут Костяков.

— Билет стоит пятнадцать рублей, — сказал Александр, — но я охотно бы дал пятьдесят, чтоб не ехать.

— Пятнадцать! — закричал Костяков, всплеснув руками, — вот мошенники! анафемы! ездят сюда надувать нас, обирать деньги. Дармоеды проклятые! Не ездите, Александр Федорыч, плюньте! Добро бы вещь какая-нибудь: взял бы домой, на стол поставил или съел; а то послушал только, да и на: плати пятнадцать рублей! За пятнадцать рублей можно жеребенка купить.

— Иногда за то, чтобы провести с удовольствием вечер, платят и дороже, — заметил Александр.

— Провести вечер с удовольствием! Да знаете что: пойдемте в баню, славно проведем! Я всякий раз, как соскучусь, иду туда — и любо; пойдешь часов в шесть, а выйдешь в двенадцать, и погреешься, и тело почешешь, а иногда и знакомство приятное сведешь: придет духовное лицо, либо купец, либо офицер; заведут речь о торговле, что ли, или о преставлении света... и не вышел бы! а всего по шести гривен с человека! Не знают, где вечер провести!

Но Александр поехал. Он со вздохом выгасил давно ненадеванный, прошлогодний фрак, натянул белые перчатки.

— Перчатки пять рублей, итого двадцать? — считал Костяков, присутствовавший при туалете Адуева. — Двадцать рублей так вот, в один вечер, кинули! Послушать: эго диво!

Александр отвык одеваться порядочно. Утром он ходил на службу в покойном вицмундире, вечером в старом сюртуке или в пальто. Ему было неловко во фраке. Там теснило, тут чего-то недоставало; шее было слишком жарко в атласном платке.

Тетка встретила его приветливо, с чувством благодарности за то, что он решился для нее покинуть свое затворничество, но ни слова о его образе жизни и занятиях.

Отыскав в зале место для Лизаветы Александровны, Адуев прислонился к колонне, под сенью какого-то плечистого меломана, и начал скучать. Он тихонько зевнул в руку, но не успел закрыть рта, как раздались оглушительные рукоплескания, приветствовавшие артиста. Александр и не взглянул на него.

Заиграли интродукцию. Через несколько минут оркестр стал стихать. К последним его звукам прицепились чуть слышно другие, сначала резвые, игривые, как будто напоминавшие игры детства: слышались точно детские голоса, шумные, веселые; потом звуки стали плавнее и мужественнее; они, казалось, выражали юношескую беспечность, отвагу, избыток жизни и сил. Потом полились медленнее, тише, как будто передавали нежное излияние любви, задушевный разговор, и, ослабевая, мало-помалу слились в страстный шепот и незаметно смолкли...

Никто не смел пошевелиться. Масса людей замерла в безмолвии. Наконец вырвалось у всех единодушно *ах!* и шепотом пронеслось по зале. Толпа было зашевелилась, но вдруг звуки снова проснулись, полились *crescendo*, потоком, потом раздробились на тысячу каскадов и запрыгали, тесня и подавляя друг друга. Они гремели, будто упреками ревности, кипели бешенством страсти; ухо не успевало ловить их — и вдруг прервались, как точно у инструмента не стало более ни сил, ни голоса. Из-под смычка стал вырываться то глухой, отрывистый стон, то слышались плачущие, умоляющие звуки, и всё

окончилось болезненным, продолжительным вздохом. Сердце надрывалось: звуки как будто пели об обманутой любви и безнадежной тоске. Все страдания, вся скорбь души человеческой слышались в них.

Александр трепетал. Он поднял голову и поглядел сквозь слезы через плечо соседа. Худошавый немец, согнувшись над своим инструментом, стоял перед толпой и могущественно повелевал ею. Он кончил и равнодушно отер платком руки и лоб. В зале раздался рев и страшные рукоплескания. И вдруг этот артист согнулся в свой черед перед толпой и начал униженно кланяться и благодарить.

«И он поклоняется ей, — думал Александр, глядя с робостью на эту тысячеглавую гидру, — он, стоящий так высоко перед ней!..»

Артист поднял смычок, и — всё мгновенно смолкло. Заколебавшаяся толпа слилась опять в одно неподвижное тело. Потекли другие звуки, величавые, торжественные; от этих звуков спина слушателя выпрямлялась, голова поднималась, нос вздергивался выше: они пробуждали в сердце гордость, рождали мечты о славе. Оркестр начал глухо вторить, как будто отдаленный гул толпы, как народная молва...

Александр побледнел и поник головой. Эти звуки, как нарочно, внятно рассказывали ему прошедшее, всю жизнь его, горькую и обманутую.

— Посмотри, какая мина у этого! — сказал кто-то, указывая на Александра, — я не понимаю, как можно так обнаружиться: я Паганини слышал, да у меня и бровь не шевельнулась.

Александр проклинал и приглашение тетки, и артиста, а более всего судьбу, что она не дает ему забыться.

«И к чему? с какой целью? — думал он, — чего она добивается от меня? к чему напоминать мне мое бессилие, бесполезность прошедшего, которого не воротить?»

Проводив тетку до дому, он хотел было ехать к себе, но она удержала его за руку.

— Неужели вы не зайдете? — спросила она с упреком.

— Нет.

— Отчего же?

— Теперь уже поздно; когда-нибудь в другой раз.

— И это вы мне отказываете?

— Вам более, нежели кому-нибудь.

— Почему же?

— Долго говорить. Прощайте.

— Полчаса, Александр, слышите? не более. Если откажете, значит вы никогда ни на волос не имели ко мне дружбы.

Она просила с таким чувством, так убедительно, что у Александра не стало духу отказаться, и он пошел за ней, склонив голову. Петр Иванович был у себя в кабинете.

— Неужели я заслужила от вас одно пренебрежение, Александр? — спросила Лизавета Александровна, усадив его у камина. 10

— Вы ошибаетесь: это не пренебрежение, — отвечал он.

— Что же это значит? как это назвать: сколько раз я писала к вам, звала к себе, вы не шли, наконец, перестали отвечать на записки.

— Это не пренебрежение...

— Что же?

— Так! — сказал Александр и вздохнул. — Прощайте, ma tante. 20

— Пойдите! что я вам сделала? что с вами, Александр? Отчего вы такие? отчего равнодушны ко всему, никуда не ходите, живете в обществе не по вас?

— Да так, ma tante; этот образ жизни мне нравится: так покойно жить, хорошо; это по мне...

— По вас? вы находите пищу для ума и сердца в такой жизни, с такими людьми?

Александр кивнул головой.

— Вы притворяетесь, Александр; вы чем-нибудь сильно огорчены и молчите. Прежде, бывало, вы находили, кому поверить ваше горе; вы знали, что всегда найдете утешение или по крайней мере сочувствие; а теперь разве у вас никого уж нет? 30

— Никого!..

— Вы никому не верите?

— Никому.

— Разве вы не вспоминаете иногда о вашей матушке... о ее любви к вам... ласках?.. Неужели вам не приходило в голову, что, может быть, кто-нибудь и здесь любит вас если не так, как она, то по крайней мере как сестра или, еще больше, как друг? 40

— Прощайте, ma tante! — сказал он.

— Прощайте, Александр: я вас не удерживаю более, — отвечала тетка. У ней навернулись слезы.

Александр взял было шляпу, но потом положил и поглядел на Лизавету Александровну.

— Нет, не могу бежать от вас: недостает сил! — сказал он, — что вы делаете со мной?

— Будьте опять прежним Александром, хоть на одну минуту. Расскажите, поверьте мне всё...

— Да, я не могу молчать перед вами: вам выскажу всё, что у меня на душе, — сказал он. — Вы спрашиваете, отчего я прячусь от людей, отчего я ко всему равнодушен, отчего не вижусь даже с вами?.. отчего? Знайте же, что жизнь давно опротивела мне, и я избрал себе такой быт, где она меньше заметна. Я ничего не хочу, не ищу, кроме покоя, сна души. Я изведаль всю пустоту и всю ничтожность жизни — и глубоко презираю ее. *Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей.* Деятельность, хлопоты, заботы, развлечение — всё надоело мне. Я ничего не хочу добиваться и искать; у меня нет цели, потому что к чему повлечешься, достигнешь — и увидишь, что всё призрак. Радости для меня миновали; я к ним охладел. В образованном мире, с людьми, я сильнее чувствую невыгоды жизни, а у себя, один, вдалеке от толпы, я одеревенел: случись что хочет в этом сне — я не замечаю ни людей, ни себя. Я ничего не делаю и не вижу ни чужих, ни своих поступков — и покоен... мне всё равно: счастья не может быть, а несчастье не примет меня...

— Это ужасно! Александр, — сказала тетка, — в эти лета такое охлаждение ко всему...

— Чему вы удивляетесь, ma tante? Отделитесь на минуту от тесного горизонта, в котором вы заключены, посмотрите на жизнь, на мир: что это такое?.. Что вчера велико, сегодня ничтожно; чего хотел вчера, не хочешь сегодня; вчерашний друг — сегодня враг. Стоит ли хлопотать из чего-нибудь, любить, привязываться, ссориться, мириться — словом, жить? не лучше ли спать и умом, и сердцем? Я и сплю, оттого и не хожу никуда, и к вам особенно... Я уснул было совсем, а вы будите и ум, и сердце, и толкаете их опять в омут. Если хотите видеть меня веселым, здоровым, может быть, живым, даже, пожалуй, по понятиям дядюшки, счастливым, — оставьте меня там, где я теперь. Дайте успокоиться этим волнениям; пусть мечты улягутся, пусть ум оцепенеет совсем, сердце окаменеет, глаза отвыкнут от слез, губы от улыбки — и тогда, через год, через два, я приду к вам

совсем готовый на всякое испытание; тогда не пробудите, как ни старайтесь, а теперь...

Он сделал отчаянный жест.

— Смотрите, Александр, — живо перебила тетка, — вы в одну минуту изменились: у вас слезы на глазах; вы еще всё те же; не притворяйтесь же, не удерживайте чувства, дайте ему волю...

— Зачем? я не буду лучше от этого: я буду только сильнее мучиться. Нынешний вечер уничтожил меня в собственных глазах. Я ясно понял, что не имею права 10
никого винить в своей тоске. Я сам погубил свою жизнь. Я мечтал о славе, бог знает с чего, и пренебрег своим делом; я испортил свое скромное назначение и теперь не поправлю прошлого: поздно! Я бежал толпы, презирал ее, — а этот немец, с своей глубокой, сильной душой, с поэтической натурой, не отрекается от мира и не бежит от толпы: он гордится ее рукоплесканиями. Он понимает, что он едва заметное кольцо в бесконечной цепи человечества; он то же всё знает, что я: ему знакомы 20
страдания. Слышали, как он рассказал в звуках всю жизнь: и радости, и горечь ее, и счастье, и скорбь души? она понятна ему. Как стал я сегодня вдруг мелок, ничтожен в собственных глазах с своей тоской, страданиями!.. Он пробудил во мне горькое сознание, что я горд — и бессилён... Ах, зачем вы вызвали меня? Прощайте, пустите меня.

— Чем же я виновата, Александр? неужели я могла пробудить в вас горькое чувство — я?..

— Вот то-то и беда! ваше ангельское, доброе лицо, 30
ma tante, кроткие речи, дружеское пожатие руки — всё это смущает и трогает меня: мне хочется плакать, хочется опять жить, томиться... а зачем?

— Как зачем? Оставайтесь всегда с нами; и если вы считаете меня хоть немного достойною вашей дружбы, стало быть, вы найдете утешение и в другой; не одна я такая... вас оценят.

— Да! вы думаете, это всегда будет утешать меня? вы думаете, я поверю этому минутному умилению? Вы, точно, женщина в благороднейшем смысле слова; вы созданы на радость, на счастье мужчины; да можно ли 40
надеяться на это счастье? можно ли поручиться, что оно прочно, что сегодня-завтра судьба не обернет вверх дном этой счастливой жизни, — вот вопрос! Можно ли верить чему-нибудь и кому-нибудь, даже себе? Не лучше ли жить

без всяких надежд и волнений, не ожидать ничего, не искать радостей и, стало быть, не оплакивать потерь?..

— От судьбы вы нигде не уйдете, Александр: и там, где вы теперь, она всё будет преследовать вас...

— Да, правда; только там судьбе не над чем забавляться, больше забавляюсь я над нею: смотришь, то рыба сорвется с удочки, когда уж протянул к ней руку, то дождь пойдет, когда собрался за город, или погода хороша, да самому не хочется... ну и смешно...

10 У Лизаветы Александровны недоставало более возражений.

— Вы женитесь... будете любить... — сказала она нерешительно.

— Женюсь! вот еще! Неужели вы думаете, что я вверю свое счастье женщине, если б даже и полюбил ее, чего тоже быть не может? или неужели вы думаете, что я взялся бы сделать женщину счастливой? Нет, я знаю, что мы обманем друг друга и оба обманемся. Дядюшка Петр Иваныч и опыт научили меня...

20 — Петр Иваныч! да, он много виноват! — сказала Лизавета Александровна со вздохом, — но вы имели право не слушать его... и были бы счастливы в супружестве...

— Да, в деревне, конечно; а теперь... Нет, ma tante, супружество не для меня. Я теперь не могу притвориться, когда разлюблю и перестану быть счастлив; не могу также не увидеть, когда жена притворится; будем оба хитрить, как хитрите... например, вы и дядюшка...

30 — Мы? — с изумлением и с испугом спросила Лизавета Александровна.

— Да, вы! Скажите-ка, так ли вы счастливы, как мечтали некогда?

— Не так, как мечтала... но счастлива иначе, нежели мечтала, разумнее, может быть, больше — не всё ли это равно?.. — с замешательством отвечала Лизавета Александровна, — и вы тоже...

40 — Разумнее! Ах, ma tante, не вы бы говорили: так дядюшкой и отзывается! Знаю я это счастье по его методе: разумнее — так, но больше ли? ведь у него всё счастье, несчастья нет. Бог с ним! Нет! моя жизнь исчерпана; я устал, утомился жить...

Оба замолчали. Александр поглядывал на шляпу; тетка придумывала, чем бы еще остановить его.

— А талант! — вдруг сказала она с живостью.

— Э! ma tante! охота вам смеяться надо мной! Вы забыли русскую поговорку: *лежачего не бьют*. У меня таланта нет, решительно нет. У меня есть чувство, была горячая голова; мечты я принял за творчество и творил. Недавно еще я нашел кое-что из старых грехов, прочел — и самому смешно стало. Дядюшка прав, что принудил меня сжечь всё, что было. Ах, если б я мог воротить прошедшее! Не так я распорядился им.

— Не разочаровывайтесь до конца! — сказала она, — всякому из нас послан тяжкий крест...

10

— Кому это крест? — спросил Петр Иванович, входя в комнату. — Здравствуй, Александр! тебе, что ли?

Петр Иванович сгорбился и шел, едва передвигая ноги.

— Только не такой, как ты думаешь, — сказала Лизавета Александровна, — я говорю о тяжком кресте, который несет Александр...

— Что он там еще несет? — спросил Петр Иванович, опускаясь с величайшею осторожностью в кресла. — Ох! какая боль! что это за наказание!

Лизавета Александровна помогла ему сесть, подложила под спину подушку, под ноги подвинула скамеечку.

20

— Что с вами, дядюшка? — спросил Александр.

— Видишь: тяжкий крест несу! Ох, поясница! Вот крест так крест: дослужился-таки до него! Ох, Боже мой!..

— Вольно же тебе так много сидеть: ты знаешь здешний климат, — сказала Лизавета Александровна, — доктор велел больше ходить, так нет: утро пишет, а вечером в карты играет.

— Что ж я стану, разиня рот, по улицам ходить да время терять?

30

— Вот и наказан.

— Этого здесь не минуешь, если хочешь заниматься делом. У кого не болит поясница? Это почти вроде знака отличия у всякого делового человека... ох! не разогнешь спины. Ну, что ты, Александр, делаешь?

— Всё то же, что прежде.

— А! ну так у тебя поясница не заболит. Это удивительно, право!

— Что ж ты удивляешься: не ты ли сам отчасти виноват, что он стал такой... — сказала Лизавета Александровна.

40

— Я? вот это мне нравится! я приучил его ничего не делать!

— Точно, дядюшка, вам нечему удивляться, — сказал Александр, — вы много помогли обстоятельствам сделать

из меня то, что я теперь; но я вас не виню. Я сам виноват, что не умел или, лучше сказать, не мог воспользоваться вашими уроками как следует, потому что не был приготовлен к ним. Вы, может быть, отчасти виноваты тем, что поняли мою натуру с первого раза и, несмотря на то, хотели переработать ее; вы, как человек опытный, должны были видеть, что это невозможно... вы возбудили во мне борьбу двух различных взглядов на жизнь и не могли примирить их: что ж вышло? Всё превратилось во мне в сомнение, в какой-то хаос.

— Ох, поясница! — стонал Петр Иванович. — Хаос! ну вот из хаоса я и хотел сделать что-нибудь.

— Да! а что сделали? представили мне жизнь в самой безобразной наготе, и в какие лета? когда я должен был понимать ее только с светлой стороны.

— То есть я старался представить тебе жизнь как она есть, чтоб ты не забирал себе в голову, чего нет. Я помню, каким ты молодцом приехал из деревни: надо ж было предостеречь тебя, что здесь таким быть нельзя. Я предостерег тебя, может быть, от многих ошибок и глупостей! если б не я, ты бы их еще не столько наделал!

— Может быть. Но вы только выпустили одно из виду, дядюшка: счастье. Вы забыли, что человек счастлив заблуждениями, мечтами и надеждами; действительность не счастливит...

— Какую ты дичь несешь! Это мнение привез ты прямо с азиатской границы: в Европе давно перестали верить этому. Мечты, игрушки, обман — всё это годится для женщин и детей, а мужчине надо знать дело как оно есть. По-твоему, это хуже, нежели обманываться?

— Да, дядюшка, что ни говорите, а счастье соткано из иллюзий, надежд, доверчивости к людям, уверенности в самом себе, потом из любви, дружбы... А вы твердили мне, что любовь — это вздор, пустое чувство, что легко, и даже лучше, прожить без него; что любить страстно — не великое достоинство, что этим не перешеголяешь животное...

— Да ты вспомни, как ты хотел любить: сочинял плохие стихи, говорил диким языком, так что до смерти надоел этой твоей... Груне, что ли! Этим ли привязывают женщину?

— Чем же? — сухо спросила Лизавета Александровна мужа.

— Ох, как колет поясницу! — простонал Петр Иванович.

— Потом вы твердили, — продолжал Александр, — что привязанности глубокой, симпатической нет, а есть одна привычка...

Лизавета Александровна молча и глубоко посмотрела на мужа.

— То есть я, вот видишь ли, я говорил тебе для того... чтоб... ты... того... ой-ой, поясница!

— И вы говорили это, — продолжал Александр, — двадцатилетнему мальчику, для которого любовь — всё, которого деятельность, цель — всё вертится около этого 10 чувства: им он может спастись или погибнуть.

— Точно двести лет назад родился! — бормотал Петр Иваныч, — жить бы тебе при царе Горохе.

— Вы растолковали мне, — говорил Александр, — теорию любви, обманов, измен, охлаждений... зачем? я знал всё это прежде, нежели начал любить; а любя, я уж анализировал любовь, как ученик анатомирует тело под руководством профессора и вместо красоты форм видит только мускулы, нервы...

— Однако, я помню, это не помешало тебе сходить 20 с ума по этой... как ее?... Дашиньке, что ли?

— Да; но вы не дали мне обмануться: я бы видел в измене Надиньки несчастную случайность и ожидал бы счастья в будущем; с этим ожиданием и дожил бы до тех пор, когда уж не нужно было бы любви, а вы сейчас подоспели с теорией и показали мне, что это общий порядок, — и я, в двадцать пять лет, потерял уверенность к счастью и к жизни и состарелся душой. Дружбу вы отвергали, называли и ее привычкой; называли себя, и то, вероятно, шутя, лучшим моим другом, потому разве, 30 что успели доказать, что дружбы нет.

Петр Иваныч слушал и поглаживал одной рукой спину. Он возражал небрежно, как человек, который, казалось, одним словом мог уничтожить все взводимые на него обвинения.

— И дружбу хорошо ты понимал, — сказал он, — тебе хотелось от друга такой же комедии, какую разыграли, говорят, в древности вон эти два дурака... как их? что один еще остался в залоге, пока друг его съездил повидаться... Что, если б все-то так делали, ведь просто 40 весь мир был бы дом сумасшедших!

— Я любил людей, — продолжал Александр, — верил в их достоинства, видел в них братьев, простер было к ним горячие объятия...

— Да, очень нужно! Помню твои объятия, — перебил Петр Иванович, — ты мне ими тогда порядочно надоел.

— А вы показали мне, чего они стоят. Вместо того чтобы руководствовать мое сердце в привязанностях, вы научили меня не чувствовать, а разбирать, рассматривать и остерегаться людей: я рассмотрел их — и разлюбил!

— Кто ж тебя знал! Видишь, ведь ты какой прыткий: я думал, что ты от этого будешь только снисходительнее к ним. Я вот знаю их, да не возненавидел...

10 — Что ж, ты любишь людей? — спросила Лизавета Александровна.

— Привык... к ним.

— Привык! — повторила она монотонно.

— И он бы привык, — сказал Петр Иванович, — да он уж прежде был сильно испорчен в деревне теткой да желтыми цветами, оттого так туго и развивается.

— Потом я верил в самого себя, — начал опять Александр, — вы показали мне, что я хуже других, — я возненавидел и себя.

20 — Если б ты рассматривал дело похладнокровнее, так увидел бы, что ты не хуже других и не лучше, чего я и хотел от тебя: тогда не возненавидел бы ни других, ни себя, а только равнодушнее сносил бы людские глупости и был бы повнимательнее к своим. Я вот знаю цену себе, вижу, что нехорош, а признаюсь, очень люблю себя.

— А! тут *любишь*, а не *привык!* — холодно заметила Лизавета Александровна.

— Ох, поясница! — захохал Петр Иванович.

30 — Наконец, вы, одним ударом, без предостережения, без жалости, разрушили лучшую мечту мою: я думал, что во мне есть искра поэтического дарования; вы жестоко доказали мне, что я не создан жрецом изящного; вы с болью вырвали у меня эту занозу из сердца и предложили мне труд, который был мне противен. Без вас я писал бы...

— И был бы известен публике как бездарный писатель, — перебил Петр Иванович.

40 — Что мне до публики? Я хлопотал о себе, я приписывал бы свои неудачи злости, зависти, недоброжелательству и мало-помалу свыкся бы с мыслью, что писать не нужно, и сам бы принялся за другое. Чему же вы удивляетесь, что я, узнавши всё, упал духом?..

— Ну, что скажешь? — спросила Лизавета Александровна.

— Не хочется и говорить-то: как отвечать на такой вздор? Я виноват, что ты, едучи сюда, воображал, что здесь всё цветы желтые, любовь да дружба; что люди только и делают, что одни пишут стихи, другие слушают да изредка, так, для разнообразия, примутся за прозу?.. Я доказывал тебе, что человеку, вообще везде, а здесь в особенности, надо работать, и много работать, даже до боли в пояснице... цветов желтых нет, есть чины, деньги: это гораздо лучше! Вот что я хотел доказать тебе! я не отчаивался, что ты поймешь наконец, что такое жизнь, 10 особенно как ее теперь понимают. Ты и понял, да как увидел, что в ней мало цветов и стихов, и вообразил, что жизнь — большая ошибка, что ты видишь это и оттого имеешь право скучать; другие не замечают и оттого живут припеваючи. Ну чем ты недоволен? чего тебе недостает? Другой, на твоём месте, благословил бы судьбу. Ни нужда, ни болезнь, никакое реальное горе не дотрогивалось до тебя. Чего у тебя нет? Любви, что ли? Мало еще тебе: любил ты два раза и был любим. Тебе изменили, ты поквитался. Мы решили, что друзья у тебя 20 есть, какие у другого редко бывают: не фальшивые; в воду за тебя, правда, не бросятся и на костер не полезут, обниматься тоже не охотники; да ведь это до крайности глупо; пойми наконец! но зато совет, помощь, даже деньги — всегда найдешь... Это ли еще не друзья? Со временем ты женишься; карьера перед тобой: займись только; а вместе с ней и фортуна. Делай всё, как другие, — и судьба не обойдет тебя: найдешь свое. Смешно воображать себя особенным, великим человеком, когда ты не создан таким! Ну о чем же ты горюешь? 30

— Я вас не виню, дядюшка, напротив, я умею ценить ваши намерения и от души благодарю за них. Что делать, что они не удались? Не вините же и меня. Мы не поняли друг друга — вот в чем наша беда! Что может нравиться и годиться вам, другому, третьему — не нравится мне...

— Нравится мне, другому, третьему!.. не то говоришь, милый! разве я один так думаю и действую, как учил думать и действовать тебя?.. Посмотри кругом: рассмотри массу — *толпу*, как ты называешь ее, — не ту, что в деревне живет: туда это долго не дойдет, а современную, 40 образованную, мыслящую и действующую: чего она хочет и к чему стремится? как мыслит? и увидишь, что именно так, как я учил тебя. Чего я требовал от тебя — не я всё это выдумал.

— Кто же? — спросила Лизавета Александровна.

— Век.

— Так непременно и надо следовать всему, что выдумает твой век? — спросила она, — так всё и свято, всё и правда?

— Всё и свято! — сказал Петр Иванович.

— Как! правда, что надо больше рассуждать, нежели чувствовать? Не давать воли сердцу, удерживаться от порывов чувства? не предаваться и не верить искреннему
10 излиянию?

— Да, — сказал Петр Иванович.

— Действовать везде по методу, меньше доверять людям, считать всё ненадежным и жить одному про себя?

— Да.

— И это свято, что любовь не главное в жизни, что надо больше любить свое дело, нежели любимого человека, не надеяться ни на чью преданность, верить, что любовь должна кончаться охлаждением, изменой или привычкой? что дружба — привычка? Это всё правда?

20 — Это была всегда правда, — отвечал Петр Иванович, — только прежде не хотели верить ей, а нынче это сделалось общеизвестной истиной.

— Свято и это, что всё надо рассматривать, всё рассчитывать и обдумывать, не позволять себе забыться, помечтать, увлечься хоть и обманом, лишь бы быть оттого счастливым?..

— Свято, потому что разумно, — сказал Петр Иванович.

— Правда и это, что умом надобно действовать и с близкими сердцу... например, с женой?..

30 — У меня еще никогда так не болела поясница... ох! — сказал Петр Иванович, корчась на стуле.

— А! поясница! Хорош век! нечего сказать.

— Очень хорош, милая; так, из капризов, ничего не делается; везде разум, причина, опыт, постепенность и, следовательно, успех; всё стремится к совершенствованию и добру.

— В ваших словах, дядюшка, может быть, есть и правда, — сказал Александр, — но она не утешает меня. Я по вашей теории знаю всё, смотрю на вещи вашими
40 глазами; я воспитанник вашей школы, а между тем мне скучно жить, тяжело, невыносимо... Отчего же это?

— А от непривычки к новому порядку. Не один ты такой: еще есть отсталые; это всё *страдальцы*. Они точно жалки; но что ж делать? Нельзя же для горсти людей

оставаться назади целой массе. На всё, в чем ты меня сейчас обвинил, — сказал Петр Иванович, подумав, — у меня есть одно и главное оправдание: помнишь ли, когда ты явился сюда, я, после пятиминутного разговора с тобой, советовал тебе ехать назад? Ты не послушал. За что же теперь нападаешь на меня? Я предсказал тебе, что ты не привыкнешь к настоящему порядку вещей, а ты понадеялся на мое руководство, просил советов... говорил высоким слогом о современных успехах ума, о стремлениях человечества... о практическом направлении 10 века — ну вот тебе! Нельзя же мне было нянчиться с тобой с утра до вечера: что мне за надобность? Я не мог ни закрывать тебе рта платком на ночь от мух, ни крестить тебя. Я говорил тебе дело, потому что ты просил меня об этом; а что из этого вышло, то уж до меня не касается. Ты не ребенок и не глуп: можешь рассудить и сам... Тут чем бы свое дело делать, ты — то стонешь от измены девчонки, то плачешь в разлуке с другом, то страдаешь от душевной пустоты, то от полноты ощущений; ну что это за жизнь? Ведь это пытка! Посмотри-ка 20 на нынешнюю молодежь: что за молодцы! Как всё кипит умственной деятельностью, энергией, как ловко и легко управляют они со всем этим вздором, что на вашем старом языке называется *треволнениями, страданиями...* и черт знает что еще!

— Как ты легко рассуждаешь! — сказала Лизавета Александровна, — и тебе не жаль Александра?

— Нет. Вот если б у него болела поясница, так я бы пожалел: это не вымысел, не мечта, не поэзия, а реальное горе... Ох! 30

— Научите же меня, дядюшка, по крайней мере, что мне делать теперь? Как вы вашим умом разрешите эту задачу?

— Что делать? Да... ехать в деревню.

— В деревню! — повторила Лизавета Александровна, — в уме ли ты, Петр Иванович? Что он там станет делать?

— В деревню! — повторил Александр, и оба глядели на Петра Ивановича.

— Да, в деревню: там ты увидишься с матерью, 40 утешись ее. Ты же ищешь покойной жизни: здесь вон тебя всё волнует; а где покоее, как не там, на озере, с теткой... Право, поезжай! А кто знает? может быть, ты и того... Ох!

Он схватился за спину.

Недели через две Александр вышел в отставку и пришел проститься с дядей и теткой. Тетка и Александр были грустны и молчаливы. У Лизаветы Александровны висели слезы на глазах. Петр Иванович говорил один.

— Ни карьеры, ни фортуны! — говорил он, качая головою, — стоило приезжать! осрамил род Адуевых!

— Да полно, Петр Иванович, — сказала Лизавета Александровна, — ты надоел с своей карьерой.

— Как же, милая, в восемь лет ничего не сделать!

— Прощайте, дядюшка, — сказал Александр. — Благодарю вас за всё, за всё...

— Не за что! Прощай, Александр! Не надо ли денег на дорогу?

— Нет, благодарю: мне станет.

— Что это, никогда не возьмет! это, наконец, бесит меня. Ну, с Богом, с Богом.

— И тебе не жаль расстаться с ним? — промолвила Лизавета Александровна.

— М-м! — промычал Петр Иванович, — я... привык к нему. Помни же, Александр, что у тебя есть дядя и друг — слышишь? и если понадобятся служба, занятия и презренный металл, смело обратись ко мне: всегда найдешь и то, и другое, и третье.

— А если понадобится участие, — сказала Лизавета Александровна, — утешение в горе, теплая, надежная дружба...

— И искренние излияния, — прибавил Петр Иванович.

— ...так вспомните, — продолжала Лизавета Александровна, — что у вас есть тетка и друг.

— Ну, этого, милая, и в деревне не занимать стать: всё есть: и цветы, и любовь, и излияния, и даже тетка.

Александр был растроган; он не мог сказать ни слова. Прощаясь с дядей, он простер было к нему объятия, хоть и не так живо, как восемь лет назад. Петр Иванович не обнял его, а взял только его за обе руки и пожал их крепче, нежели восемь лет назад. Лизавета Александровна залилась слезами.

— Ух! гора с плеч, слава Богу! — сказал Петр Иванович, когда Александр уехал, — как будто и поясице легче стало!

— Что он тебе сделал? — промолвила сквозь слезы жена.

— Что? просто мученье: хуже, чем с фабричными: тех, если задурят, так посечешь; а с ним что станешь делать?

Тетка проплакала целый день, и когда Петр Иванович спросил обедать, ему сказали, что стола не готовили, что барыня заперлась у себя в кабинете и не приняла повара.

— А всё Александр! — сказал Петр Иванович. — Что это за мука с ним!

Он поворчал, поворчал и поехал обедать в Английский клуб.

Дилижанс рано утром медленно тащился из города и 10 увозил Александра Федорыча и Евсея.

Александр, высунув голову из окна кареты, всячески старался настроить себя на грустный тон и наконец мысленно разрешился монологом.

Проезжали мимо куаферов, дантистов, модисток, барских палат. «Прощай, — говорил он, покачивая головой и хватаясь за свои жиденькие волосы, — прощай, город поддельных волос, вставных зубов, ваточных подражаний природе, круглых шляп, город учтивой спеси, искусственных чувств, безжизненной суматохи! Прощай, вели- 20 колепная гробница глубоких, сильных, нежных и теплых движений души. Я здесь восемь лет стоял лицом к лицу с современною жизнью, но спиною к природе, и она отвернулась от меня: я утратил жизненные силы и состарелся в двадцать девять лет; а было время...

Прощай, прощай, город,

Где я страдал, где я любил,

Где сердце я похоронил.

К вам стираю объятия, широкие поля, к вам, благодатные веси и пажити моей родины: примите меня 30 в свое лоно, да оживу и воскресну душой!»

Тут он прочел стихотворение Пушкина: «Художник-варвар кистью сонной» и т. д., отер влажные глаза и спрятался в глубину кареты.

VI

Утро было прекрасное. Знакомое читателю озеро в селе Грачах чуть-чуть рябело от легкой зыби. Глаза невольно зажимались от ослепительного блеска солнечных лучей, сверкавших то алмазными, то изумрудными искрами в воде. Плакучие ивы купали в озере свои ветви, 40 и кое-где берега поросли осокой, в которой прятались

большие желтые цветы, покоившиеся на широких плавающих листьях. На солнце набегали иногда легкие облака; вдруг оно как будто отвернется от Грачей; тогда и озеро, и роща, и село — всё мгновенно потемнеет; одна даль ярко сияет. Облако пройдет — озеро опять заблестит, нивы обольются точно золотом.

Анна Павловна с пяти часов сидит на балконе. Что ее вызвало: восход солнца, свежий воздух или пение жаворонка? Нет! она не сводит глаз с дороги, что ¹⁰ идет через рощу. Пришла Аграфена просить ключей. Анна Павловна не поглядела на нее и, не спуская глаз с дороги, отдала ключи и не спросила даже зачем? Явился повар: она, тоже не глядя на него, отдала ему множество приказаний. Другой день стол заказывался на десять человек.

Анна Павловна осталась опять одна. Вдруг глаза ее заблестали; все силы ее души и тела перешли в зрение: на дороге что-то зачернело. Кто-то едет, но тихо, медленно. Ах! это воз спускается с горы. Анна Павловна ²⁰ нахмурилась.

— Вот кого-то понесла нелегкая! — проворчала она, — нет, чтоб объехать кругом; все лезут сюда.

Она с неудовольствием опустила опять в кресло и опять с трепетным ожиданием устремила взгляд на рощу, не замечая ничего вокруг. А вокруг было что заметить: декорация начала значительно изменяться. Полуденный воздух, накаленный знойными лучами солнца, становился душен и тяжел. Вот и солнце спряталось. Стало темно. И лес, и дальние деревни, и трава — всё облеклось в ³⁰ безразличный, какой-то зловещий цвет.

Анна Павловна очнулась и взглянула вверх. Боже мой! С запада тянулось, точно живое чудовище, черное, безобразное пятно с медным отливом по краям и быстро надвигалось на село и на рощу, простирая будто огромные крылья по сторонам. Всё затосковало в природе. Коровы понурили головы; лошади обмахивались хвостами, раздували ноздри и фыркали, встряхивая гривой. Пыль под их копытами не поднималась вверх, но тяжело, как песок, рассыпалась под колесами. Туча надвигалась грозно. ⁴⁰ Вскоре медленно прокатился отдаленный гул.

Всё притихло, как будто ожидало чего-то небывалого. Куда девались эти птицы, которые так резво порхали и пели при солнышке? Где насекомые, что так разнообразно жужжали в траве? Всё спряталось и безмолствовало,

и бездушные предметы, казалось, разделяли зловещее предчувствие. Деревья перестали покачиваться и задевать друг друга сучьями; они выпрямились; только изредка наклонялись верхушками между собою, как будто взаимно предупреждая себя шепотом о близкой опасности. Туча уже обложила горизонт и образовала какой-то свинцовый, непроницаемый свод. В деревне все старались убраться вовремя по домам. Наступила минута всеобщего торжественного молчания. Вот от лесу как передовой вестник пронесся свежий ветерок, повеял прохладой в 10
лицо путнику, прошумел по листьям, хлопнул мимоходом ворота в избе и, вскрутя пыль на улице, затих в кустах. Следом за ним мчится бурный вихрь, медленно двигая по дороге столб пыли; вот ворвался в деревню, сбросил несколько гнилых досок с забора, снес соломенную кровлю, взвил юбку у несущей воду крестьянки и погнал вдоль улицы петухов и кур, раздувая им хвосты.

Пронесся. Опять безмолвие. Всё суетится и прячется; только глупый баран не предчувствует ничего: он равнодушно жует свою жвачку, стоя посреди улицы, и 20
глядит в одну сторону, не понимая общей тревоги; да перышко с соломинкой, кружась по дороге, сияются поспеть за вихрем.

Упали две-три крупные капли дождя — и вдруг блеснула молния. Старик встал с завалинки и поспешно повел маленьких внучат в избу; старуха, крестясь, торопливо закрыла окно.

Грянул гром и, заглушая людской шум, торжественно, царственно прокатился в воздухе. Испуганный конь оторвался от коновязи и мчится с веревкой в поле; тщетно 30
преследует его крестьянин. А дождь так и сыплет, так и сечет, всё чаще и чаще, и дробит в кровли и окна сильнее и сильнее. Беленькая ручка боязливо высовывает на балкон предмет нежных забот — цветы.

При первом ударе грома Анна Павловна перекрестилась и ушла с балкона.

— Нет, уж сегодня нечего, видно, ждать, — сказала она со вздохом, — от грозы где-нибудь остановился, разве к ночи.

Вдруг послышался стук колес, только не от роши, а 40
с другой стороны. Кто-то въехал на двор. У Адуевой замерло сердце.

«Как же оттуда? — думала она, — разве не хотел ли он тайком приехать? Да нет, тут не дорога».

Она не знала, что подумать; но вскоре всё объяснилось. Через минуту вошел Антон Иваныч. Волосы его серебрились проседью; сам он растолстел; щеки отекали от бездействия и объедения. На нем был тот же сюртук, те же широкие панталоны.

— Уж я вас ждала, ждала, Антон Иваныч, — начала Анна Павловна, — думала, что не будете, — отчаялась было.

— Грех это думать! к кому другому, матушка, — так!
10 меня не ко всякому залучишь... только не к вам. Замешкался не по своей вине: ведь я нынче на одной лошадке разъезжаю.

— Что так? — спросила рассеянно Анна Павловна, подвигаясь к окну.

— Чего, матушка, с крестин у Павла Савича пегашка захромала: угораздила нелегкая кучера положить через канавку старую дверь от амбара... бедные люди, видите! Не стало новой дощечки! А на двери-то был гвоздь или крючок, что ли, — лукавый их знает! Лошадь как ступила,
20 так в сторону и шарахнулась и мне чуть было шеи не сломала... пострелы этикие! Вот с тех пор и хромают... Ведь есть же скареды такие! Вы не поверите, матушка, что это у них в доме: в иной богадельне лучше содержат народ. А в Москве, на Кузнечном мосту, что год, то тысяч десять и просядят!

Анна Павловна слушала его рассеянно и слегка покачала головой, когда он кончил.

— А ведь я от Сашеньки письмо получила, Антон Иваныч! — перебила она, — пишет, что около двадцатого
30 будет: так я и не вспомнилась от радости.

— Слышал, матушка: Прощка сказывал, да я сначала-то и не разобрал, что он говорит; подумал, что уж и приехал; с радости меня индо в пот бросило.

— Дай Бог вам здоровья, Антон Иваныч, что любите нас.

— Еще бы не любить! Да ведь я Александра Федорыча на руках носил: всё равно что родной.

— Спасибо вам, Антон Иваныч: Бог вас наградит! А я другую ночь почти не сплю и людям не даю спать:
40 неравно приедет, а мы все дрыхнем — хорошо будет! Вчера и третьего дня до роши пешком ходила, и нынче бы пошла, да старость проклятая одолевает. Ночью бессонница истомила. Садитесь-ка, Антон Иваныч. Да вы все перемокли: не хотите ли выпить и позавтракать?

Обедать-то, может быть, поздно придется: станем ожидать дорогого гостя.

— Так разве, закусить. А то я уж, признаться, завтракать-то завтракал.

— Где это вы успели?

— А на перепутье у Марьи Карповны остановился. Ведь мимо их приходилось: больше для лошади, нежели для себя: ей дал вздохнуть. Шутка ли по нынешней жаре двенадцать верст махнуть! Там кстати и закусил. Хорошо, что не послушался: не остался, как ни удерживали, а то бы гроза захватила там на целый день.

— Что, какво поживает Марья Карповна?

— Слава Богу! кланяется вам.

— Покорно благодарю; а дочка-то, Софья Васильевна, с муженьком-то, что?

— Ничего, матушка; уж шестой ребеночек в походе. Недели через две ожидают. Просили меня побывать около того времени. А у самих в доме бедность такая, что и не глядел бы. Кажись, до детей ли бы? так нет: туда же!

— Что вы!

— Ей-богу! в покоях косяки все покривились; пол так и ходит под ногами; через крышу течет. И поправить-то не на что, а на стол подадут супу, ватрушек да баранины — вот вам и всё! А ведь как усердно зовут!

— Туда же, за моего Сашеньку норовила, ворона этакая!

— Куда ей, матушка, за этакого сокола! Жду не дождусь, как бы взглянуть: чай, красавец какой! Я что-то смеаю, Анна Павловна: не высватал ли он там себе какую-нибудь княжну или графиню да не едет ли просить вашего благословения да звать на свадьбу?

— Что вы, Антон Иваныч! — сказала Анна Павловна, млея от радости.

— Право!

— Ах вы, голубчик мой, дай Бог вам здоровья!.. Да! вот было из ума вон: хотела вам рассказать да и забыла: думаю, думаю, что такое, так на языке и вертится; вот ведь, чего доброго, так бы и прошло. Да не позавтракать ли вам прежде, или теперь рассказать?

— Всё равно, матушка, хоть во время завтрака: я не пророню ни кусочка... ни словечка, бишь.

— Ну вот, — начала Анна Павловна, когда принесли завтрак и Антон Иваныч уселся за стол, — и вижу я...

— А что ж вы сами-то разве не станете кушать? — спросил Антон Иваныч.

— И! до еды ли мне теперь? Мне и кусок в горло не пойдет; давеча и чашки чаю не допила. — Вот я вижу во сне, что я будто сижу этак-то, а так, напротив меня, Аграфена стоит с подносом. Я и говорю будто ей: «Что же, мол, говорю, у тебя, Аграфена, поднос-то пустой?» — а она молчит, а сама смотрит всё на дверь. «Ах, матушки мои! — думаю во сне-то сама про себя, — что же это она
10 оставила туда глаза?» Вот и я стала смотреть... смотрю: вдруг Сашенька и входит, такой печальный, подошел ко мне и говорит, да так, словно наяву говорит: «Прощайте, говорит, маменька, я еду далеко, вон туда, — и указал на озеро, — и больше, говорит, не приеду». — «Куда же это, мой дружок?» — спрашиваю я, а сердце так и ноет у меня. Он будто молчит, а сам смотрит на меня так странно да жалостно. «Да откуда ты взялся, голубчик?» — будто спрашиваю я опять. А он, сердечный, вздохнул и опять указал на озеро. «Из омута, — молвил чуть слышно, — от
20 водяных». Я так вся и затряслась — и проснулась. Подушка у меня вся в слезах; и наяву-то не могу опомниться; сижу на постели, а сама плачу, так и заливаюсь, плачу. Как встала, сейчас затеплила лампадку перед Казанской Божией Матерью: авось Она, милосердая заступница наша, сохранит его от всяких бед и напастей. Такое сомнение нашло, ей-богу! не могу понять, что бы это значило? Не случилось бы с ним чего-нибудь? Гроза же этакая...

— Это хорошо, матушка, плакать во сне: к добру! — сказал Антон Иваныч, разбивая яйцо о тарелку, — завтра
30 непременно будет.

— А я было думала, не пойти ли нам после завтрака до роши, навстречу ему; как-нибудь бы дотащились; да вон ведь грязь какая вдруг сделалась.

— Нет, сегодня не будет: у меня есть примета!

В эту минуту по ветру донеслись отдаленные звуки колокольчика и вдруг смолкли. Анна Павловна притаила дыхание.

— Ах! — сказала она, облегчая грудь вздохом, — а я было думала...

40 Вдруг опять.

— Господи Боже мой! никак колокольчик? — сказала она и бросилась к балкону.

— Нет, — отвечал Антон Иваныч, — это жеребенок тут близко пасется с колокольчиком на шее: я видел

дорогой. Еще я пугнул его, а то в рожь бы забрел. Что вы не велите стреножить?

Вдруг колокольчик зазвенел как будто под самым балконом и заливался всё громче и громче.

— Ах, батюшки! так и есть: сюда, сюда едет! Это он, он! — кричала Анна Павловна. — Ах, ах! Бегите, Антон Иваныч! Где люди? Где Аграфена? Никого нет!.. точно в чужой дом едет, Боже мой!

Она совсем растерялась. А колокольчик звенел уж как будто в комнате. 10

Антон Иваныч выскочил из-за стола.

— Он! он! — кричал Антон Иваныч, — вон и Евсей на козлах! Где же у вас образ, хлеб-соль? Дайте скорее! Что же я вынесу к нему на крыльцо? Как можно без хлеба и соли? примета есть... Что это у вас за беспорядок! никто не подумал! Да что ж вы сами-то, Анна Павловна, стоите, нейдете навстречу? Бегите скорее!..

— Не могу! — проговорила она с трудом. — ноги отнялись.

И с этими словами опустилась в кресла. Антон Иваныч схватил со стола ломоть хлеба, положил на тарелку, поставил солонку и бросился было в дверь. 20

— Ничего не приготовлено! — ворчал он.

Но в те же двери навстречу ему ворвались три лакея и две девки.

— Едет! едет! приехал! — кричали они, бледные, испуганные, как будто приехали разбойники.

Вслед за ними явился и Александр.

— Сашенька! друг ты мой!.. — воскликнула Анна Павловна и вдруг остановилась и глядела в недоумении на Александра. 30

— Где же Сашенька? — спросила она.

— Да это я, маменька! — отвечал он, целуя у ней руку.

— Ты? — Она поглядела на него пристально. — Ты, точно ты, мой друг! — сказала она и крепко обняла его. Потом вдруг опять посмотрела на него.

— Да что с тобой? Ты нездоров? — спросила она с беспокойством, не выпуская его из объятий.

— Здоров, маменька. 40

— Здоров! Что с тобой случилось, голубчик ты мой? Таким ли я отпустила тебя?

Она прижала его к сердцу и горько заплакала. Она целовала его в голову, в щеки, в глаза.

— Где же твои волоски? как шелк были! — приговаривала она сквозь слезы, — глаза светились, словно две звездочки; щеки — кровь с молоком; весь ты был, как наливное яблочко! Знать, извели лихие люди, позавидовали твоей красоте да моему счастью! А дядя-то чего смотрел? А еще отдала с рук на руки как путному человеку! Не умел сберечь сокровища! Голубчик ты мой!..

Старушка плакала и осыпала ласками Александра.

«Видно, слезы-то во сне не к добру!» — подумал Антон
10 Иваныч.

— Что это вы, матушка, над ним, словно над мертвым, вопите? — шепнул он, — нехорошо, примета есть.

— Здравствуйте, Александр Федорыч! — сказал он, — привел Бог еще и на этом свете увидеться.

Александр молча подал ему руку. Антон Иваныч пошел посмотреть, всё ли вытащили из кибитки, потом стал сзывать дворню здороваться с баринном. Но все уже толпились в передней и в сенях. Он всех расставил в порядке и учил, кому как здороваться: кому поцеловать
20 у барина руку, кому плечо, кому только полу платья, и что говорить при этом. Одного парня совсем прогнал, сказав ему: «Ты поди прежде рожу вымой да нос утри».

Евсей, подпоясанный ремнем, весь в пыли, здоровался с дворней; она кругом обступила его. Он дарил петербургские гостинцы: кому серебряное кольцо, кому березовую табакерку. Увидя Аграфену, он остановился как окаменелый и смотрел на нее молча, с глупым восторгом. Она поглядела на него сбоку, исподлобья, но тотчас же невольно изменила себе: засмеялась от радости, потом
30 заплакала было, но вдруг отвернулась в сторону и нахмурилась.

— Что молчишь? — сказала она, — экой болван: и не здороваешься!

Но он не мог ничего говорить. Он с той же глупой улыбкой подошел к ней. Она едва дала ему обнять себя.

— Принесла нелегкая, — говорила она сердито, глядя на него по временам украдкой; но в глазах и в улыбке ее выражалась величайшая радость. — Чай, петербургские-то... свертели там вас с баринном? Вишь, усищи какие отрастил!

40 Он вынул из кармана маленькую бумажную коробочку и подал ей. Там были бронзовые серьги. Потом он достал из мешка пакет, в котором завернут был большой платок.

Она схватила и проворно сунула, не поглядев, и то и другое в шкаф.

— Покажите гостинцы, Аграфена Ивановна, — сказали некоторые из дворни.

— Ну что тут смотреть? Чего не видали? Подите отсюда! Что вы тут набились? — кричала она на них.

— А вот еще! — выговорил Евсей, подавая ей другой пакет.

— Покажите, покажите! — пристали некоторые.

Аграфена рванула бумажку, и оттуда посыпалось несколько колод игранных, но еще почти новых карт.

— Вот нашел что привезти! — сказала Аграфена, — ты думаешь, мне только и дела, что играть? как же! Выдумал что: стану я с тобой играть!

Она спрятала и карты. Через час Евсей опять сидел уже на старом месте, между столом и печкой.

— Господи! какой покой! — говорил он, то поджимая, то протягивая ноги, — то ли дело здесь! А у нас, в Петербурге, просто каторжное житье! Нет ли чего перекусить, Аграфена Ивановна? С последней станции ничего не ели.

— Ты еще не отстал от своей привычки? На! Видишь, как принялся; видно, вас там не кормили совсем.

Александр прошел по всем комнатам, потом по саду, останавливаясь у каждого куста, у каждой скамьи. Ему сопутствовала мать. Она, вглядываясь в его бледное лицо, вздыхала, но плакать боялась; ее напугал Антон Иванович. Она спрашивала сына о житье-бытье, но никак не могла добиться причины, отчего он стал худ, бледен и куда девались волосы. Она предлагала ему и покушать, и выпить, но он, отказавшись от всего, сказал, что устал с дороги и хочет уснуть.

Анна Павловна посмотрела, хорошо ли постлана постель, побранила девку, что жестко, заставила перестлать при себе и до тех пор не ушла, пока Александр улегся. Она вышла на цыпочках, погрозила людям, чтоб не смели говорить и дышать вслух и ходили бы без сапог. Потом велела послать к себе Евсея. С ним пришла и Аграфена. Евсей поклонился барыне в ноги и поцеловал у ней руку.

— Что это с Сашенькою сделалось? — спросила она грозно, — на кого он стал похож, — а?

Евсей молчал.

— Что ж ты молчишь? — сказала Аграфена, — слышишь, барыня тебя спрашивает?

— Отчего он так похудел? — сказала Анна Павловна, — куда волоски-то у него девались?

— Не могу знать, сударыня! — сказал Евсей, — барское дело!

— Не можешь знать! А чего ж ты смотрел?

Евсей не знал, что сказать, и всё молчал.

— Нашли кому поверить, сударыня! — промолвила Аграфена, глядя с любовью на Евсея, — добро бы человеку! Что ты там делал? Говори-ка барыне! Вот уж будет тебе!

— Я ли, сударыня, не усердствовал! — боязливо сказал
10 Евсей, глядя то на барыню, то на Аграфену, — служил верой и правдой, хоть извольте у Архипыча спросить...

— У какого Архипыча?

— У тамошнего дворника.

— Видишь ведь что городит! — заметила Аграфена. — Что вы его, сударыня, слушаете! Запереть бы его в хлев — вот и стал бы знать!

— Готов не токма что своим господам исполнять их барскую волю, — продолжал Евсей, — хоть умереть сейчас! Я образ сниму со стены...

20 — Все вы хороши на словах! — сказала Анна Павловна. — А как дело делать, так вас тут нет! Видно, хорошо смотрел за барином: допустил до того, что он, голубчик мой, здоровье потерял! Смотрел ты! Вот ты увидишь у меня...

Она погрозила ему.

— Я ли не смотрел, сударыня? В восемь-то лет из барского белья только одна рубашка пропала, а то у меня и изношенные-то целы.

— А куда она пропала? — гневно спросила Анна Павловна.

30 — У прачки пропала. Я тогда докладывал Александру Федорычу, чтоб выгнать у ней, да они ничего не сказали.

— Видишь, мерзавка, — заметила Анна Павловна, — польстилась на хорошее-то белье!

— Как не смотреть! — продолжал Евсей. — Дай Бог всякому так свою должность справить. Они, бывало, еще почивать изволят, а я и в булочную сбегаю...

— Какие он булки кушал?

— Белые-с, хорошие.

— Знаю, что белые; да сдобные?

40 — Этаким ведь столб! — сказала Аграфена, — и слова-то путем не умеет молвить, а еще петербургский!

— Никак нет-с! — отвечал Евсей, — постные.

— Постные! Ах ты, злодей этаким! душегубец! разбойник! — сказала Анна Павловна, покраснев от гнева. —

Ты это не догадался сдобных-то булок покупать ему? а смотрел!

— Да они, сударыня, не приказывали...

— Не приказывали! Ему, голубчику моему, всё равно, что ни подложи — всё скушает. А тебе и этого в голову не пришло? Ты разве забыл, что он здесь кушал всё сдобные булки? Покупать постные булки! Верно, ты деньги-то в другое место относил? Вот я тебя! Ну, что еще? говори...

— После, как откушают чай, — продолжал Евсей, оробев, — в должность пойдут, а я за сапоги: целое утро чищу, всё перечищу, иные раза по три; вечером снимут — опять вычищу. Как, сударыня, не смотрел: да я ни у одного из господ таких сапог не видывал. У Петра Иваныча хуже вычищены, даром что трое лакеев.

— Отчего же он такой? — сказала, несколько смягчившись, Анна Павловна.

— Должно быть, от писанья, сударыня.

— Много писал?

— Много-с; каждый день.

— Что ж он писал? бумаги, что ли, какие? 20

— Должно быть, бумаги-с.

— А ты что не унимал?

— Я унимал, сударыня: «Не сидите, мол, говорю, Александр Федорыч, извольте идти гулять: погода хорошая, много господ гуляет. Что за писанье? грудку надсадите: маменька, мол, гневаться станут...»

— А он что?

— «Пошел, говорят, вон: ты дурак!»

— И подлинно, дурак! — промолвила Аграфена.

Евсей взглянул при этом на нее, потом опять продолжал глядеть на барыню. 30

— Ну а дядя-то разве не унимал? — спросила Анна Павловна.

— Куда, сударыня! придут, да коли застанут без дела, так и накинутся. «Что, говорят, ничего не делаешь? Здесь, говорят, не деревня, надо работать, говорят, а не на боку лежать! Всё, говорят, мечтаешь!» А то еще и выбранят...

— Как выбранят?

— «Провинция... говорят»... и пойдут, и пойдут... так бранятся, что иной раз не слушал бы. 40

— Чтоб ему пусто было! — сказала, плюнув, Анна Павловна. — Своих бы пострелят народил да и ругал бы! Чем бы унять, а он... Господи Боже мой, Царь милосердый! — воскликнула она, — на кого нынче надеяться,

коли и родные свои хуже дикого зверя? Собака и та бережет своих щенят, а тут дядя извел родного племянника! А ты, дурачина этакой, не мог дядюшке-то сказать, чтоб он не изволил так лаяться на барина, а отваливал бы прочь. Кричал бы на жену свою, мерзавку этакую! Видишь, нашел кого ругать: «Рабстай, работай!» Сам бы околевал над работой! Собака, право, собака, прости Господи! Холопа нашел работать!

За этим последовало молчание.

10 — Давно ли Сашенька стал так худ? — спросила она потом.

— Вот уж года три, — отвечал Евсей, — Александр Федорыч стали больно скучать и пищи мало принимали; вдруг стали худеть, таяли словно свечка.

— Отчего же скучал-то?

— Бог их ведает, сударыня. Петр Иваныч изволили говорить им что-то об этом; я было послушал, да мудрено: не разобрал.

— А что он говорил?

20 Евсей подумал с минуту, стараясь, по-видимому, что-то припомнить, и шевелил губами.

— Называли как-то они их, да забыл...

Анна Павловна и Аграфена смотрели на него и дожидались с нетерпением ответа.

— Ну?.. — сказала Анна Павловна.

Евсей молчал.

— Ну же, разиня, молви что-нибудь, — прибавила Аграфена, — барыня дожидается.

30 — Ра... кажись, разочаро... ванный... — выговорил на конец Евсей.

Анна Павловна посмотрела с недоумением на Аграфену, Аграфена на Евсея, Евсей на них обеих, и все молчали.

— Как? — спросила Анна Павловна.

— Разо... разочарованный, точно так-с, вспомнил! — решительным голосом отвечал Евсей.

— Что это еще за напасть такая? Господи! болезнь, что ли? — спросила Анна Павловна с тоской.

40 — Ах, да не испорчен ли это значит, сударыня? — торопливо промолвила Аграфена.

Анна Павловна побледнела и плюнула.

— Чтоб тебе типун на язык! — сказала она. — Ходил ли он в церковь?

Евсей несколько замялся.

— Нельзя сказать, сударыня, чтоб больно ходили... — нерешительно отвечал он, — почти можно сказать, что и не ходили... там господа, почесть, мало ходят в церковь...

— Вот оно отчего! — сказала Анна Павловна со вздохом и перекрестилась. — Видно, Богу не угодны были одни мои молитвы. Сон-то и не лжив: точно из омота вырвался, голубчик мой!

Тут пришел Антон Иваныч.

— Обед простынет, Анна Павловна, — сказал он, — не пора ли будить Александра Федорыча? 10

— Нет, нет, Боже сохрани! — отвечала она, — он не велел себя будить. «Кушайте, говорит, одни: у меня аппетита нет; я лучше усну, говорит: сон подкрепит меня; разве вечером захочу». Так вы вот что сделайте, Антон Иваныч: уж не прогневайтесь на меня, старуху: я пойду затеплю лампадку да помолюсь, пока Сашенька почивает; мне не до еды; а вы откушайте одни.

— Хорошо, матушка, хорошо, исполню: положитесь на меня.

— Да уж окажите благодеяние, — продолжала она, — вы наш друг, так любите нас, позовите Евсея и расспросите путем, отчего это Сашенька стал задумчивый и худой и куда делись его волоски? Вы мужчина: вам оно ловчее... не огорчили ли его там? ведь есть такие злодеи на свете... всё узнайте. 20

— Хорошо, матушка, хорошо: я допытаюсь, всю подноготную выведаю. Пошлите-ка ко мне Евсея, пока я буду обедать, — всё исполню!

— Здорово, Евсей! — сказал он, садясь за стол и затыкая салфетку за галстух, — как поживаешь? 30

— Здравствуйте, сударь. Что наше за житье? плохое-с. Вот вы так подобрали здесь.

Антон Иваныч плюнул.

— Не сглазь, брат: долго ли до греха? — прибавил он и начал есть щи.

— Ну что вы там, как? — спросил он.

— Да так-с: не больно хорошо.

— Чай, провизия-то хорошая? Ты что ел?

— Что-с? возьмешь в лавочке студени да холодного пирога — вот и обед! 40

— Как, в лавочке? а своя-то печь?

— Дома не готовили. Там холостые господа стола не держат.

— Что ты! — сказал Антон Иваныч, положив ложку.

— Право-с: и барину-то из трактира носили.

— Экое цыганское житье! а! не похудеть! На-ка, выпей!

— Покорнейше вас благодарю, сударь! за ваше здоровье! Затем последовало молчание. Антон Иваныч ел.

— Почему там огурцы? — спросил он, положив себе на тарелку огурец.

— Сорок копеек десятков.

— Полно?

10 — Ей-богу-с; да чего, сударь, срам сказать: иной раз из Москвы соленые-то огурцы возят.

— Ах ты, Господи! ну! не похудеть!

— Где там этакое огурца увидишь! — продолжал Евсей, указывая на один огурец, — и во сне не увидишь! мелочь, дрянь; здесь и глядеть бы не стали, а там господа кушают! В редком доме, сударь, хлеб пекут. А этого там, чтобы капусту запасть, солонину солить, грибы мочить — ничего в заводе нет.

20 Антон Иваныч покачал головой, но ничего не сказал, потому что рот у него был битком набит.

— Как же? — спросил он, прожевав.

— Всё в лавочке есть; а чего нет в лавочке, так тут же где-нибудь в колбасной есть; а там нет, так в кондитерской; а уж чего в кондитерской нет, так иди в английский магазин: у французов всё есть!

Молчание.

— Ну а почему поросята? — спросил Антон Иваныч, взявши на тарелку почти полпоросенка.

30 — Не знаю-с; не покупывали: что-то дорого, рубля два, кажись...

— Ай-ай-ай! не похудеть! этакая дороговизна!

— Их хорошие-то господа мало и кушают: всё больше чиновники.

Опять молчание.

— Ну так как же вы там: плохо? — спросил Антон Иваныч.

40 — И не дай Бог, как плохо! Вот здесь квас-то какой, там и пиво-то жиже; а от квасу так целый день в животе словно что кипит! Только хороша одна вакса: уж вакса, так и не нагладишься! и запах какой: так бы и съел!

— Что ты!

— Ей-богу-с.

Молчание.

— Ну так как же? — спросил Антон Иваныч, прожевав.

— Да так-с.

— Плохо ели?

— Плохо. Александр Федорыч кушали так, самую малость: совсем отвыкли от еды; за обедом и фунта хлеба не скушают.

— Не похудеть! — сказал Антон Иваныч. — Всё оттого, что дорого, что ли?

— И дорого-с, да и обычая нет наедаться каждый день досыта. Господа кушают словно украдкой, по одному разу в день, и то коли успеют, часу в пятом, иной раз в шестом; а то так чего-нибудь перехватят да тем и кончат. Это у них последнее дело: сначала все дела переделают, а потом и кушать.

— Вот житье-то! — говорил Антон Иваныч. — Не похудеть! диво, как вы там не умерли! И весь век так?

— Нет-с: по праздникам господа, как соберутся иногда, так, не дай Бог, как едят! Поедут в какой-нибудь немецкий трактир да рублей сто, слышь, и проедят. А пьют что — Боже упаси! хуже нашего брата! Вот, бывало, у Петра Иваныча соберутся гости: сядут за стол часу в шестом, а встанут утром в четвертом часу.

Антон Иваныч вытаращил глаза.

— Что ты! — сказал он, — и всё едят?

— Всё едят!

— Хоть бы посмотреть: не по-нашему! Что же они едят?

— Да что, сударь, не на что смотреть! Не узнаешь, что и ешь: немцы накладывают в кушанье бог знает чего: и в рот-то взять не захочется. И перец-то у них не такой; подливают в соус чего-то из заморских склянок... Раз угостил меня повар Петра Иваныча барским кушаньем, так три дня тошнило. Смотрю, оливка в кушанье: думал, как и здесь, оливка; раскусил — глядь: а там рыбка маленькая; противно стало, выплюнул; взял другую — и там то же; да во всех... ах вы, чтоб вас, проклятые!..

— Как же это они, нарочно кладут туда?

— Бог их ведает! Я спрашивал: ребята смеются, говорят: так, слышь, родятся. И что за кушанья? Сначала горячее подадут, как следует, с пирогами, да только уж пироги: с наперсток; возьмешь в рот вдруг штук шесть, хочешь пожевать, смотришь — уж там их и нет, и растаяли... После горячего вдруг чего-то сладкого дадут, там говядины, а там мороженого, а там травы какой-то, а там жаркое... и не ел бы!

— Так печь-то у вас и не топилась? Ну как не похудеть! — промолвил Антон Иваныч, вставая из-за стола.

«Благодарю тебя, Боже мой, — начал он вслух, с глубоким вздохом, — яко насытил мя еси небесных благ... что я! замолелся язык-то: земных благ, — и не лиши меня небесного Твоего царствия».

— Убирайте со стола: господа не будут кушать. К вечеру приготовьте другого поросенка... или нет ли ¹⁰ индейки? Александр Федорыч любит индейку; он, чай, проголодается. А теперь принесите-ка мне посвежее сенца в светелку: я вздохну часок-другой; там к чаю разбудите. Коли чуть там Александр Федорыч зашевелится, так того... растолкайте меня.

Восстав от сна, он пришел к Анне Павловне.

— Ну что, Антон Иваныч? — спросила она.

— Ничего, матушка, покорно благодарю за хлеб за соль... и уснул так сладко; сено такое свежее, душистое...

— На здоровье, Антон Иваныч. Ну а что говорит ²⁰ Евсей? Вы спрашивали?

— Как не спрашивать! Всё выведал: пустое! всё поправится. Дело-то всё выходит оттого, что пища там была, слышь, плоха.

— Пища?

— Да; судите сами: огурцы сорок копеек десяток, поросенок два рубля, а кушанье всё кондитерское — и не наешься досыта. Как не похудеть! Не беспокойтесь, матушка, мы его поставим здесь на ноги, вылечим. Вы велите-ка заготовить побольше настойки березовой; я дам ³⁰ рецепт; мне от Прокофья Астафьяча достался; да утром и вечером и давайте по рюмке или по две, и перед обедом хорошо; можно со святой водой... у вас есть?

— Есть, есть: вы же привезли.

— Да, ведь в самом деле я. Кушанья выбирайте пожирнее. Я уж к ужину велел поросенка или индейку зажарить.

— Благодарствуйте, Антон Иваныч.

— Не на чем, матушка! Не велеть ли еще цыплят с белым соусом?

⁴⁰ — Я велю...

— Зачем вам самим? а я-то на что? похлопочу... дайте мне.

— Похлопочите, помогите, отец родной.

Он ушел, и она задумалась.

Женский инстинкт и сердце матери говорили ей, что не пища главная причина задумчивости Александра. Она стала искусно выведывать намеками, стороной, но Александр не понимал этих намеков и молчал. Так прошли недели две-три. Поросят, цыплят и индеек пошло на Антона Иваныча множество, а Александр всё был задумчив, худ, и волосы не росли.

Тогда Анна Павловна решила поговорить с ним напрямки.

— Послушай, друг мой, Сашенька, — сказала она 10 однажды, — вот уж с месяц, как ты живешь здесь, а я еще не видала, чтоб ты улыбнулся хоть раз: ходишь словно туча, смотришь в землю. Или тебе ничто не мило на родной стороне? Видно, на чужой милее; тоскуешь по ней, что ли? Сердце мое надрывается, глядя на тебя. Что с тобой случилось? Расскажи ты мне: чего тебе недостает? я ничего не пожалею. Обидел ли кто тебя: я доберусь и до того.

— Не беспокойтесь, маменька, — сказал Александр, — это так, ничего! я вошел в лета, стал рассудительнее, 20 оттого и задумчив...

— А худ-то отчего? а волосы-то где?

— Я не могу рассказать отчего... всего не перескажешь, что было в восемь лет... может быть, и здоровье немного расстроилось...

— Что ж у тебя болит?

— Болит и тут, и здесь. — Он указал на голову и сердце.

Анна Павловна дотронулась рукой до его лба.

— Жару нет, — сказала она. — Что ж бы это такое 30 было? стреляет, что ли, в голову?

— Нет... так...

— Сашенька! пошлем за Иваном Андреичем.

— Кто это Иван Андреич?

— Новый лекарь; года два как приехал. Дока такой, что чудо! Лекарств почти никаких не прописывает; сам делает какие-то крохотные зернышки — и помогают. Вон у нас Фома животом страдал; трои сутки ревма-ревел: он дал три зернышка, как рукой сняло! Полечись, голубчик!

— Нет, маменька, он не поможет мне; это так пройдет. 40

— Да отчего же ты скучаешь? Что это за напасть такая?

— Так...

— Чего тебе хочется?

— И сам не знаю; так скучаю.

— Экое диво, Господи! — сказала Анна Павловна. — Пища, ты говоришь, тебе нравится, удобства все есть, и чин хороший... чего бы, кажется? а скучаешь! Сашенька, — сказала она, помолчав, тихо, — не пора ли тебе... жениться?

— Что вы! нет, я не женюсь.

— А у меня есть на примете девушка — точно куколка: розовенькая, нежненькая; так, кажется, из косточки в косточку мозжечок и переливается. Талия такая тоненькая, стройная; училась в городе, в пансионе. За ней семьдесят пять душ да двадцать пять тысяч деньгами, и приданое славное: в Москве делали; и родня хорошая... А? Сашенька? Я уж с матерью раз за кофеем разговори-
лась да шутя и забросила словечко: у ней, кажется, и ушки на макушке от радости...

— Я не женюсь, — повторил Александр.

— Как, никогда?

— Никогда.

— Господи помилуй! что ж из этого будет? Все люди
как люди, только ты один бог знает на кого похож!
А мне-то радость какая! привел бы Бог понянчить внучат.
Право, женись на ней; ты ее полюбишь...

— Я не люблю, маменька: я уж отлюбил.

— Как отлюбил, не женись? Кого ж ты любил там?

— Девушку.

— Что ж не женился?

— Она изменила мне.

— Как изменила? Ведь ты еще не был женат на ней?
Александр молчал.

— Хороши же там у вас девушки: до свадьбы любят!
Изменила! мерзавка этакая! Счастье-то само просилось к
ней в руки, да не умела ценить, негодница! Увидала бы
я ее, я бы ей в рожу наплевала. Чего дядя-то смотрел?
Кого это она нашла лучше, посмотрела бы я?.. Что ж,
разве одна она? полюбишь в другой раз.

— Я и в другой раз любил.

— Кого же?

— Вдову.

— Ну, что ж не женился?

— Той я сам изменил.

Анна Павловна глядела на Александра и не знала, что
сказать.

— Изменил!.. — повторила она. — Видно, беспутная
какая-нибудь! — прибавила потом. — Подлинно омут,

прости Господи: любят до свадьбы, без обряда церковного; изменяют... Что это делается на белом свете, как поглядишь! Знать, скоро света преставление!.. Ну скажи, не хочется ли тебе чего-нибудь? Может быть, пища тебе не по вкусу? Я из города повара выпишу...

— Нет, благодарю: всё хорошо.

— Может быть, тебе скучно одному: я за соседями пошлю.

— Нет, нет. Не тревожьтесь, маменька! мне здесь покойно, хорошо; всё пройдет... я еще не осмотрелся. 10

Вот и всё, чего могла добиться Анна Павловна.

«Нет, — думала она, — без Бога, видно, ни на шаг». Она предложила Александру поехать с ней к обедне в ближайшее село, но он проспал два раза, а будить она его не решалась. Наконец она позвала его вечером ко всенощной. «Пожалуй», — сказал Александр, и они поехали. Мать вошла в церковь и стала у самого клироса, Александр остался у дверей.

Солнце уж садилось и бросало косвенные лучи, которые то играли по золотым окладам икон, то освещали 20 темные и суровые лики святых и уничтожали своим блеском слабое и робкое мерцание свеч. Церковь была почти пуста: крестьяне были на работе в поле; только в углу у выхода теснилось несколько старух, повязанных белыми платками. Иные, пригорюнившись и опершись щекой на руку, сидели на каменной ступеньке придела и по временам выпускали громкие и тяжкие вздохи, Бог знает, о грехах ли своих или о домашних делах. Другие, припав к земле, лежали ниц, молясь.

Свежий ветерок врывался сквозь чугунную решетку в 30 окно и то приподнимал ткань на престоле, то играл седидами священника или перевортывал лист книги и тушил свечу. Шаги священника и дьячка громко раздавались по каменному полу в пустой церкви; голоса их уныло разносились по сводам. Вверху, в куполе, звучно кричали галки и чирикали воробьи, перелетавшие от одного окна к другому, и шум крыльев их и звон колоколов заглушали иногда службу...

«Пока в человеке кипят жизненные силы, — думал Александр, — пока играют желания и страсти, он занят 40 чувственно, он бежит того успокоительного, важного и торжественного созерцания, к которому ведет религия... он приходит искать утешения в ней с угасшими, растраченными силами, с сокрушенными надеждами, с бременем лет...»

Мало-помалу, при виде знакомых предметов, в душе Александра пробуждались воспоминания. Он мысленно пробежал свое детство и юношество до поездки в Петербург; вспомнил, как, будучи ребенком, он повторял за матерью молитвы, как она твердила ему об ангеле-хранителе, который стоит на страже души человеческой и вечно враждует с нечистым; как она, указывая ему на звезды, говорила, что это очи Божиих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые дела людей; как небожители плачут, когда в итоге окажется больше злых, нежели добрых, дел, и как радуются, когда добрые дела превышают злые. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это Сион... Александр вздохнул, очнувшись от этих воспоминаний.

«Ах! если б я мог еще верить в это! — думал он. — Младенческие верования утрачены, а что я узнал нового, верного?.. ничего: я нашел сомнения, толки, теории... и от истины еще дальше прежнего... К чему этот раскол, это умничанье?.. Боже!.. когда теплота веры не греет сердца, разве можно быть счастливым! Счастливее ли я?»

Всенощная кончилась. Александр приехал домой еще скучнее, нежели поехал. Анна Павловна не знала, что и делать. Однажды он проснулся ранее обыкновенного и услышал шорох за своим изголовьем. Он оглянулся: какая-то старуха стоит над ним и шепчет. Она тотчас исчезла, как скоро увидела, что ее заметили. Под подушкой у себя Александр нашел какую-то траву; на шее у него висела ладонка.

— Что это значит? — спросил Александр у матери, — что за старуха была у меня в комнате?

Анна Павловна смутилась.

— Это... Никитишна, — сказала она.

— Какая Никитишна?

— Она, вот видишь, мой друг... ты не рассердишься?

— Да что такое? скажите.

— Она... говорят, многим помогает... Она только пошепчет на воду да подышит на спящего человека — всё и пройдет.

— В третьем году ко вдове Сидорихе, — примолвила Аграфена, — летал по ночам огненный змей в трубу...

Тут Анна Павловна плюнула.

— Никитишна, — продолжала Аграфена, — заговорила змея: перестал летать...

— Ну а Сидориха что? — спросил Александр.

— Родила: ребенок был такой худой да черный! на третий день умер.

Александр засмеялся, может быть, в первый раз после приезда в деревню.

— Откуда вы ее взяли? — спросил он.

— Антон Иванович привез, — отвечала Анна Павловна.

— Охота вам слушать этого дурака!

— Дурака! Ах, Сашенька, что ты это? не грех ли?

Антон Иванович дурак! Как это у тебя язык-то поворотился? Антон Иванович — благодетель, друг наш!

10

— Вот возьмите, маменька, ладонку и отдайте ее нашему другу и благодетелю: пусть он повесит ее себе на шею.

С тех пор он стал заpirаться на ночь.

Прошло два-три месяца. Мало-помалу уединение, тишина, домашняя жизнь и все сопряженные с нею материальные блага помогли Александру войти в тело. А лень, беззаботность и отсутствие всякого нравственного потрясения водворили в душе его мир, которого Александр напрасно искал в Петербурге. Там, бежавши от мира идей, искусств, заключенный в каменных стенах, он хотел заснуть сном крота, но его беспрестанно пробуждали волнения зависти и бессильные желания. Всякое явление в мире науки и искусства, всякая новая знаменитость будили в нем вопрос: «Почему это не я, зачем не я?» Там на каждом шагу он встречал в людях невыгодные для себя сравнения... там он так часто падал, там увидел как в зеркале свои слабости... там был неумолимый дядя, преследовавший его образ мыслей, лень и ни на чем не основанное славолубие; там изящный мир и куча дарований, между которыми он не играл никакой роли. Наконец, там жизнь стараются подвести под известные условия, прояснить ее темные и загадочные места, не давая разгула чувствам, страстям и мечтам и тем лишая ее поэтической заманчивости, хотят издать для нее какую-то скучную, сухую, однообразную и тяжелую форму...

20

30

А здесь какая приволье! Он лучше, умнее всех! Здесь он всеобщий идол на несколько верст кругом. Притом здесь на каждом шагу, перед лицом природы, душа его отверзалась мирным, успокоительным впечатлениям. Говор струй, шепот листьев, прохлада и подчас самое молчание природы — всё рождало думу, будило чувство. В саду, в поле, дома его посещали воспоминания детства

40

и юности. Анна Павловна, сидя иногда подле него, как будто угадывала его мысли. Она помогала ему возобновлять в памяти дорогие сердцу мелочи из жизни или рассказывала то, чего он вовсе не помнил.

— Вот эти липы, — говорила она, указывая на сад, — сажал твой отец. Я была беременна тобой. Сижу, бывало, здесь на балконе да смотрю на него. Он поработает, поработает да взглянет на меня, а пот так градом и льет с него. «А! ты тут? — молвит, — то-то мне так весело работать!» — и опять примется. А вон лужок, где ты играл, бывало, с ребятишками; такой сердитый был: чуть что не по тебе — и закричишь благим матом. Однажды Агашка — вот что теперь за Кузьмой, его третья изба от околицы — толкнула как-то тебя да нос до крови и расшиби: отец порол, порол ее, я насилу умолила.

Александр мысленно дополнял эти воспоминания другими: «Вон на этой скамье, под деревом, — думал он, — я сиживал с Софьей и был счастлив тогда. А вон там, между двух кустов сирени, получил от нее первый поцелуй...»
И всё это было перед глазами. Он улыбался этим воспоминаниям и просиживал по целым часам на балконе, встречая или провожая солнце, прислушиваясь к пению птиц, к плеску озера и к жужжанью невидимых насекомых.

«Боже мой! как здесь хорошо! — говорил он под влиянием этих кротких впечатлений, — вдали от суеты, от этой мелочной жизни, от того муравейника, где люди

...в кучах, за оградой,
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов.

30 Как устаешь там жить и как отдыхаешь душой здесь, в этой простой, несложной, немудреной жизни! Сердце обновляется, грудь дышит свободнее, а ум не терзается мучительными думами и нескончаемым разбором тяжёлых дел с сердцем: и то и другое в ладу. Не над чем задумываться. Беззаботно, без тягостной мысли, с дремлющим сердцем и умом и с легким трепетом скользишь взглядом от рощи к пашне, от пашни к холму и потом погружаешь его в бездонную синеву неба».

Иногда он переходил к окну, выходявшему на двор и
40 на улицу в село. Там другая картина, картина теньеровская, полная хлопотливой, семейной жизни. Барбос от зноя растянется у конуры, положив морду на лапы. Десятки кур встречают утро, кудахтая взапуски; петухи

дерутся. По улице гонят стадо в поле. Иногда одна отставшая от стада корова тоскливо мычит, стоя среди улицы и оглядываясь во все стороны. Мужики и бабы, с граблями и косами на плечах, идут на работу. Ветер по временам выхватит из их говора два-три слова и донесет до окна. Там крестьянская телега с громом проедет по мостику, за ней лениво проползет воз с сеном. Белокурые и жестковолосые ребятишки, подняв рубашонки, бродят по лужам. Глядя на эту картину, Александр начал постигать поэзию *серенького неба, сломанного забора, калитки, грязного пруда и трепака*. Узкий щегольской фрак он заменил широким халатом домашней работы. И в каждом явлении этой мирной жизни, в каждом впечатлении и утра, и вечера, и трапезы, и отдыха присутствовало недремлющее око материнской любви.

Она не могла нарадоваться, глядя, как Александр полнел, как на щеки его возвращался румянец, как глаза оживлялись мирным блеском. «Только волоски не растут, — говорила она, — а были как шелк».

Александр часто гулял по окрестностям. Однажды он встретил толпу баб и девок, шедших в лес за грибами, присоединился к ним и проходил целый день. Воротясь домой, он похвалил девушку Машу за проворство и ловкость, и Маша взята была во двор *ходить за барином*. Ездил он иногда смотреть полевые работы и на опыте узнавал то, о чем часто писал и переводил для журнала. «Как мы часто вдали там...» — думал он, качая головой, и стал вникать в дело глубже и пристальнее.

Однажды, в ненастную погоду, попробовал он заняться делом, сел писать и остался доволен началом труда. Понадобилась для справок какая-то книга: он написал в Петербург, книгу выслали. Он занялся не шутя. Выписал еще книг. Напрасно Анна Павловна пустилась уговаривать его не писать, чтобы не *надсадил грудку*: он и слушать не хотел. Она подослала Антона Иваныча. Александр не послушал и его и всё писал. Когда прошло месяца три-четыре, а он от писанья не только не похудел, а растолстел больше, Анна Павловна успокоилась.

Так прошло года полтора. Всё бы хорошо, но Александр к концу этого срока стал опять задумываться. Желаний у него не было никаких, а какие и были, так их немудрено было удовлетворить: они не выходили из пределов семейной жизни. Ничто его не тревожило: ни забота, ни сомнение, а он сучал! Ему мало-помалу

надоел тесный домашний круг; угождения матери стали докучны, а Антон Иваныч опротивел; надоел и труд, и природа не пленяла его.

Он сживал молчаливо у окна и уже равнодушно глядел на отцовские липы, с досадой слушал плеск озера. Он начал размышлять о причине этой новой тоски и открыл, что ему было скучно — по Петербургу!? Удалясь от минувшего, он начал жалеть о нем. Кровь еще кипела в нем, сердце билось, душа и тело просили деятельности...
10 Опять задача. Боже мой! он чуть не заплакал от этого открытия. Он думал, что эта скука пройдет, что он приживется в деревне, привыкнет, — нет: чем дольше он жил там, тем сердце пуше ныло и опять просилось в омут, теперь уже знакомый ему.

Он помирился с прошедшим: оно стало ему мило. Ненависть, мрачный взгляд, угрюмость, нелюдимость смягчились уединением, размышлением. Минувшее предстало ему в очищенном свете, и сама изменница Надинька — чуть не в лучах. «И что я здесь делаю? — с досадой говорил
20 он, — за что вяну? Зачем гаснут мои дарования? Почему мне не блистать там своим трудом?.. Теперь я стал рассудительнее. Чем дядюшка лучше меня? Разве я не могу отыскать себе дороги? Ну не удалось до сих пор, не за свое брался — что ж? опомнился теперь: пора, пора! Но как огорчит мой отъезд матушку! А между тем необходимо ехать; нельзя же погибнуть здесь! Там тот и другой — все вышли в люди... А моя карьера, а фортуна?.. я только один отстал... да за что же? да почему же?» Он метался от тоски и не знал, как сказать матери о намерении ехать.

30 Но мать вскоре избавила его от этого труда: она умерла.

Вот, наконец, что писал он к дяде и тетке в Петербург.

К тетке:

«Перед моим отъездом из Петербурга вы, ma tante, со слезами на глазах напутствовали меня драгоценными словами, которые врезались в моей памяти. Вы сказали: „Если когда-нибудь мне нужна будет теплая дружба, искреннее участие, то в вашем сердце всегда останется уголок для меня“. Настала минута, когда я понял всю
40 цену этих слов. В правах, которые вы мне так великодушно дали над вашим сердцем, заключается для меня залог мира, тишины, утешения, спокойствия, может быть, счастья всей моей жизни. Месяца три назад скончалась

матушка: больше не прибавлю ни слова. Вы по письмам ее знаете, что она была для меня, и поймете, чего я лишился в ней... Я теперь бегу отсюда навсегда. Но куда, одинокий странник, направил бы я путь свой, как не в те места, где вы?.. Скажите одно слово: найду ли я в вас то, что оставил года полтора назад? Не изгнали ли вы меня из памяти? Согласитесь ли вы на скучную обязанность исцелить вашу дружбу, которая уже не раз спасала меня от горя, новую и глубокую рану? Всю надежду возлагаю на вас и другую, могучую союзницу — деятельность. 10

Вы удивляетесь — не правда ли? Вам странно слышать от меня это? читать эти строки, писанные в покойном, несвойственном мне тоне? Не удивляйтесь и не бойтесь моего возвращения: к вам приедет не сумасброд, не мечтатель, не разочарованный, не провинциал, а просто человек, каких в Петербурге много и каким бы давно мне пора быть. Предупредите особенно дядюшку на этот счет. Когда посмотрю на прошлую жизнь, мне становится неловко, стыдно и других, и самого себя. Но иначе и быть не могло. Вот когда только очнулся — в тридцать 20 лет! Тяжкая школа, пройденная в Петербурге, и мышление в деревне прояснили мне вполне судьбу мою. Удалясь на почтительное расстояние от уроков дядюшки и собственного опыта, я уразумел их здесь, в тишине, яснее, и вижу, к чему бы они давно должны были повести меня, вижу, как жалко и неразумно уклонялся я от прямой цели. Я теперь покоен: не терзаюсь, не мучаюсь, но не хвастаюсь этим; может быть, это спокойствие проистекает пока из эгоизма; чувствую, впрочем, что скоро 30 взгляд мой на жизнь уяснится до того, что я открою другой источник спокойствия — чище. Теперь я еще не могу не жалеть, что я уже дошел до того рубежа, где — увы! — кончается молодость и начинается пора размышлений, проверка и разборка всякого волнения, пора сознания.

Хотя, может быть, мнение мое о людях и жизни изменилось и немного, но много надежд улетело, много миновалось желаний, словом, иллюзии утрачены; следовательно, не во многом и не во многих уж придется ошибиться и обмануться, а это очень утешительно с 40 одной стороны! И вот я смотрю яснее вперед: самое тяжелое позади; волнения не страшны, потому что их осталось немного; главные пройдены, и я благословляю их. Стыжусь вспомнить, как я, воображая себя страдальцем, проклинал свой жребий, жизнь. Проклинал!

какое жалкое ребячество и неблагодарность! Как я поздно увидел, что страдания очищают душу, что они одни делают человека сносным и себе, и другим, возвышают его... Признаю теперь, что не быть причастным страданиям значит не быть причастным всей полноте жизни: в них много важных условий, которых разрешения мы здесь, может быть, и не дождемся. Я вижу в этих волнениях руку Промысла, который, кажется, задает человеку нескончаемую задачу — стремиться вперед, достигать выше 10 предназначенной цели, при ежеминутной борьбе с обманчивыми надеждами, с мучительными преградами. Да, вижу, как необходима эта борьба и волнения для жизни, как жизнь без них была бы не жизнь, а застой, сон... Кончается борьба, смотришь — кончается и жизнь; человек был занят, любил, наслаждался, страдал, волновался, сделал свое дело и, следовательно, жил!

Видите ли, как я рассуждаю: я вышел из тьмы — и вижу, что всё прожитое мною до сих пор было каким-то трудным приготовлением к настоящему пути, мудреную наукою для жизни. 20 Что-то говорит мне, что остальной путь будет легче, тише, понятнее... Темные места осветились, мудреные узлы развязались сами собою; жизнь начинает казаться благом, а не злом. Скоро скажу опять: как хороша жизнь! но скажу не как юноша, упоенный минутным наслаждением, а с полным сознанием ее истинных наслаждений и горечи. Затем не страшна и смерть: она представляется не пугалом, а прекрасным опытом. И теперь уже в душу веет неведомое спокойствие: ребяческих досад, вспышек уколотого самолюбия, детской раздражительности и 30 комического гнева на мир и людей, похожего на гнев моськи на слона, — как не бывало.

Я сдружился опять, с чем давно раздружился, — с людьми, которые, мимоходом замечу, и здесь те же, как в Петербурге, только пожестче, поглубее, посмешнее. Но я не сержусь на них и здесь, а там и подавно не стану сердиться. Вот вам образчик моей кротости: к нам ездит чудак Антон Иваныч гостить, делить будто бы мое горе; завтра он поедет на свадьбу к соседу — делить радость, а там к кому-нибудь — исправлять должность 40 повивальной бабки. Но ни горе, ни радость не мешают ему у всех есть раза по четыре в день. Я вижу, что ему всё равно: умер ли, или родился, или женился человек, и мне не противно смотреть на него, не досадно... я терплю его, не выгоняю... Добрый признак — не правда

ли, ma tante? Что вы скажете, прочтя это похвальное слово самому себе?»

К дяде:

«Любезнейший, добрейший дядюшка и, вместе с тем, ваше превосходительство!

С какую радостью узнал я, что и карьера ваша совершена достохвально; с фортуною вы уж поладили давно! Вы действительный статский советник, вы — директор канцелярии! Осмелюсь ли напомнить вашему превосходительству обещание, данное мне при отъезде: 10
„Когда понадобятся служба, занятия или деньги, обратись ко мне!“ — говорили вы. И вот мне понадобились и служба, и занятия; понадобятся, конечно, и деньги. Бедный провинциал осмеливается просить места и работы. Какая участь ожидает мою просьбу? Не такая ли, какая постигла некогда письмо Заезжалова, который просил похлопотать о своем деле?.. Что касается *творчества*, о котором вы имели жестокость упомянуть в одном из ваших писем, то... не грех ли вам тревожить давно забытые глупости, когда я сам краснею за них?.. Эх, 20
дядюшка, эх, ваше превосходительство! Кто ж не был молод и отчасти глуп? У кого не было какой-нибудь странной, так называемой *заветной* мечты, которой никогда не суждено сбываться? Вот мой сосед, справа, воображал себя героем, исполином — ловцом пред Господом... он хотел изумить мир своими подвигами... и кончилось тем, что он вышел прапорщиком в отставку, не бывши на войне, и мирно разводит картофель и сеет репу. Другой, слева, мечтал по-своему переделать весь свет и Россию, а сам, пописав некоторое время бумаги 30
в палате, удалился сюда и до сих пор не может переделать старого забора. Я думал, что в меня вложен свыше творческий дар, и хотел поведать миру новые, неведомые тайны, не подозревая, что это уже не тайны и что я не пророк. Все мы смешны; но скажите, кто, не краснея за себя, решится заклеить позорною бранью эти юношеские, благородные, пылкие, хоть и не совсем умеренные, мечты? Кто не питал в свою очередь бесплодного желанья, не ставил себя героем доблестного подвига, торжественной песни, громкого повествования? Чье во- 40
ображение не уносилось к баснословным, героическим временам? Кто не плакал, сочувствуя высокому и прекрасному? Если найдется такой человек, пусть он бросит

камень в меня — я ему не завидую. Я краснею за свои юношеские мечты, но чту их: они залог чистоты сердца, признак души благородной, расположенной к добру.

Вас, я знаю, не убедят эти доводы: вам нужен довод положительный, практический; извольте, вот он: скажите, как узнавались и обрабатывались бы дарования, если б молодые люди подавляли в себе эти ранние склонности, если б не давали воли и простора мечтам своим, а следовали рабски указанному направлению, не пробуя сил? Наконец, не есть ли это общий закон природы, что молодость должна быть тревожна, кипуча, иногда сумасбродна, глупа и что у всякого мечты со временем улягутся, как улеглись теперь у меня? А ваша собственная молодость разве чужда этих грехов? Вспомните, поройтесь в памяти. Вижу отсюда, как вы, с вашим покойным, никогда не смущающимся взором, качаете головой и говорите: нет ничего! Позвольте же уличить вас, например, хоть в любви... отрекаетесь? не отречетесь: улика у меня в руках... Вспомните, что я мог исследовать дело на месте действия. Театр ваших любовных похождений перед моими глазами — это озеро. На нем еще растут желтые цветы; один, высушив надлежащим образом, честь имею препроводить при сем к вашему превосходительству для сладкого воспоминания. Но есть страшнее оружие против ваших гонений на любовь вообще и на мою в особенности — это документ... Вы хмуритесь? и какой документ!!! побледнели? Я похитил эту драгоценную ветхость у тетушки, с не менее ветхой груди, и везу с собой как вечную улику против вас и как защиту себе. Трепещите, дядюшка! Мало того, я в подробности знаю всю историю вашей любви: тетушка рассказывает мне каждый день, за утренним чаем и за ужином, на сон грядущий, по интересному факту, а я вношу все эти драгоценные материалы в особый мемуар. Я не премину вручить его вам лично вместе с моими трудами по части сельского хозяйства, которыми занимаюсь здесь уже с год. Я, с своей стороны, долгом считаю уверять тетушку в неизменности ваших к ней *чувствований*, как она говорит. Когда удостоюсь получить от вашего превосходительства благоприятный, по моей просьбе, ответ, то буду иметь честь явиться к вам, с приношением сушеной малины и меду и с представлением нескольких писем, которыми обещают меня снабдить соседи по своим надобностям, кроме Заезжалова, умершего до окончания своего процесса».

ЭПИЛОГ

Вот что, спустя года четыре после вторичного приезда Александра в Петербург, происходило с главными действующими лицами этого романа.

В одно утро Петр Иванович ходил взад и вперед по своему кабинету. Это уже был не прежний бодрый, полный и стройный Петр Иванович, всегда с одинаково спокойным взором, с гордо поднятою головою и прямым станом. От лет ли, от обстоятельств ли, но он как будто опустился. Движения его были не так бодры, взгляд не так тверд и самоуверен. В бакенбардах и висках светилось много седых волос. Видно было, что он отпраздновал пятидесятилетний юбилей своей жизни. Он ходил немного сгорбившись. Особенно странно было видеть на лице этого бесстрастного и спокойного человека — каким мы его до сих пор знали — более нежели заботливое, почти тоскливое выражение, хотя оно и имело свойственный Петру Ивановичу характер.

Он как будто был в недоумении. Он делал шага два и вдруг останавливался посреди комнаты или скорыми шагами отмеривал два-три конца от одного угла до другого. Казалось, его посетила непривычная дума.

На кресле близ стола сидел невысокого роста, полный человек с крестом на шее, в застегнутом наглухо фраке, положив одну ногу на другую. Недоставало только в руках трости с большим золотым набалдашником, той классической трости, по которой читатель, бывало, сейчас узнавал доктора в романах и повестях. Может быть, доктору и пристала эта булава, с которою он от нечего делать прогуливается пешком и по целым часам просиживает у больных, утешает их и часто в лице своем соединяет две-три роли: медика, практического философа, друга дома и т. п. Но всё это хорошо там, где живут на раздолье, на просторе, болеют редко и где доктор — больше роскошь, чем необходимость. А доктор Петра Ивановича был петербургский доктор. Он не знал, что значит ходить пешком, хотя и предписывал больным моцион. Он член какого-то совета, секретарь какого-то общества, и профессор, и врач нескольких казенных заведений, и врач для бедных, и непременный посетитель всех консультаций; у него и огромная практика. Он не снимает даже перчатки с левой руки, не снимал бы и с правой, если б не надо было шупать пульса; не

расстегивает никогда фрака и почти не садится. Доктор уж не раз перекидывал от нетерпения то левую ногу на правую, то правую на левую. Ему давно пора ехать, а Петр Иванович всё ничего не говорит. Наконец!

— Что делать, доктор? — спросил Петр Иванович, вдруг остановясь перед ним.

— Ехать в Киссинген, — отвечал доктор, — одно средство. У вас припадки стали повторяться слишком часто...

— Э! вы всё обо мне! — перебил Петр Иванович, —
10 я вам говорю о жене. Мне за пятьдесят лет, а она в цветущей поре, ей надо жить; и если здоровье ее начинает угасать с этих пор...

— Вот уж и угасать! — заметил доктор. — Я сообщил вам только свои опасения на будущее время, а теперь еще нет ничего... Я только хотел сказать, что здоровье ее... или не здоровье, а так, она... как будто не в нормальном положении...

— Не всё ли равно? Вы вскользь сделали ваше замечание, да и забыли, а я с тех пор слежу за ней
20 пристально и с каждым днем открываю в ней новые, неутешительные перемены — и вот три месяца не знаю покоя. Как я прежде не видал — не понимаю! Должность и дела отнимают у меня и время, и здоровье... а вот теперь, пожалуй, и жену.

Он опять пустился шагать по комнате.

— Вы сегодня расспрашивали ее? — спросил он, помолчав.

— Да; но она ничего в себе не замечает. Я сначала предполагал физиологическую причину: у нее не было
30 детей... но, кажется, нет! Может быть, причина чисто психологическая...

— Еще легче! — заметил Петр Иванович.

— А может быть, и ничего нет. Подозрительных симптомов решительно никаких! Это так... вы засиделись слишком долго здесь, в этом болотистом климате. Ступайте на юг: освежитесь, наберитесь новых впечатлений и посмотрите, что будет. Лето проживите в Киссингене, возьмите курс вод, а осень в Италии, зиму в Париже: уверяю вас, что накопления слизи, раздражительности... как не бывало!

40 Петр Иванович почти не слушал его.

— Психологическая причина! — сказал он вполголоса и покачал головой.

— То есть, вот видите ли, почему я говорю психологическая, — сказал доктор, — иной, не зная вас, мог бы

подозревать тут какие-нибудь заботы... или не заботы... а подавленные желанья... иногда бывает нужда, недостаток... я хотел навести вас на мысль...

— Нужда, желанья! — перебил Петр Иваныч, — все ее желанья предупреждаются; я знаю ее вкус, привычки. А нужда... гм! Вы видите наш дом, знаете, как мы живем?..

— Хороший дом, славный дом, — сказал доктор, — чудесный... повар и какие сигары! А что этот приятель ваш, что в Лондоне живет... перестал присылать вам 10 херес? Что-то нынешний год не видать у вас...

— Как коварна судьба, доктор! уж я ли не был осто-рожен с ней? — начал Петр Иваныч с несвойственным ему жаром, — взвешивал, кажется, каждый свой шаг... нет, где-нибудь да подкосит, и когда же? при всех удачах, на такой карьере... А!

Он махнул рукой и продолжал ходить.

— Что вы тревожитесь так? — сказал доктор, — опасного решительно ничего нет. Я повторяю вам, что сказал в первый раз, то есть что организм ее не тронут: разру- 20 шительных симптомов нет. Малокровие, некоторый упадок сил... — вот и всё!

— Безделица! — сказал Петр Иваныч.

— Нездоровье ее отрицательное, а не положительное, — продолжал доктор. — Будто одна она? Посмотрите на всех нездешних уроженцев: на что они похожи? Ступайте, ступайте отсюда. А если нельзя ехать, развлекайте ее, не давайте сидеть, угождайте, вывозите; больше движения и телу и духу: и то и другое у ней в неестественном усыплении. Конечно, со временем оно 30 может пасть на легкие или...

— Прощайте, доктор! я пойду к ней, — сказал Петр Иваныч и скорыми шагами пошел в кабинет жены. Он остановился у дверей, тихо раздвинул портьеры и устремил на жену беспокойный взгляд.

Она... что же особенного заметил в ней доктор? Всякий, увидев ее в первый раз, нашел бы в ней женщину, каких много в Петербурге. Бледна, это правда: взгляд у ней матовый, блуза свободно и ровно стелется по плоским плечам и гладкой груди; движения медленны, 40 почти вялы... Но разве румянец, блеск глаз и огонь движений — отличительные признаки наших красавиц? А прелесть форм... Ни Фидий, ни Пракситель не нашли бы здесь Венер для своего резца.

Нет, не пластической красоты надо искать в северных красавицах: они — не статуи; им не дались античные позы, в которых увековечилась красота греческих женщин, да не из чего и строить этих поз: нет тех безукоризненно правильных контуров тела... Чувственность не льется из глаз их жарким потоком лучей; на полуоткрытых губах не млеет та наивно-сладострастная улыбка, какую горят уста южной женщины. Нашим женщинам дана в удел другая, высшая красота. Для резца неуловим этот блеск мысли в чертах лиц их, эта борьба воли с страстью, игра не высказываемых языком движений души с бесчисленными, тонкими оттенками лукавства, мнимого простодушия, гнева и доброты, затаенных радостей и страданий... всех этих мимолетных молний, вырывающихся из концентрической души...

Как бы то ни было, но видевший в первый раз Лизавету Александровну не заметил бы в ней никакого расстройства. Тот только, кто знал ее прежде, кто помнил свежесть лица ее, блеск взоров, под которым, бывало, трудно рассмотреть цвет глаз ее — так тонули они в роскошных, трепещущих волнах света, кто помнил ее пышные плечи и стройный бюст, тот с болезненным изумлением взглянул бы на нее теперь, сердце его сжалось бы от сожаления, если он не чужой ей, как теперь оно сжалось, может быть, у Петра Иваныча, в чем он боялся признаться самому себе.

Он тихо вошел в кабинет и сел подле нее.

— Что ты делаешь? — спросил он.

— Вот просматриваю расходную книжку, — отвечала она. — Вообрази, Петр Иваныч: в прошедшем месяце на один стол вышло около полуторы тысячи рублей: это ни на что не похоже!

Он, не говоря ни слова, взял у ней книжку и положил на стол.

— Послушай, — начал он, — доктор говорит, что здесь моя болезнь может усилиться: он советует ехать на воды за границу. Что ты скажешь?

— Что же мне сказать? Тут, я думаю, голос доктора важнее моего. Надо ехать, если он советует.

— А ты? Желала ли бы ты сделать этот вояж?

40 — Пожалуй.

— Но, может быть, ты лучше хотела бы остаться здесь?

— Хорошо, я останусь.

— Что же из двух? — спросил Петр Иваныч с некоторым нетерпением.

— Распоряжайся и собой, и мной, как хочешь, — отвечала она с унылым равнодушием, — велишь — я поеду, нет — останусь здесь...

— Остаться здесь нельзя, — заметил Петр Иванович, — доктор говорит, что и твое здоровье несколько пострадало... от климата.

— С чего он взял? — сказала Лизавета Александровна, — я здорова, я ничего не чувствую.

— Продолжительное путешествие, — говорил Петр Иванович, — тоже может быть для тебя утомительно; не хочешь ли ты пожить в Москве у тетки, пока я буду за границею? 10

— Хорошо; я, пожалуй, поеду в Москву.

— Или не съездить ли нам обоим на лето в Крым?

— Хорошо и в Крым.

Петр Иванович не выдержал: он встал с дивана и начал, как у себя в кабинете, ходить по комнате, потом остановился перед ней.

— Тебе всё равно, где ни быть? — спросил он.

— Всё равно, — отвечала она. 20

— Отчего же?

Она, ничего не отвечая на это, взяла опять расходную тетрадь со стола.

— Воля твоя, Петр Иванович, — заговорила она, — нам надо сократить расходы: как, тысяча пятьсот рублей на один стол...

Он взял у ней тетрадь и бросил под стол.

— Что это так занимает тебя? — спросил он, — или денег тебе жаль?

— Как же не занимать? Ведь я твоя жена! Ты же сам учил меня... а теперь упрекаешь, что я занимаюсь... *Я делаю свое дело!* 30

— Послушай, Лиза! — сказал Петр Иванович после краткого молчания, — ты хочешь переделать свою натуру, осилить волю... это нехорошо. Я никогда не принуждал тебя: ты не уверишь меня, чтоб эти дрязги (он указал на тетрадь) могли занимать тебя. Зачем ты хочешь стеснять себя? Я предоставляю тебе полную свободу...

— Боже мой! зачем мне свобода? — сказала Лизавета Александровна, — что я стану с ней делать? Ты до сих пор так хорошо, так умно распорядился и мной, и собой, что я отвыкла от своей воли; продолжай и вперед; а мне свобода не нужна. 40

Оба замолчали.

— Давно, — начал опять Петр Иванович, — я не слышал от тебя, Лиза, никакой просьбы, никакого желания, каприза.

— Мне ничего не нужно, — заметила она.

— У тебя нет никаких особенных... скрытых желаний? — спросил он с участием, пристально глядя на нее.

Она колебалась, говорить или нет.

Петр Иванович заметил это.

— Скажи, ради Бога, скажи! — продолжал он, — твои ¹⁰ желания будут моими желаниями, я исполню их как закон.

— Ну хорошо, — отвечала она, — если ты можешь это сделать для меня... то... уничтожь наши пятницы... эти обеды утомляют меня...

Петр Иванович задумался.

— Ты и так живешь взаперти, — сказал он, помолчав, — а когда к нам перестанут собираться приятели по пятницам, ты будешь совершенно в пустыне. Впрочем, изволь; ты желаешь этого — будет исполнено. Что ж ты ²⁰ станешь делать?

— Ты передай мне свои счета, книги, дела... я займусь... — сказала она и потянулась под стол поднять расходную тетрадь.

Петру Ивановичу это показалось худо скрытым притворством.

— Лиза!.. — с упреком сказал он.

Книжка осталась под столом.

— А я думал, не возобновишь ли ты некоторых знакомств, которые мы совсем оставили? Для ³⁰ этого я хотел дать бал, чтоб ты рассеялась, выезжала бы сама...

— Ах нет, нет! — с испугом заговорила Лизавета Александровна, — ради Бога, не нужно! Как можно... бал!

— Что ж это так пугает тебя? В твои лета бал не теряет своей занимательности; ты еще можешь танцевать...

— Нет, Петр Иванович, прошу тебя, не затевай! — заговорила она с живостью, — заботиться о туалете, одеваться, принимать толпу, выезжать — Боже сохрани! ⁴⁰

— Ты, кажется, весь век хочешь проходить в блузе?

— Да, если ты позволишь, я бы не сняла ее. Зачем наряжаться? и трата денег, и лишние хлопоты без всякой пользы.

— Знаешь что? — вдруг сказал Петр Иванович, — говорят, на нынешнюю зиму ангажирован сюда Рубини; у нас будет постоянная итальянская опера; я просил оставить для нас ложу — как ты думаешь?

Она молчала.

— Лиза!

— Напрасно... — сказала она робко, — я думаю, и это будет мне утомительно... я устаю...

Петр Иванович склонил голову, подошел к камину и, облокотясь на него, смотрел... как бы это сказать? с 10 тоской не с тоской, а с тревогой, с беспокойством и с боязнью на нее.

— Отчего, Лиза, это... — начал было он и не договорил: слово «равнодушие» не сошло у него с языка.

Он долго молча глядел на нее. В ее безжизненно-матовых глазах, в лице, лишенном игры живой мысли и чувств, в ее ленивой позе и медленных движениях он прочитал причину того равнодушия, о котором боялся спросить; он угадал ответ тогда еще, когда доктор только что намекнул ему о своих опасениях. Он 20 тогда опомнился и стал догадываться, что, ограждая жену методически от всех уклонений, которые могли бы повредить их супружеским интересам, он вместе с тем не представил ей в себе вознаградительных условий за те, может быть, непривилегированные законом радости, которые бы она встретила вне супружества, что домашний ее мир был не что иное, как крепость, благодаря методу его неприступная для соблазна, но зато в ней встречались на каждом шагу рогатки и патрули и против всякого законного проявления чувства... 30

Методичность и сухость его отношений к ней простерлись, без его ведома и воли, до холодной и тонкой тирании, и над чем? над сердцем женщины! За эту тиранию он платил ей богатством, роскошью, всеми наружными и сообразными с его образом мыслей условиями счастья — ошибка ужасная, тем более ужасная, что она сделана была не от незнания, не от грубого понятия его о сердце — он знал его, — а от небрежности, от эгоизма! Он забывал, что она не служила, не играла в карты, что у ней не было завода, что отличный стол 40 и лучшее вино почти не имеют цены в глазах женщины, а между тем он заставлял ее жить этою жизнью.

Петр Иванович был добр; и если не по любви к жене, то по чувству справедливости он дал бы бог знает что,

чтоб поправить зло; но как поправить? Не одну ночь провел он без сна с тех пор, как доктор сообщил ему свои опасения насчет здоровья жены, стараясь отыскать средства примирить ее сердце с настоящим положением и восстановить угасающие силы. И теперь, стоя у камина, он размышлял о том же. Ему пришло в голову, что, может быть, в ней уже таится зародыш опасной болезни, что она убита бесцветной и пустой жизнью...

Холодный пот выступал у него на лбу. Он терялся в средствах, чувствуя, что для изобретения их нужно больше сердца, чем головы. А где ему взять его? Ему что-то говорило, что если б он мог пасть к ее ногам, с любовью заключить ее в объятия и голосом страсти сказать ей, что жил только для нее, что цель всех трудов, суеты, карьеры, стяжания — была она, что его методический образ поведения с ней внушен был ему только пламенным, настойчивым, ревнивым желанием укрепить за собой ее сердце... Он понимал, что такие слова были бы действием гальванизма на труп, что она вдруг процвела бы здоровьем, счастьем и на воды не понадобилось бы ехать.

Но сказать и доказать — две вещи разные. Чтоб доказать это, надо точно иметь страсть. А порывшись в душе своей, Петр Иваныч не нашел там и следа страсти. Он чувствовал только, что жена была необходима ему, — это правда, но наравне с прочими необходимостями жизни, необходима по привычке. Он, пожалуй, не прочь бы притвориться, сыграть роль любовника, как ни смешно в пятьдесят лет вдруг заговорить языком страсти; но обманешь ли женщину страстью, когда ее нет? Достанет ли потом столько героизма и уменья, чтоб дотянуть на плечах эту роль до той черты, за которой умолкают требования сердца? И не убьет ли ее окончательно оскорбленная гордость, когда она заметит, что то, что несколько лет назад было бы волшебным напитком для нее, подносится ей теперь как лекарство? Нет, он по-своему отчетливо взвесил и обсудил этот поздний шаг и не решился на него. Он думал сделать, может быть, то же, но иначе, так, как это теперь было нужно и возможно. У него уже три месяца шевелилась мысль, которая прежде показалась бы ему нелепостью, а теперь — другое дело! Он берег ее на случай крайности: крайность настала, и он решился исполнить свой план.

«Если это не поможет, — думал он, — тогда нет спасенья! будь что будет!»

Петр Иванович решительными шагами подошел к жене и взял ее за руку.

— Ты знаешь, Лиза, — сказал он, — какую роль я играю в службе: я считаюсь самым дельным чиновником в министерстве. Нынешний год буду представлен в тайные советники и, конечно, получу. Не думай, чтоб карьера моя кончилась этим: я могу еще идти вперед... и пошел бы...

Она смотрела на него с удивлением, ожидая, к чему это поведет. 10

— Я никогда не сомневалась в твоих способностях, — сказала она. — Я вполне уверена, что ты не остановишься на половине дороги, а пойдешь до конца...

— Нет, не пойду: я на днях подам в отставку.

— В отставку? — спросила она с изумлением, выпрямившись.

— Да.

— Зачем?

— Слушай еще. Тебе известно, что я расчелся со 20 своими компаньонами и завод принадлежит мне одному. Он приносит мне до сорока тысяч чистого барыша, без всяких хлопот. Он идет как заведенная машина.

— Знаю; так что ж? — спросила Лизавета Александровна.

— Я его продам.

— Что ты, Петр Иванович! Что с тобой? — с возрастающим изумлением говорила Лизавета Александровна, глядя на него с испугом, — для чего всё это? Я не опомнюсь, понять не могу... 30

— Не-уже-ли не можешь понять?

— Нет!.. — в недоумении сказала Лизавета Александровна.

— Ты не можешь понять, что, глядя, как ты скучаешь, как твое здоровье терпит... от климата, я подорожу своей карьерой, заводом, не увезу тебя вон отсюда? не посвящу остатка жизни тебе?.. Лиза! неужели ты считала меня неспособным к жертве?.. — прибавил он с упреком.

— Так это для меня! — сказала Лизавета Александровна, едва приходя в себя, — нет, Петр Иванович! — живо 40 заговорила она, сильно встревоженная, — ради Бога, никакой жертвы для меня! Я не приму ее — слышишь ли? решительно не приму! Чтоб ты перестал трудиться, отличать, богатеть — и для меня! Боже сохрани! Я не

стою этой жертвы! Прости меня: я была мелка для тебя, ничтожна, слаба, чтобы понять и оценить твои высокие цели, благородные труды... Тебе не такую женщину надо было...

— Еще великодушие! — сказал Петр Иваныч, пожимая плечами. — Мои намерения неизменны, Лиза!

— Боже, Боже, что я наделала! Я была брошена как камень на твоём пути; я мешаю тебе... Что за странная моя судьба! — прибавила она почти с отчаянием. — Если ¹⁰ человеку не хочется, не нужно жить... неужели Бог не сжалятся, не возьмет меня? Мешать тебе...

— Напрасно ты думаешь, что эта жертва тяжела для меня. Полно жить этой деревянной жизнью! Я хочу отдохнуть, успокоиться; а где я успокоюсь, как не наедине с тобой?.. Мы поедем в Италию.

— Петр Иваныч! — сказала она, почти плача, — ты добр, благороден... я знаю, ты в состоянии на великодушное притворство... но, может быть, жертва бесполезна, может быть, уж... поздно, а ты бросишь свои дела...

— Пощади меня, Лиза, и не добирайся до этой мысли, — возразил Петр Иваныч, — иначе ты увидишь, что я не из железа создан... Я повторяю тебе, что я хочу жить не одной головой: во мне еще не всё застыло.

Она глядела на него пристально, с недоверчивостью.

— И это... искренно? — спросила она, помолчав, — ты точно хочешь покоя, уезжаешь не для меня одной?

— Нет: и для себя.

— А если для меня, я ни за что, ни за что...

— Нет, нет! я нездоров, устал... хочу отдохнуть...

³⁰ Она подала ему руку. Он с жаром поцеловал ее.

— Так едем в Италию? — спросил он.

— Хорошо, поедем, — отвечала она монотонно.

У Петра Иваныча — как гора с плеч. «Что-то будет!» — подумал он.

Долго сидели они, не зная, что сказать друг другу. Неизвестно, кто первый прервал бы молчание, если б они оставались еще вдвоем. Но вот в соседней комнате послышались торопливые шаги. Явился Александр.

Как он переменялся! Как пополнил, оплешивел, как ⁴⁰ стал румян! С каким достоинством он носит свое выпуклое брюшко и орден на шее! Глаза его сияли радостью. Он с особенным чувством поцеловал руку у тетки и пожал дядину руку...

— Откуда? — спросил Петр Иваныч.

— Угадайте, — отвечал Александр значительно.

— У тебя сегодня какая-то особенная пруть, — сказал Петр Иваныч, глядя на него вопросительно.

— Бьюсь об заклад, что не угадаете! — говорил Александр.

— Лет десять или двенадцать назад однажды ты, я помню, вот этак же вбежал ко мне, — заметил Петр Иваныч, — еще разбил у меня что-то... тогда я сразу догадался, что ты влюблен, а теперь... ужели опять? Нет, не может быть: ты слишком умен, чтоб...

10

Он взглянул на жену и вдруг замолчал.

— Не угадываете? — спросил Александр.

Дядя глядел на него и всё думал.

— Уж не... женишься ли ты? — сказал он нерешительно.

— Угадали! — торжественно воскликнул Александр. — Поздравьте меня.

— В самом деле? На ком? — спросили и дядя и тетка.

— На дочери Александра Степаныча.

— Неужели? Да ведь она богатая невеста, — сказал Петр Иваныч. — И отец... ничего? 20

— Я сейчас от них. Отчего отцу не согласиться? Напротив, он со слезами на глазах выслушал мое предложение; обнял меня и сказал, что теперь он может умереть спокойно: что он знает, кому вверяет счастье дочери... «Идите, говорит, только по следам вашего дядюшки!»

— Он сказал это? Видишь, и тут не без дядюшки!

— А что сказала дочь? — спросила Лизавета Александровна. 30

— Да... она... так, как, знаете, все девицы, — отвечал Александр, — ничего не сказала, только покраснела; а когда я взял ее за руку, так пальцы ее точно играли на фортепьяно в моей руке... будто дрожали.

— Ничего не сказала! — заметила Лизавета Александровна. — Неужели вы не взяли на себя труда выведать об этом у ней до предложения? Вам всё равно? Зачем же вы женитесь?

— Как зачем? Не всё же так шататься! Одиночество наскучило; пришла пора, та tante, усесться на месте, основаться, обзавестись своим домком, исполнить долг... Невеста же хорошенькая, богатая... Да вот дядюшка скажет вам, зачем женятся: он так обстоятельно рассказывает...

Петр Иваныч, тихонько от жены, махнул ему рукой, чтоб он не ссылался на него и молчал, но Александр не заметил.

— А может быть, вы не нравитесь ей? — говорила Лизавета Александровна, — может быть, она любит вас не может — что вы на это скажете?

— Дядюшка, что бы сказать? Вы лучше меня говорите... Да вот я приведу ваши же слова, — продолжал он, не замечая, что дядя вертелся на своем месте и значительно кашлял, чтоб замять эту речь, — женишься по любви, — говорил Александр, — любовь пройдет и будешь жить привычкой; женишься не по любви — и придешь к тому же результату: привыкнешь к жене. Любовь любовью, а женитьба женитьбой; эти две вещи не всегда сходятся, а лучше, когда не сходятся... Не правда ли, дядюшка? ведь вы так учили...

Он взглянул на Петра Иваныча и вдруг остановился, видя, что дядя глядит на него свирепо. Он, с разинутым ртом, в недоумении, поглядел на тетку, потом опять на дядю и замолчал. Лизавета Александровна задумчиво покачала головой.

— Ну так ты женишься? — сказал Петр Иваныч. — Вот теперь пора, с Богом! А то хотел было в двадцать три года.

— Молодость, дядюшка, молодость!

— То-то молодость.

Александр задумался и потом улыбнулся.

— Что ты? — спросил Петр Иваныч.

— Так: мне пришла в голову одна несообразность...

30 — Какая?

— Когда я любил... — отвечал Александр в раздумье, — тогда женитьба не давалась...

— А теперь женишься, да любовь не дается, — прибавил дядя, и оба они засмеялись.

— Из этого следует, дядюшка, что вы правы, полагая привычку главным...

Петр Иваныч опять сделал ему зверское лицо. Александр замолчал, не зная, что подумать.

40 — Женишься на тридцать пятом году, — говорил Петр Иваныч, — это в порядке. А помнишь, как ты тут бесновался в конвульсиях, кричал, что тебя возмущают неравные браки, что невесту влекут как жертву, убранную цветами и алмазами, и толкают в объятия пожилого человека, большей частью некрасивого, с лысиной. Покажи-ка голову.

— Молодость, молодость, дядюшка! Не понимал сущности дела, — говорил Александр, заглаживая рукой волосы.

— Сущность дела, — продолжал Петр Иванович. — А бывало, помнишь, как ты был влюблен в эту, как ее... Наташу, что ли? «Бешеная ревность, порывы, небесное блаженство»... куда всё это девалось?..

— Ну, ну, дядюшка, полноте! — говорил Александр, краснея.

— Где «колоссальная страсть, слезы»?..

10

— Дядюшка!

— Что? Полно предаваться «искренним излияниям», полно рвать желтые цветы! «Одиночество наскучило»...

— О, если так, дядюшка, я докажу, что не я один любил, бесновался, ревновал, плакал... позвольте, позвольте, у меня имеется письменный документ...

Он вынул из кармана бумажник и, порывшись довольно долго в бумагах, вытащил какой-то ветхий, почти развалившийся и пожелтевший листок бумаги.

— Вот, ma tante, — сказал он, — доказательство, что дядюшка не всегда был такой рассудительный, насмешливый и положительный человек. И он ведал искренние излияния и передавал их не на гербовой бумаге, и притом особыми чернилами. Четыре года таскал я этот лоскуток с собой и всё ждал случая уличить дядюшку. Я было и забыл о нем, да вы же сами напомнили.

— Что за вздор? Я ничего не понимаю, — сказал Петр Иванович, глядя на лоскуток.

— А вот, взглянитесь.

Александр поднес бумажку к глазам дяди. Вдруг лицо Петра Ивановича потемнело.

30

— Отдай! отдай, Александр! — закричал он торопливо и хотел схватить лоскуток. Но Александр проворно отдернул руку. Лизавета Александровна с любопытством смотрела на них.

— Нет, дядюшка, не отдам, — говорил Александр, — пока не сознаетесь здесь, при тетушке, что и вы когда-то любили, как я, как все... Или иначе этот документ передастся в ее руки, в вечный упрек вам.

— Варвар! — закричал Петр Иванович, — что ты делаешь со мной?

40

— Вы не хотите?

— Ну, ну: любил. Подай.

— Нет, позвольте, что вы бесновались, ревновали?

— Ну ревновал, бесновался... — говорил, морщась, Петр Иваныч.

— Плакали?

— Нет, не плакал.

— Неправда! я слышал от тетушки: признавайтесь.

— Язык не ворочается, Александр: вот разве теперь заплачу.

— Ma tante! извольте документ.

— Покажите, что это такое? — спросила она, протя-
10 гивая руку.

— Плакал, плакал! Подай! — отчаянно возопил Петр Иваныч.

— Над озером?

— Над озером.

— И рвали желтые цветы?

— Рвал. Ну тебя совсем! Подай!

— Нет, не всё: дайте честное слово, что вы предадите вечному забвению мои глупости и перестанете колоть мне ими глаза.

20 — Честное слово.

Александр отдал лоскуток. Петр Иваныч схватил его, зажег спичку и тут же сжег бумажку.

— Скажите мне, по крайней мере, что это такое? — спросила Лизавета Александровна.

— Нет, милая, этого и на Страшном суде не скажу, — отвечал Петр Иваныч. — Да неужели я писал это? Быть не может...

— Вы, дядюшка! — перебил Александр. — Я, пожалуй, скажу, что тут написано: я наизусть знаю: «Ангел, обожаемая мною...»

30 — Александр! Навек поссоримся! — закричал Петр Иваныч сердито.

— Краснеют, как преступления, — и чего! — сказала Лизавета Александровна, — первой, нежной любви.

Она пожала плечами и отвернулась от них.

— В этой любви так много... глупого, — сказал Петр Иваныч мягко, вкрадчиво. — Вот у нас с тобой и помину не было об искренних излияниях, о цветах, о прогулках при луне... а ведь ты любишь же меня...

— Да, я очень... привыкла к тебе, — рассеянно отве-
40 чала Лизавета Александровна.

Петр Иваныч начал в задумчивости гладить бакенбарды.

— Что, дядюшка, — спросил Александр шепотом, — это так и надо?

Петр Иваныч мигнул ему, как будто говоря: «Молчи».

— Петру Иванычу простительно так думать и поступать, — сказала Лизавета Александровна, — он давно такой, и никто, я думаю, не знал его другим; а от вас, Александр, я не ожидала этой перемены...

Она вздохнула.

— О чем вы вздохнули, ma tante? — спросил он.

— О прежнем Александре, — отвечала она.

— Неужели вы желали бы, ma tante, чтоб я остался таким, каким был лет десять назад? — возразил Александр. — Дядюшка правду говорит, что эта глупая мечтательность...

Лицо Петра Иваныча начало свирепеть. Александр замолчал.

— Нет, не таким, — отвечала Лизавета Александровна, — как десять лет, а как четыре года назад: помните, какое письмо вы написали ко мне из деревни? Как вы хороши были там!

— Я, кажется, тоже мечтал там, — сказал Александр.

— Нет, не мечтали. Там вы поняли, растолковали себе жизнь; там вы были прекрасны, благородны, умны...²⁰ Зачем не остались такими? Зачем это было только на словах, на бумаге, а не на деле? Это прекрасное мелькнуло, как солнце из-за туч, — на одну минуту...

— Вы хотите сказать, ma tante, что теперь я... не умен и... не благороден...

— Боже сохрани! нет! Но теперь вы умны и благородны... по-другому, не по-моему...

— Что делать, ma tante? — сказал с громким вздохом Александр, — век такой. Я иду наравне с веком: нельзя же отставать! Вот я сошлюсь на дядюшку, приведу его³⁰ слова...

— Александр! — свирепо сказал Петр Иваныч, — пойдем на минуту ко мне в кабинет: мне нужно сказать тебе одно слово.

Они пришли в кабинет.

— Что это за страсть пришла тебе сегодня ссылаться на меня? — сказал Петр Иваныч. — Ты видишь, в каком положении жена?

— Что такое? — с испугом спросил Александр.

— Ты ничего не замечаешь? А то, что я бросаю⁴⁰ службу, дела — всё, и еду с ней в Италию.

— Что вы, дядюшка? — в изумлении воскликнул Александр, — ведь вам нынешний год следует в тайные советники...

— Да видишь: тайная советница-то плоха...

Он раза три задумчиво прошелся взад и вперед по комнате.

— Нет, — сказал он, — моя карьера кончена! Дело сделано: судьба не велит идти дальше... пусть! — Он махнул рукой.

— Поговорим лучше о тебе, — сказал он, — ты, кажется, идешь по моим следам...

— Приятно бы, дядюшка! — прибавил Александр.

10 — Да! — продолжал Петр Иванович, — в тридцать с небольшим лет — коллежский советник, хорошее казенное содержание, посторонними трудами зарабатываешь много денег да еще вовремя женишься на богатой... Да, Адуевы делают свое дело! Ты весь в меня, только недостает боли в пояснице...

— Да уж иногда колет... — сказал Александр, дотронувшись до спины.

— Всё это прекрасно, разумеется кроме боли в пояснице, — продолжал Петр Иванович, — я, признаюсь, не думал, чтоб из тебя вышло что-нибудь путное, когда ты
20 приехал сюда. Ты всё забирал себе в голову замогильные вопросы, улетал в небеса... но всё прошло — и слава Богу! Я сказал бы тебе: продолжай идти во всем по моим следам, только...

— Только что, дядюшка?

— Так... я хотел бы тебе дать несколько советов... насчет будущей твоей жены...

— Что такое? это любопытно.

— Да нет! — продолжал Петр Иванович, помолчав, —
30 боюсь, как бы хуже не наделать. Делай, как знаешь сам: авось догадаешься... Поговорим лучше о твоей женитьбе. Говорят, у твоей невесты двести тысяч приданого — правда ли!

— Да, двести отец дает да сто от матери осталось.

— Так это триста! — закричал Петр Иванович почти с испугом.

— Да еще он сегодня сказал, что все свои пятьсот душ отдает нам теперь же в полное распоряжение, с тем чтоб выплачивать ему восемь тысяч ежегодно. Жить будем
40 вместе.

Петр Иванович вскочил с кресел с несвойственной ему живостью.

— Постой, постой! — сказал он, — ты оглушил меня: так ли я слышал? повтори, сколько?

— Пятьсот душ и триста тысяч денег... — повторил Александр.

— Ты... не шутишь?

— Какие шутки, дядюшка?

— И имение... не заложено? — спросил Петр Иванович тихо, не двигаясь с места.

— Нет.

Дядя, скрестив руки на груди, смотрел несколько минут с уважением на племянника.

— И карьера, и фортуна! — говорил он почти про себя, любуясь им. — И какая фортуна! и вдруг! всё! всё!.. Александр! — гордо, торжественно прибавил он, — ты моя кровь, ты — Адуев! Так и быть, обними меня!

И они обнялись.

— Это в первый раз, дядюшка! — сказал Александр.

— И в последний! — отвечал Петр Иванович, — это необыкновенный случай. Ну неужели тебе и теперь не нужно презренного металла? Обратись же ко мне хоть однажды.

— Ах! нужно, дядюшка: издержек множество. Если вы можете дать десять-пятнадцать тысяч...

— Насилу, в первый раз! — провозгласил Петр Иванович.

— И в последний, дядюшка: это необыкновенный случай! — сказал Александр.

ПИСЬМА СТОЛИЧНОГО ДРУГА К ПРОВИНЦИАЛЬНОМУ ЖЕНИХУ

Письмо первое

*Франт. — Лев. — Человек хорошего тона. —
Порядочный человек.*

Ну, любезный друг, Василий Васильич, вывел ты меня из терпения своим письмом и комиссиями, или не то что комиссиями, а допотопными наставлениями, как исполнить их. Не хотел было я сначала отвечать тебе: как-таки, говорю себе, человек, подававший в юношестве такие блистательные надежды, учившийся так хорошо по-гречески и по-латыни, питавший в университете ум свой изящными произведениями древности, а желудок — не какими-нибудь пирогами от разносчика, а изделиями Пезра и Педотти, — как такой человек мог упасть так жалко и глубоко в бездну... дурного тона! Но, смею сказать, *порядочность* моя одержала верх над минутной досадой: так и быть, соберу все силы и спасу тебя, извлеку тебя из пропасти во имя нашей старой дружбы, во имя любви к человечеству... Ты презрительно усмехнешься при этом: знаю, знаю твою философию! «Франт, лев толкует о дружбе, о любви к человечеству!» — скажешь ты, приподняв, по своему обыкновению, одну бровь выше другой. Приведи же в уровень свои брови и не играй попусту словами *лев* и *франт*, значения которых ты, извини, худо понимаешь. Ты часто титулуешь меня то тем, то другим названием; но пойми один раз навсегда, что я не *лев* и не *франт*, хоть я и не вижу ничего позорного в значении *льва* и *франта*, так точно как и не вижу причин особенно уважать их. Если есть люди, посвящающие жизнь любви к собакам, лошадям и т. п., то чем хуже другие, избравшие назначением себе приобрести хорошие манеры, уметь порядочно одеваться, выставять себя напоказ и проч.

Не *лев* и не *франт* я, говорю, или, пожалуй, я и то, и другое, но я, сверх этого, еще и третье, а может быть, и четвертое.

Франт и *лев*! Это была бы слишком мелкая и ограниченная сфера для моего самолюбия; ты помнишь мое самолюбие: тебе не раз доставалось от него. Нет, мое назначение выше, сфера обширнее. Вникни хорошенько в смысл моей претензии: я задал себе задачу быть не только *человеком хорошего тона*, но еще и *человеком порядочным*. Многие смешивают эти два понятия, но несправедливо. Ты много знаешь, знаешь, между прочим, по-гречески и по-латыни, но знаешь ли ты, что человек-то *хорошего тона*, и особенно человек *порядочный* (а не *лев* и *франт* только, не забывай этого), имеет, может быть, больше права толковать о дружбе и о любви к человечеству, нежели кто-нибудь, иногда больше даже того, кто знает по-греч... ну, ну, не сердись: будем рассуждать дельно и хладнокровно.

Я сказал, что я и *франт*, и *лев*, и человек *хорошего тона*, и... стремлюсь быть *человеком порядочным*, стремлюсь, сколько есть сил. Станным покажется тебе такое неделовое, пустое самолюбие: это оттого, что ты никогда не подумал о значении *порядочного человека*. Попробуй подумать, приведи к одному знаменателю общие усилия этих четырех приведенных мною типов хорошего общества: что выйдет? к какому итогу ведут их стремления? выведи и назови этот итог: ведь выйдет — *уменье жить, savoir vivre!* Я думаю, есть о чем похлопотать.

Рассмотрим же теперь все четыре степени адептов этой науки, с тою целию, во-первых, чтоб ты не играл на ветер словами *лев* и *франт*, не понимая их значенья, и, во-вторых, чтоб ты признал великую науку, поставил ее если не выше, то хоть рядом с знанием греческих и римских древностей и преклонил бы колени перед *уменьем жить*, в таинства которого я хочу посвятить тебя именем старой нашей дружбы и любви к человечеству. Слушай же.

Что такое *франт*? *Франт* уловил только одну, самую простую и пустую сторону *уменья жить*: мастерски, безукоризненно одеться. По ограниченности взгляда на жизнь, он, кроме этого, ничего не усвоил. Оттого в нем так заметно и пробивается и бросается другим в глаза основательно порицаемая претензия блеснуть своей скудной частичкой *уменья жить* и доводить ее даже за пределы

хорошего тона. Пройти весь Невский проспект, не сбившись с усвоенной себе *франтами* иноходи, не вынув ни разу руки из заднего кармана пальто и не выронив из глаза искусно вставленной лорнетки, — вот что может поглотить у него целое утро. Чтобы надеть сегодня привезенные только третьего дня панталоны известного цвета с лампасами или променять свою цепочку на другую, только что полученную, он согласится два месяца дурно обедать. Он готов простоять целый вечер на ногах, лишь бы не сделать, сидя, складки на белом жилете; не повернет два часа головы ни направо, ни налево, чтоб не помять галстука. Ты спросишь, для чего он делает всё это, не для цели ли какой-нибудь? Для того, например, чтоб броситься в глаза изяществом туалета женщине, заставить ее остановить на себе внимание сначала этим, чтоб потом другими средствами идти далее? или из собственного многим тщеславия показать, что он может свободно тратить деньги? нет! абсолютный *франт* делает это так: он одевается картинно для самоуслаждения. Он трепещет гордостью и млеет от неги, когда случайно поймает брошенный на него каким-нибудь юношей завистливый взгляд или подхватит на лету фразу: «Такой-то всегда отлично одет».

Это обыкновенно мелкое и жалкое существо; бросим его и перейдем ко *льву*.

Лев покорила себе уже все чисто внешние стороны *уменья жить*. В нем не заметно мелкой претензии, то есть щепетильной заботливости о туалете или о другом исключительном предмете, не видать желанья блеснуть одной какой-нибудь стороной. У него нет исключительности, нет предпочтения одной стороне перед другою. Все стороны равны у него; они должны быть сведены в одно гармоническое целое и разливать блеск и изящество одинаково на весь образ жизни. Оттого *лев* полон спокойствия и достоинства. Он никогда не оглядывает своего платья, не охорашивается, не поправляет галстука, волос; безукоризненный туалет не качество, не заслуга в нем, а необходимое условие. Он исполнен небрежной уверенности, что одет изящно, сообразно с мгновением не текущей, а рождающейся моды. Ему и некогда обращать исключительного внимания на одну какую-нибудь сторону. Внимание его разбросано на множество предметов. Он хорошо ест (тоже не шутка!); ему надо подумать, где и как обедать, решить, какой сорт из вновь

привезенных сигар курить и заставить курить других; его занимает забота и о цвете экипажа, и о ливрее людей. Он в виду толпы: на него смотрят как на классическую статую. Ему надо идти параллельно с модою во всем, искусно и вовремя уловлять первые, самые свежие ее мгновения, когда другой не поспел и не посмел и подумать подчиниться капризу ее, и охладеть, когда другие только что покоряются ей. На *льва*, говорю, смотрит целое общество: замечают, на какую женщину предпочтительно падает его взгляд, и та женщина окружена общим вниманием; справляются, какой из привезенных французских романов хвалит он, и все читают его. Наконец, проникают в его домашний быт, изучают его мебель, бронзу, ковры, все мелочи, перенимают привычки, подражают его глупостям. В этой-то быстроте и навыке соображения, что выбрать, надеть, что отбросить, где и как обедать, что завтракать, с кем видаться, говорить и о чем, как распределить порядок утра, дня и вечера так, чтоб всем этим произвести эффект, — и состоит задача *льва*. Он обречен вечному хамелеонству; вкус его в непрерывном движении; он играет у него роль часовой стрелки, и все поверяют свой вкус по ней, как часы по одному какому-нибудь регулятору, но все несколько отстают: *льва* догнать нельзя, в противном случае он не *лев*. Ни у кого нет такого тонкого чутья в выборе того или другого покроя, тех или других вещей; он не только первый замечает, но издали предчувствует появление модной новости, модного обычая, потому что всегда носит в себе потребность моды и новизны. Эта тонкость чутья, этот нежно изощренный вкус во всем, что относится до изящного образа жизни, и есть качество и достоинство *льва*. У *льва* есть своя претензия, не такая, как у *франта*; нет, это блистательная, обширная претензия: не теряться ни на минуту из глаз общества, не сходить с пьедестала, на который возвел его изящный вкус, властвовать в пределах моды, быть всегда нужным толпе, быть корифеем (что, обрадовался греческому слову?) ее в деле вкуса и манер.

Человек *хорошего тона* в тесном, глубоком смысле слова (потому что и *лев* — *хорошего тона*, но только со стороны наружных манер) есть уже человек, обладающий кроме наружных и многими нравственными качествами *уменья жить*. Его ни *франтом*, ни *львом* назвать нельзя: как *лев* не есть уже *франт*, хотя он и заключает в себе

все условия франтовства, так точно и человек *хорошего тона* не есть уже *лев*, хотя и имеет все средства быть им. Он, пожалуй, иногда, в известной, нужной ему степени, и то и другое: он и одет прекрасно, и обедает отлично, убирает изящно и дом свой; прислуга, экипаж — всё у него очень хорошо, но всё это делается у него не по призванию, как у тех, а вследствие изящно возделанной натуры, тонкого воспитания. Хорошо есть, пить, одеваться, сидеть и лежать на покойной мебели и т. п. есть его внутренняя потребность, привычка к комфорту. Он этим не рассчитывает на эффект, а делает всё для себя. Его сфера обширнее. Оттого он не стесняет себя теми условиями, которыми живет и дышит *лев*. Он позволяет себе некоторые отступления, без вреда репутации хорошего тона, от разных наружных условий нарядного быта. Например, иногда подробности своего туалета он оставляет попечению камердинера или портного; пропустит какую-нибудь моду; может курить те сигары, к которым привык, обедать, завтракать, выбирать и забирать вещи, где ему кажется хорошо, руководствуясь своим личным вкусом, а не указанием господствующей в то мгновение моды, потому что личный вкус его непогрешителен: он не введет его в ошибку против хорошего тона, он у него выработан в инстинкт. Человек *хорошего тона* может даже знать по-гречески и по-латыни: и за это не взыщут с него. Наружные условия *уменья жить* для него дело второстепенное. Он извлек другую, важную тайну из этого *уменья*: он обладает тактом в деле общественных приличий, то есть не одних наружных приличий: как кланяться, говорить, сидеть — это постиг и *лев*... нет, приличий внутренних, нравственных: *уменья* быть, обращаться с людьми, держать себя в людях и с людьми, как *должно*, как *следует*. Малейшее отступление от этого тона сейчас нарушит строгую гармонию приличий, как фальшивая нота в оркестре.

Опять предвижу твое удивление: ты, может быть, даже скажешь, что это легко, что это проще греческой азбуки и что только дети грешат иногда против навыка быть в людях и т. п. Смотри, как бы я не уличил и тебя, взрослого ребенка, в неуменье вести себя с тем или другим человеком, в том или другом случае. Но оставим личности — *хороший тон* не терпит этого — и будем говорить вообще. Скажи по совести, не поражает ли тебя на каждом шагу неуменье людей быть между собою? не

видишь ли ты беспрестанно возникающих от этого смешных, нелепых, вредных противоречий, ошибок, глупостей? не кидается ли в глаза, например, какая-нибудь оскорбительная сортировка гостей со стороны иного хозяина дома, обращение какого-нибудь должностного лица с просителем или просителя с этим лицом? не бросается ли в глаза чье-нибудь неумение или замешательство обойтись, при внезапной встрече, с незнакомыми людьми? не случилось ли тебе видеть или испытывать на себе чей-нибудь незаслуженно наглый, презрительный или бесполезно подобострастный взгляд, чрезмерную холодность или излишнюю горячность, грубое, неуместное слово или какое-нибудь излишнее пожатие руки и даже объятие — словом, какую-нибудь резкость, шероховатость? Всё это делается большею частью от незнания, как *должно* и как *нужно* держать себя в том или другом случае. И ты, наблюдая эти случаи, мысленно непременно твердишь: это ненужно, это глупо, это лишнее; зачем один сделал то, другой это? А затем, друг мой, что это люди — дурного тона, то есть не умеющие обойтись друг с другом. Даже *лев* может быть причастен подобному греху: и он не всегда совладеет с собою. Мне случалось видеть *льва* в замешательстве: когда, например, подходил к нему в толпе и вдруг заговаривал с ним дружески непорядочно одетый человек или называла его по имени какая-нибудь сомнительного вида женщина: надо было видеть, как он выпускал когти и вздымал гриву! и выходила маленькая сцена. Человек *хорошего тона* никогда не сделает резкой, угловатой выходки, никогда никому не наругает, ни нагло, ни сантиментально ни на кого не посмотрит и вообще ни с кем, ни в каком случае, неуклюже, по-звериному не поступит. Он при встрече в первый раз с человеком не обдаст его, ни с того ни с сего, ни холодом, ни презрением, не станет и юлить перед ним; не попросит у него денег взаймы и, разумеется, не даст и своих (после, при коротком знакомстве, и возьмет, но, может, быть не отдаст ни своих, ни чужих), не подавит никого своим достоинством, не унижится и сам ни перед чьим: он поступит только ни более ни менее того, как *должно* поступить. В этом-то и вся штука, чтоб уметь не отойти от этой незаметной для других тонкой черты приличия и не впасть в грубость и несообразность. Но тем-то человек *хорошего тона* и отличается от других, что в нем до тонкости изучено,

развито или уж врожденно ему чувство человеческого приличия. Ты скажешь, что это кукла, автомат, который для приличий выбросил из душонки все ощущения, страсти... Нет, не выбросил: он только не делает из них спектакля, чтоб не мешать другим, не стеснять, не беспокоить никого в беспрестанных, ежеминутных столкновениях с людьми: того же хочет и ожидает от других и для себя. Ощущения, страсти проявляются в нем легко и изящно; он не подавляет своего темперамента, но дает ему только известную форму проявляться, а не прорываться бессмысленно, грубо и беспорядочно на потеху или на огорчение окружающих. И ему неприятно, когда подойдет к нему дурно одетый человек в толпе или назовет его по имени *неизвестная* женщина, но он сцены не сделает: он отделается от них известной, умной, ловкой, свойственной ему хорошего тона манерой. Я видел человека *хорошего тона* в деле страстей: я видел, как оскорбляли его, и видел, как он оскорблял других; видел, как кипела в нем и пробивалась наружу желчь, как язвил он и как язвили его самого, видел и любовался: что за изящество, что за уменье сохранить, по крайней мере наружно, человеческое достоинство! никакой дикости, ничего порывистого, чудовишного, безобразного, а между тем страшно и жалко смотреть: видишь все-таки человека, но человека возделанного, цивилизованного. Никогда римляне и греки твои не умели выдержать себя так в своих цирках и аренах. Видал я заимодавцев, которые выходили от человека *хорошего тона* без денег, с бешенством в груди, но с улыбкой и поклоном и шли от него прямо в Управу благочиния. Я совсем не намерен выставлять тебе человека *хорошего тона* героем нравственных правил, — о нет, а только героем приличий, *увлекательного уменья жить*. Упоминая о неудовлетворенном заимодавце, я тебе явно показываю, что человек *хорошего тона* может и не уплатить по векселю, может даже, пожалуй, обыграть тебя наверное в карты, завести с тобой несправедливый процесс, обмануть тебя всячески, но во всем и всюду, и в картах, и в деловых сношениях, и в обмане, — во всем, поверь, он соблюдет тот же, одинако изящный, ровный, благородный наружный тон. А за нравственность его я не поручусь. Я могу поручиться вполне только за *порядочного человека*.

Теперь предстоит нелегкая задача определить, что такое *порядочный человек*? Я начну с того, что отвергну

его существование. Сказать ли правду: ведь совершенно *порядочного человека*, в обширном, полном смысле, никогда не было, да и вряд ли будет, как никогда не было совершенного мудреца, совершенно добродетельного человека. Это всё прекрасные идеалы, которые создала наша фантазия и приблизиться к которым мы напрасно стремимся целые семь тысяч лет. Ты, я знаю, сейчас подымешь крик: сейчас вытащишь семь греческих мудрецов да разных классических добродетельных людей, Катона, Регула... Полно! что по-пустому тревожить их прах? Твои мудрецы — дети, твои герои... но Бог с ними. Я буду говорить о *порядочном человеке и его поступках*. В твоих глазах и *порядочный человек*, пожалуй, так себе, ничего, *франт, лев*, пустой человек: ничего не знает, не отличит хитона от тоги, слога Саллюстия от слога Тита Ливия... Да, это правда, может быть, и не отличит, и в жизни древних иногда ничего не смыслит; но зато как же он глубоко проник и изучил жизнь современного общества, как он тонко взвешивает, по каким строгим законам справедливости соблюдает свои общественные и частные отношения к другим и отношения других к себе! *Порядочный человек* — это герой современного общества, но герой больше идеальный, возможный не вполне. Видишь, как оно далеко пошло! Но я, кажется, забрался с *порядочным человеком* слишком высоко: спустимся пониже, в ежедневный, будничный быт, и взглянем, что такое значит и делает в нем *порядочный человек*.

Порядочный человек есть тесное, гармоническое сочетание *наружного и внутреннего, нравственного умения жить*. Первую роль в нем играет, разумеется, нравственная, внутренняя сторона этого умения. Наружная есть только помощница или, лучше, форма первой. Человек *хорошего тона* усваивает себе изящные манеры и благородный тон как необходимое воспитание, как средства принадлежать к хорошему обществу; хороший тон и изящные манеры у *порядочного человека* проистекают не машинально из одного воспитания только или из привычки и из обычая, а вместе из внутренней, душевной потребности. *Порядочный человек* не грубит никому, не делает сцен, не оскорбляет наглými, презрительными взглядами не потому только, что это резко и угловато, а потому, что неразумно и несправедливо. Поэтому *порядочный человек* есть непременно вместе и человек *хорошего тона*. Он даже может быть иногда также и львом, но это чисто случайно,

смотря по личному его вкусу, образу жизни, занятиям, точно так же как он может быть, тоже случайно, и не довольно внимателен к этой внешней стороне уменьшать, может не ловить моды, не следить за всеми ее капризами, но, однако же, обязан покоряться общим и главным ее законам в известной степени, настолько, чтоб не казаться резким явлением, чтоб не нарушать условий и форм, принятых хорошим обществом; в противном случае он должен будет сложить с себя титул *порядочного* человека и остаться только добрым, честным, благородным или справедливым — словом, хорошим человеком. Тут форма играет хотя и второстепенную, но необходимую роль. Есть добрые, честные, справедливые люди во всяком быту, и в низших слоях общества, но их не называют *порядочными*, а просто такими и такими людьми.

Человек *хорошего тона*, не имея в самом деле внутренней, нравственной *порядочности*, подделывается под нее наружными манерами. Он может быть и горд, и зол, и скуп, и несправедлив, может обмануть, обыграть другого, — только всё это смягчено и прикрыто в нем изящным тоном, всё выражается осторожно, не бросается в глаза обществу, не оскорбляет и не беспокоит его: этого требует *уменьше жить*. Хорошее общество может терпеть в среде своей или действительно хорошего человека, или по крайней мере искусно кажущегося им; иначе гармония его нарушится, выйдет разлад. Но скупого, злого, гордого, несправедливого и тому подобного человека никто не назовет *порядочным*. «Стало быть, — спросишь ты, — *порядочный человек* честен, справедлив — благороден, не обыграет наверное, не заведет предосудительной тяжбы? так этого и просто хороший человек не сделает». Да, но *порядочный человек*, сверх этого, не наглубит никому, точно так же как и человек *хорошего тона*, ни нагло ни на кого не посмотрит, не сделает ничего резкого, неуклюжего, звериного. Все хорошие его качества выражаются в нем тонко, изящно, потому что он принадлежит к хорошему обществу, потому что он... *порядочный человек*, то есть обладающий вполне и наружной и нравственной стороной великой науки *уменьше жить*. «Так это совершенный человек, — скажешь ты, — тип человека в благородном его смысле». — «Да! — отвечаю со вздохом, — почти так: я знал, что рисую тебе идеал; что делать! приходится повторить старую фразу дурного тона: „Нет

ничего совершенного на земле!”» Я, впрочем, предупредил тебя в начале письма, что нет и не было вполне порядочного человека, и Бог знает, будет ли когда-нибудь; но есть типы, есть более или менее приближающиеся к этому идеалу существа, есть даже много таких людей... «Я, например?» — спросишь ты о себе. «Ты, мой друг, Василий Васильич, в этом деле никуда не годишься». — «Как никуда не гожусь? — с огорчением воскликнешь, — я разве не честен, не справедлив, разве я не чтил родителей, не радел о своем имени...» Успокойся и прочти снова мое письмо: там увидишь, что такое *порядочный человек*. Про тебя всякий охотно и с удовольствием скажет, что ты и честный, и благородный, и справедливый, пожалуй, хоть великодушный человек, чтить и родителей, даже прибавят, что знаешь по-гречески и по-латыни, но *порядочным человеком* все-таки не назовут: твой образ жизни *неопрятен*... «Да ты-то сам порядочный ли человек?» — с досадой спросишь ты. Краснею и молчу, потом смиренно, как школьник, отвечаю: стараюсь, буду стараться всю жизнь подойти как можно ближе к благородному идеалу, а теперь чувствую, что еще не вполне достоин... «Как же ты берешься учить других, когда сам еще...» — закричишь опять. Я берусь учить из старой дружбы к тебе и любви к человечеству, во-первых; во-вторых, потому, что ты сам напрашиваешься на это, давая мне, по случаю своей свадьбы, разные комиссии, из которых не могу не заключить, что ты намерен ввести опрятность и изящество в свой образ жизни, да не умеешь; в-третьих, потому, что тебе уж недалеко до *порядочности*: ты обладаешь главными и основными ее началами: ты добр, честен, справедлив, благороден по натуре, чтить родителей да еще знаешь по-гречески и по-латыни... тебе недостает только лоску, то есть благообразной формы, которую я, именем дружбы и любви к человечеству, и хочу надеть на тебя.

При этом ты, может быть, еще раз поднимаешь одну бровь выше другой и вновь скажешь с досадой: «Да что это за напасть! разве только и спасения, что быть франтом, львом...» Опять, опять *франтом* и *львом*! Ты хоть какого хочешь *хорошего тона* человека выведешь из терпения! Ведь я, кажется, достаточно объяснил тебе, что ни ты, ни я *франтами* и *львами* только быть не можем. «Ну разве только и спасения, что в *порядочности*?» — скажешь ты с большей досадой. Кто говорит! нет: будь

добродетелен, знай по-гречески и по-латыни и живи себе один, — никто не скажет ни слова. Но кто хочет жить между людей, и именно не простых, а цивилизованных людей, в избранном, изящном обществе на земле, тот неминуемо должен быть *порядочным человеком*, в какой бы стране он ни жил, потому что избранное, изящное общество везде, на всей земле одно и то же, и в Вене, и в Париже, и в Лондоне, и в Мадриде. Оно, как орден езуитов, вечно, несокрушимо, неистребимо, несмотря ни на какие бури и потрясения; так же как этот орден, оно имеет свое учение, свой, не всем доступный устав и так же держится одним духом, несмотря на мелочное различие форм, одною целью всегда и везде — распространять по лицу земли великую науку — *уменье жить*.

Ты, вероятно, возразишь еще, что это доступно только людям, наделенным материальными средствами, что нужда есть первое и главное препятствие быть *порядочным человеком*. Пожалуй, и да и нет, смотря по степени бедности. Если ты родился бедным, но родился и воспитывался в хорошем быту, ты все-таки будешь и человеком *хорошего тона* и можешь быть и *порядочным человеком*: для хороших манер и для такта быть с людьми, так же как и для нравственного *уменья жить*, не нужно богатства. Беда *франту* и *льву* без денег: тогда они — ничто. *Франт* и *лев*, лишась средств быть франтом и львом, обращаются в свое первобытное, природное состояние и, исчезнув с горизонта хорошего общества, теряют всякое значение. Но человек *хорошего тона*, но *порядочный человек* и в мраке бедности и неизвестности сохраняют негибнущие нравственные признаки хорошего общества: они и туда унесут с собою — один изящество манер и тонкое чувство приличий, другой — прелесть внешнего и блеск нравственного *уменья жить*. Они, как драгоценные алмазы, могут затеряться в пыли, не утратив своей ценности...

Но Боже мой! Куда завлекла меня дружба к тебе и любовь к человечеству? к чему подвигнуло рвение распространять законы хорошего вкуса на земле? страшно и трудно перечесть! Как после этого вступления, этого общего взгляда на *уменье жить*, перейти вдруг к азбуке этой науки? как вдруг заговорить, по поводу твоих комиссий, о экипажах, белье, жилетах, сапогах... Нет, у меня недостает духу теперь. Но, взявшись раз преподавать тебе некоторые полезные и приятные истины этого

уменья, я не откажусь, только отложу этот труд до другого письма. Ты рассмотри между тем эти общие понятия великой науки и приготовься узнать частности, а я рассмотрю представленные мне из магазинов вещи и счета и уведомя тебя, как я исполнил твои комиссии. Прощай, благородный циник.

Друг твой
А. Чельский.

Письмо второе

Не бойся и не надейся, любезный друг, чтобы после торжественного приготовления тебя первым письмом к *уменью жить* я так же систематически стал посвящать тебя и во все его мелочные тайны. Не ослеплю я тебя радугой текущих мод и не буду надоедать сухой номенклатурой разных материй, покроев и т. п.; нет, не сделаю ничего этого, потому что... и сам почти ничего не знаю, и потому еще... но, кажется, довольно и одной этой причины. «Франт, лев, — скажешь ты, — и не знает...» Неужели и после первого письма скажешь *франт и лев*? Это уж из рук вон! Нет, льщусь надеждой, что после моей классификации людей порядочного общества по разрядам ты настолько вникнул в науку *уменья жить*, что можешь уже безошибочно, с свойственным тебе античным беспристрастием, подвести меня под одну из исчисленных мною категорий. И если при этом найдешь, что я менее *франт и лев*, нежели ты циник, то это чуть ли не будет правда. Если же ты захочешь сам погрузиться во все мелочи наружного *уменья жить* и следить за прихотливым течением моды, то возьми любой журнал, особенно «Современник»: там ты можешь иногда почерпать свежие и современные сведения по этой части; и то тогда только прибегни к этому окончательному средству, когда вполне изведешь теорию тонкой науки и почувствуешь в себе силу, почти *львиную*. Но далеко тебе до этого: легче, я думаю, иному выучиться по-гречески и по-латыни. Да и нужно ли тебе быть *франтом* и *львом*? ведь тебе не кружиться в чаду бальных зал и модных салонов; взгляд твой не будет, сквозь лорнетку, повелевать толпой и шевелить сердца законодательниц вкуса и мод: нет, не мечтай, Василий Васильич, об этом;

стало быть, незачем тебе и надевать павлиньи перья; тебе можно и должно миновать первые две степени и поступить прямо в третью и четвертую. Оставим мелочи и поговорим о некоторых более важных, полезных и приятных истинах науки *уменья жить*.

Да, истинах: в этой науке, как и во всякой другой, есть много ясных, простых и несомненных истин, не признаваемых толпою. Ей легче верить, например, что солнце ходит вокруг земли, а не земля вокруг солнца: так и в деле *уменья жить*. Напрасно жрецы изящного вкуса, именем любви к человечеству, проповедуют о проявлении и поддержании того изящества, которым природа одарила человека; напрасно перед глазами толпы проходят блистательные явления *франтов, львов*, людей хорошего тона и порядочных людей: она остается глуха к голосу благих истин и предпочитает грязный свой быт изящному образу жизни. Приведем примеры.

Ты, конечно, сам видишь, сколько есть людей, так называемых *образованных*, то есть учившихся разным наукам и искусствам, знающих по-французски, иногда по-гречески и по-латыни, танцующих, играющих на чем-нибудь или во что-нибудь и поющих, — людей, живущих, как они сами говорят, в свое *удовольствие*, стало быть, людей с деньгами (о безденежных я не говорю: всё это мало до них касается). Вероятно, ты видал, как эти люди приезжают в гости, разряженные в пух, украшенные бриллиантовыми булавками, перстнями, окоченные чудовищных размеров цепочками на массивных замках, с брегетом и золотой табакеркой в кармане — словом, со всеми претензиями на богатство, блеск и роскошь. А пробовал ли ты нечаянно приезжать к таким людям домой и заставить их врасплох? Отчего приезд гостя производит всегда суету и смущение в доме некоторых из этих господ? Отчего хозяин, при виде постороннего человека, едва взглянув на него, не сказав ему ни слова, не протянув руки, бросается от него, как от врага, опрокидывая столы, стулья, подносы и прочее? Отчего жена и дети его скользнут врассыпную, как мыши по норам? И отчего, наконец, ты ждешь потом час или два появления приятного семейства? А оттого, что этот великолепный барин ходит частенько дома в грязном или разорванном халате, часто без жилета, без галстука, с клетчатым бумажным платком в руках, в каких-нибудь валеных домашней работы сапогах; оттого, что у супруги

его волосы безобразно висят по вискам или по спине, шея голая, а капот расстегнут на груди.

И сколько, сколько таких людей, у которых правило — хорошо одеться только в гости да по воскресеньям, а в будни и дома они считают себя вправе проходить так, в *чем-нибудь*, надеть старенькое, грязненькое, *чтоб не жаль было таскать*. Чем так, лучше бы уж им встречать гостей, как встретил Иван Иванович Ивана Никифорыча: по крайней мере опрятнее.

Во что же эти люди ценят, за кого считают себя, что решаются терпеть на себе грязь и лохмотья? И зачем они спасаются бегством от постороннего человека, если, по их убеждению, надо поступать так, а не иначе? Чувствуют, что ли, они сами, как живут, может быть, даже знают и название такого образа жизни — и всё продолжают жить так. Не правда ли, что это грубо, безобразно?.. Да ты, кажется, краснеешь: так и вижу отсюда. О честная душа: он страдает за ближнего.

Есть и другие — впрочем, того же закала — люди, которые хвастаются, что они носили фрак, жилет или другое пять, десять лет и даже более, и ставят это себе в великую заслугу. Есть и такие, которые страх любят дешевизну во всем и радуются, что им дешево обошлась пара платья, шуба, шляпа, мебель и т. п. Вся их претензия — не одеться, не жить порядочно, а истратить как можно менее денег. Пять, десять лет носить платье, обувь! это всё равно что изготовить и есть целую неделю один суп, одно жаркое. Что сказать на это? У меня нет слов. Я только сильно, сильно пожимаю плечами... а ты? Чувствую, что ты опять покраснел? Не хочешь ли ты, может быть, оправдать этих людей и их обычаи тем, что они делают это из экономии, что сбереженные деньги употребляют на что-нибудь более дельное, пожалуй еще на благодеяния? У скупых и неопрятных людей есть даже готовая фраза на такие случаи: «Я лучше бедному пять рублей подам, — говорят они, — нежели брошу на какие-нибудь белые перчатки, чтоб надеть один раз...» Не верь, лицемерят: ни бедному не подадут, ни перчаток не купят. Если ты надеешься оправдать их, так уж оправдай и того, кто по целым годам не чешет головы, не стрижет ногтей; это требует времени; как одни скупы на деньги, так другие на время; последнее может быть так же употреблено на что-нибудь более полезное, тоже на дела милосердия или на ученые занятия... Да ты определи мне,

о циник: во что превращаются вещи, протасканные десять лет на плечах или на ногах? Или нет: лучше не объясняй: ты еще, пожалуй, взглянешь на предмет с антикварской точки зрения и найдешь какие-нибудь достоинства. Отвращаю глаза от этой печальной картины и иду далее.

А какое множество есть людей, которые, постигнув, смотря по личному своему вкусу, одну какую-нибудь сторону внешнего уменья жить, закрывают глаза на все прочие? Один, например, любит хорошо есть и держит артиста повара, а сам ходит в сюртуке и фраке неслышанного покроя или еще в венгерке с затасканными лацканами, носит по три года один и тот же галстух, да иногда кичится этим, приглашая подражать себе. Другой, напротив, думает, что забота о порядочной пище недостойна человека, что можно есть что ни попало, тем более что *этого никто не видит*. А иные так одеваются прекрасно и любят тонкий, порядочный стол, да живут в берлоге, оправдываясь пословицей дурного тона: *не красна изба углами, а пирогами*.

Потом, сколько есть охотников пошеголять своим житьем-бытьем как-нибудь подешевле, ослепив ближнего мишурой. Так, иной наставит у себя скрипучей и жесткой мебели, лишь бы она походила фасоном на *модную*. Нечего и говорить о том, что хозяин не только не бросается на нее небрежно, чтоб понежиться, но и не садится, а обходит осторожно мимо, потому что или больно сесть на нее, или она развалится от прикосновения к ней. Другой увешает стены своей квартиры такими картинами, в которых рамка дороже живописи. И тот и другой воображают, что живут хорошо. Вот где зло: в грубом и одностороннем понимании уменья жить. Этих людей вводит в дурной тон боязнь и ложный стыд, чтоб не сочли их хуже других, или желание показать, что они живут роскошно. А сочетать комфорт или удовлетворение собственных потребностей во всем, что относится до образа жизни, как-то: до убранства жилища, до платья, до пищи и т. п., с наружным изяществом — они не в силах. Да кто же требует, чтоб они уставляли комнаты гамбсовской мебелью, а стены увешивали произведениями отличных художников? Они не понимают, что не иметь новейшей мебели в комнатах и картин на стенах вовсе не стыдно; но поставить диван в виде S или украсить стену перюкмахерской вывеской означает безвкусию и дурной тон. Если бы еще было одно безвкусие:

оно часто проявляется бессознательно и неумышленно и оправдывается ограниченностью взгляда на вещи, происходящего от недостатка воспитания, от неразвития вкуса; это более жалко, нежели смешно; но смешно, когда к этому примешается неудачная и бессильная претензия блеснуть, произвести эффект на других. Таковы люди *дурного тона*: что с ними делать? как растолковать им простые и ясные истины уменья жить?.. А между тем сколько между ними, говорю, добрых, умных людей, знающих иногда по-гречески и по-латыни!.. Так и чувствую, что опять лицо твое облилось пурпуром! что это значит? уж не краснеешь ли ты за родню, за какого-нибудь друга? Не может же быть, чтоб за самого себя... Ну а если?

Оставим лучше намеки и перейдем прямо к тебе. Что искать сучка в глазах других? постараемся увидеть бревно в своих собственных.

Меня удивляет одно: как, изучив греческие и латинские древности, ты не нашел изящества в жизни древних, или если нашел, как не ставишь его в образец себе и другим, а всё прочее ставишь? Как не постиг ты поэзии богатых одежд древних, их багряниц, роскоши их мраморных бань и купален, утонченных пиршеств, мягких и тонких тканей? Как ты не понял одного из колоссальных героев древности — Лукулла, ты, понявший Платона, божественного Омира, пышного Вергилия?

Переложил ты эти купальни, пиры, ткани и проч. на новейшие нравы — и выйдет тонкое белье, изящный и свежий покрой платья, тонкий, здоровый стол, наконец, умягченные нравы, человеческое обхождение между собою — словом, *уменья жить*.

Мне жаль, что подвиг мой — пробудить в тебе влечение к этому уменью — лишен будет главной прелести — бескорыстия, что я не могу спасти тебя от зла именем одной любви к человечеству, а должен присоединить к этому и дружбу к тебе. Мало того: моя услуга будет только слабым вознаграждением за те огромные и бесполезные усилия, которые ты некогда употреблял, чтоб навязать мне на шею своих Геродотов, Тацитов и других. Неужели то же будет и со мной? Ужели и мои усилия будут бесполезны? Попробуем: авось нет.

Прежде нежели укажу, где твоя гибель и где спасение, напомним тебе, что ты женишься. Это значит, что ты меняешь тесный, беспорядочный и неполный быт на образ жизни стройный, исполненный порядка и

достоинства. Ты переходишь, так сказать, из дикого состояния к цивилизации, от грубых привычек к умягченным нравам, всё равно как дикие от незнания употребления огня и железа переходят ко всем удобствам европейской жизни: право, так! Вспомни, что ты будешь жить в сфере прекрасной женщины; ведь я знаю твою невесту: это грация, это изящество. Она, по выходе из учебного заведения, провела два года здесь, в доме дяди, и из робкой, молчаливой девочки в первый же месяц появления в свет она превратилась в светскую девицу. В ней давно таился зародыш умения жить; она угадывала свое назначение и ждала только соприкосновения со светом, чтоб усвоить себе все тонкости мудреной науки. Она принадлежала и будет принадлежать к хорошему обществу, несмотря на тесный и скудный мир, ожидавший ее в доме родителей, несмотря на ожидающую ее темную и неопрятную сферу твоего образа жизни. Что ты готовишь ей? Она задохнется в чаду твоего быта. Положим даже, что ты, по моим наставлениям и по своему какому-то темному предчувствию и внушению, и изменишь нравы своего дома, что уже и начато тобой: ты вон выписываешь серебро, экипажи, рояль и проч.; но если ты не произведешь радикального изменения своей особы, то это всё равно что ты ничего не сделал. А ты, по-видимому, мало заботишься об улучшении самого себя; неохотно расстаешься ты с старыми, холостыми привычками. Это я заключаю из того, что ты не поручил мне даже прислать тебе приличный домашний костюм. В чем же ты появишься перед женой? Не во фраке же. Неужели в своей стеганой фуфайке или, еще хуже, в том красном с мушками халате, который у тебя называется хитоном (одно греческое, другое татарское платье: вот в чем ты на первых порах встретишь жену!), в толстых сапогах... о несчастный! Ведь нога твоя будет попирать пушистые ковры и покоиться на бархатной подушке рядом с маленьким башмачком! Ведь ты будешь жить среди цветов; на тебя повеет ароматический, до тех пор неведомый тебе воздух женской сферы; непривычные уши твои услышат шорох женского платья в твоём кабинете, в котором ты слышал только шорох мышей, грызущих старые фолианты; над изголовьем твоим будет раздаваться голос женщины, ее лепет, ее вздох; куда ни прострешь ты руки, всюду встретят они бархат, шелк, блонды, кружева, батист; от занятий твоих будут отрывать

тебя звуки Россини, Верди и Беллини... Словом, около тебя сотворится новый, неведомый тебе мир, которому Олимп твой и в прихожую не годится! И ты предстанешь в этот благоуханный, изящный мир, перед такой женщиной, как *mademoiselle Sophie*, ты, такой и от природы, Бог с тобой, некрасивый, неуклюжий да еще с тяжестью и безобразием своих холостых привычек! Я так и вижу тебя в фуфайке, с выбившейся из-под галстука манишкой, с висящими от нее тесемками, в стучащих, как молот, сапогах, с устремленными куда-то и в то же время ничего не видящими глазами, с поднятием одной брови выше другой, с Титом Ливием или Страбоном под мышкой... Содрогаюсь! что ты готовишь себе? какую будущность? ужели ты хочешь поступить в разряд тех мужей, которые на другой день свадьбы являются уже к жене в колпаке, плисовых сапогах, в азиатском халате, с цинической речью, с словом *мамочка*, так что как будто сами говорят: «Посмотри, какой я урод: меня любить нельзя, я это знаю. Ты люби другого, а я ослепну, буду так себе мужем, как и все, подобные мне». Нет, мой друг: современный муж не то, что муж древний. *Порядочный, хорошего тона* муж, исключая некоторых *чрезвычайных случаев*, будет вести себя в отношении к жене, как и к другой женщине. Он никогда не забудет тех... вот по-русски и нет слова для этого... *égards*,¹ хочу я сказать. С этим не соединяется никакой чопорности: можно быть нежным, глубоко привязанным или страстно влюбленным в свою жену мужем и при всем том соблюдать эти *égards* к жене, как к порядочной, благовоспитанной женщине, то есть не быть с ней фамильярным до цинизма, на том основании, что она жена, не оскорблять тонкого чувства женщины нарушением общепринятых между обоими полами приличий.

Умри же, умри, Василий Васильич, для грубых, неопрятных понятий, привычек и манер и возродись, как феникс, из собственного пепла для жизни изящной и порядочной.

Я назвал тебя циником; ты, может быть, обидишься, а может быть, ведь будешь и доволен: кто тебя знает? Тебе, пожалуй, веселее покажется походить на Диогена, нежели на человека хорошего тона. Но как бы то ни было, а я назвал тебя так не без основания. Посмотри сам.

¹ знаки уважения, внимания (*фр.*)

Вот ты, например, пишешь ко мне письмо о присылке разных вещей для предстоящей твоей свадьбы и для дальнейшего затем житья-бытья, — поручение огромное, исполнение которого может послужить порядочным испытанием самой теплой дружбы, хоть моей к тебе. А между тем посмотри, как ты написал письмо: что за бумага, во-первых! желтая, толстая, точно древний пергамент, с недостатком новейшего времени, то есть промокающая. Потом, когда я вскрыл пакет, оттуда мне на руки, на жилет, на колени высыпалось с полфунта крупного желтого песка с камнями; запечатано вместо ароматического сургуча какой-то смолой... Недоставало только, чтоб ты написал письмо по-гречески или по-латыни: то-то бы много надежды было сделать из тебя что-нибудь путное! Письмо к другу — так и нечего думать о приличии, об опрятности! На чем же бы ты написал деловое письмо? Как это не понять, что чем письмо серьезнее, скучнее, неприятнее, тем оно должно быть изящнее с внешней стороны: оттого все просительные и т. п. письма по-настоящему следовало бы писать на атласной бумаге, чтобы как можно более позолотить пилюлю. Скорее письмо к любимой женщине можно написать на серой бумаге: авось серый цвет, с помощью любви, покажется розовым.

Теперь перехожу к твоим комиссиям.

Выписывая серебро, ты просишь купить столовый сервиз *по случаю, поэкономнее*: «Это такая-де вещь, что навсегда останется; серебро не пропадет...» Покупать для экономии серебряный сервиз! это значит не знать первых, самых простых начал политической экономии. А уж ты ли, бывало, не надоедал мне толками о мертвых капиталах и т. п. истинах. Зачем же тебе сервиз? Ты лучше разменяй ассигнации на несколько десятков мешков с целковыми да и любуйся на них. А то сервиз для экономии! Нет, ты сам себя не понимаешь, не отдаешь отчета себе в своем намерении. Ты смутно чувствуешь, что сервиз нужен, а для чего именно, ты хорошенько себе не объяснил. Тебе хочется ввести изящество в свою столовую, и потому ты покупаешь сервиз прежде всего для красоты: так и остановись же на этом. Богатство материала тут дело второстепенное; первую роль играет изящество и свежесть отделки. Что же, если я куплю по случаю, подешевле? Это значит сервиз подержанный, потерявший новизну фасона, и, может быть, довольно давно; стало быть, я

куплю одно серебро; но его и в лом купят за настоящую цену: в чем же выгода? Да еще как он пробудет пять, десять лет у тебя, так это будет любопытный антик; стол твой и будет убран как у какого-нибудь древнего архонта. Богато, да не во вкусе времени. Выказать богатство немудрено; дело в том, что надо выказать его со вкусом.

С каретой та же история. Пишешь, чтоб карета *не была низка, совершенно по-нынешнему, чтоб не вертопрашно: козлы широкие, запятки* и т. п. Как это у тебя достает духу писать такие вещи! Не прикажешь ли выслать римскую триумфальную колесницу? Ну, об этом напиши в Помпею: может быть, и откопают. Пора бы бросить эту боязнь и недоверчивость ко всему новому: новое изобретение, открытие, выдумка — в чем бы то ни было — есть ведь уже шаг вперед, улучшение или дополнение прежнего: зачем же дичиться так всего нового, и часто еще не рассмотревши его? Если выслать, что ты требуешь, так ведь лет через пять карета превратится в *колымагу*, над которой и пойдут точить зубы в описаниях провинциальных нравов. Я так и жду, что тебя кто-нибудь да пристроит в юмористическую статейку и с сервизом, и с каретой; а ты же сам потом и прочитаешь за свои деньги где-нибудь в журнале. Видишь, в чем нашел щегольство: *чтоб не было низко, по-новому!* Боишься унизиться, что ли? Нет ведь, чтоб попросить выслать карету попокойнее, чтоб не чувствовать, как едешь в ней, чтоб не приходилось влезать на нее, как на колокольню, чтоб сзади не было этих двух неуклюжих рессор, как у похоронных дрог, и чтоб подушки, тесьма и проч. — всё было покойно и изящно. Диоген, говорят, делал свои визиты в бочке: ну, мой друг, и ты с своей каретой недалеко ушел от него.

А сколько цинизма обнаружил ты относительно платья, белья! Сукно назначаешь в двадцать рублей, не велишь заказывать дорогим портным. Не заказать ли сшить фрак сапожнику? может быть, дешевле возьмет. Но что всего ужаснее, так это то, что ты не заботишься о порядочном белье. «У меня, — пишешь ты, — белье из тонкого домашнего полотна, и Агашка девка (почему не Агафья? это *mauvais genre*¹) мастерица шить. *Манишек тоже много тонких!*..» Ах ты, варвар! Ну какой же ты

¹ дурной тон (фр.)

грек? ты скиф: накинь лучше звериную кожу на плечо, возьми дубину и иди в лес. Ты не достоин века, в котором живешь; ты не сочувствуешь и не содействуешь успехам новейшей мануфактурной промышленности. Гибнешь, гибнешь, Василий Васильич, сам клонишь голову под проклятие порядочного общества. Ты, как Аристид, сам пишешь свое имя на раковине и добровольно обрекаешь себя остракизму. Он ходит в домашнем полотне, носит манишки!! И добро бы не мог, не из чего бы было!

Да неужели ты никогда не испытывал роскоши прикосновения к телу батиста, голландского или ирландского полотна? Неужели, несчастный, ты не *облекался* в такое белье... извини, не могу сказать *одевался*: так хорошо ощущение от такого белья на теле; ведь ты говоришь же *облекаться* в греческую мантию: позволь же и мне прибегнуть в этом случае к высокому слогу: ты поклонник древнего, а я нового: *sunt cuique*.¹ (Так ли?) Домашнее полотно! Природа и искусство предлагают ему тончайшую ткань, чуть не розовый листок для одежды, а он добровольно рядится в лубок! *Под платьем не видать*, говоришь ты. О боги Олимпа! накажите его: он человек *дурного тона*, а вы, вы *порядочные* люди... то бишь боги... вы создали Перикла, Лукулла и много других людей *хорошего тона*. Он не для собственного наслаждения, удобства, комфорта хочет одеваться, есть, украшать дом — словом, жить, а для угождения только зрению других... Он не стыдится мешаться в толпу людей *дурного тона*, у которых правило носить, есть что-нибудь похуже, *если не видят другие*.

Кстати о пище и о тех, которые не считают неприличным есть что ни попало, когда их никто не видит. Если б еще дело шло только о приличии, тогда бы это было извинительно; а то ведь тут замешался вопрос о здоровье. Знают ли эти господа, что чем материалы дороже, тем они свежее, а чем свежее, тем здоровее; что чем стол искуснее и тоньше приготовлен, тем он легче, удобосваримее и, следовательно, опять-таки здоровее? Такой стол есть стол гигиенический. Искусный повар комбинирует и располагает блюда так, что голод удовлетворяется с строгой постепенностью, с каждым блюдом понемногу: съешь одним блюдом менее, будешь голоден, съешь весь обед, будешь только сыт и не обрменишь

¹ *каждому свое* (лат.)

желудка. Лучше, конечно, питаться какой-нибудь котлеткой и компотом; но кто обладает хорошим аппетитом, здоровым желудком и еще более здоровым карманом, тому советую иметь тонкий, изящный стол.

А ты, неужели ты, и женившись, будешь руководствоваться необузданностью своего дикого, скифского вкуса в столе? Неужели будешь гордо отвергать всякие ученые поварские комбинации и продолжать есть целые жареные ребра, бараньи бока, огромные части мяса, точь-в-точь как герои «Илиады»? Всё ли станешь гоняться за количеством, а не за качеством блюд, допускать разные противозаконные смеси в пище: после ботвинья есть творог, запивать макароны квасом? обременять себя гусями и поросятами с начинкой из каши? Русский здоровый стол, скажешь ты. Русский — так, но здоровый ли? Отчего же этот отек у тебя в лице и это брюшко? Подумай об этом и хоть мешай русские блюда с французскими и немецкими, а некоторые совсем отмени. Вообще введи изменение в своем столе: это я советую именем дружбы к тебе и любви к будущей жене твоей... любви к человечеству и по участию к будущей жене твоей, хотел я сказать. Она привыкла к тонкому столу у своего дяди, а с твоей нынешней кухней и мы, пожалуй, дождемся бог знает чего.

Наконец, сколько безвкусица обнаружил ты в заказе жилетов, галстухов и других мелочей. Требуешь желтого, голубого цветов и не потребовал каких же? белого, черного, без которых порядочному человеку нельзя жить на свете. Откуда у тебя такая любовь к пестроте, скажи, пожалуйста?

Обувью своею ты сильно окомпрометировал меня: я отдал реестр твоих покупок своему камердинеру и велел ему заказать обувь моему сапожнику, прибавив, чтоб он постарался сделать как можно лучше, что это для *моего друга*. Через пять минут мой Сергей возвратился с твоим счетом ко мне и, подавляя ядовито-почтительную улыбку, сказал, что твоего поручения исполнить нельзя, что ты назначаешь по 15 руб. асс. за пару сапог, а наш сапожник менее 8 и 10 руб. сер. не берет... Я вспыхнул.

Вот ты до чего доводишь меня: заставляешь краснеть перед людьми? А я еще почтил тебя титулом друга? Всё хочется подешевле да подешевле.

Два слова серьезно об этом. Согласись, что приятнее носить сукно, как атлас, бельё гладкое и тонкое, как

китайская бумага, обувь черную и мягкую, как бархат! с этим разве только вандал не согласится. А что, если я скажу тебе, что это и экономнее? Многие не хотят понять этого, даже смеются, когда им скажешь, а между тем это так. Дорогое сукно не потому только дорого, что тонко, но и потому, что плотно, прочно и тщательно выткано. Следовательно, платье из такого сукна вдвое, даже втрое долее проносится, нежели из редкого, жиденького и дешевенького. И швы не побелеют и ниток от ткани не увидишь на хорошем сукне. Возьми лионский дорогой бархат: его износить нельзя. Точно так же и голландское полотно: не белизна и тонкость — его первое достоинство; может быть, в этом и твое домашнее полотно, из которого *Агашка* (кстати: удали эту Агашку: она, судя по письму, играет что-то уж слишком значительную роль в твоём хозяйстве; *mauvais genre!*) шьёт тебе белье, не уступит ему, прочность и плотность — главные достоинства этого полотна. Сапог из лучшей эластической, мягкой кожи надобно не более двух пар в год. И материя, и мебель, и всё, решительно всё — так. Из чего же хлопочут охотники до дешевизны?

Вот, кажется, и всё, что я хотел высказать тебе относительно внешней стороны *уменья жить*. Указывая тебе на твои больные места, на твои раны, я хотел дать почувствовать тебе зло и найти средства к искоренению его. Приняв предложенные мною тебе начала и устыдясь собственного безобразия, ты уже легко усвоишь себе важнейшую часть этой науки, потому что, как я сказал в первом письме, ты от природы добр, благороден; недоставало только внешнего блеску, чтоб ты был и *порядочен*.

Дальнейшие мои письма не будут уже заключать укоризны тебе. Они вместе с ответами твоими составят ряд исполненных достоинства и важности бесед двух друзей о внутренней стороне *уменья жить*, тонких и отвлеченных воззрений на великую науку, так, чтоб со временем из нашей переписки образовалась полная *теория уменья жить*, которую мы потом предадим тиснению в поучение людям.

В заключение скажу тебе, что я исполнил твои комиссии с заботливостию, с таким усердием и мелочною внимательностию, к каким способен только старый, испытанный друг. Во-первых, я ничего не сделал так, как ты просил, а так, как следует; во-вторых, я простер

свою заботливость о делах и выгодах друга до того, до чего уже не простирают ее нынешние друзья, чем самым и стал в подвиге дружбы наряду с античными героями-друзьями, именно: я сверх присланных тобою 3500 руб. серебром истратил еще две тысячи руб. серебр. своих! Я знаю, что ты, в умилении от этого подвига дружбы, оценишь мое усердие и вышлешь мои деньги с первой почтой, не говоря ни слова, чем и ознаменуешь свое торжественное вступление в класс *порядочных* людей.

Прощай!

Друг твой
А. Чельский.

Письмо третье и последнее

Два месяца спустя

Любезный друг Василий Васильич!

Я получил с почты пакет со вложением двух тысяч рублей серебром, без всякой приписки. Но как на конверте означен уезд, в котором ты живешь, и на печати вижу твой герб, то и догадываюсь, что письмо и деньги от тебя. Ты исполнил мое ожидание: прислал деньги, *не говоря ни слова*, но не в ознаменование вступления своего в класс *порядочных* людей, как я надеялся, а в знак отречения от них, и, кажется, безвозвратного. Я поражен ужасом и глубокою печалию. И так погибли мои самолюбивые замыслы: не помогла ни любовь к человечеству, ни дружба к тебе! Погибла и *полная теория уменья жить* для света! Грустно, больно душе, Василий Васильич! Скрепя сердце, со слезами на глазах, уведомляю тебя о получении денег и твержу: гибнешь, гибнешь, друг мой, в омуте цинизма и дурного тона! Но за что же ты увлекаешь туда прекрасную женщину, которой судьба назначила блистательный путь на широкой арене *порядочного общества*? Слушай: если когда-нибудь искра хорошего тона проникнет в твою душу и ты ощутишь жажду изящества, *порядочности*, *уменья жить*, то вспомни, что к тебе простерта всегда рука друга, готовая извлечь тебя из бездны дурного тона.

Друг твой
А. Чельский.

ПУБЛИЦИСТИКА

Светский человек, или *Руководство к познанию правил общежития*, составленное Д. И. Соколовым. СПб., 1847.

На свете, кажется, всего мудренее — простота. Странно, а между тем справедливо. Человеку, видно, на роду написано — добираться до простоты, или истины, или естественности не иначе как путем заблуждений, неловкостей, ошибок, мудреных скачков и потом, по достижении простой, истинной стороны дела, только дивиться, что яйцо так легко ставилось на гладком месте. Иногда дело так ясно, что простота его кидается в глаза, а мы, как будто нарочно, заходим с трудной или фальшивой стороны, чтоб задать себе мудреную задачу, и потом ломаем голову над ее решением. Что, например, кажется, проще, как быть между порядочными, образованными, вежливыми и умными людьми? Что легче, как прийти в общество этих людей, сесть свободно на удобной мебели, говорить, играть в карты или танцевать, пить, есть и уехать, оставя по себе приятное впечатление? Так просто, легко, а мы и тут из ума ждем жить в людях, или так называемом *свете*, сделали мудреную науку, которая не всем дается, многим не дается всю жизнь и дается вполне очень немногим.

Нет ничего смешнее вступления в свет новичка, являющегося туда прямо со школьной скамьи или, еще хуже, из деревенской глуши. Его ослепляет и яркий свет комнаты, и нога его зацепляет за ковры или скользит по паркету. Углы у столов мешают ему — они так и тянутся к нему, — один угол точно нарочно вытянулся вдвое длиннее других и просит задеть. И он заденет. А в лесу, где ни следа, ни тропинки, он пройдет ловко, искусно уклоняясь от каждого сучка. Поднос с чашками как будто сам носится у него под локтем, и нет средства не опрокинуть его — и он опрокинет. Он двумя пальцами

поднимает пудовую гирию над головой, а тут иногда не сдержит чайной чашки в руках. Его обдаёт ужас: там вон на него устремила пристальный взгляд элегантная дама, и у него мурашки побежали по телу... пусть бы уж лучше в него прицелились из ружья; тут подходит к нему изящно одетый лев, а ему лучше — если б настоящий медведь подошел к нему в лесу. Он смотрит на эту даму и на этого льва не как на равных себе людей, а как на существа если не высшего, то особого разряда. Его губит или излишнее самолюбие, или излишняя скромность. Ему хочется показать, что он не уступит никому в светскости, ловкости и любезности: одушевленный этим желанием, он начинает творить бог знает что. Или, напротив, ему покажется, что всё, что он делал до сих пор, его приемы, голос, походка — никуда не годятся, — и нос, и губы — всё не на своем месте. Он вдруг приходит в ужас от собственной своей особы и начинает ее переиначивать, то вдруг состроит такое лицо, что, как городничий в «Ревизоре» говорит, хоть святых вон понеси, то с испугу положит руки туда, где им вовсе лежать не следует; а когда заговорит, то так несвободно ворочает языком, что как будто над головой его висит дамклесов меч: он теряется, не знает, что делать. За столом, при первом случайном на него взгляде его визави, он вдруг начинает жевать иначе, нежели как жевал 30 или 40 лет до этой минуты; проглотив сразу тоненький ломоть хлеба, он не знает, спросить ли еще или продолжать есть без хлеба, следует ли брать все блюда, или приличие требует отказаться от некоторых; ему нальют чай без сахару — он готов на самопожертвование: лучше выпьет так, чем спросит сахару. У новичка чешется язык сказать что-нибудь, да впадет ли это будет: не назовут ли нескромным? А будешь молчать, назовут, пожалуй, дураком. Для неловкого, как на смех, и обстоятельства расположатся так, что он расскажет вдруг анекдот про косоногого или хромого, когда тут есть косоногий или хромоногий, или при рононосе заговорит о неверности жен. Сколько мук, сколько чудовищ на каждом шагу! Вырвавшись из этого ада, новичок бежит домой и долго еще с ужасом вспоминает о каждой своей неловкости. Самолюбие его растерзано, он дает себе слово никогда не заглядывать в свет, — он говорит, что там человек *женирован*, что он сам не свой... Какая неправда! А свет только и требует, чтоб человек был сам свой, чтоб он походил на себя и

был *прост* и верен своей натуре, — требует, чтоб он понимал и уважал чужое и свое личное достоинство, чтобы имел свою физиономию, свой взгляд и образ мыслей, не обнаруживая, что он хуже, глупее или умнее, даровитее, чиновнее того или другого. Вот в чем задача.

Эту задачу взялся решить г-н Соколов в своей книжечке, заглавие которой выписано в начале этой статьи. Теперь кончено дело: неловкости нет и быть не может. Если вы, читатель, никогда не были в свете и затрудняетесь вступлением в него — успокойтесь: вас введет г-н Соколов. Устав о десяти тысячах церемоний написан. Имея при себе книжечку г-на Соколова, даже выучив ее наизусть, вы смело можете явиться в людское общество, не опасаясь сделать какой-нибудь промах. Воздержитесь там и от *любопытных* взглядов на женщин: любопытство противно приличиям. Принимая в своем доме приятеля и представляя его *в кратких, но выразительных словах* вашей жене, вы должны *пройти* потом *некоторое время молчанием*, а чуть сказали что-нибудь еще — и беда, и нехорошо. Сидя в обществе, вы не станете *вытягивать вперед ног*; поджимать их под себя — некоторые находят тоже неприличным; да притом бывают ноги, которых, при всех стараниях, не подожмешь ни под какой стул: теперь спрашивается, куда же их девать? или сидеть, держа ноги прямо, под прямым углом, наподобие египетских статуй, или раскинуть врозь, направо и налево, или, наконец, сесть верхом на стул? — как хотите, деньте их куда угодно, только не вытягивайте, не поджимайте под себя и *не кладите ногу на ногу*. Житье, подумаешь, безногим на свете! Далее: не должно, сидя подле дамы, *трогать ее колен своими*, — это очень неучтиво, так же как и *з(с)жимать губы*. Словом, г-н Соколов собрал и изложил в своей книжке все условия, которые делают человека ловким, светским и благовоспитанным. Чем же, в случае несоблюдения этих условий, страшает автор? Насмешкой общества, собственно мучительной неловкостью вашего положения, общим мнением или чем-нибудь подобным? Нет, это что! У него есть какое-то таинственное лицо, страшнее насмешливых взглядов и шепота целого общества. Оно стоит за вашей спиной в гостиной, идет за вами в театр, — всюду. Это какой-то инспектор приличий и нравственности. Он-то должен карать за нарушение правил общежития. Это лицо — *благодумствующий человек*. Если вы постучите по плечу соседа

в тесноте, тронете колени дамы своими или сядете на край стула, — если вы, читательница, для сбережения платья своего (стр. 122), пойдете, *подняв его выше того, сколько требует опрятность*, или вы, молодой человек, будете *приставать* (стр. 123) к женщинам и преследовать их, то трепещите только суда благомыслящего человека: вы рискуете *потерять его приязнь и уважение*. Но что это за благомыслящие люди? видали ли вы их, читатель? Вероятно, нет, и мы — нет и не слышали, чтоб кого-нибудь в обществе называли: это-де вот идет или сидит благомыслящий человек. Это что-то вроде старинного венецианского совета десяти, никем не видимых и не знаемых. Не миф ли это, созданный автором для нашего страху?.. Позвольте... темное предание что-то говорит о благомыслящем человеке... Но то, что оно говорит о нем, вовсе не согласуется с правилами общежития. Например, автор на 157 стр. говорит, что *во время визита было бы очень смешно делать длинное поздравление с разными желаниями, напр(имер) на Новый год, и тем более христосоваться с дамами или девицами*. Благомыслящий человек, по преданию, думал совсем не так. Он, царство ему небесное, долгом считал пожелать на Новый год *нового счастья* или, по крайней мере, *того, чего вы сами себе желаете*. Он всегда *христосовался с дамами и девицами*. Мы сами видели, как один кучер приходил к своей барыне, молодой, элегантной женщине, христосоваться, и приходит каждый год, побывав, вероятно, прежде там, где русский народ любит встретить праздник. Это, должно быть, *благомыслящий человек*.

На стр. 45 автор учит: *Если же рассказчик просто лжет про себя или про других и если ложь его безвредна, то не пытайтесь обличить его* и т. д. А благомыслящий человек совсем иначе поступал: он Катон, друг правды, и его правило — обличать всякую ложь. *Есть люди*, говорит автор на стр. 101, *которые не умеют скрыть своего неудовольствия и даже иногда делают выговор своему гостю, если он ломает ножку стула, разобьет стакан* и т. п. Точно, есть такие люди, но это *благомыслящие люди*: автор, не метя, попал в них.

Напрасно он, желая научить нас приличиям, и упоминал о благомыслящем человеке: во-первых, благомыслящий человек теперь анахронизм, — место его заступило общее мнение, общее одобрение или общее порицание, а во-вторых, покойник был — *mauvaise genre*. Он, говорит предание, восставал первый против всякого

нововведения, открытия, изменения старого обычая на новый и лучший, — он преследовал всякую новую и благотворную мысль, потому что она была нова и мешала его привычкам, — смеялся над новой модой. Слова «разбой! пожар!» Грибоедов подслушал у благомыслящих людей. Когда-нибудь, на страницах нашего журнала, мы подробнее поговорим о пропавшем без вести из нашего общества благомыслящем человеке, а теперь упрекнем только автора за то, что он силится навязать нам несколько правил, оставшихся от благомыслящего человека вместе с сердоликовыми печатками, гороховыми шинелями со множеством воротничков и т. п., например: гуляя вдвоем (стр. 126), *младший идет с левой стороны и на полшага сзади старшего*. Это способ благомыслящих людей выражать свое уважение к достоинству, заслуге или старшинству. Равно как и следующее правило тоже взято из кодекса приличий благомыслящих людей (стр. 100): *Никакой образованный человек (автор верно хотел сказать: благомыслящий человек) не сядет на диване перед дамой или, если она сидит на нем, подле нее: это невежливо*. Вот и понимайте после этого, что такое вежливость! Не знаем, зачем в руководство о правилах общежития попало следующее правило (стр. 93): *Пожилым и уважаемым людям пишут слогом, исполненным почтения, дамам слог должен быть вежлив и любезен, друзьям весел и непринужден*. Это выдержка из реторики благомыслящих людей. Это они выдумали *вежливый, любезный, веселый*, также как *высокий и низкий слог*. Мы, люди неблагомыслящие, в реторику не верим, думаем, что слогу научить нельзя, и совершенно убеждены в истине слов: *le style c'est l'homme*.¹ Мы осмеливаемся вольнодумствовать, утверждая, что если пишущий уважает того, к кому пишет, то и слог его (если у него есть слог: ведь это не всякому дается) отразит в себе это уважение, — если он любезен и весел по своей природе, то же выскажется и в его слоге.

Теперь спрашивается: может ли быть нужна или полезна кому-нибудь эта книжечка? С одной стороны, чистый, правильный язык (но не слог) и несколько дельных страниц не позволяют отнести ее к числу вздорных и нелепых книжонок, отягощающих литературу; с другой стороны, нельзя сказать, чтобы похвальное намерение автора собрать в этой книжке все правила,

¹ стиль — это человек (фр.)

необходимые в общежитии, и все промахи, нарушающие гармонию общественных приличий, для научения одним и для предостережения от других, совершенно удалось ему. Мы согласны с автором, что *трудно и неудобно вступающему в свет уловить без наставника все тонкости светской жизни, весь тот разнообразный этикет, который составляет необходимую принадлежность людей хорошего тона*, но никак не думаем, чтобы его книга могла заменить собою наставника и служить руководством для молодых людей, вступающих в общество, во-первых, потому, что для приобретения такта быть в людях возможен только один наставник — опытность, с чем автор и сам согласен, говоря (стр. 36), что для этого надобно *много прожить в кругу образованных людей*; во-вторых, разве только доброму китайцу впору проделать всё, чему так важно, не смеясь, учит автор. *Не протягивай ног, не садись на край стула, не сжимай губ, сморкайся реже* и т. п.

Нет спора, что некоторые из этих привычек не приняты в порядочном обществе, но всё это при разных условиях, ограничениях и облегчениях, о которых автору, по-видимому, и в голову не пришло. Общество, как сказано выше, требует, чтоб каждый был сколько можно естествен в своих манерах, походке, голосе и прочем, то есть верен самому себе, а отнюдь не переделывал ни походки, ни голоса на чужой лад. И сам автор на той же 36-й стр. говорит, что *дух нашего времени требует свободы и непринужденности*. Почему же человеку не сидеть *на краю стула*, если ему ловко, свободно, лучше сидеть так, нежели на всем стуле? Гораздо хуже, если он, весь век привыкши сидеть на краю стула, вдруг перестанет сидеть так потому только, что тот или другой сидят иначе. Вот худо, когда он, сидя удобно и покойно, не на краю стула, вдруг, при входе какого-нибудь *благomyслящего человека*, начнет коробиться и ёжиться на край: этого не терпит порядочное общество, это покажется противно и от таких привычек следует отучать. Не объяснив условности некоторых привычек, автор не раз введет какого-нибудь доброго человека в заблуждение. Иной весь век *сжимал губы*, и это, может быть, шло к его физиономии, выражало игру его мыслей, придавало даже особенную выразительность его лицу, а тут вдруг, прочтя у г-на Соколова, что губ сжимать не следует, он, пожалуй, станет ходить разиня рот. Не лучше ли было просто посоветовать не делать *умышленно* гримас с целью казаться лучше или приличнее.

Книжка г-на Соколова, несмотря на то что он написал ее вовсе не в шутовском тоне, носит на себе какой-то юмористический характер. Это, может быть, оттого, что автор пресерьезно говорит о разных неловкостях и дурных привычках, которые смешны и поодиночке, а созданные на этот инспекторский смотр, они местами приводят читателя в превеселое расположение духа. Гораздо больше принесет пользы новичку в обществе — не исчисление этих мелочных внешних дурных привычек, от которых скоро и легко можно отстать, а, например, правило, помещенное на 38 стр., что для побеждения робости и нерешительности новичков, вступающих в свет, *надо без увлечения убедиться в своих достоинствах, почаще обращаясь к своему самолюбию; не следует быть чересчур самонадеянным и отъявленным эгоистом; но сознавать свои достоинства и не допускать в себе мысли унижения — непременно должно.*

Этим бы правилом и следовало начать книжку, а потом вспомнить и поставить на вид побольше, например, таких (стр. 45): *Должно избегать разговора про себя и свои заслуги.* Или (там же): *Не начинайте разговора о предмете специальном или мало знакомом слушающим вас. А и того более не должно вставлять в речь свою терминов и слов, понятных только немногим.* Хорошо правило (стр. 42): *не рассказывать о своей болезни и т. п.* Против этих правил грешат часто, сами того не замечая, люди, которых никак нельзя упрекнуть в наружных дурных привычках. Они *не облизывают губ, не нюхают табак из чужой табакерки, не качают ногой и не постукивают в церкви свечой по плечу соседа,* но тем не менее они скучные и даже нестерпимые люди в обществе, именно потому, что заводят длинные разговоры о своей болезни, или о себе самих, или десять раз повторяют виденное и слышанное и т. п.

Нельзя не поблагодарить автора, что он привел и следующие правила, хотя они собственно в кодексе приличий и не на своем месте. Например, стр. 19: *Если судьба, наделив вас богатством, доведет жениться на девушке бедной, то противно будет и чести и благородству дать в сердце вашем место тщеславию, этой мѣ(е)лочной и низкой страстишке, и обнаруживать пред женой своей, а и того более при посторонних, свой благодетельный поступок и т. д.* Напрасно только автор приделал следующий затем молчаливый хвост из морали: *Лучше не делать добра, чем, сделав его, попрекать или хвастаться им...* (кто не знает этого?); *всякое личное достоинство и добродетельный по-*

*ступок тогда только имеет цену в глазах людей благомыслящих, когда и проч. Видите ли: для оценки достоинства или добродетельного поступка автор не находит достаточным суда окружающих, всех, целого общества: чуть кто сделал добродетельный поступок, сейчас нужно посылать за какими-то благомыслящими людьми. Хорошо также и последующее правило (там же): *В секретах, тайнах семейных, в ошибках и недоразумениях супружеских никогда не должно избирать посредников, а тем более и делать свои домашние неудовольствия, беспорядки и расстройства гласными.* Вот еще прекрасная страница 27: *Как бы ни были хороши слуги, ни в каком случае нельзя допускать их до фамильярности с собою — это их испортит. Равным образом те, которые имеют привычку грубо обращаться с людьми своими, могут только вооружить их против себя. Ничто столько не уменьшает в людях доверия, преданности и верности, как обращение постоянно грубое, дерзкое, насмешливое: надобно помнить, что у каждого есть свое самолюбие.**

Почем знать? Может быть, какой-нибудь благомыслящий супруг, женившийся на бедной девушке и находивший, в простоте души своей, весьма естественным время от времени напоминать ей об этом, прочтя в этих строках о себе, призадумается, а может быть, благодаря просвещению, и поверит печатной книге. То же может случиться и с барином, позволяющим себе дерзкое и грубое обхождение со слугами. Итак, от книжки г-на Соколова вреда нет, а польза может быть.

Взыскательный читатель скажет, пожалуй, что он желал бы от автора взгляда более верного или... как бы это сказать?.. ну хоть более умного на науку общежития, системы более общежительной, нежели это разделение, по примеру поваренных книг, на главы о горячих, о жарких, о соусах, обхождении со слугами и т. п. Справедливо ли такое требование? Требуйте от автора исполнения того, что он предлагает, в возможном для него, а не для другого, масштабе. Вам дают смешной и грубый водевиль, а вы требуете умной и тонкой комедии: довольствуйтесь тем, что могут дать. В заключение скажем, что мы распространились так по поводу «Светского человека» не потому, чтоб книга г-на Соколова стоила длинного трактата, но потому, что так называемая светскость — предмет слишком живой и щекотливый: ведь все мы помешаны на светскости!

В. Н. Майков

На нынешний раз мы должны начать наш русский фельетон очень печальной новостью. 15 числа прошедшего месяца скончался, по несчастному случаю, в 50 верстах от Петербурга, Валериян Николаевич Майков, сын известного художника и брат поэта, — на 24 году от рождения. Он с семейством своим отправился на несколько дней в деревню к знакомым и на другой день по приезде туда, разгоряченный продолжительною прогулкой, стал купаться в пруде и умер там внезапно от апоплексического удара.

Сообщая это печальное известие нашим читателям, мы долгом считаем сказать несколько слов о покойном, тем более что имя Майкова 2-го почти не было известно публике, между тем как с половины прошедшего года в «Отеч(ественных) записках», а в последнее время и в «Современнике» появлялись его статьи по части критики и библиографии, обратившие на себя внимание публики.

В. Майков вступил на поприще общественной деятельности в то время, когда другие сидят еще на школьной скамье. Быстрым и ранним развитием своих прекрасных способностей он обязан был, во-первых, природе, которая так же щедро наделила его дарами своими, как и прочих, известных уже публике членов его семейства; во-вторых, разумному, свободному, чуждому застарелых, педантических форм первоначальному воспитанию, которое получил он в своем домашнем кругу. После такого образования, совершавшегося среди дилетантов наук и искусств, В. Майков перешел уже к строгому и методическому учению в Петербургском университете, откуда по окончании курса и выпущен кандидатом. Вскоре после того он вступил в службу по Министерству государственных имуществ, но слабое от природы здоровье, не подкрепляемое телесными упражнениями, — ибо весь избыток сил принесен был в жертву умственной жизни, — не устояло против постоянных служебных трудов. В. Майков принужден был выйти в отставку и ехать для восстановления здоровья за границу. Но любовь к науке и труду никогда не покидала его. Продолжая заниматься историею и политико-экономическими науками, он пристрастился к философии и изучал новейшую философию, преимущественно немецкую. Как любознательный человек, он успевал загляды-

вать в область наук и другого разряда: урывками учился химии; как человек с душой, страстно любил искусство во всех его видах и отраслях и изучал его теоретически и практически, дома и за границею. Знание трех языков делало ему доступным чтение всех замечательных произведений по части наук и изящной словесности. Слабость здоровья, препятствовавшая ему просиживать по несколько часов на службе, отнюдь не мешала, однако же, предаваться любимым занятиям. Одаренный умом светлым, проницательным и восприимчивым, он с необыкновенною легкостью приобретал познания, и едва ли кому так дешево досталось бы звание ученого, как ему.

Учась, он не запирался от людей, не прятался от общества, избегал малейшего педантизма и всякого внешнего признака учености. Он ловил знания всюду, на лету, в разговорах, почерпал из книг, и часто серьезная мысль заставляла его в кругу приятельском. Он тут же легко и увлекательно развивал ее и, обладая вполне даром слова, умел придать ей общую, всем доступную занимательность. Ему довольно было одного намека на идею, и он быстро усвоивал ее себе, тотчас подвергал ее своему врожденному тонкому анализу и мгновенно делал из нее какой-нибудь блистательный, часто неожиданный, но всегда строго логический вывод, избегая с необыкновенным искусством всего, что есть парадокс и софизм. Так точно достаточно было ему легкого очерка целой системы, чтобы силою своей мыслящей способности покорить ее своему ведению и приложить в данном случае к делу. Важное и глубокое творение мыслителя-философа он читал с такою же легкостью, как и произведение беллетриста, где и когда угодно, не запираясь в кабинете, не завешивая окон и т. п. При нем в то время можно было говорить, шуметь: ум его ненарушимо делал свое дело и, несмотря ни на какую помеху, достигал цели.

Еще в ранней молодости В. Майков острою и меткостью своих суждений о произведениях наук и искусств обнаруживал будущий критический талант. Известные публике из двух журналов опыты его в этом роде, в такие лета, когда другие еще не успели проститься со школьными тетрадами, — подтвердили проявившиеся в юноше надежды и обещали блистательные плоды в будущем. Судя по этим прекрасным началам, по трудолюбию, по многостороннему образованию Майкова и еще по тому, что развитие его способностей далеко не совершилось

вполне, — можно с достоверностью заключить, что ему суждено было пополнить именем своим небольшое число наших истинных, призванных критических талантов высшего разряда... Напомним нашим читателям написанную им одну из первых статей «Общественные науки в России». Статья 1-я напечатана была в «Финском вестнике» в первом году его существования. После того Майков прекратил свое участие в этом журнале, и продолжения этой статьи не было. Вот перечень главнейших его статей, помещенных в «Отечественных записках» 1846 и 1847 годов. В критике: «Стихотворения Кольцова» (две статьи); «Краткое начертание истории русской литературы»; «Романы Вальтер-Скотта». В библиографии: «Беседа русского купца о торговле» (две статьи); «Мысли о существе и значении чиновнического быта»; «Руководство к всеобщей истории, соч. Лоренца»; «Петербургские вершины, описанные Я. Бутковым»; «Критическое исследование о значении военной географии и военной статистики»; «О земледелии в политико-экономическом отношении»; «Об источниках и употреблении статистических сведений»; «Постепенные упражнения в сочинении г-на Чистякова» и проч., и проч., и проч. ... Участие В. Майкова в «Современнике» началось незадолго до его смерти; ему принадлежат: разбор комедии г-на Меншикова «Шутка», разбор «Путешествия в Черногорию» и большая часть статьи о «Справочном энциклопедическом словаре».

Отличительные достоинства этих статей В. Майкова — строгая последовательность в развитии идей, логичность и доказательность положений и выводов, потом глубина и верность взгляда, остроумие и начитанность; недостатки — излишняя плодовитость и непривычка распорядиться богатством своих сил, недостаток, свойственный молодости, о чем и было уже однажды замечено в нашем журнале по поводу его статей, наконец, раздробленность и местами слишком тонкая и отвлеченная изысканность анализа.

На это нам могут возразить, что самые лета В. Майкова не позволяют думать, чтобы он обладал необходимою для критического суда степенью опытности. Но неужели не пора перестать думать, что не число лет, даже не ряд событий, случаев и т. п. делают человека опытным? Можно быть 50-летним ребенком и 25-летним стариком. Для приобретения опытности нужно то вол-

шебное стекло, которое дает природа и сквозь которое проходят перед глазами время и дела. Это стекло — наблюдательный, аналитический ум, ведущий к сравнению и проверке всего вращающегося около нас.

Сколько есть людей, над головами которых пронеслись великие события и которые не вынесли никакого заключения о них; сколько, напротив, других, которые в тиши кабинета, по окружающим их ничтожным и мелочным обстоятельствам, научились судить мировые дела и случаи.

Вот всё, что следовало бы сказать о Майкове для публики: так краток был путь его общественной деятельности. Но если иногда до сведения ее доводится и не считается недостойною ее участия биография лица, не отличенного ни талантом, не ознаменовавшего своей жизни ни каким-нибудь заметным трудом, но достойного памяти только по своей прекрасной личности, по характеру, украшавшему круг, в котором оно жило, то и с этой стороны Валериян Майков более всякого другого имеет права на почетное упоминание. Есть два рода сожаления, которым общество напутствует человека в могилу. Одно есть не что иное, как сознание утраты даровитого и полезного деятеля: на это сожаление имеет право всякий, участвовавший в общественных интересах, другое есть боль сердца, оплакивающего потерю любимого человека. В. Майков, в цвете лет, успел приобрести право на тот и на другой род сожаления. В нем соединялись две не всегда уживающиеся вместе одинаково счастливые организации — головы и сердца. Ему так же легок и доступен был путь к сердцу всякого, с кем судьба сталкивала его, как и дорога к знанию. Он, сближаясь с человеком, прежде всего умел найти в нем добрую сторону, полюбить ее и дать ей вес в глазах того человека и в своих собственных. Но он делал это не с умыслом, даже не сознательно и не с расчетом, как делают иные от избытка осторожности, страха или уменья жить с людьми, но по нежному, благородному природному своему инстинкту. По кратковременности его жизни, чувства не успели выработаться в нем до степени притворства: это были чистые, юношеские порывы, протекавшие из прекрасной его натуры. Нельзя думать, чтобы от его тонкого и наблюдательного ума ускользали недостатки человека, нет, но кротость и почти женская мягкость его сердца внушали ему удивительную терпи-

мость и снисхождение к ним. Никогда и никто не слышал от него едкого и желчного отзыва, какого-нибудь резкого, решительного приговора не в пользу другого. Никто не замечал в нем враждебного расположения к кому-нибудь. Он старался или извинить или смягчить замеченную им нравственную уродливость или, если это было уже решительно невозможно, выражал свое невыгодное мнение улыбкой сожаления, иногда иронии, редко словом. Надобно было видеть его беспокойство, когда он думал, что мог возбудить в ком-нибудь неудовольствие к себе: как он заботился изгладить всякий неприятный след и кто бы не простил ему! Мудрено ли, что он сразу вызывал у человека привязанность к себе, что этими редкими свойствами он приобрел себе многочисленных друзей и что смерть его поразила их как двойная утрата — умного, даровитого деятеля и доброго, нежного, благородного друга.

Тело его погребено 18 июля в слободе Ропше, в 38 верстах от Петербурга, на церковном кладбище. На этих похоронах не было ни одного праздного наблюдателя, ни одного охотника позевать на чужое горе, ни даже равнодушного свидетеля. Никто не явился и *по долгу приличия* с прилично-печальным лицом, в прилично-печальном костюме: для *приличия* была приличная отговорка не быть — 40 верст расстояния. Было несколько литераторов, но все они находились в личных сношениях с покойным и, следовательно, неизбежно любили его, потому что знать и не любить его было невозможно. Они отдавали грустный долг ему как собрату по занятиям и, может быть, еще более как человеку. Была и горько, единодушно плакала одна пораженная нежданным горем семья родных и друзей. Место, где покоится В. Майков, тихо, уединенно и живописно. День похорон — был прекрасный, жаркий день; всё кладбище усажено тенистыми деревьями, между которыми воздвиглась свежая могила. К ней уже бежали дети: и солнце, и дети, и деревья — всё резко напоминало слова поэта:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять!..

ПРИЛОЖЕНИЯ

〈ХОРОШО ИЛИ ДУРНО ЖИТЬ НА СВЕТЕ?〉

Хорошо или дурно жить на свете? И да и нет. Жизнь состоит из двух различных половин: одна практическая, другая идеальная. В первой мы — рабы труда и забот; она отравлена существенными потребностями: каждый, как пчела, ежедневно обязан принести, для *общей пользы*, каплю своего меда в бездонный улей света. В той жизни самодержавный властелин ум: много жертв приносит человек этому деспоту, много отдает лучших своих минут и радостей на обмен огорчений, сухих, чуждых душе, трудов и усилий. Как т(ам)¹ не хочется, как скучно бывает жить — жить для других! Та жизнь как томительный сон, как давление ночного духа; от нее пробуждаешься, как от обморока, к другой половине жизни. Не такова последняя: в ней уже нет муравьиных хлопот и *мышвей беготни* к пользе общей. Там перестаешь жить для всех и живешь для себя не одной головой, но и душой, и сердцем, и умом вместе. То половина эстетическая: в ней простор сердцу, открывающемуся тогда для нежных впечатлений, простор сладким думам, тревожным ощущениям и бурям, тоже не умственным и политическим, бурям души, освежающим тяготу вялого существования. Тут свои идеальные радости и печали, как улыбка сквозь слезы, как солнечный луч при дожде. Мгновения той жизни исполнены игры ума и чувств, цветущих, живых наслаждений всем, что есть прекрасного в мире: для мужчин есть природа, высокие искусства, мечты и женщины, для женщин тоже — природа, искусства, мечты и мужчины, то есть мы. Тогда в существовании господствует какая-то легкость, свобода, и человек не клонит головы под тяжестью неотвязчивой мысли о долге, труде и обязанностях.

¹ *Рукопись повреждена.*

Когда утомленные первую, скучно-полезною... стороною жизни, вы захотите сбросить с себя иго тяжелого существования и занесете ногу над пропастью... остановитесь, пойдите со мной: я поведу вас туда, где вы отдохнете и успокоите боль души, освежите сердце, как бы оно черство ни было, и отрезвитесь от скуки: там наберетесь утешительных впечатлений, и вам станет легко — опять до новой скуки.

Вон видите ли то здание строгого стиля с колонна-
10 дою — пойдём туда. Около него с одной стороны спесиво и широко раскинулись чертоги нового Лукулла; с другой построился, как Вавилонский столп, целый муравейник промышленности, а мимо несется с шумом и грохотом гордость и пышность, робко крадется бедность и преступление; у порога его кипит шум Содомы и Гоморры. Целомудренное здание, как будто в негодовании, отступило назад от нечестивых соседей, надвинуло зеленые зонтики на глаза, сосредоточилось в самом себе и только что не восклицает: «Горе, горе тебе, новый Вавилон!»
20 А внутри... но войдемте, войдемте скорее.

За нами с шумом затворилась тяжелая дверь: то был последний шум света. Вступаем в другой мир. Перед нами тянутся длинные, бесконечные переходы, убегающие от взора куда-то вдаль. Здесь царствует таинственный сумрак, глубокое безмолвие, как будто мы попали в очарованный замок, где всё живущее обращено в камень жезлом могучего чародея, а между тем как много тут жизни, сколько бьется юных, горячих сердец. Да! это точно — замок фей! здесь нет и не может быть того
30 неприятного шума, который раздаётся вокруг: то грубая возня мужчин, а их здесь нет... ты в царстве женщин. Но где же феи? Вон, смотрите, что там за тень пробирается вдоль стены неслышными, мерными шагами, склонив голову, и вдруг исчезает на перекрестке, как сторожевая дева Громобоева замка, свершающая свой печальный черед в ожидании Вадима? То странствует дежурная пепиньерка, зевающая в ожидании 9 часов вечера. А тут другое миленькое и молоденькое существо внезапно выпархивает из одних дверей, как легкая,
40 стройная лань, с едва слышным шорохом перебегает вам дорогу и исчезает в другие двери: они затворились, и опять всё смолкло. Здесь третья вдруг взлетает вверх, едва касаясь ступеней лестницы, как будто ангел, вознесшийся в глазах ваших куда-то выше, где, говорят, множество

таких ангелов. А что за воздух! как сладко дышать им! какие радужные мечты и трепетные думы навевает он на душу и сердце. Да и как иначе! ведь эта атмосфера растворена нежным дыханием всех милых существ, населяющих эту обитель. Но то... чу! откуда доносятся до слуха тихие, гармонические звуки? это они, ангелы, поют хвалебный гимн Богу. Что за жизнь, Господи, что за розовое существование! пожил бы с ними! Зачем я не такой же ангел, а... впрочем, что ж сокрушаться — ведь, кажется, и я не черт.

10

Но вот распахнулась стеклянная дверь: вступаем в просторную залу. Где мы? Что за славное такое место? тепло, светло, отраднo. Здесь встречает нас стройная жена, чарующая и приветом, и умом, и величаво-грациозною прелестию. Около нее теснится сонм прекрасных, умных, приветливых и любезных существ. Поклонимся пред нею и пред ними — мы у цели. Величаво-стройная жена — то... но нужно ли называть ее — мы теперь у нее среди тех существ, в том здании — словом, мы в царстве женщин. Сюда-то, в эту залу, звал я отдохнуть от 20
скучно-полезной жизни. Здесь ум не пугает воображения заботами о презреннoй пользе. Он слагает с себя суровые свои доспехи, рядится в цветы, резвится, шалит, помогает говорить комплименты, правдоподобно лгать и приятно высказывать истину, решать вопросы о том, что близко каждому лично, и услужливо мешается во все игры и затеи. Стены этой храмины, вероятно, никогда не оглашались толками ни о войне англичан с китайцами, ни об египетском паше, ни об изобретении новой машины — словом, ничем из того, что наполняет другую, 30
скудную половину жизни. Но зато здесь происходят афинские, благоухающие умом и чувством беседы о том, о сем, часто и ни о чем, под председательством хозяйки. Сюда бы привел я тех мудрецов брадатой половины рода человеческого, которые самовластно отмежевали в удел небрадатой половине только силу красоты: они преклонили бы колена пред сочетанием этих двух сил и увидели бы, что первенствующую роль здесь играет ум — женский, а сердце — мужское. Сюда приносит иногда нежные плоды своего ума и пера и другое светило, пышное, 40
блистающее в своем собственном, также прекрасном мире. Достойный спутник ее, оставляя изредка высокое искусство, приходит полюбоваться игрою юной эстетической жизни. Верховный жрец Аполлонова храма в

России, оглашающий ее вещими, потрясающими сердца звуками своей лиры, скромно вступил в круг беседующих. Будем надеяться, что эти звуки пронесутся когда-нибудь и *здесь*. Другой юный пророк, так сладко напевающий нам о небе Эллады и Рима, избрал главною квартирою своего вдохновения берега не Иллиса и Тибра, а Фонтанки. Здесь есть и 20-летние мудрецы, которые тотчас гасят свой фонарь и прячут ненависть к людям и равнодушные к жизни под философскую эпанчу, как скоро ¹⁰ перед ними блеснет луч прекрасного взора. Сюда беспрестанно утекают из-под российских победоносных знамен и дети Марса: где их доспехи, копья и стрелы? ими хоть тын городи. А сами они беспечно поют:

Пусть там жены надевают
Мой воинственный шелом,
И мечом моим булатным
Станут дети там играть.

Будь эта зала величиною с Марсово поле: увы! воинская слава России померкла бы навсегда и бранные ²⁰ трофеи украшали бы не храмы Господни, а ее окна. Прихожу сюда и я, мирный труженик на поприще лени, приобретший себе на нем громкую известность; здесь отраднее и слаще лениться, нежели там, в том мире, где на всяком шагу мешает труд или забота; один трудный подвиг предстоит ленивцу: уйти отсюда в роковой час.

Ныне тесный кружок собравшихся здесь разверзается для двух новых пришельцев: привет им! Один — *питомец дела и труда*, более других изведавший горечь муравьиных ³⁰ хлопот и пчелиной суматохи, тщету и скуку человеческой жизни и мудрости. Он искал последней и у древних, и у новых мудрецов, но признал отчасти истинным только учение Эпикура и занял мудрость не в груди книг: одна книжная мудрость что смрадное болото; там ум как стоячая вода; оно испаряется теориями и умозрениями, методами и системами, заражающими жизнь нравственным недугом — скукою; из этого болота почерпается только мертвая вода; а для прозябания ума нужно ⁴⁰ впрыскивать его еще живой водой. И он, наш новый пришлец, добывал истину, эту живую воду, из живых источников. Он находил ее и в труде и стал властелином всякого предпринимаемого подвига, и в книге природы, и в собственном сердце, и, наконец, умел обрести

мудрость и истину там, где другой находит безумие, — на дне розового хрустального колодца. Не смущайтесь, mesdames, его сурового взора и саркастической улыбки: в ваших взорах и улыбках он сумеет найти еще более мудрости и истины, чем на дне того колодца. Угрюмое чело прояснеет, а насмешка выйдет из уст комплиментом.

Другой пришлец — представитель молодого, цветущего поколения. Юность бьется, кипит, играет в нем и вырывается наружу, как пена искрометного вина из переполненной чаши. Много в нем жизни и силы! как блещет 10 взор его, как широка славянская грудь и какие мощные и пленительные звуки издает она! Он песнею приветствует светлую зарю своей жизни, и песнь его легка, свободна, весела и игрива, как утренняя песнь жаворонка в поднебесье. Он то заливается соловьем родимых дубрав, который, по словам поэта, *щелкает и свищет, нежно ослабевают и рассыпаются мелкой дробью по роще*, и поет и русскую грусть, и русское веселье; то настроит золотое горлышко на чуждый лад и поет о нездешней любви и неге, как поют соловьи лучшего неба и климата. 20

Привет, стократ привет и человеческому достоинству во всей его скромной простоте и кипящей юности со всеми блистательными надеждами.

Теперь, ознакомив несколько новопосвящаемых с значением института, разумея под этим словом общество, собирающееся в этой зале, обращаюсь к принятым здесь правилам и обычаям, также и к обязанностям, сопряженным со вступлением сюда.

Обязанностей — всего одна. Так как вы непременно будете обожать весь институт... 30

Я вижу, кажется, как при этом наморщатся брови эпикурейца и как другой пришлец остановит на мне в недоумении ясный взор. Да! повторяю, обожать весь институт: это очень просто, — здесь уж такое заведение! Да иначе и нельзя: оглядитесь вокруг себя и решите сами, можно ли обожать кого-нибудь *одного* или, виноват, кого-нибудь *одну*: глупая привычка — оставаться мужчиной даже в царстве женщин! Если еще не убеждены и этим — я докажу вам в нескольких словах. Положим, что вы опустили знамя предпочтения к ногам одной избранной 40 богини и, уходя отсюда темною ночью, уносите в сердце и воображении свое светило, которое и светит вам до дому. Входите в свою квартиру, и светило за вами. Вы в раздумье ложитесь на диван, вперяете взор в потолок

комнаты, мысленно обращая его в небо, и звезда тотчас занимает там свое место. Вы любуетесь, трепещете от восторга, плачете, уже сочинили два стиха и ищете рифму к третьему, но вот! там восходит еще звезда первой величины, блистательная и яркая, за ней третья, четвертая и т. д., и весь потолок населяется светилами, только не холодными, ночными светилами, а пламенными солнцами, которые так и пекут, так и прожигают вас насквозь. Не одна эта опасность угрожает вам: в здешней сфере
10 блуждают и периодически появляющиеся кометы, светила других миров или кончившие срок существования в этой сфере. След их — огненная полоса, бури и разрушения — берегитесь — испепелят!

Наконец, за этими ближайшими светилами тянется белою полосой и Млечный Путь, рой тех звездочек, которые сияют теперь там выше, над нашими головами: это незримые, многочисленные обитательницы здешнего храма. Мы не видали их, но ведь человек любит блуждать
20 взором по Млечному Пути и разгадывать недоступные взору светила; так и воображение ваше будет уноситься в высшие сферы здешнего неба и, не видя их, мучиться и обожать. Нестерпимое сияние ослепляет вас: вы закрываете глаза и успокоиваетесь, думая заснуть с мыслию об избранном образе, — никак нельзя. Начинается музыка сфер, заговорили какие-то голоса. То будто кончик благо-
30 вонного локона щекотит вам около носа; то, кажется, беленькая ручка дерет вас за ухо, говоря: «Как ты смеешь спать после вечера, проведенного среди нас? Ты, — продолжает таинственный образ, всё теребя вас, — избрал одну такую-то (имярек), но посмотри на мои глаза, разве ты забыл блеск их — ярче ли блестят взоры твоей богини? обожай и меня!» «А я-то, а я-то, — звучит жалобно тоненький голосок над самым ухом, — вспомни мою улыбку, любезность — и обожай!» «Мой ум и носик, — кричит третья, — и обожай, мою талию и остроумие — и обожай! Обожай!» «Обожай всех», — наконец кричат они хором. Другие будто являются с угрозами. О, как наморщились прекрасные брови, какие искры гнева сыплются
40 обожания, — говорит это существо, топая ножкой, — но...

Знай, кинжалом я владею:
Я близ Кавказа рождена».

А как вы оттолкнете от воображения известный величаво-прекрасный образ, пред которым, сколько у вас ни будь колен, все склонились бы невольно. Что будете делать? Остается, говорю, обожать весь институт.

Итак, обязанность, сопряженная со вступлением сюда, состоит в том, чтоб быть жарким ревнителем славы института, распространять всюду об нем громкую, блистательную молву и превозносить похвалами всё относящееся до него, начиная с швейцара до галок и ворон, сающихся на институтскую кровлю, говоря, например, ¹⁰ про первого, что он хмельного и в рот не берет, а про вторых, что они хорошие птицы и изрядно поют; в потребном же случае не щадить и живота — словом, вести себя, как подобает добрым и честным рыцарям.

Теперь нововступившим следует принять к сведению два параграфа из устава здешнего места.

§ 1. Не являться сюда по пятницам ранее 7 и позже 9 часов и не оставаться долее 11; в противном случае виновный подвергается узаконенному правилу, то есть если придет после 9 часов, то швейцар не пустит, если ²⁰ останется долее 11 часов, то два нежные перста уткнутся в его спину и будут так провожать до дверей.

§ 2. В пьяном образе не являться, никого и ничего не опрокидывать, курить одни пахитосы в указанной комнате, а обыкновенные сигары изредка, с особенного разрешения председательницы общества. По коридору ходить тихо, молча, с непокрытой головой, с приличной важностью и осанкой, пожалуй, кто хочет, кланяясь на обе стороны, хотя бы там никого не было, но из уважения к святости места. В случае ссоры мужчин между собою ³⁰ до драки отнюдь не доходить, а довольствоваться умеренными выражениями, лучше всего следовать примеру предков и говорить: «Да будет тебе стыдно».

ПЕПИНЬЕРКА

Я это потому пишу,
Что уж давно я не грешу.

Пушкин

«Ах, какой душка!»
«Ах, какой противный!»
— Каково! вот какого вы
обо мне мнения!

(Дневник пепиньерки)

Если всякое дельное и полезное сочинение, к числу которых относится и сочинение о пепиньерке, должно начинаться определением предмета, то нельзя и мне избежать этого всеобщего порядка. Итак, пепиньерка есть девица — и не может быть не девицей, так точно и не девица не может быть пепиньеркой. Это неопровержимая истина. По крайней мере, если б по какому-нибудь случаю между пепиньерками вкралась не девица, то это была бы такая контрабанда, на которую нет ни в одном таможенном уставе довольно строгого постановления. Впрочем, это — случай решительно невозможный и небывалый в летописях тех мест, где водятся пепиньерки, следовательно, нет и закона, который бы наказывал не девицу за присвоение себе не принадлежащих ей прав. Не девицы могут быть классными дамами, инспектрисами, директрисами, привратницами, но пепиньерками — ни-ни! Нельзя определить с точностью лет пепиньерки. Можно так, неопределенно, сказать, что пепиньеркой ни в сорок, ни в двенадцать лет быть нельзя, хоть будь себе раз девица. Обыкновенно она бывает от шестнадцати до двадцати лет. Если она зайдет далеко за последнюю границу, то ее делают дамой, то есть или классной дамой, или просто дамой, выдавая замуж. С неспособной к этим двум должностям снимают пепиньерский сан, потому что она стала уже девой, а пепиньеркой, как сказано, может быть только девица. Костюм пепиньерки прост. Белая пелеринка, белые рукава и платье серого цвета. Может быть, есть на свете пепиньерки и других цветов, но я их и знать не хочу. Отныне моею вечною песню будет:

Серый цвет, дикий цвет!
Ты мне мил навсегда — и т. д.

Природа заодно со мной. Она как будто нарочно, для прославления дикого цвета, дала мне и голос дикий.

Не знаю почему, но мне кажется изящным этот простой костюм: потому ли, что пепиньерка умеет его надеть как-то мило; потому ли, что плотная пелеринка не дает видеть, а позволяет только мечтать о пышных плечах и очаровательных лопатках и тем умножает прелесть мечты; потому ли, что девушке в шестнадцать лет пристаёт всякая шапка, или, наконец, потому, что уж я очень люблю пепиньерку. Как бы то ни было, но я готов одеть и небо и землю в серое платье и белую пелеринку.

Костюм этот теряет, однако ж, свое изящество, когда пелеринка и рукава изомнутся или когда на них сядет чернильное и всякое другое пятно, что, к сожалению, случается нередко. А согласитесь, что девушка с пятном — как будто и не девушка: оттого я не могу видеть на пепиньерке, без содрогания, даже и чернильного пятна.

На светской девушке никогда не увидишь чернильного пятна: очень понятно почему. Она, во-первых, ничего не пишет или пишет только в больших случаях. Потом — у ней вся чернильница с наперсток и в ней капля чернил, которую она всю и употребит на свое писанье, да и ту еще разведет водой: чем же тут закапаться? У пепиньерки, напротив, чернил вволю: казенные — капай сколько хочешь; вообще всё нужное для письменной части содержится в отменном порядке и обилии, так что припасов достало бы на целую канцелярию. У светской девицы — всё это в запустении. Притом она обращается с письменным столом чрезвычайно осторожно: подходит к нему осмотрительно, с гримасой; едва двумя пальцами возьмет черепаховое перо и раз двадцать обмакнет его в чернила, прежде нежели достанет капельку. Садится она, не дотрогиваясь до стола локтями, и держится поодаль. А написавши, далеко бросает перо — опять месяца на три. Пепиньерка, если примется писать, то работает усердно, как писарь военного ведомства, часто на том месте, где писали и уже накапали ее подруги. Когда она пишет, то вся погружается в свой труд. Сверх того, ей представляется множество случаев выпачкаться в классе. Платья и пелеринки жалеть нечего: они казенные.

Спросят — что может писать пепиньерка? Многое. Во-первых — она ведет свой журнал, куда записывает происшествия, впечатления дня, может быть, и ночи, то есть кого встретила, с кем говорила, что чувствовала, что

видела во сне. Потом пишет она письма к родным или сочиняет проекты писем, но уже не к родным, а так, к разным лицам, для практики на всякий случай или для забавы. Наконец, чертит перышком заветные имена и рисует мужские головки. Видите ли, сколько ей нужно чернил. Теперь положите хоть по капельке на каждую штуку, то есть на страничку журнала, на письмо, на мужскую головку, — сколько бы капель должно быть пролито на платье? А на ней едва-едва увидишь два-три пятнышка. Не есть ли это доказательства ее опрятности?

Обязанности пепиньерки многообразны. Главнейшая из них — не обожать — нет! это дело не девиц, а девочек. Девицы, достигши полного развития, очень хорошо понимают, что обожания не существует. Обязанность ее — любить по-настоящему, как все любят, — и быть любимой; если же она не любит, то казаться влюбленной. Последним даром пепиньерка владеет еще не искусно. Она редко может скрыть охлаждение к своему предмету, так же как не может скрыть и любви, и называет его, пока любит, — разумеется, про себя и между подруг — *душкой*, а когда разлюбит, то иногда величает и *противным*, чего по светским уставам делать никак не следует. Но в этом случае пепиньерка руководствуется более влечением сердца.

Пепиньерка может еще быть, по каким-нибудь причинам, нелюбимой; могла бы, конечно, быть и не влюбленной, но этого не бывает: это уж так заведено; иначе ее существование было бы весьма незавидно. Она была бы парией между своих подруг. Ее бы бегали, боялись; все отвергали бы ее дружбу, потому что дружба корпуса пепиньерок держится на взаимных тайнах, а что за тайны без любви? Неужели можно назвать тайною, когда побранят начальство, передразнят классную даму, не послушаются инспектрисы? фи! это составляет только тайну маленького класса. Пепиньерская комната — вольный город, порто-франко, куда беспошлинно привозятся важнейшие тайны, даже городские, и где ими свободно производится меновой торг. Что же бы стала делать пепиньерка, не будучи участницей дружеских тайн? Она была бы лишняя в пепиньерской; ей оставалось бы печально бродить по коридору или подслушивать у дверей. Она для одного этого всеми силами старается влюбиться, а если нет случая, то выдумает сама себе и любовь, и тайны.

Прочие обязанности пепиньерки не так уже важны. Замечательнейшая между ними — чтение запрещенных в заведении книг. Это необходимо для составления себе вполне имени пепиньерки. Пепиньерка, не читавшая романов, — редкость. Чем же ей отличиться от девиц высшего класса, как не чтением романов, которых там вовсе нельзя иметь. Да оно нужно и для того, чтоб, в случае недостатка настоящей любви, сочинить себе последнюю. Выше следовало упомянуть, что в пепиньерскую кроме тайн проносятся запрещенные книги и разные другие к приносу запрещенные вещи, например сигары. Из этого можно заключить, что там вообще водится и табак, если не курительный, что было бы заметно, то, вероятно, нюхательный. Не знаю хорошенько, проносится ли вино: надо справиться. Всё это показывает, что корпус пепиньерок составляет род маленькой республики под покровительством монархии начальства.

Все эти важные обязанности пепиньерки нарушаются разными мелочными развлечениями, установленными в заведении постоянно, как-то: дежурством, хождением в классы, смотрением за девицами, усмирением возникающих между ними бунтов и т. п. Но пепиньерка не любит этих шумных развлечений. Она предпочитает им свои мирные занятия. Она ведет взвод девиц к обеду, а сама мечтает о предмете. Улучит свободную минутку и бежит в комнату, садится за фортепиано и напевает: «Я не скажу, я не открою, В чем тайна вечная моя!» — или что-нибудь подобное.

Вот наступает вечер. Говор, шум, смех, беготня утихают. Пепиньерки приходят с дежурства и ужинают. Как привлекательна их простая трапеза! Она напоминает мне вечернюю трапезу студенческих годов: так же нет излишних и обременительных украшений, например скатертей, салфеток, отчасти вилок и ножей. Да на что скатерть, салфетка, когда казна дает коленкоровый рукав? Зачем вилки и ножи, когда природа снабдила прекрасными, маленькими и тоненькими пальчиками, очень удобно заменяющими эти орудия? Не так ли думал Диоген? а ведь он был мудрец. Но зато милая трапеза этих мудрых дев приправлена шутками, смехом, тайнами и толками о любви. Одну только неверность и нахожу в сравнении с студенческой трапезою — недостаток бутылок. Между тем вечер всё подвигается вперед. Инспектриса уже заперлась у себя и не выйдет больше. Сонные

классные дамы разбрелись. Швейцар сложил свою булаву. Лампы гаснут в коридорах одна за другою. Наконец всё погрузилось в сон. Пепиньерки ложатся. (Боже! о чем пишу!) Вон уж m-lle *Пози* очень мило всхрапнула раза два; m-lle *Ах* чмокает губками, как будто кушает что-то во сне; m-lle *Ла* произносит в бреду: «Душка!»; m-lle *Руш* обняла подушку и сладко почивает; m-lle *Ке* уткнула носик в свою и спит, как куколка; m-lles *Цей* и *Ней* совсем с головой закрылись одеялом и спят молча, а m-lle *Вико* всё вздыхает и ворочается с боку на бок.

Кто-то одна страстно и жарко разметалась по постели. Покровы сброшены почти совсем на пол, ручка свесилась... дыханье ее горячо... она по временам лепечет невнятные слова или крепко сжимает губки. Над этой рафаэлевской головкой летают не ангельские сны; уста шепчут не «Богородице Дево! радуйся...» Тсс! язык отказывается выдать незаконноприобретенные тайны — и я, непрошенный наблюдатель, удаляюсь из святилища, куда, посредством воображения, прокрался, замкнув уста, притаив дыхание и отрешив обувь от ног из благоговения к храму Весты.

Вот пепиньерка встает потихоньку, надевает чулки, зажигает огарочек, идет к столику, в секретный ящик. Щелк-щелк замком: из ящика бережно достается таинственная книжка, данная братцем, кузеном или снисходительной тетушкой. Проказница — прыг опять в постель с драгоценной ношей, чулки долой — и погрузилась в чтение. Как быстро бегают по строкам ее глазки! как живо отражается в них каждое впечатление! Слеза, улыбка, нега, гнев, сожаление — сменяются одно другим. Судьба героя или героини, чаще героя, увлекает ее более и более. Она приподнялась с подушки и оперлась на локоток. Щечки ее разгорелись. С бело-бархатного плеча мало-помалу спустилась сорочка. (Силы Небесные! помогите дописать!) Но она не замечает этого: ей как будто и дела нет. Один пальчик на ножке высунулся из-под одеяла и рисует что-то в воздухе. Бьет час, бьет два; она сама не шелохнется; она вся — чтение. А встала она рано, в шесть часов, и завтра должна встать в эту же пору. Но что ей до того? Как отстать? Она только что дочитала до того места, где герой обманул героиню: как же уснуть, не узнавши, что из этого будет? Она продолжает. Вот уже личико ее теряет свежесть; веки покраснели, глаза потускли, и на них то является, то

исчезает непрошенная слеза. Румянец, озарявший всю щеку, сошел: на его месте остались два красные пятнышка, признаки крайнего утомления. Палец не шалит более: он спрятался, и плечо прикрылось одеялом. У ней маленькая лихорадка. Вдруг неожиданное происшествие. Вся комната ярко озарилась вспышкой свечи, которая уже догорела; сало зашипело — и вслед за тем занялась бумага. Пепиньерка в испуге роняет книгу на пол и начинает дуть; но свечка не гаснет, — пламя охватило бумагу со всех сторон, сало течет на стол: нет силы затушить. А инспектриса, того и гляди, заметит свет из окошка. Что делать? «Пози! Пози! Катя! — кричит она. — Лиза! Лиза!» Ах, как они крепко спят: точно девицы маленького класса или как юродивые девы! «Да встаньте, помогите. Лиза!» — «А? что? — откликается Лиза, — что он тебе сказал? тайну?» — «Какая тайна! поди поскорее сюда, посмотри, что я наделала». — «Ах! пожар! пожар!» — кричит та в испуге, бегая по комнате. «Тише, тише! что ты, с ума сошла!» — говорит наша проказница и начинает ловить Лизу. Но вот беда — Лизу почти не за что поймать: если б был платок, шарф, косыночка, юбка... а то почти ничего... Наконец Лиза опомнилась, протерла глаза, поняла в чем дело, и стали обе дуть. Нет — не гаснет. Надо позвать третью. «Мери! Мери!» — «Отстаньте!» — сердито говорит впросонках Мери и переворачивается на другой бок. «Надинь! Надинь!» Надинь быстро открыла глазки, мигом сообразила всю важность обстоятельства, проворно вскочила с постели, и давай все три: фу! фу! фф! Три девицы вскочили в суматохе с постели как есть и задувают свечку... Живописец! бери кисть и не ищи другого сюжета. С какой грацией напрягают они усилия; какая милая встревоженность в глазах; какая очаровательная суетливость в движениях! Что за позы! Две стоят рядом, одна опершись рукою на плечо другой, и дуют мерно, обе враз; третья — напротив их и дует торопливо, беспрестанно наклоняя головку. Что за прелесть! Не три ли это грации? Я уверен, что между ними невидимо присутствует Амур.

Наконец свечка затушена. Пепиньерки расходятся, браня подругу за тревогу. «Разбудила! — говорит с упреком Лиза, — а какой сон-то был!..» — «Ах, расскажи, душка, какой!» И они с час после того еще шепчутся. Потом утомленная проказница ложится. Отяжелевшая голова падает на подушку; глаза тотчас смыкаются;

раздается громкий вздох и за ним ровное, спокойное дыхание уснувшей мечтательницы.

Вот только какое обстоятельство могло оторвать пепиньерку от интересной книги, а то бы она читала до рассвета. После того неудивительно, что она завтра проспит часов до десяти, не явится на дежурство и получит выговор. Ничего не бывало. Наутро, в семь часов, инспектриса еще зевает, лениво потягивается в постели, пьет кофе, а пепиньерка, зашнурованная, одетая, причесанная, свеженькая и миленькая, как была накануне, подобно бабочке вспорхнула к ней в комнату, и целует ей руку, и поздравляет с добрым утром.

— Хорошо ли вы спали? — спрашивает инспектриса, — покойно ли?

— Ах, как хорошо, ангел: всю ночь ни разу не проснулась; вас раз пять видела во сне.

— Как же ты меня видела?

— То будто вы, ангел, целуете меня в лоб, то будто я играю вашими буклями. Так, ангел, мне было весело — чудо! Ах, душка! Ах, ангел! Всю бы жизнь всё видела такие сны!

И ангел берет ее слегка за ухо, приговаривая: «Повеса!»

Не знаю, как ангел, а я так крепко сомневаюсь, этот ли ангел целовал ее в лоб, его ли буклями играла пепиньерка во сне.

Иногда чтение в пепиньерской происходит во всеуслышание, когда книга дана на срок или когда она покажется особенно занимательна. Тогда одна читает, прочие слушают. «Ах, — восклицает m-lle Ла каждый раз в подобном случае, — нет в свете ни одной книги лучше этой! никогда, никогда не читала я с таким удовольствием!» — «Ах, книга, ах, душка!» — говорит m-lle Ах, сверкая глазками от удовольствия. «Хорошо!» — флегматически прибавляет m-lle Цей.

Когда при мне заговорят о девушке, живущей в свете, в своей семье, или назовут ее имя, даже начнут хвалить красоту такой девушки, я еще сохраняю свое хладнокровие, подумаю, посмотрю и потом уже, ежели нужно, дам волю воображению или сердцу. Но едва произнесут слово «пепиньерки», я вдруг встрепенусь, и у меня как будто кольнет в левом боку. «Влюблен! — скажут мне, — вот и всё!» Может быть, может быть: я не говорю «нет»; не говорю, однако ж, и «да». Но мне кажется, так должно быть не со мной одним, а со всяким. Причина простая.

Когда при наступающем сумраке вы увидите на небосклоне одну звездочку, вы посмотрите на нее сначала так просто; потом вглядываетесь, судите, измеряете, лучезарна ли она, какими огнями сияет, и потом уже, судя по степени этих свойств, восхищаетесь ею. Но вспомните, если случилось вам спать под открытым небом, когда вы, вдруг проснувшись ночью, увидите над собой бездонную твердь, полную светил, которые, как влюбленные очи, жадно устремлены на вас и сыпят бриллиантовые лучи на ваше ложе, — вы мгновенно проникаетесь восторгом, поражаетесь электрически-дивной картиной и перебегаете взором от светила к светилу, не зная, где остановиться. Дадут ли вам одну розу: вы осмотрите ее внимательно, понемногу вдыхаете в себя аромат и потом уже заключаете, что она прекрасна. Но когда вас вдруг перенесут в пышный цветник, где розы, далии, лилии, маргаритки цветут на одной почве, живут одними и теми же лучами, прохлаждаются в одной тени, переплетаясь листьями, касаясь друг друга головками, и образуют одну роскошную, благоуханную семью, — вы остановитесь неподвижно, вас поразит эта масса красоты и аромата и вы вдруг отдадите ей весь ваш восторг. Точно так же действует на меня и масса девиц. Вот отчего одно слово «пепиньерки» производит на меня магическое действие.

Притом пепиньерка имеет прелестные особенности в своем характере. Она уже не воспитанница, но и не светская девушка, а среднее между ними. От воспитанницы она отличается тем, что выезжает изредка к родным и знакомым, видит не одни педагогические лица, не обожает, как та, а любит, только особенно, по-своему. Ум и сердце ее развились и готовы к принятию всех впечатлений жизни. От светской девушки она отличается тем, что выезжает реже и живет все-таки в затворничестве, подчиняясь непреложным уставам своего заведения. Это самое и сообщает особенности ее характеру. Она живее и пламеннее принимает впечатления, потому что они редки. Принося впечатление из города в пепиньерскую, она иногда, и по большей части, не имеет уже случая повторить, поверить или продолжить его и поневоле дополняет его воображением, тогда как светская девушка, пользуясь большою свободою, доводит это впечатление до желаемого конца, следовательно, она более и испытывает, потому что более слышит и видит, или советуется с какой-нибудь опытной подругой, слышавшей и видев-

шей еще более ее, или же пользуется оплошностью, обмолвкой маменьки, тетушки. А с кем посоветуется пепиньерка? с подругами? Но они так же неопытны. С классной дамой? с инспектрисой... Та-та-та-та! Боже сохрани! Есть впечатления, которые страшнее и романов и пахитосок и которые подлежат в таких местах вечному остракизму. Эти впечатления, попадая в пепиньерскую, уже более не выносятся, а там и умирают или выносятся только опять в то место, откуда взяты. «Поверить инспектрисе! — сказали бы мне пепиньерки, — каково это! вот еще что выдумали! Она, конечно, ангел, но...»

Поэтому пепиньерка находится иногда в затруднительном положении и не знает, что делать с своим впечатлением. Светская девушка как раз вывернется из запутанного казуса, потому что она живет вполне настоящим, пепиньерка большею частью будущим. Первая анализирует каждый представляющийся ей опыт, замечает его и таким образом мало-помалу составляет себе руководство, курс тактики для следующих опытов. О будущем она не думает: у ней так много забот в настоящем. Пепиньерка создает себе внутренний мир, подмешивая в него мелькающие перед ней образы, отрывочные чувства и скудные опыты, заимствованные из внешнего: оттого она более мечтательница. Но если она отстала от светской девушки в настоящем, то она опередила последнюю в отношении к будущему. Пепиньерка в затворничестве своем мысленно переживает до конца период юности, девичества, а кто ее знает, может быть, и замужства. Не думаю, чтоб она заглядывала в старость: что там делать? дрянь! Недаром сказано: жизнь под старость такая гадость! Да и как ей, даже мысленно, сделаться старухой? Представить себя, например, беззубой, седой... когда у ней волосы и зубы... ах, зубы, зубы! какие зубы помню я! Боже мой!

И нынче иногда во сне
Они кусают сердце мне!

Кроме этих особенностей жизнь в массе кладет также на пепиньерку свою неизгладимую печать. Она не действует одним своим умом; она не самостоятельна в мнениях, даже в чувствах. Всё это невольно, более или менее, подчиняется влиянию того тесного кружка, в котором она живет. У ней всё общее с подругами: мысли, чувства и дела, как стол, комната и запрещенные книги; даже тайна подлежит тому же разделу — тайна, эта

невидимая, неслышимая гостья, зарываемая другими так бережно на дне души, вылетает у пепиньерки, как ручная птичка, которая, покинув отворенную настесь клетку, попорхает по кустам и потом летит назад. Так и тайна пепиньерки, вылетая беспрестанно и облетев всех подруг, возвращается опять в вечно отворенную клетку — сердце своей хозяйки.

Но прежде нежели скажу о тайнах и о предмете тайн, я по необходимости должен упомянуть о некоторых лицах, играющих большую роль в жизни пепиньерки, — именно о тех лицах, которых она чаще и постояннее видит у своих родных, знакомых или у кого-нибудь из начальниц. Я разумею лиц мужского пола. Лица женского, или прекрасного, пола так пригляделись ей у себя в заведении, что последний ей кажется вовсе не прекрасным. Назову эти мужские лица хоть *блаженными*, потому что они в самом деле блаженствуют, имея возможность видеть по временам эти цветки, укрытые от непосвященного взора в крепких, плотнокаменных теплицах с покрашенными окнами.

Блаженный — это пробный камень, на котором пепиньерка впервые испытывает свой ум, сердце, знание людей и света и приобретает через него доступную при своем образе жизни опытность. Между ею и блаженным происходит первый обмен мыслей и... и чувств, как с посторонним лицом. От него она заимствует иной взгляд на свет, людей, на вещи, узнает цену самой себе. Наконец, она его первого любит. Что делать! надо сказать правду. И начальству тут нечего сердиться: от этого не уберегут ни крепкие стены, ни завешенные окна, ни легионы классных дам.

Если у кого-нибудь из начальниц назначен приемный день, положим пятница, то и все блаженные, посещающие в этот день заведение, называются собирательным именем *Пятницы*. Этот день, разумеется, ожидается с нетерпением, со страхом и надеждою: придет или не придет тот или другой из блаженных. Тогда корсет теснее сжимает талию; тщательнее убирается голова, тогда белее пелеринка и рукав, да и самые ручки тоже, и на них уж не увидишь чернильного пятна.

Накануне пятницы чтения нет; место его заступает продолжительный разговор, потом шепот. Встают ранее обыкновенного. «Сегодня пятница!» — скажет первая, проснувшись поутру. Эти слова, как электрическая искра,

пробегут по постелям. Вдруг почти все глаза открываются разом, головы отделяются от подушек. «Пятница! пятница! — начинают восклицать в пепиньерской. — Ах, душка — пятница!» И пепиньерская обращается в перюкмахерскую. Начинают чесать друг друга, тщательно вопрошать зеркала и советоваться между собою. Пелеринки, рукава, даже, может быть, чулки и проч., надевается всё чистое или, по крайней мере, выглаженное вновь. Мыла, воды и помады потребляется огромное количество. Как несносно кажется тогда дежурство пепиньерке! Как она сердится на девиц, шиплет, толкает их. Зато как ласкова к инспектрисе, у которой назначен вечер. «Душка! ангел! Ах, какой ангел!» — говорит она, встречая ее в коридоре и целуя у ней с неистовством руку.

Приходит и вечер. Окна у инспектрисы уж освещены. Ухо пепиньерки постоянно дежурит у дверей комнаты, мимо которой проходят гости. Вот-вот шаги... ах нет: это не торопливые шаги блаженного; это какая-то тяжелая, ровная походка. Может ли блаженный ходить тяжело и ровно? Он всегда крадется или бежит, как будто за ним гонится стая волков. Его сейчас узнаешь, да он и сам даст знать о себе: либо постучит в дверь тростью, носимую нарочно для этого употребления; либо зашаркает, либо кашлянет, проходя мимо, говоря тем: «Вот, дескать, я пришел!» Кто ж это? Уж не новый ли блаженный? Дверь потихоньку отворяется, и из щели смотрят несколько сверкающих глаз. — Э! да это старичок, что всё в карты играет: он не блаженный! впрочем, милый старичок! — И всё успокоивается. Но вот что-то брякнуло. «Mesdames, mesdames!» — восклицает пепиньерка. Всё внемлет. Да! так и есть! Это отделение Пятницы! Вот звук сабли, шпор и еще какой-то звук, как будто хлестанье ташки по ногам. — Блаженный, блаженный! Но что это он! Ах! Ах! Дверь захлопывается, все отскакивают: он подходит на цыпочках к двери, целует дощечку с надписью «Пепиньерки» и идет далее. Вскоре слышатся ускоренные шаги нескольких человек. Вдруг стук-стук кто-то в дверь. Пришли, пришли! Вся Пятница тут! Через десять минут является горничная от инспектрисы и зовет пепиньерок.

Блаженные в свою очередь еще с большим нетерпением ожидают появления пепиньерок. Они уже приветствовали инспектрису, наговорили ей и почетным ее гостям тьму любезностей; но и для них наступило ожидание. Один смотрит на все часы. Другой сел в уединен-

ном углу и поставил шляпу на пустой, стоящий напротив его, стул, чтобы его не занял кто-нибудь. Это место не вакантное: оно ждет кого-то. Третий спрашивает инспектрису: «А что ваших малюток не видать? уж здоровы ли они? Или, может быть, того... классы еще не кончились?» Но хитрая маменька проникает лукавый вопрос и, как любезная хозяйка, спешит послать, только не за детьми. Четвертый всё шутит с нянюшкой, которая стоит у самого входа. Вот — слышно что-то необъяснимое. Походка не походка, шорох не шорох, а так, приближение толпы сильфид. Это приближение не слышится, а чувствуется блаженными, и только одними блаженными. Пепиньерка никогда не войдет одна, а целым корпусом. Войти — это для нее важное дело. Она долго стоит в нерешительности перед дверьми и шепчется, смеется с подругами. Иногда вдруг толпа появится в дверях и вмиг опять со смехом исчезнет, или, как говорят, брызнет, в коридор.

Наконец она решится, примет сколько можно серьезную мину и войдет. А на лице у самой написано: я знаю, что вы здесь! я вас видела, слышала, как вы шли. Но она не останавливается с блаженным, а, слегка ответив на его поклон, идет прямо к инспектрисе и целует у ней руки, плеча, как будто блаженный для нее — так, ничего, пустое. «Не мешайте, не мешайте, — говорит инспектриса, — подите и будьте любезны с гостями».

Тогда-то настает для пепиньерки вечер, ожидаемый целую неделю. Надо сказать то, узнать это: ах, удастся ли, успеется ли? будет ли догадлив блаженный? Но блаженный сверх множества разных других добродетелей обладает еще одним необходимым достоинством: он более или менее плут. Вот он и пепиньерка идут от чайного стола прочь, и идут, кажется, в разные стороны, а посмотришь, через минуту — уж сидят или стоят вместе под сенью плюща или дикого винограда. Шляпа уж под стулом, а на стуле сидит пепиньерка. Они молчат несколько минут или говорят пустяки. «Что это у вас как поздно кончилось сегодня дежурство? — говорит он громко, а тихо прибавляет: — Я был здесь третьего дня и думал найти вас: вы, кажется, хотели прийти?» — «Нынче у нас танцкласс! — отвечает она громко же, а потом, глядя в сторону, тихонько говорит: — Меня позвала неожиданно начальница и продержала у себя два часа». Тут кто-нибудь проходит мимо. «Если б вы знали, — говорит, возвышая голос, блаженный, — что за

ужасная погода теперь...» А тихо: «Я целую неделю только и жил, и дышал этим днем». — «Неправда! — говорит она, — вам и так весело: вчера вы были у N. N.». — «Что у N. N.! — отвечает он, — когда там нет...» — и останавливается; а она потупляет глаза, зная очень хорошо, что следует далее. «Будете вы завтра у P. P.?» — «Не знаю; если возьмут». — «Ах! будьте! Что же за праздник, если...» Тут подходит другой. Какая досада! Блаженный бесится, пепиньерка щиплет рукав и смотрит вниз. «Слышали вы нового певца? — говорит подошедший, положив руки на колени блаженному. — Как он чудесно поет вот эту арию», — и начинает: Тра-ла-ла... — «О, чтоб тебя черт взял и с певцом-то!» — думает блаженный. «Да вы лучше сядьте к фортепиано, — отвечает он, — да спойте порядком». Докучливый посетитель потолчется, потолчется возле них и — нечего делать — отойдет и сядет к фортепиано. «Будьте на празднике: без вас что за праздник?» У пепиньерки застучало сердце. «Как что за праздник? — спрашивает она, желая выведать поболее. — Там много будет без меня!» — «Без вас!.. Что мне много! — отвечает блаженный с пылающими взорами. — *На небе много звезд прелестных...*» — «Что вы там делаете в углу? — кричит вдруг хозяйка, не покровительствующая этим уголком, — вам скучно: подите сюда к нам!» — «Скучно!.. — ворчит блаженный, — ведь выдумает же что сказать!..» Но делать нечего: надо идти. Впрочем, главное сказано, или, точнее, в сотый раз повторено. И блаженный счастлив, что сказал две или три глупости, пепиньерка торжествует, что выслушала их. «Он любит! — думает она вне себя от радости, — любит! о да! и я, кажется, люблю... да! да — люблю! ах, душка! ах, милый! Annette! Annette! Он любит, и я люблю!»

На другой день в пепиньерской встают уже медленнее. Что нынче? суббота! ах, противная суббота! целая неделя до пятницы!

Пепиньерка любит! *Hony soit qui mal y pense!*¹ Она так чисто, так младенчески, так недолго и непрочно любит, что любовь ее — игрушка! Светская женщина, услышав про такую любовь, презрительно пожала бы плечами и сделала бы *petite moue*.² «Так ли *делают любовь в свете?*» — подумала бы она. А тут и сам блаженный

¹ Пусть будет стыдно тому, кто об этом дурно подумает (фр.)

² гримаску, маленькую ужимку (фр.)

своим характером не позволяет этой любви принять серьезного оборота. Он долгом считает перевлюбиться во всех пепиньерок, и пепиньерка из этого негорького опыта отчасти узнает мужчину и тут же учится быть женщиной, не платя за эту мудреную науку ни страхом, ни слезами, как бывает в свете, ни угрызениями совести, не жертвуя своею скромностию.

Описывая любовь других женщин, в другом месте, нужно бы было по необходимости описать прямое, открытое объяснение, язык страсти, может быть, поцелуй... А здесь... дар описывать сцены любви был бы дар напрасный. Объяснение! поцелуй! в этом заветном убежище, где обитательницы укрыты непроницаемым щитом даже от дуновения ветерка, от сырости тумана! Да там при одном слове «объяснение» побледнеют, кажется, самые стены; при звуке непривилегированного поцелуя потрясутся своды, а слово «люблю», как страшное заклинание, колеблющее ад и вызывающее духов, вызовет целый сонм смущенных начальниц, которые испуганной вереницей принесутся из всех углов, коридоров обширной обители, с зловещим шумом налетят на преступную чету, произнесшую заповедное слово, и поразят ее проклятием. Сама пепиньерка, услышав это слово, умерла бы от ужаса, не дожив до следующей пятницы. Между тем в том же месте беспрестанно раздается слово «обожаю», — и своды не трясутся, стены не бледнеют, и начальство покойно.

Любовь пепиньерки есть то же, что у мальчиков игра в лошадки в подражание большим. Ведь девочки, нянча и баюкая куклу, играют же роль маменек, а этот шаг гораздо важнее и дальше всякого другого в жизни женщины, и такая игра еще более наводит на разные преждевременные соображения... между тем она всюду дозволена. Я не понимаю, почему же девушке не поиграть примерно в любовь? И как она играет? Шепчет, задумывается; остается в комнате одна, когда прочие на дежурстве; или ночью, когда они спят, она мечтает, мечтает... то улыбнется, то нахмурится. Что у нее в мечтах? Один Бог в небесах ведает да ее подушка. Есть мечты заветные, остающиеся тайнами и для подруг, даже для подруг. За мечты ручаться нельзя, но за всё прочее можно прозакладывать голову. Итак — *hony soit qui mal у pense!*

Пепиньерка умрет, но не выскажет своей любви. Как же узнается последняя? Ее высказывает взгляд неопытной девушки, невольное смущение — словом, неуменье об-

рашаться с сердечным бременем, и потом доверенность, сделанная подруге за взаимную откровенность. Но что же из этого выходит? У блаженного кроме предмета поклонения есть между пепиньерками нечто вроде друга, которому он поверяет всё или, лучше сказать, от которого всё искусно выведывает. И тайна подруги — переходит к нему.

Вот, например, пепиньерка, услышав от блаженного стих «На небе много звезд прекрасных», относит его, разумеется, к себе и в тот же вечер, ложась в постель, или на другой день поверяет это избранной подруге. «Катя, Катя!» или «Мери!» — говорит она и делает значительную мину. Та тотчас постигла в чем дело, и обе идут подальше от девиц, в глушь и дичь сада, где растут заветные яблоки, не доступные ни питомицам, ни пепиньеркам и обогащающие только трапезу эконома. «Тайна?» — спрашивает одна. «Тайна! — отвечает та, — только, ради Бога, никому на свете... это такая, такая тайна... ах, какая тайна!» — «Не скажу — никому на свете, ни за что, ни за что! хоть умру...» И шепчут. «Каково же! — восклицает слушательница. — Так и сказал?» — «Так и сказал! Не знаешь ли, душка, что дальше следует в книге...» И если не знают, то поставят на ноги всех братцев и кузней; книга добывается, и справка наводится. «Ты счастлива! — говорит подруга, — а я-то...» — и глазки туманятся слезой. «Что с тобой? скажи, душка! ах, скажи! хи-хи-хи!» — «Меня не любит!» — продолжает та. «Как! он тебе сказал?» — «Фи! разве мы говорим с ним об этом! какого же ты обо мне мнения?» — «Да как же ты узнала?» — «Мне сказал его друг. Он говорит, что этот блаженный — хороший человек, бог знает какой умный! да только, говорит, не верьте ему: он всё врет». — «Как врет?» — «Да так: он любить не может. Это в городе уже известно, и ему ни одна городская девица не верит: это мы только такие простенькие... суди, та сдèге, хи-хи-хи...» — «Каково это! — восклицает та, — бедненькая!»

Часто случается, что блаженный, желая уничтожить соперника, или выместить досаду, или выставить себя более в выгодном свете, или, наконец, для каких-нибудь других видов, роняет другого блаженного во мнении его предмета. Он взводит на него какую-нибудь небылицу или обнаруживает истину, которую тот скрывает. Это на языке блаженных называется *подгадить*. Блаженный,

которому подгажено, замечая перемену в предмете, часто не догадывается о причине. Тогда он принимает на себя вид отчаянного и так, ни с того ни с сего, при каждой встрече твердит пепиньерке:

Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись? и т. п.,

а когда догадается, то ударяет себя кулаком в лоб и говорит с досадой: «Кто бы это подгадил мне?» И не узнав кто, начинает сам подгаживать всякому сплошь да рядом.

Так оканчивается любовь — и, посмотришь, через недельку затевается новая и с той и с другой стороны. Я знал блаженных, которые так проворно любили, что, перелюбив всех раза по два, возвращались по порядку к первым любящим в третий раз. Впрочем, есть блаженные, отличающиеся своим постоянством: те равнодушно смотрят на перемены, *как дьяк, в приказах поседельй*, и не тревожатся, что предмет их перескакивает из сердца в сердце.

Между тем тайна пепиньерки отправляется далее. Подруга ее, через час после того, встречается с своею избранною подругою и шепчет: «Лиза, Лиза!» или «Annette, Annette!» — и делает известный знак. «Тайна?» — «Тайна! Только, ради Бога, никому на свете, никому, никому...» Тут опять следует известная формула клятвы, а потом и тайна. «Такая-то несчастлива!» — «В самом деле?» Шепот. «Каково это!» И так далее секрет переходит к третьей, пребывает, как ходячая монета, у всех в кармане, потом передается в сдачу, тоже при размене важной тайны, и блаженному. И вот через две недели ее знают все пепиньерки и блаженные.

Пепиньерка, чередуясь с другими, выезжает или с начальницами, или с родными в гости, летом за город. Те, которые остаются, провожают ее почти со слезами, повторяя: «Счастливая, счастливая!» Потом не смыкают глаз, ожидая ее хоть до утра. А та, приехав и несмотря на усталость, не забудет рассказать ни одного обстоятельства из виденного и слышанного. Слушательницы вскакивают с постелей, опять-таки в чем есть, собираются около приехавшей, и начинается — с одной стороны бесчисленные вопросы, с другой — безостановочный рассказ. «Счастливая! ах, счастливая!» — повторяют со вздохом затворницы.

Такова жизнь милой пленницы, пока наконец перед ней не падут затворы и тяжелая дверь не захлопнется за ней навсегда. Но долго, всю жизнь может быть, хранит она драгоценное воспоминание о неприступной обители. Пройдут годы — помчит ли ее великолепная карета с гербами мимо знакомых дверей, — она поспешно опустит стекло, высунется из окна и, забыв вооружиться лорнетом, прямо, просто, по-прежнему устремит глаза на завешенные окна. Бывшее зашевелится в ее памяти, и она с улыбкою скажет: «Там, в первый раз...»

— Что в первый раз? — вдруг спросит дремлющий подле муж.

— Это тайна пепиньрки! — ответит она и прошепчет со вздохом чье-то имя.

— Что, что? какой Иван Алекс.....

Но экипаж уже умчал ее, ветер унес вздох, стук колес заглушил последние слова.

Пойдет ли она скромно, пешком, под ношей горя, — остановится против угрю(мого зда)ния,¹ вспомнит Катю, Лизу, Надинь, бла(женных), тайны, улыбнется сквозь слезы и при(молвит): «Там я была счастливее!»

И плешивый, сгорбившийся блаж(енный), обрыскав свет, воротится к невским берегам. Проснувшись в одно утро, он скажет: «Сегодня пятница! пойти было...» И пойдет, и притащится кое-как, взглянет на колоннаду и задумается с улыбкой. «Хорошо бывало там, — прошепчет он, — помню, о, помню! каково-то теперь? Только кто ж бы это мне так подгадил тогда!» Кряхтя и охая, взойдет он на ступени. Ба! да тут другой швейцар! «Не знаешь ли ты, брат, у себя ли инспектриса Марья Николаевна?» — «Да она не инспектриса, а начальница!» — Ба! «А тут ли еще такие-то пепиньрки?» — с трепетом спросит он. Задумается швейцар. «Не знаю-с, позвольте справиться... Да их уж двадцать лет как нет в заведении!» — ответит он потом. Поникнет печально головою экс-блаженный, подобно тому монаху, который, прослушав неприметно тысячу лет пение райской птички, воротился домой и не узнал своего монастыря. «Бог знает, — скажет блаженный, — как примет меня новая начальница: она, бывши и инспектрисой, частенько, бывало, выгоняла вон!» — махнет рукой и побредет

¹ Здесь и далее копия повреждена; пропуски в тексте восполняются по смыслу.

прочь, прошептал: «Пепиньерки, пепиньерки! где-то они, мои голубушки!..»

.....

Жаль, что условия типа не позволяют мне начертать себе на память вещественного образа милого существа, называемого пепиньеркой. А сердце так и рвется, рука так и просится изобразить незабвенный лик. Не дерзнуть ли, презрев все условия и преграды? Нет! нет! это тайна блаженного; ее знают только пепиньерки, а прочим

Я не скажу, я не открою,
В чем тайна вечная моя!

.....

Что скажут, прочтя всё это, пепиньерки?

Что скажут блаженные? а?

Я знаю.

— Каково это! — скажут пепиньерки, — какого он об нас мнения! О противный!

— Подгадил! сильно подгадил! — примолвят блаженные.

〈УПРЕК. ОБЪЯСНЕНИЕ. ПРОЩАНИЕ〉

Упрек

Вы едете! Неужели это правда? Какая скука! какая тоска! А кругом всё весело; всё зеленеет, всё распускается; природа радуется черт знает чему, когда Вы едете. Ваш отъезд мне всё казался каким-то отдаленным, почти невозможным событием — я дремал в счастливом сомнении — и что же? Вы действительно, жестоко, бессовестно едете, покидая преданный Вам мир и отъезжая в другой, неведомый, окружась толпою милых спутников... Эгоизм, жестокосердие!

И что всего ужасней, Вы наложили на оставленных Вами сирот страшную обязанность — сказать, даже написать Вам *прости!* а сами уклонились от нее, потому что тяжело, грустно сказать это слово тем, кого любишь. Как бьется и трепещет сердце, когда готовится выдать это слово, как оно обливается кровью, с каким мучительным напряжением сбрасывает с себя это бремя, как бледнеют уста, произнося его! Ведь Вы понимаете, что этого слова нельзя сказать или написать: его надо, с позволения сказать, *родить*... так тяжело носить в голове думу о разлуке, с такою болью разрешается ею сердце: иногда даже роды бывают смертельны. Вы понимаете тяжесть этого, как я понимаю тяжесть родов, хотя не родил никогда, — понимаете — и все-таки требуете: верх жестокосердия и эгоизма!!!

Объяснение

«Тем, кого любишь...» — сказано выше... После осьмилетнего знакомства в первый раз мне пришел в голову вопрос: как я Вас люблю? Страстную, глубокою любовью? Нет! Я никогда не покушался вознестись до высот, мне недоступных. Сыновнею? Вам слишком далеко идти до лет моей матери: я слишком далеко ушел от лет Вашего сына. Братскою? Это сухо. Дружескою? Дружбы между мужчиной и женщиной существовать не может. Как же я Вас люблю? Ей-богу, не знаю. Любовь в мою душу незаметно вкралась, постепенно упрочилась: начало ее теряется в бесчисленных Ваших достоинствах, в беспредельной моей признательности к Вам. Когда-нибудь на досуге разберу, как я Вас люблю; а теперь ни Вам, ни

мне не до того: Ваш отъезд поглощает всё Ваше время; Ваш отъезд поглощает все мои мысли, только язык вслед за сердцем твердит: *люблю, люблю, люблю!*

Прощание

А Вы меня? Нет! страшно допытываться: ну, как... того...? И мне ли толкаться в Ваше сердце? Оно так занято, так полно. Оно, как светлый храм, сияет негаснущим огнем: там совершается вечное служение на алтаре любви и дружбы. Жрецы избраны, поклонников тьма с богатыми приношениями. Они предупредили меня, пришельца с бедной лептой. Толпа непроходимая и невыходимая: кто раз попал — не выходит! Из толпы слышится грозное: *куда лезешь!* Страшно!

Нет! говоря Вам *прости*, требую не любви и дружбы, а только немного *памяти и привычки*. Прощайте, но возвратитесь, возвратитесь скорее — и дайте мне занять в Вашем внимании такое место, какое занимает старая, давно прочтенная, ветхая книга, которая, может быть, немного наскучила, но за которую принимаются каждый вечер, *по привычке*, на сон грядущий, и, зевая, прочитывают несколько давно известных строк.

Э. Сю

АТАР-ГЮЛЬ

Отрывок из романа

Перевод с французского

КНИГА V

ГЛАВА ВТОРАЯ

Отравители¹

Там страдания, всегда новые, беспрестанно умножаясь, доводят до ожесточения человека, который видит смерть в столь различных образах. Здесь один стонет; там другой повержен в пыли; третий вращает померкшие взоры.

Байрон. «Дон Жуан», гл. VIII, ст. 13.

В этом блаженном мире, где всё прочно и постоянно, в этом океане счастья, не возмущаемого никакою горестию, — дитя! без ласк и слез материнских ты в небе сирота!

Виктор Гюго. «Ода XVI».

Наступила ночь; всё было безмолвно, кроме легкого шума пальмовых ветвей, колеблемых ночным зephyром, пронзительного писка ящериц и жалобного пения птиц.

Атар-Гюль с трудом карабкался по крупным скалам, составляющим основание Серной Горы, лежащей к северо-западу Ямайки.

¹ Еще в 1822 году существовала на всех Антильских островах, принадлежащих французам и англичанам, секта отравителей; этот род тайного судилища, состоявшего из беглых негров, сходил в назначенное время в неприступные убежища, известные только тамошним невольникам. Туда каждый черный приносил свои жалобы, объяснял причины своего мщения и, произнеся требуемую клятву, получал яд, в котором имел нужду, для отравления скота или белых людей. Последние отравители казнены в Гваделупе в 1823 году. Ужасные подробности, изложенные ниже, частью извлечены из судебных бумаг, разысканий и обвинительных актов, хранящихся в архивах острова Св. Петра (Мартиники). (*Примечание Э. Сю.*)

Он то хватался за лиану,¹ вившуюся по гранитным скалам, то с помощью заостренной железной палки, которою владел с особенною ловкостью, перепрыгивал с одного уступа скалы на другой, и вы побледнели бы, увидев, как он вдруг повис над бездонною пропастью.

Истощенный усталостию, он спускался по крутой тропинке оврага, ища опоры; вдруг видит прелестный колеблющийся кактус, испещренный красными и синими цветочками; запыхавшись, хватается за него... но вдруг с ужасом оставляет холодное и клейкое тело... то был длинный змей, резвившийся при лунном сиянии!

Тогда Атар-Гюль поспешно катится вниз и падает на скалу, но в падении своем встречает густой кустарник, который его останавливает; тут в десяти шагах под собою замечает тропинку, уступает силе, влекущей его, падает опять — и узнает дорогу, ведущую прямо к вершине горы. Наконец, после невероятных усилий, измученный, окровавленный, достигает оной.

В сем месте гора была покрыта пальмовыми, алоевыми и банановыми деревьями, к которым не прикасалось еще железо и которые разрослись так густо и плотно, что негр никогда не проникнул бы сквозь чашу деревьев, сросшихся и переплетшихся в разных направлениях, если бы не имел при себе ножа, которым чистил себе проход среди этого леса.

Когда он вдаль заметил красноватый свет, то улыбнулся странным образом, остановился, заткнул нож за пояс и приложил ухо...

Но ничто не прерывало безмолвия, кроме писка ящериц и жалобного пения птиц...

Атар-Гюль шел по протоптанной дорожке, шел долго, прислушиваясь со вниманием.

Скоро потом услышал он странное и торжественное пение, но еще слабое и отдаленное... Он удвоил шаги.

Пение становилось явственнее... Атар-Гюль приближался быстрее.

Вдруг пение прекратилось, и на минуту всё затихло... Потом послышался крик ребенка, сначала пронзительный, наконец судорожный и замирающий.

И странное торжественное пение более и более возвышалось — и Атар-Гюль всё стремился на багряный свет, обливавший пурпуром своим часть колоссальных

¹ Американское растение (*примечание Гончарова*).

деревьев, между тем как другие мрачными фигурами рисовались по пламенному зареву.

Наконец негр приблизился, дал о себе знать таинственным знаком, состоявшим в приложении обоих указательных пальцев ко рту, а мизинцев к глазам.

Потом сел на свое место, дожидаясь очереди, и смотрел в безмолвии.

Посреди большой лощины собралось множество негров; все они сидели поджав ноги, сложив руки накрест и пристально смотрели на троих черных, хлопотавших около медного котла, поставленного на пылающем огне.

Недалеко оттуда, в конце длинного тростника, лежала голова, еще свежая и окровавленная.

Она принадлежала сыну Хама, того самого негра, вместо коего любимцем колониста сделался Атар-Гюль, с того времени как потеря сына довела Хама до нерадения о своей должности.

Остатки маленького негра варились в котле.

Ибо кроме двух белых кур, пяти голов змеиных самцов, трех пальмовых червей, черного голубя и большого количества ядовитых растений для составления лютейшего яда надобно было достать тело дитяти пяти лет, ни больше ни меньше, пяти лет ровно...

И вот однажды отравители при солнечном сиянии захватили бедного малютку, который заблудился, гоняясь за прелестными голубыми попугайчиками по пустынным берегам Соленого Озера.

Трое черных, кончив свое дело, сняли котел с огня и поместились на обломках скалы.

Атар-Гюль приблизился...

— Чего ты хочешь, сын мой? — сказал один из троих негров, коего лицо почти совершенно скрывалось под седыми и курчавыми волосами.

— Смерти и разрушения поселениям Нельсонова залива, смерти скотам, гибели жатвам и жилищам.

— Но говорят, что колонист Виль любит своих черных... Подумай, мой сын! отравители справедливы в своем мщении...

— Поэтому-то, отец мой, — сказал Атар-Гюль, предвидевший правоту диких, — поэтому-то я и не требую смерти жителям. Господин точно добр; наши жилища спокойны и опрятны, мы пользуемся плодами садов наших, и детей не отторгают от матерей, пока они не достигнут двенадцатилетнего возраста. Сухая треска и

маниок раздаются в изобилии; всякое воскресенье он с удовольствием смотрит, как мы резвимся и пляшем на морском берегу или погружаемся в воду, чтоб получить награду, назначаемую господином искуснейшему пловцу. Что касается до бича управителя, — продолжал Атар-Гюль, улыбаясь по-своему, — то дети наши пасут им черепах на берегу, и двадцать человек из нас отказались от свободы, желая остаться у такого доброго господина.

— Чего же ты требуешь? — сказал старый негр с нетерпением.

— Вот чего, почтенный отец: владетель Виль богат; теперь, говорят, он хочет возвратиться в Европу; тогда какой-нибудь жестокий белый купит поселение и вплетет новые ремни в бич палача; итак, черные Нельсонова залива послали меня к тебе испросить гибель на его жатву и скотов, разорить его, чтоб он не оставлял острова... этот добрый господин.

В речах дикого заключалась логическая, правильная последовательность; Атар-Гюль искусно выдержал свою роль, ибо между самыми ожесточенными неприятелями белых мог вкрасься шпион, изменник. Найдя таким образом ужасное и верное мщение у отравителей своему господину, Атар-Гюль имел в виду еще средство, в случае измены, оправдаться перед ним; он мог найти отговорку в своей дикой, необузданной привязанности, сопряженной с самолюбием; но несмотря на то, он питал свою ненависть самыми странными средствами, ибо умолчал об умерщвлении своего отца: тут выполнялось мщение частное.

Старый негр испустил странный крик, который повторили вместе оба его товарища, — он вскричал:

— Добрых белых, добрых господ, очень мало; а наши братья, по отъезде колониста Виля, лишатся в нем доброго человека, которого место заступит человек жестокий; итак, мы согласны послать разрушение и смерть на жилища и скот его, дабы он не оставлял колоний; добрых немного, ими надобно дорожить!

Потом велел Атар-Гюлю стать на колени и сказал:

— Поклянись луною, нас освещающею, поклянись грудью твоей матери и очами твоего отца хранить молчание о том, что ты видел!

— Клянусь...

— Знаешь ли, что при малейшей нескромности ты падешь под ножом детей Волчьей Горы?

— Знаю.

— Даешь ли клятву быть участником в ненависти твоих братьев, даже против жены и детей, если бы нужно было отмстить вернее злumu и бесчеловечному колонисту?

— Даю.

— Итак, иди и сверши предприятие.

Тогда один из двоих негров, находившихся подле старика, принес несколько свертков ядовитых растений, имеющих действие быстрое и верное.

Негр опустил их в котел, тотчас вынул опять и отдал Атар-Гюлю, объясня их свойство...

Потом, обмакнув в котел тростинку, прикоснулся ею к его глазам, ко лбу и груди, сказав:

— В силу этого волшебства, действие твоего яда будет верно... Прощай, сын!.. Справедливость и твердость!.. Мы поможем тебе разорить доброго господина.

— Справедливость и твердость! — сказали в один голос негры.

В это время огонь испускал уже слабый и бледный свет; негры расстались, назначив свидание через семнадцать дней, а Атар-Гюль пошел к жилищу доброго Виля.

— Наконец мщение близко, — сказал черный, рыкая, подобно шакалу, — прежде я ввергну тебя в бедность; ты останешься здесь — здесь; я увижу, как по капле польются твои слезы, я увижу твою нищету; у тебя не будет черных, не будет скота, — твои жилища разрушатся пожарами; ты дойдешь до того, что у тебя не останется никого, кроме меня, меня одного, верного и преданного слуги... и тогда...

Здесь Атар-Гюль испустил ужасный крик адской радости...

И ослепительный блеск возвещал уже восход солнечный, когда негр подходил к дому колониста.

День накануне свадьбы

Изредка только поднимал он красную занавеску, дабы посмотреть, не украли ли его трупов.

Жюль Жанен. «Мертвый Осел».

Когда Атар-Гюль достиг последнего ската горы, солнце уже взошло, и скалы Серной Горы далеко отбрасывали длинные тени.

Едва он подошел к небольшому водоему, образовавшемуся из огромных обломков гранита, которые окружали маленький зеленый луг, пересекаемый ручьем, теряющимся в высокой траве, как услышал сильное шипение змея и остановился.

Глухой и стремительный шум заставил его поднять голову, он увидел секретариса,¹ который, описывая широкие круги над пресмыкающимся, спускался к нему мало-помалу...

Змей, чувствуя неравенство сил, пользовался всею свойственною ему хитростию и гибкостию, чтобы достичь своей норы.

Но птица, угадывая его намерение, вдруг спустилась, одним прыжком очутилась подле его убежища и тотчас остановила(сь), загородив ему дорогу огромным своим крылом, имеющим на конце костяную выпуклость, которая служила для нее вместе и наступательным и оборонительным оружием.

Тогда раздраженный змей выпрямился, яркая пестрота его кожи заблестала от солнца радужными цветами... голова раздулась от злости и налилась ядом, глаза наполнились кровью, он открыл грозную пасть, испуская ужасный свист...

Секретарис распустил крыло и приблизился сбоку неприятеля, который следил его глазами и поводил своим телом направо и налево, следуя за всеми движениями птицы.

При одном таком движении... змей вдруг изогнулся... хотел уязвить своего врага и обвиться около него...

¹ Род морского орла (*примечание Э. Сю*).

Но секретарис, подставив твердую часть своего крыла острым зубам пресмыкающегося, схватил его в когти и сильным ударом клюва рассек ему череп...

Змей быстро завертел хвостом... начал бить им землю... свивался... развивался... оцепенел... и издох.

Птица, завладев добычей, с бешенством начала терзать ей голову, как вдруг выстрел поразил саму ее... Атар-Гюль вздрогнул, обернулся и увидел над собой на скале Теодорика с ружьем в руках...

— Ну что, Атар-Гюль! — сказал молодой человек, слезая со скалы, — не правда ли, что метко!

— Метко, сударь, метко, да напрасно. Секретарисы избавляют нас от этих гнусных змей... вот посмотрите-ка на этого...

Черный показал мертвого змея, которого держал за хвост; он имел семь или восемь футов в длину и четыре дюйма в диаметре...

— Черт возьми!.. досадно... у нас их такая пропасть, и я бы дорого дал... чтобы не было ни одного во всем острове...

— Это правда, сударь... много скота умирает от них...

— Да, Атар-Гюль, конечно! Но кроме того, моя Дженни ужасно боится этих гадин, хотя, правда, менее, чем прежде, ибо тогда одно имя заставляло ее бледнеть как мертвую; бедное дитя!.. Ее отец, мать и я пробовали истребить в ней этот страх... раз сто клали мертвых змей, набитых соломой, там, где ей надобно было проходить... и теперь она боится менее...

— Это единственное средство, сударь, — сказал Атар-Гюль. — В наших краях мы точно так же приучаем детей и жен ничего не бояться; я думаю... Да вот еще случай... если б вы воспользовались им, — сказал Атар-Гюль, в глазах коего блеснуло странное выражение, исчезнувшее быстро, подобно мысли, — но надобно ему отрезать голову, хотя он и окошел... Предосторожность никогда не бывает излишнею...

— Добрый человек! — сказал Теодорик...

И он начал помогать черному отделять голову от туловища, чтобы невинная шутка была безвредна; наконец голова отпала.

— Хорошо, — бормотал про себя Атар-Гюль, — *это самка*...

— Пойдем же, — сказал Теодорик, — пойдем скорее, чтобы нас не заметили... неси змея, Атар-Гюль, и ступай за мною...

Жилище было очень близко. Теодорик шел вперед, а черный, держа змея за хвост, тащил его, опустив наземь, по лугу, отчего образовался легкий кровавый след, под тяжестью мертвого гада.

Они пришли...

Дом Вилья, как и все жилища колонистов, имел два этажа: верхний и нижний.

В нижнем находились комнаты господина и госпожи Виль и Дженни.

Двойные сторы и жалюзи защищали их от палящего жара тропического солнца.

Теодорик подошел на цыпочках и приподнял угол жалюзи, ибо сторы были вполотину открыты...

Дженни не было в своей комнате — она, вероятно, молилась с матерью...

Тогда он, подняв занавески, шагнул на окно и взял пресмыкающегося из рук Атар-Гюля, который для большей предосторожности хотел отшибить ему шею об доску, поддерживающую раму окна.

Потом, спрятав змея, которого яркие цветы от смерти уже померкли, под столик, опустил жалюзи и сторы на свое место и удалился.

Когда он оборотился к Атар-Гюлю, следовавшему за всеми его движениями с особенным вниманием... вдруг кто-то сильно схватил его за руку...

— А! я поймал вас, господин обольститель, — произнес сильный голос с громким хохотом... то был сам колонист...

— Тише, господин Виль, тише! — сказал Теодорик, — Дженни услышит...

— Что... господин влюбленный?

— Я теперь делаю то, что вы делали несколько раз, чтобы исцелить ее от этого несчастного страха...

— В самом деле... змей!.. О, славная шутка! Посмеемся ж мы... но ведь нет никакой опасности...

— Голова отрезана... и раздроблена в двух местах... господин Виль...

— Я совершенно спокоен, мой друг... Пойдем, спрячемся за дверь ее комнаты, подержим покрепче, и пусть она кричит... — сказал старик, стараясь идти как можно тише, чтобы добраться до галереи, в которую вела одна дверь из комнаты Дженни...

А другая вела к ее матери...

И, едва дыша, придерживая ручку замка, они весело перемигивались и дожидались...

Атар-Гюль, уходя, улыбался более обыкновенного.

У Дженни была прекрасная комнатка!

В ней во всем заметна была материнская нежность; любовь до обожания, внушаемая сею прекрасною и кроткою девицею отцу и матери, являлась всюду, даже в малейших безделицах: это жилище походило, можно сказать, на жилище *избалованного дитяти*.

По обыкновению, стены были без обоев, но штукатурка, покрывавшая их, была так чиста, гладка и блестяща, что легко было можно почесть ее за паросский мрамор...

В углублении стояла небольшая кровать из лимонного дерева, чистая, девственная, закрытая прозрачным занавесом, поддерживаемым четырьмя столбиками из шлифованной меди.

Далее, кругом всей комнаты, расставлены были ящики красного дерева, довольно глубокие, на бронзовых ножках, наполненные множеством тех прелестных камелий без запаха, которые без вреда можно держать около себя ночью...

Наконец, хорошенькие стульчики, сплетенные из драгоценной древесной коры, стояли на циновке из тончайшего тростника самых ярких и блестящих красок, испестривших ее, подобно цветнику.

Свет дневной едва проникал сквозь жалюзи, занавески и шелковые сторы... Но окно было полуотворено, по причине жара.

Повсюду разливался какой-то сладостный, благовоновый запах, дышащий девственностью; повсюду выражалась невинность, восхищающая душу.

Эта небольшая постель, белая, чистая, эти гладкие стены и пестреющиеся цветы, эта сладостная мрачность, эта безмолвная арфа, праздничные платья, всюду разбросанные, маленькое зеркальце, распятие, ленты и освященные пасхальные ветви — одним словом, все эти безделки, столь драгоценные для молодой девушки, — всё показывало жизнь счастливую, невинную, исполненную любви...

Дверь отворилась, и вошла Дженни.

Мать шла с нею, обвивши нежно руку около гибкой и прелестной талии своей дочери, которая склонила голову на грудь матери...

— Поди ляг опять, — сказала госпожа Виль, — мы помолились, теперь еще рано, у тебя глаза такие сонные... я уверена, что ты дурно спала...

Она посадила дочь на постель и села возле ней...

— Это правда, маменька, я мало спала... знаешь ли... счастье не дает уснуть... я его так люблю... он так ласков с тобою, с батюшкой... мой Теодорик, — сказала молодая девушка чистым, среброзвучным голосом, целуя седые волосы своей матери, и, улыбаясь, спутывала их с большими локонами своих белокурых волос.

— Перестань, Дженни, ты мне совсем растрепала голову...

— Послушай, маменька, отдай мне свои волосы, а себе возьми мои...

— О шалунья... вот я тебя... — сказала добрая мать, трепля тихонько по прелестным белым плечам Дженни.

— Да, маменька, тогда бы ты была молода... а я стара... и я умерла бы прежде тебя...

И обеими руками обняла она мать свою, которая отвернулась, чтобы скрыть слезы нежности, катившиеся из глаз ее...

— Ах, маменька... ты плачешь... Боже мой, Боже мой, не огорчила ли я тебя!..

И Дженни с умоляющими глазами, протянув руки, смотрела с тоскою на мать.

— Милое, милое дитя... — бормотала госпожа Виль, осыпая дочь теми материнскими поцелуями, на которые смотрят с такою завистью лишенные матерей!..

Успокоившись от волнения, госпожа Виль удалилась, приказав своей дочери уснуть еще немного...

— Я сплю, маменька, — отвечала она, прилегши на постель, и тотчас зажмурила свои прекрасные глазки; но коварная улыбка, показавшаяся на губах, обнаруживала обман.

Дверь за матерью затворилась...

Тогда Дженни открыла один любопытный глаз, потом другой, подняла свою миленькую головку... приподнялась сама... послушала... устремив большие глаза, как молодая лань в засаде... и, ничего не слыша... одним прыжком очутилась подле небольшого туалета.

Оттуда она достала ленты, цветы, газ... и, напевая вполголоса любимую песенку Теодорика, начала причесываться по его вкусу.

— Посмотрим, — сказала она, — мне надобно нынче принарядиться; а завтра... о, завтра!.. Какой восхитительный день... какое счастье... Однако сердце у меня сильно бьется, когда я об этом думаю, конечно не от страха...

нет... я не думаю... О мой Теодорик! пристало ли это ко мне, скажи?..

И она подошла так близко, так близко к маленькому зеркалу, чтобы посмотреть, пристали ли ей цветы и понравится ли газ ее возлюбленному, что ее чистое дыхание помрачило легким паром блестящую поверхность стекла...

Тогда, поведши белым нежным пальчиком по этой влаге, она в мечтании, с улыбкою начертала имя своего Теодорика...

Легкий шорох, послышавшийся у окна, заставил ее вздрогнуть... она быстро обернулась... в смущении бояся, чтоб не застали ее в тайных ее занятиях...

Но вдруг губы ее побледнели... она быстро протянула руки вперед... хотела встать... и не могла...

Снова упала она на стул в мучительном трепете...

Несчастливая увидела отвратительную голову ужасного змея, который пробирался сквозь жалюзи и занавески, отворотил сторы и вполз...

С минуту он скрывался в ящике с цветами, поставленными на окне.

Мгновенная засада ужасного пресмыкающегося, казалось, возвратила силы Дженни; она бросилась к двери, ведущей в галерею, прижалась, стараясь отворить ее и крича: «Помогите! маменька!.. помогите!.. змей!...»

Невозможно...

Отец, мать и ее возлюбленный держали дверь снаружи, и Дженни услышала веселый голос доброго Виля... он говорил ей:

— Да, кричи больше, кричи! это научит тебя (не) бояться... глупенькая... он тебя не съест... будь рассудительна... Боже мой! ты точно как ребенок!

— Заметь, Дженни, — сказала мать, — исцелившись от страха один раз, не будешь бояться никогда... Ну же, будь умна...

И даже Теодорик прибавил:

— Это я, моя Дженни, это я всё наделал; ты должна подарить меня за труды добрым поцелуем! Это для твоего же блага, ангел моей жизни...

Они думали, что Дженни кричит о мертвом змее, которого положили к ней, дабы *приучить* бедное дитя, как они говорили...

Дженни испустила отчаянный вопль и упала к порогу двери...

Змей выполз из ящика; хвост его был еще в цветах, но полуоткрытая пасть, испуская пену, зияла уже на Дженни...

Он приблизился... и, нашед свою самку мертвою... истерзанною... под маленьким столиком... испустил продолжительное глухое шипение.

Потом с невероятною быстротою обвился около ног, тела и плеч Дженни, упавшей в обморок...

Клейкая и холодная шея пресмыкающегося облегла грудь юной девицы.

И там, перегнувшись еще раз, он уязвил ее прямо в горло...

Несчастливая, пришедши в себя от жестокой раны, открыла глаза — и ей представилась пестрая, окровавленная голова змея... и глаза, сверкающие злобою...

— Маменька... о маменька!.. — кричала она слабым, умирающим голосом...

На сей смертельный, судорожный, хриплый, прерывающийся крик отвечал легкий хохот...

Тут показалась ужасная голова Атар-Гюля, который приподнял угол сторы, точно так же как змей.

Черный смеялся!!

Дженни не кричала более... она умерла.

.....
— Отворим... отворим теперь... слишком продолжительный страх может быть вреден... — сказал добрый Виль, уступая просьбам Теодорика и жены.

Он хотел отворить...

Но не мог... тело его дочери препятствовало... Он сильно толкнул дверь — и сердце его облилось кровью... Он бросился в комнату с женою и Теодориком — все в мучительном волнении...

Они нашли дочь свою... мертвою...

При входе их змей скрылся в окно.

.....

**ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ
И ВАРИАНТЫ**

Редакция Академического Полного собрания сочинений Гончарова придерживается следующих основных принципов подачи текстов отдельных редакций и вариантов (печатных и рукописных).

Рукописный текст, существенно отличающийся от основного текста, воспроизводится полностью в виде самостоятельной редакции с приведением под строкой предшествующих (реже последующих) вариантов. Полностью печатаются также планы, конспекты, программы и все другие подготовительные материалы, предшествующие написанию произведения или отдельных его частей, а также фрагменты чернового (а в некоторых случаях и первопечатного) текста, резко отличающиеся от окончательного.

Варианты к основному тексту печатаются вместе с теми отрывками, к которым относятся, причем слева на полях обозначаются номера страниц и строк основного текста. Если приводимый слева отрывок основного текста велик по объему, дается лишь его начало и конец, а опущенная часть заменяется тильдой: ~. Ряд последовательных рукописных вариантов обозначается — от самого раннего к позднему — буквами *а.*, *б.*, *в.* и т. д. В вариантах рукописей при последнем варианте, дающем окончательное чтение данного автографа, отличающееся от основного текста, ставится ромбик: ◊. В случаях совпадения последнего варианта с основным текстом указывается предпоследний вариант, а последний опускается. Промежуточный вариант, совпадающий с основным текстом, заменяется словами: *Как в тексте.*

Пометы типа «вписано», «вписано на полях», «вписано под строкой» и т. п. сведены к минимуму: отмечаются лишь значительные по объему вставки, преимущественно на полях, означающие, как правило, последний слой правки данного фрагмента текста черновой рукописи.

Варианты, извлеченные из разных источников текста, но совпадающие между собой, приводятся один раз с перечислением в конце (в скобках) всех источников текста, содержащих этот вариант. При этом в случае, если внутри значительного по объему варианта имеются мелкие разночтения, эти разночтения даются в угловых скобках следом за варьируемым словом с указанием здесь же источника разночтения.

Зачеркнутые в рукописи слова заключаются в прямые скобки.

Редакторские добавления недописанных слов заключаются в угловые скобки, так же как слова, восстановленные по догадке (конъектуры). В последнем случае это либо пропущенные автором слова, либо слова, чтение которых затруднено из-за повреждения рукописи. Недописанные части слов, не поддающиеся раскрытию, обозначаются: <...>.

При печатании рукописных материалов после слов, чтение которых сомнительно, ставится знак вопроса в угловых скобках: (?). Вместо неразобранных слов ставится помета <нрзб>; при этом указывается их число (например: <3 нрзб>).

В примечаниях в перечне рукописных и печатных источников текста к каждому произведению даются их сокращенные обозначения, используемые как в разделе «Другие редакции и варианты», так и в разделе «Примечания» в целом. Все прочие сокращения, применяемые в томе, раскрываются в Списке условных сокращений. Ссылки на данный том включают обозначение «наст. том» и указание на соответствующую страницу текста книги.

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

*Первопечатная редакция фрагмента
главы I части первой (С) **

(С. 179)

Бедная мать! Вот тебе и награда за твою любовь! Того ли ожидала ты? В том-то и дело, что матери не ожидают наград. Ожидает и требует возмездия та любовь, которая не дается даром, но которую, бог знает почему, называют бескорыстной.¹ А между тем ей отдайте всё, прославляйтесь или унижайтесь для нее, трудитесь или бездействуйте, расширьте крылья и летите орлиным полетом или свернитесь собачкой у ног красавицы, в случае надобности отдайте и жизнь.

Все эти бледные, задумчивые *избранницы*,² которые твердят о таинственной *симпатии душ*, о *предугаданной встрече* с милым и которые вдыхании ветерка и в шепоте струй слышат его голос, и те пламенные, черноокие³ *смуглянки*, которые, в порыве ревности, хватаются за кинжал, и те кроткие, вечно улыбающиеся красавицы, с томным взором и каштановыми волосами, — все они любят в своем предмете блеск славы, ума, изящества или, по крайней мере, денег. Перед ними надо сиять, возвышаться над толпой, делать чудеса, заставляя и красавицу гордиться вами, или, уж если этим ослепить нельзя, так надо ослепить подарками. Тогда и посыплются на вас мирты и очаруют вас ласки, слезы; тогда и настанут *прогулки при луне*, *бессвязные*, но *полные прелести разговоры* и все таинства любви! А нет этого, не сияете вы ничем, так и⁴ не прогневайтесь, вы не нужны, вам изменят, охладеют к вам... возьмут другого, который сияет.

Не изменяет и не охладевает только любовь матери: ее ни уменьшить, ни подкупить ничем нельзя. Век свой одна и та же. Мать любит без толку и без разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, переходит имя ваше из уст в уста, гремят ваши дела по свету, — голова старушки трясется от радости, она плачет и смеется и шепчет: «Это мой!» А там затеплит

* Текст С совпадает с изданиями 1848, 1858, 1862, 1868 за исключением случаев, оговоренных далее под строкой.

¹ *бескорыстной* (1848, 1858, 1862, 1868)

² *После: избранницы* — с голубыми глазами (1862, 1868)

³ *Слова: черноокие.* — нет. (1862)

⁴ *Союза: и* — нет. (1858, 1862)

лампадку перед образом Спасителя и молится долго и жарко. А сынок большею частью и не думает поделиться славой с родительницею. Нищи ли вы духом и умом, отметила ли вас природа клеймом безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце или тело, наконец, тяготеет ли над вами общее презрение, отталкивают ли¹ вас от себя люди и нет вам места между ними, — тем более места в сердце матери. Она сильнее прижимает к груди уродливое, неудавшееся чадо и молится еще долее и жарче.

Как назвать Александра бесчувственным за то, что он решился на разлуку? Ему было двадцать лет, а это — пора волнений, мечтательности, жажды нового и неизвестного.² В эту пору осторожные родители не дают детям ни вина, ни кофе, потому что у них-де и без того кипяток в крови. Как же тут усидеть на одном месте? Особенно надо представить себе в этой поре Александра Федорыча. Ему от пелен улыбалась жизнь. Мать³ лелеяла и баловала его, как балуют единственное чадо. Нянька всё пела ему над колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя. Профессоры твердили, что он пойдет далеко, а вслед за ферулой,⁴ по возвращении его домой, ему улыбнулась дочь соседки. И старый кот Васька был к нему как-то ласковее, нежели к кому-нибудь в доме.

О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху, как знают о какой-нибудь заразе, которая не обнаружилась, но глухо где-то таится в народе. От этого будущее представлялось ему в радужном свете. Его что-то манило вдаль, но что именно — он не знал. Там мелькали обольстительные призраки, но он не мог их разглядеть;⁵ слышались смешанные звуки — то голос славы, то любви. Всё это приводило его в сладкий трепет. Ему скоро тесен стал домашний мир. Природу, ласки матери, благоговение няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусные яства и мурлыканье Васьки — все эти блага, которые так дорого ценятся в зрелой поре, он весело менял на неизвестное, полное увлекательной и таинственной прелести. Даже любовь Софьи, первая, нежная и розовая любовь, не удерживала его. Что ему эта любовь? Он мечтал о колоссальной страсти, которая обурекает героев романов, не знает никаких преград⁶ и свершает громкие подвиги. Он любил Софью пока маленькою любовью, в ожидании большой. Мечтал он и о пользе, которую принесет отечеству. Он прилежно и многому учился. В аттестате его сказано было, что он знает двадцать две науки, три искусства и еще два-три предмета — ни науки, ни искусства, а так, бог знает что. Всего же более он мечтал о славе писателя. И стихи, и проза его удивляли товарищей. Перед ним расстилалось множество путей; и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только прямой путь: заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы.

Как же ему было остаться! Мать желала — это опять другое и очень естественное дело. В сердце ее отжили все чувства, кроме одного, любви к сыну, и оно жарко ухватилось за этот последний предмет. Не будь его, что же ей делать? Хоть умирать. Уж давно доказано, что женское сердце не живет без любви. Любовь мужчины — это что-то чрезвычайно сложное. Он любит и одну женщину и многих женщин вдруг, и почести,

¹ Частицы: ли — нет. (1858, 1862, 1868)

² Слов: а это — пора волнений ~ неизвестного. — нет. (1868)

³ Ему от пелен улыбалась жизнь. Мать (1858, 1862, 1868)

⁴ Слов: вслед за ферулой — нет. (1862, 1868)

⁵ разглядеть их (1858, 1862, 1868)

⁶ Вместо: которая обурекает ~ никаких преград — которая не знает никаких преград (1862, 1868)

и кло-де-вужо, и лошадей, и часто любит всё одинаково и вдруг, а иногда и вовсе может обойтись без любви. Женщина сосредоточивает чувство по большей части на одном предмете. Иногда она и меняет его, но все-таки на одного. Если некого любить, она выдумает себе и любовь и любовника. Выдуманный любовник называется *идеалом*, и она любит идеал. Если уж вовсе некого любить, женщина привяжется к цветку, к собачке, и всё любит до конца жизни, до последнего издыхания.

И сама природа оправдывала Александра. Она распорядилась так, что дети почти никогда не платят в возмездие родителям тою же любовью,¹ а ищут впереди себя другой, не кроткой и мирной, а с волнениями, страданиями и слезами.

Александр был избалован, но не испорчен домашнею жизнью. Природа так хорошо создала его, что любовь матери и поклонение окружающих подействовали только на добрые его стороны, развили, например, в нем преждевременно сердечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. Это же самое, может быть, расшевелило в нем и самолюбие, но ведь самолюбие само по себе есть² только форма: всё будет зависеть от материала, который вольешь в нее.

Гораздо более беды для него было в том, что мать его, при всей своей нежности, не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу с тем, что ожидало его и ожидает всякого впереди. Но для этого нужно было искусную руку, тонкий ум и запас большой опытности, не ограниченной тесным деревенским горизонтом. Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить от него каждую заботу и неприятность, не плакать и не страдать вместо его и в детстве, чтоб дать ему самому почувствовать приближение грозы,³ справиться с своими силами и подумать о своей судьбе — словом, узнать, что он мужчина. Где же было Анне Павловне понять всё это и особенно выполнить? Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть еще?

Она уже забыла сыновний эгоизм. Александр Федорыч застал ее за вторичным укладываньем белья и платья. В хлопотах и дорожных сборах она как будто совсем⁴ не помнила горя.

— Вот, Сашенька, заметь хорошенько, куда я что кладу, — говорила она. — В самый низ, на дно чемодана, простыни: дюжина. Посмотри-ка, так ли записано?

— Так, маменька.

— Все с твоими метками, видишь — «А. А.». А всё голубушка Сонюшка! Без нее наши дурищи нескоро бы поворотились. Теперь что? да, наволочки. Раз, два, три, четыре — так, вся дюжина тут. Вот рубашки — три дюжины. Что за полотно — загляденье. Это голландское; сама ездила на фабрику к Василью Васильичу; он выбрал что ни есть наилучших три куска. Поверяй же, милый, по реестру⁵ всякий раз, как будешь принимать от прачки; все новешенькие. Там немного таких рубашек увидишь; пожалуй, и подменяй; есть ведь эдакие мерзавки, что Бога не боятся! Носков двадцать две пары. Знаешь, что я придумала? положить в один носок твой бумажник с деньгами. Их тебе до Петербурга не понадобится: так, сохрани Боже, случай какой, чтоб и рыли, да не

¹ любовью (1862, 1868)

² Слова: есть — нет. (1858, 1862, 1868)

³ гроз (1868)

⁴ Слова: совсем — нет. (1868)

⁵ по реестру (1858, 1862, 1868)

нашли. И письма к дяде туда же положу: то-то, чай, обрадуется! ведь 17 лет и словом не перекинулись, шутка ли! Теперь манишки. Посмотри, как вымыты и выглажены. Ну где им там выгладить так? Вот косыночки, вот платки; еще полдюжины у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платков! славный полубатист! У Михеева брала по два с четвертью. Ну, белье всё. Теперь платье... да где Евсей? что он не смотрит... Евсей!

Евсей лениво вошел в комнату.

— Чего изволите? — спросил он еще ленивее.

— Чего изволите? — заговорила Адуева гневно. — Что не смотришь, как я укладываю? А там, как надо что достать в дороге, и пойдешь всё перерывать вверх дном. Не можешь отвязаться от своей возлюбленной — экое сокровище! День-то велик: успеешь! Ты эдак там и за баринном станешь ходить. Смотри у меня. Вот гляди: это хороший фрак; видишь, куда кладу? А ты, Сашенька, береги его: не всякий день таскай; сукно-то по 16 рублей брали. Куда в хорошие люди пойдешь, и надень; да не садись зря, как ни попало, вон как твоя тетка — словно нарочно — не сядет на пустой стул или диван, а так и норовит плюхнуться туда, где стоит шляпа или что-нибудь такое; наемдни на тарелку с вареньем села — такого сраму наделала! а еще ученая: всё книжки читает. Куда попроче в люди, вот этот фрак масака надевай. Теперь жилеты — раз, два, три, четыре. Двое брюк. Э! да платья-то года на три станет. Ух! устала! шутка ли: целое утро возилась! Поди, Евсей. Поговорим, Сашенька, о чем-нибудь другом. Ужо гости приедут, не до того будет.

Она села на диван и посадила его подле себя.

— Ну, Саша, — сказала она, помолчав немного, — ты теперь едешь на чужую сторону: Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты наглядишься, и хорошего и худого. Надеюсь, Он, Отец мой небесный, подкрепит тебя; а ты, мой друг, пуше всего не забывай Его, помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чем. Достигнешь там больших чинов, в знать войдешь... ведь мы не хуже других: отец был дворянин, майор... все-таки смиряйся перед¹ Господом Богом; молись и в счастья и в несчастья, а не по пословице: гром грянет, мужик не перекрестится. Иной, пока везет ему, и в церковь не заглянет, а как придет невмочь, и пойдет рублевые свечи ставить да нищих оделять: это большой грех. К слову пришлось об нищих. Не трать на них денег по-пустому, помногу не давай. На что баловать! их не удивишь. Они пропьют — да над тобой же насмеются. У тебя, я знаю, мягкая душа: ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нет, это не нужно; Бог подаст! Будешь ли ты посещать храм Божий? будешь ли ходить по воскресеньям к обеду?

Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь. А в деревне только из угождения к матери сопровождал ее к обеду. Ему совестно было солгать. Он молчал. Мать поняла его молчание.

— Ну, я тебя не неволю, — продолжала она, — ты человек молодой: где тебе быть так усердну к Божией церкви,² как нам, старикам? Еще, пожалуй, служба помешает или засидишься поздно в хороших людях и проспшишь. Бог пожалеет твоей молодости. Не тужи: у тебя есть мать. Она не проспит. Пока во мне останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы в глазах и Бог терпит грехам моим, я ползком дотащусь,

¹ пред (1862)

² к церкви Божией (1858, 1862, 1868)

если не хватит сил дойти, до церковного порога; последний вздох отдам, последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебе и здоровья, и чинов, и крестов, и небесных, и земных благ. Неужели-то Он, милосердный Отец, презрит молитвой бедной старухи? Мне самой ничего не надо. Отними он у меня всё — здоровье, жизнь, пошли слепоту, тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро...

Она не договорила. Слезы закапали у ней из глаз.

Александр вскочил с места.

— Маменька! — сказал он.¹

— Ну сядь, сядь, — отвечала она, наскоро утирая слезы, — мне еще много осталось поговорить. Что бишь я хотела сказать? из ума вон... вишь, нынче какая память у меня... да! блюда посты, мой друг: это великое дело! В среду и в пятницу² — Бог простит! А в Великий пост — Боже оборони! Вот Михайло Михайлыч и умным человеком считается, а что в нем? Что мясоед, что Страстная неделя — всё одно жрет! Даже волос дыбом становится, как послушаешь: слышь, и не загавливается и не разгавливается никогда; цыплята и в Великую субботу, цыплята и в Светлое воскресенье — ну что это такое?³ Он вон и бедным помогает, да будто его милостыня принята Господом? Слышь, подал раз старику красненькую, тот взял ее, а сам отвернулся да плюнул. Все кланяются ему и в глаза-то бог знает что наговорят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого.⁴

Она замолчала на минуту.

— Береги пуше всего здоровье, — начала потом опять.⁵ — Как заболешь — чего Боже оборони!⁶ — опасно, напиши... я соберу все силы и приеду. Кому там ходить за тобой? Норовят еще обобрать больного. Не ходи ночью по улицам; от людей зверского вида удаляйся. Есть такие злодеи, что ничего нет святого для них:⁷ они и эдакой драгоценности не пожалеют. Береги деньги, ох, береги на черный день! Трать с толком. От них, проклятых, всякое добро и всякое зло. Не мотай, не заводи лишних прихотей. Ты будешь аккуратно получать от меня две тысячи пятьсот рублей в год. Буду беречь твое добро пуше глазу,⁸ а там, как воротиться, женишься — сам как хочешь и распоряжайся. Две тысячи пятьсот рублей не шутка! Не заводи лишнего, ни роскоши⁹ никакой, ничего эдакого, но и не отказывай себе, в чем можно; захочется полакомиться — не скупись. Книг много не покупай — зачем? их у тебя и так куча: в век не перечитаешь. Ты и так учен — не всё же учиться, когда-нибудь надо и бросить. А то эдак долго ли уходить себя? Ты не учитель какой-нибудь! Я без тебя книги-то велю в чулан спрятать. Не предавайся вину: ох, вино!¹⁰ первый враг человека! Да еще... — тут она понизила голос,

¹ После: сказал он — никаких нерв не станет вынести... (1868)

² Вместо: в пятницу — пятницу (1862, 1868)

³ Слов: как послушаешь ~ ну что это такое? — нет. (1862)

⁴ После: словно шайтана какого. — Александр слушал ~ на дальнюю дорогу. (1868)

⁵ Слов: начала потом опять — нет. (1868)

⁶ чего Боже сохрани! (1868)

⁷ Вместо: что ничего нет святого для них — что для них ничего нет святого (1862, 1868)

⁸ глаза (1858, 1862, 1868)

⁹ Вместо: Не заводи лишнего, ни роскоши — Не заводи роскоши (1858, 1862, 1868)

¹⁰ Вместо: ох, вино! — вино! (1868)

берегись женщин! знаю я их! Есть такие бесстыдницы, что сами на шею будут вешаться, как увидят эдакого-то.

Она с любовью посмотрела на сына.

— На мужних жен не зарься, — продолжала она, — великий грех! «Не пожелай жены ближнего твоего», — сказано в Писании. Если же там какая-нибудь станет до свадьбы добираться — Боже сохрани! Не моги и подумать! Они готовы подцепить, как увидят, что с денешками да хорошенький.¹ Разве что у начальника твоего или у другого какого-нибудь знатного да богатого вельможи разгорятся на тебя зубы и он захочет выдать за тебя дочь — ну, тогда можно! только отпиши: я кое-как дотащусь, посмотрю, чтоб не подсунули так какой-нибудь,² лишь бы с рук сбыть: старую девку или дрянь; эдакого женишка всякому лестно подцепить.³ Ну а коли⁴ ты сам полюбишь да выдаться хорошая девушка — так того... — тут она еще тише заговорила, — Сонюшку-то можно и в сторону. — (Старушка из любви к сыну готова была покривить душой.) — Что в самом деле Марья Карповна замечтала! ты дочке ее не пара. Деревенская девка!⁵ на тебя и не такие польстятся.

— Софью! нет, маменька, я ее никогда не забуду! — сказал Александр.⁶

— Ну, ну, друг мой, успокойся: ведь я так только. Послужи, воротись сюда, и тогда что Бог даст, — невесты не уйдут! Коли не забудешь, так и того... Ну а...

Она что-то хотела сказать, но не решалась, потом наклонилась к его уху⁷ и тихо спросила:

— А будешь ли помнить... мать?

— Забыть вас! маменька! как могли вы подумать? Пусть Бог накажет меня...⁸

Анна Павловна побледнела.⁹

— Перестань, перестань, Саша! — закричала¹⁰ она торопливо, — что ты это накликаешь на свою голову! Нет, нет! что бы ни было, если случится эдакой грех, пусть я одна страдаю!¹¹ Ты молод, только что начинаешь жить, будут у тебя и друзья, женишься — молодая жена заменит тебе и мать, и всё...¹² Нет! пусть благословит¹³ тебя Бог, как я тебя благословляю.

Она поцеловала его в лоб и тем заключила свои наставления.

¹ *Текста:* — На мужних жен не зарься ~ да хорошенький. — *нет.* (1868)

² *какую-нибудь* (1862, 1868)

³ *залучить* (1848, 1858, 1862, 1868)

⁴ *Ну а если* (1868)

⁵ *Деревенская девочка!* (1868)

⁶ *После:* сказал Александр — вскидывая глаза к небу (1868)

⁷ *к уху его* (1858, 1862, 1868)

⁸ *Вместо:* — Забыть вас! ~ Пусть Бог накажет меня... — Забыть вас, маменька: какой вопрос! — Он горячо поцеловал руку матери. Лицо у ней просияло. (1868)

⁹ *Фразы:* Анна Павловна побледнела. — *нет.* (1868)

¹⁰ *заговорила* (1848, 1858, 1862)

¹¹ *Текста:* — Перестань, перестань, Саша! ~ страдаю! — *нет.* (1868)

¹² *После:* и всё... — Вот я к чему завела речь о себе. А впрочем, если и забудешь... меня... беда невелика, будь сам лишь счастлив. (1868)

¹³ *Вместо:* Нет! пусть благословит — и пусть благословит (1868)

— Да что это не едет никто? — сказала она, — ни Марья Карповна, ни Антон Иваныч, ни священник нейдет? уж, чай, обедня кончилась? Ах, вон кто-то и едет! кажется, Антон Иваныч... так и есть: легок на помине.

Кто не знает Антона Иваныча? Это Вечный жид. Он существовал всегда и всюду, с самых древнейших времен, и не переводился никогда. Он присутствовал и на греческих, и на римских пирах, ел, конечно, и упитанного тельца, закланного счастливым отцом по случаю возвращения блудного сына. У нас, на Руси, он бывает разнообразен. Тот, про которого говорю,¹ был таков: у него душ двадцать заложенных и перезаложенных; живет он почти в избе или в каком-то странном здании, похожем с виду на анбар, — ход где-то сзади, через бревна, подле самого плетня; но он лет *двадцать*² постоянно твердит, что с будущей весной приступит к стройке нового дома. Хозяйства он дома не держит. Нет человека из его знакомых, который бы у него отобедал, отужинал или выпил чашку чаю, но нет также человека, у которого бы он сам не делал этого по пятидесяти раз в год. Прежде Антон Иваныч ходил в широких шароварах и казакине, теперь ходит в будни в сюртуке и в панталонах, но без штрипок,³ — в праздники во фраке бог знает какого покроя, в белом жилете и галстухе, то есть по названию белом, а в самом деле грязном, — но без перчаток и в праздники и в будни.⁴ С вида⁵ он полный, потому что у него нет ни горя, ни забот, ни волнений, хотя он прикидывается, что весь век живет чужими горестями и заботами, но ведь известно, что чужие горести и заботы не сушат нас: это так заведено у людей.⁶ В сущности Антона Иваныча никому не нужно, но без него не совершается ни один обряд: ни свадьба, ни погребение.⁷ Он на всех званых обедах и вечерах, на всех домашних советах, — без него никто ни шагу. Подумают, может быть, что он очень полезен, что там исполнит какое-нибудь важное поручение, тут даст хороший совет, обработает дельце,⁸ — вовсе нет! Ему никто ничего подобного не поручает; он ничего не умеет, ничего не знает: ни в судах хлопотать, ни быть посредником, ни примирителем, — ровно ничего. Но зато ему поручают, например, завезти, мимоездом, поклон от такой-то к такому-то, и он непременно завезет и тут же кстати позавтракает, — уведомить такого-то, что известная-де бумага получена, а какая именно, этого ему не говорят, — передать туда-то кадочку с медом или горсточку семян, с наказом не разлить и не рассыпать,⁹ — напомнить, когда кто именинник.¹⁰ Еще Антона Иваныча употребляют в таких делах, которые считают неудобными поручить человеку. «Нельзя Петрушку послать, — говорят, — того и гляди, переверт. Нет, уж пусть лучше Антон Иваныч съездит!» Или: «Неловко послать человека: такой-то или такая-то обидится, а вот лучше Антона Иваныча отправить». — «Ты бы лучше

¹ говорится (1862, 1868)

² двадцать (1858, 1862, 1868)

³ *Вместо:* в сюртуке ~ но без штрипок — в пальто и панталонах (1862, 1868)

⁴ *Слов:* в белом жилете и галстухе ~ и в будни. — *нет.* (1862, 1868)

⁵ С виду (1848, 1858, 1862, 1868)

⁶ *Слов:* это так заведено у людей — *нет.* (1868)

⁷ ни похороны (1848, 1858, 1862, 1868)

⁸ дело (1862, 1868)

⁹ *Слов:* передать туда-то ~ и не рассыпать — *нет.* (1868)

¹⁰ *После:* именинник — и т. п. (1862, 1868)

написал», — скажет жена; но писать для многих еще у нас на Руси такой труд, что иному гораздо легче съездить за десять верст или послать человека с словесным запросом, чем написать несколько строк. «Вот, — скажет он, — поди отыскивай чернилицу!¹ а где она? чай, давно ребятишки забросили... Посылай за чернилами к дьякону или к приказчику да чини перо; еще и бумаги не найдешь в доме, а главное — сиди часа три и выдумывай слова. Бог знает, как и ставить их: иное можно поставить рядом и с тем и с этим, а где именно нужно, бог вест! Ведь это же самое дело² расскажешь на словах,³ как по маслу идет, а чуть обмакнул перо в чернила — и не то, и нейдет! или⁴ все слова вдруг суются, не знаешь, которое первое написать, — или ни одно нейдет, да и написать надо гораздо мудренее, нежели говоришь, а вот тут-то и надо уметь выдумывать слова! Нет! уж лучше пусть Антон Иваныч съездит: то ли дело, как живой человек расскажет?» И они правы, добрые люди: умей они выдумывать и расставлять слова, тогда Антон Иваныч хоть заживо в гроб ложись!

При обрядах он тоже не без дела. Например, кто подержит блюдо с кутьей или образ? Он. Кто подаст обручальные кольца? кто всегда в свите жениха? кто подскажет на крестинах куму и куме, что надо плюнуть и дунуть, и кто сам вместе с ними плюнет и дунет? кто объяснится со священником, заплатит ему деньги? Всё он! Как случится надобность в подобной услуге, уж несколько голосов и кричат: «Антон Иваныч! Антон Иваныч!» Антон Иваныч и бежит. У кого домашний совет — его зовут непременно, хотя он еще не дал никому ни одного совета. Другие советуются, спорят, а он молчит. Но все к нему обращаются, все берут его за пуговицу и говорят:

— Ну посудите вы сами, Антон Иваныч: Петр Иваныч говорит, что мне надо уступить...

— Так! — говорит Антон Иваныч.

— Скажите, ради Бога, за что же я уступлю?

— Да, да! — прибавляет Антон Иваныч, — в самом деле, за что уступить!

— Позвольте, позвольте, Василий Васильич! — говорит Петр Иваныч, — я вовсе не так сказал. Зачем вы все мои слова шиворот-навыворот? Вот, изволите видеть, Антон Иваныч, я не сказал — уступить, я сказал — помириться.

— Так! — говорит Антон Иваныч.

— От этого, говорю я, зависит весь ход дела: вы тут жертвуете пустяками, какими-нибудь тремястами рублями,⁵ — не так ли, Антон Иваныч?

— Да, да, разумеется, пустяками!

— Ну, видите ли; а сочтите-ка всё, что вам после будет стоить, как в спор пойдет; а еще, может быть, и решат в его пользу, хоть ваше дело и правое.

Тот задумывается, убеждается и наконец говорит:

— Быть так! Не правда ли, Антон Иваныч?

— Это так, совершенно так; я согласен! — говорит Антон Иваныч.

О! Антон Иваныч еще у нас нужен на Руси!

¹ чернильницу (1862, 1868)

² *Текста*: Бог знает ~ это же самое дело — нет. (1868)

³ *Вместо*: на словах — языком (1868)

⁴ *Слов*: и нейдет! или — нет. (1868)

⁵ рублей (1848, 1858)

— Благодарим, Антон Иванович, что помогли решить этот спор, — говорят противники. — Останьтесь-ка откушать с нами. Куда вы теперь поедете? К Фекле Михайловне не поспеете, а Михайло Петрович сегодня дома не обедает, — всё равно.¹

И он еще² никому не дал³ совета, ни одного спора не решил, даже не сказал при споре ни одного дельного слова. Да от него этого и не требуют; он очень удивил бы, если б сказал это слово, если б дал совет. Слова его и не послушали бы, совета не приняли бы. Им нужно только, чтоб он тут был, а спросите зачем? они скажут:

— Ну как зачем?..⁴ — и остановятся, а потом прибавят: — ум хорошо, а два лучше.

Как бы удивило всех, если б его вдруг не было где-нибудь на обеде или вечере.

— А где же Антон Иванович? — спросил бы всякий непременно с изумлением. — Что с ним? да почему его нет?

И обед не в обед. Тогда уж к нему даже кого-нибудь и отправят депутатом проведать, что с ним, не заболел ли, не уехал ли. И если он болен, то и родного не порадуют таким участием.

— И вчера вас не было, и третьего дня! на что это похоже? Неужели завтра и у Алексея Петровича не будете? — говорит ему.

— Нет! уж завтра как-нибудь перемогусь! — отвечает он и едет.

Умрет ли такой человек, он долго еще живет в памяти бестолковых.

— Вот покойный Антон Иванович, — говорят об нем,⁵ — любил жареных карасей, — когда подадут карасей.

— Эх, нет Антона Ивановича! то ли дело было при нем?

— Это еще при Антоне Ивановиче было; он еще тогда вот тут сидел!

И так вспоминают об нем⁶ непрерывно и долго, а часто забывают человека, который внутренне и незаметно жил своим присутствием весь круг, где был центром. Так ветреное дитя плачет о смерти собачонки и не чувствует минуты, когда само становится сиротой.⁷

Антон Иванович подошел к ручке⁸ Анны Павловны.

— Здравствуйте, матушка Анна Павловна! с обновкой честь имею вас поздравить.

— С какой это, Антон Иванович? — спросила Анна Павловна, осматривая себя с ног до головы.

— А мостик-то у ворот! видно, только что сколотили? что, слышу, не плышут доски под колесами? смотрю, ан новый!

Он, при встречах с знакомыми, всегда обыкновенно поздравляет их с чем-нибудь, или с постом, или с весной, или с осенью, если после оттепели мороз наступит, так с морозом, наступит после мороза⁹ оттепель, с оттепелью.

На этот раз ничего подобного не было, но он что-нибудь да выдумает.

— Вам кланяются Александра Васильевна, Матрена Михайловна, Петр Сергеич, — сказал он.

¹ *Текста:* Другие советуются ~ всё равно. — *нет.* (1862, 1868)

² *Вместо:* И он еще — Хотя он еще (1862, 1868)

³ *Вместо:* никому не дал — никому ни одного не дал (1862)

⁴ *После:* зачем? — всё же оно... (1868)

⁵ о нем (1848, 1858, 1862)

⁶ о нем (1848, 1858, 1862)

⁷ *Фразы:* Так ветреное дитя ~ становится сиротой. — *нет.* (1868)

⁸ к руке (1848, 1858, 1862, 1868)

⁹ после морозу (1848, 1858, 1862, 1868)

— Покорно благодарю, Антон Иваныч! детки здоровы ли у них?

— Слава Богу.

— Я к вам веду благословение Божие: за мной следом идет батюшка.

А слышали ли, сударыня? Наш-то Семен Архипыч!

— Что такое? — с испугом спросила Анна Павловна.

— Ведь приказал долго жить!

— Что вы! когда?

— Вчера утром. Мне к вечеру же дали знать: прискакал парнишко: я и отправился, да всю ночь не спал. Все в слезах: и утешать-то надо, и распорядиться; там у всех руки опустились: слезы да слезы, — я один.

— Господи, Господи Боже мой! — говорила Анна Павловна, качая головой, — жизнь-то наша! да как же это могло случиться? он еще на той неделе с вами же поклон прислал! а? ¹

— Да, матушка! ну да он давненько прихварывал, старик старый: диво, как до сих пор еще не свалился!

— Что за старый! он годом только постарше моего покойника. Ну! царство ему небесное! — сказала, крестясь, Анна Павловна. — Жаль бедной Федосьи Петровны: осталась с деточками на руках. Шутка ли! пятеро, и всё почти девочки! А когда похороны?

— Завтра.

— Видно, у всякого свое горе, Антон Иваныч; вот я так сына провожаю.

— Что делать, Анна Павловна? все мы человеки! «Терпи!» — сказано в Св(ященном) писании.

— Уж не погневайтесь, что потревожила вас — вместе размыкать горе: вы нас так любите, как родной.

— Эх, матушка Анна Павловна! да кого же мне и любить-то, как не вас? Много ли у нас таких, как вы? Вы цены себе не знаете. Хлопот полон рот: тут и своя стройка вертится на уме, вчера еще бился целое утро с подрядчиком, да всё как-то не сходимся... а как, думаю, не поехать?... что она там, думаю, одна-то, без меня станет делать? человек молодой: чай, голову растеряет.

— Дай Бог вам здоровья, Антон Иваныч, что не забываете нас! и подлинно сама не своя! такая пустота в голове, ничего не вижу! в горле совсем от слез перегорело. Прошу закусить: вы и устали, и, чай, проголодались.

— Покорно благодарю-с. Признаться, мимоходом пропустил маленькую у Петра Сергеича да перехватил кусочек. Ну да это не помешает. Батюшка подойдет: пусть благословит! Да вот он и на крыльце.

Пришел священник. Приехала и Марья Карповна с дочерью, полной и румяной девушкой, с улыбкой и заплаканными глазами. Глаза и всё выражение лица Софьи явно говорили: я буду любить просто, без затей, буду ходить за мужем, как нянька, слушаться его во всем и никогда даже не казаться умнее его, да и как можно быть умнее мужа? это грех! Стану прилежно заниматься хозяйством, шить; рожу ему полдюжины детей, буду их сама кормить, нянчить, одевать и обшивать. Полнота и свежесть ее щек² и образование груди подтверждали обещание насчет детей. Но слезы на глазах и грусть на лице³ придавали ей тогда высшую занимательность.⁴

¹ Слова: а? — нет. (1862, 1868)

² щек ее (1858, 1862)

³ Вместо: грусть на лице — грустная улыбка (1862, 1868)

⁴ Вместо: тогда высшую занимательность — в эту минуту не такой прозаический интерес (1862, 1868)

Прежде всего отслужили молебен, причем Антон Иваныч созвал дворню, зажег свечу и принял от священника книгу, когда тот перестал читать, и передал ее дьячку, а потом отлил в скляночку святой воды, спрятал в карман и сказал: «Это Агафье Никитишне».¹ Сели за стол. Кроме Антона Иваныча и священника, никто, по обыкновению, не дотронулся ни до чего, но зато Антон Иваныч сделал полную честь этому гомерическому завтраку. Анна Павловна всё плакала и украдкой утирала слезы.

— Полно вам, матушка Анна Павловна, слезы-то тратите! — сказал Антон Иваныч с притворной досадой, наполнив рюмку наливкой. — Что вы его, на убой, что ли, отправляете? — потом, выпив до половины рюмку, почавкал губами. — Что за наливка, какой аромат пошел! Эдакой, матушка, у нас и по губернии-то не найдешь! — сказал он с выражением большого удовольствия.

— Это тре...те...годич...ная! — проговорила, всхлипывая, Анна Павловна, — нынче для вас... только... откупила.

— Эх, Анна Павловна, и смотреть-то на вас тошно, — начал опять Антон Иваныч, — вот некому бить-то вас; бил бы да бил!

— Сами посудите, Антон Иваныч, один сын и тот с глаз долой! умру — некому и похоронить.

— А мы-то на что? что я вам чужой, что ли? Да куда еще торопитесь умирать? того гляди, замуж бы не вышли! вот бы поплясал на свадьбе! Да полноте плакать-то.

— Не могу, Антон Иваныч, право, не могу; не знаю сама, откуда слезы берутся.

— Эдакого молодца взаперти держать! дайте-ка ему волю, он расправит крылышки да вот каких чудес наделает: нахватает там чинов!

— Что вы, Антон Иваныч? — сказала Анна Павловна, улыбаясь.

— Ей-богу, нахватает: вот помяните мое слово! где у нас эдакие-то?

— Вашими бы устами да мед пить! Да что вы мало взяли пирожка? возьмите еще! — прибавила Анна Павловна.²

— Возьму-с: вот только этот кусок съем. У Никанора Михеича, что ли, сынок? — да это просто зверь! — попробуй-ка захватить, так непременно какую-нибудь пакость надо мною и сотворит: или ночью сапоги унесет, или платье выворотит, не то так пуговицы от сюртука³ отрежет; наемни котенка под подушку посадил! ведь эдакой сорванец! я думал, мышь, да ночью-то босиком выбежал на двор — сам ни жив ни мертв, — так и трясусь, а он хохочет. Я словно мученик какой-нибудь дался ему. Что он за хлеб за соль, что ли, так насмехается? так я не нуждаюсь: мне, слава Богу, везде двери отворены, ешь — не хочу. Да и добро бы разлитое море было, а то в доме, поверите ли, насилу пустых шей дожدهшься,⁴ а лошадь так некормленная и простоит.

Анна Павловна покачала головой.

— Да вас, Антон Иваныч, везде обеими руками примут, — сказала она.

¹ Никитичне (1862)

² *Слов:* прибавила Анна Павловна — нет. (1862, 1868)

³ у сюртука (1858, 1862)

⁴ *Вместо:* насилу пустых шей дожدهшься — ши да кашу и господа и люди едят (1868)

С. 172.

- 4 I/ Глава I (С, 1848, 1858)
 7 начиная с хозяйки / начиная с самой хозяйки (С)
 17 *После:* и толчком. — Впрочем, она была добрая барыня и многое спускала, но шуметь, когда спит Сашенька, не угодить ему, не исполнить скоро его желания — беда! (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
 18 в трое рук / в три руки (С, 1848, 1858)
 25 Когда мимо его проходил лакей / Он отошел от конуры на всю длину цепи, чтоб быть поближе к месту действия, и когда мимо его проходил лакей (С, 1848, 1858)
 26 спрашивал / так и спрашивал (С, 1848, 1858)

С. 173.

- 5 они подступили к горлу / они потоком подступили к горлу (С, 1848)
 7 по капельке / по капле (1868)*
 10 в Петербург, покидал / в Петербург. Как не горевать! Он покидал (С, 1848, 1858)
 10 в доме / в дому (С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
 19 О ней / Об ней (С)
 23 *После:* десять счастливых? — Завидная участь! (С, 1848, 1858)
 25—26 игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка / игра в дурачки, и кофе, и водочка, и наливочка (С); игра в дурачки, и кофе, и водка, и наливка (1848)
 32 *После:* перенесла выговор. — Хорошо, что барыне было не до чаю, а то бы дала она ей знать! (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
 33 чашки валились / чашки валилися (1868)
 37 *После:* в ее характере. — Бывают такие люди! (С, 1868); Бывают такие люди. (1858)
 37 никогда не была / никогда ничем не была (С)
 39 обнаруживался / обнаружился (С, 1848, 1858, 1862, 1883)

С. 174.

- 4—5 лениво, вздыхая и поднимаясь / лениво, полутонем ниже, поднимаясь (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
 18—19 — Прощайте, прощайте! — с громаднейшим вздохом сказал Евсей, — последний денек / — Порадуйте меня добрым словом, — сказал Евсей, — ведь последний денек (С, 1848, 1858)
 24 опять вздохнул / вздохнул (С, 1848, 1858)
 27—28 всё со вздохом / опять со вздохом (С, 1848, 1858)

С. 175.

- 4 обнаружилось в слезах / обнаружилось в общей форме — в слезах (С, 1848, 1858)
 11 узнает / узнаешь (1858)
 13—14 *Фразы:* Подле него и сидеть-то тошно — свинья свиной! — нет. (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
 38—39 из-за головы сахару / из-за головы сахара (С, 1848, 1858)
 41 рукой / рукою (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

* Здесь и далее в тех случаях, когда речь идет об издании 1868 г., текст 1887 и тексты С, 1848, 1858, 1862 совпадают (ср. описание правки для издания 1868 г. — наст. том, с. 687—689).

- C. 176.
³ одною рукою / одной рукой (C, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
^{9–10} грязное полотенце / что-то среднее между платком и полотенцем (C, 1848, 1858)
²⁸ с радостью / с радостию (C, 1848)
³¹ вытру / я вытру (C)
³² водой / водицей (C, 1848, 1858, 1862)
³⁷ После: — Всё равно, маменька. — Он стал завтракать, а (C, 1848, 1858, 1862, 1868)
- C. 177.
¹¹ Она в три приема / Она с быстротою молнии, в три приема (C, 1848)
³⁴ Э, мой друг! / Эй, мой друг (C, 1848, 1858)
⁴³ и жил бы / и-и! жил бы (1858)
- C. 178.
⁷ пахнуло / так и пахнуло (C, 1848, 1858)
¹⁰ цветы / цветники (C)
²⁰ поля наши / наши поля (C, 1848)
^{24–25} Дровец с своего участка / Дров одних (1868)
^{25–26} А дичи, дичи что! / А дичи, грибов, ягод сколько! (1868)
²⁶ всё это твое / это всё твое (C, 1848)
- C. 189.
⁹ Как мухи сладкую каплю, люди / Как мухи сладкую каплю, так люди (C, 1848, 1858, 1862); Люди, как мухи (1868)
¹² с провизией / с съестным (C); со съестным (1848, 1858, 1862, 1868)
¹⁴ лучше чемодан вдоль / лучше чемодан вниз (C, 1848, 1858, 1862)
¹⁴ сбоку поставить / и сбоку поставить (1858, 1862)
²⁹ дородный лакей / один (1868)
^{31–32} вишь, черти какие! / куда мне девать?
 — Чеши себе космы.
 — Зубоскалы проклятые: я отдам назад барыне... (1868)
⁴¹ Слова: лошади — нет. (1868)
⁴³ повелевал / сказал повелительно (C, 1848, 1858, 1862, 1868)
- C. 190.
¹⁴ После: — Откуда ты, как? — спросил Адуев. (C, 1848, 1858, 1862, 1868)
^{19–24} Текста: Навек, не правда ли? ~ и ты пиши! — нет. (C, 1848, 1858)
²³ наскакивая на Александра / тоже наскакивая на Александра (1868)
^{30–31} — Саша! ~ шептали они / Александр Федорыч!.. Софья Васильевна!.. — сказали они (C, 1848, 1858, 1862, 1868)
^{37–38} Слов: и с Поспеловым — нет. (C, 1848, 1858)
- C. 191.
⁴ в бусурманы / в басурманы (C)
⁴ а не то прокляню / не то отступлюсь от тебя, прокляню (C, 1848, 1858); прокляню (1868)
^{21–22} вся тоска ее / и вся тоска ее (1862)
²⁵ этакое / эдакое (C, 1848)
³⁷ После: — Нет, Аграфена Ивановна — нет, голубушка (C, 1848, 1858)
⁴³ — Проклятый! / — У! проклятый! (C, 1848, 1858)

44 капавшие слезы / ручьем текущие слезы (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

44 *После:* слезы. — Так он простился с нею. (С, 1848, 1858)

С. 192.

⁵ *Слов:* тотчас же — нет. (1868)

²⁶ он прижал / прижал (С)

^{30–31} неподвижна / недвижима (С)

⁴¹ Кланяйтесь / Кланяйтесь же, батюшка (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

С. 193.

^{8–9} Нет, что я вру? еще не в Неплюеве, а подъезжает / или близко, подъезжает (1868)

¹⁸ II / Глава II (С, 1848, 1858)

С. 193–194.

^{40–6} Он был высокий ~ и для других. / Он был из тех высоких, пропорционально сложенных мужчин, которые своим видом, походкой, прямизной талии, отчасти полнотой, как-то напоминают уже не Аполлона Бельведерского — это (этот (1868)) тип юношеской стройности, — а фигуру центавра — что-то массивное, но вместе стройное и легкое, то, что у нас называют *bel homme*. Черты лица его были крупны и правильны, но в них не выразалось ни добродушия, ни злости, ни великого ума и еще менее глупости, а какое-то холодное спокойствие, которое, впрочем, не пугало и не отталкивало никого; но (слова: но — нет. (1868)) что вы ему ни расскажите, что ни сделайте перед ним — сыграйте драму, водевиль, Моцартова «Дон Жуана» или спойте «Во саду ли, в огороде», скажите ему (текста: сыграйте драму ~ скажите ему — нет. (1868)) чрезвычайно умную вещь или великую глупость, — он всё одинако смотрит и слушает: не плачет, не хохочет (слов: не плачет, не хохочет — нет. (1868)). Напрасно старался иной остроумник заставить его захохотать — много-много, если удачная острота вызывала улыбку. Напрасно и приятель бежал сломя голову; чтоб прежде всех поразить его неожиданно и печальной новостью (новостью (1858, 1862, 1868)), — это никогда не удавалось: Петр Иванович выслушает эту новость так, как будто он уже слышал о ней прежде. Никогда ни хорошее, ни дурное впечатление не выводило его из себя. (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

С. 194.

^{8–9} *Фразы:* Иногда лишь видны были на нем следы усталости, — должно быть, от усиленных занятий. — нет. (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

^{9–10} *Фразы:* Он слыл за деятельного и делового человека. — нет. (1862, 1868)

³⁸ *После:* пожал плечами. — Ну? (1848, 1858, 1862, 1868)

С. 195.

^{4–5} *После:* без знаков препинания — с титлами. (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

¹³ а мы вас здесь / и мы вас здесь (1868)

^{35–36} от ошибки, истинно от ошибки в купчей / от ошибки в купчей (1868)

- 38 *После*: ко мне — служил, служил государю и отечеству, а добрым людям нечего и показать: аттестат изветшал, а патент в рамке и на стене красу делает, да и есть что почитать от скуки. (С, 1848, 1858)
- 39 *Слов*: есть дельце до вас крайней потребности — нет. (1868)
- С. 195—196.
- 42—9 золото, а не человек ~ скажите, что донос / его теснят губернатор и прокурор, якобы за взятки, а он мне кум, и мы с ним хлеб-соль водим. Вот его самого нудят подать просьбу об отставке. Побывайте, отец родной, у всех вельмож там, внушите им, что донос (1868)
- С. 196.
- 6 *Слов*: и ныне нудят подать просьбу об отставке — нет. (С, 1848, 1858)
- 10 губернаторского секретаря / губернского секретаря (1858)
- 33 та... а! помню... / та... Боже мой! я думал, что давно и на свете нет никого... (1868)
- 38 как / как еще (С, 1848, 1858)
- С. 197.
- 3 *После*: была тогда счастлива! — Господи! Господи! (С, 1848, 1858)
- 9 выташили / без спросу украли (С, 1848)
- 11 выташил / украл (С, 1848)
- 17—18 подумал Петр Иванович ~ цветы на уме? / вот отчего... Между ними еще есть блаженные, особенно в провинциях! — подумал Петр Иванович. — У этой желтые цветы на уме. (1868)
- 29 подумал / ворчал (1868)
- 33 домы / дома (С, 1848)
- С. 198.
- 5 английской / берлинской (1868)
- 20 плакала бы / и плакала бы (1858, 1868)
- 31 *Слова*: бисерную — нет. (1868)
- 41 вас / вас и (С, 1848, 1858, 1862, 1883)
- 42 Адуев / Наш центавр (С, 1848, 1858); он (1868)
- 42 *Слов*: Адуев опять покачал головой — нет. (1868)
- С. 199.
- 1 проворчал он / проворчал Адуев (1868)
- 5 радости / радости-то (С, 1848, 1858)
- 16 был нежненький / не в черном теле жил, я дала ему нежное воспитание (1868)
- 29 пустяки / пустячки (С)
- С. 200.
- 8—9 и не любит / не любит (С, 1848, 1858)
- 20 сделано и / сделано (С, 1848, 1858)
- 24 без наставлений / без руководства (1868)
- 26 *После*: отвечать перед совестью?.. — Он мысленно пробежал историю своего прошлого: вспомнил вытерпенную школу, в которой он перевоспитывался после деревни, все жесткие опыты: раны, нанесенные молодому самолюбию, обиды молодым чувствам, холодные прикосновения разных нужд, томительные заботы о платье, о сапогах, вспомнил кухмистерский стол, где питался, и плюнул тут же в песочницу кстати. Чего стоило ему пройти

всё это и устоять? Он устоял и вынес из тяжелой школы твердые, руководящие убеждения. Все ли таковы и устоит ли этот юноша? (1868)

С. 201.

² Слова: разве — нет. (1868)

⁶ мощной / крепкой (1868)

⁹ затем / для того (С, 1848)

¹⁹ Он / И он (С, 1848, 1858)

³⁰ я вижу / как я вижу (С)

³² Озадаченный Александр / Это озадачило Александра, и он (С, 1848, 1858)

^{41–42} После: сразили эти отзывы. — «Сердится, должно быть, что я не у него остановился!» — решил он про себя. (1868)

С. 202.

^{14–15} И он опять вскочил ~ доказать свою признательность. / Он опять потянулся было с губами к лицу дяди. (1868)

¹⁶ заговорил дядя / заговорил тот (1868)

¹⁷ преострые / превострые (С, 1848, 1858)

³³ Слов: а в другие дни — нет. (1868)

С. 203.

^{11–12} покажешь им комнату и поможешь там / покажешь ему комнату и поможешь им там (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

²⁵ увидел / увидал (С, 1848)

³⁹ хотя / чего бы (С, 1848)

⁴⁰ об этом заранее знать не следовало бы / заранее знать не следовало (С, 1848)

⁴² После: чепцы — и червонцы. (С, 1848, 1858)

С. 204.

³² взгляду / взору (С, 1848, 1858)

³⁹ чего не видел / чего не видал (С, 1848)

⁴¹ После: Какой отрядный вид! — какое разнообразие и простор! (1868)

^{43–44} Текста: для этого он взял да и выстроил голубятню на крыше — нет. (1868)

С. 205.

¹¹ Слов: опасаясь не за себя, а за карман — нет. (1868)

¹² дом / домик (С)

¹⁴ После: флигелями — на улицу, об одном окне каждый (С)

^{16–17} искушение мальчишек / искушение чад Евы — мальчишек (С, 1848)

^{20–21} близко без надобности никто не подходит / стоят особняком, заросли лопухом и крапивой, крыльцо обвалилось, карнизы осыпались (1868)

²² сказать / и сказать (С, 1848, 1858, 1862)

²⁸ После: никому не тесно — люди не ютятся, как муравьи, в тесные кучи (1868)

²⁸ свободно / вольно (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

³¹ И провинциал вздыхает / Злоба и уныние давят заезжего, он вздыхает (1868)

^{40–41} этих больших ~ рыбок / эти большие раки, да раковины, да красные рыбки (С)

⁴⁰ раковин / и раковины (1848, 1858)

43 *После*: быть олухами! — И при этом чудак покажет на свои бархатные штаны, или на диковинный жилет, или на цепочку топорной работы, на свои исполинские сапоги и скажет: «Что — дурно это? три года ношу, а посмотрите-ка, лучше, что ли, ваш немец сделает? я в этих сапогах и по лесу на медведя хожу, и в гостях». (С, 1848, 1858)

С. 206.

3 и люди не станут есть!..» / и люди не станут есть; у нас, как раскусишь грушу, — сок так и потечет по бороде, а купишь на двадцать копеек, так троим не съест! а икра, как посыплешь перечку да лучку, так я вам скажу! а калачи?..»

И так иногда долго дура-привычка держит под своей ферулой человека весьма порядочного. (С, 1848, 1858)

С. 205—206.

34—3 *Текста*: Ему противно сознаться ~ не станут есть!..» — нет. (1868)

4 войдет / взойдет (С, 1848, 1858)

7 *После*: где посадить — соображает, какую водку и закуску поставят на стол (1868)

10 хозяйина и хозяйку / хозяйку, хозяина (С)

13 песню / многия лета (С, 1848, 1858)

19—20 *Слов*: тут-то бы и пригласить — нет. (1868)

28 *Слов*: умрет за своего... — нет. (1862, 1868)

28—29 эх, грустно / грустно (1868)

41 Он мечтал о благородном труде / «Где ты, мой горячий друг Пospelов: мы поделились бы восторгам!» — шептал он, мечтая о благородном труде (1868)

С. 207.

6—7 — Я был в креслах ~ вот завтра / — Зачем вместе? — сказал Петр Иваныч, — завтра (1868)

6 на колени бы / на колени, что ли, бы (С)

16 синие панталоны / зеленые панталоны (С, 1848)

29 весь покраснев / покраснев (1868)

С. 208.

12 из рта сигару / изо рту сигарку (С); из роту сигару (1848)

19 — А что? / — А что-с? (С, 1848)

27—28 — О своем предмете.

— А! / — О своем предмете, об изящном...

— Это другое дело: и то можно бы иначе... (1868)

41 Александр / он (С, 1848, 1858)

42 обставлен / обстановлен (С, 1848, 1858)

43 *После*: недурны — сказал дядя. (С, 1848, 1858)

43 ты / как ты (С, 1848)

С. 209.

23 огромные / громадные (С)

44 — Что? / — Что, что? повтори-ка (С, 1848, 1858)

С. 210.

7 как там, у вас / как там, у нас (1868)

15—16 *После*: что-нибудь из тебя сделать. — Он помолчал немного. (1868)

16 снабжать тебя деньгами... Знаешь / снабжать тебя деньгами... начал опять: знаешь (1868)

- ²⁴ чтоб ты мог доставать деньги / доставать себе деньги (С); а ты пользуйся своими силами, и, между прочим, красноречием; запи-сывай да продавай. — Он засмеялся и встал с дивана (1868)

С. 211.

- ⁴ если / коли (С)
¹³ Препротивная добродетель! / выкинем же лишнее собакам. Хо-роша добродетель! (1868)
²¹ неужели / ужели (1868)
^{33–34} *Слов:* и то хорошо, что он не сел мне на шею. — *нет.* (1868)
³⁹ — Нет! куда! ничего не сделает. / — Нет! я боюсь за него. (1868)
⁴⁰ ах да ох! / ах да ах! (С)
^{40–42} не привыкнет он ~ напрасно приезжал / с этим недалеко уедет (1868)
⁴⁴ *Слов:* и образу мыслей — *нет.* (С, 1848, 1858)

С. 212.

- ² к Пospelову / в провинцию, к Пospelову (С, 1848, 1858)
^{5–6} созерцания явлений духовной природы человека / мирозозерца-ния (1868)
¹¹ второе Провиденье / второе Провиденье (С)
¹³ не расставаться / не расставаться с ним (С)
¹³ *После:* ни на минуту — делить, как говорит Пушкин, *трапезу, мысли и дела* (С, 1848, 1858)
¹⁸ Приехав / Приехавши (С, 1848)
²⁴ говоришь, и говоришь / говоришь, говоришь, и говоришь (С, 1848, 1858)
³² любви и проч. / любви, свободе (1868)
³⁶ болезни и проч. / и болезни (1868)
⁴² наслаждения / высокого наслаждения (С); патетического на-строения (1868)
⁴³ и в театре / и в театре, и за книгой (1868)

С. 213.

- ³ Петр Иванович / Раз утром Петр Иванович (С, 1848, 1858)
¹³ уж я видел / уж видел (1868)
²⁶ ты привез / привез (С)

С. 214.

- ¹⁹ эти знаки / эти «знаки» (1868)
²³ Какая поэзия / Я не понимаю, какая поэзия (С, 1848, 1858)
³⁰ Знаков / «Знаков» (1868)
³² прозябание / прозябение (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
³³ прозябать / быть, а не жить! и быть (С, 1848, 1858)
³⁷ *После:* волнения! — о!.. (С, 1848, 1858)

С. 215.

- ^{1–2} Нет: приятное развлечение ~ предаваться ему / Кто говорит! Очень приятное занятие, только не нужно предаваться ему больше, нежели другим (С, 1848, 1858)
³ *После:* за тебя. — Ты, кажется, ох!.. (С, 1848, 1858)
⁴ *Слов:* Дядя покачал головой. — *нет.* (1868)
⁸ Александр бросился / Он бросился (С)
²² увидел / увидал (С, 1848)
^{24–25} в испуге / побледнев (С, 1848, 1858)
²⁷ Извини, / И очень кстати: (1868)

- С. 216.
⁷ Слова: Извини — нет. (1868)
⁹ разума, то есть смысла / смысла (1858, 1868)
- С. 217.
⁸ и правда / правда (С)
- С. 218.
² с неба в грязь / с неба сюда в грязь (С, 1848, 1858)
³ После: для людей — для их обихода (1868)
¹⁷ советует мне / советует и мне (1862)
²⁰ как для / как и для (С, 1848)
^{22–23} живут сердцем / живут воображением (1868)
- С. 219.
¹⁴ облегчить / облегчить тебе (С, 1848, 1858)
³¹ — Не-уже-ли? / — Неужели (С); Неужели? (1848)
- С. 220.
²¹ и тетушка / тетушка (С, 1848)
^{43–44} Слова: сердца — нет. (С)
- С. 221.
⁴ желтые цветы / какие-нибудь желтые цветы (С, 1848, 1858)
¹⁵ их / это (С)
¹⁸ — А! / — А! проект! (С, 1848, 1858)
²² одному значительному лицу, любителю просвещения / попечителю (1868)
- С. 222.
²⁰ гримасничать / смеяться (1868)
- С. 223.
²³ После: Ватт — Жакото (С)
²⁴ Дант / и Дант (С)
³² как / как может (С)
^{38–39} о том, что считал общеизвестной истиной / общих мест (1868)
- С. 224.
¹¹ После: сказано — зачем же повторять? (С, 1848, 1858)
¹⁷ После: не выдывал. — Неверно. (1868)
- С. 225.
¹⁸ После: И затрепещет сладко грудь... и т. д. —
 Помянешь легкими мечтами
 Прошедшего забытый путь,
 Вдали пред светлыми очами
 Мелькнет надежд блестящий рой,
 И очарует нас собой
 Ряд чудных, сладостных видений,
 А в настоящем осенит
 Толпа веселых сновидений —
 И как всё ярко заблестит,
 И как тогда весь мир прекрасен,
 Как жизни путь и тих, и ясен! (1868)

- 19 *После*: сказал он, окончив. — Много болтовни, а ни образа, ни красок: общие места! (1868)
- 24 утешало / утешило (С)
- 25 *После*: почти без души — и не совсем доверял его критике. (1868)
- 28—29 *Слов*: и немного по-английски. — нет. (1868)
- 33 про что еще / об чем (С)
- С. 226.
- 1—2 покажешь / расскажешь (С, 1848, 1858)
- 7 *После*: порядке? — спросил он (С, 1848, 1858)
- 15 я сделаю / сделаю (С)
- 17 *После*: груди — как будто девушка, защищающая свою честь от соблазнителя. (С, 1848, 1858)
- 22 Петр Иванович / Петр Иванович (1868)
- С. 227.
- 6 рождается / рождает (1868)
- 10 и тогда еще / и там иногда (С)
- 16—17 в самых ли бумагах / в самих ли бумагах (С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
- 17 *После*: в головах этих людей?» — трудно решить. (С, 1848, 1858)
- 30 — Дайте / — Дайте-ка (С, 1848, 1858)
- 31 с подбострастием поднес / поднес (1868)
- 37 *После*: человек — служит отечеству (С, 1848, 1858)
- С. 228.
- 1 *После*: начальнику отделения — шепотом (1868)
- 7—8 Он писал, писал, писал без конца / Он писал, писал без конца (С, 1848, 1858, 1868)
- 8—9 удивлялся уже, что по утрам / удивился уже, что утром (1868)
- 9—10 вспоминал о своих проектах / вспомнил о проектах (1868)
- 21 тысяча / около 1000 (С)
- 32 *Слов*: Такая возвышенная душа — нет. (1868)
- 33 честное, благородное направление мыслей / чистое направление (С, 1848, 1858, 1862, 1883)
- 41 особенное / особое (С, 1848)
- С. 229.
- 2—3 *Слов*: что ты не до такой степени прост — нет. (1858)
- С. 230.
- 14—15 сдвинув / сморщив (С)
- 16 и каким образом. Я тоже / и как, и я тоже (С, 1848, 1858)
- 17 что я, за ее добро / что я, в память брата и за ее добро (1868)
- 22 III / Глава III (С, 1848, 1858)
- 29—30 *Слов*: и образовали физиономию, а физиономия обозначила характер — нет. (1868)
- 34 басовых нот / густых нот (1868)
- 38—40 говорит встречному и поперечному ~ расправа коротка!» / толкает встречного с дороги. (1868)
- 40 *После*: расправа коротка — на дуэль, или, по крайней мере, нашумим, настрашаем, — мы молодцы!!!» (С, 1848, 1858)
- 41—42 Нет, выражение той отваги ~ Она узнается по стремлению / Нет, выражение его отваги не отталкивало, а влекло к себе. Она скромна и узнается по стремлению (1868)

С. 230—231.

42—1 к успеху / к отличию (С, 1848, 1858)

С. 231.

1—2 *После*: препятствия... — Юношу, запечатленного такой отвагой, наш народ называет *ясным соколом*. (С, 1848, 1858)

14—15 он замечал, как исподтишка / исподтишка (С)

16 романтиком / энтузиастом (С, 1848, 1858)

19 *После*: в большую игру — не был музыкантом, даже не был речист, не брал городов на словах. (1868)

24 *После*: самолюбие его страдало. — Он в припадке тоски декламировал монолог из «Разбойников» Шиллера: «Люди, люди! порождение крокодилово» — или с печальной улыбкой припоминал любимый романс своей тетки:

Не знатен я, ни славен,
Кому меня любить?
Ни весел, ни забавен,
Кого могу прельстить?

И он грустил, а отчего, не мог и сам сказать. (С, 1848, 1858)

38 *Слова*: или — нет. (С)

41—42 гром музыки / гром мазурки (С)

С. 232.

3 взор / взгляд (1868)

5 взоры / глаза (1868)

21 не шутя привыкаешь / привыкаешь не шутя (С)

С. 233.

2—3 *После*: в девках просидят. — Обнаружся перед ним — вот идея! (С, 1848, 1858)

8 безрасчетным дураком / безрасчетным, дураком (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

23 *После*: то и человек... — а то... (С, 1848, 1858)

25 заметил / с злостью заметил (С, 1848, 1858)

35 кстати / ты меня очень обяжешь (С, 1848, 1858)

С. 234.

1 заметили / запомнили (С)

6—7 *После*: Да позволь... — Э! приятель, вот что!.. та-та-та!.. (С, 1848, 1858)

14 — Подай-ка / — Подай-ка, подай (С, 1848, 1858)

24 послужив / прослужив (1858)

29 *После*: прибавлял он. — «Судьба-то, подумаешь?» (С, 1848, 1858)

42 *После*: явилось — в печати (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

С. 235.

1 на службе / по службе (С)

9 *После*: задерживает статьи — а сам почти ничего не пишет. (С, 1848, 1858)

17—18 не видно / не видать (С, 1848, 1858)

19 занят был / всё занят был (С)

С. 236.

8 взором / взглядом (1868)

- 12 а он вон где / он вон где (С, 1848, 1858)
26 *После:* особенного? — кажется, такая, как и все. (С, 1848, 1858)
26 Чего ж тут замечать? / Чего замечать: (1868)
32 глубокая натура / глубокая и широкая натура (С, 1848, 1858)

С. 237.

- 11 Посмотри / Посмотри-ка (С, 1848, 1858)
12 ну может ли быть глупее физиономия / ну может ли быть глупее физиономии (1858, 1862, 1868)
27—28 от сотрясения / от трясения (С)

С. 238.

- 16 *После:* смотреть за мной? — Это, верно, мерзавец Евсей... Журналист пожаловался, а вы решаетесь играть роль, недостойную вас, не свойственную вашему характеру... (С, 1848, 1858)
38 и замолчал / и вдруг замолчал (С)

С. 239.

- 2 *После:* и покраснели. — Она, может быть, отвернулась в сторону... (С, 1848, 1858)
3 что вы / да как это вы (1868)
15 *После:* ей одной — всё существование (С)
15 А руками-то / А руками-то, руками (С, 1848, 1858)
21 всякий / разный (С)
29 Я тебе советовал бы / Я бы тебе советовал (С)

С. 240.

- 2 фигурировать / фигурировать (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
23 не сдержал / не таил (1868)
23—24 помешал мне... / набушевал, помешал мне... впрочем, ты бы никак не скрыл... (С, 1848, 1858)
29 Я это / Ведь я это (С, 1848, 1858)
30 *После:* моих советов. — И оператору неприятно видеть конвульсии больного, когда он режет его, но он спасает его, может быть, и я не бесполезен тебе: (С, 1848, 1858)

С. 241.

- 1 такой / такой же (С, 1848)
8 *После:* презренная! — Эх, Александр, не ожидал я от тебя этого! (С, 1848, 1858)
8 Ты уж / Да ты уж (С, 1848, 1858)
26 почему / почем (1868)
31 хороша любовь / что за любовь (С)

С. 242.

- 9—10 чернилицу / чернильницу (С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
17 *После:* жарко. — Зачем не подумавши говоришь? вот и сказал вздор. (С, 1848, 1858)
19 Вы / Вы, вы (С, 1848, 1858)
23 я забыл / я и забыл (1848, 1858)
38—39 и я близок к тому же счастью / и я, дядюшка, близок к такому же счастью (С, 1848, 1858, 1862); и я близок к такому же счастью (1868)
40 Что / Что, что? (С, 1848, 1858)
40—41 *После:* навострив уши — и сморщив брови (С, 1848, 1858)

C. 243.

- 12 В эти лета женятся только мужики / Кто женится в эти лета?
только крестьяне (С, 1848, 1858)
26 После: в одних деньгах. — Жить одному наскучит: (С, 1848, 1858)
27 жить / быть (С, 1848, 1858)

C. 244.

- 2 твоим желаниям / твоим мыслям, правилам и наклонностям
(1868)
9 — А ты / — А ты ведь (1848, 1858)
10 зачем? / зачем — я знаю. (С, 1848, 1858)
15 для денег / только для денег (С, 1848, 1858)
21 про всех вообще / про всех (С, 1848, 1858)
25 ее / его (С)
34 или / или еще (С, 1848, 1858, 1868)
40—41 И говорят / И говорит (С)
41 все сокровища / сокровища (С)

C. 245.

- 14 а разве / да разве (С, 1848)
18 Слова: размышлением — нет. (1868)
23—25 в глазах не угас еще блеск ~ не пропала свежесть / в глазах и на
щеках румянец и свежесть (С, 1848, 1858)
26—27 а принес / и принес (С, 1848)
28—29 когда права природы / ...права природы (С, 1848, 1858)
31 После: мы жили — в Аркадии (1868)
37 заметив / заметивши (С, 1848)
37—38 каски, наряды / белые султаны, парады (С, 1848, 1858); каски,
парады (1862, 1868, 1883)
40 Петр Иваныч / Тут Петр Иванович (С, 1848, 1858)

C. 246.

- 10 воскликнул / «У!!!» — дико воскликнул (С, 1848, 1858)
22 я думаю / мне кажется (С)
37 до тех пор / ну, до тех пор (С, 1848, 1858)

C. 247.

- 13 изменит / и изменит (С)
14—15 некого винить / некого и винить (С, 1848)
17—18 не замечают или не хотят сознаться / не хотят сознаться (С, 1848,
1858)
19 глупость / так, глупость (С, 1848, 1858)
22 Вечно! / Вечно! Что за вечно! (С, 1848, 1858)
23—30 Текста: Разбери-ка ~ не наглядятся? — нет. (1868)
24 что она не вечна / что не вечна (С)
35—36 А что это за дружба? ~ связывают общие интересы / А что это
за дружба: общие интересы (1868)
43—44 наладили: вечно, вечно / наладили: вечно, вечно, вечно (С)

C. 248.

- 2 надует вас / эдак... надует вас (С, 1848, 1858)
11 в вашей / в нашей (С, 1848)
31 Фразы: Помилуй, на что это похоже? — нет. (1868)

C. 249.

- 1 думать / думать и понимать (С)

- 7–10 *Текста*: тогда и терзаться не станешь ~ покоен человек. — *нет*. (1868)
- 18 Зачем / Зачем, зачем (С, 1848, 1858)
- 24 ни с ума не сойдешь / не сойдешь ни с ума (С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
- 35 делаешь / делать (С)
- С. 250.
- 4 не видывал / я не видывал (С, 1848, 1862)
- С. 251.
- 1 IV / Глава IV (С, 1848, 1858)
- 8 сердился / так сердился (С, 1848, 1858)
- 16 она / миленькое существо (С, 1848, 1858)
- 22 животворило поля / животворило своим сиянием поля (С, 1848, 1858)
- 38 к ресторатору / к ресторатёру (С, 1848, 1858); к ресторатеру (1868)
- С. 252.
- 4 не дождался / не дождался (С, 1848)
- 10 лицо / лицо его (С, 1848, 1858)
- 16 этого / этого небось (С, 1848, 1858)
- 17 *После*: не изобретут!» — И Адуев не шутя сердился, что еще не изобрели способа ходить пешком по воде. (С, 1848, 1858)
- 18 Гребцы / А гребцы (С, 1848, 1858)
- 20 *После*: в груди — как лесная птица в клетке (С, 1848, 1858)
- 25 — Живее! / — Живее, живее! (С, 1848, 1858)
- 26 Как они / Батюшки, как они (С, 1848, 1858)
- 35 — Полегче / — Полегше (1862)
- 36 промолвил / примолвил (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
- 40 Она нежно улыбалась издали / Как нежно улыбалась издали Надинька (С, 1848, 1858)
- С. 253.
- 20 подымутся / поднимутся (С, 1848)
- 20–21 сияние взоров / сияние глаз (1868)
- 21 из-за облаков / из-за облак (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
- 33 резкий / то резкий (С, 1848)
- 33–34 потом ребяческая выходка / то ребяческая выходка (С, 1848, 1858, 1862)
- С. 254.
- 3–4 *После*: на досаду. — Надинька точно будто опомнилась. (С, 1848, 1858)
- 13 губами / губками (С)
- 22 *После*: весело было. — Она надула губки и искоса поглядела на него. (С, 1848, 1858)
- 31 рукой / обеими руками (С)
- 39 у ресторатора / у ресторатёра (С, 1848, 1858); у ресторатера (1868)
- С. 255.
- 19 промолвив / примолвив (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
- 38 обеспокоим / беспокоим (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
- С. 256.
- 16 и не знала / не знала (С)

- С. 257.
 27—28 пью да думаю: «Что это значит / пью да думаю: «Ах, батюшки, что это значит (С, 1848, 1858)
 30 людишки / люди (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
 41 как мило описывает / что это, как он всё так мило описывает (С, 1848, 1858)
- С. 258.
 6 далее / далее (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
 12 Смотрите, смотрите! / Смотрите-ка, смотрите-ка! (С, 1848, 1858)
 27 промолвила мать / продолжала мать (С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
- С. 259.
 24 вообразите / и вообразите (С, 1848)
 32 овладела / овладели (С)
 37 сильнее / хуже (С)
- С. 260.
 7 и он уйдет / и уйдет (С)
 21 — И мне тоже... ах! / — И мне тоже... ох! (С, 1848, 1858)
 31 А там / А там опять (С)
- С. 261.
 2 *После:* по траве — и приводит всё в дивную гармонию (С, 1848, 1858)
 5 *После:* среди людей? — чем тогда трепещет сердце? Бог весть. (С, 1848, 1858)
 36—38 «Неприлично! — скажут строгие маменьки ~ Что делать! неприлично / Вздрогнут строгие маменьки: «Одна в саду, без матери, целуется с молодым человеком: ужас!» — скажут они. Что делать: ужас (1868)
 39 «О, как ~ счастлив!» / «Может ли быть человек так счастлив?» (С)
- С. 262.
 1—2 прошла. / прошла... Она закрыла руками лицо и опять отняла их, быстро взглянув на Александра. (1868)
 8 упреком / пошлым упреком (С, 1848, 1858)
 9 Она посмотрела / Она нежно посмотрела (1868)
 9—10 громко, весело засмеялась / громко засмеялась нервным смехом (1868)
 11 ему на плечо / на его плечо (С, 1848); на плечо его (1858)
 35 Он засмеялся. / Он улыбнулся и припал к ее руке. (1868)
 40 восторженно произнес / сказал (С)
- С. 263.
 6 *После:* не повторится! — Глаза ее отуманились. (С)
 9 лучшие / лучше (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
 10 *После:* покачала головой — и глубоко вздохнула. (1868)
 12 этого быть / быть (С)
 18—19 нечистым сомнением / грубым сомнением (1868)
 42—43 сказала Надинька пророческим тоном / сказала с испугом Надинька (С)

С. 264.

- ² и вдруг бросилась / и, забрав платье рукой, торопливо, с испугом бросилась (1868)
⁴ *Слов:* в раздумье — нет. (С)
¹⁴ *После:* одушевило ее. — Мрачное предчувствие исчезло, как облако (1868)
¹⁴ пылали / пылали румянцем (С)
²⁰ по-давнишнему / по-давешнему (С, 1848, 1858, 1883); по-давешнему (1868)
³⁸ V / Глава V (С, 1848, 1858)

С. 265.

- ⁵ промолвив / примолвив (С, 1848, 1858)
¹⁰ и поздравляю / поздравляю (С, 1848, 1858)
¹⁰ прибавил / примолвил (С, 1848, 1858)
¹² и боялся / да и боялся и не любил его (С, 1848, 1858)
¹⁴ *Слова:* в особенности — нет. (С, 1848, 1858)
²³ придет к нему ~ сядет на шею / придет к нему пороть дичь, мешать делу, ронять бюсты, просить денег и т. п. и ждал, когда это уймется, пройдет (1868)
²⁴ обращении / поведении (С)
²⁵ вел себя / обращался (С)
³⁵ анализируя / анализируя его, как никакой ученый не анализирует своей идеи (С, 1848, 1858)

С. 266.

- ² научается он / научается (С); научится он (1868)
¹⁷ чаши / чаши (С, 1848, 1858)
³⁰ *Слова:* громко — нет. (С)
^{34—35} чистил с какою-то страстью / чистил с каким-то фанатизмом, как будто идея его о долге воплощалась в безукоризненной и неутомимой чистке сапог. Прочее он считал пустяками и ничего больше не делал (1868)
^{38—39} — Пустяки ~ как не пустяки / — А я-то что делаю, — ворчал он, — разве не дело? (1868)
⁴⁴ примолвил / промолвил (1868)

С. 267.

- ⁹ Часто / Как часто (С, 1848, 1858)
¹² переписет / переписет его (С)
²⁰ написаны / всегда написаны (С)
²⁸ души моей / моей души (С, 1848)

С. 268.

- ^{2—3} не просит у него денег / таится, сдерживается, не порет дичи, не мотаает (1868)
¹¹ мир / мир (С, 1848, 1858)
²⁵ сердца / жизни (1868)
³⁵ мелких трагедий и комедий / мелких комедий (1868)
³⁸ тень / и тень (С, 1848, 1858)
³⁹ *После:* на Шиллера — на их Вертеров и Маргарит. (1868)

С. 269.

- ⁶ индейцев / индийцев (1858, 1862, 1883)
^{31—32} мля и вздыхая или декламируя / сильно вздыхая и декламируя (С)

- 35–36 не позаботился / не мог (С)
37 с матерью / с ее матерью (С)
- С. 270.
16 сад! / его сад. (С, 1848); сад его. (1858)
26 моя дочь / дочь моя (С, 1848)
- С. 271.
4 После: Какое же? — спросила Надинька. (С, 1848, 1858)
10 вести / держать (1868)
13 Слов: Хозяйка представила их друг другу. — нет. (С, 1848, 1858)
17 какая-то мягкость / мягкость (1868)
22 Слов: не светски — нет. (1868)
24 что и как он / что он (С)
25 новостью / новость (1868)
27 его грубости / этого (1868)
27–28 был внимателен и обращался к Адуеву / был внимателен к Адуеву (1868)
30 повторила / назвала (С, 1848, 1858)
35 пожал плечами / как-то странно пожал плечами (С, 1848, 1858)
36 Слов: закусив немного нижнюю губу — нет. (1868)
40 Слов: тоном легкой иронии — нет. (1868)
- С. 272.
13 Он шутил умно / Как умно шутил он (С, 1848, 1858)
16 даже / и даже (С)
31–32 Текста: «Вот сконфузится-то!» ~ Вовсе нет. — нет. (1868)
36 сношениях / отношениях (С)
41–42 что не знает их и не слышал... / что не знает их, но поспешил приписать это своей невнимательности. (1868)
44 «Что ж, брат, ты? недалеко уехал...» / «Где же твоя слава?» (1868)
- С. 273.
1 Дерзкая и грубая мина / Гордость (1868)
12 В первый раз / И в первый раз (С, 1848, 1868)
- С. 274.
8 так к лицу ей / к лицу ей (1868)
27 наклонился / наклонялся (С, 1848, 1858)
44 Слова: человека — нет. (С)
- С. 275.
32 за ухо / за ухо-то (С, 1848, 1858)
- С. 276.
5 на щеках / на щеках ее (1858)
16 каким-то диким голосом / диким голосом (1868)
23 открыв немного ротик / неподвижными, широко открытыми глазами (1868)
28 за ухо / за ухо-то (С, 1848, 1858)
- С. 277.
18 кушать / есть (С, 1848, 1858)
24–25 «Не будет, говорит она / «Не будет, говорит она». Ну, думаю, не будет, так что ж ждать понапрасну? давайте кушать. Иной

- раз так — поупрямлюсь: будет, мол, у меня что-то предчувствие
 есть. «Нет, говорит она (С)
- 37 *После:* Александр — едва дыша. (1868)
- 40 я и думаю / и я думаю (С, 1848, 1858)
- С. 278.
- 9 молодая / какая-то молодая (С, 1858, 1848)
- 22 будет!..» — и ее / станет!..» — и ее-то (С)
- 42 ноет / ноет ли (С)
- С. 279.
- 5 рецепт / и рецепт (С, 1848)
- 36 простым глазом; но Александр / простым глазом. Александр
 (1868)
- 38 не усмотришь / не рассмотришь (С)
- 40 не ждет его / его не ждет (С, 1848, 1858)
- С. 282.
- 8 *После:* ко мне! — прибавил потом. (С, 1848, 1858)
- С. 283.
- 1 решительно / сухо (1868)
- 6 Я бегу? смотрите, что выдумали / Я бегу! что выдумали (1868)
- 16 *После:* говорил Александр — хватаясь рукой за грудь, потом за
 голову. (1868)
- 20 Притворяетесь! / Какое притворство! (С)
- 25–26 как будто в первый раз слышит о графе / как будто в первый
 раз слышит имя графа (С); как будто не знает никакого графа
 (1868)
- 32 *Слова:* неблагодарно — нет. (1868)
- С. 284.
- 7 я не знаю / никаких поступков нет (1868)
- С. 285.
- 24 любимый предмет! / кого любишь. (1868)
- 35 впал / впадал (С, 1848)
- 42 боязливый / но спокойный (С)
- С. 286.
- 3 позвольте / прикажете (С)
- 25–26 — Какой же ты дурак! — сказал Адуев и бросился бежать от
 болтуна. / Адуев бросился бежать от болтуна (С, 1848, 1858);
 — Какой же ты дурак! — сказал Адуев и бросился бежать от
 озадаченного повара. (1868)
- 33 покойно / спокойно (С)
- 38 него / его (1848)
- 43 лишь бы превратить в известность / лишь бы только решитель-
 ный (С, 1848)
- С. 287.
- 12–13 *Фразы:* Не этого гостя ожидала она. — нет. (С)
- 33 *После:* слегка краснея — от его намека (1868)
- С. 288.
- 11–12 *Текста:* О дядя ~ прав!» — нет. (С, 1848, 1858)

- 18—20 Она молчала ~ трудный пассаж. / Она переменяла ноты и стала пристально рассматривать и разыгрывать какой-то трудный пассаж, но молчала. (1868)
- 40 *После:* от напряжения... — Оподеленок не поможет. (1868)
- 41 решить / сказать (1868)
- C. 289.
- 12 вопросами / такими вопросами (C, 1848, 1858)
- 19 *Слов:* какemento могi — нет. (C, 1848, 1858)
- 35 отер / обтер (C)
- C. 290.
- 3—4 подле фортепиано / подле фортепиан (1858, 1862)
- 12 кричала мать / повторила мать (1868)
- 14 — В обоих! ~ Адуев. / — Не знаю! — сказал Адуев. (C, 1848, 1858); — В обоих! — сказал Адуев с отчаянием. (1868)
- 17 произнес / воскликнул (C, 1848, 1858)
- 20—21 *Слов:* не знаю как... — нет. (C)
- 31 *После:* отвечала — сквозь слезы (1868)
- 36 отвечала / прибавила (1868)
- 40 неподвижна / неподвижно (C, 1848, 1858, 1862)
- C. 291.
- 2 *Слов:* немного на сторону — нет. (1868)
- 3 у ней / ее (C, 1848, 1858)
- 4 от угрызений / и от угрызений (C, 1848, 1858)
- 21 принеси / принеси поскорее (C, 1848, 1858)
- 33 — Ну ~ хмелен! / — Что ж он, хмелен, что ли? (C)
- C. 292.
- 6 мазуриков / шаромыжников (C, 1848, 1858)
- 9 *Слов:* со вздохом — нет. (C)
- 11 отер / обтер (C)
- 12 VI / Глава VI (C, 1848, 1858)
- 19 покойно / спокойно (C)
- 24 *После:* поздно? — Ба! (C, 1848, 1858)
- 29 *Слова:* заботливо — нет. (C)
- 32 не шути, однако: / не шути этим, не пренебрегай; (C, 1848, 1858)
- C. 293.
- 22 покойно / спокойно (C)
- 30 от любви / от этого (C, 1848, 1858)
- 39 чернильницу / чернилицу (1868)
- 41—42 непременно / того и гляди (1868)
- C. 294.
- 31 — Спроси / — Спроси-ка (C, 1848, 1858)
- 32 *После:* поужинать — и принеси (C, 1848, 1858)
- 33 за зеленой / что за зеленой (C, 1848, 1858)
- C. 295.
- 39 — Вот хоть / — Ба! вот хоть (C, 1848, 1858)
- C. 296.
- 6 — Говори / — Как всё? говори (C, 1848, 1858)
- 17 как ее / как, бишь, ее (C)

- 18 *Слов:* Повеса! повеса! — нет. (1868)
21 *После:* без спора... — о нет! (С, 1848, 1858)

С. 297.

- 1 пустяки / пустяки... какие-нибудь (С, 1848, 1858)
2 или я / или я сам (С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
5 не ужинай / тут не ужинай (С, 1848, 1858)
6 — Я двое суток / — Я, дядюшка, двое суток (С, 1848, 1858); — Я
двой суток (1862, 1868)
7 — О, это ~ важное? / — Э, да это, видно, в самом деле
что-нибудь важное; расскажи, расскажи. (С, 1848, 1858)
10 — Какую? / — Какую это? (С, 1848, 1858)
11 — Согласитесь ли вы быть моим свидетелем? / — Согласитесь
ли быть моим свидетелем? (1848, 1862)
11 свидетелем / секундантом (1868)
25 вина / а вина (С, 1848, 1858, 1862, 1883)
31 кресло / кресла (С)

С. 298.

- 8 *После:* не вразумишь. — Однако заметь — и дерутся реже.
(1868)
12 — Вот / — А вот (С, 1848, 1858, 1862, 1883)
13 как ее / как, бишь, ее (С, 1848, 1858)
15 — Начнем / — Да — ну, начнем (С, 1848, 1858)
17 *После:* как муху — или изуродует (1868)
26 и промахнется / тут и промахнется (С, 1848, 1858)
38 — Ничего! / — Что? ничего! (С, 1848, 1858)
39—40 *Слова:* гордым — нет. (1868)
42—43 этой холодной моралью / вашим холодным рассуждением (С)

С. 299.

- 2 *Слов:* как ее? — нет. (С)
4 а какая же Софья? / а какая же это Софья? (С, 1848, 1858)
5 нехотя / и смутился (С)
7 *После:* Марья. — Эх, Александр! (С, 1848, 1858)
8—9 *После:* до старости. — И то не сердце; это только так говорится.
(1868)
16 останется / остается (С, 1848, 1858)
17—18 до тех пор, пока наконец сердце / пока наконец (С)
27 *После:* уродливость — анахронизм (С, 1848, 1858)
35—36 да! в солдаты: положим, что в солдаты и не отдадут, да ведь после
этой истории / да! в солдаты: ну хоть в солдаты и не отдадут, да
ведь после этой истории (С); да! в солдаты; кроме того, после
этой истории (1862, 1883, 1884)
38 Надеюсь / Ну, надеюсь (С)
44 смолчал / молчал (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

С. 300.

- 13 *стереть его с лица земли / стараться стереть его с лица земли* (С,
1848, 1858)
15—16 *После:* накажем! — Непонятно! (С, 1848, 1858)
29 *После:* перебил дядя — помилуй — это дикий порыв! (С, 1848,
1858)
36 *После:* до сих пор? — Расскажи-ка, как у вас было дело? (С, 1848,
1858)
40 выслушав / выслушавши (С, 1848)

- 42–43 Ты бы мог всё это проделать / Ты бы всё это проделал (С)
44 ребячиться, делать сцены... беситься / ребячиться, дуться, делать сцены... сходиться с ума... беситься (С, 1848, 1858)

С. 301.

- 2 всё / это (С, 1848, 1858)
15 грубиянить / беситься, грубиянить (С, 1848, 1858)
27–28 *Слов:* да и того... — нет. (1868)
35–36 *После:* так себе... — хуже не в пример тебя (С, 1848, 1858)
43 заметил / воскликнул (С, 1848, 1858)

С. 302.

- 1 — А к дубине / — А к дубине-то (1858)
1–2 Хитростью можно / Хитростью еще можно (1868)
14 *После:* хитростью? — Что вы, дядюшка! (С, 1848, 1858)
23 к клевете / к брани и клевете (С, 1848, 1858, 1868)
23 этим / этим только (С)
27–28 защищать / защитить (С, 1848)
28 ею / хитростью (С)
35 — Да мог / — Э, дядюшка! да мог (С, 1848, 1858)
36 Иные / Я знаю, видал, как иные (С, 1848, 1858)

С. 303.

- 7 *После:* их топят. — Здесь в Европе не так. (С, 1848, 1858)
10 много условий... надо уметь / много, много условий... надо знать ее наизусть, уметь (С, 1848, 1858)
12 свое назначение / свой долг и назначение (С, 1848, 1858)
12–13 Надо очертить / Надо умно и искусно, для ее и своего блага, очертить (С, 1848, 1858)
14 хитро / надо хитро (С, 1848, 1858)
16 умом / овладеть умом (С, 1848, 1858)
21 *После:* — Зачем? — Нет! (С, 1848, 1858)
33–34 покойно / спокойно (1858)

С. 303–304.

- 36–2 *Текста:* — А! вот он, знаменитый секрет ~ а то... того... — нет. (1868)

С. 304.

- 1 заговорил дядя, махая рукой, — хорошо, что жена спит, а то... того / ради Бога, — заговорил дядя, махая рукой, — услышит жена — беда! им и вида не надо показывать. Хорошо, что она спит, а то... того... — Он засмеялся и погрозил Александру пальцем. (С, 1848, 1858)
5–6 *После:* из коридора — для блага своего и мужа (С, 1848, 1858)
6–7 великую школу мужа / его великую школу (С, 1848, 1858)
13 нахмутив / наморщив (С)
17 *После:* по лбу рукой. — Нет еще, тут, в этой голове, не всё есть! — сказал он с досадой. (С, 1848)
19 *Слов:* сказал он с досадой — нет. (1858)
25 — Вы боитесь / — А! вы боитесь (С, 1848, 1858)
30–31 это она так только... от досады! / если б была, она бы не сказала! (1868)
32–37 станет тоже хитрить... ~ Теперь надо... / теперь нужна другая метода... (1868)

- 33—37 Но посмотрим... / Ну! хитрить так хитрить! посмотрим, кто кого (С, 1848, 1858)
- 36—37 иначе повести дело ~ прежняя метода / другую систему, — примолвил он, — прежняя (С, 1848, 1858)
- 44 *Слов:* тяжело вздохнув — нет. (С, 1848, 1858)
- С. 305.
- 3 это самое лучшее / это удобнее (С)
- 4 кое-что / что-нибудь (С, 1848, 1858)
- 21 возразил / воскликнул (С, 1848, 1858)
- 27 Скажи / Ну (С)
- 33 *После:* благодарить? — Это забавно! (С, 1848, 1858)
- 43 какое бы то ни было дело / дело (1868)
- 43 *После:* дело? — Теперь и был бы покойнее. (С, 1848, 1858)
- С. 306.
- 10 — Разве / — Да разве (С, 1848, 1858)
- 18 *После:* любовью... — Полно пустяки молоты! (1868)
- 19 полюби / полюби-ка (С, 1848)
- 19 так и того / так и (С, 1848, 1858)
- 19—20 *Текста:* — Да! а полюби тебя крепче ~ знаю я! — нет. (1868)
- 28 *После:* виновата ли она? — Эх, Александр, я лучше думал о (об (С)) тебе. (С, 1848, 1858)
- 29 отмщу / отмщу, отмщу (С, 1848, 1858)
- 36 *После:* ни словом, ни делом — не мсти... (С, 1848, 1858)
- С. 307.
- 24—26 значит, когда чувство ~ достигло до той степени, где уж / значит чувство, влечение, привязанность или что-нибудь этакое — без границ, то есть в такой степени, когда уж (С)
- С. 308.
- 1 — Займись / — А ты займись (С, 1848, 1858)
- 5 *После:* с могучей душой? — Как не так? (С, 1848, 1858)
- 7 не умеешь / не умеет (1858)
- 7 *После:* перенести горя. — Право, тут ничего нет высокого! (С, 1848, 1858)
- 12 бухнуть / и бухнуть (С, 1848, 1858)
- 37 Боже! / о Боже! (1858)
- С. 309.
- 1 умерла / умерла она (С)
- 10—11 почесал голову / посмотрел на него (С, 1848, 1858)
- 13 может быть — того... / может быть, слезы — того... остановятся... (С, 1848)
- 35 и ужином / и ужинал (С, 1848)
- 40 методу / систему хитрить (С, 1848, 1858)
- 42 Но она ~ из комнаты. / — Спи спокойно! (покойно (1848, 1858)) — отвечала она и вышла из комнаты. (С, 1848, 1858)
- С. 310.
- 5 тихо / тихонько (С, 1848, 1858)
- 6 отерла ему платком глаза / отерла платком глаза его (С, 1848, 1858)
- 6—7 *Слов:* а он прильнул губами к ее руке — нет. (С, 1848, 1858)

С. 311.

- ² I / Глава I (С, 1848, 1858)
¹⁵ ему жаль было / ему как будто жаль было (1868)
^{15—17} он насильственно продолжил ее ~ красовался ею / он создал себе из грусти какую-то негу (1868)
¹⁹ как-то нравилось / по-видимому, нравилось (1868)
²¹ удар судьбы / удар рока (С, 1848, 1858)
^{21—22} о святых / и святых (1868)
^{37—42} и отвечала на них ~ и слушать не хотел. / и подавляла в себе непритворные и неприметные вздохи и никем не видимые слезы. Она, даже и на излияния напускной тоски племянника, не скучала отвечать мягко и с добротой; но Александр не хотел и слушать об утешениях. (1868)

С. 312.

- ^{6—7} еще с большим презрением / высокомерно (1868)
^{10—11} Фразы: И после этих слов ~ презрительную мину. — нет. (1868)
¹¹ мину / гримасу, в которой главную роль играла нижняя губа (С, 1848, 1858)
¹⁷ Нет, / Нет, нет, нет! (С, 1848, 1858, 1862)
^{17—20} Текста: Нет, она всё почти делала с ведома матери! ~ И это любовь!!! — нет. (1868)
¹⁹ никогда / никогда, никогда (С, 1848, 1858)
³² старалась скрыть / начала гримасничать, чтоб скрыть (С, 1848, 1858)

С. 313.

- ⁵ После: могу любить? — а она... (С, 1848, 1858)
¹⁰ После: прячется? — Не уверите. (С, 1848, 1858)
¹¹ вдруг / слегка (С)
¹⁷ Тут она мысленно пробежала / Она часто мысленно пробегала (1868)
²⁰ и навел ее на вопрос / тайна эта — вопрос (1868)
²⁸ целью / целию (С, 1848)
^{28—30} для общей человеческой цели, исполняя заданный ему судьбою урок / для высокой поэтической цели, исполняя перед лицом судьбы заданный ему урок (С, 1848, 1858, 1862); для общей человеческой цели, для самого труда, исполняя заданный ему судьбою урок (1868)
³² для того ли, наконец / или, наконец, из страха (1868)
³⁶ вынесла / вывела (С, 1848, 1858, 1862); выводила (1868)
^{39—40} он ей никогда / он никогда (1868)

С. 314.

- ⁹ пробовала / попробовала (С, 1848, 1858)
¹⁴ После: с женой. — Убийственно! (С, 1848, 1858)
^{26—28} Слов: тогда другое дело: она, может быть, поступила бы, как поступает большая часть жен в таком случае. — нет. (С)

С. 315.

- ¹⁰ Няньки, кормилицы / И няньки, и кормилицы (С, 1848, 1858)
¹⁶ и на все / на все (1858)
³⁰ не видел / не видал (С, 1848)
³¹ Слов: невидимые, неосозаемые — нет. (1868)

C. 316.

- ¹ черный демон / «черный демон» (1868)
⁴² и вы, ma tante / вы ставите их рядом, вы, ma tante (1868)

C. 317.

- ⁷⁻⁸ но зато, не говоря / это правда, потом представил меня своим
приятелям и уже не говоря (1868)
⁸ После: за карты. — Я вытарашил на него глаза от удивления, а
он на меня. «Что ты?» — еще спрашивает. (1868)
¹¹ сказал он с удивлением / говорит (1868)
¹¹⁻¹² После: Хорош вопрос! — а? (С, 1848, 1858)
¹⁷ выход / ход (1868)
²¹ закончить / кончить (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
³¹ да не нуждаешься ли в чем? / да не нуждаешься ли ты в чем?
(С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
³² Слов: по службе — нет. (1868)
³³ Слов: не о службе — нет. (1868)
³⁴⁻³⁵ о золотых днях детства, об играх, о проказах / о золотых днях
дружбы, о прошлом (1868)
⁴⁰ Слова: удивился — нет. (1868)
⁴² испытать / испытать его (С, 1848, 1858)

C. 317—318.

- ⁴⁴⁻¹ как поступили со мной ~ начал было я. / как поступили со мной
люди... (1868)

C. 318.

- ² с испугом / с участием (1868)
¹⁵ После: ростбиф... — Ты это нарочно, говорит, прикидываешься,
морочишь меня... Ну можно ли такой вздор... (1868)
³⁷⁻³⁸ После: презрением — и своим чарующим участием. (1868)
³⁵ его любви / любви его (С, 1848, 1858)
⁴⁴ в глазах толпы / на самом деле (1868)

C. 319.

- ⁶⁻⁷ Фраз: — Что такое?
— Угадай. — нет. (С, 1848, 1858)
¹⁰ Слов: сказала Лизавета Александровна — нет. (1868)
¹¹ ты говорила, что боишься / ты боишься (1868)
¹⁴ Фразы: — Ну о новой мебели?... — нет. (1868)
²⁴ это непостижимо / и пожимая плечами (1868)
²⁵⁻²⁶ Текста: — Нужно только ~ — Сколько хочешь. — нет. (1868)
²⁶ После: — Сколько хочешь. — Что такое? (С, 1848, 1858)
²⁸⁻²⁹ Слов: перебил Петр Иванович — нет. (1868)
⁴³⁻⁴⁴ спроси, в каком положении его сердце / загляни ему в сердце
(1868)

C. 320.

- ¹ — Нет, это уж ты спроси. / — Вот тебе на! нет, уж это ты спроси.
(С, 1848, 1858); — Нет, это уж ты загляни. (1868)
² — Поговори с ним ~ а не так / — Отрезви его, но понежнее, не
так (1868)
²⁰ от виста / от висту (С, 1848); от дел, от виста (1868)
²⁸ Слов: Вот еще! — нет. (1868)
³⁰ После: людей. — Мы слишком горды, полны своего достоинства!

Самолюбие, честолюбие, корыстолюбие — вот ваши идола: им всё приносится в жертву...

— Постой, постой, — живо перебил Петр Иванович, — ведь и в любви самолюбие играет главную роль! Сердца никакого нет — это сборное понятие; сердце само по себе — сосуд, разносящий кровь по организму. А то самолюбие, да нервы, да кровь, да привычка: вот тебе и любовь...

— Ну, пошел свое! оставь, пожалуйста, эту теорию или проповедай ее в клубе, а не мне! — сказала она почти печально... (1868)

30—32 *Текста*: Смотрят, что у человека в кармане ~ Хотят, чтоб и все были такие! — *нет*. (1868)

33 *Слова*: чувствительный — *нет*. (1868)

С. 321.

11 *Слов*: это мое дело — *нет*. (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

29 Он готов был бы отдать / Он готов бы был отдать (1868)

29—30 все деньги / все свои деньги (С, 1848)

38 *После*: повнимательнее... — А о деньгах не нужно? —

— Нет, нет! тш! (С, 1848, 1858)

41 *Слов*: на бутылки и графины — *нет*. (1868)

43 — Куда же / — Ба! куда же (С, 1848, 1858)

С. 322.

27 *Фразы*: Не знаю, — сказал Александр сердито. — *нет*. (1868)

28 один / кругом (С, 1848, 1858)

29—30 *Слов*: рассыпáть бисер — перед кем! — *нет*. (С, 1848, 1858)

30 *Слова*: еще — *нет*. (1868)

31—32 в доблесть, в постоянство... / в чувства, в постоянство. (1868)

38 «добрость / «чувства (1868)

С. 323.

1—2 При этом он хотел, кажется, горько улыбнуться ~ как-то кисло. / При этом он горько улыбнулся. (1868)

8 Я благодаря людям низошел / Благодаря людям и я низошел (1868)

9 всегда носил с собой / нарочно недавно прочел и выписал себе (1868)

13 Люди / Они (С)

17 спросил дядя, — покажи. / покажи? — спросил дядя. (С, 1848)

26 дружбою / симпатиею (1868)

29 докажет / покажет (С, 1848, 1858)

С. 324.

1 Виноват / Да, виноват (С, 1848, 1858)

16—17 случай посмеяться еще / удовольствие (С)

19 не принадлежать себе / перестать жить для себя (1868)

С. 325.

31—32 было бы стыдно / стыдно (С); стыдно было бы (1848, 1858)

34 оставила свою работу / бросила свою работу (С, 1848, 1858); вдруг оставила свою работу (1868)

35 — Как же? — спросила / — Как же, скажи как? — заговорила (С, 1848, 1858)

36 *После*: к себе. — Хоть одно слово! (С, 1848, 1858)

37 тихо / тихо же (1868)

- 38 украдкой / покачал головой и тихонько (С); покачал головой и украдкой (1848, 1858)
- 41 — Как! / — Как! как! (С, 1848, 1858)
- 41—42 *После:* как любят!.. — Любят! а ты?
Напрасно ждала она ответа. Он молчал, и по лицу его видно было, что он думал о другом. (С, 1848, 1858)
- 43 медленно / медленно, нехотя (С, 1848)
- С. 326.
- 8 — Басни / — Теперь басни (С, 1848, 1858)
- 15 *Слов:* и так страдал — нет. (С)
- 17 — Что же / — Ну что же (С, 1848)
- 34—35 Все их мысли ~ на песке. / До кого дотронешься — или лед, или... навоз. (1868)
- 35—38 *Фразы:* Сегодня бегут ~ бегут за другим. — нет. (1868)
- 37—38 *Слов:* о вчерашнем — нет. (С)
- С. 327.
- 13 гадко / фу, гадко (С, 1848, 1858)
- 26 *После:* злое животное... — Козни, интрига — его орудия. Чужое несчастье — ему праздник. (1868)
- 28 промолвил / примолвил (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
- 31 *После:* Всего — отвечал Петр Иванович (С)
- С. 328.
- 9 встревожилась / перепугалась (С, 1848, 1858)
- 10 Петр Иванович! ~ перестань... / Петр Иванович, Петр Иванович! — шептала она, — перестань, пощади... (С, 1848, 1858)
- 11 — Нет ~ правду. / — А пощади ли он кого-нибудь, и нас с тобой тоже? нет: пусть же выслушает правду. (С, 1848, 1858)
- 14—15 на угрызение совести / на совесть (С)
- 21 заставило / заставляло (С, 1848)
- 22—23 *После:* прибавил серьезно Петр Иванович. — Это злоречие, и притом бессцельное, не вызванное никакой обидой с их стороны. (1868)
- 26 приписывал / приписал (1868)
- 34 заслуживает... / заслуживает... а? (С, 1848, 1858)
- С. 329.
- 3 *После:* несколько лет — устроив здесь свои дела и связи, найдя близких людей (1868)
- 10 *После:* коварный — потому что не стал слушать пустяков. (С)
- 21 гнусною / гнусною (С, 1848, 1858)
- 21 у Крылова / и у Крылова (1868)
- 36 сам... / сам, а? (С, 1848, 1858)
- 41 не умничай, ради Бога / у тебя нет ни жалости, ни великодушия (С, 1848, 1858)
- С. 330.
- 8 принимать / принять (С, 1848, 1858)
- 12 *После:* как родная сестра... — У Лизаветы Александровны билось сердце, когда говорил о ней муж. «Какой вдруг луч вырвался! — думала она, глядя на него горячими глазами, — надолго ли, надолго ли?» (1868)
- 13—14 *Слов:* растерянный и совсем — нет. (1868)
- 13—14 *Слов:* и совсем уничтоженный — нет. (1862)
- 14 совсем / совершенно (С, 1848, 1858)

- 17 *Слов:* отвечала она. — *нет.* (1868)
- 18—19 *Слов:* он из мухи делает слона ~ поумничать — *нет.* (1868)
- 19 Перестань, ради Бога, Петр Иванович. / Перестань, ради Бога, — говорила она, а про себя не желала, чтоб он перестал. Ей хотелось, чтоб «луч» погорел подольше. Но Петр Иванович взял тоном ниже и вышел из пафоса. Она тихонько вздохнула. (1868)
- 21—22 *После:* сказанье! — продолжал он, обращаясь к племяннику. (1868)
- C. 331.
- 5 отвлекали / отвлекли (C, 1848, 1858)
- 14 делая отчаянные гримасы / не поднимая глаз (1868)
- 35—36 забыл одно / забыл главное (1868)
- 37 *После:* спросил он — дай заглянуть туда... (1868)
- C. 332.
- 17 *После:* но... — Она кончила вздохом. (C, 1848, 1858, 1862, 1868)
- 22 не перестану уважать в вас сердце / не перестану уважать в вас сердца (C, 1848, 1858, 1862, 1883)
- 23 вовлекает / увлекает (C, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
- 26 *После:* женщина — сказала она. (C, 1848, 1858)
- 38 меня самого / себя (C)
- C. 333.
- 3 промолвила / примолвила (C, 1848, 1858, 1862)
- 3—5 *Текста:* — Ах этот Петр Иванович ~ нагонит тоску! — *нет.* (1868)
- 9 промолвила / примолвила (C, 1848, 1858, 1862)
- 20 Так будете писать? / Будете писать? (1868)
- 42 — Кто ж / — Ба! кто ж (C, 1848, 1858)
- 42 *После:* неволит? — сказал Петр Иванович. (C, 1848, 1858)
- C. 334.
- 25 прибавил / примолвил (C, 1848, 1858)
- 28 — Ну так что ж? / — Да, ну так что ж? (C, 1848, 1858)
- 43 трогают / трогает (1848)
- C. 335.
- 2 было бы / бы было (C, 1848)
- 12—13 в них есть мысль — всё показывает / с полнотой и отчетливостью университетского образования, показывают (C, 1848, 1858)
- 15 Адуевы / Адуевы-то (C, 1848, 1858)
- 18—26 *Текста:* — Хороша известность ~ по-моему, так. — *нет.* (1868)
- 34 II / Глава II (C, 1848, 1858)
- 35 возвратясь / воротясь (1868)
- C. 336.
- 6 преимущество / преимущества (C)
- 15—16 достигает цели / достигает прямо к цели (C)
- 26 методических / правильных (C)
- C. 337.
- 31 отвечал / решил (1868)
- 35 *Слов:* и покачал головой — *нет.* (1868)
- 38 качать головой / хмуриться (1868)

- С. 338.
²⁹ не заеду / не зайду (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
³⁰ закричала / заговорила (1868)
³³ *Текста:* сказала она. — О, он упрям — я его знаю! — *нет.* (1868)
^{37–38} *Фразы:* Все-таки он ~ а я поэт... — *нет.* (С, 1848, 1858)
⁴² *После:* не хочешь сознаться. — Это, по-твоему, так, пустяки, не дело. (С, 1848, 1858)
- С. 340.
³⁵ *После:* автор! — с досадой сказал Александр. (1868)
^{35–36} *Текста:* Издевается только над ближним.
— А! издевается! — *нет.* (1868)
- С. 341.
^{6–7} как не полюбопытствовать? / хоть бы из любопытства. (1868)
¹⁹ перестав / перестали бы (С)
- С. 342.
⁴ сердечных склонностей и неподвижность ума / воображения на счет ума (1868)
^{6–7} Наука, труд, практическое дело — вот что может отрезвить нашу праздную и большую молодежь». / А где средства к исправлению? Бог знает!» (С, 1848, 1858)
³³ опустились / задрожали и опустились (С, 1848, 1858)
- С. 343.
¹ можно ожидать / можно было ожидать (С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
³⁶ заметил / примолвил (С, 1848, 1858)
⁴² Евсей! / Евсей! Евсей! (С, 1848, 1858)
- С. 344.
⁹ крикнул / воскликнул (С, 1848, 1858)
³⁵ кучу / кучку (С, 1848)
⁴⁰ промолвил / примолвил (С, 1848, 1858, 1862)
- С. 345.
¹ примолвил / промолвил (1868)
¹³ приезжал / приехал (1868)
²⁵ *После:* то есть — как недурен? (С, 1848, 1858)
³⁸ *После:* надоел — нечего делать (С, 1848, 1858)
⁴² *После:* в руках!» — надоест до крайности. (С, 1848, 1858)
- С. 346.
¹ *После:* жить не могу!» — А! каково это покажется тебе? (С, 1848, 1858)
¹ чуть не сорок лет / за сорок лет (1868)
⁶ чтоб о нем / вот чтоб о нем (С, 1848)
^{6–7} что он в связи с такой-то, что его видят в ложе у такой-то / чтобы видели в ложе у такой-то (1868)
^{7–9} или что он на даче сидел ~ в уединенном месте / или что он на даче вдвоем (1862); или на даче вдвоем на балконе поздно вечером с ней (1868)
^{33–34} взглядом / взором (С, 1848, 1858)

- ³⁶ с улыбкой / с улыбочкой (С, 1848)
 43—44 чтоб я... — И не договорил. / чтоб я... ссудил его. Но, вы знаете, мои финансы... (С, 1848, 1858)
- С. 347.
¹⁵ так как / что так как (С)
³³ взбеси его / беси его (1868)
- С. 348.
⁴ в среду / в середу (С, 1848, 1858, 1862)
 4—5 По средам / По середам (С, 1848, 1858)
⁹ разглядев / разглядевши (С, 1848)
²⁵ не по средам / не по середам (С, 1848, 1858)
³⁹ После: притворяться — стал бы ревновать (С)
- С. 349.
¹⁴ После: деньги — так того... (С, 1848, 1858)
¹⁴ в среду / в середу (С, 1848, 1858)
¹⁷ После: только странно... — очень странно (С)
- С. 350.
¹⁹ III / Глава III (С, 1848, 1858)
²⁰ среда / середа (С, 1848, 1858)
- С. 351.
²⁴ Вообразите, он дал слово мне / Он дал слово мне (1868)
- С. 352.
^{18—19} прибавил он / примолвил он (С, 1848, 1858)
²⁴ из «Горе от ума» / из «Горя от ума» (С, 1848, 1858, 1862, 1883)
⁴² как бы заменили / как бы заменили (С)
⁴⁴ но не пригласила / но не приглашаю (1868)
- С. 353.
⁸ Monsieur Рене / Monsieur Ренье (С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
²⁶ как-то некстати / как-то всё некстати (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
- С. 354.
³⁴ не скажут / не наскажут (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
³⁵ неведомая / невидимая (С)
- С. 355.
^{11—12} что он *разорвал с ней связь* / что они разошлись (1868)
¹³ воротясь домой, нашел / воротился домой и нашел (С)
³⁹ После: Насмешил меня. — Послушай: просто комедия! (С, 1848, 1858)
- С. 356.
¹⁹ Петр Иванович / Тут Петр Иванович, как инквизитор (С, 1848, 1858)
- С. 357.
³ Пожурю / Пожурю, пожурю (С, 1848, 1858)
⁶ Петр Иванович / Тут Петр Иванович (С, 1848, 1858)
¹³ Постой / Постой-ка (С, 1848)
³⁵ об этом я не просил / я не просил (С, 1848)

С. 357—358.

44—1 вот племянник! / вот племянник так племянник! (С)

С. 358.

⁴ слышал / слушал (С, 1848, 1883)

⁴⁰ *После*: ошибается! — И при этом предико заревел и ударил кулаком по столу. (С, 1848, 1858)

С. 359.

⁴ *Слов*: Твое дело сделано, Александр, и мастерски! — нет. (1868)

^{4—5} я теперь покоен ~ не хлопочи. / я покоен надолго. (1868)

^{6—7} какая там скука / какая тебе скука (С)

⁹ хорошего вина / шампанского (1868)

^{19—20} *После*: шинель в руки — и с нею (1868)

⁴¹ а сердце в те лета / а неопытное сердце (1868)

⁴² что попадаетя / что попадетя. (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

С. 360.

¹⁵ наследственным богатством / наследственного богатства (С, 1848, 1862, 1883)

¹⁹ все мысли, занятия, поступки / все мечты, дела, радость и печали (1868)

²⁰ к одной точке и одному понятию / к одной мысли (1868)

^{22—23} мимо него / мимо его (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

³¹ одно духовное око / одни глаза (1868)

^{37—38} это бы еще ничего / это бы не беда (1868)

С. 361.

^{10—11} Отсюда родилась мечтательность ~ особый мир. / Она жила в своем, особом мире. (1868)

¹⁴ *Слова*: весьма — нет. (1868)

¹⁶ *Слова*: эта — нет. (1868)

¹⁷ *Слова*: этот — нет. (1868)

²⁴ сердце / воображение (1868)

³⁰ три нации / три национальности (1868)

³⁴ и другим наукам / разным наукам и, между прочим, неизбежной тогда мифологии (С, 1848, 1858)

³⁵ это принято / уж заведено (1868)

⁴⁰ *После*: вином пахнет... — какой пример для девицы? (С, 1848, 1858)

С. 362.

³⁰ узнав / узнавши (С, 1848)

С. 363.

⁹ с жадностью / с жадностию (С, 1848)

¹³ перед новыми / перед этими новыми (С, 1848, 1858)

¹³ *Слова*: жалкая — нет. (С, 1848, 1858)

¹⁹ как запомнить / как лучше запомнить (С, 1848)

^{22—23} бедняк перепугался / он затряс головой и упрямо отвечал: «Нейт: этому девушка нелься учить!» (1868)

^{23—25} он покачал головой ~ а что есть / он опять затряс головой и повторил: «Нелься», сказав, что есть (1868)

²⁶ *После*: налицо — что до нее дойдет очередь года через два. (1868)

³¹ приставил / приставив (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

38 *Слов:* и еще несколько подобной дряни — *нет.* (С)

С. 364.

12 и немец / немец (1868)

14–15 Когда ему сказали ~ и упрямо затвердил: «Nein!» / Когда ему намекнули о Шиллере, Гете и других, он неистово затряс качал (С, 1848, 1858, 1862) головой и упрямо говорил: «Nein! девушка нелься: через два года будем читать у Аллер» (1868)

17–18 Так от немца у ней в памяти / Но до Аллера не дошли: немца скоро уволили, и от него у ней в памяти (1868)

18 и осталось / осталось (С, 1848, 1858)

26 А какие / А нуте-ка, извольте сказать, какие (С, 1848, 1858)

С. 365.

8 между этими занятиями / между этими вздорными занятиями (С, 1848, 1858)

9–10 *Слов:* и никакой благородной, здоровой пищи для мысли! — *нет.* (1868)

17 себе за образец / за образец себе (С, 1848, 1858)

26 до замужества / до замужства (С, 1848)

27 осмнадцати лет / восемнадцати лет (С)

28 взором / взглядом (1868)

33 *Слов:* с крестом на шее, словом — *нет.* (1868)

34 *Слова:* только — *нет.*(С)

35 О нет! / Нет. (1868)

С. 366.

4 чрез / через (1848)

6 сам с собой / с собой (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

7 осмнадцать / 18 (С, 1848, 1858)

11 по-латыни / по-латыне (1858, 1862, 1868)

15 ей-богу / право (1868)

16 чтобы забыть / чтоб забыть (С, 1858, 1862, 1868)

16–17 *Слов:* Ну вот ~ а я говорю, что — *нет.* (1868)

18 там... / там побойчее (С, 1848, 1858)

20–21 *Слов:* чтоб по глазам ~ что учился — *нет.* (С, 1848, 1858)

25–26 И вот ~ ее на первом шагу встретила / Юлия едва вышла из детства, и на первом же шагу ее встретила (1868)

30 замужество / замужство (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

31 Она улыбнулась, простерла / Она улыбнулась и простерла (С, 1848)

С. 367.

16 утвердительно / в ее пользу (С)

19–20 работали в ней нервы / работало в ней сердце (С, 1848, 1858)

28 *Слова:* непременно — *нет.* (1868)

33 вдали / то вдали (С, 1848, 1858)

С. 368.

11 удар судьбы / удар судьбы (С, 1848, 1858)

15 зима / вся зима (С)

16 всё сильнее / всё сильнее и сильнее (С)

17 удара судьбы / удара судьбы (С, 1848, 1858)

25 *Слова:* счастья — *нет.* (С, 1848, 1858)

42 законным ее обладателем / ее законным обладателем (С, 1848, 1858, 1862, 1883)

- С. 369.
³⁰ читать или работать / читать книгу (С)
^{32–33} говорил, прощаясь, Александр / говорил Александр, целуя у ней руку (1868)
³⁴ Она зажала ему рот рукой. / Она зажала ему рот. (1868)
³⁹ хорошо / я не прочь (С, 1848, 1858)
- С. 370.
¹³ *Фразы:* Она обрадовалась. — нет. (С, 1848, 1858)
- С. 371.
^{7–8} от мучительной боли в сердце / от мучительной боли (1868)
^{10–11} из любви ~ из ненависти / по любви, как другие не тиранят по ненависти (С)
²⁸ грозное veto / свое veto (1868)
⁴⁰ по средам / по середам (1868)
- С. 372.
¹² *Слова:* удовольствиями — нет. (1868)
²⁵ перекинется / перекликнется (С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
³⁷ разгульных / забытых (1868)
⁴² *После:* к стеклам. — Ветер врывался в камин и завывал унылую песню. (С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
- С. 373.
¹ взглядом / взором (1868)
¹⁵ доносился до них / долетал (С)
- С. 374.
⁵ *Фразы:* Он не знал, что отвечать ей и самому себе. — нет. (1868)
²² слышать / слушать (1868)
- С. 375.
²⁰ писать / написать (С, 1848, 1858)
³⁰ влияние / рефлексию (С, 1848, 1858)
- С. 376.
¹ как кошка / как дикая кошка (С, 1848, 1858)
⁸ заболела / болела (С, 1848, 1858)
³¹ увидел / увидал (С, 1848)
- С. 377.
²² старалась. / стараясь (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
²⁷ *Слова:* уж — нет. (С)
- С. 379.
⁸ *Слов:* но я отравлю и вашу — нет. (С, 1848, 1858)
¹⁹ заговорила / говорила (С)
^{37–38} Через час ~ пришла в себя. / Медленно опомнилась она, озираясь вокруг. (1868)
^{38–39} *Фразы:* Она огляделась кругом. — нет. (1868)
³⁹ *После:* она — всплеснув руками. (1868)
- С. 380.
³¹ *После:* сказали? — Что! (С)
⁴⁴ *Слова:* в благодарность — нет. (С)

- С. 381.
³ заговорил / воскликнул (С, 1848, 1858); говорил (1868)
¹³ урока / упрека (1858, 1862)
²⁴ говорю / к тому говорю (С, 1848, 1858)
³¹ *После:* помогите!.. — забвение, великодушие... (С, 1848, 1858)
³⁵ о твоей связи / об этой твоей любви (1868)
- С. 382.
³ — Не всё ли / — Э! да не всё ли (С, 1848, 1858)
¹⁵ вот сердце / вот тебе и сердце (1868)
²⁵ прибавил / примолвил (С, 1848, 1858)
²⁷ *После:* вмешиваться — даю честное слово (1868)
⁴⁴ *После:* свое дело. — То — супружество, семья — и следовательно, опять-таки дело, хотя и домашнее. (1868)
- С. 383.
¹⁴ IV / Глава IV (С, 1848, 1858)
²⁴ *После:* к нему — позови его к нам: (С, 1848, 1858)
^{24–25} поговорить с ним / с ним поговорить (С)
- С. 384.
² — Он придет / — Что ж, он придет (С)
⁷ кареты / саней (С, 1848, 1858)
³³ скажешь / ты скажешь (С, 1848)
- С. 385.
¹⁹ — Как так? / — Ба! как так? (С, 1848, 1858)
^{43–44} *Фразы:* — Бог с ними! ~ сказал с беспокойством Александр. — нет. (1868)
- С. 386.
⁷ приезжает / приезжают (С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
⁸ не видит / не видят (С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
²³ *После:* не хочу!.. — Ну вот! (С)
- С. 387.
⁷ *Фразы:* Глаза впали. — нет. (С)
⁹ *Фразы:* Дядя испугался. — нет. (1868)
⁹ Душевным страданиям он мало верил / Дядя душевным страданиям мало верил (1868)
¹⁰ начало / начала (С, 1848)
¹⁸ *Фразы:* Постой-ка, я прикинусь... — нет. (1868)
⁴³ юношей / мальчиком (С)
- С. 388.
³ *После:* подумал Петр Иванович — это не по моей части: (С, 1848, 1858)
³² *После:* в лакированных сапогах. — «Слава, слава! — говорили приятели, — что в ней? Из чего люди хлопочут? Иной, согнувшись в три погибели, корпит над бесконечным трудом; другой отважно летит в пыл сражений (сражения (1858)) — и всё в трезвом виде!» (С, 1848, 1858)
^{32–33} «Прочь горе ~ прочь заботы! / «Прочь горе, заботы! (С, 1848, 1858)
³⁸ у рестораторов / у ресторатёров (С, 1848, 1858)

С. 389.

4—5 *После*: являли ему — в страшном виде (С, 1848, 1858)

11—12 было одето туманом, но не тяжелым, предвещающим ненастье / было одето туманом, но не тяжелым, удушливым туманом, предвещающим ненастье (С, 1848, 1858); было одето туманом, предвещающим не ненастье (1862, 1868)

15 *После*: холод, тоска... — Он стал рассматривать свою прошлую жизнь — и подымалась (поднялась (1848, 1858)) буря. Когда он мысленно приблизился к последним, только что прожитым опытам, буря начала утихать; но долго еще несбывшиеся надежды, разбившиеся (разбивавшиеся (1858)) о действительность мечты ходили как неулегшиеся волны. Наконец всё стихло, началась вечная тишь. (С, 1848, 1858)

16 вопрошая / пытая (1868)

17 видел / увидел (С)

22 *После*: а живи! — зачем?.. (С, 1848, 1858)

23 знал / знает (С)

С. 390.

15 всё вместе / все вместе (1862, 1868)

15 на устах / на губах (1868)

20—21 *Слов*: так, дрянь какую-нибудь — нет. (1868)

31 Счастье / Прямое счастье (С)

32 фантасмагория, обман / всё в обмане (С)

37 *После*: тяжкую ношу — простого труда (1868)

42—44 *Текста*: Опыты только ~ и не дали света. — нет. (С, 1848, 1858)

С. 391.

33 который / которая (С, 1848)

34—35 *Слов*: во мне — нет. (С, 1848)

44 соперничества! / соперников. (1868)

С. 392.

4—6 не рассмотрев ~ чего-нибудь еще / не рассмотревши ее так пристально, ждал бы там еще (С); не рассмотревши ее пристально, ждал бы там от нее чего-нибудь еще (1848)

13 *После*: и многие другие... — Зачем я уезжал? я бы не узнал там, что счастья нет, и был бы счастлив этим самым незнанием, был бы беспечен, как слепой на краю пропасти, и никогда не прозрел бы, никогда бы не упал! (С, 1848, 1858)

13—14 И вот теперь!.. / А теперь!.. (С, 1848, 1858)

16—17 к жизни / в жизни (С)

С. 394.

12 *После*: сам наблюдал — поплеывая в сторону и (1868)

28—29 Отходите! дальше / Отходите дальше (С, 1848)

35 *Слова*: почти — нет. (1868)

43 роста / росту (С, 1848)

С. 395.

14 промолвил / примолвил (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

34 вот что / вон что (С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)

43 *После*: нежели Костяков. — У ног его лежала удочка из тростника с медными клапанами, на берегу валялся затейливый снаряд красного дерева с крючками, лёсами, искусственными мухами. (С, 1848, 1858)

С. 396.

¹⁻³ Она быстро заметила ~ оттенок грусти. / Она рассмотрела и лицо его; одним взглядом успела прочесть на этом лице не грубую и простую мысль, как у Костякова, а возделанную воспитанием, — успела даже заметить оттенок грусти. (С, 1848, 1858)

⁵ бегать / бежать (1868)

⁸ Ей уж было / Ей было (1868)

¹⁰ Слова: даже — нет. (С)

²² Во второй день / На третий день (1868)

²⁶ После: ничего! — Ах, клюет... (1868)

²⁹ крестьянин / мужик (1868)

³⁸ После: говорю тебе, мужик! — Под руку говорит! (1868)

³⁹ Фразы: Боже сохрани ~ в минуту неудачи! — нет. (1868)

⁴⁰ На третий день, когда они молча удили / Они молча удили (1868)

С. 397.

⁵ косыночку / косынку (1868)

С. 398.

⁷ После: досадно — от этой невнимательности (С)

⁹ она / и она (С, 1848, 1858)

¹³ обдумала / обдумывала (С)

²⁰ После: панталоны — без штрипок (С, 1848, 1858)

⁴² бродить вдоль берега / вдоль берега гулять (С)

⁴³⁻⁴⁴ прибавил / примолвил (С, 1848, 1858)

С. 399.

³⁹ книги / книгу (С, 1848, 1858)

С. 400.

⁴ Слова: атаки — нет. (С)

С. 401.

²⁵ После: ручка — не знаю (С, 1848, 1858)

⁴³ лишь / только (С)

С. 402.

²⁷ и благоухание / и аромат (1868)

³⁷ Слов: во всем — нет. (1868)

³⁷ После: во всем... — ваша воля для меня будет законом... (С, 1848, 1858)

С. 403.

⁴ Вальтер-Скотта / Вальтера Скотта (С, 1848, 1862)

⁴ несколько / нескольких (С)

¹² возражал на это / возразил (С)

¹⁵ пихал / пхал (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

¹⁸ усиленным / вдвое усиленным (С, 1848, 1858)

²³ После: на речку. — Он уж говорил с Лизой о писателях технически, как добрый учитель словесности, не пускаясь слишком глубоко в разбор о красотах и тем сильнее возбуждал ее любопытство. (С)

²⁵ Костякову ~ готовилась / Костякова каждый вечер ожидала (С)

С. 404.

⁹ Фразы: — Да; а что? — нет. (1862, 1868)

- 22 прибавила / примолвила (С, 1848, 1858)
 33 Слова: он — нет. (С)
 43—44 и покачал головой / но не сказал ничего (1868)
- С. 405.
 22 Фразы: О, я тверд! — нет. (1868)
 23—24 Я не паду во прах / Я не паду сам (1868)
 41 шепчет / шепнет (С)
- С. 406.
 11 промолвила / примолвила (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
 14 Она докончила / Она остановилась и докончила (С)
 30 Слов: ей-богу, далек — нет. (1868)
- С. 407.
 6—7 один, без удочки / без Костякова, даже без удочки (С)
 14 После: за фалду — потом крепко взял за руку (С)
 19 как и всякий вор / как всякий вор (1868)
- С. 408.
 2 глупая девчонка / глупая девочка (1868)
 42 промолвил / примолвил (С, 1848, 1858, 1868)
- С. 409.
 2 на реку / на речку (С)
 14—15 Слов: ни звонких голосов по берегам — нет. (С)
 21 открыть ему тайну / «открыть ему тайну» (1868)
- С. 410.
 3 V / Глава V (С, 1848, 1858)
 8—9 на берегу реки / на берегу какой-нибудь реки (С)
 18 говорил / воскликнул (С, 1848, 1858)
 19—20 опять в эту толпу ~ притворства / опять в толпу, будить прошлое, сталкиваться с людьми, входить в их интересы, видеть чужие и показывать свои уродливости: зачем? Мало еще было позора (1868)
 27 Слов: Дармоеды проклятые! — нет. (1868)
 30 После: пятнадцать рублей! — Экая лихая болезнь! (С)
 35 После: славно проведем! — Ведь говоришь, так нет! (С, 1848, 1858)
 36 иду туда — и любо / так и туда (1868)
 40 Слов: что ли — нет. (1868)
 41 по шести гривен с человека / пятиалтынный стоит (1868)
- С. 411.
 6—7 кинули! Послушать: эго диво! / чтоб послушать! Так уж лучше в Палкин трактир пойти: там один орган десять тысяч стоит. Вы едите, пьете, а он впридачу — вам так и гудит! (1868)
 12 После: в атласном платке — груди холодно под одной манишкой; воротник фрака упирался в затылок; лакированные сапоги жали (С, 1848, 1858)
 13—14 с чувством благодарности / с чувством благодарила (С, 1848, 1858); благодарила (1868)
 16 но ни слова / но ни слова не сказала (1868)
 20 не успел закрыть рта / не успел кончить зевка (С, 1848, 1858)
 32 в страстный шепот / в страстный, таинственный шепот (С, 1848, 1858)

- 33 *После: смолкли...* — Но толпа еще слушала. (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
- 38 потоком / бурным потоком (С, 1848, 1858)
- 44 плачущие, умоляющие / плачушие, рыдающие, грустные, умоляющие (С, 1848, 1858)
- С. 412.
- 4 слышались / слышалась (С)
- 5 трепетал / затрепетал (С, 1848, 1858)
- 29 обнаружиться / обнаруживаться (С, 1848)
- С. 414.
- 19 миновали / миновались (С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
- 20 В образованном мире / Живучи в образованном мире (С, 1848, 1858)
- 21 невыгоды жизни / этот разлад с жизнью (1868)
- С. 415.
- 11 погубил / уничтожил (С)
- 14—15 *После: презирал ее — бежал, презирал* (С, 1848, 1858)
- 39 в благороднейшем смысле слова / в лучшем смысле слова (1868)
- С. 416.
- 21 *После: со вздохом — это всё он с своим анализом да методами...* (С, 1848, 1858)
- 33 — Не так, как мечтала ~ Ах, ma tante / — С чего вы взяли, что мы с мужем хитрим друг с другом? Я очень счастлива... если не так, как мечтала... Но счастлива иначе; разумнее, может быть, больше... — с замешательством отвечала Лизавета Александровна. — Не высказывайте, прошу вас дружески, никогда этой странной мысли Петру Ивановичу: он может приписать ее мне и упрекнуть...
— Не беспокойтесь, ma tante, — не скажу. Разумнее, говорите вы: (1868)
- 44 *После: с живостью. — Вы забыли талант...* (С, 1848, 1858)
- С. 417.
- 2 *После: лежащего не бьют. — Я смеюсь? — сказала Лизавета Александровна, стараясь скрыть свое замешательство.*
— Да, вы знаете очень хорошо, что у меня нет таланта.
— Совсем нет! — протяжно отвечала она.
— Не притворяйтесь! Да, вероятно, вам и дядюшка показал тогда ответ журналиста...
— Ах, не верьте Петру Ивановичу: вы не знаете, какой он притворщик; ему хотелось, чтоб вы занимались тем же, чем он; от этого он и старался всеми силами делать и говорить всё наперекор вам, он нарочно подучил своего приятеля написать *«дальше такое письмо (1848, 1858)»*. Я уж бранилась с ним за это.
— Не хитрите, ma tante: дядюшка не подучал. Я очень благодарен вам за доброе намерение, но оно не удастся. Пора мне самому знать, без посторонних, о том, что я могу делать и чего нет. (С, 1848, 1858)
- 9 сказала она / сказала она со вздохом (1868)
- 28 вечером / вечер (С, 1848, 1858)
- 29 я стану / я, матушка, стану (С, 1848, 1858)

30 Вот и / Вот зато и (С, 1848, 1858)

С. 418.

1-13 *Текста:* но я вас не виню. ~ Да! а что сделали? — *нет.* (1868)

7 *После:* невозможно... — Вот еще преступление! Что ж тут беды?
— А вот что, — отвечал Александр. (1848, 1858)

11 *После:* Хаос! — сказал он (С, 1848)

13 представили / вы представили (1868)

26 *Слов:* — Какую ты дичь несешь! — *нет.* (1868)

31-33 соткано из иллюзий ~ дружбы... / составляют мечты, надежды, очарование, доверчивость к людям, уверенность в самом себе, потом любовь, дружба — и благородная цель существования. (С, 1848, 1858)

34 что любовь — это вздор / что любовь — вздор (1868)

37-42 сочинял плохие стихи ~ спросила Лизавета Александровна мужа. / тебе подавай кинжалов, резни, крови; ты хотел, чтоб красавица твоя ушла для тебя из дому (из дома (1858)), да еще ночью, если возможно, так при луне, да бежала бы на необитаемые острова, а ты бы защищал ее от зверей и от разбойников, да пел бы под ее балконом по ночам, или сочинял бы стихи, а она бы учила их наизусть... или, еще лучше: хотел, чтоб эта твоя... как, как ее? Груня, что ли? любила тебя до гробовой доски, а ты бы ее так себе, кое-как... ну есть ли во всем этом смысл, скажи на милость?

Александр покраснел.

— А ты как любишь, скажи-ка? — спросила Лизавета Александровна мужа. (С, 1848, 1858)

41-42 сухо спросила Лизавета Александровна мужа / спросила Лизавета Александровна серьезно (1868)

С. 419.

2 *Слова:* симпатической — *нет.* (1868)

4-5 Лизавета Александровна молча и глубоко посмотрела на мужа. / — Ты и это говорил? — спросила Лизавета Александровна. (С, 1848, 1858); Лизавета Александровна смотрела на мужа. (1868)

6 я говорил тебе / мой друг, говорил ему (С, 1848, 1858)

7 ты / он (С, 1848, 1858)

16 знал / узнал (1868)

21 Дашеньке / Верочке (С, 1848, 1858)

С. 420.

13 повторила она монотонно / она покачала головой (С, 1848, 1858)

26-27 холодно заметила Лизавета Александровна. / промолвила Лизавета Александровна, — что? (С, 1848, 1858); заметила Лизавета Александровна. (1868)

36-37 известен публике ~ перебил Петр Иванович. / известен в публике как бездарный писатель, — перебил Петр Иванович, — разве это хорошо? (С, 1848, 1858)

43-44 — Ну, что скажешь? / — Что скажешь? (1868)

С. 421.

8 чины / занятия (1868)

30 *Фразы:* Ну о чем же ты горюешь? — *нет.* (1868)

33 *Фразы:* Не вините же и меня. — *нет.* (С)

36—37 *Слов:* не то говоришь, милый! — *нет.* (1868)

С. 422.

1 — Кто же? / — А кто же? (С, 1848, 1858)

27 разумно / умно (С; 1848, 1858)

29 *Слов:* например, с женой?.. — *нет.* (1868)

32 *Слов:* — А! поясница! — *нет.* (1868)

35 к совершенствованию / к усовершенствованию (С, 1848, 1858)

С. 423.

35 повторила / воскликнула (С, 1848, 1858)

38 повторил Александр / повторили Александр и Лизавета Александровна (С, 1848, 1858)

С. 424.

5—6 говорил один / был как всегда (1868)

19 промолвила / примолвила (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

21 я... привык / я очень, очень привык (С, 1848, 1858)

36 как восемь лет назад / как восемь лет тому назад, но (С); как восемь лет тому назад (1848)

43 промолвила / примолвила (С, 1848, 1858); проговорила (1868)

С. 425.

2 так посечешь / так посадишь в часть (1868)

13 *Слова:* наконец — *нет.* (1868)

22 Я здесь восемь лет / Так! я здесь десять лет (С, 1848, 1858); Я здесь десять лет (1862, 1868)

27—34 Где я страдал ~ спрятался в глубину кареты./ Тут дилижанс круто повернул к заставе, город скрылся у него из глаз, не дослушав его излияний... (1868)

35 VI / Глава VI (С, 1848, 1858)

С. 426.

1—2 плавучих / зеленых (С)

10 ключей / ключа (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

24 взгляд / взоры (С)

35 затосковало / тосковало (1868)

С. 426—427.

39—7 *Фразы:* Туча надвигалась ~ непроницаемый свод. — *нет.* (1868)

С. 427.

9 Вот от лесу / От лесу (1868)

11 путнику / прохожему (1868)

16 крестьянки / бабы (1868)

С. 428.

16 захромала / захромал (1868)

24 на Кузнечном мосту / на Кузнецком мосту (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

С. 429.

9 и закусил / и сам закусил (С)

10 как ни удерживали / как ни унимали (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

15 с муженьком-то / с муженьком (С)

- С. 430.
 18–19 опять указал / показал (С)
 32 доташились / доташилась (С, 1848)
- С. 431.
 1 бы / было (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
 1–2 *Фразы:* Что вы не велите стреножить? — нет. (1868)
 3 зазвенел / раздался (С)
 12 вон и Евсей / вот и Евсей (1868)
- С. 432.
 1–2 приговаривала / проговаривала (С)
 23 *После:* весь в пыли — с одурелыми глазами (1868)
 26 Увидя / Увидев (С, 1848)
 30–31 и нахмурилась / и зашипела (1868)
 43 не поглядев / не поглядевши (С, 1848)
- С. 433.
 5 выговорил Евсей / выговорил наконец Евсей (С, 1848, 1858)
 9 почти новых / почти совсем новых (С)
 10 нашел что / нашел чего (С, 1848, 1862)
 11–12 как же! ~ стану я с тобой играть! / Ну не дурак ли? (1868)
 34 не смели говорить и дышать вслух / не дышали (1868)
 34 без сапог / без сапогов (С)
 35 послать / позвать (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
- С. 434.
 5 промолвила / примолвила (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
 21 дело делать, так вас / надо делать, так вас (1848, 1862, 1868, 1883, 1884)
 32 — Видишь, мерзавка, / — Мерзавка! (1868)
 33 *Слов:* польстилась на хорошее-то белье! — нет. (1868)
 35 справить / исполнить (С)
- С. 435.
 6 всё / все (С, 1848, 1858)
 29 промолвила / примолвила (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
- С. 436.
 40 промолвила / примолвила (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
 44 замялся / помялся (С)
- С. 437.
 6 *Слова:* одни — нет. (1868)
 31 плохое-с / плохо-с (1868)
- С. 438.
 6 огурцы? — спросил он / огурцы-то? — спросил Антон Иваныч (С)
 25 у французов всё есть / там всё есть (1868)
 38 там и пиво / а там и пиво (1868)
- С. 439.
 11 кончат / покончат (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
 30 склянок / стлянок (1858, 1862, 1868, 1883)
- С. 440.
 2 промолвил / примолвил (С, 1848, 1858, 1862, 1868)

- С. 441.
⁴⁰ так пройдет / пройдет (1868)
- С. 442.
⁷ куколка / пупочка (С)
- С. 443.
⁷ Может быть, тебе скучно одному / Или не скучно ли тебе одному (1868)
¹⁸ Александр / а Александр (1862)
²⁴ Слов: у выхода — нет. (С)
²⁹ После: молясь — может быть, о тихой смерти. (С, 1848, 1858)
^{33–34} громко раздавались / звонко раздавались (1868)
- С. 444.
^{7–8} как она ~ говорила / как, указывая ему на звезды, она говорила (1868)
¹⁷ сомнения / одни сомнения (С)
- С. 445.
⁵ — Откуда вы ее взяли? / — Откуда вы взяли эту Никитишну? (1868)
¹⁹ водворили / водворяли (С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883)
²⁷ там он так часто падал / так часто падал (1862, 1868)
- С. 446.
³⁷ взглядом / взором (С, 1848, 1858)
- С. 447.
³ Мужики / Вот мужики (С)
⁸ Белокурые / Белокудрые (1848, 1858, 1862, 1868)
⁸ подняв / поднявши (С, 1848)
²⁵ смотреть / посмотреть (С)
²⁸ вникать в дело глубже и пристальнее / изучать дело на практике (1868)
³⁴ надсадил / надсадить (С)
- С. 448.
⁹ душа и тело просили деятельности / ум не спал, просил деятельности (1868)
²⁴ После: пора, пора! — Боже, Боже! (С); Материалу набралось много: в природе я разглядываю не одни цветы, гляжу не на одно небо, а и в землю, знаю, чего она стоит, что производит и что стоит труд человека... И это всё, и самую жизнь узнал не по одним книгам... Пора, пора! (1868)
²⁷ После: вышли в люди — служат обществу... (1868)
⁴³ назад / тому назад (С, 1848)
- С. 449.
³ навсегда / и бегу навсегда (С, 1848, 1858)
⁷ исцелить / целить (1848, 1858, 1862, 1868)
⁹ и другую / и на другую (С, 1848, 1858)
^{23–24} и собственного опыта / и собственных опытов (1868)
- С. 450.
⁹ После: стремиться вперед — очищаться, улучшаться (1868)
¹⁴ кончается / кончена (С, 1848, 1858)

- 27 а прекрасным опытом / не конечным разрушением, а только переходом к возрождению (1868)
- С. 451.
- 17 Что касается *творчества* / Что касается *до творчества* (С, 1848)
- 25–26 *Слов:* исполином — ловцом пред Господом — *нет.* (1868)
- 36 заклеить позорною бранью эти / бросать камень в эти (1868)
- 40–42 *Текста:* торжественной песни ~ героическим временам? — *нет.* (1868)
- 41–42 героическим временам / героическим временам прошедшего (С)
- 43 он бросит / бросает свой (1868)
- С. 452.
- 2 но что их / но не отрекаюсь от них (1868)
- 8–9 следовали рабски / следовали бы рабски (С)
- 17 отрекаетесь? / что, отрекаетесь? (С)
- 24 гонений / нападков (С)
- 26 *После:* и какой документ — писанный вашей кровью!!! (С)
- 33 Я не премину / который и не премину (С)
- С. 453.
- 10–11 не так бодры, взгляд не так тверд и самоуверен / не так живы, взгляд не так остер (С, 1848)
- 11 не так тверд / не так жив (1868)
- 17 хотя оно и имело / хотя и оно имело (С, 1848)
- 23 На кресле / На креслах (С, 1848)
- 23 роста / росту (С, 1848)
- 31–32 и часто в лице своем соединяет / и часто соединяет в лице своем (С, 1848, 1858)
- 35 А доктор / Нет! доктор (С, 1848)
- 38–39 Он член какого-то совета, секретарь какого-то общества / Он и член какого-то общества, и секретарь (С, 1848)
- С. 454.
- 22 покоя / покою (С)
- 23 и дела / и свои дела (С, 1848); и дела свои (1858)
- С. 455.
- 6 *После:* гм! — она не знает, что такое нужда, доктор! (С, 1848, 1858)
- 8 *После:* сказал доктор — живете прекрасно (С, 1848, 1858)
- 10 *После:* в Лондоне живет... — как его? (С, 1848, 1858)
- 19 повторяю / повторю (С)
- 21–22 Малокровие, некоторый упадок сил / Она только не пользуется тем здоровьем, каким бы в ее лета могла пользоваться (С, 1848, 1858)
- С. 456.
- 7–8 *После:* южной женщины. — Нет! (С, 1848, 1858)
- 13–14 *Слов:* всех этих мимолетных молний ~ души... — *нет.* (1868)
- 30 около полуторы тысячи рублей / около 1500 рублей (С, 1848, 1858)
- С. 457.
- 4 *После:* — Оставаться — тебе (С)
- 7 *Слов:* сказала Лизавета Александровна — *нет.* (1868)
- 35 осилить волю / осилить свою волю (С)

- 35—36 *После*: не принуждал тебя — ты могла делать и не делать. (С)
37 стеснять / стеснить (С, 1848, 1858, 1862, 1868)
- С. 459.
- 8 *Слов*: я устаю — нет. (С, 1848, 1858)
10—15 смотрел, как бы это сказать? ~ Он долго молча глядел на нее / долго молча глядел на нее (1868)
18 прочитал причину того равнодушия / читал только апатию, неисцелимое ко всему равнодушие (1868)
19 *Слова*: тогда — нет. (1868)
25 *Слова*: законом — нет. (1868)
37—38 не от грубого понятия его о сердце / не от грубости понимания им сердца (1868)
38 он знал его / нет! он знал его (С)
- С. 460.
- 12 пасть / упасть (1868)
14 всех трудов / всех его трудов (С, 1848)
25 *После*: чувствовал только — что ценит ее достоинства и уважает ее как безупречную исполнительницу того немудреного назначения и нетрудного долга, который сам же начертал ей. Это только и выражалось в нем, да еще то (1868)
39—40 может быть, то же ~ нужно и возможно. / то же, то есть дать ей неопровержимое доказательство своей привязанности, принести жертву, но иначе, так, как это теперь было нужно и возможно, оставаясь верным своему образу мыслей и характеру. Иначе она не поверит и не примет ее. (1868)
- С. 461.,
- 13 Я вполне уверена / Я очень уверена (С, 1848, 1858)
26 — Я его продам. / — Я его через месяц продам. (С, 1848, 1858)
36—38 не посвящу остатка жизни ~ прибавил он с упреком. / не откажусь от всех других целей. (1868)
- С. 461—462.
- 44—1 Я не стою этой жертвы! Прости / Я не стою этой жертвы, прости (С, 1848)
1 *После*: не стою этой жертвы! — Это не жертва, — перебил он ее, — ты одна цель моей жизни...
— Нет, не я: не говори этого! — решительно сказала она, — послушай... (1868)
- С. 462.
- 2—3 твои высокие цели, благородные труды / твои цели и труды (1868)
5—6 Еще великодушие! ~ пожимая плечами. / Она казнила его своим великодушием, но он не выразил боли ни словом, ни взглядом. (1868)
6 *После*: Лиза! — сказал он, ходя в волнении взад и вперед. (1868)
12—13 что эта жертва тяжела для меня / что это — жертва, повторяю я (1868)
13—14 Я хочу отдохнуть / Я устал и сам, хочу отдохнуть (1868)
21 *После*: Петр Иванович — по крайней мере вслух: (С, 1848, 1858)
23 не одной головой / не одним этим, — он указал на голову (С, 1848)

28—29 — А если для меня ~ я нездоров, устал... / — Что же ты станешь делать в Италии: ты, привыкший к деятельности?

— Путешествие — тоже занятие. Будем читать, изучать древности... А ухаживать за тобой! Это будет и моей службой, и отдыхом. — Он взял ее за обе руки и более пылливо, нежели нежно, глядел ей в глаза.

— И всё это для меня! — в тоске твердила она.

— Нет, нет! (Точно, точно! (С)) я нездоров сам, устал.

(1868)

31 едем / поедем (С)

34 *После*: подумал он — я всё сделал, всё! (1868)

43 и пожал / и прерадушно пожал (С, 1848)

С. 463.

6 назад / тому назад (С, 1848)

16 воскликнул / произнес (1868)

22 *После*: от них — и оттуда тотчас к вам. (С)

23 со слезами на глазах / с улыбкой (1868)

25 спокойно / покойно (С, 1848, 1858)

37—38 Вам всё равно? Зачем же вы женитесь? / — Пробовал, ma tante: несколько раз заговаривал, да ничего не добился. Конфузится, плачет...

— Да вы сами-то любите ее?

— Как вам сказать, ma tante: она недурна собой, хорошо воспитана, ну и...

— Зачем вы женитесь? спросили ли вы себя? (1868)

С. 464.

7—8 Вы лучше меня говорите... / Вы так хорошо рассказываете... (С, 1848)

18 *После*: видя, что дядя — машет ему обеими руками и (С, 1848)

18—19 *Слов*: с разинутым ртом — нет. (1868)

37 *После*: зверское лицо — и замахал рукой... (С, 1848)

44 Покажи-ка голову. / А ну-ка покажи голову: теперь у самого лысина, а женишься! что? (С, 1848); Покажи-ко голову. (1858, 1862, 1868)

С. 465.

39 в вечный упрек вам / на вечное хранение (С, 1848, 1858)

С. 466.

5 от тетушки / в деревне (С, 1848, 1858)

11 — Плакал, плакал! / — Плакал, плакал, ей-богу, плакал, (С, 1848, 1858)

18—19 перестанете колоть мне ими глаза / не станете помнить о (поминать об (С)) них (1848, 1858, 1862, 1868)

38 *После*: любишь же меня... — что, не правда? (С, 1848); не правда ли? (1858)

С. 467.

6 — О чем вы вздохнули / — О чем же вздохнули (С, 1848, 1858)

6 он / Александр (С)

8 — Неужели вы желали бы / — Неужели бы вы желали (С)

9 лет десять / десять лет (С, 1848, 1858, 1862)

16 письмо / прекрасное письмо (1868)

16—17 *Слов*: Как вы хороши были там! — нет. (1868)

- 18 *Слова*: тоже — нет. (С, 1848)
 19–20 растолковали себе жизнь / растолковали *⟨далее: себе (1848)⟩*, как надо жить (С, 1848)
 20 прекрасны, благородны, умны / так хороши, так человечны, умны (1868)
 24–25 не умен и... не благороден / не хорош и не умен (1868)
 41 дела / свои дела (С, 1848, 1858)
 42–43 *Слов*: в изумлении воскликнул Александр — нет. (1868)
- С. 468.
 18 прекрасно, разумеется / прекрасно, Александр, разумеется (С, 1848, 1858)
 22 в небеса / на небеса (С, 1848, 1862)
 24 только... / кроме... (С)
 25 — Только что / — Кроме чего (С)
 27 *После*: твоей жены... — прибавил он серьезно. (1868)
 28 *После*: это любопытно. — Вы, конечно, дадите умный, практический совет — и я ему последую... (1868)
 35 *Слова*: почти — нет. (С, 1848)
 35–36 закричал Петр Иваныч почти с испугом / сказал Петр Иваныч (1868)
 37 *Слов*: сегодня сказал, что — нет. (1868)
 38 *Слов*: теперь же — нет. (1868)
 41 вскочил с кресел / встал с кресел (1868)
- С. 469.
 5–6 *Слов*: спросил Петр Иваныч тихо, не двигаясь с места. — нет. (1868)
 11 любуюсь им. / любуюсь на племянника: (С, 1848, 1858)
 11 *Текста*: и вдруг! всё, всё!.. — нет. (1868)
 22 провозгласил / воскликнул (С, 1848, 1858)

⟨«Хорошо или дурно жить на свете?»⟩

(С. 507)

Варианты автографа

- С. 507.
 14–15 от нее пробуждаешься, как от обморока / и как пробуждаешься от обморока, так пробуждаешься от нее
 26 *Слова*: живых — нет.
 27 есть / там есть
 27–28 высокие искусства / искусства
 32 труде и обязанностях / о труде, об обязанностях
- С. 508.
 6 *Слова*: оно — нет.
 9–10 *Слов*: с колоннадою — нет.
 12 муравейник / мир
 15 кипит шум / весь шум
 20 А внутри / Внутри
 31 *Вместо*: ты в царстве женщин — *было*: А где вы, сильные, гордые повелители, где ваш ум?

- 35—36 свой печальный черед / печальный черед
40 слышным / заметным
44 выше / а. вверх б. ввысь

С. 509.

- 5—6 откуда доносятся до слуха / до слуха доно(сятся)
18—19 мы теперь у нее среди тех существ / мы в сонме тех существ
25 высказывать / говорить
28 о войне / об войне
35 отмежевали в удел / отмежевали
37 перед сочетанием этих двух сил / перед сочетанием двух сил —
ума и красоты
42 оставляя изредка / изредка оставляя
44 Верховный / а. Первый б. Первенствующий

С. 510.

- 3 пронесутся когда-нибудь / некогда пронесутся
7 20-летние / юные
7—8 которые тотчас гасят свой фонарь и прячут ненависть к людям /
прячушие ненависть к людям
21 Прихожу сюда и я / *Нсчато*: И я
24 *Слова*: мешает — нет.
24 один / один только
25 предстоит / предстоит здесь
32 *После*: мудрецов — *было начато*: но занял не там
33—34 одна книжная мудрость / книжная мудрость
35 там ум / где ум
43 обрести / найти

С. 511.

- 3 его сурового взора / сурового взора
4 сумеет найти / найдет
13—14 свободна, весела и игрива / свободна и весела

ПРИМЕЧАНИЯ

В первый том настоящего издания включены ранние, не издававшиеся при жизни произведения Гончарова, атрибуция которых не вызывает сомнения (стихотворения, повести «Лихая болезнь» и «Счастливая ошибка»), «очерки» «Иван Савич Поджабрин» и роман «Обыкновенная история». Здесь же публикуются фельетон «Письма столичного друга к провинциальному жениху», публицистические опыты конца 1840-х гг. и — в разделе «Приложения» — мелкие полубеллетристические сочинения начала 1840-х гг. и перевод двух глав романа Э. Сю «Атар-Гюль», от которого Гончаров вел отсчет своей литературной деятельности.

Тексты произведений, входящих в настоящий том, подготовили и примечания к ним составили: А. Ю. Балакин («Иван Савич Поджабрин» — текст, текстологическая часть комментария, «Пепиньерка» — текст и примечания (совместно с А. Г. Гродецкой)), А. Г. Гродецкая (стихотворения, «Лихая болезнь», «Счастливая ошибка», «Иван Савич Поджабрин» — реальный комментарий, «Обыкновенная история» — реальный комментарий (совместно с И. Д. Якубович), «В. Н. Майков», «(Хорошо или дурно жить на свете?)», «Упрек. Объяснение. Прощание»), С. Н. Гуськов («Обыкновенная история» — примечания, разд. 4), Н. В. Калинина («Письма столичного друга к провинциальному жениху» — примечания, «Светский человек, или Руководство к познанию правил общежития» — примечания), Т. И. Орнатская («Обыкновенная история» — текст, первопечатная редакция; варианты (при участии Э. Г. Гайнцевой, С. Н. Гуськова, Н. В. Калининой, И. Д. Якубович), примечания, разд. 1), В. О. Пантин (перевод отрывка из романа Э. Сю «Атар-Гюль»), А. В. Романова («Письма столичного друга к провинциальному жениху» — текст, «Светский человек, или Руководство к познанию правил общежития» — текст), Н. Д. Старосельская («Обыкновенная история» — примечания, разд. 5 (при участии Н. В. Калининой)), В. А. Туниманов («Иван Савич Поджабрин» — историко-литературный комментарий, «Обыкновенная история» — примечания, разд. 2, 3).

Редакторы тома — Т. И. Орнатская и В. А. Туниманов. Вступительная статья к разделу «Примечания» написана А. Г. Гродецкой и В. А. Тунимановым.

Редакционно-техническая работа по подготовке рукописи тома к печати осуществлена А. Г. Гродецкой и Н. В. Калининой.

1

По словам писателя, Вал. Майков шутя признавался, что начал его некролог фразой: «Гончаров поздно понял свое назначение» (письмо Гончарова А. П. и Ю. Д. Ефремовым от 22 июля (3 августа) 1847 г.).

Действительно, особенность творческого пути романиста составлял исключительно долгий «допечатный» период. Опубликован анонимно в 1832 г. в надеждинском «Телескопе» перевод отрывка из романа Э. Сю «Атар-Гюль» (факт, отмеченный в Автобиографии 1867 г.), он становится известен читателю только в 1847 г. как автор «Обыкновенной истории», имевшей, по словам В. Г. Белинского, «небывалый успех» и удивившей современников зрелостью таланта «начинающего» писателя.

Вообще не склонный к автоматическим признаниям, уничтоживший значительную часть своего архива и, кроме того, предельно критичный в оценке своих ранних «экзерциций пера», Гончаров оставил о них самые немногочисленные свидетельства. Так, в январском письме 1884 г. к вел. князю Константину Константиновичу он признавался, что «с 14—15-летнего возраста, не подозревая в себе никакого таланта, читал всё, что попадалось под руку, и писал сам *непрестанно*». «Потом, — сообщает он далее, — я стал переводить массы — из *Гете*, например, только не стихами, за которые я никогда не брался, а многие его прозаические сочинения, из *Шиллера*, *Винкельмана* и др. И всё это без всякой практической цели, а просто из влечения писать, учиться, заниматься, в смутной надежде, что выйдет что-нибудь. Кипами исписанной бумаги я топил потом печки.

Всё это чтение и писание выработало мне, однако, перо и сообщило, бессознательно, писательские приемы и практику».

«По окончании курса наук в университете, — значит в Автобиографии 1858 г., — И. А. Гончаров приехал, в 1835 году, в Петербург и, следуя общему в то время примеру, определился на службу. Сначала он получил место переводчика по Министерству финансов, а потом столоначальника и оставался в этой должности до 1852 года...¹

Все свободное от службы время посвящалось литературе. И. А. Гончаров много переводил из Шиллера, Гете (прозаические сочинения), Винкельмана и некоторых английских романистов, но все эти труды свои потом уничтожал. Сблизившись коротко с семейством артиста-живописца Н. А. Майкова (отца известного поэта), И. А. Гончаров принял, хотя и довольно слабое, участие в тех журналах, в которых были сотрудниками некоторые из друзей Майковых. Таким образом он перевел и переделал с иностранных языков несколько статей различного содержания и поместил их в журналах без подписи, но с половины сороковых годов он выступает на литературное поприще, уже не скрывая своего имени...».

Черновой автограф Автобиографии 1858 г. содержал более подробные сведения (не вошедшие в окончательный текст, опубликованный «Русским художественным листком») ² о первых «непубличных» литературных опытах начинающего автора в кружке Майковых. «Он писал в этом домашнем кругу, — сообщал о себе Гончаров, — и повести, также домашнего содержания, то есть такие, которые относились к частным

¹ О служебной карьере Гончарова см. подробнее: *Муратов А. Б.* И. А. Гончаров в Министерстве финансов // *Гончаров. Новые материалы*. С. 37—57; *Лобкарева А. В.* Новые материалы о службе И. А. Гончарова в Департаменте внешней торговли // *Гончаров. Материалы*. С. 291—296.

² См.: *РХЛ*. 1859. № 14. 10 мая. С. 37—38. Со времени публикации А. Мазоном автографа (*РС*. 1911. № 10. С. 34—41) именно этот текст воспроизводился в собраниях сочинений Гончарова (1952; 1952—1955; 1977).

случаям или лицам, более шуточного содержания и ничем не замечательные».

Едва ли изъятие из печатного текста первой Автобиографии упоминания о «ничем не замечательных» повестях было сделано без ведома автора, по воле редакции «Русского художественного листка». Гончаров, как уже говорилось, сознательно избегал каких бы то ни было, кроме самых общих, упоминаний о своих первых шагах в литературе. В Автобиографии 1867 г. он сообщал, что по приезде в Петербург «продолжал заниматься литературою, то есть читать и переводить, делать извлечения, преимущественно из немецких и английских писателей, для себя, в виде упражнений, пока без намерения печатать. Он сблизился с некоторыми домами, любившими литературу, и пробовал силы в домашних сборниках, составляемых из сочинений небольшого круга друзей».

Повести «Лихая болезнь» (1838) и «Счастливая ошибка» (1839), помещенные на страницах рукописного журнала семьи Майковых «Подснежник» и альманаха «Лунные ночи», не включались Гончаровым в прижизненные собрания сочинений и ни разу не были им упомянуты в переписке.

Говоря о первых своих печатных выступлениях в тех журналах, где сотрудничали «некоторые из друзей Майковых», Гончаров прежде всего имел в виду «Библиотеку для чтения». Соредактором О. И. Сенковского во второй половине 1830-х—1842 гг. был близкий друг Майковых В. Андр. Солоницын, сослуживец Гончарова по Департаменту внешней торговли. О публикациях в «Библиотеке для чтения» Гончаров упоминал и в мемуарах «В университете». «Тогда я почуствовал смутное влечение к перу, — вспоминал он первые послеуниверситетские годы в Петербурге, — много переводил, больше для себя, без всякой цели. Но иногда случалось, очень редко, через одного знакомого сотрудника „Библ(иотеки) для чт(ения)“ (под редакцией Сенковского) напечатать несколько компиляций и переводов».¹

До сегодняшнего дня остаются неразысканными и неатрибутированными «компиляции и переводы» молодого писателя. И не только их анонимность затрудняет атрибуцию, но и известная стилистическая унифицированность всех публиковавшихся в «Библиотеке для чтения» материалов.

Исключительно скупы автодокументальные свидетельства в обширном эпистолярном наследии писателя. Перечень его ранних произведений пополняется лишь благодаря переписке Майковых, в которой имеются сведения о выпускавшейся ими в 1842 г. юмористической газете (для нее Гончаровым были написаны какие-то не дошедшие до нас статьи — см. ниже, с. 620) и о «комедии», прочитанной молодым писателем в Екатерининском институте весной 1843 г. (см. ниже, с. 812—813). Наконец, в парижских письмах к Гончарову В. Андр. Солоницына от 6 марта и 25 апреля 1844 г. речь идет о начале молодым писателем и незавершенном романе «Старики» (подробнее см. ниже, с. 623—625).

Мемуарные источники сообщают единичные и далеко не всегда надежные данные о ранних опытах Гончарова. Так, упоминание С. Шпицером² несохранившегося рассказа «Подснежник», вероятно, является не более как отголоском сведений о рукописном журнале Майковых.

¹ РНБ, ф. 209, № 4, л. 23 об.; в печатный текст не вошло.

² См.: Шпицер С. Забытый классик: Материалы для биографии И. А. Гончарова // ИВ. 1911. № 11. С. 684; см. также: Летопись. С. 21.

Г. Н. Потанин упоминает (не называя их) два рассказа, написанные Гончаровым для майковских журналов.¹ Не содержат дополнительной информации и известные мемуары посещавших дом Майковых и знакомых с их «домашней» литературой И. И. Панаева, Д. В. Григорovichа, А. В. Старчевского.

Подчеркнутая сдержанность, скудость сведений о пройденном литературном пути в гончаровских Автобиографиях и переписке — одно из свидетельств повышенной требовательности к себе писателя, до преклонных лет сохранившего убеждение, что первые литературные опыты любого автора, независимо от степени его дарования, подлежат уничтожению. В цитированном выше письме к вел. князю Константину Константиновичу, имея в виду поэтический сборник своего «августейшего корреспондента», Гончаров писал: «Может быть, — и, вероятно, так будет со временем, автор уничтожит эти первые опыты, когда напишет вторые и третьи, и те уже назовет первыми опытами. И у Пушкина „Бахчисарайский фонтан“, „Кавказский пленник“ — вовсе были не первыми: им должны были предшествовать многие-многие младенческие шаги, которые он, конечно, бросил. Нельзя же сразу, в первый раз сесть да написать „Руслана и Людмилу“ или „Кавказ(ского) пленника“. К этим первым произведениям вела, конечно, длинная подготовительная дорога — с трудом, разочарованиями, муками одоления техники и т. д.»

2

«Майковский» период творчества Гончарова, сыгравший немалую роль в процессе осознания им своего писательского призвания, достаточно подробно освещен в научной и биографической литературе,² однако в ней имеются и белые пятна, и фактические ошибки, и закономерные для ряда работ 1930—1950-х гг. идеологические упрощения.

Гончаров знакомится с семьей Николая Аполлоновича и Евгении Петровны Майковых вскоре после приезда в Петербург в 1835 г., вероятно, через В. Андр. Солоницына.³ В дом Майковых он входит как учитель старших сыновей — Аполлона и Валериана, которым преподает

¹ См.: *Гончаров в воспоминаниях*. С. 32 (сведениям Потанина, как известно, не всегда можно доверять: его воспоминания изобилуют фактическими ошибками — см.: Там же. С. 263).

² См.: *Мазон*. Р. 51—56; *Ляцкий*. С. 109—114; *Ляцкий. Роман и жизнь*. С. 111—117; *Пиксанов. Белинский в борьбе за Гончарова*. С. 58—66; *Цейтлин*. С. 28—30; *Рыбасов*. С. 28—48; *Евстратов; Демиховская; Деркач; Сомов В. П.*: 1) Анонимная повесть «Красный человек» в рукописном журнале Майковых // *Гончаров. Новые материалы*. С. 99—108; 2) «Редакция „Подснежника“ имеет честь предложить...»: (О неизвестной пародии И. А. Гончарова) // *РЛ*. 1970. № 3. С. 92—99; *Гродецкая А. Г.* Литературное окружение молодого Гончарова: (по материалам архива Пушкинского Дома) // *Гончаров. Материалы*. С. 55—66.

³ Впрочем, Гончаров еще по Москве знал Юнию Дмитриевну Гусятникову (в замужестве Ефремову), племянницу Евг. П. Майковой; 1833 г. Гончаров датировал (см. его письмо к Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября 1852 г.) начало своего длительного и безответного увлечения «Юнинькой», впоследствии не раз шутливо обыгранного как в письмах, так и в прозе (см. комментарий к «Лихой болести», с. 633).

русскую словесность, поэтику и риторику, латынь, готовя их к поступлению на юридический факультет Петербургского университета. Дом Майковых, по-московски открытый для многочисленных родных и друзей (семья переезжает в Петербург в 1834 г.), на протяжении двух десятилетий остается центром литературного кружка, менявшего свой состав, но сохранявшего, по признанию как Гончарова (см. в некрологе «Н. А. Майков», 1873), так и других его участников (в 1840-е гг. это И. И. Панаев, Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Д. В. Григорович, С. С. Дудышкин, А. В. Старчевский, Ф. М. и М. М. Достоевские и др.), живую творческую атмосферу.¹

В 1835—1838 гг. в майковском кружке издается рукописный журнал «Подснежник»,² в 1839 г. — альманах «Лунные ночи», на страницах которых и появляются первые стихотворения и повести Гончарова, связанные, как отмечалось выше, определенным «домашним» литера-

¹ Общая оценка литературного дома Майковых как «барски-эстетского салона» (см.: *Цейтлин*. С. 30), противоречащая большинству мемуарных свидетельств (И. И. Панаева, Д. В. Григоровича, А. В. Старчевского, С. Д. Яновского, Е. А. Штакеншнейдер и др.; см. также ниже, с. 821—822), отчасти уже пересмотрена в работах Н. К. Пиксанова, Н. Г. Евстратова, О. А. Демиховской, С. С. Деркача, справедливо писавших о неоднородном составе майковского кружка, о несомненном влиянии на умонастроения его участников таких крупных ученых и государственных деятелей, как А. П. Заблоцкий-Десятовский, о роли в кружке университетских сокурсников Аполлона и Валериана Майковых и своеобразии рано сформировавшихся научных интересов и общественно-политических взглядов последнего.

² Все три выпуска рукописного журнала, сохранившиеся в семейном архиве Майковых — за 1835, 1836 и 1838 гг., — имеют только архивную датировку (подтверждаемую немногочисленными датами, проставленными под редакционными и стихотворными текстами). В основном же и проза, и стихи в «Подснежнике» не датированы и, по всему судя, писались непосредственно в год «издания» журнала. С датировкой выпусков «Подснежника» связан ряд укоренившихся в исследовательской литературе фактических ошибок и — как результат — необоснованных толкований. Так, первый выпуск журнала был ошибочно датирован 1836 г. в работах: [*Семевский М. И.*]. Аполлон Николаевич Майков в 1836—1839: Рукописный альманах 1839 года // *РС*. 1888. № 5. С. 531; *Златковский М. Л.* Аполлон Николаевич Майков: 1821—1897: Биограф. очерк. 2-е изд., значит. доп. СПб., 1898. С. 16; *Языков Д. Д.* Жизнь и труды А. Н. Майкова: Материалы для истории его литературной деятельности. М., 1898. С. 9 и др. А. П. Рыбасов, опубликовавший впервые в 1938 г. четыре стихотворения Гончарова («Отрывок. Из письма к другу», «Тоска и радость», «Романс», «Утраченный покой»), датировал их 1835—1836 гг., отнеся к 1836 г. № 3 и 4 «Подснежника» за 1835 г., в которых и были помещены последние три из перечисленных стихотворений (ошибочно датированы и в его монографии: *Рыбасов*. С. 36, а также в изд.: *Летопись*. С. 20—21; *Демиховская*. С. 65; *Деркач*. С. 18, хотя ранее датировка корректировалась — см.: *Цейтлин*. С. 33, 450). Только с учетом времени создания стихотворений (год для начинающего автора — немалый срок при стремительно сменявшихся друг друга в середине 1830-х гг. литературных авторитетах) решается проблема зависимости ранних поэтических опытов Гончарова от творчества его современников, будь то Пушкин, Лермонтов или Бенедиктов (подробнее см. ниже, с. 626—627).

турным контекстом, вне которого писатель их не мыслил и без учета которого неполным было бы представление об их содержании.

Инициатором издания, его деятельным сотрудником и редактором, в немалой степени влиявшим на общее направление журнала, был В. Андр. Солоницын. Его безукоризненно четким почерком от первого до последнего листа переписаны тексты в «Подснежнике» за 1835 и 1838 гг. и «Лунных ночах». Рукописные издания Майковых, таким образом, не являются собраниями автографов, нет в них и автографов Гончарова — ни в качестве автора, ни в качестве переписчика.¹

«Подснежник» за 1835 г. составили четыре самостоятельных пронумерованных (№ 1—4) и переплетенных вместе выпуска журнала. В редакционном обращении к читателям с датой «31 декабря 1835 года», предвещающем том, он назван «первой тетрадью»: «Редакция „Подснежника“ просит читателей принять благосклонно эту первую тетрадь ее журнала. По плану, который она предначертала себе, в „Подснежник“ будут входить статьи не только литературные, но и относящиеся до наук и художеств; будут помещены рисунки, чертежи, карты. Редакция „Подснежника“ надеется в этом случае на трудолюбие, познания и искусство своих „юных“ сотрудников и, по мере их помощи, предоставляет себе впоследствии право сделать многие улучшения как в сущности, так и в расположении своего журнала» (цветная вклейка).

По характеру и расположению материалов «Подснежник» был очевидным образом ориентирован на «толстые», «энциклопедические» журналы 1830-х гг., прежде всего на «Библиотеку для чтения». В каждый номер входили поэзия и беллетристика, в том числе переводная, имелся отдел «Смесь», включавший критические статьи (заимствованные из французских и английских периодических изданий); в № 4 за 1835 г. «по требованию читателей» появился и отдел мод. Вместе с тем «Подснежник» несет на себе отпечаток культурной традиции 1820-х гг., эпохи интимно-домашней, «альманашной» литературы, создававшейся в замкнутых кружках дилетантов, «любителей изящного». С этой традицией связаны разнообразные литературные игры (загадки, синонимы и омонимы, «секретари»), шуточные мистификации, отделы приложений с рисунками и нотами. Традиции домашних альбомов и альманахов соответствует и художественное оформление «Подснежника»: многочисленные иллюстрации, заставки, виньетки, рамки выполнены здесь Николаем Аполлоновичем и Аполлоном Майковыми (в «Лунных ночах» в качестве оформителя выступает и Солоницын). К типу «альманашной» тяготеет и сама литературная продукция майковского кружка; изящная словесность постепенно вытесняет со страниц журнала все другие материалы. В «Подснежнике» за 1836 г., разделенном на четыре отдельных, хотя и нумерованных выпуска (с самостоятельной пагинацией), раздел «Смесь» еще присутствует в каждом. «Подснежник» за 1838 г., не имеющий внутреннего деления (пагинация сплошная), завершается небольшим по объему разделом «Смесь». Этот последний том журнала, обозначенный как «Тетрадь XII», открывался обложкой с изображением надгробной урны на могиле издания и с текстом прошального обращения к читателям: «Редакция „Подснежника“, представляя читателям последнюю тетрадь своего журнала, долгом считает изъять им чувствитель-

¹ Единственный автограф (скорописью) — написанная гекзаметром подробная издательская «исповедь» Солоницына, грустная хроника его одиноких многодневных трудов, замыкающая альманах «Лунные ночи» («Эпилог»).

нейшую благодарность за внимание, которого они удостоивали ее труды, а еще более за то снисхождение, с каким они смотрели на недостатки этого журнала и непростительную медленность в выпуске тетрадей. Редакция „Подснежника” льстит себя надеждою, что представленная ныне тетрадь загладит хоть несколько все прежние грехи, и заключая его свое издание, с удовольствием видит, что цель, с которою был начат этот журнал, вполне достигнута» (вклейка).¹ «Лунные ночи» — уже типичный альманах, полностью утративший журнальные черты.

«Подснежник» за 1835 г. объединял главным образом близких родственников и друзей. Большинство произведений в журнале подписано; немногие анонимные, как правило, позволяли угадать имя автора по весьма прозрачным намекам, что составляло одну из форм постоянного шуточных розыгрышей, характерных для отношений внутри майковского кружка. Стихи и прозу для «первой тетради» пишут Евгения Петровна, 14-летний Аполлон, 12-летний Валериан Майковы, со стихами выступил и 9-летний Владимир. Владимир Аполлонович Солоницын, Солик, племянник редактора журнала Владимира Андреевича, также юный автор, «опубликовал» здесь басни и лирические стихотворения. Переводы и шуточные («дьявольские») вальсы и мазурки «присланы» в журнал Константином Аполлоновичем, младшим братом Н. А. Майкова. Это основные сотрудники и последующих выпусков журнала. Немногочисленные стихотворения в «первой тетради» принадлежали другому брату Н. А. Майкова — Леониду Аполлоновичу, и его отцу — Аполлону Александровичу, а также Наталье Александровне Майковой (урожденной Измайловой, дочери известного поэта, баснописца, издателя журнала «Благонамеренный», бывшей замужем за Валерианом Аполлоновичем Майковым; о ней см. также ниже, с. 797). В музыкальных приложениях участвовала и Клеопатра Аполлоновна Майкова. Кроме того, в «Подснежнике» за 1835 г. помещает стихи И. Г. Карелин, малоизвестный поэт, уроженец Оренбурга, постоянный «сотрудник» майковских изданий.² Из литераторов с именем в первом томе журнала представлены П. П. Ершов, успевший к этому времени опубликовать «Конька-Горбунка» (см. его стихотворение «Сцена в лагере» — № 2),³ и А. П. Крюков. Солоницын-старший, близко знавший Крюкова (по Департаменту внешней торговли, где тот служил с 1827 г.), унаследовал бумаги умершего в 1833 г. поэта и последовательно, из номера в номер, помещал

¹ Можно предположить, что «Тетрадь XII» условно объединяла четыре выпуска журнала (как и предыдущие тома): только таким образом решается вопрос об общем числе изданных рукописных «тетрадей» (в сумме их получается 12) и о полной или неполной их сохранности в семейном архиве Майковых.

² Сведения о нем сообщены Н. В. Гавриловой. Стихотворения Карелина в печати появлялись дважды — в сб. «Венера» (М., 1831. Ч. 2) и «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» (1839. Ч. 2). В существующих исследованиях поэт Карелин был ошибочно отождествлен с известным путешественником и естествоиспытателем Г. С. Карелиным (см.: Деркач. С. 24; Краснощекова Е. А.: 1) Примечания // 1977. Т. I. С. 517; 2) «Фрегат „Паллада“»: «Путешествие» как жанр (Н. М. Карамзин и И. А. Гончаров) // РЛ. 1992. № 4. С. 13 и др.).

³ По всей видимости, еще до своего отъезда в Тобольск летом 1836 г. в «Подснежнике» за тот же год Ершов поместит два стихотворения («Русский штык» и «Двадцать пятое декабря» — № 2)), которыми завершится его участие в майковских изданиях.

его стихи в «Подснежнике» (в общей сложности им «опубликовано» 18 стихотворений). Сам факт введения в узкий родственно-дружеский круг произведений хорошо известного автора (стихи и проза Крюкова с середины 1820-х гг. публиковались в «Сыне отечества», «Отечественных записках», «Вестнике Европы», «Северных цветах», «Литературной газете» и других изданиях)¹ свидетельствует о том, что Солоницын-редактор ставил перед собой достаточно широкие воспитательные и просветительские задачи. Поэзия «небесталанного подражателя Пушкина», как назвал Крюкова В. К. Кюхельбекер, при традиционно романтической тематике, много выше по своим художественным достоинствам усредненных, шаблонных стихотворных произведений сотрудников первой «тетради» майковского журнала, не исключая начинающего Ап. Майкова и — тем более — далеко не оригинального в своих поэтических опытах Гончарова.

«Подснежник» за 1836 г. не имеет какого бы то ни было художественного оформления, тексты в нем переписаны разной рукой, неустойчивым почерком, с немалым количеством пропусков, исправлений, подчисток и ошибок. По-видимому, журнал «издавался» молодыми сотрудниками, без участия его главного редактора; рукой Солоницына переписана только помещенная в «Прибавлениях» в конце тома анонимная повесть «Нимфодора Ивановна». Какие-либо намеки на ее автора в данном случае отсутствуют; вопрос о принадлежности повести Гончарову остается дискуссионным.² В том же «Подснежнике» за 1836 г. помещен и анонимный рассказ «Красный человек», попытка атрибуции которого Гончарову также имела место в научной литературе.³

В «Подснежнике» за 1836 г. в значительно меньшем объеме представлена «родственная» поэзия, но именно в этом году на страницах журнала впервые появляется имя В. Г. Бенедиктова (стихотворения «Бивак», «Улетевшим мечтам», «Обновление» — в (№ 2) и (3)). В 1838 г. он поместит в «Подснежнике» четыре стихотворения и пять — в 1839 г. в «Лунных ночах», ощутимо подчиняя своему мощному стихотворному ритму, яркой образности поэтическую лиру самых юных авторов кружка (об эпигонах Бенедиктова см. ниже, с. 627). В 1836 г. в рукописном журнале участвует поэт И. П. Бороздна (стихотворение «Она», послания «А. И. Б.» и «А. С. Ш.», «Романс»⁴). В числе авторов «Подснежника»

¹ О Крюкове см.: *Вацуро В. Э.*: 1) Александр Крюков и его стихи // Прометей: Ист.-биограф. альм. М., 1987. Т. 14. С. 252—263; 2) А. П. Крюков // Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972. Т. 1. С. 538—540 (Б-ка поэта: Большая сер.); 3) А. П. Крюков // Русские писатели: 1800—1917: Биограф. словарь. М., 1994. Т. 3. С. 185—186.

² См.: *Демиховская О. А.* Неизвестная повесть И. А. Гончарова «Нимфодора Ивановна» // *РЛ*. 1960. № 1. С. 139—144; *Демиховская*. С. 73—78; *Гончаров И. А.* Нимфодора Ивановна / Публ. О. А. Демиховской // *Неделя*. 1968. № 1—4. Полемику см.: *Чемена О. А.* Об одной спорной атрибуции // *РЛ*. 1975. № 4. С. 159—162. Ср. также: *Гончаров И. А.* Нимфодора Ивановна: Повесть; Избранные письма / Сост., подгот. текста и комментарии О. А. Марфиной-Демиховской и Е. К. Демиховской. Псков, 1992; *Гончаров И. А.* Нимфодора Ивановна: Повесть / Публ. О. А. Марфиной-Демиховской // Москва. 1993. № 5. С. 42—67.

³ См.: *Сомов В. П.* Анонимная повесть «Красный человек» в рукописном журнале Майковых // *Гончаров. Новые материалы*. С. 99—116.

⁴ Помещен: *Подснежник*. 1836. (№ 2). Л. 62—63 об. (нотное приложение; автор музыки — Любовь Ивановна Бороздна, жена В. П. Бороздны, брата поэта, также дружного с Майковыми).

необходимо назвать еще и Е. Ф. Корша,¹ с 1834 г. активно сотрудничавшего у Сенковского в «Библиотеке для чтения»; его имя стоит под двумя стихотворениями в «Подснежнике» за 1838 г. В качестве новых лиц в 1838 г. в «Подснежнике» выступают П. П. Свинын (женатый на одной из сестер Н. А. Майкова — Надежде Аполлоновне) с драматической «сценой» «Пирожник, вельможа и изгнанник») и малоизвестный поэт, брат знаменитого композитора, В. А. Алябьев² — со стихотворным посланием, адресованным молодым сотрудникам «Подснежника»; в 1839 г. на страницах «Лунных ночей» появляется имя начинающего поэта, сокурсника Вал. Майкова Я. А. Шеткина.

Участовавшие в «Подснежнике» и «Лунных ночах» начинающие стихотворцы и поэты-дилетанты изъясняются языком массовой поэзии 1830-х гг., обращаясь к типовым романтическим и элегическим мотивам одиночества, разочарования, несовпадения мечты и «существенности», божественного избранничества Поэта и проч. (см. в «Подснежнике» стихотворения Ап. Майкова («Мечте», «Разочарование», «Сирота» и др. — 1835. № 3; 1836. (№ 1)); Вал. Майкова («Счастливым несчастливцем», «Надежда» — 1835. № 1; 1836. (№ 1)), младшего Солоницына («Мечта», «Я люблю», «Сонет» — 1836, (№ 1); 1838) и в особенности Евг. П. Майковой («Вопль несчастливца», «Тайна», «Нет места чувствам на земле...», «Обманчивость» и др. — 1835. № 2; 1836. (№ 2, 3); 1838).

Евг. П. Майкова была едва ли не самым активным автором в кружке и поместила на страницах домашних изданий большое количество не только стихотворных, но и прозаических произведений: помимо крупных сюжетных вещей (повести «Мария», «Сила души», «Что она такое?», «Листок из журнала», «Рассказ из частной жизни» и др.), разнообразные «мелочи» — пасторальные зарисовки («Деревня»), сентенциозные «отрывки» («Терпение», «Дружба», «Отрывок из жизни мечтательной...»), «Pensées détachées» и т. п. В ее сочинениях представлен полный репертуар как сентиментально-чувствительных (в духе Карамзина и Жуковского),³ так и «бурно-романтических»⁴ «общих мест».

Пристальное внимания заслуживает и личность Солоницына. В литературном кружке Майковых, на начальном этапе его существования, ему принадлежит особая роль. Коллекционер, библиофил, литератор,

¹ Е. Ф. Корш не был ни разу упомянут в указанных выше исследованиях, посвященных деятельности кружка Майковых. Вероятно, именно он, а не Солоницын-старший, как предположил В. П. Сомов (см.: Сомов В. П. «Редакция „Подснежника“ имеет честь предложить...»: (О неизвестной пародии И. А. Гончарова). С. 95), выступал под псевдонимом «Ефим Феоктистович Куролопатин» в «Подснежнике» за 1835 г.

² О нем см.: Ходж Т. «Где ты, мой брат?»: Поэт и чиновник Василий Алябьев // Лица: Биограф. альманах. М.; СПб., 1993. Вып. 2. С. 39—58.

³ О существовании культа Жуковского, не столько романтика, сколько «поэта-христианина», свидетельствует анонимный прозаический отрывок «Поэт», принадлежащий, скорее всего, Евг. П. Майковой (*Подснежник*. 1835. № 4).

⁴ В прозе Майковой присутствует и «байроническая» тема (повесть «Мария» (*Подснежник*. 1835. № 1, 2) — мелодраматическая история любви героини к Байрону), и популярный у русских романтиков (известный прежде всего по поэме «Борский» (1829) А. И. Подолинского) мотив неразгаданного, приводящего к роковой развязке сомнамбулизма.

переводчик (свободно владевший французским и английским)¹ и, как говорилось выше, соредатор Сенковского, жестко категоричный в литературных суждениях и оценках, Солоницын, судя по сохранившейся в семейном архиве Майковых переписке середины 1830—начала 1840-х гг. и его цитируемым ниже письмам, был бесспорным авторитетом для всех участников кружка, включая Гончарова. Общеэстетическими критериями и художественными вкусами Солоницына (вне всякого сомнения, близкими вкусам и критериям Сенковского) обусловлено преобладание в прозе молодых авторов «Подснежника» пародийно-иронического, фельетонного начала. Самому Солоницыну принадлежат в «Подснежнике» и «Лунных ночах» пародия на рыцарский роман «Похождения дона Родриго Родригеса-и-Химены и сподвижника его Михаила Тетдора» (*Подснежник*. 1838), шарж на семейство Майковых «Так они наняли дачу!» и пародийно-сатирическая повесть «Сказание о великом поэте, который начал писать стихи и перестал писать стихи» (и то и другое — в «Лунных ночах»). Склонность Солоницына к словесным парадоксам, к гротеску несомненно близка манере Сенковского. Той же фельетонной манере следует как Ап. Майков в своих самых ранних, относящихся к 1835 г., небольших прозаических зарисовках («Охота за повестями и анекдотами», «Дамы крысиного рода» — *Подснежник*. № 1, 2, «Сцены бальной атмосферы» — *Подснежник*. № 3, и особенно живая и изящная стилизация в духе «Фантастических путешествий» Брамбеуса, в которой упомянут и сам барон, «Путешествие на Луну» — *Подснежник*. № 4), так и Вал. Майков («Часовое дружество», «Записки повытчика провинциальной уголовной палаты» — *Подснежник*. 1835. № 2, 3). Есть элементы стилизации «под Сенковского» и у Гончарова (см. ниже, с. 635), однако литературный горизонт его ранней прозы представляется более широким, чем у других авторов рукописных изданий; в сравнении с чаще всего незавершенными, эскизными прозаическими опытами младших Майковых и, напротив, излишне затянутыми, слабо композиционно организованными сочинениями Солоницына повести Гончарова отличаются завершенностью, художественной отделанностью.

Можно предположить, учитывая центральную идею провиденциальности монаршей власти в упомянутой выше повести Солоницына «Царь — рука Божья», что не без поощрения редактора «Подснежника» на его страницах столь отчетливо заявил о себе вообще свойственный семейству Майковых монархический и патриотический пафос, «русизм», исполненный высокого энтузиазма. В особенности проявился он в коллективном, принадлежавшем Солоницыну-младшему, Аполлону и Валериану Майковым «Гимне», прославляющем императора:

Примерный истины блаоститель,
Блаженства нашего творец,
Он кроткий, Ангел наш Хранитель,
Наш друг, защитник и отец.
Мы с Ним узнали счастье рая,
В Нем Петр Великий ожил вновь...

¹ Солоницын — автор повестей «Медовый месяц» (*БдЧ*. 1840. Т. 40) и «Царь — рука Божья. Быль времен Петра Великого» (*М*. 1841. № 7), а также переводов романов Диккенса «Жизнь и приключения английского джентльмена мистера Николая Никльби» (*БдЧ*. 1840. Т. 38—39) и «Записки бывшего Пиквикского клуба» (Там же. Т. 40—41).

О! сохрани ж нам Николая!
Он наша радость и любовь!

(Подснежник. 1835. № 3).

Промонархические настроения, по-видимому, Гончарова не коснулись. Будущему автору «Обыкновенной истории» кружок Майковых прежде всего предоставил возможность воочию наблюдать и оценивать, с точки зрения собственных жизненных и художественных критериев, характернейшие проявления расхожего, «бытового» романтизма.

Коллективное «домашнее» творчество майковского кружка и участие в нем Гончарова не ограничились выпуском «Подснежника» и «Лунных ночей». Осенью 1842 г., после отъезда Николая Аполлоновича и Аполлона в Италию, в кружке начинает выходить юмористическая газета, в которой Гончаров, судя по эпистолярным свидетельствам (других не сохранилось), выступает и как автор, и как персонаж с постоянной маской ленивца.¹

Первое упоминание о газете встречается в письме Я. А. Щеткина Ап. Майкову от начала октября 1842 г. (совместном с Вл. Майковым, Гончаровым, К. А. Майковым и Ю. Д. Гусятниковой). Щеткин пишет: «Мы хотим вести хронику всех замечательных событий в нашем союзе, который не ограничивается одною империю цветов — институтом,² но заключает в себе и королевство Трузонию,³ и Царство жемчужины, дам (<...>), и вольный город Юнию, и острова, где растет трын-трава, то есть остров Труда, ост(ров) Беспokoйного движения, ост(ров) Complиментов, остров Марса, город Сибарис (не тот, который ты, может быть, увидишь при Тарантинском заливе; нет! у нас есть свой доморощенный) и др. Политические события в этих государствах будут исчисляемы каждый месяц, и ты узнаешь положение дел во время твоего отсутствия...» (ИРЛИ, № 17370, л. 13).

За каждой аллегорией в этом письме стоит конкретное лицо, легко восстанавливаемое благодаря переписке Майковых. Характерны «ролевое» поведение в кружке, обстановка постоянной игры, в которой Гончаров принимал самое живое участие; город Сибарис представляет именно он.

Непосредственными инициаторами издания газеты были Я. А. Щеткин и Вал. Майков, о чем Евгения Петровна неоднократно сообщает сыну в Италию (см. ее письма, датируемые осенью 1842 г., — ИРЛИ, № 17374, л. 8, 42 об., 44 об.), а Константин Аполлонович уточняет: «Мы издаем газету „Сплетню“, в которой я ревностный сотрудник. Перо мое отличается множеством резких „дергунов“, при чтении которых Яша удаляется, а остальные затыкают рты платочками» (там же, л. 45; далее в письме следуют примеры «дергунов» весьма фривольного свойства). Подробные сведения о газете находим в письме Вл. Майкова брату от 24 октября 1842 г. «В два дня, — пишет он, — у нас уже стала зима; снег такой большой, что вчера, возвращаясь из Трузонского королевства (так в газете называется маменькина квартира), Иван Александрович и

¹ О газете см.: *Евстратов*. С. 200—201.

² Речь идет о Екатерининском институте, на «пятницах» в котором Гончаров регулярно бывал в начале 1840-х гг.; впечатления от этих посещений легли в основу «этюда» «(Хорошо или дурно жить на свете?)» и очерка «Пепиньерка» (подробнее см. в примечаниях к ним).

³ Своим названием королевство обязано дому генерала Трузона на Новоисаакиевской ул., д. 21, где в это время жили Майковы.

Хрюшечка¹ насилу дошли до своих королевств (...). Вот вам имена всех островов: 1. корол(евство) Грузсония, 2. корол(евство) Новой Флориды (инстит(ут)), 3. вольный город Урания (Юния), 4. остр(ов) Труда (Влад(имир) Андр(еевич)), 5. остр(ов) Непрерывного движения (Солик), 6. остр(ов) Марса (дядя Константин), 7. остр(ов) Покоя (Ив(ан) Ал(ександрович)), остр(ов) Непостоянства (Валерка), остр(ов) Complimentов (Як(ов) Ал(ександрович)). Вообще газета приводит в деятельность всех» (*ИРЛИ*, № 17374, л. 8 об.).

В другом письме Вал. Майкова в Италию (без даты — *ИРЛИ*, № 17370, л. 14—15) вновь перечислены все острова и помещены выписки из «издаваемой Яшею газеты» (стилистика этих «статей» никак не позволяет приписать их Гончарову); наконец, в письме от 19 декабря 1842 г. Евгения Петровна сообщает о состоявшемся 6 декабря чтении газеты: «...у меня были гости (...) читали газету преинтересную: Ив(ан) Ал(ександрович) и Яша чудо какие статьи пишут и много смешат нас» (*ИРЛИ*, № 17374, л. 10).

Проститированные выше письма воссоздают атмосферу, в которой рождались ранние, «шуточные» произведения Гончарова, и служат необходимым комментарием к написанным примерно в то же время очеркам Гончарова («Хорошо или дурно жить на свете?») и «Пепиньерка».

В конце 1830—начале 1840-х гг. большинство авторов майковских «домашних» сборников и газеты «Сплетня» публикуют свои произведения на страницах открытой печати. Помимо активно печатавшихся В. Андр. Солоницына и Е. Ф. Корша, а также Ал. Майкова, дебютировавшего в «Библиотеке для чтения» еще в 1835 г.,² это Я. А. Щеткин, напечатавший в 1839—1842 гг. более двух десятков стихотворений за полной подписью как в журнале Сенковского, так и в «Сыне отечества», «Маяке», «Одесском альманахе на 1840 год», младший Солоницын, в 1841—1843 гг. поместивший в «Библиотеке для чтения» девять стихотворений за подписью «С.»³ и, наконец, Евг. П. Майкова — автор четырех стихотворений, появившихся в 1840—1842 гг. за подписью «М — ва», «Е. — ва», «Е. М...ва» в «Сыне отечества» и «Библиотеке для чтения». Неизвестным читателю по-прежнему оставался Гончаров.

3

При отсутствии писем писателя университетской и послеуниверситетской поры (первое из сохранившихся относится к началу октября 1842 г.), при малочисленности позднейших автодокументальных свидетельств, по немногим дошедшим до нас ранним произведениям достаточно трудно судить об истоках и эволюции его эстетических взглядов. Что же касается «литературной» автобиографии Гончарова, то она представляется до известной степени скорректированной. До сих пор, в частности, остается загадкой, действительно ли, как утверждал Г. Н. Потанин, «Гончаров в юности был такой же восторженный мечтатель, как все мы, юноши тридцатых и сороковых годов» (*Гончаров в воспоминаниях*).

¹ Имеется в виду Солоницын-младший.

² См. уточнение даты его первого выступления в печати: *Баяевский В. С. А. Н. Майков // Русские писатели: 1800—1917: Биогр. словарь*. Т. 3. С. 454.

³ Атрибуцию см.: *Кийко Е. И.* Об авторе стихотворений, ошибочно приписывавшихся Салтыкову-Щедрину // *Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков*. М.; Л., 1958. С. 313—316.

ниях. С. 30), и, следовательно, в какой мере автобиографичен созданный им в «Обыкновенной истории» образ провинциального «мечтателя».

В качестве свидетельств пережитого Гончаровым «романтического» периода в научной и биографической литературе обычно рассматриваются переведенный им отрывок из «Атар-Гюля» Э. Сю, представителя французских «неистовых», и сугубо традиционные по условно-романтической тематике и фразеологии ранние стихотворения. Однако редактор «Телескопа» Н. И. Надеждин, поместивший в 1832 г. на страницах своего журнала гончаровский перевод, был непримиримым критиком русских и европейских романтиков («московским классиком» назвала его «Северная пчела») и публиковал «неистовых» (В. Гюго, А. Дюма, Э. Сю и др.) с откровенной целью их дискредитации.¹ Стихи же сам Гончаров расценивал впоследствии лишь как дань традиции и моде («Писание стихов было тогда дипломом на интеллигенцию» — «Лучше поздно, чем никогда») и следствие естественной в юности потребности самовыражения («Юность и прежде, с старых времен, и теперь начинает стихами, а потом, когда определится род таланта, кончает часто прозой, и нередко не художественными произведениями, а критикой, публицистикой или чем-нибудь еще») (из письма вел. князю Константину Константиновичу от января 1884 г.).

В духовном опыте гончаровского поколения — у Белинского, Герцена, Огарева, Тургенева, Некрасова, Панаева и многих других — преодоление собственного юношеского романтизма составляло необходимый и далеко не безболезненный этап. Творческая эволюция Гончарова как «человека тридцатых годов» не вполне укладывается в общую для поколения схему. Авторская ирония по отношению к героям-романтикам в повестях «Лихая болесть» и «Счастливая ошибка», отделенных от стихотворений всего тремя-четырьмя годами, пародийное использование в них важнейших идейных и стилевых клише романтизма говорят о том, что идеализмом и мечтательностью автор повестей был «заражен» куда менее своих современников; во всяком случае, его «отрезвление» произошло раньше и безболезненнее, чем у многих из них.

Но у проблемы гончаровского «романтизма» есть и иная сторона. Писатель относил себя к последователям «идеального, ничем не сокрушимого направления», к категории «неизлечимых романтиков» («Если я романтик, то уже неизлечимый романтик, идеалист»), признавая: «...я принадлежу к числу тех натур, которые никогда и ни с чем не примирятся: разве идеал, то есть олицетворение его, возможно?» (из письма С. А. Никитенко от 8 (20) июня 1860 г.). По мысли Гончарова, важной для понимания его творческой позиции, если у человека «хоть немного преобладает воображение над философией, то является неутолимое стремление к идеалам, которое и ведет к абсолютизму, потом к отчаянию, зане между действительностью и идеалом лежит (...) бездна, через которую еще не найден мост, да едва и построится когда» (из письма к И. И. Львовскому от 5 (17) ноября 1858 г.). Романтическое «двоемирие» выступает как органическая черта авторского сознания, и антитеза «мечты — действительности» остается актуальной для проблематики гончаровских романов наряду с проблемами «идеала» и «идеализации», приобретающими в них, разумеется, новое содержание. Все три романа Гончарова несвободны от элементов романтической поэтики (и романтической фразеологии), в немалой степени воздействующих и на

¹ См., к примеру, его статью против В. Гюго и «ультраромантизма» (Телескоп. 1832. № 11); подробнее: *Замотин И. И.* Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе. Варшава, 1903. Т. 1. С. 328—361.

структуру конфликта, и на характер мировосприятия центрального персонажа.¹ Тяготая по природе своего творческого дара к широчайшим обобщениям, Гончаров делает героя-романтика, «в высшей степени идеалиста», в полном смысле слова «обыкновенным», т. е. подлинно универсальным, общечеловеческим типом.

Ранние произведения — наглядный пример исключительного постоянства Гончарова-художника как в тематике, так и в образных средствах. В 1830-е гг., можно сказать, уже наметились и тип героя, и круг проблем, занимавших писателя на последующих этапах творчества, и ряд характерных черт гончаровской поэтики. Именно в ранней прозе возникли представление о двух «господствующих» типах мироощущения — прозаическом и поэтическом; ключевой в творчестве писателя образ «жизни-сна»; важнейшая в структуре произведений зрелого Гончарова антитеза «покой — беспокойство» (также, возвращаясь к сказанному выше, одна из традиционно романтических оппозиций). Подчеркнуто декларируемая в ранних произведениях идея несовместимости «суеты» и «покоя», показ и того и другого состояния в комически утрированных формах вскрывают отнюдь не их противоположность, а принципиальность для Гончарова сходство и взаимодополняемость.

В прозе 1830-х гг. формируется и специфический для гончаровского повествования образ автора, трезвую объективность которого питает тонкая и гибкая ирония, защищающая авторский взгляд как от любого рода «идеализации», или аффектации, так и от критицизма, сатирически-обличительного пафоса.

Ранняя проза не менее цитатна, чем гончаровские романы: тексты изобилуют ссылками на прочитанного еще в детские годы Тассо, реминисценциями Карамзина, Жуковского, Крылова, Пушкина, Грибоедова, Гоголя. Не только неизменные для Гончарова литературные авторитеты составляют в данном случае цитатный ряд (авторитетность, впрочем, не препятствует тому, чтобы учителя и великие современники цитировались в комическом или ироническом контексте). Начинающий автор на страницах «домашних» изданий нередко выступает как вполне равноправный, искушенный в обстоятельствах литературно-критических баталий 1830-х гг. полемист. В его ранних произведениях немало иронических выпадов в духе беллетристики и критики толстых журналов той поры, метящих в Н. А. Полевого, Ф. В. Булгарина, А. А. Орлова, О. И. Сенковского и др.

4

Датированный Гончаровым 1842 г., однако опубликованный уже после «Обыкновенной истории» очерк «Иван Савич Поджабрин» на ином, социально конкретизированном, материале продолжает централь-

¹ См.: Краснощекова. *Гончаров и русский романтизм*; Тихомиров В. Н.: 1) Традиции романтизма в творчестве Тургенева и Гончарова // Учен. зап. Курск. пед. ин-та. 1968. Т. 51. С. 72—86; 2) «Небывалый приток фантазии»: О романтической лексике в романе Гончарова «Обрыв» // Рус. речь. 1975. № 3. С. 34—39; 3) И. А. Гончаров: Литературный портрет. Киев, 1991. С. 82 и след.; *Карташова И. В.*: 1) О роли романтического элемента в романах Гончарова «Обыкновенная история» и «Обломов» // Учен. зап. Казан. ун-та. 1969. Т. 129. Кн. 7. С. 111—131; 2) И. А. Гончаров // Русский романтизм: Учеб. пособие. М., 1974. С. 268—276; *Манн Ю. В.* Поэтика русского романтизма. М., 1976. С. 281—283 и др.

ную тему ранних повестей. Гончаров здесь вновь обращается к одной из ключевых категорий романтизма — «Sehnsucht» (томление по небывалому). Изображенное в комически-бытовом плане уже в «Лихой болести», «томление» героя очерка, столь же беспокойно-непостоянного, как и «энтузиасты» Зуровы, представляет собой следующую ступень снижения и пародийного заострения романтической идеи. По уровню мастерства, по степени художественного обобщения «Иван Савич Поджабрин», несомненно, превосходит ранние повести. Вполне вероятно, что очерк дорабатывался перед публикацией в 1848 г. (хотя документальных подтверждений этому нет) и вобрал в себя опыт работы Гончарова как над «Обыкновенной историей», так и над известным только по упоминаниям в письмах В. Андр. Солоницына конца 1843—начала 1844 г. романом «Старики». Письма Гончарова к Солоницыну не сохранились, тем больший интерес представляют обстоятельные ответы его корреспондента, приоткрывающие завесу над глубоко скрытыми творческими сомнениями впервые обратившегося к романной форме молодого писателя.¹

19 ноября (1 декабря) 1843 г. Солоницын пишет Гончарову из Парижа: «Но Вам, почтеннейший Иван Александрович, грех перед Богом и родом человеческим, что вы, *только по лености и неуместному сомнению в своих силах*, не оканчиваете романа, который начали так блистательно.² То, что Вы написали, обнаруживает прекрасный талант. Я имел честь неоднократно докладывать это Вам лично и теперь повторяю письменно» (ИРЛИ, Р. I, оп. 17, № 152, л. 3).

Весной следующего года Солоницын вступает с Гончаровым в обстоятельную полемику и по поводу «Стариков», и по поводу писательства в целом. «Я решительно не согласен, — пишет он 6 марта 1844 г., — на те причины, которые Вы приводите в оправдание своей недеятельности в литературе. Боже мой, неужели надо быть стариком, чтоб быть литератором? неужели надо одеревенеть, сделаться нечувствительным, чтоб изображать чувства? потерять способность любить, чтобы приобрести способность изображать любовь? Это мне кажется парадоксом. (...) Молодость, забавы, любовь, ее муки и наслаждения никогда не мешали тому, кто хотел заниматься литературой. (...) Засим позвольте сказать, что ссылка Ваша на лета и на нежелание отказаться от всех удовольствий молодости не заслуживает ни малейшего уважения.

Теперь следует неуверенность Ваша в таланте. (...) Ежели скромность, — повторяю, *Ваша неуместная скромность*, — не позволяет Вам верить тому, что говорят Вам друзья, в таком случае остается одно средство — написать несколько повестей или роман, напечатать и ждать суда публики. Видите, Иван Александрович, все-таки *надобно написать!* Сложив руки и не веря дружеским уверениям, Вы никогда не

¹ Публикацию писем Солоницына см.: *Груздев А. И.*: 1) В. А. Солоницын о неизвестном романе И. А. Гончарова // Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та. 1948. Т. 67. С. 108—114; 2) К вопросу о замысле романа И. А. Гончарова «Старики»: (Письмо В. А. Солоницына к И. А. Гончарову) // Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. М.; Л., 1958. С. 332—335. Письма Солоницына публикуются полностью в начальном томе гончаровского эпистолярного настоящего издания.

² Солоницын уехал за границу летом 1843 г.; следовательно, роман был начат в первой половине года или еще раньше.

решите вопроса». Далее Солоницын касался сути гончаровского замысла: «Наконец — идея Вашей нынешней повести. Если в русской литературе уже существует прекрасная картина простого домашнего быта («Старосветские помещики»), то это ничуть не мешает существованию другой такой же прекрасной картины. Притом в Вашей повести выведены на сцену совсем не такие лица, какие у Гоголя: а это придает совершенно различный характер двум повестям, и их невозможно сравнивать. Предположение Ваше показать, как два человека, уединясь в деревне, совершенно переменялись и под влиянием дружбы сделались лучше, есть уже роскошь. Если Вы достигнете этого, то повесть Ваша будет вещь образцовая» (Там же, л. 7—7 об.).

Солоницыну не удалось переубедить Гончарова, ответ которого его обеспокоил и разочаровал. 25 апреля 1844 г. в обширном письме, почти всецело посвященном литературным и эстетическим вопросам, он открыто выразил свое несогласие со взглядами и «теориями» Гончарова: «Известие, что Вы отложили писать „Стариков“, огорчило меня до крайности. (...) Ваши рассуждения об искусстве (...) не убеждают меня: я все-таки не вижу причины, по которой Вы не должны оканчивать теперь своего романа. Бесспорно, что „Кавказский пленник“, „Бахчисарайский фонтан“, Шиллеровы „Разбойники“ и другие ранние произведения разных авторов слабее тех, которые эти же самые авторы написали впоследствии. Но из этого не следует ничего, что бы хоть мало-мальски оправдывало Ваш бесчеловечный поступок с бедными „Стариками“ (...) Вы напрасно говорите, будто Вы мало еще видели и наблюдали в жизни: напротив, я всегда замечал, что Вы имеете дар наблюдательности и видите много таких вещей, которых другие не умеют заметить. (...) Мнение Ваше вообще об *искусстве писать романы* мне кажется слишком строгим: я думаю, что Вы смотрите на дело чересчур свысока. По-моему, если роман порой извлекает слезу, порою смехит, порой научает, этого и довольно. (...) роман есть картина человеческой жизни (...) в нем должна быть представлена жизнь как она есть, характеры должны быть не эксцентрические, приключения не чудесные, а главное, автор должен со всею возможною верностью представить развитие и факты простых и всем знакомых страстей, так чтобы роман его был понятен всякому и казался читателю как бы воспоминанием, проверкою или истолкованием его собственной жизни, его собственных чувств и мыслей. Для написания такого романа излагаемая Вами теория едва ли нужна; нужна только некоторая опытность, некоторая наблюдательность, которую, как я уже сказал, Вы и имеете». Вероятно, отвечая на прозвучавшее в письмах Гончарова признание в невладении «правилами» писания романов, Солоницын считает нужным предостеречь его: «...могут ли быть какие-нибудь постоянные правила там, где одно из лучших достоинств — оригинальность? (...) Берегитесь, отец мой! Ваши теоретические рассуждения об искусстве могут породить тоже классицизм, — классицизм нового рода, но который будет не легче старого». Солоницын советовал Гончарову оставить сомнения и теоретизирование: «Пишите же, почтеннейший Иван Александрович, просто, не вдаваясь ни в какие теоретические мечтания; пишите просто, под влиянием своего светлого ума, своего благородного сердца: уверяю Вас, что напишете вещь прекрасную» (Там же, л. 8—8 об.).

Написанные главы «Стариков» Гончаров, видимо, сжег, подобно тому как предал огню свои сочинения Александр Адуев, в том числе и особенно дорогую ему повесть, написанную в духе реально-сатирических

произведений так называемой «натуральной школы» (этот мотив романа несомненно имеет автобиографический подтекст).¹

«Неуместная скромность» — это еще очень мягкое, деликатное в устах Солоницына определение чрезвычайной мнительности Гончарова, которая не исчезла с годами, даже после шумного успеха «Обыкновенной истории» и «Обломова». С этим свойством характера писателя теснейшим образом связана и острая, постоянная потребность в критических суждениях слушателей и читателей, становившихся «невольными» участниками творческого процесса. Чрезвычайно важно признание писателя в «Необыкновенной истории»: «Садясь за перо, я уже начинал терзаться сомнениями. Даже напечатанное я не позволял, когда ко мне обращались, переводить на иностранные языки: „нехорошо, слабо, думалось мне: зачем соваться туда?“ Поэтому я спрашивал мнения того, другого, зорко наблюдал, какое производит мой рассказ или чтение впечатление на того или другого — и этим часто надоедал не только другим, но и самому себе».

Одним из преданных друзей и конфиденентов Гончарова в молодости и был Солоницын, переписка с которым способствовала оформлению самостоятельной эстетической «теории» будущего романиста, утверждению его взгляда на гласнствующее место романа в современной литературе. «Европейские литературы, — писал Гончаров в статье «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“», — вышли из детства — и теперь ни на кого не подействует не только какая-нибудь идиллия, сонет, гимн, картинка или лирическое излияние чувства в стихах, но даже и басни мало, чтобы дать урок читателю. Это всё уходит в роман, в рамки которого укладываются большие эпизоды жизни, иногда целая жизнь, в которой, как в большой картине, всякий читатель найдет что-нибудь близкое и знакомое ему. Поэтому роман и стал почти единственной формой беллетристики, куда не только укладываются произведения творческого искусства, как, например, *Вальтера Скотта*, *Диккенса*, *Теккерея*, *Пушкина* и *Гоголя*,² но и не художники избирают эту форму, доступную массе публики, чтоб провести удобнее в большинстве читателей разные вопросы дня или свои любимые задачи...» (себя в этой же статье в отличие от перечисленных «первоклассных писателей» Гончаров относил скромно к «фаланге писателей 2-го и 3-го разрядов», но все-таки художников, а не сочинителей памфлетов и фельетонов, облеченных в романческую форму).

После «бесчеловечного поступка» со «Стариками» Гончаров почти сразу приступает к работе над новым произведением, романом «Обыкновенная история», который уже не сможет оценить скончавшийся в 1844 г. Солоницын. Можно предположить, что какие-то мотивы, эпизоды, персонажи отвергнутого Гончаровым романа в преображенном виде вошли в «Обыкновенную историю». И бесспорно, письма Солоницына сыграли существенную роль, укрепив Гончарова в стремлении непримен-

¹ Сохранились свидетельства современников и о более поздних «аутодафе», в которых погибли многие рукописи писателя (см.: *Гончаров в воспоминаниях*. С. 166; *Шпицер С. М.* И. А. Гончаров. СПб., 1912. С. 35).

² В очерке «Литературный вечер» профессор, во многом выражая вкусы и оценки Гончарова, выделяет «Капитанскую дочку», «Героя нашего времени», «Евгению Гранде», «Отца Горио», «Дэвида Копперфилда», «Пиквикский клуб» как великие романы, в которых «художественность задачи есть и цель, и средство...».

но романом начать свою «открытую» литературную деятельность. Роман «Обыкновенная история», первое напечатанное под своим именем произведение писателя, занял почетное место в ряду великих русских романов XIX в. С ним в той или иной степени связаны все другие литературные опыты Гончарова 1830—1840-х гг. — стихотворения, повести, очерки, фельетоны, юмористические этюды и наброски, переводы. Без этих проб и начинаний не было бы и «Обыкновенной истории». Считая себя романистом по преимуществу, Гончаров и позднее постоянно обращался к фельетонно-очерковому, полубеллетристическим и публицистическим жанрам, многие из своих летучих заметок и этюдов публикуя анонимно.

СТИХОТВОРЕНИЯ

(С. 21)

Ни в одном из автобиографических свидетельств Гончаров не считал возможным упомянуть о своих ранних поэтических опытах. Более того, в письме к вел. князю Константину Константиновичу от января 1884 г. утверждал, что за стихи «никогда не брался». Между тем установлено, что на страницах рукописного журнала «Подснежник» за 1835 г. Гончаров впервые выступил именно в качестве поэта. Авторство его не вызывает сомнения: среди сотрудников «Подснежника» вряд ли кто-нибудь другой мог подписываться инициалом «Г», а именно так — «Г.....» (т. е. «Гончаровъ») под первым и «Г» под тремя остальными, подписаны публикуемые ниже стихотворения, что и послужило для А. П. Рыбасова главным аргументом при их атрибуции.¹ Кроме того, стихотворения «Тоска и радость» (с рядом изменений) и «Романс» использованы в «Обыкновенной истории» как образцы поэтического творчества Александра Адуева.

Стихи Гончарова служат важнейшим свидетельством его литературных пристрастий на самом раннем этапе творчества, характеризуют степень зависимости начинающего писателя от господствовавших в то время эстетических норм. Откровенно подражательные, они следуют тематическим, образным, фразеологическим шаблонам массовой романтической поэзии 1820—1830-х гг. (а декламационностью и некоторой архаичностью лексических и синтаксических форм близки и более ранним, преромантическим, образцам). В целом стихотворения Гончарова нереминисцентны, не ориентированы на конкретные тексты конкретных авторов (исключая стихотворение «Утраченный покой» — см. об этом ниже, с. 630) и в этом смысле близки ранним опытам Некрасова.² Едва ли оправдано сложившееся в литературе мнение о подражании Гончарова В. Г. Бенедиктову.³ Первый сборник Бенедиктова вышел в свет в 1835 г. (ценз. разр. — 4 июля 1835 г.), ему предшествовала единственная публикация в 1832 г. (стихотворение «К сослуживцу»)⁴ За

¹ См.: *Гончаров И. А.* Неизданные стихи // *Звезда*. 1938. № 5. С. 243—245.

² О сб. «Мечты и звуки» (1840) см.: *Некрасов*. 1981. Т. I. С. 644—663 (коммент. В. Э. Вацура).

³ См.: *Бродская*. С. 141—144; *Цейтлин*. С. 34; *Setchkarev*. P. 16.

⁴ См.: *Бенедиктов В. Г.* Стихотворения. Л., 1983. С. 715 (Б-ка поэта; Большая сер.) (коммент. Б. В. Мельгунова).

пределами кружка В. И. Карлгофа Бенедиктов как поэт в это время практически не был известен. В «Подснежнике» за 1835 г. стихи Бенедиктова отсутствуют, появляясь на страницах майковского журнала лишь в следующем, 1836 г. Вряд ли воздействие поэзии Бенедиктова на Гончарова могло сказаться уже в 1835 г.¹ Факт влияния не подтверждается и на стилистическом уровне. Яркие метафоры, резкие парадоксы Бенедиктова, как и разнообразные динамичные метrorитмические модели его стихов, не имеют аналогий у Гончарова; близка, и то лишь отчасти, общеромантическая лексика.

Столь же неосновательно и высказывавшееся в литературе мнение о зависимости ранних стихотворных опытов Гончарова от поэзии Лермонтова.² Подобное утверждение вступает в противоречие с фактами. В продолжение первого курса учившийся вместе с Лермонтовым на словесном отделении Московского университета Гончаров, по собственному признанию (см. воспоминания «В университете»), не только не знал его как поэта, но и не был с ним знаком. Лишь немногие близкие друзья Лермонтова, как известно, имели представление о его юношеской лирике и поэмах. Первое серьезное выступление Лермонтова в печати — поэма «Хаджи Абрек» — относится к 1835 г. (*БдЧ*. 1835. Т. 11). Мнение о подражании Гончарова Бенедиктову и Лермонтову утвердилось в научной литературе вследствие ошибочной датировки его ранних стихотворений не 1835-м, а 1835—1836 гг. (см. выше, с. 613).

Более естественно, учитывая многочисленные свидетельства романиста о его юношеском «поклонении» Пушкину, искать в публикуемых стихотворениях отголоски этого увлечения. Именно у Пушкина начинающий автор заимствует отдельные образы, рифмы, пытаясь повторить движение пушкинской лирической эмоции (подробнее см. ниже, с. 628—630).³ Однако пушкинские «вкрапления» не являются определяющими для стилистики стихотворений в целом.

Стихи Гончарова принадлежат «бытовой» элегической традиции (как и большая часть стихотворений в майковских журналах). На типовых элегических мотивах быстротечности времени, бренности земных благ, утраты иллюзий, одиночества построены помещенные в «Подснежнике» за 1835 г. анонимные «Элегия», «Позднее раскаяние»; «Разочарование» Евг. П. Майковой; «Разочарование» Ап. Майкова и ряд других стихотворений. На этом общем фоне индивидуальной особенностью стихов Гончарова следует признать то, что было отмечено еще первым их

¹ Явными эпигонами Бенедиктова были юные поэты майковского кружка — В. Ап. Солоницын и, в еще большей степени, Я. А. Щеткин (о них см. выше, с. 615—620), однако и в их стихах подражательные элементы появляются далеко не сразу — см. стихотворения «Просьба моря» и «Весеннее чувство» Солоницына в «Подснежнике» за 1838 г. и «Лунных ночах» (1839); «Развалины», «К древнему мечу», «Душа», «Орел» Щеткина в «Лунных ночах» (1839). В качестве иллюстрации откровенного подражательства можно привести заключительные строки стихотворения «Душа» Щеткина: «Полон света, полон славы, / Блеща дивной красотой, / Купол неба величавый / Опрокинут над землей».

² См.: *Пиксанов. Белинский в борьбе за Гончарова*. С. 60; *Демиховская*. С. 66; *Udolph L. Goncarovs Anfänge // Leben, Werk und Wirkung*. S. 159; подробнее см. ниже, с. 627.

³ Ср.: «В стихах Гончарова нетрудно заметить и подражание пушкинской интонации. Несмотря на внешнюю их „гремучесть“, стихи не лишены искренности» (*Рыбасов*. С. 35).

публикатором А. П. Рыбасовым: в них «не абсолютизируется разочарование, конфликт между человеком и жизнью».¹ Как очевидный дилетантизм стихотворений (языковые несообразности, строфическая аморфность, монотонность ритма, бедные рифмы), так, главным образом, вторичность, тривиальность тематики, а следовательно, недостаток личностного начала, глубины субъективного переживания (см.: *Setchkarev*. P. 16), стали причиной их пародийной обработки в «Обыкновенной истории».² Известно, что свои ранние романтические сочинения пародировали Панаев, Некрасов, сходно с Гончаровым — Тургенев в «Дворянском гнезде», приписавший собственное юношеское стихотворение («К А. Н. Х.») поэту-дилетанту Паншину.³ Гончаров начинает пародировать элегические клише уже в «Счастливой ошибке» (ироническая реминисценция стихотворения Ленского в строках: «Где ты, золотое время? воротиться ли опять? скоро ли?..» — см. ниже, с. 652, примеч. к с. 65).

ОТРЫВОК
ИЗ ПИСЬМА К ДРУГУ
(С. 21)

Автограф неизвестен.

Впервые опубликовано А. П. Рыбасовым: Звезда. 1938. № 5. С. 243 (с ошибкой в ст. 22: «бурный» вместо «буйный»).

В собрание сочинений включается впервые.

Печатается по тексту: *Подснежник*. 1835. № 2. Л. 51 об.—52.

Датируется 1835 г. в соответствии с датировкой «Подснежника» (о структуре журнала «Подснежник» и датировке его отдельных выпусков см. выше, с. 613—615).

Типичны как «эпистолярный», так и «отрывочный» характер стихотворения. В соответствии с канонами романтической эстетики и то и другое должно было передавать непосредственность выраженного чувства. Отрывочность, незавершенность произведений рано начали восприниматься как поэтический шаблон и неоднократно пародировались. Пародии такого рода сохраняли актуальность до начала 1840-х гг. (см.: Русская стихотворная пародия (XVIII—начало XX в.). Л., 1960. С. 372—375 (Б-ка поэта; Большая сер.)).

Ст. 2—4. *Не унимай моей печали! ~ венчали.* — Рифма, возможно, подсказана пушкинской (ср.: «К Батюшкову» (1814): «Мирские забывай

¹ Звезда. 1938. № 5. С. 246. См. также: *Рыбасов*. С. 35. Это мнение разделял и Н. И. Пруцков, писавший о стихотворении «Тоска и радость»: «Выраженные в нем разочарование, тоска и сомнения не ведут к безысходному конфликту с миром, не возводятся в абсолютный принцип восприятия действительности, а сменяются оптимистическим прославлением красоты жизни, земных радостей» (*Пруцков Н. И.* Мастерство Гончарова-романиста. М., 1962. С. 5).

² Подробный анализ характера пародирования см.: *Цейтлин*. С. 35—37.

³ См.: *Тургенев. Сочинения*. Т. I. С. 314, 536; Т. VI. С. 17, 418. Сопоставление автоцитат у Гончарова и Тургенева было проделано в докладе Ж. Зельдхейи-Деак на международной конференции в Ульяновске, посвященной 180-летию со дня рождения И. А. Гончарова (1992).

печали, / Играй: тебя младой Назон, / Эрот и грации венчали, / А лиру строил Аполлон»; «К Овидию» (1821): «Изгнанного певца не усладят печали. / Напрасно грации стихи твои венчали...»; «Адели» (1822): «Играй, Адель, / Не знай печали. / Хариты, Лель / Тебя венчали»).

Ст. 17—27. *Попробуй в страшный бури час ~ Не укротишь порывов вдруг!* — Полагая, что в этом стихотворении «особенно чувствуется влияние М. Ю. Лермонтова», и усматривая его в «поэтическом параллелизме стихийности бури и душевных волнений», О. А. Демиховская цитирует набросок юношеской поэмы Лермонтова «Исповедь» (1830—1831):

Когда над бездною морской
Свирепой бури слышен вой
И гром гремит по небесам,
Вели не трогаться волнам
И сердцу бурному вели
Не слушать голоса любви!...

(Демиховская. С. 66).

Однако лермонтовский набросок был опубликован впервые в 1887 г. в «Русской старине» (№ 10. С. 112—119), в списках 1830-х гг. неизвестен (см.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1986. С. 202; Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского Дома: М. Ю. Лермонтов. М.; Л., 1953. Вып. 2. С. 20); факт знакомства с ним Гончарова практически исключен. Восходящий к Байрону параллелизм «бури в сердце» и бури в природе является одной из общих романтических формул и присутствует — до Лермонтова — в поэмах Пушкина 1820-х гг. (подробнее см.: *Жирмунский В. М.* Байрон и Пушкин. Л., 1978. С. 152—153).

Ст. 32—33. *Они бессмертья нам порукой ~ мукой...* — Парная рифма повторяет пушкинскую («Евгений Онегин», глава четвертая, строфа XIV): «Поверьте (совесть в том порукой), / Супружество нам будет мукой». Соответствует «онегинскому» и стихотворный размер — четырехстопный ямб.

Ст. 34—36. *И ты бы сам был демон злой ~ за сон пустой...* — Возможная реминисценция пушкинского «Демона» (1823).

ТОСКА И РАДОСТЬ

(С. 22)

Автограф неизвестен.

Впервые опубликовано А. П. Рыбасовым: Звезда. 1938. № 5. С. 243.

В собрание сочинений включается впервые.

Печатается по тексту: *Подснежник*. 1835. № 3. Л. 99—100.

Датируется 1835 г. в соответствии с датировкой «Подснежника».

Гончаров включил это стихотворение в «Обыкновенную историю» (часть первая, гл. II) с несколько измененной пунктуацией, без строк отточий, со следующими изменениями и сокращениями:

Ст. 4 В нем рой желаний заменят?

Ст. 14 Небес далеких тишина

Ст. 15 В тот миг ужасна и страшна...

Ст. 16 Гляжу на небо: там луна

После ст. 23 Так в мире всё грозит бедой,
Всё зло нам дико предвещает,
Беспечно будто бы качает
Нас в нем обманчивый покой;
И грусти той названья нет...
Она пройдет, умчит и след,
Как перелетный ветер степей
С песков сдувает след зверей.

Ст. 37 Тогда восторг живой струей
Ст. 38 Насильно в душу протеснится

Ст. 40—42 *опущены*

В издании романа 1868 г. опущенные стихи были восстановлены.

В изображении внезапной смены эмоционального состояния от тоски к радости Гончаров мог следовать Пушкину. Ср., например, стихотворение «К ней» (1817):

Но вдруг, как молнии стрела,
Зажглась в увядшем сердце младость,
Душа проснулась, ожила,
Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость.
Всё снова расцвело! Я жизнью трепетал...

РОМАНС

(С. 23)

Автограф неизвестен.

Впервые опубликовано А. П. Рыбасовым: Звезда. 1938. № 5. С. 244.

В собрание сочинений включается впервые.

Печатается по тексту: *Подснежник*. 1835. № 4. Л. 105.

Датируется 1835 г. в соответствии с датировкой «Подснежника».

Стихотворение представляет собой типичный образец «унылой» элегии (в ее «романсной», видоизмененной, жанровой форме, широко распространенной в поэзии 1820—1830-х гг.). Первые семь строк (без изменений) включены в «Обыкновенную историю» (часть вторая, гл. II) в качестве иллюстрации элегического творчества Александра Адуева.

УТРАЧЕННЫЙ ПОКОЙ

(С. 24)

Автограф неизвестен.

Впервые опубликовано А. П. Рыбасовым: Звезда. 1938. № 5. С. 244—245.

В собрание сочинений включается впервые.

Печатается по тексту: *Подснежник*. 1835. № 4. Л. 157 об.—158.

Датируется 1835 г. в соответствии с датировкой «Подснежника».

Стихотворение является подражанием популярному у русских романтиков стихотворению «Резиньяция» (1784) Шиллера (которому тематически близки отдельные мотивы не менее популярного стихотворения «Идеалы», 1795).

ЛИХАЯ БОЛЕСТЬ

(С. 26)

Автограф неизвестен.

Впервые опубликовано Б. М. Энгельгардтом: Звезда. 1936. № 1. С. 202—230 (со значительными искажениями текста).

В собрание сочинений впервые включено: 1952. Т. VII.

Печатается по тексту: *Подснежник*. 1838. Тетр. XII. Л. 7 об.—43.

Датируется 1838 г. в соответствии с датировкой «Подснежника».

«Лихая болезнь» атрибутирована Гончарову Б. М. Энгельгардтом, который исходил главным образом из подписи «И. А.», присутствующей в «Подснежнике»: под этими инициалами Гончаров упоминается в переписке Майковых того времени. В пользу авторства Гончарова, по мнению ученого, говорит и содержание повести — «шутливое пристрастие семьи Майковых к различным загородным прогулкам и другим parties de plaisir, в частности увлечение самого Николая Аполлоновича рыбной ловлей. Эти невинные пристрастия всегда служили излюбленной мишенью для добродушных насмешек Гончарова, и многие шутливые замечания его позднейших писем представляют в развернутом виде остроты этой повести. Наконец, и в самом языке, в ситуациях этой вещи, в некоторой искусственности и неуклюжести комических положений, наряду с мягким и тонким юмором, легко признать будущего автора „Обломова“, с одной стороны, и очерка „Иван Савич Поджабрин“ — с другой».¹ К доказательствам Энгельгардта А. Г. Цейтлин добавил еще одно — «неоднократное повторение образа „лихой болезни“» (*Цейтлин*. С. 38). Так, в журнальной редакции «Обыкновенной истории» (часть вторая, гл. V) Костяков замечает о цене адуевского билета в концерт: «Экая лихая болезнь! За 15 рублей можно жеребенка купить!» (вариант к с. 410, строка 30). Во «Фрегате „Паллада“» в пространным описании российских Обломовок (том первый, гл. I) упоминаются «мужички, которые то ноги отморозили, ездивши по дрова, то обгорели, суша хлеб в овине, кого в дугу согнуло от какой-то лихой болезни, так что спины не разогнет...». В письме Е. А. и С. А. Никитенко от 16(28) августа 1860 г., рассуждая об игре сил «от рождающегося чувства любви», о «припадках жизненной лихорадки», Гончаров пишет: «А наши бабушки, и даже матушки, не знали этого, называли vaguely экзальтацией, терялись, думая, что это какая-нибудь лихая болезнь, мечтали, глядели на луну, плакали и тем отделивались, а иные даже свихивались с ума».

К трем случаям, указанным Цейтлиным, необходимо добавить еще два. В «очерках» «Иван Савич Поджабрин» Авдей сетует по поводу хозяйских неудач: «Экая лихая болезнь, прости Господи, знатная барыня! Знатно же она вас поддела!» (наст. том, с. 144); ср. также письмо А. А. Кирмаловой от 21 сентября 1861 г., где Гончаров писал: «С наступлением осени начинаю испытывать те же лихие болезни, как и прежде...».

«Лихой болезнью» называлась в просторечии эпилепсия.² Содержание гончаровского иносказания, как видно из приведенных примеров, непостоянно. «Болезнь» героев ранней повести — комически сниженный

¹ Звезда. 1936. № 1. С. 232.

² См.: *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956. Т. 1. С. 112; *Словарь русских народных говоров*. Л., 1968. Вып. 3. С. 74.

эквивалент романтического томления, «к далекому стремленья», если воспользоваться образом Жуковского.

Вполне вероятно, что название гончаровской повести было выбрано не без влияния популярной и у читателя, и у критики нравоописательной повести М. П. Погодина «Черная немочь» (1829). В основе ее конфликта — страсть юного героя к знанию, воспринятая косной купеческой средой как опасная болезнь, что и приводит в конце концов к драматической развязке («черная немочь» в просторечии — как эпилепсия, так и лихорадка, проказа, паралич).

Определение «повесть (...) домашнего содержания», относящаяся к «частным случаям или лицам» (черновая редакция Автобиографии 1858 г.), лишь отчасти применимо к «Лихой болезни». Она шире «домашних» установок прежде всего по уровню типизации: «энтузиасты» Зуровы и их антипод Тяжеленко столько же «частные лица», сколько и «творческие типы», в этих образах намечены в «шуточной» форме ключевые проблемы гончаровского творчества — осмысление двух жизненных систем: «жизни-суеты» и «жизни-покоя», дискредитация сентиментально-романтического мировосприятия.¹ «Домашний» характер повести определяется тем, что прототипы ее легко узнаваемы. «Доброе, милое, образованное семейство Зуровых» — это семейство Майковых. «Танцы, музыка, а чаще всего чтение, разговоры о литературе и искусствах» — их повседневный быт. Алексей Петрович — это Николай Аполлонович Майков, изображенный Гончаровым очень живо, со всеми его многочисленными странностями и увлечениями, главное из которых — «преданность рыбной ловле».² Этой «болезнью» был «заражен» и сам Николай Аполлонович, и его дети и друзья, она была предметом всеобщих шуток (в том числе и Гончарова), благодаря ей возникла традиция домашней (и недомашней) шуточной и серьезной «рыболовной» поэзии и прозы, стилизованной в жанре идиллии.³ Марья Александровна — это Евгения Петровна, с ее культом чувствительности, сентиментально-романтическими порывами к природе, отразившимися в ее стихах и прозе на страницах «Подснежника» и — не менее ярко — в письмах. Реальна, по-видимому, и восьмидесятилетняя разбитая параличом бабушка — мать Николая Аполлоновича Наталья Ивановна Майкова

¹ См. об этом: *Мельник В. И.* Философские мотивы в романе И. А. Гончарова «Обломов» // *РЛ*. 1982. № 3. С. 96; *Недзвецкий*. С. 42—44.

² О том, что Николай Аполлонович и за границей не интересуется достопримечательностями и «предан рыбной ловле», Евгения Петровна пишет сыну Аполлону из Дрездена 28 июля 1843 г. (*ИРЛИ*, № 17374, л. 17); пожелания счастливого лова содержатся во многих письмах друзей и родных, адресованных Николаю Аполлоновичу в Италию; Дудышкин подписывает одно из них: «Ваш верный последователь рыболов Дудышкин» (*ИРЛИ*, № 17370, л. 8 об.).

³ Ср. идиллию В. Г. Бенедиктова «Вот как это было» (1839; первоначальное название — «Рыбари»: *Бенедиктов В. Г.* Стихотворения. Л., 1983. С. 172—173 (Б-ка поэта; Большая сер.)), классическую идиллию Ап. Майкова «Рыбная ловля» (1855). Не случайно «идиллическую» окраску приобретают «рыболовные» сцены у Гончарова в «Обыкновенной истории» (часть вторая, гл. II; см. ниже, с. 780, примеч. к с. 397), а сцену ловли акулы во «Фрегате „Паллада“» он называет «морской идиллией» (см. его письмо к Евг. П. и Н. А. Майковым от 13 января 1855 г.). Традиция эта была, безусловно, ориентирована на широко известную идиллию Н. И. Гнедича «Рыбаки» (1822).

(урожд. Серебрякова).¹ В «задумчивой, мечтательной» Фекле, в отличие от Зуровых счастливо сочетающей любовь к пейзажам с житейской практичностью, изображена племянница Евгении Петровны Юния Дмитриевна Гусятникова (в замужестве Ефремова), близкий друг Гончарова и многолетний адресат его писем. На прототип Феклы указывает шутливо подчеркнутое равнодушие к ней рассказчика. Несколько сложнее обстоит дело с Иваном Степановичем Вереницыным. Не учитывая прозрачного авторского намека на фамилию Солоницына, Б. М. Энгельгардт (и вслед за ним С. С. Деркач и Е. А. Краснощекова) отождествили этого героя повести с известным путешественником Г. С. Карелиным (1801—1872).² На самом деле Вереницын в «Лихой болести» — несомненно старший Солоницын, на что указывает и его «приверженность» семье Зуровых (он их «искренний друг с самого детства»), и ряд шаржированных, однако психологически достоверных черт (одиночество, неразговорчивость, нелюдимость), подтверждаемых мемуарными и эпистолярными источниками. Документально подтверждается и страсть Солоницына к путешествиям. Одно из его ранних писем содержит такое признание: «...с самого младенчества у меня лежит на сердце путешествие, с самого младенчества мне хочется быть везде, все видеть, и чем более увеличивается мои годы, тем более увеличивается сие желание (...) первое правило моих поступков доселе было всегда: ловить настоящее...» (письмо к Ал. Ап. Майкову от 21 января 1825 г. — *РНБ*, ф. 452, оп. 1, № 441, л. 7). Ср. также с его признанием в письме Гончарову из Рима от 3(15) сентября 1843 г.: «...я остаюсь по-прежнему при той мысли, что путешествие — великое дело» (*ИРЛИ*, Р. I, оп. 17, № 152, л. 1 об.). За недостатком биографических данных о Солоницыне невозможно точно определить время его путешествия по России и поездки в Оренбургский край, о которых идет речь в повести (наст. том, с. 39). По всей видимости, эти поездки реальны.³

Остаются неустановленными прототипы «старого заслуженного профессора», занимавшегося исследованием «разных сортов нюхального табаку и влияния его на богатство народов», и его восторженной племянницы Зинаиды.

Что же касается Никона Устиновича Тяжеленко, то предпринятые Б. М. Энгельгардтом поиски стоявшего за ним реального лица из окружения Майковых не дали результата.⁴ В образе Тяжеленко есть черты автопародии. В кружке Майковых Гончаров носил постоянную маску ленивца, под этой маской он выступает и в адресованных им письмах,⁵ и в рукописной газете, издававшейся в 1842 г., где он представляет то

¹ О бабушке Гончаров упоминает и в письме А. П. и Ю. Д. Ефремовым от 22 июля (3 августа) 1847 г., посвященном смерти Вал. Майкова («...а вот она здравствует себе да похлопывает глазами: непостижимо!»).

² См.: Звезда. 1936. № 1. С. 233; *Деркач*. С. 24; 1977. Т. I. С. 517 (коммент. Е. А. Краснощековой). См. также выше, с. 615.

³ Солоницын вел затянувшееся на многие годы и крайне запутанное дело о наследстве Евг. П. Майковой — уральских заводов ее отца, московского купца-золотопромышленника П. М. Гусятникова (ум. 1816); об этом см. в его неоконченной биографии, составленной Л. Н. Майковым (*Мазон*. Р. 423), и деловой переписке с Н. А. Майковым (*ИРЛИ*, Р. I, оп. 17, № 156).

⁴ См.: Звезда. 1936. № 1. С. 233.

⁵ См., например, письма от начала октября 1842 г. к Н. А. и А. Н. Майковым («...я толстею, ленюсь и скучаю, как прежде») и от

«остров Покоя», то «город Сибарис»,¹ и в этюде «(Хорошо или дурно жить на свете?)» (ср.: «Прихожу сюда и я, мирный труженик на поприще лени, приобретший себе на нем громкую известность...» — наст. том, с. 510). Гротескность, утрированность образа Тяжеленко не противоречит его автопародийной природе. По отношению к себе Гончаров мог быть более безжалостен и ироничен, чем к другим. Вместе с тем Тяжеленко — персонаж не только более гротескный, но и более «литературный», нежели Зуровы. Гиперболизм в описании его внешности («у него величественно холмилось и процветало нарочито большое брюхо; вообще всё тело падало складками, как у носорога...» — наст. том, с. 32), «беспорядочной, методической лени», гомерического чревоугодия близок гоголевскому, гоголевские ассоциации вызывает и его «малороссийское» происхождение.²

Исследователи раннего творчества Гончарова единодушны во мнении, что Тяжеленко — прообраз Обломова. «В нем, — пишет Б. М. Энгельгардт, — в зачаточном виде представлены многие характерные черты излюбленного героя Гончарова. Под его чудовишной апатией и леностью скрываются острый ум и наблюдательность; у него, как и у Обломова, „доброе“ и сострадательное сердце (...) его образ показан в тех же сочувственных тонах, как и образ Обломова».³ Тяжеленко сближают с Обломовым привычка философствовать лежа, склонность к высокопарным монологам, избыток красноречия при недостатке движения. «Физиологичность» Обломова, особенно явная в черновой редакции романа, также унаследована им от своего предшественника из «Лихой болести». Как и Тяжеленко, Обломов умирает от дважды повторившегося апоплексического удара. Комический Тяжеленко предвосхищает и трагического фигуру главного героя гончаровского романа, и мучительную для самого писателя тему «неуклюжести», «неподвижности форм, в которых заключена (...) жизнь» (из письма Е. А. и М. А. Языковым от 23 августа 1852 г.).

Не утратила значения для гончаровского романа и «знаменательная» фамилия героя ранней повести. По замечанию Штолца, причиной «сна души» Ильи Ильича становится «тяжесть тела». В авторском сознании «тяжесть» существует и как некая рационально необъяснимая сила, подчиняющая себе жизнь героя («...как будто тяжелый камень брошен на узкой и жалкой тропе его существования (...) тяжело завален клад дрянью, наносным сором. (...) Какой-то тайный враг наложил на него тяжелую руку в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения...» — часть первая, гл. VIII). Сохраняется в «Обломове» и

14 декабря того же года с подписью: «Принц де Лень». Подпись: «Де Лень» стоит и под записью в альбоме Е. В. Толстой (февраль 1843 г.). Шутливые изобличения собственной лени в ранних письмах сменяются в более поздних письмах писателя осознанием в себе сонливости, лени как тяжелого недуга (см. письма к И. И. Львовскому от 20-х чисел июня 1853 г., Е. А. и С. А. Никитенко от 6 (18) августа 1860 г. и др.).

¹ О юмористической газете Майковых см. выше, с. 619—620.

² Прежде всего ассоциации с героями «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834) (см.: Пиксанов. *Белинский в борьбе за Гончарова*. С. 62; *Setchkarev*. Р. 26). По мнению Вс. Сечкарева, Тяжеленко напоминает также Сторченко из повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» (1831).

³ Звезда. 1936. № 1. С. 233. См., кроме того: *Цейтлин*. С. 40—41; *Евстратов*. С. 192; *Демиховская*. С. 83; *Ehre*. Р. 368 и др.

мотив, несомненно восходящий к «Лихой болести»: «всепоглощающий, ничем не победимый» сон обломовцев подобен эпидемии и назван «повальной болезнью».

Интересна — уже не в документально-биографическом плане, но с точки зрения «выработки» повествовательной манеры Гончарова — фигура рассказчика в «Лихой болести», участника событий и их хроникера. Благодаря его наивно-серьезному, лишенному иронии взгляду («авторская ирония не включена в сознание рассказчика»¹), «остраняются» обе крайности — и «романтизм» Зуровых, и «натурализм» Тяжеленко, комически драматизируются самые обычные, подчеркнута бытовые явления. Комический эффект производит и постоянное пересечение в изложении рассказчика двух несоединимых планов — буколического (загородные прогулки) и катастрофического (их преувеличенно «бедственные» следствия — солнечный удар, слепота и т. п., вплоть до отъезда любителей прогулок в Америку и гибели их в горах — см. об этом: *Ehre*. P. 366).

Повествовательная манера рассказчика пародийно стилизована под учено-витиеватый стиль научного трактата об «эпидемической болезни». Конкретный объект пародийной обработки Гончарова — «ученая брошюра» Христиана Лодера о холере, из которой заимствован эпиграф (см. ниже, с. 638). Рассказчик в «Лихой болести» простодушен, как и автор брошюры, который, между прочим, не забывает отметить, что ему идет 79-й год, и по-немецки обстоятелен в перечислении симптомов болезни, средств ее предупреждения, путей заражения, в описании «припадков». К тому же источнику восходит и один из второстепенных мотивов повести. Важнейшим средством «истребления» холеры доктор Лодер считает «произведение сильного пота» (имеются в виду ванны). Отсюда реплика Тяжеленко о «болезни» Зуровых: «Хорошо, что они еще потеют: это спасает их», и описание одного из «приступов» красноречия самого Тяжеленко (оно «выходило (...) вместе с потом»). Показательно в данном случае, что комическую и грубовато-натуралистическую окраску под пером Гончарова приобретают далеко не комические в своей основе подробности борьбы с холерой в 1830 г.

Рассказчик в «Лихой болести» пародирует, кроме того, и чрезмерно «слезливого» повествователя карамзинской прозы («Но простите, милостивые государи и государыни, что не могу привести в ясность и разместить в приличном порядке всех воспоминаний: они смешанной толпой теснятся в мою голову и выжимают оттуда слезы, которые струятся по щекам и потом орошают сию писчую бумагу. Позвольте оттереть их: иначе не дождетесь моего рассказа...» — наст. том, с. 28).

Пестрый стиль повести включает самые разнообразные элементы — от типично гоголевских приемов до риторических фигур, библеизмов, фольклорных стилизаций и пейзажных описаний — сентиментальных, романтических, вполне реалистических и фельетонных, в духе О. И. Сенковского («Настал апрель; солнце пламенным лучом проводило последний зимний день, который, уходя, сделал такую плачевную гримасу, что Нева от смеху треснула и полилась через край, а суровая земля улыбнулась сквозь снег» — наст. том, с. 29—30).²

¹ Мухамидинова Х. М. Повествовательное слово в раннем творчестве И. А. Гончарова // Жанрово-стилевая эволюция реализма: Сб. науч. трудов. Фрунзе, 1988. С. 23.

² О стилистике произведений «смирдинской школы» (во главе с О. И. Сенковским) см.: Виноградов В. В. Язык Пушкина. М.; Л., 1935. С. 338—355.

Имитация «чужого» слова, необходимая как этап ученичества (см.: *Краснощечкова. Гончаров и русский романтизм*. С. 305), техника стилиевой игры — едва ли не самоцель для молодого писателя. Есть в «Лихой болести» и стилизации, «образцы» которых названы впрямую, — это произведения Ф. В. Булгарина и А. А. Орлова (об этих литераторах см. ниже, с. 643—644, примеч. к с. 61). В близком к «физиологическому» описанию харчевни (см.: наст. том, с. 60—61) Гончаров, однако, не просто имитирует их стиль, но и пародийно обыгрывает характерную для обоих авторов «низкую» тематику; объектом его иронии здесь становятся как благонамеренное бытописание первого, так и «трактирные» поделки второго.

Основная полемическая установка автора «Лихой болести» определяется в научной литературе как «критика романтического мировосприятия и пародирование романтических шаблонов в литературе» (*Евстратов*. С. 190): «„Лихая болеть“ — не просто повесть, это антиромантическая повесть» (*Цейтлин*. С. 39), а также «остропародийная повесть, включающаяся в борьбу литературных направлений того времени».¹ Возражая против излишне идеологизированной, на его взгляд, интерпретации «Лихой болести» и полагая, что «добродушная» («goodnatured») гончаровская ирония не может рассматриваться в категориях философских или же мировоззренческих, Вс. Сечкарев предложил более мягкую формулировку: «Гончаров, безусловно, не имел намерения вести борьбу с романтизмом. Одна из принципиальных мишеней его иронии — чрезмерная сентиментальность» (*Setchkarev*. P. 27).

Большинство эпизодов повести, действительно, имеет чисто комический, а не пародийный характер; «Лихая болеть» прежде всего «безмятежно весела» (*Цейтлин*. С. 40).

Вместе с тем в майковских рукописных журналах антиромантическая позиция была заявлена достаточно ясно, и Гончарову принадлежал в полемике с романтизмом не последний голос. Восторженные описания природы Зинаидой Михайловной и Марьей Александровной несомненно выполняют двойную пародийную функцию, служа пародией на романтический и сентиментальный пейзаж в литературе (Гончаров не только дает клишированные образцы того и другого, но и умышленно смешивает их, создавая особый комический эффект) и разоблачая романтизм и сентиментальность в жизни. Полемические и пародийные выпады провоцировались главным образом поэзией и прозой Евг. П. Майковой, поэтому совершенно справедливо утверждение исследователя, что в «Лихой болести» «живописание природы героинями (...) есть не что иное, как пародийное воспроизведение автором соответствующих страниц из повестей Е. П. Майковой» (*Евстратов*. С. 191). Гончаровская пародия ближайшим образом имеет в виду «пасторальную» миниатюру «Деревня. Отрывок из дневных записок Е. П. Майковой» (*Подснежник*. 1836. (№ 1). Л. 26—27): «О! как люблю я деревню! Но почему же я люблю ее так нежно? — Не могу дать отчета. Я люблю в ней природу неискusstvenную, ту величественную природу, которая ниспала из рук Всемогущего! Я люблю солнце, луну, рошу, пригорок, извилистый ручеек, бледный ландыш и пышную розу, гнездушко малиновки, щебетание стрекозы, эфирную бабочку и все, все — что окружает меня в меланхолическом уединении... Где найду я истинную поэзию, как не в сельском быту? Тут столько раздолья, наслажденья душе

¹ *Сомов В. П.* Три повести — три пародии: (О ранней прозе И. А. Гончарова) // Учен. зап. Моск. пед. ин-та. 1967. № 256. С. 118.

моей!.. Тут мечта моя облекается в новую жизнь, воображение освобождается от тяжелых дум, как голубое небо от мрачных туч; оно забывает тщету земного, и душа — вся предается Богу, любви беспредельной.

Бегу, бегу в поле. Там встречу я поселян; но они не помешают мне дивиться красотам природы, наслаждаться ее дарами: они дети ее, они поймут мои чувства. Я не замечу в них той двусмысленной улыбки образованного жителя городов, того убийственного себялюбия, которое не позволяет горожанину признавать истин, превышающих силу его разума...» (Там же. Л. 26—26 об.).

Однако вопрос о самих приемах гончаровской пародии, о формах иронии представляется не до конца проясненным (не случайно, к примеру, возникают такие оксюморонные сочетания, как «сочувственная ирония»¹).

В своей главной идейно-эстетической установке — разоблачении риторических чувств — «Лихая болеть» смыкается с более поздними произведениями писателя. Ложный пафос Гончаров будет последовательно подвергать прозаической корректировке (а это главный прием в его «шуточной» повести) в «Счастливой ошибке», «Иване Савиче Поджарине», «Письмах столичного друга к провинциальному жениху», «Обыкновенной истории», «Фрегате „Паллада“». Но если в ранней повести благодаря умышленной прозаизации возникает чисто комический эффект, то гончаровские прозаизмы в антиромантическом пейзаже «Фрегата „Паллада“» создают совершенно новую живопись, по дерзкой образности не уступающую Бенедиктову (например, горизонт над Атлантическим океаном спускается «в виде довольно грязной занавески» — том первый, гл. III). Реминисценциями «Лихой болести» выглядят во «Фрегате „Паллада“» сцены загородных прогулок (том второй, гл. II): «Кому не случилось обедать на траве, за городом, или в дороге? Помните, как из кулечков, корзин и коробок вынимались ножи, вилки, хлеб, жареные индейки, пироги?». Своего рода «болетью» представлен здесь и культ еды барона Крюднера.

Майковские журналы дают ряд замечательных сюжетно-тематических параллелей к «Лихой болести». Это прежде всего шуточная повесть Ап. Майкова «Покорение страны Семи Пагод европейцами» (*Лунные ночи*. Л. 76—98) — несколько затянута в изложении, однако живая и остроумная история гибели браминского монастыря и вслед за ним всей древней цивилизации браминов от «бедственной страсти», которую одержим один из монахов, — любви к ужению рыбы. Как и в «Лихой болести», здесь комически переплетаются пасторальные и драматические мотивы.

Перекликается с гончаровской повестью и шуточная зарисовка Солоницына-старшего «Так они наняли дачу!» (*Лунные ночи*. Л. 11—29 об.), вдохновенная, как и «Лихая болеть», неисчерпаемой темой «странностей» семьи Майковых. Сюжет этого рассказа достаточно прост: необыкновенно рассеянное семейство Майковых (это его «фамильная» черта) с помощью «чрезвычайно деятельного и основательного» приятеля (самого Солоницына)² нанимает дачу, которая оказывается в итоге отданной другим. Задача Солоницына отлична от задачи Гончарова: не стремясь к обобщениям, он изображает смешное в характере и поведении

¹ См.: *Сомов В. П.* Три повести — три пародии: (О ранней прозе И. А. Гончарова). С. 120.

² Персонажи имеют вымышленные имена.

конкретных людей; его дружеский шарж — почти документ. Вместе с тем ирония Солоницына безжалостнее гончаровской и соседствует пусть с шуточным, но назиданием, вовсе не свойственным автору «Лихой болести».

По мнению С. С. Деркача, концепцию Гончарова «поддержал и развил с философской точки зрения» Вал. Майков в рассказе «Жизнь и наука», также помещенном в «Лунных ночах» (Л. 62—73 об.) и повествующем о двух крайностях — субъективном идеализме и физиологизме, которыми последовательно «заражается» ученый Готлиб Кауфман (см.: *Деркач*. С. 35).

О том, что проблемы, затронутые Гончаровым в его «шуточной» повести, были предметом серьезных размышлений для молодых участников майковского кружка, свидетельствует стихотворение Ал. Майкова «Лихая болеть» (1843), не публиковавшееся при жизни поэта и введенное в научный оборот И. Г. Ямпольским.¹ «Тут Вы, — писал о нем Гончаров в письме Майкову от 2 марта 1843 г., — прекрасно свели мнения нового, самонадеянного поколения о наших знаменитостях и больно уязвили праздность, скуку и лень нашего века, в том числе и мою, прикрывающуюся гордым плащом какой-то сгранной философии, как испанский нищий прикрывает плащом жалкие лохмотья».

«Лихая болеть» переведена на итальянский (*La malattia malvagia*. Palermo: Sellerio, 1987; пер. Анат. Архипова) и французский (*La terrible maladie*. Strasbourg: Circé, 1992; пер. А. Кабаре) языки.

С. 26. В декабре 1830 года ~ Москва; страница 81. — Эпиграф заимствован из брошюры: *Лодер Х.* Об эпидемии холеры в Москве: Письмо от 14 ноября 1830 г. к г-ну тайному советнику лейб-медику и кавалеру Стоффрегену в С.-Петербурге / С нем. перевел Н. Топоров. М., 1831. Примечание, неточно цитируемое Гончаровым, находится на с. 8 (а не 81) этого издания: «Содержащееся в воздухе заразительное начало может произвести холеру или какие-либо припадки оной не только у людей, но даже иметь весьма вредное влияние и на некоторых животных, как то замечено в Таганроге. В декабре месяце прошлого (1830) года, когда холера находилась еще в Москве, но уже значительно уменьшилась, из 250 кур, содержимых мною для опытов, 50 в самом непродолжительном времени лишились жизни: у них внезапно открывался понос, сопровождаемый корчами и судорогами, и они вскоре потом издыхали. Сии же самые явления примечены были у некоторых фазанов и у двух небольших собачек». Христиан Иванович Лодер (1753—1832) — известный немецкий хирург и анатом, друг Гете, Шиллера, Гумбольдта; переселившись в Россию, с 1819 по 1827 г. возглавлял кафедру анатомии в Московском университете и до 1831 г. читал лекции. В 1830 г., когда в Москве и ряде областей России свирепствовала холера, принимал непосредственное участие в борьбе с ней в качестве консультанта при Арбатской больнице (о нем см.: *Колосов Г.* Христиан Иванович Лодер. Харьков, 1929). Лодер среди других университетских профессоров упомянут А. И. Герценом в «Былом и думах» (см.: *Герцен*. Т. VIII. С. 120). По словам Герцена, он

¹ См.: *Майков А. Н.* Неопубликованные произведения / Публ. И. Г. Ямпольского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год. Л., 1976. С. 128—130. Варианты второй редакции стихотворения см.: *Ямпольский И. Г.* Из архива А. Н. Майкова («Три смерти», «Машенька», «Очерки Рима») // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1978. С. 54—55.

принадлежал «к той плеяде сильных и свободных мыслителей, которые подняли Германию на ту высоту, о которой она не мечтала» (Там же. Т. IX. С. 225).

С. 26. *...некогда были одержимы дети в Германии и Франции – стремление идти на гору св. Михаила (кажется, в Нормандии).* — Речь идет об аббатстве Сент-Мишель (St-Michael) в Нормандии, основанном в XIV в. С аббатством связан ряд средневековых преданий, одно из которых (близкое сказочному сюжету «Крысолова») и имеет в виду Гончаров.

С. 27. *...на вольтеровских креслах...* — Так назывались мягкие кресла с высокими спинками.

С. 27. *...в ветхом сосуде жизни...* — Библейская ассоциация: человек уподобляется ветхому, скудельному (глиняному) сосуду.

С. 28. *...как вдохновенная сивилла...* — Сивиллы (сибиллы) — в греческой мифологии прорицательницы, в экстазе предрекающие будущее (обычно бедствия).

С. 29. *Варенцы* — топленое молоко, заквашенное сметаной.

С. 30. *...на небеси горё, и на земли низу, и в водах, и под землю.* — Выражение восходит к славянскому тексту Библии: «Да не будут тебе бози инии разве мене. Не сотвори себе кумира, и всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею» (Исх. 20:3—4).

С. 31. *Статский советник* — гражданский чин 5-го класса по Табели о рангах.

С. 31. *...награждены медалями для ношения на анненской ленте...* — Медалями — шейными золотыми и нагрудными серебряными — на станицлавовской, анненской, владимирской лентах (составлявших принадлежность соответствующих орденов) могли быть пожалованы лица низших сословий за служебные (служба в полиции, пожарных частях, тюремной охране) и неслужебные (подвиги, совершенные с опасностью для жизни, — спасение утопающих, поимка беглых и проч.) заслуги.

С. 32. *...жил у Таврического сада...* — Т. е. у находящегося в тылу Таврического дворца (вторая половина XVIII в.) обширного сада, расположенного в Литейной части Петербурга.

С. 33. *Дрочена* (драчена) — традиционное блюдо украинской кухни: запеканка из кукурузной (или иной) муки, яиц, молока.

С. 35. *Малага* — сладкое десертное вино, названное по городу в Испании, где оно производится.

С. 36. *...римского императора Вителлия.* — Авл Вителлий (12—69) находился у власти менее года (69 г.); биография его имеется у Светония, где, в частности, сообщается: «...больше всего отличался он обжорством и жестокостью. Пиршества он устраивал по три раза в день, а то и по четыре — за утренним завтраком, дневным завтраком, обедом и ужином (...) был он огромного роста, с красным от постоянного пьянства лицом, с толстым брюхом...» (*Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей.* М., 1990. С. 193, 196).

С. 37. *...Петергофе, Парголово...* — Речь идет об обычных местах гулянья столичных жителей близ Петербурга; в Петергофе, на южном берегу Финского залива, находится дворцово-парковый ансамбль XVIII—XIX вв. с крупнейшим в мире комплексом фонтанов и каскадов. Парголово (в 11 верстах от Петербурга по Выборгской дороге) принадлежало графам Шуваловым. «По очаровательному местоположению и превосходному устройству сада трудно найти ныне, в окрестностях столицы, другое место, столь приятное для гулянья и сельской жизни, как Парголово» (*Пушкарев.* С. 466).

С. 37. ...какая площадь величественнее Сенной и чем уступает выставка естественных произведений, которая бывает на ней, выставке художественных? — Патетическая фраза о Сенной площади, возможно, отсылает к известному отступлению в повести А. А. Бестужева-Марлинского «Испытание» (1830). Ср.: «Сенная площадь, — думал Стрелинский, проезжая через нее, — в этот день наиболее достойна внимания наблюдательной кисти Гогарта, заключающая в себе все съестные припасы, долженствующие исчезнуть завтра. (...) Воздух, земля и вода несут сюда несчетные жертвы праздничной плотоядности человека» (*Бестужев-Марлинский*. Т. I. С. 201—202). Сенная площадь расположена в центре города; в XIX в. здесь находился один из обширнейших рынков столицы.

С. 37—38. ...из Гороховой в Невский монастырь, оттуда на Каменный остров, там гуляет, гуляет, переходит на Крестовский, с Крестовского через Колтовскую на Петровский, с Петровского на Васильевский, и назад в Гороховую... — Гороховая — одна из главных улиц Петербурга, заселенная преимущественно людьми «средних классов». Вслед за Зуровыми Гончаров «поселит» на ней Обломова. Невский монастырь — первоначальное (обиходное) название основанного Петром I в 1710 г. и построенного на левом берегу Невы на восточной окраине города по проекту архитектора Д. Трезини монастыря Александра Невского (главный храм — Святой Троицы), позднее именовался Свято-Троицким Александро-Невским монастырем, с 1797 г. — Александро-Невской лаврой. Еще в петровское время был соединен с центральной, Адмиралтейской, частью Петербурга «перспективной дорогой» — будущим Невским проспектом. Каменный, Крестовский, Петровский — малые острова в устье Невы, находившиеся в пределах городской черты; парки на островах были традиционным местом гуляний столичных жителей. Колтовская — набережная Малой Невки на Петербургской стороне. Васильевский остров — большой остров в устье Невы, на котором расположена центральная часть городского ансамбля. Протяженность «прогулки» героя намеренно преувеличена и составляет более 20 км.

С. 38. ...женолобивого пророка... — Имеется в виду пророк Магомет (Мухаммад), основатель религии ислама и первой общины мусульман. Право пророка превысить разрешенное мусульманину число жен (четыре) специально обосновано кораническим «откровением». Согласно преданию, у Магомета было 11 официальных жен.

С. 38. ...в Мекку... — Речь идет о священном городе мусульман и месте их паломничества.

С. 38. ...подышать святостью киевских пещер. — Имеются в виду пещеры основанного в 1051 г. Киево-Печерского монастыря, традиционное место богомолья.

С. 39. ...жил в улусах... — Улус — административно-территориальная единица у бурят, калмыков и якутов, соответствовавшая русской волости. Л. Удольф усмотрел в эпизоде, повествующем о жизни Вереницына в калмыцких степях, иронический намек на «естественную» философию Руссо (см.: *Udolph L. Gontárovs Anfänge // Leben, Werk und Wirkung*. P. 160—161). Однако здесь вероятнее предположить пародийное обыгрывание Гончаровым одного из традиционных романтических сюжетов о любви европейца и девушки-дикарки, известного по творчеству Байрона, Шатобриана и других писателей и превращенного в клише многочисленными «байроническими» поэмами. На подобные романтические схемы ориентированы и повести Александра Адуева в «Обыкновенной истории» (см. ниже, с. 770, примеч. к с. 268—269).

С. 42. ...штопала серые чулки под цвет пыли... — Гончаров откликается на один из шумевших эпизодов журнальной жизни второй половины

1820—начала 1830-х гг. В «Летописи мод» редактировавшегося Н. А. Полевым «Московского телеграфа» (1825. № 14. Приб. С. 309) сообщалось о цветах платьев — «голубом, розовом и грипусье»; последнее слово являлось искажением французского «gris-poussière» (пыльно-серый цвет). Это вызвало насмешки по адресу Полевого со стороны «Северной пчелы» (см. № 116, 121, 126, 132 за 1825 г.), а также других изданий, и ряд памфлетов и эпиграмм, в которых Полевой фигурировал под именем Грипусье. «Славным Грипусье» назвал его Пушкин в статье «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» (1831). Подробнее см.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. VII. С. 490; *Лонгинов М. Н.* Соч. СПб., 1915. Т. I. С. 104—106; Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов / Ред., вступ. ст. и коммент. Вл. Орлова. Л., 1934. С. 399. История с «грипусье» отразилась и на страницах «Подснежника». Так, в № 4 журнала за 1835 г. в отделе мод сообщалось: «Модные цвета платьев гриделеневый, мордореевый, винтегреевый и табачковый», причем слово «винтегреевый» имело примечание: «Вероятно, verd-de-gris. Мы употребляем московскую терминологию» (л. 209 об.).

С. 43. ...читать *Виргилия и Феокрита*. — Публий Вергилий Марон (70—19 до н. э.) — римский поэт, автор «Буколик», «Георгик», «Энеиды». Феокрит (кон. IV—первая пол. III в.) — греческий поэт, основатель европейской «буколической» традиции. В данном случае выбор авторов соответствует «буколическому» (на лоне природы) времяпрепровождению семьи; подразумеваются, по-видимому, и «антологические» интересы старшего сына Зуровых (Майковых) — Аполлона.

С. 45. ...ехать в Стрельну, осмотреть тамошний дворец и сад. — В Стрельне, на южном берегу Финского залива (на 19-й версте от Петербурга), находится садово-парковый ансамбль петровского времени; построенный при Петре I Стрельнинский дворец неоднократно перестраивался (по проектам архитекторов Растрелли, Воронихина, Руска). В начале XIX в. Стрельня принадлежала вел. князю Константину Павловичу, в царствование Николая I, как свидетельствует М. И. Пыляев, «пришла в упадок, аллеи сада заросли, здание дворца кое-где обрушилось; про Стрельну стали ходить разные страшные рассказы. Говорили, что здесь видели прогуливающиеся по ночам тени мертвецов, часто также слышались стоны, крики и другие ужасы старинных замков. Повод к этим рассказам давало также превосходно существовавшее здесь эхо, которое даже нарочно приезжала слушать публика из Петербурга» (*Пыляев М. И.* Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 1994. С. 214).

С. 47. ...взял с собою цирюльника, за неимением знакомого лекаря... — Цирюльник совмещал обязанности брадобрея и рудомета, т. е. пускал кровь.

С. 48. ...танец мертвых в «Роберте». — Имеется в виду опера Дж. Мейербера (1791—1864) «Роберт-дьявол» (1831; либретто Э. Скриба и К. Делавиня). Впервые шла на петербургской сцене в сезоны 1834/35, 1835/36 гг. и имела «громадный успех» (см.: *Вольф А. И.* Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года. СПб., 1877. Ч. 1. С. 41, 54). Ею увлекались молодые В. Г. Белинский, В. П. Боткин, А. А. Григорьев; последний передал свое сильнейшее впечатление от оперы в рецензии «Роберт-дьявол» (1846). О том, что впечатление Гончарова могло быть не менее сильным, свидетельствует неоднократное упоминание отдельных сцен из «Роберта-дьявола» в его прозе («Иван Савич Поджабрин», «Фрегат „Паллада“», «Обломов» и др.). Танец мертвых («Адский вальс») исполняется в д. 3, явл. 2.

С. 48. — *За Средней Рогаткой...* — Речь идет о располагавшейся на 12-й версте от городской заставы второй из трех существовавших по Царскосельской дороге «рогаток» (караульных постов со шлагбаумами). Здесь же находился и путевой Среднерогатский дворец, построенный в 1751 г. Название «Средняя Рогатка» сохранилось до сегодняшнего дня.

С. 48. *...преживописный песчаный косогор над канавой; на косогоре три сосны да береза — точь-в-точь над могилой Наполеона...* — Возможная реминисценция «Путешествия Онегина» («Люблю песчаный косогор, / Перед избушкой две рябины...»). Те же строки обыгрываются в «Обыкновенной истории» (см. ниже, с. 783, примеч. к с. 447), «Фрегате „Паллада“» (том первый, гл. III). Гончаров соединяет в речи героини два в равной степени книжных, но ни реально, ни стилистически не совместимых образа — подчеркнуто «прозаический» пушкинский пейзаж и описание могилы Наполеона, излюбленный образ романтиков (к которому обращался и Пушкин — см. стихотворения «Наполеон» (1821); «К морю» (1824); ср. также: «Могила Наполеона» (1822) Ф. И. Тютчева, «Бородинская годовщина» (1839) В. А. Жуковского, «Ватерлоо» (1836) В. Г. Бенедиктова и др.). Любопытную параллель дают воспоминания Г. Н. Потанина, который «восторженно читал Марлинского» и выписывал из него «лучшие места»; таким «лучшим местом» оказывается описание могилы Наполеона из повести «Фрегат „Надежда“» (1833) (см.: *Гончаров в воспоминаниях*. С. 30—31). Первоначальным местом погребения Наполеона был остров св. Елены, где он умер в 1821 г. В 1840 г. его прах был перенесен в Дом Инвалидов в Париже.

С. 50. *...едем в Токсово!* — Речь идет о северном пригороде Петербурга, славившемся лесами и озерами. «Токсово справедливо называют петербургской Швейцариею; песчаная дорога к нему извивается по холмам, покрытым лесом и кустарником. Любителям уединенных прогулок поездка в Токсово может доставить истинное наслаждение» (*Пушкарев*. С. 466).

С. 52. *Аршин* — неметрическая русская единица длины (0,71 м).

С. 54. *...мелкий зеленчак...* — Зеленчак — сыромолотый, из зеленых листьев, крепкий нюхательный табак.

С. 55. *Едва ли крестоносцы с бльшим восторгом завидели святой град...* — Крестоносцы — участники крестовых походов (1096—1270) ко «Гробу Господню» в Иерусалим.

С. 57. *...пармезан и лафит*. — Имеются в виду сорта итальянского сыра и французского вина. См. также ниже, с. 771, примеч. к с. 294.

С. 58. *...вариации на тему: «А я, молодешенька, во пиру была»*. — Речь идет о русской плясовой песне «Я вечер млада во пиру была» (см.: *Сахаров И. П.*) Песни русского народа. СПб., 1838. Т. 2. С. 364—367): «Я вечер млада / Во пиру была, / Во беседашке, / Не у батюшки, / Не у матушки: / Я была млада / У мила дружка, / У сердечного. / Я не мед пила, / И не полпивцо, / Я пила млада / Сладку водочку, / Сладку водочку, / Все вишнебочку, / Я не рюмочкой, / Не стаканчиком; / Я пила млада / Из полуведра, / Из полуведра, / Через край пила».

С. 58. *Я с жаром продолжал убеждать их силою слова, как некогда Петр Пустынник, только с тою разницею, что тот уговаривал, а я отговаривал...* — Петр Амьенский (Пустынник) (ок. 1050—1115) — католический монах, вдохновитель и участник первого крестового похода (1096—1099), одно из действующих лиц поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580), которой в юности увлекался Гончаров (см. ниже, с. 655, примеч. к с. 88). Речи Петра Пустынника, обращенные к крестоносцам, входят в песни I, X, XI поэмы. Кроме того, в начале 1830-х гг. на петербургской

сцене шла итальянская опера «Петр Пустынник». О ней см., например, неопубликованную рецензию В. Ф. Одоевского «Петр Пустынник» (1831), предназначенную для «Европейца» (Европеец: Журнал И. В. Киреевского. 1832 / Изд. подгот. Л. Г. Фризман. М., 1989. С. 358—371, 526—527 («Лит. памятники»)).

С. 58. *Припомните одно подобное место в которой-то речи Цицерона против Катилины.* — Марк Туллий Цицерон (106—43 до н. э.) — выдающийся римский оратор, политический деятель и писатель. Луций Сергий Катилина (108—62 до н. э.) — римский политический деятель, организатор заговора с целью ликвидации республиканских устоев и овладения единоличной властью. Известны четыре речи Цицерона против Катилины, произнесенные им в сенате в 63 г. (см.: *Цицерон Марк Туллий*. Речи: В 2 т. М., 1962. Т. 1. С. 292—330). В данном случае Гончаров едва ли имеет в виду конкретный источник: параллель носит откровенно шуточный характер.

С. 59. *...к Воскресенскому мосту...* — Т. е. наплавному мосту через Неву в начале Воскресенского проспекта, соединявшему Выборгскую сторону с центральной частью города. Просуществовал с 1786 по 1879 г., когда ниже по течению Невы был построен Литейный мост.

С. 60. *...карафинчиками...* — В первой половине XIX в. форма «карафин» (от ит. *caraffina*) все еще использовалась, однако постепенно вытеснялась формой «графин»; в Академическом словаре 1847 г. присутствуют оба слова (см.: Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук. СПб., 1847. Т. I. С. 289; Т. II. С. 163).

С. 60. *...бородатого Ганимеда...* — Ганимед — герой древнегреческих мифов, юный сын царя Троса, из-за необыкновенной красоты похищенный Зевсом на Олимп, где прислуживал богам за трапезой. Ср. со сходным использованием этого образа в «Невском проспекте» (1835) Гоголя: «...нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный ганимед, летавший вчера как муха с шоколадом, вылезает с метлой в руке без галстука и швыряет им черствые пироги и объедки» (*Гоголь*. Т. III. С. 10).

С. 60. *...пылали, как освещенные переносным газом...* — Вспоминая более позднее время — начало 1860-х гг. в Москве — П. И. Щукин писал: «Впоследствии вошло в употребление освещение домов светильным газом, называвшимся *переносным*, потому что его развозили по городу. Часто можно было видеть на улице большой, длинный железный фургон и выходящую из него каучуковую кишку, которая лежала поперек тротуара и наполняла газом домовый резервуар; причем газ давал знать о себе прохожим своим неприятным запахом» (Воспоминания П. И. Щукина // *Щукинский сб.* М., 1912. Вып. 10. С. 141—142).

С. 61. *...подходить к бирже и заставить только одних лошадей с пустыми санями?* — Биржа — здесь: место стоянки извозчиков; в отличие от «ванек», биржевые извозчики имели постоянные места, называвшиеся «яслями» или «колодами».

С. 61. *...слухи носят, что два плодовые писателя, один московский, а другой санктпетербургский, О-в и Б-н ~ давно готовят большое сочинение.* — О-в — Александр Анфимович Орлов (1791—1840), литератор «толкучего рынка», сам себя называвший «народным», поэт и прозаик, автор многочисленных лубочных повестей и романов, преимущественно сатирических и нравоописательных; Кс. Полевой в своих «Записках» назвал его «трактирным писакой» (см.: Николай Полевой: *Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов*. С. 306).

В 1831—1832 г. выпустил восемь брошюрок («романов»), пародирующих романы Булгарина. Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859) — журналист, прозаик, критик, издатель ряда журналов и с 1825 г. до конца жизни — газеты «Северная пчела» (совместно с Н. И. Гречем); пользовался всеобщей, хотя и скандальной, известностью; прославился главным образом как автор нравственно-сатирических романов «Иван Выжигин» (1829), «Петр Иванович Выжигин» (1831) и др.; писал многочисленные нравоописательные очерки, включенные впоследствии в книги «Картинки русских нравов» (СПб., 1842) и «Очерки русских нравов» (СПб., 1843). В последнюю входит очерк «Русская ресторация», который, судя по всему, и подразумевает Гончаров (см.: *Евстратов*. С. 193). Объединение имен Орлова и Булгарина не случайно и имеет предысторию: они были иронически сопоставлены сначала Н. И. Надеждиным (Телескоп. 1831. № 9), а затем Пушкиным в статьях «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» (Там же. № 13, 15), подписанных псевдонимом «Феофилакт Косичкин». На этот шумевший эпизод журнальной полемики Белинский откликнулся в «Литературных мечтаниях» (1834): «Имя петербургского Вальтера Скотта Фаддея Венедиктовича Булгарина вместе с именем московского Вальтера Скотта Александра Анфимовича Орлова всегда будет составлять лучезарное созвездие на горизонте нашей литературы. Остроумный Косичкин уже оценил как следует обоих сих знаменитых писателей, показав нам сравнительно их достоинства (...) все дело в том, что сочинения одного выглажены и вычищены, как пол гостиной, а сочинения другого отзываются толковым рынком. Впрочем, удивительное дело! несмотря на то что оба они писали для разных классов читателей, они нашли в одном и том же классе свою публику» (Белинский. Т. I. С. 106—107). Ср. также суждение Гоголя в «Невском проспекте» об офицерах, «составляющих в Петербурге какой-то средний класс общества»: «Они любят потолковать об литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове» (*Гоголь*. Т. III. С. 35). Иронический выпад против Булгарина содержится в гончаровской «Счастливой ошибке» (наст. том, с. 83), а уничтожающая его оценка — в письме к М. М. Кирмалову от 17 декабря 1849 г.: «Булгарин поэт! Сказал бы ты это здесь хоть на улице, то-то бы хохоту было. (...) Булгарин имеет редкое свойство походить наружно и на человека, и вместе на свинью». Ср., кроме того, гончаровскую пародию на Булгарина («тирада о дружбе») в письме к Евг. П. и Н. А. Майковым от 20 ноября 1852 г.

С. 62. ...с Охты молочница не бывала. — Большая и Малая Охта — окраинные районы Петербурга на правом берегу Невы, в первой половине прошлого века заселенные крестьянами, преимущественно финнами, снабжавшими жителей столицы молочными продуктами.

С. 62. ...в пятницу в Ропшу ~ в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт. — Речь идет о знаменитых парковых и архитектурных ансамблях в пригородах Петербурга. В Ропше, расположенной к югу от города (на 42-й версте по Петергофской дороге), находятся дворец и регулярный парк второй половины XVIII в.; о Петергофе см. с. 639, примеч. к с. 37; Ораниенбаум, расположенный за Петергофом на южном берегу Финского залива (на 34-й версте от города), известен парками и дворцовыми постройками первой половины XVIII в.; Кронштадт — крепость на о-ве Котлин против устья Невы в Финском заливе, основанная в 1703 г. Петром I для обороны Петербурга с моря.

С. 64. ...уехали в «Чухонию»... — Чухонией петербургские жители называли территорию к северу и северо-востоку от города, заселенную главным образом карелами и финнами (чухонцами).

СЧАСТЛИВАЯ ОШИБКА

(С. 65)

Автограф неизвестен.

Впервые опубликовано: за границей — *Ляцкий*. С. 321—355 (с ошибками); в России — Недра. 1927. Кн. 10. С. 243—287 (публ. А. Г. Цейтлина; с рядом неточностей).

В собрание сочинений впервые включено: 1952. Т. VII.

Печатается по тексту: *Лунные ночи*. Л. 126—165.

Датируется 1839 г. в соответствии с датировкой «Лунных ночей».

Долгое время оставшаяся неизвестной, нигде специально не упомянутая самим автором (в черновом автографе Автобиографии 1858 г. имеется лишь общее упоминание о «ничем не замечательных» ранних повестях — см. выше, с. 611), «Счастливая ошибка» единственный раз при жизни Гончарова попала в поле зрения историка литературы: среди материалов, опубликованных в «Русской старине» к 50-летнему юбилею литературной деятельности А. Н. Майкова, появилась заметка редактора журнала М. И. Семевского «Аполлон Николаевич Майков в 1836—1839. Рукописный альманах 1839 года», в которой, среди прочего, была названа и неизданная повесть Гончарова, «уже обнаруживающая замечательный талант» (РС. 1888. Кн. 5. С. 534). Несколько позднее А. Мазон, получив доступ к «Лунным ночам», хранившимся у вдовы Л. Н. Майкова А. А. Майковой, изложил содержание «Счастливой ошибки» в статье «Неизвестная первая новелла Ивана Александровича Гончарова» (*Časopis pro moderní filologii. Praha*, 1911. N 2. S. 106—111).

«Счастливая ошибка», по справедливому замечанию Н. Г. Евстратова, «менее всего была „домашним“ произведением, хотя и предназначалась автором по-прежнему для узкого круга Майковых» (*Евстратов*. С. 184). В ней гораздо заметнее ориентация Гончарова на современную ему «большую» литературу. «Счастливая ошибка» принадлежит к жанру светской повести, мимо которого «в той или иной мере» не прошел «ни один заметный писатель 30-х годов»¹, и который был представлен сочинениями Пушкина, Лермонтова, А. А. Бестужева-Марлинского, В. Ф. Одоевского, М. П. Погодина, Н. А. Полевого, Е. П. Ростопчиной, Н. Ф. Павлова, А. Ф. Вельтмана, В. А. Соллогуба, Е. А. Ган, М. С. Жуковой и др.

На первую половину 1830-х гг. пришелся стремительный расцвет жанра. Его горячий пропагандист С. П. Шевырев увидел в нем принципиально новое явление, сменившее экзотику «кавказских» и «фантастических» повестей изображением жизни «как она есть», в «обыкновенности» ее светских будней, но сохранившее при этом такие особенности,

¹ *Иезуитова Р. В.* Светская повесть // Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра / Под ред. Б. С. Мейлаха. Л., 1973. С. 173. См. также: *Белкина М. А.* «Светская повесть» 30-х годов и «Княгиня Лиговская» Лермонтова // Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова: Сб. 1. М., 1941. С. 516—551; *Русская светская повесть первой половины XIX века* / Сост., вступ. ст. и примеч. В. И. Коровина. М., 1990.

как «яркое событие», положенное в основу рассказа, и одушевляющее рассказ «сильное чувство» (МН. 1835. № 5. С. 124). С критикой узкословного содержания, вложенного Шевыревым в само понятие светской повести, выступил Белинский, писавший в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“» (1835): «Что это такое — „светская“ повесть? Не понимаем: в нашей эстетике не упоминается о „светских“ повестях. Да разве есть повести мужицкие, мещанские, подьяческие? А почему ж бы им и не быть, если есть повести „светские“?..» (Белинский. Т. I. С. 267).

Мода на светскую повесть, в особенности на повести Марлинского («Испытание» (1830), «Страшное гаданье» (1831), «Фрегат „Надежда“» (1833)), схематизм «светских» сюжетов, однотипность героев и конфликтов способствовали появлению многочисленных эпигонских произведений. Поток их, впрочем, быстро иссяк: к началу 1840-х гг. жанр теряет актуальность, уступает место как разнообразным «физиологиям», так и психологической, нравоописательной, философской повестям.

Обращение молодого Гончарова к популярному жанру — своего рода закономерность, как и обращение к нему И. И. Панаева, начинавшего светскими повестями («Спальня светской женщины» (1834), «Она будет счастлива» (1836), «Сегодня и завтра» (1837) и др.). Показательно и преобладание светских повестей среди прозаических произведений Евг. П. Майковой на страницах «Подснежника» и «Лунных ночей» («Листок из журнала», «Сила души», «Что она такое?», «Рассказ из частной жизни»). Однако в отличие от стереотипных, перенасыщенных мелодраматическими эффектами повестей Майковой и повестей Панаева, в которых он, по собственному признанию, старался «рабски подражать манере изложения и слогу Марлинского» (Панаев. Литературные воспоминания. С. 36), «Счастливая ошибка» откровенно эпигонских черт лишена. Сугубо «литературная», основанная на книжном, а не прожитом автором материале ранняя повесть Гончарова отразила этап его сознательного ученичества именно в той форме, важность которой он впоследствии не раз подчеркивал. Так, в письме к вел. князю Константину Константиновичу от 12 октября 1888 г. он представлял начальный этап творчества любого автора как «путь неустанного и нескончаемого чтения всей и всякой (своей и чужих) литератур, критик, полемики, крупных и мелких произведений, чтобы путем аналогических наблюдений выработать в себе тонкий критический анализ, уметь ценить других и себя и знать — не только как надо, но и как не надо писать». «Счастливая ошибка» демонстрирует в равной мере как зависимость начинающего автора от расхожих жанровых и образно-сюжетных схем современной ему литературы, так и известную критичность по отношению к подобным схемам.

Жанровому канону светской повести в «Счастливой ошибке» соответствуют не только материал, но и тип героев, общая линия развития их отношений, кроме того — ряд тематических (тема светского воспитания) и чисто описательных (описание бала, будуара светской красавицы и др.) элементов (см. об этом: Цейтлин. «Счастливая ошибка». С. 134 и след.; Бродская. С. 154). Однако ключевая роль случая в фабуле повести и самый тип повествования, ведущегося от первого лица в форме непринужденной «болтовни» с читателем, определяются не столько конкретным жанром, сколько традицией романтической прозы в целом. После «Счастливой ошибки» подобный тип повествования, как отметил М. Эре, у Гончарова более не встречается (см.: *Ehre*. P. 361).

Если у последовательных романтиков сюжетную основу в светских повестях составляет любовно-психологическая драма с обязательной

трагической развязкой (кроваво-мелодраматической — у эпигонов) и идиллические финалы, типа тенденциозного финала в «Испытании» Марлинского, исключительно редки, то «Счастливая ошибка» строится на анекдотическом недоразумении, скоро и благополучно разрешающемся (действие повести развивается в течение полутора суток). Конфликт со светом, важнейший в классических сюжетах светской повести, здесь предельно облегчен, мотив социального неравенства, также составляющий одну из важнейших сюжетных пружин в типичных образах жанра, снят, любовный конфликт приобретает почти водевильный характер, что сближает «Счастливую ошибку» с написанным вскоре после нее «Иваном Савичем Поджабриным». Идиллически разрешается и намеченный было конфликт в отношениях барина с крепостными. Социальная тема подана в шуточном освещении, однако именно в том аспекте, который в светской повести абсолютно невозможен, но характерен для творчества зрелого Гончарова.¹

Как и в случае с «Лихой болезнью», не проясненным до конца остается вопрос о степени пародийности повести или о полемической (антиромантической) установке молодого Гончарова, а следовательно, и о своеобразии его идейно-эстетической позиции. Сопоставление «Счастливой ошибки» с теми или иными образами светской повести, как правило, приводит исследователей к выводу либо о «невывержанности» в ней жанрового канона, либо о пародировании этого канона, последовательном, по мнению одних, или также до конца не выдержанном, по мнению других. Так, А. Г. Цейтлин не видел в «Счастливой ошибке» пародийного начала, утверждая, что ее автор стоит «на переломе между романтикой и реализмом (...) не нашел еще свой стиль. (...) Быть может, поэтому-то Гончаров и не решился напечатать „Счастливую ошибку“, она могла ему показаться неспянной, неорганичной, малооригинальной и в то же время нетрадиционной» (Цейтлин. «Счастливая ошибка». С. 135). Гончаров, на его взгляд, как будто остается в рамках традиции светской повести, но «не берет всерьез высоких переживаний своих героев» (Цейтлин. С. 43).

Сопоставление «Счастливой ошибки» с повестью Марлинского «Месь» (1835) приводит В. Б. Бродскую к выводу, что «Гончаров (...) поставил перед собой задачу написать обыкновенную светскую повесть. И во многом успел. (...) содержание, язык, стиль „Счастливой ошибки“ характеризуют ее как типичную светскую повесть, канонами которой легко и талантливо пользовался Гончаров». Однако формальному заданию, по мнению Бродской, в повести противостоит идейное, определяемое «критическим отношением Гончарова к действительности», благодаря чему «Счастливая ошибка» из светской повести превращается в ее «пародийную стилизацию» (Бродская. С. 154—155, 157, 159). Н. Г. Евстратов, совершенно оправданно искавший сюжетных аналогий «Счастли-

¹ «Было бы натяжкой говорить об осознанной и последовательно проведенной антикрепостнической тенденции повести — сюжет ее связан с иным заданием, тем не менее нельзя обойти вниманием эпизод, в котором на примере Адуева показано, как часто судьба крепостных людей решалась капризом, минутным настроением барина» (Евстратов. С. 196—197). М. Эре и вслед за ним Вс. Сечкарев полностью исключают социальное содержание конфликта Адуева с крепостными, признавая важной лишь структурную функцию эпизода — создание двух контрастно соотносенных ситуаций до и после примирения героя с Еленой (см.: *Ehre*. P. 363—365; *Setchkarev*. P. 32—33).

вой ошибке» не в высоких образцах жанра (Марлинский), а в массовой журнальной беллетристике 1830-х гг., указал на повесть Рахманного (Н. Н. Веревкина) «Кокетка» (см.: *БДЧ*. 1836. Т. 18). И у Гончарова, и у Рахманного «страдательным лицом выступает „благородный” герой с пылким сердцем, страдающий от кокетства и гордости любимой им женщины»; у героев обеих повестей совпадает представление об идеале возлюбленной; почти в одних и тех же выражениях они упрекают своих избранниц в легкомыслии (*Евстратов*. С. 194, 195). Существенное отличие «Счастливой ошибки» от шаблонной романтической светской повести 1830-х гг. ученый видит в «самом характере отношения автора к своему герою и в принципах его изображения» (Там же. С. 197). Гончаров, по его мнению, не столько следовал жанру светской повести, сколько «преодолевал его, разрушал изнутри, пользуясь своим обычным оружием иронии и пародии» (Там же. С. 196). Точка зрения Евстратова была поддержана в работах С. С. Деркача (см.: *Деркач*. С. 36) и В. П. Сомова, писавшего: «Все основные элементы „светской повести” (сюжет, герои, композиция, романтическая фразеология) последовательно пародируются молодым писателем»;¹ соответственно повесть включает два плана — пародируемый («стилизированный, стилизация как первая ступень пародии») и пародирующий.² Однако, как и Н. Г. Евстратов (ср.: *Евстратов*. С. 196—197), В. П. Сомов останавливается не столько на пародийных приемах Гончарова, сколько на отличиях «Счастливой ошибки» от канонических светских повестей (присутствие социальных мотивов; более глубокий, чем у романтиков, психологизм; юмор, служащий целям «сатиры и пародии»; позиция автора, не сливающаяся с позицией героя; приглушенность «антисветской» темы).

«Счастливая ошибка» не является жанровой пародией в чистом виде, несмотря на то что в ней иронически обыгрываются романтические шаблоны и разоблачается романтизированный строй чувств главного героя. Заслуживает внимания точка зрения М. Эре, писавшего, используя тыняновский термин, о «пародичности», а не пародийности гончаровских текстов, для которых характерна «конфронтация различных категорий существования, поэтических и прозаических, идеальных и заурядных, исключительных и обыкновенных, воплощенных в одном или разных персонажах. Такие модели оппозиции пародичны по природе и не обязательно направлены против того или иного литературного направления» (*Ehre*. P. 356).

Юмористический, но не обязательно пародийный эффект создает и оперирование различными стилистическими системами — прием, которым Гончаров пользуется постоянно. Возникновение подобного рода явлений возможно лишь в переходные литературные эпохи и само по себе отражает смену литературных стилей.³

¹ См.: *Сомов В. П.* Три повести — три пародии: (О ранней прозе И. А. Гончарова) // Учен. зап. Моск. пед. ин-та. 1967. № 256. С. 123. Ср. сходную точку зрения: *Мухамидинова Х. М.* Повествовательное слово в раннем творчестве И. А. Гончарова // *Жанрово-стилевая эволюция реализма*: Сб. науч. трудов. Фрунзе, 1988. С. 27.

² *Сомов В. П.* Три повести — три пародии: (О ранней прозе И. А. Гончарова). С. 126.

³ См. об этом: *Тынянов Ю. Н.* Поэтика; История литературы; Кино. М., 1977. С. 284—302, 484. Для выявления своеобразия творческой манеры молодого Гончарова представляет интерес сопоставление его ранней прозы, и «Счастливой ошибки» прежде всего, с произведениями

Безусловно прав В. П. Сомов, увидевший в «Счастливой ошибке» следы непосредственного влияния «Повестей Белкина», в первую очередь «Метели» и «Барышни-крестьянки».¹ Однако и в этом случае исследователем явно преувеличено значение пародийно-полюемической антиромантической установки, выдвинутой им в «Счастливой ошибке» на первый план («Гончаров в создании антиромантических произведений обращается прежде всего к опыту Пушкина (...) ранние повести Гончарова несовершенны, но как литературные пародии (...) они единственны в своем роде после антиромантической прозы Пушкина и выказывают руку остроумного пародиста, писателя-сатирика, врага всего ложного в литературе и жизни»)² В ряде работ, кроме того, отмечается воздействие гоголевской поэтики на некоторые комические приемы, к которым прибегает Гончаров в своей ранней повести (см.: *Пиксанов. Белинский в борьбе за Гончарова*. С. 62; *Демидовская*. С. 78, 85).

Несколько преувеличенным представляется утвердившееся в научной литературе мнение о глубине авторского психологического анализа в «Счастливой ошибке». «Повесть эта в основе своей психологическая, — пишет, к примеру, А. Г. Цейтлин, — ибо Гончарова больше всего занимают внутренние мотивы человеческого поведения, законы психической жизни мужчины и женщины» (*Цейтлин*. С. 44). По мнению С. С. Деркача, создание писателем в повести «сложного психологического портрета» означало «новый шаг в его творческой эволюции» (*Деркач*. С. 36). Однако при всем авторском стремлении показать переменчивость и сложность внутренних переживаний героев, психологизм Гончарова скорее описателен, нежели аналитичен. Показательна в этом плане отвлеченно-моралистическая сентенция о человеческом несчастье, представляющая собой не что иное, как развернутый ответ на один из вопросов игры в «секретари», которой увлекались в кружке Майковых.³ Вопрос игры звучал так: «Какого человека можно назвать несчастным в полной мере?» (*Подснежник*. 1835. № 3. Вклейка между л. 115 и 116). Несколько запоздавший ответ Гончарова в «Счастливой ошибке» таков: «По-моему, какая бы ни была причина горя, но если

столь же «переходными» по характеру, — к примеру, со светскими повестями В. А. Соллогуба («Три жениха» (1837), «Сережа» (1838) и др.). Такой подход наметен в статье В. И. Сахарова «„Добиваться своей художественной правды...“» (см.: *Сахаров*. С. 120).

¹ См.: *Сомов В. П.* Пушкинские традиции в прозе И. А. Гончарова 30-х годов // Учен. зап. Моск. пед. ин-та. 1969. № 315. С. 303—311. Параллель с «Барышней-крестьянкой» впервые указана в работе: *Пиксанов. Белинский в борьбе за Гончарова*. С. 61—62.

² *Сомов В. П.* Пушкинские традиции в прозе И. А. Гончарова 30-х годов. С. 311. В. П. Сомовым слишком прямолинейно воспринимается и пародийность «антиромантических» повестей Пушкина. Более точной представляется позиция другого исследователя: «...ирония Пушкина, например в „Метели“, — это не ирония пародии (...) ирония выступает в „Повестях“ не как литературно-полюемический прием, а как форма субъективного освещения событий, в функции, близкой к романтической иронии» (*Вацуро В. Э.* От бытописания к «поэзии действительности» // *Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра*. Л., 1973. С. 215).

³ Об игре в «секретари» см.: *Ляцкий. Роман и жизнь*. С. 126—140; *Сомов В. П.* «Редакция „Подснежника“ имеет честь предложить...»: (О неизвестной пародии И. А. Гончарова) // *РЛ*. 1970. № 3. С. 92—93.

человек страдает, то он и несчастлив. От расстройства ли нерв страдает он, от воображения ли или от какой-нибудь существенной потери — всё равно. Для измерения несчастья нет общего масштаба: о злополучии должно судить в отношении к тому человеку, над которым оно совершилось, а не в отношении ко всем вообще; должно поставить себя в круг его обстоятельств, вникнуть в его характер и отношения» (наст. том, с. 81).

Все, что связано в повести с темой «света», носит сугубо нравоопределяющий характер. Вместе с тем живая и естественная интонация диалогов (составляющих в «Счастливой ошибке», как и в более поздних произведениях Гончарова, значительную часть текста), достоверность стоящих за репликами персонажей психологических переживаний позволяет говорить о новых, реалистических началах в творческом методе писателя.

В целом же повесть, как отметил еще при ее публикации А. Г. Цейтлин, «стилистически не едина, повествовательная концепция в ней не выдерживается, отношение автора к происходящему неровное и все время меняется».¹ Оба эпиграфа — из Гоголя и Грибоедова — сигнализируют о комическом освещении событий.² Биография Егора Адуева, составленная из ряда трафаретных мотивов (сиротство, путешествие в «чужие края», горький сердечный опыт), подается в ироническом снижении. Своей «позой» герой пародийно повторяет Чацкого (цепочка реминисценций из «Горя от ума» — см. ниже, с. 651, примеч. к с. 65 — создает иронический подтекст его авторской характеристики).³ Безусловно саморазоблачительны «бурные излияния кипучей страсти» Адуева, «дикость и необузданность» его языка. Снижающую функцию, помимо прочего, выполняют имя и фамилия героя. В романтической традиции они строго маркированы: высокий герой носит «благородное» имя, простонародное же имя и комическую фамилию мог иметь только заведомо «прозаический» персонаж.⁴ Друзья Адуева носят типовые «романтические» фамилии — Бронский, Дружевский; фамилии-маски второстепенных героев — Раутов, Светов, Балов — восходят к традиции просветительской сатиры. В этом «литературном» соседстве «обыкновенные» имя и фамилия Егора Адуева семантически небезразличны.

И напротив, все, что связано в повести с главной героиней — история ее «чистого и благородного» сердца, идущие «от автора» пространные рассуждения о светском воспитании Елены и пр., — лишено какой бы то ни было иронической окраски.

Описание сумерек в экспозиции повести носит характер условной стилевой игры, с типичной для Гончарова прозаизацией поэтических включений («Благословен и тьмы приход!» — сказал Пушкин»), намеренным снижением как сентиментально-элегических, так и патетических

¹ Недра. 1927. № 10. С. 244.

² Гончаровские эпиграфы не менее «программно», чем многочисленные эпиграфы у писателей-романтиков, заявляют о литературных авторитетах молодого писателя; аналогична и роль двух ссылок в тексте на «Евгения Онегина».

³ Прямые и скрытые параллели и цитаты из «Горя от ума» составляют в прозе Гончарова постоянный литературный фон.

⁴ «Адуи (...) — прозвище крестьян Одоевского уезда Тульской губернии. Адуи — водохлебы, медные брюха» (Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1965. Вып. 1. С. 208; см. также: Федосюк Ю. Русские фамилии: Популярный этимологический словарь. М., 1981. С. 13).

мотивов. Уже здесь иронически подана важнейшая романтическая оппозиция «мечта — существенность», к которой на протяжении повести Гончаров возвращается неоднократно, намеренно гармонизируя ее и отнюдь не принижая «мечтательную» сторону жизни; поэтому, в частности, повесть и не укладывается в жесткую «антиромантическую» схему.

Неоднородность повествовательного тона «Счастливой ошибки» объясняется, с одной стороны, исчерпанностью самого жанра светской повести и в целом переходной стилиевой ситуацией конца 1830-х гг. С другой стороны, стилиевая «гибридность» в высшей степени характерна для индивидуальной творческой манеры Гончарова. Отсутствие устойчивой дистанции между автором и героем, автором и повествователем, взаимопроникновение авторского и «чужого» слова, ускользающая грань между иронией и серьезностью, перепады стиля, создающие в одних случаях эффект мастерской игры, в других — очевидные диссонансы, сохраняются и в более поздних произведениях писателя.¹

На прямую связь «Счастливой ошибки» с последующим творчеством Гончарова, и «Обыкновенной историей» прежде всего, указал еще А. Мазон, отметивший не только «родство» Егора и Александра Адуевых, но и то, что письмо старосты и беседа героя с управляющим в ранней повести предвосхищают один из центральных мотивов «Обломова» (см.: *Мазон*. Р. 56). А. Г. Цейтлин убедительно продемонстрировал однородность «реплик, ремарок, описаний, целых эпизодов» в ранней повести и первом гончаровском романе, имея в виду сюжетную линию Александр Адуев — Надинька, повторяющую, по его мнению, «от конца к началу» схему развития отношений героев «Счастливой ошибки» (*Цейтлин. «Счастливая ошибка»*. С. 125—145). Сопоставительный анализ ряда эпизодов ранней повести и первого романа Гончарова проделан также В. Б. Бродской (см.: *Бродская*. С. 153—154).

Жанровой традицией светской повести во многом определяется история воспитания Юлии Тафаевой в «Обыкновенной истории» (часть вторая, гл. III); здесь же появляется и светский «фат» Сурков, мимоходом упомянутый в «Счастливой ошибке».

С. 65. *Господи Боже Ты мой! ~ жинок наплодил!* — Неточная цитата из «Сорочинской ярмарки» (1831). У Гоголя: «Господи Боже мой, за что такая напасть на нас, грешных! и так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!» (*Гоголь*. Т. I. С. 120). О характере использования Гончаровым эпитафий в сопоставлении с Пушкиным и Гоголем см.: *Сомов В. П.* Пушкинские традиции в прозе И. А. Гончарова 30-х годов. С. 309—310.

С. 65. *Шел в комнату — попал в другую;* ср. также с. 79: *У него было нечто вроде «горя от ума»;* с. 85: *пухушь странствовать по свету ~ путешествие всего спасительнее для сумасшедших этого рода...* — Цитата (д. I, явл. 4) и реминисценции «Горя от ума».

¹ О функциях «рассеянной» чужой речи и «образуемых ею гибридных конструкций» в «Обыкновенной истории» см.: *Маркович В. М.* И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века: (30—50-е годы). Л., 1982. С. 91 и след., а также: *Бухаркин П. Е.* «Образ мира, в слове явленный»: (Стилистические проблемы «Обломова») // От Пушкина до Белого: Проблемы поэтики русского реализма XIX—начала XX века. СПб., 1992. С. 132—134.

С. 65. ...«*слышу молчание*»... — Возможный намек на один из мотивов лирики В. А. Жуковского. Ср.: «И ликов ряд недвижных стоит, / И, мнится, их молчанье говорит...» («Мина», 1817); «И лишь молчание понятно говорит» («Невыразимое», 1819) (Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1959. Т. I. С. 289, 337).

С. 65. ...*как не любить сумерек? кто их не любит?* — Намек на расхожесть и клишированность описаний сумерек, одного из излюбленных образов романтиков.

С. 65. ...*снедая в поте лица хлеб свой*... — Выражение восходит к Библии (Быт. 3:19).

С. 65. *Но то существенная, прозаическая радость, а в сумерках таятся высшие, поэтические наслаждения.* — Здесь и ниже иронически обыгрывается важнейшее идейно-стилевое клише романтизма: антитеза мечты и существенности. Ср. сходное использование той же схемы («практическая» и «идеальная» стороны жизни) в начале «этюда» («Хорошо или дурно жить на свете?») (наст. том, с. 507). В описании сумерек возможна переключка с «Невским проспектом» (1835) Гоголя. Ср.: «Но как только сумерки упадут на дома и улицы (...) настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый чудесный свет» (Гоголь. Т. III. С. 14—15).

С. 65. *Благословен и тьмы приход!* — сказал Пушкин. — Строка из элегии Ленского («Евгений Онегин», глава шестая, строфа XXI). Ср. в конце того же абзаца: «Где ты, золотое время? воротиться ли опять? скоро ли?» — парафраза стихов Ленского и вместе с тем пародийная обработка типового элегического мотива.

С. 66. ...*нагревании черепов искусственными парами*... — Возможный источник этого образа — «Послание Дельвигу» (1827) Пушкина, впервые опубликованное под названием «Череп» в «Северных цветах» на 1828 г.: «Почтенный череп сей не раз / Парами Вахха нагревался...».

С. 67. ...*не то из Садовой, не то из Караванной*... — Две параллельные близко расположенные улицы, выходящие на Невский проспект. Герой повести живет в 4-й Адмиралтейской части Петербурга, населенной чиновниками, ремесленниками и «временно прибывающими сюда из губернии дворянами» (Пушкарев. С. 74).

С. 67. *Напрасно сей вытягивал руки во всю длину*... — Подчеркивая в рукописном тексте слово «сей», Гончаров откликается на широко известное и неоднократно обыгранное критикой 1830-х гг. «гонение» О. И. Сенковского на слова «сей», «оный», «поелику» и им подобные. Выступая за приближение литературного языка к разговорному, Сенковский предлагал отказаться от их употребления (см., в частности, в его книге «Фантастические путешествия Барона Брамбеуса» (СПб., 1833. С. XI, XII и др.), а также в критических статьях и разборах); его выступления приобретали подчас комически-утрированный характер. Так, он опубликовал «Резолюцию на челобитную сего, оного, такового, коего, вышеупомянутого, вышеереченного, нижеследующего, ибо, а потому, поелику, якобы и других причастных к оной челобитной, по делу об изгнании оных, без суда и следствия, из русского языка» (БдЧ. 1835. Т. 18. Отд. VI). Комизм позиции Сенковского обыгран в пародии К. А. Бахтурина «Барон Брамбеус» (конец 1830-х гг.):

До рассвета поднявшись, перо очинил
Нечестивый Брамбеус барон.
И чернил не шадил, сих и оных бранил
До полудня без отдыха он.

(Русская стихотворная пародия:
XVIII—начало XX в. Л., 1960. С. 286).

Созданный при участии Бахтурина водевиль «Сей и оный» (1839) шел на сцене Александринского театра в сезон 1838/39 г. (см.: *Вольф А. И.* Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 годов. СПб., 1877. Ч. 1. С. 77). Гоголь в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» (1836), иронизируя над позицией Сенковского, замечал, что последний «завязал целое дело о двух местоимениях: *сей* и *оный*, которые показались ему (...) неуместными в русском слого. Об этих местоимениях писаны им были целые трактаты, и статьи его, рассуждавшие о каком бы то ни было предмете, всегда оканчивались тем, что местоимения *сей* и *оный* совершенно неприличны» (Гоголь. Т. VIII. С. 160—161). В публицистике 1830-х гг. пародийное обыгрывание слов «сей» и «оный» стало общим местом (см., например, в ряде рецензий Белинского: *Белинский*. Т. I. С. 390, 439 и др.). Ср. также: *Старчевский А. В.* Воспоминания старого литератора // *ИВ*. 1891. № 8. С. 326—327.

С. 67. ...*поворотил в Морскую...* — Т. е. «аристократическую» Большую Морскую улицу, расположенную в начале Невского проспекта.

С. 68. ...*в вольтеровских креслах...* — См. выше, с. 639, примеч. к с. 27.

С. 68. ...*затейливыми арабесками...* — Арабески (фр. arabesque) — причудливый, фантастический орнамент.

С. 68. ...*действительный тайный советник барон...* — Речь идет о гражданском чине 2-го класса по Табели о рангах, соответствовавшем армейскому чину генерала и флотскому — адмирала, и о наследственном родовом титуле, введенном в России при Петре I и принадлежавшем, как правило, лицам иностранного происхождения.

С. 69. ...*на богатом оттомане...* — В 1820—1830-е гг. в моду входят одежда, предметы быта, мебель «в восточном вкусе», в том числе и оттоманы — мягкие диваны без спинок, обитые коврами, со множеством вышитых подушек.

С. 70. ...*неспособное более к электрическому трепету сладостного чувства.* — Здесь, как и в ряде других случаев, Гончаров использует стиливые штампы, тиражировавшиеся в 1830-х гг. в жанре светской повести. Ср. в повести И. И. Панаева «Спальня светской женщины»: «*Одна!* это слово электрически объяло его сердце...»; «Княгиня вздрогнула: ее проникал сладостный трепет» (*Панаев И. И.* Первое полн. собр. соч. СПб., 1888. Т. I. С. 27, 31). Подобного рода шаблонные «поэтизмы», поданные в комментируемой повести нейтрально, иронически обыгрываются в «Обыкновенной истории». Уподобление любви электричеству, магнитным, химическим, по представлениям того времени — загадочным невещественным процессам (имеется в виду электричество «животное», или «животный магнетизм», «месмеризм»), составляло часть романтической концепции любви. Ср. дневниковую запись главного героя в «Сильфиде» (1836) В. Ф. Одоевского: «любовь... растение... электричество... человек... дух» (*Одоевский В. Ф.* Соч.: В 2 т. М., 1981. Т. II. С. 123). Ставшее в 1830-е гг. расхожим представление о любви как «электричестве души» неоднократно пародировалось О. И. Сенковским в «Фантастических путешествиях» (1833), повестях «Любовь и смерть» (1834), «Записки домового» (1835) (*Сенковский О. И.* Собр. соч. СПб., 1858. Т. II. С. 63, 411; Т. III. С. 241). С насмешливыми выпадами Сенковского сближается ирония Петра Иваныча Адуева в «Обыкновенной истории» (см. также ниже, с. 764—765, примеч. к с. 239). Этот же образ использован Гоголем в «Театральном разъезде после представления новой комедии» (1836—1842): «Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?» (Гоголь. Т. V. С. 142).

С. 70. *Камер-юнкер* — младший придворный чин, который присваивался лицам в гражданских чинах от 7-го до 4-го класса.

С. 70. *Ротмистр* — старший офицерский чин (9-го класса — по Табели о рангах), соответствовавший чину капитана в других родах войск.

С. 76. *Флигель* — старинный музыкальный клавишный инструмент, напоминающий современный рояль.

С. 78. *Юнкер* — военное звание ниже 14-го класса с 1802 г. до 1860-х гг. для унтер-офицеров из дворян; с 1860-х гг. — учащийся юнкерского училища.

С. 80. ...гуляя бы по Невскому проспекту и читал «Библиотеку для чтения»... — «Библиотека для чтения» — ежемесячный журнал «словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод». Издавался в Петербурге в 1834—1865 гг. Первый издатель — А. Ф. Смирдин, редактор (с 1834 до 1848; до 1836 — совместно с Н. И. Гречем) — О. И. Сенковский. Упомянут здесь для характеристики занятий и вкусов столичного обывателя.

С. 81. *Зельцерская (сельтерская) вода* — минеральная, соляно-углекислая вода, по названию источника в селении Selters, в Германии.

С. 82. ...в магазинах Гамбса, Юнкера, Плинке... — Речь идет о дорогах и модных магазинах столицы. Мебельный магазин Гамбса находился на Итальянской улице и принадлежал знаменитым мебельщикам Аристиду и затем Петеру Гамбсу; магазин эстампов Юнкера находился на Невском пр.; «английский магазин» (разных вещей) Никольса и Плинке — на Большой Морской ул., недалеко от Невского пр. (*Пушкарев*. С. 447, 451; *Нустрем К.* Адрес-календарь санктпетербургских жителей: В 3 т. СПб., 1844. Т. 3. С. 24).

С. 83. ...подсвечника с транспарантом... — Транспарант — абажур или рамка, затянутая прозрачной тканью с рисунком.

С. 83. ...будь она хоть «Сочинения» Фиглярина!.. — Фиглярин — уничижительное прозвище Ф. В. Булгарина (о нем см. выше, с. 644, примеч. к с. 61), вошедшее в обиход после эпиграммы «Не то беда, что ты поляк...» и стихотворения «Моя родословная» (оба произв. — 1830) Пушкина. «Сочинения» Булгарина издавались в Петербурге в 1827—1828 гг. (в 5-ти томах), в 1830 г. (2-е изд.; в 12-ти частях) и в 1836 г. (в 3-х частях).

С. 83. *Амбра* (фр. ambre) — благовонное вещество.

С. 83. *Куафер* (фр. coiffeur) — парикмахер.

С. 84. ...ноги его подкашивались, точно как, по выражению Гюго, на каждой ноге у него было по две колени. — Источник — повесть В. Гюго «Последний день приговоренного к смертной казни» (1829): «Ноги у него были как ватные и подгибались, словно в каждой было по двое колен» (*Гюго В.* Собр. соч.: В 15 т. М., 1953. Т. I. С. 289). Гончаров мог пользоваться изданиями: *Hugo V. Le dernier jour d'un condamné*. Paris, 1832; 2-е éd. Paris, 1836 — и переводами: Последний день приговоренного к смертной казни (Галатея. 1829. № 17—19); Последний день приговоренного к смерти (СПб., 1830). Эта реминисценция — единственное свидетельство интереса писателя к повести Гюго, исключительно популярной у русского читателя в 1830-е гг. О ней восторженно отзывались столь разные люди, как А. В. Никитенко и А. А. Бестужев-Марлинский (см. дневниковую запись первого от 6 марта 1831 г. — *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. I. 1826—1857. С. 103; письмо второго к Н. А. Полевому от 18 мая 1833 г. — *Бестужев-Марлинский*. Т. II. С. 507); ею зачитывался молодой Достоевский, назвавший позднее повесть Гюго «бессмертным произведением» (см.: *ЛН*. Т. 83. С. 395).

С. 88. ...там он с волшебным зеркалом лежал бы у ног своей Армиды... — Армида — героиня поэмы Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим» (1580), особенно популярной у романтиков; в широком смысле — женщина-обольстительница (общеупотребительны также выражения «сады Армиды», «замок Армиды»; зеркало Армиды упоминается в песни XVI). В Автобиографии 1858 г. поэма Тассо названа Гончаровым в числе книг, увлекавших его в юности («Долго пленял И. А. Гончарова Тасс в своем „Иерусалиме“...»); герой «Обрыва» Борис Райский «не спал ночей, читая об Армиде» (часть первая, гл. IV), он же «брал уроки у русских и нерусских „Армид“» (часть первая, гл. XIII).

С. 88. ...какого-нибудь развратного корифея буйных шалунов... — Здесь, как и в ряде других случаев (см. выше, примеч. к с. 70), Гончаров использует трафаретную фразеологию, типичную для антисветской (обличительной) темы как в поэзии, так и в прозе. Ср. в «Испытании» Марлинского: «Бал уже склонялся к концу, и многие из корифеев моды, зевая в гостиной на просторе, клялись, что он чрезвычайно весел...» (*Бестужев-Марлинский*. Т. I. С. 207). «Шалун — повеса, тот, кто ведет легкую, полную забав, развлечений жизнь» (Словарь языка Пушкина. М., 1961. Т. 4. С. 963). Концентрация подобных штампов в одной фразе выявляет скрытую авторскую иронию.

С. 88. ...под туретчину с ним ходил... — Имеется в виду русско-турецкая война 1806—1812 гг.

С. 89. ...на бал в Коммерческом клубе. — Основанное в 1784 г. Коммерческое общество имело целью «доставить здешнему биржевому купечеству возможность собираться вместе, для совещания по делам коммерческим, и проводить время в приятной беседе или в разных дозволенных играх» (*Пушкарев*. С. 462); помещалось в д. 10 по Английской набережной (см. ниже). Право вступления в члены общества предоставлялось только лицам купеческого сословия. Общие балы проводились по подписке до четырех раз в зиму.

С. 89. ...на Английской набережной... — Так именовалась набережная по левому берегу Невы от Сенатской площади до Ново-Адмиралтейского канала; на ней находились особняки петербургской знати, дома дипломатического корпуса.

С. 89. Все бытописатели ~ описать эти мелочи, как описал Пушкин в «Онегине»... — Описание бала содержится в главе первой «Евгения Онегина» (строфы XXVII—XXVIII). Ироническое упоминание бытописателей Булгарина и Орлова имеется также в «Лихой болести» (см. выше, с. 643—644, примеч. к с. 61).

С. 90. ...обличали в них первоклассных денди... — Денди (англ. dandy) — щеголь. О происхождении и литературном употреблении слова «денди» в 1830-е гг. см.: *Лотман. Комментарий*. С. 124—125.

С. 90—91. ...бельэтаж Михайловского театра ~ балконы каменноостровских дач. — Михайловский театр (ныне Санкт-Петербургский академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского) расположен на пл. Искусств (б. Михайловской) в здании, построенном в 1831—1833 гг. архитектором А. П. Брюлловым. Со времени открытия театра в ноябре 1833 г. в нем шли спектакли итальянской оперной, французской и немецкой драматических трупп, собиравшие главным образом представитель придворно-аристократических кругов, дипломатов и живших в Петербурге иностранцев. Репертуар определялся модными новинками парижской сцены (в течение длительного времени здесь играли выдающиеся французские актеры; французская труппа театра считалась одной из лучших в Европе). Гончаров и позднее с иронией отзывался о «философии, добытой с досок Михайловского театра» («Обрыв», часть

четвертая, гл. V). Каменноостровские дачи — место летнего отдыха петербургской знати на Каменном острове (см. выше, с. 640, примеч. к с. 37—38).

С. 93. *Контрданс* — старинный балльный танец наподобие кадрили.

С. 93. ...*Адуев, прислонясь спиной к мраморной колонне, случайно переносил задумчивые взоры...* — Герой стоит в той самой «байронической» позе, которая стала общим местом при описании балльных сцен в литературе 1830-х гг. Ср.: «Лара на балу в замке Оттона стоит в знаменитой байронической позе — прислонившись к высокой колонне, скрестив руки на груди, внимательно и задумчиво созерцая танцующих» (*Жирмунский В. М.* Байрон и Пушкин. Л., 1978. С. 128).

С. 93. ...*подле этрусской вазы...* — Произведения прикладного искусства этрусков относятся к VII—I вв. до н. э.

С. 95. ...*не над сахарным сердцем паркетного мотылька...* — Здесь, как и выше (см. выше, примеч. к с. 70, 88), используется лексика, характерная для антисветской (обличительной) темы и встречающаяся у А. Марлинского, В. Одоевского, В. Соллогуба, И. Панаева и др. (ср. выражение «паркетный любезник» в повести Панаева «Она будет счастлива» — *Панаев И. И.* Первое полн. собр. соч. СПб., 1888. Т. I. С. 66). «Паркетник (*иноск.*) — ловкий, но пустой светский человек (паркетный шаркун)» (*Михельсон М. И.* Русская мысль и речь. Свое и чужое: Опыт русской фразеологии. СПб., [б. г.]. Т. 2. С. 11).

С. 95. ...*расписанный альфреско...* — Альфреско (ит. *al fresco*) — техника росписи по сырой штукатурке, то же, что фреска.

С. 95—96. ...*Амур ~ хотел опустить из рук миртовый венок...* — Миртовый венок или ветвь — символ любви и наслаждения; в греческой мифологии является одним из атрибутов Афродиты; венок, кроме того, — атрибут Гименея, бога брака (см. также ниже, с. 769, примеч. к с. 267).

С. 96. *Вист* — английская коммерческая карточная игра для четырех партнеров. Считалась игрой «степенных», солидных людей. О месте коммерческих и азартных игр в культурном обиходе столицы и провинции см.: *Лотман*. С. 136—163.

С. 101. ...*у неаполитанского посланника.* — Неаполитанский (и обеих Сицилий) посланник князь Бутера проживал в доме 5 по Английской наб., принадлежавшем гр. А. И. Остерману-Толстому (см.: *Нистрем К.* Книга адресов С.-Петербурга на 1837 год. СПб., 1837. С. 209). Дом этот «считался в то время одним из лучших в столице. Одна отделка белой залы в два света стоила почти 50 000 руб. Все окна были из цельного богемского стекла, тогда еще большой редкости в Петербурге. На пышных приемах у Остермана бывал весь город. (...) Среди ценных картин и статуй, украшавших комнаты, обращал на себя внимание заранее заготовленный надгробный памятник владельца дома работы Кановы...» (*Яцевич А.* Пушкинский Петербург. СПб., 1993. С. 133—134).

С. 101—102. *Поднимая первый стакан шампанского... Заметьте: я сказал, не бокал ~ шампанское из бокалов не пьют...* — Возможный шуточный намек на основной мотив обвинения Чацкого в сумасшествии: «Шампанское стаканами тянул» («Горе от ума», д. III, явл. 21).

ИВАН САВИЧ ПОДЖАБРИН

Очерки

(С. 103—171)

Автограф неизвестен.

Источники текста

С. 1848. № 1. Отд. I. С. 49—124.

Для легкого чтения: Повести, рассказы, комедии, путешествия и стихотворения современных русских писателей. СПб., 1856. Т. 2. С. 1—115 (ценз. разр. — 22 мая 1856 г.).

Впервые опубликовано: С. 1848. № 1. Отд. I. С. 49—124, с подписью: «Ив. Гончаров» и датой: «1842 г.».

В собрание сочинений впервые включено: 1896. Т. IX.

Печатается по тексту С со следующим исправлением:

С. 147, строка 43: «Иван Савич» вместо: «Он» (по контексту).¹

Текст «Современника» в качестве основного выбран по ряду соображений.

Прежде всего известно, что Гончаров (как, впрочем, и другие писатели) был недоволен качеством публикации в сборнике «Для легкого чтения». Сохранилась записка, представленная им в Петербургский цензурный комитет (т. е. по месту его тогдашней службы) перед отъездом в отпуск за границу весной 1857 г.: «Имею честь покорнейше просить господ цензоров С.-Петербургского цензурного комитета не дозволять в печать, без моего согласия, моих сочинений в издаваемом книгопродавцем Давыдовым Собрании повестей и другого рода статей под заглавием „Для легкого чтения“. 2 апреля 1857. Ст(атский) сов(етник) Иван Гончаров». На этом документе имеются расписки цензоров в том, что они с ним ознакомились, причем самую характерную запись оставил цензор «Для легкого чтения» В. Н. Бекетов: «Меня о сем уже просили многие». Вполне возможно, что Н. А. Некрасов — составитель сборников — не сообщил Гончарову о перепечатке «Поджабрина» или сообщил задним числом.²

Действительно, набор текста очерка в сборнике, производившийся не с рукописи, а с первой публикации,³ осуществлен неряшливо (ср., например, пропуски слов, обесмысливающие текст (выделены далее курсивом): «Должность проклятая... не дадут *заснуть!*» (с. 115, строка 23); «— Ваше здорovie, милая Амалия! — закричал (...) князь и выпил бокал. — Мерси, — отвечала соседка графа. — И я пью *ваше*» (с. 149, строка 30), и пропуск фразы «— У! какая добродетель! ~ понравиться

¹ Это же исправление сделано и в тексте «Для легкого чтения».

² С подобной небрежностью со стороны Некрасова столкнулся и И. С. Тургенев, лишь из рекламных объявлений узнавший о готовящейся перепечатке в т. 5 «Для легкого чтения» своей поэмы «Помещик» (см.: *Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. М., 1987. Т. 3. С. 184*); с А. А. Фетом у Некрасова едва не возник конфликт из-за нечетко оговоренных гонорарных условий (см.: *Переписка Некрасова. Т. 1. С. 528*).

³ Это касается и всех остальных текстов: в цензуру второй том сборника был представлен А. И. Давыдовым в виде «печатных листов» (РГИА, ф. 772, оп. 1, № 3808, л. 129 об.).

этакой!..» (с. 160, строка 19), исчезнувшей скорее всего в процессе верстки книги) и носит на себе явные следы определенной (характерной и для других текстов сборников «Для легкого чтения») корректорской правки (замена просторечных форм на литературные («маненько» на «маленько», «дошедши» на «дойдя», «проздравим» на «поздравим» и т. п.) и уменьшительных форм на полные («бутылочка» на «бутылка», «петушка» на «петуха» и т. п.)). Кроме того, обращает на себя внимание правка, сделанная лицом, недостаточно внимательно читавшим текст. Так, во фразе: «Уж с месяц посещал Иван Савич баронессу, но не позволял себе ни малейшего намека на любовь, или, как он говорил, на что-нибудь такое» (с. 146, строка 17) — «он» заменено на «Авдей». Действительно, немного выше эту фразу произносит Авдей (с. 144, строка 17), но еще раньше — сам Иван Савич (с. 129, строка 29). Вероятно, по замыслу автора, лакей должен был просто цитировать излюбленную фразу своего барина, а тот, кто готовил текст к печати, этого не понял. К тому же при подготовке очерка для сборника была устранена только одна из двух неувязок, возникших, скорее всего, из-за цензурного вмешательства в текст «Современника», — фраза о писаре (с. 166, строка 20). Однако осталось упоминание о некоей Жозефине (с. 153, строка 6), которая, судя по всему, ранее фигурировала в сцене кутежа у баронессы.¹

Можно с уверенностью сказать, что Гончаров не держал корректур сборника. Об этом говорит, в частности, следующее обстоятельство: в приводимом ниже письме к Ю. Д. Ефремовой от 25 октября—6 ноября 1847 г. он сообщал, что старается сократить в наборной рукописи большое количество «восклицательных знаков, наставленных переписчиком черт знает зачем», однако в тексте сборника содержится приблизительно на шестьдесят восклицательных знаков больше, чем в тексте «Современника».

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что набор текста очерка в сборнике осуществлялся с *не правленного автором корректурного оттиска* журнала, оставшегося в редакции «Современника».²

Работа над «очерками» началась ранее проставленной под ними авторской даты: «1842». М. В. Отрадин отметил: «В тексте есть на этот счет „подсказка“. Приятель Ивана Савича Вася (...) приглашает его в театр: „Асенкова в трех пьесах играет“ (...) В. Н. Асенкова умерла в апреле 1841 года. Если бы „очерки“ писались в 1842 году, вряд ли автор упомянул бы в таком комическом контексте только что умершую знаменитую актрису» (*Отрадин*. С. 5).

¹ Вряд ли могут быть приписаны наборщику или корректору несколько различий смыслового характера между текстами журнала и сборника: «В комнатах соседок» вместо «Там в комнатах» (с. 118, строка 12); «закапало сильнее» вместо «полился проливной дождь» (с. 131, строка 19); «Авдей! милашка, а?» вместо «Авдей! а?» (с. 135, строка 37); «прибавил» вместо «перебил» (с. 158, строка 32). Они могли принадлежать Некрасову, которому Гончаров в то время доверял править тексты очерков из будущей книги «Фрегат „Паллада“»: «...если Вы, читая корректуру, найдете промахи против языка или длинноты и исправите их, то поступите очень хорошо...» (письмо от 12 декабря 1855 г.).

² В качестве основного текст первой публикации был выбран и А. Г. Цейтлиным, который, однако, никак не аргументировал свое решение; в 1952 (Т. VII) текст напечатан по «Современнику» «с учетом всей последующей работы Гончарова над этим произведением» (С. 496).

Жанр произведения Гончаров определил как «очерки» или «очерк»,¹ однако не очень на этом определении настаивал. Готовя произведение к публикации в «Современнике», Гончаров отзывается о нем пренебрежительно и называет «рассказом». Он пишет Ю. Д. Ефремовой 25 октября—6 ноября 1847 г.: «Благодарю Вас за участие к моим трудам. И тут утешительного нечего сказать. Нового ничего нет, да сомневаюсь, и будет ли. Есть известный Вам небольшой рассказ, довольно вздорный: он появится в январской книжке. А теперь он пока у меня, я перечитываю его, кажется, в шестой раз, и всё никак не могу истребить восклицательных знаков, наставленных переписчиком черт знает зачем. Мараю, мараю, где-нибудь да останется».² Судя по этим раздраженным словам, Гончаров тревожился за свой, хотя и «вздорный», рассказ — и, должно быть, поэтому так долго и тщательно готовил его к печати (вряд ли правка касалась только истребления наставленных переписчиком восклицательных знаков).³

Исследователи, говоря об «Иване Савиче Поджабрине», более всего подчеркивали — имея в виду прежде всего слова самого Гончарова — очерково-нравоописательный характер произведения. Связывая «Ивана Савича Поджабрину» с той традицией «физиологического очерка», «которая стала формироваться в русской литературе в начале нового десятилетия», А. Г. Цейтлин отмечал, что близость рассказа к ней «проявляется во множестве жанровых картин петербургской жизни» (Цейтлин. С. 46—47). В ряде работ ученого было закономерно установлено жанровое, характерологическое и типологическое родство «очерков» с петербургскими физиологическими очерками и «чиновничьими» повестями Гоголя, Некрасова, Достоевского, Буткова, Григоровича.⁴ К сожалению, Цейтлин в соответствии с жесткими идеологическими предписаниями послевоенного времени неоправданно настаивал на приверженности Гончарова именно к русской традиции, отвергая бесспорные указания Н. К. Пиксанова на некоторые иностранные источники и параллели «Поджабрину» (см.: Пиксанов. *Белинский в борьбе за Гончарова*. С. 62; Цейтлин. С. 46). Влияние французских и английских нравоописательных очерков, физиологий, фельетонов на генезис «Ивана Савича Поджабрину» несомненно, хотя преувеличивать его, действитель-

¹ «Очерком» «Иван Савич Поджабрин» назван во всех известных нам трех автобиографиях писателя: «...написал юмористический очерк нравов из чиновничьего круга (тогда это было в ходу) под заглавием „Иван Савич Поджабрин“, помещенный в январской книжке „Современника“ 1848 года»; «...поместил в том же журнале («Современнике») легкий юмористический очерк „Иван Савич Поджабрин“»; «...напечатал в „Современнике“ очерк петербургских нравов под заглавием „Иван Савич Поджабрин“...».

² Критики давали «Ивану Савичу Поджабрину» собственные жанровые определения: «шуточный рассказ» (П. В. Анненков), «повесть» (М. М. Достоевский, Н. А. Некрасов, А. В. Дружинин), «рассказ» (А. А. Григорьев).

³ Известно, что Некрасов купил «Ивана Савича Поджабрину» еще в сентябре 1846 г. (см.: *Переписка Некрасова*. Т. 1. С. 51), а упомянутое выше письмо Гончарова к Ю. Д. Ефремовой написано спустя год. Видимо, тогда же Гончаров читал очерк у Некрасова (см.: *Панаев. Литературные воспоминания*. С. 422).

⁴ См., в частности, его монографию «Становление реализма в русской литературе (русский «физиологический очерк»)». М., 1965.

но, не следует. Прежде всего очевидно тяготение «очерков» Гончарова к повестям и очеркам о «хлыщах», «жуирах», «франтах», камелиях, кокотках, дамах полусвета И. И. Панаева и других писателей, близких к так называемой «натуральной школе». В «Иване Савиче Поджабрине» преобладают жуиры и прожигатели жизни. Это, видимо, самый близкий к главному герою простодушный и нетребовательный любитель горничных Вася, какой-то офицер, другие его знакомые, которых он, чтобы «задать тону», называет графом Коркиным («славный молодой человек, первый жуир в Петербурге»), бароном Кизелем («Отлично играет на бильярде»), князем Дудкиным (душа жуирствующих молодых людей), а также гости баронессы князь Поскокин, граф Лужин, секретарь посольства m-г Шене и упоминаемые ею приятели граф Петушевский, граф Судков. Иван Савич беззастенчиво врет друзьям о своих «донжуанских» подвигах, и все они уверены, что в кутеже и жуировании и заключается смысл жизни, а труд и даже просто серьезное чтение являются уделом «чудаков». Один из них, вдохновленный рассказами Поджабрина и Васи, восклицает: «Славно мы живем! (...) право, славно: кутим, жуируем! вот жизнь так жизнь! завтра, послезавтра, всякий день. Вон Губкин: ну что его за жизнь! Утро в департаменте мечется как угорелый, да еще после обеда пишет, книги сочиняет; просто смерть!.. чудак!» (наст. том, с. 132). В том же духе высказывается тучный князь Поскокин, насладившись куплетами Беранже в исполнении Шене («Что за дьявол этот Беранже! пожил и других учит жить: да чего больше? пить, любить, обманывать друг друга: тут вся история и философия рода человеческого» — наст. том, с. 151). А сам Поджабрин то и дело повторяет одну и ту же сентенцию: «Жизнь коротка! надо жуировать жизнию!». Веселый ужин у баронессы Цейх, своего рода кульминация произведения, — сцена, отчасти предвосхищающая загробную «катавасию» в рассказе Ф. М. Достоевского «Бобок». Поджабрин на ужине «знатных» господ выглядит особенно неприглядно: жалкий шут с нелепыми жестами и словами, которого напоили и нарядили дамой. Его обобрали и унизили. Но это мало смущает «пустоголового» героя, вспоминающего с упоением оргию у промышляющей «любовью» баронессы Цейх, приукрашивая «аристократический» ужин, точнее, привирая в стиле Хлестакова («Графы да князья... большой свет... не хочу! Бог с ними! я люблю свободу... (...) Вот в последний раз я ужинал вместе с секретарем посольства ... что за здоровяк такой! вот жуир-то! звал в Париж» — наст. том, с. 162).

В последнее время такие казавшиеся бесспорными особенности произведения, как очерковость и «физиологическая» нравоописательность, стали оспариваться: «Никак нельзя признать, что герои гончаровских „очерков“ определены, детерминированы средой. „Иван Савич Поджабрин“ — это не только не физиологический очерк, а — по принципам изображения и раскрытия характеров — нечто очень далекое от „физиологий“».^{1/}

«Литературность» «Ивана Савича Поджабрина», особенно гоголевские традиции и приемы, отразившиеся в очерке, помимо Цейтлина

¹ *Отрадин*. С. 22. Несколько более осторожное мнение высказывал об особом положении «Ивана Савича Поджабрина» В. И. Сахаров, полагающий, что «в этой комической „физиологии“ есть и весьма ироническое авторское отношение к самому жанру описаний петербургских углов, насмешка над поспешностью и поверхностностью очеркистов. Скорее это пародия на физиологический очерк» (*Сахаров*. С. 121). Справедливее было бы говорить об элементах пародийности и невыдер-

отмечали Н. Г. Евстратов (см.: *Евстратов*. С. 208—211), О. А. Демиховская¹ и М. В. Отрадин (см.: *Отрадин*. С. 7—21), сопоставлявшие, в частности, главного героя произведения с Ковалевым, Попришиным, Хлестаковым, Подколесиным, а его слугу Авдея — с Осипом из «Ревизора». «Литературность» произведения Гончарова, разумеется, не исчерпывается только гоголевскими приемами, ассоциациями, цитатами. Важным элементом литературной родословной «очерков» являются и басни Крылова. Кроме того, М. В. Отрадин обнаруживает в поджабринских «донжуанских» приключениях «комическое отражение печоринских», «комические или пародийные параллели лермонтовскому роману» (*Отрадин*. С. 15, 19, 20). Он же предположил, что в Поджабрине — пусть даже «в смешной, нелепой форме» — проявляется «приверженность романтическим ценностям».²

Хотя Иван Савич «книг (...) не читал», поступки и речи главного героя поразительно «литературны», а порой и «цитатны». Эта литературная соотнесенность и насыщенность становится доминантной чертой поэтики Гончарова, начиная с ранних повестей «Лихая болесть» и «Счастливая ошибка».

«Иван Савич Поджабрин» является в определенном смысле переходным звеном от светской повести «Счастливая ошибка» к романам писателя. Не случайно Ляцкий проводил параллель между бесславным комическим концом одной из многочисленных любовных авантур Поджабринина и сюжетными ходами в романе «Обломов»: «История кончилась тем, что дворника вытолкали за дверь, а Иван Савич решил съехать с этой квартиры, к немалому негодованию слуги Авдея, ближайшего родственника обломовского Захара. Они поменялись ролями: там Захар пристаёт к Обломову с переездом на другую квартиру, а барин упрямится; здесь барин, который, по собственному выражению, любит свободу, приказывает слуге найти новую квартиру и тем „постараться вывести барина из беды“. Разговор о квартире „с удобством всяким, и сараем особым, и ледником от хозяина“ мог бы служить превосходным вариантом бесед Ильи Ильича с Захаром» (*Ляцкий*. С. 203—204). Вообще диалоги между Иваном Савичем и Авдеем, являясь неперменным и существенным элементом юмористической (комической) стихии «очерков», могут быть с полным правом определены как прелюдия к диалогам Ильи Ильича и Захара в «Обломове». «Храпом», «энергической зевотой» и «кашлем» Авдея начинается «Иван Савич Поджабрин». Монолог Ивана Савича о пыли, паутине и битой посуде («Что ж ты пыль не обтираешь нигде, дурак этакой! (...) это что? это что? а? У меня там везде паутина! Давеча паук на нос сел! Ничего не делаешь! А еще метелку купил! К сапожнику опять забыл сходить? Да ты мне изволь новые чашки на свои деньги купить; я тебе дам бить посуду! Что это за скверный народ такой, ленивый... никуда не годится!» — наст. том, с. 133) даже в деталях близок к речам Обломова. А Мазон, называя «очерки» посредственной вещью

жанности (нечистоте) жанра (но и это не индивидуальная особенность Гончарова, — то же самое можно сказать и о «физиологиях» Тургенева и Достоевского).

¹ См.: Демиховская О. А. Традиции Гоголя в творчестве И. А. Гончарова 1840-х годов: (Очерк «Иван Савич Поджабрин») // Учен. зап. Пермского ун-та. 1960. Т. XIII, вып. 4. С. 86—92.

² М. В. Отрадин, видимо, прав, видя в «Иване Савиче Поджабрине» и предвещие пародийных повестей типа «Жана Бечевкина» (1849) А. И. Пальма.

и одновременно полагая, что «Иван Савич Поджабрин» представляет «двойной интерес», также обнаруживает в отношениях Ивана Савича и Авдея «отдаленный эскиз» отношений между Ильей Ильичом и Захаром, «неразлучной пары, которую увековечил Гончаров в „Обломове” (диалоги между барином и слугой, переезд на новую квартиру, уклад и стиль жизни)» (*Мазон*. Р. 93—94). Мазон отчасти прав, обнаруживая в донжуанствующем маленьком чиновнике-жуири слагаемые типа, к которому Гончаров испытывал постоянную антипатию. Но есть в облике Поджабрина черты, сближающие его с идеалистом и мечтателем Александром Адуевым, о чем писал еще В. Ф. Переверзев.¹ «Жуир» Гончарова в некотором роде также идеалист, не преследующий корыстолюбивых целей. В Поджабрине «поражает некое простодушие, наивность, почти детскость» (*Отрадин*. С. 10). Впрочем, простодушие и наивность героя (как и отсутствие корыстных побуждений) происходят из какого-то органического недостатка Поджабрина. Его странная, смешная и «низкая»² фамилия, которой он сам стыдится (ее никак не может произнести князь Поскокин, и герой вместо фамилии старательно подсказывает ему свое имя и отчество), говорит об ущербности Поджабрина, помимо того, что она ассоциируется с фамилией Подколесин из «Женитьбы» Гоголя. Авторское отношение к герою лишено характерной для Гончарова снисходительности. Он его без обиняков аттестует как бездельника, кутилу и жуира: «Родители оставили ему небольшое состояние и познакомили его с порядочными людьми. Но он нашел, что знакомство с ними — *сухая материя*, и мало-помалу оставил их. Книг он не читал, хотя учился в каком-то учебном заведении. Но дух науки пронесся над его головой, не осенив ее крылом своим и не пробудив в нем любознательности. Каким он вступил в учебное заведение, таким и вышел, хотя, по заведенному в этом заведении похвальному обычаю, получил по выходе похвальный лист за *прилежание, успехи и благонравное поведение*» (наст. том, с. 105). Иван Савич пребывает в уверенности, что во Франции существует только одно министерство, которое почему-то распущено. Он ничего не читает и ничего не знает (все, кроме кутежей и жуирования, «сухая материя»), но притворяется человеком основательным, которому не чужды наука и прочие высшие интересы: рекомендует себя постоянным читателем «философических книг», к которым относит сочинения Гомера, Ломоносова и «Энциклопедический лексикон». Речь его — сплошной набор банальностей и пошлостей. К тому же Иван Савич косноязычен: «Она была... как бы это выразить?... милым видением, так сказать, мечтой... разнообразила этак тоску мертвой жизни...»; «тут будет что-то чистое, возвышенное, так сказать, любовь *лакониче-*

¹ См.: *Переверзев В. Ф.* Онтогенезис «Ивана Савича Поджабрина» Гончарова // Лит. и марксизм. 1928. № 5. С. 5—19.

² В. И. Мельник считает, что «герой (...) не случайно носит „зоологическую” фамилию: он еще не дорос нравственно до человека, но все еще „зверек”, самый настоящий „франт”» (*Мельник В. И.* Этический идеал И. А. Гончарова. Киев, 1991. С. 88). Точнее, фамилия говорит о принадлежности героя к «рыбам»: это существо с убогими фантазиями, дикими «правилами» и кое-какими философскими фразами занимает промежуточное место между «знатными» и «слугами». Значимы фамилии и других героев «очерков»; они запомнились современникам Гончарова: Лужин будет фигурировать в «Преступлении и наказании» Достоевского, а Стрекоза, став «тайным советником», прочно обоснуется в художественном мире Салтыкова-Щедрина.

ская...»; «...я... вы... мы... знаете, Прасковья Михайловна, любовь двух душ есть такая симпатия... это, так сказать, жизненный бальзам»; «Вот что значит жуировать жизнью! Это истинное, высокое, так сказать, сладостное...» (наст. том, с. 132, 162, 166, 167). Даже Авдей называет своего барина «пустоголовым». Иван Савич, можно сказать, эпигон Хлестакова, но лишенный всякого артистизма и «фантазии», этакая косноязычная смазливая кукла. Он тушется в обществе «знатных» и наглест со стоящими ниже его на социальной лестнице (грубость и глупость перемешались в сердитых словах Ивана Савича Авдею, вступившему за униженную Машу: «Всякая тварь туда же лезет любить! Как она смеет любить? Вот я барыне скажу. Зачем она любит?» (наст. том, с. 147). В герое Гончарова поразительно мало индивидуального, самобытного: он именно тип, и его жуирование, кутежи трафаретны до убожества — какой-то апофеоз пошлой скуки, бездарного и нечистого времяпрепровождения, высокопарно именуемого «образом жизни».

В «Иване Савиче Поджабрине» поражает отсутствие того лиризма, той поэзии чувств (исключение составляет лишь образ Маши), которые присутствуют во всех романах Гончарова. С мотива скуки «очерки» начинаются, а завершаются очередным бегством-переездом героя, которого постепенно, но уверенно вытесняет из повествовательного пространства «кулебяка». Таков комический финал рассказа о незатейливо-примитивных приключениях жуира Ивана Савича Поджабринина. И этот неожиданный финал, и все произведение в целом убедительнейшим образом опровергают мысль П. В. Анненкова, полагавшего, что Гончаров вряд ли способен написать шуточный рассказ (С. 1849. № 1. С. 15). Д. С. Мережковский имел серьезные основания называть Гончарова «первым великим юмористом после Гоголя и Грибоедова», особенно выделяя образы слуг: они «озарены высоким комизмом, который дает не меньшее наслаждение, чем идеальная красота».¹

Гончаров решился отдать «очерки» в журнал «Современник» только после настойчивых просьб В. Г. Белинского (см.: *Переписка Некрасова*. Т. 1. С. 49). Даже огромный успех «Обыкновенной истории», а возможно именно этот успех, не развеял до конца сомнений писателя, с большой неохотой решившегося опубликовать «Ивана Савича Поджабринина», разумеется, в переработанном виде. Но и тщательно литературно обработанный рассказ разочаровал читателей и критиков, ожидавших большего от автора столь замечательного романа. На дату же (1842), которую, видимо, преднамеренно поставил в конце журнального текста осторожный и щепетильный Гончаров, никто не обратил внимания, в том числе и П. В. Анненков, весьма резко отозвавшийся о произведении Гончарова на страницах «Современника». «Г-н Гончаров после превосходного романа „Обыкновенная история“ написал повесть „Иван Савич Поджабрин“, — рассуждал Анненков в «Заметках о русской литературе прошлого года». — Мы скажем откровенно г-ну Гончарову, что шуточный рассказ находится в противоречии с самим талантом его. С его многосторонним исследованием характеров, с его упорным и глубоким трудом в разборе лиц дурно вяжется легкий очерк, который весь должен состоять из намеков и беглых заметок. Повесть перешла у него тотчас же в подробное описание поступков смешного Поджабринина и, потеряв легкость шутки, не приобрела дельность психологического анализа, в котором он выказал себя таким мастером. К слову пришлось сказать здесь, что не всякий,

¹ Мережковский Д. С. Полн. собр. соч.: В 24 т. СПб., 1914. Т. XVIII. С. 38—39.

способный на важный труд, способен и на труд, так сказать, беззаботный. Последний требует особенного дарования. Только одна природная склонность может указать, например, что в основании шутки должна непременно лежать *серьезная идея*, прикрытая тонким покрывалом блестящего изложения. Известно, что это составляет одно из существенных условий хорошей комедии, и в таком смысле шуточный рассказ еще ждет у нас *творца своего*. Но едва шутка понимается как сбор смешного без значения, она перестает быть шуткой, а переходит к псевдорелизму, где явления окружающего мира берутся в той бессмысленной голый простоте, в какой представляются неопытному глазу. Мы преследовали этот род везде, где он ни являлся, и тем более должны осудить в г-не Гончарове. Впрочем, это единственная вещь, написанная автором в прошлом году, и молчание его доказывает, если не ошибаемся, что он занят трудом, который лучше будет соответствовать высокому мнению, которое подал он о своем таланте первым своим произведением» (С. 1849. № 1. Отд. III. С. 15—16).¹

Недовольство рассказом прозвучало и в статье анонимного критика журнала «Пантеон и репертуар русской сцены». Дав высокую оценку роману Гончарова, критик одновременно выразил неудовольствие «холодной» и «безучастной» позицией автора, присовокупив далее: «Этот недостаток отчасти выкупается в „Обыкновенной истории“ легким оттенком насмешки и потому не так заметен; но подобный недостаток усиливается почти всегда с каждым новым произведением, чему живым и поразительным примером служит Бальзак. Не желаем, чтобы слова наши сбылись над г-ном Гончаровым, но откровенно сознаем, „Иван Савич Поджабрин“, напечатанный в январской книжке „Современника“ нынешнего года, подтверждает наши опасения за будущность этого замечательного таланта. Просим г-на Гончарова новым произведением доказать, что он не отступит назад, не остановится на полпути, а смелою, твердою ногою пойдет к совершенствованию» (ЛитР. 1848. Т. II. № 4. Отд. II. С. 57). Однако другой критик журнала, М. М. Достоевский, несколько ранее высказался об «очерках» Гончарова (он также не заметил проставленной автором даты) гораздо снисходительнее, причем в его словах по поводу критических откликов на это произведение явственно ощущалась обида на современников (главным образом на Белинского), восторженно принявших «Бедных людей» Достоевского, но весьма холодно оценивших другие его сочинения: «У нас в литературе существует странное мнение, что если писатель выступил на литературное поприще с произведением замечательным, произведением, заставившим говорить о себе, подарившим автору известность, то второе произведение его должно быть если не лучше, то, по крайней мере, *равносильно* первому. В противном случае автор возбуждает крики негодования, новое произведение его обсуживается не иначе, как по сравнению с первым, и зачастую терпит незаслуженное падение. Странно ожидать и еще страннее требовать от автора, чтобы он наблюдал нечто вроде геометрической прогрессии при издании каждого своего сочинения. Бенвенуто Челлини после колоссальной статуи Персея чеканил колечки и перстеньки, и никто не находил, чтобы эти безделки были следствием ослабевшего таланта. Все эти размышления пришли нам в голову по поводу

¹ Аналогичной была реакция критика «Северного обозрения», писавшего, что «все были грустно поражены, прочтя „Ивана Савича Поджабрин“, — обыкновенная история, грустная участь скоро расхваленных талантов» («Северное обозрение». 1849. № 1. Отд. V. С. 69).

„Ивана Савича Поджабрина” г-на Гончарова и отзыва в одном журнале об этом произведении. Мы согласны, что эта повесть слабее романа „Обыкновенная история”, что есть натяжки в положениях, что много пожертвовано фарсу, но вместе с тем должны признаться, что читается она с большей приятностью, что много есть прекрасных сцен, что есть одно превосходное женское лицо — горничная Маша. Чего же более хотите вы от шутки, от очерков, как скромно назвал автор свое новое произведение?» (*Лур.* 1848. Т. II. № 3. Отд. II. С. 100—101).

Некрасов, в журнале которого были напечатаны как «очерки» Гончарова, так и названная выше статья Анненкова, счел необходимым в рецензии на «Литературный сборник с иллюстрациями» (СПб., 1849) рассеять недоразумение и защитить Гончарова от несправедливых обвинений: «Многие, полагая, что повесть г-на Гончарова „Иван Савич Поджабрин” писана после „Обыкновенной истории”, выводят из этого заключение об упадке таланта автора. В эту же ошибку впал и один из наших рецензентов в статье „Заметки о русской литературе прошлого года” («Современник». 1849. № 1), и по недосмотру редакции ошибка эта не была исправлена. Но дело в том, что „Поджабрин” писан гораздо прежде „Обыкновенной истории”, о чем свидетельствует 1842 год, поставленный под этой повестью. Мы далеко не считаем эту повесть слабой: в ней есть много своего рода достоинств, недоступных таланту менее сильному, — но истина прежде всего! Кто прочтет „Сон Обломова”, написанный действительно после „Обыкновенной истории”, тот убедится, что талант г-на Гончарова не только не клонится к упадку, но обнаруживает более зрелости» (С. 1849. № 4. Отд. III. С. 97—98; без подписи).¹

Пожалуй, только А. В. Дружинин оценил рассказ Гончарова положительно, причем без оговорок и не очень корректных сопоставлений с «Обыкновенной историей», но его отзыв остался неизвестным современникам. Дружинин не закончил фельетон «Иван Савич Поджабрин. Повесть г-на Гончарова». Сохранилось лишь начало: «Повесть г-на Гончарова „Иван Савич Поджабрин” («Современник», янв(арь), 1848) есть произведение весьма замечательное, несмотря на чрезвычайную простоту содержания и легкость рассказа. Всего более поражает в этих очерках особенная, необыкновенно замечательная сторона юмора, которым он проникнут. Этот юмор до того прост, до того натурален, что читатель, с постоянным удовольствием пробежав всю повесть, невольно спрашивает сам себя: чему же я здесь так много смеялся?» (*РГАЛИ*, ф. 167, оп. 3, № 17).²

¹ Позднее в «Современнике» («Обозрение русской литературы за 1850 год») появился еще один весьма благожелательный отзыв об «очерках» Гончарова (В. П. Гаевского?): «Может быть, многие не согласятся с нами; но по личному убеждению пишущего эти строки, этот очерк в некотором отношении имеет даже преимущество перед „Обыкновенной историей”. Если отделка частных, обширность целого создания представляли более трудностей, а следовательно и заслуг для автора в последней, — то целость и оконченность более выиграли в небольшом очерке характера и образа жизни *жуцра* Поджабрина». (С. 1851. № 2. Отд. III. С. 54).

² А в большой статье 1856 г., посвященной рассказам Л. Н. Толстого и «Губернским очеркам» Салтыкова-Щедрина, Дружинин, страстно защищая русскую литературу, упоминает и типы, созданные Гончаровым, — Адуева-старшего и Поджабрина: «Взгляните на нашу текущую

Дружинин писал об «очерках» и после публикации их в сборнике «Для легкого чтения». В рецензии 1856 г. он особенно много места уделяет главному герою произведения и его слуге. «Что касается Поджабина — этого петербургского Ловласа, блудливого и трусоватого, хвастливого и осторожного вместе, ищущего лакомого кусочка, но, как кошка, избегающего неприятных последствий, — то этот тип, встречающийся в жизни довольно часто, этот комический сластолюбец — очерчен великолепно г-ном Гончаровым. Веселостью, правдой и мастерством опытного пера, не делающего лишних штрихов, дышат эти страницы, простые, как сама обыденная жизнь, и так же поразительные и верные, как эта жизнь. Хорош этот *жуир*, Иван Савич, очень хорош, да и слуга его, Авдей, не уступит в комизме своему барину...» (*БдЧ*. 1856. № 9. «Литературная летопись». С. 16—17). Высоко оценил Дружинин и других героев произведения, отметил зрелость таланта писателя, сказавшуюся уже в ранних «легких (...) очерках»: «Но кроме Ивана Савича и его несравненного Лепорелло в рассказе г-на Гончарова есть много и других лиц, очерченных ловко и бойко; по-видимому, слегка он коснулся их, а посмотрите, какие живые вышли у него фигуры! каким хорошим, крупным смехом пересыпаны страницы! как рельефны, например, дворник, Анна Павловна, Прасковья Михайловна, ее крестный с своим вечным: *ась!*. И все это течет так спокойно, просто, без всякой натяжки, хотя автор легко мог бы впасть в утрировку, но он ее избежал: присутствие художественного такта и умение охватить описываемый предмет сразу — отстранили от него опасность, которая была возможна для другого, менее опытного писателя.

Если не ошибаемся, «Иван Савич Поджабин» был написан прежде «Обыкновенной истории», хотя был напечатан после; но, во всяком случае, разбираемый нами очерк отличается зрелостью и твердостью пера сильного и уже выработанного. Хорош и крепок тот талант, который умеет, даже в легких своих очерках, заставить от души смеяться своего читателя! Кто обладает сильным и крупным смехом, тот еще долго будет привлекать к себе читателей...» (Там же. С. 19—20).^{1/}

Что касается А. А. Григорьева, то он занял по отношению к прозвучавшим в критике по поводу «очерков» Гончарова ноткам разочарования особую, можно сказать, олимпийски невозмутимую позицию:

словесность. (...) Это ли не всесторонность, это ли не полное знакомство с практической стороной мира, с действительностью и правдой русского общества? Перечтите одни типы русских бар, помещиков, офицеров, поселян, чиновников, типы, воссозданные нашими художниками! Подумайте только об этом — произнесите одни имена Дмухановского, Акакия Акакневича, Чичикова, Грушницкого, Пирогова, Чартокуцкого, Бирюка, Калиныча, Петра Ивановича, Ивана Савича, Антона-Горемыки, Лапши, Голядкина и так далее: язык ваш утомится от одних названий, а вы еще смеете утверждать, что наша литература еще немного сделала по части знания русского общества! Или вы считаете ничтожными людьми Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Гончарова, Тургенева, Григоровича и их товарищей?» (*Дружинин. Прекрасное и вечное*. С. 229).

¹ Рецензент «Сына отечества» ранее Дружинина также писал о «мастерски очерченной личности Дон Жуана», которую удачно дополняет комическая фигура Авдея, этого «русского Лепорелло» («Сын отечества». 1856. № 18. С. 130). Но позднее рецензент того же журнала вступил в полемику с Дружининым: по его мнению, рассказ Гончарова это «не совсем удачное подражание Поль де Коку» (Там же. № 30. С. 78).

роман перехвалили, а очерк оценили несправедливо низко. В сущности же, это одного рода литературные явления, к которым Григорьев относится в лучшем случае безразлично, по инерции отмечая лишь мастерство писателя в обрисовке частных и мелочей. В большой критической работе «И. С. Тургенев и его деятельность. (По поводу романа «Дворянское гнездо»). Письма к Г. Г. А. К. Б.» (1859) он писал: «Яркие достоинства таланта г-на Гончарова признаны были без исключения всеми при появлении его первого романа, „Обыкновенной истории“. Рассказ его „Иван Савич Поджабрин“, написанный, как говорят, прежде, но напечатанный после „Обыкновенной истории“, многим показался недостойным писателя, так блестяще выступившего на литературное поприще, — хотя, признаюсь откровенно, я никогда не разделял этого мнения. В „Поджабрине“, точно так же как в „Обыкновенной истории“, обнаружались почти одинаково все данные таланта г-на Гончарова, и как то, так и другое произведение страдали равными, хотя и противоположными, недостатками. В „Обыкновенной истории“ голый скелет психологической задачи слишком резко выдается из-за подробностей; в „Поджабрине“ частные, внешние подробности совершенно поглощают и без того уже небогатое содержание; оттого-то оба эти произведения, собственно, не художественные создания, а этюды, хотя, правда, этюды, блестящие ярким жизненным колоритом, выказывающие несомненный талант высокого художника, но художника, у которого анализ, и притом очень дешевый и поверхностный анализ, подъял все основы, все корни деятельности» (Григорьев. *Литературная критика*. С. 327). Отзыв Григорьева об «Иване Савиче Поджабрине» вытекал из его концепции творчества Гончарова, интересной, но явно тенденциозной. В одном, однако, Григорьев был прав: в раннем произведении Гончарова обнаружались если не все, то многие «данные таланта» писателя.

При жизни Гончарова рассказ переводился на иностранный (чешский) язык всего один раз. Перевод Е. Вавры был опубликован в журнале «Rodinā kronika» (1865. № 7—9). Второй по времени перевод (также на чешский язык) был сделан Й. Пелишекком; он вышел в Праге в 1922 г. в составе сборника «Слуги старого века». В 1974 г. появился перевод «очерков» на английский язык, сделанный В. Е. Брауном (*Russian Literature Triquarterly*. 1974. Fall. N 10. P. 7—91), а в 1987 г. в Будапеште вышел сборник «Слуги старого века» с переводом «Ивана Савича Поджабрин», выполненным Г. Гаспарикс.

С. 103. ...в вольтеровских креслах... — См. выше, с. 639, примеч. к с. 27.

С. 110. *Ассигнация* — бумажная купюра (достоинством в 200, 100, 50, 25, 10 и 5 руб.), введенная в обращение при Екатерине II, в 1839—1840 гг. замененная серебряным рублем как основной денежной единицей и полностью отмененная в 1843 г. путем девальвации и превращения в кредитный билет (см.: *Печорин Я.* Наши государственные ассигнации (до замены их кредитными билетами) // *ВЕ*. 1867. № 8. С. 607—648). См. также ниже, примеч. к с. 123.

С. 113. ...крест в петлице... — Крест — знак того или иного ордена, носившийся на соответствующей орденской ленте в зависимости от степени ордена — на груди, на шее, в петлице или на рукояти оружия. Здесь, по-видимому, речь идет о знаке ордена св. Анны или св. Свято-

слава 3-й степени (носившихся в петлице), «младших» в порядке постепенности российских орденов.

С. 113. *Шандал* (фр. chandelier) — подсвечник.

С. 114. ...*майор ли, советник ли какой: должен быть полковник.* — Перечисляются военные и гражданские чины разных классов: майор — по Табели о рангах армейский чин 8-го класса, соответствовавший гражданскому чину коллежского асессора; полковник — 6-го класса (т. е. двумя классами выше), соответствовавший гражданскому чину коллежского советника; советник — любой гражданский чин от титулярного советника — 9-го класса до действительного тайного — 1-го класса.

С. 114. *Косушка* — мера жидкости; здесь: полштофа или полбутылки (0.25 л) водки.

С. 116. ...*отойди от зла и сотвори благо!* — Цитата из Псалтыри (Пс. 33:15, 36:27; «Уклонися от зла и сотвори благо»), широко использовавшаяся в проповеднической литературе.

С. 116. ...*пожуируем.* — Жуировать (фр. jouer) — играть жизнью, наслаждаться. О типе «жуира» в литературе 1840-х гг. см.: *Отрадин*. С. 9—10.

С. 118. *Шлафрок* (нем. Schlafrock) — просторная домашняя одежда без пуговиц (халат), в которой не считалось предосудительным принимать гостей.

С. 118. ...*надо жуировать жизнь. Жизнь коротка, сказал не помню какой-то философ.* — «Жизнь коротка...» — начальные слова афоризма Гиппократа (460—377(356?)) «Vita brevis, ars longa» (лат.). О функциях этой цитаты в тексте гончаровских «очерков» см.: *Отрадин*. С. 13—15. Однако более вероятно, что здесь имеется в виду не изречение Гиппократа, а широко известные в русской эпикурейской (горацианской) традиции 1810—1820-х гг. (Батюшков, Пушкин, Дельвиг, Баратынский и др.) строки Горация: «Vitae summa brevis spem nos vetat incohare longam» («Нам жизнь короткая возбраняет планы»; Оды. Кн. 1. 4, 15) и «carpe diem» («лови день», «пользуйся днем»; Оды. Кн. 1. 11, 8) (*Гораций*. Собр. соч. СПб., 1993. С. 31, 39). Изречение Горация — в латинской версии и русском переводе — использовано в анонимной повести «Привидение», помещенной в рукописном журнале Майковых «Подснежник» за 1836 г. (ср.: «Жизнь коротка: итак, не будем простирать вдаль наши надежды, то есть станем пользоваться настоящим» — л. 49 об.). Гончаров мог быть автором или соавтором повести (см. об этом в разделе «Dubia» последнего тома сочинений наст. изд.).

С. 118. *Играл из «Роберта».* — См. выше, с. 641, примеч. к с. 48.

С. 120. ...*обедаем на Васильевском острове, в новой гостинице ~ а оттуда на Крестовский...* — О Васильевском и Крестовском островах см. выше, с. 640, примеч. к с. 37—38.

С. 120. *Асенкова в трех пьесах играет.* — Варвара Николаевна Асенкова (1817—1841) — знаменитая актриса Александринского театра, блестящая исполнительница ролей в водевилях (в том числе ролей мальчиков, «травести»); ее драматические роли — Офелия, Корделия («Гамлет», «Король Лир»), дочь мельника («Русалка») и др. Играла Марью Антонову в первом представлении «Ревизора» (1836), Софью в «Горе от ума» (1839), Парашу в драме Н. А. Полевого «Параша-Сибирячка» (1840). Как правило, бывала занята в трех-четыре представлениях за вечер. Умерла от чахотки.

С. 120. *Манкировать* (фр. manquer) — проявлять невнимательность, пренебрегать.

С. 120. *Капельдинер* (нем. Capelldiener) — служитель при театре.

С. 120. *Квартальный сердито поглядывал на меня...* — Т. е. квартальный надзиратель — полицейский чин, стоявший во главе квартала — низшей полицейской инстанции в городах; с 1862 г. — полицейский надзиратель.

С. 121. *Никогда ничего не знает! Я не Суворов, а досадно!* — Имеется в виду нелюбовь Суворова к «немогузнякам» (или «немогузнайкам»), известная по многим мемуарным и историческим источникам (см.: Собрание писем и анекдотов, относящихся до жизни Александра Васильевича князя Италийского, графа Суворова-Рымницкого, собр. В. Левшиним. М., 1809. С. 136; Победы князя Италийского, графа Александра Васильевича Суворова-Рымницкого. М., 1815. Ч. 7. С. 78 и др.) и собственному его сочинению «Наука побеждать» (СПб., 1809. С. 24). Анекдоты о Суворове были популярны и неоднократно публиковались в первой половине XIX в. О «немогузнях» существовал следующий анекдот: «Слова не могу знать, не умею доложить или сказать, полагаю, может быть, мне кажется, я думаю и все подобное неопределительное могло рассердить его (Суворова) до чрезвычайности. Один принадлежавший к Дипломатическому корпусу имел несчастье употреблять сии слова и никак не мог отвыкнуть. Он однажды довел князя до того, что тот велел растворить окошки и двери и принести ладану, чтобы выкурить и очистить воздух от заразительного немогузнайства, и тут кричал он: „Проклятая немогузнайка, намека, догадка, лживка, лукавка, краснословка, двуличка, вежлива, бестолковка, недомолвка, ускромейка. Стыдно сказать, от немогузнайки много, много беды!“» (Анекдоты князя Италийского, графа Суворова-Рымницкого, изданные Е. Фуксом. СПб., 1827. С. 11—12). Ср. обращение Суворова к солдатам в передаче Н. А. Полевого: «Богатыри! Неприятель от вас дрожит, но есть враг хуже неприятеля и больницы — немогузнайка, намека, догадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежлива, бестолковка, кличка, что и не выговоришь...» (*Z. Z. Характеристика Суворова // СПЧ. 1843. 24 июля. № 163*).

С. 122. *Вавилонское столпотворение* — по библейскому мифу (Быт. 11:1—19), «смешение языков» — божественная кара, постигшая строителей Вавилонской башни. Употребляется в значении: беспорядок, смятение. См. также ниже, с. 799, примеч. к с. 508.

С. 122. *...деньги ничтожный, презренный металл.* — Выражение «презренный металл» было широко популяризировано романом «Обыкновенная история». См. ниже, с. 766, примеч. к с. 241.

С. 123. *В английском магазине.* — См. выше, с. 654, примеч. к с. 82.

С. 123. *Десять рублей, то есть три целковых по-нынешнему. ~ десять с половиной?* — Целковый — серебряный рубль. При пересчете ассигнаций, постепенно изымавшихся из обращения и полностью изъятых в 1843 г. (см. выше, примеч. к с. 110), на серебряные рубли курс в 1840 г. составлял 3.5 руб. ассигнациями за один серебряный рубль.

С. 123. *Ах, Пушкин! «Братья разбойники!» «Кавказский пленник!» бедная Зарема! ~ а Гирей — какой изверг!* — Имеются в виду романтические поэмы Пушкина «Братья разбойники» (1820—1821), «Кавказский пленник» (1821—1823) и «Бахчисарайский фонтан» (1821—1823).

С. 123. *...«Энциклопедический лексикон»...* — Речь идет об издании, в 1835—1841 гг. предпринятом в Петербурге А. А. Плюшаром (1806—1865) (вышло 17 томов, издание закончено не было).

С. 125. *...ворону в павлиньих перьях.* — Пословичное выражение, вошедшее в обиход благодаря басне И. А. Крылова «Ворона» (1825).

С. 126. ...*горшечков от Поскочина*... — Петербургский магазин Поскочина (фарфоровых, фаянсовых и хрустальных изделий) находился на Невском проспекте в доме Католической церкви напротив Гостиного двора (см.: *Пушкарев*. С. 447).

С. 126. ...*начальник отделения, столоначальник*... — Речь идет о должности чиновника гражданской службы в подразделениях департаментов министерств (отделениях), которая, как правило, соответствовала чину не ниже 6-го класса (коллежского советника), и о должности заведующего столом, т. е. особым разрядом дел внутри отделений департаментов (соответствовала, как правило, чином 7—8 класса, надворного советника и коллежского асессора).

С. 126. *Вицмундир* — мундирный фрак или сюртук, форменная одежда чинов гражданского ведомств.

С. 127. *Венгерка* — отделанный на груди тесьмой мундир офицеров лейб-гвардии Гусарского полка (в 1840-е гг.); носился и отставными офицерами, а также штатскими: короткая куртка-венгерка — излюбленная одежда деревенских помещиков, популярность которой связана с особой престижностью военной формы, принадлежности к военному сословию. «Это увлечение венгеркой было так хорошо известно, что в литературных произведениях 40-х гг. ее часто упоминают именно в ироническом смысле» (см.: *Кирсанова Р. М.* Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века. М., 1989. С. 59—62).

С. 128. ...*у вас огромная опека*... — Цитата из «Горя от ума» А. С. Грибоедова, реплика Лизы: «Сказать, сударь, у вас огромная опека!» (д. IV, явл. 12).

С. 129. ...*хороша стрекоза! кажется, вовсе не попрыгунья*. — Имеется в виду басня И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей» (1808).

С. 129. ...*я мизантроп!* — Вероятный намек на героя комедии Ж.-Б. Мольера «Мизантроп» (1666).

С. 130. ...*черт знает, зачем они тут висят. Это дурак Авдей развесил*. — Возможна ассоциация с гоголевской «Повестью о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834). Ср.: «Вот глупая баба! так она и ружье туда же повесила» (*Гоголь*. Т. II. С. 233).

С. 136. ...*в платочке à la Fanchon*... — Т. е. в завязанном под подбородком (имя Fanchon — простонародное уменьшительное от Françoise).

С. 137. *Креп-паше* — вероятно, искаженное «крепрашель» — популярная в середине прошлого века разновидность крепа золотисто-бежевого оттенка, от имени Рашель (1821—1858), знаменитой французской трагической актрисы (см.: *Кирсанова Р. М.* Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века. С. 128—129).

С. 138. ...*почитай мне когда-нибудь в книжку*... — Подобная форма характерна для среднерусских и севернорусских говоров (см.: *Словарь русских народных говоров*. Л., 1969. Вып. 4. С. 6).

С. 140. ...*с светло-дикими арабесками*. — Дикий — серый цвет пельного оттенка. Об арабесках см. выше, с. 653, примеч. к с. 68.

С. 140. *Драпри* (фр. draperie) — драпировка, занавес.

С. 141. *Трельяж* (фр. treillage) — плетеная решетка для вьющихся растений.

С. 142. ...«*La duchesse de Châteauroux*». — Жизнь герцогини Шатору (1717—1744), фаворитки Людовика XV, послужила материалом для многих книг. См., например: *Remarquable histoire de la vie de défunte Marie-Anne de Mailly, duchesse de Châteauroux*. Paris, 1746; *Dufour G.*

Correspondance inédite de M-me de Châteauroux avec le duc de Richelieu. Paris, 1806.

С. 142. *Кипсек* (англ. keepsake) — роскошно иллюстрированное издание.

С. 144. *Экая лихая болезнь...* — См. выше, с. 631.

С. 145. *Креман* — сорт шампанского, изготовлявшийся в итальянском городе Крема (Стема). Клико (Вдова Клико) — сорт французского шампанского.

С. 147. *Что вы обижаете девчонку-то? ~ ведь и она человек: любит тоже.* — Возможная трансформация карамзинского мотива («Бедная Лиза», 1792): «И крестьянки любить умеют».

С. 150. *Я буду вашей Гебой.* — В греческой мифологии Геба — дочь Зевса, богиня вечной юности; подносила богам на пирах нектар и амброзию.

С. 150—151. ...*спеть куплеты Беранже ~ Что за дьявол этот Беранже! пожил и других учит жить ~ пить, любить, обманывать друг друга: тут вся история и философия рода человеческого.* — В 1820—1830-е гг. политические песни-памфлеты П.-Ж. Беранже (Beranger; 1780—1857) находились в России под цензурным запретом. Большой популярностью пользовались его легкие куплеты, весьма фривольного содержания, воспевающие гризеток, веселые попойки, любовные утехы, например «L'homme range» (в переводе В. Л. Пушкина), «Roger Bontemps» (в переводе Д. Ленского) и многие другие. Над модным увлечением Беранже Пушкин иронизировал в «Графе Нулине» (1825): герой поэмы возвращается в Россию «С bons-mots парижского двора, / С последней песней Беранжера» (см.: *Старшина* З. А. Беранже в России: XIX век. М., 1969. С. 9—46).

С. 151. *Пуассардка* (от фр. poissarde) — базарная торговка.

С. 157. — *Для чего же вы служите? — Из чести-с.* — Выражение «из чести» звучало двусмысленно, означая «из благородных побуждений», «из чувства долга», т. е. бескорыстно, и одновременно — «за чаевые» (а равно и «за взятки» или иное неофициальное вознаграждение; от «честить» — подносить, потчевать). Эта двусмысленность неоднократно обыгрывалась разными авторами, как правило подразумевавшими реплику кухарки из борделя в поэме В. Л. Пушкина «Опасный сосед» (1811): «Из чести лишь одной я в доме здесь служу» (Поэты-сатирики XVIII—начала XX в. Л., 1959. С. 264 и 658 (коммент. Г. В. Ермаковой-Битнер) (Б-ка поэта. Большая сер.)). О популярности этой аллюзии см.: *Лотман*. С. 39; об использовании ее М. Е. Салтыковым-Щедриным см.: *Иванов Г. В.* Из комментария к произведениям русских писателей // *РЛ*. 1972. № 3. С. 185. Ср. в «Истории о петухе, кошке и лягушке» (1834) В. Ф. Одоевского: «Не то чтоб это можно было назвать взяткою! Нет! Наши реженские лавочники так любили Ивана Трофимовича, что носили к нему все *из чести!*» (*Одоевский В. Ф.* Соч.: В 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 23); ср. также в одном из «Парижских писем» (1843—1844) Н. И. Греча рассказ о тяжбе между А. Дюма и Г. Гальярде, которая велась, по его словам, «не из славы, но из авторского дохода, десятой доли сбора (...). Точно не *из чести!*» (*СПч*. 1843. № 219. 1 окт.).

С. 158. «*Поучительные размышления*» — типовое название многократно переиздававшихся сборников «душеполезного» чтения: «поучительными» могли быть повествования, беседы, слова.

С. 159. ...*на масленице крестный берет ложу...* — Героиня бывает в театре в короткий период традиционных (не порицаемых церковью) масленичных увеселений (гуляний, качелей, ледяных гор и пр.).

С. 161. ...*с анненским крестом на шее.* — Т. е. с орденом св. Анны 2-й степени.

С. 161. *...этакой крючок загнул!* — Крючок в деле — «придирка, кривое, проискливое направление» (Даль В. И. Словарь живого великорусского языка. М., 1956. Т. 2. С. 208).

С. 161. *В аттестате-то глухо насчет этого сказано.* — Аттестат о службе — документ, выдававшийся чиновникам при отставке и включавший все сведения о личности, состоянии, службе, правах на дворянство (заменял паспорт).

С. 162. *...а у нас добрый вистик составлен...* — См. выше, с. 656, примеч. к с. 96.

С. 162. *Чиновник особых поручений* — должность при директорах департаментов министерств (также при губернаторах), предоставлявшая особые полномочия и приобретаемая, как правило, по протекции; исполнитель разовых поручений.

С. 162. *Полумеринос* — полушерстяная материя, на изготовление которой шла шерсть тонкорунных овец (мериносов).

С. 163. *Апраксин двор* — торговые ряды в центре Петербурга на Садовой ул., внутри которых находился Толкучий рынок.

С. 163. *К моей постели одинокой / Не краля в темноте ночной...* — Неточная цитата из второй части поэмы «Кавказский пленник». У Пушкина: «К моей постеле одинокой / Черкес молодой и черноокий / Не краля в тишине ночной».

С. 163. *...два племянника крестного папеньки — один студент, другой юнкер.* — См. выше, с. 654, примеч. к с. 78.

С. 164. *Зайдешь к Беранже иностранные газеты прочитать...* — Знаменитая кондитерская Вольфа и Беранже («Café chinois» — «Китайская кофейня») была в моде у светской молодежи Петербурга; находилась на углу Невского пр. и р. Мойки (ныне — Невский пр., д. 18). В 1840-х гг. при кондитерской имелась особая читальня, куда поступали свежие номера газет и журналов (см.: Яцевич А. Г. Пушкинский Петербург. СПб., 1993. С. 279—280).

С. 164. *...об испанских делах, о французском министерстве...* — С 1833 по 1840 г. в Испании шла «карлистская» война между доном Карлосом Старшим, провозгласившим себя королем Карлом V, и царствующей династией испанских Бурбонов; сопровождалась народными мятежами в отдельных областях, продолжавшимися до 1843 г. В 1841—1843 гг. произошла смена регентов при несовершеннолетней Изабелле II. Во Франции с 1836 по 1840 г. сменилось четыре кабинета министров, после чего пришло к власти (1840—1847) министерство во главе с Ф. Гизо, при котором расцвели коррупция, хищения, биржевые спекуляции.

С. 164. *...товарищи управляют...* — Речь идет о должности товарища (т. е. заместителя, помощника) министра в России. По специальному закону 1840 г. должности товарища министра, практически утратившая к этому времени свои функции и существовавшая только в военном ведомстве, была восстановлена в большинстве министерств с более значительными, чем до 1840 г., полномочиями.

С. 164. *...обедать к Леграну или к Дюме.* — Легран — владелец французского ресторана в Большой Морской ул.; Дюме — владелец французского ресторана, пользовавшегося репутацией «беспорно лучшего таблода в городе» (Яцевич А. Г. Пушкинский Петербург. С. 241), на углу Гороховой и Малой Морской ул. (ныне: Малая Морская, д. 15/17).

С. 165. *...признан был ~ за любезного, фешенебельного ~ человека.* — Об использовании в литературе 1840-х гг. слова «фешенебельный» (англ. fashionable) см. ниже, с. 787—788.

С. 165. ...*смотралась бы, чисто смотралась бы девка*. — В просторечии «смотреться» — сбиться с пути.

С. 165. *Ридикюль* (фр. reticule) — женская ручная сумочка.

С. 166. ...*любовь двух душ есть такая симпатия*... — См. ниже, с. 775—776, примеч. к с. 347.

С. 166. *Вы камень, вы лед*... — Неточная цитата из «Горя от ума»; реплика Лизы, обращенная к Молчалину: «Вы, сударь, камень, сударь, лед» (д. IV, явл. 12).

С. 168. ...*к свадьбе, говорит, надо, чтоб поспело; мясоеду немного остается*. — Мясоед — период, когда по православному церковному уставу разрешена мясная пища; осенний — с 15 августа по 14 ноября и зимний — с 25 декабря до масленицы; по традиции — время свадеб. Здесь речь идет о зимнем мясоеде (см.: наст. том, с. 165: «Был зимний вечер»).

С. 169. *Мараскин* (от фр. marasca — кислая вишня) — ликер, изготовлявшийся в Далмации из особого сорта вишен.

С. 169. *Коломна* — окраинная часть Петербурга на правом берегу Фонтанки, населенная преимущественно мастеровыми и торговцами; в начале XIX в. — одна из самых бедных частей города (см.: *Пушкарев*. С. 74; *Яцевич А. Г.* Пушкинский Петербург. С. 8—9, 164—165). См. поэму Пушкина «Домик в Коломне» (1830); описание жителей Коломны содержит как первая, так и вторая редакция повести Гоголя «Портрет» (1834; *Гоголь*. Т. III. С. 119—121, 430—431).

С. 169. ...*долбня ты этакая!* — Долбня — колотушка, деревянный молот; здесь: дурень.

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

(С. 172)

Автограф неизвестен.

Источники текста

С. 1847. № 3. С. 5—158; № 4. С. 241—412.

1848 — *Гончаров И. А.* Обыкновенная история: Роман в 2 ч. СПб., 1848. (Б-ка рус. романов, повестей, записок и путешествий).

1858 — *Гончаров И. А.* Обыкновенная история: Роман в 2 ч. 2-е изд. И. И. Глазунова. СПб., 1858.

1862 — *Гончаров И. А.* Обыкновенная история: Роман в 2 ч. 3-е изд. И. И. Глазунова. СПб., 1862.

1868 — *Гончаров И. А.* Обыкновенная история: Роман в 2 ч. 4-е изд., вновь испр., И. И. Глазунова. СПб., 1868.

1883 — *Гончаров И. А.* Обыкновенная история: Роман в 2 ч. 5-е (на титуле ошибочно: 4-е) изд. И. И. Глазунова. СПб., 1883.

1884 — *Гончаров И. А.* Полн. собр. соч. / С портретом автора, гравированным акад. И. П. Пожалостинным и факсимиле. Изд. И. И. Глазунова. СПб., 1884. Т. I.

1887 — *Гончаров И. А.* Полн. собр. соч. 2-е изд. Изд. И. И. Глазунова. СПб., 1887. Т. I.

1887 (2) — *Гончаров И. А.* Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Изд. И. И. Глазунова. СПб., 1887.

Впервые опубликовано: С. 1847. № 3. С. 5—158, с указанием имени автора в оглавлении (ценз. разр. — 28 февр. 1847 г.); № 4. С. 241—412, с подписью: «Ив. Гончаров» (ценз. разр. — 31 марта 1847 г.).

В собрание сочинений впервые включено: 1884.

Печатается по тексту 1887 с устранением явных опечаток и очевидных описок, не замеченных писателем, а также со следующими исправлениями по предшествующим изданиям:

С. 177, строки 21—22: «Марьи Карповны» вместо «Марьи Васильевны» (описки Гончарова).

С. 185, строка 38: «уведомить» вместо «уведомит» (по С, 1848, 1858, 1862, 1868).

С. 195, строка 11: «питаю уверительную надежду на ваше усердие» вместо «питаю усердие» (по С).

С. 195, строка 41: «Есть у нас» вместо «Есть у вас» (по С, 1848, 1858, 1862, 1868).

С. 212, строка 34: «поровну» вместо «по ровну» (по С, 1848, 1858, 1862, 1868).

С. 214, строка 14: «а к Софье» вместо «к Софье» (по С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883).

С. 227, строка 27: «подбежал» вместо «побежал» (по С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883).

С. 228, строка 16: «наклонялся» вместо «наклонился» (по С, 1848, 1858, 1862, 1883).

С. 231, строка 32—33: «он далек был» вместо «он далеко был» (по 1868).

С. 232, строка 23: «туалеты» вместо «туалет» (по 1868).

С. 234, строка 29: «прибавлял» вместо «прибавил» (по С, 1848, 1858, 1862).

С. 235, строка 35: «денег за посуду» вместо «денег» (по 1868).

С. 243, строки 32—33: «и не советую торопиться жениться» вместо «и не советую жениться» (по 1868).

С. 244, строка 9: «А ты ведь женился бы» вместо «А ты женился бы» (по С, 1848, 1858, 1862).

С. 247, строка 33: «вошли в пословицу» вместо «вошла в пословицу» (по 1868).

С. 248, строка 8: «А если она влюбится» вместо «А если она влюблена» (по С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883).

С. 255, строки 9—10: «по дорожке» вместо «по дороге» (по С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883).

С. 263, строка 21: «Посмотрите» вместо «Посмотри» (по 1868).

С. 268, строка 12: «и соснуть» вместо «соснуть» (по С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883).

С. 299, строки 35—36: «...да! в солдаты: положим, что в солдаты и не отдадут, да ведь после этой истории» вместо «да! в солдаты: кроме того, после этой истории» (по 1848, 1858).

С. 301, строка 34: «объяснять» вместо «объяснить» (по С, 1848, 1858, 1862, 1868).

С. 305, строки 35—36: «ты бы лучше мать полюбил, с бородавкой-то: та надежнее» вместо «ты бы лучше мать полюбил» (по 1868).

С. 312, строка 9: «что я остался неразгаданным и непонятым ей» вместо «я остался неразгаданным ей» (по С).

С. 314, строка 29: «не часто встречающимися» вместо «не часто встречающимся» (по С).

С. 321, строка 14: «не так виноват» вместо «так не виноват» (по С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883).

С. 321, строка 28: «так он и того» вместо «он и того» (по *С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883*).

С. 327, строка 16: «такой» вместо «так» (по *С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883*).

С. 338, строка 14: «Он и ей кивнул» вместо «Он ей кивнул» (по *С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883*).

С. 338, строка 40: «видела» вместо «видала» (по *С, 1848, 1858, 1862, 1868*).

С. 341, строка 25: «продолжал он читать» вместо «продолжал он» (по *1868*).

С. 344, строки 5—11: «Петр Иваныч заметил это. — Ну, кончай, Александр, — сказал он, — да поговорим о другом. — И это туда же! — крикнул Александр, швырнув тетрадь в печь. Оба стали смотреть, как она загорится» вместо «Петр Иваныч заметил это. Оба стали смотреть, как она загорится» (по *С, 1848, 1858, 1862, 1868*).

С. 346, строка 7: «что его видят» вместо «что видят» (по *С, 1848, 1858*).

С. 349, строка 15: «сам скажу» вместо «там скажу» (по *1868*).

С. 350, строка 3: «Вот я и поддерживала» вместо «Вот я поддерживала» (по *С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883*).

С. 351, строка 11: «бледен не от природы» вместо «не от природы» (по *С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883*).

С. 356, строки 7—8: «что он мало делом занимается» вместо «что он мало занимается» (по *С*).

С. 356, строка 24: «не каждый же день» вместо «не каждый день» (по *С, 1848, 1858, 1862, 1868*).

С. 357, строка 39: «Он и слушать ничего не хочет» вместо «Он слушать ничего не хочет» (по *С, 1848, 1858, 1862, 1868*).

С. 357, строка 40: «я знаю, что это значит» вместо «я знаю» (по *1868*).

С. 360, строки 39—42: «но беда в том, что воображение, а за ним и сердце у ней были развиты донельзя, вскормлены романами и приготовлены ни для первой, ни для второй и третьей, а для такой любви, которая существует в романах» вместо «но беда была в том, что сердце у ней было развито донельзя, обработано романами и приготовлено не то что для первой, но для той романической (романтической — *С*) любви, которая существует в некоторых романах» (по *1868*).

С. 360, строка 43: «и бывает» вместо «бывает» (по *1868*).

С. 363, строки 10—13: «герои Жанена, Бальзака, Друино: что перед их дивными изображениями жалкая сказка о Вулкане? И сама Венера перед новыми героинями — просто жалкая невинность!» вместо «Жанены, Бальзаки, Друино — и целая вереница великих мужей! Что перед их дивными изображениями жалкая сказка о Вулкане? Венера перед этими новыми героинями просто невинность!» (по *1868*).

С. 364, строка 27: «удивления» вместо «удовольствия» (по *С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883*).

С. 366, строка 32: «и предалась» вместо «предалась» (по *С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883*).

С. 375, строки 14—15: «откуда с тоской наблюдала» вместо «откуда взорами с тоской наблюдала» (по *1868*).

С. 381, строка 13: «урока» вместо «упрека» (по *С, 1848, 1862, 1868*).

С. 391, строка 41: «пролюбила» вместо «полюбила» (по *С, 1848, 1858, 1862, 1883*).

С. 392, строки 15—16: «забвения прошедшего, спокойствия, сна души» вместо «забвение прошедшего, спокойствие, сна души» (по С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883).

С. 405, строки 40—41: «сильнее ляжет на душу» вместо «сильнее наляжет на душу» (по 1868).

С. 406, строка 10: «Она вздохнула» вместо «Она вздрогнула» (по 1868).

С. 409, строка 13: «Берега и река» вместо «Берега и реки» (по 1868).

С. 409, строки 39—40: «они не воротятся» вместо «они не воротятся» (по 1868).

С. 414, строка 36: «Я и сплю» вместо «Я сплю» (по С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883).

С. 419, строки 23—25: «ожидал бы счастья в будущем; с этим ожиданием и дожил бы до тех пор» вместо «ожидал бы до тех пор» (по С, 1848, 1858, 1862, 1868).

С. 425, строка 40: «Плакучие ивы» вместо «Плакучие березы» (по С, 1848, 1868).

С. 428, строка 25: «просадят» вместо «посадят» (по 1862, 1883).

С. 429, строка 14: «Софья Васильевна» вместо «Софья Михайловна» (описка Гончарова).

С. 430, строка 24: «милосердая заступница» вместо «милосердная заступница» (по С, 1848, 1858).

С. 430, строка 25: «Такое сомнение нашло» вместо «Такое сомнение навело» (по смыслу; опечатка во всех прижизненных изданиях).

С. 436, строка 39: «да не испорчен ли это значит» вместо «не испорчен ли, значит» (по С, 1848, 1858, 1862, 1868, 1883).

С. 440, строка 23: «слышь, плоха» вместо «слышишь, плоха» (по 1868).

С. 453, строки 21—22: «два-три конца от одного угла до другого» вместо «два-три конца от одного конца до другого» (по С, 1848, 1858).

С. 455, строка 8: «Хороший дом» вместо «Хорош дом» (по С, 1848, 1858, 1868).

С. 463, строка 43: «зачем женятся» вместо «зачем жениться» (по С, 1848, 1858, 1862, 1868).

1

Творческую историю первого романа Гончарова приходится воссоздавать лишь на основании косвенных данных, поскольку мы не располагаем ни ранними подготовительными материалами,¹ ни рукописями, ни письмами автора или его корреспондентов, отражающими какие-либо этапы возникновения или развития замысла. Таким образом,

¹ Представить общий характер работы писателя на ранних стадиях формирования и первоначального воплощения замысла помогает его замечание в одном из позднейших писем: «Для романа или повести нужен не только упорный, усидчивый труд, но и масса подготовительной, своего рода черновой, технической работы, как делают и живописцы, т. е. набрасывание отдельных сцен, характеров, черт, деталей, прежде нежели всё это войдет в общий план...» (письмо к Д. Н. Цертелеву от 16 сентября 1885 г.). Более подробно о таком «плане» Гончаров пишет в «Необыкновенной истории» (имея в виду роман «Обломов»): «Я свои планы набрасывал беспорядочно на бумаге, отмечая одним словом целую фразу

в распоряжении современного исследователя нет ни одного документа, непосредственно связанного с допечатным текстом «Обыкновенной истории». Сохранились лишь скудные мемуарные свидетельства самого Гончарова и его современников.

Известно, что в 1845 г. рукопись части первой романа была готова и отдана М. А. Языкову для передачи Белинскому и что тогда еще не была написана часть вторая.¹ К Белинскому рукопись попала, вероятно, в самом начале 1846 г., что подтверждается письмом Ф. М. Достоевского к М. М. Достоевскому от 1 апреля этого года, где говорится, что Гончарова «ужасно хвалят» (см. ниже, с. 718). Вероятно, тогда же, т. е. весной — не позднее начала лета 1846 г., Гончаров согласился на предложение Белинского отдать роман в подготавливаемый критиком сборник «Левиафан». Но и неуверенность в судьбе сборника,² и, вероятно, усиленные просьбы А. А. Краевского, предлагавшего больший гонорар, чуть не склонили Гончарова на сторону редактора-издателя «Отечественных записок», что едва не повело к разрыву романиста с Белинским и Некрасовым и уж во всяком случае способствовало охлаждению отношений между ними.³ Тем не менее, как только Некрасову и И. И. Панаеву удалось купить (у П. А. Плетнева) «Современник», они сразу же обратились к автору «Обыкновенной истории»: «Мы объяснили Гончарову дело о журнале; он сказал, что Краевский ему дает по 200 р. за лист; мы предложили ему эти же деньги, и роман этот будет у нас» (*Некрасов*. Т. X. С. 54). В ноябрьском номере «Современника» в объявлении об издании журнала на 1847 г. Гончаров значился в числе его новых сотрудников. «Обыкновенная история» была принята к напечатанию в мартовском и апрельском номерах.

В соответствии с практикой того времени, Гончаров мог сначала сдать в редакцию лишь первую часть романа — для мартовского номера. А поскольку номера «Современника» выходили, как правило, в самые первые дни соответствующего месяца, то сделать это он должен был не позднее конца января. Уже 10 февраля 1847 г. И. И. Панаев писал И. С. Тургеневу: «И. А. Гончаров сияет, читая свои корректуры...» (*Панаев*. Сочинения. С. 522). 28 февраля последовало цензурное разрешение номера,⁴ а на следующий день, накануне выхода его в свет, Белинский сообщал Тургеневу: «У „Современника“ теперь 1700 подписчиков. Завтра выйдет 3 №, и по всем признакам повесть Гончарова должна произвести сильное впечатление. Будь она напечатана в первых 2-х №№ (...) можно клясться всеми клятвами, что уже месяц назад все 2100 экземпляров были бы разобраны и, может быть, надо было бы печатать еще 600 экземпляров...» (*Белинский*. Т. IX. С. 627). 31 марта последовало цензурное разрешение

или накидывая легкий очерк сцены, записывал какое-нибудь удачное сравнение, иногда на полустранице тянулся сжатый очерк события, намек на характер и т. п. У меня накопились кучи таких листков и клочков, а роман писался в голове...».

¹ Гончаров писал в последней из трех известных Автобиографий: «...в 1845 и 1846 годах написал роман в двух томах „Обыкновенная история“, послав первый том для прочтения Белинскому, когда еще не был кончен второй».

² Не случайны слова Некрасова «о печальном состоянии» альманаха из его письма к Белинскому, написанного между 15 и 26 сентября 1846 г. (*Некрасов*. Т. X. С. 52).

³ См.: Там же. С. 52—53.

⁴ Цензорами № 3 и 4 «Современника» с романом Гончарова были И. А. Ивановский и С. С. Куторга.

№ 4 «Современника» с частью второй романа; номер вышел в свет 1 апреля (см.: *Боград*. С. 62). Оба номера открывались «Обыкновенной историей».

Названный самим Гончаровым срок создания романа (см. выше, с. 677) представляется маловероятным, особенно если вспомнить, что работа над «Обломовым» продолжалась в течение 10 лет, а на обдумывание и написание «Обрыва» ушло 20 лет; к тому же время создания «Обыкновенной истории» — это период активной служебной деятельности Гончарова.¹ О том, что этот срок был более длительным, свидетельствует сам писатель в статье «Лучше поздно, чем никогда», где сказано: «В начале 40-х годов, когда задумывался и писался этот роман...».

Читая в 1846 г. рукопись романа в разных домах, Гончаров вносил в нее по ходу чтения и обсуждения отдельные поправки, продолжая таким образом работу над текстом.² По свидетельству А. В. Старчевского, он «постоянно делал свои отметки на рукописи, а иногда и просто перечеркивал карандашом несколько строк»; Гончаров согласился с замечаниями В. Н. Майкова, решив сделать в рукописи некоторые изменения «сообразно с указаниями молодого критика» — *Гончаров в воспоминаниях*. С. 54; см. также об этом ниже, с. 716).

Этим, собственно, и исчерпываются все данные, относящиеся к творческой истории романа. Что же касается истории его печатного текста, то она, несмотря на отсутствие наборной рукописи журнального текста и корректур всех последующих изданий, может быть освещена в достаточно полном объеме. О работе Гончарова над корректурами журнальной публикации неизвестно ничего, кроме приведенного выше сообщения Панаева Тургеневу о самом факте такого чтения. Но сохранились позднейшие рассказы современников писателя (А. Ф. Кони и М. М. Стасюлевича) о характере работы Гончарова над корректурами его произведений. Более общее свидетельство принадлежит Кони. Он писал: «Сомнения автора касались не только существа его произведений, но и самой формы в ее мельчайших подробностях. Это доказывают его авторские корректуры, которые составляли, подобно корректурам Толстого, истинную муку редакторов. В них вставлялись и исключались обширные места, по несколько раз переделывалось какое-либо выражение, переставлялись слова, и уже подписанная к печати корректура внезапно требовалась обратно для новой переработки» (*Гончаров в воспоминаниях*. С. 241—242).

Выходом в свет № 4 журнала «Современник» с частью второй романа заканчивается первый этап сложной и долгой истории «выделки» его текста.

После журнальной публикации роман выходил пятью изданиями (в 1848, 1858, 1862, 1868 и 1883 гг.), затем дважды включался в прижизнен-

¹ С 1838 г. он занимал должность переводчика в Департаменте внешней торговли Министерства финансов (подробнее см.: *Лобкарева А. В.* Новые материалы о службе И. А. Гончарова в Департаменте внешней торговли // *Гончаров. Материалы*. С. 291—294). В 1840 г. Гончаров был утвержден в чине титулярного советника и начиная с 1844 г. не раз был высочайше поощряем «за отлично-усердную службу» (см.: *Летопись*. С. 24, 25).

² О характере этой работы он пишет в «Необыкновенной истории»: «Садясь за перо, я уже начинал терзаться сомнениями (...). Поэтому я спрашивал мнения того, другого, зорко наблюдал, какое производит мой рассказ или чтение впечатление на того или другого...».

ные собрания сочинений Гончарова. Последний раз он появился отдельным изданием в 1887 г.

Помещенный в настоящем томе свод вариантов всех перечисленных изданий (Варианты. С. 561—604) позволяет сделать вывод о том, что текст романа правился от издания к изданию (до выхода его в последнем прижизненном собрании сочинений), причем правка со временем принимала все более углубленный характер.¹

«Неслыханный» успех романа (см. ниже, с. 719) обеспечил его выход отдельным изданием менее чем через год после журнальной публикации: 10 февраля 1848 г. Некрасов обращается к А. В. Никитенко с просьбой подписать к выпуску уже напечатанную книгу (см.: *Некрасов*. Т. X. С. 107); 13 февраля последовало цензурное разрешение, подписанное цензором А. Очкиным.

Высказывалось мнение, что это издание полностью соответствовало журнальному тексту, если не считать малозначительных частных исправлений (см.: *Цейтлин*. «Счастливая ошибка». С. 124; 1977. С. 510). Действительно, правка в основном касалась частных: Гончаров последовательно проводит сокращение отдельных эпизодов, фраз, слов (снимает длинный монолог матери Надиньки в гл. V части первой («„Не будет, говорит она“». Ну, думаю, не будет, так что ж ждать понапрасну ~ „Нет, говорит она“» — вариант к с. 277, строки 24—25); вычеркивает излишне подробные описания (после слова «флигелями» снимает пояснение: «на улицу, об одном окне каждый» — вариант к с. 205, строка 14); отказывается от пространной характеристики бесед Александра с Лизой о «писателях» из главы IV части второй (вариант к с. 403, строкой 23); убирает отдельные авторские ремарки (вроде: «Глаза ее отуманились» — вариант к с. 263, строка 6)).

Не исключено, что более объемные сокращения в части первой романа (по сравнению с последующими) были реакцией автора на критику А. Д. Галахова, указавшего не только на излишнюю описательность, но и на «несоразмерность» между двумя частями романа: «вторая половина некоторым образом убивает первую» (см. ниже, с. 729). О том же, что все сокращения, подчас даже мелкие, вплоть до отдельного имени, носили творческий характер, говорит один, казалось бы, не очень значительный пример: в главе II части первой перечень известных имен, приводимый Петром Ивановичем («Ньютон; Гутенберг, Ватт так же были одарены высшей силой...»), в журнальном тексте включал имя французского педагога Жакото (Jacotot, 1770—1840), автора книги «Langue étrangère» (1829), в которой утверждалось, что в основе изучения всех наук должно лежать заучивание наизусть (вариант к с. 223, строка 23). Еще в 1818 г. Жакото выступил со своим методом преподавания, направленным на развитие активности и самостоятельности обучающихся; его основные сочинения — «Всеобщее обучение. Родной язык» (1823) и «Иностранный язык» (1829). Главные принципы Жакото укладывались в несколько формул: кто сильно хочет, тот может; человеческий разум способен сам образовывать себя; умственные способности у всех одинаковы. Система Жакото была популярна в Западной Европе и в России в 1830-е гг. В заметке В. Ф. Одоевского «О системе Жакото. (Замечания

¹ Вопреки установившемуся мнению, сформулированному О. А. Демиховской следующим образом: «Текст „Обыкновенной истории“, напечатанный в „Современнике“ в 1847 г., оставался без изменения в отдельных изданиях 1848, 1858 и 1862 годов» (И. А. Гончаров: Материалы юбилейной конференции 1987 г. Ульяновск, 1992. С. 127).

на статью, помещенную в «Journal des Débats», 1829, дек. 13-го», напечатанной в № 9 пушкинской «Литературной газеты» за 1830 г., говорится, что эта метода заслуживает «уважение или, по крайней мере, внимание ученого мира» России, и сообщается, что «на русском языке готовится особенное сочинение о сей методе», которая «обошла Англию, завела споры в Германии и произвела необыкновенное действие во Франции, где в начале 1829 года заведено уже было пять школ по методе *всеобщего обучения* (...) коих число ежедневно умножается и где мы насчитали по журналам уже до 16 отдельных сочинений, вышедших в прошлом году по сему предмету, кроме периодического издания, составляемого сыновьями изобретателя...».¹ Однако к 1848 г. популярность Жакото уже не шла в сравнение с известностью других названных в романе ученых, и Гончаров снимает это имя.

Различного рода добавления встречаются в значительно меньшем количестве. Чаще всего они носят характер уточнений (так, фраза Александра: «Вы, дядюшка, решаетесь назвать глупостью этот святейший порыв души, это благородное излияние» — заключается теперь словом «сердца» (вариант к с. 220, строки 43—44); вместо «исподтишка» становится: «он замечал, как исподтишка» (вариант к с. 231, строки 14—15); после слов: «Он остался один» — прибавлено: «в раздумье» (вариант к с. 264, строка 4) и т. п.). Тот же уточняющий характер носят и более заметные добавления: например, в сцене прихода Александра (вместо ожидаемого Надинькой графа Новинского) появилась фраза: «Не этого гостя ожидала она» (вариант к с. 287, строки 12—13); в авторском описании раздумий Лизаветы Александровны по поводу «кодекса сердечных дел» ее мужа добавляется фраза: «...тогда другое дело: она, может быть, поступила бы, как поступает большая часть жен в таком случае» (вариант к с. 314, строки 26—28).

Еще один заметный слой правки — активное вторжение автора в диалоги героев, и чаще всего не в самые диалоги, а в авторские ремарки, сопровождающие прямую речь («закричала» вместо «заговорила» (вариант к с. 338, строка 30); «сказала Надинька пророческим тоном» вместо «сказала с испугом Надинька» (вариант к с. 263, строки 42—43); «возражал на это» вместо «возразил» (вариант к с. 403, строка 12) и т. п.). Такая правка будет последовательно проводиться вплоть до последних изданий романа в собраниях сочинений.²

¹ Литературная газета А. С. Пушкина и А. А. Дельвига. 1830 год. № 1—13. М., 1988. С. 132.

² Об особом внимании Гончарова к диалогам и авторским ремаркам красноречиво свидетельствуют его советы П. А. Валуеву (связанные с романом «Лорин»). 6 июня 1877 г. Гончаров писал графу: «Следя за интересом интриги, за участью, характерами лиц, слушая их речи — внимание читателя ждет и жадно просит (особенно в разговорах) тех нечаянностей, игры, капризов, смелых и сильных оборотов, огня, того нервного трепетанья, каким кипит живая речь живого человека (...) Автор (...) только смотрит на лица своих героев (в фантазии), слышит, что и как они говорят, — и верно передает. Таковы условия художника, на то у него наблюдательный глаз, палитра и кисть. (...) Злой фельетонист не упустит случая едко заметить при этом: „пусть бы одно из лиц романа лучше «крикнуло» раза два-три (куда ни шло), лишь бы в разговорах их было больше природы, соответствия положениям их, движения мысли, искр страсти — вообще характерности, портретности или типичности...”».

Самый же обильный слой правки — правка стилистическая. Это прежде всего замена отдельных, подчас действительно малоудачных фраз, выражений и оборотов другими (например: «что-нибудь такое — достигло до той степени, где» вместо бывшего «что-нибудь этакое — без границ, то есть в такой степени, когда уж» (вариант к с. 307, строки 24—26) или более простая фраза: «Счастье для него кончилось, и какое счастье? фантазмагория, обман» — вместо следующего авторского рассуждения по поводу очередного «разочарования» Александра: «Прямое счастье для него кончилось, и какое счастье: всё в обмане» (варианты к с. 390, строки 31,32)). Иногда замена объясняется более сложными мотивами: так, в описании бала в главе II части первой слова «гром мазурки»¹ заменяются словами «гром музыки» (вариант к с. 231, строки 41—42) — вероятно, не только потому, что на бале танцевали не одну мазурку, но и потому, что Гончаров заметил ниже в этом же абзаце слова «рев мазурки».

Освобождается текст и от чересчур эмоциональных выражений (вроде того, что следовало за словом «документ» в заключительном письме Александра к дяде: «писанный вашей кровью!!!» — вариант к с. 452, строки 26—27), от выражений и оборотов, либо устаревших, либо просто «сорных», неловких (простонародное «подшепить» заменяется на «залучить» — наст. том, с. 555, сноска 3; слова «на колени, что ли бы» на «на колени бы» (вариант к с. 207, строка 6); слова «сильно вздыхая» на «мля и вздыхая» (вариант к с. 269, строки 31—32 и т. п.).

Все подобные изменения: добавления, сокращения, исправления и прочие разночтения (в общей сложности числом около 200) явились лишь первым этапом работы Гончарова над текстом «Обыкновенной истории»; они показывают, насколько требователен был писатель к произведению, стилистика которого почти не вызвала нареканий критики.

Второе отдельное издание «Обыкновенной истории» вышло в свет 23 декабря 1857 г. (на титульном листе проставлен 1858 г.; см.: *Летопись*. С. 80). Цензурное разрешение было получено значительно раньше, 20 апреля (цензором был И. И. Лажечников). Вероятно, такой разрыв между цензурным одобрением и выходом в свет был связан с тем, что в самом начале лета (7 июня) Гончаров собирался за границу, намереваясь там работать над «Обломовым», и спешил отдать в цензуру исправленный текст (корректуры же проходили без него — их держал И. И. Ляховский). Следовательно, над текстом «Обыкновенной истории» он работал лишь до апреля 1857 г. В это время завершалась публикация в различных периодических изданиях отдельных очерков из будущей книги «Фрегат „Паллада“» и готовилось отдельное издание этой книги;² наконец, это был период интенсивной служебной деятельности Гончарова-цензора.³ Но, несмотря на все это, правка текста «Обыкновенной истории»

¹ Слова «гром мазурки» несомненно связаны со строкой из «Евгения Онегина»: «Когда гремел мазурки гром» (глава пятая, строфа XLII). Вообще с отброшенными вариантами из текста ушли и другие «пушкинские» реминисценции и прямые цитаты (см. варианты к с. 212, строки 13, 32 и др.).

² Цензурное разрешение последовало 11 мая. И «Обыкновенная история», и отдельное издание «Фрегата „Паллада“» печатались у И. И. Глазунова, следовательно, работа над обеими книгами совпадала, что создавало для автора немало трудностей.

³ За 1856—1857 гг. им было процензуровано свыше 20 000 листов различных изданий (см.: *Мазон*. Р. 198).

продолжалась, хотя объем ее и уменьшился (на треть по сравнению с правкой в предыдущем издании). По всему тексту идет дальнейшее сокращение отдельных фраз, частей фраз, слов (так, из фразы: «...они (слезы. — *Ред.*) потоком подступили к горлу» — было убрано слово «потоком» (вариант к с. 173, строка 5); из начала фразы: «Она в три приема...» — ушли слова-штамп «с быстротой молнии» (вариант к с. 177, строка 11); упростилась фраза: «Не заводи лишнего, ни роскоши», теперь она стала читаться следующим образом: «Не заводи роскоши» (наст. том, с. 554, сноски 9); с такой же целью были преобразованы часть фразы: «искушение чад Евы — мальчишек» (стало: «искушение мальчишек» — вариант к с. 205, строки 16—17) и выражения «какая-то молодая» (стало: «молодая» — вариант к с. 278, строка 9), «прерадушно пожал» (стало: «пожал» — вариант к с. 462, строка 43), «не одним этим, — он указал на голову» (стало: «не одной головой» — вариант к с. 462, строка 3); были сокращены «лишние» слова в Эпиллоге (во фразе: «видя, что дядя глядит на него свирепо» — после слова «дядя» до 1858 г. было: «машет ему обеими руками и», а после слов «зверское лицо» шли слова «и замахал рукой»; от текста: «А ну-ка, покажи голову: теперь у самого лысына, а женишься! что?» — осталось только: «Покажи-ка голову» — варианты к с. 464, строки 18, 37, 44).

Продолжались и различного рода замены (уменьшительное «дурачки» было исправлено на «дураки»; вместо выражения «без спросу украли» появилось слово «выташили»; «зеленые панталоны» Александра превратились в «синие», став одного цвета с сюртуком; «дома» почти последовательно исправлялись на «домы» (варианты к с. 173, строка 25, с. 197, строки 9, 33, с. 207, строка 16). По всему тексту тщательно выправлялись отдельные фразы: «Божественная искра огня, который (до 1858 г. было: «которая») более или менее горит во всех нас, сверкнула бы там незаметно (в 1858 г. прибавляется: «во мне») и скоро потухла...»; «...не рассмотрев (до 1858 г. было: «не рассмотревши») ее пристально (до 1858 г. было: «так пристально»), ждал бы там от нее чего-нибудь еще (до 1858 г. было: «ждал бы там еще»); «...а я вношу все эти драгоценные материалы в особый мемуар. Я не премину (до 1858 г. было: «который и не премину») вручить его вам лично»; фраза: «Вы так хорошо рассказываете...» — заменяется фразой: «Вы лучше меня говорите...» (варианты к с. 391, строки 34—35, с. 392, строки 4—6, с. 452, строка 33, с. 464, строки 7—8). Деепричастия «приехавши», «заметивши», «выслушавши», «поднявши» заменяются на более литературные формы «заметив», «приехав», «выслушав», «подняв»; устарелая форма слова «замужство» исправляется на «замужество», а «реэстр» на «реестр»; наконец, исправляются не замеченные ранее неловкие фразы (или ошибки набора), вроде «из роту сигару» (стало: «из рта сигару») (варианты к с. 212, строка 18, с. 245, строка 37, с. 300, строка 40, с. 447, строка 8, с. 365, строка 26, наст. том, с. 552, сноски 5, с. 208, строка 12) и т. д. Последовательно восстанавливается авторская инверсия, возможно устраненная кем-то в предшествующем наборе («поля наши» вместо «наши поля»; «души моей» вместо «моей души» (варианты к с. 178, строка 20, с. 267, строка 28), а также «разглядеть их» вместо «их разглядеть» (наст. том, с. 551, сноски 5) и т. п.).

В 1861 г., испытывая острый недостаток в средствах,¹ Гончаров решил на очередное переиздание «Обыкновенной истории» (ценз. разр. — 7 дек. 1861 г.; цензор — В. Н. Бекетов), «Обломова» (ценз.

¹ См. письма к А. А. Кирмаловой от 7 декабря 1861 г. и 19 октября 1862 г. и к А. А. Музалевской от 20 сентября 1862 г.

разр. — 15 нояб. 1861 г.) и «Фрегата „Паллада”» (ценз. разр. — 6 февр. 1862 г.). В это время Гончаров уже не служил¹ и интенсивно работал над романом «Обрыв». «Обыкновенная история» вышла в свет третьим изданием 21 февраля 1862 г. (см.: *Летопись*. С. 120).

Характер работы над «Обломовым» позволил Л. С. Гейро сделать вывод о том, что в результате «последней творческой переработки текста» в издании 1862 г. не только был «уточнен» «ряд ответственных эпизодов романа», но и «тщательно исправлен» «его стиль и слог»,² причем эта работа могла быть проведена писателем в период с сентября 1860 и до конца мая 1861 г. (т. е. до отъезда за границу). В связи с этим становится понятно, что работа над двумя другими переиздаваемыми произведениями не могла вестись в таком же объеме. Об этом свидетельствует и содержание объяснений, о которых активно хлопотал Гончаров.³ Об «Обломове» он писал А. В. Никитенко 21 января 1862 г., незадолго до выхода романа в свет: «И как теперь дело идет не столько о моей литературной репутации, сколько о сбыте этого второго издания, то если Вы благоволите вставить как-нибудь слова: что *в первой части местами сделаны сокращения длиннот и кое-где сглажен слог, словом, роман тщательно автором просмотрен* (что совершенно справедливо), то это много поможет сбыту книги, о чем я теперь сладостно мечтаю». Что же касается «Обыкновенной истории», то Гончаров просил своих корреспондентов лишь упомянуть о выходе романа новым изданием.⁴ Но, по сути дела, говоря словами Гончарова из только что приведенного письма, в «Обыкновенной истории» 1862 г. и текст был «тщательно автором просмотрен», и слог «кое-где сглажен», и «сокращения длиннот» произведены, т. е. дальнейшая работа велась в том же плане, что и для издания 1858 г., с тою только разницей, что, например, сокращений теперь было сделано гораздо больше. Обильно снимаются, например, фразы, завершающие разного рода рассуждения (после рассказа о давнем «романе» Аграфены и Евсея, заканчивающегося восклицанием: «Многие ли в итоге годов своей жизни начтут десять счастливых?» — до 1862 г. следовало: «Завидная участь!» (вариант к с. 173, строка 23); из «разбора» дядей стихов Александра исчезли заключающие основное соображение: «Одно и то же в первых четырех стихах сказано» — слова «зачем же повторять?» (вариант к с. 224, строка 11); из восклицания Александра: «Где же разум {...} в книгах ли, в самых ли бумагах, или в головах этих людей?» — были вычеркнуты слова «трудно решить» (вариант к с. 227, строка 17)). Снимаются и излишне пространные описания (упрощается, в частности, описание праздничного одеяния Антона Иваныча — за словами: «...во фраке бог знает какого покроя» — до 1862 г. следовало: «в белом жилете и галстухе, то есть по названию белом, а в самом деле грязном, — но без перчаток и в праздники и в будни» (наст. том, с. 556, сноска 4);

¹ Он был уволен 1 февраля 1860 г. согласно прошению, поданному 18 января на имя попечителя учебного округа И. Д. Делянова, и на службу вернулся в сентябре 1862 г. (см.: *Летопись*. С. 103, 105).

² См.: *Гейро Л. С.* История создания и публикации романа «Обломов» // Гончаров И. А. Обломов. Л., 1987 (сер. «Лит. памятники»). С. 631.

³ Ср. письмо от 2 февраля 1862 г. редактору газеты «Сын отечества» А. В. Старчевскому: «По выходе „Обыкновенной истории“ пришлю Вам также экземпляр и скажу спасибо, если упомянете и о ней. В первый раз я сам издаю свои книги и сам должен хлопотать об объявлениях...».

⁴ См. письма к И. И. Панаеву и А. А. Краевскому от 8 февраля, к А. В. Старчевскому от 2 февраля и 13 марта 1862 г.

сокращается текст письма Заезжалова к Петру Ивановичу, из которого уходит слова, заключающие просьбу прислать «патенты на три чина»: «служил, служил государю и отчеству, а добрым людям нечего и показать ~ да и есть что почитать от скуки» (вариант к с. 195, строка 38); становится значительно короче рассуждение по поводу восприятия Петербурга провинциалом, из которого автор, видимо оценив реакцию провинциала, подавленного величием города и потому впавшего в обличительный тон, как несколько карикатурную, убирает два пассажа — первый, следовавший за словами: «они обдирают вас, а вы и рады быть олухами!» — и содержащий пространное описание «топорного» костюма провинциала (вариант к с. 205, строка 43), и второй, включавший сравнение городских «икры, груш и калачей» с провинциальными, в ущерб первым, и заканчивавшийся очередной авторской сентенцией: «И так иногда долго дура-привычка держит под своей ферулой человека весьма порядочного» (вариант к с. 206, строка 3)). Сокращаются отдельные детали в описании облика «нового» Александра, «из подмалеванной картины» превратившегося в «оконченный портрет»; снимается дополнение к словам «расправа коротка» («на дуэль, или, по крайней мере, нашим, настрашаем, — мы молодцы!!!» — вариант к с. 230, строка 40) и исчезает следовавшая за словом «препятствия» фраза: «Юношу, запечатленного такой отвагой, наш народ называет *ясным соколом*» (вариант к с. 231, строки 1—2). Подвергся сокращению и разговор между Александром, дядей и Лизаветой Александровной о любви: объясняя племяннику, как надо «держат» жену, дядя как бы предвидит, что Лизавета Александровна может подслушать их разговор и предупреждает Александра об этом (вариант к с. 304, строка 1). Сняв же «предупреждение» Петра Ивановича, Гончаров делает эту сцену более острой, драматичной. В том же духе и другие купюры: отказ от слов «в провинцию», входивших в текст: «писал он в одно утро к Поспелову» (вариант к с. 212, строка 2); вычеркивание из письма Александра к Поспелову упоминания Пушкина и слов из «Евгения Онегина»: «делить, как говорит Пушкин, *трапезу, мысли и дела*» (вариант к с. 212, строка 13); устранение сцены, в которой Александр «в припадке тоски» декламирует «монолог из „Разбойников“ Шиллера» или припоминает «любимый романс своей тетки» (вариант к с. 231, строка 24). Значительно сокращено описание короткой попытки Александра забыть в кругу друзей и у «ресторатёров» (вариант к с. 388, строка 38), а также его воспоминания о прошлой жизни (вариант к с. 389, строка 15) и сожаления по поводу того, что он не остался в деревне (вариант к с. 392, строка 13). Сокращения коснулись и детального описания удочки Александра (в сцене первого появления Лизы) и рассказа о первом впечатлении Лизы от его внешности (варианты к с. 395, строка 43, с. 396, строки 1—3). Значительно сокращен разговор Александра с Лизаветой Александровной. После слов «*лежачего не бьют*» следовал их диалог о таланте Александра (вариант к с. 417, строка 2). Избегает Гончаров и тавтологий (в сцене диалога дяди с «разочарованным» племянником до 1862 г. фраза: «Не за свое дело взялся, — подумал Петр Иваныч» — заканчивалась словами «это не по моей части», по сути дела повторяющимися начало фразы; теперь эти слова снимаются — вариант к с. 388, строка 3). Продолжалась и дальнейшая шлифовка диалогов и авторских ремарок, заключающих слова персонажа (вместо слов Аграфены, обращенных к Евсею: «У! проклятый!» — стало просто: «Проклятый!» (вариант к с. 191, строка 43); прежняя фраза: «Порадуйте меня добрым словом, — сказал Евсей, — ведь последний денек», — явно выиграла, став более эмоциональной: «Прощайте, прощайте! — с громадным вздохом сказал

Евсей, — последний денек» (вариант к с. 174, строки 18—19);¹ вместо «счастлива! Господи! Господи!» осталось только «счастлива!» (вариант к с. 197, строка 3); вместо «Пожурю, пожурю» — «Пожурю» (вариант к с. 357, строка 3)). Часто убираются слова вроде «прибавила Анна Павловна» (наст. том, с. 560, сноска 2); упрощаются выражения типа «У!!! дико воскликнул», заменяемые одним словом («воскликнул») (вариант к с. 246, строка 10). Однако Гончаров тщательно сохраняет стилистику речи Александра, ориентированную на книжную традицию первой половины XIX в. «Романтические» элементы в его речи подчас даже усиливаются: это показывает новая редакция его встречи с Пospelовым (см. ниже).

Диалоги и монологи становятся менее пространными. Например, из «речей» дяди последовательно убираются повторы, восклицания, недосказанности (сокращается его монолог, в котором он осмеивает «романтизм» племянника: «...тебе подавай кинжалов, резни, крови (<...> ну есть ли во всем этом смысл, скажи на милость?» (вариант к с. 418, строки 37—42); заменяется более кратким его «наставление» Александру быть осторожнее в «откровениях», чтобы их разговор не услышала спящая по соседству жена (до 1862 г. этот текст состоял из трех фраз: «...ради Бога, — заговорил дядя, махая рукой, — услышит жена — беда! (<...> Он засмеялся и погрозил Александру пальцем», в результате правки от «наставления» осталось лишь: «заговорил дядя, махая рукой, — хорошо, что жена спит, а то... того» — вариант к с. 304, строка 1)).

Из текста изымались некоторые резкие, чересчур, может быть, «сильные» выражения и сравнения. Вместо «Вот пришел — набушевал, помешал мне...» — стало: «Вот пришел — помешал мне...»; из ответа дяди на упрек Александра в том, что он «без милосердия» вонзает «свой анатомический нож в самые тайные изгибы» его сердца, была снята фраза: «И оператору неприятно видеть конвульсии больного, когда он режет его, но он спасает его, может быть, и я не бесполезен тебе»; из фразы: «...у Александра сердце заметалось в груди» — ушло сравнение «как лесная птица в клетке»; вместо «беситься, грубиянить» стало просто: «грубиянить»; из фразы: «Тут Петр Иваныч, как инквизитор, остановил на племяннике свой холодный и покойный взор» — были устранены слова «как инквизитор»; была отброшена завершающая пересказ дядей слов Суркова фраза: «И при этом предико заревел и ударил кулаком по столу» (варианты к с. 240, строки 23—24, 30, с. 252, строка 20, с. 301, строка 15, с. 356, строка 19, с. 358, строка 40).

Но текст романа не только сокращается. В него вводятся и некоторые добавления. Например, лишь в этом издании в эпизоде появления Пospelова перед отъездом Александра в Петербург появляются романтические штрихи (после слов: «О, есть дружба в мире!» — теперь следует: «Навек, не правда ли? (<...> До гробовой доски! (<...> Да, да, и ты пиши!» — вариант к с. 190, строки 19—24); Гончаров также замечает, что в сцене окончательного прощания матери с Александром во всех предыдущих изданиях Пospelов не участвовал, и во фразе: «Впереди пошли Анна Павловна с сыном» — добавляет слова «и с Пospelовым» (вариант к с. 190, строка 37). Дополнительная характерная деталь появилась в том месте письма Заезжалова к Петру Ивановичу, где рассказывается, как

¹ Кстати, этот сохранный в обоих случаях «последний денек» является непосредственной отсылкой к широко распространенной народной песне, начинающейся со слов: «Последний нынешний денечек Гуляю с вами я, друзья...».

«обнесли» советника Дрожжова: «...и ныне нудят подать просьбу об отставке» (вариант к с. 196, строка 6).

Все дополнения, как правило, тонки и точны. Эпизоду перед письмом Александра Поспелову предшествует фраза: «Александр долго считал любить дядю, но никак не мог привыкнуть к его характеру и образу мыслей». Последних двух слов не было до 1862 г. (вариант к с. 211, строка 44). И только в этом издании эпизод прозрения Александра насчет Надиньки заканчивается его горестным восклицанием: «О дядя, дядя! и в этом ты беспощадно прав!» (вариант к с. 288, строки 11—12). А последняя сцена части первой между Александром и Лизаветой Александровной была бы неполна без упоминания о благодарном порыве Александра, выразившемся во вставленном в текст после слов «и поцеловала в лоб» следующим добавлением: «а он прильнул губами к ее руке» (вариант к с. 310, строки 6—7); только после этой вставки становится естественным авторское «резюме»: «Долго говорили они». Органично вписался в монолог Александра по поводу неблагодарности людей текст: «рассыпать бисер — перед кем!» (вариант к с. 322, строки 29—30); столь же уместна и вставка 1862 г. в сцене чтения им своей повести дяде и Лизавете Александровне (увидев, что Петр Иванович порывается уйти, ничего не сказав о повести, и заключив, что с его стороны это «недоброжелательство», Александр завершает свое предположение словами: «Все-таки он умный чиновник, заводчик — и больше ничего, а я поэт» — вариант к с. 338, строки 37—38), а его горестные размышления, наверное, выглядели бы незавершенными без итоговой фразы: «Опыты только понапрасну измяли его, а здоровья не подбавили в жизнь, не очистили воздуха в ней и не дали света» — вариант к с. 390, строки 42—44 (в свою очередь, это дополнение повело к сокращению внутреннего монолога Александра за счет изъятия фрагмента: «Зачем я уезжал (...) и никогда не прозрел бы, никогда бы не упал!» — вариант к с. 392, строка 13).

Характерно, что в правке 1862 г. почти не ощущается новое время: в ней нет признаков бурных 1860-х гг. Исключение составляет, может быть, такая деталь. Оценивающий повесть Александра приятель Петра Ивановича, журналист, видевший «причины зла», т. е. появления так называемых «разочарованных», в «самолюбии», «мечтательности», «преждевременном развитии сердечных склонностей и неподвижности ума», теперь, в 1862 г., знает средства к исправлению этого зла: «Наука, труд, практическое дело — вот что может отрезвить нашу праздную и большую молодежь» (вариант к с. 342, строки 6—7).

Как и в предыдущих переизданиях, в тексте 1862 г. широко проведена стилистическая правка, выразившаяся в замене фраз, отдельных слов, авторских ремарок другими. Даже такая, казалось бы, бросающаяся в глаза замена, как наименование Александра «романтиком» вместо бывшего до 1862 г. определения «энтузиаст» носит чисто стилистический характер, ибо определение это дано ему теми, кто «исподтишка» смеялся «над его юношескою восторженностью» (вариант к с. 231, строки 14—15). Вот еще некоторые примеры такой правки: вместо: «Это озадачило Александра, и он...» — стало: «Озадаченный Александр...» (вариант к с. 201, строка 32); вместо «ты меня очень обяжешь» появилось одно словечко «кстати» (вариант к с. 233, строка 35); слова: «— Ты и это говорил? — спросила Лизавета Александровна» — были заменены авторским замечанием: «Лизавета Александровна молча и глубоко посмотрела на мужа» (вариант к с. 419, строки 4—5).

Наконец, именно в издании 1862 г. было завершено внешнее оформление текста романа: введена нумерация глав одними римскими цифрами (без слова «глава»).

Казалось бы, тщательно переработанный текст 1862 г. должен был теперь удовлетворить писателя. Однако предпринятое им четвертое издание «Обыкновенной истории» вновь оказалось не только тщательно, но во многом даже кардинально переработанным. Такая основательная переработка не могла быть осуществлена за короткое время. Писатель же в этот период был чрезвычайно занят.

По возвращении 1 сентября 1867 г. из отпуска, проведенного за границей, он продолжал активную служебную деятельность¹ и усиленно работал над рукописью романа «Обрыв».² Тем не менее 7 марта 1868 г. переработанная «Обыкновенная история» уже вышла из печати, о чем в тот же день сообщили «С.-Петербургские ведомости» (в № 65) (см.: *Летопись*. С. 167).

Переработка текста романа для издания 1868 г. велась по тем же направлениям, что и раньше. Об этом достаточно убедительно говорят строки из ноябрьского письма Гончарова к К. Ф. Ордину, которому писатель отправляет «прилагаемую старую „историю“ (...) в тех видах, что эта история подновилась и немного поправилась против прежних изданий». Слово «немного» в этой фразе не случайно: значительное число добавлений было уже введено прежде и не отменялось. Что же касается собственно правки для издания 1868 г., то Гончаров прежде всего продолжает сокращать текст. Существенных сокращений немногим более десяти — и сделаны они преимущественно в части первой романа. Так, из наставлений Анны Павловны сыну в главе I снимается «пассаж»: «На мужних жен не зарься (...) великий грех! (...) Они готовы подцепить, как увидят, что с денюжками да хорошенький» (наст. том, с. 555, сноска 1); вероятно, излишними показались Гончарову и слова матери в ответ на уверение Александра в том, что его Бог накажет, если он ее забудет: «Перестань, перестань, Саша! что ты это накликаешь на свою голову! (...) пусть я одна страдаю!» (наст. том, с. 555, сноска 11). Продолжается и дальнейшая переработка тех страниц главы, которые посвящены Антону Иванычу; сокращается, в частности, прежде перерабатывавшийся текст: «Умрет ли такой человек, он долго еще живет в памяти бестолковых (...) живил своим присутствием весь круг, где был центром. Так ветреное дитя плачет о смерти собачонки и не чувствует минуты, когда само становится сиротой» (наст. том, с. 558, сноска 7). Следующие заметные сокращения сделаны в конце главы III той же части первой (из длинных «поучений» Петра Ивановича уходят два отрывка: «Разбери-ка, как любовь создана (...) и не наглядятся?» (вариант к с. 247, строки 23—30) и «тогда и терзаться не станешь (...) покоен человек» (вариант к с. 249, строки 7—10)). Сокращает Гончаров и довольно обширный эпизод из диалога дяди и Александра о «секрете супружеского счастья» («А! вот он, знаменитый секрет (...) а то... того...» — вариант к с. 303—304, строки 36—2).

Остальные сокращения, касающиеся фраз, частей фраз, отдельных слов, авторских ремарок в диалогах, как правило, носят характер стилистической правки.

«Подновился» текст романа в основном за счет более или менее пространственных вставок. Наиболее заметная из них — размышления Петра

¹ Уволился он из Министерства внутренних дел (которому подчинялась цензура) лишь в конце декабря этого же 1867 г. (см.: *Летопись*. С. 167).

² 20 марта 1868 г. М. М. Стасюлевич начинает с ним переговоры о печатании этого романа в «Вестнике Европы» (см.: *Летопись*. С. 169).

Ивановича о своем безотрадном прошлом в главе II части первой: «Он мысленно пробежал историю своего прошлого (...) и устоит ли этот юноша?» (вариант к с. 200, строка 26). Еще одно характерное дополнение связано с введением в читаемые дядей стихи Александра одиннадцати новых строк взамен прежнего «и т. д.». Возможно, эти новые маловыразительные строки понадобились писателю для другого сделанного следом дополнения — довольно резкой оценки стихов Петром Ивановичем: «Много болтовни, а ни образа, ни красок: общие места!» (вариант к с. 225, строка 19), тем более что некоторые из предыдущих стихов были признаны дядей «недурными».

В конце главы I части второй в эпизоде назидательной беседы Петра Ивановича с Александром в присутствии Лизаветы Александровны, удерживающей мужа от слишком резких упреков, появились две весьма значительные вставки. Одна из них следовала за словами «как родная сестра»: «У Лизаветы Александровны билось сердце, когда говорил о ней муж. „Какой вдруг луч вырвался! — думала она, глядя на него горячими глазами, — надолго ли, надолго ли?“» (вариант к с. 330, строка 12). И здесь же, несколькими строками ниже, вводится еще одно дополнение, касающееся Лизаветы Александровны: «Перестань, ради Бога, — говорила она, а про себя не желала, чтоб он перестал. Ей хотелось, чтоб „луч“ погорел подольше. Но Петр Иванович взял тоном ниже и вышел из пафоса. Она тихонько вздохнула» (вариант к с. 330, строка 19).

Несколько вставок, связанных с отношениями Петра Ивановича и Лизаветы Александровны, появились и в Эпиллоге романа (варианты к с. 453—469). Другие, менее пространные добавления возникают в основном в диалогах, монологах и авторских ремарках. Они не так часты (всего 10—15 случаев). К примеру, короткое замечание Петра Ивановича, касающееся его старой любви: «та... а! помню...» — становится более пространным: «та... Боже мой! я думал, что давно и на свете нет никого...» (вариант к с. 196, строка 33); в описании провинциального города к словам «никому не тесно» добавляется: «люди не ютятся, как муравьи, в тесные кучи» (вариант к с. 205, строка 28); слова Петра Ивановича из диалога с Александром о женитьбе в ответ на утверждение племянника, что «прекрасные существа» следует выдавать замуж за молодых сверстников: «Довольно! то есть за таких молодцов, как ты. Если б мы жили...» — распространяются за счет романтического клише «в Аркадии» (вариант к с. 245, строка 31); в упомянутом выше разговоре Петра Ивановича с Александром к характеристике, данной Волочкову Александром: «Ничтожное и еще вдобавок злое животное...», — прибавляются слова: «Козни, интрига — его орудия. Чужое несчастье — ему праздник» (вариант к с. 327, строка 26); упрек дяди, состоящий в том, что «нехорошо» так аттестовать людей, у которых «несколько лет сряду» Александр «находил всегда радушный прием», дополняется сентенцией: «Это злоречие, и притом бесцельное, не вызванное никакой обидой с их стороны» (вариант к с. 328, строки 22—23).

Проводит Гончаров и дальнейшую стилистическую правку, причем довольно часто в ранее правленный текст вводит новые уточнения. Так, продолжается переработка текста, посвященного описанию облика Петра Ивановича (вариант к с. 193—194, строк 40—6); нейтральное описание провинциальных присутственных мест: «близко без надобности никто не подходит» — заменяется на другое, с более яркими деталями: «стоят особняком, заросли лопухом и крапивой, крыльцо обвалилось, карнизы осыпались» (вариант к с. 205, строки 20—21); слова «созерцания явлений духовной природы человека» заменяются одним словом «миросозерцания» (вариант к с. 212, строки 5—6); выражение «живут сердцем»

заменяется на «живут воображением» (вариант к с. 218, строки 22—23); «гримасничать» на «смеяться» (вариант к с. 222, строка 20); «взор» на «взгляд» (вариант к с. 232, строка 3); излюбленное гончаровское словечко «примолвил» на «промолвил» (вариант к с. 252, строка 36); «не просит у него денег» на «таится, сдерживается, не порет дичи, не мотает» (вариант к с. 268, строки 2—3); «всегда носил с собой» на «нарочно недавно прочел и выписал себе» (вариант к с. 323, строка 9); «что он разорвал с ней связь» на «что они разошлись» (вариант к с. 355, строки 11—12).

Вероятное стремление улучшить текст демонстрируют многие примеры правки для издания 1868 г. Рассуждение Александра по поводу замечаний редактора на его повесть до 1868 г. выглядело так: «...эти жалкие лица вседневных мелких трагедий и комедий»; в 1868 г. стало: «эти жалкие лица вседневных мелких комедий» (вариант к с. 268, строка 35). В уста графа Новинского вложено гораздо более тонкое и деликатное замечание по поводу стихов Александра («О стихах Александра он сказал, что не знает их, но поспешил приписать это своей невнимательности»), чем до 1868 г. (было: «О стихах Александра он сказал, что не знает их и не слышал...» — вариант к с. 272, строки 41—42). В сцене, где Александр, обращаясь к Надиньке, сидевшей на лошади, «закричал каким-то диким голосом», слово «каким-то» в 1868 г. оказалось снятым, а Надинька здесь в испуге смотрит на Александра не «открыв немного ротик», а «неподвижными, широко открытыми глазами» (варианты к с. 276, строки 16, 23). В главе V части второй вместо патетического финала: «Где я страдал, / Где я любил, Где сердце я похоронил. ~ и спрятался в глубину кареты» — появилось короткое выразительное «резюме»: «Тут дилижанс круто повернул к заставе, город скрылся у него из глаз, не дослушав его излияний...» (вариант к с. 425, строки 27—34).

Можно отметить в новом издании и значительное количество исправлений явно искаженных переписчиком или наборщиком либо не удавшихся самому автору мест (см. выше список исправлений, с. 674—676).

Следующее издание романа вышло в 1883 г. и набиралось по тексту 1862 г., а не по тексту 1868 г., как естественно было бы думать. При этом в текст романа было внесено немалое количество новых исправлений и изменений, однако почти ни одно из названных выше сокращений, дополнений, замен и уточнений 1868 г. в новое издание не попало. Можно было бы предположить, к примеру, что внутренний монолог Петра Ивановича о своем прошлом (вариант к с. 200, строка 26) разрушал четкое построение всего эпизода, в котором мысль дяди о том, «не будет ли он отвечать перед совестью», влекла за собой следующие за нею строки: «Тут кстаи Адуев вспомнил, как семнадцать лет назад покойный брат и та же Анна Павловна отправляли его самого». Ведь длинная вставка могла показаться автору по прошествии времени явным нарушением «архитектоники» произведения, о которой Гончаров постоянно заботился и о которой писал в статье «Лучше поздно, чем никогда»: «Всего более затрудняла меня архитектоника, сведение всей массы лиц и сцен в стройное целое. (...) Одной архитектоники (...) довольно, чтобы поглотить всю уственную деятельность автора: соображать, обдумывать участие лиц в главной задаче, отношение их друг к другу, постановку и ход событий, роль лиц, с неусыпным контролем и критикою относительно верности или неверности, недостатков, излишества и т. д.». Что же касается размышлений Лизаветы Александровны по поводу неожиданно теплых нот в словах мужа о ней (вариант к с. 330, строка 12), то они явно нарушали

«участие лиц в главной задаче» и были очевидным композиционным «излишеством».

Не попало в текст 1883 г. и появившееся в 1868 г. слово «секундант» вместо «свидетель» (вариант к с. 297, строка 11). Но эта кажущаяся на первый взгляд бесспорной замена оказалась неучтенной отнюдь не случайно. И дело не только в том, что ниже в этом же эпизоде и в 1868 г. было дважды сохранено слово «свидетель»: ведь оба этих слова истари были синонимами (в русле этой традиции, кстати, употребляет их и Пушкин — «Выстрел»). Гончаров скорее всего специально отменил исправление, которое в 1868 г. могло быть следствием некоторой спешки. Но если для названных случаев еще можно подыскать какое-то объяснение, то вызывает недоумение тот факт, что в большинстве своем исправления 1868 г., явно улучшающие, а иногда и прямо исправляющие неблагополучный текст, не попали в новое издание. Закономерно возникает предположение, что писатель или вообще забыл о правке 1868 г., или просто пренебрег ею. К этому времени, т. е. к 1878 г., Гончаров явно не совсем четко помнил последовательность переизданий романа. Характерна в этом плане его переписка с переводчиком П. Г. Ганзеном, выпустившим в 1878 г. перевод «Обыкновенной истории» на датский язык. 21 февраля 1878 г. переводчик сообщил писателю: «Первым плодом моих литературных занятий появился настоящий перевод, сделанный с 4-го издания оригинала,¹ так как я не мог достать ни одного экземпляра позднейших изданий. (...) Если придется приступить к 2-му изданию моего перевода, то было бы весьма желательно сделать в нем поправки с последнего издания оригинала».² В ответном письме от 12 марта этого же года Гончаров писал Ганзену: «Если я найду где-нибудь последнее издание „Обыкн(овенной) истории“, я долгом сочту доставить его Вам...». Писатель как бы не замечает слов Ганзена о том, что перевод сделан «с 4-го издания оригинала», т. е. именно с «последнего» издания 1868 г. Чуть позднее, 24 мая, Гончаров напоминает, что 4-е издание, «...кажется, и есть последнее». Несмотря на это «кажется», все-таки трудно представить себе, чтобы Гончаров совсем «забыл» о последнем издании при подготовке следующего. Более того, готовя текст по изданию 1862 г., он, видимо, имел перед собой текст 1868 г. Об этом говорит то обстоятельство, что в текст 1883 г. (а потом и в текст 1884 и 1887 гг.) вошел целый слой исправлений, впервые проведенных именно в издании 1868 г.; особенность этих исправлений в том, что они являются мелкими уточнениями, которые трудно, если не невозможно, восстановить по памяти. Так, к 1868 г. восходят исправления: «водой» вместо «водицей» (вариант к с. 176, строка 32); «продолжала она» вместо «начала потом опять» (наст. том, с. 554 и 183); «лучше чемодан вдоль» вместо «лучше чемодан вниз» (вариант к с. 189, строка 14); «не видывал» вместо «я не видывал» (вариант к с. 250,

¹ По словам переводчика в следующем за цитируемым письме этот «оригинал» ему «удалось достать» с трудом, и был он «старый, оборванный и зачитанный». Рассказывая о своей попытке раздобыть роман, Ганзен передает ответ «московского книгопродавца Ланге»: «...оно (4-е издание романа. — *Ред.*) давно продано нарасхват (...) и (...) существует такой запрос на старые экземпляры, что их нельзя получить дешевле 5 рублей!!!» (Литературный архив. М.; Л., 1961. Т. 6. С. 56). А цена в 5 рублей, по словам Ганзена, была «втрое дороже номинальной цены» (Там же).

² Там же. С. 46.

строка 4); «потом ребяческая выходка» вместо «то ребяческая выходка» (вариант к с. 253, строки 33—34); «— Согласитесь ли вы быть» вместо «— Согласитесь ли быть» (вариант к с. 297, строка 11); «Нет» вместо «Нет, нет, нет!» (вариант к с. 312, строка 17) и т. п., — а также добавление: «Александр слушал с некоторым нетерпением и взглядывал по временам в окно на дальнюю дорогу» (наст. том, с. 554, сноска 4).

В этом убеждает и другой пример. Так, в реплике Александра из разговора его с Петром Ивановичем об изменившейся Надиньке: «Я ее слишком глубоко презираю, — сказал Александр, тяжело вздохнув» (вариант к с. 304, строка 44) — последние два слова появились именно в 1868 г.; по этому изданию они и были введены в текст 1883 г., который в целом, как уже говорилось, готовился по изданию 1862 г. Что же касается новой правки, то она велась по тем же направлениям, что и ранее, в 1848—1868 гг. Самый большой ее пласт — дальнейшее сокращение текста, начавшееся буквально с первых страниц романа. После слова «толчком» было снято авторское отступление, в котором объяснялось, что Анна Павловна «...была добрая барыня и многое спускала («людям» — т. е. прислуге, дворовым. — *Ред.*); но шуметь, когда спит Шашенька, не угодить ему, не исполнить скоро его желания — беда!» (вариант к с. 172, строка 17). Текст этот оставался в романе, включая издание 1868 г., так же как и естественно продолжавшая его и теперь сокращенная фраза, следовавшая за выговором Аграфене: «Хорошо, что барыне было не до чаю, а то бы дала она ей знать!» (вариант к с. 173, строка 32). Вообще глава I части первой подверглась в 1883 г. самым значительным сокращениям. Был снят отрывок, занимавший целую страницу, входивший во все предыдущие издания и правившийся до 1868 г. включительно. Имеется в виду авторское отступление, содержавшее противопоставление непостоянной любви «красавиц» и материнской любви, которая «век свой одна и та же»; мать «плачет и смеется и шепчет: „Это мой!“». А там затеплит лампадку перед образом Спасителя и молится долго и жарко» (наст. том, с. 550—551 и 179). Снял Гончаров, вернее, сократил до одной короткой фразы: «Ему было двадцать лет», — пространственный текст, начинавшийся этими же словами и содержавший далее авторское рассуждение: «а это — пора волнений, мечтательности, жажды нового и неизвестного. В эту пору осторожные родители не дают детям ни вина, ни кофе, потому что у них-де и без того кипятки в крови. Как же тут усидеть на одном месте? Особенно надо предостеречь себя в этой поре Александра Федорыча» (наст. том, с. 551 и 180). О том, насколько такого рода изменения улучшали текст главы, красноречиво свидетельствует замена следовавшего за словами: «В аттестате его сказано было, что он знает» — тяжеловесного перечня: «двадцать две науки, три искусства и еще два-три предмета — ни науки, ни искусства, а так, бог знает что» — указанием: «с дюжину наук да с полдюжины древних и новых языков» (наст. том, с. 551 и 180). Еще одно значительное сокращение — опять-таки рассуждение о любви, на этот раз о любви мужчины, который «любит и одну женщину и многих женщин вдруг, и почести, и кло-де-вужо...» (наст. том, с. 551—552 и 180),¹ о любви женщины и о

¹ Кло-де-вужо — популярное в России 1820—1830-х гг. дорогое изысканное вино, названное по местности (Clos Vougeot) в Бургонии; оно готовилось из смеси темного и зеленого винограда (было и белое вино этой марки), разливалось только на месте, запечатывалось особой печатью с обозначением года и имело этикетку с подписью владельца фирмы.

любви детей, которые «почти никогда не платят в возврат родителям тою же любовью, а ищут впереди себя другой, не кроткой и мирной, а с волнениями, страданиями и слезами» (наст. том, с. 552 и 180). Наконец, была продолжена правка текста, связанного с Антоном Иванычем. Первая часть этого вновь правленного текста, относящаяся ко «многим еще у нас на Руси», для которых «написать несколько строк» настоящая мука: «Вот (...) поди отыскивай чернилицу! (...) еще и бумаги не найдешь в доме, а главное — сиди часа три и выдумывай слова. Бог знает, как и ставить их: иное можно поставить рядом и с тем и этим, а где именно нужно, бог весть! (...) а чуть обмакнул перо в чернила — и не то, и нейдет! или все слова вдруг суются, не знаешь, которое первое написать, — или ни одно нейдет, да и написать надо гораздо мудренее, нежели говоришь, а вот тут-то и надо выдумывать слова!» (наст. том, с. 556—557 и 186), — очень напоминает сцену мучений Ильи Ильича Обломова над письмом к старосте. Ниже снимаются также две длинноты из «речей» Антона Иваныча: первая следовала за словами «нахватает там чинов!» (наст. том, с. 560 и 188), вторая — рассказ Антона Иваныча о вредном сынке Никанора Михеича (наст. том, с. 560 и 188). Снял Гончаров и появившееся в 1868 г. дополнение, в котором было пространно выражено отношение Костякова к намерению Александра послушать приезжего музыканта: «Так уж лучше в Палкин трактир¹ пойти: там один орган десять тысяч стоит. Вы едите, пьете, а он впридачу — вам там и гудит!» (вариант к с. 411, строки 6—7).

К некоторым сокращениям автора побудили перемены в жизни общества: ведь со времени публикации романа в «Современнике» прошло тридцать пять лет. За эти годы, например, не раз изменилась мода, в частности давно перестали носить манишки, — и Гончаров в сцене укладывания чемодана снимает слова Анны Павловны: «Теперь манишки. Посмотри, как вымыты и выглажены. Ну где им там выгладить так?» (наст. том, с. 553 и 181). Но чаще всего сокращения были связаны со стилистической правкой. К примеру, в долгом монологе Анны Павловны при упоминании о неловкости тетки Александра, севшей на тарелку с вареньем, после слов «такого сраму наделала!» снято следующее замечание: «а еще ученая: всё книжки читает» (наст. том, с. 553 и 181); лишними, вероятно, показались Гончарову и сопровождавшие фразу: «...от людей зверского вида удаляйся» — слова: «Есть такие злодеи, что ничего нет святого для них: они и эдакой драгоценности не пожалеют» (наст. том, с. 554 и 183), так же как и слова, уточняющие маменькино обещание беречь деньги Александра (после: «две тысячи пятьсот рублей в год» — было: «Буду беречь твое добро пуше глазу, а там, как воротиться, женишься — сам как хочешь и распоряжайся» — наст. том, с. 554 и 183). Снимается и пространная сентенция Анны Павловны по поводу книг: «Книг много не покупай — зачем? (...) не всё же учиться, когда-нибудь надо и бросить. (...) Ты не учитель какой-нибудь! Я без тебя книги-то велю в чулан спрятать» (наст. том, с. 554 и 183). Возможно, это сокращение также было сделано под влиянием времени: ведь даже в Обломовке поняли пользу ученья.

Справедливо утверждение Е. А. Краснощековой о том, что при переработке романа в 1883 г. «Гончаров смотрел на него с высоты опыта уже трех реалистических романов, поэтому он вычеркивал те „куски“, в

¹ В Петербурге в это время было два ресторана с этим названием: «Старый Палкин» — на Невском пр., напротив Публичной библиотеки, и «Новый Палкин» — на углу Невского пр. и Литейной ул.

которых ему изменяло чувство меры: реплики Александра Адуева, слишком уж „в лоб“ обнаруживающие его наивный романтизм, обличительные заявления Петра Адуева, в которых откровенно утрируется облик его оппонента» (1977. С. 511). Именно этим «чувством меры» вызваны, очевидно, и отдельные перемены, которым подверглось в 1883 г. описание внешности Петра Ивановича: в главе II части первой претерпел значительное изменение его портрет. Из 23 строк текста «Современника», сохранившихся до 1868 г., осталось лишь 8. Ушли упоминания Аполлона Бельведерского и сравнение с центавром. Вместо детального портрета: «Черты лица его были крупны и правильны, но в них не выразалось ни добродушия, ни злости, ни великого ума и еще менее глупости, а какое-то холодное спокойствие, которое, впрочем, не пугало и не отталкивало никого...» (вариант к с. 193—194, строки 40—6) — появилась лаконичная, но очень емкая характеристика: «В лице замечалась — также сдержанность, то есть умение владеть собою, не давать лицу быть зеркалом души. Он был того мнения, что это неудобно — и для себя и для других» (наст. том, с. 194).

Замены проводились по всему тексту и касались как целых эпизодов и фраз, так и отдельных слов. Так, в начале главы I части первой перестраивается диалог Александра с маменькой: теперь обещанный завтрак отодвигается настолько, что Александр не выдерживает и дважды прерывает монолог матери напоминанием о еде (вариант к с. 176, строка 37); вновь изменяется, по сравнению с исправленным в 1868 г., восклицание Александра, делаясь короче и выразительнее (вместо «Забить вас, маменька: какой вопрос! — Он горячо поцеловал руку матери. Лицо у ней просияло» стало: «Забить вас! маменька! как могли вы подумать! Пусть Бог накажет меня...» — наст. том, с. 555, сноска 8).

Многие замены носят характер чисто стилистической правки, которая имела своей целью дальнейшую шлифовку текста (вместо «как-то ласковее» — «кажется, ласковее» (наст. том, с. 551 и 179); вместо «в зрелой поре» — «на склоне жизни» (наст. том, с. 551 и 179); вместо «у другого какого-нибудь» — «у какого-нибудь» (наст. том, с. 555 и 184)). Подчас эта «шлифовка», внешне как будто бы незначительная, придает тексту действительно «окончательный» характер. Стоит только проследить, как например по-разному звучит характеристика Сонички в устах Анны Павловны: сначала «Деревенская девка!»¹ (С, 1848, 1858, 1862), затем «Деревенская девочка!» (1868) и, наконец, в 1883 г. «Деревенская девушка!» (наст. том, с. 555, сноска 5, и с. 184) — или рассмотреть следующие замены: вместо «и образование груди» — «и пышность груди» (наст. том, с. 559 и 187); вместо «ручьём текущие слезы» — «капавшие слезы» (вариант к с. 191, строка 44); вместо устаревшей формы «прозябение», прошедшей по всем предыдущим изданиям, — «прозябание» (вариант к с. 214, строка 32); вместо «фигюрировать» — «фигурировать» (вариант к с. 240, строка 2); вместо «к ресторатёру» (С, 1848, 1858) и «к ресторатеру» (1868) — «к ресторатору» (вариант к с. 251, строка 38); вместо «из-за облак» — «из-за облаков» (вариант к с. 253, строка 21); вместо «по-латыне» — «по-латыни» (вариант к с. 336, строка 11); вместо

¹ Слово «девка», еще в XVIII—начале XIX в. звучавшее нейтрально (девкой именовали незамужнюю девушку, в том числе и из знатной семьи; Сумароков, к примеру, мечтал об идеальном царстве, где «учатся в школах и девки» — «Хор ко превратному свету», 1762—1763), в устах Анны Павловны приобретает иной оттенок — грубости, пренебрежения: ведь Соничка из бедной, хотя и дворянской, семьи.

«замужство» — «замужество» (вариант к с. 366, строка 30) и т. д. Гончарова долго не удовлетворяла фраза-воспоминание Александра о счастливых днях в его скромной комнате, в которой «жили с ним тогда мечты», а «будущее было одето туманом, но не тяжелым, удушливым туманом, предвещающим ненастье» (таким был этот текст до 1858 г. включительно). В 1862 г. (и в 1868 г.) фраза уже выглядит иначе: «будущее было одето туманом, предвещающим не ненастье...». В 1883 г. Гончаров выбирает иной, «средний» вариант: «будущее было одето туманом, но не тяжелым, предвещающим ненастье» (вариант к с. 389, строки 11—12).

Появились в тексте 1883 г. различного рода дополнения, правда в меньшем количестве, чем раньше. Рассерженная Аграфена при упоминании ненавистного Евсею Прошки восклицает: «Подле него и сидеть-то тошно — свинья свиньей!» (вариант к с. 175, строки 13—14); монолог Анны Павловны прерывается словами Александра: «Какая „чужая“ сторона, Петербург: что вы, маменька!», затем следует ее ответ: «Погоди, погоди — выслушай, что я хочу сказать!» (наст. том, с. 553 и 182), появляются также две новые авторские ремарки: «Она вздохнула» (там же), «и опять вздохнула» (там же); в портрете Петра Ивановича, подвергшемся сокращению (см. об этом выше, с. 688 и 693), отмечаются дополнительные штрихи, вроде: «Иногда лишь видны были на нем (лице. — *Ред.*) следы усталости, — должно быть, от усиленных занятий» (вариант к с. 194, строки 8—9). В текст 1883 г. было внесено и еще одно, на первый взгляд малозаметное, уточнение. Гончаров внимательно отнесся к указанию о числе лет, проведенных Александром в Петербурге до его возвращения в Грачи. В трех первых изданиях романа (*С, 1848, 1858*) было: «Так! я здесь десять лет»; в 1862 г. фраза упрощается: «Я здесь десять лет»; в таком виде переходит она и в текст 1868 г., а в 1883 г. число лет изменяется: «Я здесь восемь лет» (вариант к с. 425, строка 22). Гончаров, очевидно, исходил из того, что в главе I части первой герою 20 лет, в Грачи он приезжает 28 лет, проводит так «года полтора», уезжает обратно в Петербург в возрасте 30 лет, а в Эпилоге, в котором действие происходит через четыре года, ему идет 35 год.

Все сказанное позволяет считать, что правка текста для издания 1883 г. была не меньшей по объему и не менее значимой в смысловом отношении, чем в предыдущих изданиях. Кроме того, текст 1868 г., подготовленный столь тщательно, не может считаться окончательным текстом, т. е. текстом, в котором с наибольшей полнотой проявилась последняя авторская воля. Таким является лишь текст 1883 г., который в дальнейшем по сути более не перерабатывался: издание 1884 г. набиралось по нему без каких-либо изменений; для издания 1887 г. в нем были сделаны в основном лишь отдельные изменения и исправления, подчас малозаметные («обнаружился» вместо «обнаружился» — о характере Аграфены (вариант к с. 173, строка 39); «в самых ли бумагах» вместо «в самих ли бумагах» (вариант к с. 227, строки 16—17); «безрасчетным дураком» вместо «безрасчетным, дураком», как было во всех изданиях, вплоть до 1883 г. (вариант к с. 233, строка 8); «каска, наряды» вместо «белые султаны, парады» (*С, 1848, 1858*) и «каска, парады» (*1862, 1868, 1883*) (вариант к с. 245, строка 6); «по-давнишнему» вместо «по-давнишнему» (вариант к с. 264, строка 20); «индейцев» вместо «ошибочного „индийцев»» (вариант к с. 269, строка 6); «вовлекает» вместо «увлекает» (вариант к с. 332, строка 23); «можно ожидать» вместо «можно было ожидать» (вариант к с. 343, строка 1); «из „Горе от ума»» вместо «из „Горя от ума»» (вариант к с. 352, строка 24); «monsieur Рене» вместо «monsieur Ренье» (вариант к с. 353, строка 8); «миновали» вместо «миновались» (вариант к с. 414, строка 19 и т. п.). Единственное более

крупное вмешательство в текст — это сокращение фразы: «Ветер врывался в камин и завывал унылую песню» (вариант к с. 372, строка 42), присутствовавшей во всех изданиях. Но в этом случае нельзя исключить и простого выпадения фразы на стадии набора текста 1887 г., так же как нельзя исключать того, что приведенные выше мелкие исправления могли быть сделаны и не Гончаровым (во всяком случае, часть из них), а лишь по согласованию с ним или даже без согласования (в настоящее время неизвестно, кто держал корректуры собрания сочинений).

Разумеется, в текст, включавшийся в оба собрания сочинений (как и во все предыдущие), проникали разного рода погрешности, опечатки, не замеченные Гончаровым.¹ Многие из них, обнаруженные и устраненные в процессе авторской работы над отдельными изданиями романа, вновь оказывались в очередном издании вследствие нарушения Гончаровым последовательно хронологического подхода к каждому из следующих изданий, т. е. возвращения его не к непосредственно предшествующей, но к одной из ранних книг (например, в случае с изданием 1883 г., набранным по изданию 1862 г.). Эти погрешности, выявленные в результате изучения и сравнения между собой текстов всех прижизненных изданий, отражены в списке исправлений (см. выше, с. 674—676), внесенных в текст 1887 г., который избран в настоящем издании в качестве основного. Список насчитывает 64 исправления (не считая устранения явных опечаток). Две из них связаны с характерным для романиста разнообразием в именах и отчествах персонажей:² мать Софьи Гончаров лишь в первый раз называет «Васильевной», в дальнейшем же тексте везде «Карповной»; сама Софья в начале романа именуется по отчеству «Васильевной», а в конце «Михайловной». Первое отчество Софьи предпочтительнее, поскольку не случаен тот факт, что Гончаров по всему дальнейшему тексту именуется мать, в отличие от дочери, «Карповной».³

19 важнейших исправлений вносится в текст по изданию 1868 г.; 18 — по всем изданиям, включая издание 1883 г.; 10 — по всем изданиям до 1868 г. и одно исправление — по изданиям 1848 и 1858 гг. Некоторые из этих исправлений нуждаются в обоснованиях, особенно в тех случаях, когда текст или распростирается, или заменяется другим. Одно из таких исправлений касается фразы из письма к купцу Дубасову, которое диктует Петр Иванович Александру (после слов «о скорейшей высылке остальных денег» (список исправлений, с. 235, строка 35) в тексте 1868 г. следовало: «за посуду»; эти слова восстанавливаются, потому что возвращают читателя к упоминавшемуся ранее стеклянному заводу дяди, без чего диктуемое письмо представляется совершенно непонятным и случайным). Другое, казалось бы, незначительное исправление, — замена обращения «Посмотри» на «Посмотрите» (список исправлений, с. 263, строка 21) (тоже по тексту 1868 г.): ведь Александр обращается к Наденьке исключительно на «вы».⁴ И третье исправление — добавление

¹ Они, в неменьшем количестве, присутствуют и в издании 1868 г., в которое, в частности, проникла из издания 1862 г. опечатка в тексте Эпилога, где описывается, как Петр Иванович тоскливо «отмеривает два-три конца от одного конца (вместо «угла») до другого».

² Отмечено еще А. Г. Цейтлинным (см.: 1952. С. 270).

³ Сбои в именах и отчествах характерны и по отношению к другим персонажам гончаровских произведений (см. об этом: *Гейро Л. С.* История создания и публикации романа «Обломов». С. 600—603).

⁴ Аналогичный пример относится к беседе Анны Павловны с Антоном Ивановичем: последний, передавая Анне Павловне свой разговор с

к фразе: «ты бы лучше мать полюбил» — продолжения из текста 1868 г.: «с бородавкой-то: та надежнее» (список исправлений, с. 305, строки 35—36). Без этого уточнения можно было принять слова дяди за совет племяннику «полюбить» собственную мать, а не мать Надиньки.

Одно из самых заметных исправлений касается авторского текста, связанного с рассуждением о «сердце» Юлии Тафаевой. Фраза: «...но беда была в том, что сердце у ней было развито донельзя, обработано романами и приготовлено не то что для первой, но для той романтической любви, которая существует в некоторых романах» — обратила на себя внимание писателя уже при подготовке текста 1848 г.: вместо слова «романтической» появляется характерное для эпохи 1830—1840-х гг. слово «романической», напрямую связанное со словом «романы».¹ Готова текст 1868 г., Гончаров, очевидно неудовлетворенный дважды употребленными в этой фразе словами «романами», «романах» да еще и «романической» (а кроме того, еще и соседствовавшими «была» и «было»), переписывает всю фразу наново, избегая необходимости выбирать между «романической» и «романтической» любовью и характеризуя сердце Юлии, которое было «обработано» романами, несомненно более удачным образом: «воображение, а за ним и сердце у ней были развиты донельзя, *вскармлиены* романами» (список исправлений, с. 360, строки 39—42; курсив наш. — *Ред.*), тем более что слово «обработать» присутствовало абзацем ниже, где оно действительно было необходимо, так как речь шла о сердце, «обработанном» триумvirатом педагогов (наст. том, с. 361).

Еще одна замена была сделана в тексте, в котором описывается круг чтения Юлии, рекомендованный ей учителем-французом. До 1868 г. фраза: «Какими героями казались ей герои Жанена, Бальзака, Друино» — читалась: «Какими героями казались ей Жанены, Бальзаки, Друино — и целая вереница великих мужей!» — список исправлений, с. 363, строки 10—13; при чем здесь «герои» и что за «вереница великих мужей», оставалось читателю непонятным. Правда, следующая за этой фразой строка: «Что перед их дивными изображениями жалкая сказка о Вулкане?» — поясняет: речь идет не о самих Жанене, Бальзаке и Друино. Но тогда все-таки остается неясным выражение «и целая вереница великих мужей». Столь же непонятной была дальнейшая фраза: «Венера перед этими новыми героинями просто невинность!» (О «новых героинях» выше не было сказано ни слова). И Гончаров вносит следующее исправление: «И сама Венера перед новыми героинями, — просто жалкая невинность!» (Там же).

Единственное исправление, сделанное по изданиям 1848 и 1858, объясняется просто: Александра Адуева, человека штатского, за дуэль нельзя было отдать в солдаты. И до 1862 г. (во всех изданиях, кроме «Современника») этот текст читался так: «...да! в солдаты: положим, что в солдаты и не отдадут, да ведь после этой истории...». В 1862 г. фраза

Евсеем о похудевшем в Петербурге Александре, добавляет: «Дело-то всё выходит оттого, что пища там была, слышишь, плоха». Исправление (по тексту 1868 г.) «слышишь» на «слышь» (список исправлений, с. 440, строка 23) позволяет не только избежать невозможного со стороны Антона Иваныча обращения к Анне Павловне на «ты», но и восстановить чисто русский оборот речи.

¹ Эти две формы, очень часто употреблявшиеся Пушкиным, никогда им не смешивались (см.: *Словарь языка Пушкина*. М., 1959. Т. III. О-Р. С. 1042—1043 и 1044).

стала выглядеть иначе: «...да! в солдаты; кроме того, после этой истории...» (вариант к с. 299, строки 35—36) — и в таком виде она перешла во все последующие издания. Вероятнее всего, из-за довольно близкого соседства двух случаев употребления слова «солдаты» произошла ошибка набора (выпали слова: «ну хоть в солдаты и не отдадут»). Неловкость во фразе была «сглажена» добавлением слов «кроме того». В данном случае восстановление более раннего текста необходимо.

Все приведенные исправления вновь возвращают к вопросу о том, почему текст 1868 г. не был положен Гончаровым в основу при подготовке собрания сочинений. Как было показано выше, Гончаров не забывал о правке, сделанной им ранее. Вероятнее было бы предположить, что писатель предпочитал видеть в своем первом романе творение именно 1840-х гг., начального этапа своего творчества. Не случайно позднее в статье «Лучше поздно, чем никогда» он утверждал, что в его трех романах следовало видеть, «как в капле воды, периоды русской жизни». А о периоде, отразившемся в «Обыкновенной истории», Гончаров писал так: «Крепостное право, телесное наказание, гнет начальства, дикость нравов в массе — вот что стояло на очереди в борьбе и на что были устремлены главные силы русской интеллигенции тридцатых и сороковых годов. Нужно было с критической трибуны, с профессорской кафедры, в кругу любителей науки и литературы, под лад художественной критики взывать к первым вопиющим принципам человечности, напоминать о правах личности, собственности и т. п.» («Предисловие к роману „Обрыв“»). Вот почему отдельные «реалии», внесенные Гончаровым в текст 1868 г., были отброшены позднее. Так, до 1868 г. Петр Иванович говорит о своих фабричных: «если задурят, так посечешь», в 1868 г.: «если задурят, так посадишь в часть», а в 1883 г. Гончаров восстанавливает первый вариант (вариант к с. 425, строка 2).¹ В 1868 г. «крестьянин» заменяется на «мужика», а «крестьянки» на «бабы» (см. вариант к с. 396, строка 29, вариант к с. 427, строка 16); в 1883 г. эта правка уже не принимается во внимание.

В свое время А. Г. Цейтлин справедливо оценил правку 1868 г. как «значительную», в результате которой были устранены «излишние бытовые и психологические подробности» (1952. С. 270). Не ставя под сомнение авторитетность издания 1868 г., все-таки нельзя считать этот текст основным. Всегда будет оставаться неразрешимым вопрос о том, как в тексте более раннем отразить позднейшую серьезную правку? Да и сам факт правки 1883 г. не есть ли уже акт творческой воли писателя, отменившего тем самым более ранний текст? Можно было бы, правда, поместить в академическом издании оба текста: в качестве основного — текст последнего авторизованного издания, а в качестве другой редакции — текст 1868 г. Но в таком случае приходилось бы думать о подобном решении и в отношении романа «Обломов», и, возможно, в отношении книги «Фрегат „Паллада“» издания 1858 г. (см. выше, с. 18).

Закономерен вопрос: представлял ли текст «Обыкновенной истории» 1868 г. издания другую редакцию? По-видимому, нет: правка 1868 г.,

¹ Следует отметить, что писатель с первого издания до последнего не меняет форму «посечь» в письме Анны Павловны к Петру Ивановичу (в главе I части первой): «Присмотрите и за Евсеём: он смиренный и непьющий, да, пожалуй, там, в столице, избалуется, — тогда можно и посечь» (наст. том, с. 199). Не исключено, что это сделано сознательно: вряд ли Анна Павловна в своих Грачах, постоянно окруженная дворней, могла менять представление о способах наказания своих подданных.

подобно правке во всех пяти переизданиях (не считая журнальной публикации и текстов Собрания сочинений), не касалась ни композиции романа в целом, ни построения отдельных глав и не меняла сущности ни одного из основных персонажей произведения.¹ Гончаров относился очень бережно к главным линиям и героям романа,² невзирая ни на какие упреки и пожелания критики, и был совершенно непоколебим во всем, что касалось «мира» его «творческих типов» («Лучше поздно, чем никогда»).

2

Вопрос о литературном генезисе «Обыкновенной истории» исключительно сложен. Прежде всего он тесно связан с автобиографическим пластом романа.³ При этом в романе своеобразно преломились не только

¹ Признаки другой редакции по отношению к «Обыкновенной истории» можно обнаружить лишь в отдельных переработанных для разных изданий частях текста (например, во всей главе I части первой романа в журнальном тексте; в портрете Петра Ивановича в главе II той же части в этом же тексте; в отдельных эпизодах текста 1868 г.). Слова «трехкратное редактирование», употребленные Е. А. Краснощековой (см.: 1977. С. 511), связаны с ее убеждением в существовании трех редакций романа: журнальной, 1868 и 1883 гг.; на самом деле речь может идти лишь о последовательном обращении писателя к тексту романа, а не о редакциях как текстологическом понятии.

² Эта бережность распространяется и на имена его героинь: несмотря на изменившуюся во второй половине XIX в. систему правописания, он с 1848-го до 1887 г. именует героиню первого петербургского романа Адуева Надинькой, а его деревенскую любовь — Соничкой (при этом уменьшительное имя самого Александра в романе — Сашенька). Как известно, существовал обычай называть русских барышень на французский манер: Надин, Катишь, Долли, — возможно, с этими французскими вариантами и связано употребление уменьшительных русских женских имен с суффиксом *-иньк*. Гончаров сохраняет верность этой давней русской орфографической традиции (ср. также название неосуществленного замысла Пушкина — «Надинька»).

³ Об автобиографическом подтексте многих эпизодов жизненного пути Адуева-младшего Гончаров писал в статье «Лучше поздно, чем никогда». Первые впечатления этого героя от Петербурга и чиновничьей службы в «родстве» с петербургскими страницами жизни Гончарова. Автобиографичны и «провинциальные» главы романа, — так, поездка Адуева в деревню явно перекликается с приездом писателя на родину после окончания университетского курса. Называть «Обыкновенную историю» «художественным мемуаром», «художественной автобиографией», как это делает Е. А. Ляцкий, будет сильным преувеличением (Ляцкий. С. 174, 184). Но автобиографические мотивы в романе, особым образом структурированные, типизированные, заново переосмысленные, несомненные: для Гончарова «ранние увлечения и разочарования, вместе с юношеским романтизмом, отошли в область невозвратного прошлого», и потому ему «нетрудно было взять верный тон человека, который рассказывает об увлечениях и заблуждениях своей собственной молодости, набрасывая на рассказ легкую дымку иронии. Но под этой дымкой еще теплилась любовь к тому, чем украшалась молодость, чем она жила, во что верила, и легкая грусть кое-где сквозила между строк,

ранние литературные опыты Гончарова (начиная с самых первых и, разумеется, робких проб пера) — переводы, стихи, подражательная романтическая проза, чувствительные послания и т. д. (и, видимо, опыты друзей писателя в кружке Майковых тоже), но и его ретроспективные размышления-воспоминания. Органично вошли в «Обыкновенную историю» многочисленные реалии общественно-культурной жизни России 1820—1840-х гг. Все это дает добротный, яркий материал для изучения литературных и других источников романа.

Литературная родословная романа раскрывается изнутри — и ее основные слагаемые были определены и тонко истолкованы уже современниками писателя — А. А. Григорьевым, В. Г. Белинским, А. В. Дружининым и другими, особенно выделившими пушкинское и гоголевское начала в романе (в меньшей степени — лермонтовское). Гончаров в своих поздних статьях не только согласился с мнениями критиков на этот счет, но и подробнейшим образом охарактеризовал главные литературные истоки своего творчества начиная с «Обыкновенной истории». Он писал в статье «Лучше поздно, чем никогда»: «...от Пушкина и Гоголя в русской литературе теперь еще пока никуда не уйдешь. Школа пушкинско-гоголевская продолжается доселе, и все мы, беллетристы, только разрабатываем завещанный ими материал. (...) Пушкин (...) был наш учитель — и я воспитался, так сказать, его поэзией. Гоголь на меня повлиял гораздо позже и меньше: я уже писал сам, когда Гоголь еще не закончил своего поприща».

Отношение к Лермонтову у Гончарова не менее благоговейное, чем к Пушкину: «И у Пушкина, и у Лермонтова веет один родственный дух, слышится один общий строй лиры, иногда являются будто одни образы, — у Лермонтова, может быть, более мощные и глубокие, но зато менее совершенные и блестящие по форме, чем у Пушкина. Вся разница в моменте времени. Лермонтов ушел дальше времени, вступил в новый период развития мысли, нового движения европейской и русской жизни и опередил Пушкина глубиной мысли, смелостью и новизной идей и полета». Гончаров, естественно, и себя считал принадлежащим к этому «новому периоду» (печататься Гончаров стал поздно, родился же он двумя годами ранее Лермонтова, по возрасту — его сверстника, по литературе — предшественника). К этому периоду принадлежал и Гоголь, не только литературный предшественник Гончарова, но и старший современник, очень авторитетный и весьма своенравный и высокомерный.¹

проникнутых, на первый взгляд, неподдельным юмором» (Там же. С. 177—178). Г. Димент, полемизируя как с широко распространенными представлениями о Гончарове — рациональном эзике, максимального объективном художнике, так и с точкой зрения А. Мазона — Е. Ляцкого, акцентировавших внимание на субъективно-автобиографической стороне дела (см.: *Diment G. The Two Faces of Ivan Gončarov: Autobiography and Duality in Obyknovennaja istorija // Slavic and East European Journal. Fall 1988. Vol. 32. N 3. P. 353—373*), обоснованно пишет о специфической автобиографичности первого романа писателя, о «расщеплении автобиографического я на две половины» (Р. 360).

¹ Н. А. Некрасов рассказывал А. С. Суворину, что Гончаров был огорчен отзывом мэтра о его романе во время встречи Гоголя с молодыми писателями ранней осенью 1848 г.: «Раз он изъявил желание нас видеть. Я, Белинский, Панаев и Гончаров надели фраки и поехали представиться, как к начальству. Гоголь и принял нас, как начальник принимает чиновников: у каждого что-нибудь спросил и каждому что-нибудь сказал.

Собственно, современником был и Пушкин, но современником, стоявшим в отдалении: это был бог, кумир, недосягаемый образец, «гений (...) слава и гордость России» («Воспоминания»). О мощном и благотворном влиянии Пушкина, испытанном им в отрочестве и юности, Гончаров писал неоднократно, в том числе в «Воспоминаниях», рассказывая о посещении Пушкиным Московского университета 27 сентября 1832 г.: «Когда он вошел с Уваровым, для меня точно солнце озарило всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его поэзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил меня в дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его созданий («Евгения Онегина», «Полтавы» и др.). Его гению я и все тогдашние юноши, увлекавшиеся поэзией, обязаны непосредственным влиянием на наше эстетическое образование. (...) Не умею выразить, как велико было наше наслаждение — видеть и слышать нашего кумира». А. Ф. Кони он сообщил в 1880 г.: «Пушкина я увидел впервые (...) в Москве, в церкви Никитского монастыря. Я только что начинал вчитываться в него и смотрел на него более с любопытством, чем с другим чувством. Через несколько лет, живя в Петербурге, я встретил его у Смирдина, книгопродавца. Он говорил с ним серьезно, не улыбаясь, с деловым видом. Лицо его — матовое, суженное к низу, с русыми бакенами и обильными кудрями волос — врезалось в мою память и доказало мне впоследствии, как верно изобразил его Кипренский на известном портрете. Пушкин был в это время для молодежи всё: все ее упования, сокровенные чувства, чистейшие побуждения, все гармонические струны души, вся поэзия мыслей и ощущений — всё сводилось к нему, всё исходило от него... Я помню известие о его кончине. Я был маленьким чиновником-„переводчиком“ при Министерстве финансов. Работы было немного, и я для себя, без всяких целей, писал, сочинял, переводил, изучал поэтов и эстетиков. Особенно меня интересовал Винкельман. Но надо всем господствовал он. И в моей скромной чиновничьей комнате, на полочке, на первом месте стояли его сочинения, где всё было изучено, где всякая строчка была прочувствована, продумана... И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет... Это было в департаменте. Я вышел в коридор и горько-горько, не владея собой, обернувшись к стенке и закрывая лицо руками, заплакал... Тоска ножом резала сердце и слезы лились в то время, когда всё еще не хотелось верить, что его уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно колени, лежал бездыханен. И я плакал горько и неутешно, как плачут по

Я читал ему стихи „К родине“. Выслушал и спросил „Что же вы дальше будете писать?“ — „Что Бог на душу положит“. — „Гм“, — и больше ничего. Гончаров, помню, обиделся его отзывом об „Обыкновенной истории“» (*Суворин А. С. Неделльные очерки и картинки // ЛН. Т. 49—50. С. 204*). Признавая, что русская литература вслед за Гоголем избрала отрицательно-сатирическую дорогу, Гончаров сам склонялся к более уравновешенному, гармоничному («фламандскому») стилю. Он вопрошал в статье «Предисловие к роману „Обрыв“»: «Русская беллетристика со времени Гоголя всё еще следует по пути отрицания в своих приемах изображения жизни — и неизвестно, когда сойдет с него, сойдет ли когда-нибудь и нужно ли сходить?». Гоголевское начало очевидно в первом романе Гончарова (да и в последующих), но не стоит сводить его к социально-сатирической проблематике и детерминизму среды, как это, к примеру, делает В. И. Кулешов (см.: *Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе. М., 1965. С. 131*).

получении известия о смерти любимой женщины... Нет, это неверно — о смерти матери. Да! Матери!.. Через три дня появился портрет Пушкина с надписью: „Погас огонь на алтаре“, но цензура и полиция поспешили его запретить и уничтожить...» (*Гончаров в воспоминаниях*. С. 255—256).¹ О поклонении Пушкину Гончаров писал в Автобиографии 1858 г.: «Живее и глубже всех поэтов поражен и увлечен был Гончаров поэзией Пушкина в самую свежую и блистательную пору силы и развития великого поэта и в поклонении своем остался верен ему навсегда, несмотря на позднейшее тесное знакомство с корифеями французской, немецкой и английской литературы». В любви к Пушкину он неоднократно признавался и в письмах Е. А. и М. А. Языковым, К. К. Романову и другим. В послании к Л. А. Полонскому от 20 мая 1880 г. (оно предназначалось для публикации в прессе) он вспоминал, что узнал Пушкина «с „Онегина“, который выходил тогда периодически, отдельными главами. Боже мой! Какой свет, какая волшебная даль открылись вдруг и какие правды — и поэзии, и вообще жизни, притом современной, понятной, — хлынули из этого источника, и с каким блеском, в каких звуках! Какая школа изящества, вкуса для впечатлительной натуры!». В том же письме Гончаров сожалеет, что из-за болезни не может участвовать в Пушкинском празднике и «вместе с другими писателями поклониться памяти нашего общего великого образца и учителя в искусстве и моего особенно».

В «Обыкновенной истории» — в гораздо большей степени, чем в последующих романах, — отразилось восторженное отношение молодого Гончарова к Пушкину: характерно, что в знании (и понимании) Пушкина соревнуются оба Адуева.² Понятно, что непосредственное, эмоциональное отношение к Пушкину Александра Адуева, восхищающегося образами его поэзии и подражающего его романтическим героям. По приезде в Петербург Адуев-младший совершает своеобразную прогулку по пушкинским местам: «Он с час простоял перед *Медным всадником*, но не с горьким упреком в душе, как бедный *Евгений*, а с восторженной думой. Взглянул на Неву, окружающие ее здания — и глаза его засверкали (...) новая жизнь отверзала ему объятия и манила к чему-то неизвестному. Сердце его сильно билось. Он мечтал о

¹ К рассказу Гончарова Кони прибавил: «У Ивана Александровича сохранился, однако, такой портрет, злонамеренная подпись на котором скрыта старинной рамкой. Он подарил мне его, сделав на обороте надпись, а я пожертвовал этот портрет Пушкинскому лицейскому музею» (Там же).

² Равным образом дядя и племянник обмениваются цитатами и репликами из басен Крылова и комедии Грибоедова «Горе от ума», — произведений, сыгравших важную роль не только для «Обыкновенной истории», но и для всего творчества Гончарова. Не только шедевр Грибоедова, но и другие популярные в начале XIX в. русские комедии и водевили составляют литературно-театральный фон романа. С. М. Шаврыгин в статье «Традиции русской комедии первой половины 19 века в „Обыкновенной истории“» И. А. Гончарова: (И. А. Гончаров и А. А. Шаховской)» справедливо пишет о «театральности» «Обыкновенной истории» (см.: *Гончаров. Материалы*. С. 196—204). С. А. Фомичев в статье «Литературная судьба Грибоедова» предполагает знакомство Гончарова с комедией-водевилем П. А. Каратыгина «Горе без ума», поставленной впервые на сцене в 1831 г. (*Грибоедов* А. С. Соч. М., 1988. С. 17).

благородном труде, о высоких стремлениях и преважно выступал по Невскому проспекту, считая себя гражданином нового мира...» (наст. том, с. 206). Знаменательны честолюбивые порывы Адуева, вдохновленные размышлениями перед Медным всадником. Сложным образом сопрягает Гончаров свою «обыкновенную историю» с символично-трагическим сюжетом пушкинской петербургской повести.

Более всего ощущается в «Обыкновенной истории» влияние романа «Евгений Онегин»,¹ что естественно: «весь русский роман XIX века корнями уходит в „Онегина“ и так или иначе интерпретирует его содержание».² Охотно признавал ориентацию во всех своих трех романах на «Евгения Онегина» и — в меньшей степени — на «Героя нашего времени» Лермонтова — сам Гончаров. Конечно, то была свободная ориентация, подразумевающая не только дублирование и варьирование сюжетных и характерологических линий этих романов, отчасти даже невольное пародирование, обусловленное особенностями нового периода русской жизни, но и весьма специфическую интерпретацию их содержания, непосредственно связанную с концепцией основного конфликта в «Обыкновенной истории». Характер интерпретации определяется эстетическими и другими пристрастиями автора в динамике их развития от мечтательно-идеалистического воззрения к деловому и реальному.

Гончаров принадлежал уже к другой эпохе русской жизни, оставившей позади не только «карамзинский», но и «пушкинский» периоды.³ Отнюдь не будучи приверженцем «реальной критики» Н. А. Добролюбова и тем более нигилистом и «разрушителем эстетики», он придерживался эволюционно-позитивистского взгляда на «лишних людей» Пушкина и Лермонтова, на развитие общественно-литературных идей. Пожалуй, с особенной четкостью это выразилось в статье «Мильон терзаний», в частности в исключительно резко акцентированном противопоставлении Чацкого Онегину и Печорину, да и шире — бессмертной комедии Грибоедова — романам Пушкина и Лермонтова, «устаревшим» в большей степени, чем «Горе от ума»: «Несмотря на гений Пушкина, передовые его герои, как герои его века, уже бледнеют и уходят в прошлое. Гениальные создания его, продолжая служить образцами и источником искусству, — сами становятся историей. (...) „Горе от ума“ появилось раньше Онегина, Печорина, пережило их, прошло невредимо чрез гоголевский период, прожило эти полвека со времени своего появления и всё живет своею нетленною жизнью, переживает и еще много эпох и всё не утратит своей жизненности».

В статье «Мильон терзаний» отражена позиция критика, солидарного со многими суждениями Белинского и Добролюбова и явно лишенного

¹ См.: *Ляцкий*. С. 78—79.

² *Лотман Ю. М.* Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Тарту, 1975. С. 96.

³ Тем не менее вполне законны и более отдаленные, чем произведения Крылова, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, литературные источники «Обыкновенной истории». Некоторые сюжетные и психологические линии «Обыкновенной истории», по мнению В. И. Глухова, предвосхищены в «Недоросле» (1781) и «Наставлении дяди своему племяннику» (1789) Д. И. Фонвизина, а также в романе В. С. Нарезного «Аристион, или Перевоспитание» (1822), представляющем собой одну из первых попыток создать на русской почве «роман воспитания» (см.: *Глухов В. И.* О литературных источниках «Обыкновенной истории» // *Гончаров. Материалы*. С. 45—55).

приетета по отношению к «светской» жизни вообще: «И Онегин и Печорин оказались неспособны к делу, к активной роли, хотя оба смутно понимали, что около них всё истлело. Они были даже „озлоблены“, носили в себе и „недовольство“ и бродили как тени с „тоскующей ленью“. Но, презируя пустоту жизни, праздное барство, они поддавались ему и не подумали ни бороться с ним, ни бежать окончательно. Недовольство и озлобление не мешали Онегину франтить, „блестеть“ и в театре, и на бале, и в модном ресторане, кокетничать с девицами и серьезно ухаживать за ними в замужестве, а Печорину блестеть интересной скукой и мыкать свою лень и озлобление между княжной Мери и Бэлой, а потом рисоваться равнодушием к ним перед тупым Максимом Максимычем: это равнодушие считалось квинтэссенцией донжуанства. Оба томились, задыхались в своей среде и не знали, чего хотеть. Онегин пробовал читать, но зевнул и бросил, потому что ему и Печорину была знакома одна наука „страсти нежной“, а прочему всему они учились „чему-нибудь и как-нибудь“ — и им нечего было делать».¹

Таким образом, хотя «Евгений Онегин» всегда являлся образцом для Гончарова, главный герой был явно ему не по душе. Его он воспринимал сквозь утилитарную призму публицистической критики 1840—1850-х гг. Напротив, очень близкой ему была линия Ленского, которая отразилась в «Обыкновенной истории» не трагической, но пародийно-комической стороной: герой Гончарова не гибнет, а пройдя сквозь многочисленные искушения и разочарования, утратив почти все иллюзии молодости, превращается в делового человека, раз и навсегда разрешившего задачу жизни, сделавшего головокружительную карьеру и соответственно преодолевшего в себе мечтателя и идеалиста. Физической смерти Александр Адуев в романе избежал — Гончаров его обрек на другую, духовную: «выздоровление» героя, в сущности, хуже любых болезней. Роман Гончарова, начавшись на пушкинской ноте, каким-то фатальным образом обрывается на европейской (главным образом бальзаковской) мелодии «утраченных иллюзий», тем самым определяя место «Обыкновенной истории» в длинном ряду французских и английских повествований о молодых провинциальных честолюбцах, каждый из которых на свой лад пытается «завоевать Париж».²

А. Мазон сопоставлял роман Гончарова с «Отцом Горио» и «Утраченными иллюзиями» О. Бальзака, «Домиником» Э. Фромантена, «Орасом» Жорж Санд, отмечая в то же время особое положение «Обыкно-

¹ Чацкий, по Гончарову, от них резко отличен: «Ни Онегин, ни Печорин не поступили бы так неумно вообще, в деле любви и сватовства особенно. Но зато они уже побледнели и обратились для нас в каменные статуи, а Чацкий остается и останется всегда в живых за эту свою „глупость“». Полемизирует (мягко) Гончаров и с пушкинской оценкой Чацкого: «Пушкин, отказывая Чацкому в уме, вероятно, всего более имел в виду последнюю сцену 4-го акта. (...) Конечно, ни Онегин, ни Печорин, эти франты, не сделали бы того, что проделал в сенях Чацкий. Те были слишком дрессированы „в науке страсти нежной“, а Чацкий отличается (...) искренностью и простотой и не умеет и не хочет рисоваться. Он не франт, не лев».

² Х.-Ю. Герик находит, что Александр Адуев в финале «Обыкновенной истории» становится «типичным героем романа в гегелевском смысле слова» (*Gerigk H.-J. Alexander Adujev: Entwurf eines Musters für die Beschreibung literarischer Gestalten // Leben, Werk und Wirkung. S. 178—179*).

венной истории» среди этих произведений и резкое отличие «заурядного» героя Гончарова от Эжена Растиньяка и Люсьена дю Рюампре.¹ Различия подчеркиваются и современными исследователями, несколько более благосклонными к герою Гончарова. Речь идет о различиях между обыкновенной историей и обыкновенными героями русского писателя и необыкновенными историями и необыкновенными героями (сверхгероями) Бальзака: «...катастрофические перемены, происходящие с Люсьеном, — все события парижской части романа занимают примерно год — очень далеко от „нормальной“ возрастной эволюции гончаровского героя. История Александра Адуева составляет примерно пятнадцать лет. (...) Жизненные процессы, в том числе и внутренняя эволюция героя, даны, так сказать, в их натуральной, естественной скорости. (...) У Гончарова социальные мотивировки обозначены гораздо слабее, чем у Бальзака. Эволюция Александра (до Эпилога) напрямую, жестко не связана с воздействием холодного, бюрократического Петербурга. (...) Давление Петербурга, „века“ ощущается, но оно в развитии Адуева-младшего отнюдь не воспринимается как определяющее, и до Эпилога он показан как личность, которая, при всех кризисах и разочарованиях, не просто меняется, набирается жизненного опыта, но явно „идет вверх“» (*Отрадин*. С. 34—35).²

Представляется оправданным сопоставление диалогических структур «Обыкновенной истории» и «Роб Роя» Вальтера Скотта,³ подробно развернутое в статье Э. М. Жиликовой.⁴ Особенно характерны диалоги между лордом Осбалдистоном и его сыном Фрэнком, поэтом и мечтателем, которого отец (крупный коммерсант) стремится приучить к торговым делам. Отец безжалостно высмеивает письмо и стих Фрэнка. Показателен и эпиграф из «Варфоломеевской ярмарки» Б. Джонсона, предпосланный второй главе романа: «Я в своей прозорливости начинаю подозревать молодого человека в страшном пороке — Поэзии; и если он действительно заражен этой болезнью лентяев, то для государственной карьеры он безнадежен. Коль скоро он предался рифмоплетству, на нем как на полезном члене общества нужно поставить крест — *actum est*».

¹ «...Рюампре — истинный поэт; Растиньяк — сильный ум: оба вскоре превзойдут тех, кто сначала их превосходил. Что касается Александра Адуева, то его путь завершился полным разочарованием в самом себе: в своем уме и сердце. (...) Как романтик он был смешон, как пессимист и мизантроп представлял собой посредственность; как человек действия, по мелочности своих устремлений, он был еще большей посредственностью» (*Mazon*. P. 74—75).

² Очевидное сходство центрального конфликта в «Обыкновенной истории», «Отце Горио» и «Утраченных иллюзиях» Бальзака, «Орасе» Ж. Санд обнаруживает и Вс. Сечкарев (см.: *Setchkarev*. P. 56, а также: *Надточаева Т. В.* Типология одного сюжета: («Утраченные иллюзии» О. Бальзака и «Обыкновенная история» И. А. Гончарова) // *Метод, жанр, поэтика в зарубежной литературе: Сб. науч. трудов*. Фрунзе, 1990. С. 28—37). В. И. Кулешов сопоставляет «Обыкновенную историю» с другим романом Ж. Санд «Проступок господина Антуана» (см.: *Кулешов В. И.* Литературные связи России и Западной Европы в XIX веке. М., 1977. С. 181—182).

³ В Автобиографии 1858 г. Гончаров пишет, что он в юности «изучил (...) пристально» «новейшую эпопею» шотландского писателя.

⁴ См.: *Жиликова Э. М.* И. А. Гончаров и Вальтер Скотт: (Некоторые наблюдения) // *Проблемы метода и жанра*. Томск, 1986. С. 197—215.

Диспуты между Осбалдистами, освещенные мягким юмором, являются прообразом главного конфликта в «Обыкновенной истории».

В литературный контекст «Обыкновенной истории» входят и произведения французских писателей, относимых к течению «неистой словесности». Марья Михайловна (мать Надиньки) ждет обещанного Александром Адуевым романа Бальзака «Шагреновая кожа» и читает роман «Мемуары дьявола» Ф. Сулье («...ах, какой приятный автор Сулье! как мило описывает!» — наст. том, с. 257). «Неистой словесностью» была увлечена и Юлия Тафаева, которую француз-гувернер «познакомил (...) уже не теоретически, а практически с новой школой французской литературы. Он давал ей наделавшие в свое время большого шума „Le manuscrit vert“, „Les sept péchés capitaux“, „L'âne mort“ — и целую фалангу книг, наводнявших тогда Францию и Европу. (...) Какими героями казались ей герои Жанена, Бальзака, Друино (...) И она жадно читала новую школу, вероятно, читает и теперь» (наст. том, с. 363).¹ Автор-повествователь иронично относится к увлечению Юлии романами Ж. Жанена, О. Бальзака, Г. Друино, В. Гюго, Э. Сю, Ф. Сулье и других «неистовых» писателей. Но этого нельзя сказать об Александре Адуеве, который цитирует в романе Э. Сю («Атар-Гюль») и Г. Друино («Зеленая рукопись») (см.: наст. том, с. 323—325 и 770—771). Выслушав Александра, дядя высмеивает нелепые, с его точки зрения, романтические чувства, странный, экзальтированный, неестественный язык («„Окровавленные объятия, страшная клятва, удар кинжала!“») (...) И как достает охоты расшевелить и анализировать так подробно эти жалкие струны души человеческой... любовь! придавать всему этому такое значение...» — наст. том, с. 324—325). Но Гончаров, очевидно, лишь отчасти солидарен с эстетической и психологической оценками Петром Ивановичем Адуевым двух фрагментов о дружбе и любви из сочинений популярных современных французских писателей. Не случайно в спор «романтика» и «реалиста» влетает третий голос — Лизаветы Александровны — и она явно не на стороне мужа (там же). Так оказывается поколебленной позиция дядюшки, ранее с необыкновенной легкостью, шутя одерживавшего во всех диспутах верх над восторженным и наивным племянником. Перевод отрывков из произведений «двух новейших французских романистов», которые достал из бумажника Александр Адуев («две осьмушки исписанной бумаги»), разумеется, принадлежит самому Гончарову. Это малая толика выполненной Гончаровым переводческой работы, почти всецело им уничтоженной. Но все-таки не полностью. Исключение составил перевод двух глав из «пиратского» романа Э. Сю «Атар-Гюль» (Телескоп. 1832. № 10), ставший началом литературной деятельности Гончарова. «Перевод» героем «Обыкновенной истории» отрывка (определение дружбы) из этого сочинения дает основание предположить, что Гончаровым был переведен весь роман. Сам писатель в Автобиографиях 1858 и 1867 гг. счел необходимым указать на перевод глав из «Атар-Гюля», особо отметив, таким образом, увлечение «неистой словесностью» как важную веху собственного духовного и литературного развития, своего рода увертюру к будущей сознательной творческой деятельности. Правда, он характеризует свое юношеское увлечение как кратковременное, вскоре вытесненное другими интересами. Но это

¹ Даже выучив наизусть «Евгения Онегина», Юлия не изменила героям «неистовых» романов: «Воображение искало то Онегина, то какого-нибудь героя мастеров новой школы — бледного, грустного, разочарованного...» (наст. том, с. 365).

ретроспективное суждение. На самом деле увлечение новой школой французских романистов наверняка было не таким уж кратковременным и, видимо, достаточно сильным (его, кстати, испытали русские литераторы разных направлений, в том числе Гоголь и Достоевский). Когда создавалась «Обыкновенная история», это был уже преодоленный Гончаровым этап развития; содержание и стилистика «неистовых романов», несомненно, стали здесь предметом критики и пародирования, но одновременно чувствуется, что смешное, наивное, трогательное прошлое, память о юности и первых литературных «пробах пера» все еще дороги писателю.

Не только «неистовая словесность», но и французская романтическая литература начала века своеобразно отразилась в «Обыкновенной истории». Тафаева, перепутав все имена, эпохи и направления, приписывает «Мучеников» Вольтеру, а «Энциклопедический словарь» Ф. Шатобриану. Александр Адуев, получивший солидное, хотя и несколько старомодное, образование, таких вопиющих промахов не делает. Он пытается подражать романам Шатобриана (и его эпигонов),¹ что отчасти отразилось в сюжете его «американской» повести, отвергнутой журналами (наст. том, с. 268—269).

Будучи литератором-неудачником, главный герой «Обыкновенной истории» упорно, на протяжении длительного периода, пробует силы в самых различных литературных жанрах, анонимно публикуя в журналах стихи и, должно быть, также переводы. Большая часть его литературных опытов, заключенных в тетрадях, из которых можно было бы составить целое собрание сочинений, была предана огню (стихи, переводы, комедия, несколько повестей в различном роде, «какой-то очерк и путешествие куда-то» и другие образчики «благородного творчества в сфере изящного»). Беспощадной критикой дяди и профессиональных литераторов творчество Адуева расценено как эпигонское. Однако в контексте романа оно отражает эволюцию литературных вкусов самого Гончарова, давая представление об ученическом периоде его творчества («Смена жанров в творчестве Александра говорит о его движении к роману» — *Отрадин*. С. 69). До романа, однако, дело у Адуева, как позднее и у Райского в «Обрыве», не дошло. Его литературные опыты и литературная неудача стали объектом художественного исследования в романе «Обыкновенная история», что в значительной степени определило многообразную, концентрированную «литературность» произведения.

* * *

После публикации «Обрыва» Гончаров, не удовлетворенный критическими откликами на свой последний роман, решил рассеять недоразумения и недопонимание, выступив с целым рядом статей и очерков литературно-биографического характера. Более всего внимания и места Гончаров, конечно, уделил в них «Обрыву», но часто обращался и к ранним романам. Все три своих романа Гончаров склонен был объединять в единое художественное целое, своего рода трилогию.² «Мне

¹ Но подражает, переводя их в другую поэтическую систему — «неистовой словесности», используя сюжетные ходы и авантурную интригу, характерные для «Атар-Гюля» Э. Сю, ранних произведений В. Гюго («Ган-исландец», «Бюг-Жаргаль»), О. Бальзака и др.

² Понятие «трилогия» широко распространено в литературе о творчестве Гончарова, хотя сам писатель этот термин не употреблял и все три

грустно и больно (...) что во всех трех моих романах, — писал он в «Предисловии к роману „Обрыв“», — публика и критика не увидели ничего более, как только одни — картины и типы старой жизни, другие — карикатуру на новую — и только.

А никто и не потрудился взглянуть попристальнее и поглубже, никто не увидел теснейшей органической связи между всеми тремя книгами: „Обыкновенной историей“, „Обломовым“ и „Обрывом“. Белинский, Добролюбов, конечно, увидели бы, что в сущности это — одно огромное здание, одно зеркало, где в миниатюре отразились три эпохи — старой жизни, *Сна и Пробуждения*, и что все лица — *Адуев, Обломов, Райский* и другие — составляют одно лицо, наследственно перерождающееся, — и в *Бабушке* отразилась вся русская жизнь с едва зеленеющими свежими побегами — *Верой, Марфинькой* — и тогда когда-нибудь я сам укажу эту связь, а теперь я жалею только, что я в свое время не поставил сам точек над *и*. Глубокие, внутренние связи всех трех романов, составляющих единый организм, Гончаров подчеркивал и в статье «Лучше поздно, чем никогда»: «...они (...) тесно и последовательно связаны между собою, как связаны отразившиеся в них, как в капле воды, периоды русской жизни».

По словам Гончарова, «Обыкновенная история» занимает в «трилогии» особое положение: это «первая галерея, служащая преддверием к следующим двум галереям, или периодам русской жизни, уже тесно связанным между собою, то есть к „Обломову“ и „Обрыву“, или к „Сну“ и к „Пробуждению“». «Обыкновенная история», являясь одним из самых значительных литературно-общественных явлений 1840-х гг., в полном смысле принадлежит эпохе Гоголя—Белинского—Герцена. Этот роман стоит в одном историко-литературном ряду с «Героем нашего времени» Лермонтова, «Мертвыми душами» и «Шинелью» Гоголя, «Кто виноват?» Герцена, «Бедными людьми», «Двойником» и «Неточкой Незвановой» Достоевского, «Записками охотника» Тургенева, литературными статьями и обзорами Белинского и Вал. Майкова.

И основной, центральный конфликт в «Обыкновенной истории» — типичный конфликт 1840-х гг.: столкновение-диалог двух концепций жизни, двух типов мировоззрения — идеалистического (мечтательного, романтического) и практического, делового, «реального». С разных сторон и по-разному освещала суть этого «злободневного конфликта» современная критика (см. ниже, с. 717—718, 725—726, 729—730). Сам Гончаров так обрисовывал характер и смысл главного конфликта романа: «Когда я писал „Обыкновенную историю“, я, конечно, имел в виду — и себя, и многих подобных мне, учившихся дома или в университете, живших по затишьям, под крылом добрых матерей, и потом — отрывавшихся от неги, от домашнего очага, со слезами, с проводами (...) и являвшихся на главную арену деятельности, в Петербург».

И здесь — во встрече мягкого, избалованного ленью и барством мечтателя-племянника с практическим дядей — выразился намек на мотив, который едва только начал разыгрываться в самом бойком центре — в Петербурге. Мотив этот — слабое мерцание сознания

его романа достаточно автономны. А Хувилер фон дер Хаген в статье с характерным названием «Трилогия ли романы Гончарова?» склоняется к мнению, что о трилогии можно говорить только в ограниченном смысле: «В зависимости от определения понятий можно прийти к разным ответам на этот вопрос. (...) Ясно все-таки одно, что романы Гончарова являются единством...» (*Leben, Werk und Wirkung*. С. 81).

необходимости *труда*, настоящего, не рутинного, а *живого дела* в борьбе с всероссийским застоём» («Лучше поздно, чем никогда»).

Ретроспективный взгляд Гончарова на свой первый роман впитал в себя — сознательно или бессознательно — некоторые критические оценки современников. Гончаров, в частности, признает схематичность в разработке конфликта между старым и новым: «...старое исчерпалось в фигуре племянника — и оттого он вышел рельефнее, яснее (...) трезвое сознание необходимости дела, труда, знания — выразилось в дяде, но это сознание только нарождалось, показались первые симптомы, далеко было до полного развития — и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-где, в отдельных лицах и маленьких группах, и фигура дяди вышла бледнее фигуры племянника».

Подчеркивание в романе обличительно-прогрессивных тенденций (эхо идей Белинского, Герцена, Добролюбова) привело к тому, что Гончаров в своих позднейших рассуждениях сильно упростил суть главного конфликта романа, сведя его к противопоставлению взглядов и чувств делового дяди и мечтательного племянника, да и в самом этом противопоставлении выделяя лишь достаточно очевидные линии. В романе все гораздо сложнее, тоньше, многограннее. Насквозь диалогизованная, открытая структура романа исключает односторонние, одноакцентные разоблачения и развенчания, — исключительное утверждение правоты какой-либо одной стороны: «Каждый из спорящих и прав и неправ. Диалог движется вперед тем, что каждая реплика несовершенна и требует уточнения; уточнения же, в свою очередь, не приближают к истине, а требуют новых поправок, и обе темы развиваются, не соприкасаясь, как две параллельные линии. (...) Ни Петр Иванович не подчинен Александру Адуеву (как его антитеза и опровержение), ни наоборот. Оба героя эстетически совершенно равноправны, и если на первом плане — судьба Адуева-младшего, то это потому, что Петр Иванович уже проделал аналогичную эволюцию. Роман построен так, что развитие одного образа все время совершается при статически-неподвижном „контрапункте“ другого образа (результата предшествующего развития), совершается до тех пор, пока цикл не окончится, т. е. судьба племянника не совпадет — на новом уровне — с судьбой дяди...».¹ При этом позиция автора строго объективна: он невозмутимо стоит в стороне, давая диалогу развиваться свободно и «гарантируя обоим сторонам равное право отстаивать свою силу перед действительностью и — в конечном счете — равное право потерпеть от нее поражение».²

«Самоотстранение» автора-повествователя в «Обыкновенной истории» не означает, что он стоит над героями; он, скорее, всегда рядом с ними как равноправный и заинтересованный участник споров, которому

¹ Манн Ю. *Философия и поэтика «натуральной школы» // Проблемы типологии русского реализма*. М., 1969. С. 249—250. Несколько иначе характеризует структуру диалогического конфликта романа В. А. Недзвецкий, выдвигающий в качестве основополагающего принцип антитезы, контраста, противостояния крайностей: «От одной крайности к другой переходит Александр Адуев, на две непримиримые половины распадается жизнь Петра Ивановича. (...) Контрастны друг другу два „романа“ Александра — с Наденькой Любецкой и с Юлией Тафаевой. Резко противопоставлены сюжетно-структурные компоненты „Обыкновенной истории“: части вторая и первая, последнее оптимистическое письмо Адуева-младшего и печальный „Эпилог“» (*Недзвецкий*. С. 34—35).

² Манн Ю. *Диалектика художественного образа*. М., 1987. С. 57.

понятны и идеальные, «романтические» порывы Адуева-младшего, и деловая философия дяди, здравый смысл его суждений, совпавший с практическим направлением века.

Тенденциозность, схематизм гончаровской концепции собственного романного творчества ощущается и в оценке женских образов. В Надиньке Любецкой он видел тип, принадлежащий к «раннему этапу эмансипации» («безмолвной»). Эта героиня «чувствовала только смутно, что ей можно и пора протестовать против отдачи *ее замуж родителям* — и только могла (...) заявить этот протест, забрав одного и перейдя чувством к другому». Гончаров очень прочно связал Надиньку и Ольгу Ильинскую, образовав «Надиньку-Ольгу» («я утверждаю, что это одно лицо в разных моментах»): «От поведения Надиньки — естественный переход к *сознательному* замужеству Ольги со Штольцем, представителем труда, знания, энергии — словом, силы»; «Ольга есть превращенная Надинька следующей эпохи».

В рассуждениях Гончарова явно превалирует стремление к обобщению и выпрямлению линий художественного развития. Творческий процесс рационализируется, индивидуальное приносится в жертву общему, многообразие жизни подменяется схемой поступательного развития от одного «момента» к другому. Натяжки авторской ретроспекции очевидны: Надинька более всего личность, а не тип, и она не борется с деспотизмом матери, которая совершенно не стесняет ее свободу. Прямого отношения к идеям эмансипации (даже «безмолвной») Надинька не имеет; равным образом эта героиня «Обыкновенной истории» не может считаться претчей Ольги Ильинской.

«Подтягивая» в некотором роде «Обыкновенную историю» к «Обломову» и «Обрыву», Гончаров из всей галереи героинь романа выделил лишь одну Надиньку, совершенно «позабыв» о Лизе («Антигоне»), мастерски нарисованной им на фоне печальной северной осени, и — что особенно показательно — даже не упомянув жены дяди Лизаветы Александровны.¹ Дело здесь, конечно, не в забывчивости: убитая педагогической системой мужа Лизавета Александровна преднамеренно исключена из той идеологической схемы, которую создал постфактум Гончаров-критик, так как эта драматическая линия вносила в нее ненужный диссонанс.

Диалог двух главных идеологов романа — дяди и племянника — переплетается с другими диалогизированными конфликтами и «оппозициями» произведения, все время, таким образом, поворачиваясь новыми сторонами и гранями. Итога у этого диалога, однако, нет — он обречен на бесконечное повторение и продолжение, ибо в художественной структуре произведения налицо сосуществование различных интенций и возможностей. Одна из центральных «оппозиций» романа — «Петербург — провинция». Именно из глубокой провинции в столицу приезжает главный герой романа, туда, в родной дом, он бежит, разочарованный и угасший, и оттуда вновь — на этот раз навсегда — возвращается в Петербург, чтобы добиться успеха. Но еще до описания реального Петербурга возникает миф о нем, точнее сказать, эмбрион мифа. Взор Адуева обращен туда, где, «между полей, змеей вилась дорога и убегала за лес, дорога в обетованную землю, в Петербург». С точки зрения Анны Павловны, обетованная земля, благодать, патриархальный рай — Грачи, а Петербург — «омут», «чужая сторона». «Омут» — слово, прозвучавшее

¹ «Антигону», впрочем, умудрились не заметить и критики. О Лизавете Александровне они, наоборот, писали много и с особенной теплотой.

уже в главе I части первой, затем попадает в вещий сон (накануне возвращения сына) Анны Павловны, где Александр на ее вопрос, откуда он взялся, загадочно отвечает: «Из омута (...) от водяных» (наст. том, с. 430). Анна Павловна сама же и разъясняет увиденное, вновь связывая понятия «омут» и «Петербург»: «Сон-то и не лжив: точно из омута вырвался, голубчик мой!»; «Подлинно омут, прости Господи: любят до свадьбы, без обряда церковного; изменяют... (...) Знать, скоро света преставление!...» (наст. том, с. 437, 443). И уже узаконенное слово попадает в авторское повествование, предвещая неизбежность возвращения Адуева в Петербург: «Он думал, что эта скука пройдет, что он приживется в деревне, привыкнет, — нет: чем дольше он жил там, тем сердце душе нлыло и опять просилось в омут, теперь уже знакомый ему» (наст. том, с. 448). Но все же зловещего мифа с водяными и дядушкой — демоническим искусителем¹ — в «Обыкновенной истории» нет: «омут» у Гончарова — не более чем метафора, образное уподобление. Столь же очевидно, что Петербург и не «обетованная земля» (это еще одна метафора, по смыслу противоположная наивным представлениям-предчувствиям Анны Павловны). Самые первые впечатления Адуева от города безрадостны, давящи: «...на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою. (...) Заглянешь направо, налево — всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, всё одно да одно... нет простора и выхода взгляду: заперты со всех сторон, — кажется, и мысли и чувства людские также заперты» (наст. том, с. 204).

Неприятие столицы звучит и в прощальном монологе разочарованного Адуева, к которому с нескрываемой иронией относится автор-повествователь: искусственно вызванное чувство («всячески старался настроить себя на грустный тон»), заемные слова, неременная прощальная слеза.² Обличительные речи Адуева здесь карикатурны, а патетический финал фальшив и напыщен; почти все декламация и плагиат: «Прощай, — говорил он, покачивая головой и хватаясь за свои жиденькие волосы, — прощай, город поддельных волос, вставных зубов, ваточных подражаний природе, круглых шляп, город учтивой спеси, искусственных чувств, безжизненной суматохи! Прощай, великолепная гробница глубоких, сильных, нежных и теплых движений души. Я здесь восемь лет стоял лицом к лицу с современной жизнью, но спиною к природе, и она отвернулась от меня: я утратил жизненные силы и состарелся в двадцать девять лет; а было время...

Прощай, прощай, город,

Где я страдал, где я любил,

Где сердце я похоронил.

К вам простираю объятия, широкие поля, к вам, благодатные веси и пажиты моей родины: примите меня в свое лоно, да оживу и воскресну душой!» (наст. том, с. 425).

¹ А именно таким исчадием ада он является в книге Ю. Лошица (см.: *Лошиц Ю.* Гончаров. М., 1977. С. 76—82).

² «В этом отрывке Петербург характеризуется неавторитетными устами остывшего мечтателя. Но два суждения следует подчеркнуть: бюрократический характер в словах „учтивая спесь“ и общий характер жизни — болезненная суматоха. Оценка, упорно повторяемая в ряде поколений» (*Анциферов Н.* Душа Петербурга. Л., 1990. С. 72). Характерно, что именно этот эпизод был сокращен писателем в 1868 г. (см. выше, с. 686).

Прощание с Петербургом получилось слишком литературным и растянутым в отличие от первоначальных впечатлений, когда «обетованный рай» предстал скучным, грязным каменным некрополем, своего рода острогом без «простора и выхода взгляду». Такое восприятие типично, естественно для провинциала, «эгоизм» которого «объявляет войну всему, что он видит» в Петербурге.

Этим, однако, образ Петербурга в романе не исчерпывается. В «Обыкновенной истории» это далеко не «демонический» город, где все обман, фальшь, мираж, как в повестях Гоголя. У Гончарова город многолик, и восприятие Петербурга зависит от героев и их душевного настроения, от освещения, ракурса. Отсюда и смена впечатлений, образов, всегда мотивированная, естественная. Сначала омут, исполинская, скучная, давящая каменная гробница; потом вдруг резкая перемена — величественный державный град: царственная Нева, Медный всадник, Невский проспект, захватывающая и возвышающая дух панорама, от которой герою сразу «стало весело и легко» (правда, автор любовно посмеивается над наивным молодым порывом, да и дядя иронизирует над выспренным языком племянника, но сути дела это не меняет — им великолепная панорама давно примелькалась, а молодой Адуев видит ее впервые). Есть в романе и уповательно-поэтический Петербург белых ночей, увиденный не только глазами влюбленного молодого мечтателя, но и очарованного городом автора-повествователя: «Наступала ночь... нет, какая ночь! разве летом в Петербурге бывают ночи? это не ночь, а... тут надо бы выдумать другое название — так, полусвет... Всё тихо кругом. Нева точно спала; изредка, будто впросонках, она плеснет легонько волной в берег и замолчит. А там откуда ни возьмется поздний ветерок, пронесется над сонными водами, но не сможет разбудить их, а только зарябит поверхность и повеет прохладой на Надиньку и Александра или принесет им звук дальней песни — и снова всё смолкнет, и опять Нева неподвижна, как спящий человек, который при легком шуме откроет на минуту глаза и тотчас снова закроет; и сон пуше сомкнет его отяжелевшие веки. Потом со стороны моста послышится как будто отдаленный гром, а вслед за тем лай сторожевой собаки с ближайшей тони, и опять всё тихо. Деревья образовали темный свод и чуть-чуть, без шума, качали ветвями. На дачах по берегам мелькали огоньки.

Что особенного тогда носится в этом теплом воздухе? Какая тайна пробегает по цветам, деревьям, по траве и веет неизъяснимой негой на душу? зачем в ней тогда рождаются иные мысли, иные чувства, нежели в шуме, среди людей? А какая обстановка для любви в этом сне природы, в этом сумраке, в безмолвных деревьях, благоухающих цветах и уединении! Как могущественно всё настроивало ум к мечтам, сердце к тем редким ощущениям, которые во всегдашней, правильной и строгой жизни кажутся такими бесполезными, неуместными и смешными отступлениями... да! бесполезными, а между тем в те минуты душа только и постигает смутно возможность счастья, которого так усердно ищут в другое время и не находят» (наст. том, с. 260—261).

Гимн Гончарова летнему Петербургу (с утилитарной точки зрения «ненужное» отступление) — поэтический центр романа, лирическая вершина его и первое серьезное, хотя и косвенное, возражение на рациональные, логичные, хорошо систематизированные рассуждения Адуева-старшего, которое подготавливает бунт Лизаветы Александровны. И, конечно, заключающий в себе какую-то тайну образа города, погруженного в сладостный летний сон, возвышающегося над всеми другими образами Петербурга в романе, что разрушает оппозицию «омут —

благодатные просторы», вообще ставя под сомнение законность слишком контрастного противопоставления Петербурга и провинции.

В подвижном, текучем мире романа Гончарова нет места слишком определенным, догматически утвержденным понятиям и истинам. Вот, казалось бы, в провинциальной тишине (мудрый и опытный повествователь безжалостно добавляет от себя — «лень, беззаботность и отсутствие всякого нравственного потрясения») возрождается мир в душе разочарованного героя, который уже начинает отдаляться от Петербурга, где «жизнь стараются подвести под известные условия, прояснить ее темные и загадочные места, не давая разгула чувствам, страстям и мечтам и тем лишая ее поэтической заманчивости, хотят издать для нее какую-то скучную, сухую, однообразную и тяжелую форму...» (наст. том, с. 445). Но и тишина давит, и природа только временно успокаивает. Вновь Александра тянет к разнообразию и деятельности; возникает тоска по ненавистному каменному Петербургу, резиденции «демонического» дяди. Все повторяется, но отнюдь не зеркально. Природа внесла тишину в душу героя — примирила с прошедшим («Ненависть, мрачный взгляд, угрюмость, нелюдимость смягчились уединением, размышлением» — наст. том, с. 448). В письме к тетке Адуев предстает не просто пережившимся, но именно возродившимся, возмужавшим, очистившимся от суетных мыслей и чувств. Герой достиг высшей точки своего развития, ему открылись истинные ценности и высшие цели, согретые теплотой веры: «Как я поздн.о увидел, что страдания очищают душу, что они одни делают человека сносным и себе, и другим, возвышают его... Признаю теперь, что не быть причастным страданиям значит не быть причастным всей полноте жизни: в них много важных условий, которых разрешения мы здесь, может быть, и не дождемся. Я вижу в этих волнениях руку Промысла, который, кажется, задает человеку нескончаемую задачу — стремиться вперед, достигать свыше предназначенной цели, при ежеминутной борьбе с обманчивыми надеждами, с мучительными преградами» (наст. том, с. 450). Правда, на этой высоте Александр не удержался, представ в Эпilogue скучной и бледной копией дяди, процветающим дельцом, ловко поладившим с фортуной, приобретшим плешь, выпуклое брюшко, орден и богатую невесту. В высшей степени прозаическая метаморфоза, довольно, впрочем, обыкновенная. Адуев понял «сущность дела» и стал поразительно неинтересен, пошл. Ничего не осталось от юношеских порывов, и, видимо, похоронены за ненадобностью, как смешные и бесполезные, вредящие «сущности дела», мысли и чувства, так целомудренно и поэтично изложенные им в письме к Лизавете Александровне (дяде он пишет в другом тоне, решительно сокращая сердечные излияния). Лишь на какое-то мгновение герой приблизился к истинному мирозерцанию, которое неизмеримо выше как делового направления века, так и наивного мечтательно-эгоистического, возвышенного и одновременно смешного романтизма. Здесь голос автора почти всецело совпадает с голосом героя, в «воспитании чувств» которого огромная роль принадлежит Лизавете Александровне.

Характерно, что диалог дяди и племянника зазвучал совершенно иначе с появлением Лизаветы Александровны. До этого автор-повествователь разными приемами подчеркивал свою солидарность с остроумной критикой дядей манер, стиля поведения, взглядов и творчества Александра Адуева, несколько смягчая резкость критики тонкими юмористическими деталями. Как только Лизавета Александровна становится союзницей Александра в спорах с дядей, диалог между «романтиком» и «прагматиком» в значительной степени перестает быть спором двух поколений и двух мировоззрений. Возможно, именно поэтому в споре

странным образом никто не побеждает: дядя и племянник одинаково преуспевают в карьере, а Лизавета Александровна гибнет. И конечно, прямая линия к Ольге Ильинской идет от Лизаветы Александровны, а не от Надиньки Любецкой.

Усложненная диалогическая структура «Обыкновенной истории» не позволяет свести содержание романа к борьбе с романтизмом и идеализмом,¹ что долго делалось в критических статьях и исследованиях, опиравшихся в незначительной степени на суждения позднего Гончарова. Несправедливо и безоговорочно сближать высказывания Белинского о «романтиках жизни» с антиромантической позицией Гончарова (а на этом сближении с давних пор делают акцент многие исследователи²) и, в согласии с придуманной схемой, ниспровергать героя-идеалиста, называя его «носителем самого пошлого, самого мелкого, безыдейного, но, может быть, и самого массовидного и вредного романтизма сороковых годов» (*Рыбасов*. С. 136).

В действительности в романе Гончарова наряду с карикатурным, вульгарным, «провинциальным» романтизмом присутствует и «поэтический, высокий романтизм или, вернее, романтизированный реализм, реалистический стиль, глубоко впитавший в себя одухотворенность и поэтичность романтического искусства».³ В «Обыкновенной истории»

¹ Как, впрочем, и к критике эгоизма, утилитаризма, крайностей делового направления.

² По мнению А. Г. Цейтлина, «роман как бы явился ответом на приглашение, которое Белинский сделал передовым русским писателям: он был посвящен всестороннему изображению „романтического ленивца“ и „бездеятельного и глуподеятельного мечтателя“» (*Цейтлин*. С. 63). Н. К. Пиксанов, расширяя «антиромантическую» базу, обращал особое внимание на статью Герцена «Дилетантизм в науке», откуда, по его мнению, Гончаров мог почерпнуть характеристику «мечтательного романтизма» и враждебных ему «позиции индустриальной деятельности» и «материального направления» века (*Пиксанов. Белинский в борьбе за Гончарова*. С. 67—68). Л. Я. Гинзбург, глубоко проанализировавшая смысл и характер высказываний Белинского об Адуеве-младшем («Гончаровский Адуев — оружие, которым Белинский сражается с романтическим идеализмом, притом с несколькими его разновидностями (...) его удары поражали объекты, расположенные далеко за пределами той провинциальной сферы, которой удовлетворялся Гончаров»), также более всего обращает внимание на антиромантическую направленность замысла Гончарова, который «хотел нанести удар вообще современному романтизму, но не сумел определить идеологический центр. Вместо романтизма он осмелел провинциальные потуги на романтизм» (*Гинзбург Л. Белинский в борьбе с запоздалым романтизмом // О старом и новом*. Л., 1982. С. 243, 235). Н. И. Пруцков находил, что в речах Петра Ивановича «по многим вопросам жизни, морали и эстетики ощущается отзвук статей Белинского (а также и В. Майкова)» (*Пруцков Н. И. Мастерство Гончарова-романиста*. Л., 1962. С. 26). Взгляд Пруцкого на борьбу Гончарова с романтизмом далек от категоричности суждений предшественников. Он справедливо пишет о том, что Гончаров «навсегда сохранил определенную связь с романтизмом», «широко воспользовался романтической патетикой и экспрессией в стиле» (Там же. С. 7).

³ *Бухаркин П. Е.* «Образ мира, в слове явленный»: (Стилистические проблемы «Обломова») // *От Пушкина до Белого: Проблемы поэтики русского реализма XIX—начала XX века: Межвуз. сб.* СПб., 1992. С. 132).

даже можно обнаружить, как это в общем оправданно делает В. И. Сахаров, не только следование статьям Белинского, но и полемику с ними и своего рода вызов «натуральной школе»: «Последовательное разоблачение „практика“ и „естественника“ Петра Адуева в романе Гончарова стало, по сути, тонкой и убедительной художественной критикой любимых идей 40-х годов. Да и простодушный чиновник Костяков, читающий медицинские книги, желая узнать, что в человеке есть, — разве это не насмешка над физиологическими описаниями, не камешек в огород трезвых 40-х годов? Романтики без всяких медицинских пособий узнали и рассказали о сложной, мятущейся человеческой судьбе, мире чувств. Своим Александром Адуевым и вдохновенным описанием игры скрипача-романтика Гончаров напомнил об этом их замечательном открытии» (Сахаров. С. 122).¹

Полемическое возражение Белинскому заключалось и в разъяснении Гончаровым сути «обыкновенной истории», рассказанной в романе. Перерождение Адуева-романтика в практического человека в Эпilogue, подчеркивал писатель, не произвол, не странный повествовательный срыв, а естественный, закономерный финал «обыкновенной истории»: «Адуев кончил, как большая часть тогда: послушался практической мудрости дяди, принялся работать в службе, писал и в журналах (но уже не стихами) и, пережив эпоху юношеских волнений, достиг положительных благ, как большинство, занял в службе прочное положение и выгодно женился, словом, обделал свои дела. В этом и заключается „Обыкновенная история“».

Названием произведения писатель дорожил, ревниво воспринимая возможность появления в журналах других «Обыкновенных историй»: 12 мая 1848 г. он послал редактору «Отечественных записок» А. А. Краевскому взволнованное письмо, обеспокоенный тем, что в журнале будет печататься перевод романа английской писательницы Е. Инчбальд (1753—1821) под тем же названием (1791). Его беспокоило, что наверняка будут попытки сравнить оба романа, и сравнение может оказаться не в пользу русской «Обыкновенной истории». Гончаров особо обращал внимание на то, что английский роман, если дать точный перевод заглавия, назывался «простая история», т. е. «не сложная, не запутанная, без эффектов и нечаянностей, какова она и есть (...) тогда как *обыкновенная история* значит история — *так по большей части случаящаяся, как написано*».

В адуевском романтизме сложно соединилось «ложное, наносное, иллюзорное с какими-то постоянными свойствами и потребностями человеческой природы, стремлением к высокому и прекрасному...» (*Евстратов Н. Г.* Белинский и роман Гончарова «Обыкновенная история» // *Материалы юбилейной гончаровской конференции.* Ульяновск, 1963. С. 99). См. также: *Карташова И. В.* О роли романтического элемента в романах Гончарова «Обыкновенная история» и «Обломов» // *Вопросы романтизма.* Калинин, 1972. Вып. 5. С. 113—131; *Краснощечкова. Гончаров и русский романтизм.* С. 304—316.

¹ Правомерны делаемые Сахаровым сопоставления романа Гончарова с романтической прозой 1830-х гг., особенно с повестью А. Ф. Вельтмана «Приезжий из уезда, или Суматоха в столице» (1841), в которой можно обнаружить эмбрион основной идеи «Обыкновенной истории» — «разочарование и крушение романтика в деловой, равнодушной к его идеалам столичной реальности» (Там же. С. 120), и с «Русскими ночами» В. Ф. Одоевского.

Таково точное определение главной коллизии романа как истории, случившейся везде и всегда. Тем самым Гончаров обратил внимание на извечность конфликтов, событий, страстей, изображенных в романе. История, конечно, протекает в определенный «момент» развития русской жизни, она заключена в определенные временные границы,¹ но повторения, зеркальные отражения разных историй внутри одной «Обыкновенной истории» заставляют вспомнить восточный образ колеса жизни. В финале романа звучит «тема всемогущей судьбы, глубинного и всеобщего закона бытия», демонстрирующего свою власть (*Недзвецкий*. С. 14). Повторяются в романе не только жизненные коллизии, но и «циклы человеческой жизни, повторяются вечные прения „сторон“, и грустная „обыкновенная история“ идет своим чередом...».²

«Обыкновенная история» — один из первых великих русских романов XIX в. Это обстоятельство определило особое место романа не только в «трилогии» Гончарова, но и в истории русского романа (шире — русской прозы) вообще. «В „Обыкновенной истории“ уже есть то, что определит облик русского классического романа XIX века — мощный заряд идейности, напряженное искание истины, устремленность к разрешению главных вопросов человеческого существования. Все, что составляет характерность и силу романов Достоевского, Толстого, Лескова, Тургенева, наконец, самого Гончарова — автора „Обломова“ и „Обрыва“, — противоборство идей, идеалов, жизненных принципов, символов веры, доктрин и страстей, — все это намечено и отчасти осуществлено уже в „Обыкновенной истории“».³

От Петра Ивановича Адуева, представляющего утилитарно-деловое миросозерцание, нити ведут как к Базарову «Отцов и детей» (наблюдение Ю. Лошица), так и к Каренину, этому «человеку-машине» в романе Л. Н. Толстого (*Недзвецкий*. С. 14). Диалогическая структура романа стала своего рода моделью не только для романов Тургенева и Достоевского, но и для повести Чехова «Дуэль».⁴ «Обыкновенная история» близка к многим

¹ «Начало произведения, судя по всему, относится к самому концу 20-х годов, вернее всего к 1830 г. Живущая в далекой провинции тетка Александра Адуева, Марья Горбатова, интересуется „сочинениями господина Загоскина“ — не одним только „Юрием Милославским“, вышедшим в 1829 г., а именно его сочинениями, шумная слава которых докатилась до глухих мест России. На протяжении всего повествования Гончаров не раз указывает на то, что действие „Обыкновенной истории“ происходит в 30—40-е годы. Марья Михайловна Любецкая читает „Mémoires du diable“, принадлежащие перу (...) Сулье (произведение это вышло в свет в 1838 г.). Она же просит у Александра Адуева „Peau de chagrin“ Бальзака, очевидно только что полученную в книжных магазинах Петербурга. (...) В Эпиллоге романа говорится о том, что „на нынешнюю зиму ангажирован сюда“ Рубини. Этот знаменитый итальянский певец действительно гастролировал в Петербурге в начале 1840-х годов. Как мы знаем, Александр Адуев уехал в Петербург 20-летним юношей. В конце романа он женится на тридцать пятом году. Четырнадцать лет жизни Александра Адуева с наибольшим вероятием можно приурочить к 1830—1843 гг.» (*Цейтлин*. С. 64—65).

² Манн Ю. Диалектика художественного образа. С. 57.

³ Лошиц Ю. Гончаров. С. 89.

⁴ Х-Ю. Герик, между прочим, считает, что Александр Адуев с его историей «утраченных иллюзий» находится посередине между Евгением Онегиным и Полозневым из повести Чехова «Моя жизнь» (1896) (см.: *Leben, Werk und Wirkung*. S. 178).

произведениям Достоевского 1840-х гг., ее отзвуки нетрудно обнаружить в «Белых ночах» и «Неточке Незвановой», а трагический мотив романа (Лизавета Александровна, убитая «методой» мужа), перекликающийся с главной коллизией повести А. В. Дружинина «Полинька Сакс» (1847), своеобразно преломится в позднем шедевре Достоевского — повести «Кроткая».

3

Прежде чем попасть на страницы «Современника», роман многократно читался Гончаровым в различных аудиториях, и прежде всего в привычной обстановке — в семье Майковых, где, как об этом вспоминает А. В. Старчевский, «по вечерам, в воскресенье и другие праздничные дни, когда собиралось много молодежи, часто происходили чтения чего-нибудь выдающегося в современной журналистике, с критическими и другими замечаниями, идущими к делу. Чтения эти введены были покойным Владимиром Андреевичем Солоницыным (...) но со смертью его почти прекратились, как вдруг Иван Александрович Гончаров, написав свою „Обыкновенную историю“, заявил в один вечер, что, прежде чем отдать ее в печать, желал бы прочесть свое первое произведение у Майковых в несколько вечеров и выслушать замечания именно молодого, чуткого, откровенного и ничем не стесняющегося поколения; тем более что все слушатели были его ближайшие друзья и доброжелатели, и если бы в чем-нибудь замечания их оказались неверны, то их тут же и опровергнут» (*Гончаров в воспоминаниях*. С. 53). Описание чтения Старчевский предвьяет текстом записки В. Ап. Солоницына, из которой следует, что до этого Майковы уже слышали произведение Гончарова «дважды». Далее следует подробный рассказ Старчевского: «...я явился в семь часов вечера к Майковым и застал там всех наших знакомых. Спустия четверть часа Иван Александрович начал читать свою повесть. Все мы слушали ее со вниманием. Язык у него хорош; она написана очень легко, и до чаю прочитано им было порядочно. Когда разнесли чай, начались замечания, но они были незначительны и несущественны. Вообще повесть произвела хорошее впечатление. Чтение продолжалось несколько вечеров сряду, и по мере ближайшего знакомства с повестью развивался и интерес; все яснее и яснее выходили лица. (...) по мере ближайшего знакомства с действующими лицами все чаще и чаще становились замечания; но это были замечания слишком молодых и неопытных еще людей; дамы тоже делали в эти замечания и свои вставки, также не имевшие никакого критического значения; старики вовсе не высказывались. (...) Иван Александрович обратил внимание на некоторые замечания самого младшего из нас, Валериана Майкова, и решился сделать изменения в повести „Обыкновенная история“ сообразно с указаниями молодого критика. Конечно, Иван Александрович во время чтения своей повести при многочисленном обществе сам лучше других замечал, что надобно изменить и исправить, и потому постоянно делал свои отметки на рукописи, а иногда и просто перечеркивал карандашом несколько строк. Но все же перделка эта потребовала немного времени, потому что спустя несколько дней опять назначено было вторично прослушать „Обыкновенную историю“ в исправленном виде...» (Там же. С. 53—54).

Воспоминания Старчевского дают возможность понять, какое важное значение имели для Гончарова эти чтения, сопровождавшиеся изменениями в рукописи. Важна и информация о том, что некоторые

критические замечания В. Майкова были учтены Гончаровым, — особенно потому, что нам неизвестны суждения критика о романе.¹

Постепенно слухи о романе Гончарова распространились далее сравнительно узкого круга посетителей литературных вечеров в семействе Майковых. И только после того как роман прошел экспертизу очень многих, в том числе и весьма компетентных, слушателей и читателей, Гончаров «с ужасным волнением» («Необыкновенная история») решился отдать его первую часть на суд Белинскому (через М. А. Языкова). И. И. Панаев вспоминает: «...Гончаров, зная близкие отношения Языкова с Белинским, передал рукопись „Обыкновенной истории“ Языкову для передачи Белинскому, с тем, однако, чтобы Языков прочел ее предварительно и решил, стоит ли передавать ее. Языков с год держал ее у себя,² развернул ее однажды (по его собственному признанию), прочел несколько страничек, которые ему почему-то не понравились, и забыл о ней. Потом он сказал о ней Некрасову, прибавив: „Кажется, плоховато, не стоит печатать“. Но Некрасов взял эту рукопись у Языкова, прочел из нее несколько страниц и, тотчас заметив, что это произведение, выходящее из ряда обыкновенных, передал ее Белинскому, который уже просил автора, чтобы он прочел сам» (Там же. С. 47).

Весной 1846 г. (в середине апреля) Гончаров читал свой роман на квартире Белинского. Тот же И. И. Панаев свидетельствует: «Белинский был в восторге от нового таланта, выступавшего так блистательно, и все подсмеивался по этому поводу над нашим добрым приятелем М. А. Языковым. (...) Белинский все с более и более возрастающим участием и любопытством слушал чтение Гончарова и по временам привскакивал на своем стуле, с сверкающими глазами, в тех местах, которые ему особенно нравились. В минуты роздыхов он всякий раз обращался, смеясь, к Языкову и говорил:

— Ну что, Языков, ведь плохое произведение — не стоит его печатать?..» (Там же. С. 47).

Позднее в статье «Заметки о личности Белинского» Гончаров вспоминал: «...в первые дни знакомства, послушавши его горячих и лестных отзывов о себе, я испугался, был в недоумении и не раз выражал свои сомнения и недоверие к нему самому и к его скороспелому суду». В той же статье Гончаров рассказал о том, что, возражая восторженному критику, он «остановил его однажды. „Я был бы очень рад, — сказал я, — если б вы лет через пять повторили хоть десятую часть того, что

¹ Можно, однако, предположить, что знакомство с романом Гончарова отразилось в работе В. Майкова «Стихотворения Кольцова» (1846): «Обыкновенная история живого человека очень печальна и жалка: вслед за ребяческой непосредственностью приходит период романтизма, период отчаянного отрешения мысли от действительности, а вслед за романтизмом — столь же отчаянное и нелепое разочарование, разрешающееся или односторонностью, или совершенною пошлостью» (Майков В. Н. Литературная критика. Л., 1985. С. 156—157).

² Очевидное преувеличение: рукопись романа никак не могла пролежать без движения «с год». Эту же гиперболизированную версию вслед за Панаевым повторяет Д. В. Григорович, заодно рассуждая о «скромности» автора: «...Гончаров и не подозревал в себе будущего писателя. Скромность мнения о себе доказывается тем, что рукопись первого его романа „Обыкновенная история“ пролежала у приятеля Панаева, М. А. Языкова, более года, не вызвав никакого протеста со стороны автора» (Гончаров в воспоминаниях. С. 56).

говорите о моей книге («Обыкновенная история») теперь". — „Отчего?" — спросил он с удивлением.

„А оттого, — продолжал я, — что я помню, что вы прежде писали о С., как лестно отзывались о его таланте, — а как вы теперь цените его!" (А он тогда уже развенчал его и, сравнивая со всем, что появилось в литературе после, лишил его совсем прошлой, впрочем неоспоримой, заслуги, как будто его и не было вовсе в литературе).

И тем не менее Гончарова, конечно, не просто удовлетворили похвалы Белинского; он был счастлив. Репутация критика была необыкновенно высока; к его оценкам прислушивались все. Это был тогда поистине высший литературный суд. Особенно радовало Гончарова, что разочарования на этот раз не последовало. Лестные отзывы повторялись многократно, и не только Белинским.¹

Гончаров с благодарным чувством вспоминал в «Необыкновенной истории»: «Белинский, месяца три по прочтении, при всяком свидании осыпал меня горячими похвалами, пророчил мне много хорошего в будущем, говорил всем о нем, так что задолго до печати о романе знали все — не только в литературных петербургских и московских кружках, но и в публике». Белинский усиленно продолжал пропагандировать роман Гончарова после публикации части первой в «Современнике». При этом критик был совершенно беспристрастен: он считал роман замечательным явлением современной русской литературы; сам же автор ему решительно не понравился. В письме к В. П. Боткину от 4 марта 1847 г. Белинский сопоставляет Гончарова — автора «Обыкновенной истории» и П. Н. Кудрявцева — автора повести «Сбоев»: «Ты видел Гончарова. Это человек пошлый и гаденький (между нами будь сказано).² В этом

¹ Оценки «Бедных людей» и «Обыкновенной истории», принадлежавшие Белинскому, были памятны современникам. Так, П. В. Анненков, вспоминая успех «Бедных людей», писал: «...в 1846 году почти такое же настроение охватило Белинского, как рассказали мне, и с рукописью „Обыкновенная история" И. А. Гончарова — другим художественным романом. Он с первого же раза предсказал обоим авторам большую литературную будущность...» (Анненков. *Литературные воспоминания*. С. 282). Достоевскому, конечно, было известно высокое мнение Белинского как об «Обыкновенной истории», так и о романе А. И. Герцена «Кто виноват?» Показательны его слова в письме к старшему брату М. М. Достоевскому от 1 апреля 1846 г.: «Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. 1-й печатался, второй начинающий и не печатавшийся нигде. Их ужасно хвалят...» (*Достоевский*. Т. 28, кн. 1. С. 120).

² С подозрением относился к Гончарову и ближайшее окружение критика. Так, Некрасов писал Белинскому в сентябре 1846 г.: «Еще до моего приезда в Петербург (а я приехал в конце июля) Гончаров хныкал и жаловался и скулил, что отдал Вам свой роман ни за что, будто увлеченный и сконфуженный всеобщими похвалами и тем, что Вы (его собственные слова) просили „именем своего семейства" и т. д.; он ежедневно повторял это Языкову, Панаеву и другим с прибавлением, что Краевский дал бы ему три тысячи, и, наконец, отправился к Краевскому). Узнав все это, я поспешил с ним объясниться и сказать ему за Вас, что Вы, верно, не захотели бы и сами после всего этого связываться с ним и что если он отказывается от своего слова, то и дело кончено и пр. По моему мнению, больше и нечего было делать с этим скотом» (*Переписка Н. А. Некрасова*. Т. 1. С. 49—50).

отношении смешно и сравнивать его с Кудрявцевым. Но сильно ли понравится тебе его повесть или и вовсе не понравится, — во всяком случае, ты увидишь великую разницу между Гончаровым и Кудрявцевым в пользу первого. Эта разница состоит в том, что Гончаров — человек взрослый, совершеннолетний, а Кудрявцев — духовно-малолетний, нравственный и умственный недоросль» (Белинский. Т. IX. С. 630). И далее, размышляя о любовной коллизии у Кудрявцева, А. Д. Галахова (повесть «Кукольная комедия») и Гончарова, критик заключал: «Вот и в повести Гончарова любовь играет главную роль, да еще такая, какая субъективно всего менее может интересовать меня: а читаешь, словно ешь холодный полупудовый сахаристый арбуз в знойный день» (Там же. С. 631). Ответ Боткина не сохранился; в нем, судя по его другому мартовскому письму, содержался лестный отзыв о романе Гончарова.

В письме к Боткину от 15—17 марта 1847 г. Белинский с большим подъемом и явной увлеченностью развивает тему успеха «Обыкновенной истории» в публике: «Повесть Гончарова произвела в Питере фурор — успех неслыханный! Все мнения слились в ее пользу. (...) Действительно, талант замечательный. Мне кажется, что его особенность, так сказать личность, заключается в совершенном отсутствии семинаризма, литературщины и литераторства, от которых не умели и не умеют освобождаться даже гениальные русские писатели. Я не исключаю и Пушкина. У Гончарова нет и признаков труда, работы; читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерской изустный рассказ. Я уверен, что тебе повесть эта сильно понравится. А какую пользу принесет она обществу! Какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму!» (Там же. С. 634).¹ Ответное письмо Боткина от 27 марта содержало тонкий и в высшей степени лестный разбор романа Гончарова. Он во многом соглашается с Белинским, но, надо отдать должное Боткину, его отзыв глубже и в нем отсутствует эмоциональная односторонняя увлеченность. Интересно сопоставляет Боткин Гончарова и Достоевского. Спорно в отзыве Боткина, пожалуй, лишь противопоставление «беллетрист — художник», но это, в сущности, вполне понятная осторожность в оценке первого произведения. «Я писал уже тебе, — напоминал он Белинскому, — что повесть Гончарова просто поразила меня своею свежестью и простотою, — и продолжал: — Я вообще на чтение всякой русской повести смотрю как на большой труд; с таким же чувством принялся я за чтение повести Гонч(арова). Как же велико было мое удивление, когда я не в силах был оставить книги и прочел ее, как будто в жаркий летний день съел мороженого, от которого внутри остается самая отрадная прохлада, а во рту аромат плода, из которого оно сделано.

Этой изящной легкости и мастерству рассказа я в русской литературе не знаю ничего подобного. И как все это ново, свежо, оригинально. Ты совершенно справедливо замечаешь, что особенное ее достоинство заключается в отсутствии (не одного только) семинаризма — (а именно) литературщины и литераторства. И как это умно, и дельно, и тонко. Мне тяжело вспомнить вычурного Достоевского, хотя должно признаться, что у этого, при всей его тугости и смуте, есть глубинное чувство трагического. Но до него надо докапываться — сквозь целые груды навоза. Гончаров, по мне, превосходный беллетрист, но не

¹ Радовался Белинский, конечно, и успеху своего журнала. Он писал Боткину 22 апреля 1847 г.: «После повести Гончарова подписка заметно оживилась» (Там же. С. 641).

художник; именно эта очаровательная легкость, эта неотразимая читаемость суть признаки высокого беллетристического таланта. Процедура художника всегда труднее; он всюду втирается в глубину и сущность, от этого он читается нелегко, — нелегко потому, что он слишком много вдруг дает уму и фантазии, — ну и прочее. Ты замечаешь, какой удар повесть Гончарова нанесет романтизму — и справедливо; а мне также кажется, что от нее и не очень поздоровится арифметическому здравому смыслу: словом, она бьет обе эти крайности. Я ничего не знаю умнее этого романа».¹

Эпистолярный отзыв Боткина не только один из первых критических откликов на часть первую «Обыкновенной истории», но, безусловно, один из самых значительных и пронизательных. Этот диалог Белинского и Боткина стал многообещающей увертюрой к шумному и исключительному даже на фоне других литературных сенсаций 1840-х гг. («Бедные люди», «Антон Горемыка», «Полинька Сакс», «Кто виноват?») успеху романа в современной критике. Самый ранний печатный отзыв о романе принадлежал критику, выступившему под криптонимом: «В. М.», который весьма благосклонно приветствовал появление на русском литературном горизонте нового яркого таланта: «Дарование г-на Гончарова — дарование самобытное: он идет своим путем, не подражая никому, ни даже Гоголю, а это не безделица в наше время».²

Затем последовала рецензия А. А. Григорьева (*МГЛ*. 1847. 28 марта. № 66; 29 марта. № 67; 3 июня. № 119; подпись: «А. Г.»). Эта рецензия, вызвавшая вскоре столь неумеренные и резкие нападки критиков полярных направлений, замечательна во многих отношениях. Выписав первые строки «Обыкновенной истории», Григорьев сразу же поставил произведение в один ряд с самыми известными русскими романами. По его мнению, это, может быть, «лучшее произведение русской литературы со времени появления „Мертвых душ“, первый опыт молодого таланта (...) по простоте языка достойный стать после повестей Пушкина и почти наряду с „Героем нашего времени“ Лермонтова, а по анализу, по меткому взгляду на малейшие предметы вышедший непосредственно из направления Гоголя» (№ 66).

Первую часть рецензии на часть первую «Обыкновенной истории» Григорьев посвящает «истории об Аграфене и Евсее». Покоренный искусством Гончарова, он особенно подробно останавливается на образе Аграфены Ивановны, замечая в итоге, что «искусство (...) осветить этот грубый образ глубоким чувством показывает будущего великого автора» (№ 66). Григорьев выписывает сцену прощания Евсея с Аграфеной Ивановной, сопровождая ее поэтическим комментарием, даже цитируя стихи Шиллера: «Нечего пояснять, как глубока эта сцена, как хорошо это грубое восклицание: „У! проклятый!“, в котором осязательно, ошутительно высказалось все — и горе разлуки, и злость гиены, и благодарность, нежная по-своему, за ревность, высказанную на прощанье Евсеем, и воспоминание, наконец, о многих минутах, в которых это слово (...) было выражением полного экстаза женщины... Да не удивятся, что чувство, которым просветлен этот грубый образ Аграфены, мы назовем лучшим ее чувством. Это только низшая степень той Freude, той струи, бегущей по жилам мироздания, той связи миров повсюду сухих, которой расцвет в великолепии розы, в обаянье любви Ромео и

¹ Боткин В. П. Литературная критика. Публицистика. Письма. М., 1984. С. 268—269.

² Вед. санктпетербургской гор. полиции. 1847. 8 марта. № 54.

Юлии, в божественном гимне Шиллера, — но не надобно только забывать того, что, по словам этого гимна,

Wollust war dem Wurm gegeben
Doch der Cherub steht vor Gott;¹

что не одинаково светит Божье солнце на небе Украины и на туманном небе Лапландии, но что везде и повсюду видна мысль Божья, мысль любви, даже в самых бледных отражениях» (№ 66).

Во второй части рецензии на часть первую романа Григорьев, по его собственным словам, не мог оторваться от «почвеннических» (или «растительных») образов (в отличие от тех, что принадлежат «цивилизации»). Среди них он называет Антона Иваныча, «мастерски схваченного типа из русской жизни, живущего необходимостью именно потому, что ему незачем и не для чего бы, кажется, жить; советодателя именно потому, что он в жизнь свою не подал ни одного совета; распорядителя везде и всегда, не распоряжающегося ровно ничем» (№ 67). Отвел он достойное место в своем отзыве и матушке Александра, отметив, что «автор чертил этот образ с какою-то особенною любовью», и сопоставив ее с героинями Герцена, Гоголя, Панаева: «Матушка Александра Федорыча не мать Бельтова, благородная, нежная мечтательница, воспитавшая сына на страдание, т. е. на неудовлетворение действительностью, — с другой стороны — не страшная фигура гоголевского *отрывка с верою в Провидение*, поддерживающею ее в таких крайних обстоятельствах, как насмешка над тем, что сын ее не военный, — не мать, наконец, панаевской Наташи, с нервическими припадками по желанию, с нравственностью и родственною любовью, — нет, это просто добрая женщина, хоть не *простая* женщина, русская деревенская барыня, которая беззаветно и непосредственно любит сына, подчиняется его влиянию, живет его волею, прощает и забывает все, не смеет жаловаться — но в которой уничтожение собственного эгоизма дошло до уничтожения понятия всякого долга нравственного до того, что она готова потакать всякой сыновней мерзости...» (№ 67). Григорьев проницательно указал на сильное влияние этой русской деревенской барыни (а в ней есть «и глупое чванство, и неуважение к святости обетов») на сына, во многом пагубное: «...в этой доброй матушке — *fatum* Александра — все его наклеенные понятия о том, что 1) родных должно любить как родных, не выдавши в глаза; 2) что в человеке нет чувства, если он не вешается на шею и не ломает стульев, хотя бы *казне в убыток*, как учитель истории в гоголевском „Ревизоре“; 3) что есть на свете *добрые* и *злые* люди, которых тотчас же отличишь, как будто по ярлыкам, — все эти понятия связаны с понятиями того тесного мира, в который заключила его нестрогая любовь матушки» (№ 67).

Григорьев не видит принципиальной разницы между патриархальными прописями, порожденными «тесным миром» провинциального сознания, и новыми понятиями, приобретенными Адуевым в университете: «Александр не расширил своего взгляда на Божий мир в высшем учебном заведении; он только расплодил в себе самом прежние призраки, старые впечатления одел в новую и то даже не светскую одежду (...) он не человек *по мысли Божией*, он такой же сын цивилизации, как и тот умный человек, с которым суждено ему встретиться, — только цивили-

¹ Насекомым — сладострастье, Ангел — Богу предстоит (нем.; пер. Ф. И. Тютчева).

зация эта — низшая степень, цивилизация околodka, а все-таки цивилизация. Все широковещательные фразы, слышанные им на лекциях, остались для него фразами без смысла, и потому-то он говорит их так, что даже не только дальновидному Петру Ивановичу, но и всякому порядочному человеку покажутся они вздором, бурей в стакане воды, усилившем лягушки раздуться в вола...» (№ 67).

Анализируя суть отношений между племянником и дядей, Григорьев значительное больше места уделяет Петру Ивановичу, чем слабому и во всем, с его точки зрения, вторичному, подражательному Александру с его нелепым ораторством, заемным романтизмом и «детскими фразами» («Мы не станем пересказывать всех *разочарований* Александра, — с некоторым пренебрежением пишет он, — везде и постоянно, но, как разумеется, он является как бы одураченным: это уж в натуре вещей»). К Петру Ивановичу, его «околодочной» цивилизации и практической хватке, Григорьев, демонстративно называвший себя «ненужным человеком» и «последним романтиком», относится враждебно, с иронией и сарказмом: «...человек, что называется, *положительный*, т. е. человек, принявший за положительный, несомненный факт все, что есть ложного в цивилизации, и освоившийся с этой ложью до того, что ему в ней привольно и любо, не отрицающий ничего, даже чувства; ибо самые объятия отстраняет он не потому, чтобы отвергал или ненавидел чувство, а потому что они неприличны, человек благородный, не отказывающий племяннику даже в деньгах, но вместе с тем предупреждающий его, что это всегда нарушает согласие между порядочными людьми. (...) Это не демон, желающий разочаровать человека, — он, во-первых, никогда не хочет ни к кому ни с чем навязываться, даже и с разочарованием, а во-вторых, он сам потом запутывается в сетях своей собственной лжи или, лучше сказать, во лжи мнимой цивилизации, и притом же в нем не погасли человеческие чувства потоплику, поколику они не противоречат расчетам» (№ 67). Язвительно характеризует Григорьев ненавистную ему «старую философию здравого смысла», которая «привыкла давно уже смотреть на *любящееся* человечество как на *bellum omni(um) contra omnes*¹ — привыкла следовать правилу мудрых: *caritas pe caritatis*,² делить род человеческий на ловцов и ловимых и практически выполнять то, что русский выражает словами „в мутной воде рыбу ловить“» (№ 67).

Григорьев испытывает явное удовлетворение от того, что эта сила неожиданно пасует перед другой, несомненно высшей: Петр Иванович оказывается в роли побежденного перед своей юной женой — терпит поражение «философия, свойственная мнимой цивилизации», «наперекор хитросплетенной системы расчета (...) возникает явление новое и небывалое, вооруженное и силою небывалою...» (№ 67). Все симпатии Григорьева на стороне Лизаветы Александровны и других героинь романа. Покорила его и Надинька, которой он посвящает восторженный этюд с очень далеко идущими параллелями: «Это уж не покорное дитя домашней и городской цивилизации, это капризная девчонка, которая и зла и добра, и проста и лукава, и ждет человека с тайным трепетом молодого, бьющегося от жажды любви сердца, и мучит его своенравием, и так мило дразнит его... (...) Чудная, капризная девочка — она выше и Александра с его неистовствами, и Петра Иваныча с его холодным рассудком; в ней есть такт женщины, который запрещает ей дурачиться

¹ войну всех против всех (лат.)

² бери, пока берется (лат.)

как первый; в ней есть сердце, которого существование довольно смутно только постигается вторым; в ней есть все, все, что составляет пищу для добра и зло для жизни. Понятно, почему она и полюбила и разлюбила так скоро героя романа — полюбила она его потому, что полюбила первый трепет страсти; разлюбила очень легко, потому что другой образ заслонил его своим блеском. Такие существа, как Надинька, созданы властвовать, а между тем жадно ищут подчиниться; подчиняются беззавестно, всегда не иначе как равнодушной, самосознательной силе, и то ненадолго. Натура влечет их вперед, вперед, и они кончают в наш век безысходным страданием Лелии, как в XVIII веке кончила бы вакхическим самозабвением подруг Казановы, как во время падения древнего мира кончила бы развратом Мессалины». Правда, спохватившись, что увлекся столь далекими историко-литературными параллелями, Григорьев корректирует мысль: «Таковы, по крайней мере, данные этой натуры...» (№ 67).

Рецензию Григорьева критика подвергла безжалостному осмеянию. Первой «одернула» его «Северная пчела». Сам редактор газеты, Ф. В. Булгарин, в фельетоне «Журнальная всякая всячина» (СПч. 1847. 12 апр. № 81) не без злорадства восклицал: «Видите ли, в чем составляет „натуральная школа“ гениальность! В метком взгляде на мелочные предметы! Вот оно! Вот то, что мы говорим в течение десяти лет!...». Григорьев, с точки зрения Булгарина, продолжил то скоропалительное возведение русских литераторов в гении, которым давно уже занимался Белинский: «После господина Гоголя, приводившего в отчаяние спекуляторов своим молчанием, выдвинули из толпы другого молодого человека, господина Достоевского, и назвали его *гением, равным Гоголю* (...) для того только, чтоб обратить внимание публики на тот журнал, где печатались сказки г. Достоевского. Попытка не удалась! Теперь ударили в барабан о третьем гении, господине Гончарове, напечатавшем в „Современнике“ повесть „Обыкновенная история“. В муравейнике больше крика об этой повести, чем было крика в Европе при появлении первой поэмы Байрона и первого романа Вальтер-Скотта». Тем не менее Булгарин отозвался о романе Гончарова гораздо снисходительнее, чем в свое время о «Мертвых душах» и других произведениях Гоголя, не возвышавшихся, по мнению критика, над фривольными сочинениями Поль де Кока: «...„Обыкновенная история“ (...) несколько не похожа на повести г-на Гоголя, потому что хотя у г-на Гончарова и есть просторечие, но нет вовсе грязностей...» (Там же). Сомнительно, чтобы Гончарову польстило столь нелепое сравнение.

С ироническими выпадами против Григорьева выступил и «Я. Я. Я.» (Л. В. Брант), присяжный критик газеты. В рецензии на весь роман Гончарова (СПч. 1847. 21 апр. № 88; 22 апр. № 89) Брант в свойственном ему гиперболическом стиле писал: «Стоустая молва, схватив под мышку две книжки „Современника“ и досадуя, что не успела еще железная дорога, посакала в Москву по шоссе, и вот „Московский городской листок“, это послушное эхо известной литературной партии, торжественно провозгласил, что „Обыкновенная история“, роман г-на Гончарова, лучшее произведение русской литературы со времени появления „Мертвых душ“, первый опыт молодого таланта, опыт, по простоте языка достойный *стать* (а может быть, и *сесть*) подле повестей Пушкина и почти наряду с „Героем нашего времени“ Лермонтова» (№ 88).

По давно, со времен Белинского, сложившейся традиции в рецензии Бранта принято видеть нечто безвкусное, пошлое, даже ретроградное; считалось, что в ней вполне проявилось «разнузданное воображение

реакционного фельетониста» (*Цейтлин*. С. 92).¹ Упреки эти справедливы лишь отчасти. Действительно, нелепы высокомерные советы критика Гончарову «не строить больше повестей на песке, то есть на шатком основании ложной или цасильственной мысли». Несколько игривы рассуждения критика по поводу отношений между Александром Адуевым и Лизаветой Александровной: «Они целые дни проводят наедине, между тем как положительный Петр Иванович занят своими делами. Будь племянник менее честен и более догадлив, он при сем случае легко мог бы преподать практическому дяде важный урок, так что Петр Иваныч, несмотря на всю свою рассудительность и систематичность, конечно, разгорячился бы и невольно схватился бы за лоб свой. Но племянник не догадался, может быть к некоторому тайному неудовольствию прекрасной тетушки» (№ 89).² Но о пошлости и разнузданности здесь говорить вряд ли возможно.

Да и вообще Бранту нельзя отказать в наблюдательности и даже некоторой психологической проницательности. Критик верно угадал, что «Обыкновенная история», являясь первым печатным произведением Гончарова, принадлежит опытному автору, а не робкому неопиту, что, по всей видимости, роману предшествовало немалое количество литературных проб и опытов: «Автор владеет языком твердо и искусно, и хотя не печатался до сих пор, но видно, что давно уже пишет: с первого раза, вдруг, нельзя приобрести той чистоты, правильности и определенности выражения, каким отличаются его гладкие и округленные периоды, обличающие руку уже навыкшую и довольно опытную» (№ 88). Столь же справедлива его догадка о том, что повесть писалась долго, «старательно обрабатывалась (...) обдумывалась, оттого в ней и нет промахов в отношении к внешней постройке, к расположению частей и целого...» (№ 88). Правда, с опытностью автора и обработанностью романа критик связывает не только достоинства, но и недостатки проигрывающего в непосредственности произведения, в котором «нет (...) прелести, теплоты создания, нет почти ничего возбуждающего сочувствие и живой интерес со стороны читателя. Это не повесть, а скорее холодное рассуждение в лицах на заданную тему, скрывающую в себе притом мысль ложную, тонкий парадокс, которому автор тщетно силится придать неоспоримость аксиомы» (№ 89). Этот жесткий приговор, однако, близок устным упрекам в холодности и подчеркнутой авторской объективности, которые, как вспоминал Гончаров, ему приходилось слышать от Белинского: «„Вам все равно, попадется мерзавец, дурак, урод или порядочная, добрая натура, — всех одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни к кому!“ И это скажет (и не раз говорил) с какою-то доброю злостию, а однажды положил ласково после этого мне руки на плечи и прибавил почти шепотом: „А это хорошо, это и нужно, это признак художника!“ — как будто боялся, что его услышат и обвинят

¹ См. также: *Пиксанов. Белинский в борьбе за Гончарова*. С. 57—87; *Мордовченко Н. И. Белинский и русская литература его времени*. М.; Л., 1950. С. 277—279 и комментарии почти ко всем изданиям «Обыкновенной истории».

² Тут Брант грубовато развивает один из мотивов статьи Григорьева, удивлявшегося тому, «как спокоен Петр Иваныч, когда, проболтавшись с племянником (...) о системе своей (...) видит и слышит, что жена подслушала его; чувствует, что надобно выдумать новую систему, но спокойно спит, когда молодая двадцатилетняя женщина утешает дружно молодого человека, разочарованного в любви» (*МГЛ*. 1847. № 67).

за сочувствие к бестенденциозному писателю» («Заметки о личности Белинского»).

Отношение Бранта к деловому дядюшке резко отрицательное — здесь он просто повторяет некоторые мысли Григорьева: «Он не зол, но и доброты его ни в чем не проявляется; он не подлец, но автор не привлек нас к этому характеру ни одним великодушным поступком его: повсюду виден в нем если не отвратительный, то сухой и холодный эгоист, человек почти совершенно бесчувственный, измеряющий счастье и несчастье людское одними лишь денежными приобретениями или потерями» (№ 89). Не разобравшись в сложной диалогической композиции романа и его центральном конфликте, критик бросает автору упрек в тенденциозности, сухости и пристрастности: «...видя, с какой любовью и сосредоточенностью рисует автор характер Петра Ивановича, как бы влагая в уста его собственные суждения и собственный взгляд на предметы, замечая старание его опозлить всякое сердечное движение Александра, всякий порыв чувств его, столь свойственные и извинительные молодости, не можем не заключать и о другом, по-видимому, гораздо сильнейшем желании автора, именно доказать, что все порядочные люди должны походить на Петра Ивановича, тогда как Петр Иванович машина, мастерски слепленный автомат, а не живой человек» (№ 89).

Вызвала раздражение Бранта (как, впрочем, почти всех других критиков 1840—1850-х гг.) и развязка романа («оставляет какое-то неприятное впечатление, ничего не говорит сердцу»). Но критику делает честь то обстоятельство, что он смог оценить трагическую чистоту и целомудренность сломленной «системой» мужа Лизаветы Александровны: «грустный, задумчивый образ бедной Лизаветы Александровны, лучшее создание авторского воображения, тяжело ложится на душу читателя» (№ 89).

Белинский, не без основания чувствовавший себя крестным отцом «Обыкновенной истории», радовался успеху романа в публике и у ближайших друзей, но с критическим разбором не спешил, полагая, что разумнее подождать с ним до итоговой статьи о лучших литературных произведениях года. Однако мнения критиков-фельетонистов «Северной пчелы» и весьма раздражившая его статья Григорьева побудили Белинского выступить предварительно с «антикритикой» по поводу «Обыкновенной истории» в «Современных заметках» (С. 1847. № 5. Отд. IV. С. 125—126).

Собственно о романе Гончарова Белинский на этот раз говорит очень мало. Рикшетом задевая Григорьева, он полемизирует главным образом с мнениями Булгарина (иронически именуемого фельетонистом «Правдолюбивой газеты») о поэзии Некрасова, о произведениях Гоголя, Достоевского, И. И. Панаева и романе Гончарова: «Но у нашего фельетониста есть еще и стратегема, которой он постоянно держится: он не всегда прямо нападает на новое произведение, имевшее большой успех, но дожидается для этого появления какой-нибудь неловкой критики в его похвалу. Таким образом в фельетоне 69 № он привязался к стихам г-на Некрасова (...) по поводу весьма неловкой статьи в одном листке, где весьма неукложе расхваливаются стихи г-на Некрасова и „Обыкновенная история“, повесть г-на Гончарова. Фельетонист, по своему обыкновению, смешал стихи с статьею и силится сделать стихи нелепыми на том основании, что статья кажется ему нелепою, и от этого „натуральная школа“ становится в его глазах еще виноватее. Вот уже подлинно — без вины виноват! Да чем же виноват автор, что кто-то хвалит его неловко, чем виновата школа, что о ее произведениях кто-то, хваля их, пишет странно и смешно?.. (...) О г-не Гончарове никто и

нигде не бил в барабан. Фельетонист „Правдолюбивой газеты” указывает, в подтверждение своего мнения, все на ту же несчастную статью одного незначительного листка. (...) Но этот листок издается в Москве, и ни г-н Гончаров, ни „натуральная школа” не имеют ничего общего ни с листком, ни с его забавною статьею. Тут нет никакой стачки, и автор статьи в листке может быть в глазах фельетониста „Правдолюбивой газеты” *ультранатуралистом натуральной школы и поклонником высокого пиитического таланта г-на Некрасова*; но ни „натуральная школа”, ни г. Гончаров и Некрасов в этом не виноваты нисколько. Мало ли кому придет в голову сравнивать „Обыкновенную историю” с „Героем нашего времени”: г-н Гончаров не может же запретить писать о нем хотя бы и вздор, — но зато не может и отвечать за него. А статья, на которую нападает фельетонист как на сочинение „натуральной школы”, действительно отличается качествами, от которых очень далеки ум и такт, свойственные людям зрелого возраста» (*Белинский*. Т. VIII. С. 571—572, 577—578).

В качестве еще одной иллюстрации нелепой критики Белинский приводит цитаты из рассуждений Григорьева по поводу истории Евсея и Аграфены. Белинский, безусловно, высокого мнения о Гончарове-художнике: «Читавшие повесть господина Гончарова, конечно, заметили, с какою тонкою наблюдательностию, как метко и верно изобразил он отношения Евсея к Аграфене. Мысль представить чувство любви в форме грубой, такая мысль оригинальна; в первый раз она выражена в поэтическом произведении, притом мастерски. Вот все, что, в главном и существенном, можно сказать об эпизоде любовных отношений Евсея к Аграфене» (Там же. С. 578). Но неумеренные восторги Григорьева, романтически-приподнятый стиль статьи, далекие литературные ассоциации критика Белинский высмеивает беспощадно. В статье Григорьева, действительно, ощутимы литературная неопытность и эмоциональная чрезмерность. И все же Белинский, пожалуй, чересчур суров к критику. Он обращается с ним крайне высокомерно, пренебрежительно, как бы между прочим уничтожая его статью на фоне фельетонов постоянного его противника — Булгарина. Приговор его Григорьеву-критику незаслуженно строг: «Дело ясно говорит само за себя: в этих надутых фразах, в этой великолепной шумихе звонких слов, в этих общих риторических местах не видно даже юношеского энтузиазма, который бы давал им смысл и до некоторой степени оправдывал их, а видна только претензия на философское глубокомыслие, проникнутое лирическим пафосом» (Там же).

Григорьева, разумеется, не могла не огорчить реакция на его статью самого авторитетного русского литературного арбитра и законодателя в критике, каким был Белинский в 1840-е гг. (насмешливый тон «Северной пчелы» его по понятным причинам мало трогал). Отвечать он, правда, не стал. Возможно, не успел — статья о части второй «Обыкновенной истории» по неизвестным обстоятельствам осталась незаконченной. Но в самом начале этой статьи он ясно дал понять, что Белинский не убедил его: «В разборе нашем первой части этого прекрасного романа, повторяем, едва ли не лучшего после „Героя нашего времени” — и сказать это отнюдь не значит, как хотят уверить нас, сказать, что „Герой нашего времени” не лучше „Обыкновенной истории”...» (*МГЛ*. 1847. 3 июня. № 119). Вновь Григорьев обращает внимание на продолжение истории Евсея и Аграфены — сцену встречи полюбившихся ему героев из народа. На этот раз он предвосхищает концепцию А. В. Дружинина о «фламандской» живописи Гончарова: «Сцена весьма искусная, она так и просится в картину русского Теньера» (Там же). Искусство Гончарова объективно в противоположность творчеству Панаева, одного из самых

близких к Белинскому литераторов: «Во всех этих сценах домашнего быта виден художник, придающий все полотну и кисти *sine ira et studio*,¹ без намеренной злости, проговаривающейся часто в остроумных описаниях И. И. Панаева» (Там же). Из новых лиц романа Григорьев выделил Костякова («Автор в немногих словах истинно мастерски очертил это лицо...») и Тафаеву, о которой отозвался сдержанно («Черты этого образа несколько преувеличены — но такие дамы вообще не редки»).

Без последствий насмешки Белинского все-таки не прошли: вторая статья Григорьева гораздо сдержаннее первой, однотоннее в стилистическом отношении; в ней нет далеких литературных ассоциаций, пространных шуточных и лирических авторских отступлений. По отношению к Лизавете Александровне симпатия критика сохранилась (и даже усилилась): «Петр Иванович был вполне прав, когда спал во время разговоров и душевных излияний жены с племянником, — он знал вполне, что женщина не всегда властна разлюбить мужчину, который к ней полуравнодушен, и не знал одного только, что потребность любить в иной женщине задушит ее, если останется без сочувствия; этого он не знал и потому горько и жестоко ошибся» (Там же). Ее убила «философия здравого смысла», которая «погубила, иссушила душу (...) погубила безвозвратно и безнадежно».

Развязку, последнее объяснение дяди и племянника, Григорьев, судя по всему, относил к наиболее сильным страницам романа, в новом свете и с неожиданной стороны демонстрирующим драматические возможности художественного дарования Гончарова: «Есть что-то трагическое в этом объяснении. Да не обвинят меня в злоупотреблении эпитета: трагическое (...). Человек обманулся (...) знает, что тот же подрыв ждет непременно и другого — и не говорит ему ни слова, поздравляет, обнимает его (...) есть что-то роковое в этой лжи мнимой цивилизации, в этой необходимой гибели женщины, в этой безысходной бездне разочарования и безочарования».

Обрывается статья Григорьева на полуслове перечислением литературных достоинств «Обыкновенной истории»: «Психологическое содержание романа изложено по возможности подробно, важность задачи ясна, мастерство исполнения ярко кидается в глаза всякому» (Там же). В 1850-е гг. Григорьев будет многократно обращаться к первому роману Гончарова, высказывая при этом во многом другие суждения, органической частью вошедшие в его концепцию творчества писателя, к главным тенденциям и интенциям которого или, как принято было говорить в прошлом столетии, к направлению которого он относился резко критически (см. об этом ниже, с. 734—736).

Положительный, хотя и сдержанный, отзыв о романе был помещен в фельетоне «Петербургская летопись» в газете «С.-Петербургские ведомости»: «...роман хорош. В молодом авторе есть наблюдательность, много ума; идея кажется нам немного запоздалою, книжною, но проведена ловко. Впрочем, особенное желание автора сохранить свою идею и растолковать ее как можно подробнее придало роману какой-то особенный догматизм и сухость, даже растянуло его. Этого недостатка не выкупает и легкий, почти летучий слог г-на Гончарова. Автор верит действительности, изображает людей как они есть. Петербургские женщины вышли очень удачны» (СПбВед. 1847. 13 апр. № 81; подпись: «Н. Н.»²).

¹ без гнева и пристрастия (*лат.*)

² Скорее всего, фельетон принадлежит А. Н. Плещееву, но вероятно и соавторство с Ф. М. Достоевским. В изд.: *Достоевский*. Т. XVIII.

В 1848 г. появились большие журнальные статьи о важнейших литературных событиях минувшего года, среди которых особое место занял роман Гончарова. С литературным обзором «Русская литература в 1847 году» выступил критик и писатель А. Д. Галахов (ОЗ. 1848. № 1. Отд. V). В некоторых пунктах своей статьи он обнаружил близость к знаменитому последнему литературному выступлению Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (С. 1847. № 1, 3. Отд. III), что было отмечено Белинским в письме к нему от 4 января 1848 г.: «Кто прочтет общую часть и моей и Вашей статьи, тот, право, подумает, что мы согласились говорить одно и то же. Но как только дойдет дело до оценки литературных произведений, тогда — иная история: посылай за стариком Белинским, а без него плохо» (Белинский. Т. IX. С. 711). Конкретные оценки в обзорах Галахова и Белинского действительно почти не совпадают, да и в общих рассуждениях близости нет. Очевидно и колоссальное различие между ординарной критикой и шедевром.

Начал анализ романа «Обыкновенная история» Галахов с совершенно ложной посылки, по сути предопределившей последующие просчеты критика: «В произведении талантливого автора, как и во всяком поэтическом произведении, отличим идею от формы» (ОЗ. 1848. № 1. С. 18). Идеи (или основные мысли) романа никакого сочувствия у Галахова не вызывают. Он обвиняет Гончарова в тенденциозности: «Мысль автора — противопоставить два направления жизни: романтическое (в лице Александра Федорыча) и практическое (в лице его дяди, Петра Иваныча). Несмотря на преобладание в повести эпического характера, при котором автор мог бы, кажется, оставаться лицом совершенно посторонним, чуждым участия в созданном им событии, иногда тон рассказа, а чаще подбор обстоятельств явно показывают, что он склоняется на сторону Петра Иваныча и враждует Александру Федорычу» (Там же). Критик очень сожалеет о сочувствии автора практическому, деловому Адуеву и, как бы для того чтобы исправить эту односторонность, чрезвычайно неслестно его характеризует: «Все действия Петра Иваныча заключены в пределах рассудочности: он даже не сумел сделаться широким себялюбцем — эгоизм его узок. Напрасно хвалится он перед племянником, что он следит за современными вопросами и читает постоянно три-четыре иностранных журнала: к чему привело его это чтение? К бессилию освятить ежедневные хлопоты каким-нибудь широким замыслом, поставить впереди коммерческих расчетов достойную цель жизни! (...) Жена Петра Иваныча зачахла, что весьма естественно, ибо чахнет живущее подле узкого эгоизма и холодной положительности, которой позволено существовать на свете под одним только условием — как противоположному полюсу романтизма, доходящего в иперболическом развитии до чрезвычайно смешного. Нет, пусть при людях останется романтизм, если уж он необходимо должен переходить в *такое* деловое направление, какова положительность Петра Иваныча!» (Там же. С. 18—19). Более всего критик упрекает романиста в гиперболизме, полагая, что это сильно повредило центральному конфликту «Обыкновенной истории», превратив ее, так сказать, в «необыкновенную»: «Не знаем, почему автор, владея несомненным талантом, не хотел изобразить романтизм в его неиперболическом развитии и положительность в ее разумном стремлении. Все естественное право, все разумное хорошо... Если же он скажет просто (а он сказать

С. 111—115 — он помещен в разделе «Приложение I»; см. там же в примечаниях о возможных авторах фельетона (С. 302—304).

это вправо): „Я не хотел”, то в таком случае мы попросили бы его ограничить название своей повести прибавкой некоторых признаков, определяющих место, время и другие обстоятельства. Пусть, например, это будет: „обыкновенная история грачевских романтиков и петербургских положительных людей”. Мы уверены, что в других местах и в другие времена как романтизм, так и положительность принимают менее иперболическое проявление и приводят к более разумным целям» (Там же. С. 19). Конечную цель Гончарова Галахов представляет себе так: «...намеренное желание изобразить романтизм в иперболических размерах, заданная самому себе цель — поразить орудием насмешки то, что теперь вовсе не ко времени, чему очень долго мы служили и в жизни, и в науке. Это как бы мшение за вред, причиненный романтической настроенностью и теперь еще по временам причиняемый ею. А цель унизить несовременное направление человека оправдывает недостатки каждого действия, следовательно, и эстетического произведения» (Там же. С. 20).

Крайне неохотно признав закономерной тенденциозность идеи романа, на «форме», художественной стороне дела Галахов останавливается довольно бегло: «Что касается до художественного исполнения, оно обнаруживает замечательный эпический талант; характер романа резко отличается объективным, скульптурным изображением действительности, что нынче очень редко, при существующей охоте подавать непременно свой голос в событиях или чувствах. Автор понимает свою силу, которая вся состоит в искусстве описательном и подчас употребляет ее во зло, то есть: дает ей больше воли, чем бы следовало, останавливаясь очень долго на изображении кой-каких предметов, например горящей рукописи, грозы в деревне» (Там же. С. 20).¹ Похвалы Галахова Гончарову-художнику общи, банальны, переходят в несправедливые упреки (сцены, в которых критик усмотрел длинноты, одни из лучших в романе). После этих формальных замечаний о достоинствах романа Галахов приводит «арифметический» перечень недостатков: «Первый — отсутствие трагизма, который вытекает из глубокого чувства человеческих страданий: роман г-на Гончарова, с начала до конца, проникнут комизмом, от которого автор и не должен, да и не может освобождаться, потому что таково природное направление его таланта. Второй — величина сочинения: автор пишет так умно, что длинные разговоры дядюшки с племянником не кажутся (только что не кажутся) длинными; но для разумеющего читателя несоразмерность между двумя частями романа очевидна: вторая половина некоторым образом убивает первую, т. е. ослабляет впечатление, ею производимое. Наконец, третий недостаток — лицо Петра Иваныча: оно решительно не типическое, а созданное для выказанья смешных сторон романтизма. Полного человека в нем нет: в нем одна только сторона — та, которую он обращает к романтизму своего племянника» (Там же. С. 20—21).

Сопоставляя две литературные сенсации года — «Обыкновенную историю» и «Кто виноват?» Герцена, Галахов отдает предпочтение второму роману как в идейном, так и в художественном отношениях: «Повесть г-на Гончарова прочтена и понята всеми: обстоятельство,

¹ Высоко оценил художественные достоинства романа (особенно язык) С. П. Шевырев: «Г-н Гончаров написал вещь замечательную, а язык его выше языка других, потому что он глубже спускается в русскую жизнь, в высших слоях нашего народа. Все будет зависеть от того, как он глубоко сойдет в нее и в ее коренные основы» (М. 1848. № 1. С. 42).

говорящее столько же в пользу ясного поэтического представления, сколько против представления неглубокого. Повесть Искандера прочтена, но не всеми понята одинаково, а иными не понята вовсе: верное свидетельство глубокого взгляда на жизнь. Первая не простирается дальше наблюдений над внешним, поверхностным; вторая поставляет важные вопросы, так что в голове мыслящего читателя остается не только содержание того, что он читал, но и мысли о том, на что указала повесть и для представления чего нужны еще многие повести, для решения чего нужны многие рассуждения. (...) Такие лица, как Петр Иванович и его племянник, по плечу всем; но такие лица, как Бельтов и Круциферская, выше очень многих. Вот почему роман Искандера мы ставим гораздо выше романа г-на Гончарова» (Там же. С. 21).

Белинский, как он уже задумал осенью 1847 г., начал «обозрение изящной литературы за прошлый год» с романов Гончарова и Герцена,¹ указав на различие своего метода анализа от принципа сопоставления «Обыкновенной истории» и «Кто виноват?» в статье Галахова: «Потому ли, что оба эти романа — „Кто виноват?“ и „Обыкновенная история“ — появились почти в одно время и разделили между собою славу необыкновенного успеха, — о них не только говорят вместе, но еще и сравнивают их между собою, будто явления однородные. (...) Мы тоже намерены, в разборе этих романов, ставить их вместе, но не для того, чтобы показать их сходство, которого между ними, как произведениями совершенно различными по их сущности, нет и тени, а для того, чтобы самую их взаимную противоположность вернее очертить особенность каждого из них и показать их достоинства и недостатки» (Белинский. Т. VIII. С. 373). Объективность и разумная взвешенность позиции критика, наконец, широта его воззрения на литературное творчество заявлены сразу же; он радуется различиям, противоположностям, несхождениям, неоднородности. И в очень спокойном тоне Белинский почти по всем пунктам возражает Галахову. Он восхищается (в противоположность Галахову, писавшему о длиннотах) диалогическим искусством Гончарова: «Некоторые жаловались на длину и утомительность разговоров между дядею и племянником. Но для нас эти разговоры принадлежат к лучшим сторонам романа. В них нет ничего отвлеченного, не идущего к делу; это — не диспуты, а живые, страстные, драматические споры, где каждое действующее лицо высказывает себя как человека и характер, отстаивает, так сказать, свое нравственное существование. Правда, в такого рода разговорах, особенно при легком дидактическом колорите, заброшенном на роман, всегда легче было споткнуться хоть какому таланту; но тем больше чести г-ну Гончарову, что он так счастливо решил трудную самую по себе задачу и остался поэтом там, где так легко было сбиться на тон резонера» (Там же. С. 398).

Белинский превосходно очертил существенные, главные, неповторимо индивидуальные особенности художественного видения мира, характерные для Герцена и Гончарова (особенно, пожалуй, пронизательны его суждения о Герцене-художнике). Что касается Гончарова, то в размышлениях о нем ощутима некая заданность, выразившаяся в

¹ Критик писал В. П. Боткину 4—8 ноября 1847 г.: «В первой книжке будет моя большая статья — обзор русской литературы 1847 г. Мне хочется разобрать „Кто виноват?“ и „Обыкновенную историю“. Эти две вещи дают возможность говорить обо многом таком, что интересно и полезно для русской публики, потому что близко к ней» (Белинский. Т. IX. С. 660).

подчеркивании критиком особенного положения этого писателя в литературе 1840-х гг.: «Он поэт, художник и больше ничего. У него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читателю; он как будто думает: кто в беде, тот и в ответе, а мое дело сторона. Из всех нынешних писателей он один, только он один приближается к идеалу чистого искусства, тогда как все другие отошли от него на неизмеримое пространство — и тем самым успевают. Все нынешние писатели имеют еще нечто, кроме таланта (...) у г-на Гончарова нет ничего, кроме таланта; он больше, чем кто-нибудь теперь, поэт-художник» (Там же. С. 382). В этих мнениях критика немало истинного, но они заострены до гиперболы.

Белинский, не прибегая в отличие от Григорьева к обильному цитированию, сосредоточивается на мыслях по поводу главного конфликта романа, диалогического противостояния дяди и племянника. Обо всем остальном в пространнейшем отзыве критика говорится очень скупое, экономно. Некоторое исключение составляют восторженные, в высшей степени лестные отзывы о героинях романа Гончарова: «К особенностям его таланта принадлежит необыкновенное мастерство рисовать женские характеры. Он никогда не повторяет себя, ни одна его женщина не напоминает собою другую, и все, как портреты, превосходны. (...) И каждая из них в своем роде мастерское, художественное произведение. (...) Мы не будем распространяться насчет мастерства, с каким обрисованы мужские характеры: о женских мы не могли не заметить, потому что до сих пор они редко удавались у нас даже первостепенным талантам; у наших писателей женщина — или приторно сентиментальное существо, или семинарист в юбке, с книжными фразами. Женщины г-на Гончарова — живые, верные действительности создания. Это новость в нашей литературе» (Там же).

Эта обобщенная характеристика героинь Гончарова несколько конкретизируется у Белинского обращением к образу Лизаветы Александровны, о которой он, как почти все другие критики, пишет с неподдельным сочувствием и эмоциональным подъемом: «Тетка героя романа — лицо вводное, мимоходом очерченное, но какое прекрасное женское лицо! Как хороша она в сцене, оканчивающей первую часть романа!» (Там же). О других женских характерах Белинский высказывается спокойнее, небрежнее и в сущности поверхностно, уступая остро чувствовавшему поэзию русской кондовой, провинциальной, почвеннической жизни Григорьеву: «Мать молодого Адуева и мать Надиньки — обе старухи, обе очень добры, обе очень любят своих детей и обе равно вредны своим детям, наконец, обе глупы и пошлы. А между тем это два лица совершенно различные: одна барыня провинциальная старого века, ничего не читает и ничего не понимает, кроме мелочей хозяйства; словом, добрая внучка злой госпожи Простаковой; другая барыня столичная, которая читает французские книжки, ничего не понимает, кроме мелочей хозяйства; словом, добрая правнучка злой госпожи Простаковой. В изображении таких плоских и пошлых лиц, лишенных всякой самостоятельности и оригинальности, иногда всего лучше выказывается талант, потому что всего труднее обозначить их чем-нибудь особенным» (Там же).

Второстепенные мужские характеры почти совершенно не интересуют Белинского: замечательную фигуру Антона Иваныча критик вообще обошел вниманием, а Костякова назвал «животным».

Пожалуй, меньше всего в этюде Белинского о романе Гончарова, как это ни покажется парадоксальным, литературной критики. Белинский

пишет *по поводу* романа, предвосхищая метод реальной критики Добролюбова и даже утилитарно-нигилистической критики Писарева. Белинский действительно, как он откровенно писал Боткину, воспользовался содержанием романа Гончарова для того, чтобы высказаться о злободневных проблемах. Он то и дело отодвигает в сторону героев Гончарова и, отгалкиваясь от художественного материала писателя, создает собственные очерки нравов. Такова импровизация критика о провинции, провинциалах вообще и провинциалах в столице (описание внезапного наезда провинциала к столичному родственнику, например — Там же. С. 384). В результате несколько страниц обзора оказываются заняты физиологическим очерком «Провинциал». Потом автор, как бы спохватившись, что позабыл о герое, афористически определяет его суть: «Он был трижды романтик — по натуре, по воспитанию и по обстоятельствам жизни, между тем как и одной из этих причин достаточно, чтобы сбить с толку порядочного человека и заставить его надеть тьму глупостей», добавляя затем, что «этот романтический зверек» принадлежит к не новой, но все еще интересной породе людей (Там же. С. 386—387). Дав такую емкую формулу, которую многократно будут повторять почти все писавшие о романе Гончарова (в энергичном стиле Белинского есть что-то завораживающее, гипнотизирующее), критик прервал конкретный анализ произведения длинным авторским «отступлением», если, конечно, можно назвать отступлением то, что составляет главное содержание его статьи.

На этот раз Белинский создает блестящее психологическое эссе о романтизме и романтиках, большое внимание уделяя романтическим концепциям дружбы и любви, плавно, органично возвращаясь к сюжетным коллизиям романа — любовным историям Адуева, так как «полное изображение характера молодого Адуева надо искать (...) в его любовных похождениях» (Там же. С. 387).

Белинский мастерски воспользовался содержанием романа Гончарова в борьбе с романтическим мирозерцанием и «патриархальным» провинциализмом, а также для пропаганды собственной реальной философии, во многом родственной практически-деловому взгляду Петра Ивановича Адуева. Белинский, конечно, пишет и об ограниченности, узости, уязвимых местах философии Адуева-старшего, но, несомненно, он ему гораздо ближе других героев романа. Он дает в основном положительную оценку этому мужскому характеру в отличие от иронии Григорьева и прямолинейного отрицания Галахова: «Петр Иваныч — не абстрактная идея, живое лицо, фигура, нарисованная во весь рост кистью смелою, широкою и верною. О нем как о человеке судят или слишком хорошо, или слишком дурно, и в обоих случаях ошибочно. Одни хотят видеть в нем какой-то идеал, образец для подражания: это люди положительные и рассудительные. Другие видят в нем чуть не изверга: это мечтатели. Петр Иваныч по-своему человек очень хороший; он умен, очень умен, потому что хорошо понимает чувства и страсти, которых в нем нет и которые он презирает; существо вовсе не поэтическое, он понимает поэзию в тысячу раз лучше своего племянника, который из лучших произведений Пушкина как-то ухитрился набраться такого духа, какого можно было бы набраться из сочинений фразеров и риторов. Петр Иваныч эгоист, холоден по натуре, неспособен к великодушным движениям, но вместе с этим он не только не зол, но положительно добр. Он честен, благороден, не лицемер, не притворщик, на него можно положиться, он не обещает, чего не может или не хочет сделать, а что обещает, то непременно сделает. Словом, это в полном смысле порядочный человек, каких, дай Бог, чтоб было больше» (Там же. С. 396).

Поражение Петра Ивановича, чья философия здравого смысла потерпела крах в его собственном доме, с точки зрения Белинского, фатально predetermined не средой, не реально-деловым кодексом, а натурой героя, которую не переступить: «Он не хлопотал о семейственном счастье, но был уверен, что утвердил свое семейственное положение на прочном основании, — и вдруг увидел, что бедная жена его была жертвою его мудрости, что он заел ее век, задушил ее в холодной и тесной атмосфере. Какой урок для людей положительных, представителей здравого смысла! Видно, человеку нужно и еще чего-нибудь немножко, кроме здравого смысла! Видно, на границах-то крайностей больше всего и стережет нас судьба. Видно, и страсти необходимы для полноты человеческой природы, и не всегда можно безнаказанно навязывать другому то счастье, которое только нас может удовлетворить, но всякий человек может быть счастливым только сообразно с собственной натурою!» (Там же. С. 396—397).

Белинский очень сочувствует бедной жене делового человека, вина которого, хотя и бессознательная, велика. Но обвинять его он тем не менее считает бессмысленным: против природы не пойдешь, она выше всех расчетов и логических построений, здравых философий. Здесь «судьба», подстерегающая человека «на границах крайностей» (очень глубокое суждение), закон природы, согласно которому любой человек «может быть счастливым только сообразно с собственной натурою». Белинский, действительно, счастливо избежал крайностей в суждениях об Адуеве-дядюшке, характерных для критиков 1840-х гг. (да и более поздних), высказав свое восхищение художественной логикой Гончарова: «Петр Иванович выдержан от начала до конца с удивительною верностию...» (Там же. С. 397).

А вот метаморфоза, которая произошла с романтиком Александром Адуевым, в финале романа перескочившим в деловые люди, вызывает крайнее недоумение и разочарование Белинского: «Придуманная автором развязка романа портит впечатление всего этого прекрасного произведения, потому что она неестественна и ложна (...) в отношении же к герою романа эпилог хоть не читать. (...) Как такой сильный талант мог впасть в такую странную ошибку?» (Там же. С. 397). Белинский считал невозможной такую перемену в характере, или натуре, Александра Адуева, потому что преувеличивал романтическое в нем. По его мнению, Адуеву-племяннику судьбой определено быть вечным романтиком. Точка зрения достаточно спорная: Григорьев имел серьезные основания видеть в Александре Адуеве нечто вроде карикатуры на романтика, и превращение его в двойника делового дядюшки ему представлялось вполне закономерным жалким эпилогом жалкого человека.

Развивая свою мысль, Белинский по уже сложившейся у него в 1840-е гг. традиции задевает славянофилов: «Такое перерождение для него (героя. — *Ред.*) было бы возможно только тогда, если б он был обыкновенный болтун и фразер, который повторяет чужие слова, не понимая их, наклепывает на себя чувства, восторги и страдания, которых никогда не испытывал; но молодой Адуев, к его несчастью, часто бывал слишком искренен в своих заблуждениях и нелепостях. Его романтизм был в его натуре; такие романтики никогда не делают положительных людьми. Автор имел бы скорее право заставить своего героя заглохнуть в деревенской дичи апатии и лени, нежели заставить его выгодно служить в Петербурге и жениться на большом приданом. Еще бы лучше и естественнее было ему сделать его мистиком, фанатиком, сектантом; но всего лучше и естественнее было бы ему сделать его, например, славянофилом. Тут Адуев остался бы верным своей натуре, продолжал

бы старую свою жизнь и между тем думал бы, что он и бог знает как ушел вперед, тогда как в сущности он только бы перенес старые знамена своих мечтаний на новую почву. Прежде он мечтал о славе, о дружбе, о любви, а тут стал бы мечтать о народах и племенах, о том, что на долю славян досталась любовь, а на долю тевтонов — вражда, о том, что во времена Гостомысла славяне имели высшую и образцовую для всего мира цивилизацию, что современная Россия быстро идет к этой цивилизации, что этого не видят только слепые и ожесточенные рассудком, а все зрячие и размягченные фантазией давно это ясно видят» (Там же. С. 397).

Объяснить «ошибку» писателя, присовокупившего к прекрасному роману «неудачный или (...) испорченный эпилог» (Там же. С. 398), помогает, с точки зрения критика, сопоставление талантов Гончарова и Герцена (Искандера). Последний, по мысли Белинского, «и в сфере чуждой для его таланта действительности умел выпутаться из своего положения силою мысли; автор „Обыкновенной истории“ впал в важную ошибку именно оттого, что оставил на минуту руководство непосредственного таланта. У Искандера мысль всегда впереди, он вперед знает, что и для чего пишет; он изображает с поразительной верностью сцену действительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произнести суд. Г-н Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностью рисовать; говорить и судить и извлекать из них нравственные следствия ему надо предоставить своим читателям. (...) Главная сила таланта г-на Гончарова — всегда в изящности и тонкости кисти, верности рисунка; он неожиданно впадает в поэзию даже в изображении мелочных и посторонних обстоятельств, как например в поэтическом описании процесса горения в камине сочинений молодого Адуева (еще одна полемическая шпилька Галахову. — *Ред.*). В таланте Искандера поэзия — агент второстепенный, а главный — мысль; в таланте г-на Гончарова поэзия — агент первый и единственный...» (Там же. С. 397—398). Так возникает схема, позволяющая выпукло очертить существенные стороны художественных методов Гончарова и Герцена, но схема, которую отличает жесткость и беспепелляционность противопоставлений.

Обзоры Григорьева и Белинского, продемонстрировавшие все различие реальной критики и нарождающейся «органической», резко выделяются на фоне других критических отзывов 1840-х гг. о романе Гончарова тонкостью анализа, оригинальностью рассуждений, литературным мастерством, изяществом стиля. Но и эти другие отзывы по-своему примечательны, они дают несомненные доказательства огромного успеха романа в публике. О романе Гончарова, «по случаю выхода (...) отдельной книгою», еще раз высказался журнал «Отечественные записки» (1848. № 3. Отд. VI. С. 1—11; без подписи). Упомянув январский обзор Галахова, критик журнала решил обратиться к «подробностям» и «некоторым частностям» «замечательного литературного явления прошлого года», не скрывая своего затруднения по поводу того, на каком из его «разнородных достоинств» лучше остановиться: «Например, г-н Гончаров большой мастер рисовать народные сцены и народные характеры; у него вы видите замечательный талант в создании женских характеров; он принадлежит к числу очень и очень немногих наших писателей, отличающихся неподдельным юмором, у него, наконец, вы находите в высокой степени художественную отделку частных в отношении к языку, какой редко встретишь у наших писателей, и в отношении самой обрисовки действия, исключаяющей всякое участие

личности автора в том, что он описывает. Сверх того, роман г-на Гончарова имеет то достоинство, что его можно прочесть несколько раз — великое достоинство для романа!» (Там же. С. 1—2). Далее критик очень подробно останавливается на таких героях романа, как Евсей, Аграфена, а от них переходит к очень понравившемуся ему Антону Ивановичу («...когда он умрет, о нем больше будут грустить соседи, чем о порядочном человеке, который сделал много добра и крестьянам, и помещикам... (...) потому что он всю жизнь потворствовал слабой, эгоистической стороне их. Он весь создан, или, лучше сказать, слеплен, из пустяков и дряни, и будет мил всегда, где найдет такую же сторону других людей» (Там же. С. 6)) и Анне Павловне.

Внимание критика журнала привлекли и три героини романа — Надинька, вдова Тафаева, Лизавета Александровна. Особенно он выделяет Надиньку, которая «принадлежит к числу редких, ясно осознанных автором и художественно написанных характеров. Характер Надиньки не так прост, как кажется с первого раза: она ни мечтательна, ни исключительно весела, она ни вздыхает, ни смеется долго, она способна полюбить и очень скоро может разлюбить. В ней много крайностей, много увлечения, много веселости, много нежности и много каприза. Чтоб представить такую женщину в двух-трех сценах — надобно великое уменье» (Там же. С. 8). В меньшей степени, по мнению критика, удались Лизавета Александровна и Тафаева.

Исключительно высокого мнения критик журнала о «тонком» юморе Гончарова и его редчайшем даре высшей наблюдательности: «...от наблюдательности г-на Гончарова не ускользает ни одно малейшее движение Евсея, Аграфены, дворника, его жены, ямщика, лодочников. Эти черты наблюдательности тем больше вас поражают, что рядом с ними в то же время главное действие продолжается само собою, идет своим путем; они только перебегают по сцене действия как легкие, неуловимые огоньки, или, лучше, как разнородные, разнохарактерные голоса в толпе. Это разнообразит картины романа и делает эффект их на читателя разностороннее» (Там же. С. 11).

Анонимный критик журнала «Пантеон и репертуар русской сцены» в периодическом критическом обзоре «Сигналы литературные», остановившись на самых знаменитых романах 1840-х гг. («Бедные люди», «Кто виноват?» и «Обыкновенная история»), подробнее и интереснее всего пишет о произведении Гончарова (*ПуР.* 1848. Т. II, кн. 4. Отд. IV. С. 53—57). Автор «Обыкновенной истории» он сопоставляет с Пушкиным: «Мы не хотим этим сказать, что эти два таланта равнозначительны и равносильны; мы не ставим имени молодого романиста рядом с славным именем, которым гордится Россия: нет! мы хотим только показать, что между г-ном Гончаровым и Пушкиным есть нечто родственное, есть аналогия, проистекающая из одинакового настроения духа, из одинакового взгляда на искусство.

Г-н Гончаров, подобно Пушкину, по преимуществу художник; у него форма преобладает над идеей, или, лучше сказать, идея так тесно слита с формой, что трудно отделить одну от другой, что жаль разорвать эту тесную связь духа и тела: вы даже не вдруг заметите присутствие идеи, так полно поглощена она формой. Из этого наружного, кажущегося преобладания формы проистекают удивительная рельефность характеров, обилие и полнота образов, богатство поэтических картин и художественное воспроизведение природы. И все эти качества вы найдете в г-не Гончарове, как и в Пушкине, хотя не в равной степени. Кроме того, оба писателя глубоко проникнуты народностью, можно сказать, дышат ею: характеры, ими созданные, быт, природа, ими описываемые, вполне

и чисто русские. Все лица, ими выведенные, живьем выхвачены из русской жизни» (Там же. С. 53).

Обнаруживает критик и «мысль недоговоренную, мысль скрытую, une aggrège-pensée (...) насмешку над неловким романтизмом, ставящим все, и жизнь и чувства, и радость и страдание, на высокие подоблачные ходули» (Там же. С. 55). Эта насмешка над романтизмом, осмеяние высокопарного идеализма дают критику основание для любопытнейшего сравнения «Обыкновенной истории» с гениальным романом Сервантеса: «Если бы наши деды не опошлили безразборчивую раздачу титулы *российских Пиндаров да Анакреонтов*, если б теперь эти сравнения не казались детскими даже школьникам, они называли бы г-на Гончарова Сервантесом XIX столетия, а его роман — Дон-Кихотом романтизма. И справедливо бы было это название, потому что и Сервантес один из первых членов той семьи поэтов-художников, к которой, по нашему мнению, принадлежит г-н Гончаров» (Там же. С. 55).

Интересны мысли критика о композиции (точнее было бы сказать, о внутренней структуре) романа: «...два отдельных романа развиваются в „Обыкновенной истории“; каждый из них имеет своего героя, свою завязку, свой ход, свою развязку, а между тем они тесно связаны между собою, взаимно дополняются, поясняются один другим. Разговоры дяди с племянником составляют мотив, связывающий все, мотив, около которого развиваются, сходятся, переплетаются обстоятельства и лица, как вариации около темы. Эта наружная связь подкрепляется внутреннею — единством идеи, сплавивающей разнородные части воедино и образуящую из них стройное целое» (Там же. С. 54—55). По его мнению, даже недостатки романа в сущности есть производное его художественных достоинств: «...он (роман. — *Ред.*) имеет и свою слабую сторону, которая, впрочем, почти всегда соединена с строгою соразмерностью целого и частей, составляющею отличительный характер „Обыкновенной истории“». Это — холодность, безучастие автора к судьбе своих созданий: ни одно из лиц романа не согрето особенно теплотою, ни одно из них не оживлено сочувствием: автор как будто стыдится высказать свои чувства, свои мысли, свои убеждения и с гордым равнодушием смотрит на созданный им мир. Этот недостаток отчасти выкупается в „Обыкновенной истории“ легким оттенком насмешки и потому не так заметен...» (Там же. С. 57; ср. выше с устными отзывами Белинского — с. 721).

Таким образом, почти сразу же после журнальной публикации и выхода первым отдельным изданием «Обыкновенная история» стала предметом исключительно пристального внимания газетной и журнальной критики, давшей содержанию романа и художественному методу Гончарова многообразное, пронизательное и — в обзорах Григорьева и Белинского — блестящее литературное истолкование. В 1850-е гг. внимание к «Обыкновенной истории» нисколько не угасло, чему, разумеется, способствовало и появление новых произведений Гончарова, позволивших увидеть своеобразие первого романа писателя в ином свете и иной перспективе.

Критик славянофильской ориентации Б. Н. Алмазов в обзоре «Наблюдения Эраста Благодрава над русской литературой и журналистикой», восхищаясь художественным мастерством Гончарова, счел направление его творчества «ложным», что, с его точки зрения, затрудняло определенную оценку его произведений: «Г-н Гончаров, автор двух очень замечательных произведений — романа „Обыкновенная история“ и отрывка „Сон Обломова“. (...) Они принадлежат к такого рода произведениям, которые непременно требуют разбора, ибо в них дурное так перемешано с хорошим, что не знаешь, сочувствовать ли автору или

негодовать на него. Направление его произведений ложное, но у г-на Гончарова такой талант, такая сила творчества, что, читая его роман, незаметно увлекаешься его направлением, смотришь на вещи его глазами и долго по прочтении не выходишь из-под его обаяния» (М. 1852. Т. V. № 17. Сент. Кн. 1. Отд. VIII. С. 6). Критику очень не по душе жестокая борьба с «так называемым романтизмом в жизни», он считает, что «взгляд автора на Петра Ивановича ложный», но практический, деловой герой увлекает его («Лицо это создано совершенно конкретно, и потому совершенно художественно»), он преувеличивает его энергию и силу: «Даже читатель, хотя бы он был совершенно противоположного направления с г-ном Гончаровым, не может не увлечься Петром Ивановичем. Это герой в истинном значении этого слова; это Ахилл дендизма; это блестящее олицетворение практического направления. Он не дюжинный денди, не просто деловой человек: нет, в нем натура энергичская; про него можно сказать то же самое, что сказал г-н Соловьев про Владимира Мономаха, т. е. что он умеет придать блеск и прелесть самому плохому порядку вещей. Оттого все раздвигается перед ним, все дает ему дорогу, все пред ним преклоняется. Юноши с романтическим направлением, с верою в любовь и дружбу трепещут и бледнеют пред всеоледеняющим холодом его мощных софизмов» (Там же. С. 6—7). В Александре Адуеве Алмазов видит только фигуру марионеточную, карикатурную, бледного и слабого противника («с самым незначительным умом») Петра Ивановича — «Ахилла» и «Мономаха» прагматизма. К тому же, по предположению рецензента, образ этот создан под мощным влиянием критики 1840-х гг. (точнее, одного критика — Белинского): «Вообще Александр Федорович (...) слишком неестествен; автор хотел вывести романтика и мечтателя, но вместо того вывел просто дурака. Это лицо написано по рецепту, составленному тогдашней критикой. В то время критика преследовала мечтателей и идеалистов, которых никогда не существовало и которые жили только в фантазии критиков. Александр Федорович одно из этих лиц. Оттого в нем нет почти ни одной живой черты, и он почти везде является отвлеченной идеей» (Там же. С. 6—7).

Суждения Б. Алмазова — по большей части эхо критических высказываний Григорьева, но не 1840-х, а начала 1850-х гг., когда взгляд Григорьева на «Обыкновенную историю» претерпел серьезные изменения под влиянием статей Белинского и прежде всего обзора «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Большая работа Григорьева «Русская литература в 1851 году», ярко запечатлевшая эволюцию его взглядов и ставшая важной вехой на пути к почвеннической, или «органической», критике, ознаменовалась, в частности, и новым взглядом на «Обыкновенную историю».¹ Лермонтовское, «отрицательное», печоринское направление («прямое последствие Рене, Обермана»), с точки зрения Григорьева, «истощилось окончательно в романе „Кто виноват?“, перешло в леденящий сердце и довольно ограниченный прозаизм в „Обык-

¹ Г. П. Данилевский сообщал М. П. Погодину о реакции на нее в литературных кругах: «Статья Григорьева производит замечательную сенсацию; не знаю, впрочем, насколько эта сенсация перейдет в критику здешних журналов. Я был на одном литературном ужине, где Тургенев и Гончаров старались шуточками отделаться от мнений „Москвитянина“. Но я должен сказать, что, кроме Дружинина, все — и Панаев и вышеупомянутые два — одобряют благородный тон и искренность доброго и открытого душою Григорьева» (Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1898. Кн. 12. С. 221).

новой истории”, и последние проявления его в повестях гг. Авдеева, Дружинина и иных суть только предсмертные судороги». ¹ Теперь же достоинства «Обыкновенной истории» Григорьев видит только в художественно отделанных «частностях и подробностях», а успех его объясняет тем, что роман отвечал возникшей в обществе острой потребности примирения с действительностью (реакция на «отрицательное» направление, на романтизм): «Явилось дарование примечательное, яркое, но, да позволено будет сказать прямо, дарование чисто внешнее, без глубокой мысли в задатке, без истинного стремления к идеалу, дарование г-на Гончарова, которое, так или иначе, ответило на эту потребность, как могло и как умело, — и вот объяснение необыкновенного успеха „Обыкновенной истории“, произведения, отделанного в частностях и подробностях, сухого до безжизненного догматизма по основной идее, построенного в виде самой искусственной аллегории. (...) Примирение выразилось в нем иронией какого-то отчаяния, смехом над протестом личности, с одной стороны, и скорбным сознанием торжества сухой, безжизненной, бесосновной практичности. Все было тут принесено в жертву этой иронии».

Особенно раздражает Григорьева Александр Адуев, этот псевдоромантик и несостоявшийся идеалист. Григорьев откровенно отродства с ним: «Стремление к идеалу не признает своего питомца в Александре Адуеве, и ирония пропала здесь задаром». Основной конфликт романа, главную мысль «Обыкновенной истории» Григорьев отвергает, отдавая в то же время должное литературному искусству Гончарова: «Много нужно было таланта для того, чтобы читатели забывали в романе явно искусственную постройку...» ² Аналогичным образом критик высказался и в последующих статьях — «Русская изящная литература в 1852 году» («...только талант г-на Гончарова мог дать известный блеск самой фальшивой мысли...» — *Григорьев. Литературная критика*. С. 52) и «Обзорные наличных литературных деятелей» («Блестящие произведения г-на Гончарова (...) обличают художника несомненного, но художника, у которого анализ подъял все основы, все корни деятельности» — *М. 1855. Т. IV. № 15/16. С. 191*).

Подробнее всего повторив, по сложившейся уже традиции, ранее найденные формулы и оценки, но усилив их и яснее обозначив объекты полемики, высказался Григорьев об «Обыкновенной истории» и особенностях художественного дарования Гончарова в монографии «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа „Дворянское гнездо“». «Сухой догматизм постройки „Обыкновенной истории“, — писал он, — кидается в глаза всякому. (...) Кому не явно, что Петр Иванович, с его беспощадным практическим взглядом, не лицо действительно существующее, а олицетворение известного взгляда на вещи, нечто вроде Стародумов, Здравомыслов и Правосудовых старинных комедий — с тем только различием, что Стародумы, Здравомыслы и Правосудовы, при всей нелепости их, были представителями убеждений гораздо более благородных и гуманных, нежели узкая практическая теория Петра Ивановича Адуева? Что, с другой стороны, — Александр Адуев слишком намеренно выставлен автором и слабее и мельче своего дядюшки, — что на дне всего лежит такая антипоэтическая тема, такая пошлая мысль, которых не выкупают блестящие подробности?.. Замечательно в высшей

¹ *Григорьев А.* Полн. собр. соч. и писем / Под ред. Вас. Спиридонова. Пг., 1918. Т. I. С. 104.

² Там же. С. 127.

степени, что „Обыкновенная история” понравилась даже отжившему поколению, даже старичкам, даже, помнится ... „Северной пчеле” (с позволения сказать!); это свидетельствовало не об особенном ее художественном достоинстве, а просто о том, что воззрение, под влиянием которого она написана, было не выше обычного уровня» (Григорьев. *Литературная критика*. С. 327—328).

Это самая низкая точка (надир) критического восприятия Григорьевым «Обыкновенной истории» — здесь высказано уже не просто отрицательное, но враждебное и крайне пристрастное отношение «почвенника», «Гамлета», «последнего романтика» и «ненужного человека» к направлению и идеалам писателя, которые стали Григорьеву окончательно ясными после выхода в свет романа «Обломов» и его «спутника» — статьи Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?». Григорьев выступил противником «адуевичины», «штольцевщины» и «реальной критики» одновременно. В «Обломове» Григорьев увидел — так велико было его раздражение и разочарование — только повторение, ухудшенный вариант «Обыкновенной истории»: «Успех „Обломова” — что ни говорите — был уже спорный, вовсе не то, что успех „Обыкновенной истории”. Да оно так и должно было быть. Эпоха другая — сознание выросло. „Обыкновенная история” польстила требованию минуты, требованию большинства, чиновничества, морального мешанства. „Обломов” ничему не польстил — и опоздал, по крайней мере, пятью или шестью годами... В „Обломове” Гончаров остался тем же, чем был в „Обыкновенной истории”, и построен его „Обломов” по таким же сухим догматическим темам, как „Обыкновенная история”» (Там же. С. 332).¹

В 1850-х гг. появилась замечательная статья А. В. Дружинина — один из самых глубоких, блестящих разборов творчества Гончарова, жемчужина русской художественной критики (С. 1856. № 1. Отд. III. С. 1—26). Статья Дружинина родилась в полемике с точкой зрения Григорьева, с его жесткими выводами. Дружинин оценил мнения Григорьева как пристрастные, несправедливые: «Всякому любителю русского искусства, без сомнения, вполне памятен успех двух беллетристических произведений нашего автора — романа „Обыкновенная история” и эпизода „Сон Обломова”. Оба произведения, утвердив за г-ном Гончаровым известность замечательного писателя, получили от нашей критики множество похвал и несколько замечаний, как нам кажется, не вполне справедливых. Из заметок менее благосклонных стоит упомянуть об одной, недавно высказанной, в которой критик, нами уважаемый и, по временам, весьма проникательный, упрекает автора „Обыкновенной истории” в сухосатирическом направлении и пристрастии к излишнему отрицанию в жизненных воззрениях, что почти равносильно отсутствию всякого идеала в жизни. (...) Отзыв этот, как кажется, тем более важен, что мы сами смотрим на дарование г-на Гончарова с точки зрения

¹ Аналогичны высказывания Григорьева о романе Гончарова и в других работах: в статье «Реализм и идеализм в нашей литературе. (По поводу нового издания сочинений Писемского и Тургенева)» он пишет о «резонерском реализме» Гончарова, о «первых отпрысках реализма как воззрения, отпрыска притом тепличных, бюрократических»; в статье «Стихотворения Н. Некрасова» называет «дешевою практической мудростью охлаждающее слово „Обыкновенной истории”» (Там же. С. 433, 458). Л. Н. Толстому он ставит в заслугу то, что он не принял, «как Гончаров, за слои настоящие — столь же наносные, но гораздо более грязные слои практичности и формализма» (Там же. С. 516).

диаметрально противоположной. Все, что есть в нашем авторе сатирического и отрицательного, кажется нам только частностью, временным и случайным видом его дарования, украшениями общего здания, но никак не капитальной его собственностью. Как живописец и член того общества, где сатира и отрицание имеют свое место, как русский человек, для которого красное слово всегда любезно, Гончаров любит юмор и воспроизводит его в своих сочинениях; но он не жертвует ему своими воззрениями и убеждениями, не доводит его до тех пределов, которые несовместны с его собственным, авторским взглядом на вещи. Напротив того, наш автор, не чуждый сатиры, даже иногда переходя на сторону лиц насмешливых и чрезмерно положительных, никогда не отклоняется от своей собственной дороги, смело и честно держась за все, что кажется ему милым, любезным, благородным и поэтическим. Взяв талант Гончарова не по частям, не по страничкам, а во всей массе его произведений, мы не обинуясь называем его талантом самостоятельным, положительным, в здравом смысле слова, высказывающим то, что надобно высказать, независимым в своих проявлениях, поэтическим в своей оригинальности» (*Дружинин. Прекрасное и вечное*. С. 125—126).¹

Дружинин соглашается с Григорьевым в том, что Гончаров не открыл новой дороги в литературе, но это обстоятельство, по мнению критика, нисколько не принижает значения его произведений, которыми писатель совершенно естественно продолжает разработку путей, проложенных Пушкиным и Гоголем: «Новых путей нам пока не надобно. Старые пути, проложенные Пушкиным и Гоголем, нуждаются еще в разработке, и какой разработке! Направление нашего автора в ином совпадает с направлением Пушкина; несмотря на разность дарований и изложения, ни один из романов, написанных по-русски, не подходит к „Евгению Онегину“ ближе „Обыкновенной истории“». В обоих произведениях видим мы ясную, тихую, светлую, но правдивую картину русского общества, в обоих русская природа изображена превосходно, в обоих действуют русские люди в их спокойном, повседневном состоянии, в обоих разлит один примирительно-отрадный колорит, в обоих нет ни лести, ни гнева, ни идилий, ни преднамеренного свирепства, ни утопии, ни мрачных красок. Г-н Гончаров воспитан на Пушкине и предан его памяти, как памяти отца и наставника. Но натура его, совершенно отличная от пушкинской натуры и замечательная сама по себе, обуславливает различие между поэзией обоих писателей. Оттого в „Обыкновенной истории“ и нет ничего заимствованного, придуманного, подражательного» (Там же. С. 126).

¹ На эту корректную, спокойную критику Григорьев ответил необычайно раздраженно и высокомерно в статье «После „Грозы“ Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу», пренебрежительно отнеся Дружинина к разряду «дилетантов»: «С теоретиками можно спорить; с дилетантами нельзя, да и не надобно. (...) Жизнь требует порешений своих жгучих вопросов, кричит разными своими голосами, голосами почв, местностей, народностей, настроений нравственных в созданиях искусств, а они себе тянут вечную песенку про белого бычка, про искусство для искусства и принимают невинность чад мысли и фантазии в смысле какого-то бесплодия. Они готовы закидать грязью Занда за неприличную тревожность ее созданий и манерою фламандской школы оправдывать пустоту и низменность чиновнического взгляда на жизнь. То и другое им равно ничего не стоит!» (*Григорьев. Литературная критика*. С. 377).

Центральное место в статье Дружинина занимает сочиненный Дружининым за Гончарова длинный «монолог» — квинтэссенция извлеченных критиком из произведений писателя мыслей и красок. Так создается поэтическое представление о сущности таланта Гончарова. Это блестящая импровизация, в которой длинноты не ощущаются; так гармоничен и органичен поток мыслей, так искусно построено «внутренний монолог»: «Надо изучать „Сон Обломова” и „Обыкновенную историю”, надо думать много о ходе нашей родной словесности, чтобы понять важность Гончарова как писателя, чтоб оценить духовную его энергию, от которой мы ждем многого и весьма многого. Из сочинений нашего автора мы извлекаем мысли такого рода. Я русский писатель, говорит нам г-н Гончаров, и, сознавая себя лицом здраво-практическим, вмещаю себе в обязанность действовать там, где судьба меня поставила. В простой, тихой жизни, которую в моде называть пошлой и бесцветной жизнью, вижу я не одну пошлость и не одну бесцветность. Эта жизнь удовлетворяет меня, умного и даровитого человека, значит, в ней есть поэзия, есть сторона положительно привлекательная и заслуживающая бесконечного изучения. (...) Я пойду впредь по своему пути и буду черпать вдохновение из источников, меня окружающих, и стану действовать в той среде, в которую я поставлен судьбою. Я намерен смотреть на русскую жизнь с той самой точки зрения, против которой неумолимо свирепствовали все любители отрицания. Я люблю прозу жизни оттого, что способен видеть в ней нечто большее, чем проза. Мне милы тихие картины чисто русской природы, и мои сочинения покажут, почему эти картины мне милы. Я понимаю поэзию жизни в простых, обыденных событиях, в нехитрых привычках, в страхах самых немногосложных. Меня пленяет то, что до сих пор не пленяло почти ни одного русского художника: я умею говорить от сердца о скромных интересах петербургского чиновника, о философии положительного мудреца Петра Ивановича, о первой любви никому не известной барышни, о крошечных драмах, совершающихся где-нибудь за чайным столом, или в палисаднике петербургской дачи, или за дверью какого-то департамента, или на темной лестнице высокого каменного дома. И это еще не все: дайте мне времени и слушайте меня со вниманием, я сообщу вам нечто еще более новое. Я перенесу вас когда-нибудь в затишье маленьких русских городков, в запущенные сады одиноких помещичьих усадеб, в маленькие деревянные домики, наполненные самым прозаическим народом; я поведу вас гулять по сереньким русским полям, по маленьким холмикам и оврагам, по местности, которую даже первые наши поэты до сих пор вам обрисовывали как нечто не стоящее изображения, двумя-тремя небрежными штрихами. У меня не будет небрежных штрихов, я не признаю людей и пейзажа, не стоящих описания. Там, где живет и действует человек, одаренный силою таланта, все стоит описания, все располагает к жизненной поэзии!» (Там же. С. 127—128).

Сочиненный за писателя монолог — литературный манифест, в котором Дружинину удалось точно и поэтично очертить ведущие стороны художественного мироощущения писателя; редчайший случай критики не просто пронизательной, мастерской, но в самом прямом смысле слова конгениальной. Но это не неожиданность, не озарение, вдруг высветившее истину, а результат многократного и интенсивного погружения критика в художественный мир Гончарова, о чем сообщает сам Дружинин: «Мы еще недавно выяснили перед самими собою значение и направление таланта, подарившего нам „Сон Обломова” и „Обыкновенную историю”, а потому, быть может, наша оценка имеет в себе кое-что парадоксальное. Но во всяком случае она искренна и, сверх того,

выработалась мало-помалу, медленно и, по возможности, осмотрительно» (Там же. С. 134).

В этой же статье Дружинин, отталкиваясь от некоторых деталей романа Гончарова («картина теньеровская») и тонкого наблюдения Григорьева в статье 1847 г. (см. выше, с. 723), соотносит его с великими фламандскими живописцами: «...не из-за сходства сюжетов готовы мы признать г-на Гончарова едва ли не единственным современным писателем, имеющим нечто общее с великими деятелями фламандской школы живописи, — тождество направления, великая практичность в труде, открытие чистой поэзии в том, что всеми считалось за безжизненную прозу, — вот что сближает Гончарова с ван дер Нээрмом и Остадом, что, может быть, со временем сделает его нашим современным фламандцем. (...) Нам кажется, что автор, написавший „Обыкновенную историю“ и „Сон Обломова“, имеет полное право пойти в галерею императорского Эрмитажа, остановиться посреди комнаты, наполненной великолепнейшими произведениями мастеров фламандцев, кинуть вокруг себя радостный взгляд и просветлеть духом. В такую минуту он должен чувствовать себя художником вполне, вполне наслаждаться творениями художников, родных ему по духу, их одушевлявшему, и произносить незабвенные имена Остада, Миериса, Теньера, Дова, ван дер Нээрра, Гоббема и ван дер Вельда как имена великих, но родственных деятелей» (Там же. С. 128—129).

Подчеркивая связь произведений Гончарова с творчеством Пушкина, Гоголя, других крупных русских писателей, рассматривая его романы и очерки как важную составную часть литературного развития 1840—1850-х гг., Дружинин симпатизирует Гончарову более всего, жалея, что он не избежал некоторых модных (в том числе «обличительных») современных поветрий, не осознал в полной мере оригинальности и неповторимой силы собственного дарования. Дружинин подчеркивает, что Гончаров «любит своих учителей и предшественников, даже иногда робеет перед их авторитетами, но в глубине души всегда остается самим собою. При своей уклончивости он умеет быть упорным, под личиной уступчивости скрывая энергию, не продавая своего собственного мирозерцания ни за какие похвалы, ни за какие умствования. Крепче всех современных деятелей держится он за действительность, прошедшую сквозь призму его собственного разума, расцвеченную всеми цветами его собственной, душе практического поэта принадлежащей фантазии. По мере своих трудов и успехов г-н Гончаров делается еще самостоятельнее и еще независимее от теорий, несовместных с его взглядом на свое дело» (Там же. С. 133). Характерен многократно варьирующийся в статье Дружинина призыв, обращенный к Гончарову, осознать свою силу, забыть об «отрицательной критике», «поближе ознакомиться с собственным направлением, признать законность своей артистической самостоятельности и затем сделаться истинным художником-фламандцем, с полной верой в свое призвание» (Там же).

Свои субъективные симпатии к «практичному», «здравому», «действительному», «безмятежному» искусству Гончарова Дружинин и не думает скрывать: «Его направление нам любезно и понятно, оттого и наши надежды на г-на Гончарова весьма велики. Пусть же он смело рисует нам картины, милые его сердцу, пусть он без всякой задней мысли радостно погружается в затишье столичной и провинциальной прозы, пусть он истолковывает нам поэзию крошечных городков, ровных полей и сонных вод нашего родного края. Великие фламандцы имели перед собой природу не богаче нашей русской природы, быт, их вдохновляющий, нисколько не пестрее нашего обыденного тихого быта» (Там же.

С. 133—134).¹ Гончаров по поводу статьи Дружинина писал 10 января 1856 г. Н. А. Некрасову: «...в ней так много угадано и объяснено сокровеннейших моих стремлений и надежд!».

Другие эпизодические журнальные и газетные отзывы 1850-х гг. о романе Гончарова бесконечно уступают критическому анализу Дружинина и не представляют значительного интереса. Из эпистолярных откликов драгоценно мнение Л. Н. Толстого, впервые прочитавшего роман в середине 1850-х гг. Он записывает 4 декабря 1856 г. в дневнике: «...читаю прелестную „Об(ыкновенную) ист(орию)»» (*Толстой*. Т. 47. С. 103). А 7 декабря 1856 г. рекомендует роман В. В. Арсеньевой: «С прошедшей почтой послал Вам книгу, прочтите эту прелесть. Вот где учишься жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становишься умнее и яснее» (Там же. Т. 60. С. 140).²

В дальнейшем первый роман Гончарова будет рассматриваться критикой в связи с «Обломовым» и «Обрывом» (особенно с «Обломовым»), а позднее как первое звено в своеобразной трилогии (по подсказке самого Гончарова; см. об этом выше, с. 706—707). Чаше всего эти более

¹ Определение Дружининым специфических особенностей художественного видения Гончарова с помощью «фламандских» параллелей запомнилось современникам. Так, В. П. Боткин в письме к Тургеневу от 26 сентября 1866 г., делясь своими впечатлениями об услышанных им в чтении автора главах романа «Обрыв», заметил: «Вся прелесть заключается в подробностях, в деревенских родных барынях, в дворах, в картинах уездного города: все это написано рукою тонкого и ловкого мастера. (...) Его сфера — сфера фламандской живописи, — между Остадом и Рембрандтом. Два утра он читал мне, и я ни на минуту не соскучился...» (*Переписка Тургенева*. Т. 1. С. 393). Опираясь на положения Дружинина о «фламандстве» Гончарова — характернейшей черте поэтического мироощущения создателя «Обыкновенной истории» и «Обломова», современный историк литературы П. Е. Бухаркин пишет: «Все во Вселенной живет единой, согласованной жизнью; люди, коровы, собаки, зеркала — часть одного целого. (...) В отличие от Гоголя Гончаров не осуждает. Движение идет не вниз по вертикали, а вверх, не человек опускается до уровня бессловесной твари, мебели или домашней вещи, а наоборот, мелочи быта поднимаются до человека» (*Бухаркин П. Е. «Образ мира, в слове явленный»: (Стилистические проблемы «Обломова») // От Пушкина до Белого: Проблемы поэтики русского реализма XIX—начала XX века: Межвуз. сб. СПб., 1992. С. 126*). О концепции Дружинина см. также: *Бройде А.-М. А. В. Дружинин: Жизнь и творчество*. Копенгаген, 1986. С. 401—410.

² О своей читательской реакции на роман Гончарова в юношеские годы (двумя годами ранее Л. Н. Толстого) вспоминал критик-народник А. М. Скабичевский: «Роман этот был прочитан мною в 1853 году, как раз в эпоху разгара моей влюбчивости, а произвел на меня ошеломляющее впечатление. В герое его, Александре Адуеве, я тотчас же увидел себя, столь же, как и он, сентиментально прекраснодушного и, подобно ему, занимающего хранением волосков, цветочков и тому подобных „вещественных знаков невещественных отношений”. Мне так сделалось стыдно этого сходства, что я тотчас же собрал все хранимые мною сувенирчики, предал их сожжению и дал себе слово никогда более не влюбляться» (*Скабичевский А. М. Литературные воспоминания*. М.; Л., 1928. С. 63—64).

поздние критические отзывы не содержали в себе ничего принципиально нового: развивались те или иные тезисы Белинского, Григорьева, Галахова, Дружинина. Это относится и к Писареву, первые рецензии которого о «Фрегате „Паллада“» и «Обломове» были гораздо интереснее последующих очень резких и грубых до памфлетности и карикатурности отзывов, но в них он первого романа Гончарова, к сожалению, не коснулся. «Обыкновенную историю» Писарев вспомнил только в большей статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» (*РСЛ*. 1861. № 12. Отд. II. С. 1—48), когда его взгляд на творчество писателя уже претерпел резкие изменения, тесно связанные с общей радикализацией мировоззрения критика. Здесь Писарев в сущности повторит мысли Галахова и — еще в большей степени — резкие суждения Григорьева: «Гончаров написал только два капитальные романа: „Обыкновенную историю“ и „Обломов“». Первый из этих романов сразу поставил его в ряды первоклассных русских литераторов, и его „Очерки кругосветного плавания“ и „Обломов“ были встречены журналами и публикою с такою радостью, с какою редко встречаются на Руси литературные произведения. Мне кажется, причины этого замечательного явления заключаются преимущественно в том, что Гончаров по плечу всякому читателю, то есть для всякого ясен и понятен. Он везде стоит на почве чистой современной практичности, и притом практичности не западной, не европейской, а той практичности, которою отличаются образованные петербургские чиновники, читающие помещики, рассуждающие о современных предметах барыни и т. п.»¹

В мастерской отделке мелочей и частных обн. руживает Писарев секрет успеха Гончарова, писателя эгоистичного и равнодушного по отношению к современной жизни. Критик очень заостряет свою мысль, сводя все содержание как первого, так и второго романов писателя к талантливому и бессмысленно-бесполезному изображению всевозможных пустяков: «...крупные, типические черты нашей жизни почти умышленно сглажены писателем и, следовательно, ускользают от читателя; зато отделка подробностей тонка, красива, как брюссельские кружева, и, по правде сказать, почти так же бесполезна. (...) Это очень хорошо и трогательно, но это не жизнь, а разве — крошечный уголок жизни. Конечно, таланту Гончарова должно отдать полную дань удивления: он умеет удерживать нас на этом крошечном уголке в продолжение целых сотен страниц, не давая нам ни на минуту почувствовать скуку или утомление; он чарует нас простотой своего языка и свежеею полнотою своих картин; но если вы, по прочтении романа, захотите отдать себе отчет в том, что вы вместе с автором пережили, передумали и перечувствовали, то у вас в итоге получится очень немного. Гончаров открывает вам целый мир, но мир микроскопический; как вы приняли от глаза микроскоп, так этот мир исчез, и капля воды, на которую вы смотрели, представляется вам снова простою каплею» (Там же. С. 144—145).

Ни один из героев романа не удовлетворяет критика-нигилиста, но более всего раздражает Адуев-старший, с его точки зрения, фальшивая и приукрашенная автором-конформистом фигура: «Петр Иванович Адуев, дядя, — неверен с головы до ног. Это какой-то английский джентльмен, пробивший себе дорогу в люди силою своего ума, составивший себе карьеру и состояние и при этом несколько не загрязнившийся»; «Петр Иванович как чиновник, как подчиненный, как начальник, как светский человек — не существует для читателя „Обыкновенной истории“, и не существует именно потому, что автору предстояло решить

¹ Писарев Д. И. Литературная критика: В 3 т. Л., 1981. Т. 1. С. 138.

грозную дилемму: или выдумать от себя всю русскую жизнь и превратить Петербург в Аркадию, или бросить грязную тень на своего героя как на человека, подкупленного этой жизнью и отстаивающего ее нелепости ради своих личных выгод. Чтобы не насиловать явлений жизни, чтобы не становиться к ним в ложные отношения и чтобы не закидать грязью своего героя, г-н Гончаров заблагорассудил в „Обыкновенной истории” совершенно отвернуться от явлений жизни. Отнестись к ним с тем суровым отрицанием, с которым относился к ним все честные деятели русской мысли, открыто заявить свое non-conformity¹ г-н Гончаров не решился».²

Так постепенно снисходительная критика в статье Писарева перерастает в саркастические обвинения (по сути, в «нечестности») и злой памфлет, подготавливая почву для будущих критических разносов романа «Обрыв»: «...в „Обыкновенной истории” он исполнил удивительный *tour de force*.³ и исполнил его с беспримерною ловкостью; он написал большой роман, не говоря ни одного слова о крупных явлениях нашей жизни; он вывел две невозможные фигуры и уверил всех в том, что это действительно существующие люди; он стал в первый ряд русских литераторов, не откликаясь ни одним звуком на вопросы, поставленные исторической жизнью народа, пропуская мимо ушей то, что носится в воздухе и составляет живую связь между живыми деятелями. Исполнить такого рода *tour de force*, и притом исполнить его на глазах Белинского, удалось г-ну Гончарову только благодаря удивительному совершенству техники, невыразимой обаятельности языка, беспримерной тщательности в отделке мелочей и подробностей»; «Его „Обыкновенная история”, за исключением последних страниц, которые как-то не вяжутся с целым и как будто приклеены чужою рукою, говорит довольно прямо, хотя и очень осторожно: „Эх, молодые люди, протестанты жизни, бросьте вы ваши стремления вдаль, к усовершенствованиям, к лучшему порядку вещей! — все это пустяки, фантазерство! Наденьте вицмундиры, вооружитесь хорошо очиненными перьями, покорностью и терпением, молчите, когда вас не спрашивают, говорите, когда прикажут и что прикажут, скрипите перьями, не спрашивая, о чем и для чего вы пишете, — и тогда, поверьте мне, все будут вами довольны, и вы сами будете довольны всем и всеми”. Эти мысли и воззрения в свое время были как нельзя более кстати, их надо было только выразить с некоторою осторожностью, чтобы не прослыть за последователя почтеннейшего Булгарина...».⁴

¹ несогласие с чем-либо (англ.)

² Там же. С. 148, 149. В статье «Мотивы русской драмы» (1864) Писарев отнес Адуева (и Штольца) к разряду «карликов» («или, что то же, типу практических людей»): «Один только г-н Гончаров пожелал возвести тип карлика в перл создания; вследствие этого он произвел на свет Петра Ивановича Адуева и Андрея Ивановича Штольца; но эта попытка во всех отношениях похожа на поползновение Гоголя представить идеального помещика Костанжогло и идеального откупщика Муравова» (Там же. С. 344).

³ ловкий ход (фр.)

⁴ Там же. С. 149, 151. «В статье „Гончаров, Писемский и Тургенев” он (Писарев. — *Ред.*) привлек к суду Гончарова, доказал по пунктам его виновность и объявил не заслуживающим ни малейшего снисхождения. (...) Трудно категоричнее высказаться о Гончарове, чем высказался о нем Писарев» (Ляцкий. С. 12, 19).

О первенце Гончарова вспомнила критика и после публикации романа «Обрыв» в журнале «Вестник Европы». Тон критики по отношению к «Обрыву» был преимущественно недоброжелательный, и это отрицательное отношение распространилось и на «Обыкновенную историю». В частности, Н. В. Шелгунов в статье «Талантливая бесталанность» (1869), тенденциозно отобрав критические замечания Белинского о характере дарования Гончарова, о финале романа, восхищается пронырливостью «неистового Виссариона» и добавляет от себя: «Со времени „Обыкновенной истории“ в мыслительных способностях г-на Гончарова никаких существенных перемен не произошло. Оно и понятно — способности эти в гостином дворе не продаются. Г-н Гончаров остался по-прежнему поэтом, талантом, живописцем, с той только разницей против 1847 года, когда появилась „Обыкновенная история“, что в двадцать с лишним лет он еще больше окреп в живописи и стал слабее, чем был, на почве сознательной мысли».¹ Несколько ниже, противореча самому себе, Шелгунов именно в тенденции обнаруживал причину успеха «Обыкновенной истории»: «Сила этого романа — в резком протесте против идеализма и сентиментализма. Роман читался потому, что вздохи и мечтания о девах, луне и другом романтическом вздоре всем уже надоели и общество почувствовало, что на него повеяло новым духом. Сила романа заключалась именно в его реализме: масса публики услышала новое слово и благоговейно взглянула на нового пророка. (...) Но г-н Гончаров не понял причины своего успеха, не понял, что его выдвинул не талант, то есть способность рисовать картинку, а мысль, идея, тенденция».²

Нигилистическая и народническая критика воспринимала творчество Гончарова преимущественно враждебно: тут свою роль сыграли и консервативные взгляды писателя, и его цензорская деятельность (в 1857 г. она стала мишенью для выпадов Герцена), и роман «Обрыв», в котором, по мнению многих, было дано карикатурное изображение прогрессивной молодежи (Марк Волохов). А. М. Скабичевский в статье «Старая правда» не только автора «Обыкновенной истории» обличал, но и с критическим отзывом Белинского полемизировал: «Что Гончаров поставил идеалом положительности отъезжего филистера, в этом нет ничего удивительного; но что Белинский мог увлечься этим господином, это может представляться решительно непонятным, если вы не примете в соображение, что Белинский просто-напросто увлекся до такой степени отрицанием романтизма, что ему было решительно все равно, чем ни бить ненавистный ему романтизм, и далее этого отрицания он не отдавал себе ни в чем отчета».³ Естественно, эта критика, узкая, тенденциозная,

¹ Шелгунов Н. В. Литературная критика. Л., 1974. С. 211.

² Там же. С. 243. В статье «Пророк славянофильского идеализма» (1876) Шелгунов с удовольствием приводит слова Григорьева о первом романе Гончарова как о произведении, «отделанном в частности и подробностях», но «сухом до безжизненного догматизма по основной идее», «построенном в виде самой искусственной аллегии», главная мысль которого, однако, весьма понравилась «так называемым практическим людям» (Там же).

³ Скабичевский А. М. Сорок лет русской критики. 1820—1860 // Соч.: В 2 т. СПб., 1903. Т. 1. С. 354. Е. Ляцкий точно охарактеризовал статью Скабичевского: «Повторяя вкривь и вкось мысли, высказанные тем же Белинским, но пригоняя их к фразеологии шестидесятых годов, Скабичевский из-за борьбы с Петром Ивановичем Адуевым, давно уже еще до

грубая, ориентированная только на злободневные вопросы, была бесконечно ниже критических статей Белинского,¹ Григорьева, Дружинина, Добролюбова. Положение стало меняться только в 1890-е гг., когда появились новые силы и раздались новые голоса, восставшие против критериев реальной и позитивистской критики. Это были представители раннего символизма, или предсимволизма, — Д. Мережковский, Ф. Сологуб, А. Волынский, Л. Гуревич. Еще при жизни Гончарова была напечатана замечательная статья Д. С. Мережковского «И. А. Гончаров (Критический этюд)»;² правда, очень больной, умирающий писатель оценить ее не смог. Мережковский впервые обратил внимание на такие стороны художественного мирозерцания Гончарова, которые фактически не существовали для слишком идеологизированных, позитивистских мыслящих критиков 1840—1880-х гг., непренных участников общественно-литературной борьбы. Свообразно обрисовывает Мережковский специфическое и очень несовременное умонастроение Гончарова, этого «естественного» оптимиста: «Цельность и крепость души его не надломлены современным недугом. Гончаров рассудком понимает пессимизм. Но в сердце, в плоть и в кровь его не проникла ни одна капля яда». Критик подтверждает этот тезис иллюстрациями из романов писателя, в частности из «Обыкновенной истории»: «Степень оптимизма писателя лучше всего определяется его отношением к смерти. Гончаров почти не думает о ней. В „Обыкновенной истории“ ему пришлось говорить, как умерла мать Александра Адуева. Эта женщина — живой, яркий характер и занимает важное место в романе. Сын присутствует при смерти. А между тем о кончине ее два слова: „она умерла“. Ни одной подробности, ни одного ощущения, никакой обстановки! И так Гончаров пишет в эпоху, когда ужас смерти составляет один из преобладающих мотивов литературы».³

Не менее ценным представляется и другое наблюдение Мережковского — о религиозном содержании творчества Гончарова. Критик-символист приводит одно из самых поэтических мест в «Обыкновенной истории» — посещение Александром Адуевым старой деревенской церкви (по возвращении разочарованного и уставшего героя из Петербурга), когда он вспоминает безмятежно-идиллические детские и юношеские годы: «Он мысленно пробежал свое детство и юношество до поездки в Петербург; вспомнил, как, будучи ребенком, он повторял за матерью слова молитвы, как она твердила ему об ангеле-хранителе (...) как она,

него поверженным в прах, проглядел и всю глубину художественной ценности романов Гончарова, и их историческое значение» (*Ляцкий*. С. 25).

¹ Белинскому, по справедливому и глубокому наблюдению Чернышевского, были свойственны то чувство объективности, та широта взгляда, которые отсутствовали у его эпигонов 1860—1880-х гг.: «...он с полною готовностью признавал все достоинства произведений словесности, которые были написаны не в том духе, какой казался ему сообразнейшим с потребностью нашей литературы, лишь бы только эти произведения имели положительное достоинство. Для примера напомним его отзыв о романе г-на Гончарова „Обыкновенная история“» (*Чернышевский*. Т. III. С. 232).

² Труд. 1890. Т. VIII. № 24. С. 588—612; перепечатана в кн. «Вечные спутники» (1896), которая входила во все прижизненные собрания сочинений писателя.

³ *Мережковский Д. С.* Соч. М., 1914. Т. XVIII. С. 35.

указывая ему на звезды, говорила, что это очи Божьих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрые и злые дела людей; как небожители плачут, когда в итоге окажется больше злых, нежели добрых, дел. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это Сион...» (наст. том, с. 444). Мережковский, опираясь на эти тихие, поэтические воспоминания, делает вполне обоснованные, пронизательные заключения: «Вот религия, как она представляется Гончарову, — религия, которая не мучит человека неутолимой жадой Бога, а ласкает и согревает сердце, как тихое воспоминание детства».¹

Взгляд Мережковского на особенность творческой манеры Гончарова (резвое, спокойное, простое, здоровое отношение к жизни) ближе всего к «фламандской» концепции Дружинина, которую Мережковский, можно сказать, символизирует, подчеркивая теплоту мирозерцания писателя: «Все огромное здание его эпопей озарено ровным светом разумной любви к человеческой жизни». Отчетливо видит Мережковский и обратную сторону этой безмятежной идиллии: «трагизм пошлости» венчает одиссею романтика Александра Адуева; тот же «спокойный, будничный трагизм» поглощает (постепенно, но фатально, неуклонно) Илью Ильича Обломова: «Пошлость, торжествующая над чистотой сердца, любовью, идеалами — вот для Гончарова основная трагизм жизни. Другие поэты действуют на читателя смертью, муками, великими страстями героев, он потрясает нас — самодовольной улыбкой начинающего карьериста, халатом Обломова, промокшими ботинками Веры...».²

Интересны наблюдения Мережковского, касающиеся воспитания Александра Адуева, условий формирования его личности. Наивное письмо помещицы Адуевой позволяет ему высказаться ясно и в духе «реальной критики» Добролюбова: «Эта черта любви, соединенной с умственной ограниченностью, сразу определяет характер воспитания Александра. (...) Растлевающее влияние крепостного права, впитавшееся в кровь и плоть целых поколений, и теплая, расслабляющая атмосфера семейной любви — таковы условия, в которых проходят детские и отроческие годы Александра Адуева, Райского, Обломова. Праздность, сделавшаяся не только привычкой, но возведенная в принцип, в исключительную привилегию людей умных и талантливых — вот результат этого воспитания». От Александра Адуева, его романтического взгляда на мир Мережковский проводит линию к Обломову: «В работе видит он несомненный признак отсутствия таланта, искры Божией и вдохновения. От подобных взглядов один шаг до обломовского халата. Шаг этот сделан Александром после двух-трех неудач в любви и литературе. (...) Александр Адуев — это Илья Ильич в молодости, и притом в более ранний период русской жизни». Очевидна, впрочем, критику и немалая разница между героями, позволяющая подчеркнуть симпатию, предпочтение Илье Ильичу Обломову, который «проще: у него нет напускного байронизма и фразерства. В хорошие минуты он глубоко сознает свое нравственное падение. Александр Адуев в эпилоге радуется „фортуне,

¹ Там же. С. 36. Превосходна и сжатая сравнительная характеристика творчества Гончарова: «По изумительной трезвости взгляда на мир Гончаров приближается к Пушкину. Тургенев описан красотой, Достоевский — страданиями людей, Лев Толстой — жадой истины, и все они созерцают жизнь с особенной точки зрения. Действительность немного искажается, как очертания предметов на взволнованной поверхности воды» (Там же. С. 37).

² Там же. С. 37—38.

карьере и богатой невесте»; самодовольная пошлость противнее в нем обломовского сна и апатии».¹

Образно и точно определил Мережковский особое место «Обыкновенной истории» в творчестве писателя, как бы поставив последнюю точку в многообразной, почти на полвека растянувшейся прижизненной критике, рожденной романом, — критике, которая сама по себе стала ярким фактом (даже феноменом) литературного развития: «„Обыкновенная история“ — первое произведение Гончарова — громадный росток, только что пробившийся из земли, еще не окрепший, зеленый, но переполненный свежими соками. Потом на могучем отростке один за другим распускаются два великолепных цветка — „Обломов“ и „Обрыв“». Все три произведения — один эпос, одна жизнь, одно растение. Когда приближаешься к нему, видишь, что по его колоссальным лепесткам рассыпана целая роса едва заметных капель, драгоценных художественных мелочей. И не знаешь, чем больше любоваться — красотой ли всего гигантского растения или же этими мелкими каплями, в которых отражаются солнце, земля и небо».²

Из других суждений о первом романе Гончарова, относящихся к концу века, выделяется статья И. Ф. Анненского «Гончаров и его Обломов»,³ в которой поэт и критик, воспользовавшись словами Григорьева о «резонерском реализме» Гончарова, придал им иной и положительный смысл: «Гончаров неизменный здравомысл и резонер. Сентиментализм ему чужд и смешон. Когда он писал свою первую повесть „Обыкновенную историю“, адуевщина была для него уже пережитым явлением. (...) Резонеров у Гончарова немало: Адуев-дядя, Аянов (в «Обрыве»), Штольц (в «Обломове»), бабушка (в «Обрыве»). Между резонерами есть только один вполне живой человек — это бабушка. Резонерство Гончарова *чисто русское*, с юмором, с готовностью и над собой посмеяться, *консервативное*, но без всякой *деревянности*, напротив, сердечное, а главное, без тени *самолюбования*».⁴

4

Первые переводы «Обыкновенной истории» появились в 1870—1880 гг., во время «настоящего торжества» отечественной словесности за границей. «Когда дан был первый толчок знакомству с русской литературой, — писал современник Гончарова, — полился целый дождь переводов (...) где заняли место все замечательнейшие имена нашего новейшего периода».⁵ Но и тогда, и впоследствии Гончаров был менее известен за

¹ Там же. С. 42—43. Адуева-дядю Мережковский помещает в один ряд с рассудочными и волевыми Штольцем и Волоховым: «Как ни отличен чиновник Адуев от нигилиста Волохова и этот последний от аккуратного, добродетельного немца Штольца — у всех троих есть общая черта: рассудок у них преобладает над чувством, расчет — над голосом сердца, практичность — над воображением, способность к действию — над способностью к созерцанию». Этим героям Мережковский не симпатизирует; они, по его мнению, личности ходульные, выдуманные. Так, он считает, что Адуев-дядя нарисован «несколько прямолинейно и сухо, более искусно, чем художественно» (Там же. С. 46).

² Там же. С. 42.

³ Рус. школа. 1892. № 4. С. 71—95.

⁴ Анненский И. Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 263—264.

⁵ Пыпин А. Н. Русский роман за границей // ВЕ. 1886. Т. 5 (121), кн. 9. С. 301.

границей, чем Тургенев, Толстой, Достоевский. По его словам в письме П. Г. Ганзену от 24 мая 1878 г., он специально и «не добивался всесветной европейской известности». «Я терпеть не могу видеть себя переведенным, — категорически заявлял он в письме к С. А. Никитенко от 4 июля 1868 г., — я пишу для русских, и мне вовсе не льстит внимание иностранцев».

Тем не менее переводчики нередко обращались к произведениям писателя. Первым полным переводом «Обыкновенной истории» был чешский, опубликованный в 1872 г.¹ Затем вышли датский (1877)² и полный немецкий (1885)³ переводы (в 1854 г. на немецком появилось несколько отрывков из романа).⁴ В 1887 г. «Обыкновенная история» была издана на французском,⁵ а в 1889 г. — на финском.⁶ На английский язык роман был переведен уже после смерти Гончарова, в 1894 г.⁷

Вероятно, число переводов этого и других романов писателя могло быть большим, если бы не скептическое отношение Гончарова к возможности точной передачи его произведений на других языках. Он причислял себя к «исключительно и тесно-национальным живописцам быта и нравов русских», которые «не могут быть переводимы на чужие языки без явного ущерба достоинству их сочинений» (из письма Ганзену от 24 мая 1878 г.).⁸ «Я сам всего менее занимаюсь участью своих сочинений, особенно в переводах, — признавался Гончаров этому же корреспонденту в письме от 12 марта 1878 г. — Я никогда не только не поощрял, но, сколько от меня зависело, даже удерживал переводчиков от передачи моих произведений на иностранные языки».

Опасения Гончарова относительно «ущерба достоинству» его сочинений нередко подтверждались. Ему сообщали о целом списке ошибок в немецком переводе «Обломова», а при переводе двух его последних романов на французский в тексте были сделаны значительные сокращения. Неудивительно, что отношение писателя к своим переводчикам было более чем сдержанным. Исключение составлял П. Г. Ганзен,⁹ автор датского перевода «Обыкновенной истории», о качестве которого Гон-

¹ *Gončarov I. A. Stará historie: D. 1—2 / Přel. J. P. Doslov, E. Valečky.* Plzeň: Maticе slovanská, 1872.

² *Sådan går det! Roman i to Dele af I. Gontscharoff / Oversat fra Russisk af Em. Hansen.* Kjøbenhavn, 1877.

³ *Gontscharow I. A. Eine alltägliche Geschichte: Roman / Übers. von H. von Exe; mit einer Einleitung von W. Henckel.* Stuttgart: W. Spemann, 1885 (переизд.: 1900).

⁴ *Gontscharow I. A. Eine gewöhnliche Geschichte: Roman // Minzloff R. Beiträge zur Kenntnis der poetischen und wissenschaftlichen Literatur Russlands.* Berlin, 1854. S. 131—154.

⁵ *Gontcharof I. A. Simple histoire: 2 vol. / Trad. du russe par E. Halpérine-Kaminsky.* Paris: Perrin, 1887.

⁶ *Gontsharow I. Tavallinen juttu: 1, 2. Kaksi-osainen romaani / Suomensi: Olga A. Wiipuri,* 1889.

⁷ *Goncharov I. A. A common story: A novel / Transl. by C. Garnett.* London: W. Heinemann; New York: Collier, 1894.

⁸ Мнение это он повторял неоднократно (см., например, письмо к В. В. Стасову от 17 августа 1882 г.).

⁹ Петр Готфридович Ганзен (Emanuel Hansen) (1846—1930) — датско-русский литератор. Родился в Копенгагене; с 1871 по 1917 г. жил в России. Еще в Дании участвовал в подготовке издания произведений Шекспира в переводе Э. Лембке. Перевод «Обыкновенной истории» был

чаров мог судить только по благожелательным откликам. В письме Гончарову от 21 февраля 1879 г. переводчик сообщал, что роман очень понравился в Дании, а 12 апреля того же года передавал среди других положительных отзывов «мнение одного из лучших скандинавских литераторов», профессора М. Гаммерика, отметившего, между прочим, что в коллизиях романа «есть что-то общечеловеческое, как бы близко ни держалось описание к известному времени, известному народу».

Вообще же при жизни Гончарова «Обыкновенная история» (как и другие романы) не была по достоинству оценена за границей. В авторитетных исследованиях Вогюэ и Тернера¹ его творчество практически проигнорировано, а в «Истории современной русской литературы» Курье первому роману Гончарова было уделено всего несколько строк. Сопоставив его с романом А. И. Герцена «Кто виноват?», критик не нашел в создании писателя присущей Герцену глубины и пришел к выводу, что Гончаров и не стремился к глубокому исследованию избранного предмета, целиком положившись на силу воображения.²

Критически оценил Курье характер Адуева-старшего, написав, что он представляет собой скорее воплощение идеи, нежели живой тип.³ Впрочем, французский автор в основном повторял расхожие мнения русской критики. Некоторая зависимость от этих мнений характерна и для книги Л. Сиклера «История русской литературы со времен ее возникновения до наших дней»,⁴ чрезвычайно лаконичной и скорее напоминающей справочник.

Итоги прижизненного изучения Гончарова во Франции были подведены в статье критика и переводчика Т. де Вызевы «Иван Гончаров», опубликованной на следующий день после смерти писателя в «Revue Bleue» и включенной в 1897 г. в книгу этого автора.⁵ Вызева с сожалением признал, что французскую публику забыли познакомить с одним из великих русских романистов.⁶ Он негативно оценил переводы «Обломова», из которого по-французски появились только первые главы, и «Обрыва», охарактеризованного в предисловии к французскому изданию как авантюрный роман. И хотя «Обыкновенная история» была переведена полностью, Вызева выразил сомнение, что французский текст мог дать полное представление о достоинствах оригинала.⁷

Европейская и мировая известность пришла к первому роману Гончарова уже после смерти писателя. Более пристальное изучение его наследия литературоведческой наукой сопровождалось многочисленными переводами и переизданиями, в том числе и «Обыкновенной

его первой опубликованной работой. Впоследствии перевел на датский язык произведения Л. Н. Толстого. На русский язык вместе с супругой А. В. Ганзен (урожд. Васильевой) перевел сочинения Г. Х. Андерсена и Г. Ибсена. Подробнее о нем см.: Литературный архив. М.; Л., 1961. Т. 6. С. 37—40.

¹ Vogüé E.-M. Le roman russe. Paris, 1886; Turner C. E. Studies in Russian literature. London, 1882.

² Courrier C. Histoire de la littérature contemporaine en Russie. Paris, 1875. P. 243.

³ Ibid. P. 244.

⁴ Sichler L. Histoire de la littérature russe depuis les origins jusqu'à nos jours. Paris, 1886.

⁵ Wyzewa T. de. Écrivains étrangers / Deuxième série. Paris, 1897.

⁶ Ibid. P. 207.

⁷ Ibid. P. 218.

истории». Неоднократно, переиздавался названный выше английский перевод К. Гарнетт.¹ На английском роман появился также в России и США.² Еще дважды роман был переведен на немецкий язык.³ Существуют три итальянских перевода «Обыкновенной истории».⁴ В Японии в 1909 г. был опубликован отрывок из романа, полный перевод вышел в 1948 г. (переизд.: 1952—1953). Наиболее часто роман переводился на чешский и словацкий языки.⁵ В 1955 г. вышел его польский перевод.⁶ «Обыкновенная история» была также переведена на азербайджанский (1953), армянский (1963), белорусский (1955), бенгальский (1959), болгарский (1911, 1979), венгерский (1949, 1955), грузинский (1975), казахский (1958), китайский (1954, переизд.: 1956), латышский (1902, 1958), молдавский (1958), португальский (1977), румынский (1951, переизд.: 1956 — в составе собр. соч. Гончарова), сербскохорватский и словенский (1923, 1949), таджикский (1959), татарский (1979), узбекский (1984) и эстонский (1955) языки.

5

Несмотря на, казалось бы, совершенную «антитеатральность» прозы Гончарова, инсценировки его романов (начиная с «Обрыва») появились уже в 1890-х гг.

¹ *Goncharov I. A. A common story: A novel / Transl. by C. Garnett. London: London Book Co, 1906 (переизд.: 1917, 1977).*

² *Goncharov I. A. The same old story / Transl. by I. Litvinova. M.: FLPH, 1957 (переизд. 1975, 1989); Goncharov I. A. An ordinary story / Including the stage adaptation of the novel by V. Rozov; Transl. by M. L. Hoover. Ann Arbor: Ardis, 1994.*

³ *Gontscharow I. A. Eine alltägliche Geschichte / Übers. von F. Frisch // Gontscharow I. A. Gesammelte Werke: In 4 Bdn. Berlin: Cassierer, 1909. Bd. 1 (переизд.: 1920, 1923); Gontscharow I. A. Eine alltägliche Geschichte: Roman / Übers. von F. Frisch. Berlin: Volk und Welt, 1953 (переизд.: 1958, 1965); Gontscharow I. A. Eine alltägliche Geschichte: Roman / Übers. von F. Frisch; Oblomov: Roman / Übers. von C. Brauner. Zürich: Manesse Verlag, 1960; Gontscharow I. A. Eine alltägliche Geschichte / Übers. von R. Fritze-Hanschmann. Leipzig: Dieterich, 1965 (переизд.: 1980, 1989, 1993).*

⁴ *Gonciarov I. A. Solita storia / Trad. di F. Verdinois. Milano: Vallardi, 1909 (переизд.: 1922); Gonciarov I. A. Una storia comune: Romanzo / Trad. integrale di M. Vissetti. Milano: Rizzoli, 1947 (переизд.: 1961); Gonciarov I. A. Una storia comune / Trad. di L. dal Santo // Gonciarov I. A. Tutte le opere narrative. Milano: Mursia, 1970. V. 2.*

⁵ *Gončarov I. A. Obrat osudu: Pohrobni práce / Přel. A. Šlechtova // Narodny listy: Nĕdelni a zábavná příloga. 1893. № 300. S. 9—10 (отрывок); Gončarov I. A. Obyčejná historie: Román / Přel. B. Herbenová // Spisy I. Gončarova. Sv. 1. Praha: J. Otto, 1900; Gončarov I. A. Obyčejná historie / Přel. St. Minařík. Praha: St. Minařík, 1926; Gončarov I. A. Obyčejná história: Román ve 4 dieloch / Přel. H. Ruppeldtová. Turč. Sv. Martin: Matica slovenská, 1947; Gončarov I. A. Vsední příběh: Román o 2 částech / Přel. Horák. Praha, 1950 (переизд.: 1951); Gončarov I. A. Vsední příběh / Přel. R. Havránková. Praha: SNKLHU, 1959 (переизд.: 1965, 1973, 1976); Gončarov I. A. Vsedný příběh / Přel. V. Marušiaková; Stúdiu napísal J. Kopaničák; Verše prebásnil J. Majerník. Bratislava: SVKL, 1960.*

⁶ *Gonczarow I. A. Zwyczajna historia / Tłum. W. Rogowicz / Pod red. i z przypisami Z. Fedeckiego. Warszawa: Książka i Wiedza, 1955.*

Интерес к «Обыкновенной истории» обнаружился лишь в нынешнем веке, когда в 1960-х гг. внезапно оказался остроактуальным центральный конфликт романа. Почти одновременно были созданы две сценические версии — инсценировки В. В. Васильева (1954) и В. С. Розова (1955). При первом чтении как будто бы не заметно особых различий между этими двумя сценариями, но на самом деле различия есть, и достаточно глубокие.

Инсценировка Васильева была перегружена бытовыми реалиями, главное в ней не действие, а разговоры. С подробнейшей передачей диалогов обстоятельно воспроизводились прощальный завтрак, сцена с Софьей и другие эпизоды первой части романа. Внутренний динамизм гончаровского повествования утрачивался — необходимая сценическая обоснованность слов и поступков заставляла автора инсценировки придерживаться «буквы» произведения, жертвуя его «духом». Главной целью Васильева становилось не осмысление, а изложение.

По-иному подошел к инсценировке Розов: концентрируя действие, он создавал атмосферу внутреннего напряжения и, следуя в общих чертах гончаровскому сюжету, «разворачивал» текст, сценически заостряя большие и малые кульминации «Обыкновенной истории». В частности, у Розова история взаимоотношений Адуева-младшего с Надинькой и Юлией подавалась сценически, в то время как у Васильева преобладал рассказ об этих эпизодах.

Инсценировка Васильева так и не нашла своего постановщика; на долю розовской версии выпал большой успех.

Спустя десять лет после создания двух сценариев «Обыкновенной истории» к репетициям розовского варианта пьесы приступили два известнейших театра: московский «Современник» и Ленинградский академический театр драмы им. А. С. Пушкина. Спектакль на московской и ленинградской сценах был поставлен в один театральный сезон 1964/65 г.,¹ однако концепции постановок оказались кардинально противоположными, что, в целом, неудивительно: диалогическая структура романа (и пьесы) сама по себе предполагала неоднозначность прочтения. Вот что пишет об этом театральный критик: «Розов на материале классического романа учиняет расследование обычного происшествия: куда деваются прекрасные юноши с добрыми намерениями и высокими порывами. (...) На материале этого расследования можно выстроить либо трагикомическую повесть о несостоятельности юношеских мечтаний Сашеньки Адуева, о его бесосновательных претензиях на чин героя. (...) Либо надо изобразить „страсти молодого человека“, желавшего всем сердцем послужить отечеству, отдать себя людям, но обнаружившего бессмысленность своего порыва в условиях чиновничьего российского государства...».²

Спектакль «Современника» в постановке Г. Волчек демонстрировал первый вариант прочтения текста, спектакль пушкинского театра в постановке В. В. Эренберга — второй.

¹ Постановка была возобновлена в Ленинграде тем же театром в 1973 г.; в Москве же к «Обыкновенной истории» в 1980-х гг. заново обратился театр-студия «Под крышей» О. Табакова, исполнившего на этот раз роль Петра Адуева. Спектакль «Современника» в 1970-х гг. был экранизирован Центральным телевидением.

² *Иванова В.* Время и тип сценического героя // Верность революции. Л., 1971. С. 81.

Александр Адуев в исполнении Олега Табакова смешон, почти буффонен, хотя и трогателен на фоне графически¹ сухого дядюшки (М. Казаков). Он весь — пародия и гротеск. Не случайно, несмотря на широкий успех у публики и прессы (именно за постановку «Обыкновенной истории» «Современник» был удостоен Государственной премии СССР, а Табакова критики сравнивали с Москвиным в роли царя Федора Иоанновича), режиссера и исполнителя главной роли Табакова упрекали в том, что Адуев «Современника» — мелкий человек с ничтожными проблемами. «Нет, он не мелкий человек, — возражал Табаков в одном из интервью, — он обыкновенный. Мы и не хотели делать его личностью исключительной. Разве мир населен людьми исключительными? (...) Способности, талант — это не зависит от самого человека. А вот нормы нравственные, мужество, стойкость, последовательность — в его власти. Это можно с него спросить».²

Не обстоятельства, таким образом, виноваты в «падении» Адуева, а он сам. Спектакль пушкинского театра, напротив, переносил центр тяжести на российские «обстоятельства». В свете такого взгляда Адуев-младший становился трагическим героем. Во многом это было обусловлено исполнительским составом: роль Александра Адуева играл Ю. С. Родионов, актер ярко выраженного героического амплуа; роль дядюшки — предельно академичный Б. А. Фрейдлих. С самого начала режиссером спектакля делалась ставка на традиционный для русской академической сцены социально окрашенный психологизм. Более консервативным по сравнению с «Современником» было и художественное оформление спектакля по эскизам главного художника театра, заслуженного деятеля искусств РСФСР Д. Ф. Попова.

Пьеса оказалась одной из наиболее репертуарных: вслед за столичными театрами «Обыкновенную историю» начали активно ставить в провинции. Интересно, что все последующие постановки восходили либо к московскому, либо к ленинградскому спектаклю; так, Саратовский ТЮЗ и Казанский театр им. В. И. Качалова вслед за «Современником» акцентировали вину Адуева-младшего; Калининский, Волгоградский и Минский драматические театры делали акцент на трагическом конфликте героя с условиями времени.³ Спектакль также ставился Воронежским драматическим театром им. А. В. Кольцова, Республиканским русским драмати-

¹ Художник спектакля Б. Бланк именно графически решает сценическое пространство. Для создания образа спектакля им берутся контрастные краски: черная и белая. Черный бархатный фон, белая ажурная мебель, лестницы, конструкции. Интересна (вне цветового аспекта) заложенная в декорациях идея. Вот как характеризовал ее В. Шкловский: «Посредине сцены поставлен вращающийся круг, разделенный на комнаты несколькими перегородками. Эти комнаты охвачены двумя лестницами, которые сливаются вместе и идут куда-то вверх в нарисованный мрачный государственный Олимп. По бокам лестницы сидят чиновники, они представляют собой молчаливый хор, они ритмически передают друг другу бумажки сложенными, почти обрядовыми движениями, они штампуют бумаги, как будто заколачивают гробы на конвейере» (*Шкловский В. Побежденная обыкновенность // Театр и кино. Год 1966. М., 1967. С. 96*).

² *Табаков О. Высказаться через героя... // Искусство кино. 1968. № 5. С. 110.*

³ См. об этом: *Тимченко М. О современной сценической интерпретации героя классического произведения: (Из опыта постановок «Обыкновенной истории» И. А. Гончарова) // Театр и драматургия. Л., 1971. С. 418—419 (Труды Ленингр. гос. ин-та театра, музыки и кинематографии; Вып. 3).*

ческим театром им. М. Ю. Лермонтова (Грозный), Иркутским драматическим театром им. Н. П. Охлопкова, Красноярским краевым драматическим театром им. А. С. Пушкина, Пермским драматическим театром, Ставропольским краевым драматическим театром им. М. Ю. Лермонтова, Финским драматическим театром (Петрозаводск) на финском и русском языках, Рижским ТЮЗ'ом им. Ленинского комсомола, Ульяновским драматическим театром, Русским драматическим театром (Чебоксары), Югославским драматическим театром (Белград).

В 1983 г. Ленинградское телевидение поставило телеспектакль «Обыкновенная история» в 4-х частях (автор инсценировки — В. Правдук, режиссер-постановщик — В. Латышев; в ролях: Александр — В. Конкин, Надинька — И. Мазуркевич, дядя — И. Краско; текст от автора — К. Лавров).

С. 172. ...*в деревне Грачах...* — Деревня Адуевых — первый этюд Обломовки («Обломов») и Малиновки («Обрыв»). Современники свидетельствуют об автобиографичности деревенских описаний в романе (см.: Потанин Г. Н. Воспоминания об И. А. Гончарове // *Гончаров в воспоминаниях*. С. 20; *Суперанский*. С. 7). Гончаров сам подчеркивал сходство своего симбирского дома с помещичьей усадьбой в воспоминаниях «На родине»: «Дом у нас был, что называется, полная чаша. (...) Большой двор, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлевами, сараями, амбарами, птичником и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки — всё это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной дворни. Словом, целое имение, деревня».

С. 172. ...*у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой...* — В мемуарной и исследовательской литературе неоднократно отмечалось, что прототипом Адуевой была мать Гончарова — Авдотья Матвеевна. О ней см.: *Суперанский*. С. 3.

С. 173. *История об Аграфене и Евсее...* — Под именами Евсея и Аграфены, как вспоминал Г. Н. Потанин, Гончаров «поразительно верно описал» преданных слуг дома Гончаровых Никиту и Софью (*Гончаров в воспоминаниях*. С. 24).

С. 176. *Седелка* — часть конской упряжи, подушка под ремнем, поддерживающим оглобли.

С. 177. ...*и играл кистью своего шлафрока.* — См. выше, с. 668, примеч. к с. 118.

С. 178. *Четверть* — мера объема сыпучих тел; основная торговая хлебная мера, существовавшая в России с XV в. Равнялась одному кулю или 7 пудам 10 фунтам (210 л). Мера для приема хлеба в казну называлась казенной четвертью и равнялась приблизительно 9 пудам.

С. 179. *Нищи ли вы духом...*; см. также с. 382: ...*я жалок, нищ духом!* — В Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие небесное» (Мф. 5:3). Употребляется в значении: смиренные, лишенные гордости. Гончаров обыгрывает буквальный смысл.

С. 180. *Нужно было даже поменьше любить его ~ не плакать и не страдать вместо его...* — В письме к сестре А. А. Кирмаловой от 5 мая 1851 г., написанном под впечатлением известия о смерти матери, Гончаров писал: «Живи она еще десять лет, она бы всё мучилась вдвойне: за всякое наше горе и за то еще, что она не может пособить ему».

С. 181. *Масака* (массака) — темно-красный с синим отливом цвет.

С. 182. ...*отец был дворянин, майор...* — См. выше, с. 668, примеч. к с. 114.

С. 183. ...*блуды посты, мой друг ~ В среду и пятницу — Бог простит; а в Великий пост — Боже оборони!* — По православному церковному уставу, однодневные посты в среду (в память о предании Иисуса Христа на страдание и смерть) и в пятницу (в память о самих страданиях и смерти) соблюдались не на всякой неделе года.

С. 183. *Что мясоед, что Страстная неделя — всё одно жрет.* — О мясоеде см. выше, с. 673, примеч. к с. 168. Страстная неделя — предшествующая Пасхе последняя неделя Великого поста, в течение которой церковным уставом предписывается обязательное воздержание от мясной, масляной и — в зависимости от строгости поста — некоторых других видов пищи.

С. 183. *Красенькая* — десять рублей, по цвету купюры.

С. 184. *«Не пожелай жены ближнего твоего», — сказано в Писании.* — Одна из десяти библейских заповедей (Исх. 20:17).

С. 185. *Вечный жид* (или Агасфер) — персонаж христианской легенды позднего западноевропейского средневековья, согласно которой Агасфер отказал Иисусу Христу в коротком отдыхе во время его пути на Голгофу, за что ему самому было отказано в покое могилы; Агасфер обречен скитаться из века в век, дожидаясь второго пришествия Христа. Известны многочисленные литературные переложения легенды; образ актуализировался в творчестве романтиков. См. неоконченную поэму И.-В. Гете «Вечный жид» (1774); поэму Ф.-Д. Шубарта «Вечный жид» (1787); роман Я. Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе» (1803—1814; об интересе к нему Пушкина см.: *Лотман. Комментарий.* С. 211); философскую драму Э. Кине «Агасфер» (1833); авантюрный роман Э. Сю «Вечный жид» (1844—1845); неоконченную поэму В. К. Кюхельбекера «Агасвер» (1831—1846); поэму Е. Бернета «Вечный жид» (1839); неоконченную поэму В. А. Жуковского «Агасфер, Вечный жид» (1851—1852) и др. Травестирование высокого образа у Гончарова соответствует общей концепции «обыкновенного» в романе.

С. 185. ...*ел ~ и упитанного тельца, закланного счастливым отцом по случаю возвращения блудного сына.* — Парафраза стихов евангельской притчи о блудном сыне: «И приведше телец упитанный, заколите, и, ядше, веселимся» (Лк. 15:23).

С. 185. ...*душ двадцать заложженных и перезаложженных...* — Дворянские имения принимались под залог на 20 лет Государственным заемным банком; выплачиваемая при этом денежная сумма зависела от количества крепостных душ. Заклад имения предполагал ежегодную уплату банковских процентов, которые при перезакладывании уже заложженных имений удваивались.

С. 185. *Казакин* — мужская верхняя одежда, кафтан со стоячим воротником и сборками сзади.

С. 188. ...*этому гомерическому завтраку.* — Гомерический — здесь: чрезвычайно обильный (от имени Гомера, описавшего в «Илиаде» и «Одиссее» пиршества олимпийских богов). Во «Фрегате „Паллада“», изображая быт русских дворянских усадеб с их «деятельной ленью» и «ленивой деятельностью», Гончаров прибегает к тому же образу («Обед гомерический, ужин такой же» — том первый, гл. I).

С. 192. ...*пятирублевую ассигнацию.* — См. выше, с. 667, примеч. к с. 110.

С. 193. ...*чиновником особых поручений...* — См. выше, с. 672, примеч. к с. 162.

С. 193. ...*и носил несколько ленточек в петлице фрака...*; см. также с. 320: ...*смотрят, что у человека в кармане да в петлице фрака...*; с. 350:

...и со множеством ленточек в петлице. — Имеется в виду общая для России и Европы традиция носить ленточки соответствующих орденов в петлице непарадного мундира или фрака.

С. 195. *Точно крупная славянская грамота: букву в заменяли две перечеркнутые сверху и снизу палочки, а букву к просто две палочки...* — В русской графике XVIII—начала XIX в. сохранялись отдельные элементы церковнославянского письма. К середине XIX в. в гражданской письменности они уже не употреблялись.

С. 195. *...тяжебное дело ~ Палата сделала ошибку в купчей...* — Имеется в виду Палата гражданского суда — судебное учреждение губернского уровня (до реформы 1864 г.), ведавшее среди прочих дел оформлением документов (купчих крепостей) о продаже и покупке недвижимости.

С. 195. *...дело теперь в Правительствующем сенате; не знаю там, в каком департаменте...* — Правительствующий сенат — высшая судебная инстанция и высший орган административного надзора в России. Сенат принимал жалобы частных лиц и выборных органов на распоряжения местных губернских властей и апелляции на решения губернских судов. Делился на десять номерных департаментов, из которых 2—4-й и 7—9-й были высшими апелляционными судами по гражданским делам (каждый для отдельной группы губерний), а 5, 6 и 10-й — по уголовным. Кроме того, в состав Сената входили Межевой департамент и Герольдия (преобразованная в 1848 г. в Департамент герольдии).

С. 195. *Съездите к секретарям и сенаторам, склоните их в мою пользу...* — В каждом департаменте Сената (см. выше) императором назначались несколько сенаторов, как правило, из престарелых сановников (например, губернаторов), занимавших ранее должности 4—3-го классов. Наряду с «действующими» существовали и так называемые неприсутствующие сенаторы (имевшие только почетное звание). Должность секретаря сената соответствовала должности столоначальника в департаменте министерства (см. выше, с. 670, примеч. к с. 126). Эти просьбы — комически заостренные Гончаровым свидетельства глубокой провинциальности Заезжалова, полагающегося по старинке на родственные и земляческие связи и протекцию в решении дел.

С. 195. *...выхлопочите мне патенты на три чица...* — В ведении Сената находилось производство в чины за выслугу лет с выдачей соответствующих удостоверений. Патенты были отменены в 1862 г.

С. 195. *...в Губернском правлении советник...* — Речь идет о должности с весьма широкими полномочиями (как правило, занимаемой чиновником в чине не ниже 6-го класса по Табели о рангах, т. е. коллежского советника) в высшем административном учреждении губернии.

С. 196. *...бостончик...* — Бостон — пользовавшаяся популярностью коммерческая карточная игра для четырех партнеров. О роли коммерческих и азартных игр см.: *Лотман*. С. 136—163.

С. 196. *...на Песках...* — Песками назывался район Слоновой (ныне Суворовский пр.) и Рождественских улиц в окраинной части города близ Смольного монастыря, населенный в первой половине XIX в. «людьми среднего достатка и бедняками разных сословий и званий: торговцами, чиновниками, ремесленниками, извозчиками, разночинцами и проч.» (*Михневич В.* Петербург весь на ладони. СПб., 1874. С. 60).

С. 196—198. *«Любезный братец, милостивый государь Петр Иванович! ~ Остаюсь по гроб ваша Марья Горбатова.* — По мнению ряда исследователей, в этом письме пародируется стиль Карамзина (см.: *Цейтлин*. С. 452; *Setchkaev*. Р. 68; *Мельник В. И.* И. А. Гончаров и Н. М. Карамзин: (К вопросу о некоторых традициях) // XVIII век. СПб., 1991. Сб. 17. С. 284).

С. 198. ...хорошеньких книжек? ~ *возьмите в лавке новых, коли недорого. Говорят, очень хороши сочинения господина Загоскина и господина Марлинского...* — Гончаров иронизирует не только над тривиальностью литературных пристрастий Марьи Горбатовой (сходных со вкусами гоголевских Анны Андреевны и Марьи Антоновны в «Ревизоре»), но и над «новизной» заказанных ею в столице «книжек». Исключительный читательский успех романтических повестей А. А. Бестужева-Марлинского (1797—1837) и исторических романов М. Н. Загоскина (1789—1852), прежде всего «Юрия Милославского» (1829) и «Рославлева» (1831), приходится на первую половину 1830-х гг. Об отношении Гончарова к литературной традиции 1830-х гг. см.: *Краснощекова. Гончаров и русский романтизм.*

С. 198. ...видела в газетах заглавие — «О предрассудках», соч(инение) господина Пузины... — Речь идет о книге П. И. Пузино (1781—1866) «Взгляд на суеверие и предрассудки» (СПб., 1834).

С. 202. ...остановился в конторе дилижансов... — С 1827 г. в России существовали почт-дилижансы для перевозки пассажиров и почты. В Петербурге в конце 1830—начале 1840-х гг. несколько контор дилижансов были расположены на Малой Морской, Вознесенском, Невском проспектах и в других местах (см.: *Пушкарёв. С. 383—384*).

С. 202. ...здесь молодые люди обыкновенно обедают в трактире, но я советую тебе посылать за своим обедом... — В статье «Петербург и Москва» (1845) Белинский, противопоставляя две столицы, отмечал в качестве характерной черты петербуржца: «Петербургец о погребе не заботится: если не женат, он обедал в трактире; женатый, он всё берет из лавочки...» (*Белинский. Т. VII. С. 148*).

С. 202. ...у меня и служба и завод ~ — *Стекланный и фарфоровый ~ сбываем больше во внутренние губернии на ярмарки.* — Социальный смысл деятельности «заводчика» Петра Адуева Гончаров определил в статье «Лучше поздно, чем никогда»: «...он достиг значительного положения в службе, он директор, тайный советник, и, кроме того, он сделался заводчиком. Тогда — от 20-х до 40-х годов — это была смелая новизна, чуть не унижение (я не говорю о заводчиках-барах, у которых заводы и фабрики входили в число родовых имений, были оброчные статьи и которыми они сами не занимались). Тайные советники мало решались на это. Чин не позволял, а звание купца — не было лестно». Своеобразную параллель образу Петра Адуева составляет главный герой «Княжны Зизи» (1839) В. Ф. Одоевского, представитель «новой породы фешенеблей-индустриалистов», от элегической поэзии обратившийся к «положительным» занятиям (впрочем, в повести содержится лишь упоминание о новом типе «промышленника»). По мнению В. И. Сахарова, Одоевский «имел в виду своих друзей по Обществу Любомудрия, в 30-е гг. ставших деловыми людьми, владельцами фабрик, — И. Мальцова, С. Соболевского, а также членов аристократического кружка „избранных молодых людей“, собиравшихся вечерами в петербургском салоне Карамзиных» (*Сахаров В. И. Комментарии // Одоевский В. Ф. Соч.: В 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 357*). Белинский, рассуждая о двух типах российских «мудрецов» в статье «Петербург и Москва», романтикам противопоставлял «мудрецов второго разряда, которые «спят и видят шоссе, железные дороги, мануфактуры, торговлю, банки, общества для разных спекуляций: в этом их идеал народного и государственного блаженства; дух, идея в их глазах — вредные или бесполезные мечты» (*Белинский. Т. VII. С. 147*).

С. 203. ...пофлянируй... (от фр. flâner). — Т. е. прогуляйся без определенной цели.

С. 205. ...*диконький дом...* — Имеется в виду дом дикого, т. е. серого, цвета. Описание типичного помещичьего дома XIX в. оставил М. Д. Бутурлин: «...исчезли повсюду эти неказистые дедовские помещичьи домики, все почти серо-пепельного цвета, тесовая обшивка и тесовые крыши коих никогда не красились» (РА. 1897. № 7. С. 403).

С. 205. *Присутственные места* (или присутствия) — учреждения (по всем отраслям административной, судебной и иной деятельности), где собирались должностные лица для производства дел.

С. 205. ...*Исаакиевский собор лучше и выше собора в его городе...* — Исаакиевский собор — крупнейший в России православный храм, главный кафедральный собор Петербурга (строился по проекту и под руководством О. Монферрана в 1818—1858 гг.), памятник позднего классицизма.

С. 205. ...*зала Дворянского собрания больше залы тамошней.* — Дворянское собрание — существовавший с 1785 до 1917 г. орган дворянского самоуправления в губерниях и уездах, в который избирались потомственные дворяне данной губернии или уезда. Губернским дворянским собраниям принадлежали в губернских городах особые дома. Здание Дворянского собрания в Петербурге (Михайловская ул., 2) строилось по проекту К. И. Росси в 1834—1839 гг. (ныне — Большой зал С.-Петербургской гос. филармонии им. Д. Д. Шостаковича).

С. 206. ...*а адмиральского часу вовсе не знают — ни водки, ни закуски.* — Адмиральский час — шуточное обозначение предобеденного времяпровождения за рюмкой водки. Выражение восходит к эпохе Петра I: в 11 часов Петр делал перерыв в заседаниях коллегий, и все шли в аустерию выпить водки.

С. 206. ...*не мизерно ли это?* — Мизерно (от фр. *misère* — несчастье), здесь: горько, обидно.

С. 206. *Александр добрался до Адмиралтейской площади...* — К главному фасаду Адмиралтейства (архитектор А. Д. Захаров; строилось в 1806—1823 гг.) сходятся три важнейшие городские магистрали — проспекты Невский, Вознесенский, улица Гороховая, — образуя площадь, центр архитектурной композиции Петербурга. Название упразднено в 1876 г., на территории площади разбит Александровский сад.

С. 206. *Он с час простоял перед Медным всадником, но не с горьким упреком в душе, как бедный Евгений, а с восторженной думой.* — Поэма «Медный всадник» (1833) была известна Гончарову только в подцензурных изданиях — либо по посмертной публикации в «Современнике» (1837. Т. 5), либо по девятому тому «Сочинений» поэта (СПб., 1841). В обоих изданиях в текст поэмы были внесены изменения еще самим Пушкиным и затем В. А. Жуковским. Так, Жуковским была значительно смягчена сцена «бунта» Евгения: вскипающий гнев героя заменили «тоска» и «скорбь», вместо строки «Пред горделивым истуканом» появилась другая: «Пред дивным Русским Великаном», полностью были изъяты строки: «Добро, строитель чудотворный! / Шепнул он, злобно задрожав, — / Ужо тебе!..». Ср.:

Безумец бедный обошел
Кругом скалы с тоскою дикой,
И надпись яркую прочел,
И сердце скорбию великой
Стеснилось в нем. Его чело
К решетке холодной прилегло,
Глаза подернулись туманом...

По членам холод пробежал
И вздрогнул он — и мрачен стал
Пред дивным Русским Великаном.
И перст свой на Него подняв,
Задумался.

(Пушкин А. Соч. СПб., 1841.
Т. IX. С. 20).

Антитеза «восторженного» состояния Адуева и «горьких» переживаний пушкинского героя возникает у Гончарова, возможно, не без влияния Белинского, который в своем разборе поэмы писал: «...взор наш, упав на изваяние виновника нашей славы, склоняется долу. (...) Мы понимаем смущенною душою, что не произвол, а разумная воля олицетворены в этом Медном всаднике, который, в неколебимой вышине, с распростертою рукою, как бы лубеется городом... И нам чудится, что, среди хаоса и тьмы этого разрушения, из его медных уст исходит творящее: „да будет!“, а простертая рука гордо повелевает утихнуть разъяренным стихиям... И смиренным сердцем признаем мы торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия к страданию этого частного» (Белинский. Т. VI. С. 464). Историко-философская концепция пушкинской поэмы имеет принципиальное значение для развития сюжета «Обыкновенной истории», демонстрирующей один из возможных вариантов столкновения частной судьбы с исторической необходимостью.

С. 206. *Он мечтал о благородном труде ~ считая себя гражданином нового мира...* — Настроение приехавшего в Петербург Александра Адуева близко чувствам самого Гончарова после окончания университета: «Я свободный гражданин мира, передо мной открыты все пути» («На родине»). Ср. описание состояния перед отправкой в плавание во «Фрегате „Паллада“» (том первый, гл. I): «Как пережить эту другую жизнь, сделаться гражданином другого мира?».

С. 207. *...был в креслах...* — Несколько рядов кресел устанавливалось в передней части зрительного зала, перед сценой; кресла абонировались аристократической публикой, причем находиться в креслах могли только мужчины, тогда как дамы занимали ложи.

С. 208. — *Да ты так говоришь... ~ очень хорошо, да дико. — У нас профессор эстетики так говорил и считался самым красноречивым профессором...* — Прототипом профессора принято считать Н. И. Надеждина (1804—1856), читавшего в Московском университете в 1831—1835 гг. курс «Теория изящных искусств и археология» (см.: Бобров Е. А. Из истории русской литературы XVIII и XIX столетий // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Академии наук. СПб., 1909. Т. XIV, кн. 1. С. 114—124; Суперанский М. Ф. И. А. Гончаров и Н. И. Надеждин // С. 1913. № 5. С. 156—176; Демиховская О. А. И. А. Гончаров в Московском университете // Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та. 1959. Т. 210. С. 9—10). В своих университетских воспоминаниях Гончаров писал о Надеждине: «Это был самый симпатичный и любезный человек в обращении, и как профессор он был нам дорог своим вдохновенным, горячим словом, которым вводил нас в таинственную даль древнего мира. (...) Изливая горячо, почти страстно, перед нами сокровища знания, он учил нас и мастерскому владению речи». Признание исключительных заслуг Надеждина как «строгого и основательного ученого» и блестящего лектора содержится также в ряде писем Гончарова, в мемуарах современников (подробнее см. в примечаниях

к воспоминаниям Гончарова «В университете», публикуемым в наст. изд.).

С. 209. *Ты, должно быть, мечтатель...* — Слово «мечтатель» ни в 1830-е, ни в 1840-е гг. не воспринималось нейтрально и связывалось с вполне определенной литературной традицией, давшей ряд образов «мечтателей» (Шиллер, Гофман, Жорж Санд; в России — «Невский проспект» Гоголя, повести Н. А. Полевого, В. Ф. Одоевского, А. Ф. Вельтмана, М. П. Погодина и их многочисленных эпигонов; ср. также роман М. И. Воскресенского «Мечтатель» (М., 1841. Ч. 1—4)). Ф. М. Достоевский в фельетоне «Петербургская летопись» (1847) так определял это явление: «...в характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу зарождается то, что называется мечтательностью, и человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — *мечтателем*» (Достоевский. Т. XVIII. С. 32).

С. 210. «*Зачем же это обязательное предложение?*» — Обязательное — здесь: любезное, предупредительное.

С. 212. *...как наш великий, незабвенный Иван Семеныч, когда он, помнишь, грел с кафедры...* — О «красноречивом профессоре» эстетики см. выше, примеч. к с. 208.

С. 212. *Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона... Не верит он любви и проч. ...* — Имеются в виду строки из стихотворения «Демон» (1823): «Не верил он любви, свободе; / На жизнь насмешливо глядел — / И ничего во всей природе / Благословить он не хотел». Сравнение Петра Ивановича с пушкинским «демоном» продолжено в главе IV романа (см. ниже, с. 769, примеч. к с. 267). См.: Денисова Э. И. Пушкинские цитаты и реминисценции в «Обыкновенной истории» И. А. Гончарова // Филол. науки. 1990. № 2. С. 29—30, а также выше, с. 710.

С. 214. *...без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви...* — Строки из стихотворения Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье...», 1825). Цитируется также в черновиках «Обломова».

С. 215. *...богословие, гражданское, уголовное, естественное и народное права ~ археологию...* — Перечисленные предметы позволяют предположить, что Александр Адуев окончил юридический (в те годы называвшийся «этико-политическим») факультет университета. На этом отделении учился старший брат писателя (о нем см.: Макеев А. Г. Н. Потанин о Николае Александровиче Гончарове // Материалы юбилейной Гончаровской конференции. Ульяновск, 1963. С. 278—284). Выпускниками юридического факультета Гончаров делает как Обломова, так и Райского. Ср. наблюдения Л. С. Гейро: 1977. Т. V. С. 367; Гончаров И. А. Обломов. Л., 1987. С. 657 («Лит. памятники»).

С. 215. *Дипломатия* (или дипломатика) — научная дисциплина, занимающаяся установлением подлинности исторических документов и их датировкой.

С. 218. *...имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы — это его вкус...* — Фламандская школа объединяет фламандских и голландских живописцев-жанристов XVII в., изображавших мирные сценки деревенского и городского быта, славившихся тонкостью и тщательностью в проработке подробностей. Как правило, имеются в виду фламандец Давид Теньер (Тенирс) Младший (1610—1690), голландцы Адриан ван Остаде (1610—1685), его брат и ученик Исаак ван Остаде (1621—1649), Арнольд ван дер Нер (1604—1677), Герард Доу (1613—1675), Альберт Кейп (1620—1691), Поль Поттер (1625—1654), Франс ван Миерис (Мирис; 1635—1681). Живопись фламандских и голландских

мастеров резко отличалась от пышных мифологических и религиозных полотен итальянских и французских художников той же эпохи. С художественным методом фламандцев, как известно, сближал свои творческие принципы на рубеже 1830-х гг. Пушкин. Интерес к великим реалистам XVII в. возрос в России в 1840-х гг. в связи с утверждением в изобразительном искусстве и литературе идеи верности действительности. А. В. Дружинин одним из первых отнес Гончарова к числу писателей «с фламандским элементом в призвании», провозгласив родственной фламандцам его способность найти «поэзию положительную в прозе обыденной жизни» (*Дружинин. Прекрасное и вечное*. С. 129, 141). Подробнее см. выше, с. 739—740; о «фламандстве» в «Обыкновенной истории» см. также: *Бухаркин П. Е. Стиль «Обыкновенной истории»* И. А. Гончарова // *Вопросы русской литературы*. Львов, 1979. Вып. 1 (33). С. 69—76. Имена фламандских мастеров, прежде всего Теньера и Остаде, упоминаются не только во второй части «Обыкновенной истории» («...картина теньеровская, полная хлопотливой, семейной жизни — наст. том, с. 446), но и во «Фрегате „Паллада“» (том первый, гл. IV, том второй, гл. II) и в «Обрыве» («классик» Леонтий Козлов «авторитета фламандской школы не уважал, хотя неволью улыбался, глядя на Теньера» — часть вторая, гл. V; Райский видел в провинциальной жизни «то картинки жанра, Теньер, Остад — для кисти, то быт и нравы — для пера» — часть вторая, гл. XX), однако лишь в общепринятой для того времени функции, как эмблема «низкого», «бытописательного» жанра (см.: *Данилов В. Мелочи литературного прошлого: (Теньер в русской литературе)* // *РА*. 1915. № 2. С. 164—168). Увлечение Адуева-старшего фламандской школой предполагает неприятие им противоположной по мировоззрению и художественным принципам школы романтической.

С. 219. ...он вышел вторым кандидатом. — Кандидат — низшая ученая степень (существовала в 1804—1884 гг.), которая присваивалась лучшим из окончивших университетский курс по представлении ими письменной работы на избранную тему; давала право на чин 10-го класса по Табели о рангах (коллежского секретаря) при зачислении на государственную службу. После 1884 г. то же преимущество давал университетский диплом 1-й степени. Вторым кандидатом — т. е. вторым по списку; количество удостоенных кандидатской степени студентов университета в разные годы было разным.

С. 221. — *Есть места министров ~ товарищей их, директоров, вице-директоров, начальников отделений, столоначальников, их помощников, чиновников особых поручений...* — Приводится перечень министерских должностей. Деятельность министерских учреждений была основана на принципе единоначалия. Возглавлявший учреждение министр имел одного или нескольких товарищей (заместителей — см. также выше, с. 672, примеч. к с. 164). В состав министерства входили канцелярия и департаменты (с директором и вице-директором во главе каждого), подразделявшиеся последовательно на отделения и столы. Существенные полномочия в чиновничьей иерархии начинались с начальника отделения, ниже которого по должности находилась основная масса чиновничества, в том числе столоначальники (см. выше, с. 670, примеч. к с. 126), отвечавшие за производство дел, и их помощники. О чиновнике особых поручений см. выше, с. 672, примеч. к с. 162.

С. 222. ...служба — занятие сухое, в котором не участвует душа... — Стилистически смягченный повтор из «Ивана Савича Поджабрина» (ср.: «Что должность: сухая материя!» — наст. том, с. 118).

С. 223. ...чем больше тебя читают, тем больше платят денег. — А слава, слава? вот истинная награда певца...; см. также с. 339: ...напечатайте в

вашем журнале, разумеется за деньги... — Возможна ассоциация с «Разговором книгопродавца с поэтом» (1824); у Пушкина: «Что слава? — Яркая заплата / На ветхом рубище певца. / Нам нужно золота, злата, злата: / Копите золото до конца!». Вместе с тем Гончаров откликается здесь и на одну из актуальных проблем середины 1830-х гг. Если в 1820-е гг., по ироническому замечанию Белинского, «страсть печататься доставляла издателям или за самую умеренную цену, или — и это большею частью — совершенно безденежно переводные и оригинальные статьи, которыми они и наполняли тошеникие и маленькие книжки своих журналов» (Белинский. Т. V. С. 195), то в 1830-х гг. ситуация резко меняется. Коммерциализация журналистики, в первую очередь издательская политика Н. И. Греча и О. И. Сенковского, редактировавших «Библиотеку для чтения» (см. выше, с. 654, примеч. к с. 80), стала одной из самых горячих тем журнальной полемики (см. резкие выпады против «торгового направления» в литературе в статье романтика С. П. Шевырева «Словесность и торговля» — *МН*. 1835. Ч. I. С. 1—29).

С. 223. *Поэт заклеямен особенною печатью ~ Ньютон, Гутенберг, Ватт так же были одарены высшей силой, как и Шекспир, Дант...* — Адуевым-старшим дискредитируется романтический культ поэта и поэзии, важнейшая в эстетике романтизма идея божественной избранности художника-творца (см. философскую оду Шиллера «Художники» (1797) и другие многочисленные поэтические декларации романтиков). Исаак Ньютон (Newton; 1643—1727) — английский математик, механик, астроном, физик, заложивший основы классической механики, открывший закон всемирного тяготения; Иоганн Гутенберг (Gutenberg; 1399—1468) — изобретатель книгопечатания; Джеймс Уатт (Watt; 1736—1819) — создатель паровой машины.

С. 223. *...нашу парголовскую глину ~ фарфор лучше саксонского или северского...* — О Парголове см. выше, с. 639, примеч. к с. 37. Здешние глины не нашли широкого промышленного применения. Саксонский (Германия) и северский (Франция) фарфор считается лучшим в Европе.

С. 224—225. *Отколь порой тоска и горе ~ И затрепещет сладко грудь... и т. д.* — Александру Адуеву приписано в несколько измененном виде юношеское стихотворение Гончарова «Тоска и радость» (исходный текст и комментарий см. выше, с. 22—23, 629—630; ср. также с текстом в издании 1868 г. — *Варианты*, с. 568). Внесенные в текст стихотворения изменения акцентируют в нем эпигонские мотивы и приобретают характер автопародирования (см. об этом: *Цейтлин*. С. 35—37; *Рыбасов*. С. 36). Характерны, в частности, эпигонские повторы пушкинских строк и рифм (ср.: «И грусти той назва...нья нет... ~ Она пройдет, умчит и след...» — и: «Под мостики, в беседки... нет! / Княжна ушла, пропал и след!» («Руслан и Людмила», песнь III); «Проснулся я: подруги нет! / Ищу, зову — пропал и след» («Цыганы»); «Закрыты ставни, окна мелом / Забелены. Хозяйки нет. / А где, бог весть. Пропал и след» («Евгений Онегин», глава шестая, строфа XXXII)).

С. 224. *Луна непременно ~ Если у тебя тут есть мечта и дева — ты погиб...* — Обыгрывание романтических банальностей («луна», «мечта», «дева») стало общим местом в журналистике 1840-х гг. Ср. в рецензии Н. А. Некрасова «„Были и небылицы“ Ивана Балакирева» (1843): «...были бы слова да рифмы, а предмета как не найти, начиная с луны и девы до могилы и завядшего цветка...» (*Некрасов*. 1981. Т. XI, кн. 1. С. 74), а также начальную фразу в рецензии Вал. Майкова «Стихотворения А. Плещеева» (1846): «Стихи к деве и луне кончились навсегда» (*Майков В. Н.* Литературная критика. Л., 1985. С. 272). То же клише использует А. Григорьев, вспоминая о «литературных стремлениях»

начала 1830-х гг. в «Моих литературных и нравственных скитальчествах» (1862—1864): «Праздношатайство, эпикурейство, весьма притом дешёвые, луна, мечта, дева (...) проповедуемые в поэзии спутниками Пушкина и всякими виршеплетами в бесчисленных альманахах...» (Григорьев А. Воспоминания. М., 1988. С. 59 («Лит. памятники»)).

С. 227. ...и бежит Меркурий с медной бляхой на груди... — Меркурий — бог торговли, считался также вестником богов. Здесь: рассыльный, нарочный; медная бляха — его служебный знак.

С. 228. ...пусть пока переписывает отпуски... — Отпуск — здесь: список с исходящей бумаги, оставленный в деле для справок.

С. 229—230. «О наземе, статья для отдела о сельском хозяйстве ~ о картофельной патоке. — Как установлено Н. Г. Евстратовым, названия статей, заказанных Александру Адуеву, повторяют заглавия соответствующих материалов в отделе сельского хозяйства «Журнала Министерства государственных имуществ», основанного (в 1841 г.) и в течение 16 лет редактировавшегося А. П. Заблоцким-Десятковским, видным экономистом и статистиком, близким кружку Майковых (см.: Евстратов. С. 178). В начале 1840-х гг. статьи для журнала Заблоцкого писал Вал. Майков.

С. 231. ...он начал учиться владеть собою... — Возможная парафраза строки «Учитесь властвовать собою...» из «Евгения Онегина» (глава четвертая, строфа XVI).

С. 235. Ассессора, что ли, тебе дали или крест? — Речь идет о чине коллежского ассессора (8-й класс по Табели о рангах), соответствовавшем армейскому чину майора. Для чиновников низших классов этот чин был предметом стремлений, поскольку давал право потомственного дворянства. Для производства из 9-го класса в 8-й требовалось не три года выслуги, как обычно, а двенадцать лет и, кроме того (по указу 1809 г.), диплом о высшем образовании или прохождение специального экзамена (см.: Шепелев Л. Е. Отмененные истории: чины, звания и титулы в Российской империи. Л., 1977. С. 51—67). Ср. в стихотворении Н. А. Некрасова «Чиновник» (1844): «И с давних пор (простительная страсть) / Питал в душе далекую надежду / В коллежские ассессоры попасть...» (Некрасов. 1981. Т. I. С. 413). См. также в «Обломове»: «Между титулярным советником и коллежским ассессором разверзлась бездна, мостом через которую служил какой-то диплом...» (часть первая, гл. IX). Впрочем, младший Адуев не мог быть заинтересован в потомственном дворянстве (его отец — дворянин, майор) — см.: наст. том, с. 182); что же касается его служебного положения, то, окончив университет, как Пospelов, кандидатом, он мог иметь чин 10-го класса (см. выше, примеч. к с. 219), окончив же, как сам Гончаров, действительным студентом (степень ниже кандидата), что более соответствует характеру его служебных занятий, получал чин 12-го класса, т. е. губернского секретаря. О кресте см. выше, с. 667, примеч. к с. 113.

С. 237. ...бюстик, из итальянского алебастра, Софокла или Эсхила. Почтенный трагик ~ разбился вдребезги. — Итальянский алебастр — разновидность гипса, добываемая неподалеку от Флоренции; употреблялась главным образом на мелкие скульптурные изделия и вазы. Софокл (ок. 496—406 до н. э.) — древнегреческий поэт-драматург, создатель образцов античной трагедии («Эдип-царь», «Антигона», «Электра» и др.). Эсхил (525—456 до н. э.) — старший из классических греческих трагиков, «отец трагедии» (трилогий «Орестея», «Прикованный Прометей» и др.).

С. 239. ...действие электричества; влюбленные — всё равно что две лейденские банки: оба сильно заряжены; поцелуями электричество разреша-

тынского «Последний поэт» (1835) или, к примеру, повесть-притчу В. Ф. Одоевского «Город без имени» (С. 1839. № 1; позднее включена в цикл «Русские ночи»), направленную против доктрины И. Бенгата, которая опиралась на идею «пользы». Ср. «этиюд» Гончарова «(Хорошо или дурно жить на свете?)», в котором иронически обыгрывается понятие «пользы», принадлежащее «практической», а не «идеальной» стороне жизни.

С. 241. *Мне хижина убога / С тобою будет рай...* — Неточно процитированные первые строки популярной во второй половине 1810—начале 1830-х гг. песни (слова В. В. Капниста; неполный текст его стихотворения «Богатство убогого», ((1797))): «Мне хижина убога / С тобою будет храм...» (Новейший отборный российский песенник. М., 1817. С. 240; Новейший полный и всеобщий песенник. СПб., 1818. С. 165 и др.); один из устойчивых мотивов в русской песенной традиции этого времени («пастушеская», «любовная», «русская» песни); ср. в «Русской песне» (1815) Н. М. Ибрагимова: «Что мне, что твои палаты? / С милым рай и в шалаше!» (Песни и романсы русских поэтов / Вступ. ст., подгот. текстов и примеч. В. Е. Гусева. М.; Л., 1965. С. 293). Ср. тот же мотив в стихотворении Шиллера «Юноша у ручья» (1803), широко известном в переводах В. А. Жуковского («Жалоба», 1813), А. Мейснера («Отрок у ручья, из Шиллера», 1836) и др. Этот же мотив присутствует и в письме Гончарова к гр. А. А. Толстой из Киссингена от 6 (18) июня 1868 г.: «Немцы здесь говорят, что в Петерстале всего есть „две хижины убоги“ (без всякого рая, который путешественники должны привозить с собою)».

С. 241. *...как не станет у тебя «презренного металла»...* — Выражение «презренный металл», впервые использованное Гончаровым в «Иване Савиче Поджабрине» (см. выше, с. 669, примеч. к с. 122), стало популярным благодаря «Обыкновенной истории». Однако оно встречается не только у Гончарова. См. в «Путевых заметках г. Ведрина» (1843) А. И. Герцена (*Герцен*. Т. II. С. 109); в рассказе П. Фурмана «В мастерской и гостиной» (Сказка за сказкой. СПб., 1842. Т. 2. С. 58). Повторяется Гончаровым в письмах (см. письмо к С. А. Толстой от 11 ноября 1870 г.).

С. 243. — *Мне двадцать три года.* — Упоминание о возрасте Александра Адуева, по-видимому, знаменательно, включено в «шиллеровскую» тему романа и связано, скорее всего, с крылатой фразой Дон Карлоса в драме Ф. Шиллера «Дон Карлос, инфант испанский» (1782): «Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия» (д. II, явл. 2), которая восходит, в свою очередь, к эпизоду из жизни Юлия Цезаря, известному по жизнеописаниям Плутарха и Светония (см.: *Ашукин Н. С., Ашукина М. Г.* Крылатые слова. 2-е изд., испр. и доп., М., 1966. С. 185). В романтической прозе 1830-х гг. и определяемых ею моделях бытового поведения этот шиллеровский мотив довольно устойчив. Ср., например, характеристики героев в ранних повестях И. И. Панаева — «Спальня светской женщины» (1834): «Любимым поэтом его (Виктора Громского) был Шиллер; он изучал пламенного, вечно юного, вечно восторженного выродка из германцев» — и «Она будет счастлива» (1835): «Горин имел двадцать три года и раздражительную мысль о любви. Он смотрел с грустным негодованием на людей и на жизнь...» (*Панаев И. И.* Первое полн. собр. соч. СПб., 1888. Т. I. С. 10, 78). Характерен и рассказ Герцена об Огареве в «Былом и думах» (часть четвертая, гл. XXV): «Помню я, что еще во времена студентские мы раз (...) сидели за рейнвейном; он становился мрачнее и мрачнее и вдруг, со слезами на глазах, повторил слова Дон Карлоса, повторившего, в свою очередь, слова Юлия Цезаря:

„Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия!” Его это так огорчило, что он изо всей силы ударил ладонью по зеленой рюмке и грубо разрезал себе руку» (Герцен. Т. IX. С. 10).

С. 244. *Блонды* (от фр. blond — белокурый, русый) — шелковые кружева с золотистым отливом.

С. 244. ...с крестом или иногда со звездой. — См. выше, с. 667—668, примеч. к с. 113.

С. 245. ...а разве не в экстазе рождается мысль поэта? — Романтическая концепция творчества, согласно которой творческий акт мыслился как безотчетное мгновенное озарение, приобщение к божественному началу, духовное преображение (см. подбор поэтических иллюстраций в комментарии В. Э. Вацура к раннему стихотворению Н. А. Некрасова «Два мгновения» — Некрасов. 1981. Т. I. С. 647), станет одной из ведущих тем романа «Обрыв». См. об этом: *Гейро Л. С.* Из истории создания романа «Обрыв»: (Эволюция образа Райского-художника) // *Гончаров. Новые материалы*. С. 61—85. Значительное место проблема творчества занимает в письмах Гончарова (подробнее см. в комментариях к роману «Обрыв»).

С. 245. *Если б мы жили среди полей и лесов дремучих...* — Намек на популярную «Цыганскую песню» из оперы А. Н. Верстовского (1799—1862) «Пан Твардовский» (1828) на либретто М. Н. Загоскина. Премьера оперы в Москве состоялась 24 мая 1828 г., в Петербурге — 28 января 1829 г. Текст песни опубликован впервые: *Драматический альманах для любителей и любительниц театра*, изданный на 1828-й год Ардалионом Ивановым. СПб., 1828. С. 133—134; перепечатан в отдельном издании либретто (М., 1828); неоднократно включался в песенники. Ср.:

Мы живем среди полей
И лесов дремучих:
Но счастливей, веселей
Всех вельмож могучих.

С. 247. *А живучи вместе, живут потом привычкой ~ сильнее всякой любви...*, см. также с. 382: ...ведь вы любите же вашу жену?... — Да, конечно. Я очень к ней привык... — Вероятна переключка со строками «Евгения Онегина» (глава вторая, строфа XXXI): «Привычка свыше нам дана: / Замена счастью она». Ср. также с «положительным» взглядом на любовь в статье Белинского, посвященной «Обыкновенной истории»: «...чем любовь спокойнее и тише, то есть чем прозаичнее, тем продолжительнее: привычка скрепляет ее на всю жизнь» (Белинский. Т. VIII. С. 393).

С. 251. ...уносился мысленно в место злочно, в место покойно... — Ср. заупокойную молитву: «...упокой душу усопшего раба твоего в месте светле, в месте злачне, в месте покойне...».

С. 251. ...на одном из островов... — Имеются в виду Каменный, Елагин, Крестовский, Аптекарский и Петровский острова (см. выше, с. 640, примеч. к с. 37—38).

С. 251. *Город ~ вдруг окаменело.* — Сказочный мотив окаменелого города (царства) — один из сквозных в творчестве Гончарова; повторяется во «Фрегате „Паллада”», «Обломове», «Обрыве». Ср. в наст. томе «этиюд» «(Хорошо или дурно жить на свете?)» (с. 508).

С. 251. *Маркиза* (фр. marquise) — матерчатый навес над окном для защиты от солнца.

С. 251. *Торцовая мостовая* — мостовая из коротких, обычно шестигранных, брусьев.

С. 251. *Ямская карета* — карета, нанимавшаяся на извозчицкой бирже (см. выше, с. 643, примеч. к с. 61) или почтовая.

С. 251. — *Cup julienne ~ à la maitre d'hôtel...* — Названия обеденных блюд французской кухни. Суп «julienne», например, — это суп с зеленью и кореньями.

С. 252. ...завидел он обетованный уголок... — «Обетованный („укромный“, „тихий“, „мирный“, „райский“) уголок» — один из устойчивых образов в поэзии 1820—1830-х гг., «идиллический топос», характерный для жанров идиллии, дружеского послания (см.: Вацура В. Э. Лирика пушкинской поры. СПб., 1994. С. 143 и след.; Ляпушкина Е. И. Идиллические мотивы в русской лирике начала XIX века и роман И. А. Гончарова «Обломов» // От Пушкина до Белого: Проблемы поэтики русского реализма XIX—начала XX века / Межвуз. сб. СПб., 1992. С. 102—117).

С. 252. *Сажень* — русская неметрическая единица длины, равная 3 аршину, или 7 футам (2,13 м).

С. 253. ...не грация Сильфиды. — Согласно трактату «О нимфах, сільфах, гномах и саламандрах» знаменитого врача, естествоиспытателя, мистика и алхимика Парацельса (1493—1541), сільфиды — духи воздуха. Имеется в виду, скорее всего, не поэтический образ (характерный для лирики Жуковского; ср. также повесть В. Ф. Одоевского «Сильфида», 1836), а образ сценический — балет Ж. Шнейцгоффера в постановке выдающегося итальянского балетмейстера Ф. Тальони (1777—1871) «Сильфида» (впервые — Париж, 1832). Партию Сильфиды исполнила Мария Тальони (1804—1884), отличавшаяся особой грацией, воздушностью танца. Эта роль принесла балерине мировую славу. В 1837—1842 гг. М. Тальони ежегодно с огромным успехом выступала в Петербурге.

С. 257. *«Mémoires du diable» ~ какой приятный автор Сулье!* — Социально-авантюрный роман французского писателя Ф.-М. Сулье (Soulié; 1800—1847) «Мемуары дьявола» (1837—1838) пользовался большой популярностью в начале 1840-х гг. у петербургской читающей публики (см.: Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Л., 1990. Т. 1. С. 207).

С. 258. *Боскет* (фр. bosquet) — небольшая искусственная рощица, сад из подстриженных кустов и деревьев.

С. 260. *Тоня* — участок реки с расчищенным дном для ловли рыбы закидным неводом.

С. 265. ...называл это творить особый мир...; см. также с. 268: ...а ночью он уходил в свой особенный, сотворенный им мир... — Ирония Гончарова направлена на важнейшую в романтической эстетике идею ухода от низкой «существенности» в «идеальный» мир мечты. Ср., например, характеристику поэта Виктора Громского в повести И. И. Панаева «Спальня светской женщины» (1834): «Он уже тогда начинал жить в другом мире, в заманчивом мире воображения, который он населял по своей прихоти очаровательными в поэзии, несбыточными в существенности образами» (Панаев И. И. Первое полн. собр. соч. Т. 1. С. 5). Любопытную параллель пародийным мотивам у Гончарова и по сути непосредственный отклик на них содержат статьи и рецензии убежденного критика романтизма Вал. Майкова, знакомого с «Обыкновенной историей» со времени ее первых чтений автором в 1844 г. (см. об этом выше, с. 716). Так, в рецензии «Стихотворения Юлии Жадовской» (1846) Майков развивает мысль о закономерности прохождения каждым человеком «комического периода романтизма», именно этой закономерностью объясняя «факт существования многих миллионов людей, толкующих о презрении всего действительного, о прелестях жизни мечтательной, о необходимости для каждого человека с умом и сердцем создать себе свой отдельный невидимый мир и тому подобных призраках...».

«Каждый развивающийся человек, — пишет критик, — проходит этот комический период, но естественно, что на нем не всякий осужден остановиться. (...) Для многих приходит (...) пора положительности (...). Быть положительным — значит не признавать ничего законного вне пределов мира *существующего* и стремиться не к чему иному, как к полному наслаждению *настоящей*, не вымышленной жизнью» (*Майков В. Н.* Литературная критика. С. 265—266).

С. 265. ...на службу ходил редко и неохотно, называя ее горькою необходимостью, необходимым злом или печальной прозой. — Повтор мотива из «Ивана Савича Поджабина» (см. выше, примеч. к с. 222). Словосочетание «печальная проза», возможно, является отголоском пушкинских формул «смирненная проза», «суровая проза» («Евгений Онегин», глава третья, строфа XIII; глава шестая, строфа XLIII), «презренная проза» («Граф Нулин», 1825).

С. 266. ...в вольтеровских креслах. — См. выше, с. 639, примеч. к с. 27.

С. 266. *Грош* — медная монета в 2 копейки.

С. 266. *Гривна* — десять копеек серебром.

С. 267. ...и он «познал высшее блаженство поэта — слышать свое произведение из милых уст». — Возможная (очень приблизительная) реминисценция слов Поэта из стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824). Ср. у Пушкина:

Глаза прелестные читали
Меня с улыбкою любви;
Уста волшебные шептали
Мне звуки сладкие мои...

С. 267. ...будь Вестю этого священного огня, который горит в моей груди... — Веста в римской мифологии — богиня священного очага городской общины, курии, дома. Жрицы Весты, весталки, поддерживали в очаге храма Весты постоянный огонь как символ государственной надежности и устойчивости. Священный огонь (*feu sacré* — *фр.*) — неоднократно использованный Гончаровым образ. Ср., например, отзыв о Райском в письме писателя к Д. Н. Цертелезу от 16 сент.бря 1885 г.: «У него *feu sacré* есть — он в картине своей видит свет и огонь...». Ср. также со сказанным о профессоре И. И. Давыдове в мемуарах «В университете»: «...искры, *feu sacré*, у него не было, и мы тихонько позевывали от скуки».

С. 267. ...и перевьет лавр миртами... — Лавровый венок — символ победы и славы, атрибут Аполлона; венок или ветвь миртового дерева — символ любви и наслаждения, атрибут Афродиты. Распространенный поэтический образ. Ср. в послании В. Л. Пушкина «А. С. Пушкину» (1830): «Словесность русскую, язык обогащай / И вечно с миртами ты лавры съединяй» (Поэты 1790—1800-х годов. Л., 1971. С. 702 (Б-ка поэта; Большая сер.)).

С. 267. А дядя? Зачем смущает он мир души моей? Не демон ли это ~ Он убьет, заразит свою ненавистью мою любящую душу, развертит ее... — Продолжение темы «злого гения», соотносимого с пушкинским «Демоном» (см. выше, примеч. к с. 212). Ср.: «Его язвительные речи / Вливали в душу хладный яд».

С. 267. ...говоря, что он уже не мальчик и что зачем же мнения чужие только святы?.. — Реплика Чацкого в «Горе от ума» (д. III, явл. 3). Ср. начало реплики: «Помилуйте, мы с вами не ребята...». Постоянная

ироническая параллель между главным героем и Чацким присутствует в «Счастливейшей ошибке» (см.: наст. том, с. 650).

С. 268. *Он, в подтверждение чистоты исповедуемого им учения об изящном, призывал тень Байрона, ссылаясь на Гете и на Шиллера.* — Т. е. на «апостолов» романтизма.

С. 268. *Героем, возможным в драме или в повести, он воображал не иначе как какого-нибудь корсара или великого поэта, артиста...* — Указан типичный центральный персонаж в поэзии и прозе романтиков. Корсар — герой одноименной поэмы (1814) Д. Н. Г. Байрона, воплощение романтического зла; поэма стала источником многочисленных подражаний (трагедия В. Н. Олина «Корсер» (1828); юношеская поэма М. Ю. Лермонтова «Корсар» (1828) и др.). См. также роман В. Скотта «Морской разбойник» (1822; рус. пер. — 1829); роман Ф. Купера «Красный морской разбойник» (1828; рус. пер. — 1832; переводился также под загл. «Красный корсар»); «сатанинскую» повесть Э. Сю «Пират Кернок» (1829) и его же «морские» романы с образами демонических разбойников; роман О. де Бальзака «Пират Аргоу» (1836) и др. О значении образа поэта в эстетике романтизма см.: *Маркович В. М.* Тема искусства в русской прозе первой половины XIX века. Л., 1989. С. 5—42.

С. 268—269. *В одной повести местом действия избрал он Америку; обстановка была роскошная ~ изгнанник, похитивший свою возлюбленную. ~ Целый мир забыл их ~ Европейец был соперник героя.* — Сюжет повести ориентирован на классические образцы романтической прозы, прежде всего повести Ф.-Р. Шатобриана «Атала» (1801) и «Рене» (1802), изображающие жизнь изгнанника-европейца среди американских индейцев.

С. 269. *Трудится бездарный труженик; талант творит легко и свободно...*, см. также с. 343: — *Нет! — сказал он со злостью, — если погибло для меня благородное творчество в сфере изящного, так я не хочу и труженичества...* — Противопоставление творчества-вдохновения творчеству-труженичеству — одно из романтических «общих мест» (ср. разработку этого мотива в «Портрете» (1835—1842) Гоголя: «— Нет, я не понимаю, — говорил он (Чартков. — *Ред.*), — напряженья других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне, труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро» — *Гоголь*. Т. III. С. 108). К интерпретации канонической для романтиков темы Гончаров возвращается в «Обрыве» в связи с образом Райского (см. также выше, примеч. к с. 245).

С. 275. *Два жокея...* — Жокей (англ. jockey) — здесь: слуга, находящийся при лошадях, конюх.

С. 277. *Помните, вы обещали что-то: «Peau de chagrin», что ли?* — Речь идет о романе О. де Бальзака «Шагреновая кожа» (1830—1831; в 1845 г. включен в т. 14 первого издания «Человеческой комедии»).

С. 278. *...соломинку целый день и курит...* — Вероятно, имеется в виду пахитоса (от ит. *rajitos*), длинная папироса.

С. 279. *Опodelьдок* — широко распространенная мазь (из смеси мыла, камфары, тимьянового масла и спирта) для лечения ревматизма.

С. 280. *Не попушу, чтоб развратитель ~ Увял, едва полураскрытый...* — Неточная цитата из «Евгения Онегина» (глава шестая, строфы XV.XVI.XVII). У Пушкина: «Не потерплю...» и «...еще полураскрытый».

С. 283. *Можно ли так коварно, неблагодарно поступить с человеком...* — Ср. со словами Алеко в «Цыганах» (1824): «Да как же ты не поспешил /

Тотчас вослед неблагодарной / И хищникам и ей, коварной, / Кинжала в сердце не вонзил?».

С. 284. *Богатый граф, лев...* — Лев — законодатель мод, пользующийся особым успехом в свете (см.: наст. том, с. 472—473, 787—788).

С. 288. «*Ты ли это, капризное, но искреннее дитя? ~ Как скоро выучилась она притворяться! ~ были зародышами лицемерия, хитрости?..*» — Вероятная парафраза строк «Евгения Онегина», ср.: «Возможно ль? Чуть лишь из пеленок, / Крокета, ветреный ребенок! / Уж хитрость ведает она, / Уж изменять научена!» (глава пятая, строфа XLV). Вместе в тем отрывок тематически и стилистически следует типовым мотивам «светской повести» (ср., например, монолог Правина во «Фрегате „Надежда”» — *Бестужев-Марлинский*. Т. II. С. 222—223), повторяя соответствующий эпизод «Счастливого ошибки» (см.: наст. том, с. 75).

С. 288. *Она сняла со свечки и долго поправляла светильню...* — Светильня — прядь волокна в свечах, лампадах, плашках.

С. 289. *...как temento mori*. — Выражение «temento mori» восходит к формуле взаимного приветствия, принятой в монашеском ордена траппистов (1148—1636), члены которого были связаны обетом молчания.

С. 294. *...бутылку лафиту за зеленой печатью; ср. также с. 320: ...лафит за золотой печатью...* — Лафит — красное бордоское вино, названное по месту производства во Франции (Chateau-Lafite). Вина, разлитые в бутылки на месте производства, запечатывались печатью, удостоверявшей их подлинность.

С. 294. *...слушать печальную повесть моего горя...* — Возможная реминисценция «Ромео и Джульетты» в переводе М. Н. Каткова (д. V, явл. 8). Ср.: «Нет повести печальнее, чем повесть / О Ромео и Юлии его!» (Пантеон русского и всех европейских театров. 1841. Ч. I. С. 64).

С. 295. *...и всё считал порядочным человеком ~ защищал порядочных людей ~ тоже порядочный человек...* — Об ироническом использовании понятия «порядочный человек», характерном для сатирико-нравоописательного очерка 1840-х гг., см. подробнее ниже, с. 785—786.

С. 295. *...о люди, люди! жалкий род, достойный слез и смеха!* — Цитата из стихотворения «Полководец» (1835). У Пушкина: «О люди! Жалкий род...».

С. 296. *...миллион мучительных вопросов, которые волнуют меня...* — Возможна связь со словами Чацкого в «Горе от ума»: «Да, мочи нет: мильон терзаний» (д. III, явл. 2). Ср. выше, примеч. к с. 267.

С. 298. *...тебя бы отдали в солдаты...* — См.: Варианты. С. 579. Участие в дуэли грозило офицерам разжалованием в солдаты, неслужащим дворянам — тюремным заключением на разные сроки (см.: *Таганцев Н. О преступлениях против жизни по русскому праву*. СПб., 1871. С. 324).

С. 299. *И что за материальная любовь? ~ В любви равно участвуют и душа и тело ~ мы не духи и не звери.* — К этой мысли Гончаров возвращается в «Обрыве». Ср. диалог Марка и Веры (часть четвертая, гл. XII): «— Вон и этот седой мечтатель Райский думает, что женщины созданы для какой-то высшей цели... — Для семьи созданы они прежде всего. Не ангелы, пусть так — но не звери!». Ср. также с суждениями Гончарова в письме С. А. Никитенко от 25 июля (6 августа) 1869 г.

С. 300. *Он, как дикий зверь, ворвался... — В овчарню! — перебил дядя.* — Намек на басню Крылова «Волк на псарне» (1812): «Волк ночью, думая залезть в овчарню, / Попал на псарню...».

С. 303. *...надо уметь образовать из девушки женщину по обдуманному плану, по методе...* — «Метода» старшего Адуева, как и целый ряд психологических ситуаций в «Обыкновенной истории», сближают роман

Гончарова с «Жаком» Ж. Санд (1834; рус. пер. — 1844), герой которого пытается «воспитать» свою юную жену по обдуманному плану, но, потерпев поражение, уходит из жизни. «Жак», как и другие романы Ж. Санд, имел шумный успех. «О Жорж Занд тогда говорили непрерывно, по мере появления ее книг, читали, переводили ее», — писал Гончаров о середине 1840-х гг. в «Заметках о личности Белинского». Влияние романа отразилось и на таких произведениях русской литературы 1840-х гг., как «Полинька Сакс» (1847) А. В. Дружинина и «Неточка Незванова» (1849) Ф. М. Достоевского.

С. 307. *...что за Аркадия!* — В литературной традиции Аркадия — идиллическая страна пастухов и земледельцев (исторически — область в Древней Греции). В русской поэзии приобрела популярность начальная строка стихотворения Ф. Шиллера «Резиньяция» (1784): «И я в Аркадии родился».

С. 311. *...его иеремиады...* — Иеремиада — горькая жалоба, плач; по имени библейского пророка Иеремии, создавшего плач о падении Иерусалима («Плач Иеремии»).

С. 313. *С ней обрели б уста мои / Язык Петрарки и любви...* — Неточная цитата из «Евгения Онегина» (глава первая, строфа XLIX). У Пушкина: «С ней обретут...».

С. 314. *...которым имя легион...* — Выражение восходит к Евангелию (Лк. 8:30; Мк. 5:9), употребляется в значении: несчетное количество.

С. 315. *...творят себе кумира...* — Ср. библейскую заповедь: «Не сотвори себе кумира» (Исх. 20:4).

С. 315. *Я пережил свои страдания, / Я разлюбил свои мечты...* — Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Я пережил свои желанья...» (1821).

С. 316. *...меня преследует черный демон. Он ~ всюду со мной: и ночью, и за дружеской беседой, за чашей пиришества, и в минуту глубокой думы!* — Возможна ассоциация с «Моцартом и Сальери» (1830). У Пушкина: «Мне день и ночь покоя не дает / Мой черный человек. За мною всюду / Как тень он гонится» (сцена II).

С. 316. *...что меня теперь волнует, бесит?* — Неточно процитированные слова Чацкого в «Горе от ума»: «Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит?» (д. III, явл. 1).

С. 317. *Выход* — очередной ход партнера в висте (см. выше с. 656, примеч. к с. 96).

С. 317. *Пулька* (или пуля) (фр. roule) — партия, ставка в карточной игре.

С. 319. *...о петергофской даче...* — См. выше, с. 639, примеч. к с. 37.

С. 319. *Ломбардный билет* — платежный документ, обеспечивавший получение процентов с принятых в ломбард на сохранение денежных сумм.

С. 320. *...ведь это отвлекает от виста!* — См. выше, с. 656, примеч. к с. 96.

С. 320. *Нашелся между ними один чувствительный ~ это насмешка судьбы. Она всегда ~ сведет нежного, чувствительного человека с холодным созданием!* — Вероятная реминисценция очерка Н. М. Карамзина «Чувствительный и холодный» (1803). О присутствии в романе этой параллели см.: Иванов-Разумник Р. В. История русской общественной мысли. СПб., 1911. Т. 1. С. 210; Магоп. Р. 324; Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976. С. 281—283; Seichkarev. Р. 68; Отрадин. С. 31—32; Мельник В. И. И. А. Гончаров и Н. М. Карамзин: (К вопросу о некоторых традициях). С. 284, 289.

С. 322. ...он был под двойной эгидою пищеварения и дремоты... — Быть «под эгидою» означает: быть под защитой, под покровительством.

С. 322. ...*рассыпать бисер — перед кем!* — Часть фразеологизма «метать (рассыпать) бисер (или жемчуг) перед свиньями», восходящего к Евангелию (Мф. 7:6). Употребляется в значении: трать напрасну слова на людей, которые не могут или не хотят их понять.

С. 323—324.— *Вот как два новейших французских романиста определяют истинную дружбу и любовь ~ «Любить не тою фальшивою, робкою дружбою ~ страшно клянется отомстить и сдерживает клятву, потом оттирает слезу и успокоивается...» ~ «Любить — значит не принадлежать себе ~ любить — значит жить в бесконечном...».* — Как установлено А. Мазоном (см.: *Мазон*. Р. 310—311), цитируются популярные в 1830-х гг., принадлежащие к школе «неистойвой словесности» романы Э. Сю (1804—1857) «Атар-Гюль» (1831) и Г. Друино (1800—1860) «Зеленая рукопись» (1831). О чтении Гончаровым «французских беллетристов господствовавшей тогда школы» (Автобиография, 1867 г.) и о переведенных им главах из романа Э. Сю «Атар-Гюль» подробнее см. ниже, с. 817—818. Отрывок: «Любить не тою фальшивою ~ оттирает слезу и успокоивается...» — заимствован из романа «Атар-Гюль» (Кн. 3, гл. 2) и представляет собой несколько сокращенное, но переведенное близко к оригиналу, не связанное с авантюрной фабулой романа авторское отступление о дружбе. Ср. французский текст отрывка. «*Ces deux hommes devaient s'aimer ou se haïr, s'aimer non de cette amitié timide et menteuse que nous connaissons dans nos brillants hôtels, que l'on éprouve par un peu d'or, qui s'effraie d'un mot, d'un adultère ou d'un soufflet, mais de cette amitié large et puissante qui donne coup pour coup, du sang pour du sang, qui montre au milieu du meurtre et du carnage quand le canon tonne et que la mer mugit, et qui veut qu'on s'embrasse les lèvres noires de poudre et les bras rougis... et puis... si Pylade est blessé à mort, — un énergique adieu, un bon coup de poignard pour terminer une lente agonie, un serment d'atroce vengeance que l'on tient, peut-être une larme, — et Oreste est en paix avec lui-même»* (*Sue. Atar-Gull*. Р. 164). Второй отрывок: «Любить — значит не принадлежать себе ~ любить — значит жить в бесконечном...» — взят из «Зеленой рукописи» (ч. 1, гл. 24). Роман Друино был переведен на русский язык П. Цветковым (Зеленая рукопись, сочинение Густава Друинэ. М., 1833. Ч. 1—2), но Гончаров не воспользовался этим переводом, сделав свой, более поэтический. Герой романа Друино, молодой человек, захваченный водоворотом страстей, в трудные моменты жизни обращается к завещанной ему отцом «зеленой рукописи», собранию «уроков совести», следовать которым он клянется. Гончаров переводит отрывок этой рукописи под заглавием «L'amour» («Любовь»): «*Aimer, c'est vivre à deux, c'est espérer à deux; aimer, c'est se donner et prendre un autre en échange de soi-même; c'est mettre la pureté dans le plaisir, le recueillement dans le bonheur et la consolation dans le chagrin; c'est avoir tout en commun, la joie et la tristesse, la vie et la mort, le mépris des biens du monde et l'attente de l'éternité»* (*Drouineau G. Le manuscrit vert*. 2-е éd. Paris, 1832. Т. 1. Р. 306—307).

С. 323. ...*Пилад ~ Орест*... — Согласно греческим мифам, Орест, сын убитого Агамемнона, воспитывался в семье Строфия, царя Фокиды, вместе с его сыном Пиладом. В афинской трагедии 5 в. до н. э. Пилад неизменно выступает как верный друг Ореста, поддерживающий его во многих испытаниях. Особенно значительна его роль в трагедиях Еврипида «Ифигения в Тавриде» (здесь Пилад готов пожертвовать своей

жизнью для спасения Ореста) и «Орест» (где Пилад приходит на помощь другу, осужденному за убийство матери).

С. 324—325. *«Не знать предела чувству ~ стараться превзойти друга друга в пожертвованиях...»*. — Источник данной цитаты не установлен. Вполне вероятно, что этот откровенно пародийный отрывок принадлежит самому Гончарову; псевдоцитатой считал его и А. Мазон (см.: *Мазон*. P. 311—312).

С. 326. — *Басни Крылова*. — *Хорошая книга...* — Начиная с издания «Басни» (СПб., 1809) свод крыловских басен пополнялся и переиздавался неоднократно (Басни: В 5 ч. СПб., 1815; Новые басни. СПб., 1816; Басни: В 6 ч. СПб., 1819; Басни: В 7 кн. СПб., 1825; Басни: В 8 кн. СПб., 1830; 1831; 1833; 1839; 1840; Басни: В 9 кн. СПб., 1843). Гончаров высоко ценил талант Крылова, ставя его имя в один ряд с именами Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, «просветителей и пролагателей новых путей в литературе, могучих пионеров русского слова» (из письма к В. В. Стасову от 27 октября 1888 г.; ср. также с оценкой басен Крылова в статье «Милбон терзаний» и др.). Цитаты и реминисценции из крыловских басен присутствуют во многих произведениях писателя.

С. 326. *Все их мысли, слова, дела — всё зиждется на песке*. — Выражение «строить (дом) на песке» восходит к евангельской притче (Мф. 7:26, 27).

С. 327. *...точно тот осел, от которого соловей улетел за тридевять земель*. — Подразумевается басня «Осел и Соловей» (1811). У Крылова: «...за тридевять полей».

С. 327. *...доброй лисицей смотрит...* — Намек на басню Крылова «Добрая Лисица» (1814).

С. 327. *...отпустит без ужина домой, как лисица волка*. — Речь идет о басне Крылова «Волк и Лисица» (1816).

С. 327. *...и штаб-офицерского чина...* — В русской армии старшие офицерские чины, 8—5-го классов по Табели о рангах (от майора до полковника), назывались штаб-офицерскими, младшие, 14—9-го классов (от прапорщика до капитана), — обер-офицерскими.

С. 330. *...еще одно, последнее сказанье!* — Цитата из монолога Пимена в «Борисе Годунове» (1824—1825; сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре»).

С. 331. *Чем кумушек считать трудиться, / Не лучше ль на себя, кума, оборотиться? ~ разыграть роль медведя в басне «Мартышка и зеркало»*. — Речь идет о басне Крылова «Зеркало и Обезьяна» (1815); из нее же заимствована цитата.

С. 334. *Воздымались ли у вас на голове волосы от чего-нибудь, кроме гребенки?* — Намек на устойчивый у романтиков образ поэтического вдохновения. Ср. в пушкинском послании «Жуковскому» (1818): «Когда сменяются виденья / Перед тобой в волшебной мгле / И быстрый холод вдохновенья / Власы подъемлет на челе...», а также у Лермонтова в стихотворении «Журналист, читатель и писатель» (1840): «Дрожа, холодная рука / Подушку жаркую объемлет; / Невольный страх власы подъемлет; / Болезненный, безумный крик / Из груди рвется — и язык / Лепечет громко, без сознания, / Давно забытые названья...».

С. 335. *...рыться в нагезе и оттуда добывать сокровища*. — Образ отысканной в навозе жемчужины связан с историей создания «Энеиды» Вергилия (см.: *Ашукин Н. С., Ашукина М. Г.* Крылатые слова. С. 423); переосмыслен в басне Крылова «Петух и Жемчужное зерно» (1809).

С. 335. *Статский советник* — по Табели о рангах гражданский чин 5-го класса.

С. 336. ...или уезжал на завод и в Английский клуб. — Английский клуб (официально: Английское собрание) основан в конце XVIII в.; посетителями клуба являлись «почтенные особы». В Петербурге находился в Демидовском переулке. Здесь четыре раза в неделю давались обеды, выписывались иностранные и русские газеты и журналы (см.: *Пушкарев*. С. 459—460). М. И. Пыляев сообщает и о традиционной для клуба карточной игре: «Игра в старину большая велась и в Английском клубе, и старые старшины говаривали, что записные игроки суть корень клуба; прочие же члены служат только для его красы, его блеска» (*Пыляев М. И.* Старое житье. СПб., 1892. С. 42).

С. 340. *Весны пора прекрасная минула ~ Молось ему...но... — И сам уснул! Молись, милый, не ленись!* — Цитируется начало юношеского стихотворения Гончарова «Романс» (полный текст и комментарий см. выше, с. 23 и 630). Гончаров повторяет пародийный прием Пушкина, изобразившего в «Евгении Онегине» (глава шестая, строфа XXIII) романтика Ленского задремавшим над собственными стихами (см.: *Лотман. Комментарий*. С. 302).

С. 340. ...*струны вещице баянов не станут говорить обо мне...* — Неточная цитата из поэмы «Руслан и Людмила» (1818—1820): «И струны громкие Баянов / Не будут говорить о нем!» (песнь III). Сочетание «вещий Баян» также используется Пушкиным (см. песни I, V). Имя Баяна, легендарного певца времен князя Владимира, упоминается в «Слове о полку Игореве»; отсюда же эпитет «вещий».

С. 340. ...*когда, расширися шумящими крылами, будешь летать под облаками ~ есть капля и моего меда, как говорит твой любимый автор.* — Ироническая реминисценция басни «Орел и Пчела» (1811). Ср. у Крылова: «Когда, расширися шумящими крылами, / Ношуся я под облаками...» — и далее: «А я, родясь труды для общей пользы несть, / Не отличать ишу свои работы, / Но утешаюсь тем, на наши смотря соты, / Что в них и моего хоть капля меду есть». В данном случае благодаря басенной параллели профанируется и устойчивая в романтической поэзии аналогия «поэт—орел». При противопоставлении «идеальной» и «практической» сторон жизни в «этюде» Гончарова («Хорошо или дурно жить на свете?») обыгрываются те же строки из басни «Орел и Пчела» (см.: наст. том, с. 507).

С. 341. *Верно, разочарованный. О Боже! когда переведется этот народ?*; см. также с. 365: *Воображение искало то Онегина, то какого-нибудь героя мастеров новой школы — бледного, грустного, разочарованного...*; с. 387: *— Да ты, Александр, разочарованный, я вижу...*; с. 436: *Ра...кажись, разочарованный...* — выговорил наконец Евсей. — Формировавшаяся прежде всего под влиянием творчества Байрона («Все герои Байрона разочарованы, и поэт дает подробное описание их душевного состояния...») — см.: *Жирмунский В. М.* Байрон и Пушкин. Л., 1978. С. 154) и — параллельно — в русле элегической традиции ситуация «разочарования» уже во второй половине 1820-х гг. стала общим местом, превратилась в романтическую «формулу» (см.: *Гинзбург Л. Я.* О литературном герое. Л., 1979. С. 21); позднее воспринималась только как литературно-условная. См. подробнее: *Отрадин*. С. 58—60, а также ниже, примеч. к с. 359, 422.

С. 346. ...*квартиру на Литейной.* — Имеется в виду Литейная ул. (ныне — Литейный пр.). Здесь в 1840-х гг. жил Гончаров.

С. 347. ...*в симпатию душ!*; см. также с. 373.: ...*где же тут симпатия душ, о которой проповедуют чувствительные души?* — Речь идет об одной из этических категорий раннего немецкого сентиментализма, характерной, например, для К.-М. Виланда (1733—1813); позднее — для Н. М. Карамзина. Одним из ключевых в философской системе роман-

тиков становится понятие «сродство (родство) душ» (благодаря роману Гете «Wahlverwandschaften» — «Избирательное сродство», 1809). Заглавие романа — научный термин для обозначения причины химического соединения элементов (буквально: сродство по избранию). Подразумевается высшая предопределенность, избранность в духовном сближении людей. Мотив «родственных душ», скоро превратившийся в романтическое «общее место», уже с конца 1820-х гг. используется в ироническом контексте (ср. иронию Пушкина в «Евгении Онегине» (глава вторая, строфа VIII): «Он верил, что душа родная / Соединиться с ним должна...»; см. также в шуточной поэме Е. А. Баратынского «Переселение душ» (1828): «Шатаюсь по свету порой / Столкнешься с родственной душой / И рад; но вот беда какая: / Душа родная — нос чужой, / И посторонний подбородок!..» (*Баратынский Е. А.* Полн. собр. стихотворений. 3-е изд. Л., 1989. С. 266. (Б-ка поэта; Большая сер.)). Роман Гете приобрел особую актуальность в 1840-х гг.: классические проблемы любовного треугольника, столкновения любви с семейными отношениями перекликались с популярными в то время жоржзандистскими темами (см. об этом: *Жирмунский В. М.* Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 383—384). Под заглавием «Оттилия» (по имени главной героини) роман был опубликован в «Современнике» (1847. № 7—8).

С. 350. ...*два иностранца с бородами...* — По сенатскому указу 1837 г. гражданским чиновникам в России воспрещалось носить усы и бороду; последнее считалось в благонамеренном обществе проявлением легкомыслия или фрондерства. См. замечания по поводу усов и эспаньолки Пенкина в романе «Обломов»: *Гейро Л. С.* Комментарий // Гончаров И. А. Обломов. С. 652—653 («Лит. памятники»).

С. 350. ...*о предстоящих откупах.* — Откуп — приобретавшееся за определенный денежный взнос в государственную казну монопольное право торговли какими-либо товарами или право на взывание налогов с подобной торговли. В России широкое распространение получили винные откупа (отмененные только в 1860 г.), дававшие их владельцам, а через них и казне миллионные доходы.

С. 352. —*На завтрашний спектакль имеете билет?* — *спросил Сурков* ~ — *Позвольте вам вручить!* ~ *досказал весь ответ Загорецкого из «Горе от ума».* — Гончаров цитирует реплики Загорецкого и Софьи (д. III, явл. 9), выделяя курсивом лишь одну фразу диалога.

С. 353. ...*я не взял бы места в раю.* — *Если в театральном, верю!* — Игра слов: раек (или рай) — верхний ярус в зрительном зале театра.

С. 354. ...*она была молчалива, грустна...* — Ср. в «Евгении Онегине» (глава третья, строфа V: «Скажи: которая Татьяна? / — Да та, которая грустна / И молчалива...»).

С. 359. ...*малый байронствует, ходит такой угрюмый...* — О «байроническом» типе героя в произведениях русских романтиков 1820—1830-х гг. см.: *Жирмунский В. М.* Байрон и Пушкин. С. 221—356. Уже со второй половины 1820-х гг. прочно ассоциировавшаяся с именем Байрона поза «условного разочарования» превращается в постоянный предмет критических суждений и пародий. «В двадцатых годах раздалось в нашей литературе слово „романтизм“, — писал Белинский. — Все заговорили о Байроне, и байронизм сделался пунктом помешательства для прекрасных душ... Вот с этого-то времени и начали появляться у нас толпами маленькие великие люди с печатною проклятия на челе, с отчаянием в душе, с разочарованием в сердце, с глубоким презрением к „ничтожной толпе“. Герои сделались вдруг очень дешевы» (*Белинский*. Т. VIII. С. 12—13; ср. также с. 494). В. Ф. Одоевский отмечал в статье «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе» (1836):

«...произведения мрачного гения, возвысившего презрение к людям до поэтического вдохновения, произвели толпу людей, притворившихся несчастливцами в этой жизни, как будто бы они понимали другую, лучшую» (*Одоевский В. Ф.* Собр. соч. СПб., 1844. Ч. III. С. 363). Окрашены иронией и упоминания Байрона в «Евгении Онегине» (см. об этом: *Лотман. Комментарий.* С. 214).

С. 360—361. ...воображение, а за ним и сердце у ней были развиты донельзя, вскормлены романами ~ Между тем ум Юлии не находил в чтении одних романов здоровой пищи и отставал от сердца. ~ Отсюда родилась мечтательность... — Ср. размышления Гончарова о характерах грибоедовской Софьи и пушкинской Татьяны в статье «Миллион терзаний»: «Женщины учились только воображать и чувствовать и не учились мыслить и знать. Мысль безмолвствовала, говорили одни инстинкты. Житейскую мудрость почерпали они из романов, повестей — и оттуда инстинкты развивались в уродливые, жалкие или глупые свойства: мечтательность, сентиментальность, искание идеала в любви, а иногда и хуже».

С. 361. ...подобный миру фатаморганы. — Т. е. миру призрачному, нереальному. По сицилийскому преданию, живущая на дне моря фея Моргана (*fata Morgana* — ит.) завораживает путешественников призрачными видениями.

С. 362. ...«*Cours de littérature française*». Кто из нас не помнит этой тетради? — Возможно, имеется в виду «Курс французской литературы» (СПб., 1830) французского писателя и переводчика И.-И. Ферри де Пиньи, по которому шло обучение во многих высших учебных заведениях. Издание это имело в свое время «значительный успех» (см.: *Голос.* 1881. 9 янв. № 9).

С. 362. ...что был Вольтер, и иногда навязывала ему «Мучеников», а Шатобриану приписывала «*Dictionnaire philosophique*». — Гончаров иронизирует над поверхностным образованием героини, которая сочинение романтика Ф.-Р. Шатобриана (*Châteaubriand*; 1768—1848) «Мученики» (1809) приписывала философу-просветителю Вольтеру (*Voltaire*; 1694—1778), а «Философский словарь» (1764—1769) Вольтера — Шатобриану.

С. 362. ...Монтаня называла *M-r de Montaigne* и упоминала о нем иногда рядом с Гюго. — Имеются в виду французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор знаменитых «Опытов», М.-Э. де Монтень (*Montaigne*, 1533—1592) и представитель школы «неистовых», или «юной французской словесности», как ее называли в 1830-е гг. (см. ниже, примеч. к с. 363), В. Гюго (*Hugo*, 1802—1885). Русское написание фамилии «Монтань» было общепринятым как для XVIII, так и для XIX в. (см., например, статью «Монтань» в изд.: *Философский лексикон.* Киев, 1866. Т. 3. С. 502—504). Этикетно-светская формула «М-г de...» при имени философа неуместна.

С. 362. Про Моллера говорила, что он пишет для театра... — Гончаров иронизирует над использованием по отношению к драматургу XVIII в. сугубо современного (для 1830—1840-х гг.) выражения «писать для театра».

С. 362. ...из Расина выучила знаменитую тираду: «*À peine nous sortions des portes de Trezènes*». — Цитируется начальная строка знаменитого рассказа Терамена о гибели Ипполита из трагедии Ж. Расина (*Racine*; 1639—1699) «Федра» (1677): «Когда мы вышли из Трезенских врат...» (д. V, явл. 6).

С. 362. ...комедия, разыгранная между Вулканом, Марсом и Венерой. ~ перешла на сторону Марса. — Имеется в виду знаменитая «вставная новелла» в «Илиаде» (песнь XVIII), где рассказывается о боге Гефесте

(Вулкане), опутавшем скованной им цепью бога войны Ареса (Марса) и свою неверную жену Афродиту (Венеру).

С. 362. ...*басню о Семеле и Юпитере...* — Согласно греческим мифам, дочь фиванского царя Кадма Семела стала возлюбленной Зевса (Юпитера). Разгневанная Гера внушила ей мысль просить Зевса явиться ей во всем своем божественном величии. Представ пред ней в сверкании молний, бог испепелил смертную женщину; зачатый Семелой от Зевса Дионис остался невредим. Этот сюжет лег в основу юношеской лирической оперетты Шиллера «Семела» (1779); в переводе А. А. Фета опубликована: *ОЗ*. 1844. Т. 35.

С. 362. ...*об изгнании Аполлона и его проказах на земле...* — По одному из греческих мифов, бог солнца Аполлон, мстя Зевсу за смерть своего сына Асклепия, уничтожил циклопов и в наказание за это был отправлен на 7 лет пасти стада царя Адмета в Фессалии.

С. 363. ...*познакомил ее ~ с новой школой французской литературы.* — Имеются в виду произведения ультраромантиков («неистовых») Э. Сю, В. Гюго, Ж. Жанена, О. де Бальзака, А. де Виньи и др., вызвавшие в начале и середине 1830-х гг. бурную полемику в русских журналах. Литературный радикализм «неистовых» в «Северной пчеле» и «Сыне отечества» Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина, в «Библиотеке для чтения» О. И. Сенковского, в «Вестнике Европы» М. Т. Каченовского и ряде других изданий отождествлялся с радикализмом политическим.

С. 363. ...*«Le manuscrit vert», «Les sept péchés capitaux», «L'âne mort»...* — Перечислены романы: «Зеленая рукопись» (1831) Г. Друино (см. также выше, примеч. к с. 323—324), «Семь смертных грехов» (1830) Э. Сю, «Мертвый осел и гильотинированная женщина» (1829) Ж. Жанена.

С. 363. ...*есть хрестоматия Аллера...* — Такой хрестоматии не найдено.

С. 364. ...*«Идиллии» Геснера ~ прочел идиллию о разбитом кувшине.* — Саломон Геснер (Gessner; 1730—1788) — швейцарский идиллический поэт и художник; писал на немецком языке. Первый том его прозаических идиллий, изображавших в сентиментальной манере мир пастухов и пастушек, был издан в 1756 г.; собрание идиллий — в 1770—1772 гг. Русские переводы см.: Идиллии и пастушьи поэмы г-на Геснера / Переведены с подлинника В. Левшиным. М., 1787; *Геснер* С. Полн. собр. соч. / Пер. И. Тимковского. М., 1802—1803. Ч. 1—4.

С. 364. ...*«Готский календарь 1804 года».* ~ *картинки разных замков, водопадов...* — «Готский календарь» («Gothaischer Hofkalender») — дипломатический и статистический ежегодник, издававшийся в г. Готе (герцогство Гота) с 1763 г.; с 1766 г. выходил параллельно на немецком и французском языках. В нем печаталась хроника важнейших политических событий. С 1768 г. календарь иллюстрировался гравюрами на стали, изготовленными по рисункам лучших мастеров.

С. 364. ...*«Юнговы ночи»...* — Имеется в виду поэма английского поэта Эдуарда Юнга (Joung; 1683—1765) «The Complaint, or Night Thoughts» (1742—1746). В одном из многочисленных переводов имела заглавие: «Юнговы ночи в стихах» (М., 1803; 2-е изд. М., 1806; 3-е изд. М., 1820). Это произведение сыграло большую роль в формировании преромантизма и положило начало особому «ночному» жанру.

С. 364. *Вейссе* — Христиан Феликс Вейссе (Weisse; 1726—1804) — немецкий поэт, автор ряда комических опер, во второй половине жизни — повестей и рассказов для детей и юношества, пользовавшихся большим успехом.

С. 364. *Кайданов* — И. К. Кайданов (1782—1845), заслуженный адъюнкт-профессор Царскосельского лицея (1811—1841), автор ряда учебников по всеобщей и русской истории. Гончаров вспоминал, что в

Московском коммерческом училище сам учился по истории Кайданова (см. его письмо Н. А. Гончарову от 29 декабря 1867 г.).

С. 365. ...«Бедную Лизу», несколько страниц из «Путешествий»... — Речь идет о сентиментальной повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792) и его же «Письмах русского путешественника» (1792—1801).

С. 365. ...несколько глав «Онегина», «Кавказского пленника»... — Роман Пушкина «Евгений Онегин» печатался впервые отдельными главами (глава первая — 1825 г.; глава вторая — 1826 г.; глава третья — 1827 г.; главы четвертая—шестая — 1828 г.; глава седьмая — 1830 г.; глава восьмая — 1832 г.). Поэма «Кавказский пленник» впервые была издана в 1822 г. с цензурными пропусками и искажениями; вторым, исправленным, изданием вышла в 1828 г.

С. 366. «*Beatus ille*» ... как дальше?.. — Начало первой строки эпода 2 Горация, одного из наиболее известных его стихотворений: «*Beatus ille, qui procul negotiis...*» («Блажен тот, кто вдали от дел...»).

С. 366. ...«*puer, pueri, puero*»... — Перечисляются формы склонения существительного «ребенок».

С. 366. ...в котором году были олимпийские игры... — Состязания в г. Олимпии устраивались, согласно традиции, с 776 г. до н. э. один раз в четыре года.

С. 376. ...да это Дюме! — См. выше, с. 672, примеч. к с. 164.

С. 380. ...не имение ли хочет заложить в Опекунский совет... — Опекунский совет — учреждение, ведавшее со второй половины XVIII в. московским и петербургским воспитательными домами и специально разрешенными им кредитными операциями по выдаче денежных ссуд под залог дворянских имений и крепостных крестьян.

С. 380. *Неглижировать* (фр. *négliger*) — пренебрегать, относиться небрежно.

С. 381. ...любишь так пламенно, так нежно... — Неточная цитата из стихотворения «Я вас любил: любовь еще, быть может...» (1829). У Пушкина: «...любил так искренно, так нежно...».

С. 383. *Четвертак* — серебряная монета в четверть рубля, 25 копеек, полуполтинник.

С. 387. ...всё взвешено, узнано, оценено... — Выражение «*Mene (mene), thekel, fares*» («Исчислено, взвешено, разделено» — *халд.*) восходит к библейскому рассказу (Дан. 5: 25—28) о таинственных словах, появившихся на стене чертога, в котором пировал вавилонский царь Валтасар; пророческая надпись, разгаданная пророком Даниилом, предвещала близкую гибель Валтасара и раздел его царства.

С. 388. *Пойдем туда, где дышит радость ~ и проч.* — Неточная цитата из стихотворения А. С. Хомякова «Желание покоя» (опубл.: Полярная звезда на 1825 год. СПб., 1825. С. 367); указано А. Ю. Балакиным.

С. 389. ...стремление по пути честей? — Т. е. по пути чинов, званий. Ср. с использованием этого же выражения в «Обломове» (часть первая, гл. IX).

С. 389. ...с деревьями, с дорожкой, с цветами, и среди всего этого змеенок... — Образ восходит к трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (д. III, явл. 8); ср.: «Змея, змея, сокрытая в цветах!» (Пантеон русского и всех европейских театров. 1841. Ч. 1. С. 37).

С. 390. *А дружба ваша... брось-ка кость, так что твои собаки!* — Неточная цитата из басни «Собачья дружба» (1815). У Крылова: «А только кинь им кость, так что твои собаки».

С. 393. ...с желчным, озлобленным умом... — Ср. в «Евгении Онегине» (глава седьмая, строфа XXII): «С его озлобленным умом, / Кипящим в действии пустом».

С. 393. ...играл по вечерам в свои козыри. — Свои козыри — одна из несложных карточных игр, в которой еще до сдачи карт каждый называет козырную масть по выбору.

С. 394. *Архалук* (тюркск. arkaluk) — легкая (несуконная) поддевка, стеганка.

С. 395. *Вот какой-то Эдип с Антигоной.* — Согласно греческим мифам, Антигона, дочь фиванского царя Эдипа, последовала за старым и слепым отцом в добровольное изгнание в Колон и оставалась там до его смерти. Миф об Эдипе и Антигоне нашел наиболее яркое художественное воплощение в трагедиях Софокла «Эдип-царь», «Эдип в Колонах», «Антигона».

С. 397. ...походить на идиллического рыбака. — Этот образ, вероятно, связан с широко известной идиллией Н. И. Гнедича «Рыбаки» (1822). О стилизациях в духе идиллии Гнедича в майковском кружке в конце 1830-х гг. см. выше, с. 632.

С. 398. *Нанковые панталоны* — панталоны из нанки, грубой дешевой хлопчатобумажной ткани. Обычно в литературе прошлого века — показатель бедности владельца (см. об этом: *Кирсанова Р. М.* Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века. М., 1989. С. 157).

С. 400. ...прежних ран, что ли, ничто не излечило... — Неточная цитата из стихотворения «Погасло дневное светило...» (1820). У Пушкина: «Но прежних сердца ран, / Глубоких ран любви, ничто не излечило...».

С. 400. ...кто верит этому пению сирен. — Сирены — в греческой мифологии женщины-птицы, волшебным пением завлекавшие мореходов в опасные, гибельные места.

С. 401. *То был «Чайльд-Гарольд» во французском переводе.* — С английской литературой русское читающее общество первой трети XIX в. знакомилось в основном по французским переводам. Поэма Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1812—1818) на русский язык была переведена в отрывках в 1828 г., полный ее перевод появился лишь в 1864 г. Возможно, имеется в виду одно из изданий: *Oeuvres complètes de lord Byron, traduites de l'anglais par A. P...t, précédée d'une notice sur lord Byron par M-r Charles Nodier.* Paris, 1822—1824. Vol. 1—24.; *Byron, lord. Oeuvres.* Bruxelles, 1827—1828. Vol. 1—24 и др.

С. 402. ...не ищите ненужной опытности: не она ведет к счастью. — Возможный намек на широко известный афоризм Ф.-Р. Шатобриана (в повести «Рене», слова Шактаса): «Il n'est de bonheur que dans les voies communes» («Счастье можно найти лишь на проторенных путях»). Цитируется в «Рославле» (1831) Пушкина, опубликованном: С. 1836. Т. 3 (не полностью); *Пушкин А. С.* Соч. СПб., 1841. Т. III (целиком).

С. 406. ...как будто Крылова бесенок, явившийся из-за печки затворнику... — Имеются в виду строки из басни «Напраслина» (1816): «А тут бесенок, из-за печки, / „Не стыдно ли, кричит, всегда клепать на нас!“».

С. 409. *Кацавейка* — утепленная легкая просторная кофта; носилась только пожилыми людьми и простолюдинами.

С. 410. ...выстроить на берегу реки, где много рыбы, хищину и прожить там остаток дней. — Иронический намек на один из характерных для романтической прозы вариантов развития сюжета (мотив бегства разо-

чарованного героя от мира). Ср., например, в «Зеленой рукописи» Г. Друино, «Лукреции Флориани» Ж. Санд и др.

С. 411. ...*ходил на службу в покойном вицмундире...* — См. выше, с. 670, примеч. к с. 126.

С. 412. *И вдруг этот артист сонулся в свой черед перед толпой и начал униженно кланяться и благодарить.* — Возможна внешняя связь в описании «поклонов» скрипача с манерой кланяться Н. Паганини, изображенной во «Флорентийских ночах» Г. Гейне: «...он (...) отвешивал перед публикой свои невиданные поклоны. (...) Паганини кланялся еще ниже, еще более угловато» (Гейне Г. Собр. соч.: В 6 т. М., 1982. Т. IV. С. 471).

С. 412. ...*я Паганини слышал...* — Никколо Паганини (Paganini; 1782—1840), великий итальянский скрипач и композитор, один из основоположников романтического стиля в музыке. В России не гастролировал.

С. 414. *Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей.* — Цитата из «Евгения Онегина» (глава первая, строфа XLVI).

С. 415. ...*он едва заметное кольцо в бесконечной цепи человечества...* — Символический образ «кольца (звена) в цепи» человечества (сам по себе относящийся к разряду «вечных») воплощает у Гончарова идею, противоположную романтическому индивидуализму. Характерен для И.-Г. Гердера (1744—1803), а также зрелых Шиллера (см. оду «К радости», 1785; стихотворение «Долг каждого» из цикла «Памятки» (1796): «К цельности вечно стремись! А если ты сам не умеешь / Цельным быть, нужным звеном к целому скромно примкни» (Шиллер И.-Х.-Ф. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. I. С. 147)), Гете (ср., например, философскую оду «Граница человечества» (1778—1781): «Жизнь нашу объемлет кольцо небольшое, и ряд поколений связует надежно их собственной жизни цепь без конца» — цит. по кн.: Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. С. 65; пер. А. А. Фета). Идея-символ «звено в цепи» присутствует также в гегелевской теории «развития», повлиявшей на эстетико-философскую концепцию Белинского (примеры обращения последнего к понятию «звена в цепи» см. в работе: Драгомирецкая Н. В. Белинский и Гегель // Белинский и литературы Запада. М., 1990. С. 211—212). Об органичности идеи «звена в цепи» для исторического мышления Пушкина 1830-х гг. см.: Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. Л., 1982. С. 196—198.

С. 419. ...*тебе хотелось от друга такой же комедии, какую разыграли, говорят, в древности вон эти два дурака... как их? что один еще остался в зале, пока друг его съездил повидаться...* — Речь идет о балладе Шиллера «Порука» (1798), повествующей о том, как приговоренный к казни Дамон умолил отсрочить ее на три дня, чтобы выдать замуж сестру, а его друг Пифиас согласился пробыть эти дни в тюрьме в качестве заложника. Препятствия, задержавшие Дамона, едва не стоили его другу жизни. Потрясенный силой дружбы тиран Дионисий (историческое лицо — Дионисий Старший, тиран сиракузский; 406—367 гг. до н. э.) прощает Дамона, прося друзей включить его третьим в их союз.

С. 422. ...*от непривычки к новому порядку. Не один ты такой: еще есть отсталые; это всё страдальцы.* — Образ романтического «страдальца», шаблонизированный массовой поэзией и беллетристикой 1830-х гг. («страдалец с пасмурным челом» упомянут в собственном стихотворении Гончарова «Отрывок. Из письма к другу» — наст. том, с. 21), стал постоянным объектом иронии для русской критики следующего десятилетия. Ср. в статье Белинского «Русская литература в 1845 году»: «Их призвание — страдать, и они горды своим призванием. Не спрашивайте их, по чем, отчего они страдают: они презирают страдание, которое можно объяснить какою-нибудь причиною. Они любят страдание для

страдания» (*Белинский*. Т. VIII. С. 9), а также в его рецензии «Стихотворения Аполлона Григорьева (...)». Стихотворения 1845 года. Я. П. Полонского» (1846): «В наше время страдания нипочем, — мы все страдаем наповал, особенно в стихах. Вина этому Байрон, который своим могущественным влиянием все литературы Европы наладил на тон страдания. У нас это начинало было выходить из моды, но пример Лермонтова вновь вывел на свет несколько страдальцев. (...) Г-н Григорьев силится сделать из своей поэзии апофеоз страдания; но читатель не сочувствует его страданию, потому что не понимает ни причины его, ни его характера. (...) Какое это страдание, отчего оно — бог весть!» (Там же. С. 494).

С. 424. *Благодарю вас за всё, за всё...* — Возможна невольная ассоциация с первой строкой лермонтовской «Благодарности» (1840): «За все, за все тебя благодарю я...».

С. 425. *Проезжали мимо куаферов...* — См. выше, с. 654, примеч. к с. 83.

С. 425. *Где я страдал, где я любил, / Где сердце я похоронил.* — Цитата из «Евгения Онегина» (глава первая, строфа L).

С. 425. *...веси и пажити...* — Веси — деревни, села; пажити — луга, пастбища (*старослав., др.-рус.*).

С. 425. *Тут он прочел стихотворение Пушкина: «Художник-варвар кистью сонной...» и т. д. ...* — Имеется в виду стихотворение «Возрождение» (1819) и прежде всего его заключительная строфа:

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

С. 428. *...в Москве, на Кузнецком мосту ~ то тысяч десять и просадят!* — Кузнецкий мост — одна из главных торговых улиц Москвы с многочисленными французскими модными магазинами.

С. 432. *...словно над мертвым, вопите?* — Причитания Анны Павловны построены по схеме традиционного народного плача по покойнику.

С. 439. *...оливка в кушанье ~ раскусил — глядь: а там рыбка маленькая...* — Евсей описывает фаршированные оливки, одно из модных блюд французской кухни, существовавшее как отдельное блюдо и входившее в состав других блюд. Подробный рецепт его приготовления см.: *Пыляев М. И.* Старое житье. С. 7.

С. 440. *«Благодарю тебя, Боже мой ~ яко насытил мя еси небесных благ ~ земных благ ~ небесного Твоего царствия».* — Одна из молитв «в продолжение дня», молитва «По обеде и ужине»: «Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ: не лиши нас и Небесного Твоего Царствования».

С. 443. *Клирос* — место для певчих на возвышении перед иконостасом, по правую и левую сторону от царских врат.

С. 443. *Придел* — в православном храме пристройка со стороны южного или северного фасада, имеющая дополнительный алтарь для богослужения.

С. 443. *Престол* — возвышение в центре алтаря.

С. 444. *Сион* — название горы и храма в Иерусалиме; здесь упрощено: место пребывания Христа.

С. 446. *...вдали от суеты ~ от того муравейника...* — Муравейником человеческое общество назвал Вольтер в «Микромегасе»

(1759). Ш. Нодье в романе «Жан Сбогар» (1818) также сравнивал жизнь человечества с ульем или муравейником. В повести Ж. Санд «Странствующий подмастерье» (1840) «кишащим муравейником» назван Париж.

С. 446. ...где люди ...в кучах, за оградой, / Не дышат утренней прохладой, / Ни вешним запахом лугов. — «Руссоистские» строки из поэмы «Цыганы» (1824).

С. 446. Сердце обновляется ~ а ум не терзается мучительными думами и нескончаемым разбором тяжёлых дел с сердцем: и то и другое в ладу. — Возможная парафраза строки из монолога Чацкого в «Горе от ума» (д. I, явл. 7): «...ум с сердцем не в ладу».

С. 447. ...начал постигать поэзию серенького неба, сломанного забора, калитки, грязного пруда и трепака. — Эволюция взглядов Александра Адуева соотнесена Гончаровым со строками «Отрывков из путешествия Онегина»:

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи —
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака...

С. 448. ...чем дольше он жил там, тем сердце пуще ныло и опять просилось в омут, теперь уже знакомый ему. — Возможная реминисценция строк из «Евгения Онегина» (глава шестая, строфа XLVI): «И наконец окаменеть / В мертвящем упоенье света, / В сем омуте, где с вами я / Купаюсь, милые друзья!». Ср. также с трактовкой сна Анны Павловны (наст. том, с. 710).

С. 448. Он помирился с прошедшим: оно, стало ему мило. — Ср. в стихотворении «Если жизнь тебя обманет...» (1825). У Пушкина: «Всё мгновенно, всё пройдет; / Что пройдет, то будет мило».

С. 449. ...словом, иллюзии утрачены... — См. выше, с. 700—701.

С. 450. ...гнева ~ похожего на гнев моськи на слона... — Имеется в виду басня Крылова «Слон и моська» (1808).

С. 451. Действительный статский советник — по Табели о рангах гражданский чин 4-го класса.

С. 451. ...воображал себя героем, исполином — ловцом пред Господом... — Выражение «ловец пред Господом» употребляется как характеристика человека сильного, исключительного по своему могуществу. Восходит к Библии (Быт. 10: 9), где речь идет о «сильном зверолове перед Господом» Нимроде (или Нимвуде), внуке библейского патриарха Ноя.

С. 451. ...хотел взрулить мир своими подвигами ~ и мирно разводит картофель и сеет рену ~ мечтал по-своему переделать весь свет и Россию ~ не может переделать старого забора. — Как продемонстрировал Ю. В. Манн, мотив «превращения» романтика в пошлого обывателя, намеченный еще в «Евгении Онегине» (возможность «обыкновенного удела» для Ленского), становится характерной приметой произведений «натуральной школы», повторяясь в романе «Кто виноват?» (1847) А. И. Герцена, повести «Преображение» (1847) А. Д. Галахова, «Жизни и

похождениях Тихона Тростникова» (1843—1848) Н. А. Некрасова, «Несторожном слове» (1848) А. Я. Панаевой (Н. Станицкого), стихотворении И. С. Тургенева «Человек, каких много» (1843), поэме Ап. Майкова «Две судьбы» (1843) и др. (см.: *Манн Ю. В.* *Философия и поэтика «натуральной школы» // Проблемы типологии русского реализма.* М., 1969. С. 251—256).

С. 451. *Прапорщик* — по Табели о рангах низший армейский чин, 14-го класса, соответствовавший гражданскому чину коллежского регистратора.

С. 451. *Кто не плакал, сочувствуя высокому и прекрасному?* — «Высокое и прекрасное» — одна из расхожих романтических формул, в 1840-е гг. постоянно пародируемых. Ср., например, иронию В. Г. Белинского в обзоре «Русская литература в 1842 году»: «...мы (...) под „стихами“ разумею неземную деву, идеальную любовь, детское порывание к высокому и прекрасному...» (*Белинский.* Т. V. С. 201), а также пародию на романтические повести в очерке И. И. Панаева «Петербургский фельетонист» (1845): герои повестей — «юноши бурные, стремящиеся куда-то и к чему-то, с клокочущими страстями, презирающие все земное и повседневное, порывающиеся непрерывно в *высь* и рассуждающие (...) о высоком и прекрасном...» (*Физиология Петербурга /* Изд. подгот. В. И. Кулешов. М., 1991. С. 208 («Лит. памятники»)) — и оценку Ф. М. Достоевским своих юношеских романтических увлечений: «Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем „прекрасном и высоком“, — тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось еще без иронии» (*Достоевский.* Т. XXII. С. 27).

С. 451—452. *...пусть он бросит камень в меня...* — Восходит к Евангелию (Ин. 8:7).

С. 454. *Киссинген* — знаменитый курорт в Баварии. Гончаров бывал там в 1868 и 1869 гг.

С. 455. *Ни Фидий, ни Пракситель не нашли бы здесь Венер...* — Фидий (5 в. до н. э.) и Пракситель (4 в. до н. э.) — великие скульпторы Древней Греции. Их изваяния Афродиты (Венеры) известны только в римских копиях.

С. 456. *...из концентрической души...* — Здесь: сосредоточенной.

С. 459. *...на нынешнюю зиму ангажирован сюда Рубини...* — Знаменитый итальянский тенор Д. Б. Рубини (Rubini; 1795—1854) впервые выступал в Петербурге весной 1843 г. С октября 1843 г. по февраль 1844 г. в составе сформированной им итальянской труппы пел в петербургском Большом театре; гастролировал в России также в сезон 1844/45 г. и в 1847 г.

С. 460. *...такие слова были бы действием гальванизма на труп...* — Гальванизм (по имени Л. Гальвани (1737—1798), итальянского анатома и физиолога, одного из основателей учения об электричестве) — здесь: мышечное сокращение под действием тока, впервые исследованное Гальвани. О популярности у романтиков понятия из области электромагнитных и химических явлений см. выше, с. 653, 764—765, 775—776, примеч. к с. 70, 239, 347 («электрический трепет», «действие электричества», «сродство по избранию»). Ср., в частности, характерное использование данного образа А. А. Бестужевым-Марлинским в повестях «Фрегат „Надежда“» (1833), «Он был убит» (1835) и др.

С. 461. *Тайный советник* — по Табели о рангах гражданский чин 3-го класса.

ПИСЬМА СТОЛИЧНОГО ДРУГА К ПРОВИНЦИАЛЬНОМУ ЖЕНИХУ

(С. 470)

Автограф неизвестен.

Впервые опубликовано: С. 1848. № 11. Отд. VI. С. 1—11; № 12. Отд. VI. С. 13—26, без подписи (ценз. разр. — 31 окт. 1848 г., 30 нояб. 1848 г.).

В собрание сочинений впервые включено: 1952. Т. VII.

Печатается по тексту первой публикации, единственному источнику текста.

В известных к настоящему времени автодокументальных текстах Гончарова «Письма столичного друга к провинциальному жениху» не упоминаются, так же как и другие ранние сочинения писателя. Авторство Гончарова установлено Ю. Г. Оксманом,¹ разыскавшим дело Санкт-Петербургского цензурного комитета, в котором имеются сведения об авторах № 11 и 12 «Современника» за 1848 г., представленные редакцией журнала;² через несколько лет им же опубликован текст фельетона (см.: Оксман. С. 39—84).

Фельетон как жанр родился во Франции и сначала определялся технически-типографским, а не стилистическим признаком. Датой рождения фельетона принято считать 28 января 1800 г., когда впервые был изменен формат газеты «Journal des Débats», в результате чего образовались дополнительные печатные площади, использованные для публикации «смеси»: театральные и библиографические отчеты, всевозможных анекдотов, мод, сенсационных известий, писем подписчиков в редакцию и проч.³ Освоенный русской журналистикой в 1830-х гг. фельетон оказался наиболее гибким публицистическим жанром, своеобразным общественным рупором, с помощью которого осуществлялась непосредственная связь между редакцией и читателем. Этим объясняется значительное место, отводимое всеми ведущими журналами середины XIX в. фельетонным отделам. «Письма столичного друга к провинциальному жениху» появились в одном из таких разделов «Современника».

Гончаров сотрудничал с редакцией этого журнала и раньше: в № 5 за 1847 г. напечатана его рецензия на книгу Д. И. Соколова «Светский человек, или Руководство к познанию правил общежития» (см. наст. том.

¹ См.: Оксман Ю. Г. Анонимные фельетоны И. А. Гончарова // Фельетон: Сб. статей под ред. Ю. Тынянова, Б. Казанского. Л., 1927. С. 81—83.

² В сведениях, представленных И. И. Панаевым 2 ноября 1848 г., указывается, что в «составлении XI книжки „Современника“ кроме лиц, выставивших свои имена под статьями, участвовал (...) г. Гончаров (...) в V (sic! — *Ред.*) отделе (*Моды*). *Письма столичного друга к провинциальному жениху* — соч. г. Гончарова». Там же, в справке редакции «Современника» от 25 декабря 1848 г., сказано: «Кроме господ, подписавших имена свои под статьями», «*Письма в отделении Мод* соч(инил) г. Гончаров» (РГИА, ф. 777, оп. 1. № 1986, л. 28, 30).

³ Дословно «feuilleton» означает «листок», который мог быть отрезан, в случае, если подписчик не желал получать «фельетон» (подробно см.: *Томашевский Б. У истоков фельетона: (Фельетон в «Journal des Débats» // Фельетон: Сб. статей под ред. Ю. Тынянова, Б. Казанского. С. 59—71).*

С. 494—501). Непосредственными же предшественниками гончаровского фельетона в «Современнике» стали публикации «Великая тайна одеваться к лицу. Опыт великосветского романа в двух частях» И. И. Панаева (С. 1847. № 11—12. Отд. V; 1848. № 1—6. Отд. V, — без подписи) и «Переписка между петербуржцем и провинциалом»: «Отрывок из письма г. NN к г. Чулкову»; «Отрывок из письма Чулкова к NN» А. И. Кронеберга (С. 1848. № 8, 9, 10; — без подписи). Фельетон Кронеберга, написанный от лица Владимира Чулкова, сопровождался специальным редакционным примечанием: «Мы нисколько не сомневаемся, что и в провинции есть дамы со вкусом, умеющие хорошо одеваться, но для тех несчастных, которым не далась от природы *великая тайна одеваться к лицу*, могут быть очень полезны остроумные и глубокомысленные письма г. Чулкова. Уверенные, что эти письма послужат к развитию вкуса в таких людях и к искоренению некоторых диких и неизящных привычек, — мы с удовольствием даем им место в отделении мод „Современника“» (С. 1848. № 8. Отд. V. С. 3). Примечание не было случайным, оно отражало просветительскую позицию журнала в вопросах этики и эстетики быта. IV и V разделы «Современника» изобиловали материалом, тематически и сюжетно близким гончаровским «Письмам...». Здесь можно было прочесть обстоятельное описание последних парижских мод, найти замечания о разных типах людей с точки зрения их «порядочности» и «светскости» (например, о «положительном человеке» — С. 1847. № 6. Отд. IV. С. 239—241) и, при желании, изучить историю вопроса (по статье Ш.-О. Сент-Бева «Кавалер де Мере, или О порядочном человеке в XVIII столетии», в переводе Вал. Майкова — С. 1848. № 7. Отд. IV. С. 18—32).

«О последнем отделе журнала, „Моды“, — пишет автор монографии о «Современнике», — полагаем, распространяться нет надобности. Он преследовал определенную и в высшей степени специфическую цель — обслужить ту часть буржуазных и дворянских читателей, а в особенности читательниц журнала, для которых, как и для героя гончаровской „Обыкновенной истории“, „уменье одеваться“ имело важное значение. Обслужить же эту часть читателей значило приобрести не одну лишнюю сотню подписчиков. Начиная с № 11 „Современника“ 1847 г., Панаев, в непосредственном заведовании которого находился данный отдел, несколько расширил его рамки и начал печатать „Опыт великосветского романа в двух частях“ — „Великая тайна одеваться к лицу“. (...) Роман, печатавшийся в восьми номерах журнала (1847 г., № 11 и 12; 1848 г., № 1—6), одновременно убивал двух зайцев: знакомил с модами тогдашних модников и модниц и едко пародировал еще очень распространенный в 40-х годах жанр „великосветского романа“, т. е. выполнял тем самым довольно серьезную и нужную литературную функцию. С № 8 (1848 г.) была изобретена новая беллетристическая форма для ознакомления читателей с модами и сопредельными, так сказать, вопросами (...) а именно форма „переписки между петербуржцем и провинциалом“. В № 8—10 (1848 г.) эту переписку вел некий Василий Греков (?) — псевдоним, под которым скрывался Кронеберг».¹

¹ *Евгеньев-Максимов В.* «Современник» в 40—50 гг. Л., 1934. С. 224—225. Форма «переписки между петербуржцем и провинциалом» возникла задолго до появления фельетонов Кронеберга. Она была освоена уже Ф. В. Булгариным и активно использовалась им для фельетонов «Северной пчелы» (см., например: «Письма провинциалки из столицы» — *Булгарин Ф.* Соч. СПб., 1836. Ч. II).

Фельетоны Панаева и Кронеберга оказали влияние на текст Гончарова. «Письма столичного друга к провинциальному жениху» — это та же «переписка между петербуржцем и провинциалом»,¹ (сходна и завязка: у Кронеберга провинциал просит прислать платье и ботинки к именинам жены²), а смехотворно-серьезный, псевдопоучительный тон Чельского во многом, несомненно, та же пародия, но не на «великосветский роман»: Гончаров пародирует более актуальный к этому времени стиль — резонерирующий фельетон раздела «Моды».

Среди литературных предшественников Гончарова нельзя не упомянуть В. А. Соллогуба (повесть «Лев») и И. И. Панаева («Онагр»). Обе повести были опубликованы в «Отечественных записках» Краевского за 1841 г. и содержали в себе основы той классификации типов поведения в свете, которая широко и подробно была развернута затем в гончаровских «Письмах...». «Настоящие львы чрезвычайно редки, — говорит герой повести Соллогуба (а мог бы сказать и Чельский). — Чтоб быть львом, недостаточно хорошо одеваться, хорошо уметь жить, обманывать женщин, что, впрочем, главные львиные достоинства; но надо уметь властвовать над мнением (...)

— Какое же различие, — спросил я, — между фешёнеблом³ и львом? Приятель мой призадумался.

— Фешёнебль, — отвечал он, подумавши, — простой солдат, а лев полководец. (...) Настоящий лев (...) дает тон целому обществу. (...) Он решает, что по моде и что не по моде. Он магнитная стрелка, указывающая фешенёбльному миру, куда идти и что делать».⁴ Панаев продолжил затронутую тему (сославшись при этом на «Льва» Соллогуба: «С Санктпетербургским „львом“ вы уже знакомы»). Он описывает другого законодателя мод — онагра (т. е. осла), сфера деятельности которого — среднее общество: «Я не знаю, слышали ль вы очень любопытную новость? Недавно какой-то остроумный господин в Париже изобрел название для тамошних *царьков среднего общества*. Это название прекрасное и звучное: *онагр!* Оно было принято парижанами с восторгом и

¹ «Конструкция и даже некоторые детали тематики фельетонов А. И. Кронеберга усваиваются в конце того же 1848 года художественной техникой Гончарова» (*Оксман*. С. 23).

² Гончаров, однако, более последовательно мистифицирует читателя, неоднократно подчеркивая «приватность» переписки, не имеющей якобы ничего общего с «Современником»: «Не бойся и не надейся, любезный друг, чтобы после торжественного приготовления тебя первым письмом к уменью жить я так же систематически стал посвящать тебя и во все его мелочные тайны. (...) Если же ты захочешь сам погрузиться во все мелочи наружного уменья жить и следить за прихотливым течением моды, то возьми себе любой журнал, особенно „Современник“: там ты можешь иногда почерпнуть свежие и современные сведения по этой части» (наст. том, с. 481). Ср. также: «Я так и жду, что тебя *кто-нибудь* да пристроит в юмористическую статейку и с сервизом и с каретой; а ты же сам потом и прочитаешь за свои же деньги *где-нибудь* в журнале» (наст. том, с. 489; курсив наш — *Ред.*).

³ Функциональный двойник гончаровского «франта».

⁴ *Соллогуб В. А. Лев* (Княгине С. А. Голицыной) // *ОЗ*. 1841. Т. 15. С. 268—269. Ср. у Гончарова: «...вкус его в непрерывном движении; он играет у него роль часовой стрелки, и все поверяют свой вкус по ней, как часы по одному какому-нибудь регулятору, но все несколько отстают: льва догнать нельзя, в противном случае он не лев» (наст. том, с. 473).

тотчас вошло во всеобщее употребление. Оно — в этом почти нельзя сомневаться — перейдет и к нам, и мы скоро привыкнем к нему, как привыкли к странным прозваниям „львов“».¹

Гончаров пошел дальше, не ограничивая себя описанием одного отдельно взятого типа, писатель создает целую «классификацию людей порядочного общества по разрядам», в которой два условно-негативных типа («франт», «лев») уравниваются двумя условно-позитивными («человек хорошего тона», «порядочный человек»), противопоставляя их по принципу «наружное» (формальное) — «внутреннее» (нравственное). Распространено мнение, что «порядочный человек» «Писем...» — это наиболее яркое, последовательное воплощение нравственного идеала писателя: «Этический, нравственный идеал Гончарова, — пишет современный исследователь, — ориентирован на общественную функцию, на умение жить в обществе, среди людей, быть вполне цивилизованным человеком. Такая специфика этического идеала определилась у писателя довольно рано, еще в 40-е годы, о чем свидетельствуют „Письма столичного друга к провинциальному жениху“ (1848). Это любопытнейший этико-эстетический опыт Гончарова (...). Показывая восхождение человека от чисто внешнего умения жить в обществе („франт“, „лев“) к более глубокому внутреннему умению быть человеком („человек хорошего тона“), Гончаров видит конечный идеал, практически недостижимый (...) в котором стремление к внешней, находящейся выражение в общественной жизни, красоте органично сочетается с красотой духа. (...) Там, где Достоевскому нужен тип князя-Христа, „идиота“, выпадающего из жизни общества, Гончаров выставляет принципиально общественный тип „порядочного человека“, в котором христианский идеал не противостоит идеалу общественному, житейскому, цивилизованному. (...) Можно увидеть (...) что „порядочный человек“ — натура героическая, мужественная, принципиально трагического плана. Гончаров всю свою жизнь стремился вывести, изобразить такую трагическую фигуру, однако так и не смог этого сделать, лишь намекнув, что прообразом такой фигуры могли бы быть Христос, Гамлет, Дон-Кихот...».² Такое суждение вряд ли справедливо в полной мере, считает другой исследователь: «Конечно, „порядочного человека“, как он пред-

¹ Оба автора подчеркивали неестественность «странного прозвания „лев“» в мире людей — у Панаева оно «страшное», у Соллогуба — «животное». Истоки такого восприятия идут, возможно, от широко известных в 1830—1840-е гг. иллюстраций, выполненных рисовальщиком-сатириком анималистом Гранвиллем к очеркам Бальзака, П. Бернара, Ж. Жанена и других писателей. Это позволяет по-новому взглянуть на гончаровский эпитет «звериный», с его помощью могло осуществляться подключение особого зрительно-литературного ряда: «Мне случилось видеть льва в замешательстве (...) надо было видеть, как он выпускал когти и вздымал гриву! и выходила маленькая сцена.

Человек хорошего тона (...) ни с кем, ни в коем случае, неуклюже, по-звериному не поступит» (наст. том, с. 475).

² Мельник В. И. Этический идеал Гончарова // *Leben, Werk und Wirkung*. P. 101—102. Ср. также: «...в первом обращении к массовому читателю Гончаров как бы непосредственно выносил на его суд свой нравственно-этический идеал» (Недзвецкий. *Публицистика романиста*. С. 10). К этому мнению примыкает и суждение В. Сечкарева, полагающего, что «яркий фельетон выражает личные взгляды Гончарова и характеризует его личные стремления» (*Seichkarev*. P. 77).

ставлен в „Письмах...” нельзя воспринимать как нравственный идеал Гончарова» (*Отрадин*. С. 50).

Действительно, нельзя забывать, что «Письма...», в первую очередь, художественное произведение и автор его не совпадает с героем, от лица которого ведется повествование.¹ Тексту Гончарова присущи пародийные черты, и Чельский, со своим утилитарным взглядом на историю и культуру человечества, такой же объект авторской иронии, как и все прочие персонажи фельетона. Блестящая знаямья, преподаанными ему когда-то (в том числе и Василием Васильевичем: «моя услуга будет только слабым вознаграждением за те огромные и бесполезные усилия, которые ты некогда употреблял, чтоб навязать мне на шею Геродотов, Тацитов и других»), и рассыпаясь в остроумии, Чельский превозносит Лукулла и Перикла в ущерб Сократу, Платону, Гомеру, Вергилию. Но превозносит не как государственных деятелей, давшим жизнь революционным реформам в Афинах (Перикл), воинов (Лукулл), ораторов (Цицерон считал Лукулла «отцом реторики»), а как героев «savoir vivre» древности! Память его вообще крайне избирательна (он, например, помнит, что Диоген «жил в бочке», но «забывает», что именно к нему были обращены слова легендарного героя древности: «Если б я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном»), она фокусируется, в основном, лишь на «позиции богатых одежд древних, их багряниц, роскоши их мраморных бань и купален, утонченных пиршеств, мягких и тонких тканях», беспрекословно отвергая «ненужное» («Твои мудрецы — дети, твои герои... но Бог с

¹ Это, впрочем, не исключает автобиографического оттенка, который, возможно, есть в рассуждениях о «русском здоровом столе», на что также обратил внимание Оксман (см.: *Оксман*. С. 35—37). Исследователь приводит характерный отрывок из воспоминаний племянника писателя, ярко живописующий гастрономическую взыскательность Гончарова, которого Анна Александровна Музалевская потчевала с истинно русским размахом: «жирные стерляди, бекасы, дупеля, соусы из уток и кулебяки из осетрины с вязигой оказали свое действие на Гончарова, привыкшего к умеренным обедам в Hôtel de France и к легким блюдам крупных петербургских чиновников: он стал прихварывать, делался капризным и начал скучать по Павловску и Царскому Селу: (...) „Что это, — говорил он Анне Александровне, — у тебя за повар? Ведь какой-нибудь Собакевич или Петух может á la longue безнаказанно сносить такие обеды; а я, человек кабинетный, скромный петербургский чиновник, не симбирский житель; не могу ежедневно переваривать всю эту волжскую благодать”. (...) Музалевская, соображаясь со вкусами знаменитости, изменила menu обедов и завела „французскую кухню”: появились бульон, „пожарские котлеты”, соусы из раковых шеек и т. п. Поест вкусно и с толком Гончаров умел, но он не признавал за поваром Анны Александровны французского искусства, плохо переваривал его произведения и с каждым днем становился желтее, капризнее и невыносимее. „Вот в Париже, — говаривал он после сытного обеда, — в Hôtel de Nice меня кормили точно французской кухней: и вкусно, и сытно, и легко; (...) У наших поваров нет вкуса, нет изящества, нет школы и таких кулинарных преданий”» (*ВЕ*. 1908. № 11. С. 23—24). Столь пристальный интерес к кухне был, к тому же, в духе времени; напомним, что именно в эти годы (с 1844) В. Ф. Одоевский пишет в «Хозяйских заметках» (приложение к «Литературной газете») еженедельный фельетон «Лекции господина Пуфа, доктора энциклопедии и других наук о кухонном искусстве», посвящая читателей в тайны «кухнологии».

ними» (наст. том, с. 477)). Чельского не интересует традиция, он готов противопоставить ей собственную систему ценностей — «науку уменья жить»¹ («великую», «мудреную», «увлекательную»), почти религию, о чем неопровержимо свидетельствует сопутствующая этому понятию лексика: «Рассмотрим же теперь все четыре степени *адептов* этой науки: с тою целию, чтобы ты (...) *преклонил бы колени* перед уменьем жить, в *таинства* которого я хочу *посвятить* тебя именем старой нашей дружбы и любви к человечеству» (наст. том, с. 471; курсив наш. — *Ред.*). Эту науку «проповедают» «жрецы изящного вкуса», которых Чельский последовательно уподобляет вначале «ордену иезуитов», вечному, невидимому, несокрушимо, а затем, в результате «случайной оговорки» (вроде оговорки «любовь к жене» / «любовь к человечеству»), и самим богам: «О боги Олимпа! накажите его: он человек дурного тона, а вы, вы порядочные люди... то бишь боги... вы создали Перикла, Лукулла и много других людей хорошего тона» (наст. том, с. 490). С помощью таких маскарадных подмен в рассуждениях Чельского Гончаров добивается двойного эффекта: саркастическая ирония адепта «великой науки», направленная им на Василия Васильевича, оборачивается против него самого,² создавая энергически-оптимистичный, но плоский образ. При этом мастерство писателя состоит в том, что снижение образа «столичного друга» не делает его антогониста менее смешным. Слепо следующий за всеми прихотями моды Чельский и полностью отрицающий моду Василий Васильевич представляют собой две комические крайности, их невозможно воспринимать всерьез, поэтому анализ «классификации людей порядочного общества по разрядам», предложенной в Письме первым, требует особенной осторожности. Самое спорное ее звено — «порядочный человек».

В русской литературе XIX в. существовала традиция игры с понятиями «порядочный», «прекрасный», «почтенный», «знающий» и т. п. человек. В определенном контексте эти слова приобретали прямо противоположный смысл. Иносказательное значение могло при этом закрепиться, стать общеупотребительным (см.: *Михельсон М. И.* Ходячие и меткие слова. М., 1994. Ст. 270 (о «порядочном человеке») и 333 (о

¹ Достоевский в фельетоне для «С.-Петербургских новостей» («Петербургская летопись», 1847), описывая «человека из угла», «образец нашего сырого материала», который досаждал своим «любящим сердцем с муромскими наклонностями» близким, также приходит к выводу, что «жизнь — искусство», но это искусство преследует совсем другие, по сравнению с «уменьем жить» Чельского, цели: «Забывает да и не подозревает такой человек в своей полной невинности, что жизнь — целое искусство, что жить — значит сделать художественное произведение из самого себя; что только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее непосредственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии, от которого распадается масса, не в уединении может отшлифоваться в драгоценный, в неподдельный алмаз его клад, его капитал, его доброе сердце!» (*Достоевский*. Т. XVIII. С. 13—14).

² В докладе «Очерк И. А. Гончарова „Письма столичного друга к провинциальному жениху“», сделанном *Г. Шауманном* (Германия) на Второй Международной конференции, посвященной 185-летию со дня рождения писателя (Ульяновск, 1997), двойной стилистический аспект «Писем...», характеризующий одновременно как пишущего, так и его адресата («закон двойной реляции»), рассматривался как основной формообразующий принцип построения гончаровского фельетона.

«прекрасном человеке»)). Иносказательное значение выражения «порядочный человек» использовал Я. П. Бутков в одноименной повести (1845), где это словосочетание выступает в качестве эвфемизма слова «шулер». Сюжет повести прост: случайный выигрыш переворачивает жизнь мелкого чиновника Чубукевича, который решает бросить службу и перейти в разряд «порядочных людей», «очистителей», главное свойство которых умение «жить на счет ближнего». Утвердившись в этом качестве, герой заводит большие связи в свете, становится даже «душою общества», настоящим светским человеком, а затем делает следующий шаг: за одну ночь игры он, разорив некоего провинциального «бычка», приобретает состояние, выгодно женится и переходит в разряд «почтенных людей»:

«Хочу радикально перемениться, — говорит он своему приятелю, — Хочу, внимай: хочу жениться!»

— Жениться! Вот выдумал! какой же ты будешь порядочный человек, когда женишься!

— Надоело существовать одними такими оборотами! Что нет ничего положительного, солидного! Женюсь и стану *почтенным человеком!* (...) Что наружность! Почтенные и всякие наружности делаются также, как пирожки с ванилью! Пустяки для *знающего человека!*».¹

Заметим, что «Порядочный человек» Буткова — одна из повестей «нашумевшего двухтомника „Петербургские вершины“, вышедшего в том же 1845 г., что и „Физиология Петербурга“ Некрасова»,² не мог пройти мимо внимания Гончарова. В другой повести этого сборника герой, личное счастье которого зависит от наличия «ничтожной партикулярной пары», так высказывается о связи, существующей между фраком и «порядочным человеком»: «Но можно ли, по справедливости, назвать ничтожным черный фрак со всеми к нему принадлежностями, фрак, который облекая глупца и негодяя, делает его на вид „порядочным человеком“, открывает ему вход и доставляет прием всюду».³

Такие литературные параллели вносят в фельетон Гончарова известные коррективы, хотя пародийно-иронический аспект «Писем...» не единственный и не решающий: писатель предлагает несколько прочтений, каждое из которых имеет свой смысл. В исследовательской литературе неоднократно были отмечены «нити, ведущие от анонимных фельетонов 1848 года к каноническому художественному фонду Гончарова» (Оксман. С. 34). «Письма» перекликаются с рецензией Гончарова на книгу Д. И. Соколова «Светский человек...», с некоторыми мотивами романов «Обыкновенная история» и «Обломов»: «„Письма столичного друга к провинциальному жениху“ могли бы легко сойти за фрагменты корреспонденции дяди и племянника Адуевых или Обломова и Штольца, настолько близки типические характеристики этих трех пар персонажей, настолько однообразны их художественные функции, настолько устойчива в них тематика излюбленных гончаровских дискуссий», — писал Ю. Г. Оксман (Оксман. С. 24). С «Письмами...» соотносятся некоторые отрывки из «Фрегата „Паллада“»: о роскоши и комфорте (том первый, гл. VI), о светском воспитании⁴ (том первый, гл. I); в них прослежива-

¹ Бутков Я. П. Повести и рассказы. М., 1967. С. 44.

² Кулешов В. И. Знаменитый альманах Некрасова // Физиология Петербурга. М., 1991. С. 223. («Лит. памятники»).

³ Бутков Я. П. Повести и рассказы. С. 184.

⁴ Интересно, что, несмотря на существенную разницу в повествовательной манере (повествование здесь ведется «всерьез»), во «Фрегате

ются отдельные мотивы будущего «Обломова»: неопрятный быт и «халат» Василия Васильевича, совет Чельского «удалить эту Агашку», переключившийся с советом Штольца Обломову относительно Агафьи Матвеевны Пшеницыной (см. об этом: *Оксман. С. 24; Цейтлин. С. 116; Недзвецкий. Публицистика романиста. С. 9*). Образ провинциального жениха поразительно близок к образу Леонтия Козлова в «Обрыве», что объясняется, по мнению Оксмана, их общим прототипом;¹ здесь снова встречается сравнение главного героя с Диогеном, являющаяся автохарактеристикой Райского: «Диоген искал с фонарем „человека“ — я ишу женщины: вот где ключ к моим поискам (...) где кончится это мое странствие?»² Но наиболее близок к «Письмам...» «Литературный вечер», одно из поздних произведений писателя, на страницах которого Гончаров непосредственно возвращается к проблематике «Писем...» (см.: *Недзвецкий. Публицистика романиста. С. 9*).

С. 470. ...*своим письмом и комиссиями...* — Комиссия — Здесь: поручение.

С. 470. ...*изделиями Пезра и Педотти...* — Пезр (Пер) и Педотти — владельцы известных московских кондитерских лавок. Эти же кондитерские лавки посещает студент Райский в «Обрыве».

С. 476. ...*в Управу Благочиния.* — Управы благочиния — органы городской исполнительной полиции, закрытые в столицах при императоре Павле I, вновь восстановлены Александром I. Основное назначение этих учреждений заключалось в наблюдении за порядком на улицах (квартильная служба), в ведении их находились также некоторые мелкие судебные дела, в том числе о невозвращении долгов. Окончательно упразднены в 1880 г.

С. 477. ...*целые семь тысяч лет...* — Т. е. от сотворения мира.

С. 477. ...*семь греческих мудрецов...* — Имеются в виду мыслители и государственные деятели (VII—VI вв. до н. э.), отличавшиеся глубоким

„Паллада“» сохраняется двойственное отношение к «светскому воспитанию»: «...он светский человек, а такие люди всегда мне нравились. Светское воспитание, если оно в самом деле светское, а не претензия только на него, не так поверхностно, как обыкновенно думают. Не мешая ни глубокому образованию, даже учености, никакому специальному направлению, оно вырабатывает много хороших сторон, не даетглохнуть порядочным качествам, образует весь характер и, между прочим, учит скрывать не одни свои недостатки, но и достоинства, что гораздо труднее. То, что иногда кажется врожденною скромностью, отсутствием страсти, — есть только воспитание. Светский человек умеет поставить себя в такое отношение с вами, как будто забывает о себе и делает все для вас, всем жертвует вам, не деля в самом деле и не жертвуя ничего, напротив, еще курит ваши же сигары, как барон мои. Все это, кажется, пустяки, а между тем это придает обществу чрезвычайно много, по крайней мере наружного, гуманитета» (Том первый, гл. I).

¹ Это старший брат писателя — Николай Александрович Гончаров, который, по воспоминаниям сына, «имел вид чисто провинциального чиновника, невысокого роста, рано обрюзгший, мало занимавший собой. Дома он всегда был в халате, а для выхода у него были черный сюртук, манишки и воротнички и какой-то шелковый твердый галстук и цилиндр. Все это имело вид бедный и далеко не изящный» (*ВЕ. 1908. Т. 6. № 11. С. 14*). Ср.: *Оксман. С. 37*.

² Часть вторая, гл. XII.

умом. Спорят об их числе (всего различные авторы называют около 20 человек). Платон указывает, что к ним «принадлежали Фалес Милетский, Питтак Мителенский, Биант из Приены, наш Солон, Клеобул Линдский, Мисон Хенейский, а седьмым между ними считается лаконец Хилон» (см.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. I. С. 455). Размышления семи мудрецов запечатлены в форме афоризмов: «Мера лучше всего» (Клеобул), «Ничего слишком» (Солон), «Знай себя» (Хилон), «Учи и учишь лучшему» (Фалес). См.: Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. Ч. I. С. 92—94.

С. 477. ...*Катона, Регула...* — О Марке Катоне Старшем (234—149 гг. до н. э.) см. ниже, с. 799. Регул — римский полководец плебейского происхождения, консул (в 267, 256 гг. до н. э.). Одерживал неоднократные победы над карфагенскими войсками и флотом. Потерпел поражение и был взят в плен Ксантипом при Тунах (255 г. до н. э.). Гончаров имеет в виду легенду о героической смерти Регула, рассказанную Цицероном (см.: Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М., 1974. С. 68, 150) и оспариваемую историками (см., например: Моммзен Т. История Рима. СПб., 1994. С. 416). Согласно легенде, после поражения карфагенян при Панстоме Регул был отправлен в карфагенским посольством в Рим с целью добиться мира или обмена пленных. Несмотря на то что от исхода этих переговоров зависела его личная свобода (он поклялся в случае неудачи вернуться в плен), Регул выступил в Римском сенате противником предложения карфагенян. Когда после отказа римлян он вернулся в Карфаген, его подвергли страшным пыткам: вырезали веки и поставили на палящее солнце, а затем заключили в бочку с вбитыми внутрь железными гвоздями, которую спустили с горы.

С. 477. ...*не отличит хитона от тоги...* — Хитон — греческая, тога — римская одежда.

С. 477. ...*слога Саллюстия от слова Тита Ливия...* — Саллюстий (86—35 гг. до н. э.) и Тит Ливий (59—17 гг. до н. э.) — римские историографы.

С. 480. ...*потому что избранное, изящное общество везде, на всей земле одно и то же...* — Ср. у В. Г. Белинского: «Высшее сословие, или высший круг общества, во всех городах в мире составляет собою нечто исключительное. (...) это город в городе, государство в государстве» (*Белинский В. Г. Петербург и Москва // Физиология Петербурга. С. 29.* («Лит. памятники»)). Ср. также: «Есть у нас люди, которые европейскую одежду носят только официально, но у себя дома, без гостей, постоянно пребывают в татарских халатах, сафьянных сапогах и разного рода ермолках; некоторые халату предпочитают ухорский архалух — шегольство провинциальных лакеев» (Там же. С. 28). Рассуждая в этой статье о людях, которые «спят и видят шоссе, железные дороги, мануфактуры, торговлю, банки, общества для разных спекуляций» (в отличие от людей, которые «презирают всем внешним»), Белинский называет их «классиками нашего времени».

С. 480. ...*Оно, как орден иезуитов, вечно, несокрушимо, неистребимо ~ одною целью всегда и везде.* — Такое представление об иезуитах Гончаров мог почерпнуть из романа Э. Сю «Агасфер» (перевод его печатался в виде приложения к «Библиотеке для чтения» за 1844 г. начиная с книжки 7). Вторая часть романа, главной целью которого стало разоблачение тайной миссии иезуитов, начиналась словами: «Никакое государство никогда не обладало лучшей и более исправной полицией. Даже венецианское правительство уступало в этом случае иезуитам. (...) Эта полиция, тайные ее розыски, доведенные до совершенства, дают понятие

о могуществе этого ордена, всезнающего, упорного в преследовании цели, сильного своим единением и связью между его членами, — как того и требуют его статуи» (Сю Э. Агасфер. М., 1990. С. 293—294).

Орден иезуитов — один из самых могущественных монашеских орденов римско-католической церкви; основан в 1534 г. испанцем Игнатием Лойолой в Париже. В 1773 г. был формально уничтожен указом папы. Указ был проигнорирован правительством Екатерины II, что позволило ордену, изгнанному из всех католических стран, сохраниться на территории России (Белоруссия, Польша, Литва). В 1801 г. он был узаконен в этих границах Пием VII. В 1815 г. иезуиты были высланы из С.-Петербурга с запретом на проживание в обеих столицах. В 1820 г. (после доклада министра духовных дел и народного просвещения кн. Голицына, поддержанного Александром I) иезуитский орден в России был упразднен.

С. 480. ...*страшно и трудно перечесть!* — Ироническая парафраза из письма Татьяны к Онегину («Кончаю! Страшно перечесть...») в «Евгении Онегине» (глава третья).

С. 481. ...*благородный циник*. — Циник (или киник) — представитель кинической школы, основанной Антисфеном в Киносагре при гимназии, учрежденной для незаконнорожденных афинян (сам Антисфен был сыном афинянина и фракийки, следовательно, не мог быть гражданином Афин). Наиболее влиятельная из сократических школ; сосредоточивала свое внимание исключительно на этической стороне учения Сократа, понятого в одном аспекте. Исходя из тезиса о том, что добродетель, заключающаяся в независимости от желаний и удалении от зла, есть единственное и достаточное основание для счастья, киники призывали к крайнему аскетизму.

С. 481. *А. Чельский* — составительница «Алфавитного указателя к „Современнику“ за первое десятилетие: 1847—1856 гг.» (СПб., 1857) О. С. Чернышевская (О. Ч.) «приняла за авторскую подпись — подпись одного из вымышленных персонажей „переписки“ — А. Чельского. Любопытно, что этой же фамилией вскоре воспользовалась Е. Тур для одного из героев своего романа „Племянница“ (1851 г.)» (Оксман. С. 20).

С. 482. ...*и надевать павлиньи перья...* — См. выше, с. 669, примеч. к с. 125.

С. 482. ...*с брегетом и золотой табакеркой в кармане...* — Брегет — дорогие карманные часы «с репетицией» парижской фирмы, владельцем которой был механик А.-Л. Бреге (Брегет; Breguet). Отличались высокой точностью. «Мода на часы фирмы „брегет“ поддерживалась (...) и тем, что А.-Л. Бреге никогда не производил двух одинаковых часов. Каждый образец был уникальным» (Лотман. Комментарий. С. 141).

С. 483. ...*как встретил Иван Иванович Ивана Никифорыча...* — В главе II «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя (1834) Иван Никифорович встречает пришедшего к нему Ивана Ивановича словами: «Извините, что я перед вами в натуре» (т. е. «безо всего, даже без рубашки»).

С. 484. ...*в венгерке...* — См. выше, с. 670, примеч. к с. 127.

С. 484. ...*гамбсовской мебели...* — Т. е. модной, дорогой мебелью; см. также наст. том с. 654, примеч. к с. 82.

С. 485. ...*их багряниц...* — Багряница — царское одеяние пурпурного цвета.

С. 485. ...*не понял одного из колоссальных героев древности Лукулла — ты, появивший Платона, божественного Омира, пышного Вергилия?* — О

Лукулле см. ниже, примеч. к с. 490, Платон (427—347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, автор сократических «Диалогов» и трактата «Государство»; Омир, т. е. Гомер, — легендарный поэт древней Греции, который традиционно считается автором эпических поэм «Илиада» и «Одиссея»; Публий Вергилий Марон (70—19 гг. до н. э.) — римский поэт, создатель «Энеиды».

С. 485. ...Геродотов, Тацитов и других. — Геродот (ок. 484—ок. 425 гг. до н. э.) — греческие историограф, автор «Изложения событий» в 9-ти книгах; Публий Корнелий Тацит (ок. 55—ок. 120 гг.) — римский историк, писатель, географ, автор «Диалога об ораторах», трактата «Германия», «Истории» в 14-ти книгах (сохранились кн. 1—4), «Анналов» в 16-ти книгах (сохранились кн. 1—6).

С. 486. ...блонды... — См. выше, с. 714, примеч. к с. 244.

С. 487. ...звуки Россини, Верди и Беллини... — Т. е. клавирное изложение популярной в России оперной музыки итальянских композиторов-романтиков: Винченцо Беллини (1801—1835); Джузеппе Верди (1813—1901); Джоакино Россини (1792—1868).

С. 487. ...с выбившейся из-под галстука манишкой... — Манишка — вставка для мужского или женского костюма в виде небольшого нагрудника, видного в вырезе жилета, фрака или дамского платья. Манишки могли быть съемными или пришивались (к сорочке, к краю выреза платья). Съемные манишки и манжеты, имевшие название «дешевой роскоши», были особенно распространены во второй половине XIX в. среди людей среднего достатка.

С. 487. ...с Титом Ливием или Страбоном под мышкой... — Страбон (ок. 63 г. до н. э.—ок. 23 г. н. э.) — географ и историк, автор «Географии» в 17-ти книгах (не сохранилась) и «Исторических комментариев» в 47-ми книгах (сохранились в незначительных фрагментах).

С. 487. ...как феникс... — Феникс — священная птица египтян, которая, по их поверьям, сжигала себя и вновь возрождалась из пепла.

С. 487. ...походить на Диогена... — Диоген Синопский (404—323 гг. до н. э.) — самый известный из учеников Антисфена (см. выше примеч. к с. 481). Платон называл Диогена «сошедшим с ума Сократом». Не оставил сочинений: его философией был особый образ жизни, который представлял собою воплощение кинических принципов, доведенных до абсурда. В классической литературе о нем сохранилось несколько анекдотов. Один из них, согласно которому Диоген, презиравший удобства, жил в бочке, обыгрывается Гончаровым.

С. 488. ...разменяй ассигнации на несколько мешков с целковыми... — См. выше, с. 667.

С. 489. ...так это будет любопытный антик... — Антик — Здесь: любое греческое или римское изделие небольшого размера (оружие, украшение, домашняя утварь и проч.).

С. 489. ...как у какого-нибудь древнего архонта... — Архонт (греч. — начальник) — высшее должностное лицо в Афинах. Каждый год избирались девять архонтов, которые ведали всеми важнейшими делами в государстве.

С. 489. ...Не прикажешь ли выслать ~ напиши в Помпею: может быть, и откопают... — Раскопки в Помпеях были начаты в 1748 г. и фактически не прекращены до сих пор. Некоторое время производились в тайне. Результаты раскопок стали широко известны в Европе благодаря трудам И. Винкельмана, принимавшего в них личное участие. О пристальном интересе писателя к работам Винкельмана см.: Мельник В. И., Мельник Т. В. И. А. Гончаров в контексте европейской литературы. Ульяновск, 1995. С. 14—21.

С. 490. ...*Ты, как Аристид, сам пишешь ~остракизму.* — Остракизм — букв.: суд черепков (*греч.*). Обычай этот описан Плутархом: «Обыкновенно суд происходил так. Каждый, взяв черепок, писал на нем имя гражданина, которого считал нужным изгнать из Афин, а затем нес его к определенному месту на площади, обнесенному оградой. Сначала архонты подсчитывали, сколько набралось черепков; если их было меньше шести тысяч, остракизм признавали не состоявшимся. Затем все имена раскладывались порознь, и тот, чье имя повторялось наибольшее число раз, объявлялся изгнанным на десять лет без конфискации имущества» (*Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 368*). Далее Плутарх рассказывает историю о том, как к Аристиду, подвергнутому остракизму, подошел неграмотный афинянин с просьбой написать на черепке имя «Аристид». На вопрос о том, что плохого сделал афинянину Аристид, тот отвечал что ничего и что он даже не знает Аристида, но ему надоело слышать, как того постоянно именуют Справедливым. После этого Аристид молча написал свое имя на черепке и отдал его афинянину.

С. 490. ...*ты поклонник древнего, а я нового: suum cuique.* — Положение римского права, восходящее к кодексу Юстиниана.

С. 490. ...*вы создали Перикла, Лукулла...* — Перикл (495—429 г. до н. э.) — крупнейший из афинских государственных деятелей, происходивший из аристократического рода, никогда не был первым архонтом, но как стратег, как управляющий финансами и общественными сооружениями сосредоточивал в своих руках контроль над всеми внутренними и внешними делами государства. Будучи главой демократической партии, Перикл стремился привлечь к общественной жизни каждого гражданина Афин, вслестчески поддерживая реформы Эфиальта в этой области. При Перикле Афины были обнесены стеной и выстроен Акрополь. Перикл покровительствовал Фидию, Софоклу, Геродоту, Анаксагору. Его вторая, не признанная Афинами жена — Аспазия была хозяйкой своеобразного салона, который посещали лучшие люди того времени. Луций Лициний Лукулл (106—56 г. до н. э.) — происходивший из плебейского рода римский полководец, политический деятель, консул (74 г. до н. э.). Многочисленные легенды о несметном богатстве Лукулла пересказаны Плутархом, Цицероном, Тацитом: он украсил Рим висячими садами («лукулловы сады») и дворцами, в которых находились богатейшие книгохранилища и бесценные произведения искусства. Лукулл поощрял и защищал ученых, художников, поэтов (например, поэта Архия), сам был знатоком греческой литературы (ему приписывали грекоязычную «Историю войны с персами»). Цицерон считал Лукулла блестящим оратором и назвал его именем вторую книгу «Academia». Богатство и щедрость Лукулла вошли в поговорку («Лукуллов пир»).

С. 491. ...*после ботвинья...* — Ботвинье (ботвинья) — холодное кушанье из кваса, вареной зелени (шпината) и рыбы.

С. 491. ...*ты назначаешь по 15 руб. асс. за пару сапог, а наш сапожник менее 8 и 10 руб. сер. не берет...* — 15 рублей ассигнациями равнялись 4 рублям серебром (по курсу после реформы 1839 г. 1 руб. серебром составлял 3.5 руб. ассигнациями).

С. 492. ...*как китайская бумага...* — Т. е. очень тонкая, но довольно жесткая бумага, обладающая большим блеском с одной стороны.

С. 493. ...*чем самым и стал в подвиге дружбы наряду с античными героями-друзьями...* — См. об этом выше, с. 773—774, примеч. к с. 323.

ПУБЛИЦИСТИКА

СВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК, ИЛИ РУКОВОДСТВО К ПОЗНАНИЮ ПРАВИЛ ОБЩЕЖИТИЯ, составленное Д. И. Соколовым. СПб., 1847

(С. 494)

Автограф неизвестен.

Впервые опубликовано: С. 1847. № 5. Отд. III. С. 54—61, без подписи (ценз. разр. — 30 апр. 1847 г.).

В собрание сочинений включается впервые.

Печатается по тексту первой публикации, единственному источнику текста.

Принадлежность фельетона-рецензии Гончарову была установлена на основании надписи Л. Н. Майкова на экземпляре «Современника», хранившемся в Императорской Публичной библиотеке и ныне утраченном. В картотеке В. И. Саитова, находящейся в Рукописном отделе Института русской литературы РАН, А. Д. Алексеевым были обнаружены следующие сведения о нем: «*Гончаров И. А.* (автор обозначен рукою Л. Н. Майкова на экз. Императорской Публичной библиотеки). Рецензия на книгу: Светский человек, или Руководство к познанию правил общежития, составленное Д. И.¹ Соколовым. СПб., 1847. Современник, 1847, т. 3, отд. III, 54—61. Без подписи». Это позволило исследователю включить фельетон в число канонических текстов Гончарова: «Мая 6. Вышел из печати № 5 „Современника“ (ц. р. — 30 апреля), в котором в отделе III («Русская литература», стр. 54—61) опубликована (без подписи) выдержанная в ироническом тоне рецензия Гончарова на книгу „Светский человек, или Руководство к познанию правил общежития, составленное Д. И. Соколовым“ (СПб., 1847) (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 27, № 279, л. 34)» (см.: *Летопись*. С. 28—29).

Косвенным подтверждением атрибуции фельетона служит также факт наличия рукописи «Светского человека...» в бумагах Гончарова, отмеченной Ю. Г. Оксманом: «Книжка эта, имевшая большой успех и выдержавшая несколько изданий, в рукописи найдена была после смерти автора „Обыкновенной истории“ среди его деловых бумаг, писем и черновых тетрадей» (Оксман. С. 29—30).²

К концу 1840-х гг., т. е. ко времени появления рецензии Гончарова, жанр библиографического фельетона, возникший в 1830-х гг., вполне утвердился в своих основных стилистических чертах, прочно обосновавшись на страницах русской прессы. Наиболее распространенными приемами, выработанными предшественниками писателя, были преувеличенное восхваление рецензируемой книги, мнимое согласие с вздорными суждениями, содержащимися в ней, иронический пересказ содержания, акцентирующий нелепости сюжета и стиля, переосмысляющее цитирование.³

¹ Инициалы автора не совпадают с указанными на титуле книги, где обозначено: «Д. Н. Соколов».

² Этот факт был почерпнут исследователем из описи бумаг Гончарова, опубликованной в изд.: М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. 4. С. 229.

³ См.: *Станько А. И.* Сатирическая библиографическая заметка и фельетон в литературных газетах 1830—1840-х годов // Русская журналистика. XVIII—XIX вв.: (Из истории жанров). Л., 1969. С. 26—35.

Гончаров активно использует найденные формы. Например, описывая книгу Соколова, он уподобляет ее «поваренной книге», с делением «на главы о горячих, о жарких, о соусах, обождении со слугами и т. п.» (наст. том, с. 501); приводя точную и развернутую цитату, содержащую мнение Соколова, отдает ее «благомыслящему человеку», добиваясь тем самым мгновенной переоценки; текст рецензии изобилует выписками из «Светского человека...», сопровождаемыми гончаровским комментарием «за» и «против». Однако использование традиционных приемов не мешает писателю существенно расширить рамки жанра, в том числе и в буквальном смысле этого слова: размеры обычной библиографической заметки, сосредоточенной только на своем предмете, редко превышали страницу. Гончаров при этом подчеркивает, что рецензия написана им «не потому, чтоб книга г-на Соколова стоила длинного трактата, но потому, что так называемая светскость — предмет слишком живой и шекотливый...» (наст. том, с. 501). Такой подход давал большую свободу Гончарову как писателю, позволял вводить в текст черты, сближающие его с более крупными публицистическими формами своего времени: физиологическим очерком, фельетоном. Так, развернутая сцена «вступления в свет новичка», предвещающая стандартный для библиографической заметки зачин («Эту задачу взялся решить г-н Соколов в своей книжечке...» — наст. том, с. 496), близка по исполнению к повествовательной манере городского фельетона («Хроника петербургского жителя», «Петербургские дачи и окрестности» Некрасова (*Некрасов, 1981. Т. XVII, кн. 1. С. 29—74; 87—116*), «Петербургская летопись» Достоевского (*Достоевский. Т. XVIII. С. 11—34*)), а образ «благомыслящего человека», созданный здесь Гончаровым, вполне мог стать центральной фигурой физиологического очерка.

Проблема «так называемой светскости» («*savoir vivre*», «*comme il faut*») волновала не одного Гончарова. Она разрабатывалась не только публицистикой или литературой «второго ряда» (такой как «великосветские романы» Е. П. Ростопчиной, В. А. Соллогуба, И. И. Панаева), но интересовала также Пушкина, Л. Толстого, Бальзака. Фельетон Гончарова интегрирован, таким образом, в широчайшую литературную традицию, являясь откликом на актуальную для сознания XIX в. тему.

С. 494. *...что яйцо так легко ставилось на гладком месте.* — Гончаров обыгрывает известный анекдот испанского происхождения о тщетных усилиях установить яйцо вертикально на плоском месте. Задача, оказавшаяся непосильной для мудрецов, была решена неким простаком: отбив кончик яйца, он поставил его на стол. Позже европейская традиция делала героем ситуации различных исторических лиц — Хр. Колумба, Ф. Брунелески.

С. 495. *...как городничий в «Ревизоре» говорит, хоть святых вон понеси...* — Имеется в виду следующая фраза городничего в «Ревизоре» Н. В. Гоголя: «Таков уже неизъяснимый закон судеб: умный человек или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси» (д. I, явл. 1).

С. 495. *...дамоклесов меч...* — Выражение связано с историей о сиракузском тиране Дионисии Старшем (кон. 5—сер. 4 в. до н. э.) и Дамокле, рассказанной Цицероном в «Тускуланских беседах» (кн. V): «Дамокл разглагольствовал о царском богатстве, могуществе, величии, изобилии, роскоши дворцов и утверждал, что блаженнее Дионисия никого нет на свете. „Хочешь, Дамокл, — спросил тот, — если тебе нравится такая жизнь, изведать ее самому и испытать, как я живу?“ Тот согласился; Дионисий уложил его на золотое ложе, застланное роскош-

ным и богато расшитым ковром. (...) Дамоклу казалось, что он наверху блаженства. Среди всей этой пышности тиран приказал повесить к потолку на конском волосе блестящий меч, чтобы он пришелся над самой головой блаженствующего. Увидев это, Дамокл (...) стал умолять Дионисия отпустить его: больше уж блаженства ему не надо. Разве не достаточно ясно показал этим Дионисий, что нет блаженства для того, над кем вечно нависает страх» (*Цицерон Марк Туллий*. Избр. соч. М., 1975. С. 341).

С. 495. ...там человек женирован... — Женирован (от фр. gêner) — обеспокоен, стеснен.

С. 497. ...венецианского совета десяти... — Совет десяти был учрежден при Большом совете в 1310 г. как орган тайной полиции для раскрытия и подавления государственных заговоров. В XVI в. при Совете десяти была создана Коллегия государственных инквизиторов (трибунал), совмещавшая в себе функции тайной и духовной полиции и не подчинявшаяся правительству. Вплоть до XIX в. отличалась особенно непреклонным преследованием всякого вольнодумства (см., например: *Казанова Дж.* История моей жизни. М., 1990. С. 237—241).

С. 497. ...он Катон, друг правды... — Речь идет о Марке Катоне Старшем (234—149 до н. э.) — римском политическом деятеле, писателе (из многочисленных и разнообразных сочинений его до нас дошел только трактат «О земледелии», по-видимому искаженный), блестящем ораторе, консуле (195 до н. э.). «Через десять лет после своего консульства Катон решил домогаться цензорства. Это вершина всех почетных должностей (...) помимо всего прочего цензору принадлежит надзор за частной жизнью и нравами граждан» (*Плутарх*. Сравнительные жизнеописания: В 3 т. М., 1961. Т. 1. С. 441). Несмотря на предельную требовательность, граничащую подчас с жестокостью, Катон-цензор снискал уважение в народе. Имя его еще при жизни стало символом справедливости и неподкупности.

С. 498. Слова «разбой! пожар!» Грибоедов подслушал... — Имеются в виду слова из монолога Чацкого в «Горе от ума»: «А судьи кто?..» (д. II, явл. 5).

С. 498. ...вместе с сердоликовыми печатками, гороховыми шинелями со множеством воротничков и т. п. ... — Все перечисленные вещи окончательно вышли из моды к середине XIX в. Сердоликовая печатка (перстень с резным камнем) — модное украшение времен Наполеоновской империи. Гороховая (серо- или грязно-желтая) шинель со множеством воротничков, или каррик, — верхняя мужская одежда, создание которой приписывают английскому актеру Д. Гаррику (1717—1779) и которая просуществовала до 40-х гг. XIX в., уступив место пальто. Отличительной чертой каррика было наличие нескольких воротничков, нижние из которых закрывали плечи, наподобие пелеринок. Возможен еще один оттенок смысла: «Выражение „гороховая шинель” восходит к „Истории села Горюхина” (1837) Пушкина, где упомянут сочинитель Б. „в гороховой шинели”, т. е. Ф. Булгарин, связанный с Третьим отделением. Знак принадлежности к тайному сыску, охранному отделению» (*Ашукин Н. С., Ашукина М. Г.* Крылатые слова. М., 1960. С. 134).

С. 498. ...le style c'est l'homme. — Изречение «Стиль — это человек» (полностью: «Le style c'est l'homme même») принадлежит французскому естествоиспытателю Ж. Бюффону (1707—1788); употреблено им в речи «Рассуждение о стиле», произнесенной 25 августа 1753 г. при избрании в члены Французской академии.

Автограф неизвестен.

Впервые опубликовано: С. 1847. № 8. Отд. IV. С. 104—108, без подписи (ценз. разр. — 31 июля 1847 г.).

В собрание сочинений впервые включено: 1952. Т. VIII.

Печатается по тексту первой публикации, единственному источнику текста.

Авторство Гончарова было раскрыто при публикации текста некролога в статье: *Майков Л. Н.* Материалы для биографии Вал. Ник. Майкова // Пантеон литературы. 1890. Ноябрь.—дек. С. III—VIII (перепечатано в подготовленном А. Н. и Л. Н. Майковыми издании: *Майков В.* Критические опыты (1845—1847). СПб., 1891. С. III—VIII; указание об авторстве Гончарова содержалось уже в издании «Критических опытов» 1889 г. (с. 3)).

Валериан Николаевич Майков (1823—1847) — второй сын в семье Н. А. и Евг. П. Майковых, ярко одаренный публицист и литературный критик, которому современники прочили судьбу преемника В. Г. Белинского (после ухода Белинского из «Отечественных записок» в 1846 г. Тургенев — по просьбе Гончарова — рекомендовал на его место Майкова). Гончаров был домашним учителем Майкова (в 1835—1838 гг., до поступления последнего в университет, — см. выше, с. 612—613); позднее оставался его другом и единомышленником.¹ Вероятно, одним из первых он оценил и литературно-критическое дарование своего ученика. Во всяком случае именно замечания Майкова были учтены писателем на раннем этапе работы над «Обыкновенной историей» (см. выше, с. 714).

Трагическое событие 15 июля 1847 г. — Майков утонул во время купания — описано Гончаровым в письме к А. П. и Ю. Д. Ефремовым от 22 июля (3 августа) того же года. Обращаясь главным образом к Ю. Д. Ефремовой, двоюродной сестре Валериана, воспитывавшейся в семье Майковых, он писал: «Представьте: самый добрый, самый умный, самый лучший из нас... не знаю, как и сказать Вам. Уж лучше расскажу по порядку, как все случилось, тем более что никто из Майковых не в силах описывать подробности постигшего их несчастья: все возложено на меня».

Далее Гончаров обстоятельнейшим образом рассказывает о событиях 15 июля, заключая письмо описанием похорон, состоявшихся 18 июля в Ропше. «Вот Вам все подробности, — признается он. — Я не хотел пропустить ни одной и насилывал, так сказать, свою память, потому что сердце мешает припоминать, на глаза вяжутся опять слезы, которые всячески стараюсь скрыть. (...) Я знаю, как дороги для Вас эти подробности, и потому совершил, скрепя сердце, подвиг: описывая всё это, я как будто вторично присутствую на этих похоронах. Не правда ли, всё это кажется каким-то душливым, несбыточным сном, от которого хочется освободиться? и нет пробуждения!». В постскрипуме Гончаров добавляет: «В тот самый день, когда, помните, мы ездили на острова, Валериан, по возвращении нашем домой, говорил шутя, что если я умру, то он будет писать мой некролог и начнет так: Гончаров поздно понял

¹ Об идейной близости Гончарова и Вал. Майкова см.: *Пиксанов. Белинский в борьбе за Гончарова.* С. 64—66; *Деркач.* С. 28—38; *Сахаров.* С. 122, 125—126, 129—130.

свое назначение и т. д. Судьба распорядилась так, что мне достается писать о нем в „Современнике“: что сказать об этом?».

Некролог Майкова — первый из написанных Гончаровым некрологов (см. также «Н. А. Майков» (1873), «Е. Е. Барышев» (1881)). Все они близки по жанру мемуарным очеркам. Избегая какой бы то ни было официальности, итоговых оценок и обобщений, Гончаров воссоздавал прежде всего подробности поведения, характера, быта людей, которых близко знал. Так, в комментируемом некрологе нет изложения общественно-политических, философских или же эстетических идей Майкова, нет и развернутой оценки его литературно-критической деятельности; внимание автора сосредоточено на его человеческих качествах, своеобразии таланта. Перечисляя публикации Майкова в «Финском вестнике», «Отечественных записках», «Современнике», Гончаров не выделяет его главных критических статей, но упоминает их наряду с мелкими рецензиями, стремясь продемонстрировать широту интересов, «много-стороннее образование», почти энциклопедические познания молодого критика в истории, географии, земледелии, военном деле, статистике, торговле, т. е. вопросах, далеких от литературы.

Некролог со всей очевидностью демонстрирует и собственные пристрастия Гончарова: Почти идеальной представлена им система воспитания — «разумного, свободного, чуждо застарелых, педагогических форм» (наст. том, с. 502), полученного Майковым «в своем домашнем кругу». Несомненно импонирует автору некролога и тот тип теоретического знания, лишенного «всякого внешнего признака учености», воплощением которого и служит в его глазах Майков.

Одновременно с некрологом Гончарова были опубликованы некрологи, написанные А. У. Порецким (ОЗ. 1847. № 8) и А. Н. Плещеевым (Рус. инвалид. 1847. № 181).

С. 502. *...начать наш русский фельетон...* — Под фельетоном подразумевались хроника, заметки о текущих событиях, критика и библиография (см. об этом жанре выше, с. 785—786). Рубрика «Современные заметки» в отделе «Смесь» «Современника» (в которой и был помещен гончаровский некролог) обычно делилась на две части: первая была посвящена русской, главным образом, петербургской жизни, вторая — западноевропейской. Авторами анонимных фельетонов в «Современных заметках» в 1847 г. были Белинский, Тургенев, Некрасов, Панаев, Р. Р. Штрэндман, Н. А. Мельгунов и др.

С. 502. *...отправился на несколько дней в деревню к знакомым...* — В указанном выше издании «Критических опытов» В. Н. Майкова (С. IV) имеется примечание: «В Сельцо Новое, Петергофского уезда, принадлежавшее Н. Н. Оржицкому». Отставной прапорщик Николай Николаевич Оржицкий (Оржинский, Оржитский; 1796—1861), участник декабрьского восстания, жил с 1832 г. без права въезда в столицу в деревне близ Петергофа в 40 верстах от Ораниенбаума; см.: Алфавит декабристов / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Л., 1925. С. 142, 368—369 (Восстание декабристов: Материалы; Т. 8). С семьей Оржицкого — его женой Софьей Федоровной (урожд. Крюковской), тремя сыновьями и четырьмя дочерьми, Майковы, обычно проводившие лето под Ораниенбаумом (см.: Мельгунов Б. В. Майковы в Ораниенбауме // Балтийский луч. 1984. 27 нояб.), могли быть знакомы по даче.

С. 502. *...В. Майков перешел уже к строгому и методическому учению в Петербургском университете ~ выпущен кандидатом.* — Майков учился на юридическом факультете Петербургского университета в 1838—1842 гг. и окончил его 7-м кандидатом из 19-ти по списку (см.:

Григорьев В. В. Императорский С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. Прил. V. С. LXXIX). О степени кандидата см. выше, с. 762, примеч. к с. 219.

С. 502. ...вступил в службу по Министерству государственных имуществ... — Т. е. в Департамент сельского хозяйства указанного министерства.

С. 502. ...выйти в отставку ~ за границу. — С июня по декабрь 1843 г. Майков находился в Германии, Италии и Франции, где посещал (вместе с братом Аполлоном) лекции в Сорбонне и Коллеж де Франс, работал в библиотеках.

С. 503. Известные публике из двух журналов опыты его в этом роде... — Имеются в виду «Финский вестник» и «Отечественные записки» (см. ниже).

С. 504. ...написанную им одну из первых статей «Общественные науки в России». ~ в «Финском вестнике», в первом году его существования. — Оставшаяся неоконченной статья «Общественные науки в России» была опубликована в № 1 «Финского вестника» за 1845 г. (там же помещена рецензия Майкова «Сочинения князя В. Ф. Одоевского»). «Финский вестник» — «учено-литературный журнал», издававшийся в Петербурге в 1845—1847 гг. Ф. К. Дершау и редактировавшийся в 1845 г. В. Н. Майковым; с 1848 г. был преобразован в «Северное обозрение».

С. 504. После того Майков прекратил свое участие в этом журнале... — Майков покинул «Финский вестник» из-за разногласий с Дершау по выходе № 2 журнала, в котором была опубликована его рецензия «Разговор. Стихотворение Ив. Тургенева». О сотрудничестве Майкова в «Финском вестнике» см.: Касович С. М. В. Г. Белинский и В. Н. Майков в журнале «Финский вестник» в 1845 году // Научный ежегодник Саратовского ун-та за 1955 г. 1958. Филол. фак. Отд. 3. С. 65—69.

С. 504. Вот перечень главнейших его статей, помещенных в «Отечественных записках» 1846 и 1847 годов. — Ниже Гончаров приводит далеко не полный перечень критических статей и рецензий Майкова. Библиографию его работ (120 наименований) см. в издании: Майков В. Критические опыты (1845—1847). С. 737—743.

С. 504. ...«Стихотворения Кольцова» (две статьи)... — Опубликованная в «Отечественных записках» (1846. № 11, 12) программная статья Майкова содержала основные положения его эстетической теории и ряд полемических выпадов против Белинского — обвинение его в недостатке доказательности и диктаторстве. Статья стала причиной конфликта между Майковым и Белинским, в разрешении которого Гончаров принимал непосредственное участие. Сохранилось большое письмо Майкова к Тургеневу (предположительно от середины ноября 1846 г. — ИРЛИ, № 17444), в котором он писал: «Гончаров сообщил мне, что статья моя о Кольцове произвела странное впечатление на наших общих знакомых по причине отзыва моего о критике В. Г. Белинского. Говорят (...) что поведение мое кажется вам так скандально, что вы не решаетесь и говорить со мною о казусном пункте». (Майков В. Критические опыты (1845—1847). С. XXXVIII, а также XXXVIII—XL; см., кроме того: Морозова О. М. К вопросу о полемике двух критиков: (В. Белинского и В. Майкова) // Учен. зап. Моск. пед. ин-та. 1970. № 389. С. 219—225; Сорокин Ю. С. Примечания // Майков В. Н. Литературная критика. Л., 1985. С. 356—357).

С. 504. ...«Краткое начертание истории русской литературы»... — Имеется в виду рецензия «Краткое начертание истории русской литературы, составленное В. Аскоченским. Киев, 1846» (ОЗ. 1846. № 9. Отд. V. С. 1—24).

С. 504. ...«*Романы Вальтер-Скотта*» — Полное название статьи — «Романы Вальтера Скотта (...)». СПб., 1845—1846; Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Соч. М. Загоскина. Москва, 1846» (ОЗ. 1847. № 4. Отд. V. С. 47—74).

С. 504. ...«*Беседа русского купца о торговле*» (две статьи)... — Речь идет о рецензиях «Беседы русского купца о торговле. Практический курс коммерческих знаний, излагаемый (...) купцом Иваном Вавиловым. Часть 1-я. СПб., 1846» (ОЗ. 1846. № 6. Отд. VI. С. 19—24) и «Беседы русского купца о торговле (...)». Часть 2-я. СПб., 1846» (ОЗ. 1846. № 8. Отд. VI. С. 111—112).

С. 504. «*Мысли о существе и значении чиновнического быта*»... — Подразумевается рецензия «Мысли о существе и значении чиновнического быта. Соч. Эрнста Рейнталя. (...) Дерпт, 1846» (ОЗ. 1846. № 5. Отд. VI. С. 26—33).

С. 504. ...«*Руководство к всеобщей истории, соч. Лоренца*»... — Название рецензии — «Руководство к всеобщей истории. Соч. доктора Фридриха Лоренца. СПб., 1846» (ОЗ. 1846. № 6. Отд. VI. С. 72—80).

С. 504. ...«*Петербургские вершины, описанные Я. Бутковым*»... — Гончаров говорит о рецензии «Петербургские вершины, описанные Я. Бутковым. Книга вторая. СПб., 1846» (ОЗ. 1846. № 7. Отд. VI. С. 1—13).

С. 504. ...«*Критические исследования о значении военной географии и военной статистики*»... — Речь идет о рецензии «Критическое исследование значения военной географии и военной статистики Д. Милютин. (...) СПб., 1846» (ОЗ. 1846. № 7. Отд. VI. С. 41—50).

С. 504. ...«*О земледелии в политико-экономическом отношении*»... — Имеется в виду рецензия «О земледелии в политико-экономическом отношении. Соч. экстраординарного профессора Санкт-Петербургского университета Порошина. СПб., 1846» (ОЗ. 1846. № 9. Отд. VI. С. 11—19).

С. 504. ...«*Об источниках и употреблении статистических сведений*»... — Гончаров называет рецензию «Об источниках и употреблении статистических сведений. Соч. Д. П. Журавского. Киев, 1846» (ОЗ. 1846. № 10. Отд. VI. С. 56—64).

С. 504. ...«*Постепенные упражнения в сочинении г-на Чистякова*»... — Подразумевается рецензия «Практическое руководство к постепенному упражнению в сочинении. М. Чистякова. СПб., 1847» (ОЗ. 1847. № 7. Отд. VI. С. 43—49).

С. 504. ...разбор комедии г-на Меншикова «*Шутка*»... — Название рецензии — «Шутка. История в роде комедии. П. Н. Меншикова. СПб., 1847» (С. 1847. № 6. Отд. III. С. 89—98). Автор «Шутки» ошибочно назван Гончаровым Мельниковым.

С. 504. ...разбор «*Путешествия в Черногорию*»... — Речь идет о рецензии «Путешествие в Черногорию. Сочинение Александра Попова. СПб., 1847» (С. 1847. № 6. Отд. III. С. 98—103).

С. 504. ...большая часть статьи о «*Справочном энциклопедическом словаре*». — Статья носила название «Справочный энциклопедический словарь. Издание К. Крайя. Т. 1. СПб., 1847» (С. 1847. № 7. Отд. III. С. 1—16). Майкову принадлежала первая половина статьи.

С. 504. ...излишняя плодovitость ~ о чем и было уже однажды замечено в нашем журнале по поводу его статей... — По мнению А. Н. и Л. Н. Майковых, «оговорка эта, вставленная в статью И. А. Гончарова, очевидно, редакцией „Современника“, указывает на замечания о статьях В. Майкова, сделанные в этом журнале (...) за три месяца до помещения в нем некролога» (Майков В. Критические опыты (1845—1847). С. VI). В «Со-

временных заметках» (С. 1847. № 5), автором которых был Белинский, прозвучала резкая критика статьи Майкова о В. Скотте и «Юрии Милославском» Загоскина и рецензии на учебник по истории русской словесности В. И. Аскоченского. Не называя автора, Белинский упрекал его за «враждебный и презрительный тон» при разборе романа Загоскина, за односторонность его чисто «эстетических», лишенных историзма критериев. «Всему виновата, — писал он, — молодость критика, которую так и отзываются все статьи его. Выходит в свет какая-то реторика, или история русской литературы, или что-то в этом роде, — и наш юный критик пишет об этой книге большую статью, тогда как она не стоила и простого упоминования в порядочном журнале. (...) Вообще критик наш неумолим к прошедшему и никак не может простить ему, что оно предшествовало настоящему. (...) Можно говорить обо всем, об ином даже с увлечением и жаром, но ни на что в прошедшем сердиться не следует...» (Белинский. Т. VIII. С. 582).

С. 506. *На этих похоронах не было ни одного праздного наблюдателя ~ ни даже равнодушного свидетеля.* — Гончаров почти дословно повторяет строку из цитированного выше письма к А. П. и Ю. Д. Ефремовым (ср.: «На этих похоронах не было ни одного праздного наблюдателя, ни одного любопытного ротозея, ни даже равнодушного свидетеля»).

С. 506. *Было несколько литераторов ~ семья родных и друзей.* — В том же письме к Ефремовым названы присутствовавшие на похоронах Майкова друзья и родственники, а из литераторов — Некрасов, Панаев, Языков, Дудышкин, Солоницын и «два Штрандмана».

С. 506. *И пусть угробового входа ~ Красою вечною сиять!.* — Цитата из стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

ПРИЛОЖЕНИЯ

«ХОРОШО ИЛИ ДУРНО ЖИТЬ НА СВЕТЕ?»

(С. 507)

Автограф (ИРЛИ, ф. 166, № 1367 (а)) — с заглавием: «Хорошо или дурно жить на свете» и подзаголовком: «Философско-эстетический этюд», написанными на обложке неизвестной рукой.

Впервые опубликовано: за границей — *Ляцкий. Роман и жизнь*. С. 119—127 (с неточностями); в России — *Цейтлин*. С. 445—449 (также с неточностями и с ошибочным указанием собрания, в котором находится автограф, — собр. А. Ф. Кони вместо собр. Л. Н. Майкова).

В собрание сочинений включается впервые.

Печатается по автографу.

Датируется периодом не ранее последних чисел августа 1841 г., когда вышел из печати т. IX посмертного издания «Сочинений» А. С. Пушкина (см.: Пушкин в печати за сто лет: (1837—1937) / Сост. К. П. Богаевская; Под ред. М. А. Цявловского. М., 1938. С. 26), в котором впервые были опубликованы цитируемые Гончаровым «Стихи, написанные ночью во время бессонницы» (см. ниже, с. 807, примеч. к с. 507), — первой половиной 1842 г. Очерк мог быть создан и в 1842 г. до наступления каникулярного времени в Екатерининском институте (каникулы продолжались с 23 июня до 1 августа — см.: Воспоминания воспитанницы XVIII выпуска Софии Червиной, по замужеству Родзянко, от декабря 1847 по конец февраля 1853 г. СПб., 1898.

С. 2),¹ во всяком случае не позднее 19 августа, когда упоминаемые в тексте среди постоянных посетителей Екатерининского института Николай Аполлонович и Аполлон Майковы уехали в Италию (дата их отъезда уточнена по неопубликованному «Дневнику» А. Н. Майкова («Порядок путешествия беспорядочных путешественников») — *ИРЛИ*, № 17305, л. 2; другая дата отъезда — 29 июня 1842 г. — указана в изд.: *Златковский М. Л.* Аполлон Николаевич Майков. 1821—1897: Биограф. очерк. 2-е изд., значит. доп. СПб., 1898. С. 21; *Языков Д. Д.* Жизнь и труды А. Н. Майкова: Материалы для истории его литературной деятельности. М., 1898. С. 28; *Баевский В. С.* А. Н. Майков // *Русские писатели. 1800—1917: Биограф. словарь.* М., 1994. Т. 3. С. 454).

Поводом для написания «этюда», судя по его содержанию, послужило «посвящение» в «тесный кружок» участников «пятниц» в Екатерининском институте (Женский педагогический институт ордена св. Екатерины; основан в 1798 г.) Владимира Андреевича и Владимира Аполлоновича Солоницыных; оба они легко угадываются за иносказаниями Гончарова (см.: наст. том, с. 510—511). Однако установить точную дату «посвящения» не представляется возможным.²

В начале 1840-х гг., а возможно и ранее, Гончаров вместе со старшими и младшими Майковыми, дядей и племянником Солоницыными и другими участниками майковского кружка регулярно посещал «пятницы» в Екатерининском институте. Старшей классной дамой при пениньерках³ с октября 1839 г. в институте состояла Наталья Александровна Майкова,⁴ по воспоминаниям А. В. Старчевского, «дама превосходно образованная и воспитанная, одаренная внешними прекрасными качествами и остроумием» (*ИВ*. 1886. № 2. С. 376). В гончаровском «этюде» она предстает «стройно-величавой женой».

С посещениями Екатерининского института помимо «(Хорошо или дурно жить на свете?)» непосредственно связан и написанный Гончаровым в декабре 1842 г. и также изображающий не без шутливой иронии институтский быт и нравы очерк «Пепиньерка» (см. выше).

Любопытные сведения о «пятницах» в институте, о любви и ревности, о «буре сердец», которой вместе со всеми был захвачен и Гончаров, содержат письма Майковых и их ближайших друзей 1842—1843 гг., адресованные Николаю Аполлоновичу и Аполлону во Францию и Италию. Институт называется в них «раем», «жилищем ангелов», «островами блаженных», «империей цветов», пепиньерки — «ангелами»,

¹ Мемуаристки единодушно отмечают, что учебная и бытовая обстановка в Екатерининском институте сохранялась вплоть до мелочей на протяжении десятилетий; поэтому при комментировании институтских реалий используются мемуарные свидетельства разного времени без соответствующих оговорок.

² О ритуале посвящения см. в письме К. Ап. Майкова Ап. Майкову от 22 августа 1842 г. — *ИРЛИ*, № 17374, л. 2 об. (упоминается произошедшее накануне в пятницу «торжественное вступление» в институтское сообщество С. С. Дудышкина).

³ О пепиньерках см. ниже, с. 811.

⁴ См.: Список слушателей, преподавателей и учениц Екатерининского института за 1842 год (*РГИА*, ф. 759, оп. 94, № 213, л. 3). О Н. А. Майковой см. также выше, с. 615.

посетители института мужчины — «блаженными», т. е. так или почти так, как они названы в обоих публикуемых очерках Гончарова.¹

Гончаровский «этиюд» имеет несомненную документальную ценность, поскольку за аллегорическими персонажами-масками легко угадываются реальные лица, характер их взаимоотношений, общая атмосфера «кипящей» в кружке Майковых жизни, которая будет любовно воссоздана писателем значительно позднее — в некрологе Н. А. Майкова (1873). Особое значение имеют реалии, связанные с В. Андр. Солоницыным, биографические сведения о котором крайне скудны. Его образ, вырисовывающийся из писем и немногих мемуарных свидетельств, в гончаровском «этиюде» дополняется рядом выразительных черт (к примеру, свидетельством о его «эпикуреизме» — см.: наст. том, с. 510), соотносимых с образом Петра Ивановича Адуева, чьим прототипом Солоницындыя справедливо считается (см.: *Гончаров в воспоминаниях*. С. 55). Не менее выразительна в «(Хорошо или дурно жить на свете?)» и автохарактеристика Гончарова.

Гончаровский «этиюд» — вольная стилизация, построенная, как и его ранние повести, на игре разнообразнейшими стилевыми приемами, на столкновении демонстративных «поэтизмов» и не менее демонстративных «прозаизмов» (чисто разговорные обороты, канцеляризм, грубоватые каламбуры). Здесь иронически обыгрываются характерные для сентименталистов и романтиков оппозиции идеала — существенности, поэзии — прозы, сердца — ума, трафаретная поэтическая фразеология 1820—1830-х гг., в текст умело вплетаются многочисленные для небольшого произведения цитаты и реминисценции из Жуковского, Крылова, Грибоедова, Пушкина. Все это говорит об известной «выработанности» литературного почерка автора, приметам которого и в дальнейшем будут обильная цитатность, разнообразные приемы стилизации, жанрового и стилового пародирования.

Шутливый «философско-эстетический этиюд» теснейшим образом связан с произведениями зрелого Гончарова; в нем, как отметил Е. А. Ляцкий, «намечаются зародыши тех дуалистических представлений о „материальном” и „идеальном” и тех образов, характеризующих душевные движения и состояния, которые впоследствии разовьются и станут типичными выразителями гончаровской мысли. На первом плане, конечно, предпочтение, оказываемое Гончаровым эстетической половине жизни перед другой — скучно деловой; затем идут другие, часто повторяемые впоследствии выражения — игра ума и чувств, бури души, освежающие тяготу вялого существования, музыка сфер — все это разобьется потом на производные образы и замелькает в стиле Гончарова — в описательных сценах, как и в речах героев» (*Ляцкий. Роман и жизнь*. С. 118—119).

Показательно позднейшее автоцитирование, говорящее об устойчивости системы образно-поэтических средств писателя. Так, цепь вопросов, открывающая описание «пространной залы» в институте («Где мы? Что за славное такое место? тепло, светло, отраднo» — наст. том, с. 509), отчасти повторится в опубликованном в 1849 г. «Сне Обломова» («Где

¹ «Острова блаженных», или Элизиум, Елисейские поля (место пребывания душ праведников), — образ, восходящий к классическим произведениям античности (упоминается в «Одиссее» Гомера (песнь IV), «Энеиде» Вергилия (песнь VI), «Трудах и днях» Гесиода и др.) и определяющий в обоих «институтских» очерках Гончарова ряд важнейших как поэтических, так и пародийно-иронических мотивов (см. ниже).

мы? В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова? Что за чудный край!»). Образ спящего царства, один из ключевых в творчестве писателя, вновь возникнет во «Фрегате „Паллада”», «Обломове», «Обрыве», где, однако, будет соотнесен с фольклорным, а не с литературным источником, как в раннем «этюде» (см. ниже, примеч. к с. 508). В спящем царстве (женском, что также симптоматично) происходит спасительное пробуждение героев гончаровского этюда от «обморока», «томительного сна» деятельной, «скудно-полезной» жизни. Парадоксальность, объясняемая здесь игровым контекстом, сохраняется и в романах Гончарова — в загадочной двойственности каждого из членов оппозиции «сон—бодрствование». Рассуждения об «идеальных радостях» и «презренной пользе» нашли отражение в диалогах Александра и Петра Адуевых в «Обыкновенной истории» (часть вторая, гл. II), Обломова и Штольца в «Обломове» (часть вторая, гл. IV). Идеей несовместимости «двух различных половин жизни», практической и идеальной, определяется тип сознания гончаровских героев-романтиков — Адуева, Обломова, Райского.

С. 507. *...обязан принести, для общей пользы, каплю своего меда...* — Реминисценция басни И. А. Крылова «Орел и Пчела» (1812). Та же басенная аналогия возникает в «Обыкновенной истории» (см. выше, с. 775, примеч. к с. 340).

С. 507. *...мышью беготни...* — Заимствование из пушкинских «Стихов, написанных ночью во время бессонницы» (1830), опубликованных впервые в посмертном издании его «Сочинений» под названием «Ночью, во время бессонницы» (Пушкин А. С. Соч. СПб., 1841. Т. IX. С. 163). У Пушкина: «...жизни мышья беготня... / Что тревожишь ты меня?». Тот же образ используется во «Фрегате „Паллада”» (том второй, гл. I) и в «Обрыве» (часть четвертая, гл. IV).

С. 508. *...то здание строгого стиля с колоннадою...* — Здание Екатерининского института (Фонтанка, 36), построенное в 1804—1807 гг. архитектором Д. Кваренги в классическом стиле (ныне в нем размещается ряд отделов Российской Национальной библиотеки).

С. 508. *...с одной стороны спесиво и широко раскинулись чертоги нового Лукулла...* — Рядом с Екатерининским институтом расположен принадлежавший графам Шереметевым дворец усадебного типа («Фонтанный дом»), построенный в 1720—1840-х гг. неизвестным архитектором и перестроенный в 1750—1755 гг. С. И. Чевакинским при участии Ф. С. Аргунова (Фонтанка, 34). О Лукулле см. выше, с. 796, примеч. к с. 490. Упомянув под именем Лукулла гр. Н. Д. Шереметева, Гончаров мог иметь в виду пушкинскую сатиру «На выздоровление Лукулла. (Подражание латинскому)» (1835).

С. 508. *Вавилонский столп* — башня «высотою до небес», воздвигнутая людьми в претензии на мировую власть; божественной карой явилось смешение языков строителей (Быт. 11: 1—9).

С. 508. *...мимо несется с шумом и грохотом гордость и пышность ~ у порога его кипит шум Содомы и Гоморры.* — Имеется в виду Невский проспект. Содом и Гоморра, по ветхозаветному преданию (Быт. 19), два города, уничтоженные божественным огнем; символ крайней степени греховности. Написание «Гоморр» употреблялось в первой половине XIX в.

С. 508. *...«Горе, горе тебе, новый Вавилон!»* — Парафраза стиха Апокалипсиса (ср.: «...горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий!» — Откр. 18:10).

С. 508. *...как будто мы попали в очарованный замок ~ как сторожевая дева Громобоева замка, свершающая свой печальный черед в ожидании*

Вадима? — Образ очарованного замка восходит к балладному диптиху В. А. Жуковского «Двенадцать спящих дев» (ч. 1 «Громобой» (1810), ч. 2 «Вадим» (1814—1817)). Гончаров, несомненно, подразумевает и пародирование этой баллады в песни четвертой «Руслана и Людмилы» (1817—1820) — посещение Ратмиром «терема отрадного».

С. 509. *А что за воздух! как сладко дышать им! ~ Где мы? Что за славное такое место? тепло, светло, отраднo;* см. также с. 512: *...за этими ближайшими светилми ~ рой тех звездочек...* — Мотивы, восходящие, возможно, к описанию «островов блаженных» в «Энеиде» Вергилия (песнь VI, стихи 638—641); ср.: «...Достигают они до отрадных мест и лужаек, / Среди счастливых лесов, и до жилища блаженных. / Здесь просторней эфир, и светом поля облекает / Пурпурным он, и свое у них солнце и звезды свои же» (Энеида Вергилия / Пер. А. Фета. 2-е изд. СПб., [1901]. Ч. 1. С. 218).

С. 509. *...доносятся до слуха тихие, гармонические звуки? ~ хвалебный гимн Богу.* — Как вспоминала одна из выпускниц, «пели превосходно, я нигде не слыхала такого стройного, задушевного пения, как в институте...» (Стерлигова А. В. Воспоминания о С.-Петербургском Екатерининском институте: 1850—1856. М., 1898. С. 31).

С. 509. *...вступаем в просторную залу.* — Декорированная колоннами двусветная зала располагалась в левом флигеле здания (пристроенном, как и правый флигель, в 1823—1825 гг. архитектором Д. И. Квадри). «Зала была огромная, — вспоминала одна из выпускниц института, — при входе из физической комнаты, с левой стороны, стоял огромный портрет Екатерины II над двумя ступеньками. (...) На белых колоннах были прибиты овальные синие доски, на которых золотыми буквами красовались по выпуску фамилии девиц, получивших шифр...» (Стерлигова А. В. Воспоминания о С.-Петербургском Екатерининском институте: 1850—1856. С. 28).

С. 509. *Здесь встречает нас стройная жена ~ Величаво-стройная жена...* — Имеется в виду Наталья Александровна Майкова. Гончаров, по-видимому, обыгрывает образ из стихотворения «В начале жизни школу помню я...» (1830); ср. у Пушкина: «Смиренная, одетая убого, / Но видом величавая жена / Над школою надзор хранила строго».

С. 509. *Здесь ум ~ слагает с себя суровые свои доспехи, рядится в цветы, режется, шалит...* — Возможная отсылка к указанному выше (см. примеч. к с. 508) мотиву «Руслана и Людмилы». Ср. у Пушкина:

В чертоги входит хан молодой,
За ним отшельниц милых рой;
Одна снимает шлем крылатый,
Другая кованые латы,
Та меч берет, та пыльный щит;
Одежда неги заменит
Железные доспехи брани.

С. 509. *...заботами о презренной пользе.* — См. выше, с. 765—766, примеч. к с. 241.

С. 509. *...о войне англичан с китайцами...* — Подразумевается англо-китайская война 1839—1842 гг. (первая «опиумная»).

С. 509. *...об египетском паше...* — Речь идет о правителе Египта с 1805 по 1848 г. Мехмете (Мухаммеде)-Али (1769—1849). Здесь, как и при упоминании войны англичан с китайцами, Гончаров имеет в виду самые свежие политические события: в 1839—1841 гг. Мехмет-Али вел войну против турецкого султана. Упоминание о египетском паше встречается

также в черновиках и основном тексте «Обломова», символизируя, как и в данном случае, суетность и пустоту политических интересов.

С. 509. ...о том, о сем, часто и ни о чем... — Перефразировка слов Фамусова в «Горе от ума» (д. II, явл. 5): «А придерутся / К тому, к сему, а чаще ни к чему / Поспорят, пошумят, и... разойдутся».

С. 509. Сюда приносит иногда нежные плоды своего ума и пера и другое светило ~ также прекрасном мире. — Имеется в виду Евг. П. Майкова, автор многочисленных, предначавших для семейно-дружеского кружка и рукописных журналов стихотворных и прозаических произведений (о них см. выше, с. 617).

С. 509. Достойный спутник ее ~ высокое художество... — Т. е. Николай Аполлонович Майков, художник, академик живописи.

С. 509—510. Верховный жрец Аполлонова храма в России... — Вероятно, В. Г. Бенедиктов, близкий друг Майковых; его стихи в конце 1830-х гг. имели сенсационный успех, отсюда и признание Гончаровым его первенства среди поэтов-современников. Свое отношение к поэзии Бенедиктова Гончаров высказал во «Фрегате „Паллада“» (том первый, гл. III) и «Заметках о личности Белинского» (1873—1874).

С. 510. Другой юный пророк ~ о небе Эллады и Рима... — Имеется в виду Аполлон Майков, известный к началу 1840-х гг. прежде всего как автор стихотворений в «антологическом роде».

С. 510. ...Иллиса и Тибра... — Иллис (Иллис) — река в Аттике, протекавшая южнее древних Афин; Тибр — река в центральной Италии, в низовьях которой расположен Рим.

С. 510. Здесь есть и 20-летние мудрецы... — Вероятно, это посещавшие институт Вал. Н. Майков (род. 1823), его сокурсник Я. А. Шеткин (род. 1817), сокурсник Ап. Н. Майкова С. С. Дудышкин (род. 1821).

С. 510. ...гасят свой фонарь... — Намек на известную легенду из жизни Диогена, рассказывающую о том, как он ходил днем по улицам с фонарем, отвечая на вопросы встречаемых: «Ищу человека». Легенда упоминается во «Фрегате „Паллада“» (том второй, гл. IV), а также в «Обрыве» (ср. признание Райского: «Диоген искал с фонарем „человека“ — я ищу женщины: вот ключ к моим поискам!» — часть четвертая, гл. XIII). Ср. также письмо Гончарова к Е. В. Толстой от 3 ноября 1855 г.: «...Диоген всё искал с фонарем среди бела дня „человека“, я искал „женщины“ и, встретив ее, хотел потушить фонарь...».

С. 510. ...под философскую эпанчу... — Епанча (эпанча) — испанский широкий и длинный плащ. Ср. с признанием Гончарова в письме Ап. Майкову от 2 марта 1843 г. в собственной «праздности, скуке и лени», прикрывающейся «гордым плащом какой-то странной философии, как испанский нищий прикрывает плащом жалкие лохмотья».

С. 510. ...дети Марса... — Имеется в виду постоянный посетитель институтских «пятниц» К. Ап. Майков, поручик Измайловского полка (о нем см. также выше, с. 615, 619—620).

С. 510. Пусть там жены надевают ~ Станут дети там играть. — Неточная цитата из популярного в 1830-е гг., неоднократно включавшегося в песенники «Романса» («Я иду против неверных...») из оперы А. Н. Верстовского (1799—1862) на либретто М. Н. Загоскина «Пан Твардовский» (1828; д. III, явл. 2); ср.:

Пусть их жены надевают
Мой поруганный доспех,

И мечом моим булатным
Станут дети их играть...

(Драматический альманах для любителей
и любителей театра, изданный
на 1828-й год Ардалионом Ивановым.
СПб., 1828. С. 135—136).

Ср. отсылку к тому же источнику в «Обыкновенной истории» (с. 767, примеч. к с. 245).

С. 510. *Марсово поле* — одна из центральных площадей Петербурга, составляющая единый ансамбль с окружающими ее зданиями, Летним и Михайловским садами. В начале XVIII в. именовалась Большим лугом или Потешным полем, со второй половины XVIII в. — Царицыным лугом. Название Марсово поле появилось в начале XIX в., когда площадь была превращена в постоянное место проведения военных парадов.

С. 510. *...я, мирный труженик на поприще лени...* — Устойчивая самохарактеристика Гончарова (см. также выше, с. 619—620).

С. 510. *Один — питомец дела и труда...* — Имеется в виду В. Андр. Солоницын; человек «дела» — его постоянное как серьезное, так и шуточное «амплуа» в игровой обстановке майковского кружка.

С. 510. *...учение Эпикура...* — Речь идет о философской школе в античной Греции, основанной Эпикуром (342 или 341—271 или 270) и полагавшей цель человеческой жизни в наслаждении; последнее трактовалось не только как чувственное удовольствие, но и как избавление от страданий, страха смерти и проч.

С. 510. *...а для прозябания ума...* — Прозябание — здесь: произрастание, развитие.

С. 511. *Другой пришлец ~ Он песнею приветствует...* — В. Ап. Солоницын (Солик), племянник В. Андр. Солоницына, автор лирических стихов и басен в «Подснежнике» и «Лунных ночах»; в начале 1840-х гг. опубликовал (за подписью: «С.») ряд стихотворений в «Библиотеке для чтения» (о нем см. выше, с. 615, 617—620).

С. 511. *...соловьем родимых дубрав, который, по словам поэта, щелкает и свищет ~ по роще...* — Парафраза известных строк из басни И. А. Крылова «Осел и Соловей» (1811): «Тут Соловей являть свое искусство стал: / Зашелкал, завистал, / На тысячу ладов тянул, переливался; / То нежно он ослабевал / И томной вдалеке свирелью отдавался, / То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался».

С. 511. *...обожать весь институт ~ здесь уж такое заведение!*; см. также с. 512: *...обожай и меня! ~ обожай всех...* — Намек на распространенный среди институток обычай кого-нибудь «обожать». См. об этом: Лотман. С. 83; Белоусов А. Ф. Институтка // Школьный быт и фольклор: Учебный материал по русскому фольклору. Таллинн, 1992. Ч. 2: Девичья культура. С. 133—135. Ср. также в стихотворении В. Г. Бенедиктова «Монастыркам» (1842): «Здесь тлетворное страданье / Не тревожит райских снов, / Здесь одно лишь — обожанье, / Тайнам неба подражанье» (Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., 1983. С. 230 (Б-ка поэта; Большая сер.)).

С. 512. *Начинается музыка сфер...* — «Музыка сфер» («хор», «шум», «пенье», «гармония сфер») — реминисценция пифагорейской философии, согласно которой небесные тела через определенные гармонически упорядоченные интервалы издают звуки, воздействующие на людей, но не воспринимаемые ими; представление о музыке сфер вошло в романтическую концепцию любви, получив широкое распространение в поэзии и прозе 1820—1830-х гг. (ср., например, в «Испытании» (1830) А. А. Бестужева-Марлинского характеристику душевного состояния

главного героя: «...ему казалось, гармоническая музыка сфер гремела *туш* его благополучию» (*Бестужев-Марлинский*. Т. I. С. 231)). Этот образ использован и в «Обломове» (часть вторая, гл. IX; см.: *Гейро Л. С. Примечания // Гончаров И. А. Обломов*. Л., 1987. С. 671 («Лит. памятники»)).

С. 512. *Знай, кинжалом я владею: / Я близ Кавказа рождена*. — Слегка измененные слова Заремы из «Бахчисарайского фонтана» (1821—1823). У Пушкина: «Но слушай, если я должна / Тебе... кинжалом я владею, / Я близ Кавказа рождена».

С. 513. *...он хмельного и в рот не берет...* — Парафраза из басни «Музыканты» (1808) И. А. Крылова (ср.: «Они немножечко дерут; / Зато уж в рот хмельного не берут...»).

С. 513. *...одни пахитосы...* — См. выше, с. 768, примеч. к с. 278.

ПЕПИНЬЕРКА

(С. 514)

Автограф неизвестен.

Впервые опубликовано: *РЛ*. 1997. № 3. С. 121—131.

В собрание сочинений включается впервые.

Печатается по писарской копии из архива А. В. Никитенко (*ИРЛИ*, ф. 205, № 19570) с частично сохранившимся посвящением: «Посвящается пепиньеркам» (далее три слова стерты), датой: «Декабрь 1842 года», подписью: «Старый блаженный» (далее одно слово зачеркнуто) и немногочисленными карандашными пометами неизвестной рукой в тексте и на полях; верхний край первого листа рукописи обрезан.

Датируется на основании пометы в копии.

Об авторстве Гончарова свидетельствует его письмо к Е. В. Толстой от 8 сентября 1855 г., в котором он, в частности, говорил: «Вы недавно спрашивали меня о „Пепиньерке“¹ — вот она. Я с трудом отрыл ее в куче старых моих рукописей. Посмотрите, как она побледнела и выцвела — точь-в-точь как и в моей памяти. Теперь я больше люблю классных дам, и то не настоящих, а будущих. Едва ли Вы прочтете две первые страницы. Когда минует надобность, возвратите мне рукопись...».²

П. Н. Сакулин, публикуя впервые письма Гончарова к Е. В. Толстой и не будучи знаком с текстом «Пепиньерки», высказал предположение, что ее сюжет связан с увлечением писателя В. Л. Лукьяновой, «красивой смольнянкой», которая до начала 1850-х гг. была гувернанткой в доме сестры писателя А. А. Кирмаловой, позднее — классной дамой в Николаевском институте. «Гончаров вел с нею переписку и в Петербурге часто виделся с ней; ее портрет в бархатной раме стоял у него на столе» (см.:

¹ Пепиньерка (от фр. *répinière* — питомник, рассадник) — ученица «пепиньерского» класса, существовавшего в Смольном, Патриотическом, Екатерининском и других женских институтах, в котором выпускницы проходили дополнительный одно- или двухгодичный курс обучения.

² «Пепиньерка» упомянута в перечне гончаровских рукописей в «Каталоге архива Никитенко» (см. об этом: *Лобкарева А. В.* К вопросу об истории архива И. А. Гончарова // *Гончаров. Материалы*. С. 299).

ГМ. 1913. № 11. С. 51).¹ Иную версию выдвинул Н. Г. Евстратов: опираясь на данные переписки Майковых начала 1840-х гг., он связал содержание утраченного произведения Гончарова с его посещениями Екатерининского института и предположил, что «Пепиньерка» могла быть той самой «комедией», о чтении которой в институте В. Ап. Солоницын сообщал Ап. Майкову в письме от начала марта 1843 г.² «Скучно, брат, мы проводим время, — признавался он в этом письме, — праздник не в праздник; дорожка в институт почти заглохла, изредка зайдешь туда, да хоть бы и не ходить. Недавно мы еще были там втроем: Иван Александрович, Валерушка и я. Первый читал свою комедию, в которой очень недурно изображены все наши институтские плутни. Надо сказать, что себя он не пощадил более всех, но, как кажется, комедией остались недовольны, натурально, с женской стороны... Эгоизм их потерпел поражение, особенно главы-то... Маленькие губки надулись, Челаева³ стонала, а впрочем, есть надежда, что все это кончится скоро как нельзя лучше. Характер нынешних заседаний наших вообще есть раздор...» (ИРЛИ, № 17370, л. 17).

Возможно, об этом публичном чтении в институте, вызвавшем «недовольство» слушательниц, Гончаров писал Ап. Майкову 2 марта 1843 г.: «Напрасно Вы думаете, что я влюблен: фи! несколько! Валериан даже нарочно водил меня в институт развивать во мне чувства, а я там всем и нагруби».

Текст «Пепиньерки» не подтверждает версии Евстратова, за исключением того, что очередной гончаровский «эюд», как и «Хорошо или дурно жить на свете?», действительно связан с Екатерининским институтом. Даже принимая во внимание нерешительность и колебания начинающего автора, трудно предположить, что произведение, написанное в декабре 1842 г., читалось в «жилище ангелов» только два-три месяца спустя. Несмотря на общий игривый тон «Пепиньерки» и присутствие в ней живых диалогов и ряда бесспорно сценичных,

¹ Гипотеза Сакулина — без ссылки на него — была повторена и украшена многочисленными «романическими» подробностями в статье: *Чельшев Б.* Пропавшая рукопись // Учит. газ. 1962. 16 июня. № 71 (перепечатано: *Чельшев Б. Д.* В поисках редких книг. М., 1970. С. 46—50).

² «Так как комедия не сохранилась, — писал исследователь, — и о содержании ее ничего неизвестно, мы можем сказать о ней только то, что это было произведение еще более „домашнее“, чем „Лихая болезнь“. Но это обстоятельство не мешало „Пепиньерке“ быть нравоописательной комедией с возможно метко схваченными чертами институтского быта и воспитания (...) таланту Гончарова, как он раскрылся потом в романах, было несомненно присуще комедийное мастерство» (*Евстратов.* С. 202—203). Письмо В. Ап. Солоницына — без даты, датируется по содержанию; частично опубликовано (см.: *Евстратов.* С. 201; *Летопись.* С. 22).

³ В «Списке слушателей, преподавателей и учениц Екатерининского института за 1842 г.» значится Нина Чилаева, поступившая 16 июля 1835 г. (РГИА, ф. 759, оп. 94, № 213, л. 9 об.). Упоминания о ней см. также ниже, с. 813—818. Переписка Майковых сохранила имена и других пепиньерок — Ахачинской, Поздеевой, Вахрушовой, посещавших их дом в начале 1840-х гг. С одной из них, Екатериной Федоровной Поздеевой, семья Майковых поддерживала отношения и впоследствии; Гончаров упоминает ее в письмах Майковым с фрегата «Паллада» от 25 мая (6 июня) и 15 (27) сентября 1853 г., а также в указанном выше письме к Е. В. Толстой от 8 сентября 1855 г. («Екат. Фед. П.»).

«комедийных» эпизодов (сцена ночного «пожара», например — наст. том, с. 519), маловероятно, что этот нравоописательный очерк воспринимался как «комедия». «Комедию», прочитанную Гончаровым в Екатеринбургском институте, с большой долей уверенности можно отнести к числу несохранившихся произведений.

Не предназначавшаяся для печати уже в силу своего гривуазного характера (все, что было связано с «институтской» темой, подвергалось strongest цензуре¹) «Пепиньерка», как и предполагал Евстратов, была явно рассчитана на чтение в узком кругу; она близка письмам Гончарова 1840-х гг. не только по лексике (особый жаргон, объединявший посетителей «пятниц»), но и по разговорно-естественной, очень личной, «домашней» интонации, характерной в целом для гончаровской прозы и во многом определившей своеобразие стиля как «Обыкновенной истории», так и «Фрегата „Паллада“».

Переписка Майковых 1842—1843 гг., как отмечалось выше (см. с. 620), служит ценным комментарием к «Пепиньерке», позволяя прояснить некоторые малоизвестные черты в облике ее тридцатилетнего автора, далеко не последнего участника «институтских плутней». Так, в письме к Ап. Майкову от начала октября 1842 г. Гончаров сообщает, что ведет «секретную хронику сердечных институтских дел как секретарь», позднее, 14 декабря 1842 г., пишет ему же: «В институте — скучновато; Натал(ья) Ал(ександровна) скучает: название *блаженных* не существует; да и пепиньерки стали не те; живут в затворницах. Вы мне там подгадили раз, и я после Вас подгадил вам зело — да всё пошло к черту». В приписке к этому письму Вал. Майков уведомляет брата, что «с институтом кончено, любви нет; место ее заменил преферанс и сам он «ни в кого не влюблен и занимается сельским хозяйством» (*ИРЛИ*, № 17370, л. 1). В недатированном письме (по-видимому, это начало осени 1842 г.) Евг. П. Майкова сообщает мужу и сыну: «Что касается до Гончарова, то, кажется, он продолжает мистифицировать и блаженных, и ангелов» (*ИРЛИ*, № 17374, л. 43).² Склонный к грубоватым и фривольным шуткам К. Ап. Майков в приписке к этому письму замечает: «Отыскивая первоначальные следы института, я отыскал их (...) в гаремах и сералях» (Там же, л. 45 об.). В. Андр. Солоницын пишет Майковым 6 января 1843 г.: «Наталья Александровна не шутя начинает разыгрывать роль царицы над пепиньерками и этим вдосталь охлаждает институтские беседы. Впрочем, Гончаров продолжает вздыхать о Челаевой». Описывая затем встречу Нового года у Майковых, он продолжает: «Я сидел за другим столом и, оградив себя с одной стороны Валерьяном от юных прелестей Лизы Толстой, а с другой Гончаровым от двусмысленных глазок Челаевой, не распалил в себе умеренного вакхического восторга...»

¹ См. об этом: *Белоусов А. Ф.* Институтки в русской литературе // Тынъяновский сб.: Четвертые Тынъяновские чтения. Рига, 1990. С. 80.

² Обращаясь к Аполлону, Евгения Петровна признается: «...исчез ты и увез с собой пятницы, которые более не существуют (...). Очень скучновато в институте, все переговорили, и нового ничего не услышишь в стенах рая! ты своим живым характером (...) разнообразил часы, проведенные там, а после тебя на сто процентов потерял институт и его пепиньерки» (*ИРЛИ*, № 17374, л. 44). В недатированном (также начало осени 1842 г.) письме В. Ап. Солоницына тому же адресату говорится: «Я уже доложил тебе, что тропинка в институт заглохла, заросла травой. (...) Право, мы почти совсем не ходим в жилище ангелов. (...) Нет, твое отсутствие уничтожило и последнюю нашу отраду...» (*ИРЛИ*, № 17370, л. 11).

(ИРЛИ, Р. I, оп. 17, № 156(1), л. 8). Институт упоминается и в более поздних письмах. Уехавший за границу в начале лета 1843 г. В. Андр. Солоницын в письме к Гончарову из Рима от 3 сентября того же года (о письмах Солоницына см. выше, с. 623) просит передать от него поклоны в институте, добавляя: «Я обращаюсь к Вам с этой просьбой потому, что институт состоит в Вашем ведении» (ИРЛИ, Р. I, оп. 17, № 152, л. 1), а 1 декабря 1843 г. в ответ на несохранившееся письмо Гончарова пишет ему из Парижа: «Так Вы, почтеннейший, взяли отставку из института?.. Хорошо сделали! Черт ли в нем. Пишите повести. Я не спорю, что женщины — очень милая вещь; но насчет института, начиная с его главы до последних оконечностей, мое мнение было всегда таково, что нет ничего глупее на свете» (Там же, л. 2 об.).

Неизвестно, как долго продолжались «пятницы» в институте; последнее упоминание о причастности к ним Гончарова содержится в письме Солоницына-старшего Вал. Майкову от 5 марта 1844 г. С нескрываемым раздражением Солоницын отзывается в нем о вечерах, которые «так глупо, так пошло, так недостойно и даже, наконец, грязно убиваются в институте» (ИРЛИ, Р. I, оп. 17, № 154, л. 1 об.). Заслуживает внимания и рассказ еще одного, не принадлежащего майковскому кругу посетителя института. П. А. Плетнев сообщает Я. К. Гроту 12 апреля 1844 г.: «Сегодня я зван на вечер в Екатерининский институт к одной инспектрисе (Майковой, тетке поэта, урожденной Измайловой — баснописице). Там премножество было народу женского пола; довольно и мужского. Ужин кончился в третьем часу. Молодой Майков читал несколько новых своих стихотворений. Он мужает в поэзии».¹

При всей камерности «Пепиньрки» ее содержание не сводится к сугубо «домашним» мотивам и темам и далеко ими не исчерпывается, точно так же как шире «домашних» рамок было содержание ранних гончаровских повестей. «Институтская» тема ко времени создания очерка прочно вошла в русскую литературу; к 1830—1840-м гг. успели утвердиться определенные стереотипы изображения «институтки», или «монастырки» (классицистический, сентименталистский, романтический).² Не только знакомство с литературной традицией, но и известная зависимость от нее ощутима в очерке Гончарова. Далеко не новыми в литературе были воспроизведение «характеристических» оборотов речи, институтского жаргона («ах» и «фи», «душка», «ангел»), ирония по отношению к институтской восторженности, мечтательности, наивности, непремемному «обожаю». В своего рода клише русские романтики превратили антитезу «институтка—светская красавица», идеализируя невинность, чистоту, естественность первой в противоположность искусственности, «испорченности» второй.³ Гончаров не избегает этой оппозиции, но, очевидно, стремится преодолеть ее схематизм, в одних случаях

¹ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 228. Аполлон Майков вернулся из-за границы 8 марта 1844 г.

² См. об этом: Белоусов А. Ф. Институтки в русской литературе. С. 77—99. Оригинальный тип институтского поведения был настолько известен в обществе, что, как правило, авторы вместо характеристики героини лишь вскользь упоминали о ее институтском воспитании, находя более подробные объяснения излишними.

³ Ср. повести «Испытание» (1830) А. А. Бестужева-Марлинского, «Бедовик» (1839) В. И. Даля и др., а также образ институтки в романе А. Погорельского (А. А. Перовского) «Монастырка» (ч. 1 — 1830; целиком — 1833) и в «Мертвых душах» (1842) Гоголя.

иронически обыгрывая, травестируя, а отчасти и пародируя расхожее противопоставление, в других — акцентируя его психологический аспект.

Исключительное внимание к конкретной бытовой и психологической детали определяет своеобразие гончаровской «Пепиньерки», не только содержащей большое количество реалий из жизни воспитанниц Екатерининского института, но и воспроизводящей тонко подмеченные особенности их речи, поведения, взаимоотношений.¹

Хотя очерк нельзя отнести к жанру «физиологий», только зарождающемуся в начале 1840-х гг., его автор, чьи ранние вещи создавались в русле отечественного «бытописания», несомненно тяготеет к этому направлению. Он, однако, как можно предположить, не во всем принимает его (ср. иронические выпады против «бытописателей» в «Лихой болести» и «Счастливой ошибке» — наст. том, с. 61—89). В рамках традиционных жанрово-тематических схем начинающий писатель стремится найти новое освещение ситуации, сочетающее иронию с мягким лиризмом.

Характерное для Гончарова зрелой поры внимание к теме воспитания обнаруживается и в этом раннем очерке. Интерес молодого писателя в данном случае сосредоточен на формировании особой женской «сферы», мира сердечных переживаний. Институтки появляются и в более поздних произведениях писателя; при этом наиболее содержательны, пожалуй, образы, возникающие в романе «Обрыв», — как в связи с линией Софьи Беловодовой (часть первая, гл. IV), так и в связи с характеристикой романтических стереотипов в сознании Райского, которому Верочка и Марфинька представлялись «парой прелестных институток на выпуске, с институтскими тайнами, обожанием, со всею мечтательною теориею и взглядами на жизнь, какие только устанавливаются в голове институтки — впрямь до опыта, который и перевернет всё вверх дном» (часть третья, гл. IV).

С. 514. *Я это потому пишу ~ я не грешу.* — Эпиграф заимствован из «Евгения Онегина» (глава первая, строфа XXIX).

С. 514. *...нет ни в одном таможенном уставе довольно строгого постановления.* — Вероятный намек на характер служебных занятий Гончарова во Втором (Таможенном) отделении Департамента внешней торговли Министерства финансов (см. об этом: Муратов А. Б. И. А. Гончаров в Министерстве финансов // Гончаров. Новые материалы. С. 38—41; Лобка-

¹ В связи с этим представляет интерес «роман в письмах» С. А. Закревской «Институтка», появившийся ровно за год до создания «Пепиньерки» (ОЗ. 1841. № 12; фрагмент романа под заглавием «Письма совоспитанниц» был ранее опубликован анонимно (С. 1837. Т. 8) с пометой на письмах «Екатерининский институт», отсутствующей в «Отечественных записках»). Здесь впервые была предпринята попытка описать в подробностях будничную жизнь Екатерининского института глазами его воспитанниц. Автор активно использует слова из институтского жаргона, выделяя их в тексте курсивом, употребляет различные экспрессивные лексические формы, тем самым имитируя институтский синтаксис и интонации речи. Вполне вероятно, что Гончаров знал эту повесть и учел опыт Закревской при написании своего очерка (судя по переписке Майковых, в их кружке следили за выходом «Отечественных записок» и внимательно их читали).

рева А. В. Новые материалы о службе И. А. Гончарова в Департаменте внешней торговли // *Гончаров. Материалы*. С. 291—296).

С. 514. *Серый цвет, дикий цвет! Ты мне мил навсегда — и т. д.* — Перефразированные первые строки популярного романса «Черный цвет» (слова П. А. Гвоздева; сообщено В. Э. Вацуро); ср.:

Черный цвет, мрачный цвет,
Ты мне мил навсегда,
Я клянусь, в другой цвет
Не влюблюсь никогда.
(.)
Отчего? — спросит свет,
Я влюблен в цвет теней.
Я скажу: «Черный цвет —
Цвет подруги моей».

(Любимые русские романсы и песни
для одного голоса с аккомпанементом
фортепиано. № 5. Черный цвет. СПб.:
М. Бернард, [б. г.]).

Подробнее о популярности этого романса и бытовании его в художественной литературе см.: *Чистова И. С.* О кавказском окружении Лермонтова (по материалам альбома А. А. Капнист) // М. Ю. Лермонтов: Исследования и материалы. Л., 1979. С. 205—206. О диком цвете см. выше, с. 759, примеч. к с. 205.

С. 515. *Природа ~ дала мне и голос дикий.* — Вероятно, у Гончарова были реальные основания для подобных признаний; ср. в «Лихой болести» замечание о «чудовищном», напоминающем «скрып немазанных колес» (наст. том, с. 40) голосе Никона Устиновича Тяжеленко, в образе которого, как отмечалось выше (с. 633—634), есть черты автопародии. Ср. также у Крылова: «А сверх того ему такой дан голос дикой...» («Осел», (1815)).

С. 515. *...девушке в шестнадцать лет пристает всякая шапка... —* Парафраза из песни третьей «Руслана и Людмилы» (1817—1820): «А девушке в семнадцать лет / Какая шапка не пристанет!».

С. 516. *...не обожать, нет! ~ очень хорошо понимают, что обожания не существует;* см. также с. 521: *...не обожает, как та, а любит...* — См. выше, с. 810, примеч. к с. 511.

С. 516. *...вольный город, порто-франко...* — Порто-франко (ит. porto franco) — портовый город, пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров, а также название самого права, введенного для ряда европейских портов в XVI—XVII вв. В России право порто-франко было установлено в Одессе (с перерывами в 1817—1859 гг.) и Владивостоке (с 1862 г.).

С. 517. *...чтение запрещенных в заведении книг.* — По свидетельству А. В. Стерлиговой, «чтение романов, которые иногда контрабандою проникали в институт и читались с наслаждением (...) было строго запрещено. В институте была и своя библиотека, изобиловавшая одними „Лучами” и „Звездочками”, которые давали нам читать, и то редко, в старшем классе; иногда классные дамы давали своим избранным книги, более на иностранных языках» (*Стерлигова А. В.* Воспоминания о С.-Петербургском Екатерининском институте: 1850—1856. М., 1898. С. 34). О внеклассном чтении, которое «всячески ограничивалось (вплоть до его запрета) и контролировалось, чтобы оградить институток от „вредных”

идей и неблагопристойностей и сохранить в них детскую невинность ума и сердца», см. также: Белоусов А. Ф. Институтка // Школьный быт и фольклор: Учебный материал по русскому фольклору. Таллинн, 1992. Ч. 2: Девичья культура. С. 139—140.

С. 517. «Я не скажу, я не открою, в чем тайна вечная моя!»... — Неточно процитированные первые строки популярного романа «Тайна» (1833; муз. А. А. Алябьева, слова А. Ф. Вельтмана):

Я не скажу, я не признаюсь,
В чем тайна вечная моя,
Ее я скрыть от всех стараюсь,
Боюсь доверчивости я.

(Денница. Альманах на 1831 год, изданный
М. Максимовичем. М., 1831. С. 138)

Выделенные курсивом, повторяющиеся первое и последнее слова каждой строфы составляют фразу: «Я вас люблю!».

С. 517. ...их простая трапеза! ~ скатертей, салфеток, отчасти вилок и ножей. — В мемуарах отмечена непритязательность еды воспитанниц института; ср.: «В пять часов вечера, после классов, приносили большую корзинку с ломтями черного хлеба с солью и бутылку квасу. Трудно себе представить, с какою поспешностью набрасывались девицы на этот хлеб!» (Ковалевская Н. М. Воспоминания старой институтки. СПб., 1898. С. 3); см. об этом также: Белоусов А. Ф. Институтка. С. 126—128.

С. 517. Не так ли думал Диоген? а ведь он был мудрец. — О греческом философе-кинике Диогене Синопском (ум. ок. 323 до н. э.) сохранилось свидетельство, что, «увидев однажды, как мальчик пил воду из горсти, он выбросил из сумы свою чашку, промолвив: „Мальчик превзошел меня простотой жизни”. Он выбросил и миску, когда увидел мальчика, который, разбив свою плошку, ел чечевичную похлебку из куска выеденного хлеба» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 2-е изд., испр. М., 1986. С. 225). О Диогене см. также выше, с. 809, примеч. к с. 510.

С. 518. Швейцар сложил свою булаву. — Булава (трость с набалдашником) служила знаком должности швейцара.

С. 518. Кто-то одна страстно и жарко ~ дыханье ее горячо ~ или крепко сжимает губки. — Парафраза из широко известного в то время стихотворения В. Г. Бенедиктова «Три вида» (1835); ср.:

Прекрасна дева молодая,
Когда покоится она,
Роскошно члены развивая
Средь упоительного сна.
Рука, откинута небрежно,
Лежит под сонной головой,
И, озаренная луной,
Глава к плечу склонилась нежно.
(.)
Грудные волны и плечо,
Никем не зримые, открыты,
Ланиты негою облиты,
И уст дыханье горячо.

(Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., 1983.
С. 63. (Б-ка поэта; Большая сер.)).

С. 518. ...«*Богородице Дево! радуйся...*» — Начало молитвы Пресвятой Богородице.

С. 518. ...из благоговения к храму Весты. — См. выше, с. 769, примеч. к с. 267.

С. 518. ...идет к столику, в секретный ящик. — А. В. Стерлигова вспоминает, что «между кроватями стояли дубовые столики с выдвигаемыми ящиками, особенными для каждой (...)». Ящик запирался на ключ, который мы были обязаны носить в кармане...» (*Стерлигова А. В. Воспоминания о С.-Петербургском Екатерининском институте: 1850—1856. С. 16*).

С. 521. ...увидите на небосклоне одну звездочку ~ *Точно так же действует на меня и масса девиц.* — Ср. со сходным мотивом в «(Хорошо или дурно жить на свете?)» (наст. том, с. 511—512).

С. 521. ...поражаетесь электрически дивной картиной...; ср. также с. 523—524: ...*слова, как электрическая искра, пробежут по постелям.* — См. выше, с. 653, примеч. к с. 70.

С. 521. ...далии, лилии, маргаритки... — Как выясняется из переписки Майковых (см. письмо Аполлону Вал. Майкова от начала ноября 1842 г. — *ИРЛИ*, № 17370, л. 14—15) титул принцессы Флоридской Лилии носила Челаева, принцесс Далии и Маргариты — Ахачинская и Поздеева (о них см. выше, с. 813). Учитывая это, можно предположить, что три стертых слова в гончаровском посвящении могли быть тремя фамилиями пепиньерок.

С. 521. *От воспитанницы она отличается тем, что выезжает изредка к родным...* — Н. М. Ковалевская пишет, что воспитанниц «не отпускали (...) из института ни при каких семейных обстоятельствах (...) за четыре месяца до выпуска я имела несчастье потерять отца (...) и меня не пустили отдать последний долг горячо любимому отцу, обнять, утешить больную, сраженную горем мать! Вот как строго относились к правилу не выпускать ни на шаг из института!» (*Ковалевская Н. М. Воспоминания старой институтки. С. 2*).

С. 522. ...*страшнее ~ пахитосок...* — См. выше, с. 768, примеч. к с. 278.

С. 522. ...*вечному остракизму.* — См. выше, с. 796, примеч. к с. 491.

С. 522. ...*жизнь под старость такая гадость!* — Измененная строка из седьмой главы «Евгения Онегина» (строфа XLII): «Под старость жизнь такая гадость...».

С. 522. ...*ах, зубы, зубы!* ~ *И нынче иногда во сне / Они кусают сердце мне!* — Шутливая парафраза ряда стихов первой главы «Евгения Онегина» (строфы XXXI, XXX). Ср. у Пушкина: «Ах, ножки, ножки! где вы ныне?» и «Ах! долго я забыть не мог / Две ножки... Грустный, охладель, / Я все их помню, и во сне / Они тревожат сердце мне».

С. 523. ...*назначен приемный день, положим, пятница...* — О «пятницах» в Екатерининском институте см. выше, с. 805—806.

С. 524. *Ташка* (нем. *Tasche* — карман, сумка) — гусарская кожаная сумка, висящая сзади на ремнях.

С. 524—525. *Другой сел в уединенном углу и поставил шляпу на пустой ~ стул...*; см. также с. 526: «*Что вы там делаете в углу?*» ~ *не покровительствующая этим уголкам...* — В цитированных выше письмах родных и друзей Ап. Майкову в Италию среди излюбленных развлечениях молодежи не раз упоминаются «уголки»; см., например, в письме В. Ап. Солоницына (Солика) от 5 октября 1842 г.: «Мы все скучаем понемногу. Институт, это волшебное слово, ныне уже не так торжественно гремит в ушах наших, как прежде. (...) изредка (...) просияет из-за туч настоящей скуки яркий луч бывших шалостей, уголков и тому подобного. (...) Наши

угольные дружественные трактаты ведутся очень вяло. Вместо них Валерушка придумал было диваны, непременно должнствующие состоять по кр(айней) мере из 3 особ, но несмотря на его собственное усиленное действовање на этом новом поприще, оно нейдет вперед. Словом, пятница наша разъехалась с твоей легкой руки...» (ИРЛИ, № 17370, л. 10—10 об.). Ср. также в рассказе Солоницына-старшего о встрече Нового года у Майковых с участием пепиньерок: «Потом было лакомство, чай, омонимы и уголки» (письмо от 6(18) января 1843 г. — ИРЛИ, Р. I, оп. 17, № 156(1), л. 8).

С. 525. ...*приближение толпы сильфид*. — См. выше, с. 768, примеч. к с. 253.

С. 525. *Что это у вас как поздно кончилось сегодня дежурство?* ~ «*Нынче у нас танцкласс!*». — В Екатерининском институте танцами занимались воспитанницы «большого класса» два раза в неделю, с 6-ти до 8-ми вечера. На этих занятиях, как и на всех других, должна была присутствовать дежурная пепиньерка.

С. 526. «*На небе много звезд прелестных...*»; см. также с. 528: «*На небе много звезд прекрасных...*» — Обыгрывается начальная строка популярного романса «Звезда любви» (слова И. Золотарева, муз. А. Барщицкого (1828); Т. Жучковского (1832)):

На небе много звезд прекрасных;
Но мне одна там всех милей —
Звезда любви, звезда дней ясных
Счастливой юности моей.

(Дамский журн. 1828. № 3. Прил.)

Ср. в седьмой главе «Евгения Онегина» (строфа LII): «У ночи много звезд прелестных...».

С. 526. *Hony soit qui mal у pense*. — Девиз британского «Ордена Подвязки», основанного 19 января 1350 г. королем Эдуардом III; согласно преданию, этими словами он отвечал на недоуменные и насмешливые взгляды придворных, когда на одном из балов поднял упавшую подвязку своей любовницы графини Солсбери. Действительное происхождение этой фразы неизвестно; упоминания о ней появляются лишь в позднейших источниках (впервые в кн.: *Polydorus Virgilius. Historiae Angliae. Lugduni Batavorum*, 1651). Используется Гончаровым также во «Фрегате „Паллада“» (том второй, гл. IX), «критическом этюде» «Милльон терзаний» и письмах в той же устарелой форме (современное написание: honni).

С. 527. ...*был бы дар напрасный*. — Реминисценция стихотворения А. С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...» (1828).

С. 527. ...*при звуке непривилегированного поцелуя...* — Ср. в «Обломове»: «В эти блаженные дни на долю Ильи Ильича тоже выпало немало мягких, бархатных, даже страстных взглядов из толпы красавиц (...) два-три непривилегированные поцелуя...» (часть первая, гл. V).

С. 528. ...*в глушь и дичь сада ~ обогащающие только трапезу эконома*. — В тылу здания Екатерининского института (см. выше, с. 807, примеч. к с. 508) располагался сад, остатки которого сохранились до настоящего времени. Описание институтского сада имеется в воспоминаниях А. В. Стерлиговой (*Стерлигова А. В. Воспоминания о С.-Петербургском Екатерининском институте: 1850—1856*. С. 34).

С. 529. *Кто сердцу юной девы скажет ~ не изменись? и т. п...* — Цитата из поэмы «Цыганы» (1824).

С. 529. ...*как дяк, в приказах поседельный...* — Цитата из «Бориса Годунова» (1825; сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре»).

С. 530. ...помчит ли ее великолепная карета с гербами ~ прямо, просто, по-прежнему устремит глаза ~ с улыбкою скажет: «Там, в первый раз...» — Возможная отсылка к финальной сцене восьмой главы «Евгения Онегина» (строфы XLI, XLVI). Ср. у Пушкина: «Ей внятно все. Простая дева, / С мечтами, сердцем прежних дней, / Теперь опять воскресла в ней», также: «...За те места, где в первый раз, / Онегин, видела я вас...».

С. 530. ...обрывав свет, воротится к невским берегам. — Типичная для Гончарова разнохарактерная цитатная нагрузка фразы — с отсылкой к реплике Фамусова в «Горе от ума» (ср.: «Обрыскал свет; не хочешь ли жениться?» — д. II, явл. 2) и к пушкинской поэтической фразеологии («невские берега», «невский брег» — о Петербурге); ср. в «Евгении Онегине»: «Иди же к невским берегам, / Новорожденное творенье...» (глава первая, строфа LX); в послании «К Языкову» (1828) «И я с веселою душою / Оставить был совсем готов / Неволю невских берегов»; в «Медном всаднике» (1833): «Поэт, любимый небесами, / Уж пел бессмертными стихами / Несчастье невских берегов» (часть вторая).

С. 530. ...взглянет на колоннаду... — Ср. в «Хорошо или дурно жить на свете?»: «...здание строгого стиля с колоннадою...» (наст. том, с. 509).

С. 530. ...подобно тому монаху ~ не узнал своего монастыря. — Сюжет восходит к главе 35 «О славе небесней и радости праведных вечней» «Великого Зеркала», латинского сборника нравоучительных рассказов и легенд (XV в.), известного в России с конца XVII в. в переводах с польских изданий (текст см.: *Державина О. А.* «Великое зеркало» и его судьбы на русской почве. М., 1965. С. 215—217). Популярная легенда о монахе, заслушавшемся пения птички и не заметившем, как прошло 1000 лет (по другому варианту перевода — 300 лет), существует как в фольклорных и лубочных версиях, так и в литературных переложениях. Гончарову она могла быть известна, в частности, и по «Райской птичке» (1791) Н. М. Карамзина.

⟨УПРЕК. ОБЪЯСНЕНИЕ. ПРОЩАНИЕ⟩

(С. 532)

Автограф (*ИРЛИ*, ф. 134 (А. Ф. Кони), оп. 8, № 2, л. 1—2) — на двойном листе художественной почтовой бумаги, с датой в конце текста: «14 июня 1843 г.».

Впервые опубликовано: *Цейтлин*. С. 445 (с ошибкой в дате: «июля» вместо «июня»).

В собрание сочинений включается впервые.

Печатается по автографу.

Прощальное послание Гончарова носит полуэпистолярный-полубеллетристический характер и адресовано Евг. П. Майковой, уезжавшей с семьей в Германию и Францию. Вместе с мужем, сыновьями Валерианом и четырехлетним Леонидом (Бурькой) и В. Андр. Солоницыным Евгения Петровна выехала из Петербурга 15 июня 1843 г.¹ Со

¹ Точную дату отъезда Майковых находим в письме В. Андр. Солоницына из Лондона от 27 июня (по новому стилю, т. е. 15-го по старому) 1844 г., в котором он напоминает о годовщине со дня отъезда (см.: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 17, № 156 (1), л. 38).

словами прощания к ней обратился не только Гончаров, но и Бенедиктов; под его стихотворным посланием «Е. П. Майковой» также стоит дата «14 июня».¹ 27 декабря того же года Майковы вернулись в Петербург.²

В письме к Евг. П. и Н. А. Майковым от 22 июля 1843 г., вспоминая их недавний отъезд и, вероятно, свое «объяснение», Гончаров писал: «В дружбе объясняться нет надобности, потому что недавно расстались и забыть друг друга никак не могли; что касается до любви, то объясняться Вам в ней, Евгения Петровна, нахожу теперь неудобным, даже опасным, потому что письма получает с почты, вероятно, Николай Аполлонович и, пожалуй, прочтет: что тогда будет? Я думаю, Вам и так порядком досталось от него за то, что, садясь здесь в почтовую карету, помните?.. но тс...». Перехода на серьезный тон, Гончаров продолжает: «В течение недели я еще могу кое-как помириться с мыслию, что Вы за границей, но едва настанет воскресенье — я с утра начинаю сильно чувствовать, что Вас нет: Вы оставили страшную пустоту».

Наполненное шутивными намеками и недосказанностями, письмо Гончарова, как и «(Упрек. Объяснение. Прощание)», передает атмосферу живой игры и свободы в отношениях, которые существовали между ним и старшими Майковыми. С Евгенией Петровной писатель связывала многолетняя дружба и интимно-доверительная переписка.

По замечанию А. Г. Цейтлина, «(Упрек. Объяснение. Прощание)» имеет автобиографическую ценность: Гончаров познакомился с Евг. П. Майковой в 1835 г., и, «таким образом, дружба их продолжалась те самые „восемь лет“, о которых говорится в этом отрывке» (*Цейтлин*. С. 445). К литературным достоинствам гончаровской шутливой миниатюры Цейтлин отнес «членение письма на три части, придающее ему внутреннюю четкость, психологическую наблюдательность Гончарова, тонкий юмор, наконец, элегический конец, в котором автор письма сравнивает себя со „старой, давно прочтенной, ветхой книгой“» (Там же).

Рассматривая прощальное послание Гончарова в контексте его раннего творчества, Вс. Сечкарев отметил, что это «еще один пример того, как Гончаров этого периода любил соединять романтический пафос с сугубо индивидуальным ироническим отношением к своим героям» (*Сечкарев*. Р. 37). Здесь используется его излюбленный прием — «техника ныряния», по Сечкареву — резкие переходы от торжественной риторики к нарочито «низкой» лексике (типа вульгаризма «куда лезешь?» рядом с выражением «на алтаре любви и дружбы»).

Нельзя не сказать, что Гончаров не был одинок и в своей «беспредельной признательности» Евгении Петровне, и в любви, которой так и не нашел определения. Теплые и благодарные воспоминания оставили о старших Майковых А. В. Старчевский, И. И. Панаев, Д. В. Григорович, С. Д. Яновский, Е. А. Штакеншнейдер. Ряд стихотворных посла-

¹ В издании, подготовленном Б. В. Мельгуновым, опубликовано с очевидной ошибкой в авторской дате: «14 июня 1840» вместо «14 июня 1843» (см.: *Бенедиктов В. Г.* Стихотворения. Л., 1983. С. 211. (Б-ка поэта. Большая сер.)). В сопутственных строках Бенедиктова Майковой ее «светлый первенец, служитель юный муз» упоминается уже поощим «под итальянским небом», тогда как Ап. Майков уехал в Италию в августе 1842 г. (см.: наст. том, с. 805) и вернулся 8 марта 1844 г.

² См. письмо Евг. П. Майковой В. Андр. Солонищину от 28 дек. 1843 г. — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 17, № 138, л. 57.

ний посвятил Евг. П. Майковой В. Г. Бенедиктов. С «сыновним уважением» относился к ней Ф. М. Достоевский (см. его письмо Евг. П. Майковой от 14 мая 1848 г. — *Достоевский*. Т. XXVIII, кн. 1. С. 146). Из Петропавловской крепости. 22 декабря 1849 г. он писал брату: «Скажи несколько слов, как можно более теплых, что тебе самому сердце скажет, за меня Евгении Петровне. Я ей желаю много счастья и с благодарным уважением всегда буду помнить о ней» (Там же. С. 163). Г. П. Данилевский в неопубликованном письме к Евгении Петровне от 30 апреля 1853 г., назвав ее дом «второй родиной», признавался: «Ваш уголок, с поэзией живописи и с живописью поэзии, с пением и доброю сердцем, обитающих в нем, мне всегда казался каким-то волшебством, каким-то ясным и успокаивающим исключением из общей нашей жизни» (*ИРЛИ*, № 8879, л. 1). И. И. Лажечников, посылая Евгении Петровне свои сочинения и благодаря ее за письмо, обещал «хранить его, как драгоценный диплом». «Похвала умной и любящей женщины, — писал он, — дороже для меня журнальных отзывов» (*ИРЛИ*, № 8924, л. 1). Для Ап. Майкова мать неизменно оставалась «образцом всех женщин» (из его письма к матери от 14 декабря 1848 г. — *ИРЛИ*, № 17015, л. 9).

Э. Сю

АТАР-ГЮЛЬ

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

Перевод с французского

(С. 534)

Автограф неизвестен.

Впервые опубликовано: *Телескоп*. 1832. Ч. 10. № 15. С. 298—322, без подписи (ценз. разр. — 29 сент. 1832 г.).

В собрание сочинений включается впервые.

Печатается по тексту первой публикации, единственному источнику текста.

Уже в юности, начиная с 14—15-летнего возраста, Гончаров, по его собственному свидетельству в письме к вел. князю Константину Константиновичу от января 1884 г., много переводил (см. выше, с. 610). Переводил он и позднее — с французского, немецкого и, возможно, с английского, причем это были не только деловые бумаги, связанные с его службой в Департаменте внешней торговли Министерства финансов, но и беллетристика. Из беллетристики он напечатал «несколько компиляций и переводов» (см. выше, с. 611). Вероятно, на страницах журналов 1830—1840-х гг. среди многочисленных переводных отрывков¹ могут встретиться и переводы Гончарова.

¹ Подобные отрывки были характерной приметой «толстых» журналов эпохи. Ср., например, свидетельство современника: «Наша русская литература доныне состоит из *отрывков*; по крайней мере, главное содержание оной составляют отрывки литературы французской, немецкой, английской и проч. проч. (...) Мы любим журналы и альманахи не потому ли, что это *сборники отрывков*» (Новый живописец общества и литературы, составленный Н. Полевым. М., 1832. Ч. 2. С. 183).

В литературном кружке Майковых (о нем см. выше, с. 612—620) интерес к переводам (особенно с французского) был очень велик. Так, в рукописном журнале «Подснежник» только за 1835—1836 г. было помещено шесть переводов с французского.¹ Таким образом, поиск переводов Гончарова возможен и по печатным, и по рукописным архивным источникам, однако проблема атрибуции и в том и в другом случае представляется трудноразрешимой.

Прямое свидетельство о принадлежности Гончарову перевода двух глав из романа Э. Сю «Атар-Гюль» содержится в Автобиографии 1868 г.: «... перевел на русский язык роман „Атар-Гюль“, отрывок из которого был помещен в журнале „Телескоп“ за 1832 год». Этот перевод явился, таким образом, первым печатным литературным опытом будущего писателя.²

Роман был прочитан Гончаровым в издании, с которого, несомненно, и осуществлен перевод: *Sue. Atar-Gull*. P. 279—308. Публикация в «Телескопе» состоялась в бытность Гончарова студентом второго курса словесного отделения Московского университета. Предложил ли ему эту работу редактор «Телескопа» Н. И. Надеждин, охотно привлекавший молодежь к участию в своем журнале, или сам Гончаров решил взяться за перевод популярного романа — неизвестно. Работал он над ним, по-видимому, или непосредственно перед поступлением в университет, или на первом курсе словесного отделения (ср.: *Рыбасов*. С. 11).

Печатание небольших отрывков из романов европейских писателей было обычным делом для редакции «Телескопа», которая заботилась лишь о том, «чтобы помещаемые статьи были предлагаемы под формою сколько возможно легкой и неутомительной для внимания...».³ По словам Н. К. Козмина, «молодежь доверчиво и благожелательно относилась к Надеждину: несла ему на просмотр и подвергала его суду свои работы (...). И даже Гончаров, сторонившийся кружка юных идеалистов, вручил Надеждину свой первый литературный труд: „Отрывок из романа Евгения Сю Атар-Гюль“».⁴ Студенту Московского университета было тем проще найти доступ в редакцию «Телескопа», что Н. И. Надеждин преподавал на факультете теорию изящных искусств и археологию; о нем Гончаров в своих воспоминаниях «В университете» отзывался с большим уважением: «Это был самый симпатичный и любезный человек в обращении, и как

¹ Каменный суп: Сказка (из кн.: *Janin J. La confession*) / Пер. с фр. без подписи // *Подснежник*. 1835. № 1. Л. 20 об.—22; Последние приятные минуты в жизни Карла Стурта: Статья г. Жанена / Пер. с фр. Ап. Майкова // Там же. 1835. № 2. Л. 66 об.—69; Статья о В. Гюго мистрис Троллоп (из журн.: *Revue de Paris*. 1835. 20 déc.) / Пер. с фр. без подписи // Там же. Л. 77—78 об.; Незнакомка / Пер. с фр. [Конст. Майкова] // Там же. 1835. № 3. Л. 100—102; Аделаида Сарган: Статья герцогини Абрантес / Пер. с фр. Конст. Майкова // Там же. 1836. Л. 7 об.—11; 84—93; Мертвые: Соч. г-жи Дюдеван / Пер. с фр. без подписи // Там же. Л. 115—120.

² Неубедительна попытка О. А. Демиховской атрибутировать Гончарову перевод отрывка из романа Э. Сю «Пират Кернок» (см.: *Sue E. Plik et Plok*. Paris, 1831), помещенный в журнале «Северная Минерва» (1832. № 4. С. 263—275) под заголовком «Гадание» (см.: *Демиховская*. С. 56).

³ См. объявления Н. И. Надеждина об издании «Телескопа»: *ВЕ*. 1830. № 19—20. С. 313—317; *МВ*. 1830. Ч. 5. С. 222—226.

⁴ *Козмин Н. К.* Н. И. Надеждин, издатель «Телескопа» // *Журн. М-ва нар. просв.* Нов. сер. 1910. Т. 29. С. 274.

профессор он был нам дорог своим вдохновенным, горячим словом. (...)
Он один заменял десять профессоров...».

В основе выбранного для перевода эпизода из ультраромантического романа-фельетона Э. Сю — напряженная психологическая коллизия: добрый по отношению к аборигенам колонист-рабовладелец с его очаровательным семейством — и суровая секта отравителей, состоящая из беглых негров-мстителей, суеверных и жестоких; нежная и невинная девушка европеянка — и романтический «дикий» герой, приносящий ее в жертву, повинувшись зову крови своего убитого белыми отца.

Перевод Гончарова отличается большой точностью. Но вместе с тем писатель вносит в текст некоторые изменения. Большинство экзотизмов заменено нейтральными эквивалентами (например, названия конкретных птиц — словом «птицы», специальных видов тропических растений — словом «кустарник» и т. п.). Кроме трудностей перевода, здесь можно предположить стремление сделать текст более доступным для восприятия русским читателем. Так, от себя переводчик добавляет комментарий даже к слову «лиана»: «американское растение». Отдельные неточности перевода следует объяснить недостаточно свободным владением языком, большинство же — стремлением избежать некоторых сентиментальных длиннот или излишних пейзажных подробностей. Иногда более выразительные эпитеты заменены нейтральными (например, «сильный» удар вместо «страшный»). Отступление от оригинала в концовке вызвано желанием Гончарова психологически усилить впечатление: он заставляет г-на Виля повторить свое запоздалое предложение: «Отворим... отворим теперь...» (наст. том, с. 545; ср. у Сю: «Ouvrons maintenant»).

Гончаров снимает один из эпиграфов к главе 3 (стихотворный), что, вероятно, следует объяснить трудностью задачи поэтического перевода. Показательно, что в переводе опущено послесловие, где дается описание повадок ядовитых змей американских джунглей и объясняется, на чем был основан жестокий замысел героя. Возможно, что некоторая таинственность концовки, по мнению автора перевода (или редакции), больше отвечала массовому читательскому вкусу, воспитанному на Погодине и Марлинском.

А. Г. Цейтлин считал, что «Гончаров начал с того, что отдал значительную дань романтическому направлению» (*Цейтлин*. С. 31). К тому же выводу склонялись и другие исследователи — Н. И. Пруцков, А. Н. Рыбасов, О. А. Демиховская (см. также: *Краснощечкова. Гончаров и русский романтизм*. С. 304—316).

Связь с французской «неистойвой» литературой Гончаров ясно обозначил в герое «Обыкновенной истории». В литературных опытах Александра Адуева заметны были «незнание сердца», излишняя пылкость, неестественность, ходульность. «Героем, возможным в драме или повести», Адуев «воображал не иначе как какого-нибудь корсара или великого поэта, артиста» (наст. том, с. 268), которых заставлял действовать и чувствовать согласно ультраромантическому канону. В повести Александра Адуева из американской жизни Цейтлин не без основания отметил эпигонское подражание романтической прозе Шатобриана (*Цейтлин*. С. 32), но эта параллель, по-видимому, не строго обязательна и может быть заменена другими.

По предположению исследователя, «некоторые из литературных опытов Гончарова, которые он уничтожал тотчас после их написания, недалеко ушли от ультраромантических повестей Александра Адуева» (Там же. С. 32).

Среди юношеских увлечений Александра Адуева числятся произведения «двух новейших французских романистов», откуда герой почерп-

нул определения «истинной дружбы и любви». Адуев цитирует романы «Атар-Гюль» Э. Сю и «Зеленая рукопись» Г. Друино (см. выше, с. 323—324), причем цитируются они в собственном переводе Гончарова, хотя к 1847 г. уже существовали их русские переводы. Оба принадлежат к разряду так называемых «piraterie» (пиратских или морских романов) и действительно служат образчиками воплощения в литературе «неистовых» страстей и ультраромантических настроений.

Отношение к раннему периоду творчества Э. Сю в России в 1830—1840-е гг. было разным.¹ Белинский в рецензиях на переводы произведений Сю этого периода отнюдь не включает его в число образцовых французских писателей. Так, в рецензии «Три рассказа Сю» (1838) критик утверждает, что они «обнаруживают в Евг. Сю талант рассказчика, и их (...) можно б было с удовольствием читать, если бы из-за них не высовывалось лицо рассказчика с страшными гримасами à lord Byron» (*Белинский В. Г. Полн. собр. соч.*: В 13 т. М., 1953. Т. II. С. 493). Более развернутая характеристика творчества писателя дана Белинским в его отзыве на перевод «Парижских тайн» (1844). Оценивая главный роман Сю как «самое жалкое и бездарное произведение», в котором хороша только сама социальная идея, критик вновь напоминает, что «некогда он хотел играть роль Байрона и кривлялся в сатанинских романах вроде „Атар-Гюля“, „Хитано“, „Крао“; но это оттого, что тогда книгопродавцы и журналисты еще не бегали за ним с мешками золота в руках. Сверх того, мода на поддельный байронизм уже прошла» (*Белинский. Т. VII. С. 65*). Э. Сю периода «Парижских тайн» — это, по Белинскому, «филистер, буржуа, добрый малый» (Там же. С. 65).

Совершенно иную точку зрения защищал в 1847 г. В. Н. Майков, непосредственно принадлежавший к ближайшему окружению Гончарова 1840-х гг.² Майков считал, что уже первые романы Э. Сю, «несмотря на недостатки, красноречиво свидетельствовали о поэтическом призвании писателя. В них просвечивала личность молодого человека, заплатившего дань впечатлениям эпохи». Это разочарованный юный моряк, принимавший «необходимые толчки и поучительные страдания», которые на него сыпались при начале его служебного поприща, «за доказательство безвыходности своего положения и господства в мире абсолютно-го зла». Все это, — резюмировал Майков, — «отчасти можно применить к личности Сю, особенно судя по направлению первых его романов».³ «Таким образом, с одной стороны, в первых (исполненных, по Майкову, «ультрапессимизма». — *Ред.*) произведениях Сю выразился характер эпохи отрицания (...) с другой стороны, та среда, в которой Сю рос и развивался, образ жизни на корабле и нескончаемая борьба со всеми признанными в человечестве ужасами — войною, бурей, голодом, чумою, бунтом, и не признанными — отчуждением от общества (...) унынием и сомнениями, которых нечем разогнать в сообществе добрых, но немудрых моряков, придали яркий колорит его морским романам. В лице Сю выразился и моряк, и юноша современной ему эпохи; если бедность внутренней жизни моряков отозвалась в его

¹ *Покровская Е. Б. Литературная судьба Е. Сю в России // Язык и литература. Л., 1930. Т. 5. С. 227—252; Фролова Р. И. Эжен Сю в русской литературе и критике // Романтизм и реализм в литературных взаимодействиях. Казань, 1982. С. 32—43.*

² См. о нем выше, с. 800.

³ *Майков В. Н. Критические опыты (1845—1847). СПб., 1891. С. 354—360.*

романах, зато все силы свои положил он на воспроизведение того, что составляло предмет его живых симпатий: никто из французских писателей не изобразил так живописно быт моряков. Отношения матросов, их привязанности, ненависти, их разгул, их безусловная покорность начальнику, наконец, их суеверия, приметы, отчаянная, бешеная храбрость — все это с удивительною живостью передано в „Саламандре“, „Атар-Гюле“, „Корсар“ и других более или менее удачных произведениях Сю.¹

Вряд ли возможно утверждать с уверенностью, что сходно с В. Н. Майковым понимал в начале 1830-х гг. раннее творчество Э. Сю и будущий автор «Фрегата „Паллада“». Но во всяком случае, выпускник университета Александр Адуев всерьез воспринимает данное в «Атар-Гюле» определение дружбы (см.: *Sue. Atar-Gull*. P. 164; ср. также выше, с. 770—771).

С. 534. *Там страдания ~ Байрон. «Дон Жуан», гл. VIII, ст. 13.* — Отрывок из песни 8 (строфа XIII) поэмы «Дон Жуан» в распространенном французском переводе, подписанном инициалами «А. Р. ...Т.», в изд.: *Oeuvres complètes de Lord Byron, traduites de l'anglais par A. P. ... T., précédée d'une notice sur lord Byron par M-r Charles Nodier*. Paris, 1824. Vol. 12. P. 96.

С. 534. *В этом блаженном мире ~ Виктор Гюго. «Ода XVI».* — Финал оды XVI «Под сенью ребенка» («A l'ombre d'un enfant») из книги 5-й од (1819—1821). См.: *Odes et ballades, par Victor Hugo*. 5-me ed. Paris, 1829. Т. II. P. 242.

С. 534. *Еще в 1822 году ~ в архивах острова Св. Петра (Мартиники).* — В период колонизации Антильских островов англичанами и французами (с XVI в.) острова, относящиеся к административному центру Гваделупа, были населены жестоким и воинственным племенем караيبов, сопротивлявшимся порабощению со стороны колонизаторов.

С. 536. *...отравители справедливы в своем мщении...* — Далее Гончаровым, а возможно, редакцией или цензурой, при переводе опущена фраза: «Les empoisonneurs avaient (...) l'espèce d'intégrité sauvage qui a de tout temps présidé à ses terribles associations du faible contre le fort, depuis les chrétiens jusqu'aux carbonari» (*Sue. Atar-Gull*. P. 286; перевод: «У отравителей было (...) что-то вроде дикой честности, которая всегда управляет дикими сообществами, создаваемыми слабыми против сильных, начиная с христиан и кончая карбонариями»).

С. 538. *...иди и сверши предприятное.* — От глагола «предпринимать» (т. е. предпринимать). См.: *Словарь церковно-славянского и русского языка*. СПб., 1847. Т. 3. С. 433).

С. 539. *Глава третья.* — Далее при переводе, как уже указывалось, опущен первый эпиграф к гл. 3, представляющий собой отрывок из стихотворения «К матери» («A la mère»), которое вошло в сборник «Поэтические опыты» Дельфины Жирарден (псевдоним: «Дельфина Ге»), французско-швейцарской романистки, переводчицы и поэтессы (см.: *Essais poétiques, par M-lle Delphine Gay*. Bruxelles, 1824. P. 7).

С. 539. *Издredка только поднимал ~ Жюль Жанен. «Мертвый осел».* — Подобного текста в указанном произведении Жанена («L'âne mort et la femme guillotinée», 1829) обнаружить не удалось.

С. 540. *...В наших краях...* — У народов Юго-Восточной Африки крааль — кольцеобразное поселение, в котором хижины расположены по кругу и обнесены общей изгородью, а внутренняя площадь служит загонem для скота.

¹ Там же.

С. 545. *При входе их змей скрылся в окно.* — Далее, как уже отмечалось, редакцией или Гончаровым опущено послесловие:

«Il reste à expliquer ce fait, historique l'ailleurs, et la part qu'Atar-Gull eut à cet événement traquique.

Connaissant, comme tous les nègres, les habitudes des animaux de la contrée, il eut un rayon d'espoir quand il proposa à Théodorick de porter le serpent mort dans la chambre de Jenny.

Il savait que ces animaux s'accouplaient toujours, et que le mâle, rentrant dans son trou et ne trouvant plus sa femelle, la chercherait et suivrait peut-être sa piste.

Aussi eut-il le soin, comme on l'a dit, de prendre la femelle par la queue, à cette fin que la partie saignante, écrasée, trainée par terre, laissât une trace, un fumet, capables de guider le mâle...

Ce qui arriva...

Le mâle en entrant dans son trou, et ne trouvant pas sa femelle, suivit sa piste, arriva au pied de la fenêtre du rez-de-chaussée, où le nègre, par un excès d'inhumaine prévision, avait encore écrasé une partie du corps, grimpa, souleva la jalousie... entra dans la chambre, étrangla Jenny et regagna son antre.

Atar-Gull avait calculé juste: la haine se trompe rarement» (*Sue. Atar-Gull*. P. 308); перевод: «Остается объяснить это событие, действительно происшедшее в другом месте, и роль, которую играл в трагическом эпизоде Атар-Гюль.

Так как он, подобно всем неграм, хорошо знал повадки местных животных, то ему блеснул луч надежды, когда он предложил Теодорику принести мертвого змея в комнату Дженни.

Ему было известно, что эти животные всегда живут брачными парами и что если самец, вернувшись в свою нору, не найдет в ней самки, то станет ее искать и, возможно, поползет по ее следу.

Поэтому Атар-Гюль и позаботился, как и было сказано, взять самку за хвост, с тем чтобы раздробленная кровотокающая часть, волоочась по земле, оставляла бы след и характерный запах, способный привлечь самца и направить его...

Так и произошло...

Самец, проникнув в свою нору и не найдя самки, пополз по следу, достиг окна первого этажа (а там, с адским предвидением, негр раздробил дополнительно часть змеиного тела); затем он вполз наверх, приподнял жалюзи... проник в комнату, задушил Дженни и вернулся в свое убежище.

Атар-Гюль рассчитал точно: ненависть редко ошибается».

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Архивохранилища

- ИРЛИ** — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (С.-Петербург).
РНБ — Российская Национальная библиотека (С.-Петербург).
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
РГИА — Российский государственный исторический архив (С.-Петербург).

Печатные источники

- Анненков. Литературные воспоминания** — Анненков П. В. Литературные воспоминания / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. В. П. Дорофеева. М., 1960.
- БДЧ** — «Библиотека для чтения» (журнал).
- Белинский** — Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1976—1982.
- Бестужев-Марлинский** — Бестужев-Марлинский А. А. Соч.: В 2 т. М., 1981.
- Боград** — Боград В. Журнал «Современник». 1847—1866: Указ. содержания. М.; Л., 1959.
- Бродская** — Бродская В. Б. Наблюдения над языком и стилем ранних произведений И. А. Гончарова // Вопросы славянского языкознания. Львов, 1949. Кн. 2. С. 137—167.
- ВЕ** — «Вестник Европы» (журнал).
- Герцен** — Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954—1965.
- ГМ** — «Голос минувшего» (журнал).
- Гоголь** — Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. [М.,] 1937—1952.
- Гончаров в воспоминаниях** — И. А. Гончаров в воспоминаниях современников / Отв. ред. Н. К. Пиксанов; Подгот. текста и примеч. А. Д. Алексеева и О. А. Демиховской. Л., 1969.
- Гончаров. Материалы** — И. А. Гончаров: Материалы международной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1994.
- Гончаров. Новые материалы** — И. А. Гончаров: Новые материалы о жизни и творчестве писателя. Ульяновск, 1976.
- Григорьев. Литературная критика** — Григорьев А. А. Литературная критика / Сост., вступ. ст. и примеч. Б. Ф. Егорова. М., 1967.
- Демиховская** — Демиховская О. А. Раннее творчество И. А. Гончарова // Материалы юбилейной гончаровской конференции. Ульяновск, 1963. С. 54—86.
- Деркач** — Деркач С. С. И. А. Гончаров и кружок Майковых // Учен. зап. Ленингр. ун-та. Сер. филол. наук. 1971. № 355. Вып. 76. С. 18—38.

- Добролюбов* — Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1961—1964.
- Достоевский* — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972—1990.
- Дружинин. Прекрасное и вечное* — Дружинин А. В. Прекрасное и вечное / Сост., вступ. ст. Н. Н. Скатова; Коммент. В. А. Котельникова. М., 1988.
- Евстратов* — Евстратов Н. Г. Гончаров на путях к роману: (К характеристике раннего творчества) // Учен. зап. Уральского пед. ин-та. 1955. Т. II. Вып. 6. С. 171—215.
- ИВ* — «Исторический вестник» (журнал).
- Краснощекова. Гончаров и русский романтизм* — Краснощекова Е. А. И. А. Гончаров и русский романтизм 20—30-х годов // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1975. Т. 34. № 4. С. 304—316.
- ЛГ* — «Литературная газета».
- Летопись* — Алексеев А. Д. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.; Л., 1960.
- ЛН* — Литературное наследство.
- Лотман* — Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII—начало XIX века). СПб., 1994.
- Лотман. Комментарий* — Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. 2-е изд. Л., 1983.
- Лунные ночи* — «Лунные ночи. Собрание сочинений в стихах и прозе» (рукописный альманах семьи Майковых, 1839). — *ИРЛИ*. № 16496.
- Ляцкий* — Ляцкий Е. А. Гончаров: Жизнь, личность, творчество. 3-е изд. Стокгольм, 1920.
- Ляцкий. Роман и жизнь* — Ляцкий Е. А. Роман и жизнь: Развитие творческой личности И. А. Гончарова: 1812—1857. Прага, 1925.
- М* — «Москвитянин» (журнал).
- МВ* — «Московский вестник» (журнал).
- МГЛ* — «Московский городской листок» (газета).
- МН* — «Московский наблюдатель» (журнал).
- Недзвецкий* — Недзвецкий В. А. И. А. Гончаров — романист и художник. М., 1992.
- Недзвецкий. Публицистика романиста* — Недзвецкий В. А. Публицистика романиста // Гончаров И. А. На родине. М., 1987. С. 5—24.
- Некрасов. 1948* — Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: [В 12 т.]. М., 1948—1953.
- Некрасов. 1981* — Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1981 — (издание продолжается).
- ОЗ* — «Отечественные записки» (журнал).
- Оксман* — Оксман Ю. Г. Неизвестные фельетоны И. А. Гончарова // Фельетоны сороковых годов. М., 1930. С. 15—38.
- Отрадин* — Отрадин М. В. Проза И. А. Гончарова в литературном контексте. СПб., 1994.
- Панаев. Литературные воспоминания* — Панаев И. И. Литературные воспоминания / Ред. текста, вступ. статья и примеч. И. Ямпольского. [Л.], 1950.
- Панаев. Сочинения*. — Панаев И. И. Соч. / Сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. М. Отрадина. Л., 1987.
- Переписка Некрасова* — Переписка Н. А. Некрасова: В 2 т. / Сост. и коммент. В. А. Викторovichа и др.; Вступ. ст. Г. В. Краснова. М., 1987.
- Переписка Тургенева* — Переписка И. С. Тургенева: В 2 т. / Сост. и коммент. В. Н. Баскакова, М. Н. Головановой, Е. И. Кийко и др.; Вступ. ст. Н. С. Никитиной. М., 1986.

- Пиксанов. Белинский в борьбе за Гончарова* — Пиксанов Н. К. Белинский в борьбе за Гончарова // Учен. зап. Ленингр. ун-та. 1941. № 76. Вып. 11. С. 57—87.
- ПиР* — «Пантеон и репертуар русской сцены» (журнал).
- Писарев. Литературная критика* — Писарев Д. И. Литературная критика: В 3 т. / [Сост., вступ. ст., подгот. и примеч. Ю. С. Сорокина]. Л., 1981.
- Подснежник* — «Подснежник» (рукописный журнал семьи Майковых, 1835, 1836, 1838). — ИРЛИ. № 16493, 16494, 16495.
- Пушкарев* — Путеводитель по Санкт-Петербургу и окрестностям его Ивана Пушкарева. СПб., 1843.
- Пушкин* — Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.]. М.; Л., 1937—1949.
- РА* — «Русский архив» (журнал).
- РЛ* — «Русская литература» (журнал).
- РСл* — «Русское слово» (журнал).
- РС* — «Русская старина» (журнал).
- РХЛ* — «Русский художественный листок» (газета).
- Рыбасов* — Рыбасов А. И. А. Гончаров. М., 1957.
- С* — «Современник» (журнал).
- Сахаров* — Сахаров В. И. «Добиваться своей художественной правды...»: Путь И. А. Гончарова к реализму // Контекст 1991: Литературно-теоретические исследования / Отв. ред. А. В. Михайлов. М., 1991. С. 118—134.
- СПбВед* — «С.-Петербургские ведомости» (газета).
- СПч* — «Северная пчела» (газета).
- Суперанский* — Суперанский М. Ф. Воспитание И. А. Гончарова // Рус. школа. 1912. № 5—6. С. 1—19.
- Толстой* — Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1928—1958.
- Тургенев. Сочинения* — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1978—1986.
- Цейтлин* — Цейтлин А. Г. И. А. Гончаров. М., 1950.
- Цейтлин. «Счастливая ошибка»* — Цейтлин А. Г. «Счастливая ошибка» Гончарова как ранний этюд «Обыкновенной истории» // Творческая история: Исследования по русской литературе / Ред. Н. К. Пиксанов. М., 1927. С. 124—153.
- Чернышевский* — Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1939—1950. Т. I—XV; М., 1953. Т. XVI, доп.
- 1896* — Гончаров И. А. Полн. собр. соч. / С портретом автора, гравированным акад. И. И. Пожалостиным, и факсимиле. 3-е изд. И. И. Глазунова. СПб., 1896. Т. I—IX.
- 1952* — Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1952.
- 1952—1955* — Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1952—1955.
- 1977* — Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1977—1980.
- Ehre* — Ehre M. Goncharov's Early Prose Fiction // The Slavonic and East European Review. 1972. Vol. 50. N 120. P. 359—371.
- Leben, Werk und Wirkung* — Ivan A. Gončarov. Leben, Werk und Wirkung: Beiträge der I Internationalen Gončarov-Konferenz. Bamberg, 8—10 Oktober 1991 / Herausgegeben von Peter Ghiergen. Köln; Weimar; Wien, 1994.
- Mazon* — Mazon A. Un maître du roman russe, Ivan Goncharov. Paris, 1914.
- Setchkarev* — Setchkarev Vs. Ivan Goncharov: His Life and his Works. Würzburg, 1974.
- Sue. Atar-Gull* — Atar-Gull, par E. Sue, auteur de Plik et Plok. Paris, 1831.

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Другие редак- ции	При- мечания
От редакции	5		
Стихотворения	21		626
Лихая болезнь	26		631
Счастливая ошибка	65		645
Иван Савич Поджабрин. <i>Очерки</i>	103		657
Обыкновенная история. <i>Роман в двух час- тах</i>	172	550	673
Часть первая	172		
Часть вторая	311		
Эпилог	453		
Письма столичного друга к провинциально- му жениху	470		785
ПУБЛИЦИСТИКА			
Светский человек, или Руководство к позна- нию правил общежития, составленное Д. И. Соколовым. СПб., 1847	494		797
В. Н. Майков	502		800
ПРИЛОЖЕНИЯ			
〈Хорошо или дурно жить на свете?〉	507	604	804
Пепиньерка	514		811
〈Упрек. Объяснение. Прощание〉	532		820
Э. Сю. Атар-Гюль. Отрывок из романа. Пе- ревод с французского	534		822
Другие редакции и варианты	547		
Примечания	607		
Список условных сокращений	828		

**ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОНЧАРОВ**

*Полное собрание сочинений
в двадцати томах*

Том 1

Печатается по постановлению
Бюро Отделения литературы и языка
Российской академии наук

Редактор издательства Т. А. Лапицкая
Художник Л. А. Яценко
Технические редакторы Г. А. Смирнова
и Л. М. Семенова
Корректоры Л. М. Бова, О. И. Буркова, Э. Г. Рабинович
и Е. В. Шестакова
Компьютерная верстка Л. Н. Напольской

Лицензия № 020297 от 23 июня 1997 г.
Сдано в набор 22.08.97. Подписано к печати 15.12.97.
Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 43.7. Уч.-изд. л. 55.7.
Тираж 1000. Тип. зак. № 3356. С 256

Санкт-Петербургская издательская фирма РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лин., 1

Санкт-Петербургская типография «Наука» РАН
199034, С.-Петербург, 9 линия, д. 12

